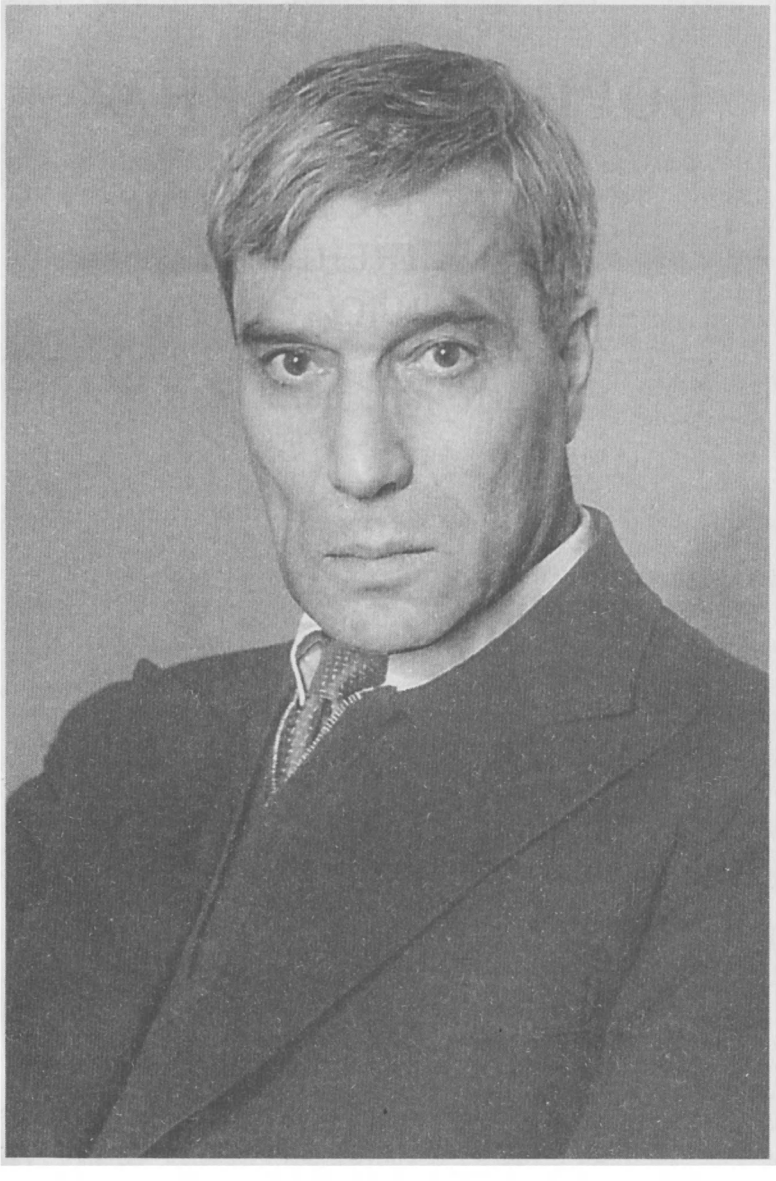
БОРИС ПАСТЕРНАК

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

IX



БОРИС ПАСТЕРНАК

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК

Том IX

ПИСЬМА
1935–1953

СЛОВО/SLOVO
2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5
П 19

Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России

Российский Государственный архив
литературы и искусства, Москва

Рукописный отдел Государственного
музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

Рукописный отдел Государственного
Литературного музея, Москва

Рукописный отдел Института
русской литературы (Пушкинский Дом),
С.-Петербург

Рукописный отдел Института мировой
литературы им. М. Горького Российской
Академии наук, Москва

Главный редактор Д. В. Тевекелян

Составление и комментарии
Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской

На авантитуле:
Борис Пастернак. 1954 год.
Фото А. Лесса

ISBN 5-85050-689-6 (т. IX)
ISBN 5-85050-680-2

© Наследники Пастернака Б. Л., 2005
© Пастернак Е. В. и Рашковская М. А.,
составление, комментарии, 2005
© Журавлев К. Е., художественное
оформление, 2005
© Слово/Slovo, издание, 2005

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АП РФ — Архив Президента Российской Федерации.

Архив РАН — Центральный архив Российской Академии наук.

А. Эфрон. О Марине Цветаевой — Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. М., «Советский писатель», 1989.

Борис Пастернак. Доктор Живаго. Избранные письма — Борис Пастернак. Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма. М., «Гудьял-Пресс», 1998.

Борис Пастернак. Из писем разных лет — Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., 1990.

Воспоминания — Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/Slovo», 1993.

«Встречи с прошлым» — Встречи с прошлым. Сборник материалов Российского Государственного архива литературы и искусства. М., «Русская книга».

«Второе рождение» — Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. З. Н. Пастернак. Воспоминания. М., «Грит», 1993.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

ГЛМ — Рукописный отдел Государственного Литературного музея.

ГМГЛ — Государственный музей грузинской литературы им. Г. М. Леонидзе (Тбилиси).

ГМИИ — Рукописный отдел Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ивинская. В плену времени — Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Париж, 1978.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), С.-Петербург.

ЛН. Т. 70 — Горький — Б. Пастернак. Публикация Е. Г. Коляды // Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. М., 1963.

ЛН. Т. 93 — Борис Пастернак. Из переписки с писателями. Публикация Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Из истории советской литературы 1920–1930-х годов. Литературное наследство. М., 1983.

Материалы ГМГЛ — Борис Пастернак (Материалы фонда Государственного музея грузинской литературы им. Г. М. Леонидзе). Тбилиси, «Диогене», 1999.

«Минувшее» — «Минувшее». Исторический альманах. М.–СПб., Atheneum-Феникс.

М. Ц. Собр. соч. — Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. М., «Эллис Лак», 1995.

Пастернак. Об искусстве — Борис Пастернак. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., «Искусство», 1990.

Переписка Б. Пастернака с М. Баранович — Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. М., «М и К», 1998.

Переписка с О. Фрейденберг — Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Письма к родителям и сестрам — Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам. Stanford Slavic Studies. Stanford, 1998.

Письма Пастернака к жене — Письма Б. Л. Пастернака к жене З. Н. Нейгауз-Пастернак. М., «Дом», 1993.

Письма 1926 — Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., «Книга», 1990.

«Пожизненная привязанность» — Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М., «Арт-Флекс», 2000.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

РГАНИ — Российский Государственный архив новейшей истории.

РГБ — Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.

РНБ — Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки.

Собр. соч. Т. 5 — Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., «Художественная литература», 1992.

«Существованья ткань сквозная» — «Существованья ткань сквозная». Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998.

ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936 — Души начинают видеть. Марина Цветаева. Борис Пастернак. Письма 1922–1936 годов. М., «Вагриус», 2004.

1935

719. З. Н. ПАСТЕРНАК

4 января 1935, Москва

4. I. 35

Дорогая Киса, после расставанья[1] в воздухе осталась какая-то чистая печальная нота, в которой нас с тобой было больше, чем в сутолоке нашего Волхонского сосуществованья. Я ее и дома нашел, вернувшись с вокзала. Пр<асковья> П<етровна> чудно убрала все три комнаты, я этот достигнутый порядок ничем не нарушаю: грустно, чисто, тихо и просторно. На счастье, я еще и с Фр<ишманами> в ссоре, и никто не отнимает у меня ни минуты.

Я думал с наибольшей пользой проработать это время, но две вещи меня несколько отвлекут. 1) Женю приняли в образцовую школу, в группу, где проходят английский язык[2]. Там за полгода кое-что успели пройти, и его надо будет подготовить по-английски спешно в несколько уроков. Мне через день придется с ним заниматься по часу, но это одна радость для меня: вчера я дал ему первый урок и просто поразился его способностям. Он сразу же стал читать, по вдохновенью угадывая произношенье (по-английски оно очень трудное, нужно знать вперед язык, т. е. большинство слов, чтобы уметь читать, потому что произношенье не соответствует начертанью и единичных исключений больше, чем общих правил).

2) 8 января исполняется годовщина смерти Андрея Белого, и, вероятно, 10-го состоится вечер его памяти в Доме Писателя. Мне придется в нем принять участие и, кроме того, способствовать привлеченью к нему других участников. Надо, значит, будет почитать и подумать.

И все же, по сравненью с прежним, я много успеваю. Каждый день гуляю, в первый же вечер был в Трубниковском, застал Гаррика играющим Сонату-фантазию Скрябина, он простужен, но

на ногах и много работает. Оказывается, машина в то утро все-таки пришла, но они не знали, посылать ли, т. е. не поздно ли[3].

Помнишь, когда ты незадолго до отъезда стала вспоминать, сколько я за декабрь денег передал, и сначала ошиблась, а потом всю сумму вспомнила, то даже вышло несколько больше, чем это могло быть при вычете 1050 литфондовских. Теперь это объяснилось. Когда я попросил в ГИХЛе денег (после твоего отъезда), то был удивлен, что мне лишь около тысячи переводят. Оказалось, что в декабре литфондовской суммы не вычитывали, а вычтут теперь.

Это меня не огорчает, потому что если я плодотворно проработаю это время (а если бы не годовщина Белого, все бы говорило за это), то у меня уже будут основанья испросить где-нибудь аванс под обработанный кусок прозы[4]. Однако если этого не случится, то я и в таком случае деньги откуда-нибудь достану, ты на этот счет будь спокойна.

Как там тебе и детям? Не зябнете ли вы при таком морозе? Хорошо ли кормят вас? Может быть, ты не найдешь в этом логики, но как раз в виду вышеприведенных соображений я хотел предложить тебе продлить отсюда ваши путевки до конца января. Если тебе нравится в Абрамцеве, это продленье дало бы тебе больший отдых, в котором ты так нуждаешься. Мне кажется, с Адиком никаких бы трудностей не представило. Если бы в школе придрались к этому и этого бы не смог уладить Гаррик, я ручаюсь, что все в таком случае устрою сам. А вряд ли за две недели успели бы столько пройти, чтобы нагнать это потом представило трудность.

Я что-то хотел еще написать тебе, существенное и интересное, но прервал письмо и позабыл. Тебе, может быть, не понравится, что письмо деловое и торопливое, но это оттого, что весь день мой размерен и это отражается даже на почерке.

В психологию не пускаюсь, повторяю, этот холод, чистота, тишина и возможность рано и быстро вскакивать с постели, работать, читать и поспевать со всем в назначенные часы молодят меня и дают возможность видеть и тебя в мыслях такою же молодою, тихой и возвышенной, какою ты была вначале и бываешь в лучшие свои минуты. Спасибо тебе за это в двух отношеньях. Во-первых, за то, что ты такая и оставляешь по себе такой образ, а затем и за удобство и уют, в котором мне так приятно сейчас, — потому что ведь они созданы и оставлены мне на эти недели тобою.

А ты там, конечно, рада нравиться и нравишься и имеешь успех, все это легко себе представить и лучше не представлять себе. Я об этом стараюсь не думать.

Привет Сельвинским и Шестаковым. Стасика и Адика поцелуй. *Твой Боря*

P. S. После разговора по телефону. Выполнимо ли технически, чтобы Адик один тут эти 2 недели пробыл? Он будет скучать и обязательно в ком-нибудь нуждаться с целью отвлеченья от шалостей с огнем, электричеством и пр., за ним ведь нужен постоянный присмотр. Это я говорю без всякого упрека ему, а потому что есть характеры, склонные к уединению и несклонные.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59).

[1] З. Н. Пастернак уехала с детьми на школьные каникулы в дом отдыха в Абрамцеве.

[2] В школу № 25 в Пименовском переулке, где учились дети членов правительства, в частности дочери Сталина и Молотова. Сохранился размеченный Пастернаком учебник «Object lessons in English for beginners» (1909), составленный E. Goffe, по которому Пастернак провел 6 первых уроков.

[3] Литфондовская машина, опоздавшая ко времени отъезда З. Н. в Абрамцево.

[4] Проза, которую Пастернак писал все эти годы, не сохранилась. В 1936 г. он начал новую, часть которой была передана в «Знамя» («Записки Патрика»). Получив из архива журнала эту машинопись в 1950-х гг., Пастернак надписал на обложке: «Начало прозы 36 г.»

720. З. Н. ПАСТЕРНАК

7 января 1935, Москва

7. I. 34*

Дорогая Киса! Кроме всего прочего, я очень по тебе соскучился, так что, если Адика нельзя задержать еще на 2 недели, я рад этим воспользоваться, чтобы вернуть вас всех домой.

Правда, этой тишиной и простором надо бы воспользоваться и сердечную блажь надо бы уметь побеждать, но я, право, не знаю, что чему предпочесть.

Воображаю, что ты там вытворяешь! Коньки коньками, но, Киса, не изменяй мне все же до последнего. Главное ведь — ничего от тебя не узнаешь, будешь врать и смеяться, бесстыжие твои глаза!

Думать мне об этом больно, но все это сопровождается уверенностью, что рано или поздно все выйдет наружу. Я об этом стороною узнаю, и тогда нам, конечно, не житье.

---

* Авторская ошибка датировки.

Я это письмо начал утром. Сейчас ты звонила мне. У тебя такой милый голос издали. Я так, оказывается, несмотря на твою жестокость и бесчеловечность, привык любить тебя, готов любить, хочу и хотел бы.

И, в конце концов, на тебя ни в смысле коньков (Киева), ни в более широком отношеньи (интереса к другим людям и уменья поставить себя на их место) нет управы. Делай что знаешь и будь здорова. Целую тебя и люблю. *Твой Б.*

P. S. Был у Туси[1], предлагал ей денег. Она наотрез отказывается. По-видимому, она рассталась с мыслью заниматься с мальчиками по вашем возвращенье. Что ж это будет? Меня это очень озабочивает — тебе одной с ними не справиться. Я вот что придумал. Передам деньги Гаррику, чтоб якобы от него и чтобы он ее уговорил не бросать нас.

Завтра или послезавтра устрою путевки, для этого надо будет денег достать. Рад, что поправляешься.

Еще раз весь твой Б.

Адика и Стасю поцелуй. Поклон всему нашему дамштабу.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано в Абрамцево в Дом отдыха».

[1] Наталия Феликсовна Блуменфельд занималась с детьми З. Н. Пастернак.

721. З. Н. ПАСТЕРНАК

11–12 января 1935, Москва

11. I. 34*

Дорогая Киса, у меня потребность изредка перекинуться с тобой словечком-другим.

Сегодня я взял аванс в 1000 р. под прозу и был в Литфонде, чтобы продлить вам путевки. Но Беляев болен, и серьезно: плевритом. А он бы мне всю эту процедуру облегчил. Послезавтра буду звонить Рождественскому и все устрою. Говорят, он на выходные иногда в Абрамцево ездит, — Рождественский[1]. Если это правда, то ты, его увидев, могла бы попросить о переводе в большой дом.

* Авторская ошибка датировки.

Сегодня, хотя и встал рано, за работу взялся в 7 час<ов> вечера. С утра слегла Праск<овья> Петровна, температура 39 с десятыми. Я печь топил, убирал, потом по делам ходил, дал Жене урок, там пообедал, вернулся домой, Пр<асковье> П<етровне> за лекарством ходил и себе за водой в комакадемию (второй день воды нет).

В гастрономе встретил Риту, которая по всему городу лимон ищет. Узнал, что Анна Фед<оровна>[2] 3-й день больна с высокой температурой, только к вечеру догадались врача позвать — бронхит. А вчера я полдня потерял в звонках по телефону: Мейерхольдам, Вишневскому[3], Юдиной: просьбы об участии в вечере памяти Белого.

Но все равно все время работать нельзя: не те годы. Я много гуляю. Первое время я это с посещеньями кого-нибудь связывал (был у Гаррика, у Туси, у Шуры, у Бугаевой), а теперь, так как даже и такие короткие визиты полчаса-час отнимают, — прохаживаюсь без всякой цели.

Главное, досадно, в работе я уперся в такое место, которое требует подготовительного чтенья (по истории гражданской войны и пр.), и я за это чтенье принялся, но тут бы мне все это и проглотить дня в два-три, чтобы опять вернуться к писанью, но не тут-то было: вечер, Праск. Петр. (болезнь), уроки с Женечкой (одно удовольствие) и пр. Так сами обстоятельства не дают мне засиживаться над книгами, что, наверное, было бы вредно. Я ведь печки люблю топить, когда это неизбежно и другим некому.

Я очень рад, что тебя нет в эти дни безводья и лежанья Пр. Петр. А за меня не беспокойся: я с тихой, бесшумной, никем не перебиваемой и спокойной быстротой со всем справляюсь, и это мне доставляет наслажденье.

Сегодня по телефону из Дома Сов. Пис<ателей> спрашивали о детях, будут ли они продолжать занятья по ритмике и французскому — я сказал, что да, лишь с пропуском января одного. Потому что занятья будут с 12-го по-старому, т. е. в выходные.

Щербаков (предс<едатель> Союза) и Балашов[4] просят меня завтра, 12-го, съездить в Малеевку на машине. Там устроили 2-месячные курсы для лучших представителей литературной молодежи со всех республик Союза, к ним ездят профессора лекции читать, а меня им только бы повидать. И будто бы очень хотят именно меня. Так как это живое свидетельство нашей действительности, комсомольцы эти, то мне это очень интересно и, по ходу моей прозы, даже и надо бы мне в смысле материала. Вот

отчего я не сразу отказался. Но дело уже к ночи, выезжать надо в 10 ч. утра, и мне кажется, я не соберусь[5].

Вообще у меня теперь является желанье хорошо написать этот роман. Постепенно подобрались разные положенья, которые я хотел бы дать, наметились узлы в разных временах, разрослась фабула, замысел как бы расположился в пространстве. Его можно было бы изложить по-настоящему, как это делали старики. А ты знаешь, по скольку лет они работали? Сколько, например, времени писалась «Война и мир», как Гоголь работал над «Мертвыми душами»?[6]

Я эту вещь буду писать долго; и чем больше она разрастается, чем больше материализуется в уже написанном, т. е. чем более куски определенные вытесняют части первоначально общие и приблизительные, — тем более эта работа меня приближает к возможности писать в будущем стихи как-то по-новому, не в смысле абсолютной новизны этой предполагаемой поэзии, а какой-то следующей еще простоты, без нарушенья последовательности в приобретенном навыке, немыслимой. Ну, спокойной ночи. Лягу, а то поздно.

12. I

Не выспался, в 7 ч. разбудили трамваи, которые сегодня пустили по Волхонке насквозь. Как мы от этого отвыкли, какой шум, грохот и звон! Теперь начинаешь ценить время, когда улица была в горах песка и они не ходили. Что это было за счастье. Теперь на время прощай сон, пока не привыкну, тишина же та и навсегда.

У Пр<асковьи> Пет<ровны> 38,8°. Желудок, верно. Истопил печь, убрал, приготовил себе завтрак. Воды нет третий день, вонь в коридоре ужасная, от уборной. В Малеевку не поеду, разумеется. Еще простужусь вдруг, этого только теперь недоставало.

Сейчас пришла твоя открытка, целую тебя за нее, большое спасибо. На меня же ты пожаловаться не можешь.

Если эти письма наспех, скороговоркою и не дают ничего, тебе внешне по крайней мере, может быть, приятно получать частые письма.

Все пришлю, не беспокойся. Завтра, 13-го, все улажу с Рождественским. Насчет приезда пока ничего не знаю, каждая минута дорога, а само по себе это ведь одно удовольствие. И представляю себе, красота какая!

Страшно рад за тебя. Отдыхай, поправляйся, будь здорова, обнимаю тебя. Ты страшно золотая, если действительно у тебя есть основанья отрицать мой поклёп.

Твой Б.

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано в Москве в Абрамцево».

[1] Работники Литфонда.

[2] Маргарита Николаевна и ее мать Анна Федоровна Вильям.

[3] Актер Александр Леонидович *Вишневский.*

[4] А. С. *Щербаков* с 1934 по 1936 г. — оргсекретарь Союза писателей и начальник агитпропа ЦК ВКП(б). Сергей Михайлович *Балашов* — чтец-декламатор.

[5] Участники курсов в Малеевке вспоминали, как Пастернак приезжал к ним.

[6] Л. Н. Толстой работал над «Войной и миром» 7 лет (1863–1869); Н. В. Гоголь — над «Мертвыми душами» 6 лет (1835–1842).

722. О. Г. ПЕТРОВСКОЙ-СИЛЛОВОЙ

22 февраля 1935, Москва

22. II. 35

Оля, дорогая, какая Вы умница, что догадались написать мне! Горячо благодарю Вас. Я сразу Вас увидел и Ваши большие глаза, точно вчера мы расстались. И услышал Ваш голос, — при сходстве с Володей, Олег[1] наверное как Вы говорит, это уже и тогда было.

И хотя в немногих, ничем не неожиданных словах, — как напомнили Вы мне Володю, как разительно перенесли в дни, не отделимые от его присутствия! Рискуя вызвать у Вас слезы моими случайными, необъективными словами, не могу сдержаться. Последние дни, когда я получил Ваше письмо, и вот Вам отвечаю, — совершенно для меня Володины, вероятно, я в такое время всего чаще встречал его. Это время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь, и с зимней отвычки начинает поражать пустое светлое небо после обеда, когда столько месяцев подряд зажигали лампы. Весь день не закрываешь форточки, сошедший снег не заглушает шума, ощущенье такое, будто с домов сняли крыши, и их место на всех углах заняло целодневное замешкавшееся небо. На таких улицах вдоль черных бульваров естественно бывало встретить Володю, под тележно-трамвайный грохот, оставлявший от его разговора лишь легкий облик совершенной чистоты, передававшейся глазами, улыбкой и всею фигурой.

Я ничего не сказал, Олечка, я только хотел сказать, что это — Володина погода. Не хорошо гоняться в письмах за ощущеньями

большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с такими попытками в них врывается что-то от литературы и притом дурной. А литература в письмах не удается. Тут и приходится вычеркивать. Письма надо писать в градусах средней умеренности. Я не раз еще это правило нарушу*.

Доказательства явились раньше, чем я думал. Смотрите, чего не намарал я, пустившись было описывать «свою жизнь». Так когда-то писали, бывало, знакомые барышни.

Самым для меня существенным за время, что мы с Вами не видались, было мое знакомство, а теперь и дружба моя с двумя замечательными грузинскими поэтами, Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Я их очень люблю. Хотя я с ними много чего прожил, но мне от их приезда к приезду все больше кажется, что они кусок какого-то моего совместного с ними будущего, пока нам неизвестного, что, несмотря на тесноту и нынешней нашей связи, существо ее впереди.

Мне надо было бы еще прожить лет 8–9, до Женичкина совершеннолетья: Вот отчего, хотя и робко и поплевывая, чтобы не сглазить, я пробую заглядывать вперед.

Мне хочется написать роман, настоящий, с сюжетом, и чтобы это было в наши дни. Я его начал и, Олечка, как трудно писать хорошо и просто! Не поймите так, будто б я думал, что это у меня когда-нибудь выйдет! О нет. Но и *забота* о содержательности утомляет до полоумья.

Сколько всего кругом и позади, как все перемешалось. Я пишу Вам и должен напоминать себе, что между нами ничего не было, потому что временами ловлю себя на том, что пишу Вам, как писал бы с того света Жене, Зине или еще кому-нибудь и *себе самому там, позади, в жизни.* О, ведь в этом-то и дело, Оля, не в женском, не в романическом (где его границы?), а в том, что каждый из нас был по-своему всеми остальными, что всё прожито всеми вместе, каждым зараз. Когда, как кажется, я напоминаю К. Н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней и в нем и не во мне, — это частность. А в том, что это с нами со всеми, что такова огромная односемейная жизнь человечества, что я всегда это знал и для того жил. И Вы правы насчет Олега. То же и в маленьком Жене. Растет замечательный друг мне, если я успею, если доживу.

Способны ли Вы это понять без мистики, со страстью факта, скажем просто: живо, *по-советски?* Потому что на этом я хочу по-

---

* Густо зачеркнуто 10 строк.

строить свою советскую современную вещь. Всю на фабуле, без философии.

Я остался таким же, как был. Весь я как есть в утвержденьях предыдущей страницы. Только это — я, и жаль, что этого нельзя вписать в паспорт, вместо возраста, еврея и прочего — вещей фантастических спорных, горько-непонятных.

Я ни капельки не изменился, но положенье мое, морально, переменилось к худшему. Где-то до съезда или на съезде была попытка, взамен того точного, чем я был и остался, сделать из меня фигуру, арифметически ограниченную в ее выдуманной и бездарной громадности, километрической и пудовой[2]. Уже и тогда я попал в положенье нестерпимо для меня ложное. Оно стало теперь еще глупее. Кандидатура проваливается: фигура не собирается, не хочет и не может быть фигурой. Скоро все обернется к лучшему. Меня со скандалом разоблачат и проработают. Я опять вернусь к равенству с собою, в свою геометрическую реальность. Только бы дожить до Жениной зрелости, дописать бы только вещь.

Целую Вас и Олега. Спасибо, что написали. Будете в Москве, обязательно заходите. И хорошо бы застали Табидзе и Яшвили. Я Вас с ними познакомлю.

С Женей большой говорили о Вас накануне полученья Вашего письма. Я у ней часто бываю. Вот ее адрес: Тверской бульвар, д. 25, кв. 7.

Мандельштамам кланяйтесь[3]. Они замечательные люди. Он — художник несоизмеримо бóльший, чем я. Но, как и Хлебников, того недостижимо отвлеченного совершенства, к которому я никогда не стремился. Я никогда не был ребенком, — и в детстве, кажется мне. А они... Впрочем вероятно я несправедлив.

Черкните мне, Оля. *Ваш Б. П.*

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф.

О. Г. Петровская после гибели мужа переехала в Ленинград. Стараясь устроить ей заработок переводчицы, Пастернак надписал ей экземпляр поэмы Важа Пшавелы «Змееед»: «Дорогой Оле Силловой на счастье в ее будущей литературной деятельности от любящего ее и преданного ей *Б. Пастернака.* 29. X. 35. Москва». Сохранилась также его «рекомендация в Государственное издательство Художественной литературы»: «Милый Выгодский. Подыщите, пожалуйста, Ольге Георгиевне Петровской, превосходно знающей английский язык и в совершенстве владеющей искусством художественного перевода, подходящую работу. Она поселяется в Ленинграде и заслуживает всемерного вниманья и поддержки. Дружески жму руку. *Ваш Б. Пастернак* 29. X. 35. Москва» (Музей Ахматовой).

Одновременно с той же целью была сделана надпись еще на одном экземпляре «Змееeда»: «Дорогой товарищ, дайте Ольге Георгиевне Петровской, доброй моей знакомой, превосходному знатоку английского языка и прекрасной переводчице на литературнейший русский, которым она владеет мастерски, подходящую работу и оставьте эту рекомендацию у себя в знак благодарности за исполненную просьбу. Опечатки исправлены наспех и, наверное, не все, но их нет в "Грузинских лириках", куда Змееед входит отдельной частью. Дайте Петровской Чосера или Маколея или что-нибудь другое капитальное. 29. X. 35. *Б. Пастернак*». (Давид Исаакович *Выгодский* — писатель и переводчик.)

[1] *Олег* — сын О. Г. и В. А. Силлова, расстрелянного в феврале 1930 г. (см. письмо № 539).

[2] Разговор о предложении Пастернаку взять на себя роль «первого поэта». Его отказ оборачивался ясно осознаваемым смертельным риском (см. об этом также в письме № 697 и коммент. 6 к нему).

[3] О. Г. Петровская уезжала в Воронеж, где в то время жили в ссылке О. Э. и Н. Я. Мандельштамы.

723. Т. ТАБИДЗЕ

10 марта 1935, Москва

10. III–35, вечер

Дорогой Тициан!

Утром я проснулся в 8 часов. Зина говорит — все-таки я на твоем месте проводила бы Тициана. Я так и думал сделать. В начале десятого, еще неумытый и неодетый, я позвонил Жанго[1], чтобы узнать точно, когда и с какого вокзала отходит Сочинский. Он сказал, что в 10–30. А мне еще надо было умыться и совершить все утренние условности. Я легко примирился с мыслью, что прозевал проводы: 1) Вы этого не хотели; 2) Вы еще в сознаньи моем были здесь, отъезд еще не совершился, мириться с фактами было еще легко.

Дальше все пошло чрезвычайно глупо. За весь год я не помню более грустного и бездельного дня. Я присел за работу. Она не клеилась, все валилось из рук. От какой-то беспричинной грусти мной овладела сонливость, мне казалось, я за столом усну. Я прилег, провалялся с час, не засыпая. Потом пошел в город по делам. На Никольской встретил Паоло. Он сказал, что поезд отходил в 11–30. Я мог еще свидеться с Вами на чудесном утреннем воздухе! От этого известия настроение мое не улучшилось. Из Гихла я пошел к Евг<ении> Вл<адимировне>. Она на меня в обиде, между нами произошел печальный разговор. Я вышел на Тверской бульвар, посмотрел на часы: все еще 2 часа дня, серое северное

предобеденное время, а грустных происшествий уже столько, что по ощущению пора бы уже и вечеру, а все — день.

Дома отдохнул, снова попробовал писать. Я вдруг совсем забыл, как это делают. Такой опустошенности я давно не испытывал. Тут я только понял, что Вы уехали, что мне не созвониться с Вами сегодня и Вас не увидеть.

Вы думали, Тициан, что Ваше пребыванье понижает мою производительность. А как я, пока Вы были в Москве, работал! И вдруг, точно все лишилось цели, серая обессиливающая пустота.

Что же будет с работой, если это повторится завтра? Тициан, у меня к Вам просьба: может быть в апреле я позволю себе короткий перерыв. Приготовьте и пришлите к этому времени несколько наиболее лирических своих подстрочников*, типа переведенных, с природой и метафорами[2], тряхнемте стариной в Известиях и Красной Нови! Сделайте это, повернем время вспять, я опять как вначале хочу немножко посидеть над Вами и Паоло. Пусть не обижает Вас, что эта просьба высказывается при наличьи у меня неиспользованных Ваших подстрочников. Я прошу об этом без всякой логики и связи: может быть, несмотря на просьбу, я переведу что-либо из них. Но при беглом обзоре я под натиском нареканий, вызываемых моей собственной позицией, немного пугался откровенной глубины и сложности большинства из них. Сделайте это, Тициан. А может быть и не делайте. Как хотите.

Мне трудно будет без Вас, я не скоро опять свыкнусь с Вашим отсутствием.

Прощайте мой дорогой.

Поцелуйте Нину и Ниту. Я знаю, что Вы иногда будете думать обо мне: не заставляйте себя писать мне, я знаю, как это нашему брату, писателю, трудно. Обнимаю Вас. *Ваш Б.*

Выразите, пожалуйста, мое соболезнование Валериану Гаприндашвили[3]. Я свинья, что не написал ему. Расскажите, как поразило и потрясло нас это событье как раз после ночи с Сельвинским.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 24942, 1).

[1] *Жанго* Гогоберидзе.

[2] В ответ на эту просьбу Табидзе писал: «...Я намеренно отказался от вашего любезного приглашения использовать ваш апрельский перерыв и

---

* С фонетикой. (*Прим. Б. Пастернака.*)

прислать стихи для переводов. Вам не трудно представить, как меня это тронуло и подбодрило» (17 июня 1935; Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С. 245).

[3] О несчатье у *Гаприндашвили* узнать не удалось.

724. РОДИТЕЛЯМ

14 марта 1935, Москва

14. III. 35

Дорогие мои! Вчера Шура принес мне одну из присланных фотографий. Какой чудесный рисунок! Как мало изменилась мама. Только немного похорошела и чуть поседела[1].

Я давно не писал вам, — не обижайтесь. Такой уж месяц был. Приехали поэты Грузии и с ними мы в Ленинград ездили, об этом я вам уже писал. Потом открылся пленум правления Союза писателей, с утренними и вечерними заседаньями, разными встречами и частыми банкетами. Даже мне эти ночные возлиянья с возвращеньем в 6 часов утра сердце пошатнули. А главное были среди съехавшихся интересные люди, вроде К. Федина, и ближайшие мои, после Женёнка, друзья — Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Вот выйдут мои переводы, вы увидите, что это за поэты. Так что и у нас собирались. И опять я выскочил из рабочей колеи.

Паветти был опасно болен, ты это знаешь. Ничего, выкрутился человек, — молодец. Я был у него, он мне показывал твою открытку. И о доминиканце[2]. Немного только похудел, но не унывает. Я в свои годы многим осторожнее его.

Разыскивал меня долго один человек, и ему отказывали, по примеру прочих; иначе нельзя, — одолевают, житья нет. Вдруг оказалось, — свойственник Таси (урожд. Геникес), лично вручил особую, при письме к нему, ее записку мне. Она лет 6 тому назад вышла замуж, у ней дочка, муж умер в прошлом году, дочка заболела, она в бедственном положеньи. Я послал ей 300 рублей (цена 10 кило сливочного масла, чтобы дать вам представленье). Ответное ее письмо прилагаю* на случай, если у вас есть связь с Марусей[3], но именно только на этот случай, а не для того, чтобы умножить перечень вами опекаемых: поэтому не сообщаю и адреса. Но если он понадобится Марусе, укажу. — Трогательное, полуграмотное, одурелое от неблагополучья письмо. Я отозвался, потому что не могу оставаться в безразличьи к страданью де-

* Решил не посылать вам: не к чему. (*Прим. Б. Пастернака.*)

тей, но не смогу повторить этой помощи и вообще ее регулярно поддерживать, потому что это не единственный случай моего участия.

Ход моей работы (романа) меня удручает. Он подвигается страшно медленно и становится по мере выполненья все бездарней. Главное, я боюсь работать с прежнею усидчивостью. В этом отношении я стал трусливым педантом и избегаю даже слабых признаков утомленья.

По-прежнему главным моим утешеньем остается Женек. Мы перевели его в образцовую школу. Он находит, что она не столько показательная, сколько показная, что в прежней, обыкновенной, было больше дисциплины, и мальчики, дети более бедных родителей и средних людей, умнее были, чем в этой, менее доступной. Учится он хорошо и всем на свете интересуется. Идет первым по родному языку и литературе, но и успешно чинит радио у знакомых, занимается в кружке по физике и пр. и пр.

Здесь вчера закончился международный шахматный турнир (он происходил в Музее рядом), на который приехали Ласкер, Капабланка, Флор[4] и другие. Застал однажды Женю за шахматной доской с вырезками из газет: он повторял сыгранные состязающимися партии. П. Яшвили ходил на турнир, с пропуском к самым столикам. В выходной день я повел Женю к нему и Табидзе в Метрополь, и его у них оставил. Этот день был для него настоящим праздником. Он у них пообедал в номере со всеми ресторанными тонкостями. Потом Паоло повез его на турнир, и мальчик попал за барьер, к самым корифеям. Паоло спускался с ним в кафе, устроенное при музее на время шахматной недели, они там распивали чаи и нарзаны, а потом в книжку по шахматам, которую ему купил П<аоло>, Женя получил самоличные автографы от главных участников турнира. Они вечером вызвали меня по телефону из музея, Паоло вернулся на турнир, а я пошел проводить Женёчка домой. У него под мышкой и в карманах было столько предметов, что он не знал, как ими ловчей распорядиться: апельсины, книжка по шахматам, фотографии знаменитостей с надписями. И вприпрыжку поспешая за мной, все жевал что-то, вынимая в кулачке из кармана пальтишка. Оказалось, это остаток булочки, начатой в кафе и потом припрятанной. Славный мальчик.

Но прелестен и Федя. Как-то раздался стук в дверь, когда никого у нас дома не было. Зина по выходным (праздничным дням)

на весь день уходит с детьми в дом сов. писателя, там с детьми по утрам занимаются пластикой (Поздняков, которого писал Серов), французским и пр. — Итак, стучат, открываю, — Федя на пороге, в длиннорукавой и долгополой шубе, сшитой на вырост, в меховой шапке, — мужичок с ноготок. Один пришел, пришел в гости, — оказывается старший мальчик Зины по телефону его с утра пригласил, не сказав матери, а сам с нею и братом ушел. Мы оба в недоуменьи, и тут меня поразило, как по-взрослому он к этой детской бессмыслице отнесся и сейчас же пошел по телефону домой звонить. Удивительно он вырос за год. — Я это потом Жене рассказываю, а Женек из соседней комнаты: «Что ж тут удивительного? — Пастернак».

Опять, как часто бывало, я вам написал совсем не то, что хотел, и все какие-то пустяки. Но главное из того, что надо знать, вы и из них почерпнете: мы живы и здоровы. Пропускать даты всех дней рожденья стало моей нехорошей привычкой. Простите, мама и папа, и не сердитесь.

Целую вас всех, Жониных деток крепко обнимаю. Будьте здоровы.

P. S. А время идет. И пока залеживалось письмо, на свете произошло много нового. В предвиденьи возможных перемен прошу вас вспомнить, через сколько уже трудностей проводила нас вера в благой исход всякого испытанья. Не грустите и не тревожьтесь за нас, помните, что в любых наших мыслях вы всегда с нами[5]. Не знаю, что сказать, что посоветовать. Ищу утешенья, вспоминаю о Феде, и во всем относительно вас на него полагаюсь. Извещайте о здоровьи. Горячо без конца вас целую. А лучше бы все-таки быть вам со мной.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Фотография с портрета жены работы Л. О. Пастернака.

[2] П. Д. Эттингер рассказывал о портрете доминиканца приора Мэнна, написанном Л. О. Пастернаком.

[3] *Тася* и ее сестра *Маруся Геникес* — внучатые племянницы Л. О. Пастернака. Маруся в 1920-х гг. уехала в Палестину.

[4] Эммануэль *Ласкер* — немецкий шахматист и чемпион мира; Хосе Рауль *Капабланка* — кубинский шахматист, чемпион мира; Сало *Флор* — знаменитый чешский шахматист.

[5] С 1935 г. нацистская Германия начинает отменять решения Версальских соглашений, требуя возвращения земли Саар; аннулируя условия, направленные на сдерживание Германии, 16 марта Гитлер объявляет о вступлении в силу закона о воинской повинности.

725. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 апреля 1935, Москва

3. IV. 35

Дорогая Олюша, извести, как вы и что у вас слышно. Так как меня не миновали беды некоторых ленинградских несчастливцев, то мне особенно хотелось бы знать, здоровы ли вы и все ли у вас в порядке[1].

Оля, вот я не пишу тебе, ты — мне, и так жизнь пройдет. И притом довольно скоро. Но мне ее не переделать. Я и не пытаюсь, потому что та, что налицо, еще лучшая и наимыслимейшая, при всем том, из чего она у меня неизбежно составлена. Если бы знала ты, на что у меня день уходит! А как же иначе, если уж мне такое счастье, что среди поедаемых ко мне почему-то относятся по-человечески.

А так хочется работать. И здоровьем бы не грех позаняться, когда бы больше времени. Впрочем, ничего серьезного, ты не думай, всякие преходящие пустяки[2].

Но я не падаю духом. Сейчас я временно на очень строгом режиме, потому что урывками все же пишу, и большую вещь. Мне ее очень хочется написать. А как слажу с ней (через год-полтора), надо будет все же посуществовать хоть недолго по-другому. Невозможно все время жить по часам, и наполовину — по чужим. А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Многое поражает дикостью, а нет-нет и удивишься. Все-таки при расейских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых, некосных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно.

У нас все благополучны. Крепко целую тебя и маму. Итак, успокой, хотя бы короткой открыткой, даже именно предпочтительно открыткой, чтобы долго не собираться. *Твой Боря*

И не надо ли тебе чего, Оля?

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] После убийства С. М. Кирова 6 дек. 1934 г. хлынула волна расстрелов и массовых депортаций бывших дворян и интеллигенции из Ленинграда. Пастернак имеет в виду хлопоты по поводу высылки ленинградца, писателя Георгия Венуса, с которым познакомился у Б. А. Пильняка. Об этом же Пастернак упоминает в письме № 727. Известно его обращение к Е. П. Пешковой по линии Красного Креста: «Дорогая Екатерина Павловна. Долго я Вас не тревожил и мне больно Вам о себе напоминать. Но у

меня большая, большая к Вам просьба. Примите пожалуйста и выслушайте Георгия Венуса. В его случае, как мне кажется (по тому, что я о нем знаю), допущена какая-то вопиющая ошибка. Простите, что надоедаю Вам. *Ваш Б. Пастернак (*Архив Горького, Ф ЕП-Кр. 45. 11. 2). *Георгий Давыдович Венус,* участник Первой мировой войны и белого движения, вернулся в Россию из Берлина в 1926 г. Его книгу «Война и люди» высоко оценил Горький. В марте 1935 г. он должен был быть выслан в Казахстан (Иргиз), но перед этим вырвался в Москву на проходивший в то время пленум правления Союза писателей и обратился с просьбой о заступничестве. В результате хлопот А. Н. Толстого, Пастернака и, возможно, Горького, Иргиз был заменен Куйбышевом, где Венус был вторично арестован в 1938 г. и через год умер в Сызранской тюремной больнице.

[2] Чтобы не пугать сестру, Пастернак называет пустяками сильно расшатавшееся именно к этому времени здоровье, которое требовало лечения. Об этом он писал Р. Н. Ломоносовой 11 июня 1935: «Мне 45 лет. По-видимому просто это как-то неожиданно наступила старость. Зимой я чувствовал себя прекрасно, не мог нахвалиться на свое здоровье, как вдруг с середины апреля пошли у меня бессонницы и прочие нервические неожиданности, еще менее приятные, вскоре охватившие весь организм, с сердцем, кишечником и даже — мозгами, поскольку в последнем именно сосредоточен запас всяких навязчивых идей, дурных настроений и совершенно особенной, физически осязательной тоски. У меня нашли расширенье сердца, разные неврозы, велят бросить курить, выработать медленную (сенаторскую) походку, не подымать тяжестей и пр. и пр. Я себя чувствую нехорошо и к тому же еще чудно́, странно, т. е. не во всем себя узнаю. Однако эта тема отнюдь неинтересная (хотя Вы и заметили наверное, что у меня изменился почерк)» («Минувшее», № 17. С. 371).

726. РОДИТЕЛЯМ

12 апреля 1935, Москва

12. IV. 35. Мои родные, отчего вы давно не пишете? Что и как у вас?

Получили за Вы мое давнее, около месяца тому, торопливое и короткое письмо?

У нас все в порядке и все здоровы. Папа, тебе просил передать поклон Гордон Крэг. Помнишь ли ты его? Он-то тебя — прекрасно, и много о тебе расспрашивал. Я думал, только твой рисунок с него тебя с ним связывает, он же мне сказал, что и твой Скрябин у него в собраньи[1].

Он недавно приехал в Москву, я его встретил на одной дневной премьере у Мейерхольда, а после спектакля мы с Женей пошли к Мейерхольдам обедать[2], куда потом и он пришел, а также Сергей Прокофьев.

Крэг на фотографиях, воспроизводимых в газетах, выходит глубоким стариком, в разговоре же присущая ему юношеская приподнятость и широкий артистизм пробиваются сквозь эту совершенную седину и сухощавость и молодят его по-прежнему. Но сколько воды с тех пор утекло и как все изменилось.

Говорили сразу на трех языках (французском, немецком и английском), последний знали только Прокофьев (хорошо), я (совсем слабо) и особенно хорошо тот самый Мирский, которого вы знаете по London Mercury[3].

Он третий год здесь и теперь меня с тем же жаром отрицает, как когда-то признавал. Делает он это по праву и из чистейших оснований. Он член английской компартии, и я по справедливости должен ему казаться не оправдавшим надежд и неинтересным пошляком. Это совершенный Нехлюдов, всей своей сложною и нравственно напряженной биографией выскочивший из творений Толстого[4].

Крэг собирается поставить тут Макбета по-английски, с русскими актерами, и потом возить спектакль по Европе. Он пока только театра не выбрал, кажется остановится на Малом. Из всех здешних постановок ему больше всего понравился Лир в еврейском театре[5].

Письмо это я вам пишу взамен открытки, и многого от него не ждите. Если я запишусь, оно залежится, и неизвестно, когда к вам попадет. Известите хотя бы открыткой, в порядке ли все у Вас. Все вам кланяются и вас целуют.

Можно ли будет послать вам моих грузин (переводы), когда они выйдут? Их хотят издать хорошо, но наверное, перестараются и выйдет безвкусно, с претензиями.

Крепко, крепко, крепко вас целую. *Ваш Боря*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Английский режиссер *Гордон Крэг* приезжал в Москву в 1912 г. и ставил «Гамлета» во МХАТе. Он познакомился с Л. О. Пастернаком и купил у него портрет А. Н. Скрябина; кроме того, художник рисовал его самого.

[2] В феврале 1935 г. Пастернак из Ленинграда, где он был по случаю декады грузинской литературы, поздравлял Мейерхольда с премьерой «Пиковой дамы», поставленной в Александринском театре: «Дорогой Всеволод Эмильевич! Взволнованные замечательной постановкой Пиковой Дамы в гостях у Вас и русских поэтов в Ленинграде, полные величия ритма Пушкина, приветствуем Вашу очередную блестящую победу. = *Борис Пастернак, Николай Тихонов, Виктор Гольцев, Демепредзе, Яшвили, Гришашвили, Эули, Чиковани, Каладзе, Абашидзе, Машашвили, Табидзе, Абакемья, Элиава*» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2166).

[3] Имеется в виду статья Д. П. Святополка-Мирского «Современное состояние русской литературы» («The Present State of Russian Letters»), напечатанная в журн. «London Mercury» (July 1927, vol. XVI, N 93).

[4] Главный герой романа Л. Н. Толстого «Воскресение».

[5] Знаменитая постановка «Короля Лира» с С. Михоэлсом и В. Зускиным в ролях Лира и Шута.

727. С. Д. СПАССКОМУ

14 апреля 1935, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич.

Вы должны меня считать свиньей и с своей стороны будете правы, но ленинградские обстоятельства, а с недавнего времени и московские, несмотря на легко предугадываемую безуспешность моего участия, меня все же коснулись[1]. Кроме того, мне все труднее становится отказаться от работы над романом, который начинает жить и все более меня занимает, ни капельки тем не менее не приближаясь к концу.

Ваш восхитительный Важа Пшавела[2] превзошел ожиданья. Вы вызвали мою искреннюю зависть. Неужели ни Гольцев, ни Тициан Вам об этом не писали?

Что Вы сейчас делаете и выздоровели ли?[3] Пожалуйста, не думайте, чтобы между нами (*с моей стороны*) что-нибудь могло измениться. Я только молчаливей и вынужденно-сдержанней прежнего, потому что в этом году на меня валится больше обычного и с совсем особенной бестолковостью: я меньше, чем хотел бы, принадлежу себе.

Еще раз горячо Вас поздравляю с переводом. Вы от многих о нем услышите, предвижу большую от него для Вас пользу[4]. Пишу второпях, и, кажется, у меня начинает заплетаться язык, — не сердитесь.

Крепко обнимаю Вас. Поцелуйте девочку и привет Софье Гитмановне.

Ваш Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9. — Автограф (собр. В. С. Спасской). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] См. письмо № 725, коммент. 1.

[2] Имеется в виду перевод С. Спасского поэмы Важа Пшавелы «Гость и хозяин».

[3] Желая помочь Спасскому во время болезни, Пастернак писал критику и издательскому работнику Ф. М. Левину: «Дорогой Федор Маркович!

Сдал Нине Алексеевне для Вас по просьбе автора книгу стихов Сергея Спасского. Автор нездоров, нуждается в отдыхе и испытывает денежные затруднения и это заставляет просить Вас просмотреть *книгу поскорее. Книга хорошая* и вообще Спасский заслуживает всемерной поддержки. Простите, что пишу глупости, сам не сплю вторую неделю, не знаю, что со мной сделалось. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, д. 1322). Датируется 1–3 мая 1935 по дате, поставленной К. Л. Зелинским.

[4] Восхищение Спасским как переводчиком грузинской поэзии Пастернак выразил также в письме 4 окт. 1934: «Вчера видел у Гольцева Вашего Чиковани (Под дождем). Что за восхищенье! Какой Вы молодец, и до чего мне радостно! Вот это поэзия, вот это мастерство, это вот я понимаю!! Мне тем легче судить об этой прелести и Вас с нею поздравить, что я хорошо помню подстрочник. Это настоящая близость к тексту, та пережитая и точная близость, тот тип близости, то ее пониманье, которое, не сговариваясь, мы в количестве 3-х — 4-х человек (Вы, я, Тихонов, отчасти Антокольский) невольно и естественно установили. А сколько горячей, драматической, взаимнороднящей правды в том, что четыре поэта, не славливаясь, под действием *одного и того же закона*, формировавшего их жизнь этих лет, *так* хватаются за эту возможность и *так* пишут русские стихи, получая от Грузии побужденье и оправданье! И опять — близость!» (Собр. соч. Т. 5. С. 350).

728. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ

Середина июня 1935, Москва

Золотой мой Женек.

Горячо благодарю тебя за оба письма, — очень они меня порадовали. Спасибо также за ландыши, вторгшиеся струею свежести на нашу бредовую Волхонку. Успокойся, детка, в Одоев я не поеду. Хотя все это выйдет гораздо дороже (что очень огорчает З<инаиду> Н<иколаев>ну), а также и труднее, чем если бы мы поехали на все готовое в дом отдыха, — тем не менее сняли мы дачку под Москвой, невдалеке от Болшева, в Загорянском, чтобы быть, на всякий случай, недалеко от Москвы.

Исследованья все получились довольно утешительные: малокровья у меня нет, расширенье сердца небольшое (13 см.), почки в порядке, сахару нет, — соли (небольшая склонность к подагре), — некоторое затвердение в легких, — словом пустяки. Глупо, что я это тебе пишу, — скорее сообщаю, имея в виду маму.

Я совсем бы выздоровел, дружок мой, когда бы только нормально спал. Но в последнее время стал я спать по 6 часов в сутки, и никак не могу нагнать своих прежних 8-ми. Говорю с такой уверенностью, потому что у меня резко к лучшему изменилось

настроенье и вообще все, за вычетом сна, улучшилось. И вот, если бы восстановился и сон (а он даже укоротился против того времени, что я к вам заходил), то с Божьей помощью все пришло бы в порядок. Хорошие симптомы: мне *хочется выздороветь,* хочется не головою и воображеньем, а всем нутром и телом, как бывает хочется есть; хочется выздороветь, хочется написать хорошую вещь, хочется жить хорошо; и вообще: я опять себя чувствую тем самым (без придаванья этому какой бы то ни было объективной цены, а лишь для себя, внутренне) кем, в лучшие свои минуты, чувствовал себя всю жизнь. И вот если бы только начать спать как следует, даю тебе слово, все пошло бы как по маслу.

Очень рад, что у тебя нашлись товарищи для прогулок. Гуляй, лазай по деревьям, загорай, мне хотелось бы, чтобы ты был сильным и мужественным, — не надо быть трусом. Если мама при этих словах улыбнется, то, во-первых, если я даже сам не таков, каким хотел бы тебя видеть в будущем, это не резон, чтобы мне не желать для тебя лучшего, нежели дали мне моя природа и воспитанье. А во-вторых, это и неправда: мама меня знает только с одной, несколько своей, стороны: вырастешь, она может быть и сама тебе что-нибудь расскажет; или — я. Я только то хотел сказать, что у тебя есть *все задатки* быть тем, чем бы я хотел, чтобы ты был.

Ну я записался, хочу еще маме написать. Прощай, наслаждайся отдыхом, ешь побольше. *Твой папа*

Дорогая Женюра, спасибо за письмо. В разгар нездоровья, прочел пьесу Ломоносовой (ничего, думал будет хуже), и ей, также и за тебя, ответил[1].

На душе у меня лучше, и все бы хорошо, если бы я больше спал.

Хотел поподробнее написать тебе о сужденьях врачей и о том, что я думаю предпринять в ближайшем будущем, но все это еще пока неясно из-за неудобств городской квартиры. Советуют до дачи полечиться гидротерапией, но для этого надо остаться в городе. Шура с Ириной дома хозяйствовать не будут (обедают на службе) — вообще все это неясно еще, т. е. об этом рано говорить.

Рад, что тебе на даче нравится и что собираешься работать. Деньги в середине месяца будут, оставлю их Людв<иге> Б<енционовне>.

О книжках Лена сговорилась с Зиною, и позволь мне на этот раз в эти дела не вмешиваться и даже их не касаться. Хотя я стараюсь ничего дурного в моем состояньи не замечать, все же стоит мне поднять какую-нибудь незначительную тяжесть или немножко

взволноваться, как сейчас же начинается трепыханье сердца. Хочу верить, что это — временно. Будь здорова, еще раз за все большое спасибо. Поцелуй крепко от меня Елизавету Михайловну. *Твой Б.*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Р. Н. Ломоносова прислала Пастернаку свою пьесу о Пушкине; 11 июня 1935 Пастернак писал ей: «Я не без страха начал читать "Дуэль". Вы раньше художественных вещей не писали, Вы не профессионал, у Вас нет подходящего опыта, все вероятья были против Вас, — и что же: Вас надо поздравить. В основном Вы с труднейшей Вашей задачей справились, Вы молодчина и живой бесстрашный человек. <...> Мне трудно судить о мере *воплощенности* исторических материалов в Вашей пиесе, о степени соответствия Вашего Пушкина тому образу, который могут дать его полное знанье и длительное изученье. Вообще — показать Пушкина на сцене задача не только непосильно трудная, но в некоторых отношеньях может быть и невозможная. <...> И одно я сказать могу с чистою совестью и должен. Вся эта сложная сумма данных (общественных, светских, дворцовых, политических, личных, душевных, семейных и пр.) претворена Вами в один неделимый факт человеческой трагедии с такой простотой и захватывающей сердечностью, которая сделала бы честь и изощренному художнику-драматургу» («Минувшее», № 17. С. 370–371).

729. З. Н. ПАСТЕРНАК

1–2 июля 1935, Париж

Дорогая моя, Ляля моя, жизнь моя!

Не удивляйся, что не получала от меня писем. Я третий день ношу в кармане письмо к тебе, неоконченное и которого я не мог окончить. Все дни я был как в бреду и в страшной слабости не от обилия людей и впечатлений, а оттого, что, как я и думал, здоровье мое сильно ухудшилось в дороге. Вчера у меня был врач и дал мне кучу всяких лекарств, в результате чего я первую ночь сегодня спал по-человечески, около 8-ми часов. А до этого все пошло таким образом, что (с желудком, сердцем, сном и печенью) я был отброшен назад к тому состоянью, в каком меня видел Огородов[1].

Всякий раз, как я начинал письмо тебе, у меня делалось головокруженье и от волненья, и от слабости, и волей-неволей я откладывал перо. Все-таки было большой жестокостью со стороны всех (но не с твоей), что меня послали в таком состоянье. Не с твоей, т. е. ты в этом не виновата, потому что ты вторила с чужого голоса, ты ведь детка чудная, ты ребенок и ничего в таких случаях

не понимаешь. Не могу изобразить тебе пытки валянья без сна в удушливых (пусть и роскошных) раскаленных вагонах. Второй класс (с границы) означает только мягкие сидячие места, а отнюдь не спальные. Границы (Польши и Германии, Германии и Польши) приходились на ночные часы. Приходилось подниматься, едва задремав, и пр. и пр. Наконец, с едой все шло, как и когда Бог пошлет, без системы, с недоеданьем (случайным) и перееданьем. В том состояньи, в каком я нахожусь, мне просто страшно пускаться в обратную дорогу, я приеду в таком упадке сил, какого и в год у нас не восстановлю. Ты только подумай: 3 месяца длится теребленье нервов и каждоночное недосыпанье, ведь это хоть кого с ума сведет.

Здешний врач сказал мне, что он берется поставить меня на ноги в 2–3 недели. Вчера (потому что вчера я еще был полубезумным, измученным недосыпаньями неврастеником) я не хотел об этом слышать. Сегодня же, даже не спрашиваясь твоего совета, я с радостью хотел бы воспользоваться такой возможностью, если она материально осуществима, т. е. если наше правительство даст мне для этого достаточно нужной валюты. Все это выяснит Щербаков[2] через наше полпредство. Если меня согласятся денежно поддержать, я, значит, останусь тут отсыпаться и лечиться, если нет, я 4-го выеду с несколькими товарищами из делегации в Лондон и оттуда морем домой в Ленинград.

Золотой мой друг, что сказать тебе о Париже! Это прародина городов. Это целый мир красоты, благородства и веками установившейся человечности, из которого, как заимствованья, в свое время рождались всякие Берлины, Вены, Петербурги. Я массу расскажу тебе всякого, золото мое, когда приеду, в письме же не хочу тратить слов на описанье, потому что боюсь, что утомлюсь. Нечего также рассказывать (потому что и это заняло бы много места и времени) о том, как приняли меня тут. Что с того, что меня тут называют и гениальным и каким хочешь еще[3], когда между мною и этим признаньем все время стояла стена все омрачающей слабости, разлучавшая меня с людьми, с впечатленьями и с самим фактом моего успеха. Меня рисовали и фотографировали для нескольких здешних журналов: я был бы в ужасе, если бы что-нибудь из этого попало тебе на глаза. Помнишь одра (умиравшую лошадь) в Ильинском?[4] Таков я теперь. Я и этого письма не могу кончить никак. Все время то приступы слабости (головокруженье), то — люди. И сейчас, например, в моей комнате сидят дочь Мар. Цветаевой и ее отец[5], и они сами предложили мне продолжать писать письмо, за которым меня застали.

Когда сегодня в приемной у Потемкина[6] я себе представил, что останусь еще тут на месяц (пусть и в санатории), я вдруг все передумал и решил ехать в состоянии ухудшающегося здоровья через Лондон.

Таким образом, я в Москве, верно, буду в середине июля — и только бы доехать живым: ни о чем больше не мечтаю.

Здесь я часто встречался с Замятиным и его женой, с художниками Ларионовым и Натальей Гончаровой, с Ю. Анненковым[7], с Цветаевой, с Эренбургами и Савичами, еще больше мытарили и теребили меня французы.

Если для чего-либо я сел писать тебе, то только с одной целью: чтобы сказать несколько слов о тебе. Ты единственно живое и дорогое для меня на всем свете. Все мне тут безразличны. Более того: я даже не видал родителей. Они были в Мюнхене, когда я проезжал через Берлин, в Берлин для встречи со мной приехала одна старшая сестра с мужем, а со стариками я говорил по телефону[8]. Я обещал им, что на обратном пути заеду в Мюнхен и там остановлюсь на неделю, и вот видишь, как легко изменяю своему слову, нисколько об этом не думая. Зато ты — всё. Ты жизнь. Ты именно все правдивое, хорошее и действительное (невыдуманное), что я знаю на свете. И сердце у меня обливается тоской, и я плачу в сновиденьях по ночам, по той причине, что какая-то колдовская сила отнимает тебя у меня. Она отнимает тебя не только как жену и женщину, но даже как веянье простой мысли и спокойного здоровья. Я не понимаю, почему это так сделалось, и готовлюсь к самому страшному. Когда ты мне изменишь, я умру. Это совершится само собой, даже, может быть, без моего ведома. Это последнее, во что я верю: что Господь Бог, сделавший меня истинным (как мне тут вновь говорили) поэтом, совершит для меня эту милость и уберет меня, когда ты меня обманешь. Потому что ты не только Зиночка, и Лялечка, и женка моя, и прелесть, — но все, все. И я тут всем надоел тобою. Я чуть ли не французским журналистам говорил, что меня ничто на свете не интересует, что у меня молодая, красивая жена, с которой я вот уже в трехмесячной разлуке по причине какой-то неизвестной болезни. И так как все любят меня, то на основании слов моих начинают понимать, какая ты несравненная прелесть, чудный друг мой. Но если даже что-нибудь случилось, не бойся. Если ты вынуждена что-то скрыть от меня, повторяю, что-то большой силы, трагическое и облагораживающее, всё очистит моею смертью, и ты вспоминать меня будешь так, как это нужно после нашего Второго рождения и Охр<анной>

Грамоты[9]. Ты представляешь себе, как трудно писать при других (в моей комнате люди)? Насчет покупок не беспокойся, я все привезу, и мне только жалко, что нездоровье не даст мне возможности самому радостно и с ясными глазами походить по магазинам[10]. Итак, лечиться я во Франции не остаюсь. Но мне очень плохо, Ляля, я сплю только со снотворными.

Обнимаю тебя. *Твой Б.*

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972 (неверно датировано 10 июля 1935). — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Датируется по содержанию. Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо послано в Москву из Парижа». Написано на бланке Hôtel Palace (бульвар Сен-Жермен), где располагалась советская делегация, собравшаяся на Конгресс защиты культуры. Пастернак приехал 21 июня 1935 г. в последний день работы Конгресса.

[1] Врач, который был приглашен весной и потребовал отправки Пастернака в больницу для обследования его состояния и лечения.

[2] Оргсекретарь Союза писателей А. С. Щербаков возглавлял советскую делегацию в Париже.

[3] В корреспонденции из Парижа Эренбург записал: «Андре Мальро перевел речь Пастернака <...> Съезд ответил долгой овацией. Он понял, что значат слова Мальро: "Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени"» (Собр. соч. в 9 т.: Т. 9. М., 1967. С. 67).

[4] В Ильинском под Москвой находился конный завод.

[5] «Я как сейчас помню эту комнату — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем — стопка неразрезанных книг издания NRF, а сверху апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. Ему жарко, и он босиком», — вспоминала А. С. Эфрон свой приход с отцом к Пастернаку в гостиницу (10 янв. 1955; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 441).

[6] Владимир Петрович *Потемкин* был в то время советским полпредом в Париже, Пастернак передал ему поклон от отца, с которым тот был в свое время знаком (см. письмо № 730).

[7] Е. И. *Замятин* с женой Людмилой Николаевной уехали из России в 1931 г. Художники М. Ф. *Ларионов* и его жена Н. С. *Гончарова* были знакомы с Пастернаком по участию в футуристическом движении 1910-х гг. Ю. П. *Анненков*, автор портрета Пастернака 1921 г., писал о своих встречах с Пастернаком в Париже: «В продолжение его краткого пребывания во Франции мы много говорили о Париже, а не о советской революции. Политика по-прежнему его не интересовала» («Дневник моих встреч. Цикл трагедий». М., 1991. С. 193).

[8] Жозефина Пастернак вспоминала о своем свидании с братом: «Летом 1935 года, в Мюнхене, семья наша получила известие, что в такой-то день Борис пробудет несколько часов в Берлине по дороге в Париж. Родители в это время были у нас, в Мюнхене, и так как чувствовали они себя не

совсем здоровыми и не могли нам сопутствовать, муж мой и я отправились в Берлин одни» (Воспоминания. С. 26).

[9] Имеются в виду стихи 1931 г. из «Второго рождения», обращенные к Зинаиде Николаевне, и гл. 15 из «Охранной грамоты» (1931) о «гении и красавице» (часть третья).

[10] В письме к Пастернаку А. С. Эфрон вспоминала об их встрече в Париже: «...Мы сидели среди книг и апельсинов у тебя в гостинице, и ты был страшно влюблен (в Зину!) и нечленоразделен. Потом мы ходили с тобой в магазин и покупали ей маникюрный прибор и платье, и ты пытался объяснить мне ее рост и размер на моем росте и размере и в это время глядел на меня, но мимо и сквозь» (28 янв. 1952; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 406).

730. РОДИТЕЛЯМ

3 июля 1935, Париж

Дорогие мои! Надо же вам все-таки написать. Это мне трудно, — у меня при этом кружится голова. На этот раз мы не увидимся. Я вообще поеду не через Германию, а морем через Лондон. Через Мюнхен никто из делегации не едет, а у меня на самостоятельную поездку нет сейчас ни мужества, ни сил. Конечно, ничего глупее и грустнее нельзя выдумать, — но что же мне делать, когда здоровье мое вдруг так странно подорвалось, и вместо того чтобы его поправлять, судьба подсовывает мне сюрпризы вроде этой поездки. Разумеется, Париж мне сна не прибавил, и папа плохо представляет себе мое состоянье, когда пишет, что́ надо посмотреть. Как-то нас возили в Версаль и при осмотре дворца я должен был выбыть из строя после двух-трех зал. Я ничего сам не в состоянии сделать, и если вам кажется, что какая-нибудь неделя под Мюнхеном могла бы изменить дело двух месяцев (регулярная утрата сил, каждоночное недосыпанье и возрастанье неврастении), то вы переоцениваете свои возможности. Я не знаю, как все это случилось. Может быть, мне наказанье это все за Женю, т. е. за страданья, когда-то принесенные ей. Я не знаю, что будет дальше, и не хочу об этом думать. Но если я буду когда-нибудь опять здоров, мы тогда и увидимся по-настоящему. А теперь ну что же, что же мне делать! В. П. Потемкин очень вас помнит и первый о вас заговорил. Он очень благодарил за поклон.

Меня тут в писательских французских кругах встретили очень тепло и мило, но я не мог проявить большой активности, во-первых, из-за нездоровья, а затем и по просьбе Феди[1]. Не ждите от меня пространных писем ни отсюда, ни из Англии, с пути. Воз-

можно, что и по возвращеньи домой я буду еще долго отмалчиваться, пока, если только это еще дано мне, не стану вполне на ноги. Есть на свете Шура. Пусть, в смысле переписки, он на время заменит меня. И не сердитесь. Ну что, если бы пустившись через Мюнхен или даже Берлин один, я в дороге сошел бы с тоски с ума? Да, на это у меня не хватает мужества. Ах, если бы вы знали, какая у меня слабость и тоска на душе. Ну Бог даст, к чему-нибудь все это приведет, так оно остаться не может. Итак не удивляйтесь, не огорчайтесь и не сердитесь, что все это так глупо вышло. Кое-что я Жоне сказал, в смысле истории моего состоянья и вынужденности моего путешествия, — больше ничего не прибавишь[2]. И снова: временно забудьте обо мне, пусть Шура меня заменит. Помните, еще так недавно я хвалился здоровьем, и звал и вас и девочек к себе, — ну что ж упущено время. (Т. е. в смысле моего участия в этих делах.) Кончаю наспех: выясняется, что завтра едем через Лондон, выезжаем в 7 часов утра.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по почтовому штемпелю. Написано карандашом на бланке и в конверте Hôtel Palace.

[1] Ф. К. Пастернак во время встречи в Берлине предупреждал, что участие Бориса в антифашистском конгрессе может отразиться на уязвимом положении родителей в Германии.

[2] В качестве объяснения своего состояния Пастернак рассказал сестре о замысле своей прозы, посвященной Зинаиде Николаевне и истории ее отношений с кузеном Николаем Милитинским (Воспоминания. С. 26). См. также о причине его «травмы и несчастья» в письме к З. Н. Пастернак № 732. Ж. Л. Пастернак вспоминала о травмировавшем его «приказе» Сталина, решившего, по телеграмме Эренбурга, «укрепить» советскую делегацию на Конгрессе в Париже известными на Западе писателями, послав для этого их с Бабелем (там же).

731. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

4 июля 1935, Лондон

Лондон, 4. VII. 5 часов дня

Дорогая Раиса Николаевна.

Сейчас мы звонили Вам из посольства несколько раз но Вас никого нет дома[1]. По телефону, если бы Вы к нему подошли, я сказал бы, что в ужасе и что для меня большое горе, что Вы в таком состоянии и виде увидите меня. Еще больше стыдно мне было бы перед Юрием Владимировичем[2] и Вашим сыном. Знаете ли Вы,

что я послан был в Париж совершенно неожиданно против мой воли? Да ведь я писал Вам незадолго до этого из Москвы[3]. А с тех пор мне стало только хуже. Пока я не знаю в какой гостинице мы остановимся, это будут знать в полпредстве.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Написано на бланке с вытисненным государственным гербом СССР, отправлено из полпредства СССР в Лондоне.

[1] Накануне из Парижа Пастернак послал телеграмму Ломоносовой: «Malade 3 mois travers Londres le 5 ou 6 demandez ambassade=*Pasternak*» («Болен 3 месяца едем через Лондон 5-го или 6-го обращайтесь в посольство» — *фр.*). — Там же. С. 377.

[2] В это время Ю. В. Ломоносов был в Берлине, куда Р. Н. писала ему о свидании с Пастернаком: «Позавчера приехал Пастернак с группой других. Он в ужасном морально-физическом состоянии. Вся обстановка садически-нелепая. Писать обо всем невозможно. Расскажу. Сегодня они все отплывают. <...> Он даже газеты читать не в состоянии. Жить в вечном страхе! Нет, уж лучше чистить нужники» (6 июля 1935; там же. С. 378).

[3] См. письмо № 728.

732. З. Н. ПАСТЕРНАК

12 июля 1935, Ленинград

12. VII. 35

Сейчас телеграфировал тебе. Боюсь всех московских перспектив: домов отдыха, дач, Волхонской квартиры — ни на что это у меня не осталось ни капельки сил. Остановка моя у тети Аси — случайность. Я приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии, т. е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. В этом состоянии я попал в тишину, чистоту и холод тети Асиной квартиры и вдруг поверил, что могу тут отойти от пестрого мельканья красок, радио, лжи, мошеннического и бесчеловечного по отношенью ко мне раздуванья моего значенья, полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающих мне то́ о тебе, что стало моей травмой и несчастьем[1], и пр. и пр. И надо же наконец обресть тот душевный покой, которого я так колдовски и мучительно лишен третий месяц! Мечтал о разговоре с тобой, которого не сумею передать в письме. Но ты сюда не приезжай, это слишком бы меня взволновало[2]. Свою поездку постарался сделать интересной главным образом для тебя. Для себя почти ничего не купил. У Щербакова список вещей, задержанных на ленинградс-

кой таможне. Попроси его, он поможет тебе их выручить и получить[3]. Там только несколько пустяков для Жени, но т. к. неудобно, чтобы думали, что я вез тебе три вязаных шерстяных платья (как оно и есть), то говори, что это подарки: тебе, невестке, Жене и другим. Тебе же и новый французский чемодан, который здесь со мною. Кроме того, я для тебя у Ломоносовой в Лондоне оставил 42 фунта стерлингов[4], но этого никому нельзя говорить, я бедность своих закупок объяснил необходимостью возвращенья долга Ломоносовой, пусть так оно и считается.

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60).

[1] З. Н. Пастернак вспоминала, что, поехав в Ленинград в феврале 1935 г. в дни декады грузинской литературы, была счастлива оказаться в этом городе впервые после 1917 г.: «...Я припоминала свое детство и мой первый роман с Николаем Милитинским, как странно, что судьба забросила в ту самую гостиницу, куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью, на свидания с Милитинским» (Воспоминания. С. 188). См. также письмо № 730 и коммент. 2 о разговоре с сестрой об «истории» его состояния.

[2] З. Н. Пастернак поехала к мужу в Ленинград, еще не получив этого письма, увезла его в Москву и поместила в дом отдыха в Болшеве.

[3] З. Н. Пастернак вспоминала: «Все жены, и я в том числе, отправились на вокзал встречать поезд из Ленинграда. К моему ужасу, Бориса Леонидовича среди приехавших не было. Руководитель делегации Щербаков отвел меня в сторону и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что ему кажется, что он психически заболел <...> С большой любезностью Щербаков помог достать мне билет в Ленинград и дал письмо в ленинградский Внешторг с просьбой выдать все вещи, приобретенные Борисом Леонидовичем в Париже и задержанные на таможне. Щербаков рассказал, что Борис Леонидович купил там только дамские вещи, это показалось подозрительным, и багаж не пропустили <...> Когда мы явились на таможню, нас ввели в комнату, где большой стол был завален действительно только женскими вещами, начиная от туфель и кончая маникюрным прибором» (Воспоминания. С. 190–191).

[4] Из этих денег Пастернак в письме № 741 просил Ломоносову прислать 8 фунтов для З. Н. Остальные были положены в банк и остались невостребованными. Летом 1958 г. Пастернак узнал о бедственном положении Ломоносовой и 17 июля писал сестре Лидии, что «неожиданно вспомнил, словно в далеком и смутном сне, что двадцать три года тому назад она отложила небольшую сумму денег на мои возможные будущие нужды» и просил сестру, передать ей, чтобы она воспользовалась ими для себя (Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 291). Ломоносова решительно воспротивилась этой помощи.

733. РОДИТЕЛЯМ

16 июля 1935, Ленинград

Ленинград. Европейская гостиница
16. VII. 35
Дорогие мои.

Вам, верно, уже пишет тетя Ася, и я не знаю, что она вам пишет. Но она в большом беспокойстве насчет того, не волнуетесь ли вы относительно моего здоровья, и по ее настояниям я телеграфировал вам вчера отсюда[1].

Все мое нездоровье сводится к бессоннице, т. е., вернее, к сильно сократившемуся в апреле месяце и перешедшему в привычку неполному сну (часов по 5 по 6 в день) — это меня сильно ослабляет, огорчает, бесит, мучит. Лечиться я, по-видимому, не умею, или лучше сказать, лечиться мне, по-видимому, не судьба, ибо сколько раз я за это ни принимался за истекшие 3–4 месяца, все это по каким-либо причинам оказывалось невозможным.

В первый дом отдыха (в конце мая) мне, наверное, следовало поехать одному, а я поехал с Зиной, и там только мое здоровье ухудшилось, затем, в середине июня, когда я поехал в другой, на этот раз один[2], меня, не давая мне возможности от этого отказаться, послали за границу. Меня видели Федя и Жоня[3]. Дальше мое состоянье только развинчивалось, и (чтоб не ходить дальше, в доказательство очевидной несужденности нормальной поправки) — приведу последний пример.

Я прибыл в Ленинград (море я люблю и переношу превосходно) в состоянии совершенной истерии (от неспанья и вечной подсознательной боязни, что она меня делает житейски несостоятельным). Как только я попал в гостиницу, я по телефону вызвал к себе Олю, перед которой разрыдался так же позорно, как перед Жоничкой. Тетя Ася и Оля предложили мне пожить и отдохнуть у них неделю-другую. Я не только их предложенье принял, но с радостью должен был установить, что в абсолютной тишине и темноте Олиной комнаты провел первую нормальную за три месяца ночь. Я радовался сну как неслыханности и готов был этими семью часами покоя гордиться. То же повторилось на другую ночь. Я с восхищеньем увидал, что то́, чего мне не могли дать снотворные русские, французские и английские яды, которыми я вынужден был отравляться ночь за ночью (больше месяца) доро́гой, дают мне тишина, холод, чистота и нравственная порядочность тети Аси и Оли. И вот, казалось бы, путь к излеченью был найден,

я мог бы воспользоваться предложеньем тети и остаться у ней дней на двадцать, отоспаться, успокоить нервы, отдохнуть от впечатлений и людей. Но не тут-то было. С первого же дня я заметил, как их стесняю.

Первую ночь обе из-за меня спали вдвоем на одной кровати и не выспались, потому что Оля уступила мне свою кровать. Я купил для себя новую. Но дальше оказалось, что и это не поможет, потому что у Оли в комнате, где я ночевал, занавеси плотные, а в комнате у тети, куда она перешла, они из светлой материи, и Оле от этого спалось хуже. Я так эгоистически был заинтересован в том, чтобы остаться у них, что оставляя в стороне явную очевидность того, как их стесняю, собирался купить темные занавески для тети Асиной комнаты.

Но в это утро из Москвы по телефону позвонила Зина, встревоженная моим неприездом, слухами о моем нездоровьи и отсутствием вестей от меня, и сообщила, что выезжает в Ленинград за мною.

А так как у нас с тетей было условлено, что на срок предложенного первоначально пребыванья у них я ото всех семейных и близких укрываюсь, и она даже хотела писать Жене о том, чтобы она не приезжала, если бы та возымела такое желанье, то моим согласьем на приезд Зины я возмутил ее и Олю, и они стали говорить, что теперь весь план расстроен, чтобы теперь я с Зиной уезжал и т. д. и т. д.

Все это слишком глубоко и тонко для моего пониманья. По-моему, предложенье их было просто невыполнимо, и им не по силам; если же допускало технические возможности, то мое однодневное или двухдневное свиданье с Зиной нисколько этой возможности дальнейших ночевок у них (после отъезда Зины) не отнимало. Вышло же так, будто они за меня хотели жизнь положить, а я этот благородный порыв растоптал ногами.

Was ist der langen Rede kurzer Sinn?* То, от чего я мучусь и страдаю — не органическая болезнь, от этого не умирают, — значит, будьте спокойны, как-нибудь все устроится. Но пусть вас не удивляет, не огорчает и не потрясает то, что мы не свиделись: в Париже я был в состоянии полубезумья: из этого бреда нельзя было предпринять ничего волевого, осмысленного. Все время я смотрел на эту кучу людей, денежных затрат и пр. как на *не мою* поездку, как на несостоявшуюся.

---

* В чем же краткий смысл длинной речи? (*нем.*)

Я знаю, что мы вновь увидимся. Очень возможно, что мне теперь выезжать будет легче. Но всему этому потоку возможностей, чувств, конъюнктур, улыбок и пр. хочется сказать: не сейчас, не сейчас, а как-нибудь в другой раз. Что же мне делать, что я в каком-то отношеньи сбился с панталыку, и мне надо сначала снова стать на рельсы.

Зинушин приезд в Ленинград сразу избавил меня от половины панических химер, посещавших меня в пути во время бессонниц. Но та же радость, которая когда-то валила меня с ног, сейчас только обострила мою бессонницу. Итак, не тревожьтесь и будьте покойны. Пишите по Волхонскому адресу, с запозданьями, но буду получать. Я буду где-нибудь под Москвою, и мне будут пересылать туда.

Целую без конца вас всех. Горячо, горячо благодарю за все сделанное вас, Федя и Жоня. Не надо удивляться. Когда успокоюсь и немного приду в себя, напишу о путешествии, а не только об упорном желании вновь восстановить утраченный рекорд 8-мичасового сна.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] 14 июля 1935 Пастернак послал телеграмму: «Благополучно высадился в Ленинграде. Тетю Асю нашел здоровой и веселой. Целую, обнимаю. *Борис*» (перевод с нем.). — Там же. Кн. II. С. 125.

[2] Пастернак находился в доме отдыха в Болшеве (КСУ — Комиссии содействия ученым), недалеко от Загорянки, где снимала дачу З. Н.

[3] В Берлине 20 июня 1935 г. между поездами из Москвы и в Париж.

734. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 июля 1935, Ленинград

16/ VII. Ленинград

Дорогая Женюра, милая, прости меня, если еще можешь, и не суди ни за что. Все что обо мне сообщалось, общие места и глупая ложь, я нигде не говорил ничего из того, что приводилось, ни одно из приписываемых мне сообщений не мое[1]. В дороге и в Париже мне стало хуже, я по сей день не сплю и только у тети Аси стал чуть отходить, как выяснилось, что я их стесняю, т. е. что они (тетя Ася и Оля) не спят из-за меня. За мной сюда приехала Зина. Сегодня я уезжаю отсюда и почти без заезда в Москву отправляюсь в Болшево (дом отдыха КСУ). Напиши мне, пожалуйста, туда,

когда ты думаешь быть в Москве, т. е. сообщи несколько предположительных чисел твоего приезда. Но не пиши ничего осуждающего, укоризненного или волнующего, умоляю тебя, это мне будет стоить многого.

Эта поездка была для меня мученьем: ездил больной человек[2]. Может быть, мне это все — наказанье за тебя, за твои когдатошние страданья (хотя какая тут логика: ведь и я их тогда же тоже разделял).

Вот доказательство того, до чего мне было тоскливо, до чего я был в поездке болен душою. В Берлин из Мюнхена приехали Жоня с Федей, а старикам по телефону в Мюнхен я обещал, что на обратном пути к ним заеду и у них отдохну. И я не сдержал слова и их не увидел! Я их не увидел так же, как не писал тебе, как помешал тебе быть на вокзале — как не привез Женёнку ничего стоющего — но если бы вы имели понятье о пытке этого путешествия!

Зато ведь я познакомился в Лондоне с Р<аисой> Н<иколаевной>! Как они (Юрия Владимировича не было, — он в Германии на курорте) — т. е. Р<аиса> Н<иколаевна> и Юр<ий> Юр<ьевич> (Чуб) вас любят! Только о вас, о тебе и о Женичке и говорили! Но и там, в Лондоне, я был совсем разварной, бессонный, измученный, нравственно пришибленный, — воображаю, каким разочарованьем было для нее знакомство со мной! Я почти ничего не привез тебе и особенно — Женёчку, т. е. такие пустяки, что о них нечего говорить. Но вся эта поездка была бредом, мученьем: я ее не считаю своею, *она не* состоялась! Золотой мой Женек, папка твой не по своей вине делает иногда подлости: надо быть здоровым, чтобы желать, думать и поступать. Друг мой и сын мой, не осуждай меня. Когда выздоровею, все устроится.

Женя, напиши мне, как вы и что вы. Без счета вас обоих целую.

Ваш Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Имеется в виду текст радиоинтервью с членами советской делегации, возвращавшейся с Конгресса защиты культуры, опубликованный в двух различных вариантах в газетах «Известия», 11 июля 1935, и «Правде», 11 июля 1935 (см. «Редакции “Известий ЦИК и ВЦИК”, т. Бухарину». — Т. V наст. собр.).

[2] «Я чувствовал себя, как тот, знаете, спартанский мальчик, который украл лисицу, спрятал ее под хитоном и на допросе молчал, пока лисица выедала ему внутренности», — записал Лев Лосев 29 янв. 1956 слова Пастернака о его поездке в Париж (Boris Pasternak. Norwich Symposia. Vol. I. Northfield, Vermont, 1991. С. 283).

735. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

5 августа 1935, Москва

5.VIII. 35

Дорогой мой друг Раиса Николаевна, без конца благодарю Вас за Ваши письма, привезенные мне в Ленинград Зиною и из Парижа одним из задержавшихся членов делегации. Я не раз, конечно, начинал писать Вам, но мои состоянья, которых Вы были свидетельницей, не столь интересная тема, чтобы можно было занимать Вас ими издали, как я это делал вблизи.

Мне не стало лучше на море, т. е. я не стал спать больше и чувствовать себя лучше душевно, напротив, в Ленинград я, глядя на то время теперешними глазами, приехал человеком почти ненормальным, и думал застрять там надолго, потому что мне не хотелось в таком виде ни к кому из своих в Москве.

На третий день меня без адреса разыскала З<ина>, и ее приезд перебросил меня из прежней крайности в новую. Если я последние месяцы недосыпал от каких-то причин депрессивных, то радость встречи с ней в первое время лишила меня совершенно сна именно потому, что разрушила часть мучивших меня в поездке химер, и выше нормы подняла мое настроенье.

Если у Вас есть возможность позвонить Mr.-у Rickman'у[1], горячо поблагодарите его за единственную в его лице поддержку, которую я получил со стороны медицины в эти глупые торжественные и несчастные для меня недели. Он поддержал меня, во-первых, тем, что сам мне страшно (как человеческое явленье, со всем вечером, Лондоном и домом) понравился. Во-вторых же, тем, что на мой вопрос, нельзя ли на все плюнуть и начать опять жить, как я привык раньше (до встречи с первым сердечником, нашедшим у меня расширенье), одобрил этот план, как наилучший[2].

Мне хотелось бы сказать Вам, что я выздоровел, но пока это преждевременно. Выздоровел я душевно, т. е. избавился от печали и ложных страхов, так терзавших меня. Но зимнего, прошлогоднего состоянья я еще не восстановил и спать по 6 часов в сутки стало очевидно для меня привычкой.

Вы и Rickman совершенно правы, — доктора и лекарства в моем деле помочь не могут. Корень болезни и средство избавленья от нее уясняются мне теперь постепенно с притоком жажды жизни и деятельности, вернувшейся лишь в последнее время.

Если я буду совершенно здоров, то лишь зимой, на новой квартире, которую я добуду хотя бы из-под земли[3] и сам обставлю,

за работой, гораздо более независимой, чем те усилия, на которые ушла вся прошлая зима, при общественном поведении, более резко расходящемся с моими компромиссами последнего времени в сторону хорошо известного Вам нынешнего нашего единообразия. Потому что от этого-то ведь и заболел я в конечном результате, от утери собственной воли, постепенно вытесненной цепью ложных положений, протянувшихся с прошлогоднего съезда[4], и чем дальше, тем более неловких и фальшивых.

Мне страшно жалко, что Вы меня увидели именно таким. Все это сложилось как-то фатально. Особенно мне неприятно, что ради создавшейся последовательности и может быть из чувства жалости, Вы не оставите моих писем без дружеских ответов, продолжая знакомство со мной по-прежнему, точно заочные Ваши представленья о человеке, оказавшемся на деле другим, и таким растерявшимся и ничтожным, не принесли Вам разочарованья.

Я же скажу Вам, что присоединился к партии, ехавшей через Лондон, только чтобы повидать Вас, — скажу точнее и правильнее: сознанье невыгод моего состоянья меня не останавливало, при той простоте и естественности, которую Вы мне в отношеньи себя внушаете и всегда внушали.

Спасибо Вам за Лондон, спасибо за то, что не был он мукой и бессонным бредом, каким был бы без Вас. Я много рассказывал о Вас Зине, она уже как бы с Вами знакома. Так как она корреспондентка ничуть не более прилежная, чем Женя, то за нее передаю Вам ее благодарность и восхищенье частью того, что мы с Вами вместе выбирали, особенно серым костюмом (помните?). Остальное передано Жене и другим знакомым. Поблагодарю Вас горячо и за Женю, когда еще она раскачается. Я ее видел лишь совсем недавно, когда стал себя лучше чувствовать. Половина разговора была о Вас (мне теперь уже кажется невероятным, что я был в Лондоне, что мы виделись, что я видел двор Artillery Mansions[5]). Почему-то мне верится, что мы еще раз увидимся при более для меня благоприятных обстоятельствах. Особенно горячо благодарю Вас за последнее письмо[6], с упоминаньем о звонке Dr. Rickman'a, может быть даже и дружески вымышленном Вами ради моего успокоенья. И вообще, спасибо, спасибо. Я не дописывал начатых Вам писем, потому что все ждал полного и окончательного перелома, и хотя он стал наступать по моем возвращеньи из поездки, мне все казалось недостаточным. Что же касается автографов, то не делайте себе из них забот, или же замените своим

собственным[7]. Сердечный привет Ю<рию> Ю<рьевичу> и Dr. R<ickman'y>.

Ваш Б. П.

Лично Ваши подарки (особенно заколдованные автомобильчики) пользуются большим успехом[8].

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

[1] Джон *Рикман* — врач-психиатр, два года проведший в интернациональном квакерском отряде «Помощи жертвам войны» в Бузулукском уезде Самарской губернии в 1916–1917 гг. Ломоносовы познакомились с ним в США по пути его возвращения в Англию в 1918 г.

[2] Ломоносова писала Пастернаку: «Dr Rickman говорит, что Ваша болезнь — борьба нескольких начал в Вас самих, и убежден, что Вы поправитесь, закалитесь в этой борьбе и Ваше творчество это сильно выразит» (15 авг. 1935; там же. С. 382).

[3] Речь идет о строительстве писательского дома в Лаврушинском переулке, Пастернак получил квартиру там только к концу 1937 г.

[4] Имеется в виду Съезд писателей.

[5] Улица в Лондоне, где жила Ломоносова.

[6] Письмо 7 июля 1935, где Ломоносова передавала сожаления доктора Рикмана по поводу быстрого отъезда Пастернака: «Видно, он Вас сразу полюбил. По его тону чувствовалось, что его интерес к Вам был много более чисто докторского. Он просил написать Вам, что он глубоко убежден, что Вы поправитесь, что Вы человек сильного духа, но надо Вам стараться обрасти кожей чуть потолще. Доктора и лекарства тут помочь могут мало» (там же. С. 378).

[7] В письме 7 июля 1935 Ломоносова просила «для английских поклонников» Пастернака несколько его автографов, о которых забыла попросить во время их встречи (там же).

[8] Е. В. Пастернак писала Ломоносовой: «Женичка Вас очень благодарит за автомобильчик и футбольный мяч, который привез ему от Вас Борис Леонидович» (7 янв. 1936; там же. С. 388).

736. З. Н. ПАСТЕРНАК

14 августа 1935, Болшево

14. VIII. 35. Болшево

Вечер без тебя, ты сейчас уехала. Спасибо тебе, что ты такая, что я так люблю тебя, что ты разливаешь столько радости вокруг себя, что столько ее даешь мне. Тяжело и неприятно видеть Соколовых, которых при тебе не было: потому что они мне *не напоминают твоего здешнего пребыванья*, они лишние, я не понимаю их назначенья.

Исхода письма к Калинину правда жду как чего-то нашего с тобой, как ребенка: родим свободу Виктору[1]. Или по крайней мере некоторое облегченье. Когда же я научусь быть без тебя? Это труднее поэзии, покера и волейбола. Ты такая замечательная, такая моя, как моя противоречиво больная, никому не объяснимая жизнь. Вдруг тебя вырвали из ночи, и она осталась грустная, ноющие пустая.

Ничего, что я написал тебе <?>. *Твой Б.*

Это для Сельвинского[2].

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Написано в Болшеве».

[1] Речь идет о письме председателю ЦИК М. И. Калинину с просьбой об облегчении участи *Виктора* Феликсовича Анастасьева (Блуменфельда), осужденного на десять лет. «...Я узнала, — вспоминала его жена, — что Б. Л. написал Калинину, просил Виктору уменьшить срок: "Сделайте это для меня", — просил он. Я получила бумагу из ЦИКа — срок сокращен до 5 лет...» (Маргарита Анастасьева. «Век любви и печали». М., 2002. С. 229).

[2] Подпись под рисунком румынского флага, состоящего из трех вертикальных частей: синего, желтого и красного.

737. З. Н. ПАСТЕРНАК

Конец августа 1935, Болшево

Родная моя Лялечка!

Я не стал спать больше прежнего, но я принялся за работу, и внутренний ад, в котором я находился 4 месяца, кончился. Не знаю, насколько это прочно и окончательно, но если дело пойдет на лад, я буду тем же методическим счастливцем, каким был всегда, я проживу тут, в Болшеве, на страх директорам, всю зиму.

Это та же зимняя проза, опять, как всегда, ты в центре[1], но я хочу написать ее заново, по-своему, в духе и характере «Охранной Грамоты» и «Волн».

Этого страшного лета не было бы, если бы я не отступил от пожизненных навыков, если бы не струхнул в апреле и не стал слушаться знакомых и врачей, если бы взамен привычки *производить* не стал делать попыток *поправляться*. Какой это все был бред и какое счастье, что я все-таки не рехнулся. Но сил у меня устрашающе мало по сравненью с прошлым годом, и я не понимаю, отчего это. От сердца ли? Или от огромного множества недоспанных часов?

Я хотел тебя порадовать этим письмом, и меня огорчит, если я не достигну цели. Не беспокойся обо мне. Утром, лежа в постели, я мечтал: к зиме, за работой, я приду к какому-то равновесью, если не к прежнему, то к какому-то новому, менее молодому. Вещь надо будет за зиму написать великолепную по силе подлинности, по сжатой душевности и краске. А перед весной мы поедем с тобой куда-нибудь за границу (в Париж или к Роллану), но так, чтобы по пути побывать у моих стариков.

Итак, не тревожься обо мне. Я живу тобою постоянно, но так, как это бывало раньше, веселясь и радуясь твоему вечному присутствию в моей душе, а не как осиновый лист на твоем горячем ветру, как это было в последнее время.

Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумья, в которых, сдерживаясь и борясь против них, я пребывал.

Поцелуй Тусю, Аню и Анну Федоровну[2]. Расскажи Гаррику, что я переделываю прозу ближе к музыке и поэзии, нежели это было раньше, и что мне лучше; крепко обними детей. Кланяйся своим друзьям. Я не столько ревную тебя к ним, сколько все-таки они мне *и тебе* (пройдут годы, и ты сама в этом убедишься) чужды. Именно оттого, что они не как ты, мне с ними так и тяжело. Они тоже источники моего проклятого лета, как и врачи и их рецепты. Паразитарный, цинически-словесный, не прокаленный плодотворным страданьем, благополучный, буржуазно-еврейский мир и круг.

Итак, в третий раз, будь здорова и не беспокойся. Приезжай, руководствуясь удобством, т. е. когда это надо будет совместить с провизионной поездкой в Москву[3].

Сюда понаехало много нового народу. Из прежней крайности я ударился в новую: стал резок и груб и уже обидел одну отдыхающую, когда она мне пролепетала что-то про вдохновенье. Приехал поэт Сурков. А черный англичанин, друг Капицы, оказался всемирной знаменитостью. Это Диррак[4], один из творцов послеэнштейновской микромеханики, про которого мы с Гарриком читали в книге Джинса[5]. Надоеда Гандольфи[6] прислала ко мне своего зятя. Он пришел ко мне во время работы, очень витаминный молодой человек, с которым трудно было разговаривать, так от него пахло луком. Перенес его на 7 часов, пригодится для волейбола.

Ляля, думаешь ли ты обо мне, знаешь ли и любишь ли меня?

Всегда и весь твой Б.

Третий день купаюсь, но когда пробую делать гимнастику, вижу, как съехал вниз против прошлого года. Но, в общем, мне лучше, наконец лучше душевно, ура, ура и тра ра ра ра.

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Датируется по содержанию. Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано из Болшева, санатория ученых, в Загорянку, где жила я с детьми».

[1] Прошлой зимой Пастернак писал прозу, продолжавшую «Повесть» (1929).

[2] Анна Николаевна Вильям и ее мать.

[3] З. Н. Пастернак все еще жила на даче в Загорянке, и за продуктами приходилось ездить в Москву через Болшево.

[4] Друг академика Петра Леонидовича *Капицы* Поль *Дирак*, английский физик, в 1931 г. был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук СССР.

[5] Английский астроном Джеймс *Джинс*, автор знаменитой книги «Вселенная вокруг нас» (М.–Л., 1932).

[6] Надежда Игнатьевна *Гандольфи* — преподавательница пения.

738. Т. ТАБИДЗЕ

6 сентября 1935, Москва

6. IX. 35

Золотой мой Тициан!

Долго рассказывать, что со мной было все это лето. Я и сейчас не поправился, но решил перестать обращать вниманье на сердце, на печень, на сон, и на нервы, а главное, я опять дома, с Зиною, и опять несколько узнаю себя, правда, не таким, как прежде, но все же как бы собою. Когда-нибудь я подробно расскажу Вам, что я вынес за эти 4 месяца, а пока ограничусь тем, что надо знать Вам одному, лично Вам.

В течение этих мучений я не перестал любить своих близких и стариков, не забыл Паоло и Генриха Густавовича, не отвернулся от лучших своих друзей. В Париже я виделся с Мариной Ц. Но в эту поездку, как и в многочисленные и бесцельные отлучки в разные дома отдыха, куда я приезжал для поправки и где сходил с ума от тревог одиночества, я неизменно возил с собой, как талисманы: постоянную мысль о З. Н., одно письмо Райнера Марии Рильке и одно Ваше, весеннее[1], — помните? Я часто клал его себе на ночь под подушку, в суеверной надежде, что, может быть, оно мне принесет сон, от недостатка которого я так страдал все лето.

Щербакову, с которым я разделял каюту по пути из Лондона в Ленинград, я много рассказывал о Вас. Это было самое худшее время моих испытаний, какая-то болезнь души, ощущенье конца без видимого наступленья смерти, сама тоскливая немыслимость. И тогда, когда я задумывался над тем, что же будет дальше, я иногда представлял себе, что отпрошу Вас у Нины и доваландаюсь остаток дней при Вас, Тициан, где-нибудь близ Казбека. Но это были размышленья, зиждившиеся на нескольких чернейших допущеньях.

Все это прошло. Меня печалит и временами пугает резкая перемена, происшедшая со мной в этом году. Но ни лечиться, ни ездить куда-нибудь на отдых или поправку я больше не буду. Хочу попробовать поработать (я больше 4-х месяцев ничего не делал).

Надо ли говорить, как я Вам благодарен за вашу память, за теплоту и щедрость Вашего сердца. Вы знаете, как сильно я люблю Вас, — сильнее Вас только Зину. Привет от всей души родным Нине и Ниточке.

Ваш Б.

Я еще раз напишу Вам. Я только что приехал в город, разобрал вещи, нашел Ваше новое письмо, и эти несколько слов моих — вместо телеграммы. Горячий и сердечный привет Паоло. Эта дружба тоже неизменна, в ней тоже большое счастье.

Пусть дальше припишет Зина.

Впервые: Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. — Автограф (ГМГЛ, ф. 20898).

[1] Ответ Рильке на письмо Пастернака (3 мая 1926) и полученное за несколько дней до отъезда в Париж письмо Табидзе (17 июня 1935) с выражением любви к Пастернаку в Грузии и беспокойства о его здоровье. «Встречи с Вами для меня чистилище — я только тогда возвращаюсь к поэзии, признаться, я давно не испытывал такого чувства, это бывает в ранней юности, в горячке первой любви», — писал Тициан (там же. С. 245).

739. РОДИТЕЛЯМ

Конец сентября 1935, Москва

Дорогие мои!

Поздравьте от меня Лидочку с ее и нашей общей радостью, и сами примите мои горячие по этому поводу поздравленья[1].

Как это все замечательно! Я читал ее письмо Женёнку, и горю нетерпеньем познакомиться с ее мужем. Вот было бы чудно, если

бы они действительно приехали к нам! Ведь я совсем недавно так странно и скоропалительно, и как во сне, побывал в Лондоне. Мне так легко, хотя бы территориально и только внешне представить себе ее будущее жизнеустройство.

Теперь несколько слов о себе. Из Ленинграда я написал вам по настояниям тети Аси. Мне далеко еще не было так хорошо, как я вам сообщал, это надо было, чтобы вас успокоить.

Надо ли говорить о том, что вас так поразило и опечалило? Я и тогда, и в особенности теперь, так надеюсь на нашу скорую встречу в других и лучших условьях, что лучше об этом не распространяться. Во всяком случае такая неслыханность и бессмыслица, как то, что я не приехал к вам, сама за себя говорит. Может ли ее что-нибудь объяснить, если она сама себя именно этой беспримерностью не объясняет? Судите по последней о моем тогдашнем состояньи. Жизнь тогда прекратилась для меня, и я четыре месяца подряд, все это ужасное лето ждал ее возвращенья. В продолжение более, чем 4-х месяцев не было ночи, чтобы я спал более 5—6-ти часов. Это прекратилось только недавно, месяц тому назад, с переездом в город.

Разумеется, результаты такого долгого недосыпанья и душевной депрессии, вызывавшей его и поддерживавшей, должны были сказаться. Когда к 1-му сентября кончилось, наконец, это страшное для меня лето с разъездами и переездами с места на место, с пребываньем в людном доме отдыха, ничего, кроме болезненного чувства разлуки с Зиной мне не дававшего, и я, наконец, успокоился, за разрядившимся туманом расстроенного воображенья, на очистившемся фоне восстановленного душевного равновесья обрисовался ряд объективных легко осязаемых дефектов. Долгое время у меня круглыми днями болело сердце, руки, появились головные боли, обозначился общий упадок сил. Постепенно все это само собой проходит, но я и сам трезво и спокойно начал заниматься приведеньем здоровья в порядок. Я получил карточку в кремлевскую больницу и начну это все с того, что вставлю себе зубы.

Весной, когда все это началось, и я перестал спать, я бросил работу, и все лето не пробовал ее возобновлять. Теперь одно может быть возвращенье к ее привычному механизму стало приводить меня в равновесье.

Что-то все же сделалось со мной, какой-то винт стерся внутри, но, вероятно, это поправимо, а то бы улучшенья не наступило, а со многих сторон мне гораздо уже лучше.

Когда ровно год назад вы радовались каким-то моим успехам и просили сообщить, в чем именно они состоят, тогда уже и начались мои моральные несчастья: по совести-то ведь и я, не больше вас самих, знаю их причину. К несчастью весь этот шум со съездом писателей, сначала у нас, а потом в Париже, поднялся в пору моей временной непроизводительности. Ты, папа, с удачею работал всю жизнь, и, может быть, не знаешь того чувства пристыжающего недовольства собою, которое такие полосы сопровождают. Писать стихи всю жизнь — не дело. Периодами, с перерывами меня нет-нет, а потягивало на прозу. Иногда мне она удавалась (Детство Люверс, Охранная грамота). Однако по сравненью со стихотворческой техникой, она идет у меня так туго, что влеченье мое к ней, вероятно, какое-то вредное заблужденье, и ничего, кроме застоя, топтанья на месте и переписыванья по пяти — десяти раз одного и того же мне не дает и всякий раз доводит до отчаянья. Я, наверное, хочу от нее и от себя чего-то неосуществимого, а может быть, и не знаю толком, чего хочу. Нет, не так, конечно, пишут ее не только Толстые и Прусты, но даже и рядовые и даже бездарные прозаики, которые уже тем счастливее и выше меня на сто голов, что из-под пера их выходят томы и томы, а не задолбленные до утраты смысла отдельные странички.

Правда и то, что последняя моя попытка дописать «Детство Люверс», т. е. в небольшой прозе, относящейся к нашим дням, дать ее конец, все время в меняющейся степени осложнялась необходимостью видеть нашу действительность под одним готовым и для всякого обязательным углом зренья. Степень этой необходимости была очень высока три года назад, когда я в первый раз взялся за эту работу, и ее высота, вынуждая писать почти не то, что думаешь, заставила меня эту затею бросить. Тогда я занялся грузинскими переводами. Тем временем давленье слегка ослабло, явилась возможность работу возобновить, но уже во второй раз, без свежей радости первоначатья.

Так именно и просидел я над этой вещью прошлый год, но без непосредственности себе самому предоставленного и свой путь себе пробивающего художника, потому что это было после съезда, оставившего во мне горчайший осадок ужасной раздутости, невозможнейшей переоцененности и неловкости, и, что хуже всего, какой-то золотой неволи и неведомо кем навязанной задолженности моей неведомо кому, по авансам, мне не нужным и ни у кого не испрошенным.

Отчасти и это все виновато в моей болезни: т. е. если бы было мне на что оглянуться в свежей близости из моих первых бессонниц, на что-нибудь недавно сделанное и чем я сам был бы доволен, я обладал бы моральной опорой, которая быстро помогла бы мне оправиться, а тут не только ее не было, но по какому-то дьявольскому наущенью судьба подсунула мне еще второй съезд, международный, в придачу к первому, и на этот раз еще резче, с болезненной резкостью вконец, смертельно рассóренного с собой человека, я опять должен был увидать взамен реальных дел и достижений — чужие мненья, повторенья непроверенных басен, хлопки и овации, и какой-то, не знаю кому и зачем понадобившийся ажиотаж на мой больной счет. Я почти (а часто и не почти, буквально) плакал, отбиваясь, а мне насильно лили в глотку тошнотворнейшее варенье морально для меня мучительных признаний. Слышал ли ты про что-нибудь подобное? Я не знаю, зачем я про это пишу, и оставив сказанное в стороне, постараюсь кончить.

Мне потребуются большие силы, чтобы свести концы этой позорно распяченной, не по моей воле и против моего веденья и желанья разошедшейся с правдою репутации, мне потребуется много сил, чтобы со спокойным мужеством *ограничить* себя скромным кругом реальной работы. Мне трудно ее возобновить, потому что я не совсем еще здоров, и мне нужно бросить несколько вредных привычек (главным образом куренье) — но именно в этом будут заключаться трудности, в этом, а не в добыче денег, или установленьи семейного мира или еще чего-нибудь. То есть я хочу сказать, что если и нечем стало вдруг мне вас радовать (как и друзей и близких), то, по счастью, нечем вам на мой счет особенно и огорчаться.

Простите, что так долго не писал вам, простите за все. Мне очень хочется выздороветь, написать что-нибудь новое и поехать, может быть, с Зиною, за границу.

Крепко целую вас, Федю, Жоню, детей и Лиду, а последнюю еще и еще раз всей душой поздравляю. *Б.*

Можете не писать мне, буду узнавать от Шуры.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Поздравления сестре Лидии относятся к ее помолвке с Элиотом Слейтером, английским психиатром-генетиком, работавшим в том же Берлинском Институте психиатрии имени Кайзера Вильгельма, что и она.

740. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 октября 1935, Москва

Дорогая Марина!

Я жив еще, живу, хочу жить и — надо. Ты не можешь себе представить, ка́к тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около 5-ти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков 12 лет, я проехал, не повидав их[1]; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостил Роллан с Майей[2], несмотря на их настоянья; что имея твои оттиски[3], я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, чуждой и смертельной, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой неузнаваемой, никакой, непроглядной. Тогда бы только и могли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, — упущенное, уступленное, проплывшее мимо.

Может быть это затянулось по моей вине. Больше еще чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем. Часть моих страхов и наблюдений оказывалась вдруг химерами. Но возникали новые. Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город и моим возвращеньем к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок. При одном из анализов выяснилась одна серьезная нескладица с желудком. У меня есть опасенье, — я не хочу его называть, послезавтра пойду на просвечиванье.

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, везде смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определенья, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена», отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы. В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама в одном месте замечаешь (диэзы и бемоли), идет не по существу[4]. Но живых образов и черточек и тут целая пропасть. Я все это исчертил отметками. Теперь оттиски у Аси.

Летом мне переслали твое письмо с той виллы (урожденной Елпатьевской)[5]. Я не мог тебе ответить вовремя, потому что был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты?[6] В ней все преувеличено. А состоянье мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непониманье (оно естественно) я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне[7].

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это *только перерыв* в моей жизни, а не — как ни смешно это выраженье — начало конца. Собственно у меня ряд аномалий прошел, какие летом, какие позднее, к осени. Нервность, неврозы — все это одни разговоры. Я мог и должен был бы уже и сейчас поправляться, а между тем мне страшно подходить к зеркалу.

Но, допусти, — а вдруг я оправлюсь, и все вернется. И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу? Причем тут твои абсолюты? Позволительная ли это романтика? —

Я не только подружился с Сережей, я так сказать приехал сюда и с Алей твоей на устах. Нет, серьезно, не они б, я просто бы в Париже *рехнулся*. Мне надо быть совершенно здоровым и радостным, чтобы написать этим замечательным людям. Ты их крепко поцелуй от меня[8].

Но когда же вы приедете? Или опять мы увидимся в Париже? Потому что я серьезно теперь об этом мечтаю[9], если только судьба мне выздороветь.

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, — после твоего летнего письма?

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922–1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 173). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Цветаева резко отреагировала на это письмо: «...После того, что ты сделал с отцом и матерью, ты уже *мне* никогда ничего не сможешь сделать. Это (нынче, в письме: проехал мимо...) был мой последний, сокрушительный удар от тебя, ибо я сразу подумала — и вовсе не косвенный, а самый прямой, ибо я сразу подумала: если так поступил Б. П., лирический поэт, то чего же мне ждать от Мура? Удара в лицо? (Хотя неизвестно — что легче...)» (там же. С. 561).

[2] См. письмо к родителям № 755, где Пастернак рассказывает о своем отказе приехать в Москву, несмотря на желание Ромена Роллана с женой увидеться с ним.

[3] Журнальные оттиски с публикациями прозы, посланные Цветаевой.

[4] «Искусство при свете совести» было опубликовано в «Современных записках», 1932, № 50, 1933, № 51; «Дом у старого Пимена» — в 1934, № 54; «Живое о живом» — в 1933, № 52, 53; «Мать и музыка» — в 1935, № 57. «Моя проза, — писала в ответ Цветаева. — Пойми, что пишу для заработка: *чтения вслух*, т. е. усиленно членораздельно, пояснительно. Стихи — "для себя", прозу — "для всех" (рифма — успех). Моя вежливость не позволяет час стоять и читать моим "последним верным" явно-непонятные вещи — за их же деньги. Т. е. *часть* моей тщательности (то, что ты называешь анализом) вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь» (там же. С. 560).

[5] Письмо, написанное в июле 1935, после встречи с Пастернаком на Конгрессе. Цветаева 28 июня уехала в Фавьер, где жила в доме Людмилы Сергеевны Врангель, дочери писателя С. Я. Елпатьевского.

[6] «Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо — пустота et se prête à toutes les formes (и готова ко всякой форме. — *фр.*). Такой же абсолют — в мире зрительном, как поэт — в мире незримом. Остальное всё у него уже есть» (там же. С. 554).

[7] На эти слова Цветаева отозвалась: «Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде — мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания» (там же. С. 558).

[8] «Але и С. я передала, тебя вспоминают с большой нежностью и желают — как я — здоровья, писанья, покоя» (там же. С. 562).

[9] «Про отъезд (приезд) я ничего не знаю. Поеду — механически, пассивно, волей вещей. Очевидно — Москва. Про твой приезд? Тебе нужно приехать с женой, иначе ты истерзаешься. Приехать, чтобы пожить, чтобы не быть новинкой, никуда не ходить, чтобы на тебя не ходили» (там же. С. 561).

741. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

10 октября 1935, Москва

10. IX.* 35

Дорогая Раиса Николаевна, я к Вам с просьбой: пришлите пожалуйста восемь фунтов на имя Зинаиды Николаевны, Москва, 19, Волхонка 14 кв. 9, тем способом, как это практикуется. Я не думал, что это потребуется, и не знал, когда уезжал, что взваливаю на Вас еще новые, в будущем, заботы в придачу к доставленным. Надеюсь, это больше не повторится[1].

Опасенья Вашего письма оправдываются: Вам теперь наверное трудно будет попасть в Рим[2]. Но зачем Вы взводите на себя

---

* Авторская ошибка датировки.

напраслину? Вы потратили на Вашего жалкого знакомого столько времени и души[3], что это граничит со святостью — чего Вам больше? А мы, если это Вам не неприятно, действительно может быть еще увидимся, я очень мечтаю о новой, т. е. о первой настоящей поездке на запад.

Не бойтесь переделок, вносимых в Вашу работу требованьями практики. Эти вторженья объективных факторов иногда бывают искусству на пользу[4]. И, раз мы о нем заговорили, а меня причисляют к этому ведомству, то — несколько слов о себе.

Мне уже представляются непонятной фантасмагорией страданья этого лета. Я не спал, или, хронически недосыпал, это будет вернее, больше 4-х месяцев. Хотя с переездом в Москву это прекратилось, но только теперь именно и сказались результаты, и я спокойно, без душевных тревог занялся их ликвидацией, т. е. постепенным приведеньем здоровья в порядок.

Еще меня угнетает, и долго еще будет беспокоить внешний разрыв между тем, что обо мне по-попугайски затвердили, и тем, что я на самом деле о себе знаю, т. е. между моим внешним, на непроверенных повтореньях чужих мнений основанном «успехе» и моей непроизводительностью последних лет. Мне бы хотелось жить своей истинной, пусть даже и бедной, жизнью, а не вымышленным, ложно приписываемым мне значеньем, которое изо дня в день ставит меня в положенье фальшивой неловкости и отравляет мне существованье.

Ваша доброта или, например, трогательная вера д-ра Rickman'а в меня, как в пациента или случай психиатрической практики, кажутся редким счастьем в этой атмосфере узаконенного «сглаза», который, в конце концов, когда-нибудь меня погубит. Спасибо же Вам и ему за Вашу непосредственность, лично Вы на месте и потом своими письмами меня сильно поддержали. В отношении Вас эти слова слишком слабы, как недостаточны и все мои нынешние движенья по адресу близких, и перед лицом жизни, и в отношении моих собственных задач. Все это может быть изменится, надо успокоиться, окрепнуть, переменить множество вредных привычек.

На днях Женя с сожаленьем сказала, что нет от Вас давно вестей. Видимо она подозревает, не повлиял ли я как-нибудь на Вас в неблагоприятном для нее духе. Я не думаю, чтобы даже и болезнь, обострившая мое чувство разлуки с Зиной, могла поставить меня в такое резкое противоречье с самим собою. Ничем, кроме друга, я никогда ей не буду, т. е. безразличным к ней и ее жизни, а тем

паче каким-нибудь недоброжелателем ни при каких условиях, стать не смогу. Всего скорее ее опасенья напрасны, и не получает она писем потому, что сама их не пишет.

Иногда я вспоминаю Вас в итальянском ресторане, и как патрон с Вами здоровался и мальчик. Мне не верится, что все это было на самом деле. И мне страшно хочется весь Лондон еще раз, по-другому, повторить.

Сердечное Вам спасибо и такой же привет Вам и Вашей семье.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

Ошибка датировки исправлена по почтовому штемпелю.

[1] По поводу оставленных у Ломоносовой денег см. письмо № 732.

[2] Из-за вторжения Италии в Абиссинию в октябре 1935 г.

[3] В письме 15 авг. 1935 Ломоносова упрекала себя: «...Все жалела, что не сумела Вас уговорить остаться на некоторое время здесь под наблюдением Д-ра Rickman'a. Может быть тогда и З. Н. удалось бы выписать сюда при помощи нашего посольства. Одним словом, мне все казалось, что я оказалась совершенно ни к чему не пригодной, не сумела Вам ничем помочь. А я Вас крепко полюбила (жалость тут ни при чем, ибо Ваша болезнь — протест здорового духа, сильного, неравнодушного, творческого)...» (там же. С. 382).

[4] Ломоносова жаловалась на поправки, вносимые в ее пьесу о Пушкине редактором, который готовил текст для английской сцены: «Выходит мелодраматично и неестественно. Он говорит, что так надо, иначе не поймут. Одним словом погоня за театральным успехом» (там же).

742. РОДИТЕЛЯМ

26 октября 1935, Москва

26. X. 35

Дорогие мои! Мне с каждым днем лучше. На днях я сяду за работу.

Приехал Пепа. Можете себе представить радость, которую доставило его сообщенье о папиных планах[1]. Пусть только (а он это гарантирует) он заручится обещаньем относительно обратной дороги, а об остальном не надо думать.

Я потому об этом говорю, что по словам Шуры (я его вчера видел), они с Шурой и Женей собираются выяснять какие-то настроения художественных кругов — абсолютно ненужная ерун-

да, смысл которой я даже плохо себе представляю. Папу ценят и любят, жизнь и деятельность, протекшие в Москве, оставили свои живые, продолжающие жить отложенья, эти симпатии естественны и несомненны, и вряд ли допускают статистическое установленье путем каких-то ведомственных справок. По-моему это какие-то лишние умственные исхищренья.

Для меня будет счастьем, если папа остановится у нас, это удовольствие оспаривают у меня Б<орис> И<льич> и Шура. Я теряю чувство объективности, когда думаю об этой возможности, мне страшно хочется, чтобы папа посмотрел на нас, чтобы он разделил со мной мою жизнь, так как она есть, хочется похвастать им перед близкими и товарищами. Чем где-то об этом спрашивать, спросили бы об отношеньи лучшего, что у нас есть, к нему, у меня; я на каждом шагу сталкиваюсь со знаками благодарной памяти к папе по самым неожиданным поводам. Вдова Есенина, дочь Андрея Львовича, Софья Андреевна Есенина-Толстая (тезка своей бабушки) говорит, что через папу они и меня считают как бы членом своей семьи; замечательный художник, — говорит писатель Леонов, выученик Остроухова; Н. Вильям («Шурин шурин») рассказывает о дифирамбах папе, слышанных от Бялыницкого-Бирули — да о чем тут вообще толковать.

Вопрос только в силах папиных, в настроеньи, в собственном его желаньи, в том самом, что помешало мне повидать вас и поездку мою, которая в остальном могла бы быть большой радостью, превратило в медленную пытку, — в здоровьи, — я уж не знаю как сказать.

Если же папа приезжать не предполагает, пусть напишет об этом, тогда я буду готовиться к весенней поездке, потому что так или иначе нам надо повидаться.

Мне было бы совсем хорошо, если бы процесс писанья не связался у меня так тесно с куреньем. Я свел число папирос до 6-ти в день, а надо бы бросить совсем.

Крепко целую вас. *Боря*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Вернувшийся из Германии Б. И. Збарский рассказал о намерении Л. О. Пастернака приехать в Москву, чтобы выяснить реальные возможности во́звращения, которое торопили события в Германии. Радостная реакция сына сопровождалась, однако, вопросом о гарантиях «обратной дороги».

743. И. В. СТАЛИНУ

1 ноября 1935, Москва

1. XI. 35

Дорогой Иосиф Виссарионович,

23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевич Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища[1].

Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности[2].

Преданный Вам Пастернак

Впервые: «Источник», 1999, № 1. — Автограф (ЦА ФСБ РФ, оп. 2, д. 939). Письмо было приложено к обращению Ахматовой, на которое последовала резолюция: «Т. Ягода, освободить из-под ареста Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. *И. Сталин*». 3 ноября Пунин и Гумилев были освобождены, о чем Пастернаку в тот же день позвонили из Кремля (там же. С. 78).

[1] Имеются в виду слова Сталина, сказанные Пастернаку по телефону в начале июня 1934 г. по поводу его заступничества за арестованного Мандельштама. Свое беспокойство о Мандельштаме Пастернак выразил Бухарину, который передал это Сталину. «Почему вы не обратились прямо ко мне?» — спросил Сталин Пастернака (Память. Исторический сборник. Вып. 4. Париж, YMKA-Press, 1981. С. 318).

[2] Из письма Ахматовой: «...Я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ» («Источник», 1999, № 1. С. 77).

744. Й. ГОРЕ

15 ноября 1935, Москва

15. XI. 35

Дорогой г-н Гора!

Простите, что написал Вам в прошлый раз так сухо[1]. Все последнее время, начиная со съезда писателей в Москве, у меня такое ощущенье, будто меня с какими-то неведомыми мне целями умышленно раздувают (т. е. искусственно преувеличивают мое

значенье), и это все — чужими руками, не спрашивая на то моего согласья. А я ничего на свете так не чуждаюсь, как шума, сенсации и так называемой дешевой журнальной «славы».

Поэтому, когда я получил чрезвычайно официальное и важное по тону извещенье из здешнего Литературного агентства, а вслед за тем какой-то дурак, оказавшийся заведующим агентством, крайне высокомерным тоном предложил мне списаться с Вами, досада на все это, вместе взятое, прискорбным образом отразилась, вероятно, на тоне моего письма.

Как же раскаиваюсь я в этом теперь, когда до меня дошли и совершенно приковали меня к себе корректурные листы Ваших переводов.

Дорогой мой друг, как мне Вас благодарить? Хотя я не знаю по-чешски, но даже если бы языки и не были так близки друг другу, все равно волшебная сила этих оттисков должна была бы дойти до меня какими-то другими путями, минуя мое непониманье. Ваш вкус, сказавшийся в выборе вещей, самый вид печати, тот факт, что эта радость родилась для меня в Праге, месте рожденья так много значащего для меня Рильке, и много, много чего другого все равно произвели бы на меня свое ошеломляющее действие.

А так как сверх этого всего у меня есть еще и доступ к языку, сохранившемуся, по-видимому, в большей первославянской чистоте, чем русский или польский, то можете себе представить мое восхищенье.

Я не могу судить об объективных достоинствах Ваших переводов, я не знаю, как звучат они на чешский слух и что, и много ли дадут чешскому читателю. Но они необъяснимым образом *безмерно много дали мне.* Меня переводили уже на французский и английский языки, на немецкий и польский. Самый факт появленья на иностранном языке не может меня потрясти. В ряде случаев я оказывался неблагодарным опекаемым, не откликаясь на эти знаки дружеского вниманья.

Отчего же имеет такую власть надо мной Ваш сборник? Скажу не преувеличивая: от него веет такой поэтической свежестью, что его присутствие в комнате стало для меня центральным переживаньем. Будто никогда не издавалось то, что служило Вам оригиналом, и только глухо носилось мною в виде предположенья. И Ваши переводы — *первое* явленье всего этого, даже не на чешском, на человеческом каком-то языке.

После многих, многих лет Вы впервые, как двадцать лет тому назад, заставили меня пережить волнующее чудо поэтического

воплощенья[2], и какими бы средствами (хотя бы ценой колдовства) Вы этого ни достигли, размеры моей удивленной признательности должны быть Вам понятны.

Однако, скорее всего — объясненье самое простое: Ваши переводы, вероятно, действительно превосходны. Итак, спасибо, спасибо, спасибо.

Уже отправив прошлое письмо, я спохватился, что не передал привета Роману Якобсону, с которым Вы знакомы, и яркого, хотя и кратковременного знакомства с которым я никогда не забывал[3]. От всей души желаю ему здоровья и счастья. Мы часто его тут вспоминаем с одинаковой и неизменной теплотой. Если Вы чего-нибудь не разберете в моем письме (я пишу непозволительным для писателя образом, бессвязно и многословно) — покажите его Р<оману> О<сиповичу>, и он исправит мои недостатки, т. е. даст Вам дополнительные объяснения, если они потребуются.

Мне хотелось чем-нибудь осязательным выразить мою благодарность. Т. к. я давно не писал ничего нового, пришлось ограничиться совершенным пустяком. Я выслал Вам сборник моих переложений с грузинского[4]. Чудесные лирики, и я рад, что дал тут у нас некоторое о них понятье.

Сносились ли Вы с Незвалом и руководителями «Manes»'а? Предполагают ли они что-нибудь выпустить?[5]

Если Мелантрих собирается выделить что-нибудь для меня в виде гонорара, он может поступить так же, как я в свое время предложил «Manes»'у, т. е. сохранить у себя предназначенную мне сумму на случай моего проезда через Прагу или приезда в нее, известив меня о ее размере. А впрочем, может быть, все это сделается без нас, — и вообще все это неважно.

Еще раз сердечно Вас благодарю и крепко жму Вашу руку. Всего лучшего!

Ваш Б. Пастернак

Если ответите, пишите мне по моему домашнему адресу.

Впервые: «Вопросы литературы», 1979, № 7. — Автограф (Литературный архив Музея национальной письменности в Праге, ф. Й. Горы, R-14, skĭň A fascikl 1113). Факсимиле письма опубликовано в издании «Охранной грамоты» (Boris Pasternak. Gleit. Praha, SNKLU, 1965).

[1] Ответ на письмо чешского поэта Йозефа Горы, извещавшего Пастернака об издании сборника его стихотворений по-чешски в изд-ве «Мелантрих», был написан 14 окт. 1935. В нем Пастернак отказывался авторизовать перевод Горы, ссылаясь на более раннюю договоренность с

В. Незвалом, публиковавшим свои переводы стихов Пастернака в издве «Manes».

[2] Это чувство передано в стих. «Все наклоненья и залоги...» (1936), отразившем впечатления от переводов Йозефа Горы: «На днях я вышел книгой в Праге. / Она меня перенесла / В те дни, когда с заказом на дом / От зарев, догоравших рядом, / Я верил на слово бумаге, / Облитой лампой ремесла».

[3] Знакомство Пастернака с Р. О. Якобсоном завязалось в доме у Бриков и Маяковского в конце 1910-х гг. В начале 1920-х Якобсон стал сотрудником советского дипломатического представительства в Праге.

[4] Б. Пастернак. «Грузинские лирики». М., «Советский писатель», 1935. Книга с автографом Пастернака хранилась в архиве Й. Горы, но была утеряна.

[5] В письме 14 окт. 1935 Пастернак писал о своих отношениях с этим издательством: «Прошлой осенью издательство "Manes" телеграфно испросило у меня право исключительного изданья моих произведений в Чехословакии. Так как я сделал в жизни очень мало и сделанному, несмотря на искусственный шум, поднятый вокруг меня помимо моей воли, большой цены не придаю, то запрос "Manes" меня рассмешил и показался плодом какого-то недоразуменья. В ответном письме я предоставил им делать, что они захотят, на каких им заблагорассудится условиях. Они предполагали выпустить мою книгу прозы под названием "Охранная грамота" и сборник стихов в переводе Незвала. Вам надо снестись с издательством "Manes", потому что, хотя согласье мое и не оформлено юридически, оно тем крепче связывает меня морально, и без согласья "Manes'а" на выпуск Ваших переводов в издательстве Мелантриха, появленье их в последнем, мне кажется недопустимым» («Вопросы литературы», 1979, № 7. С. 182).

745. Г. В. БЕБУТОВУ

15–16 ноября 1935, Москва

15. XI. 35

Дорогой Гарегин Владимирович!

Летом Вы писали мне. Ваше письмо я получил в августе в Ленинграде[1]. Я долго не мог Вам ответить, потому что, как Вы наверное слышали, я долгое время был болен. В письме Вы спрашивали о поездке и конгрессе. Теперь до Вас могли уже дойти рассказы Чиковани или Галактиона Табидзе, которые видели меня (первый — перед отъездом на съезд, а второй — в Париже). Сейчас я и сам с трудом понимаю, что со мной творилось, но это было нечто в роде психостении и продолжалось с апреля месяца до конца августа. В Париж мне пришлось поехать в самом ее разгаре.

Очень жаль, что, несмотря на Ваше заботливое напоминанье (точно угадывавшее мои собственные пожеланья), я не восполь-

зовался вовремя открывавшеюся возможностью и не предварил Тифлисского изданья посылкой московских корректур, выверенных мною самолично. Если я опоздал в отношении современников (в Антологии[2]), то может быть это еще не поздно по отношению к Змееду, в первом издании которого были опечатки не в одной пунктуации, как Вы думаете, а и в тексте[3]. Впрочем, оговорюсь: может быть это вина переписчицы, т. е. может быть ошибки были в ремингтонированном оттиске, с которого набирали изданье. Для большей выпуклости и легкости их обнаруженья, я наряду с «Грузинскими лириками», в состав которых входит выправленный Важа Пшавела, высылаю Вам старое Тифлисское изданье Змееда с нужными поправками[4].

После столь растянувшейся бессонницы, от которой я не надеялся избавиться, так она укоренилась, я не мог, конечно, остаться тем, каким был до нее. Я должен был измениться, и об этом не жалею. Я стал трезвее и уравновешеннее, и Вы будете несправедливы, если это письмо Вам покажется сухим.

Я давно собирался написать Вам, и хотел поговорить о многом. Но вот пришел последний номер «Рубежа»[5] и мои намеренья показались мне наивными, и, несмотря на отрезвленье от недавней болезни, недостаточно реальными. Я хотел поделиться с Вами радостью за Леонидзе и Тициана, должно и с неожиданной проницательностью и глубиной оцененных Д. П. Мирским в Литературной газете (дошла ли до них и до Вас эта статья?[6]). Для меня она именно с этой стороны была настоящим праздником, в особенности в отношении Георгия Николаевича, — Мирский точно что-то прочел в моей душе[7]. В свое время я говорил о Леонидзе с Тицианом, это было в гостинице, и он лежал в гриппе. О Леонидзе же я писал (или же только предполагал писать) Николаю Мицишвили. Но кажется моя точка зренья не имела успеха. И вдруг на нее, как по уговору, становится и Мирский, с которым я ни разу ни словом об этом не обмолвился. Вы знаете, как я люблю Паоло (жена иногда в раздражении говорит мне, что я никого на свете не люблю: а если и наблюдается эта слабость в отношении двух, Тихонова и Яшвили, то это только оттого, что оба далеко, один в Ленинграде, другой в Тифлисе) — Вы знаете, говорю я, как дорог мне Паоло. И если я не выражаю радости по поводу его успеха (в статьях Тарасенкова, Мирского и в отзывах читателей), то только оттого, что этот успех не новость: Яшвили тут хорошо и широко знают, он был признан первым. — Всем этим я хотел с Вами поделиться.

Но Ваша статья расхолодила меня[8]. Я понимаю, этот род оценки изобрели не Вы, и наверное без особого увлеченья внесли свой вклад в этот невольный жанр писанья об искусстве. Но неужели у Вас там все еще приходится лишь под таким углом подбирать цитаты? Странно, странно. (Не поймите меня превратно. В свое время я сам просил авторов о досылке вещей, политически содержательных, — но *не в них одних ведь только дело?*) Не обижайтесь, пожалуйста. Не питай я к Вам искреннейшей и самой дружеской симпатии, я бы конечно умолчал об этом впечатлении связанности и несмелости, которое у меня получилось. *Я знаю, Вы могли б написать по-другому*, особенно о людях, среди которых протекает Ваша жизнь, и которых Вы видаете ежедневно.

В заключенье просьба и самая неприкрытая: о деньгах. Она отчасти вызвана шестимесячным пробелом в работе, естественно отразившемся и на заработках. Итак: переведите, пожалуйста, как можно скорее, тысячными частями, с промежутками в 2 недели или в месяц, все, что я еще имею выручить с добавочных тиражей по Антологии и Змееду по адресу: Москва Тверской бульв. 25 (дом Герцена) кв. 7, Евгении Владимировне Пастернак, и простите, если я заблуждаюсь насчет действительных размеров просимого, я ведь об этом не имею представленья.

Передайте, если встречаетесь с ними, сердечнейший от меня привет Серафиме Васильевне и Борису Ивановичу Корнеевым. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

P. S. Вчера писал Вам, сегодня зашел в издательство «Сов. Писатель» и видел превосходные работы Гудиашвили к книге. От души поблагодарите его, если увидите. Особенно за обложку[9].

Среди предполагаемых дополнений есть два стихотворенья Карло Каладзе. Их не было в рукописи, которую увез Леонидзе. Надо их будет показать Гудиашвили для исполненья заставки и концовки к Каладзе.

Прилагаю дополненья:

2 стихотворенья Каладзе

1 " Гаприндашвили

1 " Т. Табидзе

3 " П. Яшвили

Всего лучшего. Жду с нетерпеньем авторских Змееда.

Впервые: «Литературная Грузия», 1969, № 11/12 (с купюрами). — Автограф (РГАЛИ, ф. 3100, оп. 1, ед. хр. 150).

[1] Пастернак провел в Ленинграде по возвращении с Конгресса в Париже несколько дней в середине июля 1935 г.

[2] Имеется в виду сб.: Поэты Грузии в переводах Б. Пастернака и Н. Тихонова. Тбилиси, Закгиз, 1935.

[3] Речь идет об издании поэмы Важа Пшавелы «Змееед» (Тбилиси, Закгиз, 1934).

[4] Дарственная надпись на сб. «Грузинские лирики»: «Гарегину Владимировичу Бебутову на добрую память от переводчика. Москва. 16. X. 35». О поправках на «Змеееде» Бебутов писал: «В посланном экземпляре "Змеееда" Борис Леонидович исправил отдельные места перевода, а в двух случаях — опечатки. И в дальнейшем всегда с такой тщательностью следил он за исправностью текста и безукоризненностью корректуры и печати» (Гарегин Бебутов. «Отражения». Тбилиси, 1973. С. 73).

[5] В октябрьском номере газеты «На рубеже Востока» (1935) была опубликована рецензия Г. В. Бебутова на сборник грузинских переводов Пастернака и Тихонова.

[6] Статья Д. П. Святополка-Мирского «Пастернак и грузинские поэты» была опубликована в «Литературной газете», 24 окт. 1935 г.

[7] Святополк-Мирский отмечал «динамическое восприятие природы» и «исключительно окрыленный лиризм» Леонидзе, равно показанные в переводах Пастернака и Тихонова.

[8] В своей рецензии Бебутов, по его признанию, «старался показать тематическое разнообразие стихов, решительный поворот поэтов к темам современности» с тем, чтобы снять с них обвинения «в националистических пережитках... Характеру обзорной статьи соответствовал и подбор цитат» (Гарегин Бебутов. «Отражения». Тбилиси, 1973. С. 73).

[9] Оформление книги Б. Пастернака «Грузинские лирики» (М., «Советский писатель», 1935) было сделано грузинским художником Ладо *Гудиашвили.*

746. И. В. СТАЛИНУ

Конец декабря 1935

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой[1]; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.

И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем

понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам[2]. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.

Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?

«Грузинские лирики»[3] — работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.

В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском[4]. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел); во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам

Б. Пастернак

Впервые: газ. «Гласность», 27 сент. 1990 (ошибка в датировке: март 1936 г.). — Автограф (АП РФ). Датируется по содержанию.

[1] Арестованные 24 октября 1935 г. муж и сын Ахматовой, Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев, были освобождены 3 ноября после апелляции Ахматовой, поддержанной Пастернаком. См. письмо № 743 и коммент.

[2] Ср. в стих. «Мне по душе строптивый норов...», написанном в то же время: «Он верит в знанье друг о друге / Предельно крайних двух начал». При переиздании в 1943 г. эта часть, посвященная Сталину, была исключена.

[3] Сб. «Грузинские лирики» вышел в середине октября 1935 г. (М., «Советский писатель»). Он включал в себя перевод поэмы Важа Пшавелы «Змееед».

[4] Имеется в виду резолюция Сталина, поставленная на письме Л. Ю. Брик 5 дек. 1935 по поводу замалчивания роли Маяковского: «Мая-

ковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Пастернак пересказал содержание своего письма в очерке «Люди и положения» (1956): «...Я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».

747. РОДИТЕЛЯМ

25–28 декабря 1935, Москва

25–28/XII

С Новым годом!

Дорогие папа и мама, горячо поздравляю вас с Лидиным торжеством и крепко обнимаю[1]. Не сердись на меня, папа, у меня страшная всегда бестолочь, куча мелких дел, просьб, хлопот за других и пр. и пр.

К тому же хочется работать; к тому же еще так недавно я был болен: и если я теперь здоров, то, ведь, вновь среди всех тех условий, которые прошлой весной сделали меня больным. Я всего больше хотел бы тишины, честности и настоящих дел, без шума и лишних видимостей у себя и на всем свете. Именно вторженье шума и глупости во всех ее видах и выводит меня всегда из равновесья, а потом и из здорового строя.

Перестань переживать и обсуждать свой переезд сюда. Ты ведь, как я понимаю, уже едешь, так что смотри на предстоящее, как на совершившееся[2]. Уезжать, ведь все равно надо, а что может быть естественнее в таком случае, чем твое возвращенье сюда? Перестань интересоваться тем, рай ли тут действительно и, если не полный, то в какой мере именно рай, в какой не рай[3]. Исходи из естественности этого возвращенья и не думай, правильно ли это будет или нет. Если ты всю зиму будешь обдумывать и взвешивать это и себе представлять в воображеньи, я просто буду бояться за твое здоровье, потому что уже и сейчас поражаюсь твоей силе и крепости: как можно столько энергии затрачивать на переписку, зачем так расходовать себя? Например, я уже этого себе в твоей мере не позволяю.

Все это сделается технически само собой, через полпредство, они сами в свое время скажут как и что, — так мне кажется. Может быть я не прав, в конце концов толком я и сам не понимаю, что мне надо, так что ты с моим мненьем не считайся, но не всегда

я тебя понимаю. Неужели ты сам не знаешь, что ты большой художник? Зачем доказывать доказанное, зачем опять-таки тратиться нервами, гордостью и прочим, когда такие вещи делаются сами собой. Разумеется, тут устроят твою выставку, какое иное, чем молчаливо должное (как например, нормальность дыханья или кровообращенья), ты придаешь ей значенье?[4]

Или например, мне понятен твой страх за Лидочку, впервые и разом очутившуюся вдруг вместе и на чужбине и в чужой семье, и в придачу еще под тем резким светом рефлектора, какой создает сватовство и женитьба. Ясно, сколько от нее требуется сил и выдержки, и собранности, и женского и человеческого героизма; ясно, как нуждается она в поддержке; но в количестве ли телеграмм и подписей под ними эта помощь?[5] Не понимаю, не понимаю. И так это многолюдство родни может что-то значить в подлунной? Или там, в Англии? Женя и Женек, как всегда, поняли, и на твоей стороне, — а я не понимаю. Во всяком случае я твою просьбу исполнил, и предупреди, пожалуйста, тетю Асю, тетю Клару и дядю Осипа, чтобы они не удивлялись, если их поблагодарят из Оксфорда. Я за каждого из них сочинил бы и отправил телеграммы отдельно, но мне это показалось дерзостью против них, и я ограничился одной общей от них всех, кроме того поздравил сам, Женя отдельно и Шура поздравит.

Не огорчайся, что я так пишу. Наверное это все не так, как мне кажется, и, главное, приходится писать все второпях. Учти и то, что каждое твое желанье, особенно благодаря агрессивной поддержке Жени и Женички, часто задающих мне за тебя настоящую баню, — для меня свято, и я пускаюсь без критики его исполнять, со своими делами не считаясь. Мне же работается трудно. *Возьмись посмелее за Шуру*, — польза может быть и от него.

На твое письмо о том, как могла бы сложиться моя жизнь[6], и как она на самом деле сложилась, не отвечаю: приедешь, увидишь и поймешь. Одно скажу: в ней нет ничего случайного, это я ее сделал такой по своему выбору. Вот увидишь, как меня хоронить будут (я хочу, чтобы ты меня пережил), это и будет тебе ответом, принес ли я кому-нибудь пользу или нет[7].

Пожалуйста, не делай никаких выводов из письма, точно я не писал его. А я с нетерпеньем жду вашего приезда, только — спокойней, спокойней, старайся не переживать этого, делай все это автоматически, как сквозь сон, это единственно возможный метод существованья при хоть сколько-нибудь широкой судьбе, как твоя.

Крепко вас и всех Жониных с Федей за Лиду и за все на свете целую и обнимаю. *Твой Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Л. О. Пастернак 22 нояб. 1935 писал сыну: «Знаменательнейший день в жизни нашей и всей семьи! Мы только что с Жоничкой и Федей проводили дорогую нашу Лидочку с ее женихом Элиотом в Англию» (там же. Кн. II. С. 134).

[2] Вернувшийся из Берлина Б. И. Збарский передал Б. Пастернаку написанное отцом письмо к художнику и своему ученику Ю. М. Славинскому, стоявшему во главе организации «Всекохудожник», с которым велись переговоры о возможности переезда из Берлина в Москву. Л. О. Пастернак договаривался о перевозке вещей, предназначавшихся для выставки и передачи в музеи, и отпечатанного тиража его монографии и устройстве квартиры. «...Нужно и хочется выяснить, — писал Л. О. Пастернак сыну, — как будет с Жоней и Федей, что определится до весны; а я пока, чтобы не противоречить Пепе, иду в его фарватере, а там переговорами или перепиской выяснится до весны, что из этого выйдет» (6 дек. 1935). Но, получив ответ сына и пересылая его в Мюнхен дочери, он подчеркнул слова «Ты... уже едешь», снабдив вопросом: «Откуда он взял, что я уже еду?» (там же. С. 138).

[3] В письме 2 марта 1936 Пастернак писал отцу: «Я не знаю, есть ли у вас какой-нибудь выбор насчет вашего местопребыванья, но в скорое устройство всего этого здесь в той радужной форме, о которой говорилось (квартира, и в ожидании ее гостиница), не верю. И все же в этом нет ничего страшного. Уезжать надо, и если сюда, то относительно безразличны формы последнего: ведь живем же как-то мы, я, Шура, Оля и др.? Будете так же жить и вы с нами» (там же. С. 142).

[4] О желании устроить выставку в Москве Л. О. Пастернак писал П. Д. Эттингеру, который отвечал, «что как это ни заманчиво, но очень проблематично, сделают ли, и надо иметь сильную руку. Вот когда жил Анатолий Васильевич, можно было надеяться...» (там же. С. 135). Борис извещал отца 2 марта: «Я звонил Славинскому. Он сказал, что дело с выставочным управлением, которое и явится аппаратом по вывозке твоих картин, уже двинуто. Об остальном (издательское, квартира и пр.) ответил неопределенными обещаниями» (там же).

[5] Не зная, какой опасностью грозит советским людям наличие родственников за границей, Л. О. Пастернак просил, чтобы Борис известил их о замужестве Лидии и они отозвались бы телеграммами.

[6] Отец передавал в письме свой разговор со Збарским по поводу неустроенности Бориса и того, что ему «надо бы иметь вне города свой домик с садом, что теперь себе многие устраивают», — и передавал слова Збарского: «Я Борю понять не могу... При его славе и значеньи... — он мог бы все иметь» (21 нояб. 1935; там же. С. 134). В письме 2 марта Борис объяснял отцу: «Я наверное не скажу тебе ничего нового, ты, ведь, и сам в людях разбираешься и в различии жизненных путей каждого, но Б. И. ведь

не отшельник-ученый, не человек призванья, а вообще, разнообразно одаренный человек с большим вкусом к жизни и умением ее устраивать, — и нет ничего удивительного в том, что он оказался бóльшим тебе помощником в этих вопросах, чем кто-нибудь из нас» (там же. С. 142).

[7] Намеренно жестокие слова сына вызвали испуганную реакцию родителей. «Можно ли нам (!) такие ужасные, — просто дурацкие вещи желать, — отвечал Л. Пастернак, — чтобы мы тебя хоронили! — да подумал ли ты, что ты писал <...> ни один злейший враг не мог худшего произнести пожеланья! Ну — Бог тебя простит — при твоих, повторяю, прекрасных любовных отношениях к нам — ты не мог бы этого нам желать, если бы только на секунду мог оторваться от владеющего тобой чувства раздраженности» (21 янв. 1936; там же. С. 141).

748. РОДИТЕЛЯМ

Начало января 1936, Москва

Дорогие мои!

У меня есть надежда, что вы не получили, может быть, моего последнего письма: я его забыл в одной редакции и попросил потом, чтобы его отправили. Хорошо, если этого не исполнили, потому что я писал его второпях, и не так, как надо писать вам.

Цель этого письма узнать у вас, можно ли звонить вам отсюда по телефону, как это делает Б<орис> И<льич>, т. е. не представит ли это для вас каких-нибудь беспокойств.

С нашей стороны это не сопряжено ни с какими трудностями, и это очень легко можно было бы сделать от Шуры, у которого есть свой телефон[1]. Ваш номер теперь мне стал известен, стоит это такие пустяки, что можно было бы это удовольствие повторять, говоря без ограниченья. Требуется лишь ваше согласие, т. е. нам надо знать, не будет ли это вам неприятно.

Ты не должен сердиться на меня, папа. Будь ты здесь, ты бы меня понял и оправдал, вплоть до последнего моего письма к тебе и прочих странностей.

Ты не должен сравнивать меня, т. е. судьбы моего дня с жизнью Шуры или Б. И. Как ни различны оба по своему положению, удаче и прочему, все же оба заняты в жизни чем-то одним, постоянным, имеют какой-то свой круг знакомств, планов, предположений, и все это более или менее определенно и в их руках.

Мое же время не легче поддается предвиденью, чем у публичной женщины. Я никогда не знаю, кому мне придется отказывать и от кого прятаться завтра, это все новые и новые незнакомые, и нельзя наперед сказать, кто откуда когда приедет, с какой-нибудь

спешной любезностью или услугой, разоряющей все мои планы и расчеты.

Не трудись давать мне советы на этот счет, я совсем не так глуп и беззащитен, как кажется: при внутренней устойчивости, т. е. если бы мне уже и сейчас (и я и время идем к этому) было бы *что́ отстаивать* во всей назревшей ясности, я бы легко любое место, на котором бы меня это убежденье застало, сумел обратить в неприступную крепость. Суть в том, что пока это вновь не наступило (это было когда-то, но мне пришлось отказаться, — причины исторические), мне своего времени не жаль, или жаль не до такой жалости.

Но все это пустяки. Сообщи мне или Шуре ответ о телефоне. Мы б тогда стали названивать.

Здоровы ли вы. Как прошло Лидино венчанье?

Я очень мило встретил новый год, лучше, чем думал.

В конце года мне прислали из Праги (в разное время) две неожиданности, — меня по-чешски. В одном издательстве вышли стихи, в другом — Охранная грамота[2]. Это первый случай моего выхода за границей отдельными книгами, не в антологиях или журналах. У стихов (вышедших в издательстве Melantrich — правом, академическом) очень хорошая внешность, вроде Inselverlag'овского Rilke. Охранная же грамота (в издательстве чешских художников «Manes») — с безвкусными конструктивистскими претензиями.

Но и это пустяки, — главное, — о телефоне.

Еще раз с новым годом вас. Как вы себя чувствуете. Что Жоня и Федя, как их планы? Получила ли Лида мои поздравленья? Наверное это все было не так, как надо и принято, и еще ей бедной, верно, пришлось краснеть за мое, с твоей легкой руки, усердие.

И оставь ты, пожалуйста, оговаривать такие обращенья ко мне моим «старшинством в семье». Подумаешь, в самом деле, не видал я другой чести.

Крепко тебя и маму целую. *Твой Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] «Не удивляйся насчет телефона: у меня своего нет, а я хотел устроить разговор через Шуру. Он же все время очень занят. Позвоню как-нибудь от Б. И.», — писал Пастернак 2 марта 1936 (там же. Кн. II. С. 143).

[2] Boris Pasternak. Lyrika. Melantrich Praga (перевод Й. Горы) и Boris Pasternak. Gleit. Knihy Manesa (перевод Славаты Пирковой-Якобсон).

749. К. А. ФЕДИНУ

28 февраля 1936, Москва

28. II. 36

Дорогой Костя!

Как чудно, что ты сдержал слово и меня успокоил, спасибо тебе. Молодец, что сейчас же берешься за работу, — это возможно только в Ленинграде, а тут, в центре, страсти все еще бушуют, и нет возможности сосредоточиться. Продолжается непостижимый разгром всего видного из общей нашей среды, сегодня возмутительно облаяли Мариетту[1], готовят разнос Мейерхольда, неизвестно когда и на какой жертве отбушует, наконец, этот ураган. Кажется, несдобровать и мне, работники «Правды» рвут и мечут по поводу моего «минского слова»[2], но я не виноват, в неряшливом и сбивчивом произнесеньи оно настраивало жалостливо по отношенью к говорившему, в печати же у него появился именно тот металлический отлив, наглости которого я сам не выношу, что-то вроде адвокатского самоупоенья. Будь лучше стенографистки, было бы по чему править и этого бы не случилось. Но не в этом дело.

Что за глупости ты пишешь о «Похищеньи»?[3] Это такая неправда, что было бы неестественно, чтобы сам ты мог помнить сказанное. Итак, я тебе напомню. «Страшный эксперимент "П<охищения>" смотрит на меня из шкапа статуей командора. Эту боль на новый лад надо было *тоже* узнать на опыте»[4].

От этой боли мы ведь никуда не уйдем, друг мой. За что б ты ни взялся, всюду в твою волю художника вмешается твоя судьба, в мере, никому, кроме современников больших революций, не ведомой, искусству почти непосильной и превращающей художника в мученика. Зато твоя роль в истории крупнее смелейших твоих представлений. На одном из предпленумных совещаний кто-то сказал, что у нас в литературе *изображенью* перестраивающегося интеллигента отведено несообразно большое место. Я тогда напомнил, что работы твои, Бориса, Леонова и некоторых других *производили* этот перелом, а не его отражали, что *идеи* «Братьев» предваряли явленья жизни и способствовали их нарожденью, что говорить об искусстве наших дней, как в любое другое время, упуская эту подробность, нечестно[5].

Ты хочешь написать что-нибудь такое, чтобы понравилось до слез, и что можно было бы любить, — ты никогда не писал ничего другого. Так, как хотелось бы тебе, чтобы полюбили твое произве-

денье, любят тебя самого, тебя, Федина, и это — высшее, о чем можем мы мечтать, таков закон эпохи. И ты слишком большой артист, чтобы не мечтать о другом, но что же делать, когда само время, сколько ты ни бейся, постоянно перемещает центр тяжести из вещи в автора, потому что в своей военной подготовленности, практической складке и политической недоверчивости оно больше, чем полагается в искусстве, занято тобою, тем человеческим в тебе, что́ ты так рад, так готов и способен был бы сбросить с плеч, чтобы не то что раствориться, а исчезнуть, *пропасть без вести в произведеньи.*

Мне ли напоминать тебе, что как художник ты достигал всегда *почти невозможного* в преодолении этого, обязательного в нашем поколении противоборства искусству. Но ты прав: и *полный* идеал совершенного бегства в сделанное был бы тебе по силам, как величайшим из предшественников, и эта мечта всегда будет тебя мучить и отравлять радость достигнутого. Да как и не жалеть об этом? Но ту же ведь судьбу разделяет с тобою и все истинное и живое. А разве не больно родине и времени, что они такие большие? Да и мыслимы ли такие вещи без трагизма.

Прости, что заговорился, все равно ничего не сказать, а лишь намногословишь. В каждую новую твою работу я верю, как в наивероятнейшее чудо, точно дано тебе обходить законы времени, — и никогда не обманывался: вот и разберись тут.

Живи легко и радостно, желаю твоим замыслам тишины и света, крепко обнимаю тебя и еще крепче люблю.

Твой Б. П.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Публикация в «Правде» (28 февр. 1936) статьи Д. О. Заславского «Мечты и звуки Мариэтты Шагинян».

[2] Речь идет о выступлении Пастернака на III Пленуме правления Союза писателей, проходившем в Минске. В отредактированном виде оно было напечатано в «Литературной газете», 24 февр. 1936.

[3] Константин Федин. «Похищение Европы» (кн. 1, 1933; кн. 2, 1935). Роман был осужден критикой и обвинен в «формализме» («Литературная газета», 10 марта 1936).

[4] Из несохранившегося письма Федина Пастернаку.

[5] Пастернак вспоминал об этих словах по поводу Пильняка, Леонова и Федина в своем выступлении на дискуссии о «формализме», в марте 1936 г.: «Я помню, на какой-то дискуссии говорили, что задержалось литературное изображение перелома интеллигенции и проч. Хорошо, пусть будет так. Но в отношении прошлого, позвольте мне мое невежественное мнение привести. Я думаю, что прозаики не отображали этот перелом, — они способствовали этому перелому» («На дискуссии о формализме». Т. V наст. собр.).

750. РОДИТЕЛЯМ

6 марта 1936, Москва

6. III. 36

Дорогие мои!

Только что говорил с вами по телефону: на днях повторю это удовольствие с Шуриной квартиры.

Я уже не помню, о чем мы говорили, но большим счастьем было услышать ваши голоса: как много они мне дали; летом, при разговоре между Берлином и Мюнхеном я этого не ощутил в такой мере. Для меня большая радость, что у них (у ваших голосов), — как говорят про пульс — такое большое, ровное наполненье. — Это производит впечатленье молодости и уверенности в будущем. И потом какая (становящаяся редкостью) чистота языка! Итак, когда вы приедете, вами можно еще будет гордиться.

Н<иколай> И<ванович>[1], если хотел и мог, должен был вам объяснить много из того, что за необозримостью не поддается описанью. Он замечательный, исторически незаурядный человек с ... несправедливо сложившейся судьбою. Я его очень люблю. На него в последнее время нападали люди, не стоящие его мизинца...[2] Но всего этого не объяснить. Ваше знакомство с ним было для меня совершенной неожиданностью. Весь день я сегодня о нем думал.

Это именно из тех тем и вопросов, о которых я в прошлом письме сказал, что их трудно касаться на расстоянии.

Между прочим в Минске этом[3] все время подводили под меня мину, чтобы взорвать со стороны общественной, и вдруг все это обернулось в мою пользу. Не ищите следов этого в «Лит. Газете»: она редактируется человеком из той же клики[4]. Дело тут не в личностях, а совсем в другом. Но по газете вы ни о речи, ни о моем месте во всем этом представленья не получите. И речь, сказанная разговорно, просто, экспромтом (что в голову приходило), была гораздо смелее и обширнее того, что я из нее потом сделал и затем далее, цензура редактора. Затем, вычеркивая начало, не мог же я *своей рукой оставить* отметку стенографистки о продолжительной овации (зал встал и аплодировал стоя), когда я появился на трибуне? Таким образом это из печати выпало: (это я для вас пишу: остальные, наоборот, правя стенограммы, *вставляли* себе аплодисменты). Еще: если уж вы собираетесь читать этот номер, прочтите и следующий, где закрытье съезда и остальные речи.

И все это ни к чему: 1) вы по этим данным никакого понятия об истинной сути не получите, 2) ничего, стоящего вашего

вниманья за всем этим нет, все это страшные провинциальные пустяки.

Вот приедете, тогда сами все увидите. Жду этого не дождусь. Крепко целую. *Б.*

Позвоню вам, если судьбе угодно, 12-го к вечеру.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Н. И. Бухарин, с которым Л. О. Пастернак познакомился во время его пребывания в Берлине. О своей встрече с Бухариным Л. О. Пастернак писал Б. И. Збарскому: «У Сурица (посла в Берлине. — *Е. П., М. Р.*) на ужине встретил проездом случившегося его старого друга — Николай Ивановича (с которым встретились, как старые по Москве знакомые — ведь он живописью тоже занимается)» (18 марта 1936; там же. С. 144).

[2] Имеется в виду открытое противостояние «Правды» и «Известий», где Бухарин был главным редактором, — в частности резкая редакционная статья в «Правде» (10 февр. 1936). «Насчет Николая Ивановича ты прав, — писал Л. О. Пастернак, — что он исторически незаурядный — выдающейся образованности человек, — но чего я не знал и что удивило: "с несправедливо сложившейся судьбой"» (17 марта 1936; там же. С. 145).

[3] По поводу своего участия в проходившем в Минске пленуме правления Союза писателей Пастернак писал отцу: «Изложить на расстоянии, почему весь февраль выпал у меня из жизни и ушел на одно пустое словоговоренье, — очень трудно. Это относится к деятельности союза сов. писателей, который временами устраивает пленарные собрания в разных городах, и на этот раз устроили его в Минске. Рассказывать об этом без критики значило бы вводить тебя в заблуждение, подвергать же эти стороны нашей жизни разбору, во избежание иллюзорных выводов с твоей стороны, очень трудно. У нас вообще любят много обещать, преувеличивают, поэтизируют. Правдивы и бесспорны одни *основы* нашего существованья, исторические его тенденции. И это самое главное» (2 марта 1936; там же. С. 142).

[4] Главным редактором «Правды» был Л. Мехлис; его отношение к «Известиям» отразилось также на публикациях в «Литературной газете», посвященных пленуму в Минске, в частности на тексте выступления Пастернака (24 февр. 1936).

751. РОДИТЕЛЯМ

19 марта 1936, Москва

Дорогие мои!

Что за наслаждение слышать ваши голоса по телефону! Драгоценность этого ощущенья так проста, что не нуждается в объясненьи. Но, конечно, каждый раз чудом кажется это неуловимое *сходство* твоих запинок, твоей неторопливой мягкости и всей дик-

ционной манеры с тем самым, что в разных приближениях я нахожу иногда здесь то в каком-нибудь человеке, то в себе самом, в виде внутреннего голоса долга ли, или направляющих мою работу мечтаний, или в чем-нибудь еще. Есть какая-то гамма необъяснимых симпатий, в силу которых к одному человеку тянешься больше, чем к другому, и такая же гамма идеалов, не поддающихся формулировке, которым бессознательно подчиняешь свою жизнь. Так вот, то и другое страшно напоминает твой голос, папа, и причины этого очевидны: это и наследственность, и продолжающееся действие незапамятно когда полученного воспитанья, которому продолжаешь подвергать себя потом своими силами; это — жизнь.

От беспокоящей прелести этих ощущений нельзя отвязаться. Отойдя от телефона, я сказал Шуре. Теперь я понимаю, почему я так люблю Мейерхольда. Он какою-то черточкой напоминает тó в тебе, что можно ощутить даже по телефону. Даже о вещах, в которых он искушен, как никто на свете, даже в случаях крайней убежденности, даже о ближайших своих театральных планах он говорит с мягкостью необязательности, с полурастерянной озабоченностью и с обязательной оглядкой: то на жену, то на театральную политику комитета по делам искусств, то на нашу критику, то на запад. От образа этого старящегося художника неотделим образ ребенка с семью нянь̆ками: среди последних — и семья, и традиции английского и китайского театра, и С.С.С.Р., и больная печень, и жизнь. И все это няньки, и каждая дорога по-своему, и все это надо примирить. Так точно ты упомянул в разговоре маму и Жоню, и Н<иколая> И<вановича>. Так, верно, живу и я. Лишь после этого разговора вспомнил про фотографию, сделанную зимой, и прилагаю ее лишь в качестве иллюстрации. На одной мы с ним снялись втроем с André Malraux (французский писатель), на другой я и Мальро только[1]. Все получились неудачно.

Как хочется в такие вечера, после шести минут Barbaross'ы[2] вас обоих видеть! Каким омраченьем, неощутимым, благодаря привычке, легло это лишенье на всю жизнь; как, вероятно, ее обкарнало! Ты вспомнишь про лето?[3] Нет, чем здоровее я сейчас, чем лучше и радостнее мне, с тем большей твердостью оправдываю я свои летние прятки. Было бы ужасно, если бы вы меня таким увидали, это было бы хуже разлуки. Но когда мало-помалу, постепенно, постепенно разошелся этот бред, и я стал собою, каким был всегда, когда жизнь идет, как ей полагается, — как надо мне вас, каким счастьем было бы, если бы вы пожили немного

и со мною. Ни с кем бы я, наверное, не мог лучше и глубже договориться о самом важном: о жизни, о людском опыте, об истории, об искусстве. И этих заветнейших собеседников нет как нет; и годы проходят! Иногда мне кажется, что если я что-то в жизни выбирал и над чем-то трудился, если я чем-то становился и стал, то где-то в глубине души это было для вас. И вот вас нет и для кого я это готовил? Ах, ведь, только *это* изо всего, о чем вы будете говорить с Б<орисом> И<льичом>, я и понимаю: что я страшно изголодался по вас. И если бы с благом и пользой для себя, вы что-нибудь предпочли нынешнему приезду сюда, — все равно, так дальше оставаться не может, и я поеду в Англию или во Францию, чтобы пожить вместе и повидаться. Вопрос только, — когда.

Ну, теперь, чтобы не задерживать письма, вкратце о разных разностях. Не проговоритесь как-нибудь Б. И., что я позволяю себе иногда легкую дружескую критику по его адресу. Это ему будет неприятно, а он с такой горячей заботливостью думает о вашем будущем, что не знаю, как его и благодарить.

Меня очень успокоил разговор с тобой 12-го. Я говорил из Шуриной квартиры, а прошлый раз из Б. И-човой. И тогда Женя была Женя Збарская, а не наша Женя, как вы заключили: недоразуменье легко разъяснилось.

Шуру можно поздравить с удачами. Он собирается прислать тебе газетные вырезки, где хвалят его проекты[4]. Вообще работа у него налаживается. Хорошо и мне, со всеми трудностями, конечно, включительно, неизбежными в наше время. Это из тех предметов, которые трудно объяснимы на расстоянии. Пожеланья относительно искусства, от времени до времени раздающиеся у нас, иногда высказываются крутовато, по-военному. Представления об этих вещах подчас из примитивных превращаются просто в ложные[5]. Но надо на все смотреть широко и в любой неожиданности находить крупицу истины, что я по мере сил всегда и делаю. — Ничего дельного не сумел вам сообщить, но это ничего: теперь у нас всегда телефон в запасе. Если что будет нужно, передам, может быть, на словах с Б. И. — Быть может, позвоню 23-го или 24-го, но лучше не ждите, чтобы не разочаровываться, если что-нибудь помешает.

Крепко целую вас всех, Жоню, Федю, Аленушку и Чарлика.
Ваш Боря

Может быть, в следующий разговор поговорю с одной мамой, а то все к концу у нас выходит. Крепко обнимаю тебя, мамочка.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

[1] Серия фотографий, сделанных В. Руйковичем 5 марта 1936 г. в гостях у Мейерхольда, где в тот вечер был Андре Мальро.

[2] Районная берлинская телефонная станция, к которой относился телефон родителей.

[3] Имеется в виду несостоявшийся приезд Пастернака к родителям в Мюнхен летом 1935 г.

[4] А. Л. Пастернак проектировал шлюзы на канале Москва — Волга.

[5] Имеются в виду разгромные статьи в «Правде» и дискуссия о «формализме», проводившаяся по этому поводу.

752. Т. и Н. ТАБИДЗЕ

8 апреля 1936, Москва

8. IV. 36

Дорогие друзья мои Тициан и Нина!

Неделю с чем-то проносил я в кармане у себя нежнейшую к Вам обоим телеграмму. Но я стыжусь сдавать на телеграф, где дежурным не до сердечных излияний, телеграммы в таком стиле. И я все собирался заменить ее более дельной и сухой. И наконец, за прошествием большого времени, отказался и от этой мысли.

Почему Вы задерживаетесь и все не едете, Тициан? Я хотел Вам протелеграфировать не о любви своей и верности, это Вам известно и давно надоело. Я хотел Вам сказать, чтобы Вы не унывали, верили в себя и держались, невзирая на временные недоразуменья. Как меня порадовал телефонный звонок Ваш! И даже Нина подошла к аппарату, — спасибо! Но разговаривать было трудно. Вы меня не слышали, а я Вас — отлично.

В передрягах недавнего прошлого было много *обманчивого*, неопределенного. Я сразу это почувствовал. Меня никто не собирался трогать, я имел глупость заступиться за других: за Пильняка, за Леонова. И позволил себе просто по-домашнему сказать, что газетные статьи мне не нравятся и я их не понимаю[1]. Что тут было! Вместо того, чтобы напечатать в газете, что я совершил политическую непозволительность (что было бы для меня тяжелее), мою вину смягчили, и в виде наказанья зачислили меня на одну пятидневку в формалисты. Но и то не долее: это успеха не имело.

Ах какая все это чепуха! Это был неприятный сон, приснившийся нескольким деятелям современной детской, и при всем стараньи я не мог переместиться в плоскость их кроваток.

Если есть *доля* правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени, с его исторической бесконечностью. Как же может бесконечность быть *долей*, да еще такого ничтожного целого, как та манная критическая кашка, которую так трогательно расхлебывали целый месяц? Вот ответ: эта правда давалась в безотрадно слабом растворе; страшную грозовую истину разводили слюной и молоком.

Не верьте растворам, Тициан![2] Верьте именно этой линии, именно из революционного патриотизма верьте уж лучше себе, Тициану Табидзе, потому что, как бы то ни было, химия Вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни называлось, на более высоких градусах, чем это принято в «Литературках» и «Вечерках». И если бы Вы этого даже не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, если бы мы даже и не знали искавших по-другому. А разве их мало? И плоды их трудов налицо.

Можете быть спокойны. Не я один в Вас верю и знаю Вам цену. Не верьте растворам. Верьте революции в целом, судьбе, новым склонностям сердца, зрелищу жизни, а не конструкции Союза писателей, Вы и чихнуть не успеете, как его вдруг преобразуют, — Веку, а не неделе формалиста.

Весь этот месяц чувствовал себя превосходно. Только раз прихворнул гриппом, дня на три. Страшно рад был Паоло. Но он ужасный ребенок, и с ним очень трудно. В тот миг, как он несет совершеннейшую ересь и его надо оспаривать, он вдруг становится две капли воды Медея[3] (страшное сходство!), и руки опускаются от умиленья.

Приезжайте скорее. Редко бывал так спокоен, как сейчас, и ни капли не изменился. Только в тех ерундовых стишках, которые были написаны до Минска и на днях появятся в «Знамени», снял посвященье Леонидзе с последнего по счету, из опасенья, как бы у него не было неприятностей, ввиду некоторой независимости содержанья[4].

Но какой-то период и в общей литературной жизни, и лично у меня закончился. Он у меня кончился еще раньше: я не справлялся с прозой, душевно заболевал, переводил. Знаю ли я, что надо дальше? Знаю. Только никому не скажу, может быть, лишь Вам,

и то под страшной тайной. Но совсем по другой линии, нежели ерунда в «Знамени». Там один лишь холостой взрыв, пустая голословность, выход недоуменью.

Но буду работать, так, скажем, с осени, если буду жив и здоров.

Всем поклон. Ниту и Нину крепко поцелуйте! Обнимаю Вас от всей души. Простите за дурацкий тон письма. Причина: дико ноет зуб, а на душе весело и тянет к глупостям. И приезжайте! *Ваш Б.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 17).

[1] Имеется в виду дискуссия о «формализме», на которой Пастернак выступал с критикой газетной кампании. «Если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? Тогда будет все-таки понятней, потому что когда орут на один голос — ничего не понятно. Может быть, можно вообще не орать, — это тогда будет совсем замечательно, а может быть, можно пишущим эти статьи даже и думать, — тогда мы, может быть, что-нибудь и поймем» («На дискуссии о формализме». Т. V наст. собр.).

[2] В перекинувшихся в Грузию отголосках критической кампании Тициан Табидзе стал объектом резких политических обвинений.

[3] Дочь Паоло Яшвили.

[4] Речь идет о стихах, позднее объединенных в цикл «Художник» («Знамя», 1936, № 4). Стих. «Скромный дом, но рюмка рому...» в рукописи имело назв. «Устами друга» и посвящение Георгию Леонидзе, в печати снятые.

753. Л. Л. СЛЕЙТЕР

25 апреля 1936, Москва

25. IV. 36

Дорогая Лида!

Вот начало письма Ломоносовой к Жене, оно касается тебя.

«Сегодня была я в нашем консульстве, и там просили меня узнать адрес сестры Б. Л. — Лидии Леонидовны. Мне сказали, что она недавно вышла здесь замуж, и была в консульстве, но там забыли записать ее новую фамилию, а теперь не знают ни имени, ни адреса. Мне тоже бы хотелось знать ее адрес. Надо же нам познакомиться».

Женя по простоте душевной, справясь у Стеллы, готова была эту просьбу Ломоносовой исполнить, т. е. не спросясь тебя, так бы ей адрес твой и сообщила, я же, не зная твоих намерений и настроений, предоставлю все это на твое усмотренье. Хочешь, можешь удовлетворить любопытство консульства, не хочешь, не

надо. То же и в отношении Раисы Николаевны. Но если бы ты согласилась с ней познакомиться, мне было бы очень приятно, и в таком случае извести меня об этом поскорей.

Я не писал Ломоносовой целую зиму, а она милейший и очень интересный и простой человек. Она приглашает Женю с Женёчком к себе в Англию каждое лето, и особенно серьезно в нынешнее. Мне давно надо ей ответить, и я уже было собрался, как вдруг эта ее просьба. Умолчать в ответе о тебе было бы странно и, может быть, ее бы обидело или удивило. А без тебя я этого не смею. Ты, может быть, скажешь, что в итоге все равно я тебе выхода не даю, т. е. как бы принуждаю. Ничуть не бывало. Если у тебя нет времени или ты не в настроеньи, или еще что-нибудь, то сообщи, и я всегда сумею сделать так, как ты пожелаешь. Однако, повторяю, если бы вы узнали друг друга, я был бы рад за нее и за тебя.

Понятно, я об этом думал уже и раньше, в твой первый приезд в Оксфорд; все время у меня чесались руки написать Р. Н. и тем самым наслать ее на тебя; или, может быть, мистифицировать цветами или еще чем-нибудь при ее посредстве. Но если бы я о тебе заикнулся, твое уединенье было бы нарушено, а я не знал, как ты на это уединенье смотришь: иногда именно приятно не иметь никого одомашнивающего в новом и свежем, как непрочитанная книга, краю. Было, конечно, очень просто запросить тебя об этом. Но как многое, и почти всегда важнейшее, в этой чертовской жизни, я все это откладывал.

Можешь себе представить, как мне все время хотелось писать тебе: тебе, замужней, в Англию, — предмет моих мечтаний еще в 13-м году, когда я самоучкой знакомился в оригинале с Китсом и Колриджем, Суинберном и По и другими[1]. И вот все это сделалось с тобою! Как все странно!

Сегодня, в связи с добыванье твоего адреса по соседству, случайно узнал, что скоро ты готовишься стать матерью. И я ничего не знал, и, вероятно, опять кругом виноват в этом. — Я в эти дни всей душой с тобою.

Ах, эта невозможная жизнь! Здешние ее нелепости, становящиеся препятствиями для художника, — баснословны. Но такова и должна быть революция, становящаяся все более и более событьем века, все очевиднее и очевиднее выходящая на самую середку в гущу народов. До судеб ли тут, до оправдавшихся ли биографий. Но история размахнулась тут чем-то несговорчиво-крупным, и это — возвышает. И достаточно это помнить, чтобы перестать оглядываться и подводить печальные итоги. (Я помню твое заме-

чательное письмо. Я тебе горячо был за него благодарен. Я не помню, выразил ли я тебе это, т. е. ответил ли?[2])

Ах, как хочется поработать по-настоящему! Да мне ли одному. Так в чем же дело? Это трудно объяснить. Но во множестве помех мы повинны сами.

Два главных обстоятельства этой зимы: 1) Что что-то изменится с папой и мамой (что он засуществовал тут в потенции, что на Пречистенском бульваре, у Шуры в телефонной трубке раздавался его голос, что он молодец, что я два раза с ним разговаривал). 2) Что я здоров, здоров в том самом смысле, в каком невозможно, немыслимо был болен так недавно, не по-Жониному, не по-твоему, не по-человечески, никак, как только может быть во сне: шесть месяцев сряду!

Теперь надо как-нибудь не поддаться, — жестокая программа, слушаться только себя!

Я не знаю, что предпримет папа, т. е., куда они поедут. При его возрасте, все это тревожит меня. Я страшно (всем смыслом моей жизни, всей силой прожитого) по ним скучаю. Это и сыновняя любовь, и что-то еще другое. Папа, ведь, — художник (с еще бóльшим смыслом жизни и еще большею силой пережитого).

Наряду с этой неизвестностью, неожиданно с выздоровленьем возродившееся, в последние пять лет постепенно ослабевшее — чувство связи с западом, с исторической землею, с лицом мира, чувство непобедимой потребности в нем и ничем не возместимой разлученности.

Печальная комедия, когда меня переводят, или хотят переводить. Эти пробы не оправдывают интереса, послужившего к ним поводом, и даже как бы его компрометируют. Тогда осматриваюсь, и оказывается, что и переводить-то, ведь, нечего, что была какая-то деятельность, показательная, как процесс, но нет книг, отдельных книг о том-то и том-то, нет каких-то Бовари или Идиотов или Домби и сынов. Но не говоря о глупости и нескромности таких сравнений, вина не моя. Таково было время. Не было Домби и Бовари у Рильке и Блока, не было ни у кого, на кого я молился. И тут — снова революция. Но вернусь к переводам.

Чем их появленье объясняется, есть ли место этой неуместности, можно ли эту бессмыслицу осмыслить? Можно. Их единственный смысл для меня в том, что это соответствует моей тоске по Европе, моей всегдашней мысленной жизни в ней; смысл этих переводов в том, что так же, как эти переводы, существуем и мы: что вы за границей, и притом в разных странах; что так перевела жизнь

квартиру на Волхонке. Наконец, смысл этих конфузно никчемных переводов в том, что какие-то Бовари и Домби обязательно будут, потому что их только и осталось написать, больше делать нечего: потому что была революция, и как только человек получит свободу чуть-чуть от нее отвлечься, чтобы всецело ее вспомнить и о ней подумать, — чему тогда и явиться, как не большому реалистическому искусству. И если буду я жив, жить я буду уже в нем.

— Прости, я пишу тебе торопливо и очень записался. Связаться с Ломоносовой можешь и сама (прилагаю два адреса, квартиры и где она занимается), но если сама ей напишешь, то и в этом случае меня извести, не откладывая. Она, между прочим, написала драму о Пушкине, и, право, молодчина: просто удивительно, как справилась. Но она себе не представляет нынешних дел здесь у нас в литературе, если думала ее тут пристроить[3].

Если бы ко всему ты еще написала мне о себе, я был бы счастлив. Отчего вы считаетесь со мной письмами, ты и Жоня? Сердечный привет твоему мужу, мы, конечно, познакомимся, не тут, так там, у вас.

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Об увлечении Англией и ее поэзией в 1910-х гг. Пастернак писал в письме № 283.

[2] Имеется в виду письмо Лидии 1 марта 1930 по поводу «Повести» и «Охранной грамоты», где она благодарила брата за освобождение жизни «из-под гнета времени» и его ответ (письмо № 538).

[3] Речь идет о пьесе Ломоносовой «Дуэль» и ее письме к К. С. Станиславскому 20 мая 1935, которому она предложила ее для постановки во МХАТе (см. «Минувшее», № 17. С. 383).

754. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

13 мая 1936, Москва

Дорогая Раиса Николаевна!

С самой середины зимы я все собираюсь что-то сделать и выяснить, *и потом, наконец, написать Вам,* и так как первое намеренье, притом несколько неопределенное, все как-то не удается, или по пути видоизменяется, то я никак не прихожу к исполненью второго. Это началось еще с Сюлливановского календаря: за столькое следовало поблагодарить Вас![1]

Тогда зимой я выяснял у Булгакова, где достать его пьесу о Пушкине. Оказалось они (с Вересаевым) ее еще только пишут. Но тогда же, в разговорах с женой Булгакова[2], был приятно я обрадован (рассказав ей, для кого мне Пушкин нужен) тем, что они, по пьесе и Мхату, о Вас знают. От нее я узнал, что Станиславскому Ваша пьеса нравится, а Немировичу, кажется, меньше[3]. Первое было огромной радостью для меня, и теперь Вы меня спросите, отчего же я с Вами этой радостью не поделился? Причины этой странности у меня еще в памяти, но они ничего не объяснят Вам, если Вы не следили хоть немного за особенностями истекшего нашего сезона. Я предполагал, не спрашиваясь Вашего согласья, дать Вашу вещь на прочтенье в Вахтанговский театр, от себя, на пробу, без всяких с их стороны обязательств.

Но тут вскоре с бедного Шостаковича началась серия разносов[4], обошедшая все: хоть сколько-нибудь заметное и положительное во всех отраслях искусства, и если бы даже мне не оказали этой чести, все равно, довольно было и того, что делалось (и еще делается) с товарищами, чтобы прийти, сначала в замешательство, а потом, по исчерпанном терпеньи, и в раздраженье. Все спуталось, никто ничего не понимает, и все чего-то боятся. Как бы ни относился к этому я, во всем этом приятного мало. Я на эту тему распространяться не буду. Хочу только сказать, что ни о себе, ни о Вашей пьесе, ни о чем бы то ни было другом, связанном с предвиденьями и возможностями в этой области, речь, если и будет, то не в этом еще письме. Вообще, я в молчании своем зашел так бессовестно далеко, что если бы думал отчитаться одним письмом сразу, задача меня бы отпугнула, и я бы за него не взялся. Если я преодолел этот страх, то в надежде, что это еще не то письмо, а временное к нему предисловие, а то, другое, будет еще написано, вслед за этим, деловым и торопливым. Итак, по трем пунктам.

а) Поблагодарил ли я Вас своевременно за денежный перевод?[5] Честное слово, я не помню, и по всем естественным законам надо бы думать, что да, но так как я в этом не уверен, то простите меня пожалуйста, если этого не случилось. Тут же просьба: не делайте для себя, даже ради меня, grand chose* из трудностей существующих для меня между Женей и З<инаидой> Н<иколаевной>, и пока неразрешимых. Я был к ним очень чувствителен, когда был болен: но ведь здоровым я себя именно тогда не выдавал. Если что можно что (так! — *Е. П., М. Р.*) сделать с наблюденьями тех трех дней, то

* здесь: особой сложности (*фр.*).

только забыть их. Выводов же из них делать нельзя, как из любого другого бреда. Всего приятнее мне была бы полная с Вашей стороны свобода в этом смысле и когда даже по случайным причинам (незнанья З<ины>) Ваши симпатии склоняются в Женину сторону, меня это только радует. Вообще только в бреду можно было думать, что обстоятельства этого рода могут иметь какое бы то ни было значенье, кроме только одного, чтобы нескольким близким было хорошо в той мере, в какой их взаимная непримиримость допускает, а сыну моему, когда это будет можно, и вне этой меры. В остальном же все эти вещи второстепенные: пришла старость, силы и годы жизни на счету, время же, не раз и раньше задерживавшее многих в их деятельности и развитии, дарит все новыми загадками. И чтобы не пришлось умереть с чувством, что жизнь прожита даром, надо сквозь все эти загадки прорваться несмотря ни на что. Для этого нужны нечеловеческие силы, но только это лишь и осталось. (Как, однако же затянулся этот пункт *а*.)

b) Вот адрес моей сестры: Dr. L. Pasternak-Slater. 170 a Church Street, Kensington, London W.8.

Я ей не писал целую вечность, и чтобы она не обиделась, пишу наспех, чтобы опередить Вашу встречу.

c) Надо ли говорить о чувствах, которые естественно вызывает Ваше гостеприимство по отношению к Жене и Женичке?[6] Но вполне ли Вы все это взвесили, не слишком ли они стеснят Вас? Если Вы на это идете всерьез, я, прозондирую тут почву насчет паспорта. Наперед ничего не могу сказать, хотя понимаю, как Вы нуждаетесь в определенности. Шансов на удачу почти никаких, процедура выясненья (до отказа) протянется очень долго, но — чем черт не шутит. В случае неудачи, в виде варьянта на будущий год, оставлю надежду на свою собственную поездку, вместе с сыном, — если только этот год проведу плодотворно.

Итак по-видимому я у цели: Я исписал Вам 8 страниц и ничего не сказал, что и требовалось доказать.

Вы, замечательный человек, — сколько раз повторять Вам это. Знаете, о чем я сожалею? Последние 5 лет мы дико тут пронаивничали, мы, Булгаковы всякие и Федины и Шостаковичи. И этих лет никто не вернет нам[7]. И времени мало. А что делать? А потому и Рикман[8], сердечно ему кланяйтесь, во всем он был прав, — Вы понимаете?

Ах, ах, как совладать со всем этим? Горячо желаю всего лучшего Вам и Юрию Владимировичу и Юрию Юрьевичу.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Вероятно, календарь с репродукциями работ английского художника Эдмунда Салливана (Edmund Sullivan).

[2] Елена Сергеевна Булгакова. Пьеса М. А. Булгакова в соавторстве с В. В. Вересаевым «Александр Пушкин» была предназначена для Театра им. Вахтангова; во МХАТе она шла в 1940–1950-х гг. под названием «Последние дни».

[3] Ломоносова предложила свою пьесу Станиславскому в мае 1935 г. Немировичу-Данченко она писала о предполагаемой английской постановке пьесы «Дуэль» 26 авг. 1937 (там же. С. 395).

[4] Критическая кампания борьбы с «формализмом» началась статьей «Сумбур вместо музыки: Об опере "Леди Макбет Мценского уезда"» («Правда», 28 янв. 1936).

[5] В письме 10 окт. 1935 Пастернак просил Ломоносову выслать деньги на имя Зинаиды Николаевны. Ломоносова это сделала 21 октября (там же. С. 386).

[6] Ломоносова приглашала к себе в гости Е. В. Пастернак с сыном.

[7] Ср. слова Пастернака, сказанные на пленуме в Минске: «Скажем правду, товарищи: во многом мы виноваты сами. Ведь не все на свете создается дедуктивно, откуда-то сверху.<...> Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные путы, никому не нужные, никем не затребованные. От нас хотят дела, а мы все присягаем в верности» («Выступление на III пленуме правления...» — т. V наст. собр.).

[8] Доктор Джон *Рикман*, с которым Пастернак познакомился у Ломоносовой (см. письмо № 735).

755. РОДИТЕЛЯМ

18 мая 1936, Москва

18.V. 36

Дорогие мои!

Жалею, что только что позвонил вам с Женею: я только, верно, зря разволновал вас. Но когда ты и мама сказали мне, что нас не слышно, я растерялся и решил кончить разговор: как раз сегодня при заказе разговора на телефонной станции предупредили, что тариф утроили, и само по себе это не важно, я ведь, собирался говорить минут шесть, не больше, но когда разговор не стал ладиться, я подумал, что не стоит задерживать соединенья впустую, а лучше наверстать как-нибудь в другой раз.

Горячо благодарю вас за подарки. Vater und Sohn — книга такой глубокой нежности, что я боялся показывать ее Женёчку, ввиду его постоянной чувствительности к особенностям его жизни в сто-

роне и отдельности от меня. Но нам случилось рассматривать ее вдвоем настолько «en père et fils» и он настолько трогался ею и смеялся, что оказалось, нельзя было выбрать книги лучше: наше разглядыванье ее само просилось на ее страницы, как сцена из той же трогательной истории[1].

На Волхонке нет ванны, на Тверском бульваре — есть. Женя большая в Крыму. Женек остался с Елиз. Михайловной, но за хозяина в тихой, светлой квартирке. Я пришел спросить, нельзя ли мне у них выкупаться. Пока согревали колонку, мы просмотрели книгу, причем Женек объяснял значение полунемых рисунков Е<лизавете> М<ихайловне> и мне. Он очень тонок и догадлив.

Горячо благодарю тебя за статью Валери: поблагодари и переводчика и поздравь с замечательной удачей[2]: я знаю статьи Valéry, и знаю, какие трудности представляет передача их языка и смысла. А тут передано все почти вплоть до голоса. Но статьи я не знал. Лишняя растрава. Что тут со всем этим поделаешь, — представь себе, если бы в период 36-ти[3], передвижники в лице слабейших были законом, и за упоминанье о Мане... сажали в холодную.

Б<орис> И<льич> с большим восхищеньем отзывался о всех вас и не нахвалится вашим внешним видом. Это же я слыхал и с другой стороны, от американского журналиста Фишера, которого встретил на улице[4].

Но есть одна вещь, которая меня огорчила. Б. И. рассказывает, будто Федя возмущен нашим (моим и Шуриным) поведеньем и отношеньем к вам, и, кажется, Б. И. его поддерживал в этом разговоре. Так как разъяснить это все очень легко, то ты отнесись к этому хладнокровно.

Неужели хоть когда-нибудь тебе или маме могло прийти в голову, что в каком бы то ни было смысле вы можете быть мне или Шуре «неудобны», — как это иногда бывает в жизни, по материальным или каким-нибудь другим соображеньям, неужели вам не ясно, что если бы даже, скажем, Шура получил Нобелевскую премию, а я женился на принцессе Уэльской, все равно, пропорция сил и значений осталась бы одна и та же до конца века: неужели вам не ясно, что о совместной жизни с вами можно *только мечтать и ее желать, а соседством с вами можно только гордиться?* Неужели это не ясно?

Я нарочно не говорю тут ни о каких чувствах и готов наперед допустить, что мы бесчувственные эгоисты. Я только хочу сказать, что для того, чтобы в нашем случае эта излюбленная тема о неблагодарных детях могла иметь хоть какое-нибудь правдоподобье, мы

должны были бы быть безвкусными и отпетыми дураками в большей все-таки степени, чем это наблюдается.

У меня такое впечатленье, что я зову вас сюда вместе с Олей с позапрошлого года. При этом все время я повторяю, что вы разделите мою жизнь, не входя в ее подробности, т. е. так именно, как вы захотите. Я понимаю Шуру, когда в характеристике действительности он оказывается не так поверхностно идилличен, как Б. И.: он просто в этом честнее. Значит ли отсюда, что он желал бы видеть вас в постоянном отдалении? Я же и вообще-то этой действительности не касаюсь. Я (совершенно, как и он), во-первых, думаю о постоянной радости, какую бы доставляло ваше присутствие; во-вторых, вы просто нужны мне: ваше существованье придало бы смысл целому ряду материальных облегчений, которые предвидятся у меня, и пока осмыслены недостаточно.

По-видимому, я с этого лета получу под Москвой отдельную дачу в писательском поселке, а осенью (в обмен на Волхонку) и квартиру[5]. Я об этом раньше не заговаривал потому, что все последние четыре года провел в обещаньях такого рода и ни во что не верю. Но именно в согласии с этой душевной тенденцией я и твержу все время: переезжайте. А там увидим, *вместе увидим*. Что должен был я сказать или сделать большего, что большего вообще сделано до сих пор другими, не неблагодарными, но единственными решающими в нашей системе, — *государственными* руками? Так в чем же дело? И если остановка только в нашем негостеприимстве, то должен вас успокоить: это совершенный миф, препятствий с этой стороны нет никаких, и поскорее приезжайте во всем этом разубедиться.

Просто странно. Точно вы и Федя и Жоня никогда меня не видали! Я, видите ли, такой любитель вещей и денег, со вкусом прибирающий их к рукам, с крепко сколоченным домом и семьею, с какими-то там «своими соображеньями», враг всяких сентиментов и заоблачностей и т. д. и т. д.! Вспомните: однажды Жоня заикнулась о желаньи приехать на лето к нам[6], и уже все было сделано в посольстве на Unter den Linden*. И не думайте, что я оправдываюсь, или думаю поставить Шуре в заслугу, что он отнюдь не такой изверг, как должно было бы получиться, если бы его мрачность объяснялась вышеразобранным мифом. Повторяю, в нашем случае и во влюбленности в вас никакой заслуги бы не было, настолько все данные для этого с *вашей стороны* налицо, так глупо, так бездарно было бы противоположное.

---

* Центральная улица Берлина.

Или, может быть, это результат летнего заграничного моего казуса? Но не видели ли меня Жоня и Федя, или они были слепы? Разве им не ясно было, что перед ними находился человек с временной отсрочкой существованья, временно отсроченный человек, ein Nichts*, потрясенный, измученный и раздраженный этой чертовой интермедией, с которой должна была совпасть столько лет лелеявшаяся и такая чертова на этот раз поездка? Разве они этого не видели? И, наконец, разве не через Берлин я ехал, не вам в Берлин посылал телеграмму, не вас в Берлине хотел видеть?

Этого бы я не постеснялся, потому что так пришлось бы, рельсы бы так привели, как привели, попутно, в Париж к Цветаевой или в Лондон к Ломоносовой. Потому что так путь лежал. Но везти к вам *показывать это* в Мюнхен, — нет это было выше сил моих. Это было так же невозможно, как невозможно в Париже было воспользоваться ценнейшими возможностями, прямо просившимися в руки.

Мальро меня спрашивал, с кем хотел бы я познакомиться, и чтобы воспользоваться именем тебе известным, речь, между другими, шла и о том же Валери: «Он с большой охотой вас примет». И я от всего отказывался. André Gide говорил мне: «Я хотел бы, чтобы вы знали, с какой теплотой мы тут к вам все относимся. Неужели это неспособно поддержать вас?». И я от них бегал. В нескольких шагах от меня за одним и тем же столом президиума сидел Генрих Манн. Реглер, Вейнерт, Клаус Манн (сын Томаса) подходили ко мне с вопросом, не навещу ли я вместе с ними его (Г. М<анна>), и я даже не знакомился с ним, хотя он сидел через одно от меня место: так расходилось то, что я представлял тогда собою, с тем, что чувствую к обоим большим романистам. Наконец, не знаю, писал ли я вам. Когда я сюда вернулся, здесь у Горького гостил Роллан. Дважды меня требовали туда в городе, по его настоятельной просьбе. Потом я забрался на дачу к Зине, на захудалую станцию не доезжая Щелкова[7], куда едва почта доходит, типа тех мест, на которые надо убить день, чтобы съездить к комунибудь на минуту, с лужами и дико перепутанными просеками, с несколькими системами друг другу противоречащих нумераций, гиблое, безадресное место. И вот накануне отъезда Роллана из России вдруг показывается в этом квадрате озаборенной крапивы какая-то седеющая женщина, как потом выясняется, лекторша по французской литературе (русская), посланная от него специаль-

* Ничто (*нем.*).

но за мной с порученьем привезти меня живого или мертвого. И я два часа толкую ей о невозможности этого и ссылаюсь на прецедент с вами, и, неубежденная, она без меня уезжает. *Вот как я не поехал к вам в Мюнхен*, вы это понимаете? Боже мой, Боже мой, сколько раз придется это объяснять вам?

Ну тогда чем же *возмущается* Федя? И из слов Фишера мне показалось, что отношенье мое к тебе *вам неизвестно*. Когда меня однажды абордировали с биографической справкой, я дал сведенья только о вас обоих[8]. Разве это не аксиомы?

Я ни капельки не обижаюсь, и ты меня не разубеждай. Но мне печально, что вы сами создаете себе источники несуществующих огорчений, притом немыслимых. И все эти разговоры такая пошлость! Шура мне сказал: Это Федя, наверное, для Б. И. разводил, вроде как о погоде.

Крепко вас обнимаю. *Ваш Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Немецкая книга для детей «Vater und Sohn» («Отец и сын») состояла из разных картинок на темы времяпрепровождения сына и отца и коротких подписей под ними.

[2] Л. О. Пастернак писал сыну 26 апр. 1936: «В "Neue Rundschau" была статья Valéry о Малларме, переведенная с французского знакомым одним милым юношей. Если тебе интересно, пришлю ein Sonderdruck, преподнесенный мне этим юношей. Ничего не понял, но это мысли Valéry о словесном искусстве, о значении слова что ли» (там же. С. 149). Имеется в виду статья Paul Valéry «Mallarme», из журн. «Die Neue Rundschau» (XLVII. Band 1. Berlin–Leipzig, 1936) в переводе J. Malkiel. По-русски под назв. «Письмо о Малларме» вошла в сб. Поля Валери «Об искусстве» (М., 1993); в ней Валери писал о заслугах Малларме, который создал особое понятие «трудного автора», для чтения и «целостного постижения» которого требуются определенные «интеллектуальные усилия», тем самым возвышая «положение читателя» и переводя его «из милой ему пассивности к сотворчеству» (С. 344–356. Перевод А. Эфроса).

[3] Художественная группа «36», одним из учредителей который был в 1900-х гг. Л. О. Пастернак; расширившись в 1902 г., она получила название «Союза русских художников».

[4] Известный американский журналист Луи Фишер, с 1922 по 1939 г. много бывавший в Москве, где жила его жена Б. М. Фишер, оставившая воспоминания, в которых часто упоминает о Пастернаке («My lives in Russia», N. Y., 1944).

[5] Летом 1936 г. Пастернак получил дачу в Переделкине, а квартира в писательском доме в Лаврушинском переулке была готова только через год, в конце 1937 г.

[6] Имеется в виду намерение Жозефины приехать в Москву; 18 февр. 1925 г. в письме к Лидии Пастернак сообщал, к кому обратиться за разрешением в советском посольстве, располагавшемся на центральной улице Берлина, Unter den Linden.

[7] Станция Загорянская по Северной железной дороге.

[8] Упоминание «Автобиографии» 1924 г., которая так растрогала Л. О. Пастернака словами о благодарности родителям («Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке...» — т. V наст. собр.).

756. РОДИТЕЛЯМ

Июль 1936, Переделкино

Дорогие мои!

Я давно не писал вам. Часто собирался, начинал и бросал, потому что вдавался в анализ или описание вещей, трудно понятных на расстоянии. От этой мысли надо отказаться, а то так никогда ни к чему не придешь.

Начну с главного. От *практического обсужденья* того, как вам строить дальнейшую жизнь, отказываюсь, так как в состоятельность официального вмешательства не верю, как и в возможность общего языка между художником (в такой чистоте и одаренности, как в папином случае), и временем. Но никогда я так вопроса и не ставил.

Ты к *нам* должен приехать ввиду болезненности вашей домашней хозяйки[1], — к нам, ко мне и к Шуре в гости, а там видно будет. Ведь, в глубине души вы цену гимназическим прописям Б. И. знаете, и, не в его лице, а в обобщенном типическом отвлечении всю жизнь знали, и, слава Богу, шли по иной, своей собственной и более высокой дороге. Все это совершенно вам не подходящая дешевка, серое вранье, сказки для детей. Я же могу говорить только о том, что знаю хорошо и за что готов поручиться. Так вот, если бы вы приехали, вы бы жили у меня, и, не будучи в состоянии дать вам ничего более того, чем живу я сам, я в этих своих условиях мог бы освободить вас от всяких забот, — это я знаю верно и в этом не обманываюсь. Это мало бы изменило мой обиход, т. е. не прибавило бы какого-нибудь нового труда, но, как я уже раз писал вам, так сильно осмыслило бы счастьем вашего присутствия мое существованье, что прибавило бы мне сил и его облегчило.

Я живу сейчас на даче, очень поместительной и обширной (два этажа, шесть комнат, с двумя террасами и балконом). Комната, в которой я пишу тебе, равняется твоей мастерской на Волхонке

и в два света. Дача зимняя, и если бы вы приехали, я бы поселился в ней с вами на круглый год. Тогда я с более легким сердцем и с сознаньем близким смыслом освященной цели стал бы вкладывать силы и деньги в это хозяйство, еще не вполне законченное, в свои труды, в призванье и прочее и прочее.

От новой городской квартиры я, вероятно, откажусь, оставив в виде городского pied' à terre'a* старую волхонскую квартиру. Эта предполагаемая новая квартира в соединении с дачей, оказывается в общей сложности, больше моих истинных потребностей. Кроме того, как вы верно догадываетесь, я боюсь всякого резкого измененья к лучшему моих житейских условий, потому что мне не приходится делить их с Женёчком; я также боюсь, что необходимость содержать все это в сильно увеличившемся масштабе в такой мере отвлечет мои средства в одну сторону, что мне не придется уделять их Жене в части, пропорциональной моему собственному быту. Короче говоря, я от въезда в новую квартиру, повидимому, воздержусь.

Совершенно не умею писать на эти темы, недостает слов, и я не уверен, поняли ли вы что-нибудь из сказанного?

Для меня было бы счастьем, помощью, новым стимулом к работе, источником тепла и света, если бы вы приехали ко мне. Существованья вашего здесь в какой бы то ни было другой редакции себе не представляю, даже если бы вам дали свою квартиру. Можно ли было бы оставить вас в ней без переводчика и утешителя? Не вините меня: насколько мне все ясно с точки зренья личной, сердечной, т. е. в разрезе моего приглашенья вас к себе (и тут мне это ясно во всей *практической реальности*: вам будет хорошо у меня), настолько я не в состоянии судить о вашем приезде в какой-нибудь другой постановке. Я не знаю, все ли мне нравится, действительно ли счастлив я. Я не знаю, понравится ли все вам, будете ли вы счастливы. Но *роднее вас нет ничего* на свете, за исключением только Женички, с которым я разлучен: это — несомненно, и за эту несомненность я бы всеми силами хотел ухватиться, — вот и все. Этим можно жить и на этом можно строить. Остальное — не по моей специальности.

Итак, что я хочу сказать? Если вы серьезно думаете приехать сюда, *приезжайте ко мне*. Ничего другого не могу посоветовать, ничего другого себе не представляю.

---

* опоры, места жительства (*фр.*).

Женя с Женичкой и Ел<изаветой> Мих<айловной> сейчас в том самом Одоеве, где два года тому назад проводили лето я с Зиной и ее мальчиками.

Как ваше здоровье?

Крепко вас целую и обнимаю.

Ваш Боря

Пишите на городской адрес, здесь почта еще не налажена. Это по Брянской дороге, на три остановки дальше Очаковской платформы, — помните?[2]

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

[1] *Болезненностью домашней хозяйки* Пастернак называет атмосферу нацистской Германии, — гитлеризм.

[2] Лето 1918 г. родители проводили в имении Карзинкино вблизи платформы Очаково.

757. РОДИТЕЛЯМ

Сентябрь 1936, Переделкино

Дорогие мои!

Я все еще не ответил вам на письмо[1]. Но только на днях я повидал, наконец, Б. И.

Ты слишком преувеличиваешь, папа, значенье моих чувств к вам. То есть надо сказать точнее: ты все это видишь в неверном свете[2].

Что я хочу все время выразить в ряде своих объяснений? То единственное, что рассудить свободно, как вам быть и что делать, я не берусь, роковым же образом и фатально, как за нечто вами решенное и данное, готов за ваш приезд ухватиться с радостью, как за возможность быть вместе с вами.

Когда в начале лета я звал вас сюда на дачу, это было только эгоистично: в обширность затрат, забот и новых комнат, в противоречивую путаницу душевных состояний, под влияньем обстоятельств все усложняющуюся у меня и часто непосильную, вошло бы нечто столь бесспорное и определенное, как вы. От этого стало бы легче, а не труднее. Но вот лето прошло, и вас нет, и самоуверенный дурак Б. И. с тоном превосходства сообщает мне, что ему надо только знать, будет ли или нет квартира в Лаврушинском (остальное неинтересно), потому что, если она будет, вы, быть может, приедете в марте. А знаю ли я, что со мною будет до марта?

Ах, как все это трудно объяснить! И все кругом такие хорошие, и так скверно все то, что приходится говорить о себе, чтобы стать понятней.

До сих пор я справлялся с трудностями душевного порядка (и в семейном и в общественном смысле) потому что, так сказать, жил в их стиле: скромность и затруднительность внешних условий (квартиры, домашнего «трепа», денежных потребностей и прочего) соответствовала тому, что у меня делалось в душе; к существующим формам разлада внутреннего не прибавлялся разлад внешний, самый обидный и мучительный, разлад между внешней праздничностью обихода и ощущеньем одиночества, смерти и предательства в душе.

Но вот он прибавился. Из Волхонской тесноты я попал в двухэтажный, наполовину мне не нужный дом, не только учетверяющий ежемесячное орудованье тысячами и пр., но, что посущественнее, требующий столь же широкой радости в душе и каких-то перспектив в будущем, похожих на прилегающий лесной участок. Хотя напрасно я поэтизирую нравы поселка: при существующей кругом жизни они далеко не так безобидно невинны: может быть, и с радостью в душе меня бы так же оскорбляла нота жадности и мещанства, в нем сказавшаяся.

Чем же я жил эти три месяца? Тоской по Женечке. Не сожаленьем, что «все это» «достанется» не ему, а тоской по нем, по себе самом, по своей жизни, — *по бедности* (и я в нее вернусь!!). В такой обстановке, т. е. в таком расположении сил и смыслов я за эти годы очутился впервые. Но я повторяюсь, я это уже сказал.

Дело в том, что если бы даже я этого хотел, я всего Зининого сделать своим не могу. В противоположность Жене она женщина работящая до самозабвенья, себя в этом отношении не щадящая и знающая жизнь как раз в том близком мне тоне, который, наряду с ее внешностью, меня с ней и связал. Но, как это часто бывает с такими характерами, она за своих детей и без повода ощеривается волчицей. Помнится, у меня бывали разногласья с Женей по поводу воспитанья Женёчка, они отравляли мое отношенье к ней. Здесь это еще сложнее. Но свести свое участие в своей жизни к одному безмолвному присутствию при ней (хотя бы в небольшой ее части) слишком трудно. Ни к чему хорошему это не ведет. Рано или поздно как-то это кончится, именно этим летом все это повисло на волоске.

Мне бы страшно хотелось остаться одному. Мне надо как-то упростить свою жизнь в соответствии со своими вкусами, убеж-

деньями и прочим. Она давно уже ни на что не похожа: нельзя существовать и работать с адом в душе. Расстаться с З<иной> я бы мог только в том случае, если бы оставил ее вполне устроенной и был бы на ее счет спокоен. Мне тяжело вдаваться в эти подробности, как бы предавая ее, которую вы могли бы узнать в свое время с наилучшей стороны и не узнали, в момент без ее вины для нее невыгодный, и к тому же заочно. Я вынужден делать вам эти признанья, для того, чтобы вы знали, как трудно мне, при неизвестности ваших окончательных решений, расширять впрок, под ваш гадательный приезд, свои надобности и возможности и аппетиты, и утверждать, как постоянный, тот обиход, временность которого мне с каждым днем все ясней.

И опять, повторяю, никакого противоречья между тем новым, что вы сейчас узнали, и тем, что я писал весной, не имеется.

Совершенно ясно, что ваше присутствие что-нибудь да значит для меня. И, следовательно, будь вы тут, ни в доме, ни у меня на душе так пусто бы не было, и какие-то частности быта, которые так порою мне мозолят глаза, что все кругом заслоняют, растворились бы в вашей близости. И за это-то ты так превозносишь и благодаришь меня!

Вообще говоря, низость уже и то, что я позволил себе коснуться тайн и интересов третьих лиц, ни в чем не повинных, даже в разговоре с вами. Ни с какими Б. И-ми ни о чем этом речи быть не может. Может быть, я дотяну до марта то положенье вещей, в котором вы бы меня застали весною, а может быть, и нет. Тебя не должно страшить *это на мой счет:* т. е. ты не должен делать косвенных выводов, так вот, дескать, как живется Боре. Живется как множеству, как большинству, потому что все равно, где и в чем сказываются черты времени: они у меня сказались в неудаче и запутанности стороны семейной. Итак, я конечно, не могу поручиться, что заторможу до марта развитье каких-нибудь неожиданностей или неотложностей, которые вдруг скажутся для вас стороною наиболее интересною, а именно — квартирной. И опять, не поймите меня превратно: когда бы вы ни приехали, я несказанно буду вам рад и как-то где-то вы будете устроены лучше меня. Но я сделаю это в марте же, или невдолге перед тем. Делать же это в сентябре в виду марта — труднее, чем это можно себе представить на расстояньи.

Мне бы не хотелось расхолаживать вас. Поступайте, как вы задумали, это сходится с моими пожеланьями. Одно, в отличье от других, должны знать именно вы. Это именно то, что я рассказал вам.

Б. И. думает (воображая, что этою параллелью льстит мне), что у меня все налажено, как у него, что я доволен своим пузом, своей участью, своим положеньем. И вот в довершенье этого устойчивого довольства еще вызываю вас за год времени, твердо зная, где я и что со мной к тому времени будет.

А в отличие от этого я почти одинаково хочу *двух вещей*: 1) вашего приезда и 2) такого измененья своей жизни, при котором я бы мог жить с миром в душе, т. е. *производительно*. И может быть, достиженье последнего, при отдаленности срока, предвосхитит первое.

Правительство относится ко мне так же, как относились когда-то вы или Федя: оно мне верит, прощает мне, меня поддерживает. Но у вас я забирал десятки или сотни, а у него — десятки тысяч без какой бы то ни было для него от меня пользы. Так дальше продолжаться не может, и это тяжело. Иногда я думал, что я отстал от времени, что чего-то в нем не понимаю, что у меня с ним какие-то роковые разногласья. Теперь я все чаще объясняю это причинами моего собственного настроенья, фактами личного порядка, в которых история неповинна. Но вы не думайте, что я обречен горевать круглые сутки, часами лью слезы или рву на себе волосы. Нет, нет, я по счастью здоров, ко мне относятся незаслуженно чудесно, и весь непорядок в моем порядке сводится к тому, что собственно говоря, при имеющихся данных мне могло и должно было бы быть несравненно лучше и радостнее, чем я сам это пока себе обусловил. Было бы хорошо, если бы вы не только не показывали этого письма сестрам, но и уничтожили бы его. И, как всегда бывает, я совсем не то написал, что надо было. А что надо, забыл, и вспомню, когда поздно будет. Ну да все равно.

Крепко вас обнимаю. *Ваш Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

[1] Причиной задержки письма и разговора со Збарским был проходивший в августе Московский процесс над Каменевым и Зиновьевым и отказ Пастернака от подписи под письмом писателей, требовавших расстрела, и пр.

[2] Сквозь выражения радости возвращения родителей в Москву, четко просвечивали тревога и невозможность объяснить им опасность этого шага. Отсюда постоянно возникающая тема о «неблагодарных детях». Чтобы снять неуверенность оправдывающегося тона писем Б. Пастернака, отец выражал «искренние чувства родительской радости и счастья» иметь таких сыновей: «Я пишу открытку, чтобы... успокоить тебя раз навсегда и

уверить клятвенно, что смешны между нами "объяснения в любви", когда мы целой жизнью так спаяны, как едва ли найдется вторая семья с такими детьми и отношениями, какими мы судьбою одарены» (24 мая 1936; «В кругу Живаго». Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 31).

758. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 октября 1936, Переделкино

1. X. 36

Дорогая моя Оля.

Я зимую на даче с затрудненною почтой, без газет, — но об этом после. Вчера я был в городе и Женя мне показала статью в Известиях [1], — она плакала.

Во всем этом мне страшно *только* то, что ты еще не закалена, и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью, без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслыханною аргументацией (всем известно, как Маркс относился к Гомеру, — как будто ты пишешь о Марксе и, приводя противное, искажаешь факты — как будто твои аналитические вскрытия есть осужденья, как будто *тебе* Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику дышится слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее...).

Я не могу сейчас, на этих ближайших днях приехать к Вам, как мне бы хотелось и было бы, может быть, нужно. Не могла ли бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты[2].

Зимою была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Шостаковиче[3], потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Вл. Лебедев и др.

Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдер-

жался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами[4]. Прежде всего я столкнулся с искренним удивленьем людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду.

Я не знаю, как тебе быть, издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах, надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив *такой* щелчок, пытались объясниться по существу, писали письма в ЦК и, добившись того, что там ознакамливались с поводом разноса (книгой, пьесой или картиной), только усугубляли свое положенье и уже непоправимо, вторичным, усиленным на них наскоком, в подтвержденье первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой[5]. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный, и значит, при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого, необделенного нравственным чутьем и силой.

Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой, я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде, я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребленья, — самом в таком случае важном, если бы даже возможность самозащиты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Об этом, пока об этом, я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу: Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баковка, городок писателей, 48, Пастернаку.

Женя сказала, что я должен был бы вступиться за тебя в печати, т. е. написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше, и, как это ни странно, — еще и за меня.

У меня и на этот счет есть опыт, так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался, хоть и устно, но публично.

Но зато, если бы потребовалось, негласными путями, т. е. личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и т. д., я готов тебе служить, как могу, рвусь в бой и хотел бы только

знать, что именно надо. И вслед за телеграммой, очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу.

Теперь главное. Ты, наверное, давно ждала (и удивлялась и обижалась, может быть, его непоступленью) *моего* отклика и мненья о книге, и права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчаньем, если бы не знал, что, будь ты тут, ты меня бы оправдала; — но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал — это было весной — при первом получении всю книгу поверхностно, через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, чтó этот мерзавец[6] намеренно проглядывает и нагло искажает: глубине и цельности общей мысли, методологическому ее членению из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли поясняла снимками с позднейшей греческой скульптуры. «Укрощенье» я знал в оттиске[7].

Я так уже тогда боялся, что не скоро улучу минуту для этого верха наслажденья (книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преображающем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою!), что написал тебе телеграмму с ничего не значащим выраженьем голой радости (неужели я и ее даже не отправил!). Тогда Женя болела, и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обоих с Елизаветой Михайловной на все лето в дом отдыха. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром, надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире, подходило к концу возведенье дома, начиналось распределенье квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался ото всего или, по крайней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещанья ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т. е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих. Это остается в неопределенности, а я уже живу под эту не-

определенность и трачусь и разбрасываюсь, может быть, впустую. Однако эта неопределенность с родителями лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь, — жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век, было бы неисполнимым безумьем, если бы даже это мне улыбалось, — и опять-таки их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положеньи, в каком застает, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться[8].

Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. О последней я, после кризиса, составлявшего существо моей прошлогодней болезни (он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей[9]), — редко мечтаю. Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно, что, не будь других поводов, можно было бы сойти с ума от одного этого[10]. Но так вообще все это не останется, я вырвусь, даю тебе слово, ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю, — но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел непозволительным по наивности притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть[11]. Да, но это к делу не относится, я заболтался, что же это я хотел сказать?

Да, так вот только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть?

Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо: как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обеими; затем пересиль себя и напиши мне подробнее. Наконец, если это в твоих возможностях (не переехал ли бы на это время Саша к тете?), приезжай ко мне[12]. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната, а рядом, под боком, все товарищи по несчастью: Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку. И, наконец, последнее,

на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда: мне ли, невежде, напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины? Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь с совершенно своею точкой зренья, с *произведеньем*, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве. Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т. е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюденье, но я второпях его скомкал, это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен.

Обнимаю тебя и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь. Тетя, целую Вас. *Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] В «Известиях» 28 сент. 1936 была напечатана разгромная рецензия Ц. Лейтейзен на книгу О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (Л., 1936).

[2] Соседи Пастернака по Переделкину Б. Пильняк, К. Федин, Вс. Иванов, Л. Леонов были объектами резкой критики, обвинявшей их в «формализме».

[3] Д. Д. Шостакович был раскритикован за «формализм» в статье «Сумбур вместо музыки» по поводу его оперы «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»), опубликованной в «Правде» 28 февр. 1936.

[4] В двух выступлениях на дискуссии 13 и 16 марта 1936 г.

[5] М. А. Светлов. «Сказка».

[6] Автор статьи в «Известиях» — журналистка Цецилия Гавриловна Лейтейзен, дочь сотрудника В. И. Ленина по «Искре», автор воспоминаний о нем.

[7] В качестве приложения в книге Фрейденберг давалась статья «Три сюжета или семантика одного» с анализом сюжета классической драмы, разбиравшегося на примере комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Пастернак знал эту работу в оттиске из журн. «Язык и литература» (1929, № 5).

[8] Имеются в виду отношения с З. Н. Пастернак. См. письмо № 757.

[9] Имеется в виду критика «Охранной грамоты» и исключение ее из сб. «Воздушные пути» (1934).

[10] Зимой 1936 г. был написан цикл «Несколько стихотворений» (в частности стих. «Мне по душе строптивый норов...» со второй частью о Сталине), летом — «Из летних записок».

[11] Новая редакция романа, развивающего сюжет «Детства Люверс» и «Повести», получила название «Записки Патрика» («Начало прозы 36 г.»).

[12] Вместо О. Фрейденберг в Москву приехал ее друг, языковед И. Г. Франк-Каменецкий, вызвавшийся обсудить с Пастернаком возможности заступничества за книгу, критика которой могла сказаться и на нем, как рецензенте. «Я ему обязан бесконечно многим, — писал Пастернак 7 окт. 1936 О. Фрейденберг, — никакое письмо от тебя не могло бы, конечно, дать мне столько сведений, в конце концов успокоительных, как его рассказ о тебе и тете в ходе моих четырехчасовых расспросов. <...> Единственной помощью, которую я мог предложить ему (устройством ему приема, где это бы понадобилось и обеспеченьем нужного разговора), он не захотел воспользоваться, находя это неудобным для тебя и нецелесообразным. Он передаст тебе, какою малостью, очень спорной и ничего не стоящей, я попытался послужить тебе по его совету» (там же. С. 168–169).

759. Т. и Н. ТАБИДЗЕ

1–9 октября 1936, Переделкино

1. X. 36

Дорогие мои Тициан и Нина, опять Вы нас балуете. Пишу вам из Переделкина (мы, наверное, будем тут зимовать), — пишу, не повидав еще Софьи Андреевны[1].

Что за роскошь в самом деле опять на нас свалилась! Целый фруктовый сад с вином в двух возрастах: детском и зрелом. Как же благодарить Вас за все это!

И не успели вы, — догадываюсь я, — уложить корзинку и отвезти на вокзал милой и несравненной С. А., как к Вам, наверное, явился Витя Гольцев со словами: полюбуйтесь, до какого бездарного лепета докатился Ваш Боря[2].

Нет, серьезно. Видели ли Вы что-нибудь подобное? Зина, а также и Евг. Влад. только головой покачали и отказались верить, что я отдам это в печать.

Нина, Нина! Тициан, мое золото, что со мной делается, милые мои? Откуда эта вода и скука и это бездушье и глупость, один ли я повинен в них? Скажу себе в оправданье, что ведь я отказывался, я знал, что до одоленья освобождающей, развязывающей меня прозы, никакие стихи не будут в моем плане, долго-долго не будут, не в стихах я сейчас, а где-то далеко-далеко от них в стороне. Но что поделаешь! Объяснял я это Виктору, и ведь не дурак человек и приятель, а как горохом об стену!

Не успокаивайте меня, лучше дайте сам я вас успокою. Тициан и Нина, не думайте, что я действительно кончился, что теперь все у меня пойдет в таком роде. Вы увидите, прозу я напишу, я дня два как вновь за нее взялся. Одно знаю, она будет живая. Здесь именно отыщутся те следы жизни, которой как будто не стало у меня со «Второго рожденья».

Да, но как можно было дать такой трехстопничек, такое птичье, пустоватое ти-ти-ти о Грузии? Какою мерзостью было так мало сказать о Паоло![3] Дружите ли Вы с ним вновь по-старому? Ах, как бы я этого хотел! По отсылке этого рифмованного позора я целыми вечерами думал о нем. Я вспомнил его широту, благородство его проявлений по отношенью ко мне в ответственнейшие для души моей минуты. Какая безукоризненная проницательность большого человека с большим сердцем и кругозором! Простит ли он мне легкость этих строк о себе (в них нет ничего дурного, но так ли надо было о нем говорить?), простит ли мои пересуды этого года? Ах, с каких мелких позиций судил я его! Я не в «позициях» раскаиваюсь: более общепринятые ничуть не крупнее. Но как я смел его мерить такими ничего не говорящими мелочами. Я не изменился, я знаю: революция не в «Литературке», не в литорганизациях, не в соревнованьи в робости, а в крайних своих очертаньях и в центральных лицах. Она пока только в самом большом. Оттого-то и трудно: она станет жизнью, когда будет и в самом малом. И, конечно, — будет.

Я не изменился, говорю, но вдруг вспомнил по-настоящему Паоло, и не могу понять, что со мною было зимой, и кто мне дал право искать в нем перемен и их ему без основанья приписывать. Меня тогда ослепила эта чертова дискуссия. В этом культурно-просветительном дурмане я вдруг *забыл, что люблю его.*

А Вы, Тициан? Воображаю, что Вы испытали, прочитав про водопад и так далее![4] И это в момент, когда появленье Вашей книги освежает весь воздух в литературе, напоминает о поэзии, о том, что водились такие люди когда-то, поэты, и вот, как это ни невероятно, один еще уцелел, один на весь Союз. Честное слово, этой радостью делятся именно в таком духе.

Ну да что говорить, как это ни страшно, главная вина на Вите, — повторяться не стоит.

9. X. 36

Письмо лежит себе и лежит, и я не знаю, почему его не отсылаю. Был в городе, звонил С<офье> А<ндреевне>, но не застал ее дома, и только просил передать ей нашу благодарность. Дре-

бедени, содержащейся в этом письме, не придавайте особенного значенья. С тех пор было много других волнений, и одно другое уравновешивает. Крепко целую вас обоих и Нитy. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 20900).

[1] С. А. Толстая-Есенина привезла из Грузии от Табидзе фрукты и вино.

[2] Публикация цикла «Из летних записок» с посвящением «Друзьям в Тифлисе» («Новый мир», 1936, № 10).

[3] Речь идет о стих. «За прошлого порог / Не вносят произвола. / Давайте с первых строк / Обнимемся, Паоло!» («Из летних записок»).

[4] Стих. «Еловый бурелом...» (там же).

760. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

16 октября 1936, Переделкино

16. X. 36

Дорогой Витя.

Я был бы, конечно, свиньей, если бы лишил тебя столь невинного и, главное, твердо обещанного тифлисского удовольствия, как обсужденье на досуге с друзьями части альманашного материала[1]. Тот факт, что никогда еще я такого говна не писал, дела не меняет, а напротив, придает этому удовольствию особую живость, так как ведь и рассужденье есть форма общительности, разгоняющая скуку...

Так вот, ты, во-первых, вспомни, сколько раз я отказывался от участия в сборнике, справедливо предчувствуя, что наибольшее из того, что мне по силам из мыслимого по условьям времени на эту тему, мною уже сказано, силы же эти и условья в лучшую сторону не изменились и, следовательно, надеяться не на что. Вспомни, во-вторых, как ты был настойчив и недоступен разубежденью. И наслаждайся плодами своего упорства.

От данного слова я отступил в том смысле, что эта писанина, неизвестная еще В. Кину, уже находится в Новом Мире и пойдет там в *X*-м номере. Сделал я это не из денежных лишь соображений: мне хотелось в предупрежденье возможных ваших (с Кином) замечаний о неудобствах той или иной строчки или мысли пропустить текст через одну из боязливейших и осмотрительнейших редакций[2], вам в успокоенье. В Новом Мире со мной не согласны лишь на тот счет, что это до позорности скудоумно и бездарно (из любезности от других об этом мыслей). Во всем остальном мы оказались единодушны.

Пересылаемое — $^2/_3$ того, частью беспорядочного, частью (по старости моей и немыслимости полного поэтического раскрытья) вымученного, что я набрасывал, в предвиденьи твоего сборника. Выпал кусок, связанный с П. Яшвили, развивавший оставшиеся четверостишия несколько смелее[3]. Кусок о Тициане[4], переходивший в рассужденья о поэте вообще, о поэте и времени, отброшен как раз на этом переходе, чтобы не ссорить его с другими, в особенности с П<аоло>, как и по многим другим причинам. Ничего нельзя было сказать с живой резкостью, не страшась задеть кого-нибудь, поводы к недоразуменьям разверзались на каждом шагу — следствие нашей нынешней анекдотической подозрительности. Отпала целая страница о вторжении природы в семью и историю: она мне показалась далекою по теме, и метафоры в ней тоже могли послужить предлогом к кривотолкам.

Кланяйся всем. Пусть простят, что в нужную минуту я вдруг оказался несостоятелен. *Твой Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

[1] Речь идет о сборнике стихов о Грузии, составлением которого занимались Виктор Гольцев и писатель и журналист Виктор *Кин* и для которого Пастернак написал цикл «Из летних записок», посвященный «Друзьям в Тифлисе».

[2] Несмотря на «боязливость» и «осмотрительность» журнала, публикация этого стихотворного цикла вызвала упреки ген. секретаря Союза писателей В. П. Ставского в «явном недосмотре редакции» и возмущение Пастернаком, который «клевещет на советский народ» («Известия», 20 дек. 1936). Добавим, что стих. «Счастлив, кто целиком...», вызвавшее обвинения, было опубликовано в сильно сокращенном в редакции виде.

[3] Стих. «За прошлого порог...».

[4] Стих. «Еловый бурелом...».

761. Н. И. БУХАРИНУ

15–16 ноября 1936, Переделкино

В редакцию «Известий».

...Я как-то говорил Живову[1] о книге Фрейденберг и рецензии Лейтейзен[2]. Я знаю книгу и автора. Рецензия с книгой имеет мало общего. Книга посвящена анализу культурно-исторических напластований, предшествовавших поре сложения литературных памятников античности. Вводя в этот анализ, автор показывает, что кажущаяся гладкость сюжетов, форм и художественных канонов в древней Греции гладка лишь на первый и беглый взгляд, что она

заключает непоследовательности, которые могут стать несуразностями, если их не объяснить; что это нуждается в анализе; что это наталкивает на изыскания. Не ловите меня на сравнениях. Ни с чем роли и значения книги я не сравниваю, потому что не судья, не филолог и не теоретик. Но скажите, какое изучение и исследование не начинается именно с этого? Не с отклонения ли мнимой очевидности зарождается всякая проблема? Не надо ли удивляться падающему яблоку (уж на что глаже, вот вредная-то галиматья[3]), чтобы искать этому диву закона?

И, — опять без сравнений, — Лейтейзен вычитывает у Платона, что всякое философствование начинается с недоумения ἀπορία, кажется (пишу из Переделкина, и у меня нет под рукою книг, чтобы проверить), и упуская из виду, что, благодаренье Богу, он вслед за этим наворачивает диалог за диалогом, — всюду расславляет (?), что, по Платону, философ тот, кто чаще других оказывается в дураках.

Но не в этом дело. Эту самую Фрейденберг 10-го вызывал в Москву замнаркома Волин[4], убедил остаться на работе, от которой она хотела отказаться, успокоил, что книга поступит в продажу и даже признал, что она в себе не заключает ничего вредного ни с какой, в том числе и марксистско-методической, точки зрения. Единственно, в чем он ее упрекнул, так это в некоторой тяжеловесности слога, затрудняющего чтение, и в том, что она согласилась на выпуск ученой и очень специальной диссертации широким тиражом, ведущим к нежелательным недоразумениям (в том числе и с т. Лейтейзен). —

А в Известиях от 14-го появляется новая телефонная лейтензениада из Ленинграда[5]. Где же тут согласованность?..

Б. Пастернак

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Отрывок письма, переписанный О. Фрейденберг, с ее пояснениями: «Разыгравшиеся вскоре политические события заставили меня засекретить этот документ, выбросив начало и конец, адресованные Бухарину. Я переписала своей рукой середину письма, относившуюся ко мне. В ожидании возможного обыска я все сделала с этим историческим документом, чтобы спасти его и нас с мамой. Борино письмо, к счастью, не попало к Бухарину, а где-то затерялось в промежуточных инстанциях, слава Богу, важнейшая из них в советских редакциях — корзина. Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом» (там же. С. 166). Датируется по содержанию.

[1] Марк Григорьевич *Живов* — заведующий литературной частью «Известий».

[2] Рецензия Ц. *Лейтейзен* на «Поэтику сюжета и жанра» была напечатана в «Известиях» (28 сент. 1936).

[3] *«Вредная галиматья»* — название анонимной заметки, в которой требовали ответа и принятия мер от руководства Ленинградского института философии, литературы и искусства, где преподавала О. М. Фрейденберг («Известия», 14 нояб. 1936). *Падающее яблоко* — классический пример, подтолкнувший Ньютона на формулирование закона о силе земного притяжения.

[4] Вызов к заместителю Наркома просвещения Б. М. Волину был ответом на письмо О. Фрейденберг к Сталину. Фрейденберг записала разговор с Волиным: «Разумеется, старый цензор на сей раз не нашел в моей книге ничего предосудительного: у нас логика вставляется в мозги в механизированном виде и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющего. Он, оказывается "изучил" мою книгу, но никаких расхождений с марксизмом не заметил. Лишь отечески бранил за непонятный язык и "ковырянье"» (там же. С. 164).

[5] В заметке в «Известиях», 14 нояб. 1936, полученной по телефону от соб. корреспондента, сообщалось о заседании партийной организации Ленинградского отделения Гослитиздата, которая признала «грубую политическую ошибку сектора современной литературы», издавшего книгу Фрейденберг; редактор снят с работы. Заметка заканчивалась словами: «Надо полагать, что научные работники ЛИФЛИ скажут свое слово».

762. РОДИТЕЛЯМ

24—25 ноября 1936, Переделкино

24. XI. 36

Дорогие мои! Около полутора месяцев у меня лежит папино письмо из Лондона (от 14-го X), рядом с ним два неоконченных ответа. Главное, что требовало в нем ответа, и что я мог сообщить и тогда уже, касается новой квартиры. Деньги я за нее внес, и она вам обеспечена.

Однако этот факт, как он ни приятен, лишен для вас какой бы то ни было обязательности. Он ни в какой мере не должен влиять на ваши решенья. Эти разговоры тянутся так долго, что за это время у вас могло измениться настроенье. Не считайте себя связанными ни мною, ни кем бы то ни было еще.

Что из меняющегося и изменившегося за эти месяцы остается неизменным? Что для меня высшей радостью был бы ваш приезд ко мне. Но ни это желанье мое быть с вами, ни имеющаяся про запас квартира, ничто, ничто такое не должно направлять твоих, папа, планов. Ты можешь всем этим воспользоваться, если твое решенье готово, решать же ты должен из тех соображений, что ты

ничем никому не обязывался, и слишком много, честно и превосходно поработал на своем веку на светлом и почетном поприще, чтобы иметь право на вполне человеческий и ничем не омраченный покой, там, где ты его найдешь, и такой, какого ты пожелаешь. Если это будет у меня, я все для этого сделал, если у Оли в Ленинграде, можно будет устроиться и тут, и так далее, вплоть до Лиды и Жони.

В конце концов ты Пепе не продавался и рабом его трескучих фраз не стал. Квартира не должна быть ни поводом для твоей связанности, ни обратно, — твоей отговоркой. Если он надоел тебе, можно без всяких отговорок послать его ко всем чертям.

Ответом на письмо я запаздываю не впервые. Этому безобразью нет имени и извиненья. В отличье от прошлых лет у этого сейчас свои причины, хотя, конечно, и они не могут служить оправданьем.

Дело в том что я все еще на даче, где, верно, и вообще зазимую. В городе я бываю очень редко, не чаще двух раз в месяц, и почта там залеживается в эти сроки. Кроме того перед отправкой этого письма я все собираюсь повидаться с Пепой, а его можно застать только вечерами, и в эту поездку (числа 26-го–27) я обязательно это свиданье устрою. Так что и письмо это я допишу в городе. Может быть, на Волхонке меня в куче накопившихся писем ждут вести и от вас и тоже потребуют ответа.

Последнее, особенно в связи с Лидой, очень меня тревожит. Но, Бог даст, как раз наоборот, меня ждет именно большая радость.

Вот пойми ты человека. Перед каждой поездкой в город волненье мое доходит до крайности. Что то еще от вас будет? Все ли благополучно у Жени? Казалось бы это должно было участить мои поездки, и меньше, чем наблюдается, должна была бы залеживаться дома почта, которой я иногда не забираю около месяца. Но наверное, что-нибудь подобное бывало и с тобой и с мамой, так тесно связано это самомучительство с миром, который я от вас получил, с художественной работой. Как трудна она была всегда, как безмерно затруднилась в наш век везде по всей земле. И потому не удивляйся, если, может быть, на продолженье летней переписки о выставке ты не получишь ответа[1].

Ах, великая штука история. Читаю я тут 20-ти томный труд Ж. Мишле, Histoire de France*. Сейчас занят шестым томом, падающим на страшную эпоху Карла VI и VII, с Жанной д'Арк и ее

* История Франции (*фр.*).

осужденьем и сожженьем. Мишле страницы за страницами приводит из первоисточников, из «Chronique de Charles VI», современника и деятеля эпохи, prévôt des marchands Juvenal des Ursins*. Где теперь этот Juvenal, кто скажет, а вот я читаю его хронику, которой полтысячи лет, и волосы подымаются дыбом от ужаса. Славен[2] современник, запечатлевший пережитое, пусть и насидевшийся в тюрьме Tour de Nesle, и потому могущий показаться всяким циникам наивным Митрофанушкой. Нет и римского Ювенала — что это привязался я к ним.

Как раз на этом месте оставалось недописанным письмо, как вдруг приехали вчера сюда на дачу Шура с Ириной и Федюшонком и привезли полученную от вас открытку. Ура, поздравляю вас с новым внуком, а также в первую голову и Лиду с мужем и его родителями[3]. Большая, большая радость, которая кажется мне чудесною, так привык я жить в постоянной тревоге и напряженьи.

Ну вот, новая начинается жизнь на новом месте, а я и Мюнхена не видал, и целых пятнадцать лет вашей жизни мне остались неведомы, — ах как хотел бы я всех вас видеть! Ну чтоб вам задержаться где-нибудь тут[4], я бы, может быть, перелетел к вам летом за море, — вероятно, одни мечты пустые.

Писали ли вам уже Оля с тетей Асей?[5] У тети было воспаленье легких, теперь ей лучше. У Оли же произошли серьезнейшие неприятности с выпущенной книгой, она по этому поводу в Москву ездила и я ее видел[6]. Юмористка, никогда не теряет присутствия духа, — молодчина! Теперь, после сведений, привезенных Шурой, отправлю письмо, не дожидаясь свиданья с Пепой, пусть сам вам напишет.

Крепко обнимаю вас. *Ваш Б.*

Я даже не знаю, надо ли торопиться с отправкой картин. Впрочем, что я тут понимаю. Даже Я<ков> З<ахарович> как большой знаток искусства, лучший тут судья[7]. Но об этом как-нибудь особо.

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Имеется в виду оборвавшаяся переписка Л. О. Пастернака с главой «Всекохудожника» Ю. М. Славинским. См. о нем в коммент. к письму № 747.

[2] Это слово написано крупными, выделяющимися буквами, чтобы отец обратил на него внимание. Далее в зашифрованном виде передается сообщение об аресте Ювенала Митрофановича Славинского, Славушки,

* Глава купеческой гильдии Жювеналь дез Юрсен (*фр.*).

как называл его Л. О. Пастернак в письмах. Даются намеки на его отчество (*Митрофанушка*) и имя (*Ювенал*), — если осталось непонятным соотнесение судьбы узника Жювеналя дез Юрсена с попавшим в такие же обстоятельства Славинским.

[3] Старший сын Лидии Майкл Слейтер родился 18 ноября 1936 г.

[4] Л. О. Пастернак с женой приехали навестить Лидию в Лондон.

[5] Пастернак ждал помощи со стороны Фрейденбергов в том, чтобы убедить родителей отказаться от возвращения в Москву. Опасения за их судьбу перевешивали радость свидания. «Тетя, напишите папе и маме, — просил он Анну Осиповну 7 окт 1936. — Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношеньи им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня, и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд» (Переписка с О. Фрейденберг. С. 169).

[6] См. письма № 758, коммент. 1, и № 761.

[7] Последние две фразы приписаны на полях. Ссылка на полпреда Я. З. Сурица, не только как *знатока искусства*, который готовил пересылку работ Л. О. Пастернака в Москву, но и «знатока» в политике, — должна была укрепить предостережения, сделанные в письме. Тем более что именно в гостях у посла Л. О. Пастернак познакомился с его «старым знакомым» Бухариным, на недавнем процессе обвиненным в террористической деятельности. Следующее письмо 6 апр. Пастернак кончает прямым вопросом: «Неужели Яша твой не читает газет?», который должен был привлечь внимание родителей к происходящему в Москве. Вероятно, он относится не столько к племяннику Л. О. Пастернака, жившему в Берлине Якову Якобсону, но к Я. З. Сурицу, только что ездившему в Москву. Страницы газет были полны проклятиями в адрес предателей, осужденных на недавнем процессе, Радека, Пятакова и арестованных по их обвинениям Бухарина и Рыкова.

763. П. Д. ЭТТИНГЕРУ

5 февраля 1937, Переделкино

5. II. 37

Дорогой Павел Давыдович!

Поздравлять Вас с таким запозданьем просто неприлично. Будет ли меньше моя вина, если Вы узнаете, как это все случилось?

Но перед этим мне все-таки хочется Вас поздравить, и уже не с семидесятилетьем Вашим, не с этими, в таком счастливом согласии со всем Вашим вкусом и пониманьем прожитыми годами, не с Вашей деятельной близостью к искусству, нерастор-

жимую часть которого Вы составили и на развитие которого во стольких случаях повлияли, сами постоянно живя в основном его тоне, нет, ни с чем из этого, ибо сроки для такого поздравленья миновали. Я хочу Вас поздравить с новостями, попадающими в новые Ваши десятилетья и вновь являющимися основаньем для нового поздравленья, со всем тем, что я отовсюду слышу о дружной торжественности Вашего чествованья, теплотой и полнотою чувств необычного и всем запомнившегося. Позвольте же горячо и крепко расцеловать Вас, и от души желаю Вам здоровья и долголетья.

Тут можно бы и кончить, потому что все остальное неинтересно, и я не оставляю надежды в феврале повидаться с Вами и Айзенманами.

Я зазимовал в Переделкине. За почтой сплошь и рядом мы ездили не чаще раза в месяц. Извещенье комитета попало мне в руки после чествованья. Но и это не может послужить мне оправданьем: у меня лежит ведь несколько конвертов с вырезками от Вас, за которые я Вас еще не поблагодарил. В чем же дело?

Вы может быть догадываетесь, что существованье мое, особенно за последнее время, ни с какой стороны не завидно. Во всяком случае оно не из легких. Это долго рассказывать. Несчастье мое, что я в свое время попал в члены правленья союза сов. писателей. Хотя я там ничего не делаю, но уже и одно званье это не по мне...

Мне страшно хочется свидеться с Вами и друзьями в Мансуровском[1]. Еще раз крепко целую Вас, Семена Борисовича, Ольгу Александровну и детей.

Если бы, на волне незаслуженного милосердия Вы пожелали известить меня, что я могу еще надеяться на Ваше прощенье, адресуйте это известие Жене (она очень больна, у ней что-то вроде воспаленья брюшины, но не в гнойной форме). Я часто буду там теперь бывать. Тверской бульвар, 25 (Дом Герцена), кв. 7. Евгении Владимировне Пастернак, для меня.

Простите меня. *Ваш Боря*

Представьте, я работаю, и временами с увлеченьем, над романом в прозе, но для кого и на когда, сам не знаю.

Впервые. — Автограф (ГМИИ, ф. 29, оп. III, № 3247).

[1] В *Мансуровском* переулке жили Ольга Александровна и Семен Борисович Айзенманы.

764. РОДИТЕЛЯМ

12–22 февраля 1937, Переделкино

Дорогие, золотые мои папа и мама! Вас не должно удивлять ни молчанье мое, ни бросающаяся в глаза неплодовитость моя за последние годы, ничто, ничто. Все это объясняется своеобразием нашей жизни, о которой на таком большом расстоянии не рассказать. Ах, эти расстоянья!

Благодарю тебя, папа, за большое, живое, молодое твое письмо. Как чудно вы съездили, как я завидую вашей поездке! С некоторыми измененьями это, ведь, повторенье той, которую вы совершили летом 909-го, кажется, года[1], когда папа писал Сибиллу В<инсент> и сделал столько цветных рисунков в Антверпене, Брюгге и других городах, полных жизни и движенья, где по приему действительно мгновенье могло показаться остановленным, — замечательных, незабываемых работ. С той поездки вы привезли мне в подарок клавираусцуг Тристана и Изольды, купленный в Лондоне[2]. Мы ждали вас в Райках. Или я путаю, и это было в 909-м? Но все равно: как много произошло с тех пор, как сильно изменилось! И вместо Сибиллы Винсент были вы в гостях у той самой Лиды, которая была тогда маленькой девочкой под присмотром покойной бабушки. И я по энциклопедической справке* оказался связанным с областью, о которой даже тогда не думал, ибо жил музыкой, а не литературой[3]. Кто и когда подведет всему этому итог, и когда, наконец, я вас увижу. Для меня эти две вещи — реинтеграция пережитого и встреча с вами живым образом связаны, и я одного не мыслю без другого.

Спасибо за поздравленья[4]. 29-е я всегда помню, потому что это (29/I) день смерти Пушкина. А в нынешнем году это, кроме того и столетняя годовщина его смерти. По этому случаю у нас тут большие и очень шумные торжества. Стыдно, что я в них не принимаю участия. Но в последнее время у меня было несколько недоразумений, т. е. меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю[5]. Общих мест я не терплю физически, а говорить что-нибудь свое можно лишь в спокойное время. И если бы не Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили б. Но на фоне *этого* имени всякая шероховатость или обмолвка показались бы мне нестерпимою по отношенью к его памяти пошлостью и неприличьем[6].

---

* В Encycl. Britannica. (*Прим. Б. Пастернака.*)

Приближается день Жонина рожденья[7]. Поздравьте и расцелуйте, пожалуйста, ее от меня.

С твоим письмом, папа, случилось следующее. Как я писал уже тебе, я редко бываю в городе, редко, значит, забираю и почту. Ты пообещал Шуре сообщить бóльшие подробности о вашем путешествии в письме ко мне, вот он и сговорился с Волхонкою, что когда оно придет, чтобы ему сообщили, и забрал его себе. Я оставался в неизвестности об этом письме в продолжении полутора месяцев, пока мне не передала его Женя. Страшно жалко, что я не успел повидать Я<кова> З<ахаровича> [8], а может, оно и лучше.

Женя долго, больше месяца болела воспаленьем брюшины, но без гнойного процесса, что было бы совсем ужасно, и очень истощена. Хворает (гриппом) и Женек. Оба они мне вечная растрава, я всегда о них думаю и грущу, особенно тяжело мне без Женёчка, но вряд ли, если бы возвращенье не было связано с другими трудностями, ужились бы мы с нею характерами. Бедная она, — такой прекрасный и тонкий человек, но с некоторым вызовом и неуступчивостью в характере, отчего все и случилось. Папа, папа, ведь, места нет здорового в моей жизни, а вот живу, и буду жить. А что еще впереди!

Одно хорошо, — это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу. Но в стихах я всегда хозяин положенья и приблизительно наперед знаю, что выйдет и когда оно выйдет. А тут ничего не могу предвидеть и за прозою никогда не верю в хороший ее исход. Она проклятие мое, и тем сильней всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы только окончательно бросить куренье, хотя теперь я курю не больше шести папирос в день.

Ну как же все-таки все это будет? Где мы увидимся, наконец, и когда? Ты чувствуешь, — как бессильны эти слова и несостоятельны, т. е. им нет никакой цены, и не может быть веры.

Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею и планы, и удача.

А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил[9], что же, с таким чувством и сознаньем сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, т. е. я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще, посмотришь, и здорового во мне или близ

меня пока только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступленье, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет, и я живу: верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой. Ну не сердитесь же на меня.

22. II. 37

Письмо опять залежалось (10 дней). Уже Жонино торжество прошло, и теперь время поздравить вас с 48-летьем вашей свадьбы[10]. Скоро и золотая! Живите же в полной крепости и здоровьи на радость нам, дорогие вы мои.

Крепко целую вас всех и без конца обнимаю. *Ваш Боря*

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] В автографе 1907 исправлено на 1909, тот же год назван и далее в тексте, но в действительности это было в 1907 г. См. письма этого лета в т. VII наст. собр.

[2] Переложение партитуры оперы Вагнера «Тристан и Изольда» для фортепиано.

[3] Об упоминании имени Бориса Пастернака в Британской энциклопедии Л. О. Пастернак писал сыну: «Сижу это я как-то в нашей комнате у свояков наших Слейтеров — вижу огромнейшую шеренгу томов: "Magna Encyclopedia Britannica"... и возьми я наугад вытащи № 19. И в огромнейшей статье о России... — в отделе современной литературы — о тебе несколько прекрасных строк!!!» (Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 167).

[4] Поздравления с днем рождения, приходящемся на 29 января по старому стилю, то есть день смерти Пушкина.

[5] Последним из таких недоразумений были объяснения с ген. секретарем Союза писателей В. П. Ставским по поводу неверно прочитанных стихов («Письмо в редакцию "Литературной газеты"», 5 янв. 1937. См. т. V наст. собр.).

[6] Ср. слова Пастернака из его «Выступления на IV пленуме правления Союза писателей СССР»: «Как раз ввиду того, что за последнее время, — я в этом сам виноват, некоторые мои слова вели к неясности, я воздержался от участия в пушкинских торжествах. Мне казалось кощунством в отношении этого имени, этой темы, подвергать ее в моих устах какой-либо превратности выражения. Это было бы пошлостью, это было бы неприличьем, от которого бы я никогда не отмылся» (т. V наст. собр.).

[7] 19 февраля по новому стилю.

[8] Я. З. Суриц получил новое назначение послом в Париж.

[9] На Тверском бульваре жили Е. В. Пастернак с сыном Женей.

[10] 26 февраля по новому стилю.

765. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

Весна 1937, Переделкино

Дорогой Осип Эмилиевич!

Ваша новая *книга* замечательна[1]. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с Н<адеждой> Я<ковлевной> отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе отбора[2]. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике, и редкой чистоты и благородства. Где я, что со мной дурного... в этом смысле головокружительно по подлинности и выраженью[3]. Пусть Н. Я. Вам расскажет все, что говорилось нами о теме и традиции[4]. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предрешить не может. Я думаю, судьба Ваша скоро должна будет измениться к лучшему. Н. Я. рассказала мне об ожидающейся встрече с Тихоновым. Я тоже на нее надеюсь[5].

У меня тут всякие неприятности, не стоящие упоминанья[6]. Спасибо за письмо[7]. Пишу роман.

Но говорить только хочется об «осах», «ягненке гневном»[8] и других Ваших перлах, и на словах (с Н. Я.) это вышло лучше и проще, на бумагу же ложится таким Саводником[9], что лучше бросить: Вы расспросите Надежду Яковлевну и спросите, как называется первый отдел (вне разряда).

Ваш Б. П.

Впервые: Вестник РСХД, № 104–105. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф. Датируется по содержанию.

[1] Н. Я. Мандельштам привезла в Москву и показала Пастернаку воронежские стихи Мандельштама 1936 — начала 1937 гг. Она записала разговор с Пастернаком, который увидел в этих стихах цельность книги. «У меня был единственный случай, — говорил Пастернак, — когда я понял чудо становления книги», имея в виду «Сестру мою жизнь» («Литературное обозрение», 1990, № 3. С. 97).

[2] Разбирая отдельные стихи, Пастернак классифицировал их, определяя ценность и выстраивая последовательность предпочтений: самые лучшие он поставил «вне разряда», потом — разряды первый и второй, некоторые стихотворения оказывались между разрядами. Оговаривая свое неумение анализировать стихи, Пастернак сказал: «Я всегда был в поэзии дилетантом. Я хотел принести в поэзию мастерство почти слесаря. У меня рабочие руки. Что значит понимать поэзию? Это значит понимать жизнь. Иначе — ложная глубина. Самое главное в поэзии — это проза» (там же).

[3] Имеется в виду стих. «Где я? Что со мной дурного?..» (23–25 дек. 1936), в котором громко и открыто звучит голос прозы.

[4] В конспекте разговора Н. Я. Мандельштам с Пастернаком есть слова о традиции европейской лирики, с которой непосредственно сливается поэзия Мандельштама: «Осип Эмилиевич вводит новое в общую беседу, до него заведенную». Пастернак отмечал, что в лучших стихах нет слов просто «на тему»: «Это его собственный разговор, соединенный с голосами собеседников, говоривших в этом масштабе. Но другая подлинность и сила» (там же).

[5] Н. Я. Мандельштам писала: «Из Воронежа О. М. как-то прислал Тихонову стихи <...> Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для О. М. все, что сможет. На этом наши отношения кончились: видно, он не смог ничего» (Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 226).

[6] Неприятности возникли зимой 1936–1937 г. в связи с отказом Пастернака высказаться по поводу книги А. Жида «Возвращение из СССР», что стало причиной нападок на него первого секретаря В. П. Ставского, увидевшего в этом «солидарность» с «подлой клеветой из-за рубежа», а в стихах «Из летних записок» «клевету на советский народ» («Известия», 20 дек. 1936). В «Письме в редакцию "Литературной газеты"» и «Выступлении на III пленуме правления Союза писателей СССР» Пастернаку пришлось давать объяснения по этим пунктам (т. V наст. собр.).

[7] Вероятно, имеется в виду письмо Мандельштама 28 апр. 1936 с благодарностью за память. В нем он жаловался на болезнь и слабость, на «вынужденное пребывание в Воронеже», превратившееся «в мертвую точку» («Литературное обозрение», 1990, № 3. С. 96). Возможно, оно было ответом на несохранившееся письмо Пастернака. После возвращения А. Ахматовой из Воронежа они вместе ходили на прием в прокуратуру с просьбой об облегчении участи Мандельштама и, сложившись, послали ему 1000 рублей, на которые Мандельштамы смогли провести лето в Задонске, сменив опостылевшую обстановку Воронежа.

[8] Имеются в виду стихи: «Вооруженный зреньем узких ос...» и «Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста...» (8 февр. и 9 янв. 1937), которые Пастернак ставил «вне разряда».

[9] В. Ф. *Саводник* — автор многочисленных книг по истории литературы.

766. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

1 июля 1937, Переделкино

1.VII. 37

Дорогая Раиса Николаевна,

мне давно хочется написать Вам, но я не знаю, как это сделать.

Когда пришли Ваши дети на собаках, тюлени, белые медведи и блестящие вырезки, где рассказывалось, кто Вы, и какую жи-

вую, захватывающую пьесу для детей написали[1], что должны Вы были думать, когда Вас не поздравили телеграммой, а потом потянулись дни и месяцы, и Уоллеровский Петушок пришел[2], а дни по-прежнему проходили, и месяцы сложились в полугодье, глухое, беззвучно равнодушное, точно на свете не стало дружбы и простой восприимчивости, и всегда пишутся удачные пьесы и каждый день взрываются похвалами Обсервер, Сандей Рефери и Рейнольдс Ньюс[3].

Ах как трудно это объяснить на расстояньи, да и вправе ли я взывать к Вашей догадливости, если никакой радости, даже в случае ясновиденья, это зрелище Вам не даст. Но когда-нибудь расскажу я Вам..., начну и не кончу. Только бы дожить.

Писать же письма, откровенно говоря, так трудно, что когда я задумываюсь о Франции и двух-трех милых мне там людях, я берусь за чтенье истории Мишле, а когда вспоминаю Вас, сажусь за Маколея[4]. Странный способ общенья, не правда ли?

И потому лучше поговорим о Вас. Ну какая же Вы, однако, молодчина! Что-то вроде Конрада[5], да еще притом на подмостках. Как теперь за Вами угнаться? Тем неоценимей, что Вы еще помните нас. Чем Вы теперь заняты, что задумываете? Напишите мне, но по возвращении домой, или еще откуда-нибудь, а не с курорта, где сейчас находитесь[6].

Что же все-таки сказать Вам о себе? Мне сейчас не верится, что все то, чему Вы были свидетельницей, было со мною. Это было от тоски. Мне тогда казалось, что весь свет сошел с ума, и я тихо и скучно последовал его примеру. Теперь я знаю, что это не так, и это такая радость, такое облегченье. И хотя в личном плане сейчас куда больше причин, чем два года назад, впасть в тупой и беспросветный идиотизм, но что значит личный план перед общечеловеческим?

Когда-нибудь я опять еще буду принадлежать себе, своему уху и глазу, вкусу и убежденью. Только так ведь и можно дать что-нибудь стоющее. И если на время я утратил эту способность, и время затягивается, что могу я больше, чем верить и надеяться. Никогда я не чувствовал себя так бодро и не знал такой душевной ясности, как эти последние полтора года; никогда, в отдельные вынужденные моменты так не презирал себя: до того стала физически несбыточной и технически неисполнимой честность и верность себе, даже на деле, в осуществленном поступке. Это как писанье на воде или по воздуху. Следа не остается.

Будьте же счастливы и здоровы. Желаю Вам продолженья Ваших успехов. Вечное Вам спасибо за Женю. Сердечный привет всем Вашим. Отправляю простым, известите о полученьи.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

[1] Отклики разных газет на постановку 28 дек. 1936 г. музыкальной пьесы для детей «Eskimos Ahoy!» («Эй, эскимосы!»), написанной Ломоносовой и композитором Ханной Брайант (псевд. Уоллер). Спектакль был поставлен в Театре принца Йоркского.

[2] Английское издание «Сказки о золотом петушке» Пушкина в переводе Ханны Уоллер (Брайант) с примеч. Р. Н. Ломоносовой (The Tale of the Golden Cockerel. London, 1936).

[3] Вырезки из лондонских газет «Observer», «Sunday Referee», «Reynolds News».

[4] Имеется в виду чтение «Истории Франции» Жюля Мишле (18 томов) и «Истории Англии» Томаса Маколея (5 томов).

[5] Английский писатель Джозеф Конрад был по происхождению поляком.

[6] Июнь Ломоносова провела на курорте в Шахене (Германия).

767. Н. С. ТИХОНОВУ

2 июля 1937, Переделкино

2. VII. 37

Николай,

Кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга[1].

Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которою полны ее непринужденные, подвижные страницы. Было б менее удивительно, если бы она была написана лет 5 тому назад. Но теперь... Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дезертировать в мир такого мужественного изящества, непроизвольной мысли, сгоряча схваченной, порывистой краски. Откуда это биенье дневника до дерзости непритязательного в дни обязательного притязанья, эфиопской напыщенности, вневременной, надутой, нечеловеческой, ложной. Это просто непредставимо.

Книга у меня вся разобрана, но не писать же мне статью о ней, это утомительно. Когда будешь тут, наведайся, — поговорим, если тебе интересно.

Когда стихи появлялись в отдельности, они мне нравились, но без слез и испуга. Они занимали один из этажей «Знамени», и было приятно, что «Знамя» стоит, лифт работает и все этажи целы[2]. Я не предполагал, что в творческой своей субстанции они взовьются таким столбом, что они так из ряду вон и так неожиданны.

Разумеется, «Кахетинским стихам» легче жить на свете[3]. В этом нет ничего удивительного. Они (как и мое 2-е рожд<ение>) из категории тех стихов, которые затем и рождаются, чтобы нравиться, привлекать и, в результате всего, жить припеваючи. Менее всего неумышленны ночные серенады. Для этого жанра не последнее дело, чтобы в конце концов кто-то выглянул в окно. Так бьет без промаха поэтичность самой поэтичности.

Совсем другой коленкор «Тень друга». Здесь положенье драматическое, а не мадригальное. И пусть это тебе не понравится, я, по-своему, ценю его выше.

Здесь море, природа, война, путевые наблюденья радости самого путешествия и все предметы изображены без стесненья, сунуты в боковой карман по-современному сшитого костюма, а отсюда — на стол рабочей комнаты в какой-то наперед облюбованный период, отданный работе и во всей естественности вдохновенный. Поэзия налицо тут в эксцессах замкнутости, в здоровой лихорадке одиночества и дьявольщине писанья этого не приходится придумывать, взвинчивать и романтизировать. Также очень хорошо, что это протекает без ежеминутных грошовых восторгов и пересудов и что при этом совсем нет женщин.

Именно совокупностью этих признаков, которые когда-то считались обязательными для каждого прокладывавшего свои пути в искусстве (а чем другим может быть художник?), и показалась мне книга какою-то белою вороной на нынешнем эпигонском горизонте.

Сейчас все полно политического охорашиванья, государственного умничанья, социального лицемерия, гражданского святошества, а книга живет действительной политической мыслью, деятельной, отрывающейся вдаль, не глядящейся в зеркало, не позирующей.

Видно, как все возникало. Кувыркающаяся мешанина моря, целый ночной мир движенья, изнизанного чайками и мыслями. Видно, как естественно, повествовательною вылазкой воображенья домышлена тихая картина станционного захолустья, увиденного на остановке (ряд рассказов так Чеховым написан) в «Воскресенье в Польше». Очень схвачены все краски, особенно Па-

рижские. Самым лучшим стихотвореньем книги кажется мне Самофракийская Победа. Оказывается, дифирамбизм мыслим и в редких случаях истинности он не форма красноречья, а нравственно-пластическое осязанье, опьяненно точное. Наверное, всех умиляет Кот-рыболов, но это не для меня. Единственно слабой страницей книги кажется мне единственная в ней декларационная; та, в которой ты с неуместной, страшно сейчас распространенной торжественностью обещаешь «Стихом простым я слово проведу» и не сдерживаешь обещания[4].

Вся книжка читается легко, лишь эту, в которой ты подымаешь какую-то дароносицу (какую именно, не видно), мне пришлось перечесть дважды и «вдумчиво», чтобы сообразить, в чем тут дело. Книга такая, что ты вправе играть Верленовским заглавьем (Бельгийские пейзажи[5]), Блоковскими интонациями, вообще вступать в крупный, разбросанный разговор. Почти все хорошо, больше половины. Очень хороши Птица, Легенды Европы, Противогаз.

Письмо залеживается. Единственный способ не утаить его от тебя — это отправить его неконченным. От души тебя поздравляю с «Тенью». Я не сумел представить тебе свои ощущенья так, чтобы они тебя заинтересовали и убедили. Прощай. Будь здоров. Привет Марии Константиновне. *Твой Б.*

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф (собр. адресата).

[1] Ник. Тихонов «Тень друга». Стихи. Л., ГИХЛ, 1936.

[2] Стихи, составившие книгу, публиковались в журн. «Знамя»: 1935, № 8, и 1936, № 1–3.

[3] Н. Тихонов. «Стихи о Кахетии». М., «Советский писатель», 1935.

[4] Имеется в виду стих. «Площадь Бастилии».

[5] Такое название имеет цикл стихов Верлена из книги «Песни без слов».

768. Т. ЯШВИЛИ

28 августа 1937, Переделкино

28. VIII. 37

Тамара Георгиевна, милая, бедная, дорогая моя, что же это такое! Около месяца я жил как ни в чем не бывало и ничего не знал. Знаю дней десять и все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством.

Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил[1]. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему. Не все, что я испытал под властью этого страшного факта, безысходно и смертоубийственно, — не все.

Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого поразительного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами и никогда не услышу голоса от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и не нахожу себе места. С тысячею заученных подробностей память показывает мне его во всех превращениях совместно пережитой обстановки: на улицах нескольких городов, в выездах в горы и на море, дома у Вас и дома у меня, в наших позднейших поездках, в президиумах съездов и на трибунах. Воспоминание ранит, доводит боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком: за какую вину наказан я вечностью этой разлуки?

Но случилось в первый же день, 17-го, что ее неотменимость очистила меня и свела к неоспоримейшим элементарностям, как в детстве, когда наплачешься до отупения и от усталости вдруг захочется есть или спать. Силой этого удара меня отшвырнуло далеко в сторону ото всего городского, не по праву громкого, без надобности усложненного, взвинченно равнодушного, красноречиво пустого. «Что за вздор», — вновь и вновь спрашивал я себя. Паоло? Этот Паоло, которого я так знал, что даже не разбирал, как его люблю, Паоло, имя моего наслаждения, и все то, что с серьезным видом может сообщить средний человек А. или средний человек В., через минуту забываемый. А, это для будущего, подумал я. Умереть все равно каждому надо, и притом в какой-нибудь определенной обстановке. Вот и скажут: эта потомством сохраненная жизнь кончилась летом 37-го года, и прибавят достоверности данного времени: темы, которыми жила общественность, названия газет, имена знакомых. Точно таких же, как в применении к какому-нибудь другому веку заговорили бы о париках и брыжах или, еще дальше вглубь, о соколиной охоте.

Так вот, я вез это из города и сошел у нас на станции в Переделкине. Я знал, что, когда у нас на террасе я открою рот, чтобы сказать это Зине, у меня сорвется голос и все повторится сызнова. Пока же, по пути домой, я все больше и больше, без рецидивов, отдавался очищающей силе горя, и как далеко она меня заводила!

Мне захотелось выкупаться. Вечерело. На берегу, в затененном овраге, когда, разлегшись, я понемногу отошел от треволнений поез-

дки, я вдруг то тут, то там стал ловить черты какого-то бесподобного сходства с ушедшим. Все это было непередаваемо хорошо и страшно его напоминало. Я видел куски и вырезы его духа и стиля: его траву и воду, его осеннее садящееся солнце, его тишину, сырость и потаенность. Так именно бы он и сказал, как они горели и хоронились, перемигивались и потухали. Закатный час точно подражал ему или воспроизводил его на память. Я как бы по-новому задумался о нем. Меня всегда восхищал его талант, его непревосходимое чутье живописного, редкое не только в грузинской литературе, не только во всей нашей современной, но драгоценное в любой и во всякое время. Он всегда удивлял меня, у людей имеются письма, как неизмеримо высоко я его ставил. Но впервые я задумался о нем в отдельности от того, что я к нему чувствовал. Как при удаленьи от чего-то очень, очень большого, лишь на роковой дистанции утраты стали обрисовываться его абсолютные очертания: то, чем он был без нас, без меня и Тициана, и Гоглы [2], то, чем он был не только в угоду нашему восхищению и желанью видеть его победителем, но и наоборот, наперекор нашей любви: то, чем он был сам с водой и лесом и Богом и будущим.

Надо ли об этом распространяться? О том, кто именно будет через несколько лет грузинским Маяковским или к чьим образцам будет восходить и на ком учиться будущая молодая литература, если ей суждено развиваться. Но эта сторона посмертности никогда меня не трогала. Я поражен другим, как это ни трудно выразить. Тем, как много его осталось в том, чего он касался и что назвал: в часах дня, в цветах и животных, в лесной зелени, в осеннем небе. А мы жили и не знали, с какою силою он был среди нас и с какой властностью остался.

Дорогая Тамара Георгиевна, простите меня. Нельзя так писать, нельзя — Вам. Поэзия, и притом дурная, здесь неуместна. Все же я отошлю написанное, а то когда же наконец скажу я то единственно нужное, что рвется у меня к Вам и милой, невообразимо драгоценной Медее[3]. Это несложно, и Вы это без меня знаете. Хотя у Вас нет недостатка в друзьях и никогда не будет, причислите к ним и меня. Как ни затруднилось в последнее время мое существование, ради Вас невозможностей для меня не будет. А как бы я хотел Вас повидать! Я прошу Тициана и Нину обнять Вас за меня, побыть с Вами вместе и поплакать. И снова простите меня за глупое, бездарное письмо. Но я ведь и сейчас ничего, ничего не знаю. Не написали бы Вы мне, потом как-нибудь, когда будете в силах?

Весь Ваш Б. П.

Впервые: «Литературная Грузия», 1964, № 6. — Автограф (собр. М. Яшвили).

[1] Паоло Яшвили подвергался травле в печати, на него было заведено дело в НКВД Грузии, накануне ареста 22 июля 1937 г. он покончил с собой. «Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп» («Люди и положения», 1956).

[2] Георгий Леонидзе.

[3] Дочь Паоло Яшвили.

769. РОДИТЕЛЯМ

1 октября 1937, Переделкино

1. X. 37

Дорогие мои!

Горячо и от всего сердца благодарю вас за чудные письма, которые вы пишете Жене и Женёчку, за нежные заботы о них, за чудесное ваше, сверхчеловеческое чутье.

Вы должны были догадаться, что в момент, когда мама повредила себе ногу, и потом лежала в простуде, затяжное мое молчанье должно было иметь какое-нибудь другое объясненье, нежели черствость сердца или чернейшее равнодушье к самому лучшему и близкому, что у меня есть на свете, — к вам.

И действительно, время тревожно не одними семейными происшествиями, и его напряженность создает такую подозрительность кругом, что самый факт невиннейшей переписки с родными за границей ведет иногда к недоразуменьям и заставляет воздерживаться от нее. Но ведь не могу же я совершенно отказаться от полученья вестей о вас и подачи вам знаков о своем существованьи.

Когда вы утешаете Женю в отношении моих чувств, вы недалеки от истины. Часто вечерами, когда я заработаюсь, выйду на прогулку и потом в рассеянности возвращаюсь домой, мне кажется неестественным и странным, что я попадаю не к ним и слышу в доме не их голоса.

От этого ощущенья я не избавлюсь никогда, и так же как вы, то есть в той же расплывчатости и безо всякой определенности надеюсь, что это[1] когда-нибудь переменится. Я не могу представить себе это определенней, потому что для этого я должен был бы ненавидеть Зину или осуждать ее, а ни к тому ни к этому эта

женщина, с животом на 7-м месяце с утра до вечера без работницы бьющаяся над самою черной работой, измученная всей предшествующей жизнью, а также и мною, мне поводов не дает. Напротив, в том значеньи, какое, после всего, всем поколеньем везде пережитого, здесь, у меня, на пятом моем десятке, может еще иметь слово любовь, я, конечно, люблю ее, не так легко и гладко, и первично, как это может быть в нераздвоенной семье, не надсеченной страданьем и вечною оглядкой на тех, других, первых, несравненно более правых, считающих себя оставленными, но не оставленных.... Не так, но по-другому, и, значит, все же как-то.

Итак вы знаете, что она беременна. Когда меня посылали в Париж, и я был болен — (ах, это, ведь, было совсем, совсем не то, как я тогда об этом говорил; причины были в воздухе, и — широчайшего порядка: меня томило, что́ из меня делали, — помните? — меня угнетала утрата принадлежности себе и обижала необходимость существовать в виде раздутой и ни с чем не сообразной легенды, теперь это прошло, и это такое счастье, я так вздохнул, так выпрямился и так себя опять узнал, когда попал в гонимые!) — так вот, тогда именно мне очень хотелось иметь общее с ней продолженье, оставить будущему живую память о нас.

Это было оттого, что в тогдашней тоске я чувствовал на себе дыханье смерти (это трудно объяснить; но наблюденье, что даже и моя, вами выношенная и такою вашей правдой и скромностью пропитанная жизнь стала, без вины моей, театром, даже и она, — наблюденье это было убийственно). Так вот, я прощался тогда со всей той бездонной неподдельностью, правдой и очарованьем, которые есть земля и жизнь, и на прощанье хотел от нее ребенка. Но странно, причины физические мешали в этом именно ей, а не мне. Она ходила к врачам и лечилась и постепенно, свыкшись с сознаньем, что этого не будет и не может быть, я перестал понимать, как и зачем я этого хотел. Иными словами, нынешнее ее положенье — совершенная неожиданность, и если бы не запрещенье абортов, нас бы остановила недостаточность нашей радости по этому случаю, и она прибегла бы к этой операции.

Но теперь, когда что-то готовится, когда в порядок существующих вещей обещает войти новое и неведомое существо, подло и немыслимо говорить об этом так, как рассуждал я выше. Оно уже в пути, и счастливой ему дороги. Оно лучше и сильнее и выше меня, моих чувств и моих счетов и больше: оно именно из той страны расплывчатых упований, в которую я помещаю и Женино будущее, когда думаю о жизни, о себе и о них, обо всех.

И, — для ясности, чтобы вы знали, читая эти длинные и косноязычные рассужденья о вещах, глубина и важность которых не поддается выраженью наспех, — радоваться ли вам или печалиться о том, что сейчас со мной и вокруг меня происходит, — радуйтесь, радуйтесь в границах, определенных моим рожденьем и характером времени, а также и мною самим, т. е. всем тем, что я сделал со своею жизнью и со своими. В этих, твердых и непоправимых границах я ежедневно дивлюсь и не устаю благодарить судьбу за то, как еще хорошо все и насколько лучше моих прав или расчетов.

Женя была больна весной и очень худа. Редко, когда она бывала довольна летним местопребыванье м и за лето почти никогда не поправлялась. Не то сейчас. Она вернулась из Крыма, где ее окружало общество из того же литературного круга и где к ней чудесно относились, загоревшей и пополневшею, в ровном, спокойном и веселом настроеньи; мягка со мной, что отражается на Женёчке, которого это освобождает от тяжких размышлений о нашем разъединеньи, и так беспечна, что даже слышать ничего не хочет о посещеньи врача, хотя ей именно и нужно было бы воспользоваться притоком сил для совершенья операции.

Я не могу сказать того же о себе самом и о Зине, о моих перспективах, — житейских, квартирных, семейных и даже матерьяльных. Но и тут малейшее облачко не должно омрачить вас за чтеньем этих строчек. *Как-нибудь* и тут все устроится.

Я мог бы зарабатывать больше, я более деятельно мог бы хотеть, чтобы огромный и пустой мой дом в Переделкине так же походил на уютное и располагающее к себе человеческое жилище, как крохотная двухкомнатная Женина квартирка, изящная, чистая и просящаяся на полотно, как intérieur. Я мог бы меньше дичать, меньше отрываться от города, меньше времени тратить на лес и на реку, на чтенье многотомных историй, я мог бы вместо романа, который я пишу медленно и как можно лучше, отписываться более прибыльными пустяками и т. д. и т. д. Но очевидно во всем этом нет ничего рокового. Так, в настоящее время, выбрал я, и если несладка и незавидна Зинина участь по той трудности, которая падает на ее плечи (это относительно, и этого не следует преувеличивать, — отсутствие домашней работницы временная случайность), то меня эта ответственность не пугает, со мной должно быть трудно и не может быть легко. А если бы я меньше занимался заготовкой хвороста на зиму, меньше отдавал бы времени воздуху и природе (октябрь, по утрам заморозки, а я все еще

купаюсь) и меньше читал бы Мишле и Маколея, я, может быть, не мог бы и работать.

Я в радости думал об этом письме и должен был написать вам его в этом качестве, т. е. как радостное, и если это не ясно, то причина в том, что как Жоня, я не умею писать писем и постоянно увязаю в каком-то невылазном многословьи.

Крепко и горячо целую вас обоих, Федю, Жоню, ее деток и Лиду с семьей. Отсутствие прямых писем от вас ко мне не беспокоит меня, я готов довольствоваться косвенными сведеньями, поступающими через Женю или еще кого-нибудь.

Обнимаю вас без конца.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] После этого слова в письме вычеркнуто шесть строк.

770. Л. Л. СЛЕЙТЕР

Декабрь 1937, Москва

Дорогая Лида!

Как порадовала ты меня своим письмом! Мне подарили того Майкля, что хохочет во все горло, повернувшись в загородке[1]. Чудесный мальчик! *

Пока ходят письма, обстоятельства меняются. Набегают облака, наступают затрудненья. Потом горизонт очищается, снова становится легче. Отвечать надо немедленно или с двойным запозданьем.

Ты вспоминаешь нашу молодость, мои первые книги, и тебе кажется, что роман будет возвращеньем к ним[2]. Месяца три тому назад, если бы я отвечал тебе с дачи, из Переделкина, я бы не разуверял тебя. Но сейчас это не соответствовало бы истине. Отсюда, из города, после переезда на новую квартиру и множества осложнений, заставивших отложить работу, я ничем, кроме

* Но потом я видел у Жени другую, где он в креслице и просто красив. Тут он напоминает тебя маленькою, как ты изображена у папы в Веласкесовском духе. И рядом с этим не твое: вниманье и уверенная любезность гостеприимного хозяина, как на спокойных портретах Ромнея и Генсборо — замечательная черта преемственного благородства в ребенке! (*Прим. Б. Пастернака.*)

самочувствия, по-прежнему беспричинно безоблачного, не могу похвалиться, а в этом чести мало, и это не достиженье.

Но я не в шутку возвращаюсь к этому состоянью духа все вновь и вновь. Как в ранние годы, пока с ними знакомишься, останавливают новизной разные стороны жизни: первое путешествие, первая страсть, первое опьяненье, первая удача в работе, так привлекает, захватывает и интригует меня теперь чувство здоровья, явленье, интерес которого я проморгал и глубины которого не заметил. Точно это книга, которую я оставил себе про запас, и теперь, после многих прочтенных, стал перелистывать.

Я не знаю, в чем и с какой скоростью суждено мне выражать себя дальше. Аналогии с начальными годами нет места. Это естественно, что как у отдельных людей, так и у целого периода истории есть свой возраст, и что каждый к радости своей или своему неудовольствию все больше и больше оказывается пленником века. Но романа я не оставлю. В слишком притягательной тишине задуманы его очертанья, разобраны и облюбованы предназначенные для него повороты жизни, лица и состоянья, слишком утвержден, стал вероятен и отделился на какой-то отступ от меня этот круг. Как только справлюсь с некоторыми матерьяльными затрудненьями, временными, и нисколько не роковыми, я опять вернусь к нему.

Кстати, второй уже раз выходит «Воскресение» с папиными иллюстрациями, ничего не утрачивающими от времени, так они замечательны. Первый раз это было в издании Академии, а теперь в выпуске Госиздата, и оба раза пропадают гонорары, которые, наверное, следуют ему за их воспроизведенье. Я бы занялся этим, но для этого требуется его доверенность мне, засвидетельствованная в нашем консульстве или полпредстве. Но мне не хочется пользоваться папиными деньгами без какого-нибудь возмещенья, тем более, что возможность для этого налицо. Три года тому назад в Праге меня выпустили по-чешски двумя отдельными книжками в двух разных издательствах. Одна это Охранная грамота, другая — томик избранных стихотворений[3]. Мне что-то причитается за них, но я тогда предполагал попасть за границу и оставил на совести издательств рассчитаться со мной, если я когда-нибудь попаду в Прагу. Так это осталось, и я даже не знаю, на что могу рассчитывать.

Все это легко было бы сделать, если бы я знал, допускаются ли по немецким законам денежные переводы из Чехословакии в Германию. Не знаю также и собираюсь узнать, считается ли это

законным у нас, т. е. вправе ли я сделать папе такое предложенье. Пока я этого не выясню у себя в союзе (писателей) или еще где-нибудь, я папе об этом писать не стану, всего же вероятнее, что по сложности этого выясненья на эти возможности плюну, и обе суммы одинаково пропадут, и чехословацкая, и толстовская.

Не помню, писал ли я вам, как капризно с годами становится сознанье, в каких сопровождающих условьях нуждаюсь я, чтобы работать, т. е. радоваться работе и любить ее. Это не только воздух, природа и до последней степени упрощенный обиход, но и чтенье, как можно больше удаляющее от времени и места, чтенье на иностранных языках, ежедневное и обильное. Я прочел 12 (из 19-ти), томов Истории Франции Мишле, от Цезаря до Варфоломеевской ночи и прочту до конца, а прервал, потому что мне недоставало тома. Тогда я перекинулся на Маколея, над пятым томом которого теперь сижу[4].

Как странно и до чего все переплелось! Перед войной, когда я в первый раз стал читать по-английски, я ни о чем так не мечтал, как о поездке в Англию. Это еще усилилось, когда на примере Китса, Кольриджа, Свинберна, я столкнулся с английской поэзией как с явлением. Мне с новой и неожиданной стороны открылось влиянье, пусть хотя бы и Байрона, на Пушкина, Лермонтова и их время. Как всегда в вопросе о художниках, здесь физического влиянья языка, фонетики, строенья речи и прочего несоизмеримо больше, чем воздействия идей или мировоззренья. Эти влиянья всегда вторичны и больше касаются и людей второго плана, людей общества и ценителей, окружающих искусство разговорами и писаньями о сказанном и написанном, чем самих мастеров. Над художниками же всегда будут иметь силу вещи осязательные, как признаки поведенья и состоянья, как это было и с Рильке, на которого сильнейшее влиянье оказала Франция и французы, а не какие бы то ни было новые общие места, допускающие легкий перевод с языка на язык и, на этот раз, изложенные по-французски.

А факт физического влиянья английской поэзии на нашу классическую (и на позднейшую немецкую и французскую, как я затем убедился) показался мне таким разительным, что я подумал, что английская-то поэзия и есть поэзия, и в европейской истории после Возрожденья занимает то же место, что Греция для античности.

А потом пошли годы лишенья. Мы все уступчивей поступались знаниями, навыками и влеченьями. Мало-помалу все забывалось, и я еще немного знал по-английски, когда переводил

слишком мной переоцененного Свинберна, и уже не знал языка, и в помощь подлиннику должен был заглядывать во французский его перевод, когда через четыре года перевел Бен Джонсонова Алхимика[5].

И вот должно было случиться, что я попал в Лондон как бы во сне и даже не успев толком опомниться, как раз в такой момент, когда я не только не помнил ничего из только что названного, но в отличье от всех лет и месяцев моей жизни уже больше не хотел и не мог хотеть ничего, ни жизни, ни заграницы, ни поэзии и провел три дня на Russel street, которой тогда не видел, а теперь вижу как перед глазами[6].

Вероятно, в подспорье роману, который я буду писать долго и на который не проживешь, я займусь переводами, в частности с английского[7]. Если тебе не будет трудно и эта книга не слишком дорогая, пришли мне, пожалуйста, по почте английскую антологию: Albatross book of living verse, edited by L.Undermeyer[8]. Но это абсолютно не обязательно, я могу обойтись и без нее. Или если у тебя под рукой есть сборник с лучшим отбором, можешь заменить по своему вкусу.

Я хотел занять тебя кое-какими рассказами из нашей жизни, а вдался в отвлеченные материи. Сделаю я это в следующий раз, в письме к тебе или папе, обе открытки которого получил и за которые ему и маме от меня и Зины большое спасибо. У нас все в порядке. Хорошо все и у Жени, но этого в двух словах не скажешь, и отложим до следующего посланья.

Мне очень хочется, не ограничиваясь поклонами, сказать что-нибудь твоему мужу, и если я этого не делаю сейчас, то не оттого, что меня останавливает взаимное незнанье, а оттого что уверен в нашей будущей встрече и не хочу предварять живых радостей условным их предвосхищеньем.

Так-то вот, Лидок.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Речь идет о фотографии сына Лидии Майкла Слейтера.

[2] В письме 12 мая 1937 Пастернак писал отцу о своей работе над романом: «К тому, что если из-за разделенности с Женичкой и с вами, и непокладистости Жени я никогда не буду и не могу быть счастлив, ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накопляющейся рукописи, которая опять, после многолетнего перерыва ставит меня в обладанье чем-то объемным, закономерно распространяющимся, живо прирастающим, точно та

вегетативная нервная система, расстройством которой я болел два года тому назад, во всем здоровьи смотрит на меня с ее страниц и ко мне отсюда возвращается. Помнишь мою вещичку, называвшуюся «Повестью»? То был по сравненью с этой работой, декадентский фрагмент, а это разрастается в большое целое, с гораздо более скромными, но зато и более устойчивыми средствами. <...> Мне все время в голову приходит Чехов, а те немногие, которым я кое-что показывал, опять вспоминают про Толстого. Но я не знаю, когда это напечатаю, и об этом не думаю (когда-то еще напишу?)» (там же. С. 174).

[3] См. об этом в письме № 744.

[4] См. коммент. 4 к письму к № 766.

[5] Пастернак переводил трагедии А.-Ч. Суинберна в 1916 г., комедию Бен Джонсона — в 1919-м. Но здесь дело в трудности архаического языка Бен Джонсона в отличие от поэтического языка Суинберна.

[6] В гостях у Ломоносовой, жившей недалеко от Russel street, одной из центральных улиц в Лондоне.

[7] «Я сейчас много перевожу, — писал Пастернак Ломоносовой 14 апр. 1936, — кого и что придется. Тут и какой-нибудь грузинский поэт или кто-нибудь из революционных немцев, и Верлен, и французские символисты, и Ганс Сакс XVI века, и кто-нибудь еще. Между прочим займусь и англичанами для одной антологии, еще не знаю кем, вероятно, Китсом, Байроном, может быть Блеком, может быть даже Спенсером» («Минувшее», № 17. С. 402).

[8] Антология современной поэзии. Альбатросовская серия. Составитель Л. Андермайер. Эта книга — Серебряная антология английской поэзии Albatross book, присланная Лидией, сохранилась в числе немногих любимых книг в кабинете Пастернака в Переделкине.

771. РОДИТЕЛЯМ

6 января 1938, Москва

6. I. 38

Дорогие мои, с новым годом!

Здоровья и долголетия вам. Как, по смыслу всего совершающегося и по всему, что я чувствую, надо, необходимо, чтобы вы жили еще долгие годы, чтобы через какие-то близкие и более короткие годы я вас еще увидел и все вам рассказал! Это мое каждодневное обращенье к судьбе, самое мое робкое, самое суеверное, самое заветное пожеланье и заклятье.

Я всегда хочу писать вам и с вами разговаривать. За последнее время было много поводов, по особенному усиливавших эту потребность.

Я наконец в Лаврушинском, то есть, иными словами, та последняя, и самая бесформенная часть старого инвентаря, остававшаяся на Волхонке от двукратной распродажи библиотеки, Шуриного и Женина выдела и всевозможных переездов и перемещений, — сдвинута, освобождена от хлама и в каком-то порядке вместе с моею рухлядью разделена между Переделкиным и моею новою квартирой.

Я снова до основанья, нет, до последней бумажки пересмотрел и ощупал руками разновременные свидетельства почти что шестидесятилетнего существованья, если начать счет с комплектов «Артиста», снова в порядке прошедших передо мной[1].

Я один около десяти дней подготовлял вещи к переезду. Обстановка подобной же работы, проделанной вместе с мамой на Мясницкой в 11-м году, все время приходила мне на память[2]. Условья обеих, как и объекты забот в обоих случаях — несравнимы. Это точно два сходных случая в двух разных, далеко друг от друга отстоящих веках.

Ваша жизнь прошла предо мной при этом, твоя, мама, и папина. Какое чувство гордости охватывало меня при этом не раз и не два, как, во всем немногословьи, становилось мне ясно, что только эта жизнь и состоялась и имела место, завидно достойная, честная, реальная, до последней одухотворенности отмеченная талантом, удачами, счастливой плодотворностью; как ничего не было потом прибавлено к ней; как самое большое, что я потом мог сделать, это сохранить неопороченным на некоторой высоте то доброе имя, которое готовым получил от вас с более широким, свежим, значительным и счастливым наполнением.

Спасибо за твое последнее письмо, папа. Простите оба за такой запоздалый ответ. Радость, о которой я так расплывчато и неопределенно писал в своем, была бы не по возрасту аффектированной и близорукой, если бы я относил ее к близкому ожиданью ребенка. Скорее она коренилась в уверенности, что все когда-нибудь облегчится и устроится, что некоторые мечты и необходимости (вроде свиданья с вами), без которых моя жизнь не могла бы назваться жизнью, придут и осуществятся; и вы правильно поняли, что этот образ мыслей, при котором единственно я и могу существовать и работать, мыслим только вне города, где он ежедневно внушается и поддерживается природой и чистотой ее примера.

Но мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним, двенадцатым ударом часов, почему, по статистике родильного дома и попал сразу в печать, как «первый мальчик 1938 года, родившийся в 0 часов 1 января». Я назвал его в твою честь Леонидом.

Мне хотелось написать вам 31-го, после того, как я отвез Зину в больницу, но этого не вернуть, этот момент я упустил. Я встал в пятом часу утра, в сильный рождественский мороз, несколько отвыкший от нынешней Москвы и как бы чужой ей, новоприезжий. Давно-давно мне не случалось вставать так рано, и я с наслажденьем прошелся домой пешком, с бывшей Николо-Ямской (за Землянкой) в Лаврушинский, где Третьяковская галерея.

Я не представлял себе, что столько народу встает и зажигает огонь в такой час, и нашел много старого, знакомого и примиряющего в этих утренних наблюденьях. Людей художественной складки всегда будет тянуть к бедным, к людям трудной и скромной участи, там все теплее и выношеннее, и больше, чем где бы то ни было, души и краски. И я по пути попадал в места старых и забытых воспоминаний. Но это так все неуловимо, что лучше не рассказывать.

Женя с Женичкой сейчас в Переделкине. Я не видел, как они устроились там на его каникулы, и боюсь, что им будет скучно. На днях поеду их проведать. Не знаю, знает ли уже Женя о мальчике, но вероятно, известие это до нее дошло.

Наверное, все это тяжело ей, потому что переворашивает и растравляет старые огорченья. Но с этим придется, в лучшем смысле, т. е. без ущерба для ее души и какого бы то ни было грубого давленья, примириться. Мне кажется, все данные для этого, с моей стороны, налицо. Во мне никогда не было плотоядной семейственности, властного любованья своим гнездом и пр., и еще меньше этого сейчас, с годами. Другими не стали они ни для меня, ни для вас. Горячую ласку, которою вы ее окружили последнее время, надо продолжать поддерживать. Что же изменилось?

По естественнейшим законам у мужчины и женщины (немного, правда, поздно) родился мальчик морозной новогодней ночью, славный, спокойный, как и самый факт его явленья, не столько в семье, сколько в природе, ночной, почти не городской, снежной. И дай ему Бог счастья и здоровья, как и Жене, — все так ясно и просто. Зина рожала трудно, но она как бы для трудностей создана и их переносит немногословно и легко. Она молодец, и если вам захочется и это выльется просто, без принужденья, напишите ей. Или телеграфируйте.

Крепко вас обнимаю. Целую всех поочередно в Жониной и Лидиной семье.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Комплекты театрального журнала «Артист» (1890-е гг.) определяют начало творческой деятельности Л. О. Пастернака, который был там художественным редактором и помещал в журнале многие из своих рисунков того времени.

[2] Пастернак вспоминает переезд с Мясницкой на Волхонку летом 1911 г. См. письмо № 181.

772. Г. А. ШЕНГЕЛИ

11 января 1938, Москва

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я на новой квартире (кажется, с тем же надо поздравить и Вас), где пробуду некоторое время. Мне хочется приняться за Вер-

харна[1], да и пора. Я звонил Вам по старому номеру, но там не знают Вашего нового адреса. Будьте так добры, по получении письма позвоните мне как-нибудь в вечернее время (между 10-ю и 12-ю) по телефону: В-1-29-29, и назовитесь, а на случай, если бы меня действительно не оказалось дома, подзовите жену и оставьте ей номер Вашего нового телефона или адрес. Буду Вам очень рад, но надо сговориться, как и когда нам свидеться.

Крепко жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Печатается по ксерокопии с автографа, местонахождение которого неизвестно. Датируется по почтовому штемпелю. Месяц прочитывается неотчетливо.

Послано на адрес: Никольская, 10. Гослитиздат. Отдел иностранной литературы, или издательство «Академия».

[1] Поэт Г. А. Шенгели много занимался переводческой деятельностью. Намерение Пастернака переводить Э. Верхарна не было осуществлено. Известен перевод стих. «Равнины», сделанный в 1914 г.

773. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

Март 1938, Москва

Дорогая Раиса Николаевна!

Не осудите, если после столь долгого молчанья я с места в карьер обращусь к Вам с просьбой, да еще в тоне веселой торопливости, странной в наше серьезное время.

Пришлите мне, пожалуйста, катушку свежего английского пластыря, такого, какой употребляется при леченьи пупочной грыжи у грудных детей, по почте или как хотите, лишь бы поскорее, по нашему новому адресу. Москва 17, Лаврушинский пер. д.17/19, кв. 72, Зинаиде Николаевне Пастернак[1].

У нас родился мальчик, и представьте себе, без всякой натяжки, ровным счетом в новогоднюю полночь (точно в 12 часов минута в минуту!), так что и выписку ему дали, как родившемуся в 0 часов 1-го января 38 г., и о нем говорят, что он не просто явился на свет, а свалился в бокал с шампанским.

С первого мига он стал приносить мне счастье. Сейчас ему третий месяц. Он очень славный и немного в деда, в честь которого назван Леонидом. Но может быть, именно ввиду оригинальности часа, который он избрал для начала житейского поприща, ему, чтобы не испортить рекорда, второпях как-то неряшливо срезали пуповину, и теперь эта небольшая грыжа — единственный изъян

этого, в остальном здорового оптимиста. Для ее излеченья нужен пластырь, который можно оставлять неделями, и такими качествами обладает обыкновенный английский пластырь, если он только не залежавшийся, наши же именно из старых запасов и через два дня дают раздраженье, после чего их надо снимать.

Новогодние каникулы Женя с Женичкой проводила в пустом доме на даче, где я провел два последние года. Кроме них там был жилец и знакомый, дальний родственник первого Зинина мужа, очень красивый молодой человек[2]. У них завязался роман, после чего он скоро переехал к ним в Москву, на Тверской бульвар. Женя очень счастлива с новым мужем, рад и Женек, всегда болевший за нее, мне же кажется, что это наколдовал им мой пупс в шампанском, которого я все равно мыслил примирителем. Вот одна из множества неожиданностей, связанных с его рожденьем. Сердечный привет Юрию Владимировичу и Юрию Юрьевичу. Простите, что обрываю письмо на полуслове. Мне хотелось, чтобы оно содержало только деловую просьбу, и не хочу забалтываться.

Целую Вашу руку. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по содержанию.

[1] Пастернак благодарил Ломоносову 14 апр. 1936: «Пластырь получил, и, вероятно — моя вина. Я не написал, что можно обыкновенный английский, как при порезах, чем и задал Вам хлопот. Присланное просто какое-то чудо века и многим лучше того, что нужно. Тем горячée мое Вам спасибо за быструю помощь, чудная, чудная Вы, дорогой и отзывчивый друг» (там же. С. 401).

[2] Дмитрий Владимирович Лясковский, инженер по автомобилям.

774. С. ЧИКОВАНИ

20 апреля 1938, Переделкино

20. IV. 38

Дорогой Симон!

Мне хотелось поработать над чем-нибудь из Вашего. Но сейчас у меня нет того досуга, что раньше. Работа хуже окупается, приходится бросаться от вещи к вещи.

Когда я переложил две чудесных Ваших вещицы о рыбаке[1], переложенья, кажется, не понравились В<иктору> В<икторовичу>[2], да и меня они не удовлетворяли. Мне совестно было обозначить их переводами, и чтобы снизить значенье своего труда, более далекого от подлинника, чем это бывало прежде, я подписал под

рукописью: зарифмовал по подстрочнику Б. П. Мне, кроме того, не хотелось, чтобы какие-нибудь неприятности, которые может быть вызовут мои выраженья, как это иногда со мной случалось, были отнесены на Ваш счет, что, при дальности перевода, было бы особенно несправедливо. Вещи, кроме Гослитиздата, приняли в Новый Мир.

Как вдруг я узнаю, что они по собственному произволу изменили мое обозначенье. И добро бы они, испугавшись новшества, вернулись к общепринятому: перевел такой-то. А то нет. Они придумали нечто прямо противоположное тому ограничительному толкованью, которым я как бы заочно приносил свое извиненье Вам. Мою подпись переделали таким образом: «Перевел и *обработал*! (или *переработал*)»! Узнав это, я поднял целую бучу, как Вы и сами, если захотите, убедитесь, но листы уже были отпечатаны и теперь ничего не поделать.

Простите, Симон, что, желая добра, я из щепетильности перестарался, и подал повод к путанице, за дальнейшее выраженье которой не ответствен. Чтобы загладить эту вину редакции я переведу две-три вещи из Вашего Колхидского цикла (на днях мне дадут подстрочники) и помещу у них же с обычным обозначеньем: перевел и т. д., чем и будет восстановлен прежний порядок.

Крепко жму Вашу руку. Сердечный привет Вашей жене, — было бы фамильярно, если бы я назвал ее Марийкой.

Преданный Вам Б. П.

Впервые: Материалы ГМГЛ. С. 288. — Автограф (ГМГЛ, № 027149, р.).

[1] Два стихотворения С. Чиковани, «Тифлисский рыбак» и «Посещение рыбака», были напечатаны в «Новом мире», 1938, № 4, и вошли в сб. Чиковани «Стихи» (М., Гослитиздат, 1939).

[2] Гольцеву.

775. Л. Л. СЛЕЙТЕР

30 октября — 1 ноября 1938,
Переделкино

30. X. 38

Дорогая Лидочка! Во-первых прости, что я с таким невозможным запозданьем поздравляю тебя с новорожденным Николаем.

Это звучит почти по-светски, точно я не успел вовремя соблюсти какую-то формальность и сожалею об этом. Скажем тогда по-другому: у меня у самого ползает нечто неописуемое, называ-

ющееся Ленчиком или Ленькой, так что мне жизнь это напомнила, и я знаю, что такое дети[1]. По поводу новостей в твоей жизни можно и надо было что-то сказать, надо было сказать бездну. Почему же я этого не сделал?

Тогда скажем еще проще. 16-го сентября все отсюда переехали в город, и я остался один (абсолютно, без работницы и даже без собаки, которую пришлось отвезти в город к ветеринару, потому что она попала под грузовик и ей вышибло глаз) — только затем, чтобы отсюда, из тишины, осенней прелести и уединенья *написать вам*. И прошло полтора месяца, и я все еще этого не сделал. Наконец, еще определеннее: я продолжаю жить тут, один в большом двухэтажном, плохо построенном доме (три года, как он еще построен, а уже гниет и проваливается), в сыром лесу, где с пяти часов темнеет, и ночью далеко не весело, только потому, что неизбежный при этом обиход (в отношении отапливанья, уборки, стряпни и пр.) напоминает мне 19 и 20-й годы, последнее по счету время, проведенное вместе с вами и родителями, и жить хотя бы этим напоминающим сходством, если не действительным свиданьем, стало такою, все остальное вытеснившею потребностью, что ради нее я готов пойти на что угодно, и в отстаиванье этого счастья зверею и способен забыть себя. Потому что, кроме всего, это еще и счастье.

Каждую неделю я езжу по делам в город, ночую там, вижусь с моим новым попугайчиком (возней, мотаньем головкой и бормотаньем, — {излюбленное: гортанные ко-ко-ко} — он напоминает карликовых попугаев, маленьких и круглых), а потом возвращаюсь сюда.

Вот я сегодня сюда приехал, во втором часу, и сразу за работу, которая кончилась только сейчас, в 10 часов. За сутки дом выхолодал. Пока поотпираешь все перезапертое, пока принесешь с чердака все попрятанное во избежанье воровства, и разложишь по местам все привезенное из города (потому что у меня порядок, как при маме), уже проходят какие-то четверти и половины. Но главное не это. Кем надо быть, чтобы живя среди леса, покупать дрова? Валить его нельзя, участок под надзором лесничества, но разве речь об этом? Эти еловые дебри надо чистить, и чистка дает горы лапника (широкие боковые ветви, в руку толщиною), готовое топливо, по крайней мере для кухонной плиты, на целые годы. На это и уходит у меня добрая половина дня. Аккуратно нарубленной и наломанной еловой ветки у меня выложены в доме и снаружи целые запасы. А что делать зимою? Гулять без цели я не

люблю и не умею. Собирать грибы или ягоды в ноябре трудновато. Вот хворост и предлог, чтобы по три или четыре часа пропадать на воздухе, на далекой от дороги просеке, среди мачтовых сосен, редкие просветы неба, тишина, смеркается, то тут, то там начинает осыпаться целое дерево, как над мельником в Русалке[2], это ворона села на березу или белка покачнула, перепрыгивая с сосны на сосну. И вдруг совершенно темнеет, почти сразу, так что трудно разыскать заготовленные в разных местах вязанки. И опять это чем-то напоминает маму. (Но чем? Атмосферой Очакова?[3] Да ведь это через две остановки от Очакова! Или кухней на Волхонке? Помнишь ее «струкачи» и чурбаки?)

А мыши, мыши! Их столько, и они так распущены, что на них надо кричать «Брысь» или «Это еще что такое?!» и тогда они еще поразмыслят, уходить ли им или нет, когда жаришь яичницу с колбасой и они отовсюду по хворосту вылезают подышать наркозом жареного масла и пищат, и распевают.

Однако довольно. Я уже сказал вполне достаточно, чтобы ты могла заключить, что я тихо схожу с ума. Но с другой стороны, что прикажешь делать? Как бы ни складывалась моя жизнь, фатальной *немыслимостью*, например, повидать вас, из нее вынута сердцевина, она наперед обесценена, и в той же мере наперед мне безразлична.

В заключенье вкратце несколько вещей. К весне, если Бог даст, я хочу попытаться матерьяльно устроить Зину и Женю вперед месяца на три, на четыре (не *это* проблема) и обращусь с письменной просьбой к нашему правительству, чтобы мне разрешили повидать папу (мы не видались пятнадцать лет!). Я так по нем и по маме скучаю, что это стало отравлять мне существованье, и если тут перетянуть, я могу взбеситься, я ей-богу не шучу. Как ни смеются над этим знакомые, во мне тлеет надежда, что может быть, по изложеньи мотивов моей просьбы в той силе, какую они надо мной имеют, мне, быть может, не откажут в разрешении на выезд. Во всяком случае я приложу к этому все старанья.

Несколько слов о своих, потому что о себе писать трудно, да собственно и нечего. Женя в Крыму очень поправилась, но этого хватило ровно на месяц, и она опять худа как щепка, подумывает о санатории и пр.

Очень утешает меня Женёк, как ни мало я его вижу. Начать с того, что он уже начал зарабатывать (в сентябре ему минуло 15 лет). В школе классный наставник и учительница заставили его взять урок (он занимается английским языком с каким-то слабо успе-

вающим из младшего класса по 3 руб. за час ежедневно, что составляет 75 р. в месяц. Ему предлагали 4 руб., но вообще он отказывался, ему неловко было, в последнем счете из того соображенья, что у Елизаветы Михайловны норма была 5 руб. Кроме того, я со всех сторон слышу превосходнейшие о нем отзывы. В Крыму они жили в писательском доме отдыха (на бывшей даче покойного Макса Волошина), в Коктебеле. Там перебывало множество знакомой и незнакомой публики, и вот теперь я иногда где-нибудь на улице, в ожиданьи автобуса, от кого-нибудь из очереди слышу: Какой у вас замечательный сын; как он превосходно плавает, или какой образованный, или воспитанный, и т. д.

Физическому его развитию (прогулкам в горы, плаванью, рыбной ловле и пр.) много способствовал Женин муж Митя (Дм. Влад.), с которым у него очень хорошие отношенья, но наверное испортятся, потому что Женя очень привязчив, сентиментален и просто-напросто надоедлив. Как-то два раза по праздникам были они втроем тут у меня, и другой раз с Шурой, Ириной и Фединькой. Огорчительно только, что он до сих пор ни разу еще не видал нового своего братца. Прийти посмотреть на него он не хочет или не может, а для того, чтобы показать Леню ему и Жене, мне надо пробыть в городе больше суток и устроить это посещенье не так просто.

Ну вот. Я хотел написать папе, а в твоем лице написал всем вам сразу. Но мне пришлось бы писать другое письмо и написать его вдвое длиннее, если бы я пошел не от известного мне, а от неизвестного, и, например, отправною точкой избрал какую-нибудь фантасмагорию вроде общего вашего съезда на Темзе![4] Почему-то в этой феерии больше всего меня волнует пребыванье Аленушки и Чарлика на том, что для них должно быть чужбиной. Я ничего не знаю о Феде и Жоне, но думаю, что они с житейскими трудностями справляются. Между тем при мысли об Аленушке и Чарлике моя чувствительность разыгрывается в каких-то истерических размерах, я реву, произнося это, и мне их жалко больше моих и твоих детей, больше нас самих и стариков. Хотя я их ни разу в жизни не видел, но наверное в них и в представленьи о них сосредоточилось все тончайшее и возвышеннейшее, что есть в детстве (и тогда следовало бы сказать: все чистейшее из пережитого ... кем! ... когда..! Всеми вообще, но *теперь* в нашу *бытность*, здесь на земле, на этот, на какой-то *оглушительно этот раз*). Ах, надо повидаться, в письме ничего не рассказать.

Если я теперь кое-что прибавлю о себе, ты неизбежно сделаешь превратные выводы и получишь о моем житье-бытье вопию-

ще извращенные представленья. Но я неисправимый и убежденный коечник или чердачник (студент, «съемщик угла»), как меня очень метко обозвала одна знакомая. Самые лучшие воспоминанья у меня о трудных и скромных периодах моего существованья: в них всего больше земли, колорита, рембрандтовщины. Мне надо, чтобы жизнь держала меня в черном теле. Одной из причин, подготовивших мой разрыв с Женею, было то, что не посвящая ему всей себя, она в то же время баловала Женёчка косвенно, кутала и нежила руками Паши (Праск. Петр. Устиновой) и еще как-нибудь, как бы от него откупаясь тратами на него и на привлеченных к нему людей. Все это, разумеется, нельзя понимать en toute lettre*, это шарж и говорить так дико несправедливо. Но достаточно и оттенка. То же самое, разумеется, повторится и с Зиною в отношении Лени, но, с одной стороны, я теперь буду настойчивее и грубее, с другой, ей все это будет труднее. Она все время плачется, что я создаю искусственные затрудненья, что если бы я не прилагал усилий, чтобы денег было мало, их было бы гораздо больше. Умер отец Нейгауза[5], старик Нейгауз 92-х лет. Он был из Клеве или Калькара am Rein, больше 50 лет провел в России и не научился говорить по-русски, образованнейший музыкант (у них была музыкальная школа в Елисаветграде), интереснейший старик трудовой, демократической складки, до последних дней (вернее до болезни) ежедневно что-нибудь читавший на всех языках.

Он любил говорить со мной иногда даже больше, чем с сыном (ах, опять, надо повидаться, ничего не рассказать). Весной он меня вызвал и после долгих жалоб на свою жилистость, здоровье и одиночество попросил помочь ему уйти из жизни, пока еще он это может сделать по-человечески, не успев стать всем в тягость, и достать ему что-нибудь огнестрельное. Понятно, я пристыдил его и сказал, что ничего такого у меня нет и получить это трудно. Когда он осенью заболел воспаленьем легких, он так боялся, что опять выздоровеет, как в прошлом году, что прокрался на кухню и там надрезал себе горло большим мясным ножом (но умер не от этого, он от слабости упал там, это было в общей, коммунальной кухне и на стук паденья сбежались и подобрали его). Да, так к чему я заговорил обо всем этом. Ага. Конечно, он ходил не голый, и от него должно было что-нибудь остаться. Зина понаделала из его фуфаек и кальсон целый гардероб для Ленички (впрочем не такой уж многочисленный: при всей попугайчатости Леня

* буквально *(фр.)*.

очень крупный, медвежеватый, вроде покойного Юры Серова[6], обыкновенно ему дают года полтора и больше), но дело не в этом: Зину печалит моя *радость* по поводу того, что мальчик растет в тесноте и некоторых, *относительных* и очень *призрачных*, стесненьях. Здесь у соседей в Переделкине был «манежик», загородка для учащихся ходить, как в которой Майкль снят. Я взял эту вещь для него, но пока он в Переделкине был, это было для него рано, а в город ее перевозить некуда, потому что Зинина с ним комната сама не больше манежика, в нее с трудом втиснута кровать и стол, и на остающемся месте едва помещается его кроватка. — Болтовня, болтовня, ну к чему я все это болтаю? Который день ты, бедная, это читаешь?

Но я, верно, хотел сказать, что у меня тяга к этой суровости. Это так же приятно, как купаться зимой в реке.

1-е ноября, а я и сегодня не изменил этой привычке. Над речкой в стороне проходит шоссе. Увидать голого в этом пейзаже просто неслыханно, кощунственно, обидно: проезжающие ругаются и улюлюкают, или останавливаются, не решаются подойти, подходят, терпят, терпят и заговаривают: «А не холодно, уважаемый?» или что-нибудь такое. Объясняешь, что тренировка или привычка. Ответ удовлетворяет, и уходят успокоенные.

Мне кажется, я летом написал тебе[7]. Но письмо я поручил опустить одной знакомой и не уверен, сделала ли она это и получила ли ты его. Ну хорошо.

Да, так главное: папы и мамы в этом чудовищном письме (я сейчас его кончу) гораздо больше, чем это может показаться с первого взгляда. Пускай наши не обижаются на Шуру и на всех остальных, что редко пишем. Думаем всегда, и как!!! Но писать часто хорошо при правильно налаженной переписке. А ты наладь ее, попробуй. Нет, я смеюсь. Пишите мне по городскому адресу: Москва 17. Лаврушинский пер. 17/19, кв.72. И напишите Зине.

Всех твоих и Жониных крепко целую.

Письмо Dritter Tag* (как в Нибелунгах[8]). Леничка страшно напоминает Жоню периода Оболенского[9], когда она глыбы (грибы) говорила. А может быть, и тебя. Вообще он того стиля, который папу натолкнул на Веласкезовскую концепцию вас (Жозефина-Иоанна и Лидия-Елизавета)[10]. Ведь и Юра Серов Веласкезовский.

---

* Третьего дня (*нем.*).

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] В письме 30 июля 1938 Пастернак писал сестре: «Случайно и совсем без моего участия Леню стали звать Ленчиком, и за ним (но только в устах матери и в минуты особой нежности) утвердилось дорогое имя, звука которого я столько уже лет лишен в разлуке. Он премилый малыш, и когда кто-нибудь его снимет, я пришлю фотографию» (там же. Кн. II. С. 187). *Ленчик* — домашняя форма имени Леонида Осиповича Пастернака.

[2] В драматической поэме Пушкина «Русалка» (1832) монолог Князя, пришедшего на мельницу, обрывается паденьем листьев с заветного дуба (перед появленьем Мельника): «Что это значит? листья, / Поблекнув вдруг, свернулися и с шумом / Посыпались, как пепел, на меня».

[3] То есть лета 1918 г., проведенного в имении Карзинкино на станции Очаково по Киевской железной дороге.

[4] Вскоре этот съезд совершился, потому что Жозефина с семейством приехала в Лондон, бросив дом в Мюнхене и все имущество.

[5] Густав Вильгельмович Нейгауз.

[6] Г. В. *Серов* — сын художника, актер.

[7] Имеется в виду письмо 30 июля 1938 (там же. Кн. II).

[8] Цикл опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов», написанный на сюжет древнегерманского эпоса.

[9] В Оболенском (под Малоярославцем) Пастернаки жили в 1903 г., когда Жозефине было 3 года.

[10] О портретах девочек с надписями имен в стиле Веласкеса см. коммент. к письму № 9.

776. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 ноября 1938, Переделкино

1. XI. 38

Дорогая Оля!

Ирина рассказала мне о своем летнем посещеньи Вас. Тогда узнал я горькую и потрясающую новость о Саше[1]. В этих случаях человеческое участие дальше вытаращенных глаз и вздохов не идет. За последние два года несчастия этого порядка так обставлены, что просьбы со стороны ни к чему не ведут и только усугубляют дело.

Но она рассказала мне еще и о маминых слезах, и о приеме, и о тяготеющей над нами анафеме[2]. Что сказать тут?

Вот мы прожили эти десятилетья, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчаньи и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. Вносит ли проклятье,

постигшее нас, какие-нибудь перемены в этот распорядок? Реально как будто бы нет, если разлука и неведенье друг о друге не были лишеньями до сих пор, отчего бы стать им всем этим после нашего осужденья? И однако сознанье, что вы отныне совершенно недоступны нам, а мы перестали для вас существовать — немыслимо и нестерпимо. Да и насколько это заслужено? Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обреченья, в которое обе вместе со всеми все больше и больше попадали. В чьих вообще это было силах? Это, и вообще что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете. Единственное, что можно было для душевного облегченья, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе. Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы, более подобающие для радости и удовлетворенья. Но всякое вынужденное приближенье к фантасмагории, насколько еще далекое (!), кончалось для меня общим припадком.

Оля, напиши мне о себе и маме. Как номер твоего телефона? Можно ли будет позвонить вам зимой, когда я буду в Москве? О себе пока сообщать бессмысленно, да и нечего. Главное: мне страшно бы хотелось повидать родителей. Невозможность этого отравляет мне существование.

Обними маму, когда она наконец простит меня и сама позволь обнять себя.

Твой Боря

Наш адрес: Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Зимой 1937 г. была арестована жена Александра Михайловича Фрейденберга М. Н. Филоненко, в начале августа — он сам «по подозрению в шпионаже». Приговорен к 10 годам без права переписки.

[2] Еще до своего ареста Александр Михайлович попросил приезжавшего с женой и сыном в Ленинград А. Л. Пастернака передать М. И. Калинину прошение о его жене. Калинин должен был вручать А. Пастернаку орден за участие в проектировании шлюзов канала Москва — Волга. После его отказа от абсолютно невыполнимого поручения Анна Осиповна Фрейденберг прекратила с ним всякие отношения. См. письмо № 782.

777. Н. ТАБИДЗЕ

Начало ноября 1938, Москва

*Знаете ли Вы, Нина, как я скучаю по Вас? Разлука с Вами, с Нитой, с Вашей атмосферой, с разговорами, которые бы мы завели, только бы увиделись, сравнима только с тоской по сестрам и родителям, которых я не видел 15 лет.

Я всегда думал, что люблю Тициана[1], но я не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт.

Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности (тут присутствует, конечно, и бедный П<аоло>, думаете ли Вы, что я его когда-нибудь забуду!), становились на ходули, преувеличивали! Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного *ничего* не окажется правдой. И вдруг насколько все оказалось горячей, кровнее!

Как слабо все было названо! Как необычайна *действительная* сила этой неотступной, сосуще сумасшедшей связи!

Я вас часто вижу во сне, то Вас, то нас всех, то виденные вместе места в осложненном переплетенье с моими родными. Прошлой зимой, когда это было связано *только* с ужасом и страданьем, я иногда просыпался в слезах и думал, что мне больно не моей собственной болью, а что я стал куском Вашего потрясенья и частью Вас самой, и оттого это так сильно. Мне трудно объяснить это безумие[2].

Но теперь, слава Богу, это прошло. Я Вас ни о чем не расспрашиваю. Хотя и несоизмеримо меньше Вас, я все же знаю достаточно, чтобы жить надеждой. Я знаю, что в каком-то высшем плане наше новое, выстраданное, временно отсроченное воссоединенье предрешено во всех подробностях, и наше дело только не погубить свиданье, то есть дожить до него. Я мог бы Вам писать об этом без конца, но это ни к чему.

Мне стало немножко труднее. В этом виноват только я сам. Восторженность вообще плохо давалась мне. За последние два года это стало выше моих сил — это понятно.

В самый канун нового, 38-го года у меня родился мальчик. Зина родила его ровно в 12 ч. ночи, под звон столового стекла. Я хотел назвать его Павлом (эта жизнь не идет у меня из головы и

---

* Начало письма отсутствует.

сердца, надо ли мне Вас в этом уверять), но Зина даже заплакала, так ее испугало это сближение с образом горя и горечи и загадочного исхода, и, отступив к ближайшему по близости, я назвал его в честь моего отца Леонидом.

Об остальном Вам расскажет Витя[3]. Честь и слава его сердцу, что он вызвался повидать Вас, можете сказать ему.

Меня преследует мечта: я подписываю большой договор, получаю аванс, вылетаю на один день к Вам, провожу его с Вами, весь день слушаю Ваши рассказы, в свою очередь Вам что-то рассказываю и тем же способом возвращаюсь обратно. Но со мной не подписывают больших договоров. А все же? Допустимо ли это с Вашей стороны? Я не знаю, что по Вашим условиям вредно Вам или полезно, что можно и чего нельзя.

А если бы судьба закинула Вас с Нитой сюда к нам, в Лаврушинский пер., д. № 17/19, кв. 72!! И какое счастье было бы, если бы Вы мне написали.

Целую Ваши руки. *Ваш Боря*

Если увидите Тамару Георгиевну[4], изобразите ей это все.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 10).

[1] Тициан Табидзе был арестован 10 сентября 1937 г. и вскоре расстрелян, о чем стало известно только в 1955 г.

[2] *Прошлой зимой* Пастернак послал телеграмму: «У меня вырезали сердце, я б не жил но у меня теперь две семьи Зина с Леней и вы с Нитой» (Воспоминания. С. 298).

[3] В. В. Гольцев.

[4] Т. Г. Яшвили.

778. Л. К. ЧУКОВСКОЙ

5 ноября 1938, Переделкино

5. XI. 38

Дорогая Лидия Корнеевна!

Благодарю Вас за Ваши милые строки. Осень в Переделкине как и у Вас, вероятно, стояла чудесная. Через неделю, или вроде того, я думаю, выпадет снег и наступит зима. Предсказателем погоды мне как раз в эту четверть года, быть нетрудно, потому что купанье в реке развивает большую чувствительность к температуре воды и воздуха и ее переменам, а я не оставляю этой привычки, купался и сегодня.

На днях я, вероятно, перееду в город. Выбор пристанища диктуется у меня родом предстоящей работы.

Если бы можно было и имело бы смысл (не для друзей и благожелателей, а вообще неизвестно ради кого) продолжать эту прозу (которую я привык считать частью некоторого романа), то я зазимовал бы в Переделкине, потому что широте решенья соответствовала бы широта свободнейших рабочих выводов.

Затруднительность, отчасти и техническая, совершенного одиночества не остановила бы меня: осилил же я ее в теченье этих двух месяцев, все же вследствие грязи и ранних сумерек, довольно унылых.

Но не составляя в этом отношении исключенья из остальных моих повествовательных попыток (также и в стихах) хромает и это начинанье, и совершенно не интересно, с добра ли или от худа хромает эта проза, так показательна ее хромота в тех внешних испытаньях, где художественным притязаньям первым делом не полагается хромать.

Я буду переводить Дон Жуана: со мной заключили договор на перевод половины первой песни, за которым по его исполненьи, по порядку последуют договоры и на остальные. Я еще не принялся за работу, — займусь этим по переезде в город[1].

Охранной грамоты нет у меня ни экземпляра. Даже сбавив больше позволенного с Ваших эпитетов, остаюсь в достаточном долгу перед Вами за Ваше к ней доверье.

Как Ваше здоровье? Всего Вам лучшего. Поцелуйте Вашу девочку[2].

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (собр. Е. Ц. Чуковской).

[1] Перевод «Дон Жуана» Байрона не был осуществлен.

[2] Люша Чуковская, дочь Лидии Корнеевны.

779. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

5 ноября 1938, Переделкино

5. XI. 38

Дорогой Николай Корнеевич!

Я так хвалил «Княжий угол»[1] Корнею Ивановичу и Лидии Корнеевне, что часть похвал, по-моему, должна была до Вас дойти.

Работа художника, со всеми прелестями и притягательностями вольного, облюбованного изображения; изложение

темы, хотя и требующейся, но в то же время производящей впечатленье настоящей жизни; вещь, которою можно зачитаться, как, после собственного опыта, и я убедился на примере сына, приехавшего как-то сюда ко мне[2] и весь день проведшего за нею; явление во всех отношениях *завидное*, в чем я особенно подробно признался Вашей сестре. Не смейтесь, что я свожу это все в какой-то принужденный, старообразный период: мне не хочется распространяться, а то Вы не получите письма.

Только в развязках, к концу, часть судеб и персонажей из живых становятся немного картонными; вина не Ваша, потому что больше, чем позволяете себе Вы отходить от общеобязательных положений и предрешенных исходов, конечно, нельзя. Итак, от души поздравляю Вас и крепко жму Вашу руку.

Спасибо за заботы и участие, но проза обещана «Кр<асной> Нови». Вообще о ней говорить преждевременно (между прочим, неприлично, что я вам и папе ее читал). Она гадательна и проблематична прежде всего с точки зренья написанья (т. е. я не знаю, допишу ли ее). Так писать не надо и нельзя. Надо писать либо совершенно непозволительно, либо так позволительно, чтобы радовались в редакциях. И тогда, в первом случае, копья надо ломать за что-нибудь такое, чтобы игра стоила свеч.

Сговорите меня со «Звездой» на что-то другое. Вероятно, я буду переводить «Дон Жуана» Байрона. Не согласились бы они его печатать периодическими порциями? Я хотел написать об этом Ник. Тихонову и на лестнице в Гослитиздате мимоходом говорил Лавреневу.

Наверное, на днях я перееду в город. Там мой адрес: Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Я пожалел, что при Вашем отъезде из Переделкина с Вами не простился. Я попросил бы Вас тогда кланяться: Марине Николаевне, С. Д. Спасскому, которому, после страшных несчастий с ним[3], я еще не разу не писал; и В. А. Каверину. Последнему я больше года все пишу в мыслях или собираюсь написать и в конце концов приведу это в исполнение, — это будет для него радостью: вещи все приятные.

Но встречаетесь ли Вы с ними? Можете не передавать поклонов, рано или поздно я их увижу или им напишу.

Всего лучшего. Ваш Б. П.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. Д. Н. Чуковского).

[1] Роман Н. Чуковского «Княжий угол» (1936).

[2] Евгений Пастернак.

[3] Имеется в виду арест его жены С. Г. Спасской-Каплун.

780. И. А. КАШКИНУ

16 ноября 1938, Москва

16. XI. 38

Дорогой Иван Александрович!

Мне давно хочется заняться разговорным английским языком на практике, и я все это откладывал на протяжении многих лет. Теперь я решил им заняться. Помнится, Вы говорили, что знаете такого англичанина. Как мне к нему обратиться?[1] Не сообщите ли Вы мне письменно его адреса, или не направите ли его ко мне по моему: Москва 17, Лаврушинский пер. д. 17/19, кв. 72, тел. № В-1-29-29*.

Летом где-то на даче мне показали новейших английских поэтов в наших переводах, там был один перевод из Суинберна, кажется Ваш, — морской и, наверное, очень хороший, потому что он сразу напомнил мне любимый подлинник[2]. Но может быть, я путаю, — книгу передавали за столом по кругу и я ее держал не больше минуты — тогда простите. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2854, оп. 1, ед. хр. 236).

И. А. Кашкин — историк англо-американской литературы и переводчик.

[1] По-видимому, Кашкин познакомил Пастернака с англичанкой, к которой Пастернак некоторое время ездил заниматься разговорным английским. См. об этом письмо № 799.

[2] В «Антологии новой английской поэзии» (Л., 1937) имеются два перевода И. А. Кашкина из А.-Ч. Суинберна: «Песня времен порядка» и отрывок из большого стих. «У Северного моря». Последнее входит в «морской цикл» Суинберна, из которого Пастернак в 1916 г. взял эпиграф к своей книге «Поверх барьеров». На страницах сб. Суинберна (изд. 1901) он разметил выписками из словаря стих. «In the salt marshes» («В соленых топях») того же «морского» цикла.

---

* Пусть вперед сговорится со мной по тел<ефону>, удобнее всего в половине шестого. (*Прим. Б. Пастернака.*)

781. С. и М. ЧИКОВАНИ

12 января 1939, Москва

12. I. 39

Дорогие мои Симон и Марийка!

Горячо Вас обоих благодарю за телеграмму <...>. Я заключаю, что под Новый год у Вас было хорошее настроение и это главная для меня радость.

Давайте постараемся сохранить его на весь год. Желаю Вам обоим здоровья, возвращения отлучившихся, свидания с ними[1], удачи в работе. С чувством самой нежной дружбы, восхищенья Вашими человеческими чертами и благодарности Вам за них, Симон, обнимаю Вас и Марийку и еще раз от души желаю Вам здоровья и счастья!

Спасибо, спасибо. *Ваш Б. Пастернак*

Как в конце концов тихо, таинственно и хорошо! И все вернутся. Но я страшно быстро старюсь и еще не сообразил, как быть с возрастом. Годы же набегают в таком количестве, что от растерянности я смущаюсь.

Вы знаете, как горжусь я Вами как художником. Но я больше не придаю этой стороне нашего существованья того значенья, что раньше. Среди последних испытаний более редкие черты человеческого характера выступили на первый план, и тут-то — руку, милый Симон, дайте я сожму ее изо всех сил.

Впервые: Материалы ГМГЛ. С. 288. — Автограф (ГМГЛ, № 027149, р.). Печатается по тексту публикации. Купюра публикатора.

[1] Отлучившимися Пастернак называет арестованных друзей: в первую очередь — Тициана Табидзе и Николо Мицишвили.

782. Л. Л. СЛЕЙТЕР

12 января 1939, Москва

12. I. 39

Дорогая Лида!

Спасибо за чудесную фотографию и большое письмо. Еще раньше я получил открытку от папы с просьбой помочь Соне[1]. Сейчас я эту просьбу исполнил. Она и сама ко мне обращалась неоднократно, как и Тася, нуждающаяся, чахоточная и безработная (или, может быть, ничего не умеющая), но мне и самому весь прошлый год было трудновато, а сейчас я отправил обеим триста рублей.

Все, о которых ты спрашиваешь, живы и здоровы, но с тетей Асей сообщенье затруднено, и я о ней ничего не знаю. Спешу объясниться и буду писать совершенно буквально, так что не затрудняй себя поисками фигуральности.

Вы знаете, как она горда, горяча и неумолима. В последний раз я слышал о ней от Оли, приезжавшей полтора года тому назад сюда улаживать неприятности со своей книгой. С тех пор мы ничего друг о друге не слышали, у всех забот было достаточно. Этим летом Ирина (Шурина) ездила в Ленинград и рассказала следующее. Тетя Ася ее не приняла, и через Олю сообщила, что она прокляла меня и Шуру за равнодушие и отсутствие интереса к ним, просит забыть, не являться... и все это сопровождалось рыданьями за дверью и знаками самого неподдельного и неописуемого страданья. От Оли Ирина узнала, что Сашка Конфайнд[2] главное их огорченье, кроме того у нее слабеет зренье, — но кто из нас мог догадаться обо всем этом сам собой?

Узнав об этой анафеме, я пробовал писать Оле, но ответа не получил. Теперь ты полюбопытствуешь, справедливо ли все это? Разумеется нет, но разве в этом дело? Как должно быть больно тете Асе, если страданье доводит ее до такого ослепленья и она судит меня и Шуру так, точно она живет в одно время со всеми, а мы с ним в какие-то Тургеневские времена.

Может быть, я как-нибудь туда съезжу и преодолею и сломлю отказ от дома, а также побываю у Клавдиньки, и тогда напишу о них подробнее. Мейерхольд привлекает меня к работе в Александринке[3], и кажется, я приму предложенье больше всего затем, чтобы повидать родных.

Чтобы дать тебе понятье о тоне, в котором мне хотелось писать прозу позапрошлого года, прилагаю отрывок начала[4]. Настоящим большим людям никакие обстоятельства не мешали быть собою, это видно хотя бы на папе. Я себя к ним никогда не причислял, и если бы моя непринадлежность к ним нуждалась в доказательстве, достаточно сказать, что нет такой глупости, которая не могла бы отвлечь меня и остудить, поколебать мою уверенность и т. д. А и не всегда это глупости.

Короче говоря, вещь, которую я с большим увлеченьем начал писать в Переделкине три года назад, зимой, я откладывал два раза из соображений житейских, и второй раз так основательно, что мне уже к ней трудно будет вернуться, если дела наладятся и это будет мыслимо. А впрочем, там видно будет.

Таких глав у меня 7–8 переписанных, 3–4 вчерне и нуждаются в обработке, несколько — в голове, весь сюжет продуман, и хотя главных трудностей я даже не могу сформулировать, стыдно, что никакого романа нет (одни разговоры); т. е. что он не написан несмотря ни на что[5]. Может быть ошибка, что я тебе посылаю этот кусочек? Но я это делаю, как если бы мама сыграла арию Глюка или варьяции Рамо, — для двухминутной приятности, если это будет тебе приятно, — для медленности и тишины.

Крепко, крепко целую всех твоих и всех наших. Повторяю, — у Шуры, Жени и Стеллы все живы-здоровы. Думаю, также и в Питере и Касимове, но надо справиться. Это правильно, что ты справляешься через меня, чем самой писать в глушь и провинцию.

Обнимаю тебя, твой Боря.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Софья Иосифовна Геникес, племянница Л. О. Пастернака.

[2] Пастернак зашифровал сообщение об аресте А. М. Фрейденберга, употребив слово *Конфайнд*, образованное от шекспировского to confine — в значении: заключать в тюрьму (см. «Гамлет» в переводе Пастернака: «Влиятельных безумцев шлют в тюрьму»; акт III, сц. 2).

[3] *Мейерхольд*, лишенный своего театра, ставил спектакль в Александринском театре, для которого Пастернак должен был сделать новый перевод «Гамлета».

[4] Отрывок из романа «Записки Патрика» («Уезд в тылу») был напечатан в журнале «Огонек», 1939, № 1.

[5] Из упомянутых *7–8 переписанных глав* сохранилось шесть, вся работа над романом погибла в Переделкине во время войны.

783. РОДИТЕЛЯМ

29 апреля 1939, Москва

29. IV. 39

Дорогие мои! Неожиданность за неожиданностью. Вчера после двухгодичного перерыва — письмо от Олюшки, сегодня утром — ваше Жене и Шуре, и днем — мне самому. Так вам нравится Ленечка?[1] Коклюш у него стал, было, проходить и вдруг усилился. Надо бы его на дачу, но мы свою в Переделкине уступили другим и взамен (там же) взяли меньшую, а ее ремонтируют, сбивают полы и красят, вот и препятствия к переезду. Ведь ту, громадную, я взял в расчете на ваш приезд и потом, забывая о первопричине, все удивлялся, к чему такой манеж, непосильный и обширный. Те-

перь будет вдвое меньше, и не в лесу, а у поля, на солнце, для огорода будет лучше.

А наш Ленчик стал ходить и пресмешно. Он привык, чтобы его все за руку держали. А когда открыл, что можно самому, то ему все-таки так страшно расстаться с привычкой, что он либо прижимает кулачки к груди, либо собирает в горсть штаны на животе (чтобы что-нибудь держать) и ходит, качаясь и что-то громко распевая от возбужденья, как пьяный. Кроме того он стал имитировать какие-то взрослые разговоры на основе подслушанных у нас препирательств. Частая, разгоряченная тарабарщина с птичьими вокализмами, страшно смешная. Как и когда-то Женек, он излишне страстно любит меня. Это уже трагедия. Когда я спускаюсь со своего этажа вниз, я уже должен рассчитывать, на прогулке ли он, а то это капкан и слезы, да и я не каменный. Но это, верно, и у вас, и он не исключенье.

У Оли все, насколько можно судить из письма, по-прежнему. Но тетя Ася, оказывается, утрачивала зренье почти до слепоты, и вот ей сделали операцию, и она прозрела и видит!! Вынутый хрусталик заменили искусственным, ты подумай! Нет смысла пересказывать ее письмо, но весь дух его находится в согласьи с наступившею весной и каким-то просветленьем... У ней эти два года были еще какие-то личные драмы[2]. Тут же и прокляли они меня. А теперь, оказывается, и не проклинали. Ну, словом, проклятье кончилось. После двух лет черного беспросветного мрака блеснуло солнце. И так со многими. Видимо, это не относится к Сашке, но письмо ее — полно энергии, драматизма и дышит любовью и экзальтацией. А пишет она так талантливо, что ей нельзя ответить равноценно.

Да, так Ваши письма... Я две ночи не спал, проводя параллели между тем вашим двадцатипятилетьем и нынешним пятидесятилетьем[3]. И разумеется ограничился телеграммой *умышленно*, чтобы не дать расходиться чувствам. Тема слишком громадная и волнующая.

И вот ведь, я не знаю вашего житья-бытья, и точно вижу его перед собою. Я не помню, не писал ли я вам уже этого прошлой осенью, но все вы, несмотря на самостоятельность Лидиного дома, несмотря на прямую, непроизвольную драгоценность вас обоих для меня, — все вы, говорю я, вращаетесь в моем сознаньи вокруг обоих Жониных и Фединых детей, как вокруг центра. Не знаю почему, но мне кажется, что это *их история*, и от мысли, что главные действующие лица — они, сердце у меня сжимается от боли и

жалости, и они мне дороже, чем я сумел бы объяснить это себе или вам. Точно и я как-то к этому причастен, точно, если бы я стал анализировать свое чувство к ним, или его происхожденье, я бы где-то в глубокой дали прошлого, когда сама Жоня была еще Аленушкой или даже Леней, нашел бы Рильке, а потом роман с Марбургом и т. д. и т. д. ... И конечно, папину мюнхенскую академию, и мамина Лешетицкого...[4]

Разумеется, мне страшно хочется повидаться. Но пустят ли меня! Кроме того: как быть с жизнью? Пусть я и *перевожу* только все последние годы, — и в переводах бывает мелочь и крупное. В начале года я взялся за Гамлета, и к началу апреля перевел два с половиной акта (т. е. половину), а весь апрель пришлось заниматься посторонними вещами. Надо бы это доделать. Это для театра. А когда я с этим справлюсь? Ведь я пока набрасываю совершенный черновик. *Но мы увидимся.* Не надо только думать об этом, торопить друг друга и нервировать.

Переводов Шекспира, в частности, Гамлета, наверное, не меньше 15-ти. Несколько сделано и совсем недавно. Я вообще не люблю порицать работы прошлого. А Шекспира у нас, вплоть до последних опытов (Радловой и Лозинского, очень хороших поэтов[5]) переводили так разнообразно, т. е. с разными, взаимно возмещающимися удачами, что в новых переводах, особенно Гамлета, *никакой надобности нет.*

Но если из снобизма или еще почему либо, ко мне настойчиво обращаются с таким предложеньем, то отчего мне не воспользоваться этим театральным капризом даже без надежды сравняться с предшественниками. Ибо это дает оправданье для отлучки в Шекспира и погруженья в него. А пребыванье в нем, т. е. замедленное чтенье, само по себе ни с чем не сравнимая драгоценность. Ах Шекспир, Шекспир! Даже в переводах! Что же сказать об оригинале! Но кому я это говорю? Вы-то все это лучше нашего знали. А места, ставшие поговорками и слышанные всеми в детстве в старых переводах, — и мною например, от папы, как звучат они в ушах и кажущейся естественностью сопротивляются какой бы то ни было замене!..

Укоренившееся ваше молчанье, особенно девочек, уже стало пугать меня. И как раз в тот день, когда я решил запросить телеграммой о вашем здоровьи, я встретил Пав<ла> Дав<ыдовича> в театре на возобновленной Норе (с Гиацинтовой[6]), и он сообщил мне свои свежие вести о вас.

Значит, ты еще пишешь, папа? Что за молодец! И какой у тебя ровный почерк!

Итак, пока до свиданья, дорогие мои. Крепко-крепко целую маму.

Если я скажу вам, чтобы вы не писали так много Женичке или Шуре или мне, вы обязательно будете искать в этом какой-нибудь цензурной иносказательности или чего-нибудь в этом роде. Но клянусь вам Лениным здоровьем, что я говорю это без всякой задней мысли, как десять и пятнадцать лет тому назад, и как говорил всегда: мне просто больно от сознанья, что вы так много в это вкладываете души и мы так мало этого стоим. Читаешь, перечитываешь и не знаешь, чем на все это ответить?

Так до свиданья же, и чур: жить в здоровьи и терпеливой вере, и друг друга не волновать, а там видно будет, с Гамлетом или без Гамлета. Главное, — спокойно. Ах, как страшно, что тогда я был слегка свихнувшись[7]. *Ваш Боря*

P. S. Но без писем не оставляйте.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] В марте, посылая родителям фотографию Ленечки, Пастернак писал: «От Ленечки ушла няня. На прощанье она с ним снялась (она и сама немногим старше Женёчка, ей 17 лет) и одну из карточек подарила нам. Пользуюсь случаем показать его вам. По-моему у него наша семейная мурластость. Часто он мне напоминает то папу, то Жоничку (в его возрасте). Кроме того у него привычка вертеть ухо (как у мамы) и складывать пальчики правой руки в триперстие, точно для благословенья, как по рассказам папы, делал в его возрасте я. Так вышли они у него и на фотографии. Все на нем, кроме ботинок, Зининой работы» (там же. Кн. II. С. 196).

[2] Гибель И. Г. Франк-Каменецкого под колесами грузовика.

[3] Родители отмечали 27 февр. 1939 г. свою золотую свадьбу. Борис писал: «Тогда к дню свадьбы наших я начал было письмо, но почувствовал, что ему конца не будет. И правда, я как перед глазами увидал их двадцатипятилетье (14-го февраля 1914 г.), и пошли воспоминанья и соображенья. И я намеренно ограничился телеграммой. Но пусть кто-нибудь из вас, т. е. ты или Жоня, опишете нам, как прошел этот день и как провели его папа и мама». Текст телеграммы: «В восторге от великолепной пятидесятилетней совместной жизни, восхищен, праздную, поздравляю вас, наших дорогих, любимейших. Желаю вам здоровья, счастья, долголетия от всех нас = *Борис*» (перевод с англ. — Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам. М., НЛО, 2004. С. 717). Это событие было скромно отмечено серым дождливым днем в кругу семьи в маленькой квартирке в Лондоне. Навестить стариков пришли только булочник, прислуга и соседка с маленькими букетиками. Внуки Чарли и Аленушка, одетые принцем и принцессой, были самым светлым впечатлением довольно грустного в целом дня. Воспоминания невольно уносились в Москву 1914 года, когда празднично убранная квартира на Волхонке наполнялась гостями и

поздравлениями. Утро того дня было запечатлено на знаменитой картине «Поздравление», где изображены все четверо их детей, пришедших с подарками в руках приветствовать родителей.

[4] То есть 1880-е годы жизни родителей, время их обучения: отца — в Мюнхенской академии, матери — в Вене у профессора И. Лешетицкого.

[5] Перевод М. Л. Лозинского был опубликован в 1933 г., А. Д. Радловой — в 1937 г.

[6] В Театре рабочей молодежи, где в спектакле по пьесе Г. Ибсена *«Нора»* главную роль исполняла С. В. Гиацинтова, дочь бывшего инспектора Училища живописи В. Е. Гиацинтова.

[7] Имеется в виду несостоявшееся свидание летом 1935 г.

784. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

20 мая 1939, Переделкино

20. V. 39

Дорогой Викентий Викентьевич!

Моему свинству нет оправданья, и Вы совершенно правы, давая мне это понять приложеньем марок для ответа[1].

Лестным своим порученьем Вы поставили меня тогда в глупейшее положенье[2]: с просьбой об отзывах должен был бы обращаться к Вам я, а не наоборот, и если я ничем этого не доказал, то только оттого, что помимо глубокого моего уваженья лично к Вам, меня всегда останавливали представленья об общем ходе нынешней жизни и досугах каждого из нас.

Безусловное преимущество Вашего сужденья сказалось бы особенно в Добролюбовском случае, в виду философского фрагментаризма его стихотворений, в каком-то отношении напоминающих досократовскую Грецию и Гёте, два мира, которым посвящали Вы свои вдохновенья[3].

Именно это я и говорил Вам в тот раз по телефону, когда к сожаленью слова мои относило в сторону или не доносило до Вас.

В стихах Добролюбова (и на современный слух) остается ценным то, чем он дорожит больше всего и к выраженью чего возвращается с учащенным упорством: понятье силы (непротяженного движенья), философскую первичность которого он чувствует с большой глубиной и умеет сделать доступной ощущенью. Без любви к природе и какой-то своей натурфилософии не бывает творчества, а тут эта скрытая вера всякого воображенья становится исключительным предметом особой одержимости и фанатизма, мыслящего, хотя и исступленно, но без ошибок. Идея

«незримой бури», заключенной в покое цветенья[4], это ведь не только образ, но и утвержденье, в отношении органической жизни бесспорное, т. е., это образ *действительного* образа. В этом смысле одухотворенность Добролюбовских стихов не попутное какое-нибудь их качество, но *существенная* сторона их строя и действия, и *лишь как явление духа* затрагивают они поэзию, а не прямее, как бывает с непосредственными порожденьями последней.

Больше других мне понравились номера 3, 4, 6 и места в «Ленинграде»[5].

Крепко жму Вашу руку и страшно, страшно жалею, что был занят и не мог попасть на Илиаду[6].

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения. Вып. 1. М., «Наследие», 1992. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1041, оп. 4, ед. хр. 338).

[1] Письмо В. В. Вересаева 17 мая 1939 : «Уважаемый Борис Леонидович! Месяца три назад И. А. Новиков передал Вам для просмотра стихи Ал. Добролюбова. Очень прошу Вас возвратить их мне обратно. Чтоб Вас не затруднять, прилагаю конверт. С приветом *В. Вересаев*».

[2] В. В. Вересаев обратился с просьбой к Пастернаку высказать свое мнение по поводу нескольких стихотворений поэта начала XX в. Александра Добролюбова, которые он, вероятно, хотел напечатать.

[3] Вересаев много занимался переводами древнегреческой литературы; в альм. «Писатели — Крыму» (М., 1928) рядом со стих. Пастернака «Прощание с романтикой» («Двадцать строф с предисловием») были напечатаны «Гомеровы гимны» и отрывки из Гесиода, отдельными книгами выходившие в 1926 и 1927 гг. Переводы Вересаева стих. Гёте публиковались в выходившем под его редакцией альм. «Наши дни» (1922, № 1; там же впервые напечатано «Детство Люверс» Пастернака) и в еженедельнике «Московский понедельник» (12 июня 1922), в котором печатался и Пастернак.

[4] Имеются в виду образы первого стих. Добролюбова из цикла «Яблонь в цвету»: «Как буря, блистает весенний убор, / Красота все миры озарила, / Из точек нежнейших тончайший узор, / В нем блещет могущества сила».

[5] Пастернаку была послана машин. цикла из 5 стихотворных и прозаических отрывков «Яблонь в цвету» и прозаический отрывок «На улицах Ленинграда». Пастернак отметил: № 3 — «Я хочу быть точным почти фотографически...», 4 — «Цветок» и 6 — «Итак, мы подходим к настоящему морю сил...».

[6] Имеется в виду чтение Вересаевым своего перевода «Илиады» Гомера.

785. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

15 июля 1939, Переделкино

15. VII. 39

Дорогой папа!

Ну как Жоня и Федя? Собираются ли они в Америку?[1]

Вот уже две недели, что я на даче. Я уже писал тебе, что в том же Переделкине, местности, занятой дачами писателей, я взамен своей прежней, слишком большой и находившейся в лесу, перешел в другую, меньшую по размерам и солнечную, выходящую на поле[2].

Переезд совершался без меня. Полтора месяца Зина своими руками и силами обживала и устраивала дом и ходила за огородом, таким большим, что нам едва с ним справиться.

Здесь чудесно. Мне с первого дня хотелось написать тебе. Очень больно, что ты не можешь этого видеть. Я боюсь, что мой восторженный тон огорчит тебя: не тем, чтобы сознанье моего счастья могло тебя опечалить, — такая глупость немыслима: но может быть ты подумаешь: вот он успокоился; чтобы рваться вдаль, надо быть чем-нибудь недовольным; едва ли нужны мы ему: от добра добра не ищут. И вы решите, что к мысли о поездке к вам я охладел.

Но одно к другому никакого отношенья не имеет. Скорее наоборот. Чем лучше моя жизнь, тем сильнее желанье быть с вами и разделять ее[3].

Но всерьез, без всяких преувеличений и натяжек: это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности, это именно то, что даже и со стороны, при наблюдении у других, настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости, в березовом лесу с садами и деревянными домами с мезонинами в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это, овеянное какой-то неземной и *завидной* прелестью поселенье. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в этот виденный из большой дали, мягкий, многоговорящий колорит.

Замечательно (и большое счастье), что это не собственность. Но в аренде или найме я завишу от организации, ведающей дачами, не больше, чем зависел ты от Художественного Общества или Училища Живописи[4]. Я хочу сказать, что коллектив, которому я матерьяльно подчинен, действительно, не в идее, по семейному

близок и часто даже ближе родства, как, наверное, временами, могли быть интимно родственнее тебе чем тетя Роза или Индидя[5], — Н. Н. Ге или Серов. Месячную плату за пользованье домом (тут тоже, величиной в твою мастерскую, двусветный кабинет, giebelartig* во втором этаже, с тройными рядами окон во всю стену с обеих сторон, представляешь себе), месячную плату за дачу я просрочил более, чем на год, и мне даже не напоминают. Но ты не беспокойся, осенью у меня будет возможность погасить все, такого рода, задолженности.

Нынешние мои соседи, мои лучшие, вообще, друзья. Я назову их, потому что у них есть имя за границей, и если не вы, то девочки, если они следили за советской литературой, хотя бы по переводам, могли слышать их имена. Это К. Федин и Всеволод Иванов. Второй стихийно-талантливее многих, первый, при таланте, — всех благороднее и культурней. Кстати, он — директор Литературного Фонда, учрежденья, заботящегося об имущественной стороне существованья литераторов. Он, так сказать управитель Переделкина, дома в Лаврушинском и множества санаторий, в одной из которых, в Крыму, находятся сейчас Женя с Женичкой. Но начальственность его чувствуется не больше, чем какой-нибудь ректорат проф. С. Н. Трубецкого в университете. Это все очень свое, и без аффектаций. — Мне пришло в голову прислать вам (т. е. Жоне) одну его повесть. Во время войны он оказался в Германии и был интернирован в качестве военнопленного. Так вот, повесть об этом[6].

Письмо без конца. Я еду сейчас в город. Прощаюсь впопыхах. На днях напишу толковей и законченней. Крепко вас обнимаю. *Боря*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Л. О. Пастернак 9 мая 1939 писал сыну о решении Федора Карловича и Жозефины переехать в Америку, где они получат гражданские права и возможность работы: «Ты можешь себе представить, что за этими тремя словами — какое содержание» (там же. Кн. II. С. 200).

[2] Дача на краю поля стала пристанищем Пастернака на все последующие годы. Там он скончался 30 мая 1960 г., и этот дом стал его мемориальным музеем.

[3] В письме 12 июня 1939 Пастернак писал отцу: «Думать о том, чтобы получить позволенье повидать тебя на общих основаньях, без примененья

* в виде мансарды под острой крышей (*нем.*).

чрезвычайных просьб и усилий, кажется, пока немыслимо. Вот почему исполненье этой мечты, от которой я не отказываюсь и не могу отказаться, надо временно отложить. На какой срок, — естественно спросишь ты. Можно было бы ответить просто: на тот срок, когда я решусь прибегнуть к таким экстраординарным ходатайствам» (там же. Кн. II. С. 202). Отказ на просьбу о поездке к родителям *на общих основаньях* требовал личного обращения к Сталину. Замена в это время Ежова на Берию позволяла надеяться на конец террора и некоторую либерализацию.

[4] Л. О. Пастернак жил в казенной квартире, предоставлявшейся ему Училищем живописи как преподавателю.

[5] Сестра и брат Леонида Осиповича: Р. О. Шапиро и А. О. Пастернак.

[6] Имеется в виду автобиографическая повесть К. А. Федина «Я был актером» (Л., 1937).

786. Л. Л. и Л. О. ПАСТЕРНАКАМ

10 октября 1939, Переделкино

Дорогие, дорогие мои!

Это — первое письмо, что я — по разным причинам, — в состояньи написать вам после смерти мамочки[1]. Она перевернула, опустошила и обесценила мою жизнь и разом, точно потянув за собой, приблизила к могиле. Сейчас я не могу рассказать о горьких странностях, которые стали твориться со мной и вокруг меня вслед за этим ударом[2].

Он меня в час состарил. Налет недоброты и хаотичности лег на все мое существованье, меня не оставляет рассеянная пришибленность и одуренье от горя, удивленья, усталости и обиды. Это мой траур, которого у нас не носят, и мои извещенья, которых у нас не дают. Все валится у меня из рук, и я ловлю себя на том, что забываясь, кажусь себе папочкой, вскрикиваю и плачу, и чувством этого мнимого сходства притупляю остроту нашего непосильного нестерпимого разъединенья.

Дай Бог мира и счастья вам всем, вашим детям, домам и домашним. Не знаю, как благодарить тебя, — руки тебе целую за твою память, дорогая драгоценная Лида, чудная сестра моя, — я знаю, чего должно было тебе стоить в те часы вспомнить нас и написать сквозь это море слез[3].

Когда-нибудь, когда мы увидимся — (но что я говорю? нет мамы, которая была и есть все вы, все мы)...

Ну, прощайте. Живите, поддерживайте друг во друге жизнь, берегите папу, — милый, родной, мой замечательный отец, гордость моя и зависть навсегда, через годы и годы этой дикой

бездонной разлуки, вечный пример мой, творческий, упоенный, несокрушимый...

Живите, живите, ибо, кто знает, счастье встречи может все-таки будет ниспослано нам.

Ваш Боря

Конечно все кругом, в особенности же Шура и Женя просили написать о них и слить выраженья их безутешности с вашими и моими. Только крайней затрудненностью переписки объясняется молчанье даже в таких исключительных случаях утраты самых близких. Тут надо бы сидеть и вспоминать отдаленнейшие и драгоценнейшие мелочи из мамочкиной жизни и ими делиться, а ты сведен к самым общим местам общепонятным и никому не нужным, оскорбительным и холодным.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по штемпелю на конверте.

[1] Р. И. Пастернак скончалась 23 августа 1939 г. от кровоизлияния в мозг.

[2] Среди этих «горьких странностей» был, в частности, арест Ариадны Сергеевны Эфрон 27 августа 1939 г.

[3] Открытку Лидии 25 авг. 1939 о смерти матери Пастернак всегда носил с собой вместе с письмом от Рильке, как «самое дорогое», как он надписал этот конверт. «Вчера мы ее хоронили (крематорий) — Боже мой, как это можно быть в состоянии писать это — бедные, родные мои вы тоже — но мы тут, где каждый предмет и каждая минута дня пропитана ею насквозь — бедный, бедный папочка!» (там же. Кн. II. С. 209).

787. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

14 октября 1939, Переделкино

14. IX. 39*

Дорогой папа!

Вчера, на другой день после отправки моего письма к вам, пришла твоя открытка. Страшно сказать, но я обезумел от радости, увидав ее, так мало рассчитывал я на полученье вестей от вас в будущем и такой непосильной новостью оказалось для меня существованье без мамы. Меня не оставляло ощущенье бездомности, остановившегося времени и конца, как в холода, непроглядно черными осенними вечерами, и в эту атмосферу явилась твоя

* Авторская ошибка датировки.

открытка, напомнившая мне, что ты еще есть и как пряма, тверда и мужественна твоя рука, твой почерк.

Конечно, достаточно было одной смерти мамы, — и это не нуждается в анализе, — чтобы подкосить меня. Но эта весть упала еще и на подготовленную почву.

Я смертельно устал от жизни, от ее трескучей и торжествующей глупости, от ее хвастливых видимостей, считающихся очевидностями, от ее ненасытности.

Уже в позавчерашнем письме я писал, что должно пройти некоторое время, пока я свыкнусь с этим страшным просчетом своих надежд (я ведь так верил в свиданье с мамой), и определится новое, грустная глава нашей повести, — глава без мамы. Когда я с ней освоюсь, можно будет легче и больше писать.

Я тебе посылаю летнюю карточку Ленички. Когда надо мной поседело небо и во все концы простерлись пустота и беззвучье несуществованья, он (при Шуре, Жене и других, не говоря уже о его собственной матери и всех членах домашней каждодневности) — он был единственным звуком среди этого бреда, единственной связью со святостью и благородством жизни, единственным, что я подхватил на руки, с чем ходил и что обливал слезами.

Мне всегда казалось, что он чем-то в тебя. Прокофьева, видевшая его летом и которая знает и помнит тебя, нашла, что у него твоя верхняя часть лица, а низ материнский (Зинин). Поворот головы, по-моему совершенно твой.

Он очень льнет ко мне, любит тишину и порядок и при его привязанности на нем непроизвольно изображаются, оттискиваются и врезаются черты моей старости — созерцательность, молчаливость и мрачность. На этой карточке ему полтора года.

Еще раз спасибо за оздоровленье, исходящее от твоей открытки. Я так бы не писал, не будь ее передо мною на столе. Пока довольно.

Всех вас крепко-крепко целую. Если у Лиды есть лишний оттиск книги Pr. Slater'a (о Шекспире[1]) и это не трудно, пусть пришлет, мне это было бы интересно. Но это совершенно не обязательно.

Когда я сел писать тебе, я имел в виду что-то другое и забыл. Так теперь случается все чаще и чаще.

Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Gilbert Slater. Seven Shakespeare's. Oxford, 1937 (Гилберт Слейтер. Семь Шекспиров). Но в следующем письме 4 нояб. 1939 Пастернак понял определенную опасность такой посылки для обеих сторон: «Я сдуру Лиде что-то про брошюру Slater'a о Шекспире написал, но пусть она ничего не посылает. Ей-богу не знаю, как это теперь производится. Еще наживешь хлопот» (там же. Кн. II. С. 212).

788. Н. ТАБИДЗЕ

Октябрь 1939, Переделкино

Дорогая моя Нина!

До сих пор не поблагодарил Вас за Ваше тогдашнее письмо. Чудный Вы друг, как Вы все знаете и понимаете, несмотря на то, что громадность Вашего горя дает Вам право забыть обо всем на свете и ко всем ожесточиться. Не удивляйтесь, что с Г<енрихом> Г<уставовичем> я не передал даже поклона Вам и Ните: мне подумалось, что он человек слишком жизнерадостный, легкомысленный и непостоянный для такого порученья[1].

Не горюйте, Нина, не падайте духом и держите себя в руках. Он ведь выйдет, и, верится мне, даже довольно скоро.

Вас может быть удивляет, как это я еще палец о палец не ударил для изменения его участи. Но до недавнего времени это было совсем немыслимо. Когда сюда приезжали Ваши награжденные[2] и я с ними советовался на этот счет, они считали, что я только бы напортил ему, если бы стал просить о нем. Вероятно, они правы. Вчера я нарочно был у Фадеева. Я сказал ему, что хочу хлопотать за Тициана, что по-моему пора. И как он мне посоветует за это взяться. Не огорчайтесь, золото мое и друг мой, в ответ на мои слова он повторил ту рядовую чепуху, которую принято говорить об этом деле и тысяче других и им подобных, и я молча ее выслушал и ушел. Я понял, что пока здешним милостивцем является то самое лицо, которое там их создавало, думать о каких-нибудь шагах отсюда преждевременно[3]. Это случится как-нибудь само собой и по-другому.

Между прочим, Фадеев сказал, что там вводятся какие-то порядки, при которых заключенным дается возможность *исправиться* и т. д. и я тоже слушал это молча и даже со смиренной благодарностью: дай Бог, чтобы Тициану создали условия, благоприятные для *исправленья*, хотя никому, конечно, неизвестно, от чего ему исправляться, и куда и зачем становиться ему лучше того, что он есть сам. Нина, родная, наберитесь терпенья. Все последнее

время я на каждом шагу испытываю чувство все развивающегося облегченья, улучшенья, освобожденья, а своей жизни от Вашей я отделить не в силах. Следовательно это относится и к Вам.

Целую Вас и Ниту. Желаю Ните счастья и радости.

Ваш Боря

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 12)

[1] Г. Г. Нейгауз уезжал в Тбилиси с концертами, но заходить к жене арестованного было достаточно рискованно по тем временам, и Пастернак не решился его об этом просить. Но, как видно из письма 11 нояб. 1939, Нейгауз все-таки навестил ее. После его возвращения Пастернак писал Н. Табидзе: «Теперь я знаю от него, что могу Вам писать, и буду часто пользоваться этим правом. Он от Вас в восхищеньи и много рассказывал о Вас» («Дружба народов», 1996, № 7. С. 186).

[2] Большое количество членов Союза писателей было награждено орденами. За получением наград из Тбилиси приехала группа грузинских писателей.

[3] *Милостивцем* Пастернак называет Берию, сменившего на своем посту Ежова и выпустившего на свободу один этаж Бутырской тюрьмы.

789. Н. ТАБИДЗЕ

Начало декабря 1939, Москва

Дорогая Нина!

Простите, что пишу Вам. Вас, наверное, не надо тревожить. Недавно, совсем недавно до меня дошел слух, будто Тициана нет в живых. Можете понять, что со мной сделалось. Но несколько часов тому назад мне сказали, что это предположенье ложно и имеются доказательства противного. Я вернулся домой шатаясь от радости, и пока пишу Вам, эта вера переходит в уверенность. Но удостоверьте ее. Скажите мне, что он живет, протелеграфируйте или напишите.

Нина, Нина, вот что мне надо от Вас! Чтобы во всех обстоятельствах, какие бы ни послало нам небо, Вы знали и помнили, что весь я и вся моя жизнь и разуменье принадлежат Вам и Ните, и ими располагали. В те три несчастных дня, что я старался поверить страшному слуху, я узнал, что это было бы для меня не только беспредельным горем, но и такой переменой во всей моей жизни, после которой ни одна из ее радостей не стала бы мне мила, потому что их не с кем было бы разделить. Я любил мысль, что живу для него, а он для меня, и если бы это случилось, все буду-

щее бы обессмыслилось. Нина, я не знаю, что пишу Вам. Но надежда не оставляет меня. *Ваш Боря*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 13).

790. Н. ТАБИДЗЕ

14 декабря 1939, Москва

14. XII. 39

Дорогая, дорогая, дорогая Нина!

Какая Вы умница и прелесть! Как чудно Вы мне ответили, и каким большим надо быть человеком, чтобы так ответить! Вижу Ваше огромное, замечательное сердце, восхищаюсь и плачу.

Но какую кучу радостей узнал я еще! Можете себе представить, с каким нетерпеньем буду дожидаться этого лета я сам. Какие головокружительные новости![1] Вы, Ваши хлопоты, будущее Ниты, — знаете ли Вы, какой кровный кусок моей собственной жизни все это составляет! Кстати, — между прочим, — вот тебе и капитан! Бедный П<аоло>. Куда он ее прочил, а она поплывет по совсем другому морю![2] В добрый час! Как верится мне во *все* Ваши удачи. Как ярко я вдруг все это увидал, — без права, потому что не знаю, доживу ли до этого счастья я сам[3].

А ведь я и сам хотел посоветоваться с Вами в письме, не написать ли мне Б<ерии>, но теперь дождусь Вас, — как это все совпало. Милый, лучший и самый большой мой друг (сравнимый только с еще бóльшим общим нашим другом), единственный друг мой, Нина, спасибо Вам за счастье, которое Вы мне доставили своей запиской. Когда Вы приедете и будете с нами жить, Вы увидите и поймете, насколько глубже, чем это известно и Вам, нужно мне все это, как недостает мне Вас и всего Вашего, как это опустошило и мое существованье.

Целую Ваши руки и Ниту: страшно рад, что она пойдет по историко-филологическому факультету.

Ваш Боря

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 7).

[1] Имеются в виду новости о Тициане и намерение Нины Табидзе приехать в Москву с хлопотами о нем.

[2] Речь идет о стих. Паоло Яшвили, посвященном дочери Т. Табидзе, «Нита-капитан».

[3] В это время шел процесс по делу Мейерхольда, арестованного летом. Пастернаку стало известно, что в судебных показаниях часто называется его имя.

791. Н. ТАБИДЗЕ

28 декабря 1939, Москва

28. XII. 39

Дорогая Нина, письмо пробудет в пути так долго, что заранее позвольте поздравить Вас и Ниту с Новым годом и сообща пожелать друг другу исполненья общей и заветнейшей нашей мечты. Целую Вас обеих.

Нина, для удобства Вашей знакомой[1] и Вашего собственного я хотел половину отправить через Ираклия, но не могу найти его адреса, и потому, простите[2]. Здесь страшные морозы, но мы здоровы и благополучны, чего и Вам желаем.

Ваш Боря

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 5).

[1] После ареста Тициана Табидзе Пастернак взял на себя обязанность материально поддерживать его жену и дочь. Первое время деньги ради безопасности участников передачи посылались на адрес Мирзоевой, приятельницы и соседки Нины, Пастернак называл это «своим долгом». «Дорогая Нина! — писал он 26 ноября 1939. — Может быть скоро у меня будет возможность вернуть Вам следующую часть долга, вроде прежней. Я знаю, что это Вам не нужно, и Вы будете сопротивляться, но это нужно мне».

[2] В конце ноября в Тифлис собирались Андрониковы, Пастернак послал с ними какую-то сумму.

792. В. Л. ЮРЕНЕВОЙ

1939, Москва

Дорогая Вера Леонидовна!

Кронеберг очень хорош, я сейчас прочел его[1]. Мои изменения (транскрипция и ударенье собственных имен, «вы» по адресу Макбета и пр.) спорны и необязательны. Выбирайте что хотите и как хотите комбинируйте. Дайте, пожалуйста, переписать отрывок, — у меня ничего не осталось[2].

Сердечный привет.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2371, оп. 1, ед. хр. 397).

[1] Имеется в виду перевод трагедии Шекспира «Макбет», сделанный А. И. Кронебергом.

[2] По просьбе актрисы В. Л. Юреневой, Пастернак перевел для ее вечера отрывок из «Макбета», передав ей автограф.

793. Н. ТАБИДЗЕ

5 февраля 1940, Москва

5. II. 40

Дорогая Нина. Простите, что не писал Вам: *только вчера* узнал от Вивы, что она приехала, и получил Ваше письмо [1]. Мне больно, что Вы не замечаете, как много Вы значите, и как много умеете сказать, и чего-то от себя требуете. Я должен был бы пожертвовать жизнью во имя лучших наших дней и нашего общего счастья, и Вас, милый мой друг. Вот какой мерой надо мерить те незначительные, сдержанные и эгоистические пустяки, которые я еще себе позволяю и без которых бы задохнулся.

Одно радостно: я думаю, Вы знаете, как я люблю Вас, — простите, что пишу об этом в открытке. Знайте, Нина, я так этого не оставлю, и скоро, как только освобожусь немного, соединю свои усилия с Вашими для Т<ициана>. Скоро я напишу Вам.

Целую Вас и Ниту. От Зины поклон. *Ваш Боря*

Спасибо громадное Вам за письмо, я в долгу у Вас.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 19).

[1] Вивиана Абелевна Андроникова (Робинзон), жена И. Л. Андроникова.

794. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

14 февраля 1940, Москва

14. II. 40. Дорогая Оля!

Я тебе задолжал письмо с того самого дня, как ты меня пожалела в моем горе[1]. Спасибо тебе.

Живы ли вы обе и что с вами? Я знаю, что у вас грабежи и потемки, и беспокоюсь о вас.

Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий: я должен был перевести «Гамлета» для Александринки, ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его «Маскарад», и все откладывал.

Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали[2].

Все это неописуемо, все это близко коснулось меня.

Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. Под влиянием этого страха я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. Папа с девочками и их семьями в Оксфорде[3], — ты знаешь. На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в Художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович-Данченко, 84-летний viveur* в гетрах со стриженой бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. «C'est pas grand-chose» **. Но каким счастьем и спасеньем была работа над ним! Впрочем, что убеждать тебя: это *ты* писала об «Укрощеньи...»[4]. Высшее, ни с чем не сравнимое наслажденье читать вслух без купюр хотя бы половину. Три часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком: чем-то небессловесным, независимым, горячим, три часа находишься в сферах, знакомых по рожденью и первой половине жизни, а потом в изнеможенье от потраченной энергии падаешь неведомо куда, «возвращаешься к действительности».

Однако что расписывать? Напиши, пожалуйста, мне, как ты и тетя. Мыслимо ли *технически* теперь приехать к вам на сутки, на двое, только к вам и только повидаться. Если это возможно, я приеду, когда будут деньги. Напиши мне, пожалуйста, но без принужденья, когда у тебя будет время. Обязательно напиши, что слышно о Саше; об этом можно писать.

Обнимаю вас. Ваш Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Речь идет о письме А. О. и О. М. Фрейденберг с выражением сочувствия по поводу смерти матери.

[2] В. Э. Мейерхольд был арестован 18 июня, его жена зверски убита 15 июля 1939 г.

[3] На следующий день после похорон Лидия Слейтер перевезла отца в Оксфорд. Там же неподалеку вскоре поселилась Жозефина с семьей.

[4] Работа О. М. Фрейденберг «Три сюжета или семантика одного», где дается разбор комедии Шекспира «Укрощение строптивой».

---

* жизнелюб (*фр.*).

** «Это не так важно» *(фр.)*.

795. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

14 февраля 1940, Москва

14. II. 40. Дорогой мой папа!

Все твои открытки, и последнюю, поздравительную, своевременно получил. Хотя я откладывал ответ не без причины, и даже с основательною, все же удивительная низость, что я до сих пор не ответил тебе.

Во-первых, горячо тебя благодарю за описанье последнего дня (т. е. последнего, проведенного в сознании) мамочки. К тому времени, когда я получил его (открытки пришли почти все сразу), я уже победил с помощью работы первую, разрушительную силу огорченья, и со слезами печали, но без смертоносной пустоты, прочел его. Также и с твоей стороны в эти строки, помимо боли, вложено столько сосредоточенной зрительной силы, что прочитав их, я все это увидел, и мысленно прожил этот день вместе с вами.

Я давно хотел писать тебе, но с каким-то суеверным чувством, естественным в наше время, все боялся, как бы какая-нибудь роковая случайность не помешала мне довести перевод Гамлета до конца.

Когда-нибудь, если мы будем живы и общий мир сведет нас воедино, я расскажу тебе, каких неописуемых несчастий я оказывался близким свидетелем, сверх всего, ранее пережитого, тем временем, как подвигалась эта работа.

Если не говорить о ее возникновеньи, можно сказать, что я переводил свободно, не связанный контрактами, ни для какого театра перевода не предназначая. В ноябре работой, готовою только наполовину, стали интересоваться в Художественном театре, где Гамлет предполагался к постановке в одном из новых переводов, и был уже заключен договор с переводчицей[1].

И вот об этом дне, когда я читал его дирекции и Немировичу-Данченко, я хотел написать тебе. Во-первых, он припомнил вашу последнюю встречу до мелочей, но так как с точки зренья *его* возраста наши (мой и твой) приблизительно безразличны, то он произвел тебя из отцов в братья мне, и все время говорил о тебе, твоих картинах и предполагавшейся выставке в этом духе, пока я не сказал ему, что я твой сын, а не брат, как ни стар я уже и годами и с виду.

Но не в этом дело. Надо было поглядеть на этого 84-летнего шалуна в ботинках с гетрами, с кругло подстриженной бородой и

лицом без единой морщинки, как взбегал он наискось по лестнице в репетиционный зал, где происходило чтенье, как сидел и слушал с 2-х часов дня почти что до 7-ми, с перерывом на завтрак, как завтракал, — почти что без всякой диеты и, по-видимому, без необходимости в отдыхе, уже обязательном после обеда для меня, как слушал и рассуждал дальше! Я без всякой лести по его адресу мог пожелать себе быть таким, как он сейчас, через пять лет.

Перевод понравился, но я долго еще не знал (потому что не расспрашивал и не заводил «наводящих» разговоров), к чему это поведет практически. Потом мне позвонили, что театр принял его к постановке и просили закончить работу в том же стиле к такому-то и такому-то сроку. Режиссировать должен был сначала Леонидов, но Немирович-Данченко у него перебил и будет ставить сам.

Для меня этот труд был совершенным спасением: от многих вещей, особенно от маминой смерти, — остального ты не знаешь и долго было бы рассказывать, — я бы без этого сошел с ума. Я добился цели, которую себе поставил: я перевел мысли, положенья, страницы и сцены подлинника, а не отдельные слова и строчки. Перевод предельно прост, плавен, понятен с первого слушанья и естественен. В период фальшивой реторической пышности очень велика потребность в прямом, горячем, независимом слове, и я невольно подчинялся ей. Сейчас это нравится, а потом с достаточным правом будут говорить, что я упростил текст, снизив его метафоризм и праздничность, — предмет Толстовских нападок.

Благодарю тебя за поздравленье с рожденьем. Оно тоже отчасти задало мне хлопот. Я случайно узнал, что Союз писателей собирался устроить мне какое-то чествованье[2]. Не думаю, чтобы я отклонил что-нибудь, по торжественности равное Триумфальным воротам, и вряд ли лишил себя очень многого, но факт тот, что мне сильно этого не хотелось, и все-таки стоило некоторого труда добиться отмены этого.

На это тоже потребовалось время, и как раз в те дни, когда кончался льготный театральный срок для Гамлета и приближалась моя дата.

Свой день рожденья (в смысле примет) я провел необычайно и вне дома. Я удрал из дому в Камергерский с рукописями и весь день провел в директорском кабинете, дописав, наконец, к вечеру, что мне было нужно, тут же в театре, а вечером пошел на Шопеновский вечер пианиста Софроницкого, женатого на той Ляле Скрябиной (дочери Веры Ивановны), которая была одной из крошек на даче в Оболенском, и т. д. и т. д.[3]

Приближается Жонино рожденье, поздравляю тебя, ее и всех вас. Прости, что пишу тебе такие глупости, но никакими письмами свиданья не заменить.

Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Договор МХАТа с А. Д. Радловой был расторгнут 5 нояб. 1939 г., а 27-го заключен с Пастернаком.

[2] Год назад Пастернак принимал участие в аналогичном чествовании по случаю 50-летия Н. Н. Асеева, устроенном Союзом писателей.

[3] Елена Александровна Скрябина-Софроницкая, дочь композитора от первого брака с В. И. Исакович. Начало знакомства с нею было в 1903 г. на даче в Оболенском.

796. М. Л. ЛОЗИНСКОМУ

1 марта 1940, Москва

1. III. 40

Дорогой Михаил Леонидович!

Я глубоко, против воли и наперекор природе виноват перед Вами. Но теперь к первой моей вине присоединилась другая: уже и покаянное, извинительное мое письмо, которое я Вам мысленно пишу третий месяц, так запоздало, что, наверное, самое обращение мое к Вам вызовет у Вас смех и лучше бы теперь совсем не писать.

Скажу все сразу, тем более, что в каждом моем слове заключена радость для Вас. Когда Вы сделали мне честь замечательным своим подарком, присылкою Ада [1], я уже был несвободен в отношении Вас, уже знал, что один из имеющихся новых «Гамлетов» — Вашей работы, и за писаньем собственного черновика выдерживал себя в намеренном неведении насчет последнего, как и относительно всех остальных переводов. В этом состоянии было сложно (или так казалось мне тогда) писать Вам.

Потом наступил другой период. За отделкою и перепиской я обложил себя ими всеми, чтобы принять в расчет все сделанное.

Вы, наверное, знаете, что перевод был предпринят не по моему собственному почину. Побужденье исходило от театров, между прочим от Мейерхольда. Я всегда отсылал к существующим переводам, из которых знал какой-то из старых, видимо Кронеберговский, а может быть, и К. Р.[2], т. е. что-то среднее, видоизменившееся в своей забытости. К старым и новым переводам я отсылал не глядя, в глубокой голословной уверенности, что это должно быть хорошо и театры

привередничают и сами не знают, что им надо. Новые книги редко попадаются теперь в руки: я не знал, кто из Вас четверых — Вас, Радловой, Кузмина и Зенкевича — дал нового «Гамлета», и не знал, что их не один, а два[3]. Но так это было только вначале.

Так думал я, но не представлял себе, насколько я прав. Когда я раскрыл пять или шесть этих книжек, сердце у меня упало: филологическая близость, литературное изящество и сценическая живость превзошли мои опасения. А совпаденья, совпаденья!! В скобках: скоро все они, сохраняя свои отдельные достоинства, расположились по местам. Наилучшим из старых показался мне Кронеберг, лучшим из всех — Ваш.

Было время, конец осени, когда под влияньем обнаруженных с Вами совпадений я собирался: признать попытку неудавшейся, сложить оружие и письменно поздравить Вас с моим пораженьем. Во-первых, зачитавшись Вашим переводом, я вообще испытал чувство острого стыда от того факта, что не позаботился ознакомиться с ним раньше, т. е. от того, что при таком переводе, пусть и ценой уговоров, я решился на новый. Мне стыдно стало, что с точки зренья совести и вкуса я по неведенью поступил против долга.

Кроме того, поразило меня обилие моих совпадений с Вами и их характер. Все это были предложения, сами собой укладывавшиеся в ямбическую строчку, те самые, относительно которых к радости по поводу их естественности у меня (за черновой работой) неизменно примешивалось опасение, что в своей закономерности они, наверное, пришли мне в голову не первому.

Такие строчки совпали у меня с Вами дословно, и до запятой и именно в виде строчек, ни больше ни меньше, т. е. в виде каких-то неделимых линотипических единиц. Из этих:

«Но как во всех не дрогнет добродетель» или:

«Он взял меня за кисть и крепко сжал»

и т. д. я оставил очень немного (а их было множество, с этим-то и надо было Вас поздравить), и только те, которые общи у Вас со всеми или частью переводчиков. Предпринять новую редакцию сделанного, нет: — переделать весь перевод сызнова слово за словом заставили меня Вы.

Что же получилось? В результате этих толчков и передвижек я должен был прийти к тому, к чему звал меня театр и что можно было предсказать с первого раза. Все работы остались на месте, ни одна не превзойдена, ни одна не возмещается моею. Рядом с переводами в строжайшем смысле возникла более свободная, простая и легкая сценическая трактовка того же текста, после того

как попытка дать новый варьянт той же тяжелой дословности не оправдала себя, повторив кое в чем предшественников.

Вы легко поймете, какую радость доставил мне этот труд, не только не омраченный ничем полемическим по адресу товарищей по призванью, но наоборот, только-то и открывший мне по-настоящему глаза на истинную силу их заслуг. Эту радость отравили мне нападки Корнея Ивановича на Радлову[4]. Конечно, они несправедливы. Мне нравится ее Гамлет, живость и естественность ее речи, особенно в прозаических местах, в некоторых случаях мастерских. Я не знаю адреса Анны Дмитриевны, а то бы написал ей сейчас и ее утешил. По-видимому, К. И. собирается теперь разнести меня и Вас. Он только недавно прочел ее Гамлета (он знал другие ее переводы) и, к моей радости, хвалит его. Значит, нам придется пострадать ей во славу, здесь ведь совсем особая система мышленья, в этом отношении он и Р<адлова> явленья близкие и законные партнеры.

Ваш Данте совершенное чудо. Вы сделали все, что позволил Вам частью нечеловеческий, частью же нудный и сварливый подлинник. Все описательные оазисы переданы с захватывающей увлекательностью, и больно за Вас, когда сумасшедший старик снова тащит Вас в пустыню. Но об этом нельзя писать с кондачка.

Весь год Вы были у меня на языке, Вы, верно, это знаете от других. Как Ваше здоровье. Напишите, что Вы простили меня.

Ваш Б. П.

Впервые: Boris Pasternak (1890–1960). Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris, 1979. — Автограф (собр. И. Н. Платоновой-Лозинской).

[1] М. Л. Лозинский перевел «Божественную комедию» Данте; «Ад» вышел отдельной книгой в 1938 г.

[2] Перевод А. И. Кронеберга был сделан в 1844 г., К. Р. (Константина Романова) — в 1899-м.

[3] «Гамлета» переводили А. Д. Радлова (1937) и М. Л. Лозинский (1933).

[4] Имеется в виду напечатанная в «Правде» (25 нояб. 1939) статья К. И. Чуковского «Искалеченный Шекспир».

797. Н. ТАБИДЗЕ

15 мая 1940, Москва

Дорогая Нина!

Я глубоко виноват перед Вами. Я так давно не писал Вам, что готов выслушать любой упрек. Но с Гамлетом у меня куча хлопот, пусть и приятнейших, и с каждым днем все больше. Между тем, мне с Вами надо списаться.

Однако сначала о вине. Без конца Вам за него спасибо. Я успел его попробовать, пока оно было в своей первоначальной прелести, и пришел в восхищенье. Дальше было вот что. Зимой я всегда клал вино лежмя за окно, на холод. Было еще прохладно в тот вечер, когда с ним и письмом от Вас пришел тов. Д<жикия>. Но за ночь погода изменилась. На рассвете горячее весеннее солнце выселило пробки из лежавших бутылок. Когда я встал, то застал подоконник (он желобчатый, с углублением между рам) до половины залитым вином. Мне было жалко Вашего подарка, но необходимость вымыть сверкающее окно живым вином почему-то понравилась мне. В этом было что-то свежее и значащее. Есть какая-то народная примета или обычай на этот счет. Кажется, это к добру. Может быть, я ошибаюсь. В это время ко мне пришел актер театра Революции, желавший играть Гамлета и давно на меня обидевшийся за то, что я отдал его в Художественный театр, и все остальное вино, чуть забродившее, мы с ним вдвоем распили, а это (Астангов) Гамлет великолепный, каких нет в Художественном[1].

Таким же варваром, как и к вину, оказался я и по отношению к Джикии. Я просил его зайти и посидеть, но он отказался, потому что куда-то торопился. Он оставил мне свой адрес в гостинице. Я раз или два звонил ему туда, не заставал. Этого, конечно, недостаточно. При немножко большем желании и усердии можно было бы его добиться, но в это самое время: Зина собиралась с детьми на дачу, я читал публично Гамлета и пр. и пр., а теперь я даже не могу проверить, тут ли он еще, или нет, потому что свернул себе вчера крестец или растянул там мышцы, к счастью, чуть не сказàл я, потому что эти боли дают мне право плюнуть на все дела, и наконец, написать Вам. Итак, попросите за меня извинения у Джикии, если он уже вернулся в Тифлис, и горячо Вас благодарю за Ваше письмо: я ведь особенно оценил его, зная, как Вам некогда. Отовсюду я только и слышу, как много и с какою удачей Вы работаете[2].

Теперь о деле, и разрешите быть кратким. Едете ли Вы в Москву или нет? Решите это и немедленно известите меня, потому что мне бы не хотелось откладывать каких-то попыток относительно Тициана, и нам надо повидаться. Так что если Вы не собираетесь сюда, придется мне съездить к Вам, и мне надо это знать заблаговременно. В таком случае я приму участие в собраниях, посвященных А. Церетели, а для более удобной формы причастности (говорить мне бы не хотелось) переведу две-три его вещицы[3].

Имейте в виду, что единственная цель поездки это Вы, так что если есть хотя бы малейшая надежда на Ваш приезд сюда, я прошу Вас предупредить меня. Появиться в Тифлисе мне будет очень тяжело, скрывать своих чувств я не буду, притворяться не способен. Со всех сторон нахлынут, вероятно, воспоминанья, и я с новой остротой почувствую, кого меня лишили и как обессмыслили мою жизнь. Но в конце концов это все литература. Мне надо знать, приедете ли Вы с Нитою или нет, чтобы знать, что делать мне самому.

А в общем, я, конечно, с нетерпеньем думаю о свидании и страшно волнуюсь при мысли, что, может быть, если Богу угодно, увижу и услышу Вас.

Если я поеду, то главное, конечно, будет не на Пленуме. Я постараюсь устроить платное открытое чтение Гамлета, если русское общество численно в Тифлисе и такой вечер может иметь интерес. И отниму у Вас на несколько дней все время.

У меня опять какая-то буря в душе, много надежд и планов, и новая жажда жить и действовать. Тициана мне надо до зарезу, как-то физически, у меня за ним тянутся руки и мне верится в его оправданье в силу непобедимости, сопровождающей это желание.

Целую Вас и Ниту. Простите, что пишу так много глупостей и всегда забываю главное. Поскорее напишите мне. Не надо ли Вам денег на поездку? Простите за грубость, но в Закгизе лежат (или должны лежать) деньги для Вас и для меня, так что все равно нам не избежать их, и, значит, в случае надобности можно ускорить их получение.

Будьте здоровы. Как бы мне хотелось избежать поездки в Грузию, которую я разлюбил!

Ваш Боря

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 20). Датируется по содержанию.

[1] Михаил Федорович *Астангов*, для которого Пастернак первоначально предназначал свой перевод «Гамлета».

[2] Н. А. Табидзе работала в Тбилисском медицинском институте на кафедре биологии и паразитологии и изучала зараженность рыб Черного моря гельминтами.

[3] Очередной пленум правления Союза писателей был приурочен к столетию со дня рождения Акакия *Церетели*. Пастернак перевел к этой дате два его стих. — «Памяти Гоголя» и «Поэт».

798. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

15 мая 1940, Москва

Поспешишь — людей насмешишь: 4-я и 5-я строфы не годятся, и я их заменю[1]. Я не могу спуститься к телефону и оттого переписываюсь с тобой: утром, умываясь, неловко нагнулся и, разгибаясь, что-то растянул в крестце[2]. Что-нибудь в таком роде (это не окончательно):

Людских речей впивая звук,
А не слова из книжки,
Передаю из третьих рук,
Что знаю понаслышке.
Итак, не то, что в первый миг
Предполагают люди, —
Я жизни чистый проводник
И случая орудье.

Сейчас это восхитительно! Что будет через час, не знаю.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] Варианты 4–5-й строф перевода стих. Акакия Церетели «Поэт». Ср. вариант 4-й строфы в автографе (РГАЛИ, ф. 1452. Альбом А. И. Вьюркова): «Но слышу и передаю / Лишь то, что в полной мере / В придачу к своему чутью / На опыте проверю». Последняя строка: «И истины орудье». Стих. вошло в сб.: Акакий Церетели. Избранное. М., 1940 с еще одним вариантом этих строф. В письме к С. Чиковани 23 июля Пастернак писал: «Я посылал для Вас и Леонидзе два перевода из Церетели. Всегда потом жалеешь, когда поторопишься. Сгоряча мне все это показалось приемлемым, а теперь не понимаю, зачем срамил себя. Гоголь еще туда сюда, а "Поэт" все еще тяжел и плох» (ГМГЛ).

[2] Это неловкое движение стало причиной ущемления спинного нерва, с которым Пастернак промучился целый месяц. Через две недели, 28 мая 1940, Пастернак извещал Гольцева: «Дорогой Витя! Пишу из Кремлевской больницы, где лежу без движенья. У меня очень сильный радикулит» (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

799. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

16 мая 1940, Москва

Дорогой папа!

В конце мая, если Бог даст, я поеду в Ленинград читать Гамлета, и тогда, после свиданья с тетей Асей и Олей, собираюсь написать тебе побольше. Я бы чувствовал себя вполне отлично, если бы не маленькая неприятность: вчера, умываясь, я как-то неловко наклонился и

так же неудачно разогнулся, в результате чего растянул мышцы или связки в крестце. Боюсь, не заставило бы это отменить мою поездку.

Я бы не стал посылать тебе вырезки, но Паветти сказал, что отправил тебе менее содержательную рецензию, а если уж что посылать, то, конечно, эту[1].

Я с большим успехом при переполненных аудиториях читаю тут свою последнюю работу[2], и надеюсь повторить это в Ленинграде и Тифлисе. Как досадно, что у меня никогда в жизни не было долгой разговорной практики по-английски! Прошлый год я ходил болтать по часу в неделю к одной девице[3], это было истинное удовольствие, но за недосугом пришлось это скоро прекратить. А то бы, воспользовавшись предложеньем здешнего радиокомитета, я бы дал вам возможность вживе услышать мой голос. Меня второй раз просят написать для иностранной радиопередачи что-нибудь минут на пятнадцать о моем Гамлете, мои мысли о Шекспире и т. д., и самому передать это «в эфир» по-английски. Разумеется, я отказываюсь, чтобы не срамиться.

Единственное мое огорченье, это что я стар, и что бóльшая часть моей жизни, если не вся она, прошла даром. А то (все это, наверное, обманчивые иллюзии) опять я полон надежд и планов. Ну, опять крестец разболелся, — кончаю. Целую тебя и всех вокруг тебя. Разумеется, мы все время в постоянном беспокойстве о вас, но я стараюсь гнать прочь мысли о событьях[4], а то в противном случае, как жить и оставаться человеком и работать? *Твой Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию, отправлено 22 мая.

[1] Имеются в виду отзывы на перевод «Гамлета», опубликованный в «Молодой гвардии» (1939, № 4–5). В конверт вложена вырезка со статьей неизвестного автора «Двадцать четвертый Гамлет».

[2] Одним из таких вечеров было чтение «Гамлета» в Клубе писателей 14 апреля 1940 г.

[3] См. письмо № 780 и коммент. 1 к нему.

[4] Речь идет о начале военных действий Германии в Англии.

800. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

28 июня 1940, Переделкино

28. VI. 40. Дорогой папа! Ты сам понимаешь, какое благодеянье твои открытки, и сколько добра и заботы о нас в том, что ты не упускаешь случая нас успокоить, особенно в такое время[1]. Глазам не веришь,

когда их получаешь, и это похоже на чудо. Если ты получил мое закрытое письмо, то знай, что я сам все свои приятные предположенья расстроил. Перед поездкой я растянул себе мышцу на спине, и не желая сдаваться, нажил себе в конце концов воспаление спинного нерва (радикулит). Вместо Ленинграда я (по собственному желанью) попал в больницу, где пролежал около месяца. Там меня вообще всего просмотрели и исследовали, и это очень хорошо, потому что оказалось, что у меня, чтобы не сглазить, сравнительно очень здоровый организм.

Всех вас целую и обнимаю. *Ваш Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Имеются в виду немецкие бомбардировки Лондона. Об успокоительном характере сообщений отца Пастернак писал О. Фрейденберг 29 июня 1940: «Опять от папы из Оксфорда две открытки, вторая от 30/V, это после Бельгии и Голландии — спокойные, как ни в чем не бывало» (Переписка с О. Фрейденберг. С. 183). Но после этой открытки не было известий до сентября, несмотря на нетерпеливые запросы сына: «Дорогой папа! Надо ли говорить, с каким беспокойством мы сейчас думаем о вас и детях. Даже соображенье о мирном назначении университетского города не может служить утешеньем после всего, что мы слышали и читали за последнее время. И совершенно непонятно, откуда у меня берется вера в благополучный окончательный исход всех этих страшных испытаний, и в то, что на этот раз все это к лучшему. А то бы я не мог так наслаждаться своим дачным счастьем. *Твой Б.*» (Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 222).

801. Н. А. ОЛЬШЕВСКОЙ и В. Е. АРДОВУ

16 июля 1940, Переделкино

16. VII. 40. Дорогие Нина Антоновна и Виктор Ефимович! Не черкнете ли мне адрес Анны Андреевны?[1] Помнится что-то вроде Фонтанка 33 или 46, но для письма этого недостаточно. Как Вы поживаете? Представьте, я в результате упорства и неосторожности месяц провалялся в больнице, где потом узнал, что я очень здоровый человек и только не бессмертен. Здесь совершенное блаженство, как, вероятно, и у Вас. Обоим Вам нежнейший привет. Поцелуйте деток. Любящий Вас *Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 4, ед. хр. 61).

Актриса Театра Красной армии Н. А. Ольшевская — близкая подруга А. Ахматовой; писатель-сатирик В. Е. Ардов — ее муж.

[1] Пастернак интересовался временем приезда Ахматовой, которая собиралась хлопотать за вторично арестованного сына. Обычно она останавливалась у Ардовых.

802. К. А. ТРЕНЕВУ

26 июля 1940, Переделкино

26.VII.40

Дорогой Константин Андреевич!

Как видите, это совсем не то, что Вы думали. Но я предупреждал Вас[1]. Не вручаю Вам этой прелести лично, не только из чувства неловкости, а еще и оттого, что снова у меня легкий вывих колена, и надо отсидеться.

Так как даже в том случае, если бы что-нибудь отсюда Вам пригодилось, моя причастность к тексту оперы совершенно ничтожна, ее не нужно упоминать и отдельно оговаривать, а пусть Большой театр расплатится со мной единовременно, как там сочтут нужным.

Однако ни в чем этом, наверное, надобности не встретится, потому что едва ли Вам что-нибудь понравится. Будьте совершенно свободны в оценке — единственная просьба, и простите, если не угодил.

Крепко жму Вашу руку

Любящий Вас Б. Пастернак

P. S. Возвращаю Ваш экземпляр Л. Яровой, — у меня есть свой.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1398, оп. 2, ед. хр. 428).

[1] Речь идет об участии Пастернака в написании либретто к опере В. Р. Энке «Любовь Яровая» по знаменитой пьесе К. А. Тренева. По его просьбе эта причастность нигде не была обозначена; авторы либретто — К. А. Тренев и П. И. Железнов. Работа над оперой велась с 1938 по 1946 г., премьера прошла во Львове в 1946 г., потом в Ленинграде и Москве.

803. Л. П. БЕРИИ

Июль 1940, Переделкино

Лаврентий Павлович![1]

Вот мольба моей жизни: прикажите пересмотреть дело мужа моего, Тициана Табидзе.

Дни идут, незаметно приближается старость, и хотя вот уже почти три года вырваны из моего существования без пользы по какой-то роковой ошибке, но есть еще время что-то поправить, а завтра, может быть, будет поздно.

Долг мой, как жены, перед ним, его еще возможным будущим, если оно будет ему даровано, перед читающими и его многочисленными русскими друзьями, положить все свои силы на разъяснение этой страшной загадки, восстановить правду и добиться освобождения, но Вы и без меня знаете, какая стена станет перед моими усилиями, если Вы сами не пожелаете великодушно прийти мне на помощь.

Окажите милость, допустите меня на прием к себе и распорядитесь, чтобы я об этом узнала.

Позвольте мне со всем смирением сказать Вам, что я ни в малой степени не чувствую себя женой преступника. Мысль о какой бы то ни было действительной опороченности Тициана Табидзе, общим именем с которым я горжусь, не умещается в душе у меня, [но если в этом повинна моя темнота, и по каким-то другим понятиям он в чем-нибудь виновен, то помилуйте и простите его, заставив всех любителей красоты и истины, и безоружной сердечности, и детской неиспорченности благословлять Вас за этот подарок].

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, № 2482). Датируется по содержанию.

[1] Это и два следующих письма составители сочли необходимым и возможным включить в основной корпус писем, так как они представляют собой карандашные автографы обращений Пастернака от лица Нины Табидзе. В квадратных скобках даны вычеркнутые рукой Пастернака места.

Ходатайства Нины Табидзе не имели никаких результатов. Пастернак писал об этом Е. В. Пастернак 3 авг. 1940: «У ней ничего нового, вмешиваться со своими письмами мне не советуют ее собственные консультанты, и ее очень жалко» («Существованья ткань сквозная». С. 415).

804. И. В. СТАЛИНУ

Июль 1940, Переделкино

Иосиф Виссарионович,

Я отправила Лаврентию Павловичу Берия просьбу о пересмотре дела мужа моего Тициана Табидзе.

Вам открыты все тайны, Вы знаете все. В Вашей воле и власти, суждена ли мне радость или нет, быть ли на свободе моему мужу, замечательному человеку чистейшей души, жертве неизвестности, или пропадать без помощи и пользы. Верю Вам и всею силой своей правды умоляю Вас услышать меня.

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, без №). Датируется по содержанию.

805. В. М. БОЧКОВУ

Июль 1940, Переделкино

Глубокоуважаемый тов. Бочков,

Я жена грузинского поэта Тициана Табидзе, арестованного в Тифлисе 10 октября 1937 г. На днях я обратилась с письмом к И. В. Сталину и Л. П. Берия с просьбой о пересмотре дела мужа и его освобождении и жду на них ответа. Но говоря по существу, я до сих пор ничего о муже не знаю. Теперь считается, что такая жестокая неизвестность ни в чьи разумные виды входить не может. Но как добиться каких-нибудь сведений о близком в несчастьи? (Обычные справки не пригодны, так как не дают результатов.)

В виде исключительной милости распорядитесь, чтобы моему запросу дан был настоящий ход. Я взываю к Вашей человечности. Я прошу о человеке выдающемся, одном из лучших лириков Грузии, сыгравшем роль в судьбе молодой литературы Союза. [Это не мое мненье, это подтвердят Вам, это знают лучшие имена в Союзе писателей.] Я не думаю, чтобы в Союзе писателей это кто-нибудь оспорил.

Что с моим мужем и где он? Знать это мое право. Разрешите надеяться, что голос мой не останется безответным.

Нина Табидзе

Адрес...

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, без №). Датируется по содержанию.

Бочков Виктор Михайлович — начальник Особого отдела НКВД.

806. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ

28 июля 1940, Переделкино

Дорогие мои Женюра и Женек!

Отчего давно нет вестей от вас? Не случилось ли что? Я беспокоюсь, напишите хотя бы открытку. Самое приятное из всего, что могу сказать о себе, это что от радикулита следа не осталось и я давно вернулся к своим старым привычкам. Однажды Ада Энгель выразила мысль, что процессы в природе подвигаются не линейно в арифметической прогрессии, а циклически, скачками с возвратами. Вероятно так и есть, и 50 лет мне было 5 лет тому на-

зад, а теперь те 45 лет, которые тогда были пропущены. Я чувствую себя великолепно, и было бы неплохо, если бы и на литературной ниве я работал так же много и плодотворно, как на огородной.

У нас занимают комнату с самостоятельным хозяйством, нас нисколько не касаясь, две сестры Блюменфельд и Анна Робертовна Грегер[1]. Приехала и долго жила у нас Нина Табидзе, с которою видалась, заезжая к нам с ночевками, Софья Андреевна Есенина. По всем этим поводам Зина возмущается, что у меня (!) целый гарем (!), что иногда комически омрачает наше существованье и анекдотически портит нам кровь. На все это я отвечаю, что не виноват, если революция дала дорогу женщинам и малым национальностям, а мужчин попрятала по каталажкам. Да, сенсационная новость: выпустили Киру Георгиевну и я два раза видал ее. О Борисе она знает меньше нас[2] и позавчера уехала в Тифлис. Обилие тёть, объятий и холодных закусок пагубно действует на Леничку. Он впал в одичанье и стал человеконенавистником.

Давно прекратились письма от папы. Здоров ли твой отец, Женя, и что слышно у Сени?[3] Неожиданно сухим плевритом заболел Адик в Коктебеле, ему запрещено купаться. Точные и тревожащие своей успокоительной обстоятельностью донесенья о его болезни присылают Вал<ентин> Ферд<инандович>[4] и из пионерлагеря. Может быть там что-нибудь скрывают.

Цветаева поселилась в чем-то вроде кухни у Габричевских, сроком до 1-го сентября[5], у ней сплошь одни заботы и несчастия и нет постоянной комнаты. Мур, ее сын, сам хотел написать Жене, с какой целью и просил его адрес. Ему, Муру, надоело теряться в очень низких по уровню контингентах загородных и окраинных школ и хотелось бы поступить в более приличную, если не образцовую. Как называется твоя, Женек, школа, доволен ли ты ею, и каковы условия поступленья в нее. Если она не хороша, то какую ты знаешь хорошую? Мне ему хочется помочь, и если потребуется протекция, я может быть заручусь просьбой о его приеме в Союзе писателей[6]. Напиши, Женечка, мне или ему самому, адрес: ул. Герцена 6, кв. 20 А. Г. Габричевского, Марине Ивановне Цветаевой для Мура. Мне же ты и мама напишите *обязательно*! Приехал ли Рубен Николаевич Симонов? Сердечно ему кланяйтесь.

Крепко обнимаю вас. Поклон от Ленички и Анны Робертовны.

Ваш папа Боря

28. VII. 40

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Две сестры Блуменфельд: Ольга Феликсовна и Наталья Феликсовна и жена их арестованного брата Виктора Феликсовича Анна Робертовна Грегер с дочерью Маргошей.

[2] Арестованная вслед за мужем К. Г. Андроникашвили, жена Бориса Андреевича Пильняка.

[3] Семена Владимировича Лурье.

[4] В. Ф. Асмус. Встревожившая всех болезнь Адриана Нейгауза, несмотря на временное выздоровление, была началом костного туберкулеза.

[5] Уехавшие на лето в Коктебель А. Г. и Н. А. Габричевские сдали комнату бездомной М. Цветаевой на три месяца.

[6] Мура удалось устроить в школу № 167.

807. А. А. АХМАТОВОЙ

28 июля 1940, Переделкино

28. VII. 40

Дорогая Анна Андреевна!

Давно мысленно пишу Вам это письмо, давно поздравляю Вас с Вашим великим торжеством[1], о котором говорят кругом вот уже второй месяц.

У меня нет Вашей книги. Я брал ее на прочтение у Федина и не мог исчертить восклицательными знаками, но отметки вынесены у меня отдельно, и я перенесу их в свой экземпляр, когда достану книгу.

Когда она вышла, я лежал в больнице (у меня было воспаление спинного нерва), и я пропустил сенсацию, сопровождавшую ее появление. Но и туда дошли слухи об очередях, растянувшихся за нею на две улицы, и о баснословных обстоятельствах ее распространенья. На днях у меня был Андрей Платонов, рассказавший, что драки за распроданное издание продолжаются и цена на подержанный экземпляр дошла до полутораста рублей.

Неудивительно, что, едва показавшись, Вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспаривания всего на свете Ваша победа так полна и неопровержима.

Ваше имя опять Ахматова в том самом смысле, в каком оно само составляло лучшую часть зарисованного Вами Петербурга. Оно с прежнею силой напоминает мне то время, когда я не смел бы поверить, что буду когда-нибудь знать Вас и иметь честь и счастье писать Вам. Нынешним летом оно снова значит все то, что значило тогда, да, кроме того, еще и что-то новое и чрезвычайно

большое, что я наблюдал последнее время в отдельности, но чего еще ни разу не видал в соединении с первым.

Это — соперничающее значение Вашего нового авторства в «Иве»[2] и новейших вставках, Ваша нынешняя манера, еще слишком своезаконная и властная, чтобы казаться продолженьем или видоизменением первой. Можно говорить о явлении нового художника, неожиданно поднявшегося в Вас рядом с Вами прежнею, так останавливает этот перевес абсолютного реализма над импрессионистической стихией, обращенной к впечатлительности, и совершенная независимость мысли от ритмического влиянья.

Способность Ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась. Снова убеждаешься, что, кроме Блока, *таким* красноречием частностей не владел никто, в отношении же Пушкинских начал Вы вообще единственное имя. Наверное, я, Северянин и Маяковский обязаны Вам безмерно бóльшим, чем принято думать, и эта задолженность глубже любого нашего признанья, потому что она безотчетна. Как все это врезáлось в воображенье, повторялось и вызывало подражанья! Какие примеры изощренной живописности и мгновенной меткости!

Замечательно, что когда рядом с ними натыкаешься на вещи более широкого действия и иной, дополнительной силы, они теперь кажутся позднейшими вставками, и присутствие Вашего нынешнего искусства начинаешь подозревать там, где его нет, как, например, на стр. 199 и 203 (наряду со стихотворением на стр. 198, которое Вы читали у Фединых)[3].

Выбор Ваш так совершенен, что предпочтенью уже нечего делать и подчеркивать приходится почти все подряд. Особенно изобилуют такими гнездами сплошных драгоценностей стихи из «Чёток». Вот эти ряды: стр. 222, *223,* 224, 225, 226, 227; 232, *235,* 237, 238, 239, 240, 241, 243[4]. Именно к таким «гнездам» может относиться весь будущий мир «Поверх барьеров», атмосфера его зарожденья, т. е. все то, чего я лишь вскользь коснулся тут в словах о нашей задолженности, о магическом действии Вашей живописной силы и пр., и пр. Вот еще звездные скопленья: 249, 253, 256; 264, *265, 266, 267,* 269, 271 и др.[5]

Чтобы Вы знали, с кем, в отношении вкуса, Вы здесь имеете дело, скажу, что бегло, с налету и первого взгляда, вершинами, в разных отношениях, показались мне: стр. *50, 69, 145, 174, 194, 198*[6], и несущественно, какую роль тут играла знакомость одних и знаменитость других страниц.

Но я начинаю заговариваться, и Вам должно стать скучно. Позвольте, я прерву письмо, а то я боюсь, что никогда не отошлю его. Узнав, что я пишу Вам, Вам просили кланяться Софья Андреевна, Нина Александровна Табидзе, Константин Александрович Федин и Зина. Знаете ли Вы, что выпустили жену Бориса, Киру Георгиевну?[7] Когда будете в Москве, непременно приезжайте к нам в Переделкино! Тут сущий рай. После упоминанья о больнице необходимо сказать, что я давно себя так замечательно не чувствовал, как этим летом.

Если бы Вы почтили меня открыткой, сообщите, пожалуйста, как Ваши дела и здоровье? С Вами ли уже Лев Николаевич?[8] Нина Т. приехала сюда хлопотать за мужа.

Я думал, Вам будет приятно узнать, каким радостным событьем была для меня Ваша книга, написать Вам об этом было моей живейшей потребностью, но я сделал это так неудачно, что письмо Вам ничего не даст[9].

Вы должны догадываться, источником какой гордости являются для меня оба Ваших незаслуженных подарка, стихотворенье и эпиграф[10]. Относительно последнего я не верил, несмотря на Ваши слова, пока не увидал. Тон Перцова возмутил нас всех, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, а не в газете[11].

Ну до свиданья. Целую Вашу руку.

Еще раз горячее спасибо Вам от нас всех за это воплощенное чудо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9 (с купюрами и ошибками). — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149).

[1] Имеется в виду появление сборника Ахматовой «Из шести книг. Стихотворения» (Л., «Советский писатель», 1940), первое издание после 17-летнего перерыва.

[2] Сборник открывался стихами последних лет (1924—1939), собранными в книгу «Ива» (в поздних изданиях она называлась «Тростник»).

[3] Страницы сборника соответствуют стихотворениям: «Там тень моя осталась и тоскует...», «Да, я любила их, те сборища ночные...», «Из памяти твоей я выну этот день...».

[4] Отмеченные стихи из книги «Четки» (1914): «Прогулка», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы...», «После ветра и мороза было...», «Косноязычно славивший меня...», «И на ступеньки встретить...», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Столько просьб у любимой всегда...», «В последний раз мы встретились тогда...», «Здравствуй! Легкий шелест

слышишь...», «Цветов и неживых вещей...», «Каждый день по-новому тревожен...», «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!..», «Я научилась просто, мудро жить...». Набранные курсивом номера страниц — подчеркнуты автором.

[5] «Вижу выцветший флаг над таможней...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Вечерние часы перед столом...», «Знаю, знаю — снова лыжи...», «Венеция», «Протертый коврик под иконой...», «Гость», «Я пришла к поэту в гости...», «В то время я гостила на земле...».

[6] «Не с теми я, кто бросил землю...», «Встреча», «Чернеет дорога приморского сада...», «Ни в лодке, ни в телеге...», «Широк и желт вечерний свет...», «Из памяти твоей я выну этот день...».

[7] К. Г. Андроникашвили, жена Бориса Пильняка, была арестована в 1937 г. вслед за мужем и освобождена после назначения Берии на пост наркома Внутренних дел.

[8] Сын Ахматовой Л. Н. Гумилев был вторично арестован в 1938 г.

[9] Действительно, Ахматова неверно прочла это письмо, увидев в нем доказательство того, что Пастернак впервые прочел ее стихи 1910-х гг. (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, запись 4 авг. 1940). Она не заметила слов о влиянии ее ранней поэзии на *будущий мир "Поверх барьеров"* 1917 г. и о новой *своезаконной и властной* манере последнего времени, «соперничающей» со старой.

[10] Имеется в виду стих. «Борис Пастернак» (позднее «Поэт») и эпиграф к книге «Ива», взятый из стих. «Импровизация» (1915): «И это был пруд / И было темно».

[11] Речь идет о статье В. О. Перцова «Читая Ахматову», где он писал: «...Стихи Ахматовой написаны давно в трудное время буржуазного распада семьи... Очень не широк круг явлений жизни, освещенный в творчестве этого незаурядного мастера» («Литературная газета», 10 июля 1940). Несмотря на разговоры, ни А. Н. Толстой, ни кто-либо другой *из настоящих писателей* не решился написать об Ахматовой в журнале, — на появление следующего сб. А. Ахматовой (1943) отозвался Пастернак, но статью не удалось напечатать (см.: «"Избранное" Ахматовой». Т. V наст. собр.).

808. П. А. ПАВЛЕНКО

28 августа 1940, Переделкино

28. VIII. 40

Дорогой Петя!

Я знаю, о чем тебе написала Цветаева[1]. Я просил ее этого не делать, ввиду бесцельности. Я знаю, что Союз в этом отношении ничего не добивается, а как частное лицо ты в этом смысле можешь не более моего. Но именно потому, что она тебя знает как имя, и, значит, с твоей лучшей стороны, она заупрямилась, чтобы я тебе передал письмо. Что бы она там тебе ни писала — это толь-

ко часть истины, и на самом деле ее положение хуже любого изображенного. Мне не нравится цель, с какою она так добивалась передачи письма, — «чтобы потом не говорили, зачем не обратилась в Союз»[2]. Она мне ее не открывает. Я ее знаю как очень умного и выносливого человека и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но во всяком случае, эта разгоряченная таинственность мне не по душе и, очевидно, не к добру[3].

Вместо этого всего вот что.

В ближайший свой день в Союзе прими ее и познакомься с ней. Она случайно узнала об одном молодом человеке, некоем Бендицком, призывающемся в сентябре в Красную Армию. Его комната освобождается. Это ей подыскали знакомые. Адрес такой: Остоженка (Метростроевская), д. 18, кв. 1, комн. Бендицкого. Он был бы согласен на такое косвенное закрепление комнаты за собой (через временное ее занятие Цветаевой). Нельзя ли выяснить через нашего юриста, какой юридический соус можно приготовить к этой физической возможности. Цветаевой она кажется беззаконной, и она этой мысли боится даже в случае осуществимости[4].

Как бы то ни было, согласись принять ее и, когда сможешь, скажи, пожалуйста, Кашинцевой, чтобы она ее вызвала по тел. К0-40-13 и сообщила о дне и часе, когда ты ее примешь. Это единственный способ известить ее, т. к. отсюда я не успею, а ей кажется, что до 30-го тебя не будет.

Прости, наконец, и меня, что надоедаю тебе. *Твой Б. П.*

Впервые: Wiener Slavistischer Almanach, 1983. — Автограф (собр. адресата).

[1] Письмо Цветаевой к секретарю Союза писателей Павленко написано 27 авг. 1940, за три дня до выезда из комнаты, снятой у Габричевских на три месяца. В нем она излагала обстоятельства последнего года, прожитого в Болшеве и Голицыне, и просила помочь в приобретении комнаты в Москве (М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 699–700).

[2] Пастернак услышал в этой формулировке отчетливую готовность к самоубийству, но надеялся на ее «выносливость». Письмо Цветаевой начиналось словами: «Вам пишет человек в отчаянном положении», Пастернак уточняет, что *ее положение хуже любого изображенного.*

[3] «Я не истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите у Бориса Леонидовича», — пишет Цветаева (там же. С. 700).

[4] Этот план не удался, Цветаева смогла лишь снять комнату в доме на Покровском бульваре.

809. С. Я. МАРШАКУ

11 сентября 1940, Переделкино

11. IX. 1940

Дорогой Самуил Яковлевич!

Посылаю Вам номер журнала с Гамлетом[1]. Евгения Семеновна поддерживает во мне надежду на мыслимость его помещенья (в частях, разумеется) в антологии[2]. Она не думает, что Вы решили этот вопрос в отрицательном смысле, и что эта неизвестность заключает вежливый отказ, о котором мне следовало бы давно догадаться.

Итак, Вам придется его прочесть. Простите, что это интересует меня, это дело денежное.

Привет Софии Михайловне[3].

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. А. И. Маршака).

[1] «Молодая гвардия», 1940, № 4–5.

[2] Речь идет о неосуществленной Антологии английской поэзии, которую составлял Маршак. *Евгения Семеновна* Живова — издательский редактор. Сохранился черновик ответа С. Маршака: «Я был бы очень рад включить в Антологию отрывок из Вашего "Гамлета", но до сих пор еще не решен вопрос о том, войдут ли в нее отрывки из драматических произведений» (там же).

[3] *Софья Михайловна* — жена Маршака.

810. А. А. БАРКОВОЙ

13 сентября 1940, Переделкино

Дорогая Анна Александровна!

Я получил Ваше письмо[1]. Как только у меня будет возможность (вероятно, в начале октября), я постараюсь быть Вам чем-нибудь полезным[2]. Я не забуду об этом, но в свою очередь прошу и Вас обязательно напомнить мне о Вашем письме хотя бы открыткой недели через две-три.

Разумеется, я Вас отлично помню. Главное, не унывайте, авось все и уладится.

Ваш Б. Пастернак

Ст. Баковка, Западной ж. д. Дачный Городок писателей «Переделкино», № 3.

Впервые: Анна Баркова. ...Вечно не та. М., Фонд Сергея Дубова, 2002. — Автограф (РГБ, ф. 144, к. 8, ед. хр. 33). Датируется по почтовому штемпелю.

С поэтессой Анной Барковой Пастернак познакомился на вечере ее поэзии в Доме печати 5 мая 1922 г., где ее стихи читал А. В. Луначарский. Баркова вспоминала, что чтение было принято в штыки поэтами-пролеткультовцами, которые обвиняли ее в «мистицизме, эстетизме, индивидуализме». Пастернак выступил в ее защиту (там же. С. 454).

[1] Письмо Барковой, находившейся в ссылке в Калуге, было передано Пастернаку через их общего знакомого П. А. Кузько. В том же фонде архива сохранилась записка Пастернака: «Добрейший Петр Авдеевич! Не откажите, пожалуйста, переслать прилагаемую записку Анне Александровне Барковой» (там же).

[2] Баркова просила о денежной помощи.

811. Н. Г. ВИНОГРАДОВУ-МАМОНТУ

14 сентября 1940, Переделкино

Дорогой Николай Глебович!

Еще и еще раз большое спасибо за книги, которые были для меня таким большим подспорьем. Представьте, надобность в них является временами даже и сейчас, но, разумеется, я их откуда-нибудь достану. К. Р. в городе, а Соколовский[1] у Чуковского. Простите, что еще не возвращаю их, подошлю потом. Простите также, что так страшно задержал их. Сердечный привет Марии Михайловне[2]. Посылаю Вам Молодую Гвардию с моим переводом. Его бесцеремонность, знаю, удивит Вас. Но не негодуйте сверх меры[3]. Крепко целую Вас.

Ваш Б. Пастернак

14. IX. 40

NB. Страничек 127–128 в Кронеберге недоставало с первого дня передачи.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2542, оп. 1, ед. хр. 45).

Н. Г. Виноградов-Мамонт — известный театральный деятель, писатель и библиофил.

[1] Называются разные переводы «Гамлета», которые Пастернак брал для работы: К. Р. (Константина Романова; перевод 1899 г.), А. Л. Соколовского (перевод 1883 г.). В конце письма указан возвращаемый владельцу перевод А. И. Кронеберга, 1844. В заметке к публикации «Гамлета» в «Молодой гвардии» (1940, № 4–5) Пастернак перечислял книги, с которыми он сличал свой перевод: «Спустя несколько месяцев, когда первая черно-

вая редакция была закончена, я достал переводы Кронеберга и К. Р., которых не помнил, а также совсем еще неизвестные мне работы Соколовского, Радловой и Лозинского, и занялся сравнением («Гамлет. Принц Датский. От переводчика». См. т. V наст. собр.).

[2] *Мария Михайловна* — жена Н. Г. Виноградова.

[3] Перевод «Гамлета», опубликованный в «Молодой гвардии» (1940, № 4—5), характеризует свобода от буквализма и некоторая русификация реалий, которая возмущала приверженцев старых переводов. Этот вариант был рассчитан на театр Мейерхольда и делался по его заказу. Пастернак так определял свою задачу: «Работу надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и прочего, в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам» (там же).

812. Н. ТАБИДЗЕ

16 сентября 1940, Москва

Дорогая Нина!

Простите и Вы нас, что мы до сих пор не писали Вам. Ужасно скучно стало без Вас, я и Зина одинаково почувствовали Ваше отсутствие[1]. Я еще напишу Вам как-нибудь, а сейчас тороплюсь Вам ответить насчет Павленко. Он уехал в Калмыкию на пленум по поводу Джангара (Калмыцкий эпос)[2] и на днях должен вернуться. Но я уверен, что он еще ничего не узнал, а то бы он не утерпел сказать об этом мне[3]. Не думаю, чтобы положение сильно изменилось по его приезде.

Ведь в какой-то степени пусть не в Вашей, но для меня сильнейшей, все это близко касается меня. Вы вправе спросить меня, что я об этом думаю, и что думаю делать. Я думаю, что мы добьемся своего и увидим Тициана. Что касается моих собственных шагов для его разыскания, у меня план такой. Вы сами видели, как систематически меня отговаривали от вмешательства. Но не это останавливает меня. Я думаю, мне надо выждать некоторый промежуток времени после Ваших летних попыток, чтобы мои усилия не казались их продолжением и чтобы нам не утверждаться в неудачах. Если бы что-нибудь в общественном смысле изменилось в моей судьбе и на меня почему-либо обратили внимание, я разумеется, немедленно этим воспользуюсь для близкой всем нам троим (с Зиной) цели, и первое мое слово будет о Тициане.

Как мне Вас утешить, милый друг? Вы знаете, что отец мой и сестры с семьями в Оксфорде. Вы читаете, как сейчас бомбардируют Англию. От одной особы, дочь которой живет в Лондоне, я

узнал, что можно переписываться телеграммами с Лондоном, что она два раза в месяц это делает и через 6 часов получает от дочери ответ. Я телеграфировал своим, прошло несколько дней, и от них нет ответа[4]. Что это значит? Это может значить очень многое: что их нет в живых в результате воздушного обстрела, что они пытались переехать в Канаду и взорваны миной, что они интернированы или в заключении, или еще что-нибудь. Но я не теряю надежды на милость Божью и верю, что какая-то неожиданность, бóльшая, чем можно предусмотреть, готова мне в будущем вместе с живою, может быть, встречей.

Вам что-то хочет написать еще Зина. Если хоть в десятой доле правда то, что Вы написали о Вашей жизни у нас, то это для нас большая радость. Вы знаете, как мы Вас любим, — распространяться ли еще на этот счет? Еще сегодня Леня спрашивал «Куда уехала тетя Нина?» Ответ: — туда-то и туда-то... Вопрос — «А зачем?» И тут, в описании, я его должен знакомить с Нитой.

Вы очень верно описали Зину на огороде и параллель с испанками Гойи совершенно в точку. Адика бедного давно привезли, он лежит в Боткинской больнице, очень поправился и уже по счастью выздоравливает. Как Вы уже знаете, мы хотим зимовать на даче, что сопряжено с большими трудностями для Зины, с некоторыми также для меня. Но помимо Гойи и Сулоаги (тоже испанский художник) она у меня еще то, что в былинах называется «Поленица удалая» (т. е. богатырша).

Сейчас я тороплюсь и собственно пишу не Вам, а только введение к Зининой приписке. Во всяком случае сердечные приветы Ните и Вашей матушке.

Крепко крепко Вас целую. Все нежно Вас помнят и кланяются Вам.

Ваш Боря

Нина, теплый безоблачный осенний день, двенадцать часов дня, солнце во все шестистворчатое широкое окно, и я сижу в Вашем Переделкине и вместо того, чтобы работать, отымаю у Вас время бесконечным письмом, Нина моя, радость моя, сестра моя. Целую Вас без конца. *Ваш Б.*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 14)

[1] Нина Табидзе провела лето у Пастернаков в Переделкине, уехала в начале сентября.

[2] *«Джангар»* — калмыцкий героический эпос, созданный предположительно в XV в., записанный в XX.

[3] Петр Андреевич Павленко по просьбе Н. Табидзе должен был узнать что-нибудь о судьбе Тициана. Но и через две недели, 1 окт., Пастернак снова повторял ей: «Павленко пока ничего не говорит, но ведь настроенья в литературе опять ухудшились, Вы знаете?» (там же. С. 191).

[4] Телеграмма была послана 11 сент. 1940: «Телеграфируй на Шурин адрес Гоголевский 8 здоровье семьи, в частности Элиота, повтори сообщение в ночное время. Без конца обнимаю. *Борис*». На бланке телеграммы рукою Л. О. Пастернака проставлены даты: «Получил 15.IX.40 воскресенье, отвечено 16-го». Здесь же Лидия записала текст ответной телеграммы: «Все хорошо обнимаем любим. *Отец, Лидия*» (Pasternak Trust, Oxford). Муж Лидии Элиот Слейтер был призван в армию как врач.

813. И. БЕХЕРУ

20 сентября 1940, Переделкино

Переделкино. 25. IX. 40

Спасибо тебе, настоящий, великий и единственный поэт. Я только перелистал твою книгу[1], но она так плотно насыщена поэзией, что достаточно было нескольких строк, чтобы вызвать восклицание о твоей единственности. Я сердечно поздравляю тебя, твоя книга — это обладание счастьем победы, такое богатство — остров в нынешнем море лжи. Прошли годы, равные целой жизни, расчистились дали, и после Рильке приходишь ты, — теперь это уже свершившийся факт. Я знаю, что для тебя это не похвала, но по-другому я не могу сказать, когда имею в виду высокий образ жизни поэта и день за днем озаренные светом трудовые будни.

Мы живем за городом, в Переделкине. Вместе с женой успешно работаем на своем большом огороде и при нынешнем урожае завалены картошкой, бобами, морковью и тому подобным, но также и работой, хлопотами и тревогами, которые ты легко представишь себе, потому что хорошо знаешь хозяйственные заботы, о погребе, например, о бочках, мешках для того, чтобы собрать и сохранить урожай. И все же, слава Богу, это настоящая радость смотреть на это изобилие и смаковать его.

Тебе надо познакомиться с Мариной Цветаевой, которая перевела тебя на французский[2], и с музыкантом Генрихом Нейгаузом и вместе со своей милой женой и названными (а также рюкзаком или корзиной для овощей) как-нибудь нас посетить тут. Позвони перед этим по телефону на нашу городскую квартиру: приехать надо в тот день, когда жены не будет в городе, когда она будет здесь.

Я хотел написать тебе только две первые строчки. Только они имеют значение, и непонятно, откуда взялась вся последующая болтовня. Если в письмах «Ты» пишется с большой буквы, как вдруг мне вспомнилось, прости меня великодушно. Но книга, книга!!!. Завидую Тебе.

Впервые: Johannes R. Becher. Bildchronik seines Lebens. Berlin, Aufbau Verlag, 1963 (по-немецки).

Первые переводы И. Бехера, немецкого поэта-экспрессиониста, Пастернак сделал в 1924 г.; их личное знакомство относится ко времени 1930-х гг., когда Бехер жил в Москве, принимал участие в мероприятиях Союза советских писателей и какое-то время был соседом Пастернака по дому в Лаврушинском пер. В 1938 г. Пастернак перевел поэму Бехера «Лютер».

[1] Имеется в виду стихотворная книга И. Бехера «Wiedergeburt» («Рождение вновь»).

[2] Переводы Цветаевой из И. Бехера на французский неизвестны.

814. Н. ТАБИДЗЕ

Конец сентября 1940, Переделкино

Дорогая Нина.

Вы получили наше письмо? Ну вот и слава Богу. Простите, что я неправильно прочел Ваши слова о Зине. Так это был не Гойя, а Гоген[1]. Это, разумеется, еще вернее.

Спешу Вас успокоить насчет Леонида Максимовича[2]. Все обошлось мягче, чем все мы опасались, я передам им Ваши чувства. Вы знаете, что это только часть общей бури, прокатившейся по всей литературе. Наступила обычная в таких случаях растерянность, которая отражается на каждом из нас во многих отношениях, морально и материально. У меня сейчас некоторые трудности, с которыми, по-видимому, я справлюсь через месяц. Я знаю, что у Вас ничего такого не было и в мыслях, и Вы будете сопротивляться, но мне, конечно, давно следовало подумать, как Вы живете после огромных расходов, сопряженных с поездкой, в которые я Вас ввел, потому что сам зазвал Вас сюда и ничего для Вас не сделал. Но вот именно потому я и не дал еще никаких знаков заботливости, что практически пока ничего нельзя сделать. Однако все это временно. Я думаю через месяц-два положение улучшится, а пока простите меня, пожалуйста, дорогая Ниночка, и не протестуйте.

Вы с болью наверное ловите следы спешки и рассеянности на моих письмах и открытках, и конечно правы. Это отражение

близящейся и наступающей зимы, ее забот и тревог, особенно осязательных за городом, среди природы, погружающейся во мрак и холод. Но Бог даст, все это пройдет, и мы опять доживем до весны и лета и опять обнимем Вас и Ниту у себя и справим этот чудный и незабвенный праздник свиданья с вами. Мариджан[3] еще не появлялась. Все мы Вас всех целуем и обнимаем.

Ваш Боря

Поклонитесь Леонидзе и Чиковани. Я часто хочу им написать и всегда мне некогда. Особенно я свинья перед Симоном.

Ниночка, нарисуйте себе в воображении пьяного Василия[4] и Марусю, темноту, холод, и мои споры по поводу дров, погребов, подвалов и всех сторон хозяйства, и мне станет от этого теплее.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 121915, 14).

[1] См. в письме № 813: «Вы очень верно описали Зину на огороде и параллель с испанками Гойи совершенно в точку».

[2] Писатель Л. М. Леонов подвергался резкой критике в газетах.

[3] *Мариджан* Алексидзе, детская писательница и драматург.

[4] Сторож в Переделкине и его жена.

815. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

7 октября 1940, Переделкино

7. X. 40

Дорогой Витя!

Так до сих пор у меня твоей книги и нет[1]. Приезжай с ней как-нибудь в хорошую погоду в Переделкино, лучше всего в воскресенье. Корыстная душа, каюсь, пишу тебе по делу. У меня давно некоторая денежная заминка, которая затягивается в силу бурной литературной погоды. Прости, если получив все 100% за грузинскую антологию, я об этом забыл и лишний раз доказываю свое свинство и черную неблагодарность. Но если это не так, нельзя ли воспользоваться остающимися? Когда выйдет антология, и не можешь ли ты тут что-нибудь сделать?[2] Вероятно вследствие тесноты на городской квартире я попробую зазимовать тут с Леней. Мы провели лето очень хорошо, хворал лишь один из мальчиков.

Привет Ю<лии> С<ергеевне>.

Твой Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

[1] Имеется в виду книга Гольцева «Шота Руставели и его поэма» (М., 1940).

[2] Под ред. В. В. Гольцева в 1938 г. вышел сб. «Молодые поэты Грузии» (М., 1938), в который вошли переводы Пастернака.

816. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

16 октября 1940, Переделкино

16. X. 40

Дорогой Витя!

Первой открытки твоей я не получил, а за эту спасибо. Благодарю тебя за хлопоты, я сам успел убедиться, что ничего не сделать. Приезжай обязательно в воскресенье, когда будет Зина, она сейчас с мальчиками в городе и бывает здесь только по субботам и воскресеньям. Я бываю в Москве редко и всегда лишь на несколько утренних часов. Возвращаться сюда затемно затруднительно, чтобы не сказать невозможно. Не могу оставаться и на ночевки (из-за Ленички)[1]. Мораль: в Змееде я никоим образом не участвую, и не рассчитывай. За всем тем, единственное, на что могу пожаловаться, это что мы не будем жить вечно.

Привет Юлии Сергеевне.

Твой Б.

Попроси Зину по телефону принести палку (трость)[2].

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

[1] Пастернак зимовал в Переделкине вместе с Ленечкой и его няней.

[2] Весной, когда у Пастернака был радикулит и ему было трудно ходить, Гольцев дал ему свою палку.

817. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

18 октября 1940, Переделкино

Дорогой Витя, забыл подать тебе мысль, которая наверное и без меня у тебя явилась. К участию в вечере надо привлечь Цветаеву. Она очень en vogue* сейчас, ее появленье произведет фурор и ей устроят овацию. Разумеется, ей надо заплатить за выступленье,

* в моде (*фр.*).

и, конечно, побольше. Я ее не видал целую вечность. Жизнь среди природы отнимает много времени. Я почти ничего не делаю литературного, и весь день занят. Зато это блаженство. А М<арина> И<вановна> сейчас в центре всех моих друзей: Нейгаузов, Вильям-Вильмонтов, Асмусов и пр. Так что просто завидно![1]

Попроси Зину доставить вам палку, она наверху в передней на вешалке.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] Пастернак познакомил Цветаеву со своими друзьями, чтобы создать необходимое ей общество близких ее поэзии людей, в котором она всегда нуждалась. См., например, письмо к И. Бехеру, № 813.

818. Н. ТАБИДЗЕ

20 октября 1940, Переделкино

Дорогая Нина!

Сейчас у нас были Мариджан с Фадеевым, и я прочел Ваше письмо. Нина, но ведь, если это правда, то полдела уже сделано и это большое счастье![1] Я всегда верил, что Т<ициан> жив и мы его увидим, но даже в те самые дни, когда Вы были здесь, меня пугали и колебали во мне эту уверенность.

Нина, если нам суждено это счастье и Т. выпустят здесь, как Киру[2], у меня большая и горячая просьба к Вам. Приезжайте тогда сюда за ним и побудьте с ним немного у нас в Москве или здесь в Переделкине, с Зиною или со мной, и там и тут у Вас будет отдельная комната, сделайте это ради меня и Зины. Как я ни суеверен, Бога мы должны и можем поблагодарить, а значит мне можно и поздравить Вас и крепко обнять Вас и Ниту. Но смиримся снова и вооружимся терпеньем.

Мариджан явилась так неожиданно и так скоро уехала (она должна была воспользоваться машиной Фадеева), что я ее не успел по-настоящему принять, и это очень жалко, потому что она хороший, настоящий человек и я ей был очень рад. Это не письмо, а поздравительная записка. Целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 13).

[1] Судя по словам из письма № 820, в нем было ложное известие, будто Тициан Табидзе содержится в Москве.

[2] К. Г. Андроникашвили.

819. А. А. БАРКОВОЙ

30 октября 1940, Переделкино

30. X. 40

Глубокоуважаемая Анна Александровна!

Я не забыл Вашего письма и очень мучаюсь мыслью, что до сих пор не мог исполнить своего обещанья Вам[1]. Обстоятельства сложились прямо противоположно моим ожиданьям. Вы можете узнать от других, потому что это явленье общее, что в судьбе литературных произведений и в заработках литераторов произошло какое-то потрясенье. Хотя это касается более крупных советских людей, чем я, но сталкиваться с этим приходится и мне, я ниоткуда не могу добиться обещанного и заработанного и нарываюсь на грубости и униженья. Тем не менее я думаю, что так оставаться оно не может и должно будет измениться к лучшему. При первой же перемене я Вам напомню о себе и заглажу свою оплошность[2]. Во всяком случае, я считаю себя Вашим должником. Простите меня.

Ваш Б. Пастернак

Ст. Баковка, Западной ж.д. Дачный поселок «Переделкино», № 3.

Впервые: Анна Баркова. ...Вечно не та. М., Фонд Сергея Дубова, 2002. — Автограф (РГБ, ф. 144, к. 9, ед. хр. 2).

[1] См. коммент. к письму № 810.

[2] По воспоминаниям Т. З. Лежепековой, жены П. А. Кузько, Пастернак смог помочь Барковой только в мае 1941 г., когда они вдвоем приезжали к нему в Переделкино: «Прочитав письмо, сходил за деньгами. Со смущением передавая Петру Авдеевичу сложенную бумажку, посетовал, что не может уделить больше» (там же. С. 545).

820. А. А. АХМАТОВОЙ

1 ноября 1940, Переделкино

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованьем в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко

разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы последний раз видались[1] и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностями встречи с Вами, уезжал на целые дни в Москву для встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанью из Крыма с Зиною и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен. В скобках, для удовлетворенья естественного интереса: все обошлось благополучно и мальчик, проболев с месяц, теперь выздоровел[2].

Я не читаю газет, как Вы знаете. И вот, последнее время, когда я спрашиваю, что на свете нового, я узнаю одну вещь радостную и одну грустную: англичане держатся, обижают Ахматову[3]. О, если бы между этими новостями, мне одинаково близкими, мог существовать обмен веществ и сладость одной могла ослабить горечь другой!

Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состоянье, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы. Так же и Нина Т<абидзе> уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве и это установлено.

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене *Ваша надежда* и как Вы должны беречь ее?

«Смирив души неукротимый ропот» и т. д. — в общей сложности 4 строки у меня записаны[4], но Вы не договорили тогда, — нас позвали к Фадееву[5]. Книжку Вашу мне подарили в Гослитиздате[6]. Если бы Вам пришла фантазия сделать мне надпись, пошлите мне ее в счастливую и легкую минуту — я ее вклею. Однако Вы можете тут же забыть о сказанном, я Вас не буду теснить ожиданьем.

Два Ваших почитателя, муж и жена, просили меня переслать Вам письмо, я сообщил им Ваш адрес и отослал письмо обратно. В нем не было ничего дурного, но оно слишком лазурно и безоб-

лачно для пересылки. Зная Вас и Вашу нынешнюю грусть и хмурость, я не вправе поддерживать то нереальное представленье о поэте, которым дышит их обращенье, немного вневременное и внепространственное.

Это бедные люди, каких очень много, что именно в похвалу им, а не во осужденье, он сын ветеринарного врача, пробовал сам писать, его попытки свободны от той блестящей безвкусицы удачливости, которая так часто и быстро выводит на широкую дорогу, но недостаткам не хватает гения, чтобы стать достоинствами, и, таким образом, шероховатое его тяжелодумье остается при нем в качестве глубоко колоритной черты, просящейся под перо какого-нибудь нового Достоевского или Писемского. Это скромные и очень достойные люди, но зачем я на их счет так расписался?

Не считайте неуваженьем к себе, что я без всякого страха пишу Вам таким слогом, с такими помарками и такой вздор.

От всего сердца желаю Вам здоровья. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] А. А. Ахматова приезжала в Москву на пять дней в надежде что-нибудь узнать об арестованном сыне. Она приехала из Ленинграда 24 августа и 25, 26 провела в Переделкине, где Пастернак устроил ей свидание с Фадеевым.

[2] Улучшение было временным, это было начало туберкулезного процесса, от которого Адриан Нейгауз скончался через пять лет.

[3] Имеется в виду мужественное сопротивление Англии массированным немецким бомбардировкам. Кроме упоминаемой в письме № 807 и коммент. 11 к нему рецензии В. О. Перцова, в «Литературной газете» 29 сент. 1940 был напечатан отзыв С. Нагорного, в котором утверждалось: «...Стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества».

[4] Эти стихи Ахматовой не сохранились и не известны.

[5] Ахматова приезжала в Переделкино, чтобы просить Фадеева похлопотать об освобождении сына.

[6] «Из шести книг». М., 1940.

821. А. И. ВЬЮРКОВУ

12 ноября 1940, Москва

12. XI. 40

Дорогой Александр Иванович!

Твое письмо, как ты усмотришь из надписанного твоею рукою конверта, в свое время получено. Итак, прости, что отвечаю так поздно.

Повторить то, что я тогда тебе сказал под первым и заслуженно-выгодным впечатлением, не смогу, но главного не забыл.

«Москва матушка»[1] произвела на меня двойственное впечатление, а могла бы произвести одно хорошее, и притом большой и довольно завидной силы. Налицо один недостаток, сказавшийся не в отдельных страницах, а распространившийся по всей книге.

Недостаток этот заключается в твоем заблуждении, будто ты публицист-градоописатель популяризаторской складки. Между тем этой просветительской страсти у тебя нет и в помине. Очерки твои — скрытые художественные рассказы. Несмотря на неотделанность или отделку в ложном направлении, они держатся живостью и колоритом, а не прочными выводами из широких, научно обработанных оснований. Итак, ты и в слабостях художник, ограниченный лично пережитым и наблюденным, а мог и должен был бы им быть вполне на радость себе.

Для этого ты должен расстаться со своей педагогической иллюзией, служащей тебе пока извинительною отговоркой в моменты художественных неудач, и сознать себя беллетристом в открытую, со всеми отсюда вытекающими обязанностями. Тогда ты не будешь губить вещей, подобных превосходному «Горбуну» (наряду с «Агатом», лучшей повести сборника[2]) пополнениями из своей второй, мнимой и несуществующей специальности. Об остальном устно, при свидании.

Желаю тебе счастья.

Твой Б. Пастернак

P. S. Мне надо будет посоветоваться с тобой об одном деле, и если будет время, я забегу к тебе на службу в пятницу (15-го).

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 159).

Бытописатель старой Москвы Александр Иванович Вьюрков родился в Москве и был приказчиком у своего отца, участвовал в Первой мировой войне, был в плену. Вписывая ему в альбом шуточный экспромт, Пастернак называл его «замечательным, душевным человеком». «Единственный твой недостаток, какой я заметил, это что ты завел этот альбом» («Пришел за пачкой облигаций...» — т. II наст. собр. С. 479).

[1] Рецензируемая книга А. Вьюркова «Москва-матушка» вышла под назв. «Рассказы о старой Москве» в 1948 г.

[2] «Горбун» и «Агат» вошли в книгу «Рассказы о старой Москве».

822. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

15 ноября 1940, Переделкино

Дорогая Оля! Твое молчанье все больше тревожит меня. Что с тобою, все ли у тебя благополучно? Я боюсь задавать вопросы тебе, мне страшно их договаривать из суеверья. Напиши мне пару слов, успокой меня. Не в обиде ли ты на меня? Кажется, меня выругали у вас в Ленинграде. Может быть, это так уронило меня в твоих глазах, что ты больше не желаешь знать меня? Или, может быть, действительно ты не понимаешь моей шутливости в отношении себя и тебя, и это тебя задевает?

Если бы ты только знала, как мне тебя недостает! Каким счастьем было бы, если бы ты могла немного погостить у меня. Как твое здоровье после весеннего паденья?[1] Неужели нет ничего нового относительно Саши? Я так встревожен твоей безответностью, что начинаю сомневаться в твоей собственной безопасности и собираюсь запросить Ленинградский университет, существуешь ли ты в природе.

Ах, до чего часто нужно тебя! Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но, как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то «седьмой молодости» (твое выраженье). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепленье. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробужденьем в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к

которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду![2] Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить.

Представь, Дудлика надо определять в университет (естественный или физ. мат.), чтобы предупредить солдатчину[3], а то он все забудет, — как время бежит, — а Леничка, совершенный дед, умный, строгий, восприимчивый (2 года 10 месяцев) так запутался в семейных осложнениях, что не считает Зину своей матерью и удивляется, зачем Женичке столько пап (он считает, что папа вещь производная от дома и в каждом доме есть свой папа).

Но самое удивительное было с вестями от наших. Весной и в начале лета, когда я лежал в больнице, я мысленно распростился со всем, что любил и что было достойного любви в преданиях и чаяньях Западной Европы, оплакал это и похоронил, в том числе, значит, и своих. Особенно когда ко мне стало возвращаться здоровье и когда впервые, серьезно столкнувшись с медициной, я увидал, как дано мне еще жить и как много у меня еще сил, которых я не знал. Я думал, на что это мне и куда все это будет приложить, когда тем временем до такой неузнаваемости изгадили планету? И вдруг, о чудо, Бог не выдал, свинья не съела! Стало возвращаться и *это*, мировое, здоровое, воскресло и вызывает тайное и всеобщее умиленье, скрытное и суеверное, как запретная (и самая сильная) любовь, — молодцы англичане, что ты скажешь! Но ведь еще рано, что еще будет, однако, вместе с тем и не рано, потому что обо всех дорогих я знаю, что они есть на свете, и это солнцем встает каждый день над этой зимней жизнью в лесу. Очень странно, что на этом обрываю письмо, писать можно было бы без конца, но напиши со своей стороны и ты, как и что, прошу тебя.

P. S. Напиши мне, пожалуйста, обо всех, о тете, о Клариной и Машуриной семье (кланяйся им, пожалуйста), о себе и о своих работах. Тебе, должно быть, очень трудно сейчас, не правда ли, — сужу по нашим затруднениям. А Гамлет начнет окупаться только года через полтора после постановки[4].

Вышел сборник моих переводов, выбор случайный, больше половины — вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и *очень важный* для меня Верлен, послать ли тебе?[5]

Напиши хоть открытку, что ты и тетя живы!

Твой Б.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] «Один советский гражданин», как писала О. Фрейденберг, так толкнул ее, влезая в трамвай, что она разбила себе лоб, получила сотрясение мозга и перенесла операцию (там же. С. 182).

[2] Регулярные поездки в город объяснялись шедшими во МХАТе репетициями «Гамлета», во время которых вносились новые изменения в текст перевода.

[3] По новым законам о военной обязанности у Е. Б. Пастернака, которому исполнилось 17 лет, не оставалось времени для поступления в университет. Он намеревался за полгода кончить десятый класс и сдавать вступительные экзамены зимой.

[4] Надежды на постановку «Гамлета» не оправдались, спектакль не был поставлен во МХАТе из-за начавшейся войны.

[5] Дарственная надпись на книге: Борис Пастернак. Избранные переводы. М., 1940: «Дорогой сестре Оле с обычным у близких чувством нежности, вины и недоуменья перед быстротою жизни. *От Бори.* 15. 11. 1940. Переделкино».

823. Н. ТАБИДЗЕ

23 декабря 1940, Переделкино

23. XII. 40

Дорогая Нина!

Простите, что пишу Вам второпях. Спасибо за письмо. Как-то всегда так выходит, что когда я бываю чем-нибудь озабочен, удручен или рассержен, Вы вдруг вспомните обо мне, и я чувствую себя тогда не таким одиноким.

Затем главное. Ничего дурного о Т<ициане> я не узнал, напротив, не было случая, чтобы мне не рассеивали моих опасений уверенно, горячо и определенно. Леонидзе убежден, что он жив и что его собираются освободить.

Теперь о другом. Легко могу себе представить, как Вам должно быть трудно, если затрудненья испытываем мы все кругом. Именно эта надежда суметь быть Вам полезным заставила меня все время откладывать переписку с Вами. Но Вы не поверите, в каком черном теле стали нас всех держать. Это не может продолжаться вечно. Я думаю, в новом году обстоятельства сложатся у меня удачнее, то есть как бывало прежде.

Я живу с Ленечкой на даче, а Зина с мальчиками в городе. Два раза в неделю утром я езжу по делам в город с утренним поездом 6.54, то есть встаю за два часа до рассвета. Пишу Вам как раз накануне такой поездки и оттого эти строки такие торопливые и не-

живые. Между прочим, эти выходы из дому на исходе морозной зимней ночи доставляют мне много радости и полны прелести, потому что напоминают детство и школу. Меня донимают все большие и большие стесненья, нелепости, таинственные абсурды, многозначительные недомолвки и, главное, пропасть немолодого и, следовательно, тем более драгоценного времени, которое на все это уходит. Мое единственное утешенье — Художественный театр, который по близости, родственности, простоте и тонкости атмосферы может встать вслед за Вами, П<аоло> и Т<ицианом>.

Никто еще моего Гамлета не осудил, но так как я житель той же планеты, на которой случаются неожиданности с Леонидом Макс<имовичем>[1] и другими, то что мешает какому-нибудь из «специалистов» или людей какой-нибудь другой категории, которым я не угожу, объявить перевод вульгаризацией или сниженьем Шекспира, так же, как в прошлом году они бы упрекнули меня в идеализации и т. д., а тут недалеко и до обвиненья в хулиганстве. Никто не доказал, что все должны обожать меня и желать мне счастья. И так как «критические голоса» уже раздаются, то можно предсказать, что кончится и это, как все кончается. Правда, все это в каких-то секциях, редакционных отделах издательства и, короче говоря, на улице, но не в театре. В него-то я и езжу по утрам, в нем и провожу два раза в неделю полдня.

Крепко Вас и Ниту целую. *Ваш Боря*

Умоляю, простите за спешку; я этого письма не писал. При первой свободной минуте напишу настоящее.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 17).

[1] Леоновым.

824. Н. ТАБИДЗЕ

27 декабря 1940, Переделкино

27. XII. 40

Нина, с Новым годом! Я люблю Вас крепко-крепко, и когда Вы не находите следов этого в моих письмах, значит их писала усталость, отчаянье или торопливость. Я очень жалею, что написал Вам на днях второпях и между делом.

Сейчас я вернулся из города и от усталости засыпаю за письмом, хотя в то же время Вы все время перед моими глазами. Нина, Вы человек такой *важности* в моей жизни, что у меня иногда такое чувство, что я люблю Зину потому, что Вы мне это позволили.

Постепенно все в городе улаживается. На меня еще будут валиться всякие шишки, но в основе ко мне чудное отношение и, вообще, я, конечно, страшно счастливый человек.

Я это пишу Вам, так как знаю, что это счастье когда-нибудь разделю с Вами и с Т<ицианом>, что мы как-нибудь вчетвером, с гостями еще когда-нибудь пообедаем всем пережитым, вкусно, в течение целой летней ночи, или нескольких, и будем друг у друга гостить, счастливо, утомленно, отдохновенно!

Тициан жив и где-то совсем недалеко, и ждать остается все меньше и меньше. Т<ициан> — лицо коренное моего существованья, он бог моей жизни, в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счастливым, так любить Вас, занимать такое место во времени и ждать еще так многого для себя впереди, если бы Т<ициан> *еще не предстоял мне.*

Простите, Ниночка, что я так свободно фантазирую и орудую таким трудным, святым и кровным, как наша невымышленная жизнь. Честное слово, это не легкомыслие и я пишу сквозь слезы.

Итак, присоедините и мой горячий вздох к тому теплу, что Вы с друзьями надышали в новогоднюю ночь. Пусть это будет воистину *встречей.*

Ваш, самый преданный Вам и Ните и всему Вашему. *Б. П.*

P. S. В 1941 г. дела пойдут лучше — вот увидите.

Вы, наверное, решите, что я выпил, а я еще не обедал и с 6 ч. утра до сего часа (тоже 6-ти) ничего не ел.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, 24950, 10).

825. Н. ТАБИДЗЕ

31 декабря 1940, Переделкино

31. XII. 40

Дорогая Нина!

Я рад, что свое сумасшедшее письмо успел написать и послать до получения Вашего. Там Вы найдете ответ на все Ваши опасения.

Милая, любимая моя Ниночка, не падайте духом. Воспользуйтесь первою служебною возможностью, чтобы приехать к нам с Нитою. Я думаю, в январе или к концу его я не буду оставлять Вас так бессердечно без всякой поддержки, как в последнее труд-

ное время. Про Тициана я думаю, что Вам писал. Никто пока не разубеждал меня.

В пятницу по возвращении из города я писал Вам, что считаю себя счастливейшим человеком[1], а тою же ночью, с пятницы на субботу, Леня разбудил меня нечеловеческим криком, и я нашел его карабкающимся на краю кровати. Ему приснилась живая рука, хватающая его за ногу под одеялом. Несколько часов он кричал, как зарезанный, и его не было возможности успокоить. Около двух суток он ввалившимися, блуждающими глазами осматривался по углам, вздрагивал, боролся с сонливостью и отказывался сойти с рук на кроватку. Не раз, взяв его на руки, я оказывался не в силах совладать с собой и начинал плакать навзрыд, что производило на него оздоровляющее действие — жалость ко мне вытесняла в нем его животный эгоистический страх. Мне казалось: все это начало падучей или чего-либо мозгового на почве истерии. За три дня я похудел, состарился и сбился с ног.

Приехала Зина, ему лучше, он спит с нею в постели. А в то же время мне через день приходилось ездить в город, торговаться, заниматься вымогательством и требовать денег. За эту неделю я страшно устал. Сегодня 31-е, встреча Нового года, и опять я еду в город по делу, к тому же страшный мороз и у меня от предшествовавшего утомления разболелась спина. Но увидите, опять все будет скоро радостно и чудесно.

От души желаю Вам и Ните здоровья и счастья. У меня к Вам просьба. Если Вы можете иногда, помолитесь, чтобы Леничка был погрубее и не так чувствителен, что может быть страшнее зрелища детского страданья!

Крепко, крепко, крепко обнимаю Вас. *Ваш Боря*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 17).

[1] Письмо № 824.

1941

826. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

4 февраля 1941, Переделкино

4. II. 41

Дорогая Оля!

Эти строки застанут тебя за повтореньем того оледененья, которое ты так замечательно описала, или вскоре после него. Напрасно ты думаешь, что я это говорю, чтобы сказать тебе приятное. Ты сама знаешь цену своим талантам и характеру, что же удивительного, если я так ценю каждый их знак.

Итак, спасибо за письмо, бывшее для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что написать тебе, поздравить тебя с мамой с Новым годом и попросить насчет Ахматовой было у меня в идее и осталось неисполненным намереньем. Я не помню своего письма, и, несмотря на твои слова о нем, у меня ощущенье, будто ты угадала мои мысли и на них отвечаешь.

Не представляю себе, как вы живете, так все кругом затруднилось. Напиши мне искренне, как я этого заслужил, не нужно ли тебе денег.

Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаянье. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему[1] кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. П<етр> I уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлеченье, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость[2]. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня последнее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты,

а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик. Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным. Прости, что некоторыми местами письма, может быть, огорчаю тебя, больше никогда не буду.

Зина благодарит за память и очень кланяется тебе и маме. Леню на днях возили в город и повели в парикмахерскую. Он спросил, что тут будут покупать, и, когда узнал о назначении заведенья, поднял шум и потребовал, чтобы его увели. Тот же интерес к предмету торговли проявил он у фотографа и кончил тем же скандалом и требованьем. Я попрошу, чтобы его снял кто-нибудь из знакомых с аппаратом, и пришлю карточку, а пока нечего посылать. Он растет дикарем, хотя и очень хитрым, трусливым и нервным.

Ты получишь журнал с Гамлетом[3], если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме, и хотя я знаю, чем он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для Гослитиздатского изданья (но не для МХАТа!), и я мог бы дождаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, *рискованный* (я этого, конечно, не сознаю, это естественно) и даже неудачный варьянт. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, — меня к концу торопили.

Но не шучу: если в виде одобренья или порицанья у тебя будет о нем больше двух строчек, это огорчит меня; достаточно и той жертвы, которую тебе придется принести, в смысле сил и времени на его прочтенье.

Крепко тебя и маму целую. Сделай мне удовольствие, ответь по поводу одной из низких истин, относительно денег. Однажды ты меня на этот счет успокоила. Так ли все это еще и теперь?

Пишу тебе в самый мороз, весь день топлю печи и сжигаю все, что наработаю.

Твой Боря

Я забыл поблагодарить тебя за Ахматову, большое спасибо.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Речь идет о Сталине. Титул Эвергета (Благодетеля) носили эллинистические правители (тираны). Под тем же названием выступает диктатор в романе Е. Замятина «Мы».

[2] Имеются в виду А. Н. Толстой, который за роман «Петр I» был удостоен Сталинской премии и заявивший, что начинает работу над пьесой «Иван Грозный», С. Эйзенштейн, начавший перед войной снимать фильм «Иван Грозный», и С. С. Прокофьев, который писал музыку к этому фильму.

[3] Первая публикация перевода «Гамлета» была в «Молодой гвардии» (1940, № 4–5).

827. Н. и Т. ТАБИДЗЕ

6 февраля 1941, Москва

Дорогая Нина!

Вот и опять я долго не писал Вам. Тем временем Вы не оставляли меня без известий и изредка давали знать о себе. Очень часто, да будет Вам ведомо, Ваши письма ждали меня дома по возвращении из города или, вернее, в почтовом ящике из фанеры, который, например, сделал Василий[1], и, например, конечно, в снегу. (Помните ли Вы его и его привычку вставлять слово «например» где нужно и не нужно?) За редкими исключеньями из города возвращаешься измученным, раздраженным и уничтоженным обидами и неудачами, и тут присутствие Ваших писем в соединении с чистотою хорошо убранных комнат и безукоризненностью зимних видов в окне производило во мне совершенное перерожденье, за которое Вам горячее спасибо.

В одном письме Вы писали мне, что в душе у Вас хаос и Вы не знаете, чего хотите и чего не хотите. Нина, Вы для меня друг, жена друга, и Нина, и я Вам скажу просто, как сестре: Вам нужно все то, что продлит Ваши дни и сохранит Вас для Тициана, и пользоваться всем этим Ваше право. Вам нужна совершенная свобода поступков, не осложненная никакими непрямыми соображеньями и полная прозрачность и чистота сознанья, без этой свободы немыслимые. Вам должно быть хорошо.

Когда я телеграфировал Вам, что Леня здоров[2], у него продолжались еще капризы и перепуги, но теперь, слава, слава Богу, он совсем спокоен и все у меня с ним идет по-прежнему.

Мне передались Ваши огорченья по поводу Ниты. Помните, Вы писали об ее усталости и о том, что она ничего не видит впереди. Если хотите, я напишу ей, не говоря ни слова о том, что знаю это от Вас, да нет, — я просто приложу это письмо на Ваше усмотренье и от Вас будет зависеть воспользоваться ли им или не давать ей.

Это явленье общее у очень многих из нынешней молодежи, и как раз лучшей ее части. Бедные, они и не подозревают, какое

множество труда и разнообразие задач предстоит им и в какой пестроте и скорости будут они наверстывать странный и горький застой, бывший нашим уделом.

Дорогая Нина, если меня не обманут и теперь, я, может быть, смогу то, в чем так долго себе отказывал. Я потерял адрес Мирзоевой и переведу Вам непосредственно. Тогда не сердитесь и не обижайтесь, что так мало[3].

Крепко Вас и Ниту целую. *Ваш Боря*

Нина, опять я Вам пишу в неудачную минуту. Простите, что все это и в особенности Нитин листок так скучно и бездарно.

6. II. 41

Дорогая Нита!

Как бы мне хотелось посмотреть на Вас. Я бы Вас наверное совсем не узнал. Из одного мамина письма я заключил, но, может быть, ошибочно, и тогда Вы меня простите, что неясность будущего и однообразие настоящего иногда надламывают Ваши силы своей видимой пустотой. Я по старшему сыну знаю об этих вещах, и не сердитесь, что решил написать Вам.

Нита, Вас насильно разлучили с отцом, и *таким* отцом, и вот Вы выросли и не погибли. С нравственной стороны Вы уже почти готовый герой, Вы часть героической истории и порождение героизма. Вам ли унывать?

Все Ваши лишенья окупятся сторицею. И главное: все мы верим, что первая из радостей, предстоящих Вам, это встреча с папою, его возвращенье. Стоит ли и надо ли говорить об остальных?

Во всяком случае знайте. Только надежда застать часть Вашего ослепительного будущего — живого, разнообразного, богатого событиями, нравственно оправданного и беспредельного по одухотворению, заставляет нас, усталых и состарившихся, цепляться за жизнь и ценить и желать ее в любых ее формах. Как это ни далеко, все далекое станет когда-нибудь близко.

Ваш Б. П.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7 (Нине); «Литературная Грузия», 1966, № 1 (Ните). — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 26; № 021915, 7).

[1] *Василий* — сторож на даче Пастернака.

[2] В письме № 825 Пастернак писал о ночном испуге сына.

[3] Сохранился талон к почтовому переводу на 500 р.: «Еще раз всего лучшего, Нина. Простите и что такие пустяки, и что по Вашему адресу» (ГМГЛ, № 24950, 19). Н. Табидзе просила, чтобы Пастернак посылал деньги по адресу ее соседки Мирзоевой.

828. М. В. ЮДИНОЙ

8 февраля 1941, Переделкино

8. II. 41

Дорогая Мария Вениаминовна!

У меня был совершенно сумасшедший январь, чем и объясняется моя кажущаяся небрежность. Я с самого начала отозвался согласием на Ваше предложение[1] главным образом потому, что это Вы и что Вам надо. Мне хотелось что-нибудь сделать для Вашего собрания с тою необязательностью, которая лишает готовность этого рода всякого значения.

Так на нее и смотрите. С деловой точки зрения мое обещание равносильно нулю. Считайте меня одним из запасных исполнителей Вашей мысли, а не основным участником. Верьте, в этой роли я никогда не опоздаю.

Как Ваше здоровье? Как ужасно, что мне все не удается повидаться с Вами. Бесполезно рассказывать Вам, как проходит мое время, так как Вы все равно не поверите, и у Вас на этот счет свои, очень облагороженные и облегченные представленья. Не обижайтесь на меня. Вы знаете, как я ценю, люблю и как безмерно высоко ставлю Вас. Остальное несущественно.

Преданный Вам *Б. Пастернак*

Впервые: Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1978. С. 260–261. — Автограф (РГБ, ф. 527).

О начале знакомства с М. В. Юдиной см. в письме № 468.

[1] М. В. Юдина просила Пастернака перевести некоторые стихотворения Гёте для готовившегося ею сборника песен Шуберта.

829. Е. М. СТЕЦЕНКО

8 февраля 1941, Переделкино

8. II. 41

Дорогая Елисавета Михайловна!

Горячо благодарю Вас за письмо, за Ваши слова о Жене и Лёне, за все, за все.

Вы должны были догадаться, что, если на *такое* письмо, как Ваше, от кого бы то ни было, даже от совершенного животного, не последовало тотчас же ответа, должно было случиться нечто непредвиденное и чрезвычайное, что этому помешало. Почти весь январь я был занят кропотливой и головоломной работой той степени срочности и неотложности, которая одной уже этой болез-

ненностью «темпов» должна была бы наводить на подозренья, как нечто аффектированное, выдуманное и ненужное. Но этим видом деятельности, напоминающим припадок истерии или умопомешательства, придают серьезность несуществующим сторонам жизни, и в этом назначение большинства учреждений, объединений и т. д. и т. д. По требованию издательства я должен был совершенно переделать Гамлета в духе нелепом, неприемлемом, спорном и никому не нужном. Если бы меня к этому побуждало только давление обстоятельств, я бы, может быть, не поддался. Но я согласился, как под хлороформом, оглушенный отвращеньем. Мне так смертельно не хотелось и не следовало слушаться, что я подчинился. Около месяца я коверкал и портил — плохо ли, хорошо ли, но однажды уже сделанное, лишился сна, перемарал корректурные листы до полной неудобочитаемости и пальцами, разъеденными от красных чернил, подал плод этих трудов кому и куда нужно[1].

Тут же я узнал, что с красных чернил не набирают, потому что это цвет высшей, неавторской окончательности и пурпур присвоен цензуре, так что всю мою работу будут переписывать сызнова и по-новому перевирать. Когда же ее перезеленили (работа нескольких машинисток, стопы исписанной бумаги на столах), в издательстве пришли к заключенью, что я был прав, раньше лучше было и они восстановят прежний текст. Ну что Вы скажете, Елизавета Михайловна! Ну как не выкатываться после этого на тротуар в падучей?

Дорогая Елизавета Михайловна, когда я читал Ваше святое, полное забот о детях, об Авиновой[2], обо всем на свете горящее, одухотворенное письмо, я думал, как хорошо, что на свете есть помехи и препятствия и «бремена» и гири, а то сердца такого выдающегося совершенства, как Ваше, сгорали бы разом при первой жертве собой и мигом подымались бы к небу. Их обществом мы, таким образом, обязаны неустройствам и трудностям жизни. Вот Вам и оправдание зла, которое так не удавалось Лейбницу.

Марии Юрьевне надо знать следующее. 1) Моим именем она может пользоваться где и как ей заблагорассудится, потому что в любом положении, полезном ей, такая ссылка (ничего mot*, не правда ли?) будет соответствовать истине.

2) Всюду о ней сказано. 2-я половина XIX века в Учпедгизе с Эйхенгольцем предположенье еще очень далекое. Планы хрестоматии еще не рассматривались и не утверждены, то есть еще не

---

* меткое слово, каламбур (*фр.*).

образовалось и неизвестно, образуется ли дело, участие в котором ей, наверное, обеспечено.

3) Маршака нет в Москве. По этой же самой антологии не все у меня самого обстояло с Маршаком блестяще, — но это к делу не относится[3]. Я говорил с заместительницей Маршака[4], от которой узнал следующее. Они работу М. Ю. видели и отнеслись одобрительно и до моих похвал (я им рассказал о вещах, которые читал в позапрошлом году). Через месяц, по возвращении Маршака работы по собиранию материала возобновятся. Наверное, переводы М. Ю. войдут в сборник. *Они собираются заказать ей сами что-нибудь по своему выбору.* Это было сказано в ответ на мои слова о денежной реализации сделанного. Я им еще раз об этом напомню. Указала ли М. Ю., как им с нею сноситься?

Не удивляйтесь, что я неожиданно оборву письмо. Вам давно уже, верно, некогда читать его. Моя мечта показать Вам когда-нибудь Леничку. Целую Ваши руки и еще раз за все благодарю. Привет от всего сердца Ипполиту Васильевичу[5].

Крепко Вас любящий и преданный Б. П.

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф.

[1] Упомянутая корректура — ИМЛИ, ф. 120, оп. 1, № 14.

[2] Мария Юрьевна *Авинова*, урожденная Новосильцева, вдова расстрелянного проф. Н. Н. Авинова, давняя приятельница Е. М. Стеценко.

[3] Имеется в виду Антология английской поэзии, составляемая С. Маршаком, для которой Пастернак перевел стихи Дж. Китса и Дж.-Г. Байрона (1938). См. письмо № 809.

[4] Е. С. Живовой.

[5] И. В. Стеценко — муж Елизаветы Михайловны.

830. С. П. БОБРОВУ

5 марта 1941, Переделкино

Дорогой Сережа, прости за лаконизм и сухость, но я боюсь, что если не так, дело опять отложится, и я никогда не напишу требуемого[1]. Не всегда все складывается в жизни, как думаешь. Заметок о Гамлете не вези, совершенно не до того.

Сердечный привет Марии Павловне.

Твой Б.

Прости, но все время хочу тебе сказать и все забываю: не будь, пожалуйста, в возобновившейся деятельности[2] опять так ядовит,

как когда-то. Во-первых, это и вообще не требуется, а затем прошу и ради тебя, так как снова наживешь врагов. Не сердись. Адрес на конверте.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 563). Датируется по штемпелю на конверте.

[1] Имеется в виду приложенный к письму отзыв на сделанное Бобровым переложение «Песни о Роланде»: «Для Учпедгиза или редкомиссий Наркомпроса. Отзыв. Перевод "Песни о Роланде" С. П. Боброва сделан рукою художника и с этой стороны представляет серьезное литературное приобретенье. Перевод дан в живых и умелых извлеченьях, устанавливающих непрерывность действия без отягощающих подлинник длиннот и повторений. Главные достоинства работы — художественное богатство языка и естественность принятой в основанье ритмической единицы, всесторонне себя оправдавшей как по разнообразию звуковых оттенков, так и отзывчивостью ко всем требованьям слога, предъявляемым большим и драматизированным содержаньем. Как это вообще в природе художественных произведений, значенье перворазрядной работы Боброва безусловно, т. е. оно сохраняется за ней во всех случаях, как бы велики ни были достоинства одноименных и соперничающих явлений. *Б. Пастернак.* 5. II. 41. Переделкино» (там же, ед. хр. 781).

[2] С. П. Бобров был арестован в декабре 1933 г. и сослан в Кокчетав, потом жил в Александрове. В 1941 г. получил возможность вернуться в Москву, зарабатывал переводами.

831. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 марта 1941, Переделкино

20. III. 41. Дорогая Оля!

Вот Ленечка[1], мое утешенье. — Я тебя не поблагодарил еще за письмо. — Итак, Гамлет тебе не понравился, несмотря на глубокомыслие твоих отговорок. Но именно за их ласковую шутливость тебе спасибо, за Боречку, которым ты меня назвала.

Недавно я разбирал сундук с папиными набросками, самыми сырыми и черновыми, с его рабочей макулатурой. Помимо радости и гордости, которые всегда выносишь из этих пересмотров, действие этого зрелища уничтожающе. Нельзя составить понятья, не измерив этого в ощущеньи, разницы несхоластического времени, когда естественно развивавшаяся деятельность человека наполняла жизнь, как растительный мир — пространство, когда все передвигались и каждый существовал для того, чтоб отличаться от другого. Оля, Оля, мое существованье жалко и позорно. Часть этой досады тебе знакома по твоему собственному опыту.

Но ты наталкиваешься на препятствия, тебе мешают интриги, у меня же нет этого оправданья. Мне кажется, что у меня давным-давно сами собой опустились руки. Иногда под влияньем этой горечи срываешься [2].

Прости за неожиданную остановку. Дальше следовали совершенно ненужные нескромности.

Лучше вернемся к цели письма. Я хотел сообщить тебе, что Лида родила девочку[3]. У ней два мальчика, это третий ребенок. Что же касается Лени, то, конечно, он вылитая Зина, но не кажется ли тебе, что в то же время он напоминает Жоню?

Крепко, крепко целую тебя и тетю Асю. Как ее здоровье? Еще раз горячо тебя благодарю за заботливость в отношении Гамлета. Меня страшно интересует, чем кончится твоя борьба с темными силами в университете.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] В письмо вложена фотография трехлетнего Лени Пастернака.

[2] Далее идут пять вычеркнутых строк.

[3] Л. Л. Слейтер родила дочь, названную Розой в память недавно скончавшейся матери.

832. Н. ТАБИДЗЕ

21 марта 1941, Переделкино

21. III. 41

Нина, Вы прелесть, я обожаю Вас. Спасибо за золотое письмо. Простите, что отвечаю так поздно. У меня были дела и еще многое другое. У нас большое огорченье. У Адика костный туберкулез правой ступни, его в скором времени повезут в Евпаторию, в санаторий. Между прочим Зине было бы легче, если бы он находился в каких-либо более знакомых краях и невдалеке от близких, и она подумала о Грузии. Нет ли у Вас подходящих заведений? Имейте в виду, что из детского возраста он уже вышел, и это должен быть санаторий для взрослых. Видите, какие у нас печальные новости.

Вот опять, Ниночка, мне дали по морде (с награжденьями) и совершенно справедливо[1]. Я наверное и правда полное ничтожество, и грош мне цена, если я мирюсь с позорной двойственностью своего имени, неизвестно чем приобретенного, и не спешу написать, наконец, что-нибудь стоющее и законченное, чтобы

оправдать эти кредиты и авансы, а все перевожу и продолжаю строить судьбе глазки.

Вас должно удивить, что я ни словом не отозвался на смерть Гаприндашвили[2]. Между тем это не случайно. Мои мысли о нем слишком близки к моим мыслям о самом себе, хотя его, бедного, уже нет, а я жив и продолжаю отделывать скандальность своего положенья. Хотя как будто бы мы не похожи, но в обоих случаях та же душевная собранность, та же глубина глаза, та же способность и желание переписать все окружающее в образах, и та же в конце концов, никчемность и неурочность даром пропавшей жизни.

Нина, у меня к Вам просьба. Летом у меня были от вашего русского театра в Тифлисе, и взяли текст Гамлета для предполагаемой постановки. Не могли ли бы Вы узнать как-нибудь стороной, отчего это у них расстроилось (иначе я бы знал об их работах).

Напишите мне об этом, как узнаете, не щадя меня.

Странное письмо, Нина, не правда ли? Подумайте перед тем, как будете отвечать. Не пишите мне успокоительных пустяков, но если у Вас есть мысли на этот счет, поделитесь со мною.

Целую Вас. *Ваш Боря*

Зина в городе. Если захотите написать ей (насчет Адика), адрес: Москва 17, Лаврушинский 17/19 кв.72.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1 (конец письма); полностью — «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 28).

[1] Пастернак не был включен в список награжденных орденами и медалями за заслуги в советской литературе.

[2] Речь идет об официальном некрологе «Памяти Валериана Гаприндашвили», подписанном В. Гольцевым, П. Антокольским, Б. Пастернаком и др., в «Литературной газете», 9 февр. 1941.

833. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 апреля 1941, Переделкино

8. IV. 41. Дорогая Оля! Сердечное, сердечное тебе спасибо за твое золотое письмо. Тебя справедливо удивляет, наверное, такое промедленье ответом. Между прочим, — как я пишу маме, — я ждал этой эстонской бумаги[1], которую хотел «почать» письмом к тебе. Кстати, у вас она должна быть в Ленинграде, и если ее не продают при университете, то, может быть, она имеется у писателей. Хочешь, я напишу в ваш литфонд, чтобы тебе отпустили пачку?

Благодарю за чувства, за слова о Лёне, за поддержку, за доброту. Твое письмо пришло в воскресенье 30-го, ты спрашиваешь о Дудлике. Он у меня гостил как раз в те дни, а в воскресенье на даче была и Женя. В прошлом письме я стал было тебе писать про разные интимности и бросил[2]. Не ставь этого ни в какую связь с упоминанием о Жене и Женечке, но в общем клубке недовольств, из которых главное — недовольство зря потраченною жизнью и собою, было у меня и раздраженье того свойства, что мне опять захотелось сломать и по-новому сложить свою жизнь. Полтора месяца тому назад я поссорился и расстался с Зиной. Я немного помучился, а потом вновь поражен был шумом и оглушительностью свободы, ее живостью, движеньем, пестротой. Этот мир рядом. Куда же он проваливается, когда мы не одни? Я преобразился, снова поверил в будущее. Меня окружили товарищи. Стали происходить неожиданности. Так бы и осталось, если бы не удары, посыпавшиеся на Зину.

Во-первых, я не думал, что она примет это все так трагически. Писать и говорить об этом вообще нельзя и нескромно. Но когда к ее горестям прибавилась болезнь старшего мальчика, которого на днях повезут в Евпаторию, выдерживать свое решенье стало, может быть на время, невозможно. Я тут помогу ей, а там будет видно. Чего-то забытого и вновь недавно испытанного я назад не уступлю. Я пишу тебе сбивчиво, с пропусками и помарками, и бесчеловечно. Она чудная, работящая, человек со страшно трудною жизнью и такая же рева, как Леничка. Но поговорим о другом. При мысли о Греции у меня сердце сжимается. Мне кажется обстановка опять, как прошлым летом, когда немцы неслись лавиной и брали страну за страной. Дай Бог, чтоб я ошибся. С восхищеньем читал твой рассказ об университетских «Ра» (доктора, профессора). Чем же в итоге все кончится, будут ли они тебя печатать? Ах, как везде все повторяется! Но твое письмо так содержательно, что на него нет возможности ответить сразу. Разумеется, пошли телеграмму нашим, можешь себе представить, как они будут рады. Телеграмма из 25 слов стоит 12 руб. и озаглавливается ELT (вероятно: Europe letter telegram). Телеграфируй по-английски. Адрес: Pasternak 20 Park Town Oxford. Если по каким-нибудь внутренним соображеньям раздумаешь, сообщи мне, что хочешь им сказать, и я введу твои слова каким-нибудь Olga reports...* в свою телеграмму. Итак, на днях, может быть, повезу одного из наших

---

* Ольга сообщает... (*англ.*).

мальчиков в Евпаторию. Спасибо тебе еще раз. Ты не можешь себе представить, как ценю я твою поддержку, и — дай мне только уладить годами скопившиеся упущенья, ты увидишь, я не обману тебя. Зина вам кланяется и действительно, когда вернется из Крыма, напишет маме. Крепко тебя целую.

Твой Боря

Прости за эти пустые записки, столь оскорбительно-торопливые в ответ на твое глубокое, значительное письмо, но это мое проклятье, все второпях и на ходу.

Дорогая тетя Ася!

Какою радостью было для меня и Зины опять увидать строки, написанные Вашей рукою! Горячо благодарю Вас за сказанное. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы повидали Леню. Он все же очень и в меня. Он страшно серьезный, мрачный, рассудительный и упрямый; чувствительный, обидчивый и пугливый; может, например, перепугаться моли, или куска материи, или клочка мочалы в матраце и будет плохо спать несколько ночей; видит иногда ужасные кошмары; очень наблюдателен и умен. Фантазиями и страхами он в Жоничку и в свою бабушку с моей стороны.

У Женички, при всей тонкости, не было таких нервов. Вы о нем спрашиваете. Он весною кончает среднюю школу и, верно, попадет в солдаты. Я хотел добиться, чтобы он побывал до этого в университете, как бывало в наше время, и сначала хлопоты, как казалось, могли увенчаться успехом. Но для этого пришлось бы идти по очень нескромной линии и выдавать его за вундеркинда, чего на самом деле нет и мне не хотелось. И у Жени осталось такое чувство, точно я недостаточно по отношению к нему заботлив. Пока я жил в городе, т. е. в прошлом году, я туда водил иногда Леничку. Они его очень любят. Но скоро год, как они его не видали. Зина обязательно напишет Вам, тетя, и уже написала бы, но ее надо простить и она достойна сожаленья. К утомленью от зимы у ней прибавилось несколько огорчений, из которых главное — болезнь старшего мальчика. У него костный туберкулез левой ступни, он лежит в гипсовой повязке, и на днях она повезет его в Евпаторию. Если мне будет кого оставить на даче, я для помощи поеду тоже.

Тетя, я обращаюсь к Вам и себе не верю. Разумеется, если бы я по всей серьезности последовал своему чувству, я должен был бы написать Вам нечто бесконечное. Если бы 25 лет тому назад нам сказали, что будет с каждым из нас, мы бы сочли это сказками. И от-

того после каждого письма Вам, Оле или самым близким людям остается ощущенье промаха и оплошности, точно не сделал чего-то должного или обещанного. Олино письмо так осчастливило меня, доставило такую радость, что я сейчас же ответил бы ей и только ждал этой эстонской бумаги, чтобы обновить ее письмом к Вам.

Крепко целую Вас.

Ваш Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. На письме дата, поставленная О. Фрейденберг, почтовый штемпель 12 апр. 1940.

[1] После присоединения Прибалтики в Москве появились в продаже прекрасные писчебумажные принадлежности и кондитерские изделия из Латвии, Эстонии и Литвы.

[2] Имеется в виду вычеркнутое место в письме 20 марта 1941 (№ 831).

834. Н. ТАБИДЗЕ

14 апреля 1941, Переделкино

14. IV. 41

Дорогая Нина!

Надо с Вас снять глупое бремя, которое я на Вас взвалил. Относительно Гамлета и Тифлисского театра все уже ясно из Вашего молчания[1], а на остальные вопросы не надо отвечать. У меня свои на них ответы, и ни Вам, ни мне сейчас не до того: у Вас экзамены и всякие весенние заботы, а у меня горе с Адиком, которому очень плохо. Спасибо Вам за письмо о Коджорах и Нитину золотую готовность помочь мне и Зине[2], но Адика поместят в Евпаторийский санаторий, когда ему станет легче. Гноение у него протекает очень бурно, температура иногда поднимается до 40 градусов, весь его организм под угрозой. Может быть, ему придется сделать операцию, — удалить голенно-стопный сустав[3], после чего он утратит подвижность ступни на всю жизнь. Это выяснится на днях. Разумеется для нас это страшный удар.

Странно, что я Вам писал в таком малодушии. Наоборот, у меня всю зиму накапливались задор и воинственность. Продолжающаяся неизвестность насчет Тициана большое для меня горе. Тот факт, что Вам не ответили на Ваши письма, наполняет меня неослабевающим бешенством.

Осеннее совещание с запрещеньями пьес в ту самую минуту, как я хотел проститься с переводами и приняться за собственные работы, тоже взорвало меня. Неизменность, с которою из всего, что даешь в редакции, печатают только худшее и самое бледное, а

от сложного приходят в восторг и возвращают ненапечатанным, тоже поддерживает постоянное раздражение.

Месяца два-три тому назад я почувствовал, что больше так не могу и надо опять все разбросать в своей жизни. Я сильно поссорился и расстался с Зиной. Меня окружили товарищи, Федин, Никитин, Погодин, Фадеев, жившие тут некоторое время, я опять пожил всею действительностью, ее движеньем и звуком, которые почти всю жизнь для нас пропадают. Потом заболел Адик.

Я всегда считал, что два сильно связанных жизнью существа должны быть не только мужем и женою друг для друга, а в разные времена и еще чем-то другим, для чего не всегда есть названье. Я не знаю, что мы сейчас с нею, но кроме Адика ни о чем сейчас не могу думать. Опасность, в которой вдруг оказалась эта молодая жизнь, та самая, которую мы таскали с собой по Кавказу и которую брал на руки Паоло, тоже странным образом вооружает, бодрит и торопит меня, пускай и сквозь горькие слезы.

Напрасно я написал Вам тогда это разочарованное письмо. Если Бог мне поможет, я изо всех сил буду цепляться за свою жизнь и ее не продешевлю. Со времени моего письма к Вам я получал на него ответы от соседей в железнодорожном вагоне, от случайностей. Я знаю, как ничтожны те, ради кого мы от себя отказались. Я еще покажу себя.

Когда насчет Адика будет определенное решенье или при малейшей перемене в состоянии его здоровья, напишу Вам открытку.

Крепко целую Вас. *Ваш Боря*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 25).

[1] В письме № 832 Пастернак просил Н. Табидзе узнать об осуществимости постановки «Гамлета» в Тифлисском театре.

[2] См. в том же письме вопрос о возможности найти для Адика санаторий в Грузии.

[3] Эта операция была сделана в мае 1941 г.

835. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 мая 1941, Переделкино

8. V. 41

Дорогая Оля!

Сегодня я был в городе и узнал от Женички, что Женя в Ленинграде. Наверное, она была у вас, и, значит, по ее возвращении будут новые причины благодарить тебя и писать вам особо. Спе-

шу написать тебе до наступленья этих поводов, в силу более ранних побуждений.

Последние две недели я все боялся, что ты успеешь ответить мне до моего нового письма. Мне хотелось предупредить тебя, а я все время очень занят. Ты должна знать, что я себя чувствую твоим неоплатным должником и чем-то вроде вампира, насасывающегося лучшими соками твоей сердечности и свыкшегося с периодичностью этого дарованного питанья. Береги свои силы, у тебя свой путь, они нужны тебе. Да и просто говоря, ты человек занятой, открытки о здоровьи, вот все, на что я притязаю.

Зимняя переписка с тобою (т. е. твои письма, — я не так сказал) сыграла серьезнейшую роль в моих новейших переменах. Речь не о семейных, я напрасно о них заговаривал в прошлом письме. Но спустя почти 15 лет или более того я опять себя чувствую как когда-то, у меня опять закипает каждодневная работа во всей былой необязательности, когда она только и естественна, без ощущенья наведенности в фокус «всей страны» и пр. и пр. Я уже что-то строчу, а буду и больше, отчего и такая торопливость тона[1].

Итак, мне не только хотелось забежать вперед и попросить тебя, чтобы ты не тратилась на меня так безмерно душою и воображеньем, потому что твоя доброта уничтожает меня, — и чем я на нее отвечу? Но это идет и дальше. Например. Как я ни люблю Леничку, но ваше отношенье к нему тоже превосходит все ожиданья. Надо умерить и эту волну. Приложенную карточку я посылаю именно потому, что на ней он хуже. Его обкорнали наголо, он особенно на ней смущен и растерян и больше, чем на первой, похож на меня.

Наконец, главное, это просьба моя и Зины. Приезжай с мамою летом к нам на дачу, устрой это, подумай, как это будет чудесно. Может быть, в середине лета приедет и будет с Вами наша лучшая приятельница Нина Табидзе, муж которой в лучшем случае четвертый год в неизвестности, да Леничка, да мы. Правда, подумай.

Не судите Зины. На днях она переедет сюда и напишет, а пока в тоске и хлопотах в городе с другим сыном, целыми днями шьет на нас и плачет, — старший мальчик за месяц потерял пуд в весе. Температура с незапамятного времени все высокая, одним туберкулезом сустава не объяснимая.

Итак, спасибо, спасибо, спасибо. Крепко обнимаю тебя и маму. Тетя Ася права, ругая мой почерк. Но виновата не рука,

карандашом я пишу каллиграфически, а не везет мне на перья. Нормальных, не щепящихся и не зацепляющих за бумагу, я уже давно не помню.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Имеется в виду работа над циклом стихов, получившим название «Переделкино».

836. С. Д. СПАССКОМУ

9 мая 1941, Переделкино

9. V. 41

Дорогой Сережа! Отличный пролог[1]. Когда на 76-ой странице я дошел до слов «Вот кого напоминала соседка», я вздрогнул, и глаза у меня наполнились слезами от смелости фабульного оборота[2]. Этой неожиданностью обозначился разряд, к которому можно было бы отнести произведенье, если бы дальше все шло в том же плане. То же повторилось с переносом к главе «Все кончено» (раздел I-й), с несколькими кусками той же определенности в Щукинской части[3]. Все это доказывает, какие книги, при твоих силах, ты мог бы писать, если бы только хотел писать лучше всех. Этого желанья недостает данной книге, об этом надо будет подумать в следующей.

Нельзя так далеко уходить от формы, формы изложенья, формы образа (увиденного), формы характера (предположенного). Хороша и реальна только Татьяна[4]. Только в словах о ней творческая сущность пишущего сосредоточилась до некоторой степени в неизувеченном виде. Если по цензурным соображеньям нельзя сказать ничего значащего о течении времени, потому что это история; о характерах, потому что это социология; о природе, потому что это мировоззренье; то лучше ничего не говорить или надо придумать какой-нибудь выход. Это не касается читателя, а только твое дело. Он имеет право быть несправедливым: это искусство.

Ты, наверное, взорвешься и раззнакомишься со мной. Я это дело поправлю по переезде всех корифеев в Переделкино. Оттают твои стихи, приводившие меня в такое восхищенье на зимней даче у Катаева, я почитаю их глазами и напишу тебе.

В сказанном нет ничего обидного. Ты можешь лучше. Зачем так растягивать. Я легко мог бы остаться в растроганности, заслуженно достигнутой множеством страниц, живо вдобавок тебя вспомнив как близкого и родного. И, наверное, Ланны в

восхищенье. Все это глупости. Ради искусства мы должны быть зверьми.

Если бы я не был так занят, я не упустил бы случая утереть нос Коле Тихонову из чувства живейшей преданности ему, ради одного взбодренья атмосферы. Меня просят дать новый перевод леонидзевской поэмы [5], автор, издательство и все, что стоит за ними. Я отказался якобы из чувства товарищества, но это чистейшее ханжество.

Крепко тебя обнимаю, Сережа. Я знаю, знаю, знаю, что́ можно спросить с тебя, и знаю, какою может быть вторая книга. Вот пусть такою она и будет.

Прости за тон, а впрочем, как хочешь.

Твой Боря

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] Речь идет о романе С. Спасского «Перед порогом» (Л., «Советский писатель», 1941), экземпляр которого был подарен автором Пастернаку с надписью: «Дорогому другу и брату Боре *любящий Сережа*. 20 IV. 1941. Ленинград». Первая часть романа называется «Пролог».

[2] Имеется в виду следующее место в романе Спасского: «Вот кого напоминала соседка, — та, что заключена с ним сейчас в пробирающемся сквозь сумрак вагоне: девчонку, привезенную им некогда в безлюдную ночную квартиру!»

[3] *«Все кончено»* — название 7-й главы; *Щукинской частью* Пастернак называет 2-ю главу «Свинцовые зерна».

[4] Главная героиня романа Спасского.

[5] Поэма Г. Леонидзе о Сталине «Детство вождя» была переведена Н. Тихоновым и получила Сталинскую премию 1941 г.

837. И. Д. РОЖАНСКОМУ

16 мая 1941, Переделкино

16. V. 41

Милый Иван Дмитриевич!

Благодарю Вас за письмо.

Мне 51-й год, я старше Вас вдвое и завидую Вашему возрасту и будущему. Чаще всего я считаю свою жизнь прожитой зря, и с основаньем. Большая ее часть (как и у Маяковского и, отчасти, у Есенина) отравлена манерностью и кривляньем, общими для всех в те последекадентские годы.

Но источники радости неисчерпаемы. Мне кажется, наша жизнь близится к лучшему, непредвосхитимому завершенью, и Вы застанете ее счастливую и возвышающую развязку.

Я давно не писал ничего своего, а теперь постепенно к этому возвращаюсь после более чем 10-летнего перерыва.

Посылаю Вам книгу, о которой Вы пишете[1]. Переводы из Клейста и Сакса (кроме «масляницы») очень давние (1914–1918) и неинтересны. Остальное Вы знаете. Прислать ли Вам «Гамлета», когда он выйдет? Есть еще комедия Клейста «Разбитый кувшин», тоже давнишняя работа и уже совершенный вздор.

От души желаю Вам всего лучшего и крепко жму руку.

Терпи казак, атаман будешь!

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. Ю. М. Живовой).

Письмо послано в военную часть, находящуюся в Карело-Финской ССР (п. о. Алакуртти), где Рожанский проходил военную службу. И. Д. Рожанский — физик, к тому времени уже защитил кандидатскую диссертацию и был взят в армию, потом прошел всю войну.

[1] Борис Пастернак. Избранные переводы. М., «Советский писатель», 1940. В посланную книгу была вложена дарственная надпись на отдельном листке: «Ивану Дмитриевичу Рожанскому от всего сердца на счастье *Б. Пастернак*. 16. V. 41. Переделкино». В сб. включена трагедия Г. Клейста «Принц Гомбургский» и народные фарсы Ганса Сакса, переведенные им в 1918 г. «Разбитый кувшин» переведен в 1914 г.

838. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

19 июня 1941, Москва

19 июня 1941

Дорогой папа!

Я вполне могу представить себе, каким подозрительным в такое время, как наше, должно казаться письмо на иностранном языке, не говоря уже о фотографии или книге. Тем не менее я решаюсь послать тебе только что вышедшую в моем переводе трагедию Гамлет и вкладываю в письмо фотографию[1]. А вдруг, после двойных проверок, которые она неизбежно должна пройти и с нашей и с вашей стороны, она счастливым образом достигнет твоих глаз. Изображенный на карточке — твой внук и тезка Лёня, самое робкое, удивительное и ранимое существо из всех, когда-либо мной виденных, главная страсть которого — рисование, и который на вопрос: «Кто лучше всех рисует?» показывает пальцем на твои великолепные графические и масляные эскизы на стене и отвечает «Мой дедушка». Я провел с ним эту зиму в деревне без почты, почему я и просил пользоваться для телеграмм и писем (и это остается на будущее)

Шуриным городским адресом. Наша дача — мое благословение. С Божьей помощью я надеюсь и дальше жить за городом. В прошлом году мы со своего обширного огорода собрали плоды собственных, главным образом, Зининых трудов — полпогреба картошки, две бочки квашеной капусты, 4000 помидор, массу бобов, фасоли, моркови и других овощей, которых не съесть и за год. Женек блестяще сдал свои выпускные экзамены в школе. По нашим новым законам этой осенью он должен идти в солдаты. Женя снова была в Ленинграде. Там все здоровы. От тети Аси и Клары скрывают мамину смерть. Я напротив думаю, что у тебя хватит сил, чтобы без чрезмерного потрясения, спокойно, как неизбежное горе, узнать о недавней смерти дяди Осипа и своей племянницы Сони[2]. По всему, что ты знаешь обо мне, незачем говорить, какое страдание причиняют мне нескончаемые несчастия на Западе. Как мне кажется, сочувствие всех обращено к англичанам. Среди прочих забот я занят «Ромео и Джульеттой», половина которой уже сделана мной по-русски. Не суди «Гамлета» слишком строго. Тебе, привыкшему к хорошим старым переводам, он никогда не понравится. Прости виньетки, часть которых терпима, но в большинстве — они беспомощно наивны[3]. И ужасная бумага! А теперь, до свиданья! Не мучай себя частыми письмами. С нас достаточно, как и прежде, твоих телеграмм. Прости меня, если я чем-нибудь огорчил тебя своими словами. До свиданья еще раз. Если бы не война, я мог бы сказать о себе, что в высшей степени счастлив своей жизнью, потому что никогда не понимал и не смогу постигнуть того, что я или ты можем когда-нибудь умереть. Кланяйся от меня своим зятьям, их женам и детям, моим дорогим сестрам, племянникам и племянницам. Как Лида и ее ребенок? Нежно тебя целую. *Твой Боря*[4]

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф по-англ. (Pasternak Trust, Oxford).

[1] На конверте письма рукою Л. О. Пастернака: «Получено 1 Ноября 41. Oxford»; почтовый штемпель на обертке бандероли с «Гамлетом» 29 окт. 41. На обратной стороне Лёниной фотографии рукою Б. Пастернака: «March 1941, when 3 years and 2 m. old. How he likes his aunt Joan!» («Март 1941, когда ему было 3 года 2 месяца. Как он похож на свою тетю Жоню!» — *англ.* — там же. Кн. II. С. 224).

[2] И. И. Кауфмана и С. И. Шапиро.

[3] Иллюстрации и виньетки сделаны В. А. Фаворским.

[4] Следом за письмом Б. Пастернак шлет телеграмму: «*20 June 1941. Moscou.* All well thank good news excuse long silence. = *Boris Pasternak*». («Все хорошо спасибо за добрые известия прости долгое молчание. *Борис Пастернак*». — *англ.* — там же).

839. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 июля 1941, Москва

Дорогая золотая моя Олюшка!

Ну вот, ну как это тебе нравится! Пишу тебе совсем в слезах, но, представь себе, о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам: Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Леничку[1], и таким образом он, с Божьей помощью, будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют и я расстанусь со всем, для чего я последнее время жил и существовал.

Женичка в армии, где-то в самом пекле, в вашем направлении[2].

Ты удивишься, но в самых неподходящих условьях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоем Теофрасте, чем привожу всех в восхищенье.

Пиши мне по городскому адресу: Москва 17, Лаврушинский пер. д. 17/19, кв. 72.

Как здоровье тети Аси? Крепко целую вас обеих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной.

Детей отправляют на восток от Казани, на Каму.

Что будет со мною, не знаю. На даче я вырыл глубоченную траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво, я наверное, там не выживу.

Обнимаю тебя. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] По указу о срочной эвакуации детей был собран эшелон от Союза писателей, отправлявшийся за Казань.

[2] Е. Б. Пастернак вместе с эшелоном старших школьников был послан на рытье противотанковых рвов под Вязьму.

840. З. Н. ПАСТЕРНАК

12 июля 1941, Переделкино

12. VII. 41

Дорогая моя дуся Зиночка! Сейчас стало гораздо спокойнее. Долго я не имел известий о Жене, который из честности ничего не пишет с мест, где находится[1]. От его товарищей стало известно, что он жив и здоров. Последние дни (начиная с 10-го) я провожу

на огороде, который зарос и одичал. За один вчерашний день выпололи и разрыхлили всю картошку, полем морковь и огурцы, косим сено, каждый вечер все поливаем. На квартире и на даче я воспользовался чрезвычайностью, чтобы избавиться от многолетнего хлама.

12. VII. 41. II. Ко мне ездят Оленька[2], Женя и др., я всех заставляю работать. С просьбой о помощи обращалась Анна Роб<ертовна>[3], но я не имел времени ответить, и у меня у самого нет лишнего. Маруся (Леничкина) еще у меня, она ему очень кланяется. Вероятно, на несколько дней на даче поселятся Оленька и Туся[4]. Всё на даче и в городе у меня в таком состоянии, чтобы был порядок, не препятствующий переменам и передвижениям. Напиши мне, пожалуйста, поподробнее, как вы ехали и хорошо ли вам на месте. Крепко-крепко целую Леню и Адика[5]. В следующий раз напишу им. Устно передам поклоны через Веру Вас<ильевну>[6]. Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). На двух открытках; отправлены в Берсут-на-Каме.

[1] Письма Е. Б. Пастернака из-под Вязьмы задержались на почте и стали приходить с опозданием на месяц.

[2] Ольга Феликсовна Блуменфельд.

[3] А. Р. Грегер-Анастасьева.

[4] Сестры О. Ф и Н. Ф. Блуменфельд.

[5] Описка — нужно: Стасика, Адриан остался в Москве в больнице. Описка вызвана тем, что одновременно с открытками Пастернак пересылал письмо Адика, написанное 9 июля в день эвакуации З. Н., со своей припиской: «12 VII. 41. Дорогая и любимая моя киса, пересылаю тебе Адино письмо, пришедшее вчера в Переделкино. В воскресенье 6-го у него были Гаррик и Мил<ица>Серг<еевна>» («Второе рождение». С. 155).

[6] Писательница и подруга З. Н. Пастернак по Киеву В. В. Смирнова была соседкой по дому в Лаврушинском пер.; эвакуирована в Чистополь.

841. З. Н. ПАСТЕРНАК

19 июля 1941, Переделкино

Жду с нетерпеньем известий от тебя. Наверное, вам очень трудно: теснота, жара и, может быть, и с питаньем не так гладко. Успокой меня на этот счет. Не терзай себя мыслями, что вы уехали понапрасну. Правда, после вас не было ни разу тревог, но ведь никто не может знать, что будет дальше. Я уже писал тебе, что по многим соображеньям решил заботиться об огороде. На капусте уже

блохи и черви, буду их уничтожать. Начинает созревать клубника. Когда ее будет больше, повезу Адику[1]. Вчера разбирал вещи на городской квартире. Сколько хламу!!! Я ужасался[2]. Крепко целую тебя, Леню и Стасика. Поклон всем знакомым. *Твой Б.*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

[1] В туберкулезную больницу в Балашихе, где лежал Адриан Нейгауз.

[2] Получив письмо, З. Н. Пастернак писала, что, глядя на страдания и лишения детей, ее «меньше всего интересуют окна в Лаврушинском, запущенный огород и пр.» и она не понимает, зачем «убирать квартиру, зная наверное, что она не уцелеет» («Второе рождение». С. 450).

842. З. Н. ПАСТЕРНАК

21 июля 1941, Переделкино

21. VII. 41

Дорогая моя Зиночка, дуся моя!

Ничего не могу тебе сообщить нового против того, что писал вчера и позавчера, но я получил первое твое письмо с Казанской пристани, и это такая для меня радость, спасибо, спасибо, спасибо тебе[1]. Как живо и интересно ты пишешь, я все увидал, точно очутился рядом с вами. Без конца крепко целую Ленечку, тебя и Стасика. Тебе нечего писать мне об Адике, я вчера пережил целое потрясенье при прощаньи с ним, и он мне не дальше Жени[2]. Они все еще в Балашихе и на пароходы еще не погрузились. Какое счастье для меня твое письмо, ты даже не можешь себе представить. Как и ты, и Стасик, ищу удовлетворенья только в физическом труде[3]. Женя получил полное боевое крещенье, во всем побывал, и Василий на даче ходил за ним по пятам, как за военспецом только что из-под огня, а Афиног<енов> на его рассказах даже построит целую английскую радиопередачу[4], мне же он, Женя, запретил писать что-нибудь об испытанном им из скромности и чувства ответственности. Да и рассказал он только пустяки, даже и от меня, отца, что-то скрывая. Весел, худ, строен и весь в веснушках, кланяется тебе и целует Леню и Стасика. Без меры люблю тебя и целую. *Твой Б.*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] Из письма З. Н. Пастернак: «...Приехали в Казань благополучно, только все черные от грязи. Леня очень хорошо приспособляется к тяже-

лым условиям пути <...> В шесть часов утра высадились в Казани и поехали прямо на пристань. Тут все очень хорошо устроено, кормили детей горячим. Ленечка восхищался пароходом и был весел. Только что погрузились на чудный пароход. У нас 2-местная каюта с Жанной Инбер. Авось сегодня я высплюсь. В поезде две ночи совсем не спала — очень много работала на всех детей, уставала, а Ленечка так широко раскидывался на полке, что меня спихивал на пол. Ну, пока жаловаться не приходится, так как все благополучно и все здоровы» («Второе рождение». С. 446).

[2] З. Н. Пастернак писала: «Не забывай Адю. Отнесись по-человечески. Мы во многом виноваты все в его болезни и в недоглядке за ним, начиная с Кавказа» (там же).

[3] См. письмо З. Н. Пастернак: «Стасик работал много. Таскал тюки всех ребят и очень устал <...> Передай Гаррику содержание письма. Мне некогда писать, так как много общественной работы и нужно людям помогать. Это единственное, что спасает меня от ужасных мыслей и представлений» (там же).

[4] Афиногенов заинтересовался рассказом Е. Б. Пастернака о немецком летчике, который, увидев «вдохновенный труд» народной обороны, сдался в плен советским войскам.

843. З. Н. ПАСТЕРНАК

24 июля 1941, Переделкино

24. VII

Дорогая дуся!

Третью ночь бомбят Москву. 1-ю я был в Переделкине, так же как и последнюю, с 23-го на 24-е, а вчера, с 22-го на 23-е, был в Москве на крыше (не на площадке солярия, а на крыше) нашего дома, вместе со Всеволодом Ивановым, Халтуриным[1] и другими в пожарной охране. Помнишь рассказ англичанина, передававшего свои наблюденья по радио[2], я как-то тебе рассказывал. Ну вот, теперь мы все это видим каждую ночь своими глазами и испытываем на своей шкуре. Регулярное это недосыпанье, не говоря о другом, что до тебя донесет молва и легко подскажет воображенье, страшно изнуряет. Сколько раз в теченье прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы и зажигательные снаряды как по мановенью волшебного жезла в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой, мамочка и дуся моя. Спасибо тебе за все, что ты дала мне и принесла, ты была лучшей частью моей жизни, и ты и я недостаточно сознавали, до какой глубины ты жена моя и как много это значит.

Помни меня, милый мой друг, если, по несчастной случайности, в этой гибельной лотерее мне выпал бы смертельный

номер. Кланяйся Тамаре Вл<адимировне>[3] и скажи ей, что в естественных условиях и отдаленно нельзя себе представить, каким облегченьем является в опасности близость или присутствие человека, которого любишь и ценишь при всех обстоятельствах. Я говорю о Всеволоде, который стоял в нескольких шагах от меня за чердаком. А кругом была канонада и море пламени.

Душу в объятьях тебя, Леню и Стасика. Все живы и здоровы. Адик в безопасности.

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] Иван Игнатьевич *Халтурин*, муж В. В. Смирновой, специалист по детской литературе.

[2] Пастернак слышал по Би-би-си рассказ англичанина о немецких бомбежках Лондона.

[3] Т. В. Иванова — жена Вс. В. Иванова.

844. К. А. ФЕДИНУ

Середина июля — начало августа 1941, Москва

Не мог зайти, потому что после разговора было дежурство и разрушенья и на другой день был занят. В Информ-бюро есть та же статья[1]. В нее там внесено редакционное измененье в желаемом Ел<ене> Фел<иксовне>[2] духе. Просьба держаться его, для простоты дела, и не задерживать сдачи статьи, для того, чтобы 20-го по ней можно было получить деньги.

Впервые. — Автограф (собр. Н. К. Фединой). Датируется по содержанию.

С осени 1936 г. Пастернак с Фединым стали соседями по Переделкину, письма сменились частыми встречами и записками, аналогичными сохранившейся: «Костя, радость моя, — у нас есть немножко пива и водки и у меня плохое настроение. Приходи, пожалуйста, когда стемнеет, и предадим проклятию все это сволочное нагорие с вершины до основания. *Твой Б.*» (там же). В свою очередь Федин, даря в апреле 1941 г. Пастернаку «Маленькие романы», писал: «Дорогому Борису Пастернаку — с глубокой любовью к нему и его гению, в память о чтениях и разговорах на переделкинских дачах».

[1] Статья неизвестна. Л. К. Чуковская вспоминала, что в первые месяцы войны встретила Пастернака, который читал ей статью, написанную для Информбюро, где были слова: «Россия это не только имя нашей родины, но имена наших жен, сестер и матерей...». Пастернак писал в это

время жене: «Не сердись на меня, что я ничего не посылаю, но откуда мне взять денег, когда то, что я делаю, не подходит по тону» (6 авг. 1941; Письма Пастернака к жене. С. 111).

[2] Елена Феликсовна Усиевич — в то время редактор Совинформбюро. Наверху записки рукою Пастернака дан номер ее телефона: «В-161-66 Ел. Фел. Усиевич». В письме к жене Пастернак характеризует Информбюро, как «нечто вроде центральной цензуры и инстанции, которая распределяет печатный материал для Союза и заграницы» (8—10 сент. 1941; там же. С. 136). Федин тоже сотрудничал в Информбюро.

845. З. Н. ПАСТЕРНАК

7 августа 1941, Москва

7. VIII. 41. Вчера я был в городе, собирал для тебя одеяла и пр. в квартире, заваленной битым стеклом[1], которого я не успел собрать, и так задержался, что, когда я кинулся ночевать на дачу, оказалось, что я весь день не ел, а на даче ни крошки хлеба. Я очень торопился и не успел забежать к Жене узнать, живы ли они (каждую ночь пожары и разрушенья), и что-нибудь у них взять съестного на дачу. На даче, под влияньем дневного разбора игрушек и перебиранья ваших вещей, а также пустого желудка и удивительной, чистой тишины леса и поля в вечерний час, совершенной пустоты дачи и ненавистного мне присутствия Маруси, у меня разыгралась такая тоска, хоть плачь. Сегодня я опять в городе и вдруг узнал, что Женя с Женичкой вчера неожиданно уехали в Ташкент, ничего не успев сказать мне. Я, вероятно, оставлю Ел<ену> Петровну у себя. Их квартира пока цела, и, может быть, я ее облюбую для себя и Конст. Ал-ча Федина как городское пристанище. Прости, что не посылаю вам ничего съестного, но я сижу абсолютно без денег[2].

Наверное, опять ухудшились наши дела, потому что возобновилось бегство из Москвы. Гаррику и Косте Федину предлагали уехать в Нальчик (на Кавказ), но на это нужно много денег, и они отказались. Напиши мне, пожалуйста, ласковое и хорошее письмо, как жена мужу, ты не представляешь себе, под каким гнетом (и в совершенном неведенье) мы тут живем. Не знаю, что бы отдал, чтобы повидать и обнять Леничку.

Твой Б.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] В открытке, отправленной накануне, Пастернак писал: «Собираю одеяла и белье для отправки вам. Дело затрудняется тем, что минувшей ночью (я ночевал в Переделкине) фугасная бомба уничтожила зданье почты на Ордынке и воздушною волной высадило окна почти во всех квартирах в Лаврушинском. Комнаты и вещи завалены мелким битым стеклом. Я долго выбивал Адиково одеяло, которое посылаю тебе, но ты еще раз все вытряхни и выбей» (там же. С. 112). З. Н. Пастернак объясняла свою просьбу: «Леня спит со мной на одной кровати в один метр шириной. Подтыкать нечего, так как укрываемся узким легким одеялом, которого не хватает на его и меня. <...> Просьба моя об одеялах и была потому, что я думаю головой, а не чем-нибудь другим, так как Литфонду была выслана даже телеграмма, чтобы выслали ребятам теплые вещи, и я без бушеваний думала, что ты об этой официальной просьбе знаешь, и попросила одеяла» («Второе рождение». С. 450).

[2] «Мне предложили написать кое-что для Вокса, я, наверное, если Богу угодно, поработаю день-два на даче и, может быть, таким образом втянусь в общую работу и заработки», — писал Пастернак 30 июля 1941 (Письма Пастернака к жене. С. 111).

846. З. Н. ПАСТЕРНАК

11 августа 1941, Переделкино

11. VIII. 41

Дорогая моя Зиночка!

Я совершенно один. Часто на даче так, как было три года тому назад осенью, когда я там все, что чувствовал, вкладывал в «Марию» Шевченко[1]. Меня переполняет тишина и прелесть леса, благодатность земного плодородья, суровость жизни, которую я веду. Иногда ее нарушает приезд Г<аррика> и М<илицы> С<ергеевны>. Я их очень люблю, они очень милы, но чужды мне в том главном отношении, в котором ты, как я, и так мне близка. Или какие-нибудь другие гости натрещат, натрещат, нанесут грязи, насыплют крошек и удерут, а ты за ними сам 2 часа убирай весь дом. Я скучаю по тебе и всему разрушенному нашему до сумасшествия, и так как это одиночество посвящено тебе и вам, то я внутри ревниво вспыхиваю, когда мне его нарушают. Я мог бы, наверное, писать что-нибудь очень свое, и жалко, что недостаточно смел, чтобы на все плюнуть и приняться за это (ты не думай: с войною и всем нынешним, но сильно и правдиво, как мне подсказывают глаза и совесть[2]). Тебя огорчит, что у меня пока все неудачи. Но деньги некоторое время еще будут. Когда тебе не пишут, ты бушуешь, что тебя забыли, а когда тебе говорят, что ты Любушка и Ляля и что без тебя жить нельзя, ты досадуешь, что это только чувства,

а не гонорар за несколько газетных фельетонов. Я страшно скучаю по тебе и почти плачу, когда пишу это. Сейчас я попал в такое же ложное и дурацкое положенье, как когда все получили ордена а я нет, и ты была за меня в обиде и хотела писать Фадееву. Я знаю, что ты трудишься не покладая рук, и мне не стыдно, что я не могу перед тобой похвастать, что я так же усердно вру и получаю деньги за печатные пошлости, как ты работаешь в столовой. Ты знаешь, что я с таким же упоеньем работал бы рядом с тобой за дворника и что я со страстью и удачей тружусь над высокими материями вроде Гамлета, когда творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом. Но посмотрим. Не надо падать духом. Прошу тебя, напиши мне что-нибудь нежное. Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] Поэму Т. Шевченко «Мария» Пастернак переводил осенью 1938 г. в Переделкине.

[2] Имеется в виду намерение написать пьесу о войне. О заявке на пьесу см. в письме № 848.

847. З. Н. ПАСТЕРНАК

17 августа 1941, Переделкино

17. VIII. 41. Дорогая моя мамочка, золотая, горячая, красивая, десять лет, как мы вместе, и я люблю тебя больше всего на свете, твои глаза, твой нрав, твою быстроту и ничего не боящуюся грубую и жаркую работу, кровно родную мне по честности и простоте, твой врожденный, невычитанный талант, наполняющий тебя с головы до ног, мой милый ангел. Как часто обстоятельства, чужие слова и встречи, особые мгновенья в природе, запахи травы и леса или мелочи жизни напоминают тебя в Трубниковском, или в Киеве, или Коджорах. Это лучшие мои воспоминанья, такие золотые, что они не оставили меня еще и не стали прошлым, это те сцены и страницы жизни чистой, звонкой, несравненной, ради которых я жил и живу все остальное время до них и ради них. Или вдруг наедет народ, Шура с Ириной и Гаррик с Милицей, и Рихтер[1] сыграет этюд или 4-е скерцо, те самые, которые ты играла по возвращении с Кавказа, и всё в такой грустной, вновь облагороженной живости встанет предо мной, что меня ослепит тоска, и мне так захочется, чтобы все было тобою и ничего чужого не было

и чтобы мне не мешали знать и помнить тебя и быть занятым только тобою. Милый ангел, целую тебя, вспоминаешь ли ты меня? Это первый раз, что я по-настоящему пишу тебе: Константин Григор<ьевич>[2] не безразличный человек для меня, мне не страшно того, что я отдаю в его руки. Во всех же прежних случаях (а я писал тебе много и часто) мне было стыдно глаз цензуры или какой-нибудь другой случайности, и я ограничивался деловым перечисленьем фактов. Итак, о них. Адику стало в последнее время несравненно лучше, он весел, ест за троих, поправляется, пишет тебе (и, наверное, с полуторамесячным опозданьем ты получаешь его письма). У него не только не было горечи против обстоятельств твоего отъезда, но, наоборот, он удивлялся, как ты и я, хотя бы в мыслях, готовы были отправить Ленюсю без тебя со Стасиком, который, по его шутливым словам, меньше Лени. Их, как я тебе писал и телеграфировал, хотели перевезти в Плёс на Волге, когда немцы продвинулись вперед и началась бомбардировка Москвы. Но потом немцев остановили, бомбардировка ограничивается почти одною Москвой, не затрагивая окрестностей, и санаторий до сих пор в Балашихе. Теперь, когда я пишу тебе, немецкое наступленье возобновилось. Взят Смоленск, будущее темно и тревожно.

Людям с именами, с орденами и возрастом предлагают выезжать с семьями. Может быть, если он добьется удобных условий переезда, Гаррик заберет Адика к себе и с ним всем домом отправится на Кавказ. Без Адика он, конечно, не уедет. Неожиданно, не простившись и без моего ведома собрались и уехали в Ташкент Женя с Женей-мальчиком. Если мы с Костей Фединым и К. Г. Паустовским останемся в Москве, а не эвакуируемся в ваши края, мы будем жить в квартире на Тв<ерском> бульваре. Там целы окна, Ел. Петровна (работница) хорошая хозяйка, а в случае обвала во время налета из-под двух этажей мусора легче что-нибудь извлечь, чем из-под девяти. В последний раз, когда я с 11-го на 12-е дежурил в Лаврушинском на крыше, на моих глазах в дом попали две фугасные бомбы. Одною разрушило 4 квартиры в 1-м подъезде, в том числе Паустовских, другая попала в красный кирпичный дом налево, разрушив четверть его до основания: было пять убитых и 8 человек раненых. Еще раньше во всех квартирах выбиты стекла до одного. Меня торопят, Паустовский уезжает в город и оттуда к вам. Посылаю тебе, сколько могу, 400 руб. денег — своих. Вскоре что-нибудь, может быть, будет от Гаррика. Месяц тому назад такая же сумма (среди них 300 р. от Г<аррика>) послана была тебе в Берсут по почте[3]. Хотя угроза наступленья

возобновилась, я только недавно наладил работу. Как ни смертельно тоскую я по вас троих, особенно по тебе, мне не хочется уезжать и как-то неудобно и страшно отрываться от событий. Мне кажется, так можно лишить себя доли будущего, если останешься жить. Впрочем, все это выяснится само собой. Обрываю письмо на полуслове. Можешь довериться Конст<антину> Григ<орьеви>чу: он отличный человек и замечательный писатель. Целую, найди способ написать мне с оказией. Получила ли ты теплое старье, что я послал тебе. Прощай, милая, милая, милая. Обнимаю Леничку и Стасика.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] Святослав Теофилович *Рихтер* был учеником Г. Г. Нейгауза и некоторое время жил у него, тогда завязались его дружественные отношения с Пастернаком.

[2] Надо: Константин Георгиевич Паустовский. Получив письмо и деньги, посланные с Паустовским, З. Н. писала Пастернаку, что Паустовский рассказал: «что в союзе готовы тебя отпустить, но нужно тебе взять разрешение. Умоляю тебя, пойди, возьми разрешение и приезжай сюда скорее». В надежде на скорый переезд интерната в Чистополь, З. Н. собиралась снять для Пастернака комнату («Второе рождение». С. 448).

[3] Первое время интернат Союза писателей располагался в Берсутена-Каме, 28 августа переехал в Чистополь.

848. З. Н. ПАСТЕРНАК

26 августа 1941, Москва

Дорогая тютенька, как я по тебе соскучился! Спасибо тебе за большое обстоятельное письмо, первое из Берсута, это когда гроза была и хворал Леничка[1]. Как ты живо и дельно пишешь, умная и родная моя! От тебя была телеграмма; услужливая и преданная тетя Наташа (лифтерша) решила не ограничиться «опуском» телеграммы в почтовый ящик и передала Халтурину (мужу Веры Вас<ильевны> Смирн<овой>). Когда я был в городе, он был на службе. Потом еще раз по моему порученью спрашивали. Оказалось, они кому-то телеграмму передали для вручения мне на даче. Так я по сей день ее и видел! Я просто рву и мечу: как важно и дорого было бы для меня знать, что тебе надо. И еще в телеграмме! Одна надежда, мамочка, что переданное с Паустовским письмо и 400 р. денег тебя достигли. Вот еще тебе 400 руб., с этим письмом, которое повезет Р. М. Беленькая. Это опять только от меня

(не от Гаррика). Вчера получил очень теплое, разумное и интересное письмо от Адика. Ты уже ведь знаешь об улучшении его здоровья.

Тебя, наверное, приводило и снова приведет в раздраженье содержание (состав) моих посылок. Все наполовину ненужное тебе, наверное, старье. Но что же мне делать, если до сих пор у меня решительно не было денег! Все это не случайно и разрешится к лучшему. Я опять стал зарабатывать лишь в самое последнее время. Статью для ВОКСа приняли, я пишу им другую (хотя только по 200 р.)[2]. Написал несколько новых стихов для Красной Нови взамен тех, довоенных[3]. Хочу писать пьесу и вчера подал заявку об этом в Комит<ет> по дел<ам> искусств[4]. Меня раздражает все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуре и т. д. Нельзя, после того как люди нюхнули пороху и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, бездарной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, «зисами» и «эмками» и тартинками с двумя орденами. И это — биографии! И для этого люди рождались, росли и жили. Ты помнишь, какое у меня было настроение перед войною, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это только удесятерилось. Я со многими перессорился, с Маршаком, Погодиным, множеством мелюзги, и обидел, кажется, Гаррика и Мил<ицу> Серг<еевну>. Они мне страшно мешали своим праздным видом и своею дачной типичностью: праздный интеллигентский зудёж, неуменье толком убрать за собой, круглодневное чтенье книжек, задрав ноги в гамаках, и пр. и пр. А я не ангел, во мне целый ад сидит, мне некогда, для меня мерило — способность человека к самому простому и черному на свете, это я упаковываю, зашиваю и на своем горбе ношу тебе свои посылки. Вот с кем у меня неразлиянный роман и дружба — это с Переделкинскими соседями, почти со всеми (за малыми исключениями), главным же образом с Конст. Александровичем. С ним и Леоновым втроем, а может быть, еще и с Корн. Ив. Чуковским[5] мы очень хотим съездить недели на две к вам в Чистополь — Берсут и потом вернуться в Москву, если будет куда вернуться, или принять эвакуированный из Москвы Союз Писателей в свои чистопольские обьятья на месте, если возвращаться

будет некуда и поздно. Это так здраво и просто, что я прямо в такой форме и ставлю вопрос перед Союзом Писателей, который должен нам дать свои бумажки для полученья билетов и удобства переезда и поселенья у цели путешествия. Но представь, пока что Союз нам во всем этом отказывает, потому что надо ломать (вместо настоящего серьезного патриотизма и серьезности жизни) какую-то детскую патриотическую комедию, для которой требуется наше, и в особенности Кости Федина, присутствие в Москве. Я все же думаю, что в конце концов нас отпустят. Ничего так не жажду, ни о чем так не мечтаю, как обнять глупого, угрюмого мизантропа моего Ленчика, увидать Стасика и расплакаться перед тобою, золотая моя дуся и работница, горячая моя дуся, хотя ты не заслуживаешь моей нежности, нелюбящая ты сволочь. Леонов почти рехнулся от тоски по своим, он плачет, молится Богу, мы с Костей каждый день его успокаиваем, у него что-то вроде моей бессонницы 1935 года. Ну довольно, мамочка. Крепко, крепко расцелуй от меня детей. Если со мной заключат договор на пьесу и будут кое-какие деньги (много *и тут* теперь не дают), я пришлю детям и тебе подарок. Просил Мил<ицу> Серг<еевну> достать ботинки, 40-й номер Стасе, но оставил надежду и сейчас поручил Ел<ене> Петровне (Жениной работнице). Ну всего, всего, всего лучшего, ангел и друг мой, тютька, деточка, дуся. *Твой Б.*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). Датируется по содержанию (см. следующее письмо).

[1] «Дорогой Боря! — писала З. Н. Пастернак. — Уже неделя, как мы тут живем. Вначале было все ужасно. Мы спали на большой веранде (вроде той, что на старой даче у нас наверху) — 50 матерей и 50 ребят. Кровати стояли так близко, что нельзя было подметать между ними, при том весь наш багаж был под кроватями. В смысле гигиены и ора ребят нельзя себе представить, что это было! Мамаши особенно шумели, капризничали и наводили панику. Природа здесь прекрасная. Чудное место на высоком берегу Камы, сосновый бор, и вместо того, чтобы быть с ребятами все время на воздухе, они сидели и вопили целый день в палате <...> я проработала три дня старшей заведующей. Вставала в пять часов утра, взвешивала выписанные продукты, пока повар готовил, я приводила в порядок столовую. Штата на 400 человек не хватало, поэтому мне самой приходилось мыть посуду, стирать 50 скатертей, а так как я люблю чистоту, то я валилась с ног» («Второе рождение». С. 447–448).

[2] Текст статей неизвестен.

[3] Из пяти написанных за это время «военных стихотворений» в «Красную новь» (№ 9–10, 1941) взяли одно («Бобыль») и одно из довоенных («На ранних поездах»).

[4] См. текст заявки «Во Всероссийский Комитет по делам искусств» — т. V наст. собр.

[5] К. А. Федин, Л. М. Леонов, К. И. Чуковский и Б. Пастернак были членами правления Союза писателей.

849. З. Н. ПАСТЕРНАК

27–28 августа 1941,
Переделкино—Москва

Дорогая мамочка, до чего я люблю тебя! Какое счастье, что среди множества привязанностей, добрых чувств и очень настоящих увлечений мне дано знать и эту радость находки, близость с человеком, который мне так нравится сам по себе, постоянно и неослабеваемо. Как жалко, что в эти последние годы ты этого не знаешь.

Меня очень тревожат участившиеся за последнее время слухи о детских эпидемиях в Чистополе и у вас. Когда ты получишь это письмо, телеграфируй, пожалуйста, как здоровье Стаси и Лени. Ответь мне также следующее. Я посылал тебе деньги трижды, каждый раз по 400 рублей: один раз по почте, другой с Паустовским, третий вчера с Р. М. Беленькой (числа 10-го пошлю столько же). Из этих сумм в первый раз 300 было от Гаррика. Вещи посланы два раза: 8 августа на пароходе со Струцовской 2 места, чемодан с бельем и узел с теплыми одеялами, и вчера один узел с одеялом и теплой мелочью. Сообщи мне, пожалуйста, что ты изо всего этого получила.

Меня страшно огорчает пропажа телеграммы, пришедшей на мое имя в городе дней 10 тому назад и пошедшей по рукам от избытка соседской любезности. Если бы меня любили меньше, ее опустили бы в почтовый ящик и я бы узнал, от кого она и что в ней содержится. А так ее передавали один другому, и теперь неизвестно, у кого она, концы потеряны. Чтобы мне не было так горько, стараюсь себя убедить, что она была не от тебя.

Никогда ни о чем не надо сожалеть. Если бы вы не уехали, мы бы сейчас прожили тут тихую чудесную неделю. Хотя Смоленск сдан, неприятель приближается и Москва под угрозой, нажим немцев так усилился на севере и на юге, что у нас наступило временное облегченье. Целую неделю Москвы не бомбардировали, что дало мне возможность прожить около 10 дней безвыездно в Переделкине и немного поработать. Числа до 15-го бомбардировки

происходили каждую ночь и в эти периоды соседки на лестнице чрезвычайно ревниво осведомляются, когда ты дежурил последнюю ночь, не пропустишь ли ты следующего дежурства, и «хорошо ли на даче», в такие же спокойные периоды интерес к нам, дачникам, пропадает.

У нас на даче непередаваемо хорошо. Какие кабачки, какая капуста! Последнею я могу гордиться: как я ее отхаживал от червей и блох! В этом году вилки стали завиваться на целый месяц раньше, чем в прошлом году. Капусту уже можно есть, а огурцы только начинаются и поздняя картошка, мы еще молодой у себя не пробовали. Лето было сухое, без дождей. Я поливал огород каждый день или заставлял поливать. Благодаря этому я на свою еду ничего не трачу, кроме хлеба и сахара, который расходую в микроскопических количествах. Маруся Лёнина еще тут. Я целый месяц с ней не разговаривал, но нельзя же так без конца: я стал признавать ее присутствие, но работницею считаю Васильеву Марусю. Василия опять призвали, на этот раз, кажется, по-настоящему. Мы, т. е. я и 2 Маруси, готовим себе постные щи изо всего огорода на 2 дня и иногда бобы или картошку на второе. Но даже и этот простой труд для них иногда оказывается непосильным. То они забудут о времени и опомнятся только к ночи, то куда-то без следа провалятся, и тогда я по-студенчески ограничиваюсь хлебом и чаем. Овощами, наверное, буду с кем-нибудь делиться. Если выяснится, что положенье к зиме устойчивое, насолю огурцов, нарублю капусты и картошку засыплю в подвал, как прошлый год. Если же нет, поступлю с пользой для людей в зависимости от обстоятельств. Все ведь каждую минуту меняется, и как меняется! Я предложил жить внизу Пермитиной с двумя мальчиками[1], как вдруг о низе (на даче) попросил меня Шура. Пришлось оставить Пермитину без определенного ответа и отдать предпочтенье Шуре. Но бомбардировки в городе, как я говорю, временно прекратились, и вот внизу ни Шуры, ни Пермитиной, что еще лучше.

Если бы ты знала, какая тут благодать! Белое, ясное, хотя и жаркое, но легкое для глаза августовское или даже уже сентябрьское солнце. Летают бабочки, цветут огурцы, кабачки и картошка. Дом пустой, тихо и чисто. Обходя огород по пути на криницу за водой, я заметил три конских кучки на дороге и по примеру тебя перенесу их на самую тощую морковную грядку. У меня должна была работать Ел<ена> Петровна (Женина), приехала на полдня, в два часа обрезала и подвязала все помидоры, убрала у меня, сготовила мне на два дня и вдруг скрылась под Можайск в деревню.

Да, каждый раз собираюсь спросить тебя и все забываю. Куришь ли ты все еще или бросила? Вероятно, с доставаньем папирос такие же затруднения, как со всяким продовольствием. Вот чудный бы случай сократить себе заботы. А какое бы отдаленье постаренья, какое приобретенье для здоровья и самочувствия! Если ты бросила курить, то я крепко целую тебя и ты молодчина!

Не удивляйся, если я со следующей оказией пришлю тебе твои летние ситцевые платья, легкие шляпы и тому подобные вещи, бесполезные зимой. Они занимают очень мало места и почти невесомы, но у тебя на востоке они сохранятся в целости, а здесь все равно, в Переделкине ли или в Москве, кто его знает, могут сгореть при пожаре или пропасть при обвале. Имей в виду, что все у меня лежало в вычищенном виде и разглаженное. Но когда сюда приезжали, то все переворашивали в сундуке и снова смяли. Твои пальто и халат надевали и ими укрывались Мил<ица> Серг<еевна> и Гаррик. У меня все давно сложено в чулане и сундуках, я привык к пустоте комнат и гардероба у себя в Переделкине. Когда вчера я опять все вытащил для того, чтобы собрать посылку, то повесил твое легкое коричневое (в цветочек) платье на вешалку в гардероб, чтобы присоединить к находящимся в Москве и потом когда-нибудь отослать тебе, и забыл об этом. Надо тебе сказать, что я не пользуюсь затемненьем: дверные щели просвечивают, и в летние дни темнело довольно поздно; я ложусь, когда темнеет, часов в 10, или в пасмурные дни еще раньше, одетый, а на рассвете раздеваюсь и досыпаю 2–3 часа под одеялом. Ты мне часто снишься в переплетении со всей нынешней грустной озабоченностью, делами и пр., в фантастическом искажении сна или же в счастливой идеальности прошлого. На рассвете от какого-то движенья раскрылся шкап. Я подошел прикрыть дверцу и вскрикнул. На какую-то долю мгновенья я увидел тебя в глубине гардероба в углу. Разумеется, ни на минуту я не поверил, что это ты. Я мгновенно присмотрелся к широко распяленному и длинно свисавшему платью которого не привык там видеть. Это был зачаток обмана зренья при самом его зарожденье. Но какой-то вскрик: «ах» или «Зи» — мне пришлось задержать на самом дне души на его пути к ее поверхности.

У меня была припасена карамель для вас, и в самую нужную минуту, когда я связывал и зашивал одеяло, я забыл о свертке. Напиши мне, нужны ли тебе еще подушки, я пошлю. Наволочки дошлю с летними вещами.

Кончаю письмо 28-го в городе. Вчера приехали Гар<рик>, Мил<ица> Серг<еевна> и Милочка[2], ночевали, и я их упросил остаться еще на один день на даче. Нам придется (мне, Косте Ф<едину>, Леонову, Панферову и др.) ездить две недели вечерами в город для прохожденья спешного сокращенного военного обученья. Сегодня это начинается. Я спокойно и с интересом отношусь ко всему, что мне шлет судьба, и всей душой в нее верю, точно она что-то вроде тебя. Я за полушку пропадать не собираюсь и за себя постою. Крепко и без конца тебя целую. *Твой Боря*

Да, дело с эвакуацией «Красной Розы» вновь оживает[3]. Их, кажется, перевезут на вашу же Каму, куда-то повыше к Перми. Когда это выяснится точнее, мы тебе телеграфируем.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). Датируется по содержанию.

[1] Жена и два сына писателя Ефима Николаевича Пермитина, соседи по дому в Лаврушинском пер.

[2] Дочь Г. Г. и М. С. Нейгаузов — Милица Генриховна.

[3] Название туберкулезной больницы, где лежал Адриан Нейгауз.

850. З. Н. ПАСТЕРНАК

1—4 сентября 1941,
Переделкино—Москва

I. IX. 41

Дорогая Зина!

Начинаю письмо на даче, кончу в городе. Приехали Треневы. Их видела Маруся. По ее словам, с ними от тебя ни привета, ни ответа, ни звука. Приехал еще кто-то чистопольский от Союза. Если не привез письма и он, то это ужасно. Подумала ли ты, как ты огорчишь и обидишь меня этим и чем я это заслужил?

Я писал тебе без конца. Виноват ли я, что почта писем не доставляет и так их задерживает? Но ведь я писал и посылал тебе деньги и посылки с оказиями (со Струцовской, Паустовским, Беленькой и другими). Неужели и это все пропало?

Я живу только вами, и даже смешон этим в глазах всех, втайне, наверное, и в Гарриковых. Ты продолжаешь жаловаться, передает Маруся, что ничего не знаешь об Адике. Это чудовищно. В каждом письме я пишу тебе об этом, тебе об этом телеграфировали, тебе пишет сам Адик, — что же нам делать, если это все же не достигает цели? Ведь не в нашей власти соединиться с тобой по телефону?

Я не жалуюсь на свое существованье, потому что люблю трудную судьбу и не выношу безделья, — я не жалуюсь, говорю я, но я форменным образом разрываюсь между 2 пустыми квартирами и дачей, заботами о вас, дежурством по дому, заработками, военным обученьем. Официальное отношение ко мне возмутительное. До того как мной заинтересуются немцы, меня уморят голодом свои. Весной, после «Гамлета», я написал лучшее изо всего, мной когда-нибудь написанного[1]. Этот подъем продолжается и сейчас. Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь: вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обученье строю и стрельбе; ты видела, что я писал в начале войны для газеты[2]: такое же простое, здравое и содержательное и все остальное. Меня просили для «Кр<асной> Нови» дополнить те, невоенные, стихи чем-нибудь военным. Я написал четыре вещи. Из них выбрали одну, самую слабую[3]. Мне обещали 250 руб. Когда я пришел попросить, чтобы мне их натянули до трехсот, я узнал, что выписали только сто, да и тех не уплатили. Тем временем я за Стасиковы полуботинки (штиблет нигде нет) по своей промтоварной карточке отдал последние 65 руб. И опять ты будешь недовольна.

2. IX. 41. Дорогая моя дуся!

Если бы я не так торопился, я бы уничтожил написанное и начал бы все вновь. Я беспредельно счастлив, мне привезли письмо от тебя, ты в конце пишешь, что любишь меня, я тебе верю, как дурак, хорошая ты моя, и мне больше ничего не нужно[4]. Итак, вкратце о самом важном. Адика со всей больницей вывезли вчера куда-то между Челябинском и Уфою, место пока неизвестно, адрес сообщат потом. Его два раза навещали на вокзальных путях (состав стоял 2 дня) Гаррик с Милицей. Они говорили, что у него очень хорошее самочувствие и место в вагоне очень хорошее. Для меня было страшным лишеньем невозможность проводить его. Военное ежедневное обученье отнимает у нескольких из нас тем больше времени, что живем мы в Переделкине, а обучаемся в Москве. Встаю на рассвете, кое-что пишу для заработка (из-за всей этой сволочи опять пришлось перейти на переводы, — латыши, грузины[5]), мчусь в Москву, концы, трамваи, дела, беготня, с 4-х часов за Пресненскую заставу в тир и на полигон, целыми днями ничего не ем, питаюсь ночью, по возвращеньи в Переделкино, впотьмах. И все-таки чудно, если ты взаправду любишь меня. Так вот, мне тем более жалко было не проститься с Адиком, что мы виделись два раза и плакали, связанные чувствительною любовью и интересною перепиской (он мне чудные письма и открытки пи-

сал, прилагаю образец), и, наверное, и он пожалел, что уезжает, не повидавши меня. Но мне было совершенно невозможно все успеть в этот день: ко всему прибавилось стоянье в очередях, беганье на Тверской бульвар за полуботинками Стасику и за хлебом себе, и сбор и подготовленье вещей для отсылки тебе с Лар<исой> Ив<ановной>[6]. Бедный Стась! Как это у него стащили брюки, вот рассеянный![7] Не пригодится ли прилагаемая старая пара? И что за ужас с Леничкиною привязчивостью, вот страдалец! Это мое, наследственное, я чувствую страшно сильно[8]. Это же было у бедного Жени, он удирал из детских садов, а в летних лагерях так тосковал по матери, что его просили забрать, — это было настоящей драмой. — Я им в Ташкент еще не написал ни строчки и давным-давно не давал ни копейки, но как мне со всем справиться и откуда найти сил и время?

Я тебе писал, что я, Федин и Леонов собираемся в гости на время в ваши края. Я это смогу сделать не раньше, чем позволят: возможность, совесть, честь и благоразумье. Кроме того, я считаю бессмысленным и невозможным являться к вам, если на руках у меня не будет полутора-двух тысяч.

4. IX. 41

Мой милый ангел, дни идут, сумасшедшие по множеству дел, я тебе пишу урывками, а тем временем обстоятельства меняются. Числах в десятых опять будет случай отправить тебе посылку. Тогда же, вероятно, пойдет и это письмо и, если потребуется, еще одно дополнительное. Да, кстати. Если тебе случится отправлять письма по почте, не запечатывай их в конверте с подкладкой: их не доставляют, это запрещено военной цензурой.

Я этого не знал, и таким образом утеряно, наверное, несколько моих писем.

Вчера у меня был счастливый день. Утром я стрелял лучше всех в роте (все заряды в цель) и получил «отлично»[9]. Я подумал, вот бы мне такую же легкость с Чагиным и Храпченкой[10] — мне предстояли в тот же день дела с ними. И вот мои попаданья у них превзошли мои ожиданья! Наши дела с тобой опять проясняются, дуся моя. У Чагина я подпишу договор на перевод Словацкого[11]. Чтобы получить сразу на руки 800 р., надо теперь брать работу на миллион, не меньше. Ставки опять снижены до четырех руб., хотя мне дадут по пяти. Но еще замечательнее было у Храпченко. О пьесе он не может говорить[12] пока я не напишу ему краткого содержанья: но где мне его написать, когда те $1^1/_2$–2 часа, что у меня остаются свободными от военного обученья, городских дел и

хозяйственных забот, я вынужден сейчас тратить на грошовые переводы, приносящие рублей по сто — по полтораста? Тут я его спросил о «Гамлете» и не поверил и не верю его ответу. По его словам, его будут продолжать играть в Кузнецке, куда переехал Новосибирский театр, и он не видит ничего такого, что мешало художественникам готовить его[13]. Но тогда, Киса, ведь мы с тобой на верху блаженства, нам больше ничего не надо! Кроме того, он удивлялся, почему я бросил переводить «Ромео». Это другая радость, потому что ничего бы я так не хотел, как закончить перевод. Итак, главное. По-видимому, у меня будет возможность прислать тебе с Треневыми от тысячи до двух, т. е. те деньги, что я мечтал привезти тебе сам. Я не хочу подвергать деньги той неизвестности, в которой еще некоторое время будет находиться вопрос о нашей поездке. Как бы то ни было, даже когда я проникаюсь сильнейшей верой в мое скорое свиданье с тобой и детьми, я представляю себе, что ни квартир, ни дачи, ни тем более огородного урожая я на произвол не брошу. По счастью, есть на кого эти труды по сбору овощей, храненью и пр. оставить на те 2–3 горячие недели, что я именно уеду, если мне вообще это удастся. Е<лена> Петровна очень мне во всем помогает: это она достала ботинки Стасику, она же по моим порученьям делает все, что мне надо, и удивительно честный, добросовестный, знающий и умный человек, хотя и неграмотная. Я ее сведу с Ил<ьей> Андр<еевичем> в городе и с Геннад<ием> Ал<ексан>др<овичем>[14] на даче и все на нее оставлю в случае отъезда. Вчера, когда я вернулся ночью из города, я застал у нас Тусю с Оленькой. Они тут уже два дня и тебе кланяются. Гаррика приглашают со всей семьей в Свердловск[15], и теперь, когда Адик будет тоже где-то невдалеке на Урале, Гаррик, наверное, поедет. Давай расцелуемся и простимся до следующего письма, а то этим страницам конца не будет. Крепко обнимаю тебя и детей.

Твой Боря

Маруся все еще у меня. Я не плачу ей жалованья, но кормлю и обращаюсь с ней ласково[16]. Она обходила всю Москву в поисках цельного вязаного костюма для Ленюси, но нашла только рейтузы и рукавички. Калоши для валенок, но, по-моему, и в этом назначеньи слишком велики.

Это письмо отпр<авляю> не по почте, оттого такой конверт.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] Имеется в виду цикл стихов, позднее получивший название «Переделкино».

[2] Текст статьи не был опубликован и утерян.

[3] Написанные в это время стихи: «Страшная сказка», «Бобыль», «Застава», «Смелость». В «Красной нови» (1941, № 9–10) опубликовано стих. «Бобыль», из *невоенных* — «На ранних поездах».

[4] Имеются в виду последние слова полного упреков и жалоб письма З. Н. в ответ на не сохранившееся Пастернака: «Пожалуйста, прости и не сердись, мой дорогой. Я тебя очень люблю и молюсь за тебя ежедневно. Ложусь спать. *Твоя Зина*» («Второе рождение». С. 451).

[5] Стихотворения Я. Судрабкална «Русскому народу» и А. Мирцхулавы «Морской орел»; опубликованы в «Литературной газете» 17 сент. и 15 окт. 1941 г.

[6] Жена К. А. Тренева.

[7] Из письма З. Н. Пастернак: «...Кстати у Стасика украли одну пару брюк, осталась одна рваная, и он почти босой. Скажи об этом Гаррику, пусть пришлет ему с оказией» (там же).

[8] З. Н. Пастернак писала: «Он *страшно* страдал, когда я его отдала в детсад. Каждый раз убегал ко мне с диким плачем. А увидевши меня в столовой, протягивал ручонки и орал: "Мама, возьми меня к себе" <...> Пять дней продолжался плач» (там же).

[9] Это было отмечено в «Литературной газете», 10 сент. 1941.

[10] П. И. *Чагин* — главный редактор Гослитиздата, М. Б. *Храпченко* — председатель Комитета по делам искусств, — в его ведении был театральный репертуар.

[11] Польский поэт-романтик Юлиуш *Словацкий*; перевод сборника его стихов Пастернак сделал весной 1942 г., но он остался не издан из-за изменения отношений СССР с Польшей.

[12] Речь идет о заявке на пьесу (см. письмо № 848).

[13] В Художественном театре за несколько месяцев до начала войны была остановлена подготовка «Гамлета».

[14] Первый — вероятно, домоуправ на Тверском бульваре; второй — Г. А. Смирнов — директор городка писателей в Переделкине.

[15] Приглашение работать в Свердловской консерватории.

[16] З. Н. Пастернак писала мужу: «На Марусю не обращай внимания. Пусть живет, но у тебя не работает и не ест. Пусть делает, что хочет. Ей, наверное, некуда деваться, как и многим другим» («Второе рождение». С. 450).

851. Б. Н. ЛИВАНОВУ

5 сентября 1941, Москва

5. IX. 41

Золото мое Боричка!

Я дико занят. На мне две пустые квартиры, дача, чужие неразочтенные домработницы, самые разноречивые хозяйственные

заботы. Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском[1]. Изредка у меня ночные дежурства в Лаврушинском, я прохожу ежедневное военное обучение.

Каждый день я с утра в Москве, где высуня язык бегаю по разным безуспешностям только затем, чтобы, вернувшись в Переделкино, полакать чего-нибудь впопыхах (воображаю, что б это было, если бы на это взглянуть при свете дня). На рассвете (в моем распоряжении только $1^1/_2$—2 часа утром до поезда) строчу что-нибудь (меня опять свели к переводам, с латышского, с грузинского[2]) на гривенник, на пятиалтынный, которые потом не платят. Но я не жалуюсь, я люблю быстроту. Судьба циркового трансформатора прельщает меня. Беда не в этом. В чем она, я расскажу тебе как-нибудь один на один.

На днях я взбунтовался, и тут мы с тобой сразу подходим к теме. Вчера я прямо с боевой стрельбы отправился к Храпченке, и тут я узнал вещи ошеломляющие. По его словам, в Новосибирске будут продолжать играть Гамлета в новом сезоне[3], и для его подготовки где бы то ни было никаких препятствий не встречается. Мало того: он упрекнул меня, зачем я бросил работу по «Ромео», а на мои слова, — кому-де нужен сейчас Шекспир, ответил что-то вроде «глупости», но повоспитаннее, я точно не помню. Как Вам это нравится и сделали ли Вы из этого практический вывод?[4]

Крепко тебя целую и бегу на поезд, е. е. мать, хотя так выражаться не следует, потому что дальше поклоны Сахновским, Вит<алию> Як<овлевичу> и Ольге Серг<еевне>[5].

Если ты задумаешь осчастливить меня открыткой, направляй ее по адресу: Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72. Б. Л. Пастернаку.

Искренне тебе преданный Б. П.

Впервые: газ. «Megapolis-Continent», 11—17 дек. 1991. — Местонахождение автографа неизвестно. Был выставлен на аукционе Sotheby 1991 г.

Знакомство Пастернака с актером Б. Н. Ливановым состоялось на съезде писателей в 1934 г. Тогда же Пастернак надписал Е. К. Ливановой книгу «Поэмы»: «Совершенно не могу надписать Вам книги. Очень хорошо, что с Вами так трудно жить, и Вам самой так трудно. После нашей бессонной ночи и наших вчерашних разговоров с Борисом, Алексеем Николаевичем и Ал. Тихоновым (Серебровым. — *Е. П., М. Р.).* На съезде. 30 VIII. 34. *Б. П.*» (там же. С. 23). Дружба завязалась во время работы над постановкой «Гамлета» во МХАТе, где Ливанов должен был играть главную роль. Пастернак надписал Б. Ливанову свой перевод «Гамлета» (1941): «Человеку, о котором это написано: Борису Ливанову — Гамлету. *Б. Пастернак.* 18.VI. 41. Переделкино» (там же).

[1] Под Челябинск в Нижний Уфалей была эвакуирована туберкулезная больница, где лежал Адриан Нейгауз.

[2] С латышского стих. Я. Судрабкална «Русскому народу», с грузинского С. Чиковани «Тбилисский рыбак» и Алио Мирцхулавы «Морской орел» («Литературная газета», 17 сент., 1 и 15 окт. 1941).

[3] Речь идет о постановке «Гамлета» в новосибирском театре «Красный факел».

[4] Пастернак надеется, что во МХАТе будет поставлен «Гамлет», подготовка которого шла уже в течение почти двух лет.

[5] В. Г. Сахновский — режиссер МХАТа, репетировавший «Гамлета», В. Я. Виленкин — зав. литерат. частью во МХАТе. О. С. Бокшанская — секретарь В. И. Немировича-Данченко.

852. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ

7–9 сентября 1941, Москва

7. IX. 41. Дорогие мои! Пишу вам впервые после вашего отъезда: страшно много было хлопот, частью и ваших. Пишу на нескольких открытках для быстроты и удобства просмотра. Вскоре после вашего отъезда стали приходить Женины письма к маме[1]. Все ваши и мои живы и здоровы, все благополучно, чтобы начать с главного. Одну комнату (Женину) было отобрали, все, до рояля включительно, перенесли в мамину, должны были поселить польских писателей, я отстоял[2]. Может быть, зимой на вашей квартире будем жить я, Федин и Паустовский. С Ел<еной> Петровной рассчитался, она у меня на жалованьи, ездила в деревню, бывает на даче. Изобразить сложность моей жизни немыслимо. К сумме ежедневных неисполнимостей каждый день прибавляется что-нибудь новое.

7. IX. 41 (II). Когда вы уехали, в Лаврушинском воздушною волной высадило окна во всем доме. У меня с тех пор в квартире пыль и гуляет ветер, как на улице. Через несколько ночей, с 11-го на 12, как раз в мое дежурство на крыше, в дом попали две фугаски, одною разрушило 5 квартир в Оваловском подъезде[3], а другой четверть смежного кирпичного дома. У меня долго было очень плохо с заработком, и только теперь обещает поправиться. Вот поставили бы Вы «Гамлета» в Ташкенте. И себя бы обеспечили, и я бы вам сказал спасибо. С последней недели много времени (езжу с дачи) уходит на военное обученье. Странным образом по боевой стрельбе в цель имею отлично. Как только появятся деньги и узнаю, куда вам посылать, переведу сколько смогу.

Умер Евдокимов[4] в вагоне по дороге на дачу.

7. IX. 41 (III). Что Женек с тобою? В какой части ты служишь?[5] В мыслях вижу тебя в Персии и мирюсь. Было предположенье, что я, Федин и Паустовский съездим проведать жен, но с тех пор столько воды утекло и такие перемены! Зина и Леничка умоляют приехать, и она мне даже комнату сняла (дети будут в детдоме), но что мне сделать с дачей и пустыми квартирами, с огородом, хозяйством, и какие у меня будут заработки в Чистополе? Вам, разумеется, кланяется от души Петровна. Ловко вы укатили, прямо скажу, гениально, я был восхищен быстротой, техникой и распорядительностью. Да, вероятно, ко дню полученья открыток Женичке исполнится 18, горячо вас обоих с этим поздравляю и крепко, крепко целую. *Ваш Боря*

9. IX. 41 (IV). Дорогая Женя! Сегодня получил твою открытку. Телеграмма тоже дошла. Я не трачусь на телеграммы из экономии, кроме того идут они так же долго как письма. Приложу все старанья перевести тебе рублей 500 завтра или послезавтра. Я сижу без копейки, кроме того надо заплатить за твою и нашу квартиры. Горячо благодарю Гасэма (Лахути) за заботливость и благородство. Кланяйтесь ему пожалуйста от меня. Постарайся достать через него работу[6]. Может быть я на время уеду с К. Фединым и Леоновым в Чистополь, но потом, если позволят обстоятельства, вернемся в Москву. Еще раз спасибо за все. Крепко целую тебя и Женичку.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Письма, написанные Е. Б. Пастернаком во время окопных работ под Вязьмой.

[2] Речь идет о квартире на Тверском бульваре.

[3] Лев Сергеевич Овалов — сосед Пастернака по дому в Лаврушинском пер.

[4] Писатель Иван Васильевич *Евдокимов* (см. письмо к нему № 640).

[5] Е. Б. Пастернак поступил в Ташкентский университет, в армию был призван в январе 1942 г.

[6] Таджикский поэт *Гасем Лахути* отстоял Е. В. Пастернак от выселения из Ташкента в Бухарскую область, а потом заказал ей портреты своей жены и сына.

853. З. Н. ПАСТЕРНАК

8–10 сентября 1941, Переделкино

8. IX. 41. Дорогой мой, чудный мой друг Зинуша! В посылке ты найдешь мое письмо, написанное на прошлой неделе. В большей своей части оно было написано до полученья твоего письма,

посланного с Литфондовской почтой. Но когда я его дописал и запечатал, пришло другое твое, ангел мой, такое задушевное и сердечное, что нет на свете выражений, чтобы вознаградить тебя равною радостью[1]. Я целовал его, точно это были твои руки.

Так как я тороплюсь, то перейду сразу к делу. У меня были ужасающие материальные обстоятельства. Теперь они резко изменяются к лучшему, а дальше улучшатся еще больше. Но это не делается само собой. Помимо труда, уходящего на заработок, еще больше усилий уходит на полученье заработанного, беготню по учреждениям, телефонные разговоры и т. д. Этих дел, от которых зависит наше будущее, нельзя бросить в момент, когда они начинают обещать удачу. Вот причина, отчего я с Фединым пока, на этой неделе, не думаем о поездке в Чистополь. Но всего вероятнее мы приедем эдак в начале, что ли, октября, приедем обязательно, потому что я не проживу, не повидавшись с тобой, и твердо решил ехать. Письмо это и прилагаемые деньги (если я не достану сегодня дополнительно, то их опять только 400), письмо это и деньги передаст тебе муж Веры Васильевны, Иван Игнатьевич Халтурин[2]. Он меня немного видел в две-три моих ночевки в Москве, он неустрашимо продежурил *все* ночные налеты на Москву в качестве начальника нашей домовой пожарной охраны: расспроси его, он тебе, если захочет, может рассказать обо мне и о состоянии наших комнат в городе и вообще о внешности Москвы и о среднеписательском быте нашего слоя. Я с вашего отъезда не платил за квартиру, сейчас я расплачусь и до предполагаемого отъезда приведу квартиру в порядок. У нас выбито 15 стекол квартирных (как у меня и Стасика наверху, и 5 больших, как внизу в кухне)[3]. Заделать это стеклом или фанерой будет стоить не меньше 200 руб. Итак, вот что о нашей поездке. Да, надо будет как-то позаботиться об остающихся при отъезде квартире, даче, кв<артире> на Тверском, запасе овощей, вещах и пр. и пр., потому что квартиры уезжающих в целом ряде случаев просто занимают семьями, оставшимися без крова после разрушений от бомбардировки или эвакуированными из занятых немцами городов.

Теперь о посылке. Не удивляйся, что в ней так много глупого и лишнего. Без больших денег, при введенных на все карточках, очень трудно доставить ту степень радости или приятного, как хотел бы. Да и вот, например, конфеты: Елена Петровна достала мне еще $^1/_2$ кило (для них было место в средней кастр<юле> судка с чаем), когда я все собственноручно сдал и зашил. Если ты бросила курить, подари табак кому-нибудь другому. Если Стасику лень

перечитывать Диккенса, пусть сделает то же самое с присланными книгами. Но я три дня жил приготовлением этих подарков, итак, не смейтесь над моим подбором. За одною из брючных пар ездил сам на Курский в 9 ч. утра[4], Гаррика не было, он много по знакомым на дачи ездит, Мил<ица> Серг<еевна> сказала, что нет и малы размером, я сказал, пусть дает короткие. Подарки Ленечке помогала доставать Маруся, тебе и Стасику — Петровна. Я хотел послать тебе рубашек, она рассудила, что лучше и выгоднее будет бельевого материала для них (8 метров). Розовое варенье тебе, табак. Сладости всем вам, хотел 3 плитки шоколаду, не хватило денег. Стасе: ботинки, носки, книжки. Лёне шапку зимнюю, зимнее пальто, чулки, рейтузы и рукавицы. Я пишу по памяти и, может быть, что-нибудь забыл. Да, калоши на валенки ему, вот почему такие большие. Кажется, Маруся собирается достать и дослать к Лар<исе> Ив<ановне> ему байки на теплое белье.

10. IX. 41 утром. Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина[5]. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним[6]. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о «посторонних» заботах! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интел<игентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья — Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец, Асеев[7]. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом и по многим другим причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!

Кончаю карандашом у Афиногеновых, пока они завтракают, потому что поеду в город с ними[8]. Они тебе от души кланяются. Я забыл написать тебе главное. Как счастливы наши дети, что у них такая мать, как ты. Слава о тебе докатывается до меня отовсюду, тобой не нахвалятся в письмах сюда дети и взрослые, про твою работу сказывают приезжие. Ты молодчина, и я горжусь тобой. Будь же справедлива и ты: я не растерялся и со всем справляюсь, несмотря на то что взятый большинством и считающийся обязательным тон

в нашей печати еще дальше от меня и отвратительнее мне, чем до войны, несмотря на дикое сопротивленье неисчислимых пошляков и бездарностей в редакциях, секретариатах и выше.

Да, последняя новость, — лишился всех своих постов твой друг и любимец Фадеев, хотя мне-то его по-человечески и дружески очень жаль[9]. Он приехал с фронта, запил и пропал на 16 дней. Я думаю, такие вещи не случайны и ему самому, наверное, захотелось расстаться с обузами и фальшивым положеньем своих последних лет. Я не знаю, кто будет вместо него по Союзу, но в Информбюро (нечто вроде центральной цензуры и инстанции, которая распределяет печатный материал для Союза и заграницы) вместо него будет Афиногенов. Нас (меня, Костю, Всев. Ив<анова> и кое-кого еще) привлекут к более тесному сотрудничеству.

В Москве сейчас совершенно спокойно, несравнимо с тем, что месяц назад. Без конца, тютя моя, Леню и Стасика целую.

Твой Боря

Если простынную зашивку испоганили чернилами, я не виноват. Я просил не пачкать вещей багажными надписями и, пока был, следил, чтобы их не делали. Но не знаю, что было после[10].

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] З. Н. Пастернак писала: «Здание пионеров, где Стасик, отбирают, и всех, имеющих матерей, отдают на руки. У меня комнаты нет и найти негде. Я работаю много, мною довольны, но если и в детском саду будут отдавать, мое дело дрянь. У меня нет никакого личного хозяйства, не на чем варить, купить ничего нельзя, и как я тогда буду жить — не знаю! Сейчас приехал Хохлов и что-то думает устраивать — не знаю, удастся ли ему это! Ленечка очень доволен игрушками. Я принесла к нему в группу и сказала, что это прислал папа и чтобы он всем деткам давал играть» («Второе рождение». С. 452). Я. Ф. *Хохлов* — уполномоченный Литфонда и директор интерната и детского дома в Чистополе.

[2] И. И. Халтурин не поехал в Чистополь. См. письмо № 854.

[3] Квартира Пастернака была расположена на двух этажах: 8-м и 9-м, под самой крышей.

[4] Нейгаузы жили на ул. Чкалова, около Курского вокзала.

[5] Марина Цветаева покончила с собой в Елабуге 31 августа 1941 г.

[6] Шестнадцатилетний сын М. Цветаевой Георгий Эфрон сентябрь прожил в интернате в Чистополе, в начале октября вернулся в Москву; Пастернак виделся с ним 6 окт. 1941 г.

[7] В письме В. Гольцеву 18 окт. 1940, где Пастернак писал, что Цветаева «очень en vogue сейчас» (в моде. — *фр.*) и «в центре всех моих друзей: Нейгаузов, Вильям-Вильмонтов, Асмусов и пр.». Пастернак окружил

Цветаеву своими друзьями, устраивал ей заработок в Гослитиздате, помогал в поисках жилья и школы для ее сына, поддерживал материально.

[8] Пастернак близко подружился с драматургом А. Н. Афиногеновым и его женой зимой 1937 г. в Переделкине, когда исключенный из партии Афиногенов со дня на день ждал ареста. Об этом Пастернак сделал надпись на книге «Стихотворения в одном томе» (1936): «Новому другу дорогому Александру Николаевичу Афиногенову на память о вечерах зимы и лета 1937 года. *Б. Пастернак*» (Воспоминания. С. 382). Пастернак пользовался поездками Афиногеновых в Москву на машине. Сохранилась его записка, рисующая добрососедские отношения: «Дорогие Афиногеновы! 1) Если Вы умеете опускать письма в почтовый ящик (не удивляйтесь оговорке: я не умею и неделями ношу свои собственные в кармане), то отправьте, пожалуйста, два приложенных письма. 2) Альбом давно следовало передать Вам для заполнения его Александром Николаевичем. 3) Если Вы сегодня уезжаете в Москву гораздо позднее предположенного, скажите об этом нашей няне. Мне нужно досмотреть одну корректуру, и тогда, часа через два-три я бы напросился к вам в попутчики. До скорого свиданья. Заранее спасибо за все. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 2172, оп. 1, ед. хр. 184).

[9] А. Фадеев оставался ответ. секретарем Союза писателей, на посту главы литерат. отдела Совинформбюро с 9 сент. 1941 г. его сменил А. Афиногенов. Об отношениях Пастернака и Фадеева и двойственности поведения Фадеева свидетельствуют письма Пастернака к нему 1940–1950-х гг.

[10] Приписка касается посылки с вещами, зашитыми в простыню.

854. З. Н. ПАСТЕРНАК

12 сентября 1941, Переделкино

12. IX. 41. Муж Веры Васильевны не поедет в Чистополь. Накануне отъезда его призвали. Он теперь мобилизован и уже, наверное, в казарме. К 400 р., которые я хотел с ним послать, прибавлю 600 и эту тысячу передаю Ларисе Ивановне[1]. Это все наши с тобой, не Гариковы. Точного адреса Адика еще нет, но в Свердловске Бендицкий[2] получил от него телеграммы о благополучном прибытии в Нижний Уфалей (это между Свердловском и Челябинском[3]). Адик телеграфировал не сюда, в Москву, а Бендицкому в Свердловск, потому что предполагал, что Гаррик с семьею в пути туда, по приглашению Свердловской консерватории. Но Гаррик все тут еще. У меня было очень тяжелое настроенье вчера, пустая бессодержательная газета, усталость от города. Была ужасающая погода, двухсуточный осенний ливень с ветром. Ночью дождь и завыванье бури не давали мне спать. Наверное, очень плохо с Ленинградом, Киевом и Одессой. Уже нек<олько> дней тому назад говорили о поголовном переселеньи всей республики немцев Поволжья от мала до велика (до 1 милл. человек)

в Среднюю Азию или за Алтай. И вдруг это коснулось московских немцев, вплоть до Риты Вильям например[4]. Именно в эту страшную дождливую ночь узнали об этом в Переделкине Кайзеры и Эльснеры (живущие у Павленки), чистые, честные, работящие люди. Они завтра должны выселяться в Казахстан, за Ташкент. Всю ночь это меня давило. Сколько горя и зла кругом, какими горами копится человеческое разоренье, сколько счетов, друг друга перекрывающих, прячет за пазуху человеческое злопамятство, сколько десятилетий должно будет уйти в будущем на их обоюдостороннее погашенье.

И потом, усиливающаяся безысходность несносной душевной несвободы. Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 р. за строчку. А я за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для «Литературки» из второстепенных латышей и грузин без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 р. за строчку за эту дребедень[5]. Где ж тут последовательность, что ты скажешь! Или непониманье простейших мелочей, споры разных редакций с Фединым по поводу вещей, за которые надо кланяться в пояс и говорить спасибо, а не морщить лоб и требовать исправлений. Всю эту дождливую ночь я об этом думал. Как быть, к чему стремиться и чем жертвовать? Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправде? И когда Таня Иванова[6] утром подала мне письмо от тебя, я заплакал раньше, чем вскрыл его, я боялся известия о какой-нибудь беде с тобой или детьми вслед за новостью о Цветаевой и настроеньями этой осенней ночи.

Дуся моя и Лялечка. Как нежно я ни пишу тебе, всего этого недостаточно, чтобы выразить тебе, какая ты прелесть и счастье! Прости мне, что я так хмуро начал серию этих писем: я тогда еще ничего не имел от тебя, кроме упреков. Прости за горечь в словах о несчастной Марине: если я чем-нибудь виноват перед ее памятью, это не касается тебя, ты чиста как ангел перед ней, у меня же к тебе нет ничего, кроме сознанья, что ты и я одно и то же, и кроме невозможности отделить тебя от меня. Спасибо тебе за умное и бодрое письмо. Ты чудный друг и большой человек. Я распорядился, чтобы начали ремонтировать квартиру, и внес в домоупр<авление> денег для этой цели. На даче у меня все вещи и книги были вынесены в чулан (в твое газоубежище). Вчера впервые

перенес энциклопедический словарь назад на книжную полку[7]. У нас в Ельне (под Смоленском) был большой успех. Если он разовьется и мы перейдем в наступленье против немцев, если произойдет общий перелом к лучшему и укрепится надолго, может быть, зимой или к весне вас можно будет перевезти в Москву. Но я с Леоновым и Фединым, во всяком случае до начала зимы, вас увидим[8]. Крепко обнимаю тебя и детей. Если ты чего-нибудь не поймешь в письме или чем-нибудь будешь недовольна, знай и помни главное: что я люблю тебя, как жизнь мою, и хочу жить с тобой хорошо, долго, долго.

Твой Б.

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61).

[1] «Вчера приехала Лариса Ивановна и привезла деньги (1000) и письмо большое, — писала З. Н. Пастернак. — Спасибо за отношения и известия. Твои подарки пришлись очень вовремя. Лёсенька заболел корью. <...> Я ему принесла бумаги, карандаши — рисовать. Буду сегодня с ним ночевать» («Второе рождение». С. 453).

[2] Семен Соломонович *Бендицкий* — ученик Г. Г. Нейгауза, преподаватель Свердловской консерватории.

[3] З. Н. Пастернак отвечала: «Очень жалею, что Адюшу перевели под Свердловск. Значит, он без матери, отца и тебя. Почему ты не пишешь подробности его отправки? Умоляю *молнировать* его почтовый адрес. Как я хотела бы, чтобы Гаррик переехал в Свердловск!» (там же). Молнией назывались срочные телеграммы.

[4] М. Н. *Вильям* — сестра И. Н. Пастернак и Н. Н. Вильям-Вильмонта.

[5] См. коммент. 2 к письму № 851.

[6] Татьяна Всеволодовна — дочь Т. В. Ивановой.

[7] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1911.

[8] «Когда будешь выезжать, — писала в ответ З. Н. Пастернак, — дай молнию. Я тебе сниму номер в гостинице... Неужели увидимся?! А?! Я очень часто жалею, что мы уехали. Голод, холод впереди и все врозь. Лучше уж всем вместе страдать. Пришли мне с оказией твои стихи новые, я их хочу обязательно иметь. Затем все детские карточки, Адика, Стасика, Ленечки обязательно» (там же. С. 454).

855. Н. ТАБИДЗЕ

14 сентября 1941, Переделкино

14. IX. 41

Дорогая Нина! Горячо Вас благодарю за Ваше письмо. Как это часто бывает, я получил его как раз в тот день, когда опустил свою открытку к Ните[1]. Я страшно о Вас беспокоился в теченье Вашего

молчанья. Можете себе представить, как я рад вестям о Тициане! Какое жестокосердие! Трудно его вообще выпустить в такие дни?! Мне иногда это именно так представлялось.

Я один. Зина со Стас<иком> и Леней в Чистополе на Каме. Адик с больницей на Урале. Женя с Евг. Влад. в Ташкенте. Может быть я с Фединым и Леоновым съездим ненадолго в Чистополь проведать жен. Может быть вчетвером (со Вс<еволодом> Ивановым) будем зимовать в одной даче. У меня открылось множество военных качеств, я дежурил во время бомбардировок, оказался снайпером по стрельбе в цель[2] и вообще в опасности чувствовал себя как на грузинском банкете.

Крепко целую Вас

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 24).

[1] В письме 29 авг. 1941 Пастернак обращался к Ните: «Дорогая Нита! Если Вы получите это письмо, и если Вы живы, ответьте мне, пожалуйста, немедленно, что такое с мамой. Я писал ей в начале войны и не получив ответа, очень беспокоюсь о ней. Не разделила ли она участи папы?» (там же. С. 197).

[2] В клубе ворошиловских стрелков Пастернак оказался на одном из первых мест, что было отмечено в «Литературной газете», 10 сент. 1941.

856. Е. М. СТЕЦЕНКО

Конец сентября 1941, Москва

Милый друг мой, Елизавета Михайловна!

Что за собачья жизнь, — я так занят, что не знаю, когда смогу доставить себе счастье Вас увидеть. Завидую Петровне, что она поговорит с Вами и услышит Вас. Она Вам расскажет, как я живу, она серьезная мне помощница в это трудное время. Много работаю, но только ничтожная и худшая часть сделанного находит себе примененье, так что под давленьем обстоятельств опять обратился к переводам второстепенных образцов из нацменьшинств. Все мои присные покамест живы здоровы, — счастье незаслуженное, за которое не наблагодарюсь судьбе и небу.

Милая моя золотая пусинька[1], я столь многим обязан Вам в жизни, что поразительно и позорно, что ничем Вам не ответил, кроме частой и признательной мысли о Вас.

Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Е. В. Пастернак.

Там все в порядке, Женек пока не у дел, и у обоих по-видимому, хорошее настроенье.

Если Бог даст, съезжу ненадолго в Чистополь к Зине и детям, в компании с Фединым и Леоновым, которые тоже собираются проведать свои семьи. З. Н. молодчина, служит в детдоме, куда поместила Леничку, и в работе находит забвенье в это страшное время.

Целую Вас и крепко обнимаю Ипполита Васильевича. Привет Авиновой, если Вы ее встречаете.

Ваш Б. П.

Простите, что суюсь к Вам с такими ничтожными пустяками, но если Вы их встретите возраженьями, то еще более ухудшите мою неловкость, обидите и убьете[2].

Впервые. — Автограф.

[1] Принятое в доме ласковое имя, которым называл Елизавету Михайловну Женя.

[2] Имеется в виду денежная помощь.

857. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ

25 сентября 1941, Переделкино

25. IX. 41 (I). Дорогие мои! Наверно у вас по счастью теплее, чем уже больше недели стало у нас. На даче я переселился вниз в столовую, Петровна в кухне, солнечными днями наруже градусов 6—8, у меня наверху еще меньше. В городе окна не вставлены, холод и страшная грязь. Мне все обещают фанеру. Стекол не имеет смысла вставлять, так как налеты опять возобновились и вероятно усилятся. Если у вас появится тенденция возвращаться, не следуйте этому примеру. Это совершенное безумье. Я отправлял вам деньги дважды, послезавтра, в случае удачи, повторю. Рад за вас, что вы в тепле; горячее спасибо за то, что вы сами сумели так умно и энергично о себе позаботиться, избавив меня (как и Зина) от главных тревог и забот. В конце концов это было исполненье моей частой к вам просьбы последнего времени. Петровна занимается у меня заготовленьем солений и засыпкой картошки на зиму.

(Продолженье в след<ующей> открытке).

25. IX. 41 (II). Петровна солит помидоры, собирается квасить капусту и готовит закром под картошку. Неизвестно, кто всем этим воспользуется. Некоторое время у меня было чувство уверенности в будущем, и я его связывал с Москвою. Зина боится, что в Чистополе расформируют детские и пионерские организации и она лишится

службы и пристанища. Вероятно, я их проведаю до конца речной навигации. Может быть, мне двинуться в Новосибирск? Я получил телеграмму из театра, что Гамлета возобновят в этом сезоне[1]. Если я дам тебе телеграмму о своем выезде, писать и телеграфировать мне некоторое очень короткое время можно будет в Чистополь Казанской области. До востребования. Я там пробуду недолго, и может быть вернусь в Москву, или двинусь по следам Гамлета, пока не знаю. Идиотские у меня с вами документы, я виноват в этой глупой и беспочвенной Дон Кихотиаде. В Елабуге повесилась Марина Цветаева, подумай, до чего довели человека. (Продолж<ение> дальше).

25. IX. 41 (III). Кланяйтесь Лахути. Скажите ему, что я целую его. (Я тебе пишу под разыгравшийся и постепенно смолкающий грохот зениток. Елена убежала в наш лесной блиндаж. Можешь себе представить, какая там грязь и холод. 10 часов вечера, снаружи тьма хоть глаз выколи, и можно передвигаться только при свете разрывающихся снарядов.) Скажи Гасему (Лахути), чтобы он послал в Литературку (Литгазету) какое-нибудь стихотворение с глубоким гражданским содержанием; не с людоедами, гиенами и трамтарарамом и сельскохозяйственной выставкой, а где были бы истинное сердце, пониманье опасности, и человек, и Россия. Скажи, чтобы он послал его скорее, пока я тут, с просьбой, чтобы обратились ко мне, и я с радостью переведу ему это так, что ему будет приятно[2]. И еще раз поцелуй его. И чтобы был размер и точный подстрочник. Вот и все. Крепко целую вас. *Ваш Боря*

Лена кланяется и скучает по вас.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет о новосибирском театре «Красный факел», где режиссер и исполнитель главной роли Серафим Дмитриевич Иловайский весной 1941 г. поставил «Гамлета» в переводе Пастернака.

[2] Пастернак предлагал сделать перевод в благодарность за помощь, оказанную Гасемом Лахути Е. В. Пастернак. Кроме того, он ценил его поэтический талант и понимал, что стихи Лахути будут лучше того, что ему предлагают в «Литературной газете», но это не было осуществлено.

858. З. Н. ПАСТЕРНАК

20-е числа сентября 1941, Переделкино

Милая моя мамочка, я пишу тебе всегда такой вздор. Как я люблю тебя! Письма же у меня такие, потому что я страшно занят мелкими заработками и вечною беготней и разъездами между раз-

валинами городской квартиры (окна до сих пор не вставлены) и дачей. Киса, друг мой, может быть, так и будет, как ты пишешь в последнем письме (переезд в Новосибирск), но все это надо медленно и умно подготовить, осторожно, солидно и издалека. То же самое и с моим приездом. Я все к этому только и веду. Но скольких сил и забот это все еще будет стоить! Держись, насколько возможно, за детдом и столовую[1], за как бы то ни было, ни плохо, но чем-то снабженные коллективы, умница ты моя, ты все это чудесно понимаешь. Обнимаю тебя, целую тебя, обнимаю тебя. Мне кажется, я смею, не гневя Бога, сказать тебе до свиданья, чего не мог и не представлял себе летом.

Положенье ужасное. Пал Киев[2]. Все стоит перед каким-то скорым, неведомым и страшным концом. Но отчего нет страха в душе моей? Отчего все увлеченнее, все с большею верой смотрю я вперед. До свиданья, ангел мой, поцелуй детей, моя лялечка, и мужайся, может быть, скоро, в конце октября, мы будем вместе. Прости, что среди посылок иногда такая ветошь, но что мне делать.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). Датируется по содержанию.

[1] З. Н. Пастернак работала сестрой-хозяйкой в интернате Литфонда и писала мужу о Лене: «У них чудные большие кровати. Подушки и одеяла теплые казенные. В этом отношении замечательно. Много воздуху, комнаты большие, светлые, и я страшно боюсь перемены квартиры. <...> Я пойду на все, только бы остаться здесь с Леней!»

[2] Киев был сдан 19 сентября 1941 г.

859. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

8 октября 1941, Москва

8. X. 41 (III). Дорогой Женек, горячо поздравляю тебя а) с давно минувшим 18-м днем твоего рождения: Пусинька[1] поздравила меня открыткою в этот день; б) с поступленьем в университет (как я рад, что свое движенье к созидательному поприщу ты начинаешь математиком!); в) с избавлением от насекомордной малярии, название которой я у мамы в открытке не мог разобрать[2]. Я слыхал, ты также подвизаешься в театре. Занимайся основательнее науками, друг мой! При твоих способностях и ораторской склонности к легкости и поверхностности у тебя все данные кончить бездельником и недоучкой. От души желаю усидчивости. Можешь жениться, если хочешь, но *работай, работай.*

8. X. 41 (IV). Женек, передай маме, что от тети Аси и Оли из Ленинграда следующие известия. Они живы, Может быть Оля переведется в Ташкентский университет и перевезет туда тетю Асю. Я сообщил им ваш адрес и мою радость по поводу вашего возможного соседства. На время моего отъезда в Чистополь Ел<ена> Петровна наверное будет жить у своей сестры Ариши: Москва, Кропоткинская, 3, кв. 20, у М. А. Родионовой, если только у вас на Тверском не поселится Ахматова, в каковом случае Петровна останется на квартире вместе с ней[3]. К вам на Тверской я свезу свой энциклопедический словарь, дедушкины работы, Ленину кроватку и пр. и пр. Мне не хочется уезжать. Петровна незаменимая помощница в жизни и обиходе: я ей выдам доверенность на все, что останется моего на даче и в Москве. Я стал опять зарабатывать. Но с Леничкой я расстался еще раньше, чем с вами. Надо съездить туда. Крепко тебя обнимаю. *Твой папа*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф на четырех открытках, из которых приводятся две последних, — первые две обращены к Е. В. Пастернак и посвящены ее просьбам о присылке вещей.

[1] Е. М. Стеценко.

[2] Е. Б. Пастернак перенес злокачественную лихорадку, вызванную укусом клеща папатачи.

[3] По правительственному распоряжению Анну Ахматову в сентябре 1941 г. вывезли из Ленинграда, она собиралась провести зиму в Москве, но 14 октября была отправлена с писательским эшелоном в Чистополь, оттуда — в Ташкент.

860. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 октября 1941, Москва

8. X. 41. Дорогие Олюшка и тетя Ася! Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Евг. Влад. Пастернак.

Кажется, пока они не жалуются, по слухам, Женя поступил в университет на математический факультет, а также подвизается в театре. Милый друг, Оля, спасибо за открытку и телеграмму. Можешь себе представить, как я им обрадовался!! Я доживаю на даче последние дни со старой Жениной работницей: я все-таки навещу Зину, пока не стали реки. Там все спокойно, хотя у Ленички корь и условия в общежитии, где помещается Зина, наверное, трудные. Она недавно страшно сглупила, заплатив в Лит. фонд за себя и детей за все три месяца, несмотря на свою адскую работу при

столовой, между тем как ничего не делающие жены богачей-лауреатов живут в долг той же организации, не ударяя пальцем о палец[1]. «Зачем рождается столько детей», — вот последнее Лёнино mot*, привезенное в Москву эвакуированными.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Письмо написано на трех открытках, из которых приведена первая, во второй и третьей повторяется содержание первой для большей уверенности, что хотя бы одна из них дойдет до осажденного Ленинграда.

[1] З. Н. Пастернак писала мужу: «...Я боюсь оторваться от детсада и продолжаю быть здесь сестрой-хозяйкой. Работаю даром. Нужно к тому же платить за Стасика и Ленечку 360 руб, а за себя 100 руб. <...> Мне надо за два месяца, так что твоя тысяча уйдет целиком за уплату» («Второе рождение». С. 454).

861. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

18 ноября 1941, Чистополь

Чистополь. 18. XI. 41

Женичка, дорогой мой сынок, как ты и что ты, и что поделывает мама? Учишься ли ты? Привели ли к чему-нибудь твои театральные шалости и пробы? Мне больше по душе были бы твои успехи по математике и физике, но все равно, руководствуйся собственными влеченьями. Я о вас ничего не знаю, писал вам отсюда, но ответа пока нет.

Тебе и маме наверное кажется, что я забыл вас и бросил о вас заботу. Вам надо знать, что Москву, единственное место заработка и центральный узел связи с разъехавшимися, я должен был оставить по предписанью, в силу которого союз писателей подлежал немедленной эвакуации[1].

Я этому подчинился вот из каких соображений. Если бы меня с вами и З<инаидой> Н<иколаевной> разделило пространство резче, чем раньше, главное горе было бы не в полной отрезанности, а в том, что мы друг другу страшно бы затруднили жизнь и дальнейшее поведенье, попав в положенье взаимных заложников[2]. Каждое мое слово и в особенности невредимость оказались бы бичом, за которые пришлось бы платиться вам и З. Н. с детьми. Об этом пришлось подумать всем, у кого семьи были отправлены в восточном направленьи. Этот довод я выдвигал Г<енриху> Г<уставовичу>, которому следовало уехать

* меткое слово (*фр.*).

ради Адика, находящегося на Урале. По слухам он тоже выехал из Москвы, но во время моего отъезда у него не было на это денег[3].

По разным причинам, и отчасти в силу необходимости, предполагали остаться (я не знаю, что было дальше) дядя Шура, Нейгаузы, Асмусы и множество других знакомых. Но ни они, ни я не оценивали, конечно, должным образом удесятерившихся ужасов и опасностей ураганной бомбардировки города перед занятием и тяжести осады. Не знаю, известно ли у вас о смерти Афиногенова? Они уже были в Куйбышеве (Самаре). Рассказывают, что его с ней предполагали командировать от Информбюро в Америку. Ему потребовались из Москвы какие-то документы, находившиеся у него на месте службы, на Старой Площади близ Ильинки. В 6 ч. вечера он прилетел в Москву, в 7 был в помещении Информбюро в своем кабинете и через минуту был убит взрывом бомбы, упавшей близ дома ЦК[4]. Но вернемся к деловым вопросам.

Должно пройти некоторое время, пока для меня выяснится, в каком я положении и как мне быть дальше. Если мои надежды не оправдаются, я наймусь истопником в Детдом, где работает Зина, и где это никого не удивит, потому что там кладовщиком и ее помощником служит человек с высшим образованьем, доцент биолог. Деньги нужны только мне и вам, и в некоторой части, руб. до 100 в месяц для Стасика, потому что себя и Леничку З. Н. оправдывает целиком своей работой. У вас в Ташкенте есть Отделенье Управления по Охране Авторских Прав. Когда через Чистопольское отделенье того же учрежденья я узнаю, идет ли где-нибудь Гамлет и приносит ли что-нибудь, я буду с помощью этого учрежденья делиться с вами, как бывало прежде.

Неизвестность о вас начинает беспокоить меня. Напишите мне побольше и поподробнее. К вам ведь хлынуло множество народа, среди которого немало людей известных и интересных. Вы наверное окружены целою галереей знакомых, вряд ли мама скучает. Не появились ли у вас Оля с тетей Асей, если да, это было бы для меня безмерным счастьем. Чистополь мне очень нравится. Милый захолустный городок на Каме; в тысячу раз лучше дикой и засранной Казани. У меня простые и страшно симпатичные хозяева и очень хорошая комната в хорошей части города. Я опять взялся за Ром<ео> и Дж<ульетту>, которых постараюсь сделать к Рождеству, и пишу кое-что свое, вроде тех весенних стихотворений, которые мама знает. На столе и окнах у меня цветы в горшках, как

везде в Чистополе, к горшку передо мной прислонена твоя детская карточка в голубой фуфайке, единственная вещь, захваченная мною при отъезде с вашей московской квартиры[5]. Я редко вижу Леничку, он грустный, красивый молчаливый мальчик, которого все обожают.

Крепко целую тебя и маму. *Твой папа*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] В дни немецкого наступления на Москву 14 октября 1941 г. по приказу ЦК ВКП(б) о немедленной эвакуации писателей был собран эшелон, куда Фадеев включил Пастернака, Федина, Ахматову, Леонова, Алигер и др.

[2] В случае взятия Москвы немцами.

[3] За отказ от эвакуации Г. Г. Нейгауз был арестован 4 ноября 1941 г.

[4] О гибели Афиногенова Пастернак напечатал заметку в газ. «Литература и искусство» (28 окт. 1944). См. т. V наст. собр.: «Афиногенов. К трехлетию со дня смерти».

[5] Фотография была сделана в 1926 г.

862. Е. В. ПАСТЕРНАК

22 ноября 1941, Чистополь

22. XI. 41. Дорогая Женя! Меня начинает беспокоить ваше молчанье. Живы ли вы и что с вами? Удается ли тебе работать? Учится ли Женек и каковы его дела? Напиши мне вообще поподробнее о вашей жизни, вокруг вас столько знакомых. Не знаешь ли ты чего-нибудь о Шуре и тете Асе с Олей? Не у вас ли они? Я снимаю комнату на той же улице, где стоит пожарная часть, в которой разместился детдом Литфонда, место Зининой службы и Леничкина жительства. Стасик живет в другом месте. Мы его не видим почти никогда, Зину вижу почти ежедневно, она иногда у меня ночует, Леничку же не чаще раза в неделю. Он сосредоточенный неразговорчивый мальчик, выпячивает губки и корчит ротик в сторону, дурная привычка, которая не превратилась бы в постоянную, вообще же тихий, послушный мальчик, любимец всего персонала. Жить вместе технически невозможно и не по средствам. Как только будут деньги, пошлю вам. Крепко обнимаю. *Боря*

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

Волнение по поводу отсутствия писем из Ташкента выразилось также в телеграмме, отправленной 2 дек. 1941: «Обеспокоен молчаньем телеграфируй здоровье. Чистополь Володарского 63 Детдом».

863. А. Л. и И. Н. ПАСТЕРНАКАМ

5 декабря 1941, Чистополь

5. XII. 41. Дорогие мои Шура и Ирина! Живы ли вы? С течением времени, и это естественно, страх за вас все возрастает. Соображенья во время нашего последнего разговора были иного порядка. Мы не учли прогрессивно увеличивающейся опасности затяжных бомбардировок, когда из лотереи они обращаются в планомерное уничтоженье. Мы говорили о человеческом, а надо было говорить о сутках, месяцах и бомбах. Как было бы хорошо, если бы вы все-таки нашли возможность уехать! Как бы мне этого хотелось для вас, для Гаррика и Асмусов! О Генр<ихе> Густ<авовиче> здесь распространили ложный слух, будто бы его видели 16/X на Казанском вокзале при посадке в какой-то эшелон. Мы, было, страшно обрадовались. Но это, оказалось, враки. Соберитесь и уезжайте! До нас иногда доходят сведенья об отдельных, особо выдающихся разрушеньях. Судьба дома в Лаврушинском нам известна. Уезжайте, вы не представляете себе, как меня беспокоят страхи и мысли о вас! Спасибо за телеграмму. О какой доверенности речь? Я не откажу, Шура, тебе ни в какой. Я только не знаю, какая тебе требуется. Во всяком случае полным техническим, или хозяйственным доверьем облечена у меня Петровна (Ел. Петр. Кузьмина Кропоткинская 3, кв. 20 у М. А. Родионовой). Если ты хочешь ей помочь взятьем вещей на храненье, она тебе скажет только спасибо; если тебе что-нибудь надо, она ни в чем не откажет тебе. — Я написал это, но в конце концов решил составить тебе доверенность в самой общей форме и ее здесь прилагаю. Думаю, такой будет достаточно. — Сейчас приезжий из Москвы, видевший Асмусов, сообщил мне все про Гаррика[1]. Я поражен и еще не сообщил Зине этого огорченья. Если его положенье изменилось, и он вышел из больницы, немедленно мне телеграфируйте. Асмусы рассчитывают, что отсюда можно что-нибудь сделать. Но этот город зимой вообще отрезан от остального мира, почта ходит только раз в неделю, что́ можно отсюда предпринять, даже если бы у меня были возможности, каких у меня не имеется. Сюда на некоторое время приезжал Фадеев, но на днях вылетел в Казань. Все же подумаем, я поговорю с Фединым. Я хотел написать тебе, Шура, о здешней жизни, о живописности здешней зимы, о нашем житье-бытье и прочем, но заговорился о делах, и это описанье придется отложить до следующего раза. Обнимаю тебя, Ирину, Федю, Алешу[2] и всех ваших.

Твой Боря

Впервые. — Автограф.

[1] Г. Г. Нейгауз был арестован 4 ноября 1941 г.

[2] *Алеша* Вильям — сын арестованного Рудольфа Николаевича Вильяма, племянник И. Н. Пастернак.

864. П. И. ЧАГИНУ

12 декабря 1941, Чистополь

12. XII. 41

Дорогой Петр Иванович!

Я ответил Вам телеграммой: «Перевод готовлю»[1]. Вот объясненье. Когда я сюда приехал, у меня было два обязательства, перед Вами (Словацкий) и перед Храпченко (пер<евод> «Ромео и Джульетты»). Это соглашенье было заключено раньше, незадолго до войны. Комитет по дел<ам> иск<усств> только авансировал работу, предоставив мне свободу выпуска перевода, где я захочу.

Война застала меня за вторым актом. Естественно, я забросил перевод.

В начале октября Михаил Борисович[2] удивил меня уверенъем, что работа не утратила желательности и важности. Он просил продолжать ее.

В Чистополь я попал к концу октября. Вчера я вывел последнюю строчку перевода. Вчерне «Ромео» готов, его осталось отделать и переписать.

Если «Гамлет» не принес Вам неприятностей, не возьмете ли Вы нового перевода? Снеситесь консультативно с «Комитетом» и сообщите мне свое решенье. Дела мои не блестящи, не протомите меня с ответом.

Теперь о Словацком. Я с завтрашнего дня засяду за него. Я с таким же успехом мог бы заняться им, как и «Р<омео> и Дж<ульеттой>», но хорош бы я был, если бы Словацкий остался без приложенья. В положении этой неясности Шекспир казался мне риском более разумным. В этом смысле Ваша телеграмма была для меня радостной неожиданностью. С Вами ли Дм. Ал. Горбов, изготовленных им подстрочников у меня всех в общем на одну тысячу с чем-то строчек, а договор на две. Кстати, я не захватил копии договора, пришлите ее мне[3].

Итак, первая просьба. Подстрочный материал надо пополнить до задуманного редакцией объема. Буду ждать досылки подстрочников.

Другая просьба. Помогите мне в пристройке переводов в наши журналы, лучше сказать, возьмите великодушно этот труд на себя. Я не знаю, куда какие перевезли. Списываться с ними отсюда затруднительно. Дайте тем из них, которых заинтересует Словацкий, мой адрес, и таким образом меня с ними свяжите.

В заключенье извините меня за невольную проволочку. Она была вызвана общей неизвестностью, я скоро это заглажу.

Жму Вашу руку и желаю всего лучшего. Жив ли Ваш сын?[4] Уверен, что Вы мне не откажете в скором и подробном ответе, которого буду ждать с нетерпеньем.

Привет Вашей супруге.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Альманах библиофила. XI. 1981 (с купюрами). — Местонахождение автографа неизвестно.

[1] «Красноуфимск Государственное издательство Чагину = Перевод готовлю. Отвечаю письмом = *Пастернак*» (9 дек. 1941; РГАЛИ, ф. 2413, оп. 1, ед. хр. 545).

[2] Храпченко.

[3] Речь идет о договоре на перевод стихотворного сб. польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого, подстрочники которого сделал для Пастернака редактор Гослитиздата *Д. А. Горбов.*

[4] *Сын* Чагина был тяжело ранен на фронте, в 1942 г. скончался.

865. З. Н. ПАСТЕРНАК

31 декабря 1941, Чистополь

Зиночка, нам не придется быть сегодня вместе. Мне придется полежать. Я неудобно повернулся, и у меня начинает болеть спина. Это пустяки, если захватить вовремя и дать отдых мышце[1]. Сегодня мне от тебя ничего не нужно, тем более что все вы будете страшно заняты. Но завтра 1-го, пожалуйста, приведи Леничку ко мне после завтрака, с тем чтобы он побыл у меня до своего обеда[2]. Если ты будешь занята, попроси, чтобы кто-нибудь отвел его, может быть, во время прогулки.

Желаю тебе начать год со счастливыми предчувствиями и благоприятными знаменьями, а в году желаю самого наилучшего: поправки Адику, успехов в занятиях Стасику, а Гарику освобожденья. Кланяйся всем в детдоме. Передай письмецо Ф<анни> П<етровне>[3]. Целую тебя.

Твой Б.[4]

Впервые: «Второе рождение». — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62). Датируется по содержанию.

[1] А. К. Гладков вспоминал долгую прогулку с Пастернаком в этот день: «Он слегка простужен: у него прострел в спине. Обычный для него длинный, перебивающийся отступлениями монолог <...> При прощании Б. Л. пожелал мне в наступающем новом году: “всего того, о чем мы так много говорим между собой и еще больше молчим...”. Я зову его встречать Новый год с нашей компанией. Сначала он даже как будто обрадовался, сказал, что собирался быть этим вечером дома один, так как З. Н. на вечере в детском интернате <...> но потом вспомнил про свой прострел и решил, что, пожалуй, лучше он посидит дома» (Воспоминания. С. 332–333).

[2] 1 января — день рождения Лёни, ему исполнялось 4 года.

[3] Фанни Петровна Коган — заведующая детским домом в Чистополе.

[4] «Вечером, — писал Гладков, — перед тем, как идти в нашу компанию, захожу на минутку к нему, чтобы еще раз предложить ему участвовать во встрече Нового года. Он лежит в постели с книжкой Гюго. На столе маленькая лампочка. Так встречает Новый год Пастернак» (там же).

866. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

2 января 1942, Чистополь

2. I. 42

Дорогой Шура!

С Новым годом тебя, Ирину, Федю и всех ваших. В Москву отправляется директор управленья по охране авторских прав Григорий Борисович Хесин (адрес Упр. Охраны авт. прав Лаврушинский 17/19 внизу тел. В-1-35-87), который любезно согласился опустить в Москве это письмо. Держи с ним, пожалуйста, связь. Во-первых, сообщи все о себе, живы ли вы и здоровы, и как и что. Получил ли ты мою доверенность, посланную заказным по почте?[1] На всякий случай возобновляю ее и передам Григорию Борисовичу, который ее заверит. Он человек очень знающий, практический с большим умом и возможностями по всяким финансово-организационным делам, связанным с театрами и драматургией, а тут в Чистополе работает вместе с Фединым, Треневым, Асеевым, мною и Леоновым в правлении союза писателей. Обращайся к нему по всем делам, касающимся меня, где требуется совет и деньги: если мне какие бы то ни было будут причитаться, он их тебе выдаст на мои нужды, а может быть и на твои собственные, в виде ссуды от меня, если вы очень нуждаетесь. Итак, возвращаюсь к вопросам. Получил ли ты от Нейштадта 300 руб. и записку[2], посланные тебе для расплат по квартирам?* Будь добр, дай мне так знать, чтобы это когда-нибудь дошло до меня, какое из наших городских обиталищ (Лаврушинский и Тверской бульвар) уцелело настолько, что пригодно для моего проживанья сейчас: в

---

* О том, не будет ли оказии в Чистополь или о том, где это узнать, перезвонись с Г. Б. Хесиным. (*Прим. Б. Пастернака.*)

феврале или марте, когда я развяжусь с «Ром<ео> и Дж<ульеттой>» (я их снова стал переводить в Чистополе), я может бы приехал один по делам в Москву, если пребыванье в ней не сопряжено с Сизифовыми трудностями. Итак: цел ли дом на Тверском бульваре? Действует ли там водопровод и топят ли там. Целы ли вещи в оставшейся комнате? Для меня было бы большою радостью, если бы оказалось, что папины работы и мои книги из Переделкина, в узлах, сохранились, и их удалось бы сохранять и дальше. Что тебе известно о Жене и Женичке? О Гаррике? Как всегда в таких случаях (я писал тебе уже не раз) вызови к себе Ел. Петровну Кузьмину (Кропоткинская 3, кв. 20, у М. А. Родионовой) и она тебе поможет. Кончаю второпях. Крепко тебя и всех твоих целую. *Твой Боря*

Купи, пожалуйста, фунта $1^1/_2$ чаю и передай Хесину для пересылки мне.

Впервые. — Автограф.

[1] См. письмо к А. Л. и И. Н. Пастернакам № 863.

[2] Записка не была передана; она сохранилась в архиве поэта В. И. Нейштадта: «Дорогой Шура. Телеграфируй, что с Вами, выпустили ли Нейгауза. Пиши. Отправь папе приложенную телеграмму. Подпиши, если потребуют паспорт, фамилией, а если нет: Boris. Внеси за два месяца за мою квартиру или попроси, чтобы это сделала Петровна. Если нужно за Женину, пусть платит за нее. Крепко тебя и твоих обнимаю. Пишу страшно второпях, Влад. Ильич Нейштадт торопится». Текст телеграммы в переводе с англ.: «Л. О. Пастернаку. Все в порядке, лучшие поздравления с новым годом. Живем на восток от Казани» (РГАЛИ, ф. 1525, оп. 1, ед. хр. 614). Владимир Ильич *Нейштадт* — историк литературы и переводчик.

867. З. Г. ДАЛЬЦЕВУ

13 февраля 1942, Чистополь

13. II. 42

Глубокоуважаемый Зиновий Григорьевич!

Спасибо за письмо и заботы о деле. Ту же благодарность передайте, пожалуйста, Михаилу Михайловичу[1]. Препровождая Вам подписанный договор[2] с товарищем Котоком, любезно согласившимся отвезти письмо в Казань, прошу Вас воспользоваться его обратною поездкой в Чистополь и передать ему для меня денежный аванс, на полученье которого я ему составил доверенность[3].

Крепко жму Вашу руку. Сердечный привет Вам и Вашей дочери.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2413, оп. 1, ед. хр. 545).

З. Г. Дальцев — директор Всероссийского театрального общества.

[1] М. М. Морозову, историку литературы и редактору шекспировских переводов Пастернака.

[2] Договор на пьесу был подписан главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел» С. Д. Иловайским и выслан Пастернаку 8 февр. 1942 в ответ на его «Предложение в Комитет по делам искусств. По окончании заказа Гослитиздата (перевод избранных произведений Ю. Словацкого) податель записки предполагает написать оригинальную современную пьесу в прозе» (27 янв. 1942. — Т. V наст. собр.). Срок сдачи пьесы по договору не позднее 15 июля 1942.

[3] Дальцев 28 февр. 1942 послал Пастернаку извещение, что получил договор, но без его подписи и просил прислать другой экземпляр, подписанный. Это задерживало выплату аванса. Пастернак писал 1 марта 1942 с извинениями: «Как жалко, что по моей вине или рассеянности произошла такая задержка с авансом! Если это заказное уже не застанет товарища Котока в Казани, то переведите мне деньги по телеграфу» (РГАЛИ, ф. 2413, оп. 1, ед. хр. 545).

868. Д. Д. АВДЕЕВУ

18 февраля 1942, Чистополь

18. II. 42

Глубокоуважаемый и дорогой Дмитрий Дмитриевич!

В Вашу больницу поместили вчера маленького Вову Смирнова с тяжелой формой ангины, похожей на дифтерит. При нем мать, Вера Васильевна Смирнова, прекрасный человек и превосходная детская писательница (ее, кажется, знает Арсений Дмитриевич). Она просит заочно представить ее Вам и походатайствовать, чтобы ей разрешили остаться при сыне, а я исполняю это с величайшей готовностью, чтобы лишний раз уверить Вас в своей глубочайшей преданности и уваженьи.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 42).

Д. Д. Авдеев — известный чистопольский врач, отец Валерия Дмитриевича, будущего профессора ботаники, и Арсения Дмитриевича, театроведа. Авдеевы с горячим интересом относились к литературе и открыли двери своего дома для регулярных вечеров, где собирались эвакуированные писатели. О «днях Авдеевских салонов» Пастернак писал: «Я вспомню длинный стол и залу, / Где в мягких креслах у конца / Таланты братьев завершала / Усмешка умного отца» («В. Д. Авдееву», 1942).

869. К. И. ЧУКОВСКОМУ

12 марта 1942, Чистополь

12. III. 42. Дорогой Корней Иванович!

Благодарю Вас за помощь Жене. Она мне писала, как много Вы для нее сделали[1]. Очень бы мне хотелось знать, как Вы живете и что делаете, как здоровье Марьи Борисовны и Лидии Корнеевны и что слышно о Коле и Борисе[2]. Убедите, пожалуйста, Лидию Корнеевну написать мне несколько строк только об этом, и постоянный личный мой долг Вам еще возрастет, а ей я напишу, что она захочет.

Мы и так тогда собирались навестить наших детей и женщин, к этому прибавился приказ об эвакуации, мы знали, что связь Чистополя с миром на шесть месяцев вымерзает, вот я все это и принял, и в рамку этих обстоятельств надо было вписать какой-нибудь окупающийся труд, длительный и разумный. Я перевел «Ромео и Джульетту» и должен буду сделать избранного (своей работы) Словацкого. Ко времени, когда я с ним справлюсь, рамка оттает, связь с миром возобновится, и надо будет подумать о дальнейшем. Но я так чудесно настроен, что с верою буду двигаться навстречу этим размышленьям.

Часть нашего бабьего царства, чтобы не сказать стада, воет по московским горшкам, причем по системе нынешних софизмов этому вою приписывается высокий смысл, и тогда им подтягивают мужья. Для меня эти горшки тоже символ того прошлого, с которым лично я расстался навсегда и в которое для меня нет возврата[3]. Я, может быть, поеду в Москву по делам и повезу туда рукописи и свою веселую дерзость.

Сейчас получено известие, что новые обитатели городка писателей привели все в совершенное разрушенье и загадили, переносили вещи из дачи в дачу, раскурили Павленковскую библиотеку, трижды загорались дачи Сейфуллиной, Кассиля и Ивановых. Первые удалось отстоять, а Ивановская сгорела. Мне жалко только папиных работ, но ведь я ко всему был готов и все предвидел[4]. Не правда ли, умилительно? А Вы говорите — Ясная Поляна. Помните, Вы мне рассказывали про Куоккалу?[5]

Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: «Когда кончится это толстовское юродство?» [6] И вот вдруг Лев Николаевич попал в герои.

В перечне вещей, вывезенных (а не уничтоженных) из Я<сной> П<оляны>, числится *копия* с папиной «Наташи на балу» к Войне и Миру. Перед самым отъездом из Москвы я обратился в *нынешнюю* Третьяковскую Гал<ерею> с просьбой сберечь сундучок папиных записных книжек, — лучшего, что он за свою жизнь сделал, с целою, между прочим, бездною этих самых Наташ в оригинале, — надо было видеть, с какою миной было отказано такому ничтожеству, как я, по поводу такого ничтожества, как отец мой. А Вы говорите Ясная Поляна.

Что Вы знаете о несчастной Жене Афиногеновой? Я написал ей в Куйбышев по известии о смерти Александра Николаевича, событии страшном и которое кажется почти вымышленным или подстроенным, по неожиданности, нарочитости и символической противоречивости. Там были приветы и выраженье соболезнованья Антонине Васильевне и Светлане[7], — в Ташкенте ли они и как они?

Я бы Вам много написал интересного, но боюсь вдаться в бесконечность. Естественно сердечный и естественно понятный привет всей семье Вашей, а то бы я не томил Вас шестою страницей. Поцелуйте, пожалуйста, Анну Андреевну[8], независимо от того, как Вы это сделаете, сами или через посредниц. Крепко целую Вас.

Ваш Б. П.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 1. — Автограф (РГБ, ф. 620, оп. 3).

[1] Из письма Е. В. Пастернак 16 февр. 1941: «Живем мы теперь, как я тебе писала, на ул. Урицкого 70... Переехать сюда помог Корней Иванович» («Существованья ткань сквозная». С. 437).

[2] *Мария Борисовна* — жена К. Чуковского, Л. К., Н. К. и Б. К. их дети; сыновья были на фронте, Борис Корнеевич погиб в 1941 г. в боях под Москвой.

[3] Ср. из поэмы «Зарево» (1943): «Он надышался смертью, порохом, / Борьбой, опасностями, риском, / И стал чужой мышиным шорохам / И треснувшим горшкам и мискам».

[4] В Переделкине стояла зенитная часть. О судьбе работ Л. О. Пастернака см. также в письме № 898.

[5] Имеются в виду сообщения о разорении музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и рассказ Чуковского о разграблении дома И. Е. Репина в Куоккале во время Финской кампании 1939 г.

[6] Речь идет об отказе Пастернака подписать письмо писателей с требованием расстрела военачальников Тухачевского, Якира и др. в 1937 г.

[7] Евгения Бернгардовна, вдова А. Н. Афиногенова, была в эвакуации в Куйбышеве, его мать *Антонина Васильевна* и дочь *Светлана* — в Ташкенте. О смерти Афиногенова см. письмо № 861.

[8] Ахматову.

870. Е. В. ПАСТЕРНАК

12 марта 1942, Чистополь

12. III. 1942. Дорогая Женя! Я получил все твои письма и телеграммы вплоть до последнего, с известием о поступлении Женички в Военную Академию. Я этому безмерно рад и вас обоих от души с этим поздравляю. Я никому не писал больше двух месяцев, сознательная жертва, которую я приносил работе над «Ромео и Джульеттой» именно в этот срок и оконченной.

Она мне стоила гораздо большего труда, чем Гамлет, ввиду сравнительной бледности и манерности некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают, одной из первых у Шекспира. При переводе Гамлета приходилось сдерживаться, чтобы текст не унес тебя в пучину безумнейшей боговдохновенности, между тем как в работе над «Ромео» я все время напрягался, стараясь выделить самое существенное, гениальное и реалистическое, и искал освещенья, при котором второстепенные и слабые стороны остались бы в позволительной и естественной тени. Все время я готовился к неудаче и провалу с этой вещью, и если, кажется, избежал позора, то именно благодаря большей, чем в Гамлете старательности и нескольким переделкам.

Молодой драматург Гладков, отправляющийся на днях в Свердловск и дальше на восток, везет с собой экземпляр перевода для собственной надобности. Если он заедет в Ташкент, я попрошу его дать его вам временно для прочтенья.

В день окончанья работы я читал ее публично и выручил на подарки красноармейцам около 700 руб.[1]

Я прожил эту зиму живо и с ощущеньем счастья среди лишений и в средоточьи самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной, Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Треневым. Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого. Сейчас я собирался в одно место и зашел за Асеевым, но узнал, что наше предположенье отложено. Они меня просили остаться, а когда узнали, что я тороплюсь домой, чтобы дописать прерванное тебе письмо, Синяковы просили тебе кланяться и поздравили меня с гражданским совершеннолетьем Жени. Пусть он снимется в форме и пришлет карточку Леничке, по адресу: Ул. Володарского 63, детдом Литфонда, Лене Пастернаку. «Мой брат Женя на войне», — говорит он. — Что же тебе его жалко? «Нет, — отвечает он, — на войне хорошо, а мне жалко бедного брата Адика в больнице». —

Я наверное писал тебе про ухудшившееся и, — боюсь, неизлечимое его состоянье, и про судьбу Гаррика, попавшего в положенье Тициана. Об этом нельзя говорить, это рев, рев и сплошные слезы. Мы наверное съездим к нему, а до этого, после окончания еще одной переводной работы, я хочу пробраться в Москву и, может быть, куда-нибудь на фронт.

Ленички я почти совершенно не вижу, за исключеньем тех случаев, когда он простужается и его кладут в изолятор. Мы с ним связаны одинаково горячей любовью, болью и разлукой. Как и Стасик, он не умеет отвечать на вопросы, техника собеседованья не постигнута им, и его ответов приходится ждать до трех минут. Но монологи его удивительно серьезные и задушевные и обнаруживают недетскую чувствительность и такую благодарную память, что за ней слышится верность прошлому и послушанье. Он помнит клички всех собак в Переделкине и все тропинки, и ваш двор в Москве в день эвакуации, и многое другое. Угадай, папа, говорит он, почему я в одной рубашке пошел в палатку (у пруда)? — Вероятно потому, что было жарко? — Да, — говорит он, — ты угадал. Или: «Я очень люблю спать, потому что во сне иногда у меня бывают папа и мама». У него несомненные полипы и затрудненная давящаяся речь с выпаденьем носовых, как при насморке. Кругом доктора и педагоги, я двадцать раз говорил это им, но они либо слепы, либо это не страшно и этим рано заниматься. Он совершенно не умеет сморкаться и всегда тянет сопли в себя. У меня он почти не простужался, а здесь попал в совершенно иную систему взглядов на чистоту и грязь, холод и тепло и пр. и часто болеет. Но это старая история, за какие-то стороны дисциплинированного обихода я боролся наверное и с вами.

Сейчас я займусь переводом польского классика Словацкого. Это тоже денежно обусловленный заказ, т. е. работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое, для себя. От надежд на помещенье чего-нибудь своего, если оно будет настоящее, надо отказаться. Тем большую, значит, свободу я себе и дам. Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие стихотворенья. Это настроенье, может быть предсмертное, последнего года и последних довоенных месяцев, которое еще ярче разгорелось в войну. Если бы этому было приложенье, — не со стороны денежной, а с логической стороны какой-то разумной душевности, находящей свое осуществленье, эти силы бы наверное как-то сказались.

Я здесь видел людей, в торопливости бегства захвативших с собою Блока и меня, этому можно было бы радоваться и этим

гордиться. Я же этого не понимаю и живу соединеньем стыда и недоуменья, жалостью о даром пропащем времени и чувством несломленного здоровья.

У меня сейчас заминка с деньгами. Скоро я тебе переведу очень немного, 500 руб. А потом может быть дела улучшатся.

Крепко целую тебя и Женю. Пусть он снимется и мне напишет.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Вечер состоялся 26 февраля 1942 г.

871. Т. В. и В. В. ИВАНОВЫМ

12 марта 1942, Чистополь

12. III. 42

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Удивительно, сколько времени лишаю я себя удовольствия написать Вам. Делал я это ради работы, и это стоило мне большой выдержки. Каждый раз, как тут являлось что-нибудь новое, мне всегда хотелось записать это для Вас, и попутно и для себя занести на память. От этого я отказывался.

Так мне хотелось написать Вам о великолепии здешних холодов, которое все заметили. В ту войну я две зимы прожил на Урале и в Вятской губ. Всегда кажется, в особенности когда грешишь искусством, что твои воспоминания прикрашены и разрослись за тридцатилетнюю давность. Нынешней зимой я убедился, что гиперболизм в отношении впечатлений того времени был уместен и даже недостаточен.

Потом, когда сложилась наша правленческая пятерка[1], мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большой гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятерых объединили, как по уговору.

Я думаю, если не все мы, то двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно. Все очень постарели и похудели, а здоровье Федина, по-прежнему моей старейшей привязанности, даже внушает опасенье, но нравственная новинка, о которой я говорю, праздником живет в нас — и молодит против Москвы.

Смело держится и интересно работает Асеев. К<онстантин> А<лександрович> пишет дальше свою книгу о Горьком, причем что ни новая глава, то все лучше[2]. Мы устраиваем по средам лите-

ратурные собрания. Федин открыл их чтением своей книги, прошедшим с огромным успехом. На них с бесподобным блеском выступает Леонов, и так как в компании нет Ник. Федоровича[3], то иногда позволяю себе говорить и я.

Кстати, поклон ему. Я нарочно не вмешивался в Женины неурядицы, чтобы не осложнять наших и без того странных отношений с ним. По словам Жени всем хорошим, что она видела в Ташкенте, она обязана Вам[4]. Прибавлять ли, как я Вам за это признателен?

Другим основаньем для благодарности, — Адик, которому Вы пишете. Весной мы с Зиной к нему съездим. Я в вечном страхе за него. Боюсь, его не спасти. По отзыву старшего врача, с которым я списывался, нога его в плохом состояньи и возможность ее ампутации не устранена. Но это еще не худшее. Я думаю, туберкулез позвоночника, который у него открылся, лишь новая и следующая ступень общего его разрушенья. Ничего этого он не должен знать. Мы скрываем от него также судьбу Генр<иха> Густ<авови>ча, но наверное я ему наконец сообщу правду (он разделил судьбу Ив<ана> Капитоныча и Всев<олода> Эмил<иевича>[5], если Вы еще не знаете), чтобы мальчик не думал, что отец убит во время бомбардировки[6].

Как ни скромно и немногочисленно сделанное мною незадолго до войны и в первые ее месяцы, ничего из этого не попадает в печать, и дальше это только будет ухудшаться. Итак я снова волей-неволей сведен к переводам. Наряду с оконченной «Ромео и Джульеттой», я должен буду приготовить избранного Юл. Словацкого. Когда я его окончу, я, может быть, повезу рукописи продавать в Москву. Мне хочется сделать это до навигации, потому что, не предрешая этим конечного исхода войны и судьбы Москвы, я думаю, что вместе с пароходным сообщением осенние волны на Восток повторятся, и через месяц-полтора двигаться навстречу этому потоку будет невозможно. Разумеется, как бы ни сложилось мое пребывание в Москве, если я туда попаду (я также хочу постараться попасть на фронт), я потом вернусь к Зине и детям.

Я иногда встречаю Зинаиду Владимировну и Марию Потаповну[7], они себя хорошо чувствуют, у обеих превосходный вид. Вас же всех и еще чаще вижу в мыслях, при чем Таня и Кома всегда в движении, а Вы оба и Миша[8] стоите или сидите.

Что-то важное и интересное надо было сообщить Вам, но это-то именно я и упустил, и не могу вспомнить. От души желаю Вам всего лучшего.

Преданный и любящий Вас Б. П.

Кланяйтесь, пожалуйста, семьям Чуковских и Погодиных и, если известите меня о полученьи письма, сообщите, что и как Ахматова, а также приложите ее адрес.

Замечательную Вашу поздравительную телеграмму (равно как и Женину) получил, восхищен и благодарю. Вообще я наверное о многом забыл, не сочтите за невнимание. И весь Чистополь кланяется Вам, Вам обоим и детям.

Впервые: Тамара Иванова. «Всеволод Иванов — писатель и человек». М., 1970 (с купюрами). — Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. Вяч. Вс. Иванова).

[1] Эвакуированные в Чистополь члены правления Союза писателей: К. А. Федин, Л. М. Леонов, Н. Н. Асеев, К. А. Тренев и Пастернак.

[2] К. А. Федин. «Горький среди нас» (1941–1944).

[3] Имеется в виду Н. Ф. Погодин, который, как вспоминала Т. В. Иванова, «чуть встретясь, принимался наставлять Бориса Леонидовича на правильный путь» (Воспоминания. С. 246).

[4] Из письма Е. В. Пастернак 16 февр. 1942: «Всем хорошим, что у нас здесь есть, мы обязаны Ивановым» («Существованья ткань сквозная». С. 437).

[5] Литературный критик И. К. Луппол и В. Э. Мейерхольд были арестованы в 1939 и 1940 гг.

[6] З. Н. Пастернак вспоминала, что такое письмо действительно было написано: «Письмо это я помню наизусть. Боря писал, чтобы Адик не думал, что его отец в чем-то провинился, наоборот, он знает, что всех лучших людей в России сажают, и он должен гордиться арестом отца. К нашему большому удивлению, это письмо каким-то чудом дошло» (Воспоминания. С. 206).

[7] З. В. и М. П. Каширины — сестра и мать Т. В. Ивановой.

[8] *Кома* (Вячеслав), Татьяна и Михаил — дети Ивановых.

872. А. Е. КРУЧЕНЫХ

18 марта 1942, Чистополь

18. III. 42. Дорогой Алеша! Я никому не писал 2 месяца, чтобы довести до конца «Ромео». Ты простая и благородная душа. Твои открытки восхищали юмором и блеском[1]. Я не раз порывался написать тебе о нашем здешнем житье-бытье.

Вероятно я расскажу это тебе устно. Если судьбе будет угодно, я через месяц думаю собраться в Москву[2]. Мне это надо будет по делам; и именно сообразуясь с их теченьем, я задумываю эту поездку и назначаю ее предположительный срок.

Наверное весной давленье на восток возобновится, и технически будет трудно двигаться навстречу потоку, но половина де-

нежных расчетов, за которыми мне придется съездить, будет по избранному Словацкому для Чагина, и наверное весь апрель я потрачу на его изготовленье[3].

Милый друг, у меня нет никакой надобности чем бы то ни было затруднять тебя. Экземпляр «Ромео» я бы мог послать непосредственно Храпченке в Комитет заказною бандеролью. Если, может быть (я еще не уверен), я попробую заслать его тебе, с тем, чтобы через несколько дней, по его прочтеньи, ты его передал Волконскому в Комитет по делам искусств (это имя в телеграфном запросе Комитета ко мне не совсем разборчиво[4]), — то только в чаяньи, что может быть это с какой-нибудь стороны будет тебе приятно. Ты ведь человек компанейский и добрый товарищ. Может быть, тебе доставило бы удовольствие показать кому-нибудь перевод или взглянуть самому. В виде пробного шара я вышлю тебе заказною бандеролью несколько моих стихотворений, которых ты не знаешь. Они написаны перед самой войной в Переделкине и должны были появиться в «Красн<ой> Нови». Остальное — осенние вещи, связанные с войною[5]. Если тетрадка дойдет, можно будет посылать Ромео с легким сердцем. Пока я буду корпеть над Словацким, и мне будут перестукивать перевод, у тебя будет время срочно известить меня, как прошло испытанье.

Представляю себе степень ваших лишений, бедные, бедные! Сколько раз у меня сжималось сердце при мысли о брате, об Асмусах, о Косте Локсе, о тебе, о вас всех! Но не думай, что здесь слишком сладко. В Москву думаю соблазнить вместе с собой К. Федина, а то поеду один, без иллюзий, но с еще большей легкостью в душе, чем уезжал, с еще дальше зашедшими размышленьями, с еще более многочисленными установками и недопущеньями. Так я тебе ничего и не написал. Целую тебя. Всем сердечный привет.

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] На такую открытку Пастернак отозвался 6 янв. 1942: «Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, дорогой Алеша! Я напишу тебе как-нибудь подробнее, а пока спешу сообщить, что все в восхищеньи от твоей открытки и она доставила мне большую радость. Может быть в феврале или марте я приеду с Фединым или с Колей по делам и мы поживем до весны, а перевозить всех, Бог даст, в случае наших успехов, будем не раньше осени: слишком много труда положено было на мало-мальски сносное обзаведенье детей и женщин, и второй раз этого не поднять; мы же — другое дело и

может быть скоро увидимся. Большое тебе спасибо за память. Крепко целую» (там же. С. 519).

[2] Поездка в Москву была перенесена на осень.

[3] Перевод подборки стихов Юлиуша Словацкого был выслан в Гослитиздат 30 мая 1942 г. См. письмо № 882.

[4] Вероятно, Г. И. Фалковский, сотрудник Комитета по делам искусств. См. это имя в письме № 876.

[5] Имеется в виду тетрадь со стихотворными циклами 1940–1941 гг. «Год в Переделкине» и «Военные месяцы» и дарственной надписью: «На память из Чистополя Алеше Кручены с превеликою нежностью. *Б. Пастернак*. 20. III. 42» (там же. С. 517). В цикл «Военные месяцы» вошли пять стих. лета 1941 г. и два, написанные в Чистополе: «Старый парк», «Зима приближается».

873. А. К. ГЛАДКОВУ

18 марта 1942, Чистополь

Дорогой Александр Константинович, счастливой дороги! Итак, помните: если бы явилась надобность в размножении экземпляра[1], последите *скрупулезнейше* за правильностью копий. Поклон Алексею Дмитриевичу[2]. Если будет что сообщить, напишите. Мой адрес: Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Володарского, 75, кв. Вавиловых. В Казани заинтересуются рукописью для газеты «Литература и искусство». Если Вы задержитесь, дайте им для ознакомленья, но вообще предоставляю все это Вашему усмотренью.

Может быть, если Попов заинтересуется и возьмет перевод, пообещать им (газете) это потом, обратным Вашим проездом из Свердловска[3].

Спасибо за участие. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Александр Гладков. Встречи с Пастернаком. Париж, YMKA-Press, 1973. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2590, оп. 1, ед. хр. 32). Датируется днем отъезда Гладкова из Чистополя.

Пастернак познакомился с молодым драматургом А. К. Гладковым в гостях у Мейерхольда в марте 1936 г. и ближе сошелся с ним в Чистополе. В надписи, сделанной на книге «Стихотворения в одном томе» (М., 1935), Пастернак вспоминал об их дружбе: «Александру Константиновичу Гладкову. Вы мне очень полюбились. На моих глазах Вы начинаете с большой удачи. Желаю Вам и дальше такого же счастия. На память о зимних днях в Чистополе, и даже самых тяжелых. *Б. Пастернак*. 22.X-42. Москва» («Встречи с Пастернаком». М., «Арт-Флекс», 2002. С. 139).

[1] Просьба относится к машин. «Ромео и Джульетты», которую Пастернак передал Гладкову.

[2] А. Д. *Попов* — главный режиссер Театра Красной армии, который поставил пьесу Гладкова «Давным-давно» в Свердловске.

[3] Сначала Гладков отправлялся в Казань.

874. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

22 марта 1942, Чистополь

22. III. 42

Дорогой Шура! У меня руки опускаются при мысли, что писать тебе все равно что бросать письма в Лету и что от тебя как от козла молока. Поэтому я ограничился открыткой, но ведь сердце не камень: мне надо так много сказать тебе!

Ваше существование я рисую себе в самых черных красках и подходящих тонах, и каждую ночь дрожу за вашу жизнь. Эти ужасы холода и голода, это ужасно, да и только ли это одно! Я знаю, что кроме конца и гибели практически ничего ждать нельзя, — кто же мог думать, даже в самые страшные минуты, что тупоумие так кристаллически верно себе, так минерально непреходяще и настолько прочнее золота и бриллиантов! Я знаю, что ни о чем разумном нечего думать, и самые здравые заботы перед лицом нелепости бессмысленны. Но главные мои заботы тоже лишены логики, как и подстерегающая нас фатальность. Эти заботы — папины вещи. Разумеется, я не смею мечтать об их сохраненьи, это было бы чудом, моя мечта скромнее, я желал бы для них достойного конца без унижения. Мне хотелось бы, чтобы их лизнул язык чистого огня, а не ночной факел говночиста. Когда в числе картин, увезенных из Я<сной> П<оляны>, оказалась копия папиной «Наташи на балу»[1], это было таким удовлетворением, а вот что наверное все в Переделкине погибло в немудреных руках освободителей человечества, осененных еще более гениальной орифламмой[2], это позор и горе, и с нашей стороны это непростительно. А это верно так, судя по тому, что Павленковскую библиотеку в числе многих тысяч томов раскурили, а Ивановскую дачу сожгли. Если бы тебе когда-нибудь посчастливилось попасть туда, надо поехать с Еленой Петровной и захватить с собою денег на разные чаи. Там осталась Жоничка в платьице, обрисовкой которому служит серый пробел картона, там из сундука, прикрытого гвоздем, пропущенным через ушки замка и накладки, надо взять все папины масляные этюды. Может, явилась бы возможность,

если это еще сохранилось, снести все это в одно место к Геннадию Александровичу Смирнову[3] или еще как-нибудь отделить от расквартированных в даче частей. Там в чулане — связка литографий «Толстой за работой» между двумя фанерами. И всюду рассовывай деньги, я еще пришлю тебе: эти произведения, следы этих рук все-таки высшее, что мы видели и знали, это высшая правда нас самих, меня и тебя, незаслуженно высокий вид благородства, которому мы причастны, это наше дворянство: надо позаботиться о его *достойном погребении*. Но Переделкино далеко и трудно: я успел увезти только часть, а остальное бросил на волю Божью; может быть чудом и это сохранится. А вот в Москве все из Лаврушинского надо перевезти к тебе или на квартиру к Жене. Там на 9-м этаже в моей комнате шкап полный книг. Ты знаешь, как это может быть дорого писателю. Многое я приобретал потом, не жалея денег. И вот можешь бросить это все или возьми себе, для Феди. Но сундучки с папиными записными книжками (между стеной и шкапом), папку с большими картонами и все, что там есть папиного, надо оттуда вывезти, потому что квартиры займут, и займут варвары. Это не дача, это в пределах человеческих сил: бери в помощницы Петровну, если мало, я спишусь с другими и достану тебе помощников.

Знаешь ли ты что-нибудь о папе? Живы ли тетя Ася и Оля? Что известно о Коле[4] и куда ему писать? Когда, наконец, ты или Ирина напишете несколько человеческих слов о себе и детях!

Теперь несколько слов вкратце о нас. На одной из улиц, считающихся центральными, живем отдельно: в доме № 75 — я, в доме № 63, где помещается Детдом Литфонда — Зина и Леничка, еще ниже, в Доме крестьянина, Стасик со старшим интернатом Литфонда. Леничка туповатый молчальник вроде Стасика, милый, дичащийся малый, в котором я души не чаю и которого вижу очень редко.

Жил я разнообразно, но в общем прожил счастливо. Счастливо в том отношении, что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) насколько возможно, я старался не сгибаться перед бытовыми неожиданностями и переменами и прозимовал в привычном труде, бодрости и чистоте, отвоеванных хотя бы у крестьянского хлева. Меня в этом отношении ничто не останавливало. Три дня я выгружал дрова из баржи и сейчас сам не понимаю, как я поднимал и переносил на скользкий берег эти огромные бревна[5]. Надо было, и я чистил нужники и наколол несколько саней мерзлого человеческого кала. Я тут бреюсь каждый день, и круглый день в своей выходной черной паре, точно мне все это снится, и я уже и сейчас испил

это все до дна и нахожусь где-нибудь в Парк-тауне[6]. То вдруг в столовой подавали гуляш из баранины (хотя суп представлял подогретые помои), то там принимались кормить неочищенными конскими внутренностями, — я это называл гуляшом из конюшни, то вдруг все прекращалось и я недели существовал кипятком и черным хлебом, то — о чудо! — меня принимали на питание в интернат, — то столь же неожиданно с него списывали, — но как бы то ни было, это, по счастью, никогда не достигало остроты бедствия. Никогда это не омрачало мне дня, никогда не затмевало мне утреннего пробуждения с радостной надеждой: сегодня надо будет сделать то-то и то-то, — и благодарного сознания, что Бог не лишил меня способности совершенствовать свое старанье и одарил чутьем того, что именно есть совершенство. Я перевел тут и отделал «Ромео и Джульетту» именно в том духе и вкусе, как мечтал и задумывал, теперь сделаю избранного Словацкого, — работу неизмеримо менее интересную, и два больших заказа, которые я привез сюда, — исполнены.

Как я уже писал тебе, очень вероятно, что я постараюсь скоро попасть в Москву. Но в Нижнем Уфалее на Урале лежит и, видимо, неизлечимо угасает Адик с ухудшающимся туберкулезом ноги и новым туберкулезом позвоночника. Надо будет обязательно к нему съездить, это сильнейшее мое желанье. Как совместятся и разместятся эти поездки, будет еще видно.

Несказанно облегчает наше существованье та реальность, которую мы здесь впятером друг для друга составляем, — я, Федин, Асеев, Тренев и Леонов. Нам предоставлена возможность играть в Союз писателей и значиться его правленьем, и так как душа искусства более всего именно игра, то давно я ни себя, ни Леонова и Федина не чувствовал такими прирожденными художниками, как здесь, наедине с собой за работой, в наших встречах и на наших литературных собраньях. Мы здесь значительно ближе к истине, чем в Москве, где в последние десятилетья с легкой руки Горького всему этому придали ложную серьезность какой-то инженерии и родильного дома или богадельни. В нравственном отношении все сошли с котурн, сняли маски и помолодели, а физически страшно отощали и некоторые, как например, Федин, прямо пугают своей болезненной худобой.

Женя живет в Ташкенте в одном доме с Ивановыми (семьей Всеволода Иванова). Некоторое время им было трудно, а теперь стараньями Ивановых и Чуковских все улажено. Женек недавно поступил в Военно-инженерную академию.

Я вас очень прошу передать мои приветы всем, кто мне дорог и кто придет вам на память: всем Вашим, Зине и Анне Федоровне, Ольге Александровне[7] (здорова ли она?), Эттингеру (жив ли он?), Елене Петровне, Милице Сергеевне, Асмусам, всем, всем.

Напишите мне искренне, Вы, Ирина и ты, Шура, что между нами произошло и в какой вы на меня обиде, — ваше молчанье уму непостижимо! Не собирайся долго отвечать мне, Шура, а поезжай за сундучком в Лаврушинский и напиши мне о себе и делах прямо и основательно.

Крепко, крепко вас целую. *Ваш Боря*

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф.

[1] Речь идет о недавних сообщениях о разорении Ясной Поляны (см. также письмо № 869, коммент. 5).

[2] *Орифламма* (от лат.: aurea flamma — золотое пламя) — алое с золотыми лилиями знамя (хоругвь) с развивающимися концами в виде пламени, принадлежавшее французским королям XII–XV вв.

[3] Г. А. *Смирнов* — директор городка писателей в Переделкине.

[4] Н. Н. Вильям-Вильмонт находился на фронте в качестве военного переводчика.

[5] Г. Колесникова вспоминала разгрузку баржи с дровами для детского дома: «Одними из первых появились длиннолицый Борис Леонидович Пастернак... и коренастый крепыш, бывший боксер поэт Павел Шубин. <...> Поэты... деловито подставляли то правое, то левое плечо, требуя чурки погрузнее, не торопясь поднимались по прогибающимся под тяжестью сходням размеренно и спокойно, каким-то едва уловимым движением плеча сбрасывали их у растущих поленниц» (Чистопольские страницы. Казань, 1987. С. 197).

[6] Улица в Оксфорде, где жил Л. О. Пастернак в доме у дочери Лидии.

[7] Зинаида Александровна Кримонская — вдова Р. Н. Вильяма; А. Ф. Вильям — мать Ирины, Маргариты, Николая, Анны и Рудольфа; О. А. Айзенман.

875. А. Е. КРУЧЕНЫХ

22 марта 1942, Чистополь

22. III. 42

Дорогой мой!

Уже отправив тебе письмо, я вдруг узнал, что было чествование тебя, на котором выступал Эренбург. От души тебя поздравляю. Срочно сообщи мне, цел ли Гослитиздат и куда (адрес!) посылать рукописи Чагину. Достань мне в их библиотеке собрание статей Ап. Григорьева в одном томе, под редакцией Страхова[1] и

вышли по Зининому адресу заказной бандеролью: Татарская АССР, г. Чистополь ул. Володарского 63, Детдом Литфонда Зин. Ник. Пастернак для меня. Он мне нужен для одной работы.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 46). На почтовой открытке с изображением Версальских фонтанов. В следующей открытке с видом Версальского дворца, посланной 21 апр. 1942, Пастернак объясняет их происхождение: «Дорогой Алеша! Не удивляйся отправленью: здесь не достать простых открыток и я пускаю в ход оставшиеся воспоминанья о заграничной поездке. Я получил 2 заказных твоих открытки, крепко целую тебя за твое доброе сердце. Тем временем пришло наверное и мое письмо. Скоро я тебе напишу поподробнее, пришлю, может быть, и «Р<омео> и Д<жульетту>». А пока *на всякий случай,* без обязательств и нажима, просьба. Если будут сюда едущие (вроде, например, Гроссмана или Щипачева), пришли мне, если достанешь, *чаю* и 2—3 тюбика синдетикона или бут<ылочку> клею. Деньги возьми сколько хочешь (и для своих надобностей), у Хесина в УАППЕ. Целую. P. S. Говорят, сюда собирается Долматовский. Я тебя целую, и мы всего вернее увидимся, а это так, если представится возможность. О жизни здесь — в закрытом. *Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184). УАПП — Управление по охране авторских прав. Г. Б. *Хесин* — его директор. Поэт Евгений *Долматовский* приезжал с фронта навестить семью. Он вспоминал о своей встрече с Пастернаком в гостях у М. В. Исаковского («Знамя», 1980, № 10).

[1] Собрание статей Аполлона *Григорьева* нужно было Пастернаку для его работы о народном театре Шекспира, Ап. Григорьева, Островского и Блока, замысел которой возник еще при переводе «Гамлета». Имеется в виду след. издание: Сочинения Аполлона Григорьева. Т. 1. Критические статьи. СПб., 1876.

876. М. Б. ХРАПЧЕНКО

25 марта 1942, Чистополь

25. III. 42

Глубокоуважаемый Михаил Борисович!

Сегодня высылаю с оказией экземпляр «Ромео и Джульетты» тов. Волконскому (или Фалковскому (?), как было указано в телеграмме[1]). Когда это перепечатывали, здесь не было хорошей бумаги, и экземпляр немного мутноват. По почте, если не подвернется более прямого случая, я Вам вышлю более отчетливый, из копий, которые сейчас заказаны. У меня к Вам три просьбы. 1). Если с этого экземпляра будут снимать списки (лучше подождать бы более удачного), поручите, пожалуйста, кому-нибудь знающему *тщательнейше, до последней запятой* считать и сверить

новые копии с присланным списком. 2). Дать мне как-нибудь знать о своем удовлетворении или неудовлетворении сделанным, может быть телеграммой по моему адресу. 3). Выплатить остающиеся 7000 р. по моей доверенности директору ВУАПа Г. Б. Хесину[2].

Через месяц, по исполнении одной заказной работы для Гослитиздата[3], я приложу старание попасть по делам в Москву[4]. Мне очень бы хотелось, чтобы какая-то бы ни было весть, хотя о получении рукописи, меня еще здесь застала.

Всего лучшего. Крепко жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

[1] Вероятно, Г. И. Фалковский, сотрудник Комитета по делам искусств.

[2] Точнее: ВУОАП — Всесоюзное управление по охране авторских прав.

[3] Перевод стихотворений Ю. Словацкого.

[4] Поездка не состоялась, в Москву Пастернак попал только осенью.

877. В. В. и Т. В. ИВАНОВЫМ

8 апреля 1942, Чистополь

8. IV. 42

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Сегодня я окончил вторую заказную работу (перевод избранного Ю. Словацкого) и, хотя это черновик, требующий отделки, решил отдохнуть и весь день доставляю себе удовольствия. Я расчистил дорогу к сараю, заваленному снегом до крыши, сходил на почту, отправил Адику деньги, прозевал раздачу хлеба и остался на бобах (какое неподходящее выражение! Кто бы не согласился испытать его фигуральность в грубейшей дословности?) Пока я не взялся снова за работу, я хочу написать Вам и Жене.

Повода два. Мне хочется сообщить Вам одну радость и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела. Итак, сначала первое.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу[1], неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немного казенного конца. Действие — в городке за несколько часов до занятья неприятелем и во время занятия, угловатые и крупные характеры, предательства, «метаморфозы», странные и отталкивающие загадки с непредвиденно высоким разрешеньем, мертвецы, бывшие люди, немецкое командованье, все выпукло, близко, отрывисто и страшно, и какой-то не свой, комитетский конец[2], неправдоподобный не по благополучью победоносного

исхода, а по душевной незначительности, которой он обставлен, в особенности после такой густой и горькой вязи, как в начале.

Между прочим, после чтенья, из отчета Живова в «Лит<ературе> и Иск<усстве>» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном[3]. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношеньи лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так разно противопоставленных Толстых и Иванов и Курбских. Итак ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории и должна была прийти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличеньем бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке![4] Но это у Вас все рядом, Вы наверное другого мненья, и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь. Я же нахожу это поразительным, как поразительны и Эренбург и Маршак, и не перестаю поражаться[5].

Мне представляется необъяснимой и недоступна эта слепая механическая однонаправленность при сжатьи и разжатьи, как в машинках для стрижки, это таинственное расположенье резаков, которое толкает вперед рывками и захватами, независимо от того, говорят ли наблюденья за или против и окружены ли вы светом или тьмой. Эта неспособность оглянуться на себя и свое! Или это гениальные бессмертные комики, и мы не умеем прочесть их эзоповской иронии и окажемся в дураках, принимая все за чистую монету? Но простите, это — пустословье, я заговорился.

Теперь другое. Вот о чем я хотел посоветоваться. Здесь становится голодновато. Время передвижений, произойдут перемены и перемещенья. Может быть, следует подумать и что-то предпринять. Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. Прежде всего меня пугает переезд. Ничего ни в Москве, ни в Можайском направлении я так не боялся, как железнодорожной сыпнотифозной вши. Во мне утвердилось представленье, что это нас не минует. Потом мне кажется, что каким-то ходом личных настроений и событий мы на лето будем также разлучены с вами, женами и семьями, как прошлый год, и при этом условии мне хотелось бы Зину и детей оставить в знакомом и изученном месте, благодаря множеству положенных усилий приобретшему характер лагеря или стана. Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии.

Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существованье интерната и детдома, и все развалилось бы. Итак, нужно ли и мыслимо ли перевозить оба дома Литфонда в Ташкент для того, чтобы я и Зина позволили себе это в отношении Стасика и Лени? Здесь довод личный и общий совпадают и делают этот вопрос в моих глазах праздным и неосуществимым. И хотя это так, все же, если у Вас будет время, напишите мне свои соображения на этот счет, цены, предположительные продовольственные виды на будущее, размеры эпидемии у Вас, вероятный и предположительный тип нашего поселенья, моего заработка, бытового устройства и т. д. и т. д.

Простите, что заканчиваю неряшливо и второпях. Если будете писать о Ташкенте, будьте трезвы и объективны. — Простите за самонадеянность, но я верю, что с разной силой, но одинаково искренно Женя, Вы и Погодин были бы нам рады в Ташкенте, но дело не в этом.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марусе[6] и всем знакомым. *Ваш Б. П.*

Впервые: Т. В. Иванова. «Всеволод Иванов — писатель и человек». М., 1970 (с купюрами). — Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. Вяч. Вс. Иванова).

[1] Пьеса «Нашествие», главный герой которой, вернувшийся из тюрьмы перед приходом немцев, добровольно идет на виселицу вместо разыскиваемого партизана.

[2] То есть приглаженный в угоду требованиям Комитета по делам искусств.

[3] Статья М. С. Живова (М. Ж.) «На чтении пьесы А. Толстого “Иван Грозный”» («Литература и искусство», 14 марта 1942).

[4] Трактовка Ивана Грозного в пьесе А. Н. Толстого противопоставляется классической, созданной А. К. Толстым в его балладе «Василий Шибанов». Об «открыто исповедуемом» увлечении Иваном Грозным и опричниной Пастернак писал в письме № 826.

[5] «Пастернак считал изуверством утверждение, что гуманизм отменяется во время войны», — вспоминала Т. В. Иванова, — и не мог принять оправдание ненависти и жестокости, которую проповедовал Эренбург в своих газетных статьях: «Убей немца» и С. Я. Маршак в стихотворных подписях к карикатурам и плакатам. Он «никак не мог совместить патриотизм с безоговорочной беспощадностью ко всей ведущей войну нации, как всегда в целом, неповинной и воюющей против своей воли, вынужденной к тому власть имущими» (Воспоминания. С. 246).

[6] Мария Егоровна Трунина — няня, воспитавшая детей Ивановых, Пастернак очень ценил ее трезвый ум и часто приходил побеседовать с ней.

878. Е. В. ПАСТЕРНАК

10 апреля 1942, Чистополь

10. IV. 42. Дорогая Женя! Получила ли ты мое письмо и деньги? Я заканчиваю заказы, привезенные в ноябре из Москвы (первый был Ромео, второй — Словацкий) и недели через две буду свободен. Хотя у меня есть оплаченный договор на оборонную пьесу в прозе, я собираюсь ее писать с таким довоенным чистосердечьем, что уже сейчас пора подумать, из каких сумм я буду возвращать полученные под нее авансы. Я уже писал тебе, что собираюсь побывать в Москве, как греки отправлялись к елевзинскому оракулу, для чтенья свитка судеб в доступной для меня части. Да, большая радость, Адику, по счастью, немного лучше, кость ступни, по-видимому, начинает восстанавливаться.

Представь, на этот раз я сел писать тебе не с тем, чтоб просто поболтать. Ты должна помочь мне советом. Как бы ни сложилась личная, деловая часть моих планов, у них есть другая сторона. Если, как всего вероятнее, семьям придется опять зимовать в переселенье, Зине хочется со мной и детьми переехать в Ташкент. Пока что я противник этой мысли. Во-первых, меня пугают трудности дороги и эпидемия. Кстати, говорят, сыпняк очень велик именно у вас. Кроме того, мне опять, как осенью, неясно мое матерьяльное будущее. В Чистополе я приспособился к обиходу и ни один из новых поворотов хозяйственного колеса не может застать меня врасплох. Здесь, если оценить Зинин труд, прокармливающий ее и Леничку, и прибавить мои взносы за себя и Стасика, мы при жизни впроголодь проживаем в месяц до полутора тысяч, из которых одна уходит в Литфонд, которому мы с начала войны не должны ни копейки и переплатили уймищу денег, несмотря на налет милости и подарка, лежащий на всем, что исходит от этого дома призренья. Но так как я живу отдельно, и только редкими урывками, да и то неполно, приобщался к питанью у Хохлова[1], то мой личный бюджет непропорционально раздвигает эти рамки. Когда мне подводило кишки, Зина доставала что-нибудь на рынке, и этот кусок жареного сразу увеличивал расходы рублей на 200–300. И это было всего два-три раза за всю зиму. А теперь вдруг Ташкент, новые условья, новые соотношенья, жизнь своим хозяйством, и Зина не будет служить. Во что может обойтись эта музыка? Какого ты мненья? Посоветуйся с Чуковскими и Ивановыми и напиши. Если хочешь знать, что я думаю, то вот оно. Во-первых, нас не отпустят

Федины, Треневы, Леоновы и Асеев, и будут правы, или же в Ташкент поедут все и в таком случае и мы в общем порядке. Но Зинин план иной, уехать и жить самостоятельно. Крепко тебя и Женю целую.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.
[1] То есть в интернате Литфонда.

879. М. Б. ХРАПЧЕНКО

10 апреля 1942, Чистополь

10. IV. 42

Глубокоуважаемый Михаил Борисович!

Из Томска мне телеграфировали: «Немедленно вышлите перевод Ромео и Джульетты телеграфно сообщите отправке Томск комитету искусств»[1]. Я им ответил, что перевод выслал (получили ли Вы его, рукопись и письмо были посланы с оказией?) — и запросил, о чем речь, об отсылке ли вещи в Москву или же в Томск?

На днях по почте, или, если представится более надежная возможность, с кем-нибудь из едущих, я отправлю Вам другой, более отчетливый экземпляр. Он пойдет к Вам окольными путями. Я хочу, чтобы по дороге к Вам с работой ознакомился Чагин в Гослитиздате с целью ее изданья по образцу Гамлета. Итак, распорядитесь, пожалуйста, чтобы по истеченьи некоторого времени от *Вас справились у П. И. Чагина относительно рукописи* [2].

Я очень просил бы Вас, если работа признана удовлетворительной, поставить о ее существованьи в известность сеть областных театров: больно узнавать об одноименных предположеньях провинциальных театров (например, театра в Куйбышеве, собирающегося ставить Ромео и Джульетту в старом, по-видимому переводе, без ознакомленья с новым). Затем, для меня было бы большой наградой за труды, если бы Вы распорядились отдать вещь на широкое и справедливое обсужденье в театральной и критической печати, в «Литературе и искусстве» что ли[3].

Простите, что обременяю Вас таким количеством личных просьб и вопросов. Через месяц я попрошусь по делам на время в Москву, но ведь неизвестно, когда я добьюсь разрешенья [4]. Естественно, что если бы я сам был в Москве, я бы Вас ничем не затруднил.

Искренне преданный Вам Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

[1] В Томске находился филиал Комитета по делам искусств.

[2] В письме № 864 Пастернак запрашивал Чагина о возможности опубликовать перевод «Ромео и Джульетты» в Гослитиздате.

[3] В записке Гладкову № 873 Пастернак ссылался на заинтересованность газеты «Литература и искусство» его переводом «Ромео и Джульетты». Статьи появились в этой газете только после вечеров в Доме актера в Москве, когда Пастернак читал свой перевод (24 окт. и 21 нояб. 1942).

[4] О вызове в Москву Пастернак напоминал Храпченко и в следующем письме: «Дорогой Михаил Борисович! Благодарю Вас за сердечную телеграмму и деньги. Обещанного письма еще не получил. В середине лета или еще скорее мне надо будет съездить по делам домой в Москву. Пришлите мне, пожалуйста, властный и для любых властей достаточно энергичный вызов. Чагин получит экземпляр "Ромео и Джульетты" и по его прочтении сдаст Вам для дополнительных надобностей Комитета. Крепко жму Вашу руку. Всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак.* 23.V.42» (там же). «Пропуск на проезд из Чистополя в Москву» Пастернак получил 18 июля 1942 г., выехал только в конце сентября.

880. П. И. ЧАГИНУ

22 мая 1942, Чистополь

22. V. 42

Дорогой Петр Иванович!

Перевод Словацкого сделан. Он у машинистки и при ближайшей оказии, какая представится, будет послан Вам при письме, где поговорим о нем поподробнее. Переведено все, что подстрочно было подготовлено Горбовым, около половины договорного объема (до 1200 строчек). Кажется, он хотел дать еще подстрочник драмы «Лилла Венеда», но может быть ограничимся сделанным? Мне это было бы очень по душе. Вероятно, польскую поэзию, как всякую, но в особенности западно-европейскую, надо переводить со знаньем языка, и на подстрочниках далеко не уедешь, которые для восточных литератур с их азиатской рапсодичностью, может быть, и достаточны. За моего Словацкого поляки Вас и меня заклюют, и будут правы[1]. Он получился странный и скучный и не доставил мне радости, кроме того, множества политических намеков, относящихся к польскому восстанию, я не понял и не мог достать здесь нужных справочников. Вот отчего меня и не тянет продолжать эту работу, тем более, что можно вполне удовлетвориться сделанным.

Посылаю Вам «Ромео и Джульетту». Прочтите, пожалуйста, сами и по миновении надобности прикажите передать экземпляр

М. Б. Храпченко в Комитет. У них уже есть один, но не такой отчетливый, и я им пообещал другой, лучший, в котором, может быть, они нуждаются[2].

Я уже Вам писал, что мне очень хотелось бы, чтобы издали его Вы, а не «Искусство» не только вследствие большей выгодности, а потому что Вы сделаете это лучше (опять бы с В. А. Фаворским![3]), и у Вас все будут читать, а в «Искусстве» это будет погребено как в усыпальнице. Знаете ли Вы, как усердно читали Гамлета эту зиму, и в каких условьях, на фронте, в лазаретах, в вынужденных переселеньях при отступленьи? Если бы Вы это знали, это бы Вам доставило большое удовлетворенье.

Я Вам писал два или три раза. Отчего Вы мне не отвечаете? Хотя в середине лета я буду в Москве, но Вы еще успеете порадовать меня письмом, если захотите.

Крепко жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Мой адрес: Татреспублика г. Чистополь, ул. Володарского 75 кв. Вавиловых.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Переводы Словацкого были утеряны, обнаружены только в 1972 г. и впервые изданы в 1973 г. в «Новом мире», № 9. Польский поэт и переводчик Северин Поллак отмечал, что Пастернак «не почувствовал романтика в Словацком. Словацкий мог показаться ему чересчур риторичным, слишком углубленным в проблемы своего народа, то есть опутанным той сложной действительностью, к которой у Пастернака... не было своего ключа» (Boris Pasternak. Colloque de Serisy-la-Salle. Paris, 1979. С. 478).

[2] О плохом качестве перепечатки этого экземпляра Пастернак писал в письме № 876.

[3] Перевод «Гамлета» (Гослитиздат, 1941) был издан с иллюстрациями В. А. Фаворского.

881. А. О. НАУМОВОЙ

23 мая 1942, Чистополь

23. V. 42

Глубокоуважаемый тов. Наумова!

Обращаться к женщине на «товарищ» грамматически неуклюже. Мне жалко, что я не знаю Вашего имени-отчества. —

Простите за такой запоздалый ответ. Я был очень занят все это время, и только сейчас освободился.

Напрасно я поторопился дать согласие на Ваше предложенье, и даже назвал Вам место для предположительного денежного взноса.

Лишь при личном свидании с Михаилом Михайловичем я мог бы объяснить ему, почему у меня сказано «осетр», что значит «сучок в глазу», «махина» и пр. и пр. Заводить об этом переписку немыслимо[1].

Его советы приводят меня в отчаянье. Я не знаю, откуда исходит принужденье, заставляющее его принимать совершенно ему чуждый и в существе своем оставшийся непонятым перевод.

В своей снисходительности он считает его довольно близким и только еще больше хотел бы усилить его точность. Между тем так далеко мои притязания никогда не заходили.

Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим[2].

Поэтому, как ни соблазняют меня деньги, которыми не так уж балует меня судьба, Вам придется обратиться к какому-нибудь другому труду. Ущерб мой будет только материальный. Все равно передовая часть юношества будет знакомиться с Гамлетом по этой, наиболее живой и естественной трактовке, как делает она это и сейчас, и, как вероятно это в еще большей степени будет с «Ромео и Джульеттой». Потому что, несмотря на сдержанность рекомендации в послесловии, Гамлет провел неслыханную, ошеломляющую зиму на фронте и в лазаретах, у постелей умирающих и в обстоятельствах вынужденных переселений, премируют ли меня или не премируют, хотят или не хотят это знать.

Предварительные уговоры о тексте оскорбительны и непостижимы. Либо он подходит, либо нет, и о последнем случае нечего и говорить, а в первом мое тогда дело, трогать ли его в корректуре или нет. Тогда же можно устранить и неприличья, это пятиминутное дело[3].

Если будете писать мне, сообщите, пожалуйста, свое имя и отчество. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Мастерство перевода. 1969. Сб. 6. М., 1970 (с купюрами). — Автограф (собр. адресата).

Анна Осиповна Наумова — главный редактор и зам. директора Детгиза во время войны; ей принадлежала инициатива издать в серии «Школьная библиотека» перевод «Гамлета», о своем предложении она написала Пастернаку.

[1] А. О. Наумова переслала Пастернаку претензии М. М. Морозова к переводу «Гамлета». Ответы на эти вопросы даны в письме Морозову № 889.

[2] «Соответствие текста — связь слишком слабая, чтобы обеспечить переводу целесообразность. Такие переводы не оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают понятия о главной стороне предмета, который они берутся отражать, — о его силе», — писал Пастернак в статье «Заметки переводчика» (1943).

[3] Сокращения, сделанные для Детгиза в 1942 г., остались во всех прижизненных изданиях «Ромео и Джульетты».

882. П. И. ЧАГИНУ

30 мая 1942, Чистополь

Дорогой Петр Иванович!

Вот Ваш Словацкий. Я уже писал Вам о нем в прошлом письме, остается добавить немногое.

Не откажите мне в милости и протелеграфируйте, получили ли Вы его и удовлетворены ли. Очень, очень прошу Вас.

Было бы очень хорошо пропустить его через периодику для повышенья его прибыльности, если бы только он был чуть-чуть интереснее. Но может быть «Кулик» и поэма «В Швейцарии» это позволяют?[1]

Мне остается с Вас еще до трех тысяч, переведите их мне, пожалуйста, без задержки через Хесина, в здешний УАПП. Если я уеду, я оставлю доверенность жене на их полученье. Но, пожалуйста, поторопитесь, они мне понадобятся перед дорогой. Может быть, я тут задержусь для писанья пьесы. Буду ждать письма от Вас обо всем, не откладывайте его, пожалуйста. Всего лучшего. Привет Вашей жене[2].

Преданный Вам Б. Пастернак

30. V. 42

г. Чистополь Татарской АССР. Ул. Володарского 75 кв. Вавилова.

P. S. Сейчас иногда для налоговых расчетов требуются данные о возрасте и составе семьи. Вот они. Я родился в 1890 году и у меня четверо сыновей в разных возрастах от 4-х до 19 лет[3]. Заверенная справка об этом есть в бухгалтерии Комитета по делам искусств.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп.1, ед. хр. 62).

[1] По просьбе Пастернака Чагин отдал два перевода, «Кулик» и «Песнь литовского легиона», в «Красную новь», где они были опубликованы в 1942, № 7.

[2] Мария Антоновна Чагина.

[3] Кроме двух своих, Пастернак называет сыновей З. Н. от первого брака, С. и А. Нейгаузов, которые были на его иждивении.

883. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

18 июня 1942, Чистополь

Дорогой Витя!

Нет открыток, приходится обращаться к помощи панoптикума[1]. Горячо благодарю тебя за открытку с фронта и память[2]. Меня страшно трогает доброе отношенье, которого я не оправдываю и не оправдаю. Задержусь еще на некоторое время в Чистополе для писания пьесы[3].

Шлю привет и целую. *Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Имеется в виду изображение Версальского дворца на открытке.

[2] О В. В. Гольцеве во время войны вспоминал Н. Тихонов в очерке «Большой характер»: «Он нес службу корреспондентом «Красного сокола» и службу штурмана рядом с боевыми товарищами-летчиками. Он с гордостью рассказывал о воздушных рейдах, и я видел его большой характер в действии» («Дружба народов», 1961, № 12).

[3] Приехав в Москву осенью 1942 г., Пастернак встречался с Гольцевым, останавливавшемся в гостинице. Сохранилась записка того времени: «Дорогой Витя! Был у тебя в 37-й комнате и не застал» (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

884. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ

28 июня 1942, Чистополь

28. VI. 42

Пишу Вам без обращенья, потому что не знаю Вашего имени-отчества.

Мне следовало поблагодарить Вас давно за Ваше сердечное письмо[1]. Вы были правы, если надеялись на ответ, и еще правее, если, заждавшись, осудили меня. Я был очень занят.

Сообщенные Вами сведенья глубоко растрогали меня. Еще ценнее само их сообщение, то есть очевидное Ваше знанье того, как тяжело, короткими минутами, наше намеренное, упорное, с трудом завоеванное и упоительное одиночество. Каким-то сходным опытом подсказано Ваше письмо. Знакомство с этим, видимо, составляет черту также и Вашего существованья.

Поэтому желаю Вам силы и выдержки на Вашем собственном поприще.

Вы кончаете пожеланьем, чтобы судьба охранила меня и близких от «этого неистовства бессмыслицы и пустоты». Так мог сказать только очень знающий и видящий, кто вправе и кому дано.

От души всего Вам лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (собр. Б. В. Аверина). О. И. Александрова — инженер-строитель.

[1] О. И. Александрова писала 13 мая 1942 из Казани о своей глубокой любви к поэзии Пастернака и восхищении переводом «Гамлета». Она рассказывала, что такое же отношение она встречала у других, в частности у одного инженера, который спасся из блокадного Ленинграда, взяв с собой из дома только «Гамлета», или у раненого, который вернулся на фронт после госпиталя, сохранив как единственно ценное, экземпляр «Гамлета». Пастернак писал об этих случаях в письме № 881.

885. А. О. НАУМОВОЙ

Июнь-июль 1942, Чистополь

Глубокоуважаемая Анна Осиповна!

Вы меня очень порадовали Вашим милым письмом. Всего больше мне хотелось бы с оказией (поездка Е. И. Ковальчик[1], с которой я отправляю эти торопливые строки) послать Вам «Ромео».

Но машинистка, у которой он в переписке уже больше двух месяцев, чрезвычайно халатна, и мне придется эту возможность упустить. С тем большим нетерпением я буду ждать следующей.

Если Вас не затруднит — спишитесь, пожалуйста, не откладывая, с Григ. Бор. Хесиным, директором Всес<оюзного> Управл<ения> по охране авторских прав, в Лаврушинском переулке, д. № 17/19, и попросите его принять на мой счет следующий мне аванс по Гамлету. Он, что надо, переправит мне сюда, это будет очень кстати, я сейчас очень нуждаюсь в деньгах.

Сейчас я очень занят попыткою оригинальной пьесы, и пока ни о чем другом не могу думать. Но через месяц-другой вероятно я буду опять свободен, и тогда мы, наверное, встретимся, — на этом свете, надеюсь[2], но в обстановке, уверен, еще более невеселой. Горячее Вам спасибо. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

[1] Евгения Ивановна *Ковальчик* — редактор газ. «Литература и искусство».

[2] Пастернак писал в это время пьесу, которую думал назвать «Этот свет».

886. П. И. ЧАГИНУ

1 июля 1942, Чистополь

1. VII. 42

Дорогой Петр Иванович!

Я написал Вам несколько писем и отправил столько же телеграмм. Я уверен, что ответы в пути, и я скоро узнаю Ваше мнение о Словацком и решение о «Ромео и Джульетте», а также, что мне от Вас будут деньги, их всегда требуется так много!

Сейчас я о другом. Общая вынужденная скромность нынешней жизни (она мне очень на руку) позволит мне месяц-другой пописать для самого себя. Я пробую писать современную пьесу, но так как берусь за нее серьезно, не по-газетному, то, если, Бог даст, мне удастся ее сделать, я, конечно, и не подумаю ее кому-нибудь показывать, кроме кое-кого из товарищей по перу, и то из наиболее искушенных.

Итак, уже сейчас надо подумать о дальнейшем заработке. Очень огорчительно, что сам я по своей вине потерял одну подвернувшуюся было возможность крупных денег. Детгиз хотел издать моего «Гамлета» для школ. Они мне написали, но тут снова милейший Михаил Михайлович Морозов, который вместо того, чтобы совершать лексические откровенья на чужой шкуре, мог бы составлять увлекательнейшие и оригинальные самостоятельные работы, обратился ко мне с целою кучей редакторских предложений, упустив из виду, как чудовищно много сделал уже я сам в этом направленьи (помните, обилие переделок потребовало нового набора). Меня взорвал самый характер этих переговоров, в которых разведыванье относительно исправлений предшествует простому безоговорочному заключенью договора, и я написал Наумовой, чтобы они обратились к какому-нибудь другому переводу, потому что все равно, независимо от ее, моих и Морозовских усилий, молодежь будет знать Гамлета по-моему.

Давайте что-нибудь придумывать, Петр Иванович! Придется опять какой-нибудь перевод. Хотя у нас есть в запасе Выспянский, осенью предложенный мне вместе со Словацким, мне хотелось бы остаться при Шекспире. Все-таки из заменителей

это наивысший. Помните, я давно просил Вас заказать мне «Генриха IV-го» или же «Ричарда II-го». Может быть, Вы могли бы привлечь к этой затее Комитет или какое-нибудь другое театральное ведомство? Двухчастного Генриха я мог бы, скажем, свести в одночастную драму с центральною фигурой Фальстафа, это была бы не переводная работа, а самостоятельная драматическая переделка.

Приготовьте мне, пожалуйста, какой-нибудь большой договор, и пришлите сюда на подпись, а деньги преведите через ВУАПП. И раскачайтесь, пожалуйста, и напишите мне.

Та же просьба касается и Марии Сергеевны Петровых, перворазрядной литературной силы, вышедшей тут к весне из долголетнего затвора и сразу прославившейся. Поручите ей крупную многоденежную работу по переводу какого-нибудь беспредельного нацмена, она отлично это сделает и больше всех нас заслуживает поддержки[1].

Жму Вашу руку. Поклон Горбову и Мясникову[2].

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] В следующем письме Пастернак снова повторяет свою просьбу о М. С. Петровых: «Простите, что я Вам часто надоедаю. Я Вам несколько раз писал, но вскользь и, боюсь, неубедительно, о Марии Сергеевне Петровых. Это очень серьезное и выдающееся дарование. Ее Чистопольская слава должна была дойти до Вас. Ей надо дать хороший заработок. Я так уверен в ее литературном будущем, также и в смысле матерьяльном, что посоветовал ей бросить грошовую службу здешнего радиодиктора, не рассчитав, как долго будут тянуться почтовые переговоры с Вами и П. Г. Скосыревым о каком-нибудь капитальном и ответственном стихотворном переводе для нее. Ускорьте, пожалуйста, выбор работы для нее, пришлите договор ей на подпись и переведите ей какой-нибудь осязательный аванс. Все это очень важно, и я не знаю, какие подобрать выраженья, чтобы Вы мне поверили, что это случай, заслуживающий немедленного вниманья, нешуточный и незаурядный. Сноситься с ней можно через Чистопольский Союз писателей, а денежно, через УАПП, впрочем, Скосырев знает ее адрес. Крепко жму Вашу руку. Ответьте, пожалуйста, не откладывая: это ведь вопрос существованья человека достойного и талантливого. *Ваш Б. Пастернак.* 2. VIII. 42. Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Володарского, 75. *P. S. Дайте ей избранного Выспянского (2000 строк), которого думали заказать мне,* или что-нибудь крупное по славянской серии» (там же). П. Г. *Скосырев* входил в правление Союза писателей.

[2] Дмитрий Александрович *Горбов* и Александр Сергеевич *Мясников* — редакторы Гослитиздата, литературоведы.

887. М. П. ГОНТЕ

4 июля — 25 сентября 1942, Чистополь

4. VII. 42

Дорогая Мариечка! Ваше письмо было неожиданной и большой радостью. Спасибо Вам за него. Отвечаю Вам из помещенья Союза писателей в Чистополе, в котором сейчас остались только Асеев и я, в часы своего дежурства. Я составлю и подпишу Вам любую бумажку, которая будет иметь для Вас пользу, когда это будет иметь реальную силу, сейчас же Москва препятствует таким поездкам[1].

25. IX. 42

Мариечка, этот листок пролежал три месяца без продолженья. Этому нет имени и оправданья. Я — свинья, что вовремя не ответил Вам. Да, кстати. Если за недосугом я не успею ответить А. Соколовскому[2], записку и стихи которого мне передали как раз в тот день, когда я начал, было, это письмо к Вам, попросите у него, пожалуйста, от моего имени извиненья, что я оставил его просьбу без ответа, и передайте, что мне было приятно прочесть его тетрадку. У него, кажется, есть способности, — я постараюсь написать ему. Мне нравятся первые 4 странички его книжки и 6-я. Меньше 5-я и остальные. Пусть остерегается: позы, романтической приподнятости, рисовки, неточной рифмы, «балладности». В поэзии еще в большей степени хорошо только то, что хорошо в прозе: внимательное, спокойное и полновесное соответствие природе, то есть то, что называется реализмом.

Если я урву минуту, я напишу и его матери, Нине Павловне Саконской. Ей надо сказать следующее (эта сторона дела относится и к Вам): Брайнина[3], к которой она обращается, уехала в Москву на один месяц и к середине ноября вернется. Я ни Вам, ни ей не отказал бы ни в какой командировке, я их подписал многим в Вашем положении, но половина возвращается с ними назад из Казани, откуда их не пускают дальше. В конверт с этим письмом я вложу несколько наших бланков. Я бы мог их подписать Вам без текста, предоставив его составление Вам или Н<ине> П<авловне>. Но кто приложит печать к таким документам? Может быть Вы их составите своими силами для того, чтобы добраться до Казани? Там надо обратиться к секретарю татарского Союза Сов. Писателей Имамутдинову. Если я его увижу проездом (я завтра или послезавтра надеюсь выехать в Москву), я скажу ему о Вас и Саконской. И затем: мою подпись знают в Чистополе, но она ничто для Елабуги[4].

Я пишу Вам второпях, в вечер своих сборов[5]. Мне передали второе ваше письмо. Заявление (Ваше и Саконской) я отвезу в Москву. Спасибо Вам за память, за рассказ о себе и за добрые чувства. Отзываются о Вас неизменно так, как я привык о Вас слышать: как о человеке чрезвычайно талантливом и интересном, молодом, не унывающем. Для меня большою радостью было вновь услышать от других, особенно артистов театра, то, что мне знакомо по собственным ощущеньям[6].

Мне больно, Мариечка, что я не могу быть Вам полезным в главном, что Вас теперь занимает: правовом оформлении Вашего переезда в Москву. На двух бумажках Вы найдете мою подпись. Что Вы с нею сделаете? Даже если Вы высадитесь в Чистополе с целью полученья печати под удостовереньем от Хохлова (уполномоченного Литфонда), он Вам в ней откажет, так как критически разбирает все, подписанное мною ввиду моей податливости[7].

Я совершенно не сказал Вам ничего из того, что собирался. Вы видите, я так тороплюсь (и перо царапает и цепляет бумагу), что не узнать моего почерка. Кланяйтесь Саконской и Соколовскому и позвольте поцеловать Вас. *Ваш Б. П.*

P. S. Напишите мне в Москву по адресу брата: Москва, Гоголевский бульвар 8, кв. 52, Александру Леонидовичу Пастернаку (он никуда не уезжал), для меня. Напишите, в каком состоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест или камень или надпись или какой-нибудь отличительный знак?[8] Далее: сообщите, пожалуйста, в Елабуге ли еще Мих. Леонид. Лозинский, и если да, то кланяйтесь ему, пожалуйста, от меня и сообщите его адрес, а если нет, напишите, куда он уехал. Простите за мазню, противно писать, не узнавая своей руки.

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

[1] М. П. Гонта просила Пастернака помочь ей получить разрешение вернуться в Москву.

[2] Александр Александрович *Соколовский* — 17-летний поэт, сын писательницы Н. П. Саконской. М. П. Гонта писала в ответ: «Вы тратите время на чтение чужих стихов, милой поэзии силой в 100 киловатт, годной для освящения и обогревания небольшой семьи, небольшого круга знакомых. По доброте, Вы становились на время этой семьей — Днепрогэс признавал свое родство с небольшой электрической лампой. Сколько грехов натворила Ваша доброта! Вот и сейчас, читая Ваши слова о милом и симпатичном сыне Нины Павловны — я думала об этом и думая, улыбалась» (12 окт. 1942). А. Соколовский в следующем году поступил в военное училище. Он писал Пастернаку о том, как взволнованно солдаты слушают его стихи, и посылал ему свои собственные.

[3] Литературовед Берта Яковлевна *Брайнина*.

[4] М. П. Гонта и Н. П. Саконская были эвакуированы в Елабугу.

[5] Пастернак на следующий день выезжал в Москву.

[6] «Когда-то Вы сказали мне: "Достаточно того, что Вы такая, даже, если Вы ничего не сделаете", — писала М. П. Гонта 12 окт. 1942. — А вот мне все кажется, что недостаточно и ничего не сделано, и несмотря на Вашу снисходительность, я никогда не решалась дать Вам почитать что-нибудь, что я царапала. Я не вынесла бы такой Вашей похвалы или поощренья».

[7] Проводив мужа на фронт, М. Гонта приехала в Чистополь 12 окт. 1942 г., когда Пастернака там уже не было. «Я могла бы, — писала она Пастернаку, — попытаться получить командировку в Москву с Вашей подписью и печатью секретаря. Но Вы сами сомневаетесь в его милости — это парализует те слабые попытки к действию, которые возникают у меня при виде Чистополя».

[8] М. Гонта отвечала на этот вопрос 12 окт. 1942: «О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, и с некоторой вероятностью положили камень». Леонид *Добычин* — писатель.

888. Н. Ф. БЛУМЕНФЕЛЬД

9–21 июля 1942, Чистополь

9. VII. 42. Дорогая Туся!

Как не ответить Вам на дорогое Ваше письмо? Спасибо за короткий рассказ о Вашей жизни, все это очень важно было узнать мне и Зине. Дни, представьте себе, проходят у меня с ней бешено в здешней глуши. Я не знаю, не больше ли досуга в деловом Нью-Йорке. Она круглые сутки занята в детдоме, я перенес знакомый Вам самоварно-водяной быт[1] к чужим людям, где я не хозяин и где зависимость от общих настроений дома, в котором я гость или квартирант, прибавляет еще часа полтора-два к моей непроизводительной трате времени[2]. Что сказать Вам? Вот, Бог даст, мы встретимся и без конца будем рассказывать друг другу про эту зиму.

21.VII. Так писал я Вам вскоре по получении Вашего письма. Видите, как долго пролежала эта записка. Когда я прочел Ваши слова о двух передачах[3], то, что я знал и так, вдруг вырисовалось еще живее, и рана этого года еще углубилась. Все мы похудели и постарели. Я устал не столько от лишений, сколько от неприложимости или очень неполного приложенья моих трудов всех последних лет, в том числе и военных. Помните, как мы поздней осенью под бомбами капусту варили? Хватит этого еще на наш век, верьте мне, я хочу приехать повторить это снова. Месяц тому

назад просил, чтобы мне прислали вызов в Москву. Еще нет его, дожидаюсь. Я так верю в скорую близость московских удовольствий, что даже не знаю, утруждать ли Вас поклонами Анне Робертовне, Ольге Феликсовне и Нине Феликсовне[4], или взять это все непосредственно на себя.

Целую Вас. Ваш Боря

Впервые: М. Анастасьева. Век любви и печали. Блуменфельд. Дягилев. Пастернак. М., 2002. — Автограф (собр. М. В. Анастасьевой).

[1] Пастернак по утрам обливался холодной водой, а во время работы подкреплял себя чаем из самовара.

[2] Пастернак жил в комнате, попасть в которую можно было через кухню хозяев, и тепло в которой было только при открытой двери к хозяевам.

[3] Н. Ф. Блуменфельд посылала передачи своему арестованному брату В. Ф. Анастасьеву; после шести месяцев заключения разрешили тюремные передачи Г. Г. Нейгаузу, ее двоюродному брату.

[4] Жене брата А. Р. Грегер и сестрам О. Ф. и Н. Ф. Блуменфельд, оставшимся в Москве.

889. М. М. МОРОЗОВУ

15 июля 1942, Чистополь

15. VII. 42

Дорогой Михаил Михайлович!

Мне надо много сказать Вам. Извините меня за краткость. Я виноват перед Вами. Сделанное тщательно и добросовестно переделываешь с крайнею неохотой. На внешний, — неразделяемый тобою побудитель смотришь враждебно, как на праздную блажь.

Явленье обязательной редактуры при труде любой степени зрелости одно из зол нашего времени. Это черта нашего общественного застоя, лишенного свободной и разномыслящей критики, быстро и ярко развивающихся судеб, и, за невозможностью истинных новинок, занятого чисткой, перекраиваньем и перелицовываньем вещей случайно сделанных в более счастливое время.

Как и для других, для меня Вы живой авторитет, англовед и Шекспиролог, знаток английскою языка и литературы, и все то, что я Вам однажды писал: человек с огнем и талантом, посвятивший себя такому восхитительному предмету, как явление Англии, и от которого, когда бы и на него не было редактуры, засадившей его за комментарии к комментариям, в любую минуту можно было бы ждать головокружительной статьи или книги. В скобках, Ваша первая статья для Гослитиздата мне очень нравилась. Но мало ли что нравится мне...

Однако кормит Вас не это, и, в нашей непроветриваемой обстановке Вы, как умный человек, — должны знать, что Вы признанный знахарь по шекспировским делам, точно так же, как я был бы трижды орденоносным знахарем-консультантом «по стиху» или по какой-нибудь другой херовине, если бы всеми силами, *вплоть до риска* не сопротивлялся всем видам знахарства в нашем роскошном розовом саду.

Когда в апреле пришло Ваше письмо и записка от А. О. Наумовой из Детгиза, я, как счастью, был рад ему, не верил глазам своим. У меня в Москве зимовал брат с семьей, друзья и родные. Я имею понятье об этой зимовке. Кроме того, говорили, что Вы и Евгения Михайловна[1] в Томске. То что письмо из Москвы, едва вязалось с деловым содержаньем записок, невозмутимым академизмом Ваших замечаний и штампом Детгиза на конверте, и в соединеньи с ними казалось небылицей, новогодним сном или бредом. И несмотря даже на слезы, может быть, выступившие у меня на глазах, противодействие Вашим замечаньям и их кажущейся безапелляционности было так велико в первый момент, что я отказался от подвернувшегося заработка в обход Вам и Вашему письму[2], то есть позволил себе против Вас бестактность, уступая этой вспышке. Это страшное свинство, и едва ли его можно простить.

Письмо придет к Вам вместе с выправленными гранками[3]. За делом все это легче, чем при обсуждении хирургической операции издалека. Каждый раз забываешь, что вовсе не должны Вы быть правы или неправы, чтобы все же заслуживать благодарности, как не в правильности или неправильности сила живого, из самого существа дела вырывающегося выраженья. Раз Вы возражаете и рассуждаете, значит торжество протоплазмы неполное, обладанье обрывается слишком быстро, сирены поют неважно. А какая может быть правильность на высотах, куда мы с Вами взбираемся? Я тоже кажется писал Вам, что споры Горького с Панферовым повергали меня в неловкость. Это разговаривали писатели. Какая речь о дроби может быть при стрельбе таким калибром?

Половина сказанного Вами сделана. Благодаря Вам опять все пересмотрено и с нового разбега устранена часть остававшихся шероховатостей. Даже в тех случаях, как например в молитве короля, когда я выправлял не Вами отмеченные места, а соседние, это сделано по Вашему побужденью. На каком-то пределе Ваше терпенье истощалось, и Вы отмечали последнюю именно каплю, его переполнявшую. Оставляя в стороне эту каплю, подчас безо-

бидную, я обращался к более тяжелым нагроможденьям, которые подготовили эту нетерпеливость. Ваше соображенье относительно A mote it is и т. д. показалось мне таким блистательным и правдоподобным, что я тут же принял его строкою: «Что волноваться. Это пустяки» (вместо «Он как сучок в глазу души моей»)[4], след которой остался на полях гранок. Я стер эту новую строчку и оставляю старую ввиду чрезмерной смелости этого переворота: введите это новое значенье сначала Вы в каком-нибудь примечании, а впоследствии и я его приму. Однако не кажется ли Вам, что при Вашем понимании естественнее был бы обычный порядок It is a mote и торжественная инверсия A mote it is немного ослабляет вероятья такого толкованья. Страшно искушающее допущенье в своей естественности и простоте. Как не догадывались англичане?

Вот видите, когда яйцо Колумба случается поставить Вам, у меня для этого готовы слух и пониманье, а так ли будет это с моими новыми доделками в «Гамлете» и, в особенности, со всею трактовкой «Ромео и Джульетты»? Я знаю, для Вас камнем преткновенья будет «на кой рожон». Но Вы его оставьте. Мне двустрочие The time is out of joint не давало покоя, и на мой слух заключало: 1) констатацию разлаженности, + 2) горькое ругательство на звучном, поворотном месте стиха, + 3) сожаление о собственном кресте на постепенно замирающем вздохе[5]. Ни одно из моих прежних разрешений этого места не обнимало всех слагаемых сразу. Это первое. Привыкните, пожалуйста, к нему. «Махина» значит именно то, что Вы хотите: тело и пр. Махина, как и machine, одного греческого происхождения, от глагола μαμναω и английская и русская судьба этого слова одинаковы. Помимо технического смысла у него есть значенье глыбы, громадины. «Что может хотеться такой глыбе? А глыбе многое хочется». Маяковский [6]. Старое «махина», означавшее то, что сейчас значит «машина», сохранило только этот народно-фигуральный смысл[7]. Так может о себе сказать увалень или английский Пьер Безухов — Гамлет (too too solide flesh)[8], либо как толстяк, очень скульптурно видящий себя сверху, либо просто как чрез край одухотворенный человек, привыкший говорить о себе с шутливой объективностью и добродушною усмешкой. «Осетр», а не «павлин» вот почему. Дальше говорится: You might have rhymed. — «Вы могли бы и в рифму». Итак, со слуха моментально надо догадаться, какая должна была бы быть рифма [9]. Что это могло быть ass* трудно быстро сообразить даже в

---

* осел (*англ.*).

природных первичных условиях подлинника (шутка отпускалась англичанином для англичан, во времена, когда was и ass могло еще быть рифмой). Что же сказать о производном, осложненном и ослабленном русском случае? Можно ли только потому, что промелькнувшая со сцены (и забывшаяся) строчка кончалась словом «орел», рассчитывать, что зритель раскусит издевательскую подмену осла любым далеким, первым попавшимся и намеренно не тем словом (между прочим, Вы ошибаетесь, думая, что павлин сказан всерьез и это характеристика короля, — тогда не было бы паузирующего — ты ждешь осла, так вот тебе — тире, а просто было бы сказано a verry verry pajock*). Для того чтобы по-русски можно было догадаться, какую тут надо рифму, *что только и наполняет* смыслом следующую реплику «Вы могли бы и в рифму», рифма должна быть почти разжевана и в рот положена, и тут еще недостаточно было звуковой близости обоих слов (осел — осетр), а английскую обманывающую паузу надо было перенести внутрь самого слова. Тогда после слова орел осе—тр, в особенности после слов «Вы могли бы и в рифму», конечно, осел налицо. Меня удивляет, как это прошло мимо Вас, и Вы до сих пор этого не понимаете. Этому месту в переводе *надо рукоплескать, а не заносить его в index, так же как и махине.* Такого же рода и еще два-три примера оставшегося между нами расхожденья. Про «шутов» я Вам тоже говорил. Вы наверное забыли. Вы видите, как трудно писать обо всем этом, в какое впадаешь многословье. Я так расписался, что сам обесцениваю письмо, и оно наверное уже давно брошено Вами, а какой мне расчет ронять себе перед Вами цену?

Посылаю Наумовой перевод Ромео. Если хотите, возьмите и почитайте, и, если не понравится, не вредите, пожалуйста, судьбе работы. В ней я пошел еще дальше, чем в Гамлете, потому что Гамлет — абсолют, божественное творенье, а «Ромео» — молодая, балованная и норовистая трагедия, которую приходилось переводить на коротких поводьях. Прошу поверить только одному. Нигде я не блажил, не оригинальничал и не позволял себе ничего, что не вело бы к прямой цели: живой и сильной передаче истинного, реалистического гения Шекспира сквозь вычуры и натяжки его времени для страны и времени, только вчера еще покинутых гением Толстого.

Наверное мы скоро увидимся. Вне зависимости от событий или в обратной пропорции к ним, к концу лета мне хочется в

---

* настоящий павлин (*англ.*).

Москву. Закат атлантиды мне хочется разделить с близкими на родном месте, так что в нынешнюю арктику, если Бог даст, мы будем встречаться. Мне очень хочется, чтобы наши добрые отношенья восстановились, если они чем-нибудь поколеблены. Я, во всяком случае, не играл ими.

Я начал большую пьесу в прозе, реалистическую, современную, с войною, — Шекспир тут очень поможет мне, — это российский Фауст, в том смысле, в каком русский Фауст должен содержать в себе Горбунова[10] и Чехова.

Сердечный привет Евгении Михайловне, если она меня помнит. Было бы очень мило, если бы Вы притворились, что прочли письмо до конца, и сообщили мне, что Ромео допущен в библиотеки, ведомства и т. д. и т. д.

Обнимаю Вас. *Любящий Вас Б. П.*

«Шуты» слово слишком заэстетизированное, тут и Радлов, и comedia del'arte и Тиковская ирония, и «Любовь к трем апельсинам»[11]. Шут по-русски реален скорее в выраженьях шут его знает и шут гороховый, где шут равняется черту. Но ведь и русское дурак = шуту. (Дуры при Анне Иоанновне) и т. д. Дурак это именно Narr, fou*, а не глупец. Но отложим это все до ближайшего свиданья.

Впервые: Мастерство перевода. 1969. М., 1971 (с купюрами). — Автограф (собр. Е. М. Буромской).

[1] *Евгения Михайловна* Буромская — жена М. М. Морозова, театровед.

[2] См. письмо А. О. Наумовой № 881.

[3] Корректуры «Гамлета» с исправлениями Пастернака.

[4] A mote it is to trouble the mind's eye — в переводе Пастернака: «Он как сучок в глазу души моей» (акт I, сц. 1). Строка связана со словами Христа: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?» («Why beholdest thou the mote in the brother's eye?» — Лк. 6, 41). A mote — по-английски — малейшая частичка, и Морозов предлагал перевести это: «Нет причин для волненья», что сразу сложилось у Пастернака строкой: «Что волноваться. Это пустяки».

[5] The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was born to set it right — «Век вывихнул сустав. Будь проклят год, / Когда пришел я вправить вывих тот» (перевод Пастернака. — первонач. вариант; заключит. слова акта I, сц. 5).

[6] Из поэмы Маяковского «Облако в штанах»: «Что может хотеться этакой глыбе?..»

[7] Из письма Гамлета к Офелии: «Прощай. Твой навеки, драгоценнейшая, пока эта махина принадлежит ему. Гамлет» (перевод Пастернака; акт II, сц. 2).

---

* дурак, безумец (*нем., фр.*).

[8] «O, that this too too solid flesh» — «О, если б этот грузный куль мясной» (перевод Пастернака; акт I, сц. 2).

[9] «Ты знаешь, дорогой Дамон, / Юпитера орел / Слетел с престола, и на трон / Воссел простой осе...тр». В оригинале последняя строка: «A very, very — pajock» — «настоящий павлин» (акт III, сц. 2).

[10] Иван Федорович *Горбунов* — актер и автор рассказов из народного быта.

[11] Стилистика русского провинциального театра Ап. Григорьева и А. Островского, на которую Пастернак ориентировался в своих переводах, решительно расходилась с постановками немецких романтиков, Comedia del'arte и Карло Гоцци (*«Любовь к трем апельсинам»*) в столичных театрах начала XX в. Сергей Эрнестович *Радлов* — режиссер Ленинградского государственного театра драмы; в 1920-х гг. им был осуществлен ряд постановок в эстетико-экспрессионистском стиле («Лисистрата», «Отелло» и др.). Немецкий писатель Людвиг Иоганн *Тик* — автор сказочных комедий, «Романтических поэм», сюжеты которых были использованы Г. Гейне, Э.-Т.-А. Гофманом и Р. Вагнером.

890. А. О. НАУМОВОЙ

16 июля 1942, Чистополь

16. VII. 42

Глубокоуважаемая Анна Осиповна!

Не знаю еще как, с оказией или по почте, высылаю Вам исправленные гранки «Гамлета» и экземпляр «Ромео». Также направляю по адресу Детгиза огромное письмо к М. М. Морозову[1].

Я наверное поздно хватился, об этом надо было думать раньше, но если М. М. не простит мне моей невежливости, мне будет очень грустно. Было бы хорошо, если бы какие-нибудь обстоятельства помирили нас.

В «Гамлете» я сделал больше половины того, о чем он просил, и все, что сам считал нужным. В гранках, за делом, как я писал Вам, это все показалось мне приемлемее и легче.

Обязательно устройте мне в сентябре вызов в Москву, как бы ни сложилась военная обстановка[2]. Я застрял тут только благодаря работе, которой не бывает конца, потому что одно сменяет другое, на деле же мне очень надо и хочется домой.

Напишите мне, не откладывая, что Вы думаете о «Ромео». Дайте экземпляр Мих. Мих-чу, если он пожелает, а затем, и чем скорее, тем лучше, передайте его Евг. Ив<анов>не Ковальчик, редактору «Литературы и искусства» для составления отзыва о работе в газете. Ведь работа кончена в феврале и до сих пор не обсуждена[3].

Большое спасибо за письмо. Вы наверное уже снеслись с Хесиным и произвели требуемые расчеты. Я пока об этом ничего не знаю, но заранее благодарю Вас.

Спасибо за чистые, отлично выправленные гранки, которые шли сюда 4 дня и пришли в превосходном виде.

Всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

О получении гранок и рукописи Ромео телеграфируйте немедленно. Привет тов. Дюшену[4].

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

[1] Письмо № 889.

[2] «Когда Вы будете готовы для выезда в Москву, дайте мне знать, постараюсь вызвать Вас через Потемкина — Наркомпроса», — отвечала Наумова 21 авг. 1942. «Высокий, молодые горящие, сияющие глава, он был счастлив, что очутился в родной Москве, — вспоминала она их встречу, — Борис Леонидович словно вихрь ворвался в Детгиз. Я вышла к нему навстречу, но он, взяв меня за обе руки, воскликнул своим чудесным певучим, грудным голосом: ..."Дайте посмотреть на себя, так вот вы какая"».

[3] Отзывы о «Ромео и Джульетте» появились только после вечера авторского чтения перевода в Доме актера («Литература и искусство», 24 окт. 1942).

[4] И. *Дюшен* — ответ. редактор издания «Гамлета» в Детгизе.

891. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

18 июля 1942, Чистополь

18. VII. 42. Дорогая Оля! Сейчас твоя открытка[1] попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечу тебе. Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город. Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое — в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где го-

лосят на крик, когда судят кого-нибудь из местных. Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населенью, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского «Щелкунчика». В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку.

Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным потрясеньем, я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивленья перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие восклицанья не казались бы мне достаточными для их выраженья.

Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые четыре месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес (Чистополь, детдом Литфонда) тебе известен. Главное же, я в глубине души так же, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве[2]. Наконец, последнее: только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта, что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес, суеверный страх того, что ваша квартира опустеет от одной смелости допущенья, будто в ней по-старому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через С. Спасского и, с помощью ленинградца Шкапского[3], живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Только *случайно* естественнейшая мысль пришла мне в голову. Дайка напишу я им все-таки простую открытку.

Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизмененьями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближеньем фронта.

Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направлениях, но всякий раз с тою долей (может быть, воображаемой и ошибочной) правды и дельности, которую считаю для себя обязательной, и почти ни одна из этих попыток не имела приложенья. Между тем надо жить.

Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося и личную ноту недовольства собой и раздраженного недоуменья. Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зиму я провел с пользой и приготовил для Гослитиздата избранного Словацкого, а для Комитета по делам искусств перевел Ромео и Джульетту. Теперь я свободен. Для возвращенья в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали.

Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств, и между прочим, любопытства. Пока же я свободен и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе, которую пишу исключительно для себя из чистой любви к искусству.

Что-то не выходит у меня письмо к тебе, и, чувствую я (такие ощущенья никогда не обманывают), читаешь ты его с холодом и отчужденьем[4]. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости, феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все. Зинин старший мальчик (с костным туберкулезом) в санатории на Урале, она его не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам. Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что же ты думаешь все-таки делать?

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] В открытке 26 июня 1942 из осажденного Ленинграда О. Фрейденберг писала: «Мне трудно тебе писать. Можешь ли ты себе представить, чтоб Данте (пока Вергилий завтракает) присел черкнуть письмецо? Что тебе сказать, чтоб не теребить твоих нервов?» («Пожизненная привязанность». С. 250).

[2] «Я решительно не знала, как понимать твое восьмимесячное молчание. Телеграфировала Жене в Ташкент, но ответа не получила. Наконец, событие: в июне пришло твое письмо от 25 марта, и наконец, адрес. Что Шура в Москве, я не полагала» (там же. С. 250).

[3] Глеб Орестович *Шкапский* — муж поэтессы Марии Михайловны Шкапской, инженер-электрик на ленинградском заводе «Электросила».

[4] О. М. Фрейденберг сразу откликнулась на это письмо: «Твое письмо пришло быстро, в две недели. Ты пишешь, что оно вызовет во мне холод и отчуждение, что оно тебе не дается. Мне стало печально от него, пусто, но не за себя, а за тебя. Ты не все мог и хотел писать» (7 авг. 1942). В своем дневнике она записала: «Не переставая, я ожидала где-то внутри Бориных вестей; тайная надежда на спасенье и помощь невольно соединялись во мне с именем брата и друга <...> Но когда я прочла его письмо из Чистополя с описанием пейзажа, я поняла свое заблуждение. <...> Письмо говорило объективно о душевной вялости и утомленьи, о душевной растерянности. Как и в начале революции, в письме фигурировали ведра и стертый, подобно старой монете, дух» (там же. С. 155).

892. А. О. НАУМОВОЙ

30 июля 1942, Чистополь

30. VII. 42

Глубокоуважаемая Анна Осиповна!

Получили ли Вы гранки Гамлета, рукопись Ромео, и письма к Морозову и к Вам? Благодарю Вас за деньги, переведенные Хесину за Гамлета.

Вчера получил сужденье Комитета о «Ромео» с приложеньем отзыва о нем Михаила Михайловича[1]. Обо всем, что я Вам тут скажу, мне еще, наверное, придется писать в Комитет. Но я занят и сделаю это не скоро. Михаилу Михайловичу, — Вы сами свидетельница, — я только что написал многословнейшее и, вероятно, утомившее его письмо[2]. В том, что я сейчас скажу о «Ромео», нет никакой тайны, и, наоборот, я Вам буду очень благодарен, если мои соображения станут известны Михаилу Михайловичу, а также Евгении Ивановне Ковальчик, которая, может быть, даст отзыв о переводе в «Лит<тературе> и Иск<усстве>».

Месяца два тому назад этот перевод у меня попросил Пав. Антокольский. Вот его упреки. «Твой перевод, конечно, очень хорош, но ты прав: в чем-то он уступает Гамлету. Может быть, действительно, юношеская, не вполне самостоятельная и совершенная, трагедия Шекспира не дала тебе такого поэтического импульса, как Гамлет... От тебя, как ни от кого другого, хочется ждать смелости. В самом деле, почему переводчик — ты... Только затем, чтобы, повалив пограничные столбы словарей, ты обогатил сегодняшнего зрителя (и актера) новым ощущением. И все же перевод хорош... Но если ты захочешь еще встретиться с какой-нибудь "Бурей" или "Королем Лиром", то... Только при условии очень большой свободы (принятой на себя как обязательство), ты сде-

лаешь действительно ценное, чего от тебя ждут»[3]. Итак, Антокольскому недостает в переводе смелости и свободы, это вполне допустимо, мысль его позволительна и понятна. Я знал, читая его сожаленья, что Мих. Мих. упрекнет меня, с еще большею уместностью, в обратном. Вот из морозовского отзыва.

«На стр. 49, реплики Меркуцио "Нечто посущественнее кота Тибальта", "Это из их дурацкой тарабарщины»", "Моща мощей" сокращены против подлинника чуть ли не в три раза. Для чего нужно такое сокращение? Театр и сам сумеет сократить, а читателю надо дать полный текст. Это недопустимо. Ведь это Шекспир... В переводе много неточностей, текстовых пропусков. Прекрасно, конечно, что Пастернак далек от буквализма, умеет замечательно раскрывать подтекст, но многочисленные отступления от подлинника временами просто недопустимы в переводе Шекспира. Другое дело, если назвать эту работу "переделкой" или "по Шекспиру". Но в таком случае оценка работы выходит за пределы компетенции специалиста шекспироведа»[4].

Теперь возьмите, пожалуйста, четыре перевода трагедии: Радловский, Соколовского, Михаловского и Ап. Григорьева. Из них наилучший (и действительно, очень хороший) — Михаловского. По этому переводу ознакомьтесь с содержанием вещи (то есть освежите ее в памяти) перед чтением ее в моем переводе. Скажите: мог ли человек, что-нибудь значащий в нынешней литературе, после всего сделанного Львом Толстым и всего случившегося и происходящего в истории остаться под покровительством мифических шекспировских святынь и неприкосновенностей, извиняющих любую риторическую бессмыслицу и метафоризованную романтику[5], в ущерб Шекспиру настоящему, как я его понимаю, Шекспиру архитолстовскому, Шекспиру — вершине индивидуального *реалистического* творчества в истории человечества? Скажите, с другой стороны, ощутили ли Вы хоть сколько-нибудь заметную потерю какой-нибудь существенной частности, передвижения по сцене, вздоха или запятой в моем переводе по сравнению с предшествующим[6]. Для каждого из замечаний Михаила Михайловича *есть основания,* но и только. Не мало ли этого для полного понимания *двойной работы*, которая ему кажется половинной и недоделанной. Вначале было переведено все, как у всех.

Мих. Мих. жалеет, что из реплик Меркуцио переведена только треть. Разве он не замечал, что при оставлении этого натянутого острословия полностью из него не доходит ничего, а так

сохраняется хоть что-то, таким образом *больше*, а не меньше требуемого. Но может быть я голословен: проверьте мои ощущенья на Михаловском. Это единственная причина всех сокращений (они в общей сложности так ничтожны, что на них можно было бы не останавливаться). «Для чего нужно такое сокращенье?» — спрашивает Михаил Михайлович.

Для того, чтобы вещь можно было бы прочесть и понять. Чтобы она не погибла от прыщика, о котором так легко умолчать, — требуете же Вы сами устраненья мест неприличных[7]. — «Если назвать эту работу переделкой»... Я и сам об этом думал. Но так ли велики мои отклонения от буквы, чтобы оправдывать такое названье? Не будет ли оно тогда неуместным притязаньем? Когда, например, из двухчастного Генриха IV-го я сделаю одночастного Фальстафа, это будет переделкой[8]. А Ромео все-таки, думается мне, перевод. Выпущенные места можно привести в примечаниях из других переводов.

Перевод печатают в Гослитиздате. Когда я буду держать его корректуру, то, как в Вашем случае с Гамлетом, улучу возможность сгладить последние шероховатости текста и воспользуюсь Морозовскими замечаниями.

Привет Вам и ему. Я от Вас обоих жду писем. Как и Антокольский, и Вы и он (Мих. Мих.) должны быть разочарованы работой по совсем другим причинам. Перевод тут ни при чем.

Простите, «Ромео и Джульетта» — хуже целого множества шекспировских вещей.

Всего лучшего. Еще раз за все спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Мастерство перевода. 1969. М., 1970. — Автограф (собр. адресата).

[1] «Отзыв на перевод "Ромео и Джульетты" Шекспира, сделанный поэтом Б. Пастернаком» — см. там же. С. 351–355.

[2] Письмо № 889.

[3] Из письма П. Г. Антокольского 9 июля 1942 (там же. С. 350).

[4] Там же. С. 354.

[5] Имеются в виду претензии Л. Н. Толстого к Шекспиру, выраженные им в статье «О Шекспире и о драме» (1906).

[6] Наумова 21 авг. 1942 писала в ответ: «...Когда читала Вашего "Ромео", у меня было все время ощущение новизны, чего-то очень, очень свежего и более реалистичного, чем когда-либо читанного... Законно ли Ваше чувство неудовлетворения? Вы сделали большое и новое дело. Вы сняли с "Ромео" всю шелуху григорьевских архаизмов... и радловских прозаизмов... — сняли замистифицированность — это великое дело».

[7] В тексте «Ромео и Джульетты», подготовленном для Детгиза, сняты «неприличные» с точки зрения советской морали места.

[8] Эта идея была подана Пастернаку Морозовым, он писал об этом П. И. Чагину в 1942 и М. Б. Храпченко в 1945 г. (письма № 886 и 979). Сокращенная версия «Генриха IV» была сделана в 1955 г. для Малого театра, но спектакль не был поставлен.

893. Е. В. ПАСТЕРНАК

1 августа 1942, Чистополь

1. VIII. 42. Дорогая Женя! Вот уже и август. Я давно не писал вам и выказал себя страшною свиньей в отношении Ивановых, Корнея Ивановича и, в особенности, Лидии Корнеевны. Но даже и тебе я пишу через силу. Вероятно, летом усталость и исчерпанность и азбучная ясность всех предметов чувствуется с особенною тяжестью.

Вот и опять я не попал в Москву. Сегодня с утра Зина со Стасиком сидят на степном бугре близ города, где их обдувает усыпительным ветерком, сладко пахнущим кашкой, полынью и тысячелистником. Это аэродром, и они ждут самолета в Казань на своем сложном пути к Адику через Свердловск. Эта поездка будет стоить Зине огромных сил и денег. Хотел и должен был сопровождать Зину я, но она нашла, что при рискованности путешествия в отношении сил и здоровья, нам лучше, выражаясь по-нынешнему, рассредоточиться и быть в несходных положеньях с разными шансами. И я остался, а в качестве помощника с ней поехал Стасик. Пока они не вернутся, разумеется я буду тут. Ко мне по воскресеньям приходит задумчивый и рассеянный мальчик Леничка и по двадцать раз начиная фразу, задает иногда вопросы, вроде следующих: «А вот, а вот, а вот скажи, папа, кто назначает, каким папам быть красноармейцами, а каким писателями?» Я догадываюсь, конечно, что ему хотелось бы, чтобы я был на фронте, но объясняю это общедетскою тягой к военным доблестям. Но когда я спрашиваю, как бы ему хотелось, он отвечает: «Мне хочется посылочку (подарки детям фронтовиков)».

Когда кончает Женя? Ведь когда он кончит, его несомненно пошлют, и тут ничего нельзя поделать. Вы знаете, что убит сын Антокольского? Напишите мне об этом.

Вызова в Москву (то есть права въезда) я попросил только в начале лета, и недостаточно энергично. Я его еще не получил. Но когда Зина вернется, я затребую его понастойчивее и может быть

поеду туда на зиму из чистого любопытства и чувства полной безнадежности. А что ж еще осталось делать, когда все пришло к такому скотоподобному фатализму и только ждет своего часа закланья.

Будет удивительно, если я не напишу Анне Андреевне. Не проходит дня, чтобы я не говорил о ней с Марией Петровых. Целую вас обоих.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

894. А. Я. ТАИРОВУ

9 августа 1942, Чистополь

9. VIII. 42

Дорогой Александр Яковлевич!

Благодарю Вас за письмо из Москвы[1]. Очень польщен им. Рад был живым сведеньям о Вас и Алисе Георгиевне, и письмо начинаю с самого сердечного привета ей и Вам. Нечего и говорить, что я буду счастлив поработать совместно с Вами обоими. Но о пьесе говорить рано.

Во-первых, я пишу ее до бездарности медленно. Кроме того, она задумана в той степени независимо, что если не наступит серьезных перемен в наших литературных и театральных установленьях, она едва ли может годиться для постановки и напечатанья.

В сделке моей с Росискусством нет ничего недобросовестного. Задолженность моя перед ними невелика и покрывается расчетами по Шекспиру. Я от них не скрывал, что мечтаю о настоящем художественном труде на себя, а не на заказчика[2].

Вас не должно удивлять, зачем в таком случае я занялся таким неокупающимся и мало осуществимым делом. Мы и время так уже немолоды, конец, в любом смысле, так уже представим и видим, что мне хотелось бы к решительной минуте располагать такой концепцией испытанного и виденного, которой не было бы стыдно ни пред лицом отживающего старого, ни перед проблесками нового или даже может быть перед глазами собственной смерти.

Читали ли Вы моего «Гамлета»? Мне очень бы хотелось, чтобы Вы и Алиса Георгиевна ознакомились с моим переводом «Ромео и Джульетты»[3]. К сожаленью, у меня остался только очень расплывчатый и бледный экземпляр. В состоянии ли Вы будете прочесть его? Во всяком случае, я Вам его высылаю. Не притязая на что-нибудь большее, буду Вам крайне признателен, если Вы меня успокоите насчет полученья бандероли.

Крепко жму Вашу руку. Еще раз большое спасибо. От души всего лучшего Вам и Алисе Георгиевне.

Ваш Б. Пастернак

г. Чистополь, Татарская АССР. Ул. Володарского 75 кв. Вавилова, Б. Л. Пастернаку.

Впервые: «Театральная жизнь», 1990, № 3. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2328, оп. 1, ед. хр. 922).

[1] В письме 27 июля 1942 Таиров писал Пастернаку, как глубоко взволновало его известие о том, что Пастернак пишет пьесу, и просил дать ее для Камерного театра. Таиров приглашал Пастернака в Барнаул: «...Алиса Георгиевна (Коонен) и я, и весь театр будем рады Вас видеть и работать с Вами» (там же. С. 23).

[2] «Ведь именно о такой пьесе мы и мечтали, — отвечал Таиров 13 нояб. 1942. — И Алиса Георгиевна, и я. О пьесе не на заказчика, а, как Вы пишите, на себя. Такую пьесу можно ждать не месяцы, а годы, лишь бы приобщиться к ней, лишь бы воплотить ее на многострадальных подмостках» (там же).

[3] «Вашего "Гамлета" я, конечно, знаю. Читал и "Ромео и Джульетту". И очень, очень пожалел, что пора "Ромео и Джульетты" у нас уже, увы, в прошлом, и что в этом прошлом не было еще Вашего чудесного перевода. Ваш "Гамлет" тоже, помню, глубоко взволновал меня» (там же).

895. А. А. ФАДЕЕВУ

3 сентября 1942, Чистополь

3. IX. 42

Дорогой Саша!

Привет. Спасибо за ваше письмо из прессбюро[1], если ты его еще помнишь. Надеюсь с тобой увидеться. Телеграфировал тебе просьбу прислать мне срочно вызов-командировку в Москву. Не сомневаюсь, что ты приложишь все свое влиянье, чтобы мне его выслали без промедленья. Если Союза мало и надо еще кого-нибудь, попроси, чтобы вызов исхлопотали наркомпрос Потемкин (по линии Детгиза[2]) и Храпченко.

Прости, что пишу второпях. Сел я тебе писать собственно не о себе, а о Марии Петровых. Она очень талантливый человек и если бы она жила припеваючи, это было бы только естественно и справедливо, и на пользу всем. Но она очень далека от таких притязаний и удовольствовалась бы, если бы ей жилось хоть маломальски сносно. Это надо обязательно устроить. Союз или Чагин должны заключить с ней договор на объемистую и прибыльную

переводную работу. Дай, пожалуйста, распоряжение об этом подлежащему отделу.

Кроме того, ввиду того, что такие дела никогда не доводятся до конца на расстоянии, *необходимо дать ей возможность съездить в Москву* для устройства всех этих дел сейчас, вместе со мной, Ольгой Маяковской и др.[3]. Пожалуйста, постарайся. Я очень, очень прошу тебя.

Крепко тебя целую. *Твой Б. Пастернак*

г. Чистополь Володарского 75 кв. Вавилова.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 760).

[1] Имеется в виду письмо Пресс-бюро Союза писателей 13 июля 1942 Пастернаку, подписанное Фадеевым, Гладковым, Лейтесом и Леонидовым, с предложением присылать в Пресс-бюро его стихи, статьи, отклики на события и тексты шекспировских переводов (там же).

[2] А. О. Наумова 21 авг. 1942 предлагала прислать Пастернаку вызов в Москву через Наркома просвещения В. П. Потемкина.

[3] М. Петровых получила телеграфный вызов от Союза писателей сроком на 3 недели 21 сент. 1942 (там же).

896. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 сентября 1942, Чистополь

16. IX. 42. Дорогая Женя!

Получил твое письмо, спасибо. Действительно, я не писал вам вечность.

Зина ездила к Адику. Ему наверное придется все-таки отнимать ногу ниже колена. В то же самое время выпустили на свободу Генриха Густавовича [1]. Они встретились в Свердловске, где он наверное будет преподавать в консерватории. Но Адика Гаррик еще не видал, это часах в трех езды от Свердловска, и я не знаю, насколько он располагает свободой.

Наверное на днях я поеду в Москву[2]. Мне туда совсем не надо и не особенно хочется. Но прошлой осенью у меня были силы для проведенья своей линии. Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему — двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. И я одинок в той степени, когда уже это смешно. В такой безоружности протянуть в чистопольской бабьей пошлости еще зиму будет трудно. Вот отчего я еду. Но как раз сейчас что-то могло бы меня и удержать.

Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел Ромео и Джульетту, избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержанье. Уже подписывая его, я проговаривался, что буду писать вещь по-новому, свободно[3]. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержанья и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до ужаса слабую, и Федин, человек, которого я любил и наверное люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний о Горьком написал четырехактную пьесу с мертвыми словами и страстями, содержанье которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову, благодаря безмерности его дарованья удалось написать талантливую и блестящую неправду[4], которая очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает только к концу. Исходя из этих наблюдений, а также из сознанья практической бесполезности моего труда на ближайшее время, я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей, в драматической форме. Густоту и богатство колорита и разнообразие характеров я поставил требованьем формы и по примеру стариков старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намереньями справлюсь.

Я написал первый акт этой сложной четырех- или пятиактной трагедии. Он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется «Этот свет» (В противоположность «тому»), ее подзаголовок «Пущинская хроника». Первая картина — на площади перед вокзалом, вторая в комнате портнихи, из беспризорных, близ вокзала, третья в бомбоубежище этого дома, четвертая — картофельное поле на опушке Пущинского леса в вечер оставления области нашей армией[5]. Пока вещь не дописана вся, не говори о ней пожалуйста никому.

Я хочу попробовать продолжать ее в Москве. Не знаю, насколько это будет выполнимо. Сейчас, издалека, ни с кем не списавшись и не проверив на месте, предполагаю поселиться у тебя,

если позволит состоянье комнаты и Ел<ена> Петр<овна> согласится мне помогать. На всякий случай вот вам адрес Асмусов: Москва, Зубовский бульв. 16/20 кв. 45. Как только установится мой собственный, я тебе сообщу. По-видимому зимовка в Москве будет не легче Ленинградской. Если по приезде выяснится, что осесть и обосноваться с надеждою поработать немыслимо, я вернусь в Чистополь.

Перевожу тебе тысячу руб. Как только достану в Москве, переведу столько же. Зина, Леня и Стасик остаются в Чистополе. Крепко тебя и Женичку целую. Спасибо ему за открытку, я кажется на нее не ответил. *Ваш Боря*

Если я вас сейчас поздравлю телеграммой с его рожденьем, она к 23-му не дойдет[6], об этом надо было подумать раньше. С тем большей силой желаю вам обоим всего лучшего.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф

[1] Г. Г. Нейгауз был выпущен из тюрьмы 19 июля 1942 г.

[2] Пастернак уехал в Москву в последних числах сентября 1942 г.

[3] В заявке «Во Всероссийский Комитет по делам искусств», поданной 25 авг. 1941, Пастернак писал: «Сюжетная завязка пьесы будет бытовая, с реалистическими персонажами, без святых и прописей, с красноречьем самих эстетических положений. Пьеса будет написана по-новому свободно» (т. V наст. собр.).

[4] Имеются в виду пьесы К. Тренева «Навстречу», К. Федина «Испытание» и Л. Леонова «Нашествие».

[5] От пьесы сохранились только 3-я и 4-я сцены.

[6] 23 сентября — день рождения Е. Б. Пастернака.

897. А. А. ФАДЕЕВУ

Октябрь 1942, Москва

Дорогой Саша!

Сейчас по просьбе В. Ф. Бокова из Сталинска, Новосибирской, где он учится курсантом 18-го подразделенья в вывезенном туда Виленском Пехотном училище, наблюдал себя в странной роли, пишущим ходатайство о нем в ПУРККА[1]. Поддержи его. За его вызов из училища во фронтовую печать действительны доводы практического благоразумья, а не бытового доброжелательства, по всему тому, что мы знаем о нем.

Он не такое яркое, особо стоящее и замкнутое явление, как Мария Петровых, недавно со справедливыми восторгами здесь нами обнаруженная. Но из положительной, реалистически видя-

щей и душевно здоровой нынешней молодежи, он самый заметный, сильный и обещающий, предан литературе со страстью, очень много знает и не устает учиться, беллетрист, стихотворец, филолог, фольклорист-ученый и ко всему из очень простой семьи. Я уверен, что не ошибаюсь в нем.

Укрась, пожалуйста, мои хлопоты о нем деятельным пожеланьем им успеха, и все пойдет как по маслу, Боков будет новым Немировичем[2] в Ново-балканской главе этих неслыханных наших лет.

Не сердись, я знаю, как это все до глупости далеко по звуку. Кажется, мы скоро увидимся, и я расскажу тебе о триумфах Ангелины Осиповны в «Женитьбе Белугина» [3]. Как ты съездил в Ленинград и вполне ли выздоровел?

Обнимаю тебя. *Твой Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 631, оп.16, ед. хр. 118).

Поэт Виктор Федорович Боков жил в Переделкине, где познакомился с Пастернаком. Вместе с ним 8 авг. 1941 г. провожал М. Цветаеву в эвакуацию, приезжал в Чистополь, куда была эвакуирована его мать, в марте 1942 г. был призван в армию и вскоре арестован.

[1] Политуправление Рабоче-крестьянской Красной армии.

[2] Имеется в виду писатель Василий Иванович *Немирович*-Данченко, один из первых в России профессиональных военных корреспондентов еще с русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; во время Балканской войны издал книгу очерков «С вооруженным народом» (СПб., 1913).

[3] Жена Фадеева, актриса МХАТа А. О. Степанова. *«Женитьба Белугина»* — пьеса А. Н. Островского и Н. Я. Соколова.

898. Е. В. ПАСТЕРНАК

14—25 октября 1942, Москва

14. X. 42. Дорогие Женек и Женя!

Я уже две недели как в Москве. Первые часы в вечер приезда у меня было чувство новизны и отвычки, и на другой день прошло. Я остановился у Шуры. Когда я уезжал из Чистополя, у меня было намеренье остаться здесь на зиму даже в случае больших неудобств и трудностей, и если бы мне отказали в постоянной прописке. Я рассчитывал, что в Москве должно чувствоваться нечто исторически новое и, сквозь любые лишенья, некоторое предвестье завтрашнего дня. Кроме того мне казалось, что с одной стороны я буду эту зиму свободен для передвижений и меняющихся наблюдений, за отсутствием большой постоянной работы, с другой в каком-нибудь

из театров будут ставить Ромео, который будет меня поддерживать матерьяльно. При этих условиях я думал побывать на фронте, потому что эти поездки не могли бы кормить меня, вследствие вероятной неприемлемости моих корреспонденций.

Но все сложилось по-другому. В Москве спокойно и очень обыденно, все наши пристанища, и в частности твое, частью разорены, частью заброшены, все ценное растащено; о Ромео никакому из театров ничего не известно, и совершенно неожиданно я подписал соглашение на перевод «Антония и Клеопатры» для Мхата, который займет меня на полгода. При этих условиях я решил вернуться в Чистополь, где хотя жизнь и питание хуже, чем в Москве, но где я буду среди своих и смогу спокойно работать.

Через Охрану авторских прав я просил выплатить тебе две тысячи. Столько же надеюсь перевести тебе по почте. Я не знаю, как сложатся дальше мои дела, но вероятно потом будет некоторый перерыв месяца на три. Разумеется, если только будет возможность, я тебя не оставлю без помощи.

25. X. 42

Я здесь очень засиделся по вине всяких дел, затруднений и бытовых несчастий, валящихся вокруг Шуры (больше всего на Риту и Аню[1]). Мне как раз бы следовало сейчас уехать. Не сегодня завтра станет Кама и прервется сообщенье с Чистополем. Мне тревожно и грустно, что я из-за вечного своего торчанья среди несчастненьких, застреваю тут вдали от своего дома и долга. Итак вкратце о делах. Упомянутые выше 2000 я тебе перевел по почте (сверх уапповских). Я видел Пусиньку и Ипп<олита> Вас<ильевича>[2], дал им 750 р. (может быть если будет возможность доведу до тысячи). Много денег дал Петровне, много трачу у Шуры.

В отношении имущества и обстановки вы и мы, т. е. твоя и наша квартиры сильно пострадали. У тебя все ценное из сундуков и шкапов раскрадено и оставлена только мебель и книги (и то не все). У нас же не пощадили и этого. Я не знаю, писал ли я тебе об этом в последние дни из Чистополя (я уже это там знал), но больше всего меня огорчила гибель всех папиных работ, оставшихся в Переделкине. Сундуки перенесли на дачу к Ивановым, где они и сгорели вместе с Ивановскими вещами. Какое-то предчувствие заставляло меня, помнишь, перевозить некоторый выбор из этого большого собранья всюду за собою то с дачи в город, то из города на дачу. В последний раз я *почти* все (за исключением Жони-девочки на картоне в золотой рамке) перевез в нескольких связках, как и лучшие из своих книг, Адину шубу и еще кое-что к тебе на Тверской.

Адикову шубу, конечно, украли вместе с Жениной, а книги и картины кажется уцелели. У тебя (тобою) за квартиру было уплачено до последнего дня. Я уплатил еще за ноябрь. В Жениной комнате теперь жила жена слушателя Лит. института Александра Васильевича Ба́укова. Предполагалось, пока я думал, что останусь, что я поселюсь в следующей твоей. Но у вас не будут топить, не действует водопровод и канализация. Я вообще в Москве на зиму не останусь. Ничто в ней не привлекает меня. Но я хотел договорить о твоей квартире. Я просил Нюню и Петровну следить за сменою квартирантов в одной из твоих комнат и смотреть за состоянием квартиры. Ключ от внутренней половины квартиры, куда снесены все вещи, теперь опять у Петровны. Приехали Ивановы. Мне звонила Там<ара> Влад<имировна> и очень зовет. Я еще их не видел. Всеволод, которого я встретил в столовой, очень хвалил Женечку, о котором с такою же похвалой отзывались и раньше другие.

Прости, что я пишу тебе так бледно и с такой пустой душой. Если бы я был моложе, я бы повесился. Я не понимаю этой Москвы и людей кругом. Неужели никогда ничего не изменится?

Крепко целую тебя и Женю. Если надо будет, пошлю письмо с Ивановыми.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Пастернак хлопотал по поводу А. Н. и М. Н. Вильям, которые подвергались угрозе выселения из Москвы из-за немецкого происхождения. Ему удалось отстоять Анну Николаевну Вильям-Кудряшову, как жену фронтовика, Маргарита Николаевна была выслана в Сибирь.

[2] Е. М. и И. В. Стеценко.

899. З. Н. ПАСТЕРНАК

18–20 октября 1942, Москва

Дорогая Зиночка! Когда я уезжал, я мысленно прощался с тобой и Леней на год. Теперь я не верю возможности, что скоро снова с вами увижусь. Я боюсь думать об этом счастьи.

Посылаю тебе с Бертой Яковлевной[1] папирос, а Лене шоколаду. Я заплатил за него 300 р. Мне больно, что тут нет ничего для Стасика. Может быть, уступишь ему от меня две коробки.

Договор на Антония и Клеопатру заключен[2]. Завтра отправляю тебе через Литфонд два чемодана. Не удивляйся множеству рухляди. Что делать, все пригодится для обмена.

Мой чемодан отправляется назад почти в том же виде, в каком я его сюда привез. Можешь даже не распаковывать вещи до моего приезда[3]. Но на всякий случай посылаю тебе в конверте ключ от твоего парижского. Адикову шубу утащили вместе с лучшими из Жениных вещей. То же самое случилось бы с ней, если бы она осталась в Лаврушинском. Все уцелевшее хранилось у Елены Петровны. Теплое белье и шляпу она мне купила зимою после моего отъезда.

Итак, я, по-видимому, решил возвращаться. Мне кажется, надо всеми силами стараться жить дружно, здорово и производительно, а это можно только в Чистополе, при вас. Все равно, будет ли в январе мир, как тут поговаривают (это я тебе расскажу при встрече), или же, наоборот, развитие военных действий и затяжка войны распространит угрозу на Чистополь, я хочу быть с вами и, пока будет возможно, жить тепло, хорошо питаться и хорошо работать, а если, не дай Бог, это станет невозможно, разделить с вами надвигающиеся лишенья.

Вероятно, я пошлю тебе на днях по почте тысячи две-три и привезу с собою столько же или немного больше. Мне хочется устроить денежные дела так, чтобы месяца через два-три мне предстояла расплата по новому договору и чтобы расчет можно было произвести из Чистополя через Хесина, как в прошлом году. Мне только поставили очень короткий срок на Антония, только 4 месяца. Немирович очень увлечен и торопится постановкой. Я его должен увидеть, но перед этим хочу перечесть Антония и все время занят квартирами, карточками, деньгами и пр.

Было бы очень хорошо, если бы, двинув вещи (деньги, может быть, понадобятся?), ты позапасла меду и масла. Совершенная фантасмагория была бы, если бы ты поручила Гроссманихинскому человеку перевезти, напилить и наколоть дров для меня[4]. Не выложить ли мне дополнительную печурку в моей комнате? Или, может быть, поставить железную? Так была бы разрешена проблема самовара, можно было бы готовить свое, и была бы достигнута хозяйственная самостоятельность на случай взятия Ленички из детдома на дом. Дело в том, что и при щедрой вавиловской топке в прошлом году[5] в морозы было холодно при настежь открытых круглые сутки дверях, а теперь ведь, когда я ухожу, я их запираю. Я, конечно, не смею мечтать о том, чтобы это все было сделано до моего приезда, но если бы такое счастье случилось, я бы с удесятеренной энергией принялся наколачивать новые деньги.

Вере Кузьм<инишне>[6] я уже отправил 500 руб. Это ей подарок. Если она взяла бы заботу о дровах или печке на себя, давай ей деньги на расходы, сколько потребуется, а эти — ее собственность.

Ничего не пишу тебе о Москве, об Асмусах, о Шуре. Все это расскажу при встрече, — есть о чем поговорить. Москва так же далека от истинной тайны событий, как Чистополь, но зато Чистополь ближе к коровам, курам и лошадкам, чего нельзя сказать о мертвой и по-глупому надутой Москве.

Что меня задерживает? Окончательное оформление договоров, получение дальнейших денег, обеспеченье постоянной московской прописки, предложение прочесть перевод «Ромео» в ВТО[7] (это надо сделать, а то никто не знает о существовании нового перевода), устройство квартирных дел. Об этом тоже при встрече: мне кажется, во всех отношениях нам придется жизнь (в смысле крова и обстановки) начинать сначала, и, может быть, Чистополь более долгая стоянка (может быть, вроде нового Переделкина), чем кажется, но я всему этому очень рад, так как это пойдет совсем в другом стиле, чем грошовая дребедень, которой мы лишились. Я запрашиваю телеграммою Барто в Свердловске, согласится ли она уделить мне комнату в своей квартире для переноски в нее немногого оставшегося из мебели из верхних этажей и проживанья в ней, если я задержусь на первые дни ноября или захочу или должен буду приехать в Москву еще раз зимою. Если она откажет или не скоро ответит, мне подыщут комнату внизу в каком-нибудь другом подъезде[8].

Если тебе надо будет сообщить что-нибудь экстренно, воспользуйся едущими сюда (уехали ли уже Казин и Зенкевич?[9]) или телеграфируй. Стасику обязательно придумаю подарок: я ему, наверное, отдам все сладкое из пайка, если получу его. До сих пор не могу получить продкарточки. Прописался временно в Лаврушинском. Умерла Варв<ара> Ивановна[10]. Милица Серг<еевна> и словом не заикнулась о полученных деньгах. Шура задолжал мне больше тысячи. Туси еще не видел. Питаюсь клубными обедами, а по утрам и вечерам — подкрашенным кипятком с хлебом. Если попрактиковаться в этом в течение года, от человека мало что останется. Крепко обнимаю тебя и детей, прости, что пишу неразборчиво,— тороплюсь. Большое искушенье — съездить за большими Лениными игрушками в Переделкино, но сегодня последний день приема посылок, кроме того, боюсь сильных ощущений при виде разрушенья, а также того, что Маруся пристанет ко мне как репей и потом не рад будешь.

Без конца обнимаю. *Боря*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 61). Датируется по содержанию.

[1] Б. Я. Сельвинская возвращалась в Чистополь.

[2] Договор на «Антония и Клеопатру» с П. И. Чагиным был подписан 17 окт. 1942 г.

[3] Пастернак отправлял свои вещи назад, рассчитывая вскоре приехать самому, но желая утвердиться в этом решении, спрашивал жену 28 окт.: «Я только не знаю, имеет ли мне смысл везти работу в Чистополь, — будет ли это осуществимо житейски? Мне очень бы хотелось быть рядом с тобой и детьми. Во всяком случае закупай мед и масло, если это возможно. Дай мне, пожалуйста, телеграмму, как мне поступить. Мое желанье вернуться к вам было так велико, что ведь я отослал назад чемодан со своими вещами, чем очень затруднил для себя жизнь тут, если бы пришлось остаться» (там же. С. 142).

[4] Речь идет о человеке, рекомендованном женой В. С. Гроссмана, Ольгой Михайловной, по соседству с которой Пастернак жил в Чистополе.

[5] Комната, которую снимал Пастернак у Вавиловых, не имела печки и отапливалась только через открытую дверь в хозяйскую кухню. «Протелеграфируй мне, пожалуйста, сегодня же, — повторял он 28 окт. — есть ли надежда тепло прожить в моей комнате, т. е. есть ли дрова и можно ли надеяться поставить у меня в комнате железную печку или сложить маленькую кирпичную? Вообще стоит ли приезжать? Мне бы страшно этого хотелось» (там же).

[6] В. К. Вавилова — хозяйка комнаты в доме по ул. Володарского в Чистополе, где жил Пастернак.

[7] Пастернак читал перевод «Ромео и Джульетты» 23 октября 1942 г. в Доме актера. «Ввиду того, что обстоятельства заставили меня засесть за правку Ромео (по Морозовским замечаньям) и согласиться читать его 23-го, я засиделся здесь больше, чем хотелось бы, и, наверное, проворонил конец навигации, а также выскочил из продовольственных октябрьских рамок», — писал Пастернак жене (там же).

[8] Пастернаку не удалось договориться с Агнией Львовной Барто; оставшееся до отъезда время Пастернак жил у Асмусов, квартира в Лаврушинском продолжала подвергаться разорению.

[9] Поэты В. В. *Казин* и М. А. *Зенкевич* возвращались в это время из Чистополя.

[10] Неустановленное лицо.

900. З. Н. ПАСТЕРНАК

19 ноября 1942, Москва

19 ноября 1942

Зиночка, мамочка моя, дорогая моя радость! У меня все уже было готово к тому, чтобы выехать 18-го с Явичем[1], и вдруг я решил до возвращенья к тебе съездить на фронт. Я звонил об этом Фадееву. Я не знаю, как все это устроится. Но он обещал мне сдать

меня в верные руки. На днях все это выяснится. Если я там побываю, то, если это Богу угодно, поездка моя отложится недели на две — на три, и с его помощью я соберусь к тебе с детьми в декабре. Тогда же к вам собирается Хмара[2]. Может быть, мы поедем вместе.

Я немыслимо соскучился по тебе и Леньке со Стасиком. Я соскучился даже по Чистополю как по более истинной моей жизни, чем московская. Я почти до слез рвусь назад в темь и дичь этой прикамской зимы, которой я обязан столь многим. Мне надо сказать тебе кучу вещей. Итак, начнем с дел, и сперва с денежных.

Через Хесина я перевел тебе 2 тысячи, потом по почте 3 тысячи, потом с Наташей Павленко[3] одну и вчера опять попросил Хесина перевести тебе 10 — всего 16 тыс. Крупных денег у меня до окончанья перевода «Ант<ония> и Клеопатры», за который я примусь лишь у вас в Чистополе, т. е. до марта, апреля, не будет. Но постарайся запасти что-нибудь необходимое или полезное — мед, масло, дрова или картошку: мелкие средства в этом зимнем промежутке я всегда добуду. Моя мечта — провести с тобой эти зимние месяцы с наибольшей производительностью и пользой. Живи в моей комнате и храни ее, чтобы не уплыла. Плати Вере Кузьминишне и поддерживай с ней хорошие отношенья[4]. Мне кажется, что к концу зимы, еще до начала навигации, я должен буду вместе с тобою, без Лени и Стасика, съездить в Москву для закладки первых кирпичей под наше летнее возвращенье с детьми на родину. Будет очень хорошо, если я с успехом поработаю в промежутке и поеду с тобой не с пустыми руками. Капитально потрудиться можно только в Чистополе. Итак, умоляю тебя: береги комнату и, если встретишься с предположеньем, что я не приеду и тут зазимую, знай, что больше всего я боюсь, как бы не сложилось такое мненье. Я был бы уже и сейчас у вас, если бы не мысль, что побывка на фронте очень мне пригодится в первые же дни моей зимней работы и поставит меня морально совсем по-другому. До сих пор я тут сидел, потому что из мелких заработков сколачивал названную тебе сумму, а дальше мне тут делать нечего и жить негде. Кланяйся, пожалуйста, Вере Кузьминишне. Если у меня останется время, я напишу ей. У меня готов ей подарок — духи. Я был убежден, что к концу ноября расположусь на Володарской.

Ты уже, наверное, знаешь, что груз литфондовских посылок застрял в Спасском затоне в 90 км от Чистополя. Это настоящая для нас трагедия. С этою партией я отправил два чемодана: свой

со всеми вещами, привезенными из Чистополя (валенки, костюмы, бумага, книги, рукописи), и твой, парижский (ключ от него тебе должны были передать либо Федин, либо Сельвинская) с остатками нашей хозяйственной рухляди, книжками для Ленички и пр. От энергии Якова Федоровича[5] зависит вызволить этот груз. Отсюда даны всюду соответствующие телеграммы. Надеются, что вещи не пропадут, но я без них остаюсь здесь в чем я есть, совершенно голый.

Я купил для Стасика ботинки, повезу шоколад для детей и папиросы для тебя.

Около 7-го ноября, когда грянули морозы, у Шуры, где я все время жил, на второй или на третий день замерзла вода в трубах, и я ненадолго, как я думал, перебрался к Асмусам, где и остался. У них в доме тоже не топят, на электричество ввели ограниченье (лимит), Ир<ина> Серг<еевна> сложила у себя в спальне кирпичную печку, но она не тянет, и, когда ее топят, квартира наполняется едким дымом и копотью, так что приходится открывать дверь на лестницу и форточку. Я живу в углу на кухне и, как думаю, составляю для них большое неудобство, отнимая светлое и относительно теплое место, которые в нынешней здешней тесноте и холоде все на счету.

Шура живет ужасно: бедно, безденежно и беспечно. Он страшный лентяй, я не могу без боли думать о них и Феде. Они замерзают и в ус не дуют. На нуждающихся близких — Елиз<авету> Мих<айловну>, Лену, Шуру и др. — я перевел массу денег, тысяч до трех в общей сложности. Временами от окружающей нужды и глупости мне становится до убийственности тоскливо. Нервы перетянуты до крайности, на все вплоть до последних пустяков, уходит уйма времени. На днях пришла повидать меня Мил<ица> Серг<еевна>. Едва она заговорила об Адике, я не выдержал и должен был выбежать из комнаты, потому что разревелся. На прощанье она попросила у меня денег.

Я прочел твое письмо, привезенное Серг. Васильевым[6], и плакал. Если бы ты знала, как я рвусь к тебе, как люблю Стасика и как безумно соскучился по милому моему карапузу Леничке!

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Писатель Август Ефимович *Явич* приезжал в Чистополь с фронта.

[2] Василий Васильевич *Хмара* — писатель, заместитель секретаря парткома Союза писателей.

[3] Наталья Константиновна — жена П. А. Павленко.

[4] Вавилова во время отсутствия Пастернака передала свою квартиру, в одной из комнат которой жил Пастернак, новым жильцам, Сотниковым. Печку поставить не удалось.

[5] Я. Ф. Хохлов, директор литфондовского интерната в Чистополе.

[6] Поэт Сергей Александрович *Васильев*.

901. Л. О. ПАСТЕРНАКУ и Л. Л. СЛЕЙТЕР

24–25 ноября 1942, Москва

24 ноября 1942

Мои дорогие и обожаемые! Думаю, что настанет время, когда я расскажу вам обо всем, что мы перенесли во вторую половину нашей разлуки. Моя работа осталась невыполненной, потому что я ничего не мог сказать. Это самая тяжелая и постоянная моя боль. Но теперь мы можем благодарить Бога. Его милость неизмерима. Судя по вашей бесценной телеграмме, папа здоров и работает[1]. Какое благословение! Два года такой войны, а мы еще живы!! Вероятно, самая страшная ее часть уже позади. Сколько ночей я провел в траншее в лесу за своей дачей!! Как часто наблюдал я пожары и бомбежки во время ночных дежурств на крыше нашего городского дома!

25 ноября 1942. Мои драгоценные! Это продолжение вчерашней открытки. Подвожу итог. Однажды ночью год тому назад, когда я дежурил на крыше нашего 10-этажного дома в городе, в нескольких шагах от меня попала в дом фугасная бомба и разрушила несколько квартир, другая упала во двор с теми же последствиями. Задолго до этого Зина с детьми уехала далеко под Казань, где для эвакуированных детей писательской организации был специально предназначенный дом. Она там и сейчас. Я прожил с ними год. Теперь я уже три месяца в разлуке с Лёничкой, моим маленьким ангелом. Я собираюсь поехать на фронт и потом туда вернусь. Женек с Женей в Ташкенте. Он студент танкового факультета военной академии.

Бесконечно обнимаю вас. *Ваш Б.*

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф по-англ. (Pasternak Trust, Oxford).

[1] В ответ на телеграмму Пастернака в Оксфорд 8 нояб. 1942: «Ненадолго приехав в Москву перед возвращением под Казань обнимаю всех. Телеграфируйте здоровье отца. *Борис Пастернак*» — через день пришла другая: «Радуемся, благодарим. Все в порядке, папа работает, ждем ново-

стей о Шуре, детях и родственниках. Любим, целуем». В конце ноября Пастернак вновь телеграфирует в Оксфорд: «Телеграмма получена, величайшая радость по поводу папы. Обнимаю, надеюсь на будущую встречу, все в порядке, всегда пользуйтесь Шуриным адресом. *Борис Пастернак*» (перевод с англ. — там же. Кн. II. С. 226–227).

902. З. Н. ПАСТЕРНАК

29 ноября 1942, Москва

29. XI. 42

Зиночка, родная девочка, радость моя!

Как я по тебе соскучился! Что за мука жить вдали от семьи!

Я торчу здесь вот почему. Начинают наклевываться какие-то возможности с «Ромео и Джульеттой». Об этом рано еще говорить, но вещью заинтересовался Малый театр[1]. Филармония затевает эстрадный спектакль без костюмов и декораций и хочет заказать музыку Шостаковичу. Это что-то очень мудреное, и деньгами не пахнет: концерты нельзя повторять, как театральные спектакли. Итак, вот главное: мое сиденье здесь не лишено пользы. Именно только сейчас может начаться театральная реализация перевода.

Другая причина: начало каждого нового месяца знаменуется продовольственными выдачами. Когда месяц подходит к концу, уезжать до них неблагоразумно: копятся папиросы для тебя и шоколад для детей.

Я просил Фадеева устроить мне поездку на фронт. Он взялся за это очень горячо, но вот видишь, я по сей день в Москве. Теперь я обратился с тою же просьбой в редакцию военной газеты «Красная Звезда» и, наверное, на днях уеду в названном направлении числа до 20-го. Это мне во всех отношениях пригодится и укрепит мое положенье.

Я до сих пор не позаботился о постоянной прописке для себя и жил по временной. Надо этим заняться. Это понадобится в следующие приезды в Москву. После первого моего посещенья Лаврушинской квартиры ничтожные остатки нашего добра продолжали растаскивать. Особенно ужасна расправа с папиным архивом: даже картины со стен сняты почти до одной. Ими, по-видимому, затыкали где-то выбитые окна вместо картона и фанеры. Вообще это проклятая квартира. В ней начал болеть Адик. Все горести и ужасы встают в моей душе, когда я заворачиваю в этот страшный переулок. Если бы даже в нынешнем своем состояньи эти ком-

наты годились для жилья, все равно после всего пережитого и случившегося там за этот год я в ней жить не буду.

Жизнь надо будет построить на совершенно других основаньях. Надо будет зарабатывать много денег, гораздо, гораздо больше, чем мы привыкли с тобой. Я весной приеду с тобою в Москву. Мы остановимся где-нибудь в гостинице и начнем налаживать свое гнездо совсем по-новому. Все равно это придется. Ты мне поможешь.

Вообще же я живу старою своей мечтой. Бог даст, операция ускорит выздоровление Адика. Если будет возможно, то все мы впятером поедем в Англию, а если будет трудно, то только с Адиком и Леничкой. Я об этом написал уже сестрам. Я телеграфировал им отсюда и получил радостный ответ из Оксфорда. Папа (ему 80 лет) жив и работает[2].

Я запирал нашу квартиру — не помогает. Я заколотил ее теперь. Все это неизобразимо. Описать на расстоянии этого нельзя. Не суди меня.

Хмара подвел меня своим неожиданным отъездом. Он предполагал ехать в середине декабря. Я хотел ехать с ним. С тех пор как кончилось пароходное сообщенье, никто не берет никаких посылок. Это естественно. Лететь надо налегке.

Отчего ты ничего не телеграфируешь мне, отчего не пользуешься оказиями (ехали Поповский, Глебов и другие), чтобы послать письмо. Получила ли ты все посланные тебе деньги? 2 тысячи через Хесина + 3 тысячи почтовым переводом + 1 тысяча с Наташей Павленко + 10 тысяч через Хесина, итого 16 000. Немедленно по получении этого письма телеграфируй мне по Шурину или Асмусовскому адресу о здоровьи, о деньгах, о делах.

Береги комнату и живи в ней побольше. Я здесь не сделал ни одной строчки Антония, все это можно будет только в Чистополе, а пока что Шекспир самое остроумное изо всего, что бы я стал делать. Он и без театра как-то поддерживает нас. Что же будет, когда наконец он и пойдет. Береги мою комнату и жди меня. Для того я на свете, чтобы жить со своей семьей, а ты моя семья. Мне хочется, чтобы тебе, и детям, и мне, и моим воспоминаньям, и вещественным следам, которые оставил мой отец, было в будущем легче и лучше, чем было до сих пор.

Без конца целую моего тихого чудного Ленечку, столь же крепко обнимаю Стасика и тебя. Пиши и телеграфируй мне и не оставляй комнаты, чтобы не уплыла.

Еще раз без конца люблю и целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] О намерении Малого театра поставить «Ромео и Джульетту» писали в «Литературе и искусстве» (9 янв. 1943). Постановка не состоялась.

[2] См. об этом в коммент. к письму № 901.

903. З. Н. ПАСТЕРНАК

6–12 декабря 1942, Москва

6. XII. 42

Дорогая моя! Я в ужасе от своего безволия и отсутствия характера. Живут своей собственной жизнью, по-настоящему и как хотят только люди с твердой волей. Остальные служат для них зрелищем или материалом для развлеченья.

Три недели тому назад я выразил желанье побывать на фронте Фадееву и в редакции «Красной Звезды». Это приняли так горячо, что у меня явилось опасенье, дадут ли мне полчаса для необходимых сборов. Последние две недели я каждую ночь (в редакции работают ночами) звонил в «Красную Звезду» относительно поездки, и каждый раз мне отвечали, что меня снарядят на днях. В последние дни я решил, что довольно. Три недели, которые я на это положил, проходят. Я смертельно соскучился по вас. Мое место там, где ты с детьми. Когда я представляю себе будущую детскую елку этого года, и Ленино рожденье, и Новый год, у меня подступают слезы к глазам. Я уговорился с Лейтесом[1], который собирается в Чистополь через неделю, о совместной поездке. В этом смысле вчера, 7-го, я давал ответы лицам, делавшим мне разные предложенья на конец декабря. Потом я позвонил помощнику редактора «Красной звезды» и сказал ему, что освобождаю их от своей просьбы, потому что прошло много времени и мне теперь пора к своим. Он даже не дал мне договорить. На меня посыпалось: «Никаких отговорок. Мы для вас подыскивали подходящего человека. Чинили машину. Послезавтра мы вас направим на Брянский фронт». Мои возраженья звучали несостоятельно, потому что я не умею отказываться. Я дал переубедить себя и согласился ждать еще два дня, а ночью не спал от тоски, что, таким образом, опять не увижу вас на Рождество как привык думать в последнее время. Дело в том, что, если поездка (в Чистополь) снова отложится на последние числа месяца, ее придется по причинам прописки, командировочного удостоверенья и продовольственного пайка отсрочить до десятых чисел следующего месяца. Когда же это все кончится? Мне кажется, что судьба,

обстоятельства, мои друзья и доброжелатели под видом участия смеются надо мной. Как верно сказала Туся, в смысле путешествия, фронт — самое банальное направленье. Поездка к тебе и Лёне дала бы мне гораздо больше. Прошли твои именины и день рожденья без меня[2]. Теперь пройдут праздники и день Лениного рожденья! Вы каждую ночь мне снитесь. Мне пора по-настоящему садиться за работу. Все страшно затягивается; прописка, деловые взаимоотношенья, малейшие пустяки.

Еще сегодня утром, когда я начинал тебе это письмо, я собирался упрекнуть тебя в твоем абсолютном молчаньи. Я понимаю, что ложное и несколько раз обманывающее тебя ожиданье могло удерживать тебя от писанья писем: ты ждала, что я со дня на день должен приехать. Но сколько раз можно было успеть дать телеграмму. К вечеру она пришла. Ты телеграфируешь о получении десяти (тысяч), и остается в неясности, дошли ли три, которые я тебе перевел по почте. (Наташа-то одну посланную тебе с нею, наверное, передала.) Но я тебе обо всех этих деньгах писал, и если бы имелось несоответствие с моим сообщением в смысле их неполученья, ты меня бы, верно, известила.

Ты просишь привезти все Адины фотографии. Для этого надо попросить домоуправление снять печать с Адиковой же комнаты в 8-м этаже, где поселились зенитчики и куда составлены вещи этой половины квартиры. Я боюсь прикасаться ко всему, что связано с Лаврушинским, как к кровоточащей, еле зажившей ране. То, что случилось там с папиными работами, вечное мне осужденье, которого я никогда не забуду, и удар, след которого не изгладится. Кроме того, каждое проникновенье за дверь этого разоренного гнезда новый повод для дальнейшего его громленья под предлогом того, что в квартиру заходили, мы ничего не знаем. Но я попрошу распечатать комнату и поищу шкатулку с карточками, хотя, может быть, это будет стоить остающегося пока зеркального шкапа, кровати и того немногого, что еще там имеется.

Меня очень успокоила на днях Мил<ица> Серг<еевна>, показав мне Гарикино письмо после посещенья Адика, — я только не понимаю, как он не остался у него до операции. По его словам, он ждал худшего, состояние Адика, его вид и объясненье врачей очень его успокоили.

Я вновь и вновь прошу тебя беречь и обживать комнату. Я очень боюсь, что мои снова и снова отменяющиеся приезды окончательно подорвут веру в мое возвращенье и комнату займут. Поэтому она должна зависеть от твоей прописки и числиться за

тобой. А ты-то уж, конечно, знаешь, что мое возвращенье не выдумка и на пути к нему встают только те лицемерные препятствия их нынешней пошлости и неустройства, дань которым я должен был заплатить, уезжая от вас в Москву, и которую продолжаю уплачивать своим идиотским согласием на фронтовую поездку.

Лейтес едет еще не завтра. Я еще, наверное, припишу что-нибудь к этому письму. А пока кончаю. Спокойной ночи. Крепко обнимаю тебя, Леню и Стасика. Без конца, без конца вас целую. *Твой Боря*

12. XII. 42. Дорогая моя! Поддержишь ли ты меня или тоже найдешь, что надо было поступить по-другому? Позавчера звонят из «Красной Звезды», чтобы я приезжал за полушубком и валенками, и через два дня буду отправлен с военным по моему желанью. Ну что бы ты стала делать? Асмусы говорят, поезжайте на фронт, Чистополь никогда не уйдет, попадете еще. А мне так хочется вас уже видеть! И так надо за работу! Договор на «Антония» заключен уже 2 м-ца тому назад. Мне работы на него не меньше $^1/_2$ года, а сдавать в марте. Ну что мне делать? И все раздваивается во мне. Может, ты меня осудишь и не рада, но я выбрал вас и позвонил в «Кр<асную> Зв<езду>» с просьбой, чтобы они возобновили разговор со мной весною, а что сейчас я поеду к семье. Но я вас так люблю всех, тебя и детей, и не могу быть без вас! Итак, если Богу угодно, я очень скоро окажусь на улицах Чистополя — радость, в которую я еще не могу достаточно поверить[3].

Ты свинья и ничего этого, наверное, не чувствуешь, и тебе все равно, но я так долго откладывал свиданье с вами, что для меня уже это невыносимо. Обнимаю тебя и детей без конца. *Твой Боря*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Писатель Александр Михайлович *Лейтес*.

[2] День рождения и именины З. Н. Пастернак — 23 и 24 октября.

[3] Пастернак выехал в Чистополь 26 декабря 1942 г.

904. Е. В. ПАСТЕРНАК

12–14 декабря 1942, Москва

12. XII. 42

Дорогая Женичка!

Я все время собирался тебе написать. Вчера Валентин Фердин<андович> отвез Ир<ину> Серг<еевну> в Болшевский дом

отдыха на 2 недели и сам пробудет там 2 дня. Мы остались одни с Машенькой[1]. Сегодня утром она мне подала твою телеграмму. Я страшно тронут твоими заботами о моих делах и крепко тебя за это целую. Мне кажется, я смогу отправить тебе экземпляр по почте, если же не удастся, то они смогут достать текст через Отдел Распространенья Комитета по делам Искусств, где его кажется должны размножить на стеклографе[2].

Все делается страшно медленно: этот перевод был сделан и отослан в Москву в марте месяце, и до сих пор тянутся дела и разговоры по его поводу. Пока практически он мне ничего, кроме части гонорара за предполагаемое изданье в Гослитиздате, не дал.

Ты видишь, я все еще тут. За твою квартиру я заплатил до конца года. Тебе придется возобновить платеж с января 1943-го. Хотя все существенное у тебя разворовали, твои окна и стены целы, вместе с мебелью и частью вещей и книг. Твоя квартира не стала продолженьем или частью двора, как у нас, на дверях висит замок, на квартиру наложена броня, за ней будет следить Нюня[3].

Но я не знаю, писал ли я тебе и писал ли достаточно об ударе, постигшем меня в лице папиных вещей. Сундук сгорел в Переделкине. Его перетащили с нашей дачи на Ивановскую, где он и сгорел. Судьбу квартиры в Лаврушинском и ее содержимого, решило несколько обстоятельств: то что она под самой крышей, и, при бездействующем лифте слишком высоко; что во время воздушных тревог она становилась как бы штабом охраны; что она год оставалась без надзора; что в ее нижней части поселились зенитчики. Часть мебели в 8-м этаже заперли в комнатке Адика и опечатали. Верх был отперт настежь, когда я туда пришел в первый раз в октябре. Вперемежку с битым стеклом и грязью, на полу валялись затоптанные обрывки папиных рисунков. Кому-то очевидно понадобился твой старый сундучок, в котором сохранялись его записные книжки, и их переложили в другую, до половины набитую ими корзину. Большую часть их я спас и отнес вниз к Евг<ению> Льв<овичу> Ланну. Половина картин еще висела на стенах. Я запер квартиру на два поворота ключа и уже сам не мог отпереть ее в следующую минуту. Это мне показалось гарантией того, что в нее не будут больше лазить. Но когда неделю тому назад я пошел туда, чтобы запереть ее перед отъездом, уже из картин там оставалось только три, а папка с картонами стояла пустая. По некоторым признакам я установил, что работами в паспарту и без них, поворачивая их лицевой стороной на улицу, заделывали пробоины в доме и рядом, за отсутствием стекла и недостатком фане-

ры. Подумай, какой ужас, и измерь степень моего потрясенья. Ты представляешь себе, как мне ненавистен Лаврушинский, и как меня воротит, когда туда надо за чем-нибудь ходить. Зина мне телеграфирует, чтобы я привез фотографии Адика, которому на днях отнимают ногу, и я колеблюсь, распечатывать ли комнату в 8-м этаже, так мне страшно, что всякое прикосновенье к этому гнезду есть толчок к дальнейшему его уничтоженью.

Когда месяц тому назад я собрался назад в Чистополь, Ирина Сергеевна сказала, что по ее мненью мне перед возвращеньем следовало бы съездить на фронт, и я с ней согласился. Я сказал Фадееву, а потом в редакцию «Красной Звезды», что если мне это могут сделать быстро и удобно, так чтобы мне в декабре попасть в Чистополь, я поеду. Это тянулось около месяца. Позавчера, 10-го, мне позвонили из редакции, чтобы я приехал за полушубком и валенками. Хотя Асмусы находили, что до весны не стоит откладывать, и все еще лучше воспользоваться подвернувшеюся возможностью посмотреть войну, я слишком соскучился по семье и работе, и сказал, что прошу сохранить доверие ко мне до весны и нового моего появленья в Москве. Я наверное соберусь в Чистополь на будущей неделе. Они там живут в потемках и впроголодь (расспроси Зин<аиду> Влад<имировну>[4], а против прошлой зимы нынешняя еще хуже). При ужасе этого существованья — детская елка это луч света для этих маленьких бедняг. На новый год Ленино рожденье. Наконец — все это время я тут ничего ценного не произвожу. Время идет, а из Антония я не перевел еще ни строчки. Поверишь ли, ни Переделкино, ни Лаврушинский не кажутся мне домами, и этой прелестью «своего» угла обладает Чистополь, эта страшная дыра, всех напугавшая. Вот что значит перезимовать производительно и с нравственным удовлетвореньем. Я уверен, что теми же свойствами будет обладать Ташкент для вас. Чем-нибудь вы ему да будете наверное благодарны. Такие же черты живого наполненья содержит твоя сегодняшняя телеграмма: ты, театр Рев<олюции>, Ромео, Ташкент. Еще раз крепко целую тебя за нее. Отчего Женя не снимется и не пошлет карточки Лене? Это была бы для него такая радость! А Женёчка все хвалят и вообще и в отношении внешности в военном. Как бы я его хотел видеть! С трудом и большими затратами тебе удастся восстановить московское жилье, но что буду делать я, уму непостижимо! Жизнь придется начинать с самого начала, и откуда я возьму для этого сил и средств!

14. XII. Сегодня узнал, что экземпляр, который я хотел послать тебе по почте, увез Охлопков в Омск[5]. Если мне успеют

переписать за неделю новый, я вышлю его тебе. Мне очень хочется, чтобы это шло через тебя. Между прочим, первые сцены я кажется переводил в те дни, когда Женя гостил у меня на даче в конце зимы.

Если смогу, я переведу тебе 1 тыс. перед отъездом из Москвы, если нет, сделаю это в первых числах января.

Крепко тебя и Женичку целую. Мне много рассказывают о вас и всегда очень хвалят. Тороплюсь. Сегодня у меня в Клубе Пис<ателей> вечер[6], а завтра утром чтенье «Р<омео> и Дж<ульетты>» в Мал<ом> Театре. Письмо передам Тамаре Влад<имировне> на вечере. Пишите в Чистополь. Как-нибудь, Бог даст, переживем это трудное время, а там что Бог даст. Главное работа.

Ваш Боря и папа

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Мария Валентиновна Асмус, дочь Ирины Сергеевны от первого брака.

[2] Е. В. Пастернак просила экземпляр «Ромео и Джульетты» для М. И. Бабановой, которая хотела играть роль Джульетты. Ввиду постоянной нехватки экземпляров Пастернак писал Чагину 18 дек. 1942: «На прощание (послезавтра уезжаю, наконец, в Чистополь) повторяю свою просьбу о скорейшем выпуске Ромео. Основанье просьбы: пьесу все время размножают на машинках, множатся ошибки, я без конца правлю эти чужие грехи и конец этому может положить только появленье выверенного изданья. Окончательный текст готов и у Вас в отделе иностранной литературы. Всего лучшего, счастливо оставаться. Жму Вашу руку. *Б. Пастернак*» (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

[3] Старшая сестра Е. В. Пастернак Анна Владимировна Минц.

[4] Художница Зинаида Владимировна Каширина летом 1942 г. перебралась из Чистополя в Ташкент к сестре Т. В. Ивановой.

[5] Актер и главный режиссер Театра Революции Николай *Охлопков* увез последний экземпляр «Ромео и Джульетты» из Комитета по делам искусств.

[6] На своем вечере в Доме писателей Пастернак читал стихи из книги «На ранних поездах». «Обсуждение, — записал А. К. Гладков, — вылилось в поток приветствий и благодарности» (Встречи с Пастернаком. М., «Арт-Флекс», 2002. С. 141).

1943–1944

905. М. Б. ХРАПЧЕНКО

3 января 1943, Чистополь

3. I. 43

Дорогой Михаил Борисович!

С Новым Годом! Сердечно благодарю Вас за телеграмму на Казанский аэродром. Вы мне очень облегчили и сократили дорогу[1].

В конце января в Чистополь едет Хесин. Если в какомнибудь из Ваших отделов надо мне что-нибудь сообщить, надо воспользоваться этой оказией[2].

Мне здесь очень хорошо. С увлеченьем принялся, наконец, за «Антония» для Владимира Ивановича[3]. Но это не единственное, что я мечтаю тут сделать. Еще раз сердечное спасибо. *Ваш Б. Пастернак*

Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Володарского 75, кв. Сотникова.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] По-видимому, телеграмма Храпченко помогла Пастернаку из Казани долететь до Чистополя на маленьком самолете «У-2». «Летишь, как на конце телеграфного столба», — вспоминала Н. К. Федина его впечатление (Чистопольские страницы. Казань, 1987. С. 222).

[2] О поездке Г. Б. Хесина, директора управления по охране авторских прав, Пастернак предупреждал также П. И. Чагина: «Во второй половине января в Чистополь собирался Хесин на короткую побывку. Если он согласится, пусть воспользуются им как возможностью для передачи бумаг, гранок и всего, что у Вас случится для меня в Иностранном или других отделах. Может быть, обрадуете меня двумя-тремя строчками? Выправленные рукописи и исполненные пожеланья могли бы с тою же оказией вернуться обратно. Но это не единственный способ общенья, так что если этот случай отпадет, или Вы его упустите, телеграф действует и почта, хотя и через месяц, доходит» (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

[3] Пастернак заключил договор с Художественным театром на перевод трагедии «Антоний и Клеопатра», которую хотел ставить В. И. Немирович-Данченко.

906. А. Е. КРУЧЕНЫХ

5 января 1943, Чистополь

5. I. 43. С Новым годом, дорогой Алеша! Прости за жировое пятно на открытке, след здешнего касторового освещенья. Еще и еще раз горячо благодарю тебя за твое вниманье и заботы. Я доехал очень хорошо, и, конечно, не ошибался, когда так рвался обратно сюда. Место привлекает тишиной, а главное, нормальностью условий: здесь можно работать как угодно прилежно и знать, что чем больше ты выработаешь, тем тебе будет теплее и привольнее. Не везде эта пропорция так очевидна[1]. Принялся вовсю за Антония.

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] Об этом Пастернак писал Чагину 3 янв. 1942: «Я как улетел из Казани, так совершенно отказался от циркуляции сведений, слухов и встреч, которыми жива Москва. Но именно в этой глуши и неизвестности тепло и сытно и можно с головой закопаться в работу, что я уже и делаю» (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62).

907. А. Е. КРУЧЕНЫХ

6 января 1943, Чистополь

6. I. 43. Дорогой Алеша! Эту открытку опустят в Москве. Отсюда едут несколько человек, Брайнина, Тренев, Федин и другие. Если кто-нибудь из них согласится взять, в клуб на твое имя передадут 2–3 экземпляра детского Гамлета[1]. У меня к тебе просьба. Купи мне, пожалуйста, русско-английский и англо-русский словарь Боянуса (издание Советской Энциклопедии)[2]. Их сюда посылать не надо, но хорошо было бы, если бы они были у тебя на руках к моему весеннему приезду. Кланяйся Николаю Николаевичу (Ас<ееву>). Еще одна просьба. Напиши мне, что кругом слышно хорошего, по адресу брата: Москва, Гоголевский бульв. 8 кв. 52 Александру Л. Пастернаку, для меня, и письмо дойдет ко мне скорее, чем по почте. *Твой Б. П.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] Вильям Шекспир. Гамлет, принц Датский. Перевод Бориса Пастернака. М.–Л., Детгиз, 1942. Предисловие и комментарии проф. М. М. Морозова. Рисунки Н. Кузьмина.

[2] Речь идет о знаменитых словарях, составленных проф. английской филологии и шекспироведом С. К. Боянусом.

908. Н. Н. АСЕЕВУ

19 января 1943, Чистополь

19. I. 43

Дорогой Колечка!

С любовью и увлечением берусь за перо, чтобы писать тебе. Ты сам так легко ведь представишь обстановку: зима, мороз, избушка водоразборной колонки, звезды, угол вашей улицы, все в точности, все как прошлый год. Да, знаешь, это поймешь ты и Ксаночка, я чуть не упал с открытого самолета, когда под него поплыл Чистополь, так забилось у меня сердце... Я очень люблю его.

Чистополь тот же, как мы его оставили, но год, конечно, не тот, а с ним и мы. Тот был катастрофический и при своем страшном лице особый и выпуклый как сказка. Своей выразительностью он низводил людей до стопки лучинок, а этот опять выпрямляет их, обещает любовь и счастье и восстанавливает в правах их уменья и интересы[1]. Работы по горло. «Антония» я гоню вдвое скорее, чем «Ромео»... Из МХАТа торопят телеграммами, оказалось, что это не только Зине перед мясным прилавком надо, а и Немировичу.

...Надеюсь между переводом написать две главы для продолжения «Охранной грамоты» и несколько стихотворений «ни для кого», которые, наверное, пошлю тебе[2].

...Какие-то исторические обстоятельства складывают мою дружбу с тобой так, как я мечтал о ней когда-то далеко, когда по молодости я и ты должны были поддерживать ее силами своего хотенья, а это всегда утомляет. Один иступляется больше, а другой меньше, и всегда я подозревал себя, что недостаточно отвечаю тебе, а теперь нас помимо сердца, сближают окружающие факты, и главное, лучшие, интереснейшие из них.

Впервые. — Рукописная копия А. Е. Крученых с его купюрами (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 375). Местонахождение автографа неизвестно.

[1] Конец года ознаменовался победой под Сталинградом и уничтожением армии генерала Паулюса.

[2] О дополнительных главах «Охранной грамоты» Пастернак писал в очерке «Люди и положения». Это главы о Грузии, посвященные памяти погибших Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. Замысел стихов «ни для кого» касался в первую очередь памяти Марины Цветаевой и относился еще к началу 1942 г., когда Пастернак говорил А. К. Гладкову: «Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал... Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы» (Воспоминания. С. 338).

909. А. Е. КРУЧЕНЫХ

28 января 1943, Чистополь

Дорогой Алеша!

Только что получил твою открытку от 11-го, она шла только две недели, по здешним обыкновеньям пример поразительной быстроты. Узнал ли что-нибудь Казанский о моей ленинградской двоюродной сестре?[1] Я писал и телеграфировал туда, но пока оттуда ни слуху ни духу. Около месяца тут с десятком моих писем, среди которых одно к тебе, лежат три Гамлета для тебя у Брайниной, которая все собирается в Москву и наконец как-нибудь соберется. Словарь мне нужен русско-английский и не какой-нибудь, а определенный, из серии словарей Боянуса, Мюллера и прочих и ни в коем случае *не сюда*. Здесь у меня для работы есть свой старый. (Продолженье в следующей открытке.)

Продолжаю. Ты по этому делу обратись к товарищу за книжною стойкой Союза[2]. Я у него уже эти словари (оба: русско-английский и англо-русский) заказывал, но потом, за отъездом, отменил заказ. Так вот, ты скажи ему, что заказ возобновляется и чтобы он их либо сам приберег для меня, или передал тебе для той же цели. Сюда мне потребуется другая книга, и я об этом тебе пишу в закрытом письме, задержавшемся у Брайниной (я в конце концов его завтра отправлю по почте[3]). Вот эту вещь (Гербелевского Шекспира, том с «Ант<онием> и Кл<еопатрой>» перевод Корженевского... кажется) достань и пришли мне сюда заказной бандеролью обязательно и безотлагательно[4]. Я перевел вчерне уже около половины. Работаю день и ночь.

Крепко целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184). Датируется по почтовому штемпелю на открытках.

[1] Пастернаку не удалось из Москвы связаться с Ленинградом, письма и телеграммы оставались без ответа. Он обратился с просьбой к ленин-

градскому историку литературы Борису Васильевичу Казанскому узнать что-нибудь о местонахождении О. М. Фрейденберг.

[2] Букинист в Клубе писателей.

[3] В написанной в тот же день открытке Пастернак тоже говорит о задержавшемся письме: «Тут долго залеживалось одно мое письмо к тебе. Содержащаяся в нем просьба не устарела, и потому я опускаю его в почтовый ящик. Я бешено тут тружусь и половину (42 печатные страницы мелкого английского шрифта) вчерне уже перевел, но это ничего не значит, так как главная часть работы у меня всегда переписка набело, когда появляется новая редакция, далекая от первой. Целую. *Твой Б. П.*» (РГАЛИ). Вероятно, имеется в виду письмо 6 янв. 1943: «Я думал, что отыщу в Чистополе обыкновенного трехтомного Гербелевского Шекспира, но как видно его тут нет. Мне нужен тот (третий, — кажется) том, где помещен перевод «Антония и Клеопатры», *Корженевского*. Добудь его заимообразно и пришли мне заказной бандеролью, я таким же путем его тебе верну. Мне это нужно для сравнений, чтобы не повторять, по неведенью, других. Покупать этой дряни ни в коем случае не следует. Достань как-нибудь по-другому» («Встречи с прошлым». Вып. 7. С. 522). Речь идет о «Полном собрании сочинений» Шекспира, изд. Н. Гербеля, СПб., 1887–1888 гг.

[4] Одновременно Пастернак шлет Крученых телеграмму противоположного содержания: «Гербеля нашел в Чистополе. Посылать сюда не надо. Целую. Поклон Коле. *Борис*» (28 янв. 1943; РГАЛИ).

910. В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

29 января 1943, Чистополь

29/I. 43

Дорогой Владимир Иванович!

В середине месяца Виталий Яковлевич сообщил мне телеграммою Вашу просьбу поторопиться с «Антонием». Вот в каком положении работа. За трехмесячное пребывание в Москве, где квартира у меня и все ее замены разорены, я не написал ни строчки. К переводу я приступил только по приезде сюда с начала января.

Вчерне половина уже сделана — я пишу дни и ночи. Спешу я из собственных побуждений, без видимого внешнего повода, и очень отрадно, что эта беспричинная гонка может найти оправдание в Ваших пожеланиях.

Гамлета я тоже заканчивал в таком же торопливом напряжении, а потом вещь залеживалась без надобности задолго до войны и несчастья с Васильем Григорьевичем[1]. Наверное, я на «Гамлете» потерял денежно и нравственно, но мое безмерное преклонение перед Вами и театром мешает мне довести эту мысль даже до

собственного сознания[2]. Печально, что своевременно, три года назад, когда я был захвачен только что сделанной работой, я не мог найти случая почитать перевод труппе, и также огорчает, что я сейчас уехал, не посвященный в Вашу концепцию «Антония».

Тем удивительнее моя деловая просьба. Если Вы хотите облегчить мне работу и готовы сократить мои заботы, поручите, пожалуйста, театру в форме аванса или под каким бы то ни было другим предлогом перевести мне в феврале тысяч до пяти. Январь мне обеспечен таким же способом Малым по его собственному почину[3]. Технику этого дела я сообщаю В. Я. Виленкину[4] (переписку и деньги лучше всего направлять через упр<авление> по охране авторских прав. Хесин для этого пользуется едущими сюда из Москвы и своим собственным аппаратом).

Как всегда в переписке со своим отцом, искреннейше прошу Вас не тратить ни минуты даже и на мысль об ответе мне — но Вы бы меня осчастливили, если бы попросили кого-нибудь из театра написать мне. Ольга Сергеевна знает, как я рад был бы ее строкам[5]. Сердечный привет, лучший из представляемых, Василию Григорьевичу, если бы он уже вернулся.

Любящий Вас и преданный Б. Пастернак

Впервые: «Театр», 1976, № 1 (с купюрами). — Автограф (Музей МХАТ).

[1] Режиссер В. Г. Сахновский, репетировавший «Гамлета» в 1940 г., был арестован 4 нояб. 1941 г.

[2] Зав. литерат. частью В. Я. Виленкин писал Пастернаку 24 февр. 1943: «Представьте себе "Гамлет" репетируется, ежедневно, причем раза 2–3 в неделю на квартире у Немировича. К общему удивлению он принял Ливанова, во всяком случае поверил в возможность воплощения через Ливанова своих мыслей о Гамлете. Вообще "Гамлет" для него сейчас — главное <...> Дмитриев готовит макет <...> Сахновский работает с актерами» (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 48).

[3] Малый театр подписал с Пастернаком договор на постановку «Ромео и Джульетты».

[4] Из письма В. Виленкина 24 февр. 1943: «Рад Вам сообщить, что обращение МХАТ'а в Комитет Искусств увенчалось успехом: Вам будут высланы по телеграфу 5. 000 рублей, в счет будущих расчетов по договору. Это был единственный путь к получению денег: театр не имел формального права их дать, а Комитет имел». Через неделю Виленкин уточнял: «Комитет выслал Вам не 5 тысяч, а только 2. <...> это предельная сумма в возможных расчетах между Комитетом и Вами на сегодня. Театру послать деньги Комитет не разрешает <...> причина формальная: договор у Вас с Комитетом, а не с театром» (3 марта 1943; там же).

[5] О. С. Бокшанская.

911. Е. В. ПАСТЕРНАК

30 января 1943, Чистополь

30. I. 43. Дорогая Женюра!

В Московской сутолоке совершенно невозможно было работать. Зато тут я с первого дня (я уже тут месяц) как сумасшедший принялся за новый заказ. Ты этого не поймешь, потому что это надо оценить технически, но за месяц я вчерне перевел уже половину Антония: чтобы его только *переписать* по-английски, задача совершенно механическая и легкая, надо сидеть дни и ночи.

Я имел неосторожность обнадежить тебя из Москвы, что в течение января и февраля тебе переведут тысячи три через Упр<авление> по Охр<ане> Авт<орских> прав. Я думал, что в мое отсутствие директор Управленья добьется для меня из источников, которые ему указал, обещанных денег. Но он этого не сделал, чем и нас поставил тут в затруднительное положенье.

Если оно поправится, я переведу тебе отсюда тысячу в начале февраля и еще одну в конце или в начале марта. У меня сейчас денег нет, я не знаю, как все это сложится, и даже при наилучшем исходе, тебе придется на то время, что я не в Москве и прикован работою к Чистополю, почувствовать в деньгах перебой и задержку, потому что почтовые и денежные сношения отсюда, по медленности, конечно, не то, что из Москвы.

Это меня пугает, и вот что я придумал. Если из интереса Театра Революции к «Ромео» что-нибудь практически вышло, и они его поставят, — нельзя ли тебе воспользоваться этою статьею доходов, как пользовался бы ею я. Например, — я не знаю их ташкентских видов и сборов, — ты могла бы взять аванс под будущие поспектакльные или попросить, чтобы они ссудили тебя как-нибудь по-другому.

Для этого пересылаю тебе письмо, написанное в этом смысле Максиму Максимовичу Штрауху[1]. Твое дело воспользоваться ли им или нет, в зависимости от их отношения, и того, вышло ли с ними что-нибудь из Ромео или нет.

Мне все кажется, что на днях будет письмо от тебя. Свое же я тороплюсь дописать поскорее: тебе его пошлют из Москвы едущие отсюда сегодня или завтра.

Зина недовольна видом и состояньем детей, но я с ней не согласен. Здоровье Лени и Стасика, по-моему, удовлетворительно, так же как и мое. Но она худеет чудовищно и загадочная беспричиность этой продолжающейся перемены просто пугает. Адику отняли две трети голени и ему сразу стало лучше.

Когда же я вас, наконец, увижу, а Женёчка хотя бы только на карточке? Если бы моя спешка не была вызвана необходимостью и я не был так поглощен работой, я бы наверное послал много писем Анне Андреевне и обязательно написал бы Чуковским.

Как Ивановы? Выздоровел ли Миша и приехал ли Всеволод Вячеслав<ович>? Когда я себя спрашиваю о людях, ближайших в моей жизни помимо непосредственной Асмусовско-Нейгаузовской запряжки, они конечно приходят в голову первыми. Они застали меня в состоянии бездомности, вызванном разрушеньем нашей квартиры и глубокого возмущенья судьбою папиных работ. Мне было обидно и меня стесняло мое невольное отъединенье от товарищей, а Там<ара> Влад<имировна> думала, что я горжусь своими неудачами и возвожу их в заслугу.

В марте или апреле надеюсь повезти готового Антония в Москву, где и вернусь к декабрьским предположеньям, прерванным этою работой.

Крепко тебя и Женю обнимаю и целую. Скоро от меня писем не жди, я опять надолго окунусь в те же занятья.

Ваш папа и Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Художественный руководитель Театра Революции М. М. Штраух к этому времени ушел со своего поста, театр собирался переезжать, и спектакль по «Ромео и Джульетте» не был поставлен.

912. П. И. ЧАГИНУ

Начало февраля 1943, Чистополь

Дорогой Петр Иванович!

Я тут совершенно издержался и сижу без копейки, а в Москву собираюсь с Б<ожьей> п<омощью> не раньше апреля. Очень Вас прошу, выплатите мне, пожалуйста, тысячи три чистых (с погашением налога) из предвидящихся выходных по Ромео, или может быть из договора по Антонию, за которого я аванса не получал. Он вчерне готов, а месяца через полтора надеюсь привезти его отделанным.

В Вашем добром желании я уверен, но я попрошу Вас еще помнить о моей просьбе и напоминать о ней в аппарате, так чтобы облегчить это дело Полине Николаевне[1], которой я низко кланяюсь. Переведите мне, пожалуйста, деньги через Охрану авторс-

ких прав (телефон В-1-35-87) или пошлите телеграфным переводом на имя жены: Чистополь Детдом Литфонда Зинаиде Николаевне Пастернак.

Верьте, что без крайней надобности я бы Вас в этом направлении не беспокоил. Поздравляю Вас с нашими победами. Привет Вашей супруге. Попросите до посылки денег известить меня телеграммой, что «просьбу исполним», что ли.

Ваш Б. Пастернак

Татарская АССР. г. Чистополь, ул. Володарского, 75.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 2, ед. хр. 354). Датируется по содержанию. Вслед за письмом была послана телеграмма: «Срочно переведите деньги через УАПП = *Пастернак*» (13 фев. 1943). За ней — еще две того же содержания; вторая: «Чагину Антоновой = Нахожусь затруднении вышлите денег через Хесина. Предполагаю в Москву в апреле. Сердечный привет = *Пастернак*». На обороте телеграммы резолюция Чагина: «Прошу дать справку. 24.II. *П. Чагин*» и ответ бухгалтерии: «В бухгалтерии для Б. Л. Пастернака ничего нет». Просьба была повторена в письме: «1. III. 43. Дорогой Петр Иванович! Так как прошлое письмо могло пропасть, пользуюсь новой оказией и повторяю его содержанье. Устройте мне, пожалуйста, тысяч пять (в том письме я просил три, но тем временем влез в долги) досрочно из следуемых по "Ромео и Дж." или какие-нибудь другие, и переведите их, пожалуйста, через Хесина. Вас по телефону по моему порученью попросит о том же Крученых. Для отделки Антония, вчерне готового, мне понадобится еще месяц, и было бы жалко бросать работу и ехать в Москву улаживать дела, до Вашей помощи весьма плачевные. Поздравляю Вас с нашими победами. Привет Вашей супруге. *Ваш Б. Пастернак*» (там же).

[1] П. Н. Антонова — бухгалтер Гослитиздата.

913. А. Е. КРУЧЕНЫХ

15 февраля 1943, Чистополь

15. II. 43

Дорогой Алеша, пишу тебе страшно второпях и буду вынужденно краток. Спасибо тебе большое за вторую тетрадь. В ней мне больше всего понравились страницы 1-ая, 11 и 12-я, отчасти 4-я. Я не знаю, не истолковала бы Анна Андреевна ложно некоторую общую твою необычность[1]. Как бы она не показалась ей, в особенности при огорчительности ее жизни, легкостью или неуваженьем к ней, которых у тебя конечно нет и в помине.

Из прилагаемой доверенности ты увидишь, что просьба твоя исполнена в более чем десятикратном размере. Три экземпляра

возьми себе, а остальные сохрани до моего приезда. Виноват: два-три экземпляра пришли мне посмотреть[2].

Я тут совершенно обезденежел и сижу без копейки, по вине некоторых учреждений, вроде Малого театра и других, которые, хотя и не должны мне еще ничего, обещали кредитовать меня при отъезде из Москвы и надули.

У меня к тебе просьба. Надеюсь через месяц довести отделку Антония, вчерне уже готового (этим я могу похвалиться: 90 страниц мелкого английского печатного текста в 40 дней!) до конца. Тогда мне его будут переписывать, и при этом третьи экземпляры всегда пропащие, до того они бледны. Достань и пришли мне свежей копирки, сколько сможешь и как можно больше. Об оказиях сюда (для посылок) справляйся в Клубе и *Литфонде*.

Поблагодари от души Кирсанова за хорошее отношенье и кланяйся ему. Сюда я приехал совершенным именинником и юбиляром, и при деньгах, а за месяц все изменилось. Виновата работа, которой я отдал все время и силы: последнюю неделю я садился работать с 6-ти часов утра.

Меня в восторг привело Асеевское «В последний час»[3]. Какое движенье и сколько огня! Вот это я понимаю! Скажи ему, что я его крепко обнимаю и всегда думаю о нем. У меня давно начато к нему большое письмо, и не случайно, и хорошо, что я его не кончаю. Оно из разряда тех ложных попыток, когда письмом, разговором или замыслом романа думают заменить целую жизнь, то есть оно живо только в первых страницах, а далее представляет бездну нежности и глубокомыслия, засасывающую в бесконечность.

Меня очень порадовало твое описанье Эренбурговского вечера. Сегодня я получил из Ташкента письмо от старшего сына Жени, он тоже много пишет об Илье Григорьевиче и очень любит его[4].

Копирки!

Прости за торопливость. *Твой Б. П.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] В открытке 6 янв. 1942 Пастернак благодарил Крученых за «прелестное подношенье», — присланный с Хохловым рукописный сб. «Борису Пастернаку»; 28 янв. Пастернак писал о добавлениях к нему: «Дорогой Алеша! Мне очень понравились твои добавленья в письме по адресу Хохлова, особенно первое: четыре будущих “бижу”. По-моему большую часть их я знаю» (там же. С. 522–523). *«Бижу»* — ювелирные украшения, здесь:

стихи. Указанные в письме страницы соответствуют следующим стих. сборника: «Почти из Козьмы Пруткова», «Борис, ты помнишь, — мы гадали об именах и судьбах...», «Раисе Беляевой» и «Анне Ахматовой».

[2] Доверенность на получение авт. экз. книги «На ранних поездах», которая должна была скоро выйти.

[3] Стих. Н. Асеева «В последний час» («Сквозь сумрак зимней ночи мчась...») было опубликовано в «Правде» 31 янв. 1943.

[4] См. коммент. к письму № 917. Вечер И. Г. Эренбурга состоялся в клубе писателей 11 янв. 1943 г., Крученых участвовал в обсуждении. По словам Эренбурга, он с начала войны написал не менее тысячи статей для «Красной звезды», «Правды», армейской и заграничной печати и около 30 стихотворений («Литература и искусство», 16 янв. 1943).

914. В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

12 марта 1943, Чистополь

12. III. 43

Дорогой Владимир Иванович!

Не знаю, как выразить огромную благодарность за Ваши замечательные мысли[1]. Они мне очень близки и с такою свободой вырастают из существа трагедии, что не могу теперь отделаться от ощущения, будто бессознательно для себя принимаю их все время к руководству за работой.

Наверное, я повторю Ваши собственные представления, заключающиеся в изумительно сжатом наброске и которые можно развивать до конца, если добавлю, что вслед за источниками, Шекспиром, «Египетскими ночами», статьей Зелинского[2] и прочим представляю себе египетский угар Антония разгулом вдохновенно убежденным, то есть некоторым александрийским ницшеанством или жизнестроеньем с сознательным вызовом, брошенным в глаза Рима и здравого смысла.

Рад буду, если приготовлю текст, отвечающий Вашей захватывающей концепции, и льщу себя этой смелою надеждой.

Еще раз бесконечное Вам спасибо. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: «Театр», 1976, № 1. — Автограф (Музей МХАТ).

[1] В ответе на письмо Пастернака Немирович-Данченко излагал основные черты своей трактовки «Антония и Клеопатры», в чьих образах он видел олицетворение Рима и Египта, как столкновение мужества и женственности, «долга и страсти», «суровости и изнеженности» (там же. С. 80).

[2] Имеется в виду предисловие Ф. Ф. Зелинского к переводу Н. Минского и О. Чюминой «Антония и Клеопатры» в томе Полн. собр. соч. Шекспира в изд. Брокгауза — Ефрона, СПб., 1904.

915. А. Е. КРУЧЕНЫХ

27 марта 1943, Чистополь

27. III. 43. Дорогой Алеша! Горячо тебя благодарю за твою Хохловскую почту[1], за копирки, за твои заботы и письма. Ты трогателен в своем оптимизме, я же по некоторым признакам, из которых главный — твои слова, что в издательстве ждут со дня на день *разрешенья*, не верю в появленье этой невинной и ничтожной тетрадки[2]. Куда ж тогда еще с чем-нибудь большим и современным, когда и пикнуть невозможно. В издательстве (Советский Писатель) я почти все за нее забрал, едва ли там очистятся еще какие-нибудь гроши. Но по-видимому полоса моего кризиса смягчилась. Вчера получено распоряженье Хесина о выплате первого аванса, вероятно от Малого театра. Храпченко обещал еще от Художественного[3]. Я наделал чудовищных долгов. Даже неимущим чистопольским уроженцам. Все это отразилось на семье, на Женях в Ташкенте. По-видимому зимой усилилась наша надутость в сторону англо-саксонского мира, это отозвалось на Шекспире, а вслед за ним на мне, и мои акции в сферах и в обществе рухнули. Ах, как трудно, Алеша. Шестой час утра, я тут так встаю. Будь здоров, пиши. *Твой Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] Крученых для быстроты пользовался почтовыми оказиями Литфонда.

[2] Речь идет о задержке издания книги «На ранних поездах» в «Советском писателе». Беспокойство по этому поводу выражено также в телеграмме: «Деньги постепенно прибывают. Спасибо тебе, Николаю. Тревожит разрешение книги. Телеграфируй положение = *Борис*» (31 марта 1943; там же).

[3] Пастернак телеграфировал Храпченко: «Сердечно благодарю внимание и помощь = *Пастернак*» (30 марта 1943; РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

916. П. И. ЧАГИНУ

23 апреля 1943, Чистополь

23. IV. 43

Дорогой Петр Иванович!

Я Вам писал неоднократно[1], но Вы меня не балуете вниманьем. Это против самолюбья, что я пишу Вам, но что поделаешь.

Ведь рано или поздно «Ромео» появится. «Антоний» готов, и я его скоро привезу. Как бы ни были жестки правила бережливости, неужто я еще не дослужился до такого кредита.

Уделите мне, пожалуйста, те три тысячи, о которых я Вас прошу так давно. Мне надо выехать отсюда, не подведите!

Это просьба чрезвычайной настоятельности и срочности. Сделайте, пожалуйста, это, не откладывая. То же самое я пишу Гольдиной и Антоновой[2], они Вам скажут, как технически это сделать[3].

Жму руку. Привет Вашей супруге. До скорого свиданья.

Ваш Б. Пастернак

Татарская АССР. г. Чистополь, ул. Володарского 75.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2550, оп. 2, ед. хр. 354).

[1] См. письмо № 912 и коммент. к нему.

[2] З. М. *Гольдина* — редактор, П. Н. *Антонова* — бухгалтер в Гослитиздате.

[3] Пастернак получил известие о денежной выплате только через месяц и отвечал Чагину: «Благодарю за телеграмму. Сумму надо удвоить, а не задерживать. Нуждаюсь. Немедленно переведите через Хесина. Телеграфируйте = *Пастернак*» (20 мая 1943). На обороте резолюция Чагина: «Прошу дать мне справку, сколько причитается Б. Л. Пастернаку» (там же).

917. Е. В. ПАСТЕРНАК

9 июня 1943, Чистополь

9. VI. 43

Дорогие мои!

Надеюсь из Москвы, куда я скоро собираюсь, я вам буду опять писать и верну былую возможность вас изредка поддерживать. Но не знаю, не знаю.

Простите меня, пожалуйста, что вам так скверно и, по всей вероятности, трудно. Это та же просьба о прощении, которая обращена также и к Зине, к Леничке, к папе (в идее) — и ко всем близким вокруг меня.

Пропасть между мною и временем, как оно выходит из рук власть имущих и моих богатых товарищей — слишком велика. Мне понравилось, что Женя спорил со мною в письме, что он любит Ил<ью> Григ<орьевича>, что у него самостоятельное мненье[1]. И вы не огорчайтесь, что у нас это расхожденье. Во взглядах на современную действительность и современных литераторов между мною и Зиной то же несогласье. Между близкими у меня на *эту* тему нет единомышленников, да их и не надо. Не напоминайте мне, что у нас война: именно она-то и требует коренных перемен, практических и идеальных, для успешного веденья ее и окончанья.

Всю зиму я работал как каторжный. Я перевел Антония и Клеопатру так гладко и просто, что получилось даже скучно. Я не шутя, боюсь, что предельная облегченность восприятия сводит на нет все произведенье и будет его судьбою.

Год сложился не так, как я думал, уезжая из Москвы. Мне там надавали обещаний, половина которых осталась неисполненной. Начиная с марта я жил трудно и отвратительно.

Сейчас часть колонии вывозят из Чистополя на пароходе прямого сообщенья до самой Москвы. На нем поеду я со Стасиком, и может быть, и Зина с Леничкой, для вывоза которых пока нет денег. Это решится завтра-послезавтра в результате телеграфного запроса о ссуде, посланного Храпченке. Унизительно вечно жить благодеяньями начальства, когда я здоров, полон сил и желания работать и в своей области знаток первостатейный. Если бы выходили книги, если бы можно было писать о действительности то, что о ней думаешь и как ее видишь, ссуды бы выдавал я из своего кармана.

Зина тут доработалась до чахотки. Она (так же, как и Леничка) долго болела бронхиопневмонией, то есть полубронхитом, полувоспалением. Мне ее советовали послать на рентген, у врача были подозренья насчет туберкулеза легких. По счастью очага у ней не нашли, как утешительным оказался и осмотр Лени, но оба они — легочно подозрительной породы.

Неописуемым униженьем был мой и ее разговор по поводу возможности или желательности ее возвращенья в Москву с этой партией едущих. Он происходил с приехавшим из Москвы новым директором Литфонда, Хесиным, к которому она просилась на службу, в какой-нибудь из дет. домов или садов Литфонда в Москве, единственное условье, при котором представляется мыслимым прокормиться ей и Леничке. Дожил я, можно сказать, и доработался, что о возможностях жизни для себя и сына моя жена в моем присутствии должна говорить с посторонним, как о вопросе, требующем обсужденья, и ждать ответа, неизбежно отрицательного, потому что содержать такие учрежденья еще труднее, чем просуществовать отдельным людям и таких детсадов в Москве сейчас нет. Зина колеблется и готова была бы примириться с третьею зимою тут в Чистополе, сравнительною обеспеченностью, своею и Леничкиной, при дет. доме, но я, думаю, склоню ее к поездке в случае полученья ссуды, в которой, думаю, мне не откажут, потому что без нее разрушенье всех почв и пристанищ будет продолжаться дальше, а пора начинать становиться всем нам на ноги.

Опять происходили покушенья на твою квартиру, сравнительно с нашей меньше пострадавшую. Я это знаю от некоего Б. А. Вадецкого[2], писателя, ее отстоявшего. Возможно, что если я со Стасиком поедем одни, мы у тебя поселимся вместе с Петровной, но я бы хотел убедить Зину (хотя она наверное сочтет это неудобным и никогда не согласится), чтобы на первое время, до твоего приезда и налаженья Переделкина или чего-нибудь в Лаврушинском (взамен нашего верхотурья) поселились у тебя мы все, даже в случае ее переезда.

Ты помнишь, я хотел в прошлом году покуситься на вашу квартиру, — я знаю, что тебе это было бы только приятно, — и у меня на это вселенье не хватило ни энергии, ни времени, ни решимости (на пороге зимы). Так что если теперь, наоборот, по тебе пробежит волна недовольства по поводу этого жилищного предположенья, ты помни, что это одна только Чистопольская фантазия, еще даже и не предложенная Зине, и в Москве, даже если бы она этой идеи не отвергла, все может измениться, так что не спеши огорчаться.

Кажется я ни разу не писал вам в этом году из Чистополя. Так безысходно было, понимаешь ли ты, так условно я все время существовал, надеясь на перемены к лучшему и их ожидая, в расчете тогда и написать.

Крепко целую вас обоих. Пиши в Москву по Шуриному адресу: Гоголевский 8 кв. 52.

Не сердитесь и не огорчайтесь. Не думайте, что я холоден и забывчив: трудно, непосильно трудно, но я собираюсь бороться и полон надежд. Всего, всего лучшего. Пишите в Москву.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Е. Б. Пастернак писал отцу, упрекая его в отрыве от действительности и защищая И. Г. Эренбурга, военные статьи которого, по его мнению, являются сейчас «одним из ценных видов оружья».

[2] Писатель Борис Александрович *Вадецкий* ездил в Чистополь к эвакуированной семье. Сохранились фотографии Пастернака с Леней на плечах, снятые Вадецким в Чистополе.

918. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

10 июня 1943, Чистополь

10. VI. 43

Дорогая Надежда Яковлевна!

Благодарю Вас за интересное и талантливое письмо, как много я узнал из него живого и важного![1] Собственно лучше было бы мне ответить Вам из Москвы, куда я на днях собираюсь с множе-

ством других чистопольцев, но я не хочу откладывать ответа, чтобы уехать отсюда с чистою совестью.

Ничего описывать Вам не буду. Нынешнее сильно затянувшееся мое здешнее пребыванье результат простой практической выкладки, сделанной зимой в Москве, при живом Немировиче, что ничего, при «сложившихся обстоятельствах», кроме нового Шекспира, мне не остается. Я перевел по просьбе Влад<имира> Ив<а-новича> «Антония и Клеопатру», но теперь не знаю, понадобится ли он его наследникам. Кстати, если Вас интересует, попросите у Жени рукопись «Ром<ео> и Дж<ульетты>». В возрастающих упрощеньях, которым постепенно подвергаются шекспировские тексты в моей передаче, меньше всего страдает и может быть не проигрывает именно *эта* драма, благодаря бытовому богатству содержанья, нуждающемуся в бесцветной чистоте наложенного на нее стекла.

Напрасно интриговали Вас моею новою книжкой[2]. Стихотворенья эти Анна Андреевна знает. Я читал их ей весной 1941 г., перед войной[3]. Там десятка полтора таких стихов, которых должно было бы быть полтораста. В этом конфузящее ничтожество книжки.

У меня перед отъездом из Москвы было два-три случая поразительного по глубине и непринужденности соприкосновенья с аудиторией[4]. Туда я, собственно, то есть в эти зимние вечера теперь и возвращаюсь, к старым неорденоносным литераторам, студенчеству и актерам.

Через молодежь и театры мне хочется завести *свое* естественное отношенье с судьбой, действительностью и войной. Я еду бороться за свою сущность и участь, потому что позор и жалостность моего существованья непредставимы.

Простите, что так вкусно, плавно и развязно пишу об этом Вам, жене человека, так далеко пошедшего в чувстве чести и настороженной гордости.

Будьте здоровы. Еще раз спасибо. Если захотите порадовать меня письмом, вот адрес: Москва, Гоголевский бульв. 8, кв. 52, Александру Леонидовичу Пастернаку для меня.

Впервые: Вестник РСХД, № 104–105. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф.

[1] Письмо 22 апр. 1943 («Память». Исторический сборник. Вып. 4. Париж, YMKA-Press, 1981. С. 327). Н. Я. Мандельштам писала из Ташкента, где жила вместе с А. А. Ахматовой.

[2] Речь идет о недавно вышедшей книжке «На ранних поездах». Н. Я. Мандельштам писала: «До нас дошли слухи о вашей новой книге. Кое-что из стихов мы знаем. Очень хотелось бы их знать. Как это сделать» (там же.

С. 327). А. Ахматова 20 июля 1943 благодарила Пастернака за письмо и писала: «Поздравляю Вас с успехом Вашей книги — вот бы мне на нее посмотреть». Сохранилась телеграмма: «Поздравляем успехом книги дружно обнимаем. *Надежда Мандельштам. Анна Ахматова*» (31 июля 1943; РГАЛИ, ф. 1334, оп.1, ед. хр. 828).

[3] Анна Андреевна вспоминала об этом в заметке «Путь Пастернака», 1961: «"Я написал девять стихотворений, — говорит он мне по телефону, — сейчас приду читать", — и пришел. "Это только начало — я распишусь..." Июнь 41 г. — новая фактура — строгость и простота. Был самый сложный — стал самый ясный <...> Расписаться не пришлось — пришла война» («Наше наследие», 1998, № 45. С. 57).

[4] Имеются в виду вечера в Клубе писателей 14 дек. и в Малом театре 23 дек. 1942 г.

919. С. П. БОБРОВУ

20 июня 1943, Чистополь

20 июня 43. Чистополь

Дорогой Сережа!

Редкое свинство, что я тебе не ответил на два твоих письма, полученные прошлой осенью[1]. Это свинство так велико, что может быть умнее было бы теперь и не напоминать о себе и не усугублять неловкости таким запоздалым ответом. Кроме того, ты уже наверное в Москве, или будешь там раньше, чем письмо придет в Фергану. А писать тебе я собирался, особенно в редкие минуты досуга, которые единственно и выдавались накануне всяких переездов, как например сейчас, перед сборами всех нас в Москву. Писать собственно не о чем, обе зимы прошли в напряженном каторжном прилежании (от того и времени никогда нет почитать и подумать, кроме путешествий). Зина превратилась в спичку и доработалась до чахотки в детском саду Литфонда, где она служит и где находится Леня. Стасик, один из сыновей Нейгауза, стал очень хорошо играть, другому, старшему Адриану, ампутировали правую ногу (костный туберкулез) в туберкулезном санатории (эвакуированном из Москвы) в Нижнем Уфалее, куда в прошлом году ездила Зина. Женя с Женичкой в Ташкенте, он в военной академии по танкостроению. Ты, наверное, слышал, что прошлою зимой с Генр<ихом> Густ<авовичем> в Москве была такая же беда, как когда-то с тобою[2]. Теперь он на свободе в Свердловске.

Если и думалось мне написать тебе о чем-нибудь, то это о середине прошлой зимы в Чистополе, которую мы тут провели необычайно дружно и ярко. Ты помнишь дни эвакуации. Все было катастрофически неясно и грозило скорым концом. В обстановке этой

смертельной неясности нам пятерым: Федину, Леонову, Треневу, Коле Асееву и мне поручили управлять и нравственно руководить многочисленною тогда здешней литературной колонией. Мы еженедельно собирались и устраивали увлекательные живые вечера, на которых читали свободно и неурезанно все, что думали и писали, и устраивали обсужденья без глупости, по-настоящему, как целую вечность тому назад. Я чувствовал себя совершенно счастливым, хотя, периодами, буквально голодал, но не замечал этого. Все мы очень успешно работали. Нас связывала настоящая неподдельная дружба. В эти месяцы совершенно преобразился и помолодел Коля[3]. Вся официальность слетела с него, он стал думать и говорить умно, независимо и непримиримо. Мы опять очень сблизились с ним. Своего я почти ничего не писал. Я не представляю себе возврата к старому и охотнее бы удавился. Меня все больше и больше тянет на реалистическую передачу виденного и действительного. Между тем надо жить, а ртов у меня много. В прошлом году я тут перевел «Ромео и Джульетту», а во вторую половину нынешней зимы, по приезде из Москвы, где я жил 3 месяца — «Антония и Клеопатру».

Наверное, тебя в Фергане уже нет, и я пишу понапрасну. Целую тебя. Сердечный привет Марии Павловне и обоим Лундбергам[4], если и они еще не уехали.

Твой Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 822). Письмо отправлено в Фергану, где Бобров находился в эвакуации.

[1] Сохранилось письмо Боброва Пастернаку от 17 дек. 1942 из Ферганы со стихами, посвященными воспоминаниям о выходе книги «Поверх барьеров» зимой 1916–1917 г. (там же. С. 299–300).

[2] Бобров был арестован 28 дек. 1933 г.

[3] Асеев.

[4] Жене Боброва — М. П. Богословской, Евгению Германовичу Лундбергу и его жене Елене Давыдовне Гогоберидзе.

920. А. С. ЩЕРБАКОВУ

16 июля 1943, Москва

16. VII. 43

Дорогой Александр Сергеевич!

Я долго крепился, чтобы не прибегать к Вашей помощи. Часть того, что я Вам расскажу, я уже застал в прошлом году, когда Вы с таким великодушием отзывались на мою просьбу не о себе, а о других[1].

Тогда я был один и мог терпеть, а теперь я привез Зин<аиду> Ник<олаевну> и детей и они околачиваются без угла по Треневым и Погодиным на положении иждивенцев не вполне установленной категории.

Моя квартира в Лаврушинском разгромлена до основания, именно как бедная, на которой было написано, что она не знатная и за нее не заступятся.

Она необитаема, в ней не осталось обстановки. Полностью уничтожен плод давних и многолетних работ моего отца, академика, поныне живого и находящегося в Англии, в Оксфорде, — наброски, эскизы и такие оригиналы, увоз копий с которых из Ясной Поляны попал в военные протоколы. Во всем этом виноват я сам.

Как раз пример отца, его близость со старой Москвой и большими суровыми людьми вроде Льва Толстого с детства повелительно и непобедимо сложили мой характер. По своим нравственным правилам я не мог извлекать выгод из своих былых успехов (как на съезде писателей, за границей и пр.[2]), которыми на моем месте воспользовался бы всякий.

Но прошло время, сменились люди. Теперь может показаться, что моя добровольная незаметность вынуждена и на ней лежит печать чьего-то осуждения.

За исключеньем Храпченко и Чагина, никогда не лишавших меня своего деятельного участия, ко мне с недостаточно уверенным доброжелательством относятся в Союзе и Литфонде. Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденоносцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.

Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.

Любящий Вас Б. Пастернак

Впервые: «Литературный фронт». История политической цензуры. 1932–1946 гг. Сб. документов. Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1994. — Автограф (РГАНИ, ф. 17, оп. 125, д. 211). Резолюция на письме: «Т. Александров. Прошу переговорить с т. Пастернак. *А. Щ.* 19/VII». «В архив. Тов. Пастернак вызывался мной 24/VII. *Г. Александров*».

А. С. Щербаков в 1934–1936 гг. был оргсекретарем Союза писателей, с 1941 г. — секретарь ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбюро, одновременно начальник главного управления Красной армии и зам. наркома обороны, начальник Совинформбюро.

[1] Имеется в виду заступничество за А. Н. и М. Н. Вильям, которым угрожала ссылка в Сибирь из-за немецкого происхождения.

[2] Пастернак вспоминает Съезд писателей в 1934 г. и поездку в Париж на антифашистский конгресс в 1935-м.

921. А. А. ФАДЕЕВУ

18 июля 1943, Москва

18. VII. 43

Дорогой Саша!

Со мной творятся обидные курьезы. Мне выдали литеру Б, а не А[1], и в зависимости от этого пошла вся музыка по-другому: прикрепили к распределителю второго сорта, вместо промтоварного лимита на 1000 р. дали на 750, вместо 1-й поликлиники Кремлевской больницы, которою я всегда пользовался вместе с семьею, дали вторую в Старопанском, и только мне одному без семьи, между тем как именно Зина доработалась в Чистополе до чахотки и нуждается в главном лечении. Прибавь к этому, что у меня ни кола ни двора, Зина с детьми ютится у Треневых и Погодиных, я живу в четырех местах, работы отца растащены или уничтожены, ими заделывали пробоины в доме, у нас не осталось ни одного стула, жизнь надо начинать с основанья, сначала.

Я никогда не лез вперед, но ведь от этого до убежденья, что я сам расписался в собственном ничтожестве, и на этот счет можно не беспокоиться, довольно далеко. Когда я первый подал пример работы над нацменами и представил молодую Грузию так, что говорили, будто я их создал (это, конечно, неправда), я знал, что мне отплатят неблагодарностью, но не думал, что такою. Если бы каждый из нынешних лауреатов уделил мне то, что некоторые из них должны мне и Есенину больше, чем Маяковскому, я бы лично мог помочь Наркомпищепрому. Я не подкупал британской энциклопедии[2] и своих неведомых и тайных друзей в университетах, на улицах, в метро и трамваях. Я все-таки что-то сделал на своем веку для родного слова, и, если хочешь знать, как писатель и товарищ, — главное из этого делаю именно сейчас, — с Шекспиром.

Вдолби, пожалуйста у себя в секретариате, а главное, в Литфонде, до самых его верхов, какое место уделяешь ты мне в его почетной иерархии, а если это невыгодно для меня, вызови меня, пожалуйста, к себе и растолкуй, когда и по какой статье переведен я из аристократов в негры.

Твой Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 644). В правом верхнем углу резолюция А. А. Фадеева: «Тов. Скосыреву. *А. Фадеев*».

[1] По приказу Наркомпрода в 1943 г. были введены разные градации продовольственных выдач в распределителях; литера А — особо выдающим-

ся писателям, у которых выходили собрания сочинений, награжденным орденами и т. д.; литера Б — писателям помельче, без точного определения.

[2] Имеется в виду статья «Russian Literature» в Encyclopedia Britannica, где Пастернаку уделено значительное внимание. См. коммент. к письму № 764.

922. Н. ТАБИДЗЕ

Июль 1943, Москва

Дорогая, родная Нина моя! Когда к Вам поедет Кротков[1], я, может быть, напишу Вам полнее, а пока совсем вкратце. Я перевез Зину со Стасиком и Леней в Москву. Квартира у нас разорена (не бомбой, а человеческими руками), нам негде жить. Зина с детьми у Погодиных, я — у брата, хожу к ним только обедать и ночевать. В Чистополе я много наработал, перевел две новых вещи Шекспира «Ром<ео> и Дж<ульетту>» и «Антония и Клеопатру». Адику ампутировали на Урале ногу, но в состоянии его здоровья нет улучшения, у него гноится позвоночник. Гаррик в Свердловске, его не пускают сюда. Золото Нина, сердце мое, Вас огорчат страшные, ранящие пробелы в моей маленькой и ничтожной книжке[2]. Но Вы увидите, раз нельзя называть тех, кто был, наряду с Зиной, единственной новой моей жизнью в революции, пусть не будет и ни о ком в ней упоминанья. Я ничего не написал Вам в этой записке. У меня много планов. Может быть, я с Витей Гольц<евым> к Вам приедем. Поздравляю Вас с внуком[3]. Поцелуйте Ниту. *Весь Ваш Б.*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021915, 15). Датируется по содержанию.

[1] Журналист Юрий Владимирович *Кротков*, сын художника, знакомый и сосед Н. А. Табидзе.

[2] В книжке «На ранних поездах» (1943) из цикла «Путевых записок» сняты стихи о Тициане Табидзе и Паоло Яшвили, но также снята часть стих. «Мне по душе строптивый норов...» из цикла «Художник», где говорится о Сталине.

[3] У Ниты Табидзе родился сын Гиви (Андриадзе).

923. А. И. СТАРЦЕВУ

22 августа 1943, Переделкино

22.VIII. 43

Глубокоуважаемый Абель Исакович!

Я рад, что Вы меня подвинули на Шелли[1], — вот он. К этим переводам, если Вы их возьмете, я бы присоединил несколько

Бальмонтовских, как например «Об увядшей фиалке» (стр. 56), или отрывки со стр. 96 и 97 «Не буди змею» и «Вино шиповника», или вещи на стр. 109, 115, 182, 202, 203-й 1-го тома, или какие-нибудь отрывки из «Адониса» (из III тома)[2]. Это — обязательная моя просьба и условье для помещенья моих, если они подойдут. Я еще сделаю несколько примеров из Суинберна и буду писать большую журнальную статью (в развитие моих прошлогодних замечаний об Антологии)[3] о влиянии английского языка и стихосложенья на наш XIX век, о Шекспире, о задаче переводов. Не замедлите, пожалуйста, известить меня по телефону К-4-31-50 о Ваших решеньях по поводу сделанного матерьяла.

Ваш Б. Пастернак

Прилагаемый оригинал (от руки) — единственный. Он мне понадобится. Посмотрите, чтобы его не затеряли при переписке.

Впервые. — Автограф (собр. адресата). Дата неразборчива.

[1] Пастернак перевел четыре стихотворения П.-Б. Шелли по просьбе составителя «Антологии английской поэзии» А. И. Старцева. (Издание не состоялось.) Переводы были опубликованы в журн. «Знамя», 1944, № 1.

[2] П.-Б. Шелли. Полн. собр. соч. в переводе Конст. Бальмонта. В 3 т. СПб., 1903–1907.

[3] Имеется в виду внутренняя рецензия на «Антологию английской поэзии» (1943), основные положения которой были развиты в «Заметках переводчика», которыми предварялась публикация переводов из Шелли в «Знамени» (1944, № 1): «Мы с чрезвычайной неохотой, не предвидя от этого никакой радости, взялись за поэта, всегда казавшегося нам далеким и отвлеченным. <...> Мы пришли к неожиданной концепции. В заклинателе стихий и певце революций... нам открылся предшественник и провозвестник урбанистического мистицизма, которым дышали впоследствии русский и европейский символизм» (т. V наст. собр.). Переводы из Суинберна не были сделаны.

924. Дж. РИВИ

25 сентября 1943, Москва

25. IX. 43

Дорогой господин Риви.

Сердечно благодарю Вас за милое письмо и драгоценный подарок. Мне никогда не снилось, что мои скромные занятия Шекспиром когда-нибудь получат такой отклик в Англии[1]. Если бы он мог быть выражен в официальной форме, это намного смягчило бы уязвимость моего здешнего положения.

Посылаю в Ваше распоряжение два потрепанных экземпляра своего «Гамлета», не надписывая их Вам, настолько они грязные. «Ромео и Джульетта» последует через месяц, а потом — «Антоний и Клеопатра»[2]. Простите мой варварский и нелитературный английский. Я не говорю на нем, потому что мне ни разу не выпадало счастье настоящей практики в нем, я вспоминаю его только в связи со своими занятиями Шекспиром и забываю его в перерывах. Теперь я в стадии глубокого забвения.

Примите, пожалуйста, мои лучшие пожелания.

Искренне Ваш Б. Пастернак

P. S. Я хорошо Вас помню[3]. Еще раз спасибо. Увидимся, если будет возможно[4].

Впервые: «Harvard Library Bulletin», 1967, vol. XV, N 4. — Автограф по-англ. (Houghton Library Harvard University).

Английский поэт и исследователь русской литературы Дж. Риви в 1942–1945 гг. был атташе по печати в посольстве Великобритании в Москве.

[1] Пастернак получил письмо из отдела печати английского посольства с выражением восхищения его переводами и шекспировский словарь (см. письмо № 926).

[2] Издание «Гамлета» 1941 г.; «Ромео и Джульетта» и «Антоний и Клеопатра» вышли только в 1944 г.

[3] Пастернак переписывался с Дж. Риви в 1931–1933 гг. и виделся в Париже на антифашистском конгрессе в 1935 г.

[4] Постскриптум написан по-русски.

925. Е. А. БЛАГИНИНОЙ

15 октября 1943, Москва

15. X. 43. Дорогая Елена Александровна!

Я к Вам с просьбой. Не откажите, пожалуйста, украсить своими переводами книгу нашего гостя и товарища, поэта О. Лысогорского, подготовляемую в Гослитиздате[1]. Мне хотелось бы, чтобы его дело попало в самые первые и хорошие руки, что и направляет меня к Вам. Если мне удалось убедить Вас, позвоните ему, пожалуйста, в Метрополь (К4-20-00 доб. 354).

Желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1448, оп. 1, ед. хр. 208).

Пастернак познакомился с поэтессой Е. А. Благининой в гостях у В. К. Звягинцевой в 1930-х гг.

[1] В сб. переводов писавшего на ляшском диалекте поэта Ондры Лысогорского «Песни о солнце и земле», изданном в Гослитиздате в 1945 г., вошли три стих. в переводе Е. А. Благининой: «Ташкентские арыки», «Ташкентские тополя» и «Ташкентские дувалы». Для этого сб. Пастернак написал предисловие, в сокращенном виде использованное при публикации его переводов в газ. «Литература и искусство» (21 авг. 1943). Согласившись на продолжение работы, Пастернак вскоре вынужден был отказаться и писал С. А. Обрадовичу, составителю книги О. Лысогорского: «5. II. 45. Глубокоуважаемый Сергей Александрович! Прошу извинения у автора и у Вас, но я очень занят и возвращаю подстрочники неиспользованными. Они очень интересны, как и большинство работ Ондры Лысогорского, но ничего к сделанному из него два года тому назад мне, за недосугом, не придется прибавить. Сердечный привет ему и Вам. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 1871, оп. 1, ед. хр. 380).

926. В. Д. АВДЕЕВУ

21 октября 1943, Москва

Дорогой Валерий Дмитриевич!

Пишу Вам, потому что не могу уже справиться с неловкостью и сожаленьем о своем молчании. Арсений Дмитриевич[1] должен был Вам рассказать, какой неудобный образ жизни приходится вести мне и Зин<аиде> Ник<олаевне>. С его отъездом это только еще усложнилось. Я был на фронте ко времени его отъезда[2] и по своем возвращении не застал Зин. Ник-ны, которая ездила в Свердловск за старшим сыном. Арсений Дмитриевич уехал без меня. Я с ним не простился. У меня было предположение послать с ним для Вас «Ранние поезда» и табаку для Дмитрия Дмитриевича[3]. Но это были для меня дни разгрома, как это собственно продолжается и сейчас. Только на днях выселили зенитчиков из нашей полуразрушенной квартиры и собираются делать в ней ремонт. Обставлять ее придется продуктами воображенья, потому что из нее исчезло все, а столов, стульев, кроватей, посуды и пр., насколько я понимаю, в Москве не достать ни за какие деньги. Мы живем все врозь, я в одном месте, Зина в другом, Леня в третьем, Стасик в четвертом. Я страшно занят и работаю не покладая рук. Мне заказали избранного Шекспира (несколько хроник и драм), у меня договор на «Лира». Кроме того, я пишу «Зарево», реалистическую поэму, и кое-какие статьи[4].

Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значенье, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободила. Вдруг все оказалось

очень близко, естественно и доступно, в большем сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображеньями. Не боюсь показаться хвастливым, могу сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, среди которых были Конст. Ал<ександрович>, Всев. Иванов и К. Симонов, больше всего по себе среди высших военных было мне, и именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы[5]. Как только устрою дела и допишу поэму, опять туда поеду.

Представьте, я получил из отдела печати английского посольства письмо с комплиментами по поводу моего Шекспира, на шикарной бумаге с королевским гербом, и шекспировский словарь в подарок[6].

Так как теперь из Чистополя все разъехались, а до новой войны мы наверное не доживем, то как будто нет видимых причин думать о поездке в Ваш город. Между тем, и особенно пока вы все в нем живете, и в особенности потому, что я не дорожу нынешней Москвой (отчего у меня в ней все из рук и валилось: квартиры, положенье и пр.)... Живо и непосредственно и всей душой мне собственно только хочется в Чистополь и в Оксфорд. Если я продолжу это письмо хоть на одну строчку, явится риск, что я никогда не отошлю его. Поэтому кончаю, предварительно передушив в объятьях Вас, драгоценнейшего Дмитрия Дмитриевича, Арсения Дм<итриевича>, Нину Гавриловну[7] и вас всех. Вы не представляете себе, как велики Ваши права в моем сердце, и это слава Богу, а то что было бы мне делать.

Целую Вас.

Ваш Б. П.

Впервые: Чистопольские страницы. Казань, 1987. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41).

В. Д. Авдеев, в будущем профессор ботаники, во время войны близко познакомился с эвакуированными писателями, которые дарили ему свои книги и потом переписывались с ним. Пастернак записал ему в альбом два стихотворения, Авдеев помогал ему с перепечаткой рукописей, снабжал книгами из отцовской библиотеки. Сохранилась записка с просьбой такого рода: «Дорогой Валерий Дмитриевич. Не сочтете ли возможным дать мне в дорогу какой-нибудь из томов Писемского (хотя бы 1-й). Я Вам верну его из Москвы заказною бандеролью. Еще раз всего лучшего. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ). Тогда же, в день отъезда в Москву, Пастернак надписал ему экземпляр «Гамлета» (Гослитиздат, 1941): «24. XI. 42. Валерий Дмитриевич, я Вам сделал столько надписей, что неизбежны повторенья. Перемена в восприятии года в Чистополе продолжает занимать и

удивлять меня. О первой половине зимы, более дикой и трудной в отношении обихода, у меня богатые, горячие воспоминанья, и они вовсе прекращаются с февраля. Сюда я приехал с легким багажом, с почти что биологическим чувством русской жизни, или жизни в России, и уверенностью, что движущей силы этого ощущения для художника достаточно, чтобы прожить счастливо и производительно. А потом пришла знакомая путаница и все вытеснила. Вы правы в своем отношении к моей последней работе, но не правы, когда в застарелой оторопи перед софизмами видите жизнь, пусть и невеселую, но действительную. Это не так, и именно на эту тему написан Гамлет» (Чистопольские страницы. Казань, 1987. С. 254). Авдееву были подарены также рукописи «Ромео и Джульетты», переводов Ю. Словацкого и «Антония и Клеопатры». Пастернак обращался к нему с просьбами, аналогичными следующей: «Дорогой Валерий Дмитриевич! Дайте, пожалуйста, на несколько дней Зое Барта для ее надобностей рукопись Ромео. Она перепишет, какие ей нужно куски, отрывки и Вам ее вернет. Зине немного лучше, но она еще лежит. Я потею над превращеньем "Антония" в новый черновик. Мечтаю все же через неделю, — дней десять помучить Вас и Ваших как-нибудь вечером трехчасовым чтеньем. Об этом сговоримся особо. Целую Вас. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 1). *Зоя Барта* — жена венгерского поэта Шандора Барта, находилась в эвакуации в Чистополе.

[1] Брат В. Д. Авдеева часто наведывался в Москву.

[2] Пастернак уехал на фронт в места боев за Орел 27 авг., вернулся 10 сент. 1943 г.

[3] Борис Пастернак. «На ранних поездах» (М., 1943). Д. Д. Авдеев — отец Валерия Дмитриевича.

[4] Для предложенного в Гослитиздате собрания шекспировских переводов Пастернак готовил «Короля Лира». «Вступление в поэму "Зарево"» было опубликовано 15 окт. 1943 г., первая глава осталась ненапечатанной, дальнейшие наброски использованы в военных стихах 1943 г. Летом 1943 г. были написаны статья «Славянский поэт» и отзыв на «"Избранное" Анны Ахматовой».

[5] В воспоминаниях генерала А. В. Горбатова отразились впечатления от знакомства с писательской бригадой, приезжавшей к ним в армию. Особенно он выделил Пастернака и от лица командного состава Третьей армии писал: «Он нам понравился своим открытым нравом, живым и участливым отношением к людям» (цит. по: Я. Хелемский. Ожившая фреска // «Знамя», 1980, № 10. С. 138). Вс. Иванов, вернувшись из этой поездки, рассказывал, что Борис Леонидович очаровал в армии всех — от солдат и до генералов. Очаровал своей храбростью, простотой и увлекательными речами. «Офицеры и генералы, бледные, растроганные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может, лучше, чем нас. Талант, по-видимому, всегда понятен» (Всеволод Иванов. Истинное искусство всегда современно. М., 1985. С. 122).

[6] См. письмо № 924 с благодарностью за этот подарок.

[7] Н. Г. Авдеева, жена А. Д. Авдеева.

927. А. А. ФАДЕЕВУ

23 октября 1943, Москва

Дорогой Саша

Это ужасно, что у нас отдельный человек в хозяйственном отношении — ничто, а организация все, что я в ССП, и ты его глава, что после разоренья мне приходится начинать жизнь сначала. Ты не можешь себе представить, как мне неприятно к тебе обращаться.

Только вчера выселили зенитчиков, это помощь Щербакова, которому я написал снова[1]. Но нельзя же беспокоить его так часто.

Вот просьбы, которые, мне кажется, не заключают столько хлопот, как квартирные, и исполнимы до самого конца, т. е. до достижения желаемых результатов.

Надо довести до завершенья прикрепленье моей семьи (пятерых иждивенцев) к Кремлевской больнице, если не к 1-й поликлинике, как ты думал, то хотя бы ко 2-й. Надо похлопотать на телефонной станции, чтобы мне поставили телефон. У меня на квартире производят ремонт, и в ней нет мебели, которую придется заводить сызнова. Ты знаешь сам, какое единственное средство развязывает языки и руки по части стекол, краски, радиаторов и пр. и пр. Надо позвонить Болохову и его заместительнице, стоящим у источников этих, табачных и пр. благ, об их самонаивсемернейшей помощи в этом отношении, тем более исключительной, что это стало труднее. Ты знаешь сам, как все это надо сказать в клубе и у тебя в Союзе, чтобы все это возымело действие.

Я у Асмусов, тут телефон Г6-73-05, Зина у Треневых. Нечего говорить, как это все удобно. Позвони мне как-нибудь, когда тебе не будет трудно.

Твой Б.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 644). Датируется по помете канцелярии. В левом верхнем углу резолюция А. А. Фадеева: «Т. Скосыреву, т. Млечину. *А. Фадеев*».

[1] См. письмо А. С. Щербакову № 920, второе письмо Пастернака о зенитчиках неизвестно.

928. Д. Д., Н. Г., А. Д. и В. Д. АВДЕЕВЫМ

30 октября 1943, Москва

30 окт. 43

Дорогие друзья мои!

Не знаю прямо, как благодарить вас за драгоценную телеграмму. Меня просили написать что-нибудь к октябрю и, видите, как Ваш дом и город стоят предо мной и живут во мне. Валерий Дмитриевич, напишите мне, пожалуйста, как Ваши казанские дела, закончили ли Вы Вашу ботаническую работу? Как здоровье Дмитрия Дмитриевича? Всех вас четверых крепко обнимаю и целую. Конечно: «Всего нам на свете родимей» звучит несколько неестественно и не может заглушить слышимого за ним: дороже (Всего нам на свете дороже). Но строчка: «И наши октябрьские рожи» была бы, наверное нецензурна[1].

Весь Ваш Б. П.

Впервые: Чистопольские страницы. Казань, 1987 (с купюрами). — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41). К письму приложено стих. «Зима приближается»

[1] Автограф имеет 8 строф, последняя соответствует заказу газеты «Литература и искусство» «написать что-нибудь к октябрю»: «И полные листьев колдобины / И наше октябрьское имя / По нашей привычке особенной / Всего нам на свете родимей». Намеренно идя на корявую неестественность штампа, свойственную заданной теме, Пастернак шутливо предлагает откровенно «нецензурную» замену. При публикации в «Литературе и искусстве» (13 нояб. 1943) были изменены название и редакции пяти строчек, в том числе убрано центральное слово стихотворения — «Россия», что ломало грамматику фразы; последняя строфа снята.

929. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 ноября 1943, Москва

5. XI. 43. Дорогие тетя Ася и Оля!

На днях Юдина нашла и вновь подарила мне вас[1]. В прошлом году я послал вам несколько писем и телеграмм, оставшихся без ответа. Из последнего твоего письма, Олюшка, я знал, что вы двинулись было из Ленинграда и опять туда вернулись. Больше известий от вас не поступало, и запросы оставались без ответа. Но не я один был в отношении вас в таком положении. Факт близко-

го нашего родства, очевидно, широко известен, что доставляет мне всегда живейшую радость. В прошлом году, когда как раз я терзался неведеньем о вас, в одном издательстве ко мне подошла незнакомая и очень милая молодая женщина, сказавшая мне, что она твоя ученица, по фамилии, кажется, Полякова, и что после твоего несостоявшегося выезда из Ленинграда она потеряла твой след. Вскоре с теми же сожалениями ко мне обратился проф. Б. В. Казанский[2]. В последней открытке, которую я тебе написал, я упоминал тебе с радостью, как тебя знают и любят. В результате вашего молчания я пришел к нескольким допущеньям, из которых самым легким было предположенье, что вы все-таки выбрались в какую-нибудь сибирскую глушь. Я был уверен, что вас в Ленинграде нет, а вашего дома (раз письма не находят вас) и подавно: что его снесло снарядом. Розыски вас я приостановил в конце декабря. Нынешним летом Казанский посоветовал мне написать в Центроэвак в Бугуруслан, и я этого не сделал только потому, что были едущие в Ленинград и я надеялся запросить через них университет. Вы для меня были настолько потеряны, что мне трудно даже было скрывать это в телеграммах от папы.

В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Леничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо, были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру». Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества[3]. Когда я летом прошлого (42-го года) приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на храненье отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.

У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, незанятый ими этаж

в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел <в> те единственные 5–10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре Ивановская дача сгорела до основанья. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаньями. Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Леничкой, которое любил и где сосредоточенно и в тишине работал, хотя знал, что там живет Ленькина няня и что туда надо было бы съездить. Всю зиму (до Чистополя) я кочевал, некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора В. Ф. Асмуса и его жены, где зажился и сейчас и откуда сейчас пишу тебе. В июле я привез в это разоренье Зину с ее сыном Стасиком и Леничкой. За старшим, Адрианом, с ампутированной ногой (костный туберкулез), она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории. Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически перебралась в этот неотопленный пустырь постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик — живет у знакомых близ Курского вокзала, она в Лаврушинском, я у Асмусов близ Киевского, Леничка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода в конце концов всех нас туда загонят. Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает (как теребят корочку на губе), это на меня действует как присутствие музыки. В конце концов, он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу, что может быть проще в смысле разрешенья дровяной проблемы. Если мы там очутимся, я примусь за «Лира». Мне заказали избранного Шекспира: Лира, Макбета или Бурю, и две хроники, Рич<арда> II и Генриха IV[4].

Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки, жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я

опять туда поеду. Посылаю тебе книжечку[5], слишком тощую, очень запоздалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 г. «Переделкино» (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободною оригинальной работой. Это было перед самой войной. Ты догадываешься по почерку и стилю, что пишу я страшно второпях. Я очень много работаю эти недели (жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна: он мне уступил свой кабинет, я им только что много о вас рассказывал. Она — Ирина Сергеевна Асмус, моя приятельница, в ней есть какие-то тети Асины черточки). Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Леничке «положенье». Зина страшно состарилась и худа, как щепка. Приехали из Ташкента Женя с Женечком. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант (20 лет), на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде»[6]. Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны.

Без конца целую и обнимаю вас.

Ваш Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Пианистка Мария Вениаминовна *Юдина* ездила с концертами в осажденный Ленинград и познакомилась с О. М. Фрейденберг, переписка с которой у Пастернака уже год как прервалась; его письма не доходили по старому адресу. Для большей верности вслед за этим письмом была послана открытка 6 нояб. и телеграмма 8 нояб.: «Не получал ответов. Радуюсь сведениям Юдиной. Здоровы, обнимаем, пишите = *Боря*» (Пожизненная привязанность. С. 264).

[2] Софья Яковлевна *Полякова* — филолог-классик, училась в Ленинградском университете у О. Фрейденберг. «Это моя ученица, настоящая, наследница. Я не знаю ее адреса», — писала о ней О. Фрейденберг Пастернаку 10 янв. 1944. О попытках Б. В. *Казанского* найти местонахождение О. М. Фрейденберг см. в письме № 909.

[3] Издания «Ромео и Джульетты» и «Антония и Клеопатры» задержались до 1944 г.

[4] Для сб. переводов Шекспира были сделаны «Король Лир» (1947) и хроника «Генрих IV» (1945); «Макбета» Пастернак перевел в 1950 г.

[5] Книга «На ранних поездах» (1943) состоит из четырех циклов: «Художник», «Путевые записки», «Переделкино» и «Военные стихи».

[6] Из поэмы «Зарево» удалось опубликовать только «Вступление» («Правда», 15 окт. 1943), авт. машин. первой главы сохранилась в архиве журн. «Знамя».

930. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 ноября 1943, Москва

12. XI

Дорогая Олюшка! Поздравил папу и сестер с октябрьскими днями и в телеграмме сообщил о вашем здоровье[1]. Получил ответ: Thanks often read about you heard transmission Moscow celebration rejoice with you long live our great fatherland all well father Pasternaks Slaters*. Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном[2]. Ничего не удается; вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира. Целую тебя и тетю.

Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] «Вернулся из потрясающей месячной поездки на фронт, поздравляю с победой, желаю многих счастливых возвращений октябрьских годовщин, начинаю преодолевать жизненные трудности, все в порядке включая ленинградских родственников, телеграфируй о здоровье в семье по моему старому адресу Лаврушинский 17. Обнимаю без конца. = *Борис Пастернак* (перевод с англ.; 8 нояб. 1943. — Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 228).

[2] Пастернак получил в «Правде» отказ от публикации первой главы поэмы «Зарево» и прекратил работу над ней.

931. Н. ТАБИДЗЕ

10 декабря 1943, Москва

10. XII. 43

Дорогая Нина! Если это письмо придет до встречи Нового года, то желаю Вам встретить его здоровой и благополучной, и чтобы все было в порядке у Вас и в Нитиной семье.

Не могу себе простить, что до сих пор не поблагодарил Вас за этот огромный яблочный совхоз. Что же это будет, Ниночка?! Я перевожу Вам совершенную ерунду на папиросы, если Вы еще не бросили курить, а в ответ вы мне посылаете на две тысячи шафранного ранета!!

От Вас я имел письмо в одну страницу в начале осени, переданное Кротковым. Потом я уезжал на фронт. Тем временем, по слухам, была от Вас ко мне телеграмма. Мне ее не передали. Такие вещи

* Благодарим часто читали о вас слушаем передачи Москвы поздравляем радуемся вместе с вами желаем много лет нашей великой родине все благополучны — отец Пастернаки Слейтеры (*англ.*).

мыслимы, потому что все эти месяцы я, Зина, Леничка и Стасик находимся на четырех разных и к тому же еще и меняющихся бивуаках, — например, Зина вначале жила у Погодиных, а потом у Треневых, а я у брата Ал<ександа> Леон<идовича>, а последние 2–3 месяца — у Асмусов. Это оттого, что квартира в Лаврушинском была разорена и наполовину занята зенитчиками. Каких трудов стоило их выселить! Теперь Зина больше месяца уже там (в нижней половине квартиры), и на днях, когда поставят телефон, переселюсь и я.

Когда я вернулся с фронта, то не застал Зины в Москве. Она ездила в Свердловск за Адиком, чтобы перевезти его в Московский туберкулезный институт. Ваши яблоки пришли накануне их приезда и все достались ему, бедному. Он без одной ноги и страшно худ. У него также туберкулез позвоночника с постоянными нагноениями. Ему делают частые разрезы, переливанье крови. Зину это несчастье страшно иссушило и состарило.

Приехали Евг<ения> Вл<адимировна> и Женя. Он лейтенант, в военной академии, изучает танкостроенье и на хорошем счету.

Ниночка, скажите Гогле, что меня два раза просили из «Правды» перевести его стихи. Первое, о Ст<алине>, не показалось мне интересным. Второе *очень хорошо*, но переводить мне, значит утверждать себя на вторичных, подчиненных позициях, что при нынешней обострившейся борьбе за существованье и двойственности моего бытового положенья для меня вредно, чтобы не сказать гибельно. Пусть Георгий Николаевич простит меня и верит, что я когда-нибудь, если Бог даст мы будем живы, представлю его с тем же вниманием и любовью, как когда-то.

А теперь о Вас. Напишите мне, Ниночка. Мне, конечно, корыстно и эгостически хочется, чтобы Вы были здоровы и крепки и жили долго. Во-первых, те же усилия прилагаю и я, и мне хочется встретиться с Вами в этих стараниях. Но кроме того все неописуемое и неслыханное, что легло на наши плечи, все незапамятные золотые радости и все загадки, трагедии и недоразуменья, все это делалось ради людей, ради многолюдного молодого множества, от которых мы когда-нибудь узнаем, чего не знали, и которым многое должны будем рассказать. И до этого надо дожить, Нина.

Если Вас может удовлетворить это равенство, Вы мне близкий и родной человек, как самые мои близкие. Вы член моей семьи и тем преступнее, что я о Вас не забочусь. Еще раз с Новым годом. Целую Вас и Ниту. *Ваш Боря*

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 31).

932. Дж. РИВИ

24 декабря 1943, Москва

Дорогой господин Риви!

Простите, простите меня. Будьте так добры и великодушны, чтобы дать перевести приложенное и привести его в надлежащий порядок. Это бедно и не доделано, но я действительно растерял свои книги и рукописи и забыл последние следы своей скромной и неблагополучной биографии. Вы знаете лучше, чем это требуется, внутренние тайны наших потерянных судеб.

Спасибо за Ваши благородные заботы.

Неизменно Ваш Б. Пастернак[1]

24. XII. 43

С английского я в разное время перевел:

Шателяр, первую часть драматической трилогии о Марии Стюарт Чарльза Алдж. *Суинберна,* должна была быть напечатана в конце прошлой войны, — рукопись затерялась в типографии в начале 1917 г.

Алхимика, комедию Бен Джонсона, напечатана в томе комедий Бен Джонсона, выпущенном издательством «Академия».

Однако главные мои переводы из Шекспира:

1) Гамлет (1941, два издания).

2) Ромео и Джульетта

3) Антоний и Клеопатра — должны скоро выйти в Гослитиздате.

Кроме того, несколько мелких переводов из Байрона, Китса и Шелли в моих «Избранных переводах» («Советский писатель»).

Переводить Шекспира я надеюсь и в дальнейшем. У меня есть договор с одним театром на перевод «Отелло» и Гос. Издательством Художественной литературы на перевод «Короля Лира», сам же я мечтаю кроме того о хрониках «Ричарде втором» и «Генрихе четвертом».

Назвать иностранные упоминанья о себе и переводы мне трудно по многим причинам. Во-первых, в моем скромном случае они вероятно чрезвычайно немногочисленны. При нашей оторванности, не узнают о себе даже те, кто пользуется на западе действительною известностью. Я никогда не собирал вырезок о себе и отзывов. Кроме того, перемены трех последних военных лет, переезды, разрушенья, пропажа и уничтоженье нужных книг и бумаг помешают мне припомнить то немногое, что я, может быть, восстановил бы в более спокойное время.

Все же, по-видимому, за границей обо мне в свое время писали: в русской эмиграции, в славянских странах, Мирский в London Mercury 1927 и в статье Russian Literature в Encyclopedia Britannica изд. 1929 г. или следующего, не помню. George Reavey в Experiment, № 6, 1930 и в кн. «Soviet Literature», London 1933, Ст. Шиманский в журн. «Life and letters today», Feb. 1943, Roman Jakobson в журн. Slavische Rundschau, 1935, № 6.

Меня много переводили на польский, по-чешски отдельными книгами в прекрасных переводах и великолепных изданиях вышла «Lyrika» (собрание стихотворений в пер<еводе> J. Hora) Prag 1935 и «Gleit» (Охранная грамота) Prag 1935. По-французски в журн. P. Valéry «Commerce» печатались переводы моих стихотворений Ел. Извольской, позднее их переводили Paul Nizan, Познер в своих сборниках и другие. Из немецких переводов помню Грегера и очень хорошие Hugo Hupert'a (Neue deutsche Blätter, Sept. 1934) и антол<огиях> «Stimmen der Völker», «Querido», Amsterdam 1938. По-английски кроме переводов G. Reavey и Alec Brown'a мне до войны хвалили переводы поэмы «Девятьсот пятый год» и повести «Детство Люверс» автора, имени которого я сейчас не могу вспомнить, и не знаю, печатались ли они. Кроме того, переводы и упоминанья появлялись на разных языках в советских интернациональных и коммунистических антологиях поэзии и прозы, ежемесячных журналах и пр., но эти сведенья и переложения в большинстве случайны и неудачны.

Впервые: «Harvard Library Bulletin», 1967, vol. XV, N 4. — Автограф по-англ. (Houghton Library Harvard University).

[1] Приложенная библиография написана по-русски, — по-видимому, эти сведения нужны были для составления английского словаря или справочника.

933. Д. С. ДАНИНУ

3 января 1944, Москва

Милый Даниил Семенович!

Благодарю Вас за сердечное письмо[1]. Его нельзя оставить без ответа. У меня действительно были серьезные намеренья, когда я писал «Сапера»[2]. Его немного изуродовали (*даже* его!), как все, что мы пишем[3]. Там все рифмы были полные и правильные: *у Гомеля* — экономили; смелые — проделаю; вынести — глинистей. Измененья, которые сделали без меня, пришлись как раз по рифмовке. Кроме того, выпустили одну строфу. Это противно.

Вы в большом заблуждении, думая, что Ваши чувства в каком-то смысле общие и распространенные среди многих. Я привык осторожно обращаться с общностями, как «народ», «армия»[4] и пр., и никогда не любил романтизма, даже когда он не был еще официально признан.

Вы ошибаетесь, думая, что я со своим миром и люди, подобные мне (даже с большими именами), кому бы то ни было нужны и *на деле* заслуженно известны[5]. Ничего подобного. Обидная курьезность нашего явленья достаточно определилась именно в последнее время и дальше будет только расти. Я никогда не возвеличивал интеллигента и не любил его, как и романтика; но не поклонялся и невежеству. Темнота самоутвержденная и довольная собой ни к чему меня не склонит.

Я не верю в успешность своих нынешних усилий. Вы спрашиваете о поэме. Я начал ее с другими надеждами. Но общий тон литературы и судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой-нибудь мыслью, обескураживают. Проработали Зощенку, навалились на Асеева, после многих лет пустоты и холода позволившего себе пописать по-человечески[6], кажется, очередь за Сельвинским. Все равно. Я теперь никого не люблю. Я стал взрываться по другим причинам, и с такой резкостью, что это меня когда-нибудь погубит.

Посылаю Вам «Поезда»[7]. Это книжка никчемная и конфузная по запоздалости, малости размеров и случайности содержанья. Лучшее из военных (Русскому гению) и лучшее из переделкинских (единственных живых страниц книги) «Вальс с чертовщиной» выкинуты. Стихов, как переделкинские, должно было быть вдесятеро больше, их нужно было бы, как и вообще всякую свою литературу, прозу, драматическое, писать постоянно, а не переводить десятилетиями с недельными отступлениями. Сейчас один из театров заказал мне «Отелло»[8]. Надо жить. Еще раз спасибо. Не старайтесь меня разубеждать. Писать письма мука и бесполезное дело, я их от Вас не жду. Вы и так слишком много мне сказали. Еще раз спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Русская речь», 1990, № 1. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Даниил Семенович Данин был свидетелем и участником наступления 12 июля 1943 г. и боев за освобождение Орла, отразившихся в «Смерти сапера», и написал Пастернаку после публикации его стих. в «Красной звезде» (10 дек. 1943).

[2] Стих. «Смерть сапера» было написано по материалам «Дневника военных действий», привезенного с фронта, и впечатлениям самой поездки. Этот эпизод должен был войти в писавшуюся в то время поэму «Зарево».

[3] Пастернак приводит далее примеры редактуры, которой подверглось стих. при публикации в «Красной звезде».

[4] Данин писал: «Здесь на фронте, а, может быть, и вообще, в эти годы — не знаю! — томящее одиночество овладевает душой <...> И если не сверху и не искоса, а в упор взглянуть на солдата и офицера, и попробовать понять претворение великой цели этой войны в чувствах, рождаемых самой войной в ее участниках, вероятно, окажется, что именно ради уничтожения этого военного одиночества и ради завоевания этой человеческой судьбы люди идут на то, на что шел Ваш сапер».

[5] Ответ на слова Данина: «Но самое поразительное — это свобода, с какой прошли Вы по тонкому гребню над пропастью банального, ни разу не оступившись. Это — то естественное, живое, изменчивое сочетание пульсирующего поэтического выражения и стремительно нарастающего содержания и смысла, которое есть только "в опыте больших поэтов". Я думаю, что в нем одном — оправдание поэзии, ее прелесть и необходимость, и только благодаря этому сочетанию, этому "опыту", общественная полезность, — которую с такой легкостью приписывают чему угодно, и которая в 99 случаях оказывается пустой досадной иллюзией, — становится достоянием поэзии».

[6] Речь идет о критике, которой подверглись повесть М. М. Зощенко «Перед восходом солнца» и поэма Асеева «В добрый час».

[7] «На ранних поездах». М., 1943. Книга была послана с надписью: «Даниилу Семеновичу Данину с пожеланием счастья. *Б. Пастернак*. 30. XII. 43».

[8] Малый театр, отказавшись от постановки «Ромео и Джульетты», заказал Пастернаку перевод «Отелло».

934. П. А. ВАСИЛЬЕВУ

26 января 1944, Москва

Благодарю Вас за горячее, содержательное письмо[1]. Какой у Вас выразительный почерк, говорящий о лице и характере. Желаю Вам счастья, военного и в мирной жизни.

«Поезда», книжка незначительная, запоздалая, случайная и неполная[2]. Вы все сами прекрасно понимаете. Будь на то наша воля, я писал бы большие вещи в прозе, где все было бы рассказано, насколько дано мне. Весь реалистический запал приходится вкладывать в Шекспира. Итак, еще раз всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю.

Петр Афанасьевич Васильев, юрист и сотрудник разных газет и автор нескольких литературоведческих статей, пошел добровольцем на фронт, откуда написал Пастернаку 4 янв. 1944 с просьбой прислать ему книжку «На ранних поездах».

[1] В письме Васильев признавался в пожизненной любви к поэзии Пастернака, чьи книги взял с собой на фронт, но они погибли во время бомбежки.

[2] Надпись на книге: «Петру Васильеву с наилучшими пожеланьями от всего сердца. *Б. Пастернак.* 22. I. 44. Москва». В ответ на благодарность за книгу Пастернак послал другое письмо, пропавшее на почте. Во избежание гибели книги Васильев переслал ее жене: «Отослал Тебе двумя заказными письмами экземпляр Борисовых "Поездов" и его записку, в которой он таков, каким я его себе всю жизнь представлял: простой, мучительный, ясный (при всей невнятице), гениальный, благородный и вежливый (последнее свойство да будет отнесено к разряду высших добродетелей)».

935. В. Д. АВДЕЕВУ

3 февраля 1944, Москва

3. II. 44

Валерий Дмитриевич, дорогой мой! Как страшно летит время, как редко удается последовать первому порыву! Сколько таких случаев я упустил, — например, отказал себе в радости поздравить Вас вовремя с Новым годом, как это сделали Вы, Ваша чудная и несравненная семья.

Сильно подмывало ответить Вам тотчас по прочтении Ваших дорогих строк, написанных перед Новогоднею ночью. Ах как я все увидал и почувствовал: комнаты, двери, голоса, вечернее освещенье, приготовления в сенях и кухне, тихую праздничность! И сырой ветер оттепели в темноте около парка и на углу, где почта, слепой воздух зимней ночи, и острое чувство дали и воли, до такой степени всезначащее, что оно становится физическим символом существования.

Мы приехали тогда взбудораженные историческим вихрем, смысл и направление которого я, наверное, идеализировал и слишком переоценил. Все было взрыто во мне, — благодарная почва для обновленного, внутренне освеженного восприятия всего на свете, как в молодости или в поворотные моменты каждого из нас. Вы, Ваш отец и брат, Ваша невестка, Ваш дом и круг были тогда для меня жизнью в жизни, явлением близкой силы и равнозначительного порядка, праздником души, в котором мне давно уже

отказывал город моего уже теперь такого далекого рожденья и такой долгой жизни. Я не могу забыть Вас и всего вокруг Вас, ну хотя бы удивительной резьбы на коньках и наличниках некоторых домов. Физиономия некоторых углов особенно выразительных врезалась в меня на всю жизнь. Что же сказать о людях! Я произвольно вызываю в себе целые движущиеся улицы со всеми встречными, для некоторых часов постоянными. Некоторые лица, являвшиеся радостью глаза, стоят передо мной так отчетливо, что я их мог бы нарисовать. Я жалею, например, что не познакомился с одною служащей почты, она чаще всего сидела за денежным окошком и распоряжалась переводами, — девушка с открытым, быстрым, легким и умным лицом[1].

Не удивляйтесь, что при такой верности месту, где меня уже нет, я почти не пишу Вам. Я долго кочевал и переехал на квартиру в Лаврушинском очень недавно. Кроме того, я в своих занятьях мечусь от одного к другому, и расстоянья между этими областями очень велики. Как это ни странно, — потому что он почти противопоказан, по-прежнему меня кормит Чистопольский старик Шекспир. Режиссер Охлопков заказал мне Отелло[2], и никогда б я не принял этого заказа, если бы все было так, как оно Вам видится сквозь Ваши розовые очки. Увы, две публикации в «Правде» и «Красной звезде» — случайности: я вслед за ними дал по их желанию несколько других вещей немного посвободнее и поразнообразней, и вот они лежат и залеживаются, и подвергаются обнюхиванью со всех сторон[3], как бы чем не запахло. Это так глупо и противно!

Вообще, ничего не изменилось. Осенью было некоторое теченье, ложно понятое некоторыми редакциями в сторону большего приближенья к человечности и правде. Ничуть не бывало. Всем у кого есть лицо и кто хоть сколько-нибудь успел проявить себя за этот короткий промежуток, сильно досталось (проборы и вызовы в ЦК), это, главным образом, Зощенко, Сельвинский и Асеев. Но эта программа допускает отклоненья и, например, на пленуме Союза писателей, который сейчас происходит и на котором вместо Фадеева выбран Ник. Тихонов, грязью обливают главным образом Федина и меня, между прочим и за Чистополь, что мы его «возлюбили», «окопались», за «возвращенье в него» и «вечера».

Дорогой мой Валерий Дмитриевич, это совсем не то, что я предполагал Вам написать, но то из головы вылетело (что-то о себе), да это и естественно: такая суматоха! Ах, ах все так непохоже

на то, что Вам рисует Ваше дружелюбье! Преоскорбительнейший анекдот с подлогами и клевета, которой даже не хочется опровергать, такими это грозит вонючими осложненьями и так это далеко, утомительно и неосуществимо. Но это не со мной одним.

Но в общем, когда Вам не насолят и не подгадят, жить можно: годы откладывают какие-то познанья, изощряется уменье. У меня очень хорошие отношенья с двумя-тремя театрами (один из них Мхат). Очень хорошие, как с Вами. Тут-то я по-видимому и приближаюсь к тому, чем хотел поделиться с Вами и даже начинаю вспоминать, чем. Но время позднее. Неужели и на этот раз письмо останется неотосланным. Нет уж пусть лучше отойдет. Поэтому до следующего раза. Что Вам надо от меня обнять папу, Арсения Дмитриевича и всех Ваших, об этом Вы догадались. Но выйдите также в честь меня на особую прогулку, зайдите в дом учителя и на почту и посмотрите любящими глазами на всех и вся, на ком я останавливал свой взгляд[4].

Спасибо за письмо. *Ваш Б. П.*

Крепко крепко вас всех целую.

Впервые: Чистопольские страницы. Казань, 1987 (с купюрами и неверной датой). — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41).

[1] О своем «долге перед Чистополем» и запомнившихся тамошних людях Пастернак писал 26 февр. 1951 учащимся чистопольской средней школы № 1: «Я всегда любил нашу глушь, мелкие города и сельские местности больше столиц, и мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их увидел зимой 1941 г., когда приехал к эвакуированной в него семье. Я не говорю о личных связях, как, например, о дружбе с замечательной семьею Авдеевых или о каких-нибудь других знакомствах, это не зависит от размера городов и от поэтичности природы, это ценности самостоятельные. А я имею в виду именно связи безымянные, встречи с незнакомыми на улице, общий вид города, деревянную резьбу на окнах и на воротах. Все это мне нравилось, все это меня душевно питало» (Чистопольские страницы. Казань, 1987. С. 275).

[2] Перевод «Отелло» был сделан, но Театр Революции, где Охлопков был главным режиссером, не поставил его.

[3] Имеются в виду публикации «Зарево. Вступление в поэму» в «Правде» (15 окт. 1943) и стих. «Смерть сапера» и «Разведчики» («Летний день») — в «Красной звезде» (9 февр. 1944). Первая глава поэмы «Зарево», заказанная «Правдой», осталась неопубликованной.

[4] Не получив ответа на это письмо, Пастернак в весенней открытке вновь вспоминает свою чистопольскую жизнь: «12. VI. 44. Африканская жара, и я вижу, как заливает солнце почту на углу Урицкого, и Дмитрий Дмитриевич пересекает парк к себе по диагонали через лазейку в заборе. Что это от Вас ни слуху ни духу? Я писал Вам зимой, Валерий Дмитрие-

вич, и рад был бы, если бы оказалось, что письмо пропало; до того оно было жалкое и недалекое. Все те огорченья давно миновали. Все-таки все как-то меняется кругом. Я думаю, после войны станет легче. Я часто вспоминаю Вас всех и очень люблю. Как Арсений Дм., Нина Гавр, как здоровье Дм. Дм., как Ваши ученые работы? *Ваш Б. П.»* (там же. С. 259).

936. Н. С. ТИХОНОВУ

21 марта 1944, Москва

Дорогой Николай!

Бедствует и, что называется, тает вдова Андрея Белого, Клавдия Николаевна Бугаева. Она получает пенсию в 200 руб. и голодает вдвоем в сестрою[1]. Мне кажется можно было бы придраться к тому факту, что это с любой точки зренья и в любой концепции крупная фигура прошлого, большой поэт, друг Блока, и выдающийся представитель символизма, и повысить в уважение его памяти эту пенсию хотя бы рубл<ей> до пятисот. Я знаю, что все это зависит не от тебя. Поговори с Поликарповым[2]. Лично я никогда не решился бы беспокоить тебя по собственному поводу, чтобы не заподозрить себя в злоупотреблении нашей былой дружбой, и прости, что мне пришлось изменить этой сдержанности. Сердечный привет.

Твой Борис

Я не знаю, как передадут тебе это письмо, но кто подаст (может быть Вера Оскаровна Станевич-Анисимова[3], моя добрая знакомая), тот и будет следить за дельнейшим движением этого дела.

21. III. 44

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

[1] Елизавета Николаевна Кезельман.

[2] Н. С. Тихонов в 1944 г. стал секретарем Союза писателей, Д. А. Поликарпов — с 1944 по 1946 г. — оргсекретарь правления Союза писателей.

[3] В. О. *Станевич* — поэтесса и переводчица, жена Ю. П. Анисимова.

937. Н. ТАБИДЗЕ

30 марта 1944, Москва

30. III. 44

Дорогой мой друг Нина, целую, целую, целую Вас. В своем письме я Вас искренне просил простить меня уже за то, что я так далеко от Вас в это трудное время в пространстве, в своих заботах,

в возможной помощи. А о том, чтобы Вам еще и тратиться на нас, да еще так крупно, как Вы это умеете, безумная душа, — как можно это позволять и об этом думать! И только я это Вам написал, как Вы послали целый караван товаров с Кротковым, которого, бедняжку, дорогой ограбили. И только я отошел от *этого* обморока, как пришел посыльный с чаем, пудом винных ягод и шампанским от Вас! Я не мог с должной любезностью поблагодарить лицо, столь благородно тащившее в Москву эти тяжести при неудобстве нынешнего сообщенья, потому что имя профессора у Вас написано не вполне разборчиво, а посыльный из гостиницы не знал его фамилии. У профессора сложится обо мне мненье, как о неблагодарном грубияне. Так же невыгодно расскажет Вам, наверное, обо мне Верико Анджапаридзе[1], с которой я как-то оказался рядом в темноте театральных кресел.

Я очень много работаю последнее время, отчего и лишен счастья и возможности писать Вам. Я часто переутомляюсь. Это внешне старит меня и делает рассеянным. Таким меня увидела Верико. Я не сразу узнал ее, узнав, не сразу вспомнил, кто она и ее имя. Все это должно было произвести на нее жалкое и дурацкое впечатленье. А в передаче, она имела право еще это и преувеличить.

Дальше позвольте мне писать с полным эгоизмом, на который я имею право. Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, это мое отношенье к земле и поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне, он для меня почти то же, что для Вас. Когда я прочел из Ваших строк, что он жив, мой долг сознаться Вам, что я не в состоянии верить этому счастью. Как раз в последние годы, и особенно военными зимами, мне показалось, и я примирился с мыслью, что я живу в большом, большом помещении, называемом миром, где его больше нет. Это совершенно видоизменило для меня действительность. С этого сознанья началось именно то, что могла заметить во мне Верико. Я стал суше, мужественнее, отчетливее. Но у этого не одни дурные стороны. Эта горечь дисциплинировала меня. Если бы это было на мусульманском Кавказе, я бы сказал, что складочка мстительности легла на мое лицо и чуть-чуть подсушила его. Но так как я другой и по роду своей деятельности сам нахожусь под действием смягчающей силы, учащей всепрощенью, то наоборот. Допущение этой утраты прибавило мне еще какой-то вершок нравственного роста и сделало молчаливым и деятельным, точно я сделался чем-то вроде «брата милосердия», поглощенным работою и угрюмым.

Если то, что Вы пишете, имеет под собою хоть какое-нибудь вероятье, счастье или милость Божия еще безмернее, чем и без того они на каждом шагу меня поражают. Так же просто я не в силах это принять, я к этому не подготовлен.

Нина, милая, простите, что я пишу все это Вам. Это, вероятно, чудовищно раздирать на куски живое мясо, Вас, себя и в каком-то смысле его. Страшно и то, что я позволил себе заговорить об этом так на лету, второпях. Но это потому, что все равно его и Ваша жизнь, по месту в истории и природе, по сделанному, по проявленному, — поэма. В любом варьянте при любых условьях! И моя. И все равно она в слезах, от счастья ли или от горя[2]. Простите. Крепко обнимаю Вас. *Ваш Боря*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 24950, 33).

[1] *Верико Анджапаридзе* — грузинская актриса.

[2] Вслед за этим письмом была послана открытка с извинениями: «2. IV. 44. Дорогая Ниночка! Я не понимаю, как мог я написать и отправить Вам вчерашнее письмо. Это объясняется тем, что иногда мне бывает очень грустно от усталости и от ощущенья безуспешности или полной бесцельности моих лучших усилий. Простите и не считайте меня зверем, что я дал волю пессимизму, не принимая во внимание того, что должны стоить Вам эти жалобы и признания. Поцелуйте Ниту, от души желаю всего лучшего ей и ее детям. Еще раз простите меня. *Ваш Боря*» (ГМГЛ, № 25950, 32).

938. А. С. ЩЕРБАКОВУ

5 мая 1944, Москва

5. V. 44

Дорогой Александр Сергеевич!

Опять пишу Вам, простите. Трудно, трудно. Вот пример. В туберкулезном институте умирает от последствий костного туберкулеза старший Зинин сын с ампутированной ногой. Семью год, как открепили от Кремлевской больницы, и хоть расшибись, не могу добиться у Бусалова их возвращения. И такого много, это капля в море. Но не за тем обращаюсь я к Вам.

Прочтите прилагаемое стихотворенье[1]. Не представляю, чтобы оно ничего не сказало Вам. Его готовы были напечатать к 1-му мая в «Правде» и в «Труде». В первой не напечатали, потому что «Труд» отказался уступить его, а в «Труде» — из обиды на то, что я просил переуступить его «Правде». Со мной обошлись, как с мальчишкой. И действительно, что я для них?

Я много работал последнее время. Писать большие вещи, драматические и в прозе, как мне бы хотелось, еще рано. Но я пишу много статей и стихов и совсем по-новому.

В лучшие годы удач я изнемогал от сознания спорности и неполноты сделанного. Это естественно. То, что было крупно и своевременно у Блока, должно было постепенно выродиться и обессмыслиться в Маяковском, Есенине и во мне. Это тягостный процесс. Он убил двух моих товарищей и немыслимо затруднил мою жизнь, лишив ее удовлетворенности. Этого не знают наши подражатели. Каково бы ни было их положение, все это литературная мелочь, незатронутая испепеляющим огнем душевных перемен, умирания и воскресений.

Все это старое я сбросил, я свободен. Меня переродила война и Шекспир. Вероятно формой я владею теперь уже во сне и не сознаю ее и не замечаю. Я поглощен содержанием виденного и испытанного, историческим содержанием часа, содержанием замыслов.

Я ничего не прошу. Но пусть не затрудняют мне работы в такой решающий момент, ведь я буду жить не до бесконечности, надо торопиться. Актер приготовляет вечер из моих новых военных вещей, ему не расклеивают афиш, «Литература и искусство» и «Вечерняя Москва» не печатают его анонсов: у меня нет вывески. Надо напомнить, что я не дармоед, даже и до премии и без нее. Поликарпов и Тихонов этого не знают, а как я дохну́ и двинусь без них (лето, деньги, переезды, огороды)!! Надо это напомнить Ярцеву в «Советском писателе»[2], у которого я хочу издать для действительных читателей, а не для любительских лотерей лучшее из «Ранних поездов» и стихи, статьи и очерки этого года (в одной книжке). Хорошо было бы дать движение сборнику и переводам в Гослитиздате и в театрах, где восхищаются и плачут над моим Шекспиром, но пока без всякой пользы для меня и пр. и пр.

Простите, что занял у Вас так много времени и говорю с Вами без обиняков. Вы единственный, обращение к кому не унижает меня.

Неизменно верный Вам и любящий Вас *Б. Пастернак*

Впервые: «Литературный фронт». История политической цензуры. 1932–1946 гг. Сб. документов. М., 1994. — Автограф (РГАНИ, ф. 17, оп. 125, д. 285). Резолюция: «Т. Александров. Выясните, что Пастернак хочет конкретно. *А. Щербаков.* 7/5».

[1] Имеется в виду стих. «Весна» («Все нынешней весной особое...»). Возможно, после заступничества Щербакова стих. было опубликовано в «Правде» 17 мая 1944.

[2] Георгий Алексеевич *Ярцев* — директор изд-ва «Советский писатель».

939. Д. М. ЛУЗАНОВУ

Начало мая 1944, Москва

Дорогой мой Донат Матвеевич,

что с Вами! Н. А. Голубенцев сообщил мне о Вашей болезни[1]. Вы не можете себе представить, как меня это огорчает! Но если бы это было единственное, что я Вам могу сказать, я бы Вам не написал! Я бы нахмурился или всплакнул и Вы бы об этом не узнали. Мне хочется передать Вам часть моей веры и убеждения в том, что Вы обязательно оправитесь, и нынешнее Ваше состояние на долгое время станет далеким изглаживающимся воспоминанием. Я знаю множество случаев паралича и ударов, которые проходили бесследно, во всяком случае примеров излеченных и побежденных на моей памяти несравненно больше, чем неизлечимых. Позвольте Вам пожелать, чтобы Вы как можно скорее убедились в моей правоте.

Вы всегда были таким жизнерадостным человеком, что я уверен в конечном исходе нынешней страшной схватки существа Вашего и организма за существованье. И именно обращаясь к этому ясному и артистическому чувству жизни, отличающему Вас, рад сообщить Вам, наскоро и вкратце. Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступленья этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительное огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет мне все остальное: неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона в печати и политике и пр. и пр.

Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движеньем.

Еще поспешнее, чем в предыдущих строках, скажу Вам, что нынешняя молодежь будет свидетельницей того, как широко и ровно будет дописано самое отрывистое и гениальное в творчестве позднего Скрябина или Андрея Белого, отдельные озаренья и разобщенные восклицания без закономерно катящегося развития, обрекавшие их авторов на схематизм и недостаточную содержательность, начало, почти не затронувшее Блока, совершенно погубившее Хлебникова, начало, составляющее осуждение Маяковского и уничтожающее почти все, сделанное мной, за исклю-

ченьем самых первых попыток до 1917 года. Все это были не столько слова, сколько орудия речи, отдельные, с болью и кровью родившиеся буквы, звуки и нерасчлененные понятья того будущего языка, который станет обычным для свободного мышления и восприятия ближайшего века.

Рано говорить, но никогда я не работал так легко, много, разнообразно и с таким увлечением, как сейчас. Только теперь, собственно говоря, и научился я писать. С тех пор, как в политике пришлось, пусть и неискренно, взять национальную ноту и состроить соответствующую мину, это было благодеяньем для искусства, и теперь, после его вынужденного допущенья на землю, его с нее больше не согнать[2]. Война имела безмерно освобождающее действие на все мое самочувствие, здоровье, работоспособность и чувство судьбы. Разумеется, все еще, при дикостях цензуры и общего возобновившегося политического тона ничего большого, сюжетного, вроде пьесы, романа или рассуждений на большие темы писать нельзя, но и пускай. Это все тот же промысел Божий, который в моем случае уберег меня от орденов и премий: подумайте, какой был бы ужас, если бы тем же движеньем, каким получало у нас поддержку столько ложного и незавершенного именно за свою лживость, было бы освящено и рекомендовано самое ложное и неудачное во мне, весь нереалистический мой период после «Барьеров», все эти уступки Маяковскому, моде, эффекту, политическому гнету, вынужденная бессодержательность и схематизм (потому что ничего нельзя сказать) Спекторского, Высокой болезни, Волн и пр. Нет, у меня сейчас чисто и хорошо на душе. Я нахожу себя в первых страницах 1912–17 годов и в том новом, что делаю сейчас, что начал я «Переделкинским циклом» Ранних поездов и чем обязан Шекспиру и войне, которая чувствовалась тогда уже и до июня.

Простите, друг мой, что занял столько места собою и профессиональною ерундой, но это естественно. Сквозь все это, наверное, хотелось мне сказать Вам о тех более общих счастливых перспективах, которыми дышим я и Вы и наши друзья и Ваша жена, но наспех обо всем этом говорить невозможно, и я поступил не по-писательски, когда, не щадя своего имени и слога, коснулся этого в этой без конца растянувшейся письменной фразе. Но Вы стоите и большего самопожертвованья. Передала ли Вам Алекс. Вас. Смирнова «Ранние поезда»? Вот Вам и Голубенцеву 10 экземпляров того же самого. Распределяйте, кому найдете нужным с обязательной оговоркой, что «значимы» только переделкинские.

Дорогая Евдокия Николаевна![3] Привет. Сообщите, пожалуйста, открыткой хотя бы, но не откладывая, как здоровье Доната Матвеевича. И будьте оба здоровы. Сердечный привет от меня и Зинаиды Николаевны.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Независимая газета», 26 сент. 1991. — Автограф.

Донат Матвеевич Лузанов — актер и чтец, в программу которого входил спектакль «Морской мятеж», составленный по поэме Пастернака «Девятьсот пятый год». Включал в свои выступления также лирику Пастернака. В феврале 1944 г. у Лузанова, пережившего блокаду Ленинграда, случился инсульт, в декабре он скончался в возрасте 46 лет.

[1] Николай Александрович *Голубенцев* — чтец, друг Д. Лузанова.

[2] Речь идет о допущенной Сталиным в критический момент войны теме родины и патриотизма, запрещенных советской идеологией, как проявления шовинизма. Ленинским лозунгом было «Пролетариат не имеет отечества». На этом основании упоминания России в военных статьях и стихах Пастернака снимались цензурой.

[3] Жена Д. М. Лузанова *Евдокия Николаевна* была режиссером выступлений своего мужа. Она отозвалась на письмо Пастернака, переданное А. Н. Голубенцевым, 14 мая 1944, и писала, что Донат Матвеевич был растроган и плакал, когда она прочла ему надпись на книге «На ранних поездах».

940. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 июня 1944, Москва

12. VI. 44

Дорогая моя Оля, не удивляйся, что я не пишу тебе![1] Ужасно много кругом дел, народу, забот, чепухи, помех и трудностей. Между тем надо и поработать, и немного поболеть и прочее. Зина сбилась с ног, она и в городе и на огороде; месяц уже как не видал Ленички, — я в городе: деньги, деньги. Окольным путем вдруг узнаешь что-нибудь о тебе. Так, из Новосибирска (?!) привезли слух, будто в квартиру еще при тете попал снаряд. Этим объяснил я себе сообщенье через дворничиху. Воображаю, как тебе пусто и одиноко, бедная моя! И опять у вас война началась: вчера салютовали Теориокам.

Крепко тебя целую, твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] О. М. Фрейденберг сообщила Пастернаку об инсульте, который случился с ее матерью 25 нояб. 1943 г., на что последовала телеграмма: «Убит известием Душой с тобою. Надейся. С Шуриной тещей было полгода то же самое, выздоровела. Обнимаю целую = *Боря*» (2 янв. 1944).

Но чуда не произошло, 9 апр. 1944 г. А. О. Фрейденберг скончалась. Пастернак отозвался телеграммой: «Бедная Оля разделяю твое горе и одиночество. Оплакиваю дорогую тетю вместе с тобой = *Боря*» (5 мая 1944; там же. С. 230).

941. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 июля 1944, Москва

30. VII. 44. Дорогая Оля! Как тебе не стыдно писать мне такие эпиграфы и страшные слова! Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас?[1]

Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно тоже туда перееду посмотреть на тебя на нашем огороде, среди зелени, Зины, Ленички, живущих у нас Асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по непреодолимым каким-нибудь роковым причинам. Лето нежаркое, каждые три дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику, Стасику, пианисту, ученику Консерватории, на остальные три-четыре дня, и уезжает, с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство; ходить за созданьем своих рук, огородом и пр. и пр. Так она и мечется. А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города, я кончал перевод Отелло для одного театра[2], который меня подгонял и торопил. На днях, когда получу их из издательства, пошлю тебе своих «Ромео» и «Антония»[3].

Горе мое не во внешних трудностях жизни, горе в том, что я литератор, и мне есть, что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет и при данных условиях не будет и быть не может. Зимой я подписал договоры с двумя театрами на написанье в будущем (которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени) самостоятельной трагедии из наших дней, на военную тему[4]. Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станет немного свободнее. Однако положенье не меняется, и можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какого-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь, впрок, отложив печатанье на неопределенное время.

Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети[5]. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ, обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там чего-нибудь? Завтра я повторю запрос.

Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле, мне хочется повидать тебя, здесь рядом у нас, а часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать.

Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословьем. Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Серьезно — соберись, приезжай.

Крепко целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Имеется в виду открытка: «16. VI. 44. Дорогая Оля! Я не написал главного. Приезжай к нам! Будем жить на даче по-бивуачному. Без обстановки, но с огородом. Окучивать картошку, полоть грядки, сводить червяка с капусты. При тебе Ленька не будет таким дураком. Ей-богу, подумай. Сам-то я пока в городе, но это несущественно, и потом в июле я, наверное, перееду. А ты отдохнешь. Напиши мне, что ты делаешь? А я перевожу против воли Отелло, которого никогда не любил. Шекспиром я занимаюсь уже полубессознательно. Он мне кажется членом былой семьи, времен Мясницкой и я его страшно упрощаю» (там же. С. 230).

[2] Перевод «Отелло» делался по заказу Театра Революции, но поставлен не был.

[3] Перевод «Ромео и Джульетты» вышел отдельной книгой в августе 1944 г., Пастернак заранее, 25 мая, заказывал у Чагина авторские экземпляры: «Скоро, говорят, выйдет «Ромео». Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне отпустили за наличный расчет 100 экз. книжки, она мне очень потребуется для театров и за границу, — среди этой сотни несколько нарядных, на хорошей бумаге и в переплете» (Альманах библиофила. Вып. XI. М., 1981. С. 105; местонахождение автографа неизвестно). «Антоний и Клеопатра» вышли только в ноябре.

[4] Были заключены договоры с С. Д. Иловайским из Новосибирского театра «Красный факел» и А. Я. Таировым в Камерном.

[5] Пастернак послал 4 июля телеграмму: «В апреле скончалась от инсульта тетя Ася, адрес Оли Ленинград Канал Грибоедова 37 квартира 9. Остальное в порядке, восхищены недавней великолепной и победоносной операцией в Нормандии, через несколько дней воспользуюсь случаем послать больше подробностей в письме, тем временем сообщите о здоровье папы, сердечно обнимаю вас, ваших детей и мужей» (перевод с англ. — Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 228).

942. С. ЧИКОВАНИ

12 августа 1944, Переделкино

12. VIII. 44

Дорогой Симон!

Вы просто с ума сошли! С какой это стати мне целый воз вина и сулгуни! Я просто не знаю, куда деваться от стыда! Недавно (в конце августа) я переехал на дачу, и это чистая случайность, что тов. Джибладзе поймал меня по телефону в тот самый миг, как я, в виде редкости, приехал на несколько часов в город и отпирал дверь квартиры (я с лестницы услышал его звонок). Сердечное спасибо за эту безумную щедрость.

У меня Ваши чудесные: «Сомнение», «Гванца», «Гнездо ласточки» и «У камина Важа Пшавелы», мне их дала Хитарова[1], мне хочется сделать их. Когда у меня будет возможность заняться ими, и они будут готовы, я извещу Вас.

Вы знаете, я все-таки не чужд мысли побывать у Вас, но через месяц-полтора, ближе к ноябрю. Если бы я поехал, то не в Тбилиси, а куда-нибудь вроде Цинандали или Ликан, и обязательно с Зиной и Леничкой, — видите, какие претензии, и как это было бы ужасно, если бы за всем этим не было так *мало* вероятий. Наверное, дела сложатся так, что ни мне, ни Зине не удастся выкроить требующегося для этого времени по домашним и иным причинам. Во всяком случае, в виде мечты, если это будет возможно, то случится после того, как я сделаю переводы по Хитаровским подстрочникам, и этот месяц среди Вас буду заниматься чем-нибудь оригинальным, своим, или читать и ничего не делать. Деньги у меня будут отсюда, это не составит вопроса, и надо будет лететь, а не поехать[2]. Еще раз горячо благодарю Вас и Марику за все. Поцелуйте Нину, Георгия Николаевича и Евфимию Александровну, а также передайте, пожалуйста, Гришашвили и Чичинадзе, что я с радостью и благодарностью получил их отличные книги, и, кроме того, гонорар за Гришашвилиевский перевод[3]. Крепко обнимаю Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 4).

[1] Софья Мосесовна *Хитарова* — редактор и переводчик отдела национальных литератур в Гослитиздате.

[2] Мечта о поездке в Грузию для отдыха возникала регулярно, но так и не была осуществлена. «Дорогой Симон, — писал Пастернак 3 авг. 1945, — как ни хочется Зине побывать у Вас со мной и детьми, это едва ли будет

осуществимо. Более того, если даже не дай Бог рука у меня не пройдет (мне гораздо лучше), то даже и мне одному не удастся съездить в Цхалтубо. Слишком трудно сдвинуться с места и пожертвовать временем на дорогу, слишком много неотложного: работ, забот и хлопот, слишком ограничены силы и неоткуда их взять. А поездка в Грузию равносильна для меня крайнему творческому освобождению, поездка к Вам есть для меня поездка внутрь себя, то есть это заветная моя мечта художника, от осуществления которой я никогда не откажусь. Итак только придется ее отложить опять на год» (ГМГЛ, № 147, 5).

[3] Иосиф *Гришашвили* — грузинский поэт и историк; в 1934 г. Пастернак перевел два его стих. — «Судьба гения на Тифлисском базаре» и «Прощание со старым Тифлисом».

943. В. Д. АВДЕЕВУ

12 ноября 1944, Переделкино

12. XI. 44

Дорогой Валерий Дмитриевич! Благодарю Вас за письма и всех Ваших за телеграмму. Вот я и оказался зимующим в Переделкино, как когда-то[1]. Это особенно удивит Арсения Дмитриевича, который видел эти роскошные помещенья, но едва ли представляет себе эти караван-сараи приспособленными для зимней жизни. Посылаю Вам «Ромео» и «Антония»[2]. Нечего и распространяться, как все это связано с Вами, это две чистопольские зимы и вся внутренняя чистота и душевная свобода, которыми я среди вас наслаждался. Помнится «Ромео» интересовал и Арсения Дмитриевича. Как только будет еще экземпляр, пошлю и ему. Сердечный привет всему Вашему дому.

Ваш Б. П.

Впервые: Чистопольские страницы. Казань, 1987. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41).

[1] Пастернак провел в одиночестве в Переделкине зимы 1937–1940 гг. Из-за необходимости ремонта квартиры в Лаврушинском пер. после освобождения ее от зенитчиков зиму 1944–1945 г. Пастернак снова проводил один на даче.

[2] На экземпляре «Ромео и Джульетты» (М., ГИХЛ, 1944) Пастернак сделал надпись: «Дорогому Валерию Дмитриевичу Авдееву, другу, близко участвовавшему в судьбе этой и следующей рукописей, помощнику и утешителю, от всего сердца. *Б. П.* 16. XI. 44. Переделкино». На «Антонии и Клеопатре» (М., ГИХЛ, 1944): «В. Д. Авдееву на память о чистопольских зимах и Вашем милом, поразительном доме. *Б. Пастернак.* 16. XI. 44. Переделкино» (там же. С. 255).

944. С. И. ЮТКЕВИЧУ

15 декабря 1944, Переделкино

15. XII. 44. Переделкино

Дорогой Сергей Осипович!

Несколько раз я Вас безуспешно добивался по телефону К-3-66-92, который Вы мне однажды дали. Сообщите, пожалуйста, моей жене (В-1-77-45), по какому номеру Вас искать, если бы это было нужно. Когда недели 3 тому назад я сообщил о своих денежных предположеньях Ник. Павл. Акимову[1], он нашел сумму непривычной. С тех пор дело заглохло. Что в этом отношении слышно? Нужен ли Вам Генр<их> IV?[2] Мне хотелось бы заключить договор в самом начале года, чтобы аванс можно было получить в январе. Может быть вместо этого всего провести заказ в Комитете по Делам Искусств по обычной форме, причем не на переделку обеих частей, а пока только на перевод одной первой (а впоследствии и второй). За эти пятиактные переводы они мне до повышенья ставок платили по 15 000. Бессмысленно мне терять на двойной, редакторски усложненной и трудной работе, когда я могу втрое легче и больше получить за нее по частям. Когда я с Вами разговаривал, я не знал перевода Минского[3]. Великолепный, живой перевод, имейте его в виду.

Что слышно с Отелло? Однажды Ник. Пав. сказал мне, что Вы ищете и еще не нашли Дездемоны, и нет ли у меня такой на примете. Вопросами ритма, речи и движенья в каком-то самостоятельном направлении занимается и показывала в ВТО свои работы бывшая артистка (кажется) 2-го МХАТа Мария Александровна Татаринова, дочь Скрябина. О ней очень хорошо отзываются и чрезвычайно интригующе. Здесь в Переделкине у меня нет ее телефона, если полюбопытствуете, справьтесь по № К-4-29-88 в Скрябинском музее. Я не знаком с ее поисками только *за недосугом*, как я вообще ничего не знаю самого стоющего и того, что должен был бы знать.

Получил ли Ник. Пав. экземпляр Гамлета, которым интересовался? Куда и отчего Вы пропали? Не обиделись ли Вы за что-нибудь на меня? Передайте жене для меня что-нибудь радующее и полезное. Я может быть не попаду в город до конца года и может быть вчерне докончу первого Генриха, которого бешено гоню, чтобы в январе у меня не получилось прорыва.

Жму Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2953, оп. 1, ед. хр. 543).

Сергей Иосифович Юткевич — театральный и кинорежиссер; в 1940-х гг. работал в ленинградском Театре Комедии у Н. П. Акимова (поставил «Дорогу в Нью-Йорк» Ю. Малюгина); постановщик «Отелло» в переводе Пастернака в кино.

[1] Николай Павлович *Акимов* — главный режиссер Театра Комедии, художник.

[2] Разговор с Н. П. Акимовым касался одночастной инсценировки, которую Пастернак собирался сделать по двум частям хроники Шекспира «Генрих IV». Работа была сделана позже по заказу Малого театра, но осталась нереализованной.

[3] Перевод хроники Шекспира «Король Генрих IV» поэта Н. М. Минского вошел в «Полное собрание сочинений» Шекспира, изд. Н. Гербеля, СПб., 1887–1888 гг.

945. С. Н. ДУРЫЛИНУ

19 декабря 1944, Переделкино

19 декабря 44 г. Дорогой Сережа!

Горячо и сердечно благодарю тебя за твою книгу о Качалове[1], которую, собираясь сегодня в город, рассчитываю получить.

Мои Шекспиры пока еще не посягают на твое время. Они на случай, что МХАТ с Божьей помощью покажет когда-нибудь Гамлета[2] и в обсуждении спектакля ты пожелаешь, может быть, строчкою-двумя коснуться текста и общего духа постановки, как он сложился из моего пониманья. Заветное желание мое, чтобы тогда у тебя было некоторое представление об общем направлении этих работ, взятом в Гамлете еще очень осторожно и робко, а потом смелее, и всего успешнее в Отелло, рукопись которого будет лежать для тебя в «Литературной газете» и выдана по первому требованью.

Детгизовский Гамлет, которого я тебе посылаю, худший из появившихся[3]. Вообще, собственный мой пересмотр Гамлета еще впереди. Те же спорные, поспешные и мелкие измененья, которые по разным побуждениям я в него вносил эти годы (и которые, может быть, портили его) — непродуманные и полусонные уступки, которым я настолько не придаю значенья, что во МХАТе, где я всегда к ним готов на ходу, я их даже не записываю и надеюсь получить когда-нибудь в собранном виде от суфлера[4].

Какие обстоятельные оправданья, как, следовательно, я тебя высоко ставлю и боюсь.

Крепко обнимаю тебя и желаю радости, счастья в наступающем новом году.

Твой Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] С. Н. Дурылин. «Василий Иванович Качалов». М.–Л., «Искусство, 1944.

[2] Во МХАТе возобновилась подготовка «Гамлета» в переводе Пастернака. Актеры и режиссеры продолжали требовать новых вариантов текста, о чем свидетельствует записка к Б. Н. Ливанову: «8 VIII. 44. Дорогой Борис! Отраженно по себе догадываюсь, что позавчера были твои именины, с чем тебя и поздравляю. <...> Два дня я тебе звоню, чтобы сообщить новые возможности относительно наших проклятых шекспировских строчек: Все в жизни рухнуло. *Святыни рухнули, и вот я стал / Защитником поруганных начал.* Спасителем. Поборником. Готов потеть и дальше. Привет всей твоей семье. Евгении Казимировне целую ручку. *Твой Б. П.*» (Hoover Institution Archives, Stanford). 6 августа отмечается день св. благоверных князей Бориса и Глеба.

[3] Вильям Шекспир. Гамлет, принц Датский. Перевод Бориса Пастернака. М.–Л., Детгиз, 1942. Иллюстрации Н. Кузьмина.

[4] Об этом экземпляре с исправлениями, делавшимися в ходе репетиций и сохранившемся в Музее МХАТа, Пастернак писал В. Я. Виленкину, в записке, датированной адресатом 1945 г.: «Дорогой Виталий Яковлевич! Мне нельзя расстаться с последним экземпляром Гамлета, да и наверное невозможно будет технически вписывать исправления в столь тесно набранный текст без полей. Очень прошу Вас найти какой-нибудь старый экземпляр с белыми вкладными страницами — их ведь было так много и теперь они никому абсолютно не нужны. Упросите, пожалуйста, чтобы мне в виде компенсации хотя бы за утраченные иллюзии *скопировали* то, что имеется на руках у Алексея Ивановича Касаткина (*суфлера*). Может быть можно оплатить это из хвостика, оставшегося за Антония или всем остатком. Если Вам придут в голову какие-нибудь плодотворные мысли по этому поводу, позвоните мне» (собр. В. Я. Виленкина).

1945

946. Е. Е. ТАГЕР

Начало января 1945, Переделкино

Дорогая Елена Ефимовна!

Я был вчера в городе очень неудачно, в отвратительном настроении вернулся, с очень тяжелым чувством сегодня встал, затапливаю печку. Зина говорит, из города женщина, замерзла, очень надо.

Я просил передать, что не могу оторваться, растоплю и сейчас выйду. (Она этого не передала, а просто сказала невежливо «занят»), а сам думаю, какая это может быть экстренность[1].

И вдруг, такое облегченье: милая Житкова[2] *на кухне* у печки (у нас принимают всегда чудовищно грубо!!!), потом *Вы*, потом Гамлет и пр. Спасибо и целую Вас. Позвоните Стасику между 11 и 12 вечера или утром между 9-ю и 10-ю и от моего имени скажите (можно принести ему эту записку), чтобы он достал со второй, средней полки в моей комнате, справа, 1 экземпляр Детгизовского Гамлета (белые бока и корешки)[3]. Сговоритесь с ним, как его получить, может быть он привезет его к Вам или встретитесь где-нибудь на концерте.

Еще раз благодарю Вас от всего сердца. Кланяйтесь Евгению Борисовичу.

Весь Ваш Б. П.

Но Вы ошибаетесь, Детгизовский не лучший, а последнее издание для детей. Наверное, ближе всего к моей мысли первый в 5 или 6 № журнала Молодая Гвардия за 1939 или 1940 г.[4]

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2887, оп. 1, ед. хр. 398). Датируется предположительно.

Е. Е. Тагер — историк искусств, жена литературоведа Евгения Борисовича Тагера; начало знакомства Тагеров с Пастернаком относится к концу 1930-х гг.

[1] Далее до конца страницы и на обороте текст стерт. На конверте надпись Е. Е. Тагер: «Стерто несколько строк резинкою мною!» Сохранилась также записка Пастернака к ней более раннего времени, когда она вызвалась помогать З. Н. Пастернак с Леней и ходила с ним гулять: «Дорогая тетя Люся! Сердечное Вам спасибо за Леничку. Он пришел озябший, счастливый и весь утыканный цветами и свертками. Больно, что не могу отблагодарить и ответить Вам ничем равным. *Ваш Б. П.*» (там же. Датируется по помете Е. Е. Тагер: «43 год. Война»).

[2] Возможно, сестра писателя Б. С. Житкова Вера Степановна Арнольд. Л. К. Чуковская вспоминает, что как-то сказала Пастернаку о запрещенном романе Б. Житкова «Виктор Вавич». Через несколько лет Пастернак позвонил ей по телефону, что прочел его: «Это лучшее, что написано когда-либо о 905 годе, — сказал он. — Какой стыд, что никто не знает эту книгу. Я разыскал вдову Житкова и поцеловал ее руку» (Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962. М., 1997. С. 650).

[3] Вильям Шекспир. Гамлет, принц Датский. Перевод Бориса Пастернака. М.–Л., Детгиз, 1942. Иллюстрации Н. Кузьмина.

[4] Пастернак отсылает к первому варианту «Гамлета», напечатанному в «Молодой гвардии, 1940, № 4–5.

947. М. Б. ХРАПЧЕНКО

5 февраля 1945, Переделкино

Дорогой Михаил Борисович!

Простите, что беспокою Вас такими пустяками. Я вынужден зимовать на даче. Городская квартира может быть обжита лишь вполовину. Над ней худая крыша, в дожди и оттепель ее заливает. Имеется распоряженье тов. Молотова Моссовету о предоставлении мне новой квартиры или о приведении старой в исправность, но в течение двух лет по этому делу ничего не добиться.

Итак, я зимую на даче. Если бы ворованные дрова, которые я все время покупаю, не были делом случайным, как всякое беззаконье, я бы не был вынужден беспокоить Вас и не трогал бы Литфонда, о котором речь будет ниже[1]. Но доставать их дело редкой удачи. К организации, номинально связанной с литераторами, я обращался лишь в случаях совершенной безвыходности и только в виде исключенья. Как раз сейчас у меня страшный перебой с топливом, меня надули люди, меня обнадежившие, и дрова у меня кончатся не сегодня-завтра. Между тем Литфонду на двор в Переделкине для нужд Дома творчества завезли 100 кубометров дров.

Из них я прошу для себя по любой вольной цене хоть три, но встречаю не только отказ, но целую бурю негодованья, точно это немыслимая бессмыслица и дерзость. Там забыли и не хотят понять, что я не только повод для бытовых претензий (и разве они так неправомерны!), но в своей скромной и посильной доле и некоторое оправданье существования Литфонда и его кредитов, в том числе и топливных. В самом деле, неужели к пятидесяти пяти годам своей жизни я всей своей деятельностью не поднялся до одной тридцать третьей личного состава отдыхающих в Доме Творчества на февраль месяц? Ну, тогда это полный провал, тогда какие там дрова, тогда надо ввинчивать крюк в потолок или бросать неудавшуюся профессию и браться за новую.

Простите, пожалуйста, за длинное письмо. Верьте, я не стал бы Вас тревожить без крайности. Если мои резоны хоть отдаленно дошли до Вас, отдайте, пожалуйста, соответствующие распоряженья, и, если можете, не откладывая. Положение критическое, я не преувеличиваю.

Уважающий Вас и преданный *Б. Пастернак*

5. II. 45

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

[1] Литфонд находился в ведении Комитета по делам искусств при Совете министров СССР, председателем которого был М. Б. Храпченко.

948. С. ЧИКОВАНИ

Весна 1945, Переделкино

Дорогой Симон!

Говорят Вы собираетесь в Москву. Я буду страшно рад Вам. Нам надо обязательно повидаться. Я безвыездно в Переделкине, но в нем-то нам и надо встретиться, и всего лучше в *воскресенье*, когда я свободен, и *чтобы на целый день*. Мы вволю наглядимся друг на друга, поговорим о делах и весело проведем время. Для того, чтобы разделить последнюю часть программы, созвонитесь в городе 1) либо с Генрихом Густавов<ичем> и его женой (К-7-15-65) 2) либо с Алдр. Ник. Глумовым (В-1-83-21) либо с моим братом Александром Леонидовичем К-4-31-50, или вместо них с кем угодно другим по Вашему вкусу и приезжайте вместе с ними. Созвонитесь с Зиной (В-1-77-45) либо вечером после 11 или утром до 10-ти, если она будет в городе. Но это неважно. В виде резерва, на всякий случай, сообщите в Литфонд, что едете ко мне, чтобы

на худой конец они Вам гарантировали ночевку в доме отдыха[1], — так делали, это очень удобно. Спасибо за доверье, оказанное мне с Бараташвили[2]. Я отказался, потому что занят и буду еще занят до осени. Но теперь мне жалко. Меня вдруг стали соблазнять денежные и стилистические соображенья. Когда годовщина? Может быть это можно будет урегулировать и совместить? Обо всем этом поговорим. Обнимаю и целую Вас. Разыскивайте и добивайтесь меня. Устройте мне эту воскресную радость.

До скорого свиданья. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (ГМГЛ).

[1] Имеется в виду дом отдыха писателей в Переделкине.

[2] С. Чиковани предложил Пастернаку перевести собрание стихотворений грузинского поэта Николая *Бараташвили* к столетию со дня его смерти, которое широко отмечалось в октябре 1945 г.

949. С. Н. ДУРЫЛИНУ

20 июня 1945, Переделкино

20 июня 1945 г.

Дорогой Сережа!

Больше трех месяцев у меня воспаленье нерва правой руки и частые конъюнктивиты (болезнь глаза). Мне временно запретили писать правой рукой, но левой у меня такой неразборчивый почерк, что я решил лучше немного помучиться, но написать тебе вкратце то, что давно хочу тебе сказать и о чем хочу попросить.

Во-первых, огромное тебе спасибо за «Качалова», который меня очень захватил, особенно своим началом, приходящимся на молодую, жанрово богатую пору биографии, так ярко схваченную тобою[1].

Могу не уверять тебя в искренности моего восхищенья и того, как я отношусь к мыслям твоих статей, к тому, как они написаны, к твоей начитанности и авторитету. Всему этому я сейчас дам корыстнейшие доказательства.

У меня к тебе две просьбы, одинаково нескромные. Как ни велико мое желанье получить от тебя согласие, будь совершенно свободен в ответ: в твоих добрых чувствах ко мне я так же уверен, как в моих собственных к тебе, и можешь не бояться меня обидеть.

1 Будь редактором однотомного собранья моих шекспировских переводов[2]. Чагина, которому я тебя назвал, приводит в восхищенье твоя кандидатура. Задача твоя сведется к тому, чтобы труд

прошел через твои руки и вышел из них с твоим благословеньем. Разумеется, для нас будет подарком каждая строчка, которую ты бы задумал написать к нему, и, наоборот, я намеренно назвал тебе наименьшее из того, что от тебя потребуется. Но если бы ты даже все-таки отказался, мы и в этом случае не обратились бы ни к кому из шекспирологов, британистов и т. д. Том идет под общечеловеческой, русской, творческой, театрально-сценической, содержательно-сюжетной маркой, и все «переводческое», протезно-ортопедическое будет в нем отсутствовать сознательно подчеркнуто. Переводы, каждый порознь (это Гамлет, Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра, Отелло и Генрих IV (обе части)) в свое время прошли с успехом наш лингвистический таможенный досмотр и в дальнейшем внутреннем продвижении могут больше ему не подвергаться. Еще большее признание получили работы в Англии, где среди старых переводчиков Тургенева, Чехова, Толстого есть много людей, отлично читающих по-русски. В 22-м № Британского союзника от 3-го июня напечатана большая и очень одобрительная статья некоего профессора Ренна (Ch. Wrenn) об этих переводах[3]. Если тебе не удастся ее достать, я тебе ее пришлю с кем-нибудь из Скрябинских девочек[4]. Одним словом, об английской стороне дела ты не беспокойся. Но кто, кроме тебя, может с такой силой и правом судить о тексте в его собственном самостоятельном качестве, с его поэтической стороны и театральной. Любая твоя статья к тóму, как бы то ни было с ним связанная, о Шекспире ли на русской сцене или о Ш<експире> в русской литературе, или истории нравов, или просто о русском театре без Шекспира будет принята с восторгом. Может быть, что-нибудь вступительное, но на каких-нибудь самых общих основаниях, напишу и я[5]. Ответь, пожалуйста, не очень задумываясь, потому что договор мы будем заключать на днях.

Другая просьба того же порядка, но гораздо более бессовестная, почти неприличная. В Лит. газете, органе, который я считаю полицейскими ведомостями в руках трех древних граций и абсолютно враждебным мне, целый год собираются дать то рецензию на «Ромео» и «Антония», то статью о моем последнем сборнике[6], и нарочно мудрят и манежат, чтобы ничего не дать. То заказывают они это Зелинскому, и он им пишет какой-то иезуитский вздор, то бестактнейше собираются обратиться с этим к Ахматовой, моей статьи о которой они же не печатают[7]. Надо ли говорить тебе, что для меня будет торжество и праздник, даже если ты выругаешь меня, столько интересного ты скажешь сверх расставленья бал-

лов[8]. На твоем бы месте я сразу написал бы и о Шекспире и о самостоятельных стихах, как-то бы это связав. Если тебе это как-нибудь улыбается, я даю знать в Лит. газ<ете>, что написал тебе. Прости, что так много написал тебе однообразно-эгоистического. Как твое здоровье? Ответь мне, пожалуйста, по почте в город. Еще раз прости. Бросаю — болит рука.

Обнимаю тебя. Твой Боря

31 мая в Оксфорде умер мой отец[9]. Это — левой. Я стал стар и забывчив. Сейчас меня преследует ощущенье, будто я такое же точно письмо уже раз отправил тебе. Если это правда, прости и не смейся надо мной.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] Речь идет о книге С. Н. Дурылина «Василий Иванович Качалов» (М.–Л., 1944).

[2] Предполагаемый сб. шекспировских переводов Пастернака в Гослитиздате не вышел, в книгу «Избранные произведения» Шекспира (1953) были включены также работы Т. Л. Щепкиной-Куперник, С. Я. Маршака и предисловие М. М. Морозова.

[3] К.-Л. Ренн (Charles Lesly Wrenn). Шекспир в переводах Пастернака. «В статье английского профессора о тебе, — отозвался Дурылин в своем письме, — меня поразило и утешило, что он горячо хвалит твой перевод “Быть или не быть”, тогда как Морозов ругает его. За что ругает? В сущности за то, что в нем нет трафарета “монолога”, что в нем чувствуются не театральные мысли вслух для зрителя, а подлинное дыхание живого человека <...> Я просто счастлив, что шекспировед-англичанин подтвердил мое собственное отношение к этому куску трагедии в твоем переводе» (там же. С. 398).

[4] Сотрудницы Музея им. А. Н. Скрябина Е. А. Крашенинникова, О. Н. Сетницкая, И. И. Тучинская.

[5] В качестве предисловия к сб. своих переводов Пастернак летом 1946 г. написал «Замечания к переводам из Шекспира».

[6] Борис Пастернак. «Земной простор». М., «Советский писатель», 1945.

[7] Речь идет о статье «”Избранное” Анны Ахматовой» (1943); см. т. V наст. собр.

[8] По заказу «Литературной газеты» Дурылин написал рецензию на сб. «Земной простор», но она не была напечатана.

[9] «Я всегда вспоминаю его, — отвечал Дурылин, — думая о тебе и о нашей юности, и всегда в моей душе есть благодарность к нему» (там же. С. 391).

950. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

21 июня 1945, Москва

21. VI. 1945

Дорогая Оля! 31-го мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза, он стал поправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг, три недели тому назад.

В момент кончины вокруг него были Федя и девочки, он умер, вспоминая меня, — это все из их телеграммы.

Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда предо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь, и как всегда без зависти, с радостью за него посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещанья, малочисленность и ничтожество сделанного, на какую трагическую высоту поднято его поприще его недооценкой и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, препровожденном через дипломатические каналы Майского[1] при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги (из 12-ти)[2]. Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов.

Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чиченицкую[3] в обстоятельства нашего житья-бытья и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, Асмусы, верхняя, рядом с нами и Леничкой, свободна, и тебе было бы очень удобно в ней.

Чичинецкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером[4], которого устроитель не подготовил, я боялся, что зал будет пустой; были гости; накануне мы с Зиной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля[5]; у меня три месяца: 1) жесточайше болит пра-

вая рука от плеча до кисти (плексит) и велено носить ее на перевязи, — черновик Генриха IV я пишу левою, 2) заболевают по два раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения, 3) увеличена печень и болит решительно все, но нет ни времени, ни желания лечиться, — напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятного юмора, неистребимой веры и какого-то задора... Короче говоря, я стал рассказывать Ч<ечельницкой> о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине[6] и так разволновался, что мне захватило дыханье и я не смог говорить. Но ты своих представлений о нас не строй по *этой* стороне ее рассказов: она видела меня в невыгодный день и затем вечер.

Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правою рукою: она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся и о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста!! Сообщи Лапшовым[7] о смерти папы и передай им (*это — правда, не слова*) им обоим и Машуре[8] мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться! Достань 22-й номер «Британского Союзника», там о моих Шекспирах[9], тебе будет приятно. И будь здорова, не болей, ради Бога, и *приезжай, приезжай*!!

Обнимаю тебя. Твой Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Иван Михайлович *Майский* — посол СССР в Великобритании.

[2] Единственный дошедший до Оксфорда экземпляр с переводом «Антония и Клеопатры» надписан: «Л. О. Пастернаку. Дорогой отец, ты и твой путь всегда передо мной. Ты сделал так непомерно много и такой совершенный артист, что я покрываюсь стыдом, когда думаю о роковом ничтожестве и вынужденной непроизводительности своей деятельности. О мои милые, милые, когда я вас увижу!» (Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 229).

[3] Пастернак неотчетливо расслышал фамилию приезжавшей к нему по рекомендации О. Фрейденберг Гители Яковлевны *Чечельницкой* и в этом и следующих письмах пишет ее неправильно. Г. Я. Чечельницкая писала при Ленинградском университете кандидатскую работу о русских связях Р.-М. Рильке, но не смогла защитить ее из-за начавшейся «борьбы с космополитизмом».

[4] Имеется в виду авторский вечер 28 мая 1945 г. в Доме ученых, прошедший с большим успехом при полном зале.

[5] Двадцатилетнего Адриана Нейгауза.

[6] О М. И. Цветаевой.

[7] Кларе Исидоровне и Владимиру Ивановичу Лапшовым.

[8] Марии Александровне Марковой, дочери К. И. Лапшовой.

[9] Статья К.-Л. Ренна «Шекспир в переводах Пастернака».

951. И. С. БУРКОВУ

23 июня 1945, Переделкино

Милый Иван Семенович! Благодарю Вас за добрые чувства и интересные мысли, которыми Вы со мной поделились, обо мне и моем отце, замечательном художнике, умершем совсем недавно, 31/V. Вы угадали. Лермонтов именно в *Прянишниковском иллюстрированном* издании[1], вышедшем, наверное, до 1900 г., когда мне было лет 5, не больше, оказал на меня почти такое же влияние, как Евангелие — и пророки. Простите, что так поздно отвечаю Вам и — карандашом. Три месяца с лишним болит у меня правая рука (восп<аление> нерва) и с перерывами часто заболевают глаза. Пишу Вам левой рукой, но плохо выходит и утомляет (еще не научился). Будьте здоровы. От души желаю Вам счастья и удач в делах Ваших. Посылаю Вам новый подбор старых моих стихотворений и «Ромео» и «Антония» Шекспира[2]. Вы много пишете о Гамлете. Знаете ли Вы, что я перевел его?

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Наше наследие», 1990, № 1. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, доп.). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

И. С. Бурков — учитель и поэт-любитель, познакомился с С. Н. Дурылиным в Томске, где тот отбывал ссылку, и по его совету написал Пастернаку.

[1] Речь идет о юбилейном иллюстрированном издании М. Ю. Лермонтова 1891 г. (И. Н. Кушнерева и П. К. Прянишникова), художественным редактором которого был Л. О. Пастернак, пригласивший для участия в нем М. А. Врубеля, В. А. Серова, В. В. Васнецова и др. видных художников.

[2] Борис Пастернак. «Избранные стихи и поэмы» (М., ГИХЛ, 1945) с дарственной надписью: «Ивану Семеновичу Буркову с наилучшими пожеланиями. *Б. Пастернак*. 20 VI. 1945». На кн. В. Шекспира «Ромео и Джульетта»: «Милому Ивану Семеновичу Буркову на добрую память *Б. Пастернак*. 24. VI. 1945» (РГАЛИ).

952. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

23 июня 1945, Переделкино

Дорогая Ася!

Большинство Ваших писем и открыток с замечаньями к «Гамлету» в пути или пропали, часть дошла[1]. Большое спасибо за вниманье. Но мне жаль Вашего времени и труда: я знаю и текст и лучшие переводы, между прочим и Лозинского, который Вы все время цитируете. С моей стороны это не недосмотры, а сознательные

отступленья. Пример: бородатых Гамлетов не играют, надо было выйти из положения идиоматически, передо мной были пожелания Мейерхольда, Немировича-Данч<енко> и других. У меня задача не филологическая, мой перевод неточный, плавный, облегченный. Я округлял Ш<експира>, я все сейчас округляю.

Не сердитесь. Всего лучшего. *Ваш Б. П.*

Открытка пролежала полгода. У меня в правой руке 3 месяца как воспален нерв. Пишу левой. Будьте здоровы. В Оксфорде 31 мая умер мой отец, [а боль еще сильна].

Зимой послал Вам большое закрытое письмо.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397). Датируется по штемпелю на открытке. Приписка карандашом сбоку текста и на обратной стороне. Там же помета А. И. Цветаевой: «Единственная из оставшихся у меня открыток Бориса — на уголке приписано левой рукой (карандаш) болела рука на нервной почве».

А. И. Цветаева находилась в лагере на Дальнем Востоке, ст. Известковая. Сохранилось ее письмо к Пастернаку 10 апр. 1944 г. о дошедшей до нее «неясной вести о смерти Марины» с просьбой подтвердить. Е. Н. Берковская вспоминала, что Пастернак показывал ей это отчаянное письмо А. И. Цветаевой: «Помню ясно почерневшего какого-то Бориса Леонидовича, который взволнованно и сбивчиво мне говорит что-то, <...> клянет себя и за смерть Марины и за свое невнимание к Асе и за какое-то "свинство" по отношению к Нине Табидзе. И тут я понимаю, что в это тяжелейшее время он и писал им всем, и умудрялся что-то посылать. А он все ругал себя, ругал...» («Мальчики и девочки 1940-х годов». «Знамя», 1998, № 11).

[1] А. И. Цветаева получила перевод «Гамлета» с дарственной надписью Пастернака: «Дорогой Асе с целью налаженья бандерольной связи для пересылки Мариниых рукописей. Все удивительно, не правда ли? *Б. П.* 16. XI. 44. Переделкино» (РГАЛИ).

953. Н. И. ВАСИЛЬЕВОЙ

27 июня 1945, Москва

Глубокоуважаемая Нина Исаковна! Ваше горе близко коснулось меня. Смерть Васильева очень ощутимая для меня утрата[1]. Последние 15 лет я почти не пишу писем. На фоне этой случайной переписки письмо Вашего мужа выделилось с ошеломляющей силой. Кое-что из этого я должен был сказать ему, и наверное оно как-нибудь выражено в моем письме, которое находится у Вас[2]. Три месяца, как у меня болит правая рука (воспаление нерва) — одна из причин, отчего так чудовищно запоздал мой ответ. У меня

также периодически воспаляются глаза — то и другое — следствие физического и нервного переутомленья. «Письма жене с фронта» я с огромным интересом прочту[3], как только будет немного лучше с зреньем, но помочь по их приведенью в порядок и опубликованью, наверное не смогу — мне некогда лечиться. Все исполнимые Ваши просьбы постепенно исполню. Извините меня. Пишу Вам левой рукой.

Ваш Б. Пастернак

Не обижайтесь на меня. Зарядитесь терпеньем.

Впервые. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

Одновременно с письмом Пастернак послал свой перевод «Антония и Клеопатры» с надписью: «Нине Исаковне Васильевой с пожеланьем благополучного восстановленья на старом пепелище. *Б. Пастернак.* 24. VI. 1945».

[1] Нина Исаковна Васильева 15 марта 1945 написала Пастернаку о смерти своего мужа П. А. Васильева, скончавшегося от ранения 21 дек. 1944 г. в военном госпитале в Себеже.

[2] Из двух писем, посланных П. Васильеву, сохранилось одно № 934.

[3] В июне 1945 г. Н. И. Васильева, будучи в Москве, передала Пастернаку составленную ею из писем мужа машин. тетрадь «Письма жене с фронта». Во многих письмах упоминается имя Пастернака, стихи которого П. Васильев очень любил.

954. С. Н. ДУРЫЛИНУ

29 июня 1945, Переделкино

29. VI. 45

Дорогой Сережа!

Горячо, горячо благодарю тебя за согласие и скорый ответ[1]. Чагину сказал. Он в восхищеньи. Вот тебе дополнительные сведенья. Договор со мной собираются заключить в августе, том приготовить надо будет к концу года, чтобы с Божьей помощью выпускать в начале 46-го[2]. Но это не исключает возможности или надобности для тебя сговориться с ними уже и теперь, потому что все надо торопить и подталкивать. Впрочем, они, конечно, обратятся к тебе сами.

Генриха IV-го первую часть тебе пришлю — вторую дописываю (ее-то и дописываю вчерне левою рукою, а тебе писал и пишу правою), всего Генриха надеюсь кончить через месяц. Окончательной ступенью отделки для меня давно стал процесс корректуры, так что, например, Отелло в отдельном издании, которого они

скоро выпустят, чуть-чуть иной, нежели у тебя в рукописи[3]. Это же повторится, наверное, и с Генрихом. Возни текстовой в томе у меня никакой не будет, кроме Гамлета, с которым слишком нянчились, да вдобавок еще семь нянек пословицы. Половины своих разночтений его я не помню. Интересом для тебя будут обладать только две его редакции: первая, самая свежая и, как некоторым показалось, «дерзкая», напечатанная в журнале «Молодая гвардия» летом 1940 г.[4] (у меня самого ее нет, надо будет достать), и та окончательная, которую я сделаю для тома по первой, частью ее восстанавливая, частью сглаживая ее резкости.

У тебя (но я уже писал тебе об этом и повторяюсь) с томом будут две заботы. 1. Присмотреть за мною по всему тóму, что с точки зрения твоего собственного вкуса и только в отношении свободы, естественности и выразительности речи, как в оригинальном произведении, а не в смысле соответствия чему бы то ни было, что уже однажды преодолено и теперь предусмотрено. 2. Написать что-нибудь к тóму, если бы ты захотел, и то именно, что бы тебе заблагорассудилось. Ты, именно, мог бы вслед за Пушкиным и Гёте опять сказать о Шекспире или о чем-нибудь около него с их широтой и непредвзятостью, где-то в соседстве с толстовскою полемикой, наполовину справедливой (и сильно предопределившей главную, реалистическую, упрощающую тенденцию моих переводов[5]). Между прочим (но ты, наверное, это знаешь и я «ломлюсь в открытую дверь»), если бы тебе потребовался косвенный «витамин» или «возбудитель», вроде чая, мандариновой кожуры и т. п., есть у Гюго книга о Шекспире. Ее очень любил Ап<оллон> Григорьев и ссылался на нее, как на прообраз того «цветного, органического» и прочего искусства, с мечтою о котором он носился[6]. Она имеется в ВТО, я ее читал. (V. Hugo. William Shakespeare.) На 300 страниц глупости и трескотни, как всегда у Гюго, десятка полтора страниц действительно поразительных, и, по счастью, в начале. Он писал ее в эмиграции, на Гернсее, вперемежку с «Тружениками моря», и веянье политического изгнания и близкого моря хорошо чувствуются и прямо названы в ней. Я ею пользовался как такою вкусовою затравкой для переводов и только для такого посасыванья за работой и привожу тебе[7]. Итак, Шекспир и Чагин дело решенное и радостное, за меру радостности которого еще раз огромное спасибо тебе от всего сердца.

Но насколько мне все близко и ясно у Петра Ивановича, настолько сомнительна и вызывает опасенья обстановка в Лит. Газ<ете>, так далеко и враждебно мне все у них, так при всех сво-

их увереньях в преданности они скорее готовы меня в ложке утопить, чем поступить со мною благожелательно и справедливо. Хотя они, действительно, забирались ввысь, приискивая автора статьи обо мне, хотя, действительно, я указал им на тебя в этом их взлете, и Ковальчик[8] должна позвонить тебе, но они, наверное, разгадали, каким безмерным счастьем для меня было бы наше сотрудничество, а так как целые десятилетия они сквозь завесу любезностей делали мне только гадости, то и на этот раз, я уверен, они откажут мне в этой радости, и наоборот, торжествуют, найдя новый случай чувствительно огорчить меня. Однако рано отчаиваться. И вдруг и правда на этот раз они будут верны слову! Надо ли говорить тебе, о чем я мечтал в этом случае и почему к тебе обращался? Во-первых, подарком было бы, что статья была бы *твоя* и что она была бы (как и в отношении Шекспира) на широкую тему, в каком-то смысле (неспециальном, человеческом) о творческом мире поэзии, о стихии писательства и только в каком-то последнем счете о частном случае общей темы, о предмете разбора. К - похвалам, по-аптекарски с предустановленной достодолжностью каждому отвешиваемых, мы все привыкли, и они втройне опротивели: оскорбительным фактом развески, бессодержательностью и пустотой и тем, что от этих похвал всегда воняет. Чудом и невидалью была бы статья с твоими *мыслями* и, статья по современному поводу, которую интересно было бы читать[9].

Свой последний сборник (наверное, о нем и будет речь) я послал тебе[10]. Не обременяй себя лишним материалом. Со дня на день в Гослитиздате должен выйти мой последний, скупой и удобообозримый отбор сделанного в небольшом томике. Я достану его тебе. О его содержании можно спорить, может быть, там и не самое лучшее, но на принципе отбора я стою и в нем уверен. Я там отобрал самое выпуклое, сосредоточенно-образное, осязательное и живое в ущерб отвлеченным притязаньям и тому прутковскому ложному глубокомыслию, к которому всегда приходит невольная, политически вынужденная бессюжетность нынешней литературы, — я старался в нем избегнуть ложной глубины и схемы [11]. Однако довольно, я замучил тебя.

Что бы ни вышло из наших предположений (особенно из последнего), я уже и сейчас в выигрыше. Мы перекинулись с тобой письмами, и, как мне кажется, в самом широком, ни к чему не обязывающем и ничего не меняющем смысле ты мне позволил надеяться, что мы союзники. Это значит вот что. Только в самое последнее время, отчасти из-за болезни руки, отчасти под давле-

нием обозначившегося возраста, я почувствовал, что только мириться с административною росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени, попробовал выйти на публику. «Рискованной» я сказал в том смысле, что я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного[12]. Существованье этого неведомого угла у нас дома было для меня открытьем. Вот другое. За последние два года я, поначалу отрицательными путями, из нападок (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. На их «знамени» имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем что бы то ни было другое. Они выпускают альманах Transformation, нечто среднее между «превращеньем», «перерождением» и «преображением». Им пишут статьи мыслящие представители англиканской церкви. Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма, Прусту, Рильке, Блоку. Сомовским портретом Блока открывался их первый альманах! Во втором они дали «Цикад» Бунина. Они зачислили меня в свое братство, поместили «Детство Люверс» в 1-м альманахе[13], и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи. Их вожак — драматург и поэт Герберт Рид, и надо, наверное, знать несравненно лучше язык и, кроме того, жить в их условиях, чтобы правильно судить об их деятельности, но насколько захватывают близостью и глубиною содержанья их критическая и мировоззрительная часть, настолько бледными показались мне их художественные отрывки. Впрочем, я никогда не понимал неконкретного, отвлеченного vers libre'a, и он казался мне водянистым и бессильным не только у Рукавишникова и Дюамеля, но иногда, страшно сказать, и у Гёте.

Все это я рассказываю тебе, чтобы ты понял, в каком отношении радостен мне твой отклик. Это тот поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веяньем единенья,

без которого нет бессмертия. На одном из вечеров я прочел пустяк, которым пока отделываюсь впредь до написания чего-нибудь настоящего памяти Цветаевой. Он произвел впечатление. Я и его тебе посылаю[14]. Спасибо!! Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Сердечный привет твоей милой жене[15].

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] «С первого же слова скажу тебе, что я счастлив твоей просьбой написать о тебе. Счастлив. Все напишу, что ты хочешь», — отозвался С. Дурылин 27 июня 1945 (там же. С. 389).

[2] О предположении издать сборник шекспировских переводов Пастернака с предисловием С. Дурылина см. в письме № 949. Сборник не был издан.

[3] В письме № 945 Пастернак сообщал Дурылину о пересылке ему рукописи «Отелло».

[4] «Молодая гвардия», 1940, № 4–5.

[5] Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «О Шекспире и драме» (1906).

[6] В статье Ап. Григорьева «Парадоксы органической критики» (Письмо Ф. М. Достоевскому; письмо 2-е; 1864) // Собр. соч. в 14 т. Т. 2. М., 1915.

[7] Выписки Пастернака из этой книги см. в т. V наст. собр.: «Конспект по книге: Vict. Hugo "William Shakespeare"» (1942).

[8] Евгения Ивановна *Ковальчик* — редактор «Литературной газеты».

[9] «Литературная газета» не напечатала статью Дурылина «Земной простор»; опубликована в 1988 г. («Литературная учеба», № 6).

[10] Речь идет о книге: «Земной простор» (М., «Советский писатель», 1945). Вместе с просьбой о последнем сборнике стихов Дурылин предупреждал, что пришлет за книгами жену: «Не посылай книг и статей по почте — все пропадет» («Встречи с прошлым». Вып. 7. С. 390). Дурылин был прав, посланный одновременно с письмом «Земной простор» пришел к нему с выдранной дарственной надписью. «Не надивлюсь, в каком виде я получил книжку твоих стихов. Кто был сей любитель автографов и отчего он любит их собирать» (там же. С. 395).

[11] «Избранные стихи и поэмы» (М., ГИХЛ, 1945).

[12] Речь идет о серии вечеров авторского чтения, последний из который, проходивший в Доме ученых, состоялся накануне написания этого письма, 28 июня 1945 г.

[13] Transformation, 1943, № 1, edited by St. Schimansky and Henry Treece.

[14] Имеется в виду стих. «Памяти Марины Цветаевой». Дурылин отозвался похвалой на него: «Стихи твои к Марине Цветаевой <...> заставляют трепетать скорбью, гневом — и вместе великим утешением подлинного "бытия". Это и элегия, и дифирамб, — и со времени лермонтовской "Смерти поэта" не было в нашей поэзии таких звуков...» (там же. С. 397).

[15] Ирине Алексеевне Комисаровой.

955. С. Н. ДУРЫЛИНУ

3 июля 1945, Переделкино

3 июля 1945 г. Дорогой Сережа!

На этот раз это действительно левою, но ты не огорчайся, я, Бог даст, двадцать раз вылечусь.

Видишь, как часто я стал надоедать тебе. Зимой исполнилось 135 лет со дня рождения Шопена, и «Сов<етское> Иск<усство>» спешно, за два дня до даты, заказало мне статью, месяцы восхищалось ею, восхищалось и не напечатало. Мне жалко этих мыслей, я хочу, чтоб ты их прочел. По ознакомлении передай статью (как, может быть, и стихи о Марине) в Скрябинский музей, ему в собственность[1]. Если они захотят для кого-нибудь переписать ее, то только *с абсолютной, абсолютнейшей* выверкой до последней запятой, — скажи это, пожалуйста, девочкам[2].

Это не напоминания, не способы тормошить тебя и отвлекать. Если ты вздумаешь написать мне, я решу, что ты меня в этом заподозрил, и обижусь. Так что лучше забудь обо мне. Сердечный привет Ирине Алексеевне.

Твой Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] Эта первонач. машин. с авт. правкой статьи «Шопен» («О Шопене», 1945) сохранилась в архиве Музея им. А. Н. Скрябина. Аналогичный текст был передан также А. Е. Крученых: «8.VII. 1945. Дорогой Алеша! Вот два экземпляра статьи, черновой и беловой. Второй приобщи к статьям о Верлене, Клейсте и прочих, если они у тебя целы, они мне может быть когда-нибудь понадобятся, а у меня нет этого подбора. Если статью о Шопене будут переписывать, последи за полнотой соответствия. Сердечный привет. *Твой Б.*» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 812). Статьи «Поль Мари Верлен» (1944) и «Генрих Клейст» (1939–1941).

[2] То есть сотрудницам музея (см. коммент. 4 к письму № 949).

956. Е. М. УРАЗОВОЙ

5 июля 1945, Переделкино

5. VII. 45

Милый друг мой, Екатерина Михайловна.

Представьте, пишу Вам левою рукою, у меня около 4-х месяцев болит и на перевязи правая. Не пригодится ли ВОКСу для заграницы (но при условии *абсолютно точного, как в трудах по*

математике, перевода), моя статья о Шопене, в свое время заказанная «Сов<етским> Иск<усством>», но в нем не напечатанная? Если даже Вы не музыкант, Вы ее оцените. Если Вы дадите в ВОКСе переписать ее на машинке, труд скрупулезнейшей, идеальной сверки всех экземпляров с оригиналом возьмите, пожалуйста, на себя. Если у ВОКСа надобности в ней не встретится, раздарите рукопись музыкантам: Софроницкому, Шостаковичу и Прокофьеву и один, если это Вам интересно, оставьте себе[1].

Целую Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

Е. М. Уразова — журналист, работала зав. редакцией журн. «Огонек». С 1944 г. — референт отдела выставок ВОКСа. Отношение Пастернака к Е. М. Уразовой выражено в альбоме А. Крученых 18 марта 1945: «Я страшно туп. Когда, Алеша, ты мне подсовываешь бумажку, я никогда не бываю способен выразить на ней всего того, что чувствую по отношению к тебе или тем общим друзьям, о которых заходит речь. Мне больно, что в последний раз это коснулось такого замечательного человека, как Уразова. Ей нельзя писать безразличных пустяков, а именно это я часто и делаю. Мне очень хочется поговорить с ней или ей написать. Письмо ее мне много сказало и произвело большое впечатленье» (т. V наст. собр.). На листе с запиской рукой Крученых приведена дарственная надпись Пастернака Уразовой на книге «На ранних поездах»: «Ура! Зову / Уразову. Екатерине Михайловне дружески *Б. Пастернак.* 10. VII. 43» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] В собр. Е. М. Уразовой сохранилась первонач. машин. с авт. правкой статьи «О Шопене».

957. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

13 июля 1945, Москва

13. VII. 45

Дорогая Оля! Не стоит писать писем, так их много пропадает[1]. 31-го мая умер папа. Я об этом тебе писал, но письмо, наверное, не дошло[2]. Я страшно огорчен твоей болезнью. Приезжай к нам, поживи у нас на даче. Я уверен, тебе понравится. Если буду жив и здоров (у меня четыре месяца болит правая рука и я ее большей частью держу на перевязи), я зимою постараюсь приехать в Ленинград по делам. Кажется Чиченецкая[3] задержалась тут. Повидай ее. Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

[1] Пастернак не получил ответа на свое первое письмо с сообщением о смерти отца, № 950, и 28 июля он ей писал: «Твое молчанье беспокоило меня. Я даже начал телеграфные розыски. Вчера косвенно узнал, что ты жива и написала мне» (там же. С. 237).

[2] «Читала ли ты статью Грабаря о папе в номере 28 (960) "Советское Искусство", пятница 13 июля 1945», — спрашивал Пастернак 28 июля (там же). В заметке «Памяти Леонида Пастернака» И. Э. Грабарь писал: «Недавно в Оксфорде умер в возрасте 83 лет выдающийся русский художник Л. О. Пастернак. В свое время в конце XIX и начале XX века он играл весьма заметную роль в русском искусстве как видный художник и замечательный педагог, воспитавший несколько поколений художников, из которых многие впоследствии стали крупными мастерами».

[3] Правильно: Чечельницкая, о ее приезде к Пастернаку см. в письме № 950.

958. П. И. ЧАГИНУ

6 августа 1945, Переделкино

Дорогой Петр Иванович!

Вот заявление о Шекспире[1]. Достаточно ли оно многословно и глупо, чтобы казаться мотивированным и академичным? — Мне также думалось, что его надо составить без обращенья. Если оно не годится, не давайте ему ходу, но вопрос, пожалуйста, поставьте на рассмотрение сами, и поскорей, прошу Вас.

Поторопите, пожалуйста, также брошюровку «Избранных» и печатанье «Отелло»[2].

«Генрих» готов, я его переписываю, думаю дней через 10 приеду сдавать и за ответом[3].

От души всего лучшего Вам и Марии Антоновне.

Искренне преданный Вам Б. Пастернак

6. VIII — 1945

Впервые: Альманах библиофила. Вып. XI. М., 1981. — Местонахождение автографа неизвестно.

[1] Речь идет о заявке на издание сб. переводов Пастернака из Шекспира. См. о нем письма Федину и Фадееву № 964, 965.

[2] Книга Бориса Пастернака «Избранные стихи и поэмы» вышла осенью 1945 г. «Отелло» — в конце 1945-го.

[3] «Только что кончил черновик Генриха, — писал Пастернак 3 авг. 1945 Чиковани. — Он почти весь совпал с болезнью руки, и был сделан левою. Теперь надо будет его отделывать набело (у меня никогда ни в чем не совпадают эти редакции, черновая и чистовая, это абсолютно разные тексты). На это уйдет еще две недели» (ГМГЛ, № 147, 5).

959. Н. Н. НИКИТИНУ

12 августа 1945, Переделкино

Дорогой Николай!

Большое тебе спасибо за милую открытку. Это тоже — записка, а не письмо. В виде исключенья (?!) деньги как раз сейчас нужны до зарезу. В городе часто бывает Зина, на ее имя их и *надо перевести*, хорошо бы телеграфом. Адрес: Москва 17, Лаврушинский 17/19, кв. 72, Зинаиде Николаевне Пастернак. Обо всем этом недавно писал Лихареву, может быть он уже передал тебе[1]. Не скупитесь. Я вам все отработаю не только переводами всяких важных юбиляров, но, может быть, и своей собственной прозой[2]. Очень хочу прочесть твои рассказы[3], страшно рад неожиданности, что дела идут через твои руки, и крепко обнимаю тебя. Рукопись «Отелло» была не абсолютно окончательной, после нее были исправленья, я нуждался в корректуре и писал об этом Лихареву, но все равно, черт с ним (с отрывком). Поторопи деньги.

Искренне твой Б. П.

12. VIII. 1945

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2575, оп. 1, ед. хр. 326).

Николай Николаевич Никитин — писатель, входивший в литературную группу «Серапионовы братья».

[1] Борис Михайлович *Лихарев* — поэт и главный редактор журн. «Ленинград», где печатались отрывки из перевода «Отелло» (1945, № 13–14). Набросок письма Лихареву сохранился на обратной стороне записки Пастернака жене с перечнем издательских переговоров: «Дорогой Борис Михайлович! Вот Вам два Шевченки и несколько Бараташвиль. Воспользуйтесь чем хотите для “Ленинграда”, и рассуйте, куда можете, Саянову или еще кому-нибудь. Бараташвили переводили в свое время в Москве и Ленинграде, есть два издания, хорошие, кропотливые переводы, а теперь к юбилею заказали всего мне, от доски до доски, и я его сделаю в две недели. Я только еще начал...». В «Ленинграде» было напечатано большое стих. Шевченко «Средь нашего земного рая...» (1945, № 19–20) и шесть — Бараташвили (1945, № 21–22).

[2] Намерение переводить Н. Бараташвили к юбилею и первые мысли о романе в прозе.

[3] Судя по письму Б. Лихареву 2 нояб. 1952, Пастернак читал прозу Н. Никитина в журн. «Ленинград», 1945, № 3: «Дорогой Борис Михайлович, я уезжал чрезвычайно поспешно в Тифлис и второпях написал Вам очень скомканную записку. У Вас очень милые стихи в “Ленинграде”, не хуже Прокофьева, Тихонова, Антокольского, а “Дети” и просто удовлетворительные без сравнения. Журнал мне очень понравился, в особенности мемуарная его часть и сопровождение, написанное

Никитиным. Строчки последнего — лучшее место в журнале. Я поручил в Гослитиздате, чтобы Вам выслали всего Бараташвили, не знаю, исполнили ли они мою просьбу. На днях пришлю Вам "Генриха". Это будет только у Вас без повторений, а что-то из Бараташвили, наверное, возьмет "Октябрь", не знаю, что именно. Будьте здоровы, вышлите № с Шопеном» (цит. по кн.: Д. Хренков. Друзья мои — стихи. Л., 1966. С. 136). В «Ленинграде» (1954, № 15–16) вышел сокращенный вариант статьи «Шопен».

960. Н. ТАБИДЗЕ

14 августа 1945, Переделкино

Дорогая Нина! Пишу Вам страшно второпях. Раз двадцать собирался я Вам написать. Когда в первый раз напугали нас Ниточкиным глазом. Потом, когда успокоили, сказав, что ей лучше. Господи, что бы я отдал, чтобы увидать и обнять Вас, мой друг!! И как мы всегда ждем Вас здесь, и ждали! И сейчас я позволяю себе писать Вам только оттого, что приедет в Тифлис Женя[1], и ничего не передаст и не расскажет Вам, и Вы огорчитесь. И пишу сейчас только в перерыве работы, пока просыхает наклейка с исправленьями на рукописи. Вы подумайте, какая собачья жизнь!

Я только для Вас задумал это: поездку в Цхалтубо, Бараташвили[2] и пр. и пр., только чтобы Вас повидать. И ничего из этого не выйдет, — некогда. Все некогда и некогда. Некогда было, когда умирал бедный Адик и мы его схоронили, некогда было в дни смерти моего отца[3], некогда лечить руку, которая четыре месяца болела, — результат писарского, а не писательского переутомленья (ведь зарабатывать приходится пропорционально потраченным чернилам, а не пропорционально роли и качеству сделанного, ведь я гордый, как Вы, Ниночка), некогда лечить глаза или дать им требующийся отдых (хронический конъюнктивит). Но грех жаловаться, милая Нина!! Что-то все время живет и держится в душе, что и в горе является источником радости и все время увлекает и захватывает и помогает сносить удары. Так что, благодарить Бога надо и удивляться ему, а не унывать!

Опять ничего не выйдет с приездом моим в Ваши дорогие места, и опять, как мне кажется, расстаюсь я с этой мыслью ненадолго, с надеждой на ее скорое возобновление. Но, конечно, не надо умолкать на такой большой срок, как это сейчас с нами случилось. Простите меня, Нина.

Напишите мне, пожалуйста, поподробнее о Ните. И умоляю Вас, сделайте мне одолженье. Когда будут всякие эти случаи и оказии, не хлопочите, родная, не посылайте ничего. У нас всего очень много, и это я, свинья, должен был бы ловить едущих к Вам и об этом думать, а не Вы нам. Серьезно, Ниночка, это каждый раз меня убивает. Простите меня, пожалуйста, за грубость.

Ну, рукопись просохла, — крепко, крепко, крепко целую Вас и Ниту, горячо желаю Вам и ей здоровья, бодрости, спокойствия и удачи. У меня еще в жизни много планов, и вообще, внутренне мне *очень хорошо*, мой друг, и Зина тоже — молодец, это моя пара. Простите за эту бешеную скороговорку, я так быстро написал Вам, что от письма пыль летит. Зина, Стасик (хороший пианист) и Леня кланяются.

Ваш всегда и каждую минуту Боря

14. VIII. 45

Напишите, как Нита.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 121912, 3).

[1] О помощи Е. В. Пастернак, направлявшейся в санаторий в Сагурамо, Пастернак писал Чиковани 4 авг. 1945: «Вчера я Вам отправил большое деловое письмо по почте, а сейчас из города приехал мой старший сын Женя и сказал, что его мать Евгения Владимировна получила литфондовскую путевку в Сагурамо и завтра туда вылетает. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз от души поклониться Вам. Я знаю, что если бы Евг. Влад. понадобилось какое-нибудь содействие словом или советом, Вы наверное ей в этом не откажете, и заранее благодарю Вас. <...> Сказанное в особенности относится к возможностям ее обратного отъезда. Без протекции это теперь ведь трудно или даже почти невозможно. Тогда помогите ей» (ГМГЛ).

[2] Намерение сделать переводы из Николая Бараташвили к его юбилею и приехать в Тбилиси на торжества было осуществлено в сентябре и октябре 1945 г. В письме 3 авг. 1945 Пастернак просил Чиковани: «Если это возможно и совершенно Вам удобно, заключите, пожалуйста, по моей доверенности договор с Заккизом на переводного Бараташвили, получите 25% аванса, половину каким бы то ни было образом, под любым предлогом навяжите Нине Табидзе, чтоб она даже не знала, откуда они, а другую почтой или телеграфом переведите нам на имя Зины <...> Простите, Симон, это свинство, что я Вас затрудняю, но Вы меня уже знаете с этой плохой стороны, и хуже я в Ваших глазах не стану. Просьбу мою, если она исполнима, соблюдите, пожалуйста, с особенной энергией по Нининому пункту» (ГМГЛ, № 147, 5).

[3] Адриан Нейгауз скончался 29 апреля 1945 г., художник Л. О. Пастернак — 31 мая 1945 г.

961. Я. Э. ГОЛОСОВКЕРУ

Середина августа 1945, Переделкино

Столовая Дома Творчества
Якову Эммануиловичу Голосовкеру.
От Б. Пастернака

Милый Яков Эммануилович!

Простите, что я не откликнулся. Спасибо за труд, положенный на подготовку перевода и материалов[1]. Но я до сих пор так занят, что прочел только Вашу милую записку и даже не заглянул в книгу, что Вы в ней для меня отметили. Однако, я не маленький, и, конечно, серьезностью Ваших взаимоотношений с Гослитиздатом не играю. В воскресенье 18-го[2], вероятно я освобожусь на те два-три вечера, что потребуется для работы, и все, Бог даст, сразу уладится. Тогда я появлюсь на Вашем горизонте или попрошу Вас к себе. Итак, ждите знака через неделю. Всего лучшего. Руку![3] *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (собр. С. О. Шмидта). Датируется по содержанию.

Филолог-классик и философ Яков Эммануилович Голосовкер, недавно вернувшийся из ссылки, жил на даче у Л. А. Кассиля в Переделкине и столовался в Доме творчества.

[1] Голосовкер обратился к Пастернаку с просьбой перевести несколько од Горация для составлявшегося им сб.: Гораций. «Избранные оды»; вышел в 1948 г. (М., ГИХЛ).

[2] Вероятно, ошибка автора: 18 авг. 1945 г. приходится на субботу.

[3] К этому времени относится записка Пастернака к Боброву, жившему в это время в Доме творчества. Бобров тоже перевел для сб. Горация «Сельское жертвоприношение» («Ладони к небу, к месяцу юному...»). «Дорогой Сережа! Если он тут и ты не имеешь ничего против, приведи с собой Як. Эм-ча. До свиданья. *Твой Б.*» («Встречи с прошлым». Вып. 8. С. 303).

962. Я. Э. ГОЛОСОВКЕРУ

Август 1945, Переделкино

Дорогой Яков Эммануилович! Я все-таки чересчур поглощен Генрихом (2-ой частью) и ничего не могу уделить Горацию. Кроме того, это, наверное, тоже далеко мне, как Катаеву. Простите, что ввел Вас в заблуждение. Второй вещи даже не рассматривал, возвращаю Вам все с благодарностью без всяких притязаний в отно-

шении «Мельпомены»[1]: можете с легким сердцем забраковать ее. Другими ее переводами не интересуюсь. Главное некогда и немного чуждо[2]. Крепко жму руку. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (собр. С. О. Шмидта). Датируется по содержанию.

[1] Пастернак перевел и отдал Голосовкеру XXIX оду Горация «К Мельпомене» («На кого в час рождения...»), автограф содержит поправки Голосовкера.

[2] Голосовкер все-таки уговорил Пастернака перевести еще одну оду. «Дорогой Яков Эммануилович! — писал он. — Вы такой милый, я растаял от Ваших комплиментов: хорошо, saepe (быстро. — *лат.)* сделаю, но и только, либо в это, либо в следующее воскресенье, так что если Вам нужна книга, можете на неделю взять ее. Еще только утром решил ничего больше не делать, но после Вашей записки!.. Вы знаете, как к кому подъехать. Спасибо за ласку и хлопоты. *Ваш Б. П.»* (там же). Посылая перевод оды XVI «На возвращение Помпея Вара («В дни бурь и бедствий друг неразлучный мой...», Пастернак сопроводил его запиской: «Яков Эммануилович, и прежнее и это надо будет еще раз посмотреть в корректуре. Как это ни прибыльно, я от предложенья воздержусь. Спасибо за подстрочник и книгу. *Ваш Б. П.»* Автограф содержит поправки Голосовкера (там же).

963. И. В. СТАЛИНУ

25 августа 1945, Переделкино

Дорогой Иосиф Виссарионович.

Я с семьей живу временами довольно трудно. Мы получили когда-то скверную квартиру, самую плохую в писательском доме, и неналаженность жизни в ней сама влечет к дальнейшим ухудшеньям. Так, когда я во время войны уехал на несколько месяцев к эвакуированной семье из Москвы, в квартире, как наихудшей в доме, расположилась зенитная точка, и вместе с обстановкой в ней погибли работы и архив моего покойного отца, академика Л. О. Пастернака, недавно скончавшегося в Оксфорде. Приблизительно в это же время у нас умер двадцатилетний сын от костного туберкулеза, нажитого в той же квартире, очень сырой.

Я два года тому назад писал об этом В. М. Молотову. Очень быстро по его распоряжению явилась комиссия от Моссовета, признала помещенье непригодным для проживанья, повторила посещенье и тем дело ограничилось[1]. Я никого не виню, новых

домов мало, и естественно, что квартиры достаются только людям чрезвычайным, крупным служащим и лауреатам. Устроиться в бытовом отношении в городе пока для меня мечта неосуществимая, и я к Вам не с этими тягостями, потому что никогда не осмелился бы докучать Вам ничем неисполнимым. Моя просьба проще. Она, как мне кажется, удовлетворима и справедлива.

Я пять лет работаю над лучшими произведениями Шекспира, и, судя по некоторым откликам у нас и за границей, не без удачи. Не может ли Комитет по делам искусств намекнуть театрам, что в отношении этих пьес они могут довольствоваться собственным вкусом и ставить их, если они им нравятся, не ожидая дополнительных указаний[2], потому что в театрах, да и не только в них, шарахаются всего, что живет только своими скромными силами и не имеет нескольких дополнительных санкций и рекомендаций. Так было в Московском Художественном Театре с Гамлетом, дорогу которому перешла современная пьеса «Иоанн Грозный»[3].

Поддержка театров явилась бы для меня большим облегчением. Жить одною текущей работой возможно, но трудно. Мне давно за пятьдесят, зимой у меня от переутомления болела и долго была в бездействии правая рука, так что я научился писать левой, у меня постоянно болят глаза. Мне очень совестно беспокоить Вас пустяками, я годы и годы воздерживался от этого, пока был жив Александр Сергеевич Щербаков, который знал меня и выручал в крайностях.

Дача в Переделкине.

25 авг. 1945 г.

Впервые. — Машинопись с авт. правкой карандашом.

[1] См. об этом в письме № 947.

[2] О зависимости театров от указаний «двора» Пастернак писал сестрам в письме № 980 и о необходимости «производства в камер-юнкеры» его Шекспира — к О. Фрейденберг (№ 1000). Желание, чтобы на него «работал театр», было вызвано переутомлением и денежными затруднениями, не позволявшими заняться оригинальными замыслами. См. также письма № 964 и 965.

[3] *«Иоанн Грозный»* — пьеса А. Н. Толстого. Также не были поставлены во МХАТе «Антоний и Клеопатра», переводившиеся по его заказу, Малый театр отказался от «Ромео и Джульетты», на которых был подписан договор, «Отелло», сделанный для Театра Революции, тоже остался без применения.

964. К. А. ФЕДИНУ

26 августа 1945, Переделкино

26. VIII. 1945

Дорогой Костя!

У меня к тебе просьба, — я также с ней обратился к Фадееву. Если судьба занесет тебя в Москву на ближайший редсовет Гослитиздата, когда среди прочего на повестке будет мой Шекспир, окажи мне поддержку следующего рода. Они согласны собрать 5 переведенных пьес (Гамлета, Ром<ео> и Дж<ульетту>, Ант<ония> и Кл<еопатру>, Отелло и Генр<иха> IV-го, обе части) в один том, но оттягивают заключение договора, на чем я настаиваю сейчас, оправдывая это пожеланьем, чтобы я для полноты картины перевел Макбета и Лира. Я обещаю сделать это в более отдаленном будущем, ко 2-му изданию тома, а теперь прошу их ограничиться сделанным, потому что, в виде отдыха от Шекспира, хочу пописать что-нибудь свое[1]. Эту мою версию и поддержи, или промежуточную, которую предложит П<етр> И<ванович>[2], и я буду тебе страшно благодарен.

Ничего помнить тебе не надо, во все эти подробности введет вас П. И.

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Если Константин Александрович в Москве и кто-нибудь туда сегодня или завтра поедет, прошу Дору Сергеевну[3] или домашних отвезти и передать ему записку. *Б. П.*[4]

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Вопреки неудачам с пьесой «Этот свет», поэмой «Зарево» с каждым днем возрастало настойчивое желание собственного творчества.

[2] П. И. Чагин. Расшифровка инициалов сделана на письме рукою К. Федина. Имеется в виду письмо к Чагину № 958.

[3] Д. С. Федина.

[4] Последняя фраза приписана на обороте.

965. А. А. ФАДЕЕВУ

26 августа 1945, Переделкино

26. VIII. 1945

Дорогой Саша!

Если ты будешь в Москве на ближайшем редсовете Гослитиздата и если там будет речь о моем Шекспире, поддержи меня, пожалуйста, вот в каком отношении. Они давно с согласия ЦКа готовы собрать эти переводы в один том, но всё время откладывают заклю-

ченье договора, в последнее время под тем предлогом, что хотели бы, чтобы я, сделанное («Гамлета», «Ром<ео> и Джул<ьетту>, «Ант<ония> и Клеоп<атру>», «Отелло» и «Генриха Четвертого» в двух частях) дополнил еще «Лиром» и «Макбетом». Я не отказываюсь, но хочу это сделать в будущем, ко 2-му изданию тома, потому что устал (у меня зимой стала отниматься рука) и должен сделать перерыв для собственных работ, а им предлагаю ограничиться переведенными драмами, которых достаточно для такого собрания. Это вопрос только денежный, по состоянию квартиры мне опять придется зимовать, а прошлой зимой у меня на дрова ушло больше 20 тысяч.

Прости, уверен в твоей помощи: знать тебе ничего не надо, всё доложит Петр Иванович.

Крепко жму твою руку. Сердечный привет Ангелине Осиповне[1].

Твой Б. П.

С той же просьбой обращаюсь к Федину.

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 1026).

[1]Жена Фадеева, актриса МХАТа А. О. Степанова.

966. С. ЧИКОВАНИ

9 сентября 1945, Переделкино

9. IX. 1945

Дорогой Симон!

Получил Вашу телеграмму о деньгах. Я бы никогда Вас этим не утруждал, но правда, положенье критическое. Совсем недавно освободился от Генриха (рука прошла!), сделал две вещи Шевченки и два дня как принялся за Бараташвили[1]. Он у меня пойдет, я уже вижу.

Я смотрел, что сделали в этом отношении раньше (Московское и Ленинградское издания[2]), Спасский, Антокольский, Лозинский и др. (выделяется, между прочим, Гаприндашвили, — молодец). Попытка сделать ритмическую комбинацию изо всех слов подстрочника уже произведена и ее не стоит повторять. Из этого надо сделать русские стихи, как я делал из Шекспира, Шевченки, Верлена и других, так я понимаю свою задачу. Все эти декады, коллективные чтения, ученые статьи о передаче грузинского стиха и потом самые передачи, все это явления департаментские, условные, основанные на обоюдной вежливости, но для читателя не-

выносимые, а надо дать, если возможно, нечто легкое, свежее и безусловное. Это многим покажется спорным, скажут это слишком вольный Бараташвили, но это меня не пугает.

Я с полнедели уже как начал его, и доволен ходом работы: мне не только не пришлось отступать от того, как я пишу последние годы, но наоборот Бараташвили оказался благодарным поводом для того, чтобы сделать несколько шагов дальше в том же направлении. Я его сделаю быстро. Перевожу по порядку, вещь за вещью, и думал через неделю послать Вам половину собранья, но встретил на улице М. П. Малышкину, жену Балашова[3], и дал ей первые 8 страниц книжки для передачи Вам через Жгенти, которого они увидят, направляясь в Батум. Сохраните пока эти 8 страниц, в ожидании следующих, которые пойдут в порядке нумерации для Закгиза.

Когда дело подойдет к юбилею, не будет ли у Вас возможности поместить переводы в русской тифлисской газете?

До свиданья Симон. Крепко Вас целую. Привет Марико, Нине, Гогле, Евф<имии> Александровне и другим.

Если деньги пойдут не по телеграфу, а через банк, то вот сведения для перечисленья (прилагаю их отдельно).

Ваш Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 6).

[1] Из Т. Шевченко были переведены два больших стих.: «Средь нашего земного рая...» и «Козачковскому» («Ленинград», 1945, № 19/20 и Т. Шевченко. «Избранные стихотворения и поэмы», 1946). Переводы Н. Бараташвили делались к его юбилею по просьбе С. Чиковани.

[2] Имеются в виду сб.: Николай Бараташвили. «Стихотворения». М, 1938, и «Грузинские романтики в переводах русских поэтов». Л., 1940, в которых даны переводы С. Спасского, К. Липскерова, В. Гаприндашвили, Б. Брика, Ю. Верховского, П. Антокольского, В. Державина и др.

[3] Мария Павловна *Малышкина* и ее муж Сергей Михайлович Балашов, чтец-декламатор, были соседями Пастернаков по дому в Лаврушинском переулке.

967. С. Н. ДУРЫЛИНУ

10 сентября 1945, Переделкино

10 сентября 1945 г. Дорогой Сережа! До меня дошли слухи, что твоя статья в редакции[1]. Вместе с тем она не появляется. Значит, и с тобою, как всегда со мною, там что-то неладное. Одина-

ковая гордость и за тебя и за себя не позволяет мне наводить справки. Но что бы там ни было, прости, что я оказался несчастною или неустойчивой темой и не по своей вине (это ведь все страшные мерзавцы и обманщики!) обманул тебя как возможность. Мне страшно обидно и совестно, что ты потратил на меня время, которое еще не окупилось. Не уничтожай, пожалуйста, статьи, *она когда-нибудь понадобится*[2]. Я ее не видел и не имею понятия о ней. Несмотря на эту задержку, я всегда буду называть тебя как ближайший мне авторитет (как остается с Шекспиром), пока ты мне этого не запретишь.

Целую тебя. *Твой Б.*

Дорогой мой друг. Прости за спешку и скороговорку. Строчу как каторжный. Рука прошла.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] Речь идет о статье Дурылина «Земной простор», написанной им по заказу «Литературной газеты» и оставшейся ненапечатанной.

[2] Пастернак хотел познакомиться со статьей и 25 сент. 1945 писал Дурылину: «Дорогой Сережа! Спасибо тебе за письмо. Прочитать твою статью было бы для меня истинным наслажденьем. Если бы Ирина Алексеевна как-нибудь оказалась в наших краях и могла бы занести ее в домоуправление, это в придачу ко всему прежнему обязало бы меня еще больше по отношению к ней и к тебе. Целую тебя. *Твой Б. П.*» (там же. С. 399). Пастернак получил возможность ее прочесть только через полгода (см. письмо № 996).

968. С. ЧИКОВАНИ

24 сентября 1945, Переделкино

24. IX. 1945

Дорогой Симон! Кучу всего отправил Вам сегодня: заказным письмом Бараташвили[1], телеграмму об этом и вот эту открытку.

Сейчас я подумал. «Судьба Грузии» в Московском издании очень хороша. Ее сделал покойный Валериан под «Кавказского пленника» или «Бахчисарайский фонтан» так, как не сделает никто у нас, неплохое вступление Антокольского. Надо ли мне это делать? Ведь я на это потрачу время и труд[2]. Может быть удовольствоваться сделанным? Немедленно телеграфируйте мне, что Вы думаете.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 30).

[1] «Вот продолжение Бараташвили, скоро дошлю все остальное, — писал Пастернак. — Иду на некоторый риск, посылая его заказным по почте, и буду беспокоиться о том, дойдет ли он. Поэтому будьте добры, немедленно протелеграфируйте мне о его полученьи <...> Сегодня отправляю Вам телеграмму: "Выслал заказным рукопись начиная с девятой по тридцатую страницу. Привет"» (ГМГЛ, № 147, 8).

[2] Поэму Бараташвили «Судьба Грузии» переводил Валериан Гаприндашвили, но, по просьбе Чиковани, Пастернак тоже перевел эту поэму.

969. З. Н. ПАСТЕРНАК

Конец сентября 1945, Переделкино

В бухгалтерию К0-39-84.

У Праск<овьи> Никоновны или Анаиды Ирвандовны узнать все, относительно денег[1] (за Шевч<енко> получ<ить> наличными, за Шексп<ира> чтобы сейчас же перевели). Узнай телефон «Октября». Отдельная ли у них касса, или получать через Гослитиздат. Позвонить в «Октябрь» редакторше Нине Марковне[2]. Узнай, как с Бараташвили? Давать ли им всего? Нельзя ли получить немного денег.

У Хитаровой или у Рябининой (К3-63-92) узнать, не едет ли кто-нибудь на юбилей в Грузию, чтобы послать с оказией рукопись.

Может быть это Викт. Викт. Гольцев?[3]

Позвонить ему, узнать про здоровье и пр.

Впервые: «Второе рождение». — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62). Датируется по содержанию. Эта и приведенная в коммент. 3 записки Пастернака жене ярко передают характер деятельной помощи, которая оказывала З. Н. мужу в его издательских делах. На обороте одной записки набросок письма главному редактору журн. «Ленинград» Б. М. Лихареву (см. коммент. к письму № 959).

[1] П. Н. Макарова и А. И. Будагова — сотрудники бухгалтерии Гослитиздата, где печатались в то время сб. Шевченко и отдельное издание «Отелло».

[2] Надо: *Минна Марковна* Юнович, ответ. секр. журн. «Октябрь», где были опубликованы семь стих. Бараташвили (1945, № 10).

[3] С. М. *Хитарова* — редактор Гослитиздата, А. П. *Рябинина* — зав. ред. литературы народов СССР. На юбилейные торжества в Тбилиси поехали В. В. Гольцев и С. М. Хитарова. Пастернак не успевал закончить перевод и 6 окт. писал жене: «Позвони воскресенье вечером Гольцеву Виктору Викторовичу (она — Юлия Сергеевна), если он еще не уехал. Есть ли у

него *проверенный* экземпляр Бараташвили для себя на радио и для Грузии. *Прочел ли он и каково его мнение.* Когда едет? Будет ли после него, числа 10–12-го *какая-нибудь еще оказия в Грузию* (если знает, пусть *назовет* и сам будет добр, предупредит то лицо, чтобы не уехало, не взяв посылки), чтобы дослать окончательный остаток Бараташвили. (Будет готов числа 10–12-го). Телефон Гольцева домашний Г1-50-79. Служба (радио) К0-27-50, доб. 4. Пусть поцелует от нас Нину и обоих Чиковань. То же самое Хитаровой. Понедельник утром (часам к 11) найти возможность позвонить Хитаровой, Софье Моисеевне (Мосесовне. — *Е. П., М. Р.*) К3-63-92 те же вопросы, что Гольцеву. 1) *Как нашла Бараташвили (мнение).* 2) Когда едет? Поклоны от нас обоих Чиковани. 3) Кому передать остаток Бараташвили (будет готов через 3 дня, остался конец поэмы), не едет ли кто-нибудь после нее в Грузию. 4) Выписала ли деньги за Бараташвили и сколько? Чтобы не забыла, что в Грузию, для Чиковани, надо отвезти оригинал, т. е. тобою (Зиной) переписанный экземпляр. Переписала ли для Гослитиздата и Гольцева и проверила ли. Желаю ей счастливой дороги» (там же. С. 201). Закончив через несколько дней перевод, Пастернак 16 октября сам повез в Грузию «остаток Бараташвили».

970. Н. ТАБИДЗЕ

1 ноября 1945, Переделкино.

1. XI. 45

Дорогая Ниночка! Видите, какой я скупой, — я Вам пишу не на Тициановой бумаге[1]. Я перед Вами виноват со многих сторон. Во-первых, я Вас должным образом не поблагодарил за Ваши подарки и в предотъездной суете недостаточно оценил их многочисленность и размеры. Когда теперь дома я все распаковал, я пришел в ужас и готов был сгореть со стыда. Ведь те копейки, которые я Вам оставил, ушли все на эту роскошь, которая до слез растрогала Зину и заставила Леничку прыгать от радости и признательности. Как я это допустил и второпях ничего не сказал Вам об этом! Правда, правда, не только мне тяжело и совестно перед Вами, но я убежден, что в глубине души и Вы должны быть недовольны и огорчены рассеянностью и невнимательностью моих последних дней. Второе: когда 29-го в понедельник, среди дня, я узнал, что мы не летим (помните, это было после ночи у Леонидзе), для меня было установлено, что последний вечер я проведу у себя спокойно и обязательно еще раз повидаюсь с Вами. Но так случилось, что меня насильно увезли в Сагурамо и в Тбилиси я попал только в 3 ч. ночи, за 2 ч. до выезда в аэропорт. В Сагурамо я приехал совершенным трупом, но рад поездке. На обратном пути Евфимия Александ-

ровна много пела и научила меня одной чудной, путаной, лабиринтоподобной мингрельской песне (ой радо), которую я все время напеваю про себя, когда думаю о ней, о Вас, и об этих сказочных двух неделях. И немногого недоставало, чтобы в эти последние часы у меня не начался роман с Раисой Микадзе, — кланяйтесь, пожалуйста, ей[2].

Теперь что мне сказать Вам, Нина? Вот я побывал опять у Вас и все то, что я ощутил и понял давно когда-то, осталось, упростилось и усилилось: побеждавшее оказалось победившим, редкое стало единственным. Повторяю то, что должно быть, говорил Вам: с жизнью меня связывают три силы: Грузия, Англия и мое русское будущее, но не нынешняя моя жизнь в Москве, не мои здешние теперешние отношенья. Когда в Сагурамо в ответ на чьи-то слова я заговорил о своих, о Зине и детях, я не выдержал и заплакал, не от разлуки с ними, а от сознания того, на какую трудную жизнь я обрек всех, жизнью связанных со мной.

Опишу Вам возвращенье. Я вылетел грустный, раздраженный, накричал на Р-у и был страшно груб с М-ой[3]. Что им был этот отъезд? Только перемена гостиницы. А я с кровью отрывал себя от Вас и от двух близких и родных мне семей, Симона и Гоглы; и от места на асфальте против гостиницы, где долго стоял Виллис Симона, и Ефимия пела, и мы вчетвером прощались. Я и бедный Степанов[4] не получили кресел в самолете и сидели на чемоданах, а эти бабы все время занимали у меня деньги и жадно скупали все, что можно было по дороге, и потом их всем этим рвало.

Я приехал, не предупредив Зины телеграммой. Она оказалась в Переделкине, Стасик в консерватории, а у меня не было ключа от квартиры, я отдал вещи соседям и пошел к Жене на Тверской бульвар. Оказалось, и там сборы. Женя на рассвете должен был отправляться в лагеря. Я шел по Москве с мингрельской песнью в душе и тою тяжестью, какая бывает в молодости от насильственной и преждевременной разлуки с дорогими людьми или местами. Я шел и думал: «Зачем я уехал оттуда?» Или еще лучше — я шел и сознавал, что я вернулся в Москву только по видимости, только одними ногами, душою же и сердцем остался на кусочке ночного асфальта там, недалеко от Вас, против гостиницы, впятером с обоими Чиковани и Леонидзе.

Я пишу Вам из Переделкина, куда только что приехал. Все здоровы, благодарят Вас и кланяются Вам. Зина уехала в город

заниматься ремонтом (он все еще не кончен), на даче совершенно нет дров, и тем временем, как я начал Вам писать, погасло электричество. Но все, Бог даст, уладится. Завтра же я возьмусь за основную, рядовую мою работу, начну переводить Макбета или Лира. Мне было очень хорошо у Вас в Тбилиси. Когда я сердился, что пиры ночь за ночью и мне не оставляют времени передохнуть, дело было не в здоровьи, — я оказался ночною птицей и отлично это переношу — дело было в том, что надо мне было дать побыть побольше одному, и я бы тогда действительно дал что-то на своих вечерах и в разговорах с друзьями при встречах. А так я получил целый мир впечатлений и, так сказать, все время купался в целом море теплоты, ничем не ответив взамен. Теперь по этому поводу у меня запоздалые невольные угрызенья.

Я верю, что с Божьей помощью попаду весной к Вам опять. Я это сделаю в том случае, если плодотворно проработаю зиму, приготовлю расширенную, пополненную Шекспиром и новыми вещами программу и дам несколько больших вечеров в Ленинграде, Москве и у Вас. Пожелайте мне, значит, усидчивости и успешной работы зимою. Еще раз спасибо, дорогой мой друг, за все, что мне дали встречи с Вами, за то, что есть угол переулка на земле, где можно из-под тенистого дерева крикнуть «Нина!» вверх в окно и так безмерно много ощутить в ту минуту, когда оно откроется. Вероятно, я сегодня это напишу Симону и Гогле, а пока кланяйтесь всем и всех поцелуйте.

Ваш Боря

Еще раз страшно жалею, что не застал в городе Ниточки. Кланяйтесь ей.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 02191, 24).

[1] Пастернак вернулся 30 окт. 1945 г. из Тбилиси, куда летал на торжества по поводу столетнего юбилея Бараташвили; виделся с Н. Табидзе, которая отдала ему большой запас старой гербовой бумаги, принадлежавшей Тициану.

[2] Раиса Константиновна *Микадзе* — скульптор и художник, недавно вернувшаяся из лагеря, приятельница Н. Табидзе. См. письмо к ней № 1142.

[3] Неустановленные лица.

[4] Николай Леонидович *Степанов* — историк литературы.

971. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

2 ноября 1945, Москва

2. XI. 1945. Дорогая Оля! Я летал на 2 недели в Тифлис[1] и два раза по пути туда и назад, перелетал над Черным морем с пакетами изабеллы, купленными за копейки в Сухуми и Адлере, и в эти часы думал о тебе[2]. Оно сверху самого лучшего цвета на свете, которого нельзя запомнить и назвать, серо-зеленоватого, благородного, самого некрикливого, глинисто-голубого, матового оттенка. Жизнь в Тифлисе была как эта дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся. Перед отъездом были оказии из Англии. Бедную Лиду оставил муж[3]. Это с четырьмя-то детьми. Но про это как-нибудь в другой раз. Целую. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Пастернак пробыл в Тбилиси с 16 по 30 окт. 1945 г.

[2] Виденное с самолета Черное море вызывало воспоминания о детской дружбе с Ольгой Фрейденберг.

[3] Муж Лидии Леонидовны Элиот Слейтер, призванный на военную службу в качестве врача, женился на медсестре, работавшей с ним в госпитале.

972. С. ЧИКОВАНИ

5 ноября 1945, Переделкино

5. XI. 1945

Дорогие, дорогие мои друзья Симон и Марико! Я хотел сделать это письмо интересным для Вас, Симон, и вложить в него мой перевод «Сомненья»[1]. Но последние годы Бог знает что делается с моими черновиками. Я их набрасываю только наполовину и не сохраняю, а чистовиков мне не возвращают из редакций. Словом, среди моих бумаг «Сомненья» не оказалось. Его разыщут в редакции Лит. газеты и я перешлю его Вам после праздников, как только получу. То же самое относится к «Земному простору», которого вообще уже больше нигде нет и который антикварно разыщет мне Крученых[2].

Мысленно вызываю в воображении Ваш дом, Ваши чистые, светлые комнаты. На три рукава растекается великолепная, оживленная городская панорама. Сразу охватывает чувство умной, талантливой, по скромному уверенной Вашей жизни. Зурабчик[3] склоняет головку, прищуривает глазки и щебечет дрр-алло, и у меня сердце сжимается от сожаленья, что я все это видел и оставил.

Эта поездка страшно нас сблизила. Не скрою: мне всегда трудно было давнишнее мое признание Вас и завязавшуюся между нами и готовую укрепиться дружбу делить с тою *машинальной, заученно бодрой восторженностью*, которая составляла отличие общего нашего круга в лице его младших участников (вплоть даже до Бажана[4], остальных я часто называл Вам). Меня давно удручало то, что это худшая из форм *крайне облегченного* душевного багажа, с которым часть поколенья думала совершить такой неприкрашенно страшный исторический переход. Но теперь я сам порвал так давно и откровенно с этим кругом, что Вы стоите для меня совсем отдельно от столь многих и многих наших общих знакомых. Я очень рад этому, потому что Вы — яркий, неподдельный художник и нам с Вами надо быть близкими.

Писание этих строк как-то странно взволновало меня. Я хотел еще обстоятельно и подробно поблагодарить Вас за сизифовы труды и неисчислимые заботы, которые взвалил в особенности на Вас общий наш приезд, и за то, что Вы сделали для меня пребывание у Вас таким увлекательным, радостным и драгоценным. Вы должны знать сами: на свете очень немного такого, чего бы я желал так горячо и с такою силой, как заслуженного успеха и счастья Вам и Марико. Обнимите, пожалуйста, дорогого Серго[5]. Всего, всего лучшего всем Вашим милым домашним.

Целую Вас. *Ваш Боря*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 5).

[1] Стих. С. Чиковани, в окончательном виде получившее название «Работа».

[2] Речь идет о сб. стихов Пастернака «Земной простор», вышедшем весной 1945 г.

[3] Маленький племянник М. Чиковани.

[4] Николай Платонович *Бажан* — украинский поэт и общественный деятель.

[5] *Серго* Клдиашвили — грузинский прозаик, друг и сосед Чиковани.

973. С. ЧИКОВАНИ

9 ноября 1945, Переделкино

9. XI. 1945

Дорогой Симон!

Какое счастье! Царапина на глазу у Лёнички затянулась и, Бог даст, не оставит следа[1]. Если бы Вы знали, что я испытал!

Готовясь к переезду в город, я сейчас разбирал бумаги и нашел «Сомнение»[2]. Я не помню, окончательный ли это вариант, и у меня нет подстрочника, чтобы проверить, не слишком ли я наврал. Но некоторое упрощенье я, наверное, сделал умышленно, и не мог не сделать, как это в переводах у меня теперь замечается со всеми, в целях компоновочной ясности и легкости движения, забота о которых теперь перевешивает у меня соображения живописности, эмоции и прочие частности. Мы всегда так откровенны с Вами, что Вы, конечно, прямо напишете мне и меня простите, если перевод будет Вам неприятен (особенно в строфе о Важа Пшавеле вероятно очень наврано, но, как я сказал уже, мне сейчас не с чем сверить)[3]. Если же он приемлем и это не расходится с Вашими желаниями, дайте его Корнееву в «Зарю Востока»[4].

В письме Куфтиным[5] я свое пребывание у Вас назвал мистерией. Я не могу подыскать более подходящего слова для обозначенья той волны любви и грусти, которую поднимает во мне воспоминание этих дней. Надо будет весной опять приехать. Кланяйтесь Нине, Леонидзам, всем оставшимся из Москвы, Гудиашвили ему и ей, поцелуйте Серго[6], Марико и всех Ваших. Обнимаю Вас.

Ваш Б.

Сейчас я телеграфировал Нине, чтобы она успокоила насчет Лёнички всех, до кого достигла весть об этой несчастной случайности. Сделайте это и Вы или Мариечка по телефону.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 9).

[1] В письме к Чиковани 8 нояб. 1945 Пастернак писал: «Милый Симон! У меня большое огорчение. На днях Леничка играл с одною девочкой, у нее в руке был фруктовый нож, он нагнулся и наткнулся на острие правым глазом. Не буду рассказывать Вам всех страшных перипетий. Результат: у него ссадина без прободения на глазку снизу вверх поперек зрачка. Молю Бога, чтобы не осталось следа (есть маленькая возможность), когда станет яснее, напишу» (Материалы ГМГЛ. С. 296).

[2] См. письмо № 972.

[3] Имеется в виду строфа: «И, как раньше, в часы недовольства собой — / Образ Важа Пшавела при мне. / Вот он сам, вот и дом, вот и крыша с трубой, / Вот и купы чинар в стороне» и следующие за ней.

[4] Сотрудник газеты «Заря Востока» Б. И. *Корнеев*, где 19 и 21 окт. 1945 были опубликованы переводы Бараташвили «Соловей и роза» и «Синий цвет».

[5] Археолог Борис Алексеевич и его жена Серафима Васильевна *Куфтины*.

[6] *Серго* Клдиашвили.

974. А. Е. КРУЧЕНЫХ

10 ноября 1945, Москва

Алексею Крученых

Вот тебе, Алеша, оригинал 2-й части «Генриха», делай с ним, что хочешь. Ты обещал мне хорошей бумаги в обмен, — достань, сколько сможешь и сочтешь нужным.

Другая просьба. Вот записи Аси Цветаевой, вероятно, главным образом о Марине и ее детстве[1]. Я три или четыре раза принимался их читать, и это физически мне не по силам. У меня больше полугода болят глаза и нет времени подобрать новые очки. Разбери, будь добр, все это, и *самое, самое важное* изобрази, если сможешь совершенно крупно и разборчиво, чтобы это можно было прочесть по-человечески. Будь здоров. *Твой Б.*

10. XI. 1945

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] А. Е. Крученых составлял машин. тетради материалов о М. Цветаевой. В письме речь идет о полученных от А. И. Цветаевой мемуарных записках, вероятно, первонач. набросках ее будущей книги, изданной под назв. «Воспоминания».

975. И. С. ПОСТУПАЛЬСКОМУ

10 ноября 1945, Переделкино

Простите, Игорь Степанович. Больше двух лет пролежала у меня Ваша рукопись. Два раза принимался я Вам писать и оба раза сдерживался, чтобы не огорчить Вас[1].

Да и правда, что сказать мне, когда это лучшее выраженье того, что мне более всего враждебно, что я отрицаю. В нашей сов. литературе, застарело (со времени Маяковского) трусливой и лживой, для меня в стихотворном секторе еще как-то, но *в одинаковой степени* (т. е. стилистические их отличия мнимы) *реальны* пары: Сельвинский + Сурков; Асеев + Симонов; совсем приятны Твардовский и Исаковский... Но Антокольский, Тихонов, ленинградская группа и все то, чего так много в Вас, — этого просто нет на свете, это абсолютно никому не нужный холод призрачного, по организационным причинам (даже и в случае трагических исключений) задержавшегося и еще не рассыпавшегося в прах ложного, видимого «мастерства», наигранной «бодрости», пустейшей, лишенной лица, образов и простого риф-

моплетского уменья, риторики и пр. и пр. И потом, терпеть я не могу от плохо понятого меня пошедшей неполной рифмовки!

Обратитесь к трудной, адской, каторжной Вашей жизни, черпайте из нее настоящие, пусть запретные слова, пишите прозу, настоящую, берущую содержанием, забудьте весь этот лефовско-акмеистический, неблоковский, антихристианский вздор, и да поможет Вам Бог. Еще, и еще раз простите меня.

Ваш Б. Пастернак

10. XI. 1945. Переделкино

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. В. В. Лаврова).

[1] Отзыв на подборку стихов литерат. критика и переводчика И. С. Поступальского.

976. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

Ноябрь 1945, Москва

Дорогая Надежда Яковлевна! Я тысячу раз собирался ответить Вам. Свинство, и я виноват перед Вами только в одном. Я должен был своевременно ответить Вам, что просьбы Вашей не смогу исполнить, и должен был объяснить почему, а я этого не сделал и некоторое время вводил Вас и Казарновского в заблужденье ложным и напрасным ожиданьем[1]. Теперь это сделалось, или не сделалось, наверное, иными путями (все же напишите мне, что с Казарновским), и я на эту тему распространяться не буду, а скажу несколько слов о себе из чего Вы может быть почерпнете мне оправдание, а может быть и нет.

Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости)... активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и так же сильно усложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора.

Я много перевел из Шекспира после Гамлета: Ромео, Антония, Отелло, Генриха IV, обе части. Если Бог даст, доделаю Лира (которого начал) и Макбета. Вольности моего обращения с Шекспиром получили одобренье в английских университетах. Я немного писал своего нового, но теперь буду больше, роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни, не столько художественный, сколько содержательный. Напишу, наверное, большую статью о Блоке[2]. Открытьем было для меня количество и род публики на моих вечерах в этом году, я этого не предполагал, это было для всех неожиданностью.

У нас были несчастья и огорченья. Мы похоронили Адика, старшего сына Зин<аиды> Ник<олаевны>, скончавшегося от костного туберкулеза, весной в Оксфорде умер мой отец 83 лет. У меня мифически трудная жизнь, потому что думают, что я числюсь в разряде преуспевающих. Напишите мне, как Вы и что Вы, — это близко касается меня. Вы, наверное, ищете повода, послужившего толчком к такому неурочному письму? Вот он: в русской антологии издательства Macmillan and C° под редакцией Оксфордского профессора древнегреческой литературы, автора большой книги о наследии символизма (О Рильке, Валери, Блоке и Итсе) и переводчика Блока и др. С. М. Bowra напечатаны Tristia Ос<ипа> Эмильевича[3]. В слезах переписываю Вам первую строфу (по-моему, хорошо; перевел этот самый Баура).

Tristia
I've studied all the lore of separation
From grievances bare-headed in the night.
The oxen chew, and lingers expectation,
And in the last hour to townsmen know delight.
I keep the rite of nights when cocks were crying,
When, shouldered all a traveller's load of wrongs,
Eyes, red with tears, were in the distance spying,
And women's weeping joined the Muse's songs*.

Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак

---

* «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных. / Жуют волы, и длится ожиданье, / Последний час вигилий городских, / И чту обряд той петушиной ночи, / Когда, подняв дорожной скорби груз, / Глядели вдаль заплаканные очи, / И женский плач мешался с пеньем Муз» (*О. Мандельштам*).

Впервые: Вестник РСХД, № 104–105. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф. Датируется по ответному письму Н. Я. Мандельштам 2 дек. 1945.

[1] Просьба касалась помощи поэту Юрию Алексеевичу Казарновскому, которому покровительствовала Н. Я. Мандельштам.

[2] Это первое упоминание о начале работы над романом «Доктор Живаго». Статья о Блоке осталась ненаписанной, ранние наброски под назв. «К характеристке Блока» (т. V наст. собр.).

[3] C. M. Bowra. «A book of Russian verse». London, 1945.

977. Г. С. УЛАНОВОЙ

13 декабря 1945, Москва

Дорогая Галина Сергеевна!

Вы большая, большая артистка, и я со все время мокрым лицом смотрел Вас вчера в «Золушке»[1] — так действует на меня присутствие всего истинно большого рядом в пространстве. Я особенно рад, что видел Вас в роли, которая, наряду со многими другими образами мирового вымысла, выражает чудесную и победительную силу детской, покорной обстоятельствам и верной себе чистоты. Поклоненье этой силе тысячелетия было религией и опять ею станет[2], и мне вчера казалось (или так заставили Вы меня подумать совершенством исполненья), что эта роль очень полно и прямо выражает Ваш собственный мир, что-то в Вас существенное, как убежденье. Мне эта сила дорога в ее угрожающей противоположности той, тоже вековой, лживой и трусливой, низкопоклонной придворной стихии, нынешних форм которой я не люблю до сумасшествия[3], и так откровенно безучастен к ней, что позволил ей низвести себя до положения вши. Желаю Вам долгой жизни и постоянного успеха в претворении спорных и половинчатых пережитков традиции в новую цельную первичность, как удалось Вам извлечь пластическую и душевную непрерывность из отрывистого, условного и распадающегося на кусочки искусства балета.

Я не собирался сказать Вам ничего, что было бы неизвестно Вам, Вам, естественно и заслуженно привыкшей к более сильным эпитетам и похвалам и более пространным признаниям.

Старое сердце мое с Вами.

Ваш Б. Пастернак

13.XII.1945

Впервые: «Советская культура», 10 дек. 1988. — Автограф (собр. адресата).

[1] Г. С. Уланова танцевала главную партию в балете С. С. Прокофьева «Золушка» в Большом театре. Дарственная надпись Пастернака на книге «Избранные стихи и поэмы» (1945) говорит о его вторичном посещении Большого театра: «Дорогим Юрию Александровичу Завадскому и Улановой на память о конце 1945-го года. Сегодня (17/XII), между "Золушкой" и "Жизелью" прочел "По ком звонит колокол", роман Хемингуэя о войне в Испании. Как хочется быть большим и настоящим! Отчего это не дано, или отчего так много вещей на нашем веку этому мешало? Будьте счастливы. *Б. Пастернак*». (О чтении романа Э. *Хемингуэя* см. письмо № 978.)

978. И. А. КАШКИНУ

18 декабря 1945, Москва

18. XII. 1945

Дорогой Иван Александрович!

Рукопись Вашего Хемингуеевского «Колокола» лежала у меня полгода[1]. Такова жизнь, в таком ложном она положении, так, несмотря на все, глупейшим образом хочется и самому чем-то быть, так, естественно, бесцельны и безуспешны эти старанья. Вчера я «от нечего делать» начал читать эту вещь и прочел в один присест не отрываясь. Поразительно! Но это не только надо уметь написать, но и быть в силах так перевесть. Браво, браво, браво! Как все самое высокое в искусстве, эта выдумка — абсолютная данность где-то в пространстве и ее чтение есть поездка в нее. Я оттуда вернулся весь пропитанный ее воздухом, мне ночью снился отец, детство, Серов, училище живописи, все было гладко, все удавалось, и я обещал им написать историю училища. Спасибо.

Ваш Б. П.[2]

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2854, оп. 1, ед. хр. 236).

[1] Имеется в виду перевод романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», переданный Пастернаку переводчиком, заинтересованным в его мнении. Машин. неполного текста перевода Кашкина, надолго запрещенного к изданию, широко ходила по Москве. В собр. сочинений Э. Хемингуэя напечатан перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой (М., Гослитиздат, 1968. Т. 3).

[2] Свидетельством дружбы и обоюдной заинтересованности стала также записка Пастернака 27 окт. 1953 в ответ на просьбу о «Фаусте»: «Дорогой Иван Александрович! Ваши просьбы будут исполнены, как только придут книги из Ленинграда, где они печатаются. Тогда воспользуюсь также вырвавшимися у Вас обещаниями. У меня было очень счастливое лето. Я много и успешно поработал в разных направлениях. Этот заряд еще не прошел. Хочется успеть сделать кое-что стоющее, пока можно. Привет Вам и милой жене Вашей. *Ваш Б. Пастернак*» (там же).

979. М. Б. ХРАПЧЕНКО

18 декабря 1945, Москва

Дорогой Михаил Борисович!

Когда Ваши предположенья насчет меня — в издательском или репертуарном отношении начнут конкретизироваться, и Вам понадобится сведущий эксперт по этим трудам, мне хотелось бы, чтобы редактором и судьей моих Шекспиров был Сергей Николаевич Дурылин, прекрасный знаток русской сцены и отличный русский стилист.

Что касается моих долгов перед подлинником (если бы даже это обладало той степенью важности, какую пожелали бы придать этому вопросу наши англоведы), то в некоторых университетах Англии компетенция по обеим областям счастливо совпадает. Профессор Ch. Wrenn в Лондоне, С. М. Bowra в Оксфорде[1] и два-три имени в Кембридже не только ведут кафедры по английской или античной литературам, но хорошо знают русскую литературу и язык по Толстому, Чехову и Блоку. Мнение этих кругов о моем взаимоотношении с Шекспировскими текстами так высоко, что его неудобно приводить (оно нашло отражение в статье «Шекспир в переводах Пастернака» в Британском союзнике за № 22 от 3-го июня 1945 г.[2]).

Нас с Мих. Мих. Морозовым считают большими друзьями, что все время вводит меня и его в заблуждение, — иногда мне кажется, что Михаил Михайлович до сих пор не решил, что будет правильнее и лучше, мешать ли моей театральной судьбе или ее поддерживать. Кроме того, его мнение бывает временами тем более спорно, чем авторитетнее оно произносится. Так же сбивчивы его советы мне. Годами он мне говорил, чтобы я дал сводный образ Фальстафа на основе хроники «Генрих Четвертый» и «Виндзорских кумушек», а когда я занялся хроникой, сам это сделал для Вахтанговцев. Это его право, я об этой странности и не заикнулся, и можно быть уверенным, что в споры об их работе я никогда не вступлю. Зато от М. М. или кого-нибудь другого, на чтении ли своего «Генриха IV» в ВТО или по какому-нибудь другому поводу, я услышу, что я переводил по двухсотому изданию вещи, а они по двести первому, и что мой перевод устарел. Так будет доложено и Вам и прокатится по Литературной Газете. Я не для того родился. Это неинтересно.

Адрес С. Н. Дурылина: Болшево, Моск. обл., Свободная 12.

Простите, что беспокою Вас. Я не жду от Вас чудес в свою пользу, да это и было бы неосновательным притязаньем. Позвольте

хотя бы верить, что в своих главных, по крайней мере, «очертаниях» я Вам ясен. И на том спасибо, это очень много.

Преданный Вам Б. Пастернак

18. XII. 1945

Мой адрес: Москва 17, Лаврушинский пер. д. 17/19 кв. 72 тел. В-1-77-45

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

[1] Говоря о новой книге стихов Пастернака «Земной простор» в статье «Стихи Эренбурга и Пастернака», проф. Оксфордского университета С.-М. Баура писал о переводе «Антония и Клеопатры», что «подлинный талант» способен «перенести произведение одного народа в речевую стихию другого, ничего не растеряв при этом из его сущности» («Британский союзник», 3 февр. 1946. С. 11).

[2] Статья проф. Оксфордского университета К.-Л. Ренна (Ch. L. Wrenn), в которой переводы Пастернака названы «крупнейшей вехой в истории переложения Шекспира на русский язык». Автор отмечал сохранение в переводах «смысла и духа оригинала» при передаче внешней стилистической формы и «глубокую лиричность» перевода «Ромео и Джульетты» (там же, 3 июня 1945. С. 8).

980. Ж. Л. ПАСТЕРНАК и Л. Л. СЛЕЙТЕР

11–24 декабря 1945, Москва

Дорогие Жоня и Лида!

Отчего у вас ни слова о Феде, о самих себе, о ваших домах и детях? Спасибо за твою Spring, Лида. Молодчина! Много ли ты этим занимаешься?[1]

Я несколько раз запрашивал об Алеше, Степе и Эне, живы ли они?[2] Не удивляйтесь моему треску. Для краткости я буду стрелять фразами.

Собственно главные помехи, отчего не пишешь, не слабость слов и ограниченность сил, не строгости цензуры. Всю жизнь я жил как бы для родителей и для вас, как бы на виду у вас и для вашего удовлетворенья. Но вот папу и маму я прозевал. Приехать к вам и повидать вас в Англии было бы для меня не только высшим счастьем. Я думаю тогда-то именно, при этом свидании, моя жизнь сделала бы те несколько последних шагов вперед, которых ей все время недостает. Тогда-то лишь, после этого я бы понял, что́ мне надо вам сказать самого живого, наболевшего и важного,

свиданье дало бы эти выводы. То что их нельзя предугадать и не хочется искусственно подделывать, — вот что делает малоценной или невозможной переписку.

Папа! Но, ведь, это море слез, бессонные ночи и, если бы записать это — томы, томы и томы. Горько, что письмо мое через Майского не дошло тогда[3]. Там я высказал ему разом (как однажды Рильке[4]) все, что у меня к нему накопилось в течение всей жизни, в особенности за последние годы. Удивленье перед совершенством его мастерства и дара, перед легкостью, с какою он работал (шутя и играючи, как Моцарт), перед многочисленностью и значительностью сделанного им, — удивленье тем более живое и горячее, что сравненья по всем этим пунктам посрамляют и уничтожают меня. Я писал ему, что не надо обижаться, что гигантские его заслуги не оценены и в сотой доле, между тем, как мне приходится сгорать от стыда, когда так чудовищно раздувают и переоценивают мою роль, наполовину мифическую, зиждущуюся на нескольких, очень немногочисленных, отрывочных и бесформенных пустяках, в большинстве несостоятельных и мною осужденных (это постоянный мой спор с аудиториями и молодежью, которая отстаивает «Сестру мою жизнь» и «Темы...», не проникаясь моими доводами, почему это плохо).

Я писал папе, что в нашей жизни не случилось никакой несправедливости, что *судьба* не преуменьшила и не обидела его, что в конечном счете торжествует все же он, он, проживший такую истинную невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь, частью в благословенном своем 19-м веке, частью — в верности ему, а не в диком, опустошенном нереальном и мошенническом двадцатом, где на долю мне, вместо всего реального, чем он был окружен, вместо его свободы, плодотворной деятельности, путешествий, осмысленного и красивого существованья достались одни приятные слова, которые я иногда слышу и которых не заслуживаю. Да кстати. Все эти годы о папе, наверное в силу политической подозрительности, и не заикались. Совершенной неожиданностью поэтому был некролог Грабаря[5] (глупые неправильности, встречающиеся у него, понятны и простительны), который я прилагаю. Другое замечанье. Только что мне дал свое письмо к вам Шура, и я не буду касаться им затронутых вопросов, чтобы не повторяться. Не делайте себе из собрания папиных работ, оставшихся у вас, лишних забот. Если выставка в Лондоне осуществима легко и просто в вашем и в общечеловеческом тоне, тактично и благородно, без каких-либо запродаж души черту и

расписок кровью в этом или каких-нибудь дополнительных трехкопеечных фанфар, — устраивайте выставку. Если нет, не тужите и не чувствуйте себя виноватыми перед людьми и папиной памятью. *Это не уйдет* даже в том случае, если я ошибаюсь насчет своего или вашего долголетья, или если вера моя в то, что я соберусь к вам — самообман. Ни в коем случае ничего пока не пересылайте[6]. Замечательна судьба моя с папиными вещами. Больше десяти лет вследствие тесноты в городе я держал в сундуке (он весил 15 пудов) и папках его черновой архив: школьные рисунки углем, эскизы к эскизам, масляные его этюды за всю жизнь, с первых лет, некоторые готовые работы, и терзался, что все это лежит под спудом, ни себе, ни другим. Только перед самою войной, весной 1941 года, когда стало немного легче, я на даче (некоторые, счастливые зимы я проводил с Леничкой на даче) разобрал сундук, отобрал много замечательного и со страшным трудом (все практическое, материальное у нас почти невыполнимо) дал застеклить и обрамить и покрыл стены у себя за городом и в городе этими красотами. Это продолжалось только несколько месяцев. Когда начались налеты и Зина с детьми уехала в Чистополь (Казанской губернии), для меня стал вопрос, где сосредоточить картины, чтобы предохранить их от бомбежки (в сентябре Москву бомбардировали каждую ночь). Третьяковскую, куда легко было бы перенести вещи на руках (я живу напротив), эвакуировали и она отказывалась принимать вещи со стороны. Предлагал свои услуги Толстовский музей, но в эти дни октября, когда фронтом стала наша дачная местность[7], нечего уже было мечтать достать машину и вещи не на чем было перевезти. Все же я всякими правдами и неправдами разместил в трех местах (чтобы понизить шансы гибели) отобранные и висевшие у меня работы. В одном, на пустующей и покинутой Жениной квартире (она уехала в Ташкент), большая часть их уцелела, а на даче и в городской квартире все сгорело или уничтожено. Вообще у нас (и в особенности у меня) скорее все тает, изнашивается и пропадает, нежели появляется и доступно приобретенью. У меня очень легкий вещевой багаж, как у студента, несмотря на старость и присутствие детей.

Да, за месяц до папиной смерти мы похоронили старшего Зининого сына Адриана, 20 лет, умершего от костного туберкулеза, которым он проболел всю войну в больнице. Жизнь такова, что не чаявшая в нем души мать, зная, что это последние дни и считанные минуты, разрывалась между Сокольниками (больницей) и Переделкиным (нами и дачей) и ездила к нам <подымать>

картофельные гряды накануне его агонии, чтобы не упустить горячей огородный поры. Да, так я говорю у нас обстановка очень несложная. Я не храню ни черновиков своих, ни писем, у меня почти нет библиотеки. Когда зимой я уезжал к Зине в Чистополь, я часть родительских писем оставил на квартире у Жени (они сохранились), а лучшее из своей переписки (другую их часть) и кое-какие письма Горького, Роллана и другие и все (около 100) писем Марины Цветаевой (в 1941 году она повесилась в Елабуге в эвакуации, — у меня есть стихи к ней, я их прилагаю[8]). Так вот этот отбор я дал на сохраненье знакомым девушкам студенткам в Скрябинский музей. На днях я узнал, что одна из них, преданнейший мне человек и поклонявшаяся Марине, возила их всегда с собою и не расставалась с ними, чтобы они не пропали, и три месяца тому назад, возвращаясь в страшной усталости из Москвы в Болшево, где она живет, по рассеянности оставила не то в вагоне поезда, не то в лесу под елью, где отдыхала[9]. Вот тебе судьба вещей рядом со мной или вокруг меня. (Какая механичность обращенья: я пишу вам обеим и все время говорю ты, тебе, попеременно представляя себе то тебя, Лида, то Жоню!) Теперь несколько слов совсем о другом. Конечно для меня более, чем радость, — священное какое-то счастье, что пусть случайно и по ошибке доброжелателей я попал в общество имен, которые мне были в жизни дороже всего, — Рильке, Блока и Пруста. Нахождение мое в этой атмосфере естественно и закономерно. Для меня большим утешением в суровой моей судьбе были ваши персоналисты вокруг Transformation[10], я их близко не знаю и в особенности, как о художниках ничего не могу сказать, но общий духовный рисунок что ли братства, идейное его очертание, те стороны, которым в нем присутствуют символизм и христианство*, — все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной, это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас.

Я знаю, что это не английская печать или литература, не заметное что-нибудь в области английского общественного мненья, что они, Bowra с его поразительными переводами и глубокими, увлекательно написанными книгами о символистах и об эпической

---

* На полях письма приписка к этому месту: Мне у них больше всего нравятся статьи, было несколько очень хороших статей Рида и хорошая статья Шиманского «В бомбоубежище»[11].

поэзии, журнал Horizon[12] и два-три человека при университетах ничего не значат, что это крошечный уголок. Но вот именно этот уголок, который я для простоты называю Англия, затем молодежь в России и, в-третьих, Грузия, это три точки чудодейственного какого-то, необъяснимого моего соприкосновенья с судьбою и временем, это мистерия или роман, который мог бы дать много пищи для суеверья, так тут все непредвосхитимо сказочно.

Это концертные залы, которые я наполняю по афише, когда *каждое* место *любого* стихотворенья, когда я замедлюсь, мне подсказывают с трех или четырех концов, это встречи и письма, которые я всю жизнь получаю, и это грузинская интеллигенция и искусство на Кавказе, на котором я двенадцать лет не был с последней поездки туда и куда недавно, в октябре, слетал на две недели[13]. Это что-то вроде вашей Шотландии, гор, баллад, рыцарской открытости, барабанов с волынкой, целонощных пиров с речами до утра и замечательного вина в каждой семье из своих виноградников, как у нас — своя картошка. Мне 55 лет, у нас трезвое холодное советское время, я не восторженная барышня, — я не представлял себе, что это все еще возможно: из 14-ти суток, которые я там был, я спал только две ночи. Я не понимаю, как я выдержал это упоительное всерастворенье себя в других и других в себе и не заболел. Интересно, что это стихия немножко жертвенного необъяснимого успеха, этого чуда взаимопониманья и отдачи себя, всегда налицо, всегда где-то рядом подстерегает меня, и казалось бы чего лучше отдаться бы ей на всю жизнь без перерыва. И удивительно, что я очень, очень редко позволяю себе пользоваться ей и целыми годами, если не десятилетиями отказываюсь от выступлений. Но я начинаю забалтываться. Надо сокращать письмо.

Наверное я напишу Бауре и Шиманскому[14]. Мне неудобно им писать по-русски, а сделать это по-английски потребует времени. Помимо симпатии и пожелания ему удачи, которые Шиманский вызывает во мне как проводник идей, близких мне и дорогих, он сделал неизмеримо и незаслуженно много для меня (я боюсь не слишком ли много) и тем навсегда обязал. Я страшно рад книге прозы и интереснейшему его введенью[15], и только две вещи омрачили эту радость (в этом смысле я сказал, не слишком ли много). Правда, он оговаривает во вступлении, что если бы я был причастен изданию, я бы, может быть, иначе распорядился материалом и т. д. Но, значит: 1) Меня огорчило, что наряду со стоящими Охранной грамотой (и то в ней есть куски манерные, непонятно выраженные, которые можно было выбросить) и Детством Люверс,

перевели и напечатали ужасные Апеллесову черту, Письма из Тулы и Воздушные пути, которых я так не люблю, что боюсь и хотел бы забыть. 2) Мне кажется, что книга должна оттолкнуть еще и нескромностью своего внешнего вида. Неужели издателям не показалось бестактным давать восьмилетнего красавца босиком, многократной ретушью до неузнаваемости доведенных меня и Маяковского, карикатуры Кукрыниксов?[16] Конечно и в том и в другом случае виноват я, что не такой Аполлон, но надо ли было меня раздевать в таком случае до таких пределов? Мне кажется (и это так закономерно, что не потрясет и не убьет меня), что ближайшим действием этой книги, а потом и стихов в переводе Cohen'a[17] (или это будет собрание коллективных переводов, — Bowra'вские *очень хороши*) будет то, что я буду со скандалом разоблачен, как невольный самозванец (а король-то гол). Но опять-таки это вина не авторов критических статей и переводчиков, и не моя только исключительно вина. Это аномалия в развитии художественных судеб и деятельностей нашего времени, даже и на западе, не только у нас. Все теченья после символистов взорвались и остались в сознании яркою и, может, пустой или неглубокой загадкой. Последним творческим *субъектом* даже и последующих направлений остались Рильки и Прусты, точно они еще живы и это *они* опускались и портились и умолкали и еще исправятся и запишут. Что это сознают объединенья вроде персоналистов, в этом их заслуга. Это же сознание живет во мне.

Вот что у меня намечено. Я хотел бы, чтобы во мне сказалось все, что у меня есть от их породы, чтобы как их продолженье я бы заполнил образовавшийся после них двадцатилетний прорыв и договорил недосказанное и устранил бы недомолвки. А главное, я хотел бы, как сделали бы они, если бы они были мною, т. е. немного реалистичнее, но именно от *этого*, общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор. Я за это принялся[18], но это настолько в стороне от того, что у нас хотят и привыкли видеть, что это трудно писать усидчиво и регулярно. Одно хотел бы я, чтобы дошло до вас. Недоуменья, которые должны вызывать такие собранья, как мои у вас, я не только разделяю, но сам больше всех чувствую. И если я поживу еще немного и поработаю, все это разъяснится и будет восполнено. Во всяком случае, если я не напишу им особо и вы с ними знакомы, поблагодарите горячо и сердечно редактора и издателя и всех оказывающих мне такую честь своим вниманьем. И пусть они не огорчаются и

не падают духом, если меня будут ругать. Этот былой беспорядок, за которым потянулись полосы переводов и долгого наполовину вынужденного молчанья, это еще не все, что я сказал. Но ведь я приеду.

Ну, надо кончать. Знайте, телеграфная переписка очень удобна (ELT)*, если она не дорога для вас. Поразительно, что я исписал вам так много страниц и ничего не сказал. Вы не представляете себе, что бы я отдал за то, чтобы обнять Федю, посидеть с ним и услышать его короткий, отрывистый смех! Расспросите обо всем Mr'a Берлина[19]. Он был у меня на даче, видел меня два-три раза, а также Зину и Леничку, он увидит сегодня Ину и Шуру. Мои переводы Шекспира очень хорошо принимали и оценивали, но пока Художественный театр «готовил» постановку Гамлета, перемерли один за другим все инициаторы этой постановки (Немирович-Данченко, Сахновский и др.). И так везде. Если бы мой Шекспир шел на сцене, я бы разбогател. Но сейчас не идет нигде ничего. Театры учрежденья, прямо и чрезвычайно зависящие от «двора», а если я о себе могу сказать действительно что-нибудь определенное, так это, что никто не выказывает в отношении властительных особ большей сдержанности, чем я, и шаг еще дальше в этом же направлении был бы роковым. Это и определило двойственность моей здешней судьбы. Но иначе я не могу, таков *мой* выбор. Вообще же внутренне я пожаловаться не могу, то, что у меня было, услышано полнее, чем я мог мечтать. В каком-то смысле у меня легкая, счастливая жизнь.

Какие дети отличные, выразительные и красивые на карточках! Какие у тебя замечательные хохочущие мальчишки, Лида, и как девочки похожи на маму и на тебя! Папа на скамейке весной 1942-го еще совсем такой, каким был всю жизнь, а на последней уже совсем подкошенный, бедный. Коротко о нас в отношении картин, выставки, перевозки. Мне кажется, что будет еще один совершенно другой этап нашей жизни с облегчившимся бытом, необходимыми простейшими вещами обихода, возможностями передвиженья, большей ответственностью официальных людей и большей прочности и солидности их обещаний. Тогда можно будет трогать папины вещи нашими руками. А пока рано. Вас уверяют, что этот этап уже наступил, но это по-прежнему вранье. Жива ли Ломоносова? Почему о ней ничего не слышно? Если будет что-нибудь интересное и касающееся меня, извещайте.

---

* European Letter Telegram.

Большое спасибо за ботинки (папины?). Они очень пригодились. Попробуйте ответить мне по почте. Буду писать и я. Ну вот давайте простимся. Я уверен, мы увидимся.

Ваш Боря

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию. К письму, посланному с работавшим в то время в Британском посольстве в Москве профессором Оксфордского университета и добрым знакомым сестер Исайей Берлином, приложена машин. статьи о Шопене с сопроводительной запиской к Л. Л. Слейтер: «Лидочке родной, дорогой, вместо большого настоящего письма, которого все еще, все еще нельзя написать. Но ничего, если мы даже не увидимся (как больно! как страшно!), ничего! Все заслуживающее долговечности по-особенному, по-сказочному *живо*. Ничего не пропадет. Слава Богу за все! Можешь себе представить, как горячо и с какою тоскою и силой целую Жоню, Федю и тебя и всех ваших. Читал твою Spring. Молодчина, Лидка! Как хорошо! И как все удивительно, не правда ли? Вот тебе вместо письма статья о Шопене. В ней немного и мамочка и папа. Спасибо за ботинки. Но мне верится, что мы увидимся. Кончаю в слезах, все знаю о тебе. *Твой Б.*». Также была послана книга «Избранные стихи и поэмы» с надписью: «Дорогим Феде, Лиде и Жоне с поцелуями без числа давно им знакомое в новом выборе. 10. XII. 1945, Москва», — и телеграмма: «Послал вам и другим книги, письма, устные приветствия, телеграфно подтвердите получение телеграммы, немного о ваших детях и общей жизни в смертельно тяжелой разлуке. Бесконечные поцелуи вам обеим и Феде от нас всех. *Борис Пастернак* (перевод с англ. — Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 231–232).

[1] Английское стих. Л. Л. Слейтер «Весенняя лихорадка» («I am allergic to the touch of spring...»), вошедшее в книгу «Before sunrise» («Перед восходом солнца»), 1973.

[2] Вопрос касается судьбы австрийских родственников: брат Ф. Пастернака Альберт погиб в нацистском лагере, его дочь Эна уехала в Австралию, племянник Стефан Гейрингер — в Южную Америку.

[3] О недошедшем письме к отцу, посланном через дипломатические каналы советского посольства, см. в письме № 950.

[4] Имеется в виду письмо Пастернака к Р.-М. Рильке 12 апр. 1926 (№ 298).

[5] Газ. «Советское искусство», 13 июля 1945 (см. коммент. 2 к письму № 957).

[6] Дополнительно Пастернак послал сестрам телеграмму: «Не думайте посылать живописные работы отца, пока не определится безопасность послевоенных путей и не улучшатся наши условия жизни во избежание повреждений и гибели, сердечно обнимаю вас всех. *Борис Пастернак*» (перевод с англ.; там же. С. 245).

[7] Имеются в виду дни немецкого наступления на Москву в октябре 1941 г.

[8] Приложен автограф стих. «Памяти Марины Цветаевой» (1943).

[9] В альбоме Крученых Пастернак записал, что 26 ноября 1945 г. он узнал о пропаже писем к нему М. Цветаевой, переданных за два дня до эвакуации 12 окт. 1941 г. сотрудницам Музея А. Н. Скрябина. По просьбе А. Крученых, выразившего желание скопировать их, ему возили их для перепечатки, во время одной из таких поездок письма были потеряны.

[10] Речь идет о литературной группе персоналистов, которая зачислила Пастернака «в свое братство» и издавала журнал «Transformation» (см. письмо № 954).

[11] Опубликована в журнале «Transformation», 1943, № 1, edited by St. Schimansky and Henry Treece.

[12] С.-М. Баура автор книг: «A book of Russian verse» («Антология русской поэзии»), «The heritage» («Наследие символизма»), «From Virgil to Milton» («От Вергилия до Милтона»). В журн. «Horizon» (1945, № 68) печаталась его рецензия «Two soviet poets» («Два советских поэта») по поводу сб. И. Эренбурга «Стихи о войне» и «Земного простора» Пастернака; в 1944, № 55 опубликована аналитическая статья J. M. Cohen «The poetry of Boris Pasternak» («Поэзия Бориса Пастернака»).

[13] С 16 по 30 окт. 1945 г. Пастернак провел в Грузии на праздновании юбилея Николая Бараташвили.

[14] См. письмо Г. Риду и Ст. Шиманскому № 981.

[15] Boris Pasternak. The Collected Prose Works. Arranged with introduction by Stefan Schimansky. Lindsay Drummond, London, 1945.

[16] В книге помещен рисунок Л. О. Пастернака с сына 1898 г., фрагмент лефовской фотографии с Маяковским 1924 г., и карикатура Кукрыниксов «Сфинкс».

[17] Переводы Дж. Коэна вышли в Лондоне в том же издательстве Drummond в 1946 (Selected poems. Transl. by J. M. Cohen).

[18] Указание на начало работы над «Доктором Живаго».

[19] Воспоминания о встречах с Пастернаком И. Берлин включил в книгу «Personal impressions»; в русском переводе они вошли в сб. «Воспоминания».

981. Г. РИДУ и С. ШИМАНСКОМУ

25 декабря 1945, Москва

25. XII. 1945

Уважаемые господа,

Если бы я знал по-английски, я исписал бы томы и томы, чтобы выразить свои чувства по поводу того, какую честь делает мне г-н Рид своею надписью, г-н Рид, чье имя возглавляет благородную группу, дорогую для меня, при любезном содействии г-на Линдси Драммонда, который издал мою книгу с такой тщательностью и элегантностью[1], в особенности же г-ну Шиманскому за его самопожертвование, за то, что он взял на себя труд поднять на

приличный уровень вещи недостойные этого или достойные только наполовину[2]. Дорогой, дорогой Шиманский, это не ваша, а моя вина, что эти глупые претензии поздно начинавшего писать человека, неоконченные и оставшиеся незавершенными в то трудное, уродливое время, теперь выглядят такими пустяковыми, чрезмерно усложненными, неестественными и слабыми[3].

Но не будем отчаиваться! [Не может все оставаться таким, как теперь. Что-то должно измениться и мы с вами вместе с этим.][4] Работы, которые я надеюсь написать в лучшие времена[5], исправят и оправдают эту достойную жалости картину, заставляющую меня стыдиться того блистательного света, который вы незаслуженно на нее проливаете. Дорогая г-жа Беатрис Скотт, ваш высокий подвиг украшает мое существование! Дорогой Пэйн, я всегда восхищался Вашими вдохновенными переводами[6]. Без конца, без конца благодарю вас всех, дорогие друзья!

Но «Il Tratto», «Пути» и «Письма»[7] — такая нелепость и бессмыслица! Как можно переводить и печатать этот жалкий мусор! И разве было так необходимо печатать фотографию с Маяковским или рисунок восьмилетнего «поэта», или «Сфинкса»?[8]

Дорогой Шиманский. Горячо желаю счастья Вам и Вашей жене. Спасибо за все, что Вы сделали для меня. Я с большим удовольствием читал Ваши статьи в «Transformation»[9]. Огромной радостью, вдохнувшей в меня мужество, было появление персонализма на Вашем горизонте. С момента, как я узнал о существовании теченья, я не одинок. Оно на расстоянии поддерживает меня.

Завидую Вам, что [Вы в Англии, что] пишете так хорошо и свободно по-английски. Как ни любил я всю жизнь этот язык, Вы не правы в предисловии: несмотря на мои Шекспировские работы и хорошие данные для произношения я едва знаю его, никогда не имел практики и никогда на нем не говорил. Все надеюсь когда-нибудь изучить его в один месяц на месте.

Если вы знаете моих сестер и зятя, кланяйтесь им в придачу к письмам, которые я им написал. Если Вы знакомы с профессорами Ренном и Баурой, низко кланяйтесь обоим, и если я не успею написать Бауре сам, передайте ему, что его книги находятся в такой же близости от моего письменного стола, как окно и также вдохновляют; а звук его имени действует как музыка на мое воображенье. Наконец английским товарищам, которым я тут пишу, и которые ничего не поймут из моей варварской абракадабры, скажите, что я растроган до слез, без конца признателен им и совершенно подавлен и уничтожен их вниманием. Ваше введение очень

глубоко и увлекательно написано, но тоже не соответствует предмету, который при таком обстоятельном и подробном разборе должен был бы быть гораздо больше по объему.

Итак — прощайте, добрые друзья! [Будьте счастливы тем, что у вас есть великое право быть неколебимо верными себе и свободно перемещаться в пространстве, времени и духовном мире.] Будьте счастливы и не забывайте Вашего [бедного и] любящего вас *Б. Пастернака*

25. XII. 45. Москва

Москва 17. Лаврушинский пер. 17/19, кв 72.

Прощайте, дорогой Шиманский. Не огорчайтесь, что все это такое уродливое и карликовое у меня. Мне еще предстоит какая-то деятельность, более широкая и простая, Вы увидите. Но об этом рано еще говорить. Еще раз спасибо[10].

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Literature, culture, and society in the modern age. Stanford Slavic Studies, Volum 4:2. Part II. Stanford, 1992. — Автограф по-англ. (собр. Джеффри Шейра, США).

Герберт Рид — английский поэт и историк литературы, стоявший во главе группы молодых английских литераторов-«персоналистов». Стефан Шиманский — литературный критик, автор статьи «Моральный долг молодого писателя» (1943), в которой он высоко оценил работу Пастернака над переводами из Шекспира, а его деятельность во время войны ставил в пример современным английским писателям («Life and Letters Today». Vol. 36, N 66. 1943).

[1] Имеется в виду книга: Boris Pasternak. The Collected Prose Works. Lindsay Drummond. London, 1945.

[2] Ст. Шиманский был составителем сборника и автором вступ. статьи.

[3] В сборник включены «Охранная грамота», «Апеллесова черта», «Воздушные пути», «Письма из Тулы», «Детство Люверс».

[4] Вычеркнутое неизвестной рукой место. Публикатор письма Л. Флейшман предполагает, что вычеркивания принадлежат «советской цензуре», но точность, с которой выбраны места, касающиеся современной советской действительности, говорит о хорошем понимании текста и позволяет приписать эту осторожность передатчику письма, — возможно, — Исайе Берлину, принимавшему меры защиты Пастернака от возможных политических обвинений.

[5] К этому времени относится начало работы над «Доктором Живаго».

[6] *Беатрис Скотт* принадлежит перевод «Охранной грамоты»; Роберту *Пейну* — четырех повестей, включенных в сборник.

[7] «Апеллесова черта», «Воздушные пути» и «Письма из Тулы».

[8] Речь идет об иллюстрациях в книге: заретушированная до неузнаваемости фотография с Маяковским 1924 г.; рисунок Л. О. Пастернака с маленького Бори 1898 г.; карикатура Кукрыниксов на Пастернака в виде «Сфинкса». До этого места текст письма написан по-английски.

[9] В письме № 980 Пастернак называет статью «В бомбоубежище».

[10] Пересылая Шиманскому статью о Шопене, Пастернак писал: «Ау, Шиманский! Горячо желаю успеха Вам, Вашим мыслям и начинаниям. Вот Вам вместо письма. Тут два-три положенья выражают часть моих нынешних, еще не приложенных к делу верований и будут близки Вам. Спасибо за все. *Ваш Б. П.* Поклоны Пэйну, Риду, Бауре, всем, всем близким, честным, благородным. *Ваш Б. П.*» (Письма к родителям и сестрам. Кн. II. С. 239).

982. И. С. БУРКОВУ

28 декабря 1945, Москва

28. XII. 1945. Дорогой Иван Семенович! Вы совершенно правы насчет моих новых вещей[1], и я ни капли на Вас не в обиде. Что касается старых, то тут Вы свободнее в суждении, чем я[2], а я не могу избавиться от огорчения и досады по поводу незавершенности, изломанности, ненужной сложности и малозначительности моей собственной, Маяковского и Андрея Белого. У Есенина этих грехов гораздо меньше, и совершенно еще не подвержен этому позднейшему распаду поразительный мир Блока. Это закономерное перерождение большого живого целого, часть которого я составляю, и зачем мне щадить несостоятельные его стороны, когда я, с<лава> Б<огу>, еще жив и недописанное будущее общеевропейского символизма обещает мне гораздо больше, чем успел он дать в прошлом, до исторических сдвигов, случившихся во всем мире. Ваш «Детский пейзаж» хорош и нравится мне больше нефрита[3]. Все, что я говорю и чувствую относительно стиля, творческих воззрений и пр., нисколько не вызвано поверхностными современными причинами. Дело глубже. От души желаю Вам всего лучшего. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Наше наследие», 1990, № 1. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, доп.).

[1] И. Бурков, получив «Избранные стихи и поэмы» (1945), писал Пастернаку: «...Присланный Вами сборник навел меня на грустные мысли, которыми хочется поделиться с Вами, как с другом. Чем объяснить, что начинаешь откликаться не по-лермонтовски на звук, а на мысль. И уже поэзия начинает казаться, как благородному юноше Писареву, только незрелой мыслью. <...> Все это как-то написано так, словно заранее читатель погладит Вас по головке».

[2] Из письма Буркова: «Милый Борис Леонидович, я считаю огромным событием “Темы и вариации”, которые обожал вплоть до бумаги, как трагик в провинции “драму Шекспирову”...».

[3] Бурков переписал Пастернаку, «как человеку, у которого учился», два своих старых стихотворения, написанных в сентябре 1941 г., «в тяжелые годы войны»: «Детский пейзаж» и «Листьев осени нефрит...».

1946

983. Н. ТАБИДЗЕ

24 января 1946, Москва

24. I. 1946

Дорогая Нина! Ну что нового о Тициане? Вы, наверное, удивлены, что я не пишу Вам! Вы не представляете себе, в какой спешке и каком напряжении пишу я сейчас роман в прозе, который мог бы быть, если удастся, достоин перенесения на *его* бумагу[1] и который мысленно, с самого возникновения был посвящен Тициану (и я только не знал, имею ли я право написать: «Тициану Табидзе» или должен написать «Памяти Тициана Табидзе»).

Какое это чудо, какое счастье! Когда он появится, Вы должны немедленно ехать с ним сюда к нам, это лучше всего, мне ринуться так же быстро туда к вам будет сейчас труднее. Нина, Нина, но ведь это невероятно, это не человека вернут, а землю, небо, душу, годы!! Я всегда как-то стыдлив в отношении телеграфного аппарата и телеграфисток и потому не мог переслать Вам своего первого счастливого вскрика.

Новогодняя ночь это часы рождения Ленички, и ради него Асмусы устроили семейную детскую елку без блеска и интересных новогодних гостей. Они как бы остались без великолепия и шума Нового года, принеся его в жертву Зине и Лене. Я просидел у них всю ночь, немного поспал утром у себя дома и пошел мыться. Немного погодя приходит Зина (она ночевала у Асмусов и, пока я мылся, вернулась) и говорит: «Огромная радость. Тициан жив, от него известие». И оказалось, что у нас сидит Евгений Дмитр<иевич>[2] с этой новостью.

С этого начался мой новый год. Когда Зина сказала это, она расплакалась и я разревелся. Ну теперь, вероятно, надо вооружиться терпением. Это то, чего мне недоставало в самые счастливые

мои минуты последних лет, и это все, что мне нужно от жизни. Мне стыдно признаться, что безмерную эту радость я тут же поспешил истолковать практически, как небесное знаменье или благословение моей новой работы на Тициановой бумаге. Подумайте, как мелко и утилитарно! Ну что сказать Вам еще, когда у меня к Вам теперь одни нетерпеливые вопросы.

Здесь кончается письмо. Крепко обнимаю Вас и Ниту. Если в период ожидания Вас может что-нибудь развлечь, вот в руки Вам комический материал, пользуйтесь им по своему усмотрению. Библиотечка «Огонька» (знаете, такие маленькие белые книжки) издает моего Бараташвили[3]. Они просили меня написать им вводную статью. По горькому опыту всех своих статей я знаю, что всякое присутствие мысли рождает возражения, пересуды, запрещения. Чтобы не задерживать издания, я решил избавить их от этого огорчения и умудрился написать банальнейшую биографию, лишенную всякого лица и содержания. Вы еще не знали меня с этой стороны и будете поражены, что я способен на такую ординарность. Так вот, если это может Вас позабавить, посылаю статью Вам одной. Можете показать ее у Симона и Гоглы смеха ради и хором ругайте ее без чувства предательства, потому что она ничего другого не стоит и я даю Вам на это право.

Еще раз целую Вас. *Весь Ваш Боря*

Впервые: «Литературное обозрение», 1988, № 5. — Автограф (ГМГЛ, № 021912, 5).

[1] В октябре 1945 г. Нина Табидзе подарила Пастернаку пачку бумаги с водяными знаками, принадлежавшую Тициану, чтобы Пастернак писал на ней свой роман (см. письмо № 970).

[2] Е. Д. Спасский — художник и историк искусств, живший в Тбилиси, брат С. Д. Спасского.

[3] Николай Бараташвили. Стихотворения в переводе Б. Пастернака. М., 1946. Статья Пастернака в этом издании дана в сокращении, сильно измененном виде и без подписи.

984. С. ЧИКОВАНИ

25 января 1946, Москва

25. I. 1946. Дорогой Симон! Мне сегодня звонил Элисбар[1] насчет доверенности. Прилагаю ее. Дорогой Симон, я не знаю, за что эти деньги, по книжным договорам (почему мне не прислали копий?) или какая-нибудь газетная мелочь? Милый Симон,

слушайте внимательно и на этот раз исполните точно. Если это не больше двух тысяч, то получите все и передайте Нине. У меня есть, мне не нужно. Если три, то полторы Нине, а полторы переведите по почте сюда на имя Зины (Москва 17, Лаврушинский 17/19 кв. 32 Зинаиде Николаевне Пастернак). Если еще больше, две удержите для Нины, а остаток Зине.

Я Вам не пишу потому что страшно занят. У меня сейчас есть возможность поработать для себя и я как угорелый пишу прозу, о которой мечтал последние годы и о которой наверное рассказывал Вам. Поэтому не сердитесь на меня за торопливость письма.

Осенью, когда я вернулся и послал Вам «Сомнение» (получили ли Вы его?[2]), я в наброске перевел также «Гнездо ласточки», но не писал Вам, потому что думал, что вернусь к нему и доработаю. Но мне не придется, все сложилось по-другому. Однако, если я успею перевести «Смерть Лешкашели», я попробую все три (Сомнение, Ласточку и Лешкашели) напечатать в Правде[3].

Прилагаю Вам, вместе с доверенностью и Ласточку, как она тогда вышла. В ней есть огонь и движение, для такого стихотворения обязательные, и я не знаю, не испорчу ли я его, если буду кропотливо дорабатывать и уточнять.

Что это с Вами было? Элисбар говорит, что у Вас нашли сахарную болезнь, но сам же меня успокоил, что будто бы это прошло.

Со мной все по-прежнему, все очень хорошо, в Англии вышла книга моей прозы, много переводят в журналах[4], — только бы здоровье, только бы дописать и написать, что я хочу.

В Тифлисе все меня забыли. Я завалил город книжками и в ответ никто кроме Куфтиной мне не написал, одни телеграммы, правда нежные. Ну да все равно. Роман продолжается и несмотря ни на что чувства не остывают. Самые горячие признания и поцелуи Вам, Марийке, Леонидзам, Асатиани, Гудиашвили, Серго Клдиашвили, Нате, Верико, Вашим домашним и всем, всем. Нине я написал.

Кто и где Вас издает тут, чтобы знать, куда отдать эти три новых перевода? Ваше письмо к Бородину[5] я опустил тогда в ящик, но он не звонил мне и разговора о книге еще не было. Напишите, понравилась ли Ласточка Марике. На случай, если деньги надо перечислять на сберкнижку, прилагаю заявление в бухгалтерию. Что Вы скажете о Тициане? Неслыханно, не правда ли?[6]

Ваш Б. П.

Впервые: Материалы ГМГЛ (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 10).

[1] *Элисбар* (Элизбар) Ананиашвили — переводчик с грузинского языка.

[2] См. письмо № 973.

[3] В «Правде» не удалось ничего напечатать; «Сомнение» (под назв. «Работа») и «Ласточка» («Гнездо ласточки») — в «Литературной газете», 28 февр. и 2 марта 1946; «Смерть Лешкашели» («Боец отчизны») — в «Известиях», 23 февр. 1946.

[4] Имеется в виду сб. «The Collected Prose Works» (London, 1945) и журн. «Transformation» (1943, № 1).

[5] Неустановленное лицо, возможно, составитель сб. «Поэзия Грузии» (М.–Л., 1949).

[6] Речь идет о привезенных Е. Д. Спасским слухах о пересмотре дела Тициана Табидзе.

985. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

26 января 1946, Москва

26 янв. 46. Дорогая Надежда Яковлевна! Спасибо за письмо. Был ваш Эдик[1]. Он мне очень понравился. Стремительный, самолюбивый. У него прерывался голос, и он боролся со слезами, когда рассказывал об Ос<ипе> Эм<ильевиче> и Казарновск<ом>[2]. Но как он пишет, я еще не знаю, потому что это отложил.

У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10–12-ти главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что что-нибудь случится до окончания работы! И как часто приходится прерывать!

У меня сейчас очень странно складывается жизнь. Это вовсе не дань привычке все без основанья углублять и преувеличивать, если я скажу, что помимо моей воли вещи очень большого смысла входят в круг моей судьбы и попадают в мои руки. Я знал всегда, что для настоящей ноты, нравственной и артистической, мало прижизненного поприща, и этот прицел должен охватывать более далекий круг. Фатализм, рамки данности, чувство юмора в отношении неизбежности — все это, в конце концов, род *горьких удобств*, и я заставлял себя жить без их облегчающего участия. Но теперь мне больше нельзя оставаться и тем, что я есть, и как недостает мне сейчас Осипа Эмильевича, он слишком хорошо понимал эти вещи, он, именно и сгоревший на этом огне! Простите,

что я так открыто и много (хвастливо, как сказала бы моя жена) говорю о себе. В противоположность всем сменявшимся течениям последних лет на мою жизнь опять ложится очень резкий и счастливый личный отпечаток[3].

Вы слишком хорошего мненья обо мне, если думали, что я Вам достану эти книги. Во-первых, я и свинья, и к тому еще страшно занят. Эдик говорит, что список у Викт<ора> Бор<исовича> и, может быть, он что-то сделает[4].

Неужели я Вам не послал своей книжечки? У меня определенное чувство, что я это сделал или хотел сделать. Там всё вещи полностью известные Вам[5]. И разве Вы не читали Ромео и Антония? Со дня на день должен выйти Отелло. Тоже пришлю. Потом Генриха IV-го. Простите меня за безучастность в делах. Я тоже очень бы хотел Вас видеть.

Ваш Б. П.

Впервые: Вестник РСХД, № 104–105. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф.

[1] Молодой поэт Эдуард Григорьевич Бабаев привез Пастернаку письмо от Н. Я. Мандельштам из Ташкента. О встрече с Пастернаком Э. Бабаев пишет в своих воспоминаниях «Где воздух синь...» (Воспоминания. С. 536–547).

[2] Имеется в виду рассказ о встрече Ю. А. Казарновского и О. Э. Мандельштама во Владивостокской пересыльной тюрьме (см.: Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. М., «Книга», 1990. С. 357–360).

[3] Речь идет об интересе к Пастернаку со стороны английских исследователей.

[4] Вероятно, книги нужны были Н. Я. Мандельштам для работы в Ташкентском университете, где она преподавала английский язык. Аналогичная просьба была обращена к В. Б. Шкловскому.

[5] Н. Я. Мандельштам писала 2 дек. 1945: «Знаю “На ранних поездах”. Но у меня ее нет. О следующей Вашей книге сюда дошел только слух. Говорят, еще выходит. Если Вы ее не пришлете, я ее не увижу. А это нехорошо. Пришлите» (Память. Исторический сборник. Вып. 4. Париж, YMKA-Press, 1981. С. 332). Речь идет о книге «Земной простор», вышедшей в феврале 1945 г.

986. С. Н. ДУРЫЛИНУ

27 января 1946, Переделкино

27 января 1946. Дорогой Сережа! У меня сейчас возможность два-три месяца потрудиться над чем-нибудь своим. Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы

нашей жизни, от Мусагета до последней войны, опять мир Охранной грамоты, но без теоретизированья, в форме романа, шире и таинственнее, с жизненными событьями и драмами, ближе к сути, к миру Блока и направлению моих стихов к Марине[1]. Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах.

Если ты меня любишь, знай и помни, что на какие бы сроки без следа ни проваливался я, это не значит, что я забыл тебя, что в вещах, о которых я писал тебе летом, могло что-нибудь измениться. Если я не сказал, что в числе немногих, для кого я в данные дни пишу свою вещь, я пишу ее для тебя, то только оттого, что это, верно, выше моих сил и я этого сказать не смею.

Мою поспешность довершает то обстоятельство, что досуг, завоеванный мною для моей собственной работы, поддерживается усердием на посторонние темы, переводами, вводными статьями к ним и пр., и это отрывает от своего, нарушает сосредоточенность и сокращает время. Все, в чем признавался я тебе летом, только выросло и усилилось. Единственная цель письма, обнять и пожелать тебе счастья, здоровья и плодотворности. И чтобы ты не судил по видимости, чтобы не сожалел, не обвинял.

И говорю это с тем большим поводом, что все время нас разлучали с тобой, по статье в Лит. Газете, по Шекспиру[2], который все время стоял на точке замерзанья, по всему. Что я ни предпринимал, не в моих силах было противостоять этому разъединенью, именно потому такому упорному, что так откровенно велико было мое желание работать вместе с тобой.

Теперь Чагин ушел из Гослитиздата и Шекспира согласно издать Искусство. Конечно, я и у них назвал тебя. Там ты в страшном почете, но от тебя, как редактора собранья, они отказались под тем предлогом, будто скажут, что они (Искусство) и я спрятались за тебя от лингвистов и текстологов*. Я отказался от М<ихаила> М<ихайловича>[3]. Нам надо будет прийти к какому-то соглашенью. Сколько я ни просил в Лит. Газ<ете> показать мне твою статью, я по сей день так ее и не видел. Они врут, будто они ее затеряли[4]. Я слыхал, будто они опять заказали кому-то новую статью о моей несчастной книжке, кажется снова Зелинскому, первую статью которого они тоже забраковали. Мне страшно обидно

---

* Чагинская и моя точка зрения, что лингвисты, текстологи в этом вопросе величины несуществующие или которыми можно пренебрегнуть, до них не доходит. (*Прим. Б. Пастернака.*)

за тебя и горько, что все это благодаря мне. Будет ли оправданием, т. е. будет ли тебе легче, если я скажу, что все время исправно глотаю во сто раз худшие обиды? Обнимаю тебя. *Твой Боря*

Сердечный привет Ирине Алексеевне.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] На машин. стих. «Памяти Марины Цветаевой» Пастернак записал: «Задумано в Чистополе, в 1942 году, написано по побуждению Алексея Крученых 25 и 26 декабря 1943 года в Москве. У себя дома. Мысль этих стихотворений связана с задуманной статьей о Блоке и молодом Маяковском. Это круг идей, только еще намеченных и требующих продолжения...» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 1006). С. Дурылин высоко оценил эти стихи (см. коммент. 14 к письму № 954).

[2] Пастернак просил Дурылина написать в «Литературную газету» рецензию на сб. «Земной простор» и предисловие к тому его переводов из Шекспира, предполагавшемуся к изданию в Гослитиздате (см. письмо № 949).

[3] М. М. Морозов. Предисловие к сб. переводов было заказано самому Пастернаку, но двухтомник вышел без него (Вильям Шекспир в переводах Бориса Пастернака. М., «Искусство», 1949).

[4] Дурылин прислал Пастернаку текст своей статьи в марте 1946 г. (письмо № 996).

987. С. Д. СПАССКОМУ

28 января 1946, Москва

28. I. 46

Дорогой Сережа, ты прелесть. Ты меня очень растрогал своей статьей в «Ленинграде»[1] и тем, что выругал военные стихи. Ты прав, спасибо тебе. Легко догадаться, что тебе выкинули фразу или две, где ты выделил то, что тебе понравилось среди них, потому что далее следует противопоставление. Я очень люблю и обнимаю тебя. В Тифлисе, где было непередаваемо хорошо, я познакомился с твоим милым и интереснейшим братом Евгением Дмитриевичем. К сожалению, меня так замотали, что я не успел познакомиться с его работами. Он недавно был тут и привез радостную новость: Тициан жив и дело его пересмотрят[2].

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] Имеется в виду рецензия С. Спасского на кн. «Земной простор», опубликованная в журн. «Ленинград» (1945, № 21–22); Спасский в ней противопоставлял стихи весны 1941 г. военным, как более сухим.

[2] См. письмо № 983.

988. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 февраля 1946, Москва

1. II. 1946. Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я черен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами и как неожиданно обидно! Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств: времени, рождения и прочих этикеток! И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром! Как из этого выскочить? Пожелай мне выдержки, т. е. чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-бор» в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть. Передала ли тебе записку Чиченицкая?[1]

Твой Б.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Гитель Яковлевна Чечельницкая. См. о ней в письме № 950.

989. С. ЧИКОВАНИ

1 февраля 1946, Москва

1. II. 1946. Дорогой Симон! Получили ли Вы мое заказное с доверенностями и «Ласточкой»? Я перевел и Лешкашели, и все три (с «Сомнением» в придачу, который я переименовал в «Работу») попробую отдать в Правду[1]. Когда будете писать мне, напомните мне, пожалуйста, что́ из Вас я перевел, потому что стихотворений среднего периода (с Рыбаком)[2], я в печати никогда не видал и не знаю, сколько их было и куда они девались. Скажите также, пожалуйста, Гогле, чтобы он отобрал, если хочет, несколько самых простых, содержательных и выразительных из своих мелких стихотворений, без всякой тенденции, я их переведу для моего предполагаемого грузинского сборника, если он состоится. Вероятно Бородин не получил Вашего письма, потому что Ярцев ничего об этом предложении не знает[3]. Где Вас издают в Москве? Куда давать эти новые дополнения? Спросите также Леонидзе, утвержден ли гадательный дагерротип Бараташвили?[4] В «Огоньке» выпустят мои переводы отдельной книжечкой. Туда желателен был бы портрет, они меня спрашивали. Но не давать же этот ложный и стилизованный из издания 1938 года![5] Они хотели телеграфиро-

вать об этом Леонидзе, но я сказал, что для телеграммы это дело не так просто, что в двух словах с ним не покончить. Если у Гоглы есть какие-нибудь мысли или предложения по этому поводу (по поводу иконографии Бараташвили), пусть напишет в Огонек. Может быть Гогла напишет несколько слов (только очень коротко) о своей находке и о своей точке зрения на нее, и даст портрет? Или дать портрет Ладо?[6] Или одного молодого художника из Дворца пионеров (я забыл фамилию, светлый Бараташвили на фоне Синей Мтацминды, масло). Чуть ли не после 10-летнего перерыва, для подсчета строк в Важа Пшавеле для предложения в «Советском писателе»[7] пробежал «Грузинских лириков» и поразился до какой степени свеж и интересен остался Паоло!! Несомненно все, чего он вправе был ждать и требовать пришло бы на его глазах. Наверное его измучило и убило нетерпение. Всю ночь мне сегодня снился Тициан, расскажите Нине. Я у них ночевал где-то в горах, скорее характера Швейцарии, чем в наших, в превосходном, чистом, хорошо обставленном доме. Я лежал в комнате с выходом на балкон, светало, в комнате были темно-зеленые гофрированные обои. Из соседней комнаты Тициан говорил мне в открытую дверь что-то большое и хорошее, по-видимому раздеваясь, и так как ему все казалось, что это недостаточно для меня хорошо, то он медлил и тянул, а Нина раздражалась и торопила его. Что-то очень западное было, светлое, свободное. Крепко Вас и всех Ваших целую. *Ваш Б.*

По-видимому материалом (подсознательным) для сновидения служила моя ночевка у Вас и ощущение Вашего дома.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 11).

[1] См. письмо № 984 и комент. 3 к нему.

[2] Имеются в виду стихи, переведенные в 1938 г: «Тифлисский рыбак» и «Приход рыбака» («Новый мир, 1938, № 4).

[3] Георгий Алексеевич *Ярцев* — директор изд-ва «Советский писатель».

[4] Георгий Леонидзе занимался поисками подлинного изображения Николая Бараташвили. Речь идет о переданном в сентябре 1946 г. Константином Бараташвили в Литературный музей Грузии дагерротипе «неизвестного лица из семьи Бараташвили», позднее была установлена его идентичность с поэтом Н. Бараташвили.

[5] Карандашный эскиз, сделанный Михаилом Туманишвили.

[6] Портрет Н. Бараташвили работы Ладо Гудиашвили.

[7] В сб. «Грузинские поэты в переводах Б. Пастернака» («Советский писатель», 1946) вошли переводы Н. Бараташвили, «Змееед» Важа Пшавелы и стихи С. Чиковани.

990. А. Н. ГЛУМОВУ и Н. А. ГОЛУБЕНЦЕВУ

7 февраля 1946, Москва

Ни пуху ни пера Вам сегодня, дорогие мои Александр Николаевич и Николай Александрович! Глубоко уверен в Вашем успехе[1]. Позаботьтесь, если будут вслух объявлять нас всех, чтобы не делали нынешнего ударения «Пастернака́», а по-старому Пастерна́ка.

Обнимаю Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2420, оп. 1, ед. хр. 52). Датируется по содержанию. А. Н. Глумов и Н. А. Голубенцев — мастера художественного чтения.

[1] Имеется в виду литературная композиция по «Гамлету» в переводе Пастернака и исполнении Глумова и Голубенцева, состоявшаяся 7 февраля 1946 г. в клубе Московского университета. В архиве организатора этого вечера П. И. Лавута сохранилась записка: «Милый Павел Ильич! Пропустите подателей записки (2 лица) на вечер поэтов 7-го февраля. Очень, очень прошу Вас. Будьте ангелом. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 823). Об этом выступлении см. в «Вечерней Москве», 25 февр. 1946. В феврале 1946 г. Пастернак написал первое стих. к роману «Доктор Живаго» «Гамлет» (ранняя редакция из 2 строф).

991. М. ЧИКОВАНИ

19 февраля 1946, Москва

19. II. 1946

Дорогая Мариечка!

Благодарю Вас за письмо, и как я ни встревожен, спешу успокоить. Я знаю много случаев (я сам был их жертвой), когда между 40-ка и 50-ю годами люди заболевают общим недомоганием всего организма на какой-нибудь несложной основе, которая не дала бы себя знать так заметно в другое время, а на этом возрастном рубеже служит толчком к физической хандре всего жизненного существа. Очевидно это какой-то критический возраст в отношении издавна отрегулированных житейских привычек. Действие чего-нибудь приходит во временную, поправимую в близком будущем неисправность, но по несчастной случайности сознание, вместо того, чтобы пропустить эту досадную мелочь без внимания, как бывало тысячу раз перед этим, сосредоточивается на этой неприятности, начинает нетерпеливо добиваться ее лик-

видации, как требуют в школе исправления дурной отметки, и этим нетерпением и этим сосредоточением сознания на этой глупости способствуют ее задержке и дальнейшему развитию. Но здоровье в конце концов должно победить. Когда мне было 45 лет, я вдруг заболел: расширением сердца, исчезновением кислоты в желудочном соке, легкими, ломотою всех костей и мышц, хроническою шестимесячной бессонницей, неврастенией и всем, что ее сопровождает и только когда все это дошло до душевного расстройства, я остановился[1]. Я сказал себе, что я умер и можно не хлопотать, и стал выздоравливать. А все это случилось из-за того, что мне давно уже надо было заняться зубами, я это все откладывал и опоздал на 6 лет. Организм терпел, терпел и взбунтовался. Симон меня видел тогда и наверное помнит. Это было до Минского пленума[2], Жанго работал в Лит. Газете[3]. Вся моя болезнь была совершенным вздором, который получил реальность благодаря пристальному разглядыванию.

Я не хочу сказать, что у Симона ничего нет, но хочу напомнить Вам и ему, что всякое длительное и общее лечение помимо частичной пользы, которую оно приносит здоровью, всегда сбивает с толку нервную систему. Легко считать порошки и капли, но невозможно учесть в каких дозах надо нам следовать обычным в таких случаях советам переменить навыки и даже может быть жизнь. Вдруг оказывается, что может быть мы были бы счастливее и производительнее если бы по-другому чистили зубы или полоскали горло. Но поздно, сделанного не воротить, и это вызывает досаду и сожаление. Простите, что я так заболтался, Вы все это сами знаете прекрасно. В таких случаях надо зарядиться надолго терпением и относиться к больнице легко, как к бытовой помехе. Никаких особых перемен не потребуется, все более или менее восстановится само собой.

Вы очень тронули меня, Мариечка, своими милыми строками. Кланяйтесь, пожалуйста, Симону и поцелуйте его. Тем временем он, вероятно, прочел и «Лешкашели»[4]. Наверное он пользуется необходимостью быть в больнице и много читает. Не знаю, как ему, а мне удается наслаждаться чтением только когда я болею.

Все мы здоровы, живем по-прежнему. Целую Вас обоих. От всех нас привет всем Вашим.

Ваш Б.

Впервые: Материалы ГМГЛ (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 39).

[1] Речь идет о нервном кризисе 1935 г.

[2] Минский пленум правления Союза писателей состоялся в феврале 1936 г.

[3] Отсылка ко времени ареста в 1935 г. поэта Жанго Гогоберидзе.

[4] Стих. Чиковани «Смерть Лешкашели» («Известия», 23 февр. 1946, под назв. «Боец отчизны»).

992. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

24 февраля 1946, Москва

Дорогой мой друг Олюшка! Какую радость доставила ты нам своим сегодняшним письмом! Зина тебя благодарит и крепко целует. Нет, ты мне о сердце в карандашном с островов ничего не писала, — как меня это огорчает и напугало![1] Но ты не расстраивайся. У меня было два периода в жизни, когда мне о сердце такое говорили! Как ты чудно пишешь, можно позавидовать. Впрочем, ты сама, верно, это хорошо знаешь. Я великолепно представляю себе, какой костяк вопросов поддерживает твой интерес к пробл<еме> прозы и как это будет глубоко![2] Это наверное (в сопоставлении с условностью не-прозы) будет параллель двух культур или систем, и душу одной будут составлять преемственность и форма, а другой — новшество и откровение. А твои слова о бессмертии — в самую точку![3] Это — тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу ее слишком разбросанно, не по-писательски, точно и не пишу. Только бы хватило у меня денег дописать ее, а то она приостановила мои заработки и нарушает все расчеты. Но чувствую я себя как тридцать с чем-то лет тому назад, просто стыдно. Целую тебя крепко, моя хорошая.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по штемпелю на открытке.

[1] «Врач, осмотревший мое сердце, нашел, что оно “обескуражено”, а нервная система совершенно утомлена, — писала О. Фрейденберг в своих записках. — Действительно, уже девять лет я не была летом на воздухе, — и каких девять лет!» («Пожизненная привязанность». С. 281).

[2] «Большие мысли возникали у меня о прозе. <...> Мне казалось, как писатель — поэт лишь в зрелости переходит к прозе, так и ученый может себе позволить такую проблему лишь в конце своего умственного пути. <...> Я ясно увидела путь древнего сознания от сложного к простому, но не наоборот» (там же. С. 282).

[3] Одним из первых названий романа «Доктор Живаго» были слова из Откровения Иоанна Богослова: «Смерти не будет» (Откр. 21, 4).

993. М. ЧИКОВАНИ

4 марта 1946, Москва

4. III. 1946

Дорогая Мариечка!

Я не помню, ответил ли я Вам на Ваше милое сердечное письмо. Большое Вам спасибо за Ваши добрые слова.

Сообщите поскорей, как здоровье Симона. Я написал это и вдруг вспомнил, что ответил Вам параллелями из моих былых мнимых болезней[1]. (Вы наверное поражаетесь этому ходу забвения и припоминания на бумаге, по мере писания письма, и это Вам кажется притворством, но представьте, все это совершенная правда.) Итак, значит я Вам ответил, и могу не беспокоить Вас. Тогда что же собственно мне нужно?

Напишите все же, как Симону? И потом вот что, посоветуйте. «Советский писатель» издает мои грузинские переводы в составе: Бараташвили, Важа Пшавелы и современников[2]. Но так как для последнего отдела я выбираю только лучшее не только по значению оригинала, а также по удаче перевода, а Паоло, который у меня вышел наиболее хорошо и ровно, не идет в расчет, то остается один Симон, который единственный разделяет это качество с Яшвили и почти весь мне удался, не в пример бедному Тициану, которого я наполовину испортил, и в противоположность Леонидзе, который весь у меня неудачен, кроме «Первого снега». Гаприндашвили и остальные тоже мало радуют, — по моей, конечно, вине. Теперь что же делать, если с классиками будет один Чиковани? Это будет неудобно для него и для меня. Давать только «Первый снег», маленькую вещичку Леонидзе наряду с несколькими страницами Чиковани обидит Гоглу больше, чем его полное отсутствие. Так как же мне быть? Я давно просил его прислать мне какие-нибудь свежие яркие подстрочники без всякой тенденции, может быть из самых ранних, давнишних, если из новых у него ничего не осталось. Потом ту же просьбу передавал через Нину и через Вас. Если Симон в состоянии написать мне, пусть он придумает мне какой-нибудь выход. Боюсь, что теперь у меня не будет времени доделывать дополнительно Леонидзе. А мне именно хотелось бы, чтобы они были вдвоем.

Когда я уезжал, я получил так много денег, что хорошо, если мне не переплатили и я не остался должен издательствам. Но потом Элисбар от имени Симона сказал мне, чтобы я послал Симону доверенность на какие-то деньги. Опять-таки я помню, как

составлял доверенность и ее заверял, но факта отсылки ее Симону не помню. Виноват, вспомнил: у меня была одна просьба к Симону в известных денежных пределах, так что я доверенность послал[3]. Но вероятно речь была о каком-нибудь ничтожном пустяке. Я уверен в этом был и раньше, но вот что еще больше подкрепляет мою уверенность.

Лицо из Тифлиса, привезшее мне письмо от Куфтиных, рассказало, будто Рюрик Ивнев на своем вечере поздравлял собрание с тем, что в сферах вовремя одумались и избавили Бараташвили и современных читателей от моих посягательств, поручив это Цагарели[4]. В той форме, в которой это до меня дошло, оно не имеет смысла: я не знаю, о чем идет речь, т. е. что лежит в основе этой попутно видоизменившейся сплетни. Вы не поверите, но это меня огорчило только в одном отношении. Рюрик Ивнев мог бы ненавидеть меня и проклинать в душе, но он никогда бы не сказал об этом публично, если бы по какой-то моей вине, у него не лопнуло терпенье. Очевидно мою поглощенность другими людьми и спешку, когда он читал мне свои стихи и рассказывал о себе, он воспринял превратно и оскорбительно, как невнимание. Он дал мне свою книжечку и я собирался ему написать из Переделкина, но тут случилась эта история с Лениным глазом[5], последовал переезд в город, я упустил время и завертелся в делах. Я даже сейчас, после этого милого сообщения, думал было так и написать ему, что милый, дескать, мой Рюрик, какой же свиньей я показал себя по отношению к тебе своим молчанием, если толкнул тебя на такое свинство.

В границах искренности я мог бы сказать ему кое-что приятное о книжке (середина ее, времени его поездки на Дальний Восток, не плоха[6]) и только вот что меня удерживает. За таким признанием и растроганностью должно что-то следовать. Надо сделать дальнейший шаг, близко знаться в жизни, дружить, а за исключением нескольких случаев, немногих естественных, провиденциальных, это в жизни так трудно! А ограничиваться комплиментами и одобрением так обидно для собеседников, не правда ли?

Я наверное стал толстокож и нечувствителен на старости, потому что такие неприятности действуют на меня не дольше дня и на другой я их забываю.

Мариечка, сверх той прелести, какая Вы есть, Вы были бы еще просто не знаю чем, если бы: 1) Вы телеграфировали о состоянии здоровья Симона и 2) написали бы мне хотя бы открытку,

как, по мнению Симона, поступить с книгой в «Советском Писателе»? Будьте здоровы и поцелуйте Симона и всех Ваших. *Ваш Б.*

Впервые: Материалы ГМГЛ (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 12).

[1] Письмо № 991.

[2] Грузинские поэты в переводах Б. Пастернака. М., 1946.

[3] См. письмо № 984.

[4] Имеется в виду сб.: Николай Бараташвили. Стихотворения. Перевод с груз. Г. Цагарели. Тбилиси, «Заря Востока», 1946.

[5] Эта встреча с Р. Ивневым, с которым Пастернак был знаком с 1910-х гг., датируется по письму к Чиковани 8 нояб. 1945 о царапине ножом на Ленином глазу.

[6] Имеется в виду кн.: Рюрик Ивнев. Избранные стихотворения. Тбилиси, «Заря Востока», 1945. В книгу вошли стихи, посвящен. поездке в Японию, Приморье и на Камчатку (С. 25–32): «Доколе дружба горяча...», «Ах, с судьбою мы вечно спорим...», «Расставание», «Прощай, мой друг, мы долго были вместе...», «Японская осень», «Маленькая Онно».

994. Ю. Н. ВЕРХОВСКОМУ

12 марта 1946, Москва

12 марта 1946

Дорогой Юрий Никандрович!

Мне стыдно, что я так занят и не могу дольше и пространнее написать Вам о своем впечатлении[1], а только ограничусь сухим списком того, что дает мой торопливый и грубый отбор[2]. Я рад был этой работе, как случаю прочесть все Ваше собрание. Ваш идеал очень чист и высок, и очень хороши стихотворения и строки, или лучше сказать течения и полосы, когда Вы к нему приближаетесь или достигаете его. Но Вы знаете сами, слух человеческий несколько утомлен или усыплен хорошею преемственностью и вдруг, на какой-то ступени перестает верить слову, перестает воспринимать. Как с этим бороться, как определить эту стадию? Наверное Ваш том надо сократить впятеро или еще больше, и тогда его появление будет большой радостью. Так что на Вашем месте я бы даже не включал вещей спорных (только из соображений общего количества), которые в моей разметке снабжены вопросительным знаком. Итак, я совсем не упоминаю стихотворений, которыми, по-моему, можно пожертвовать, обозначаю хорошие, но не безусловные, под вопросительным знаком, просто выписываю бесспорные (без особого обозначения), и подчеркиваю исключительные. Простите за мазню!!

Надо будет, и мне очень хочется, как-нибудь повидаться. Но так как я не смогу этого сделать на ближайших днях, то напишите пожалуйста мне, надо ли мне просмотреть тоже сейчас «Будет так» и «Последний бой»[3], единственное (хотя частью и знакомое), что мне еще осталось прочесть. Позвольте поцеловать Вас.

Ваш Б. П.

Прилагаю письмецо к А. С. Мясникову, сообщите, как быть с дополнениями (сонетами и пр.).

Впервые. — Автограф.

[1] По просьбе Ю. Н. Верховского, Пастернаку из Гослитиздата прислали машин. его стихотворений для отзыва, Пастернак писал ему 25 сент. 1945: «Дорогой Юрий Никандрович! Мне только сегодня привезли Вашу рукопись в Переделкино, где я последнее время безвыездно, потому что к середине октября должен сделать всего юбилейного Бараташвили, которого на днях только начал. Мне очень хочется прочесть Вашу книгу, но это удовольствие я смогу себе позволить не раньше первых чисел октября. Если это Вас не пугает, оставьте мне рукопись, если же это слишком долго, черкните мне. Но мне бы очень не хотелось расставаться с ней. *Преданный Вам Б. П.*»

[2] К письму приложен список стихотворений Ю. Н. Верховского, начиная с ранних — до 1944 г. на 6 страницах, написанный и размеченный Пастернаком.

[3] Поэмы Верховского, вошедшие в его сб. «Да будет так», выпущенный в Свердловске в 1943 г.

995. А. С. МЯСНИКОВУ

12 марта 1946, Москва

12 / III. 1946

Дорогой Александр Сергеевич!

Простите, что я так задержал Верховского. Мне было очень приятно подышать этой атмосферой совершенной чистоты и искренности. Одно выписыванье начальных строк отобранного для Юрия Никандровича доставило мне поэтическое наслаждение, так эти строки самопроизвольно вырываются и так естественно ложатся.

Препровождая мне рукопись, не Вы лично и не кто-нибудь определенно другой, но издательство, как юридическое лицо, просило меня высказаться о мере своевременности ее напечатанья. Ну какой же я тут судья, Александр Сергеевич, и прежде всего достаточна ли и своевременна ли моя компетенция? Во всей же

простоте я свою точку зрения выразил однажды Федору Михайловичу[1] и теперь повторяю.

Если Ю. Н. пожелал бы для собственной пользы сократить собрание как-нибудь наподобие тех рамок, которые наверное случайно и неудачно я ему набросал, появление томика Верховского было бы чрезвычайно своевременным и очень нужным, желательным и радостным событием.

Я знаю, как Вы сами этого хотите, и радуюсь уверенности, что выпуск книги не заставит себя долго ждать.

Крепко жму Вашу руку. *Преданный Вам Б. Пастернак*

Впервые. — Копия рукой Ю. Н. Верховского.

А. С. Мясников — редактор Гослитиздата.

[1] Ф. М. Головенченко — директор Гослитиздата, сменивший П. Чагина.

996. С. Н. ДУРЫЛИНУ

24 марта 1946, Москва

Дорогой золотой мой Сережа!

Все эти дни рвусь расцеловать тебя за твою поразительную статью[1]. Дело не в том, что ты так без меры расхвалил меня в ней, и не в том, что она бьет не в бровь, а в глаз и так прекрасно написана. Больше всего взволновала она меня тем, что ты так живо, свободно и благородно веришь мне. Милый Сережа, знай, что, хотя я еще не заслужил этой веры, я ее оправдаю. Нам надо еще пожить с тобой, мы должны пожелать этого друг другу. Сейчас больше ничего не хочется говорить. Без конца благодарю тебя.

Твой Боря

Кланяйся, пожалуйста, Ирине Алексеевне.

Пустяковая надпись, не стоящая восстановления[2]. Но странно, не правда ли? Вероятно «энкавидимка», как говаривал покойный Б. Корнилов. Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп.1, ед. хр. 695). Датируется по помете на письме.

[1] Статья С. Дурылина «Земной простор», написанная по заказу «Литературной газеты», но оставшаяся неизданной. «Никто никогда не мог продиктовать Пастернаку ни строки — ни люди, ни события, ни идеи — всегда его стихи были свободным “вздохом-выдохом” <...> Надо было миновать много путей и перепутий, надо было побороть много застав, на

которых поэты задерживаются соблазнами словесных потех и "изысков", чтобы обрести ту теплую зоркость к родной природе, ту ласковую внимательность взора, которая ощущается во всем, что открывает Пастернак в русской природе» (там же. С. 375). Статья была опубликована в журн. «Литературная учеба», 1988, № 6.

[2] Приписка сделана на отдельном листочке и сопровождала повторную посылку сб. «Земной простор». Первый раз Дурылин получил его с вырванной на почте дарственной надписью. См. коммент. 10 к письму № 954. Получив изуродованную книгу, Дурылин просил: «Пожалуйста, напиши мне то, что отнял у меня этот любитель автографов, — и верни книжку» (там же. С. 395). Поэт Борис Петрович *Корнилов* был арестован в 1938 г. и расстрелян.

997. Н. ТАБИДЗЕ

Апрель 1946, Москва

Дорогая Нина!

Вот опять у вас горе![1] Удивительно, что я не выразил Вам своего сочувствия телеграммой. Простили ли Вы мне мое последнее идиотское письмо? Не понимаю, как я мог Вам послать его! Но представьте, моих чувств и опасений никто из приехавших на декаду не разделяет.

Говорят, никаких сведений, позволяющих сомневаться нет, и, наоборот, все в один голос, в особенности Симон, Тамара Чавчавадзе, Нат. Георгиевна[2] и другие уверяют, что Т<ициан> жив и здоров, и даже откуда-то слышали или знают, что он где-то работает.

Я был очень рад встрече с товарищами. Жалко, что не было Леонидзе. Я знаю, что у него помолвка старшей дочери, поздравляю их. Тут были вечер за вечером две недели. Я был с Ахматовой, как раз тут была проездом в Ленинград, на двух. Как много мне это напомнило! Все гораздо бледнее, серее, однообразнее, но часть писателей те же, я был очень рад Гришашвили, Мариджан[3] и в особенности часто виделся с Симоном, он умный и талантливый, и я его очень люблю. Были и кутежи и банкеты, и опять более официальные и бледные, чем бывало, все, между ними Абхаидзе[4], много говорили о Вас. Смотрите, Нина, как я стал стар и бездарен, что ничего, кроме этих двух строчек, не могу Вам послать. Целую Вас и Ниту.

Ваш Боря

Если бы представился случай, приезжайте пожить у нас!!! Зина и Леня на огороде, я — в городе.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, вход. № 021915, 8).

[1] Новые разочарования после новогодних надежд (см. письмо № 983).

[2] Приезжавшие в Москву в начале апреля 1946 г. на декаду грузинской литературы Симон Чиковани и грузинские киноактрисы Т. *Чавчавадзе* и Н. Г. Вачнадзе.

[3] Поэт и историк Иосиф *Гришашвили*, детская писательница *Мариджан* Алексидзе.

[4] Поэт и историк литературы Шалва *Абхаидзе*.

998. С. ЧИКОВАНИ

24 апреля 1946, Москва

24 апр. 1946

Дорогой Симон!

Что о Вас ничего не слышно? Как Ваше здоровье? Я получил от Ивнева письмо и ему ответил[1]. Поклон от Вас передала Нат. Георгиевна[2].

Сейчас я хотел написать Вам открытку, что Леонидзе опоздал в мой сборник в «Сов. Писателе», и будут только четыре автора: Бараташвили, Ак. Церетели, Важа Пшавела и Вы. Но вероятно с Церетели будет то же, что с Гоглой. Он выпадет, потому что у меня только 2 его стихотворения, и по моей вине он вышел в них неинтересным[3]. Тогда останутся только Бар<аташвили>, Важа и Вы, и я назову книгу: «Три грузинских поэта» или «Три поэта Грузии»[4].

Я хотел написать Вам это в открытке, но письмо усложнилось. Сейчас со мной по телефону разговаривал один общий знакомый Верховского и Ахматовой. Верховский живет в ужасных условиях. Он очень надеялся попасть в Сагурамо, но из-за ремонта там это не осуществилось[5]. Он очень милый, глубокий и большой человек со страшно несчастной судьбой и налетом бледности и несмелости на творчестве, как у людей с трудною жизнью, — я намеренно не сказал: у неудачников. Я знаю, между мною и Вами так много сходства, что Вы не можете относиться к нему иначе, чем я. Если Вам позволяет здоровье, устройте, пожалуйста, путевку в Сагурамо ему и жене на все лето или по крайней мере месяца на два. Сделайте это, или попросите сделать это в Союзе ради меня. Ах да, я ведь совершенно забыл — об этом надо попросить милого Бесо![6] Попросите, чтобы эту двойную путевку обеспечили немедленно, и скажите, чтобы срочно известили об этом Верховского по адресу: Москва, Большой Каретный пер. д. 8, кв. 6, Юрию Никандровичу Верховскому. Целую Вас и Марийку. Пусть она

напишет, как Вам. Неприятности с Гоглой надо будет исправить в его отдельных изданиях и в тифлисском издании моих переводов. Он мне прислал подстрочники с очень хорошим настроением, — я их летом или осенью обязательно сделаю[7].

Б.

Впервые: Материалы ГМГЛ (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 15).

[1] О выступлении Р. Ивнева на своем вечере в Тбилиси см. письмо № 993.

[2] Н. Г. Вачнадзе.

[3] В 1940 г. к 100-летнему юбилею Акакия Церетели Пастернак перевел три стих.: «Памяти Гоголя», «Поэт» и «Больной поэт».

[4] Сб. получил назв. «Грузинские поэты в переводах Б. Пастернака» (М., 1946).

[5] Речь идет о санатории Союза писателей в Сагурамо.

[6] *Бесо* Жгенти был секретарем Союза писателей Грузии.

[7] Подстрочники стихов Леонидзе Пастернак получил только 31 марта и писал ему: «В подстрочниках почти все сплошь превосходные вещи с глубоким настроением. Спасибо — я непременно ими воспользуюсь. К сожалению, в московское издание моих переводов они уже, вероятно, не попадут. <...> Но к Вашим русским изданиям я обязательно эти вещи подготовлю, когда придет время. Мне очень жалко, что их не было у меня под рукою в феврале, когда я приводил в порядок кое-что у Бараташвили и перевел несколько вещей Чиковани, тогда именно было время, — я ведь Вам давно об этом писал. Но все равно, Вы ничего не потеряли, надеюсь наверстать этот пробел когда-нибудь в будущем, а позже ли или раньше это будет, в конце концов не так важно» («Литературная Грузия», 1966, № 2. С. 86).

999. С. ЧИКОВАНИ

22 мая 1946, Москва

22. V. 1946

Дорогой Симон!

Я о Вас ничего не знаю. В письме, где заключалась просьба о Верховском, я просил Вас или Мариечку написать, как Вам[1], но пока ничего не знаю. Жизнь не становится легче, я все время страшно занят. Когда уезжал Витя, мне и ему хотелось и надо было повидаться, — и не пришлось, так это трудно. Теперь я опять к Вам с просьбой, причем совсем не представляю себе, в каком виде она Вас застанет, может быть Вы в постели, — вот что ужасно.

В Цхалтубо должна поехать добрая моя знакомая и милейший человек Елена Ефимовна Тагер[2]. Кажется все формальности,

начатые тут, она должна довести до конца в Тбилиси. Я удивляюсь всякому, кто в наше время верит в реальность бытия, улиц и учреждений и думает, что мыслимы какие-то цели и их достижение. Елена Ефимовна из таких героев, но предпринятое чудо надо ей помочь сотворить. Ей наверное потребуется протекция в какие-то отделы и инстанции здравоохранения, помогите ей своим влиянием. Может быть можно что-нибудь сделать по Литфонду, ее муж член ССП, критик и литературовед. Тогда дорогой Бесо еще по-новому пожизненно обязал бы меня в придачу к моей давней признательности.

Меня огорчает, что я ничего не знаю о Вашем здоровьи. В смысле душевном, судьбы, звезды, добрых гениев и ангелов-хранителей год у меня прошел небывало, фантасмагорически. Но мне невесело. И почему Вы так молчите? Где Вы, что Вы? Откликнитесь!

Я даю несколько экземпляров «Отелло»[3] Елене Ефимовне ненадписанными вместо бланков или визитных карточек для подачи записок. Если здоровье позволяет Вам, приезжайте с Марийкой пожить у нас на даче. Крепко целую Вас обоих. *Ваш Б.*

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 13).

[1] Письмо № 998.

[2] Е. Е. Тагер многие годы страдала болезнью суставов; лечение в специализированном санатории Цхалтубо очень помогло ей. См. о ней также в письме № 946.

[3] Вильям Шекспир. «Отелло». Перевод Бориса Пастернака. М., Гослитиздат, 1945.

1000. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

31 мая 1946, Москва

Дорогая Оля!

Ну вот опять лето, и опять, не веря в то, что это когда-нибудь случится, я прошу тебя к нам. А между тем смутные расчеты на то, что вдруг ты когда-нибудь возьмешь да приедешь, таятся где-то в глубине души, потому что, например, мы выдерживаем Асмусов на крытой стеклянной террасе и бережем внизу одну комнату либо для тебя, либо для Шуры с Ириной или еще для кого-нибудь.

Я еще в городе, — я хочу и должен написать общее предисловие к собранию своих Шекспировских переводов[1] (известные тебе, плюс Отелло и Генрих IV), а вместо этого все время страшно хочется спать. Если Бог даст я буду жив, я в октябре или ноябре обязательно съезжу в Ленинград. Ничего не могу сообщить тебе

нового, соотношения сторон моей жизни прежние, мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внешне, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камер-юнкеры[2], то самое, чего мне никогда не дадут и потребность в чем тебя с моей стороны так удивляла. Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному, и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр.

Как твое здоровье? Я не жду от тебя большого письма, я знаю, как трудно бывает писать, когда считаешь, что это нужно. Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там и тут, Женя кончает академию. Прости за эти вялые строки, я тебе ничего не собирался сообщить, а только хотел напомнить, что наступило лето.

Крепко целую тебя. За открытку все-таки был бы благодарен. Зина всегда ждет тебя так же, как я. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Имеются в виду «Заметки к переводам Шекспировских трагедий», в окончательной редакции получившие название «Замечания к переводам из Шекспира».

[2] Пастернак просил Сталина в письме № 963, чтобы театрам позволили ставить его переводы, «не ожидая дополнительных указаний», ясно сознавая прямую зависимость репертуара от политики «двора» (см. об этом также в письме № 980).

1001. В. М. САЯНОВУ

18 июня 1946, Москва

Дорогой Виссарион Михайлович!

Совершенно неожиданно и в очень нужную минуту пришел гонорар из «Звезды»[1]. Спасибо. А я как раз думал эти дни о журнале, и повод и причину при сем препровождаю.

Я написал предисловие к своим шекспировским переводам для издательства «Искусство»[2]. Я только что его закончил и не могу судить о нем, но мне кажется, что какие-то куски из него могут представлять общий интерес и годятся для напечатания отдельно от переводов[3]. Как Вы думаете? Прочтите, пожалуйста, и протелеграфируйте мне свое мнение применительно к «Звезде».

Если это Вам подойдет, кроите материал, как хотите. Надо будет, наверное, еще какие-то две-три вводных редакционных

фразы в начале. Или прямо начать «Стиль Шекспира»? Нет, это не годится. Это ведь не *статья* о Шекспире, необходимо, чтобы видно было, что это предисловие, что это сопроводительные заметки к чему-то частному и определенному. Как бы то ни было, ответьте телеграммой.

Какую-то совсем особую роль для меня в соприкосновении с действительностью и миром стали играть мои вечера. Это что-то новое, в точности совпавшее с моим внутренним чувством должного и превзошедшее мои внешние вынужденные и притворные расчеты. Если, Бог даст, я буду жив и будет время, займусь этим шире, тогда приеду к Вам.

Крепко жму Вашу руку. Отвечайте.

Ваш Б. Пастернак

18. VI. 1946

До Вашего ответа не буду предлагать никому в Москве.

Впервые: Ежегодник ПД, 1977. Л., 1979. — Автограф (ИРЛИ, ф. 597).

Поэт Виссарион Михайлович Саянов был ответ. редактором журн. «Звезда».

[1] Гонорар за публикацию «фальстафовских» сцен «Короля Генриха Четвертого», которые были переданы в «Звезду» осенью 1945 г. Пастернак писал Саянову по этому поводу: «Что слышно насчет Фальстафа? В январе хотят, чтобы я его прочел во Всесоюзном Театральном Обществе, и мне понадобятся рукописи, потому что мой экземпляр неразличимо бледный. Отобрали ли отрывки и переписали ли их?» (там же. С. 200). Сохранился краткий отзыв Саянова на рукопись Пастернака: «Печатать обязательно в № 3. Пастернак — один из тех московских авторов, которые хотят работать в "Звезде" и симпатизируют нашему журналу» (ИРЛИ, ф. 597). Сцены с послесловием Н. Я.. Берковского были опубликованы в «Звезде», 1946, № 2–3. Чтение сцен из «Генриха IV» в Театральном обществе сохранилось в записи (ошибочно датированной 1947 г.), по которой была выпущена пластинка «Вильям Шекспир в переводах С. Маршака и Б. Пастернака» (Составитель Л. Шилов»).

[2] Имеется в виду издание: Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака. В 2 т. Общая ред. перевода М. М. Морозова. М.—Л., «Искусство», 1949. Предисловие Пастернака — «Заметки к переводам шекспировских трагедий» — в издание не вошло.

[3] Возможно, что редакция «Звезды» приняла «Заметки...» к печати. Но постановление ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» перекроило все планы редакции, вместо Саянова ответ. редактором стал В. П. Друзин, и в письме № 1008 Пастернак просил О. М. Фрейденберг забрать экземпляр статьи из «злополучной» «Звезды».

1002. И. БЕРЛИНУ

26 июня 1946, Переделкино

Дорогой Mr. Berlin!

Когда тут была Ахматова, каждое ее третье слово были Вы. И это так драматически, таинственно! Например, ночью, в такси, на обратном пути с какого-нибудь вечера или приема, вдохновенно и утомленно, чуть-чуть в парах, по-французски: Notre ami (это Вы) a dit..., или a promis* и т. д. и т. д. Наконец, возревновавшие ее к Вам друзья приступили ко мне с просьбами: Б. Л., опишите нам, пожалуйста, Берлина, кто и какой он. Полились мои похвалы, и тут только начались их муки. — Все Вас любят и с большим теплом вспоминают Вас. Вам кланяются от души Зин<аида> Ник<олаевна> и брат с невесткой. Как правильно Вы отзывались о Mrs. Halcroft, какой очаровательный человек, ка́к мы ее полюбили![1] У меня тут были успехи, если бы Вы были в Москве, Вам было бы приятно[2].

Сестра обременит Вас тремя экземплярами статьи для Вас, для Боуры и для Шиманского, — простите за доставляемое беспокойство[3]. Статья сдана в Вокс, они пообещали немедленно переслать ее в Лондон, чем оправдана любая публикация.

Если статья представляет по-Вашему интерес, надо ее из того вида, в каком она сейчас имеется, превратить в более подходящий для Англии, или для журнала или в любом другом отношении, т. е. из «предисловия» надо ее превратить в «заметки», переменить заглавие, или, если нужно будет, совершенно отбросить первую главу (общая цель переводов) и начать прямо с «поэтического стиля Шекспира» или сократить как-нибудь еще. Или, может быть, наоборот, надо было бы оставить предисловие неприкосновенным в его нынешней форме и прибавить в начале несколько слов от переводчика статьи, что это, дескать, предисловие к моим 5-ти переводам (Гамлет, Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра, Отелло, Король Генрих IV, обе части), выпускаемым издательством Искусство.

Перевести надо будет так, как Вы говорили, скромно, просто, понятно.

Чем шире и нейтральнее будет орган, в котором нашли бы себе место мои мысли, тем, конечно, мне будет радостнее. Я от-

---

* Наш друг сказал... или обещал (*фр.*).

сюда не могу и не смею советовать, но что-нибудь вроде литературного приложения к «Times'у», мне кажется было бы приятнее Horizon'а[4], который может быть слишком специален и ярок. А? Как Вы думаете?

Судьба статьи и Ваше мнение о ней меня очень интересуют. Если в этом отношении что-нибудь определится или Вы узнаете что-нибудь радостное или любопытное, сообщите через редакцию Британского Союзника[5] письмом, или каким-нибудь другим способом или, что-нибудь объективно звучащее через Вокс или Союз Писателей, почтой или телеграфом, по-английски.

Обнимаю Вас. Простите за бессодержательное письмо, — тороплюсь.

Ваш Б. Пастернак

26. VI. 1946

Впервые. — Автограф (собр. А. Берлин, Оксфорд).

[1] Сотрудница посольства Великобритании в Москве, где в 1945 г. полгода проработал писатель и историк общественной мысли в России Исайя Берлин.

[2] Имеются в виду вечера чтений в Колонном зале Дома Союзов, Политехническом музее и др.

[3] Имеются в виду «Заметки к переводам Шекспировских трагедий». Надежды на их публикацию в Англии не оправдались.

[4] В журн. «Horizon» обычно публиковали свои работы С.-М. Баура и Ст. Шиманский.

[5] Выходившая в Москве при посольстве Великобритании газета «Британский союзник» вскоре была закрыта.

1003. Л. Л. СЛЕЙТЕР

26 июня 1946, Москва

26. VI. 1946

Дорогая Лидочка!

Не удивляйся, что я отвечаю так поздно. Представь себе, сочли, что поблагодарить тебя и Раису Николаевну по телеграфу, как я хотел, будет неудобно. Потом очень медленно все это реализовалось. Мы страшно затруднили благороднейшую и замечательную Mrs Голкрофт, в которой нашли большого друга[1].

Что сказать, как благодарить вас с Федей и Раису Николаевну! Вы нас более, чем одели, — нарядили! Это относится ко всем, но в особенности к Лёнечке. Все получилось так неловко! Когда Mrs. Walker[2] со слов Раисы Николаевны предложила посылать

провизию, я сказал, что мы в этом совершенно не нуждаемся. Вот разве если бы что-нибудь из белья или платьев. Я это сказал вскользь, не придавая своим словам никакого значения. Наверное не надо было этого говорить!

Тут же тороплюсь успокоить вас, чтобы вы не думали, что мы нуждаемся. В особенности это касается пищи. Вдруг стали подавать мне извещения на какие-то пищевые посылки, но каждый раз с таким запозданием, что к тому дню, когда я отправлялся за ними на почтамт, оказывалось, что посылки уже отправлены назад, и я ни одной не получил. Они по старому адресу: Волхонка, дом 14, дом, которого уже больше не существует. Это не от вас, вы знаете новые адреса наши, но может быть это от Р. Н.? Спроси ее. Ничего этого не надо[3].

Много вещей досталось Шуре и Ирине. Это случилось благодаря Зине, силами которой это все было понемногу перенесено и которая при назначении вещей мне напирала на качество. Она взяла себе, и оно ей очень впору (оно, кажется от Раисы Николаевны) коричневое вязаное платье. Красное пестрое (должно бы<ть> и темно-коричневое с желтеньким узором) я отнес Жене. Но она на другой день принесла его обратно. Она сказала (и все это, вероятно, очень справедливо), что я с Зиной живу слишком крупными системами (это ее выраженье), что я перестал замечать людей и чувствовать по-человечески, что она не могла спать от мыслей и воспоминаний, что с нашей стороны пользоваться этими вещами свинство и вымогательство, что она возвращает платье, так как не участвовала и не хочет участвовать в нашей дележке, что ты и Жоня живете, наверное, гораздо хуже, т. е. в гораздо больших заботах, чем я. — С одной стороны это совершенный вздор, с другой, — вероятно, более чем правда. Всем этим я хочу только сказать, что с нашими восторгами и благодарностью перемешаны также угрызения совести и сожаления.

В твоих английских стихах меня с одинаковой силою остановили и заставили задуматься и следы искусства и свидетельства твоей душевной жизни, близкой мне, и оказывается, не такой веселой, и, наконец, удивившие меня, после всего виденного тобою и пережитого, признаки живучести твоих ранних московских воспоминаний.

Как стихи, мне больше всего понравились два места

1) строфы: Some hundred years ago..., Alas I must..., At night, at times...

2) O streets of Moscow...* — обе строфы[4].

У меня есть приглашения к вам, кажется, в Прагу и в Париж. Но мне не хочется уезжать без Зины и Лёни. Может быть, в будущем году я сделаю попытку отпроситься с ними.

Тут были два вечера, один в так называемом «Колонном зале» (это где симфонические Кусевицкого и Никиша бывали, как у папы на рисунке[5]), общий, с Ахматовой и ленинградцами, и потом мой собственный, в политехническом[6], — может быть, до вас дошло, как меня принимали, потому что в публике были иностранцы, может, до вас дошли слухи. В будущем году, наверное, это еще усилится.

Очень трудно описать наше существование, в нормальных представлениях нет ему аналогий. Но в общем у вас все это уже раскусили и представляют себе довольно точно, — глухота, безмолвие, страшный возмутительный тринадцатый век. Среди всего этого я двигаюсь как по острию ножа, и мне уже нет выбора. Все слишком определилось. Интересно, увлекательно и, вероятно, опасно.

Здешнее театральное издательство «Искусство» собрало пять моих Шекспировских переводов и заказало мне к ним предисловие, с просьбой, чтобы я его написал вольно и смело, без оглядок, с гарантией, что они это напечатают. Я застрял из-за этого на целый месяц в городе, задержав перевозку вещей (Зина с детьми на даче без кроватей и посуды). Теперь это готово, и они вздыхают и закатывают глаза по поводу этих заметок, но конечно и думать нельзя об их напечатании, так далеко они ушли в сторону от того, что принято.

Я посылаю тебе это предисловие в 4-х экземплярах. Оно сдано в ВОКС, откуда, как мне сказали, оно в первых числах июля уйдет в их Лондонское отделение[7].

Тебя же я просил бы один экземпляр (самый бледный) оставить для себя и Раисы Николаевны, а три передать Берлину для него самого[8], Боуры и Шиманского. Прости, что я тебя затрудняю, но я не знаю их адресов, и потом второпях не успею всем им написать.

Тебя и Жоню и Федю может справедливо удивить, что у меня в письмах и сквозящих в них интересах так мало личного чувства к вам и к своим, так мало домашнего тепла, столько торопливого

---

* «Несколько веков назад...», «Увы, я должна...», «Ночью, в то время...», «О, московские улицы...» (*англ.*).

и деятельно поглощенного собою эгоизма. Это совершенно верно и это именно то, о чем сказала Женя, возвращая платье. Но вот я тебе сейчас пишу, и думаю о ваших детях и домах, которых я не видал, и о Зине и Лёне, которые месяц на даче, и о блестяще кончающем Жене[9], и не могу избавиться от чувства, что даже в отношении этого всего, лучшее письмо мое к вам всем это моя статья о Шекспире, и *это* письмо мое налицо и дописано, я посылаю его. Что я могу к нему прибавить?

Если статью будут переводить, перевести ее нужно простейшим, привычным для английского уха и не останавливающим на себе внимания хорошим языком, *чтобы лаконизм ее был незаметен, как по-русски, и чтобы оригинальные ее мысли не казались оригинальными и были понятны ребенку.*

Крепко целую тебя и детей, Жоню и Федю, и Аленушку, и Чарлика. Вы *лучше меня* знаете, как я вас и все ваше, и вашу манеру жить и любить, — люблю и по вас скучаю.

В конце концов оказалось, что рядом со мной человек страшно близкий мне и страшно на меня похожий. Зина поразительно выдержала несколько экзаменов в жизни, из которых главными были: детская эвакуация и ее заведование кухней детского дома в провинции и смерть ее старшего сына. Она очень хорошо понимает, чья она жена и чей и какой риск она разделяет, неутомимо, как чернорабочая двигает наше не всегда легкое хозяйство и многое мне прощает. Я тоже почти не разговариваю с ней, потому что разговор мой с нею тоже весь — в статье.

Я летом попрактикуюсь с женой покойного Афиногенова[10], американкой, по-английски, чтобы говорить совершенно свободно на нем.

Обнимаю вас всех без конца. *Ваш Боря*

Зина и Шура хотели написать вам, но наверное не успеют. Это ничего не значит, т. е. они, правда, хотели, и это не отговорка.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

[1] Речь идет о получении посылки через сотрудницу посольства г-жу Голкрофт (Halkroft). Благодарственная телеграмма сестрам и Р. Н. Ломоносовой вызвала бы ненужные подозрения.

[2] Знакомая Р. Н. Ломоносовой, приезжавшая в Москву.

[3] Вместе с письмом Пастернака были посланы письма Александра Леонидовича и его жены, к ним приложена записка рукой Б. Л.: «У Шуры и Ирины говорится, что посылать можно еще и лучше по почте. Я — противник этого, ничего не надо».

[4] Из стихов Лидии, присланных с письмом, Пастернак отметил три заключительных строфы из «Abandoned» («Брошенная») и две средних из «Cornflowers» («Васильки»); стихи были включены потом в ее сборник «Before sunrise» («Перед восходом солнца»), London, 1973.

[5] Имеются в виду работы Л. О. Пастернака, сделанные на концертах Артура Никиша и Сергея Кусевицкого в 1900-х гг.

[6] 2 и 3 апреля были два вечера с Ахматовой и совместный с ленинградскими поэтами в Клубе писателей и Колонном зале, 27 мая — в Политехническом музее.

[7] Сокращенный текст «Заметок к переводам...» появился в журн. «Soviet Literature», 1946, № 9, по-английски: «Some remarks by a translator of Shakespeare» без указания имени автора, но в качестве иллюстраций даны фотографии обложек изданий переводов Пастернака: «Гамлет» (1941), «Ромео и Джульетта» (1944), «Антоний и Клеопатра» (1944) и «Отелло» (1949).

[8] См. письмо № 1002.

[9] Е. Б. Пастернак заканчивал Бронетанковую академию.

[10] Евгения Бернгардовна (Дженни) Афиногенова.

1004. С. ШИМАНСКОМУ

26 июня 1946, Москва

Дорогой Шиманский!

Как я все это предвидел! Я накропал всякой ерунды, фрагментов и недоделок, когда не умел еще писать, а потом Вам и переводчикам попадает за то, что это плохо. Помните, я предупреждал вас?[1]

Теперь я делаю все, что могу, чтобы обелить Вас и где можно распространяю истину. Я везде говорю, что плохи оригиналы, а переводчики и редактор мученики и герои.

Вот повод Вам и Mr. Payne'y и Mrs Scott[2] доказать, чего Вы можете достигнуть, когда в руки Вам попадает настоящий, по-человечески написанный материал. Когда Вы получите мои заметки о Шекспире (предисловие к собранию моих переводов), просмотрите их, пожалуйста, и подумайте, нельзя ли их где-нибудь напечатать, если перевести их скромно, без пышности и понятно.

Сердечный привет Вам и Вашей жене. Во мне теплится вера, что я когда-нибудь попаду в Англию, но с каким-нибудь более весомым багажом, чем мой нынешний. Я пока еще ничего такого не сделал, чтобы притязать на право топтать чужую почву и занимать чужое внимание. А только путешествовать, набираться впечатлений и (в лучшем случае — правдиво) о них рассказывать, — слишком много таких путешественников. Слишком этого сейчас мало, требуется нечто больше.

Мне больно, что при Вашем воодушевлении и сочувствии мне я не принес Вам счастья.

Еще раз большое спасибо за мою книгу прозы. Вы страшно много сделали этим для моей судьбы.

Ваш Б. Пастернак

Статья о Шекспире есть в ВОКСе, печатать ее не беззаконие[3].

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

Записка послана вместе с письмом к сестрам 26 июня 1946 и экземплярами машин. с «Заметками к переводам Шекспировских трагедий». Датируется по письму к сестрам.

[1] Речь идет о сб. прозы Пастернака, изданном Ст. Шиманским с его предисловием: The Collected Prose Works. Lindsay Drummond. London, 1945 и письме с благодарностью и сожалениями, что написанное им «такая нелепость и бессмыслица» (№ 981).

[2] Роберт Пейн переводил в этом сб. «Апеллесову черту», «Детство Люверс» и «Воздушные пути», а Бабетта Скотт — «Охранную грамоту».

1005. Т. Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК

2 июля 1946, Москва

Дорогая Татьяна Львовна!

Бывшая воспитательница наших детей и наша знакомая Елена Ивановна Русецкая[1], ныне потерявшая зрение, хочет, чтобы я упросил Вас принять ее и выслушать (может быть, это можно сделать по телефону). Ей хочется спросить Вас о каких-то, ее и Ваших общих знакомых.

Пользуюсь случаем выразить Вам мое постоянное восхищение Вашими работами, в особенности Сирано, которого я недавно во второй раз смотрел у Вахтангова[2], и которого помню еще с тех времен, когда Ваш Ростан шел приложением к «Ниве»[3]. Я Вам как-то звонил по телефону, Вас не было дома.

Ваш Б. Пастернак

2 июля 1946 г.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 571, оп. 1, ед. хр. 913).

В дарственной надписи на машин. стихов из «Доктора Живаго» Пастернак выразил свое отношение к переводческой деятельности Т. Л. Щеп-

киной-Куперник: «Дорогой Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник, во многом часто служившей мне образцом, в знак глубокого уважения. *Б. Пастернак.* 15 апр. 1948» (там же). В ответном письме Щепкина-Куперник восхищалась стихами, отмечая тройные удачи: «как мыслящего существа» — стих. «Гамлет», как «поэта» — строчки из стих. «На Страстной»: «И две березы у ворот / Должны посторониться» и «как версификатора» — рифмы «певчим — не в чем».

[1] Е. И. *Русецкая* помогала З. Н. Пастернак с детьми Адрианом и Станиславом Нейгаузами.

[2] Имеется в виду спектакль в Театре им. Е. Вахтангова, поставленный по трагедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в переводе Т. Щепкиной-Куперник, с Р. Н. Симоновым в главной роли.

[3] Первая публикация перевода Т. Л. Щепкиной-Куперник «Сирано де Бержерака» входила в издание: Эдмон Ростан. Полное собрание сочинений в 2 т. (5 кн.). Т. 1. СПб., 1914. Изд. Маркса. Приложение к журналу «Нива».

1006. С. ЧИКОВАНИ

15 июля 1946, Переделкино

15. VII. 1946

Дорогой Симон!

Телеграфируйте мне, собираетесь ли Вы с Марикой в Москву, или же еще не скоро? Крепко Вас целую за Вашу коллективную телеграмму по распределении Огоньковского Бараташвили[1] и за Ваше еще раньше пришедшее письмо. Если Вам позволяет здоровье, *просмотрите* Огоньковскую книжку. Я там многое (Серьгу, Младенца, Одинокую душу и многое другое) переделал против Вашего экземпляра[2] к лучшему и считаю эту редакцию последней. А Витю Гольцева продолжают мучить посторонние соображения, не отделится ли какая-нибудь область в результате какой-то, на его взгляд, неточности в словах Сол<омона> Леонидзе[3]. Но ведь это не государственные акты. Какое отношение это имеет к литературе? Мне это все страшно чуждо. Взгляните на мой Огоньковский вариант, и если Вы согласны со мной, что эту редакцию можно считать окончательной, напишите, пожалуйста, об этом Вите, успокойте его.

О сроке Вашего приезда сюда мне надо знать не только потому, что нам не терпится Вас обоих поскорее увидеть. Я на днях перевел несколько стихотворений Леонидзе, и теперь для составления книги в ее Заревосточном варианте нет никаких препятствий[4]. Я хотел дать материалы в переписку, когда Вы приедете и послать рукопись в Тбилиси вместе с Вами. Но если Вы задержитесь, телеграфируйте мне, пожалуйста, и тогда я пошлю рукопись по почте.

Ведь это составит очень осязательные деньги, и получить их к концу лета (в размере 60%) будет не только очень кстати, а может быть и необходимостью. Июнь месяц я проторчал в городе из-за предисловия, которое писал к своим Шекспировским переводам. Я ужасно боялся, что увязну в той путанице мнимо ученого многословия, какую всегда представляет собой каждая вековая большая тема и только прибавлю к этому клубку какой-нибудь видоизмененный завиток. Представьте себе, этого не случилось! Мне удалось в очень простых и понятных словах сказать много такого о Шекспире, что я узнал о нем за своими работами, и это на одном печатном листе![5] Попросите Гоглу показать Вам мои переводы, я их послал ему. Ответьте мне телеграммой и будьте здоровы. А лучше всего приезжайте, не откладывая. Как приедете, поселяйтесь у нас в Переделкине. Масса места, тишина. Целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 14).

[1] Николай Бараташвили. Стихотворения. Библиотека «Огонька». М., 1946.

[2] То есть посланной Чиковани в сентябре 1945 рукописи первонач. редакции переводов Бараташвили. По поводу переделок Бараташвили Пастернак писал в Гослитиздат: «Против рукописи, привезенной Виктором Викторовичем (Гольцевым. — *Е. П., М. Р.)* из Тифлиса от Симона Ивановича, данная рукопись, вместе с новыми исправлениями (чернилами от руки) ушла в сторону на две редакции: Во-первых, уже в своем чистом, ремингтонном тексте она не представляет копии старой рукописи, имеющейся у В. В., а содержит значительные изменения, не говоря уже о новой правке. До разговоров со мной о заключительных пожеланиях надо сличить *полностью* старый и новый тексты, не ограничиваясь бросающимися в глаза рукописными помарками».

[3] *Соломон Леонидзе* — грузинский государственный деятель, канцлер царя Ираклия II, персонаж поэмы Бараташвили «Судьба Грузии».

[4] Имеется в виду кн.: Георгий Леонидзе. Стихи. Тбилиси, «Заря Востока», 1947, в которую вошли новые переводы Пастернака.

[5] Речь идет о «Заметках к переводам Шекспировских трагедий».

1007. К. А. ФЕДИНУ

3 августа 1946, Переделкино

Костя, я сейчас Зине и Асмусам буду читать 1-ю главу. Она еще скомканная и с недоделанным, картонным концом, так что мне стыдно уговаривать тебя ее слушать. Но если тебе нечего делать и приятно будет установить мой провал, приходи поскорее.

Твой Б.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой). Датируется по примечанию Федина: «Это — 3-го августа, 1946 г. Роман "Мальчики и девочки" с эпиграфом из Блока; 1-я глава относится к 1903-му году; Приволжско-центральная Россия» (там же. С. 168). Рукописи первой редакции с таким эпиграфом не сохранилось. Можно предположить, что эпиграф был взят из стих. А. Блока «Вербочки» (1906) и соответствовал названию романа: «Мальчики да девочки / Свечечки да вербочки / Понесли домой». После доработки две первые главы «Пятичасовой скорый» и «Девочка из чужого круга» читались 10 сент. 1946, по дневнику К. И. Чуковского, в день публикации резолюции президиума Союза писателей, где Пастернак объявлялся «безыдейным, далеким от советской действительности автором» (Воспоминания. С. 267).

1008. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 октября 1946, Москва

5 окт. 1946

Дорогая Оля!

Как твои дела и здоровье? У меня и у Зины летом была некоторая, хотя и слабая надежда, что ты приедешь. У нас все время было много народа, Шура с Ириной, разная молодежь, и мы все время берегли для тебя то комнату, то верхнюю стеклянную террасу.

Прости, что я не писал тебе. Я с чрезвычайною, редкою удачей работал в последнее время, особенно весной и летом. Мне надо было к собранию пяти моих шекспировских переводов написать вступительную статью, и я не верил, что я это одолею. Удивительным образом это удалось. Я на тридцати страницах сумел сказать, что хотел о поэзии вообще, о стиле Шекспира, о каждой из пяти переведенных пьес и по некоторым вопросам, связанным с Шекспиром: о состоянии тогдашнего образования, о достоверности Шекспировской биографии. Экземпляр статьи есть в злополучной вашей «Звезде» или «Ленинграде» (т. е. в их редакциях) у Саянова или Лихарева[1]; если у тебя есть общие знакомые, достань ее, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы ты ее прочла, — хотя с таким же пожеланием я уже обратился к Ахматовой и Ольге Берггольц[2].

А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 г., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути, — и они необы-

чайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе.

Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня. Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.

Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черною, несчастною, страдающей и постаревшею из чувства уязвленной гордости за меня, и только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу[3]. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее (главным образом в материальной форме) омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год с этой стороны.

Но сейчас я думаю, что все наладится. Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые преисполняют меня весь последний год. И перед возобновлением прерванной работы (я решил сегодня снова засесть за нее) мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех.

Наверное, эта «кампания» бьет и по тебе, и твои неприятности усилились? Как это все старо и глупо и надоело![4]

Ты тогда очень хорошо процитировала выкрики Треплева из Чайки[5].

Крепко целую тебя. Зина тоже кланяется тебе и тебя целует. В последнюю минуту решил все же послать тебе статью в единственно оставшемся у меня полуистертом экземпляре. Если после твоего чтения не изгладятся совершенно последние следы букв, передай прочесть кому-нибудь.

И вот еще я, Леня, Зина и работница Оля в разных комбинациях[6].

Твой Б.

Напиши, как твое здоровье. Есть ли у тебя мой перевод Отелло?

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Рукопись статьи «Заметки к переводам Шекспировских трагедий» была отдана в журн. «Звезда» (см. письмо № 1001).

[2] Первые послевоенные годы были окрашены нежной дружбой с О. Берггольц, которая впоследствии уничтожила письма Пастернака к ней.

[3] В связи с постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» усилились критические нападки на Пастернака со стороны

А. Фадеева, обвинявшего его в «уходе в переводы от актуальной поэзии», «чуждом советскому обществу идеализме», несоответствии идеалам современности и пр. («Литературная газета», 7 и 21 сент. 1946).

[4] О. Фрейденберг записывала в дневнике: «После речи Жданова все последние ростки жизни были задушены. Европейская культура и низкопоклонство были объявлены синонимами. Опять идет волна публичного опозоривания видных ученых» («Пожизненная привязанность». С. 284).

[5] Описывая университетскую атмосферу, О. Фрейденберг в письме 29 июня 1946 цитировала слова Треплева, обращенные к матери, из пьесы Чехова «Чайка» (III дейст.): «Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите!» (там же. С. 283).

[6] К письму приложены фотографии. «Ты не можешь, к счастью, представить моего потрясенья, когда я увидела семейные карточки, — отвечала О. Фрейденберг 11 окт. 1946 на эту посылку. — Ты изменился. От твоего лица и мысли идет что-то серьезное... Такое впечатление, что ты поклялся отмести случай и случайность, что ты дышишь только настоящим» (там же. С. 287–288).

1009. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

13 октября 1946, Москва

13 окт. 1946

Дорогая Оля!

Написал тебе и в тот же день заболел ангиной, пролежал несколько дней.

Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью и, кроме того, за последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существованья.

В одном отношении я постараюсь взять себя в руки, — в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, буд-

то существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности[1]. Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Это все так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов.

Пакет с фотографиями, статьей, книжками и пр.[2] я отправлял не сам, а дал отправить нашей почтальонше, так что, когда ты получишь, не задумывай большого ответного письма, но извести открыткой о своем здоровье и житье-бытье.

Целую тебя. Мне совсем невесело[3]. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] См. в «Докторе Живаго»: «Евангелие... говорило: в том сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется Царством Божиим, нет народов, есть личности».

[2] В пакет с письмом № 1008 были вложены перевод «Генриха IV», «Земной простор» и статья «Заметки к переводам Шекспировских трагедий», получив которую О. Фрейденберг писала 11 окт. 1946: «Меня знобило нервной дрожью, когда я читала Шекспира в стертой и измятой машинке. ...Что-то есть в этом от протокола истории. Твои мысли о Шекспире выглядят, как документ из архива бессмертия, хранящегося, разумеется, в рукописном виде» (там же. С. 246).

[3] Через два дня Пастернак просил прощения за невеселый тон этого письма: «Я жалею, что успел отправить тебе новое письмо, невеселое, кажется. Ты ему не верь. Это я расхандрился, как теперь вижу, без причины. Все устроится (там же. С. 249).

1010. М. Б. ХРАПЧЕНКО

14 октября 1946, Москва

14 окт. 1946 г.

Дорогой Михаил Борисович!

У меня сейчас очень ощутительная денежная заминка, которой не было бы, если бы «Искусство» не затягивало издания моих Шекспировских переводов[1]. Особенно общелитературные обсуждения последнего времени[2] настраивают издательство на выжидательный лад, и погружают деловые перспективы, никогда не отличавшиеся определенностью, в полную неизвестность.

У меня к Вам две просьбы.

Во-первых, если это не расходится с общими и Вашими собственными видами, восстановите, пожалуйста, мое доброе имя в глазах издательства, чтобы они не боялись меня и моих трудов и дали ход их напечатанью и выпуску: их появление было бы такой радостью для меня!

Во-вторых, если это мыслимо, окажите, пожалуйста, влияние на финансовую часть издательства в следующем направлении. Мне по выходе собрания следовало бы еще получить около сорока тысяч (40 % всей суммы). Договор был заключен около года тому назад, а рукописи у них не сданы еще в набор. Ввиду того, что возможность пользования этими деньгами оттягивается, нельзя ли было бы добиться, чтобы мне до срока выплатили половину этой суммы, в виде чрезвычайного одолжения, которое крайне бы меня выручило.

Простите, что опять затрудняю Вас просьбами (а я-то льстил себя последнее время надеждами, что не придется надоедать Вам) — но я ведь и сам не рад нынешним неожиданным оборотам. Заранее горячо благодарю Вас за все, что Вы сочтете нужным и возможным сделать.

Всего лучшего.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2894, оп. 1, ед. хр. 444).

[1] Издание сб. переводов Пастернака из Шекспира, предполагавшееся в Гослитиздате, после ухода П. И. Чагина с поста гл. редактора, было передано в изд-во «Искусство». Договор был подписан в 1945 г., издание задержано на четыре года и вышло только в 1949 г. после личного ходатайства А. А. Фадеева.

[2] Высказанные на президиуме правления Союза писателей и общемосковском собрании положения, осуждающие позицию Пастернака («Литературная газета», 7 сент. 1946; «Правда», 21 сент. 1946; «Культура и жизнь», 30 сент. 1946), вызвали запрет на публикацию его переводов.

1011. К. М. СИМОНОВУ и А. Ю. КРИВИЦКОМУ

Октябрь 1946, Москва

В редакцию журнала «Новый мир»

Я летом начал роман в прозе «Мальчики и девочки» (нынешнее, может быть временное его название). Хотя он должен обнять

последнее сорокапятилетие (1902–1946), но изображение исторических событий стоит не в центре вещи, а является историческим фоном сюжета, беллетристически подробно разработанного в том роде, как в идеале сюжет понимали, скажем, Диккенс или Достоевский.

Прерванную в последнее время работу я возобновлю на днях и всего охотнее обошелся бы без всякого задатка, чтобы не связывать себя контрактом на еще не готовую вещь. Это выяснится на днях. Если дела мои устроятся, я воздержусь от заключения договора, чтобы сохранить свободу (чтобы надо мной не висело сознание полученного аванса и взятого на себя обязательства).

Если же я не приведу денежных дел в порядок, я буду просить редакцию сделаться со мной (с обязательным условием самое меньшее 25%-нтного единовременного аванса) на этот роман, объемом предположительно в 20 печатных листов, сроком на год, т. е. с обязательством представить его и начать его печатание с сентября будущего 1947 года[1].

Прошу редакцию рассмотреть эти условия, я же со своей стороны не позднее конца октября дам ответ, необходимо ли мне вступить с редакцией в договорные отношения уже и сейчас, или это можно отложить.

С товарищеским приветом *Б. Пастернак*

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1814, оп. 9, ед. хр. 2021). Датируется по содержанию. К. М. Симонов — гл. редактор журнала, А. Ю. Кривицкий — его заместитель.

[1] Договор на роман под назв. «Иннокентий Дудоров (Мальчики и девочки)» объемом в 10 авт. л. и сроком сдачи в августе 1947 г. был подписан с «Новым миром» в лице зам. гл. редактора А. Ю. Кривицкого 23 янв. 1947 г.

1012. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 ноября 1946, Москва,

12. XI. 1946. Дорогая Оля, спешу ответить открыткой[1] (а то — безденежье, дела, Бог знает, когда еще смогу написать по-человечески). Самое замечательное — про сравнивающую часть сравнения, про ее реализм, про самостоятельность, про то, что в ней вся суть, что ради нее-то и пишут[2] (лучше всего на примере «образа закипевшей кухонной посуды, где варится свинина»[3]). Но направление интереса в 5 разделе (слишком для меня специально, тут я

невежда, — «тотемизм» и пр.) не все доступно, кажется, местами насильственным, натяжкой[4]. К 6-му опять выправляется, становится текучим (путь от сравнения к категории качества[5]), это очень хорошо. А вообще, страшно близко и похоже на мою манеру думать, и силою и слабостями, и живой, от предмета к предмету переходящей свободой, и грехами ложной (*это я про себя... грехи!!*) обстоятельности и «абсолютизма». Про свои *грехи* в Шекспире, для иллюстрации, напишу. А вообще ты молодчина, это замечательно свежо, смело и правильно (в отмеченной части). Скоро напишу о Bowra[6] и пр.

II. Главное, что очень молодо, сильно и горделиво, с сознанием собственного значения. После таких вещей хочется читать, думать, изучать. Только, как мне кажется, стихия, подобная «5»-му, тормозит. Когда я ее нахожу в себе, то сознаю ее как отрицательную, занесенную извне тенденцию к аналитизму, топчущемуся на месте и добивающемуся универсальности. Но, повторяю, это я о себе, по рефлексу. Баура — профессор античной литературы в Оксфорде, изучивший русский язык как древнегреческий, и переводящий Ахматову, как он читает студентам Сафо. Это именно он. Я не знаю его книги, названной тобою (Greek L<yric> P<oetry>). У него много трудов «From Virgil to Milton», «The Heritage of Symbolism», он составил русскую антологию[7], много переводил Блока и, действительно, один из тех, которые пристыжают меня своим вниманием. Я тебя очень люблю, Оля, и очень крепко целую. А Зина тебя целует так, даже страшно.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф на двух открытках.

[1] Написано в ответ на письмо 3 нояб. 1946 и присылку тезисов доклада Фрейденберг, прочитанного на ежегодной научной сессии в университете «Происхождение эпического сравнения на материале Илиады», с надписью: «Моему дорогому Боре в знак манифестации жизни. *Оля*. 30/X 46» (там же. С. 251). Тезисы опубликованы в «Трудах юбилейной научной сессии ЛГУ». Л., 1946 (далее приводятся цитаты и страницы этого издания). Работа была написана блокадной осенью, в октябре — декабре 1941 г.

[2] «Развернутой, независимой и реалистической является именно второй член сравнения, сравнивающий» (С. 101).

[3] «...Сильный, грандиозный образ единоборства воды и огня уясняется при помощи образа закипевшей кухонной посуды, где варится свинина! Ясно, что более сильное впечатление интерпретируется менее сильным...» (С. 108).

[4] «С точки зрения содержания, уподобление происходит всегда так, что второй, сравнивающий член передает отрицательную семантику —

гибель, разрушение... Это приводит к мифологической, тотемистической концепции» (с. 109).

[5] «Эпическое развернутое сравнение, древнейшее из всех, создается до возникновения категории качества. Как только рождается и она, сравнение обращается в компаратив. "Как" из показателя подобия и схожести обращается в показатель качества ("каков", "какой")» (С. 113).

[6] В письме 3 нояб. 1946 О. Фрейденберг спрашивала: «Потом меня интересует Bowra. Мне говорила Чечельницкая, что он критик твой и даже переводчик? Тот ли это, кто написал Greek Lyric Poetry?» (Переписка с О. Фрейденберг. С. 251).

[7] C. M. Bowra. «Greec lyric poetry from Alkman to Simonides» («Греческая лирика от Алкмана до Симонида»), OUP, 1936; «The Heritage of Symbolism» («Наследие символизма»), 1943; «A Book of Russian verse» («Антология русской поэзии»), 1945.

1013. С. ЧИКОВАНИ

Конец ноября 1946, Москва

Дорогой Симон!

Как Ваше здоровье? Викт<ор> Викт<орович>[1] долго обнадеживал, что Вы приедете. Но видно это откладывается.

Мне есть и было очень хорошо. Я не знаю, за что дарит мне Создатель такую большую и необычайную литературную судьбу. По моему нерадению и былому ничтожеству она еще гигантски пуста, как Ноев ковчег до катастрофы. Но теперь у меня уже есть надежда, что я наполню когда-нибудь это помещение делами и произведениями.

Так как из современников Вы единственный оказались рядом с двумя лучшими классиками, и это естественно и делает Вам честь, посылаю все экземпляры сборника, предназначенные для Грузии[2], Марийке. Пусть она дарит и надписывает, кому хочет. Если же я идиот, и это неудобно, поручите это Урушадзе[3] или Нине Табидзе. Мне давно хочется послать Вам и Нине свою статью о Шекспире, но все отчетливые экземпляры рукописи я раздарил и остался только один нечеткий.

Я послал Шариа телеграмму: «Облегчите издательству "Заря Востока" возможность выплатить мне гонорар и т. д.», для того, чтобы не беспокоить больше по этому поводу Вас и Бесо[4], и на эту тему больше не заикаюсь.

У меня был перерыв в работе над романом, и во второй главе, действие которой приходится на 1905 г., мне насоветовали усилить и детализовать революционный фон изложения, стоявший на заднем плане. Теперь я это вынес вперед, делаю вставки в уже

написанное и, наверное, порчу вещь, задерживая ее развитие. А как хорошо мне работалось в июле и августе! Впрочем, ничего не случилось, все в порядке, я работаю несколько в стороне от авангардных своих частей, но скоро обращусь к ним снова и все пойдет на лад. Целую Вас, Марийку и всех Ваших. *Ваш Б.*

Симон, только что получил телеграмму Бесо о деньгах. Спасибо. Кланяйтесь ему и пусть он извинит, что я был так груб и надоедлив.

Впервые. — Автограф (ГМГЛ). Датируется по содержанию.

[1] В. В. Гольцев.

[2] Грузинские поэты в переводах Б. Пастернака. М., «Советский писатель», 1946.

[3] Машин. «Заметок к переводам Шекспировских трагедий» была передана Венере Георгиевне Урушадзе, переводчице на английский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

[4] Имеется в виду задержка гонорара за сб. «Грузинские поэты в переводах Б. Пастернака» (Тбилиси, «Заря Востока», 1946). *Бесо* Жгенти — гл. редактор изд-ва «Заря Востока».

1014. Н. ТАБИДЗЕ

4 декабря 1946, Москва

4. XII. 1946

Дорогая моя Ниночка, Вы не можете себе представить, как меня огорчило известие о Нитиных глазах![1] Бог даст, все может быть, опять обойдется, как в тот раз. Сообщите мне, пожалуйста, открыткой или телеграммой, в каком состоянии сейчас ее здоровье.

Грешный человек, когда Евгений Дмитриевич (брат Сережи Спасского) привез тогда эту ошеломляющую радость о Тициане[2], я подумал, что известие это правильное, т. е. что он жив, но что ограничатся словами и обещаниями, а щедрость и благородство никогда не пойдут так далеко, чтобы его освободить. Как это бездарно и жестоко!! Вы знаете, друг мой Ниночка, это сильнее меня. Это именно то, чего я никогда не мог победить в себе и что так резко и неизменно определило мое поведение, — непримиримость в отношении двух-трех слишком близких случаев этого скудоумия и подлости. Этого я не могу простить, хотя бы это стоило мне жизни. И все же, в одно прекрасное утро он придет, придет, может быть, даже раньше, чем Вас достигнет это письмо. Я знаю такие примеры.

Прозу я начал ведь писать с Вашей легкой руки, т. е. толчком к ней послужила подаренная Вами Тицианова бумага[3]. Потом я

решил, что бумага слишком хороша для такой пачкотни, и перенес работу, вместе с ощущением этой благородной желтизны слоновой кости, *согревшей мою выдумку*, на другой, более простой сорт бумаги (как часто бывает с воздержанием, когда, например, Вы отказываетесь от лакомства, и мысль о лакомстве в фантазии становится равносильна двойному лакомству). Одним словом, Тицианова бумага определила мой новый стиль, и Вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор.

Милая Ниночка, осенняя трепотня меня ни капельки не огорчила[4]. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово, не заботясь о том, осталось ли у него какое-нибудь значение.

До Вас достигли слухи о продовольственных неурядицах севера. Как всегда бывает в таких случаях с семьями нашего слоя, продовольственная паника повела к тому, что сахару покупают и потребляют больше, чем надо и чем бывает в спокойное время, все время возят мясо из деревни родственникам работницы, и в доме весь день воняет перетапливаемым внутренним салом.

Стасик женился, немного рано, ему только еще 19 лет, на девушке, с которою дружит последние годы[5], и живет в семье жены, ее отец инженер, там немного просторнее.

Леня, маленький наш дурачок, поступил во второй класс школы в середине года. Когда он в конце октября пошел в первый раз в класс, я был готов к тому, что его, избалованного мальчика, выросшего на руках у женщин, исколотят и высмеют и он придет в синяках и слезах. Но, представьте, он привился там и с первого же дня с ним там подружились. Он стал хватать пятерки и оказался вторым учеником. Сейчас он захворал чем-то неопределимым со рвотами, сначала мы решили, что скарлатина, потом это оказалось ошибкой, может быть это желтуха, может быть глисты, — во всяком случае, Ваш подарок, фрукты и сушение, оказались очень кстати и вызвали взрыв восторгов и благодарности. А вино, а вино! Жаль, что когда его пьют, его выпивают, а то все хотелось бы любоваться его цветом, крепостью и густотой!

Который раз, что я пишу Вам, собирается и Зина, и верьте мне, мешают только хозяйственные хлопоты и бестолочь.

Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весною, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал (как знаю и сейчас), где моя правда и что Б<ожьему> промыслу надо от меня, — мне казалось, что все это можно претворить в жизнь, в

человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловие к моим Шекспировским переводам, кажется Урушадзе повезла один экземпляр статьи (в рукописи, конечно) Симону, — достаньте у него. С еще большим подъемом я два месяца проработал над романом, по-новому, с чувством какой-то первичности, как может быть только в начале моего поприща. Осенние событья внешне замедлили и временно приостановили работу (все время денег приходится добиваться как милостыни), но теперь я ее возобновил. Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как попранной сказки. Разберете ли Вы мою мазню? Подумайте, как я разболтался! Всем сердцем желаю Вам полного выздоровления Ниты, спокойствия, полноты сил и здоровья.

Целую Вас без конца. Ваш Б.

Не тратьте времени на чтение этого многословия. Я сам терпеть не могу длинных писем. Ничего не посылайте. Тут *ничего не надо.*

Впервые: «Литературное обозрение», 1988, № 5. — Автограф (ГМГЛ, № 021912, 7).

[1] У Ниты Табидзе было отслоение сетчатки глаза.

[2] См. письмо № 983.

[3] Пачка бумаги была подарена во время поездки Пастернака в Грузию в окт. 1945 г.

[4] Имеется в виду выступление Фадеева на президиуме Союза писателей, в котором он назвал уход Пастернака от «актуальной поэзии в дни войны» в переводы «определенной позицией» поэта, «не признающего нашей идеологии» («Литературная газета», 7 сент. 1946). Через несколько дней на общемосковском собрании писателей Фадеев говорил, что «безыдейная и аполитическая поэзия Пастернака не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии» (там же, 21 сент.).

[5] Жена С. Г. Нейгауза — Галина Сергеевна Яржембская.

1015. Н. ТАБИДЗЕ

22 декабря 1946, Москва

22 дек. 1946

Дорогая моя Ниночка, у меня месяц пролежало прилагаемое письмо, которое я думал отправить с Ниной Осиповной Гудиашвили[1]. Мне очень хотелось ее увидеть, она из тех замечательных женщин, в которых очень много определенности, т. е. велика и сильна печать личности и человека. Но в день, когда с ней

можно было встретиться, я был занят, а на другой она заболела и больная уехала. Письмо осталось.

Мы часто виделись с Симоном и Марийкой, они Вам о нас расскажут. Как мы живем? Наверное, нельзя пожаловаться, а может быть, и можно, — мне трудно об этом судить, так ослепляет меня внутреннее счастье моего существования.

Послезавтра Чиковани уезжают. Когда я утром подумал, что еще раз поцелую Вас в письме и напишу Вам два слова, сердце сжалось у меня от тревоги и страха за Ниточку. Как убивает и беспокоит меня неопределенность ее состояния. Мне страшно, что я такой эгоист и всегда так занят собой. Вероятно, это страшный грех по отношению к нашим детям.

Потому что ведь и слова любви, которые, как всегда, я Вам скажу, — это та же узкая, личная, непросветленная справедливостью упоенность Вашим домом, Вашей улицей, Вашим городом, как каким-то дышащим и движущимся пламенем большой-большой свечи, и Вами, как крайним острием этого пламени и его стрелою. Нина, я страшно люблю Вас и так глуп и бездарен, что Вы этого не знаете и что мой приезд в прошлом году ничего к этому неведению не прибавил.

Но за что, за что мне так хорошо на свете, Ниночка, я готов плакать, так это поразительно и непостижимо. По той логике бреда, которая немного присутствует в этом письме, у меня какое-то ощущенье, что Вы посвящены лучше меня в мои собственные судьбы, словно боги советуются с Вами, как с сивиллою, хорошо знающей меня, что им делать со мной.

Нина, я не знаю, куда мне деваться от стыда, когда от Вас приходят посылки. Не делайте больше этого. Хотя мне в этом году немножко труднее, чем в прошлом, все же соотношения такие, что посылать Вам должен был бы я, а не Вы, а я живу так по-свински, в таком торопливом, невнимательном тумане, что этого не делаю.

Но Вы простите меня, что я не такой, как всегда. Я начал что-то такое, чего раньше никогда не писал, и мне хочется успеть это, пока я живу на свете. Я Вас люблю, Нина, вижу перед собою, и Ваши деревья в окнах в глубине, и всем, всем сердцем, сильнее всего на свете желаю, чтобы Нита выздоровела совершенно, чтобы у Вас не осталось ни следа печали и страха за нее.

Зина и Лёничка благодарят Вас за все. Кланяются и целуют.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф ГМГЛ, № 021912, 6).

[1] Жена художника Ладо Гудиашвили.

1016. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

10 января 1947, Москва

10 янв. 1947 г.

Глубокоуважаемая Елена Дмитриевна! Отвечаю Вам открыткой, потому что очень занят и не уверен, когда смогу ответить полнее. Благодарю Вас за Ваши добрые чувства. У меня нет своих книг, кроме той небольшой (в красном переплете), о которой по-видимому пишете и Вы[1].

Я очень хорошо помню Кулиева[2] и рад Вашему сообщению о нем, — он, конечно, из той породы, когда человек приходит с определенностью и значительностью явления. Но я ничего не перевожу теперь, даже отказался от своего Шекспира.

Я пишу большой роман в прозе о сорокалетии (1905–1945), может быть, еще более далекий от злободневности, чем все, что я делал до сих пор, но зато и совершенно ни с чем прежним после Чехова несоизмеримый, и он меня делает счастливцем из счастливцев, когда работа идет гладко, и доводит до отчаяния, когда она прерывается или останавливается. Еще раз спасибо за память.

Всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

Журналистка и переводчица киргизской поэзии Елена Дмитриевна Орловская принимала участие в судьбе балкарского поэта Кайсына Кулиева, разделившего со своим народом насильственное выселение в Среднюю Азию. Она обратилась к Пастернаку с просьбой о книгах его стихов и возможности сделать несколько переводов Кайсына Кулиева.

[1] Имеется в виду изд.: Борис Пастернак. Избранные стихи и поэмы. М., ГИХЛ, 1945.

[2] С Кайсыном Кулиевым Пастернака познакомила М. С. Петровых в 1939 г. В ноябре 1942 г. в Москве он присутствовал на вечере Кулиева, вернувшегося с фронта.

1017. В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ

Середина января 1947, Москва

Дорогая, добрая моя Вера Клавдиевна!

Вот Леонидзе, которого Вы мне собираетесь пристроить[1], и вот новое стихотворение из романа, которого Вы кажется не знаете[2].

Спасибо за все. Целую Вашу руку.

Преданный Вам

Б. Пастернак

Подклеенные строфы наверное лишние[3], автор перестарался?

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1720, оп. 1, ед. хр. 201). Дата получения 20 янв. 1947 поставлена В. К. Звягинцевой.

Пастернак познакомился с поэтессой В. К. Звягинцевой по совету С. Н. Дурылина в 1929 г. на вечере «Никитинских субботников».

[1] В июне 1946 г. Пастернак перевел несколько стих. Леонидзе (см. письмо № 1006). Звягинцевой был послан цикл «Путешествие по родине», из которого ей удалось напечатать в журн. «Октябрь» (1947, № 3) два стих.: «Вечер в старом Тифлисе» и «Карталинская ночь».

[2] В. К. Звягинцева присутствовала на чтении первых глав романа «Доктор Живаго» 7 сент. 1946 г. в Переделкине. К письму приложено стих. «Зимняя ночь» (ранний вариант). Подклеена 3-я строфа: «И двор тонул во вьюжной мгле (под заклейкой: «Взвивались вихри в снежной мгле») / И то и дело / Коптил нагар на фитиле, / Свеча горела»; добавочный рефрен между 4 и 5-й строфами; 6-я строфа (под первой заклейкой 1-й вариант: «И два сердечка на стекле / Пронзали стрелы»; 2-й вариант: «Чертя сердечки на стекле, / Кружки и стрелы»; 3-й вариант: «Сердца и стрелы на стекле / Чертя не смело»); на заклейке 4-й вариант: «Слетались стрелами во мгле / Свеча горела»; конечный рефрен отсутствует. Через несколько дней Пастернак послал Звягинцевой стих. «Рождественская звезда» в первой записи: «Дорогая Вера Клавдиевна. Вот то, о чем я Вам говорил. Стихотворствует мой Юра и мешает мне писать прозу. С сердечным приветом. *Ваш Б. Пастернак*. 7 февр. 1947» (там же).

1018. С. Д. СПАССКОМУ

24 января 1947, Москва

24 янв. 1947

Дорогой Сережа!

Если ты соберешься в Москву, предупреди меня заблаговременно по почте. Мне надо будет почитать тебе написанную часть своего романа в прозе, который я продолжаю писать (к весне надеюсь кончить первую часть, а весь он будет в двух). Тогда я как-

нибудь соединю тебя с какими-нибудь другими слушателями, Журавлевыми[1] и еще кем-нибудь, и буду читать не у себя, как я уже это делал раньше.

Как ты и твоя семья? Мне в «Звезде», единственном номере, какой я видел, понравилась твоя поэма[2], кусочки ясного пейзажа, обозначение краски, девушк<а> на уровне Петровых глаз и лба в конце, размежевание с романтикой «наводнения», «бури в стакане воды», так сказать, в сравнении с нынешним, некоторые выражения.

Удивительно, что я так медленно подвигаюсь в работе и у меня так много времени пропадает даром, так, не в пример прежнему, полон я мыслей, может быть, несвоевременных и ненужных, но владеющих всем мною целиком. Целую тебя.

Твой Б. П.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] Чтец Дмитрий Николаевич и его жена Валентина Павловна *Журавлевы*.

[2] Поэма С. Спасского «Всадник», опубликованная в «Звезде», 1946, № 2–3.

1019. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

24 января 1947, Москва

24 янв. 1947. Дорогая Оля, как это могло случиться, что я не поздравил тебя с Новым годом, что не пожелал тебе своего стереотипного: — здоровья и денег, двух вещей, из которых можно сложить все остальное! Успокой меня, пожалуйста, что ты жива, и еще чем-нибудь, что может уместиться в открытке.

Отчего я не пишу тебе? Оттого, что разрываюсь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья — романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу.

Да и что остается мне еще сказать тебе, до сих пор остается, в каждом письме? Чтобы ты как-нибудь так устроилась с ленинградской квартирой на лето (поручила ее хранить кому-нибудь), чтобы могла пожить летом у нас, близ нашей жизни и ее каждодневного копошения.

После всего сказанного становится интересно не то, почему я молчу, а скорее обратное. Итак, по какой причине, не имея сообщить ничего нового, сорвался я сейчас писать тебе?

До меня все чаще доходят слухи, что проф. А. А. Смирнов[1] (а может быть, еще и многие, кроме него), ведут подкоп под моих Шекспиров. Я вдруг вспомнил, что это — в университете и настолько по соседству с тобой, что, может быть, тебе это обидно и огорчает тебя? Спешу тебя успокоить и уверить тебя, что это решительные пустяки и будут ими в любой пропорции, даже если бы они возросли стократно. Это пустяки даже в том случае, если бы это меня било не только по карману, а он был совершенно прав (а может быть, он и прав).

Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично) тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или (и тоже целиком) провалиться, — либо пан, либо пропал.

И что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнов — я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят?

Так что ты не печалься за меня, если тебе пришла в голову такая фантазия. Ты не можешь себе представить, как мало я заслуживаю сочувствия, до чего я противен и самоуверен!

Меня серьезно это обеспокоило в отношении тебя, как это бывает по отношению к Зине, когда (как в осеннюю проработку) я начинаю косвенно чувствовать, что я задет и запачкан тем, что ей приходится болеть и оскорбляться за меня[2], а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением.

В последние дни декабря за одну неделю я потерял двух своих ровесниц и приятельниц, умерла Оля Серова (старшая дочь художника)[3] и Ирина Сергеевна, жена Асмуса.

Целую тебя. Твой Б.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Профессор западноевропейской литературы Александр Александрович *Смирнов* препятствовал изданию Шекспира в «Искусстве», был причиной отказа изд-ва от предисловия Пастернака, в 1958 г. потребовал исключения переводов Пастернака из 6-томного собр. соч. Шекспира. О. Фрейденберг писала о нем 31 янв. 1947: «О Смирнове я знаю. Он произнес гнусную речь, разгромную и именно гнусную <...> Мы работаем бок-о-бок. Это совершенное ничтожество. О научном лице говорить не приходится: его нет! <...> Неудачно играл на религии и мистике средних веков, переехал на Шекспира, был зело бит, начал маскироваться

под шекспироведа, цепляется, чтоб и тут быть откупщиком» (там же. С. 255).

[2] См. об этом в письме № 1008.

[3] С семьей художника В. А. Серова Пастернаки были дружны с детства, продолжая теплые отношения, связывавшие их родителей. В память Ольги Валентиновны Пастернак 11 мая 1947 г. устроил очередное чтение написанных глав «Доктора Живаго» в их квартире, в доме на углу Серебряного переулка и Молчановки, описанного в романе.

1020. М. В. ЮДИНОЙ

4 февраля 1947, Москва

Дорогая, дорогая Мария Вениаминовна.

Спасибо за подробную реляцию[1], пишу страшно второпях.

Просьбы:

1) Чтобы значило или считалось, что начало в *7 часов*. Это напоминать всякому, потому что в восьмом действительно надо будет начать.

2) Обязательно найдите возможность позвонить мне сегодня вечером (вторник) или завтра как-нибудь для ответа на следующий мой вопрос: Нельзя ли позвать двух девочек (они когда-то служили в Скрябинском музее, теперь работают в Библ<иотеке> Ин<остранной> Лит<ературы>), Крашенинникову и Сетницкую, вместо предлагаемого Вами моего актера (А. Консовского)[2].

Уместится ли столько народу?

Общество неслыханное, я не шутя польщен и потрясен[3].

Позвоните, пожалуйста. Я сам с нетерпением и волнением жду вечера.

Веснина — прелесть. Я знаю ее[4].

Целую Вашу руку. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: «Новый мир», 1990, № 2. — Автограф (РГБ, ф. 527). Датируется по содержанию.

[1] Пастернак предложил М. В. Юдиной 6 февр. 1947 г. прочесть у нее дома первые главы «Доктора Живаго». В письме, посланном Пастернаку с кем-то из своих друзей, Юдина подробно перечисляла приглашенных на этот вечер.

[2] «Очень прошу позвать Вашего актера», — писала М. В. Юдина об Алексее Анатольевиче Консовском, которого Пастернак хотел заменить Е. А. Крашенинниковой и О. Н. Сетницкой.

[3] Среди приглашенных Юдиной были М. В. Алпатов с женой, Н. П. Анциферов, А. Д. Артоболевская, В. А. Фаворский, Д. Н. Журавлев и др.

[4] Наталья Михайловна *Веснина* — жена архитектора В. А. Веснина.

1021. Э. А. РАЙЦЫН

8 февраля 1947, Москва

Дорогая Эстер Александровна!

Вы меня страшно растрогали, большое Вам спасибо![1] В стесненных условиях, в каких, вместе с большинством, приходится сейчас жить, вырабатываются навыки, наполовину варварские или спартанские, не знаю, как будет вернее. Я живу почти без книг, не храню ни листочка черновиков, не имею возможности сохранять переписку. Самое дорогое для себя (письма отца, М. Цветаевой и другое) я отдал однажды на хранение в один музей и до ста писем Мар. Ив. при этом пропали[2].

Это все — вступление к тому, что, несмотря на поиски, я не мог сейчас отыскать того Вашего письма, где был назван номер Вашего телефона. Будьте добры, сообщите мне его, пожалуйста, в открытке, мне хочется позвонить Вам. Я Вам как-нибудь позвоню между 3-мя и четырьмя, или часов в 11 вечера — как Вам удобнее?

Леня, младший мой сын, в восторге от пирога и присоединяется к выражению моей признательности. От души всего, всего лучшего Вам!

Во второй части романа, который я сейчас пишу, будет глава — стихотворное наследие человека, умирающего между годами смерти Есенина и Маяковского, году в 29-м. Все, что я пишу сейчас не в прозе, я пишу в эту главу. Кое-что оттуда я читал на прошлогоднем вечере[3]. У меня нет времени переписать «Рождественскую звезду» оттуда, самое лучшее, как мне кажется, но очень длинное стихотворение. Но «Зимнюю ночь» я Вам посылаю.

Еще раз большое спасибо за память, письмо и подарок.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. Б. Г. Райцына). Датируется по дате получения 10 февр. 1947.

[1] Э. А. Райцын, экономист по образованию, впервые написала Пастернаку после его вечера 28 мая 1945 г. в Доме ученых и каждый год посылала на день рождения Пастернака собственного изготовления пирог. Пастернак писал ей 9 февр. 1946: «Милая Эсфирь Александровна! Благодарю Вас за Ваше поздравление. Я Вам пишу нарочно, чтобы проверить и установить Ваше имя и отчество, которые я наверное перепутал и ошибочно произвел из инициалов. Ваше прошлогоднее письмо, вероятно, у меня на даче, я не могу его найти, а я хочу написать и послать Вам мою книжку,

как знак благодарности и внимания, несмотря на то, что в ней Вы не найдете ничего нового. Итак, напишите мне и исправьте мою ошибку. От души желаю Вам счастья и удачи на всегда трудном и всегда захватывающем жизненном пути. *Ваш Б. П.*» (там же).

[2] Имеется в виду пропажа писем М. Цветаевой, переданных в Скрябинский музей.

[3] Речь идет о вечере 27 мая 1946 г. в Политехническом музее, на котором присутствовала Э. А. Райцын.

1022. М. В. ЮДИНОЙ

9–10 февраля 1947, Москва

Дорогая Мария Вениаминовна!

Простите, что на Ваше великодушное и полное мыслей письмо я отвечаю так кратко и наскоро, и что ответ посылаю по почте, то есть простите за то, что он так долго будет к Вам идти[1].

Огромное Вам спасибо и за подарок и за разбор вещи и за похвалы, но особенное и громаднейшее за то, что так значительно Ваше письмо, что письмо Ваше — письмо большого человека, что Вы не поленились дать в нем себя, что Вы в него вложили столько собственной силы. Вы не представляете себе, как важно и серьезно то, что я этим хочу сказать.

Переписываю и вкладываю «Рождественскую звезду». Я читал ее потный, хриплым и усталым голосом, это придавало «Звезде» дополнительный драматизм усталости, без которого она Вам понравится гораздо меньше, Вы увидите.

Как-нибудь при случае позвоните мне. Мне хочется еще раз поблагодарить Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Новый мир», 1990, № 2. — Автограф (РГБ, ф. 527). Датируется по содержанию, ответ на письмо М. В. Юдиной от 7–8 февр. 1947.

[1] Юдина послала с приятельницей письмо, содержащее разбор прочитанных Пастернаком глав, которые она восприняла как «непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей... и грандиозности замысла». «О стихах и говорить нельзя... Если бы Вы ничего кроме «Рождества» не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе» (там же. С. 173–174).

1023. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

16 февраля 1947, Москва

16 февр. 1947

Милая моя Олюшка, мамочка моя!

Что я, право, за собака, что, когда хочется и естественно ответить по-человечески и подробно, я оттявкиваюсь открытками или краткими записками.

Три странички твоего конспекта[1] это дело бездоннейшей глубины и целый переворот, вроде коммунистического манифеста или апостольского послания. Как высоко тебе свойственна способность видеть вещи в их подлинности и первичной свежести!

Вот геркулесовы столпы этого конспекта.

2. Л<ирика> — величайшее изменение общественного сознания, этап познавательного процесса, перемена виденья мира. Вселенная впервые заселяется на *социальной земле людьми*.

3. Мифы о богах становятся биографиями поэтов.

5. Из инкарнации становится метафорой, перенесеньем объективного на субъективное.

8. Наличие факта и момента. Не знает обобщающей многократности.

11. Возникает одновременно с нарождающейся философией[2].

Все это потрясающе верно и необычайно близко мне вообще, и тому, чего ты не можешь знать и что я теперь пишу в романе (там есть такой, размышляющий, расстрига священник, из литературного круга символистов, и записи его о Евангелии, об образе, о бессмертии[3]). Некоторые выражения прямо оттуда.

Какая ты молодчина, и как все жалко, и в то же время как все чудесно и как похоже!

Я страшно занят сейчас. В довершение общей спешки осилил то, мысль о чем всегда гнал от себя как нечто не сформулированно-расплывчатое и неосуществимое, — пересмотр и переделку «Гамлета»... какую-то требующуюся, но какую именно? — непонятно какую. Его переиздает «Детгиз», и вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с «Девятьсот пятым годом» для другого переиздания[4].

Благодарю тебя за возвращение статьи, ее только что подали[5]. И за письмо, с донесеньем. (На пакете не твой почерк, ты, наверное, кому-то поручила отправить!)

Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих, тебе или Берггольц или Ахматовой, пошлю стихи из романа (насколько они ста-

ли проще у меня!), чтоб вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего Ахматовой, как преимущественной мученице, а твою тезку попрошу переписать и отнести тебе[6].

Крепко тебя целую! Ты не можешь себе представить, как я стал вынужденно тороплив!

А лето?

Твой Б.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Посылая тезисы своего доклада на научной конференции в университете, О. Фрейденберг писала: «В самом докладе я показывала неповторимые особенности древнегреческой метафоры, и чтоб показать это как следует, взяла полюс, пример твоего художника из "ранних поездов", там, помнишь, "на столе стакан не допит" — все это место такое замечательное» (31 янв. 1947; там же. С. 296). Имеется в виду стих. «Скромный дом, но рюмка рому...» из цикла «Художник», 1936.

[2] Цитаты из тезисов О. Фрейденберг «Происхождение греческой лирики», опубликованных в сб. «Научная сессия ЛГУ 1946 г. Тезисы докладов по секции филологических наук». Л., 1946. С. 22–23. Полный текст работы опубликован в «Вопросах литературы», 1973, № 1.

[3] Имеются в виду слова и дневниковые записи дяди главного героя романа Николая Николаевича Веденяпина во второй части «Доктора Живаго».

[4] Для готовившейся в «Советском писателе» книги «Избранное» Пастернак, по настоянию редактора Ф. М. Левина, вносил исправления в текст «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта».

[5] О. Фрейденберг получила от В. М. Саянова посланную летом 1946 г. в «Звезду» машин. «Заметок к переводам Шекспировских трагедий».

[6] К этому предложению О. Фрейденберг отнеслась неодобрительно. Пастернак сразу это почувствовал: «Очень, видно, тебе не хочется, чтобы я тебя связывал с моими "литературными дамами", — твоя ответная открытка прилетела скорее телеграммы. Но, представь, я уже написал А. А. с просьбой о тебе. Я тебе не могу гарантировать абсолютной неприкосновенности, но, с другой стороны, Ахматова так ленива на ответы и исполнение просьб, что, может быть, эта радость тебя минует» (2 марта 1947; там же. С. 258–259).

1024. М. ЧИКОВАНИ

25 февраля 1947, Москва

25 февр. 1947

Дорогая Мариечка!

Вы уехали и как сквозь землю провалились. От Вас ни слуху, ни духу.

Наверное у Вас жизнь еще труднее и времени еще меньше, чем у нас, только этим объясняется Ваше общее молчание.

Я надеялся, что мне напишет Бесо о книге и о том, подходит ли мое предисловие[1]. У Вас концертировал Нейгауз, и я думал, что он привезет мне более обильные и широкие известия о Вас всех, но он мне передал только несколько драгоценных и горячих, но очень коротеньких строчек от Нины и на словах много рассказывал об обоих Гудиашвили, которые, конечно, должны были также ему понравиться, как всегда восхищали меня.

Вы все, — дело ясное, — забыли меня, и если я сообщу Вам две-три вещи о нас, то только в расчете, что может быть это интересует кого-нибудь из прохожих под Вашим окном или жильцов из соседней квартиры.

Итак, первое. Нас всех страшно порадовало избрание Симона в депутаты[2]. От души поздравляем Вас и его. Работу над романом я прервал недели на две, — перерабатывал (делал более плавным и упрощал) перевод Гамлета для переиздания. Теперь опять возьмусь за продолжение прозы. Юра опять написал у меня несколько стихотворений, одно хорошее: «Рождество»[3]. Если Вы мне напишете, выбраните Симона и Бесо за безмолвие, уговорите Бесо тряхнуть стариной, вспомнить дни молодости, когда он был грамотен и умел читать и писать, а также повлияйте на «Зарю Востока», чтобы они прислали мне деньги, я перепишу для Вас и пошлю Вам это «Рождество» (ей-богу стоит, увидите, Вы не пожалеете).

Я здоров, чувствую себя великолепно, меня по-прежнему поругивают, поддерживая мою прирожденную бодрость. Леничка и Зина тоже в полном порядке и обнимают Вас.

Поцелуйте Нату (Нат. Георг.), Киру, Нину, напишите, как Нита и что у Вас дома. Кланяйтесь Никуше и помните, — Рождество!

Целую Вас и Симона. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 38).

[1] Имеется в виду статья Пастернака «Несколько слов о новой грузинской поэзии», написанная по заказу издательства «Заря Востока» для сб. грузинских переводов Пастернака. Статья осталась ненапечатанной.

[2] С. Чиковани был избран депутатом Верховного совета СССР.

[3] Первонач. назв. стих. «Рождественская звезда».

1025. З. Ф. РУОФФ

16 марта 1947, Москва

16 марта 1947

Благодарю Вас за Ваше сердечное письмо. Я совершенно согласен с Вашим мнением о ложке дегтя в бочке меду, портящей все дело. Долго это отравляло для меня все мое прошлое, все сделанное, за исключением самых последних лет после Шекспира. Теперь я к этим следам деформизма у себя (футуризма, распада форм, Маяковский например, ценивший меня, не прощал мне случаев гладкости и благозвучия) — теперь я к этому былому беспорядку отношусь гораздо спокойнее, и вообще мое прошлое сейчас меня не интересует, так много я работаю и так *по-новому* в последнее время. Я пишу сейчас большой роман в прозе о человеке, который составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским и Есениным, может быть). Он умрет в 1929 году. От него останется книга стихов, составляющая одну из глав второй части. Время, обнимаемое романом, 1903–1945 г. По духу это нечто среднее между Карамазовыми и Вильгельмом Мейстером.

Еще раз спасибо. *Ваш Б. П.*

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Местонахождение автографа неизвестно. Послано в Воркуту, где отбывала ссылку Зельма Федоровна Руофф.

Зельма Федоровна Руофф — биолог, приехала в 1930-х гг. из Германии в Россию строить социализм, была арестована.

1026. Н. ТАБИДЗЕ

22 марта 1947, Москва

Дорогая Нина!

Я обещал Марике Чиковани стихи о рождественской звезде. Пусть они идут через Вас[1]. Прочтите их и передайте ей. Кроме того, передайте, пожалуйста, Бесо Жгенти прилагаемую записку.

Я пишу не своими (Лёниными) разведенными синими чернилами и это отравляет мне радость писания Вам.

Я с большим подъемом жил, думал, писал и читал написанное всю зиму, но в конце концов это совершенно бесцельное занятие, потому что все остается по-прежнему. Удивительно, как еще не открыли, что прежде всего смертельно скучно жить изо дня в день так неизменно-блистательно и однообразно-хорошо. Я с тос-

ки схватил грипп, который переношу тяжелее проказы, — он мне изуродовал губы. Как Вы? Как Нита?

Что мне делать, Нина? Мне кажется, на этот раз сговорились меня слопать. Вы знаете, как легко это у нас делается. Я себя чувствую объеденным с головы и с хвостика, как селедка[2].

Будьте здоровы. Я не только не пытаюсь поцеловать Вас, но даже не могу на словах сказать этого, такие следы заразы оставила на мне лихорадка.

Ваш Боря

22 марта 1947

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 021912, 9).

[1] См. письмо № 1024. К письму был приложен автограф стих. «Рождественская звезда», сохранившийся в фонде С. Чиковани (ГМГЛ).

[2] В докладе «О состоянии и задачах советской критики» 20 февр. 1947 г. А. Фадеев упрекал Пастернака в «узко-личных темах и усложненной, трудно воспринимаемой поэтической форме», в том, что он «засел на старых позициях проводника так называемого "чистого искусства"» (А. Фадеев. Собр. соч. Т. 5. М., 1961. С. 74). В статье «О поэзии Б. Пастернака» А. Сурков писал, что «реакционное отсталое мировоззрение» Пастернака «не может позволить голосу поэта стать голосом эпохи» («Культура и жизнь», 21 марта 1947).

1027. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

26 марта 1947, Москва

26 марта 1947. Дорогая Оля! Я болел гриппом и еще не выхожу, а Леничка, заболевший вместе со мною, еще лежит с небольшим послегриппозным осложнением (небольшое воспаление уха). Но чувствую я себя хорошо, и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участившиеся нападки (например, статья в «Культуре и жизни»). Кстати: «Слезы вселенной в лопатках»[1]. «В лопатках» когда-то говорили вместо «в стручках». В зеленных, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости. Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мной не будет?[2] Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения. Наверное, денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня

действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема.

Целую тебя. Твой Боря

Все это не имеет никакого отношения к твоему приезду. Наоборот, еще нужнее, чтобы ты приехала.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] В статье «О поэзии Б. Пастернака» Сурков в качестве примера отсталого мировоззрения Пастернака приводил строчку из стихотворения 1917 г. «Определение поэзии»: «Это слезы вселенной в лопатках» («Культура и жизнь», 21 марта 1947).

[2] Речь идет о возможности ареста, подобно тому, как было с братом О. Фрейденберг.

1028. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 апреля 1947, Москва

9 апр. 1947. Дорогая моя Олюшка, благодарю тебя за письмо. По-моему, я был в гриппе, когда его получил. Говорю «по-моему», потому что действительно, как ты справедливо заметила, все так быстро мелькает, что очень скоро забывается. Никому не писал, ни с кем не объяснялся. Кажется, дышу, насколько могу судить. Ничего не произошло, но постоянные мои надежды, что Шекспир пойдет и станет рентой, не оправдываются вследствие все время поддерживаемой неблагоприятной атмосферы[1]. Опять придется переводить, как все эти годы. Хотят дать перевести первую часть Фауста, но договора пока не заключили[2]. Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А подспудная судьба — неслыханная, волшебная[3].

Целую. Твой Б.

Радиослова о Бетховене — поразительны![4]

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Было остановлено издание переводов Шекспира в «Искусстве», в театрах не шли спектакли по ним.

[2] Договор на перевод первой части «Фауста» был заключен в мае 1947 г.; 20 мая Пастернак писал О. Фрейденберг: «Я из переводческого возраста давно вышел, но так как обстоятельства в последнее время складывались неблагоприятно, я с отвращением должен был вернуться к нескольким предположениям этого характера, да и тех на первых порах не принимали, отчего я одно предложенье и заменял другим, пока вдруг не приняли всех. Таким образом, оказалось, что за лето я должен перевести: Фауста,

Короля Лира и одну поэму Петефи "Рыцарь Януш". Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман. Но в общем, все налаживается» (там же. С. 264).

[3] Возможно, до Пастернака дошли слухи, что С.-М. Баура, как номинатор Нобелевского комитета, выставил его кандидатуру на премию.

[4] О. Фрейденберг писала 28 марта 1947, что ее поразили слова, сказанные по радио о Бетховене, который «несмотря на удары судьбы и неисчислимые страданья... "осуществлял человеческое значенье"» (там же. С. 302).

1029. К. М. СИМОНОВУ

11 мая 1947, Москва

Представляю себе, как Вы заняты, если и у меня нет времени настолько, что позови Вы, например, меня в эти майские дни на дачу для очень существенного для меня разговора с Вами[1], я не мог бы воспользоваться этим приглашением до моего собственного переезда в Переделкино в начале июня. Так что менее всего это письмо — напоминание, содержащее скрытый упрек.

Если говорить только о вещах, практически меня касающихся, то нет у меня и нетерпения в отношении этого свидания, и вот почему.

Я надеялся, что в какой-то десятитысячной доле среди вещей, виденных делегацией и имеющих отношение к России, столкнетесь Вы и с *той бессмыслицей*, что я каким-то образом и в какой-то дозе известен за границей, и это должно *огорчать делегацию* и приносить мне горе, и Вы или Шария, или даже Фадеев, среди тысячи других, более важных вопросов, привезете мне выправленную, более логичную, осмысленную и справедливую форму *судьбы моей у себя дома*. Но очевидно этого не случилось, потому что в противном случае, несмотря на Ваш или А<лександра> А<лександровича> недосуг, эта радость сказалась бы сама по себе на обстоятельствах, прорезалась бы и дошла до меня, а этого нет, и обнадеживание из Ваших сфер вокруг «Нов<ого> мира» — это та же давняя любовь людей ко мне и действие моего романа, и разговоры о гениальности, и ничего нового, фактического, осязательного. А тогда ждать можно по-прежнему годы.

Я еще сделаю небольшое отступление и потом изложу свою просьбу. Мне абсолютно непонятна общая нескладица со мной. Я не могу понять, почему перевести 6 пьес Шекспира, заложить основу к ознакомлению с целой молодой литературой[2] и самому заслужить расположение какой-то, пусть небольшой, но не

совершенно испорченной и уголовной части общества, почему всё это — не советская деятельность, а сделать десятую долю этого и плохо — советская? Я далее не понимаю, отчего десятки заслуживающих этого пожилых беспартийных сделали «нашими», премировав их без допроса и таким образом признав за ними это звание, а я из-под взведенного на меня телескопа сам должен составлять свою рентгеноскопию и покупать это нашенство отречением от тех, кто относится ко мне по-человечески[3], в пользу тех, кто ко мне относится враждебно, и от тех остатков христианства и толстовства, которые при известном возрасте, неизбежны у всякого, кто проходит и заходит достаточно далеко, вступив на поприще русской литературы. Всё это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени. Тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, *что любой ее оборот приемлем.*

Теперь о просьбе. Опять деньги. Я просил в «Советском писателе», чтобы мне в счет «Девятьсот пятого года»[4] дали пять тысяч (без этих, самое меньшее пяти, я не могу переехать на дачу). Потребовалась виза Союза. Горбатов согласился, Вишневский[5] сказал, что нет, *«так»* мне денег дать нельзя, надо вызвать меня на секретариат для объяснений. Чудак Вишневский. Если ему требуется моя кровь для поднятия жизни в собственных произведениях, я бы ему дал ее просто, донорским путем, зачем убивать меня для этого, вероятно технически это не так просто.

Ну так вот, вот просьба, эти тысячи. Устройте мне их как-нибудь.

Я как-нибудь на днях зайду к Мих. Бор. Храпченко. В романе вдруг выяснилось, что у меня естественное звучание диалога, мне его сохранили слух и память. Я хотел бы написать пьесу о русском «трагике» конца 19 века, Иванове-Козельском, «русском Гамлете» и т. п.[6] Мне бы хотелось, чтобы мне сделали денежный заказ на пьесу, ей-богу, я бы ее написал. Я знаю, что вещи на исторические темы малоинтересны, но может быть как инвалиду литературной проработки для меня бы сделали исключение? Спасибо за записку и вещи[7]. Найдите способ ответить как-нибудь в двух словах. Я Вам это облегчил, изложив сам всё главное, большие разговоры и долгие свидания не в моей натуре.

Любящий Вас Б. П.

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1814, оп. 9, ед. хр. 2021). Датируется по помете на машин. копии письма: передано 11 мая 1947 г.

[1] К. М. Симонов 12 апр. 1947 г. вернулся из поездки в Англию, где виделся с Л. Л. Слейтер и привез от нее Пастернаку письмо и посылку. Л. К. Чуковская 14 мая 1947 записала слова Пастернака о впечатлении, которое произвела на Симонова встреча с его сестрой: «Она пришла, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина и с нею два мальчика. Симонов сказал: "Два *красивые* мальчика". И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло... Значит, она их научила по-русски... Они родились и выросли там» (Лидия Чуковская. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 2000. С. 232).

[2] Пастернак имеет в виду свою работу над переводами грузинских поэтов.

[3] Имеется в виду интерес английских писателей к творчеству Пастернака, причем основной болевой точкой идеологов Союза писателей было «противопоставление» Пастернака советским писателям, сделанное в статье Ст. Шиманского «Duty of young writer» («Долг молодого писателя») в сб. «Life and letters today» («Жизнь и современная литература»). London, 1943.

[4] Готовящееся в «Советском писателе» «Избранное», большую часть которого составляли две поэмы — «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

[5] Члены правления Союза писателей Борис Леонтьевич *Горбатов* и Всеволод Витальевич *Вишневский*.

[6] Вероятно, это первое упоминание о замысле, отразившемся в работе над пьесой «Слепая красавица» (1959). Митрофан Трофимович *Иванов-Козельский* — актер-трагик, среди его ролей — знаменитое исполнение Гамлета.

[7] Лидия Леонидовна Слейтер передала через Симонова письмо и посылку для брата. Несколько ее записок к Симонову хранятся в его фонде, в РГАЛИ.

1030. К. М. СИМОНОВУ и А. Ю. КРИВИЦКОМУ

7 июня 1947, Переделкино

7 июня 1947 г.

Милые Константин Михайлович и Александр Юрьевич!

Прилагаю при сем 2200 строчек Петефи, лирику и поэму. Я их сделал в последний месяц для Гослитиздата[1] с целью заработка: помогите мне его повысить. Выясните с точностью, мыслимо ли печатать хорошие переводы очень хорошего венгерского революционного классика, если они сделаны мною, и если можно, возьмите, сколько позволит Ваша щедрость. Пусть Константина Михайловича не смущает, что появление их в печати (если оно будет разрешено) будет мне во вред[2]: так будет до могилы, я с этим свыкся.

Все это поручите Ольге Всеволодовне Ивинской[3], она любезно согласилась просмотреть всю эту прорву материала, среди которого попадается много поразительного.

Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3126, оп. 1, ед. хр. 295).

[1] В конце 1946 г. по инициативе венгерских литераторов А. Кун и А. Гидаша в Гослитиздате началась подготовка «Избранного» венгерского романтика Шандора Петефи (М., 1948). Обратились к Пастернаку, но, — как вспоминала Агнесса Кун, — «он сказал, что хотя Петефи он любит, и перевел несколько его стихотворений, однако сейчас у него другие планы». Его удалось уговорить, и он взялся за работу под руководством А. Кун, которая скрупулезно редактировала его тексты, заставляя переделывать их по нескольку раз. «Переводы его, — писала она, — тут и говорить нечего, изумительны, это истинная поэзия, но именно поэтому, каждое неудачное место торчало из них точно пружина из старого дивана» (Рукопись). Большая часть была сделана весной 1947 г. за месяц с небольшим.

[2] То есть вызовет критические отклики печати, дружно травившей каждое выступление Пастернака. Опасение этого «вреда» удержало «Новый мир» от публикации переводов.

[3] О. В. Ивинская была в то время сотрудником редакции в «Новом мире», свое знакомство с Пастернаком она относит к осени 1946 г.; весну 1947 г., когда Пастернак переводил Петефи, она вспоминает как время их «объяснения в любви». Пастернак подарил ей сборник со своими переводами с такой надписью: «Слово “Петефи” было условным знаком в мае и июне 1947 года, а близкие переводы мои его лирики, это изображение мыслей и чувств к тебе и о тебе, приближенные к требованиям текста. На память обо всем этом. *Б. П.* 13 мая 1948 г.» (Ивинская. В плену времени. С. 38).

1031. Д. С. и К. А. ФЕДИНЫМ

20 июня 1947, Переделкино

Дорогие Федины!

Нам бы хотелось повидаться с Ниной и ее мужем и отметить Ваше недавнее спасение[1]. Доставьте нам, пожалуйста, удовольствие, приходите, пожалуйста, вчетвером сегодня вечером часам к девяти, очень просим Вас.

З. и Б.

20 июня 1947

Впервые. — Автограф (собр. Н. К. Фединой). На обратной стороне записки рукою Федина примеч.: «Пастернак. После нашего пожара».

[1] З. Н. Пастернак вспоминала, как заметила, что от вылетевшей из трубы зажженной бумаги загорелась дранка на крыше дома Фединых, и предупредила их. Была организована передача воды из колодца; Федины успели вынести архив и вещи, дача сгорела дотла до приезда пожарной команды, но все были спасены (Зинаида Пастернак. Воспоминания. М., 2004. С. 197–198).

1032. А. А. ФАДЕЕВУ

Июнь 1947, Переделкино

Дорогой Саша!

У меня к тебе несколько просьб.

Два года тому назад издательство «Искусство» заключило со мной договор на выпуск собрания моих шекспировских переводов. Если это возможно, мне хотелось бы, чтобы они их все-таки издали. И там 30 тысяч недоплаченных, которые я бы получил при выходе собрания. Сейчас я для Детгиза перевел «Короля Лира». Может быть, они включили бы его в собрание?

По поводу того же автора в Гослитиздате. У них после ухода Чагина осталась неизданной хроника «Король Генрих Четвертый». По-моему, это первый раз, что Фальстаф понятен и смешон — спроси Маршака, он однажды слышал отрывки в ВТО[1]. Мне очень бы хотелось, чтобы они издали перевод. Он оплачен и пропадает у них в рукописи. Кроме того, если бы работа оказалась удовлетворительной, не приобрел ли бы Головенченко[2] и не издал ли бы только что сделанного «Короля Лира»?

У меня нет никаких притязаний на вновь вводимые высшие тарифы. Я не Сельвинский, не Твардовский, не Лозинский и не Маршак. Но в пределе старых расценок, остающихся для большей части членов Союза, мне бы хотелось, выражаясь высоким слогом, видеть плоды своих трудов напечатанными и извлекать из них пользу. Всё это, разумеется, если ты считаешь эти пожелания справедливыми и они не противоречат твоим убеждениям.

Тебе, наверное, показалось бы деланным и неестественным, если бы, следуя собственному непосредственному чувству, я бы только ограничился этими просьбами и умолчал о враждебных мне выпадах этого года. Вот, чтобы у тебя не было такого впечатления, несколько слов о них.

Очень разумно и справедливо всё, что ты и некоторые другие писали и говорили обо мне зимой[3]. Странно и несправедливо только то, что ты всё это показываешь на мне одном, что ты меня избрал этим экспериментальным экземпляром.

Я — точный сколок большинства беспартийной интеллигенции. Если бы и меня возвели в лауреаты, как огромное множество художников и музыкантов моего возраста, мне не требовалось бы исповедоваться и обо мне не было бы разговоров.

Потому что все они тоже любят глубокий и неистребимый мир личности, тоже помнят Христа и Толстого, тоже всегда были противниками смертной казни, так недавно упраздненной[4], и многое, многое другое.

Надеюсь, ты не употребишь во зло этого частного письма, хотя, впрочем, твоя воля[5].

Твой Б. П.

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 1026).

[1] Имеется в виду чтение некоторых сцен из «Генриха IV» во Всероссийском театральном обществе в декабре 1945 г. (см. коммент. 1 к письму № 1001).

[2] Федор Михайлович *Головенченко* в 1945 г. сменил П. И. Чагина в должности директора Гослитиздата.

[3] Имеются в виду выступления Фадеева на разных заседаниях; в частности на президиуме правления Союза писателей он говорил: «Б. Пастернак <...> в своем творчестве... является представителем того индивидуализма, который глубоко чужд духу нашего общества. С какой стати мы проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку, который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей идеологии» («Литературная газета», 7 сент. 1946). На московском собрании 21 сент. 1946 г. и в докладе 20 февр. 1947 г. он упрекал Пастернака в уклонении от задач современности, грехе «искусства для искусства» и пр.

[4] Президиумом Верховного совета 26 мая 1947 г. была отменена смертная казнь в мирное время.

[5] По воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Пастернак просил его мать, Т. В. Иванову, быть посредницей в этом деле: «Я присутствовал при том, как Пастернак выслушал у нас дома переданный мамой ответ Фадеева. В качестве условия Фадеев потребовал, чтобы Пастернак отмежевался от тех в русской эмиграции, кто о нем пишет сочувственно. Тот отказался решительно. <...> "Пусть меня лучше посодят. Я не знаю, где эта межа. А все, что я мог бы сказать об эмиграции, давно хорошо сказано Ахматовой". И прочитал нам наизусть ее стихотворение "Не с теми я, кто бросил землю..." (то было время большой дружбы Пастернака с Ахматовой, на которую многие официальные деятели, в том числе и Фадеев, набросились после постановления...» («Литературная газета», 10 июля 1996).

1033. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 сентября 1947, Переделкино

8 сент. 1947

Дорогая Оля!

Что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое в ответ на твой отказ приехать[1]. Виной всему эта собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разучаешься отдыхать, радоваться, перестаешь понимать, что такое удовольствие. Мне все время чего-то страшно хочется, но я собственно не знаю чего, и потому не знаю, чем себя премировать, хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость без запродажи за это своей души.

Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зинин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народу, тебе было бы хорошо и не скучно, Леничка и Зина научили бы тебя азартным играм в карты, в маджонг.

А я Бог знает что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи (среди них одна поэма в 1500 строк) в месяц с неделей, Короля Лира, в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности быстро. Роман или вернее мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и (выходит!) могу позволить, это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лира и до того, плохо или хорошо я переведу его, т. е. *насколько* плохо. Ах, это теперь решительно все равно.

Мне весной писал Смирнов, по поводу их Ленинградского Шекспира и соглашусь ли я что-то переделывать в Ромео и Джульетте. Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело, очень sans façon*, но с очень добродушным концом, что дескать, хотя он своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости не способен переживать ничего неприятного и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо

---

* попросту (*фр.*).

отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали.

Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик Лира[2], завтра повезу переписчице в город, это для Детгиза, для школьных библиотек. Зина с Леничкой уже в городе, у него начались занятия в школе.

Это лето (в смысле работы), это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно и это первая вещь, которою бы я стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущею новою и кровною работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону Зины. Она тоже трудится не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят!

Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твое здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа?

Тут хорошо. Наверное я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку и перееду. Я еще ведь портить Фауста обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической (1914 г.) войне.

Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Каждый год Пастернак приглашал О. Фрейденберг в гости в Переделкино, и в открытке 24 апр. 1947 спрашивал ее: «...Мне интересно, whether you have made up your mind (приняла ли ты решение. — *англ.)* по поводу твоего приезда к нам? В нашем сознании ты живешь так прочно, что Зина ссылается уже и на тебя в числе гостящих, когда надо отказать другим». Через месяц, 20 мая, он получил ее положительный ответ. «Самое главное, что ты пришла к этому радостному решению», — писал он (там же. С. 262, 263). Открытка с «нелюбезным и черствым» не сохранилась и 14 окт., не имея от О. М. ответа, Пастернак снова волновался по поводу своей грубости: «Отчего ты ни звуком не откликаешься на мои запросы? Не обиделась ли ты на меня, что я так огрызнулся в ответ на твой отказ или на выраженную тобою невозможность приехать к нам и не разорвала ли со мной отношений? (там же. С. 266). Ежегодный отказ на приглашение приехать — повторяющийся рефрен их переписки.

[2] О конце работы над переводом «Короля Лира» Пастернак писал начальнику Главного управления по делам театров при Комитете по делам искусств Е. Д. Суркову 18 сент. 1947: «Глубокоуважаемый Евгений Данилович! Рад передать Вам в готовом виде перевод "Короля Лира", который, как я обещал Вам, я сделал летом. Когда пройдут формальности приемки

и можно будет подумать о денежной расплате, в размере, в каком определит Комитет, я попрошу Вас передать в бухгалтерию прилагаемое заявление о перечислении гонорара на сберкнижку. Всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*» (РГАЛИ, ф. 3078, оп. 1, ед. хр. 338).

1034. Н. ТАБИДЗЕ

26 сентября 1947, Москва

26 сент. 1947. Дорогая моя Нина! До последних дней жил я в Переделкине один с Мар<ией> Эдуардовной[1]. И какие стояли дни! Солнечные, сухие. Милый друг, я вдруг обратил внимание, что ветка ветлы, упиравшаяся в стекло террасы и в ветреные дни со стуком тершаяся о стекло, вероятно, по ночам не давала Вам спать! Отчего Вы этого не сказали? Это и днем бывало неприятно, когда мы обедали, и после Вашего отъезда Мар<ия> Эд<уардовна> сломала этот сук[2]. Громадное Вам спасибо от меня и Зины за баклажаны и их курьерскую доставку. Часть их и сейчас еще цела. Свинья Зина, что заставила Вас беспокоиться и тратиться. Как я рад, какое счастье, что Вы чуточку пожили с нами, как лучшая и самая родная сестра, как самый близкий человек на свете! Пишу Вам из города, куда я на этой неделе переехал. «Лир» понравился в Детгизе, все мои дела, благодарение Богу, в порядке. Спасибо за передачу письма Бесо[3], я Вашей записки, посланной нам, не читал, Зина передала мне ее на словах, а самого письма не могла найти. Будьте спокойны на мой и на Зинин счет. У нас хорошо на душе и Бог даст, будет так и в жизни. Некоторое время мне придется удовлетворять пожелания редакторов и доделывать разные мелочи в Петефи и «Короле Лире» (так же, как например, в Мерани), а потом я возьмусь за роман. Крепко целую Вас. Зина — тоже. Привет Ните.

Ваш Боря

Впервые: «Дружба народов», 1998, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24951, 8).

[1] *Мария Эдуардовна* Киреева — домашняя работница.

[2] Тревожный стук ветки в окно стал эпизодом ночной грозы перед отъездом Живаго из Мелюзеева в главе «Прощанье со старым» романа «Доктор Живаго».

[3] Записки с переделками своего перевода Н. Бараташвили Пастернак посылал через Нину Табидзе Бесо Жгенти, как редактору изд-ва «Заря Востока», где печатался сб. грузинских переводов Пастернака. Сохранилась одна, адресованная непосредственно Жгенти: «Дорогой Бесо! Нина, как оказывается, не достала билета и не могла выехать сегодня. Мое письмо

достигнет Вас не так скоро, как я хотел бы. Мне очень не хотелось переделывать Мерани. Он сразу вышел легко и выразительно. Вот что я предложил Вам (это в письме у Нины в городе), привожу по памяти: Лети, Мерани, конь мечты моей! / Пусть каркает вдогонку ворон черный. / Рвись без оглядки мыслию упорной / Без устали вперед за грани дней. Потом это же входит в соединение с другими строфами. Целую Вас. *Ваш Б. П.*» («Литературная Грузия», 1966, № 2. С. 88). Этот вариант не вошел ни в одно издание.

1035. А. И. ПУЗИКОВУ

14 октября 1947, Переделкино

Дорогой Александр Иванович!

Предлагаю издательству «Короля Лира» в моем переводе. Мне очень хотелось бы, чтобы Гослитиздат выпустил его по примеру прежних отдельных моих Шекспировских переводов: Гамлета, Ромео и Джульетты, Антония и Клеопатры и Отелло.

Меня очень огорчает, что давно принадлежащий издательству и оплаченный им перевод исторической хроники «Король Генрих Четвертый» до сих пор не напечатан. Это та хроника, в которой выведен знаменитый Фальстаф. А я так старался, чтобы текст получился в понятном, легко усвояемом изложении. И вот все зря.

Не можете ли Вы повлиять как-нибудь на все эти событья! Будьте другом, — я не могу сказать, как я буду благодарен Вам[1].

Сейчас ползимы я попишу свое собственное, роман в прозе, а потом обязательно возьмусь за начатого уже «Фауста», — Вы не бойтесь. «Лира», если потребуется, — знает и читал Михаил Михайлович[2]. Кажется он нравится ему.

Ваш Б. Пастернак

14 октября 1947

Впервые: «Ново-Басманная, 19». М., «Художественная литература», 1990. — Автограф (собр. адресата).

[1] А. И. Пузиков был гл. редактором Гослитиздата, но ни он, ни директор Ф. Головенченко не реагировали на предложения Пастернака и через четыре месяца, 21 февр. 1948, Пастернак снова возвращался к тем же вопросам: «Дорогой Александр Иванович! Не найдет ли кто-нибудь из отдела времени живым образом поинтересоваться “Генрихом” и прочесть работу не с точки зрения “экспертизы” или “шекспирологии”, а просто обыкновенного читательского чтения. Ведь это та хроника, в которой выведен знаменитый Фальстаф и которую так любил Пушкин. Затем, нельзя ли будет вступить в договорные отношения по “Лиру”. Сердечный при-

вет. *Ваш Б. Пастернак*» (там же. С. 483). «Генрих IV» и «Король Лир» вышли в Гослитиздате только в 1949 г.

[2] М. М. Морозов был главным авторитетом в области текстологической «экспертизы» переводов Пастернака и «шекспирологии».

1036. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

22 ноября 1947, Москва

22 ноября 1947

Дорогая Елена Дмитриевна!

Я не получил писем, о которых Вы упомянули в письме, полученном мною от Вас месяц тому назад. На это последнее я стал было тут же отвечать Вам открыткой, да раздумал отсылать ее, — я слишком скомкал в ней то, что скажу Вам и здесь.

В тот же день я справился у Скосырева по телефону о судьбе стихов, посланных Вами в «Дружбу»[1]. Они не появятся вовсе не вследствие Вашей «переводческой беспомощности», как Вы говорите. Наоборот, их не напечатают, потому что они очень или даже слишком нравятся, больше, чем позволяют сопутствующие им иные обстоятельства.

Вы очень добры ко мне и все преувеличиваете. При всем том Ваше письмо очень проницательно и талантливо и дышит большой посвященностью во все эти большие вещи, так что мне уместнее будет выразить Вам восхищение им, чем благодарить.

Но представьте, в одном отношении Вы не ошибаетесь. Неизвестно за что и с забвением всех моих недостатков и малости сделанного, мне освобождено или очищено на свете большое место и теперь мое дело занять и оправдать его.

И хотя писание романа (мне на полгода ради заработка пришлось прервать его), хотя его писание является главным заполнением этого места в теории и идее, — на практике, в ежедневной, каждому обозримой жизни мне приходится пока наполнять эту вакансию главным образом недоумением и страданием, да и как может быть иначе, когда так захлестывает стихия извращения и софизма, что захлебываешься. Одно хорошо, что мне не приходится и распространяться, даже если бы меня захлороформировали трусостью. Будут говорить мои ноги и руки, так все ясно, так определенно.

Не падайте духом, не воображайте, что скучно Вам. Различие между «шумною» столицей и глушью сейчас так несущественно, так призрачно. Везде более или менее одинаково. И ведь настоящие

местности — душа и совесть, а не города. На столе письмо Ваше и Вы тут больше, чем сотни презираемых мною лауреатов, и сейчас я с вами обоими мыслью и душой.

У меня нет или не осталось удачных фотографий, но одна, как бы то ни было неудачная (как она еще выйдет в репродукции!) будет отложена к книжке избранных стихов, выпускаемых «Сов. писателем». Как только книжка выйдет, я пошлю по экземпляру Вам и К. Кулиеву[2]. Есть ли у него и у Вас «Гамлет» в моем переводе и мои «Грузинские поэты»?

Скажите Кайсыну, что его все здесь с любовью вспоминают. Пусть он легче относится к тому, что происходит с ним. После Есенина он самая яркая встреча на моей памяти, в смысле живой очевидности таланта и прямоты его обнаружения. Он должен знать, что нынешние его злоключения такая же ничтожная и преходящая условность, какою бы могло быть его начинавшееся тогда благополучие[3], — подумайте, какой бред пришлось бы ему повторять, если бы он попал теперь под полный «Юпитер»!

Нет предела творческим правам большой личности, одухотворенной истинною смелостью, то есть готовностью к жертвам. История души на свете едина и всенародна, что бы там ни говорили. Ничего не пропадает, ни о чем не надо жалеть, ничего не надо бояться.

Простите, что пишу Вам так на ходу и наспех. Половину этой мазни нужно было бы выразить глаже и точнее, но когда урвать время!

Будьте здоровы и счастливы тем, что Вы с ним такие настоящие.

Как только будет что-нибудь послать, не премину это сделать.

Благословляю Вас. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: «Новое русское слово», 13–14 нояб. 1999, Нью-Йорк. — Автограф (ЦА ФСБ РФ). Письмо было перехвачено на почте и до адресата не дошло.

[1] Е. Д. Орловская послала в собиравшийся П. Г. Скосыревым альм. «Дружба народов» свои переводы стихов Кайсына Кулиева.

[2] Тираж сб. был уничтожен.

[3] Речь идет о тяжелых условиях жизни во Фрунзе, куда добровольно отправился в ссылку Кайсын Кулиев по приказу Сталина о переселении балкарцев и несмотря на полученное Фадеевым разрешение избежать ее. Кайсын Кулиев решил разделить эту участь вместе со своим народом. См. коммент. к письму № 1016.

1037. М. К. БАРАНОВИЧ

29 декабря 1947, Москва

Дорогая Марина Казимировна!

С Новым годом! Всего лучшего Вам, Насте и всем Вашим![1] Не унывайте! Отчего так ярки воспоминания? Оттого что это основы, задатки и обещания того ярчайшего целого, которое нужно досказать, доделать, довести до конца. И оно все впереди. Не унывайте. Надо быть бодрыми.

Вот эта ерунда. Это хуже прошлогоднего[2]. Но я уже послал это Клавдии Николаевне, посылаю и Вам[3]. За прозу я теперь берусь серьезно. Пожелайте мне упорно и честно просидеть за ней месяца два-три и кончить. Пусть мои любезности не связывают Вас. Если надо будет, выругайте эти стихи по заслугам. Будьте здоровы. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Литературное обозрение», 1988, № 5. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по штемпелю на конверте.

М. К. Баранович, в прошлом актриса, впервые познакомилась с Пастернаком в изд-ве «Узел» в 1920-х гг. Профессионально занималась переводами и перепечаткой разных рукописей на машинке.

[1] *Настя* — дочь М. К. Баранович и друзья матери, в частности бывшие на устроенном год назад чтении «Доктора Живаго»: вдова А. Белого К. Н. Бугаева, А. С. Кочетков с женой, М. С. Петровых и др.

[2] То есть стихи, написанные в 1946 г. и тогда же подаренные Барановичу, которая вспоминала: «27 декабря 1946 года Б. Л. читал у меня первые главы романа. В тот вечер он подарил мне книжечку "Грузинские поэты" изд. 1947, "Советский писатель". На шмуцтитуле надпись: "Марине Казимировне Баранович на память о ее рождественском гостеприимстве 27 декабря 1946 года с пожеланием счастья". На шмуцтитуле и вклеенных четырех листках написаны стихи: "Импровизация на рояле" (переделка старого стихотв. 1915 г.), "Гамлет", "Бабье лето", "Зимняя ночь", с датировкой: Дек. 1946» (там же. С. 102).

[3] К письму приложены стих. «Рассвет», «Чудо», «Земля» с небольшими разночтениями.

1038. В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ

29 декабря 1947, Москва

Дорогая Вера Клавдиевна, с Новым годом Вас и Александра Сергеевича[1], и всего лучшего Вам обоим! Сравнительно очень недавно я опять принялся за роман, и как в прошлый раз, прозаи-

ческий мир начинается у меня с беспорядка, задуманного в стихотворной форме. Эти вещи гораздо хуже прежних, которые нравились Вам, но Кл<авдии> Ник<олаевне> Бугаевой я все же посылаю их, «вместо цветов», и хочу набраться смелости сделать это и Вам, может быть они Вам доставят удовольствие. Но позволительна ли такая упорно продолжающаяся «ретроспекция»? Наверное, я совершенно утратил себя, и это плохой Блок и притом никому не нужный[2].

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1720, оп. 1, ед. хр. 201). Дата получения поставлена адресатом.

[1] А. С. Ерофеев — муж В. К. Звягинцевой.

[2] Приложены стих. «Рассвет», «Чудо», «Земля» с небольшими разночтениями. Обозначенная связь с Блоком в первую очередь относится к стих. «Рассвет», по настроению и теме соответствующему «Второму крещенью» Блока (1907).

1039. Б. К. ГУБАРЕВУ

10 января 1948, Переделкино

10. I. 1948

Дорогой Борис Кириллович!

С Новым годом! Вновь большое спасибо Вам за Ваши добрые слова. Разумеется я не забыл о своем обещании[1], только половину которого, к сожалению, удастся исполнить. «Охранной грамоты» не достать, романа я еще не дописал[2], но часть того, о чем был разговор, я Вам подберу и вышлю. Случай, и как видно скоро, представится по выходе нового сборника «Избранных» в «Советском писателе»[3]. Недостатком сборника (его составляла редакция) будет не только односторонность подбора, но и то, что «1905 год» даю там полностью, а это — растянутая вещь, которая выигрывает в сокращении. Я здоров, работаю и желаю Вам и всем вокруг Вас всего лучшего в задуманном и нежданном.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 1, № 1).

Б. К. Губарев — школьный учитель в поселке Панютино Донецкой области, состоял в переписке со многими писателями: П. Г. Антокольским, В. С. Гроссманом, Н. А. Заболоцким, С. И. Кирсановым, Л. М. Леоновым, И. Л. Сельвинским, К. С. Симоновым, Я. В. Смеляковым, А. А. Фадеевым, К. А. Фединым и др. Впервые он написал Пастернаку осенью 1946 г. после Ждановского постановления об Ахматовой и Зощенко.

В архиве Пастернака более 20 писем от Губарева и его жены с 1946 по 1956 г. Большая часть ответов рассеяна по разным собраниям.

[1] Губарев обращался к Пастернаку с просьбами о посылке его книг.

[2] В дневнике, который вел Губарев, переписана часть письма Пастернака о работе над романом: «Мне лучше, и я счастливее сейчас, чем в течение многих, если не всех предшествующих лет. Я очень ушел в сторону от того, каким меня знали и знают, и иду сейчас по дороге, которая естественным образом продолжается от Л. Толстого и А. Блока, может быть, от Чехова. Это относится, главным образом к роману, в котором будет (и пишется) стихотворная глава — творческий архив человека, умирающего в 1929 году и оставляющего нечто вроде книги стихов. Неужели Вас огорчают устные и печатные выпады против меня, которые, вероятно, возобновятся? А меня они не трогают. С привычной установившейся точки зрения все ведь это справедливо и естественно. Я же сам еще резче и непримиримее отношусь к своему прошлому. И совсем по-другому... Все эти громы я навлекаю на себя в возрастающих размерах своим безучастием к ним. На старости, перед смертью хочется мне возродить забытую традицию чистоты, которая когда-то для сознательных и мыслящих людей в России была обязательна. Софизмы и провокации, которыми хотят добиться чего-то от меня, меня не пугают. Я готов ко всему, и к самому худшему. ...Не ищите меня в печати. Я не под запретом, сборник в "Советском писателе" готовится и выйдет, но ведь это все перепечатки старого, неважного и надоевшего, что я отрицаю. Так как заранее можно сказать, что ничего свежего, совершенно нового и внутренне ошеломляющего (*а только этим отныне я буду заниматься*) не может появиться, то я так безразличен к судьбе этих переизданий, что даже не вмешивался в составление сборника и не знаю его состава» (19 сент. 1947).

[3] Тираж «Избранного» не появился в продаже (был уничтожен).

1040. С. и М. ЧИКОВАНИ

10 января 1948, Переделкино

Дорогие друзья мои Симон и Марико!

Большое Вам спасибо за Ваши поздравления. Симон, — Федин и Паустовский рассказывали мне, как героически Вы вступались за меня, когда министр Бажан[1] отрицал меня. Дорогие мои, мы получили также чудные телеграммы от Нины, от Гоглы и Евфимии Александровны, от обоих несравненных Гудиашвили и от В. Г. Урушадзе. Как бы много сделали Вы, Марико, для меня, если бы сказали им, что это я пишу также им всем, и что сердце мое с ними. Вышла ли книжка моя в «Заре Востока», Симон? Если да, то воспользуйтесь какой-нибудь официальной оказией, чтобы прислать мне несколько авторских экземпляров. Обнимаю Вас и

желаю Вам и всем названным долгих лет жизни в счастьи и здоровьи. Вот три новых Юриных стихотворения[2].

Я долго не мог работать, а теперь с жаром принялся за продолжение романа, теперь у меня Юра на фронте в 1916 г., к весне надеюсь кончить: это скажите Нине, это ее роман[3].

Еще раз всего лучшего. Постарайтесь разобрать эту мазню. Обнимаю и целую всех. *Ваш Б. П.*

10 янв. 1948

Впервые. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 27).

[1] Украинский поэт Н. П. Бажан, министр культуры УССР.

[2] Приложены стих. «Рассвет», «Чудо» и «Земля». В «Рассвете» вычеркнуты две строфы и авт. примеч.: «Эти две строфы лишние. Их можно выбросить».

[3] См. письмо № 983 и коммент. к нему.

1041. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

10 января 1948, Москва

10 янв. 1947* Дорогая Елена Дмитриевна! Так как стали иногда пропадать письма ко мне (как например, Ваше совместное с Кайсыном Кулиевым, о котором Вы упоминали) и мои письма к другим, я не уверен, получили ли Вы мое большое заказное письмо на 4-х страницах, посланное Вам в ответ на Ваше[1]. Не огорчайтесь, если оно пропало, Вы этим ничего не потеряли, письмо было сбивчивое, слишком наспех написанное и словом, такое, какими не должны быть письма, но, с другой стороны не считайте молчанием или признаком невнимания его пропажу. С Новым годом Вас и Кайсына и от души всего лучшего Вам обоим. В том письме я Вам обещал прислать «Избранные» в новом подборе. Случай, кажется скоро представится.

Ваш Б. Пастернак

Не путаю ли я Вашего отчества! Может быть это важно.

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Упоминаемое письмо не было получено адресатом. См. также перехваченное на почте письмо № 1036.

* Авторская ошибка датировки.

1042. Н. МУРАВИНОЙ

19 февраля 1948, Москва

Милая Нинель[1]. Я уже окольными путями, по телефону просил передать Вам мою радость и благодарность за статью[2]. Это радость не только по личному поводу, но и главным образом за Вас, за высоту и твердость Ваших убеждений, за Ваш дар проницательности. Так хорошо и глубоко меня еще никто, кажется, не понимал. Потому что Вами поняты и уловлены не только разные стороны моего дела, но нечто большее, их основания. Конечно, когда Вы подрастете, Вы будете писать проще и не так афористически, и может быть более разборчивым почерком. Чтобы на примере показать Вам, как в течение жизни видоизменяется и упрощается слог человека, прилагаю Вам мою статью о Шекспире[3], которую Вы не можете знать. Прочтите ее, пожалуйста, в сутки-другие и отнесите по следующему адресу (это рядом с Вами): ул. Фурманова (бывший Нащокинский пер.) д. 3/5 кв. 49. Н. В. Богословскому (тел. Г6-75-56). Если я не достану у Вас «Генриха» и «Лира» сейчас сам, доставьте мне их, пожалуйста, на днях. Еще раз спасибо за живость Вашего духа и молодое единомыслие.

Ваш Б. Пастернак

19 февр. 1948 г.

Впервые: Revue des Études slaves. LV/4. Paris, 1983. — Автограф (собр. адресата). Печ. по фотокопии. Нинель (Нина Скорбина) Муравина — литерат. критик и журналист, живет во Франции; в 1948 г. была студенткой филологического факультета Московского университета. Автор воспоминаний о Пастернаке, частично опубликованных в книге: Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990.

[1] В публикации Нина.

[2] Взволнованная обвинениями, предъявленными Пастернаку А. А. Сурковым, в «разладе с новой действительностью» и «явном недоброжелательстве и даже злобе» по отношению к революции («Культура и жизнь», 21 марта 1947), Н. Муравина написала статью о поэзии Пастернака и послала ему.

[3] «Заметки к переводам Шекспировских трагедий» (1946).

1043. Б. С. КУЗИНУ

7 марта 1948, Москва

Дорогой Борис Сергеевич!

Простите, что я до сих пор ничего не сказал и не написал Вам о Ваших стихах. Я очень нетерпимо отношусь к своему собственно-

му прошлому и, более широко, к тому миру вообще, часть которого это прошлое составляет, и поэтому *не могу быть справедливым* к Вашим стихам отчасти именно вследствие их достоинств. Той струны, — скажем, что ли, так, — которой Вы в них касаетесь, я совершенно не выношу в себе и поэтому совсем не гожусь Вам в судьи.

А чтобы Вы не сделали превратных выводов из сказанного, чтобы не подумали, что я Вас зову к чему-либо такому, что называет жизнью и действительностью современная газета, вот Вам стихи из самой важной и новой моей работы, из моего большого романа в прозе, который я пишу с прошлой зимы урывками, когда бывает время.

Вы должны знать, *что стихов как самоцели я не любил и не признавал никогда.* Положение, которое утверждало бы их ценность, так органически чуждо мне и я так этот взгляд отрицаю, что я даже Шекспиру и Пушкину не простил бы голого стихотворчества, если бы, кроме этого, они не были гениальными людьми, прозаиками, лицами огромных биографий и пр. и пр.

Тогда, и только при этом положении, то есть только при безмерности этого, ближе неопределимого *безусловного* мира, становится простительной и получает смысл условная музыкальная речь в рифму, как только в приложении к телеграфу, несущему жизнь и смерть в обиходе, получают оправдание палочки и точечки лаконического телеграфного языка и его азбуки.

Во всех же прочих случаях я не понимаю увлечения этой бессмыслицей и в этом отношении радикальнее Маяковского, который в этом пункте покладистый эстет в сравнении со мной.

Мне очень трудно писать Вам, так как Вам надо отвечать очень принципиально и это заводит в невозможные дебри.

Доставая Ваши стихи, я обнаружил, что уже летом начинал писать Вам и, наверное, не довел письма до конца вследствие его досадной и раздражающей неудачности. Все равно, прилагаю его. Желаю Вам счастия[1].

Ваш Б. П.

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич!

Я о Вас много слышал раньше. Все в Вас меня привлекает. Моя невестка передала мне Ваши стихи[2]. Мне хотелось бы сказать Вам только то заслуженно приятное, на что они наводят. Но до того как я обращусь к некоторым из них в отдельности, я должен наговорить резкостей и неприятностей... даже не Вам, а по другому, между прочим и моему собственному, адресу.

Вы мне лишний, в сотый или тысячный раз напомнили то, что я знаю без напоминаний, что ничего этого не было, ни Мандельштама, ни Анненского, ни меня, что все еще пока тяжел, досаден и *еще не искуплен* этот мир представлений в промежутке между символизмом и акмеизмом, этот еще не тот неведомый, который придет следующим по порядку и этот уже не Блок.

Только Вы не думайте, что на моих словах сказываются результаты нынешних проработок, рассуждения об актуальности и так далее. Ах нет, эти нападки еще более невинный и детский вздор, чем самые объекты нападений. Сметено будет и то и другое, положение и отрицание. Я ли именно зачеркну это? Нет, не надо было зевать двадцать лет, — для этого я слишком стар. Но я, может быть, по крайней мере научу, как это сделать.

Простите, Вы видите, как все это второпях и небрежно, как с моей стороны безбоязненно (писатели остерегаются переписываться так неряшливо). Но именно так мне и хочется написать Вам, потому что по-другому не выйдет.

Впервые: «Русская речь», 1990, № 1. — Автограф. Датируется по авт. дате на машин. тетрадке со стихами из романа «Доктор Живаго», приложенной к письму. Тетрадка надписана: «Борису Сергеевичу Кузину в виде извинений и напутствия. 7 марта 1948 года. *Пастернак*».

Биолог Борис Сергеевич Кузин был другом О. Э. Мандельштама, жил в ссылке в Средней Азии, потом в г. Рыбинске.

[1] Последний абзац — карандашная приписка.

[2] Жена Б. С. Кузина В. А. Апостолова одно время работала вместе с И. Н. Пастернак (Вильям), через которую передала Б. Пастернаку подборку стихов своего мужа.

1044. И. С. БУРКОВУ

6 апреля 1948, Москва

Милый Иван Семенович!

У меня нет времени ответить Вам по-настоящему[1], а чтобы дать Вам доказательство, что я Вас не забыл, посылаю Вам стихи из моего романа в прозе, писанием которого я сейчас занят. Они в него входят отдельною главой и составною частью (это долго рассказывать, как и почему)[2]. Они, наверное, Вам не понравятся своею бедностью и порядком, по сравнению с прежними, но Вам надо их иметь, чтобы у Вас было правильное представление о моем нынешнем мире и манере.

Я также, может быть, пошлю Вам книгу моих избранных, выходящих в Советском Пис<ателе>, когда они выйдут, хотя они повторяют все известное Вам[3].

Всего Вам лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

6 апр. 1948 Москва

Впервые: «Наше наследие», 1990, № 1. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, доп.).

[1] Письмо написано в ответ на ряд вопросов, которые Бурков задавал по поводу «Второго рождения», об истории его «первозданных» стихотворных ритмов, синтаксиса и др. и просил «хороший сборник» стихов Пастернака.

[2] Приложена машин. стих. «Март», «Объяснение», «Бабье лето», «Зимняя ночь».

[3] Тираж готовившейся в «Советском писателе» книги Пастернака «Избранное» (1948) был уничтожен.

1045. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

6 апреля 1948, Москва

6 апр. 1948 г.

Дорогая Елена Дмитриевна!

Это ответ на Ваше письмо и пакет с подстрочниками Кулиева. По подстрочникам ведь вообще ни о чем нельзя судить. Мне нравится всё, Пери больше Кедрина[1], но необыкновенными кажутся мне, нравятся по-настоящему и дают ощущение непроизвольно врывающейся извне и ложащейся на страницу жизни (то, чем должно быть искусство) два последних: «Над старой книгой горских песен» и «Охотникам, заблудившимся в ущельях». Кулиев молодец, что и говорить.

Он писал мне, я ему отвечу, но сейчас я тороплюсь послать Вам обоим (мои «Избранные» книжки я пошлю Вам каждому врозь) только что вышедшего Петефи, а также вкладываю в конверт для Вашего и его ознакомления стихи из романа в прозе, о котором, я кажется Вам писал раньше.

Наверное «Янош»[2] Вам не понравится, я его переводил слишком скоропалительно и сделал в месяц с чем-то, но среди лирики в моих и чужих переводах есть по-моему много трогательного.

Простите меня за лаконизм и торопливость тона, главное мое желание доставить Вам и Кайсыну радость этою книгой (Кайсыну я между прочим пришлю роскошнейшего Пшавелу не ради пе-

ревода моего, а всего издания, внешности, иллюстраций, хевсурского Кавказа и пр. и пр.[3]).

Кроме того, я обрываю себя на полуслове из неуверенности в том, дойдет ли все это до Вас.

Бесконечное Вам и Кайсыну спасибо за Ваши письма.

Известите меня о получении книги и письма.

Ваш Б. П.

Простите меня, в последний момент вдруг решил надписать Петефи одному К<айсыну>[4]. Мне кажется, Вам это будет приятно, зато Избранные будут Вам[5].

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Имеется в виду «Баллада о Габриэле Пери»; стих. «Кедрин» написано на смерть поэта Дмитрия Кедрина.

[2] «Витязь Янош» — поэма Ш. Петефи.

[3] Надпись на книге Важа Пшавелы «Поэмы» (ОГИЗ, 1949): «Дорогому и неподдельному Кайсыну Кулиеву просто ради его Кавказа, показанного тут с другой стороны, с пожеланием скорейшего возвращения ко всему широкому и родному. *Б. Пастернак.* 22 апр. 1948 г. Я это издание не просматривал и сейчас посылаю Вам не глядя. Своему переводу "Змеееда" значения не придаю. Он сделан очень давно (лет 15–16 назад) и очень плохо. *Б. П.*» (собр. А. Кулиева).

[4] На кн. Ш. Петефи «Избранное» (М., 1948) Пастернак сделал дарственную надпись: «Кайсыну Кулиеву, родственному Петефи явлению за его огонь, талант, прямоту и стремительность, от одного из переводчиков. *Б. Пастернак.* 6 апр. 1948 г. Москва» (собр. А. Кулиева).

[5] См. письмо № 1048.

1046. М. П. ГРОМОВУ

6 апреля 1948, Москва

6 апр. 1948

Милый Михаил Петрович!

Вы меня очень обрадовали своим письмом, — спасибо Вам. Чтобы Вам отплатить чем-нибудь таким же приятным, вложу в это письмо последние мои стихи[1], входящие главою в мой роман в прозе, который я пишу сейчас. Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимает время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до отечественной войны, примерно так году в 1929-м должен будет умереть главный герой, врач по

профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А. П. Чехова. Когда его сводный брат, о котором он знает только понаслышке и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок, имеющих философский интерес, и целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго.

Пусть Вас не огорчает, если они Вам покажутся бледнее моих прежних или вообще понравятся меньше, и не бойтесь дать мне почувствовать, я не обижусь. Эти стихи не тайна, можете их показывать другим.

Я также постараюсь выслать Вам интереснейшего Петефи, на днях вышедшего в разных неплохих, в том числе и моих, переводах[2], и, может быть, тоненькую, толщиной с брошюру, книжку старых моих избранных стихотворений, выходящую в Сов. писателе. Известите меня, пожалуйста, о получении этих вещей и письма, у меня часто многое пропадает.

Мне не на что жаловаться, я доволен жизнью, но мне хотелось бы поскорее дописать роман, хотя бы первую книгу, почти готовую, и пока это не сделано, тревога и какая-то внутренняя спешка не покидают меня. Спасибо вам за Ваши добрые пожелания, я нуждаюсь в них.

Ваш Б. Пастернак

В моем Петефи хороша, конечно, только часть лирики, а «Янош» — ерунда, переведенная тяжело и наспех.

Впервые: «Литературная газета», 12 февр. 1992. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, доп.). М. П. Громов — историк литературы, был тогда студентом филологического факультета Таганрогского пединститута, написал Пастернаку письмо на Союз писателей.

[1] В тетрадку со стихами, надписанную: «Стихи из романа в прозе Михаилу Громову *Б. Пастернак*», — входили: «Гамлет», «Март», «На Страстной», «Объяснение», «Бабье лето», «Зимняя ночь», «Рождественская звезда», «Рассвет», «Чудо», «Земля».

[2] Дарственная надпись на кн. Ш. Петефи «Избранное»: «Михаилу Петровичу Громову с пожеланием счастья и жизни, все более наполняющейся смыслом и свободой, от одного из переводчиков. *Б. Пастернак.* 6 апр. 1948 Москва» (там же).

1047. Д. Д. ШОСТАКОВИЧУ

22 апреля 1948, Москва

Мужайтесь, Дмитрий Дмитриевич, сохраните среди всего этого ясность духа и здоровье.

Помните, что даже в том случае, если бы за всем этим была хоть тень правоты[1], не наше дело мудрить и умничать, и ломать и портить в себе лучшее, что дает природа человеку при рождении — цельность.

Спокойно и радостно примите все, что встретит Вас на Вашем пути и да поможет Вам в эти дни издали Ваше великое будущее.

Ваш Б. Пастернак

22 апр. 1948 г.

Впервые: «Раскат импровизаций...». Музыка в творчестве, судьбе и в доме Бориса Пастернака. Л., «Советский композитор», 1991 (факсимиле). — Автограф (собр. Н. А. Шостакович). Надпись на книге «Избранные стихотворения и поэмы» (1945).

[1] Имеется в виду критическая кампания, открытая постановлением ЦК ВКП(б) от 10 февр. 1948 г. «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и выступлением А. А. Жданова на Всесоюзном совещании деятелей советской музыки.

1048. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ и К. КУЛИЕВУ

29 апреля 1948, Москва

29 апр. 1948 г. Дорогие Елена Дмитриевна и Кайсын! Получил обе Ваши телеграммы, спасибо, но лучше бы Вы мне написали письмо. Не ждите от меня обещанного сборника «Избранных»[1]. Несмотря на ошибочное объявление в газете об их выходе, давно готовую и однажды уже разрешенную книжку задержали и предложили издательству не выпускать. Сборника не будет.

У меня сейчас месяц-два свободных и я поглощен работою над прозой, которую тороплюсь писать, потому что скоро опять придется заниматься проклятыми переводами (проклятый даже Фауст). Простите, что пишу второпях. Но я бы желал Вам хоть малой доли того чувства счастья и удовлетворения жизнью, которыми я полон все последнее время. Нет, правда, я не нахвалюсь на свое самочувствие и не могу настроиться серьезно, чтобы со вниманием отнестись к своим неудачам.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Тираж книги Б. Пастернака «Избранное» (М., «Советский писатель», 1948) был уничтожен.

1049. Б. К. ГУБАРЕВУ

29 апреля 1948, Москва

29 апр. 1948. Дорогой мой Борис Кириллович! Большое спасибо за Ваши милые письма[1]. Простите, что отзываюсь открыткой на них. Очень надеялся и сам послать Вам сборник, тем более, что им попутно удовлетворил бы Ваши два других желания (в книжке воспроизведена фотография и к ней приложена короткая биография)[2]. Но объявление о книжке в «Лит. Газ<ете>» ложно или ошибочно. Как раз в этот день сборник, обсуждавшийся около года, более двух месяцев уже как отпечатанный, готовый и разрешенный к выпуску, снова затребовали куда-то в сферы — и задержали, на этот раз навсегда. Сборник не выйдет. Причин не знаю и не интересуюсь[3]. Не огорчайтесь этим. Жизнь так удивительно хороша, столько еще всего впереди и так много можно и нужно сделать. И потом, — Вы слишком горячо благодарите меня. Не считайте себя, пожалуйста, моим должником: Вы больше сказали мне, чем я мог рассчитывать.

Желаю Вам радости и удач во всех Ваших начинаниях.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 1, д. 2).

[1] Письма были посвящены нетерпеливому ожиданию обещанной книги: Борис Пастернак. «Избранное». М., «Советский писатель», 1948. В предыдущем письме от 8 апр. 1948 Пастернак писал о задержке с ее выходом (Архив Музея Александра Блока, СПб.).

[2] На последней странице этой книги имеется краткая биографическая заметка, редактировавшаяся в течение трех лет (см. т. V наст. собр. — «Биографические сведения», 1947).

[3] Книга входила в юбилейную серию «Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917—1947». Л. К. Чуковская записала в дневнике 4 мая 1948 г.: «Дурные вести: новое издание "Девятьсот пятого года" разобрано после гнуснейшей статьи в "Октябре"» (Сочинения в двух томах. Том 2. М., «Гудьял-Пресс», 2000. С. 242). Имеется в виду статья Н. Маслина «Маяковский и наша современность» («Октябрь», 1948, № 4), в которой автор утверждал, что творчество Пастернака «нанесло серьезный ущерб советской поэзии». Обе поэмы, составлявшие книгу «Девятьсот пятый год» 1927 г., вошли полностью в маленький сб. «Избранного» (1948) и представляли основное его содержание (см. письмо № 1029).

На плачевную судьбу книги проливает свет письмо Фадеева 1 апр. 1948 Симонову: «Дорогой Костя! Дочитал Пастернака, сборник кончается совершенно пошло-эротическим стихом ахматовского толка, помеченным 46-м годом, — прямой вызов. Если не поздно, вели Ярцеву тираж задержать, я окончательно в этом убедился. Если не поздно, пусть задержат. Поправлюсь, — решим вопрос» («Путь», 1995, № 8. С. 232). В стих. «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле...») Фадеев увидел отклик Пастернака на «Постановление ЦК» об Ахматовой и Зощенко.

1050. В. Д. АВДЕЕВУ

21 мая 1948, Москва

21 мая 1948 г.

Дорогой Валерий Дмитриевич!

Всегда после таких больших перерывов является тревога, все ли осталось по-прежнему, всех ли застанешь в былом благополучии — и Вы меня первым делом успокойте на этот счет и сообщите о здоровье всех вас.

Не думайте, я не забыл Вас, но неизобразимо трудно жить и не легче переписываться. Была у меня мечта послать Вам книжечку избранных моих вещей (в большинстве Вам известных), когда их выпустит «Сов. Писатель». Но объявление о выходе книжки, напечатанное в «Лит. Газете», вводит в заблуждение. Оно было напечатано как раз в тот день, когда книга была зарезана.

Я живу очень странно последние годы. Так надо было жить в молодости, а не на шестом десятке. Я чувствую себя хорошо, зарабатываю переводами, а в своих собственных работах ухожу все дальше даже от личных своих представлений и допущений о себе. Да, да, во всех, во всех отношениях так надо было жить давно когда-то и писать, как я пишу, сорок лет тому назад.

Прошлою зимой я больше, чем нынешнею был занят романом в прозе, который читал изредка, по мере исполнения, с большим удовлетворением для себя и слушавших. Эта вещь далека еще от завершения. Там один из героев — врач, каким был, или мог быть, А. П. Чехов. Он по замыслу романа должен умереть в 1929 году (39 лет). От него остается хаотический архив, который приводит в порядок сводный его брат, живший в Сибири, которого умерший не знал и всю жизнь считал издали своим врагом. Этот брат находит в бумагах покойного много любопытного, записки, дневники, множество стихотворений, которые он сводит в книгу. Книга эта составит одну из глав во второй части романа. Это будет поэзия, представляющая нечто среднее между Блоком,

Маяковским, Есениным и мною, не смешанное, не синтезированное, а отдельное и самостоятельное: меня немного успокоенного и объективированного. Теперь, когда я пишу стихи, я их пишу в виде вкладов в стихотворное хозяйство этого героя.

Я думаю послать Вам стихотворения Петефи, очень хорошо изданные, в неплохих переводах. Кроме того, к письму прилагаю пачку названных стихов. Они, наверное, будут чужды Вам и не понравятся дико запоздалой своей несвоевременностью. Всему этому было свое время, поздно я, так сказать, хватился, где я был раньше. Но так как, кроме того, что Вы — ученый, художник, поэт и ценитель искусства, Вы также во всех этих областях — собиратель, то и дефектный экземпляр должен представлять интерес для Вашей коллекции.

Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть у Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу[1].

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом. И так все в жизни.

Целую Вас. Кланяйтесь папе и всем Вашим.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературная учеба», 1988, № 6. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41).

[1] А. С. Эфрон в записке 12 июня 1948 благодарила А. Е. Крученых за адрес Пастернака, которому собиралась написать и поблагодарить за попытку узнать что-либо «о маминой могиле» (РГАЛИ, ф. 1334). О месте погребения М. Цветаевой Пастернак запрашивал М. П. Гонту еще из Чистополя (письмо № 887).

1051. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 июня 1948, Москва

3 июня 1948 г.

Дорогая Ася!

Пишу наудачу — Вы не сообщили мне точного адреса больницы. Если только дойдет, известите меня. Может быть в середи-

не лета явится у меня возможность переслать Вам немножко денег. Сообщите тотчас, куда их направить.

Для меня большою радостью было известие о Вашем переселении к Андрюше[1]. И все что Вы писали о нем, о его доме, жизни и семье, очень интересно. А теперь меня очень пугают и огорчают Ваши глаза.

О себе ничего не пишу, в двух словах ничего не расскажешь. Все у меня живы, здоровы, да и самому мне не на что жаловаться. Моя поддержка — переводы (перевел еще несколько Шекспировских драм). Одна беда это что ко времени, когда я научился писать по-настоящему, мне невозможно стало выступать и печататься.

Известие о Анат<олии> Корн<елиевиче> Виноградове и его близких верно, он кончил жизнь в припадке душевной болезни[2].

Два последние года я урывками (все время почти приходится отдавать другим работам) пишу роман в прозе о московской жизни в 1903–17 годах (первая книга) и дальше, до отечественной войны (вторая). Один из главных героев врач такого разряда как был Чехов с большим и перевешивающим вторым творческим планом. Когда он умирает в 1929-м году и приводят в порядок его бумаги, от него остается много интересного, между прочим целая книга стихов. Это будет во второй книге романа, где эти стихи сплошь, одно за другим, составят особую главу повествования. Когда я теперь пишу что-нибудь свое стихотворное, я это пишу впрок для этой главы. Посылаю Вам эти стихотворения, может быть Вам будет любопытно, а также заметки к Шекспировским переводам, которые я написал в виде предисловия к изданию всех моих переводов в двух томах, и которое не будет напечатано.

Ответьте вкратце открыткою.

Всего Вам лучшего. Целую Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 397).

[1] Письмо послано в Вологодскую область, деревню Печаткино, где с 1942 г. после освобождения из лагеря жил с семьей сын А. И. Цветаевой Андрей Борисович Трухачев.

[2] Анатолий Корнелиевич *Виноградов* — писатель, автор историко-литературных работ о Мериме, Стендале и др., директор Румянцевского музея, потом Библиотеки им. Ленина.

1052. З. Н. ПАСТЕРНАК

4 июня 1948, Москва

4 июня. Дорогая Зиночка!

Каждое утро я ждал твоего звонка, и грустно, что ты не позвонила[1]. Если это трудно, то в том случае, если ты сама не приедешь в город, пришли мне записочку с Марией Эдуард<овной> и напиши мне следующее.

Как нарыв у тебя на животе, как зубы и вообще как твое самочувствие? Как Леничка и ты поживаете? Что слышно с дачей? (Но ни в коем случае не расстраивай себе по этому поводу нервов. Если тебе и Лене хорошо отдыхается в доме отдыха, то вот и все, что требуется пока для моей души при данных обстоятельствах.)

Здесь было очень душно, и позавчера, в четверг, я так скучал по тебе и Лёне, что чуть не сбежал к вам в Переделкино. Наверное, и сделаю это, когда буду знать, что не разминусь с тобой, и после того, как пропущу второй том Шекспира для «Искусства», «Генр<иха> IV» для Детгиза[2], доработаю два куска в романе и допишу в нем главы о войне. Обо всем остальном расскажет тебе Мар. Эдуард. Видел два раза Ан<ну> Андреевну[3].

Мне бы хотелось страшно повидать тебя и пойти сегодня с тобой на Гарикин концерт в Доме ученых (начало в 8 часов!). А завтра вечером я никуда не пойду.

Напиши мне обязательно толком о себе, если не приедешь, и если ни ты, ни Мар. Эдуард. не собираетесь до вечера назад, то позвони мне в 4, чтобы я знал, как быть мне с концертом.

Целую тебя и Леничку без конца! *Твой Б.*

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Письмо послано из Москвы в Переделкино, где З. Н. с Леней жили в доме отдыха; дача Пастернака была занята под общежитие рабочих Литфонда, которых обещали в скором времени выселить.

[2] Двухтомник переводов Шекспира вышел в «Искусстве» в сентябре 1949 г., «Генрих IV» в Детгизе — к концу 1948 г.

[3] А. А. Ахматова приехала в Москву и остановилась у Ардовых на Ордынке, где Пастернак читал недавно оконченные главы романа. Чтение датируется по записке Пастернака к Н. Р. Эрдману: «Дорогой Николай Робертович! Если Вам и Наталье Васильевне интересно, и Вы еще в городе, и будете свободны, то 31-го, в понедельник в 7 ч. вечера я у Ардовых собираюсь читать продолжение. *Ваш Б. Пастернак.* 27 мая 1948 г.» (РГАЛИ, ф. 2570, оп. 1, ед. хр. 76). Встретив как-то в эти дни А. К. Гладкова, Пастернак сказал, что читал четыре часа подряд Ахматовой и «так ее уморил, что у нее чуть не начался приступ грудной жабы» (А. Гладков. Встречи с Пастернаком. М., 2002. С. 197).

1053. З. Н. ПАСТЕРНАК

11 июня 1948, Москва

Дорогая Зина.

Наверное, у вас так же жарко, как тут, — но здесь (особенно внизу, в восьмом этаже, где нет окна с другой стороны и в помощь солнцу действует кухня, а также ввиду того, что дверь на солярий, допускавшая в прежние годы проскваживание, всегда под замком[1]) можно существовать только одному, при строжайшем, по-прусски придирчивом режиме уборки, проветривании, затемнении окон и пр. и пр. Конечно, такая простая мысль, как о переселении наверх (на 9-й этаж) легко приходит в голову. Но это у меня в резерве на июль месяц, когда станет еще хуже.

Потому что даже если они освободили дачу[2], дача на это лето потеряна. Это я знаю, и единственное, что осталось, это беречь нервы, в особенности тебе, чтобы вслед за дачей не потерять также и душевные силы. И я больше всего прошу тебя, чтобы ты не расстраивалась по поводу того, что произойдет и еще ждет тебя. Потому что это так легко предвидеть!! Ведь ремонт они проводят в мечтаниях и на словах, пока они не очистили дачи, чтобы о чем-нибудь говорить. Когда же дача будет действительно очищена, у них будет сознание, что уже так много сделано, что можно вздохнуть и тобой не заниматься. И это не потому, что они такие мерзавцы и так ленивы, а потому что это бессмыслица и всеобщее вранье и бедствие снизу доверху, и людям ничего не остается, как только врать и погибать. Конечно это хуже войны, потому что война это смертельная и быстро разрешающаяся катастрофа, а этот порядок — смертельная катастрофа надолго затягивающаяся. И ты тоже дикая дура и не понимаешь, что будучи связана со мною, ты избавлена от главного несчастия — от необходимости врать и обманываться, и плести обязательную чепуху вслед за всеми, ты не ценишь источника, из которого ты могла бы почерпнуть душевное счастие. Но это твое дело. Как я говорил и Величко, главное для меня во всем этом — ты, а в дачу я не верю. Я в прошлом году уезжая, говорил, что у меня такое чувство, что больше мы в ней не будем жить. В понедельник я наверное приеду (но не надо брать дополнительного питания, ведь это будет только на обед). Я сам предлагаю тебе не жалеть денег на подмазку кого бы то ни было в связи с дачей. Но как и в отношении нервов и душевных сил, тут есть опасность просадить и потерять задаром все, надо обязательно взглянуть трезвым взглядом, живая ли это возможность или типический советский миф, *дыра*, какая получилась с отдачей дома на зиму. Такие дыры могут получиться в

нашей выдуманной и незакономерной действительности с чем угодно: со здоровьем, с призванием, с судьбою, лишь только пойти по глупому, ложному пути.

Твой Б.

Большое счастье, что ты и Леня в зелени и вас кормят за очень дешевую плату. И за это спасибо.

P. S. Мар. Эдуард. напомнила мне, что у вас путевка до 15-го[3]. Тогда я куплю вам продление еще на 2 недели, чтобы тебе для этого не приезжать в город, и привезу в понедельник или во вторник, если на понедельник меня что-нибудь задержит. Одну ли путевку или две? (Я не о себе спрашиваю, мне действительно не имеет смысла поселяться в доме отдыха даже в будущем, когда я буду свободнее, и все будет раздражать там, — но достаточно ли тебе и Лене одной путевки?) Так что в понедельник не наверное. Если тебя интересует мое настроение и от него в какой-либо степени может зависеть твое собственное, то оно у меня великолепное: я твердо знаю, чего хочу, что люблю и чего не выношу, и на мое погородски сложившееся лето смотрю как на вынужденно повысившееся мое сопротивление в этой моей борьбе с презренными современниками — а следовательно, и жара и клопы мне в радость, и я только насвистываю. Обнимаю тебя и Леню.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62). Датируется по содержанию.

[1] Квартира в Лаврушинском переулке располагалась на двух этажах; рядом была плоская крыша дома (солярий), после войны выход на нее был закрыт.

[2] После выезда рабочих с дачи Литфонд обещал ее отремонтировать.

[3] Речь идет о путевках в дом отдыха, где жили З. Н. с сыном.

1054. З. Н. ПАСТЕРНАК

16 июня 1948, Москва

16 июня

Дорогая Зинуша!

Мне очень понравилось у вас сегодня. Вот клей. Так как я все-таки, наверное, дам Ел<ене> Ал<ександровне> 1500 на путевку[1] и таким образом провинюсь перед тобой на полторы тысячи, то, следовательно, мне придется оправдаться перед тобой с крупными процентами, и благодаря этой трате у меня блеснула чудная мысль. Я предложу Ярцеву собрание мелких переводов из разных

литератур общею договорной суммой тысяч на 20 (все это переиздания)[2].

Вот это и будет звеном между наличностью и далекими осенними деньгами. Вопрос только в том, примет ли Сов. Пис<атель> мое предложение. Целую тебя крепко.

Весь день устраивал Ан<не> Андр<еевне> (и устроил) 3000, но для их получения ей надо написать заявление, а она не хочет[3]. Потом столько возился с Музфондом для Скрябиной, что к вечеру чуть сам не стал музыкантом, но, по счастью, удержался.

Твой Б.

Целую тебя, Зиночка. Сегодня прислали пакет из Союза пис. с «1905-м годом» по-чешски и этой запиской[4].

Поклон, бедная моя, бедная горушка моя, милый мой зверь Зиночка, бедная дуся моя!

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] Елена Александровна Скрябина-Софроницкая.

[2] См. письмо директору издательства Г. А. Ярцеву № 1055.

[3] Пастернак добился от Литфонда денежной ссуды для Ахматовой, лишенной после исключения из Союза писателей каких-либо заработков.

[4] К письму приложена записка от референта по чешской литературе Б. Шуплецова, который посылал Пастернаку полученный Иностранной комиссией Союза писателей перевод «Девятьсот пятого года» чешского поэта Богумила Матезиуса с личным посвящением.

1055. Г. А. ЯРЦЕВУ

16 июня 1948, Москва

16 июня 1948 г.

Георгию Алексеевичу Ярцеву

От Б. Пастернака

В издательство «Советский писатель»

Прошу издательство рассмотреть в наивозможно скорейший срок и вынести решение по следующему моему предложению.

Не сочло ли бы издательство возможным собрать и выпустить наилучшие из поэтических моих переводов согласно следующему отбору.

Из особенно удавшихся мне авторов я исключил бы поэмы и крупные их произведения, например, из Шевченки не включал бы «Марии» и оставил только лирику, из Петефи не поместил бы

поэму «Витязь Янош», а только мелкие стихотворения. Наконец, из целых разрядов и литератур взял бы только что-нибудь одно, самое совершенное, например, из грузинских поэтов только одного Бараташвили и т. д. и т. д.

Часть предлагаемого собрания составят переводы, содержащиеся в моей книге «Избранные переводы», выпущенной «Советским писателем» в 1940 г. за вычетом «Принца Гомбургского» Клейста и народных фарсов Ганса Сакса. Из книги «Грузинские поэты» (Сов. Пис<атель>, 1946) войдет только лирика Бараташвили (без «Судьбы Грузии»).

В сборник войдут несколько переводов из Шелли, Словацкого и Шевченки, появлявшиеся только в периодических изданиях, и по случайности не вошедшие в другие мои собрания.

Основными авторами будут Шекспир (мелкие лирические стихи), Байрон, Китс, Шелли, Верлен, Словацкий, Шевченко, Ондра Лысогорский (может быть Тычина, под вопросом Иоганнес Бехер, Альберти и др. Чаренц, Навои, Рыльский).

Таким образом, составленный томик будет содержать от 3-х до 4-х тысяч строк[1].

От готовности издательства и замыслов лица, который будет редактировать книгу, будет зависеть задумать ее обширнее и объемистей. У меня и в случае двойного ее объема (свыше 5000 строк) явилась бы возможность дать отбор достаточно строгий. Так, я из поэм разных авторов выбрал бы что-нибудь самое удавшееся, например Шевченковскую Марию.

Большей части сделанного мною в этом направлении я не помню и у меня нет следов этих работ, но в случае согласия издательства (на печатание такой книги) я при составлении книги стал бы подбирать материал, и тогда бы вспомнилось, наверное, много существенного, упущенного мною в этом примерном перечислении.

В случае принятия моего предложения прошу издательство авансировать меня суммою в 10 000 р. (десять тысяч р.) под книгу.

Б. Пастернак

16 июня 1948 г.

Впервые: «Новый журнал», № 156. Нью-Йорк, 1984. — Автограф (собр. Т.-П. Уитни, Йельский университет).

Г. А. Ярцев — в то время директор изд-ва «Советский писатель».

[1] Вмешательство А. К. Тарасенкова, бывшего главным редактором «Советского писателя», остановило издание (см. письма № 1093, 1094).

Сохранившаяся корректура сборника, оставшегося неизданным, описана в работе М. О. Чудаковой «Неизвестный корректурный экземпляр сборника переводов Б. Л. Пастернака» (Записки ОР ГБЛ. Вып. 39. М., 1978).

1056. З. Н. ПАСТЕРНАК

22 июня 1948, Москва

22 июня

Дорогая Зиночка!

Погодины не объявились, и М<ария> Э<дуардовна> везет требуемое на руках[1]. Она искала еще где-нибудь стеклянных банок, хотела купить и не нашла. Подмажь материальную в доме отдыха, они ведь закупают огурцы и соленья и проч., может быть, у них есть стеклянные кубышки или горшки, накупи себе.

Перед пятницей (в четверг утром, что ли) опять позвони мне или напиши с Мар. Эдуардовной пожелания и распоряжения. Если к субботнему переезду дом будет совершенно готов, я бы переехал, может быть, с вами, хотя у меня остаются городские хвосты, Шекспиры и разговоры о книге переводов в Сов. пис. (наверное, выйдет). Если же дом не готов, я дам перевесить этим соображениям (городским деловым хвостам) и несколько дней еще останусь в городе (мне кажется, 3 июля, если долбить и напоминать каждый день, можно будет получить аванс в Сов. Пис<ателе> за оформленный к тому времени новый договор[2]).

Как всегда, помни главное — не волнуйся. Я понимаю, что тебя теснит клубничный урожай, ну, что же, возьми от него, что будет в твоих силах и не печалься, что какая-то часть этого натиска утечет и пропадет.

Для того чтобы приобретать, надо уметь терять и чем-нибудь поступаться, это первое условие. *Я добился того, что Анне Андреевне дадут работу во всех издательствах*[3].

Крепко тебя и Ленечку целую. *Твой Б.*

Позавчера, влетая в закрывающиеся дверцы метро, очень сильно ушиб себе правую руку почти под мышкой. Очень болело, теперь прошло.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 62).

[1] *Погодины* предлагали перевезти на дачу посуду для варенья на своей машине.

[2] Договор на сб. «Избранные переводы» был заключен 29 июня 1948 г. со сроком сдачи рукописи в 4 тыс. строк к 1 октября 1948 г. (Записки ОР ГБЛ. Вып. 39. М., 1978. С. 107).

[3] После Ждановского постановления Ахматова была лишена каких-либо заработков, Пастернак хлопотал о том, чтобы в ЦК ВКП(б) и Союзе писателей разрешили давать ей переводы. См. в письме № 1058 о разговоре Пастернака с директором Гослитиздата.

1057. А. Е. КРУЧЕНЫХ

23 июня 1948, Москва

23 июня 1948. Дорогой Алеша. У Горнунга еще не было готово ничего, кроме пробных, которые он мне показал[1]. По-моему я никогда так хорошо не выходил. Зайди к нему. Мне кажется ты мог бы разместить некоторое количество этих карточек с пользой для него и для себя[2], но разумеется не среди наших бедных девушек[3] или кого-нибудь вроде Таг<еров> и т. д. (это неудобно), а среди крупных литературных тузов или кого найдешь нужным. Его адрес: Садовническая набережная у Чугунного моста д. 1, кв. 7, зовут его Лев Владимирович Горнунг.

Твой Б.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] *Лев Владимирович Горнунг* сделал первую серию фотографий 15 июня 1948 г., 23 июня он принес отпечатанные снимки Пастернаку. У себя в дневнике он записал слова Пастернака: «Никто меня так хорошо не снимал» (Воспоминания. С. 85).

[2] Пастернак, к которому постоянно обращались за фотографиями его читатели, надеялся, что живущий впроголодь Л. В. Горнунг, как и А. Крученых, сможет что-нибудь заработать на продаже отпечатков. Аналогичный совет Пастернак давал С. М. Шингареву, судя по записанному на полях адресу, — фотографу из журн. «Огонек»: «Милейший Семен Михайлович! Надеюсь, только недосуг помешал Вам исполнить Ваше обещание. Ваши снимки очень удались, я их видел. Надо сговориться, чтобы они не пропадали без пользы для Вас и меня. Бывает, иногда требуются мои фотографии, и тогда удовлетворяются очень дурными. Я редко выхожу на снимках, — с Вами мне посчастливилось. И вот, что этой удачи мне не удается реализовать в формах, которые должна была бы подсказать выгода и порядочность, очень странно. Я не понимаю Вашего поведения, Вы мне кажетесь большим оригиналом. Упорядочение этого вопроса с практической стороны и с обоюдной пользой доверяю Алексею Елисеевичу Крученых. Короче, на тех или иных условиях дайте или продайте мне несколько отпечатков с наиболее удачных негативов. *Ваш Б. Пастернак.* 22.V.1946. ВОКС, например, распространяет совсем неудачные фотографии. Хоро-

шо было бы, если бы в заинтересованных учреждениях знали о Ваших снимках» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 826). См. также письмо № 1059.

[3] Имеются в виду сотрудницы Музея им. А. Н. Скрябина: Е. А. Крашенинникова, О. Н. и Е. Н. Сетницкие, И. И. Тучинская. Осенью Горнунг навестил Пастернака в Переделкине, «захватив с собой несколько увеличенных его фотографий, снятых возле букета пионов». Пастернак надписал ему одну их них: «Льву Владимировичу Горнунгу с пожеланием дожить нам всем до смысла и просветления, а ему лично — чтобы легче жилось ему и его милой жене. *Б. Пастернак.* 7 окт. 1948 г.» (Воспоминания. С. 85).

1058. З. Н. ПАСТЕРНАК

24 июня 1948, Москва

24 июня 1948

Дорогая Зинушенька!

Галя[1] едет с единственной целью сообщить, что заболел ангиной Стасик и едва ли сможет выходить в ближайшие дни. Таким образом, к моим и твоим препятствиям прибавляется новое, отдаляющее переезд до той даты (на будущей неделе), когда будет готов дом и буду готов я и все выздоровеют. Мой главный «рубеж» — это 3 июля, день расчета в Сов. Пис<ателе>, когда я надеюсь какой-нибудь суммой около 10 тысяч вернуть деньги[2], израсходованные за это время на путевку, тебе, Стасику, Ан<не> Никандр<овне>, Скрябиной, приобретенье летних запасов Мар. Эдуард. и т. д. С 47-ми тысяч, имевшихся 10 июня, ко вчерашнему дню это все съехало до 43-х и теперь, когда я возьму две, частью для тебя (1500) и (500) для Мар. Эд. расходов, это опустится до 41, где мне бы хотелось остановиться и повернуть назад.

Отчего до 3-го мне надо быть тут? Оттого что, если не напоминать этим безобразникам хотя бы через день об их обещаниях, ничего не добиться. Я только вчера отослал «Генр<иха> IV» в Гослитиздат и Детгиз (я поссорился с Ириной Влад<имировной>[3]). Сейчас у меня на руках «Лир» для Гослитиздата. Того, что недавно я проделал со всем Шекспиром, и в том числе и с *этими* пьесами для «Искусства», им недостаточно: редактора каждого издательства должны показать свое особое, преувеличенное, как все показное и притворное, усердие. А потом, чтобы проверить Морозова, они из бдительности посылают все Смирнову[4]. Я месяца 3–4 проработал, таким образом, в этом году впустую.

Мне кажется, даже допуская переезд в любой из пожелающихся тебе дней, надо продлить тебе путевку после 1 июля на неделю-

другую. Этот хвост можно будет добирать и доедать и после вашего перехода в дачу.

Насчет путевки и насчет того, не прислать ли тебе в эти же дни еще денег, ответь сегодня же с Галей. Каждое утро можешь звонить когда хочешь, телефон у меня включен вследствие множества дел и разговоров, но вернее всего между 8-ю и 9-ю утра.

Все вообще очень хорошо. Не думаю, чтобы кровь твоя была опасна. Вылежись. Ну что тебе гнать все это так (с огородом, дачей и пр.) в такую жару. Не уйдет это.

Скрябиной устроил путевку в Музфонде и дал денег на ее приобретенье, осталось этот плод положить в рот, и то не сумела.

Ан<не> Андр<еевне> достал пособие в 3000 в Литфонде, надо было ей написать заявление, отказывается[5].

В ЦК и в Союзе разрешили издательствам дать ей переводную работу. Я позвонил Головенченко[6]. Скучающий высокомерный тон: «А? Ахматова? Да, говорили. Надо будет выяснить, умеет ли она переводить». Я послал его к чертям и бросил трубку. Сегодня ее рождение. Если можно, дай Гале немного ягод, я ей отнесу в подарок, если вечером будет время зайти.

Крепко тебя целую. Не волнуйся, пусть тебе не кажется, что переезд в опасности и его вообще никогда не будет, оттого что он все передвигается. Наоборот, все в этом году глаже и лучше, чем в прошлом. То, что дачу освободили и ремонтируют, *невероятно*!! Это достижение равносильно чуду. Кроме того, твое с Ленькой существованье на казенный счет[7] и моя скромная жизнь тут (с тобой все-таки *не из-за тебя, а ради тебя* было бы вино, гости какие-нибудь) и мое скромное существование здесь — временная и очень полезная экономия. И в отношении моего городского пребывания странно: жара не сравнится с прошлыми годами, пыль, клопы, работ вдесятеро больше, чем бывало, и посторонние заботы, которых в таком количестве не бывало никогда, а я чувствую себя отлично, хорошо работаю, все успеваю делать, словом, нет на свете границы человеческим силам, и нет нервов и утомления.

Еще раз целую тебя. Меня снова снимал Горнунг, и еще лучше. *Б.*

Обними и поцелуй Леничку. Я бы на твоем месте освободил бы твой высокий чемодан (переложил бы вещи куда-нибудь в другое место) и порожний с Погодиным прислал бы сюда для удобства новой укладки. А? Или это глупо?

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 62).

[1] Галина Сергеевна Нейгауз — жена Станислава.

[2] См. коммент. 2 к письму № 1056.

[3] *Ирина* Владимировна Воробьева — редактор классического отдела в Детгизе.

[4] Об отношении А. А. Смирнова к переводам Пастернака см. письмо № 1019.

[5] В бумагах Пастернака сохранилось заявление в Литфонд, написанное им и подписанное А. Ахматовой.

[6] Ф. М. *Головенченко* — директор Гослитиздата.

[7] Путевки в дом отдыха Литфонда были предоставлены со скидкой как членам профсоюза.

1059. Л. В. ГОРНУНГУ

26 июня 1948, Москва

26 июня 1948. Дорогой Лев Владимирович! На Кузнецком (кажется Кузнецкий 16 или 18) есть Книжная Лавка писателей, ею заведует Рахлин, Геннадий Моисеевич. Я говорил ему о Ваших карточках, зайдите, пожалуйста, к нему, мне кажется Вы с ним сделаете дело[1]. Мне думается, что у Вас всегда должны быть на руках две или три лучших пробных, для показа, и не надо расставаться с ними. А для меня не торопитесь.

Телефон Книжной Лавки К-4-42-39.

Сердечный привет Наталии Васильевне[2].

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф.

[1] Кроме просьбы в письме к А. Крученых № 1057 устроить Горнунгу заработок на фотографиях, Пастернак договорился об этом с зав. Лавкой писателей.

[2] Правильно: Анастасия Васильевна Петрово-Соловово, жена Л. В. Горнунга.

1060. С. Д. СПАССКОМУ

12 июля 1948, Москва

12 июля 1948

Дорогой Сережа! Я попрошу Анну Андреевну взять с собой один экземпляр первой книги романа для прочтения его тобою и твоими друзьями. Дописыванье этой части, ее переписка проис-

ходили в большой спешке. Я отдаю машинопись не только не просмотрев ее, но не имея времени даже взглянуть на нее[1]. Но существенных опечаток или описок, которые могли бы ввести в заблуждение или о наличности которых нельзя было бы догадаться, в рукописи не может быть. У меня на руках остается точная копия. Я задержался в городе и завтра переезжаю в Переделкино. Там я просмотрю эту музыку. Если бы что оказалось (в предвидении возможного переписывания в Ленинграде), я тебе сообщу исправления в письме с указанием страниц и строчек.

Теперь речь не об этом. А о самом общем. Справься, приехала ли А. А. и привезла ли вещь, зайди за нею и прочти ее. Напиши мне о своем впечатлении, если найдешь нужным. Скажи мне свое мнение прямо, без обиняков. Это слишком крупная претензия, отход мой и от окружающего обыкновения, и от предшествующих моих навыков, и от того, может быть, что остается и что надо считать искусством, так ясен и велик, что вся эта попытка где-то сопровождается какой-то долей раздражающей наглости и автора нечего щадить, может быть это совсем не так хорошо, как кажется в моем чтении, наполовину актерском, и может быть мне надо открыть глаза и меня надо проучить.

Пиши мне по городскому адресу Москва 17 Лаврушинский 17/19, кв. 72.

Имеющиеся стихи (Юрины) имеющие быть дописанными составляют одну из глав второй книги, после его смерти в 1929 году.

Целую тебя, *твой Б.*

Впервые: Собр. соч. Т. 5. – Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] О перепечатке первой книги романа, сделанной М. К. Баранович, см. письмо № 1061.

1061. М. К. БАРАНОВИЧ

14 июля 1948, Переделкино

14 июля 1948, Переделкино. Дорогая Марина Казимировна! Какая я неблагодарная свинья и как Вы, бедная моя, молчаливо это переносили! Только сегодня, 14-го, я удосужился взглянуть на чудо Ваших рук, на графическое произведение, заключающееся в Вашем первом экземпляре романа[1]. Я и все мои кругом потрясены внешним видом рукописи. Сколько души и труда надо было в это вложить, чтобы так получилось, никаким Мушкиным[2] не сни-

лось ничего подобного. Я не буду прикасаться к этому экземпляру и никому не дам его читать. Но тем более надо их сшивать[3]. Это обязательно.

Без конца Вам благодарен и восхищен. *Ваш Б. П.*

Впервые: Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по штемпелю на открытке.

[1] М. К. Баранович перепечатала первую книгу «Доктора Живаго».

[2] Нина Леопольдовна Мушкина — машинистка, которая обычно печатала Пастернаку.

[3] Во избежание выпадения страниц при чтении все дальнейшие перепечатки частей романа М. К. Баранович неизменно снабжала обложками и сшивала. Эти машин. широко ходили по рукам, посылались в провинцию и места ссылки, передаваясь от одного к другому.

1062. О. Л. ЛЕОНИДОВУ

14 июля 1948, Переделкино

14 июля 1948 г.

Дорогой Олег Леонидович!

Я уехал на дачу, не доведя до конца дела, по поводу которого я иногда Вам надоедаю. Зинаида Капитоновна обещала деньги, назначенные Анне Андреевне[1], перевести на Ленинградское отделение Литфонда, чтобы там ее об этом известили и там же на месте ей и выплатили. Но когда перед отъездом я З. К. об этом спросил, она еще не имела возможности исполнить свое обещание.

Боюсь, как бы вследствие перегруженности Литфондовского персонала другою работой это дело не заглохло без моих напоминаний, и решение правления не осталось без практических результатов.

Последите, пожалуйста, за этим и проверьте, что сделано в этом направлении, очень прошу Вас.

Заранее Вам за все признательный

Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2580, оп. 1, ед. хр. 115).

О. Л. Леонидов — председетель Литфонда.

[1] *Зинаида Капитоновна* Улина — секретарь в аппарате Союза писателей, от которой зависела выплата вытребованной Пастернаком ссуды для А. А. Ахматовой (см. письмо № 1054).

1063. С. Д. СПАССКОМУ

20 июля 1948, Переделкино

20 июля 1948 г.

Дорогой Сережа!

Я наконец выбрался в Переделкино, на первое время без выезда, чтобы двинуть Фауста, за которого я только-только принялся[1], и пишу тебе, находясь в совершенной неизвестности насчет следующего: 1) выехала ли уже Анна Андреевна из Москвы, 2) смогла ли она, по условиям багажного веса, захватить с собою рукопись[2] и 3) в Ленинграде ли ты вообще, и доходят ли до тебя мои разнообразные покушения.

Зато я привел в ясность вопрос о рукописи романа, и, во-первых, налицо ли в твоем экземпляре 149 страница, затесавшаяся в мой экземпляр в двойном числе? Это надо бы мне знать, чтобы дослать тебе ее. Во-вторых, найди, пожалуйста, способ сшить страницы, а то они перепутаются или затеряются. В-третьих, и это важнее всего, так что, собственно, я с этого должен был бы начать, в-третьих, в тексте все же много ошибок переписчицы[3] (например, на стр. 11 два раза у нее *идеал*, а у меня было *идея*, у меня: *кружишься, кружишься*, а у нее *кружиться, кружиться* и пр.) и еще больше моих собственных грехов, фраз, которые я должен был бы выбросить, лишние перегрузки мест, требующих небольшого упрощения и облегчения. Напр., на стр. 92 слишком затянут разговор о смерти. Вычеркни, пожалуйста, 3 последних строчки страницы, начиная со сл<ов>: И вот хоть убейте меня... Отсюда вывод, что не только не надо отдавать это в переписку, но, наоборот, при первом удобном случае пришли мне рукопись с оказией для правки (или просто заказной бандеролью по почте).

Что же касается твоего собственного ознакомления с ней, то меня эти мелкие недочеты, в некоторых случаях раздражающие, не пугают. Существенной помехой для тебя они не будут и настолько не играют роли, что я поступил правильно, послав тебе непросмотренную и, в некоторых своих слоях, неотлежавшуюся рукопись. На отбор и шлифовку, на осмотрительность и неторопливость ушло столько лет жизни, что теперь только и осталось, что не тратить времени даром и торопиться. На свете мало кто способен понять так хорошо, как ты, о чем это и для чего, так что, если только это не слишком плохо, это доставит тебе радость[4]. *Твой Б. П.*

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] Начало работы над переводом I части «Фауста»; договор был заключен 20 мая 1947 г. с обязательством сдать работу не позже 1 мая 1948, отсрочка, вытребованная 26 марта, продлевала срок сдачи до 2 сент. 1948 г. (РГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 863). Перевод был окончен в марте 1949 г., его объем составил 5091 стихотворную строку.

[2] Пастернак просил А. Ахматову взять с собой машин. первой книги «Доктора Живаго» для С. Спасского (см. письмо № 1060).

[3] Пастернак послал Спасскому машин., не успев исправить опечатки.

[4] Спасский восторженно отозвался о прочитанном (см. коммент. к письму № 1065).

1064. А. С. ЭФРОН

9 августа 1948, Переделкино

9 августа 1948

Дорогая Аля!

Спасибо тебе за письмо, но отвечаю наспех, и так же наскоро, не глядя, исполняю твою просьбу[1]. Сообщи, дошло ли. Года три тому назад было предположение выпустить все мои переводы Шекспира отдельным собранием (есть еще хроника «Генрих Четвертый, обе части и «Король Лир»). Тогда я написал вступительную статью к собранию, оттиск которой (т. е. машинопись) посылаю тебе с книгами[2]. Последние годы, когда я только и научился писать, все мои работы остаются ненапечатанными и неизвестны никому. Но это в порядке вещей, это гармонирует с остальными сторонами жизни и меня не огорчает. Вообще все очень хорошо у меня, я много успеваю и хорошо себя чувствую, но у тебя обо мне неправильные сведения, жена моя жива и здорова и я с ней не разводился[3].

Средства к существованию я зарабатываю переводами, часто очень серьезными и оправдывающими себя, например сейчас перевожу Фауста, а урывками, редкими и непродолжительными, пишу свое, гораздо, на мой взгляд, свободнее, досказаннее и лучше, чем раньше. Последнее время я писал роман в прозе, написал первую книгу (он будет в двух) и буду продолжать, когда освобожусь от Фауста. Я не могу тебе его послать, да он и не понравился бы тебе, но одна из глав второй книги (это долго объяснять, как и почему) будет представлять тетрадь стихотворений одного человека, умирающего в 1929-м году (эту тетрадь найдут после его смерти) и часть стихов, написанных для этой будущей главы, я прилагаю.

Если бы я не писал тебе так торопливо и уступил напоминаниям твоего письма[4], охам, ахам и воспоминаниям конечно не было бы конца. Но лучше этого не делать. Напиши, прав ли Крученых, говоря, что тебя зовут Ариадной. Я всегда знал тебя Алей и думал, что это Александра. Это вообще мне надо знать, а в частности и на случай, если у меня будет возможность послать тебе что-нибудь еще, чтобы не перевирать твоего имени в адресе.

Асеев не ошибается, ответив тебе о маминой могиле, что неизвестно, где ее похоронили! Таково общее убежденье, так всегда отвечали мне, когда я расспрашивал потом людей в Чистополе и бывших в то время в Елабуге[5]. Но я согласен с тобою, что личные неторопливые розыски на месте (и наверное дольше) могли бы к чему-нибудь повести. В этом смысле вызывался съездить туда и навести справки мой и Асеевский добрый знакомый в Чистополе, Валерий Дмитриевич Авдеев (г. Чистополь Татарская Автономная республ<ика>, ул. Карла Маркса 74), ботаник и историк края, понемногу занимающийся всеми искусствами и чтящий мамину память, с которым я списывался по этому поводу весной, но я думаю, эту просьбу к нему надо отложить до того времени, когда ты сможешь туда собраться.

Целую тебя. От души тебе всего лучшего. Не унывай (это не безответственные слова, а совет, твердый и продуманный).

Твой Б.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. С. Эфрон была освобождена из лагеря 27 авг. 1947 г.; сохранилась переписанная А. Е. Крученых записка Пастернака к ней в лагерь 3 мая 1947: «Дорогая Аля! Я Вам писал раза два, но это конечно не оправдание. Может быть с дачи напишу побольше. Держитесь и не унывайте, надо свидеться. Всего лучшего. Крепко обнимаю Вас. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 71). Освободившись, А. Эфрон поселилась в Рязани и преподавала в Художественной школе. В письме 1 авг. 1948 она просила Пастернака прислать ей «Ромео и Джульетту» для учащихся театрально-декоративного отделения. «Ты мне присылал туда, но в тех условиях уберечь их не удалось», — намекала она на условия лагерной жизни (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 301).

[2] Имеются в виду «Заметки к переводам Шекспировских трагедий» (1946).

[3] А. С. Эфрон писала: «Мне говорили, что ты женился. Правда? Если так, то это хорошо. Особенно на первых порах» (1 авг. 1948; там же. С. 302).

[4] В конце письма 1 авг. 1948 А. Эфрон вспоминала свое первое знакомство с Пастернаком в Париже в 1935 г.

[5] Из письма А. Эфрон: «Асеев писал мне, что мамину могилу разыскать невозможно. Не верю» (там же. С. 301). Расспросы Пастернака о могиле Цветаевой см. в письмах № 887, 1050.

1065. С. Д. СПАССКОМУ

14 августа 1948, Переделкино

14 авг. 1948 г.

Дорогой Сережа! Не обижайся, пожалуйста, на то, что о радости получения твоего большого значительного письма я извещаю тебя действительно лишь открыткой. Сколько в нем удивившего меня понимания и сколько доброты и щедрости проявил ты, не пожалев затратить на меня столько времени![1] Я вынужденно тороплив, ты должен простить меня. Именно для того чтобы продолжать работу в том духе, как ты пишешь, я должен залпом и галопом одолеть Фауста, чем в настоящее время и занят. Крепко целую тебя. Еще раз за все тебе спасибо. С рукописью поступай как найдешь нужным, давай читать кому хочешь, с оговорками, что она не правлена. Как только освободится, пришлю тебе взамен этой правленую. Мне хочется очень многого, я не могу рассказать тебе все. Обнимаю тебя. Зина тебе кланяется.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

[1] В письме 28 июля 1948 Спасский поздравлял Пастернака с «большой удачей» и приобретением нового качества, отсутствовавшего в прежних прозаических работах. Особенно взволновало его живое присутствие образа Христа, которым проникнуто все, «и уверенность и прямота речи, и волевой тон автора, и чувство, что художник имеет право на создание книги, на новизну и свободу высказываний <...> в самом этом образе задана вся человеческая свобода...бесстрашная, все превозмогающая сила добра <...> такая тема относится не к прошлому, а всегда лежит в настоящем и в нашем настоящем — особенно <...> Я думаю, нам даже трудно представить, какой резонанс вызовет такая работа, даже при самой неблагоприятной ее внешней судьбе».

1066. Н. МУРАВИНОЙ

20 августа 1948, Переделкино

20 авг. 1948. Дорогая Нинель![1] Большое Вам спасибо за письмо. Там очень хорошо и местами замечательно описана экскурсия, обход парка и усадьбы и вся эта тихая бедственность и несу-

разность, замечательны слова о Толстом и о лесе[2]. И страшно трогательно Ваше желание порадовать меня, которое во много раз превосходит возможности материала, отчего Вам приходится впадать в мистику и аффектацию, сообщая особый смысл вещам и обстоятельствам, в которых не было ничего особенного. Но в этом ни Вы, ни я не виноваты. Не вступайте со мной в спор по этому поводу. Во всяком случае еще раз спасибо за письмо, полное жизни и очень важных мыслей, за исключением двух-трех мест некоторой манерности (это от меня, это я Вам повредил). Через месяц у меня будут экземпляры первой книги романа, я тогда извещу Вас и дам Вам один на подержание. Сейчас начал переводить «Фауста». Он очень хорошо идет у меня.

Ваш Б. П.

Впервые: Revue des Études slaves. LV/4. Paris, 1983. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] В публикации: Нина.

[2] В письме 9 авг. 1948 Н. Муравина описывала автобусную экскурсию в Ясную Поляну.

1067. Б. К. ГУБАРЕВУ

7 сентября 1948, Переделкино

7 сент. 1948

Дорогой Борис Кириллович!

Весною я немного торопливее, чем может быть следовало бы, свел воедино то, что называю я первою книгой романа. Перед тем, как приступить ко второй, мне придется попереводить и, естественно, я хотел бы сократить этот перерыв, как только в моих силах.

Сейчас с увлечением и очень второпях перевожу первую часть Гётевского Фауста, мне хочется довести перевод этой части до конца к 1 января[1]. Я всегда в очень торопливых трудах, вот отчего не отвечаю Вам.

Хочу попробовать послать Вам экземпляр романа, очень бледный оттиск, я не знаю, разберете ли Вы такую слепую печать. С другой стороны, мне конечно хотелось бы, чтобы Вы дали его почитать, кому найдете нужным. Пришлю также как-нибудь и карточки, не забуду.

Будьте здоровы.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 1, д. 3).

[1] Работа растянулась до марта 1949 г.

1068. З. Н. ПАСТЕРНАК

22 сентября 1948, Переделкино

22 сент. Дорогая Зиночка! Так как с середины недели живешь ожиданьем вас, то было бы очень хорошо, если бы вы все-таки приехали в субботу[1]. Хотя тут тоскливо и холодно, но в общем почему-то спокойно и хорошо для здоровья. Очевидно, в моей жизни это глубоко укоренившаяся слабость: я люблю топить печи, т. е., в холода, когда есть дрова, люблю быть господином положения, люблю тепло, обеспеченное моими собственными руками, люблю не зависеть ни от кого в этом отношении. Вот отчего я всегда засиживался осенью и любил тут зимовать. В холодное время здоровые условия: тепло, хороший стол, здоровый и долгий сон, свет лампы и плодотворный труд — как-то облагораживаются и проникаются каким-то высшим поэтическим смыслом, не то что летом.

Кроме того, позапрошлая неделя, потраченная на унизительные корректуры, так опустошила меня, что на прошлой неделе (перед вашим приездом), которую я посвятил опять Фаусту, я работал неважно, надломленно и бессильно, и только на этих днях это у меня снова пошло по-прежнему. Короче говоря, если не очень похолодает и хватит на эти предположения дров, я бы остался еще на полторы недели, с тем чтобы к будущему воскресенью (через одно) мы уложили все, что не нуждается в твоем участии, а ты в воскресенье завершила бы эту укладку, и затем мы переехали в понедельник (4 окт<ября>).

1) Если нет никаких писем, напиши хоть ты мне пару слов. Такое свинство — не получать ничего ниоткуда!

2) Картин не развешивай. Даже и я думаю их развесить не сразу. Вместе с поломанными, для переостекления, я отвезу Ольге Ал<ександровне>[2] несколько папиных записных книжек, чтобы стекол пять или десять лучших его рисунков они отобрали там и окантовали. Там есть вещи замечательные, вроде кормления, или еще лучше.

Если позвонит Кун[3], в вежливой форме попроси ее, нельзя ли ускорить реализацию Петефиевской книжки в Детгизе.

Если позвонит Баранович и окажется, что она заканчивает переписку романа (она перед Коктебелем прервала переписку, нескольких экземпляров и почти не возобновляла), передай ей мою благодарность и просьбу, чтобы она спокойно и медленно, в течение нескольких дней, проверила сделанное и затем ждала

моего появления. Она нам ничего не должна, эта работа погашает ее задолженность. Расскажи ей, что сказал Ник<олай> Ник<олаевич> о «Фаусте»[4]. Если позвонит Ольга Никол<аевна> (из Искусства[5]), скажи, что, если у нее будет время читать и ей будет интересно, я дам ей прочитать на несколько дней роман.

Завтра, 23-го (в четверг), рождение Жени (его)[6]. Было бы необыкновенно великодушно с твоей стороны, если бы ты позвонила: К 1-47-26 — и поздравила его от моего имени.

Сегодня прибывает тело бедной Дженни[7]. Это тут объявили, и многие отправились в Москву (может быть, и ты участвовала во встрече), но я лучше поработаю, мне дорога каждая минута.

Если кто-нибудь звонил или было что-нибудь интересное, черкни мне, пожалуйста. Целую тебя и Леничку. *Твой Б.*

Впервые: Вестник РСХД, № 106. Париж–Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 62).

[1] С началом учебного года З. Н. Пастернак переехала в Москву.

[2] Речь идет о развешивании картин Л. О. Пастернака; художница О. А. Айзенман и ее муж Семен Борисович помогали Пастернаку с окантовкой картин и выбором рисунков.

[3] Агнесса *Кун* занималась изданием сб. Ш. Петефи.

[4] Н. Н. Вильям-Вильмонт был редактором перевода «Фауста» и автором предисловия, в котором писал о «вдохновенной, поэтической» передаче его текста «с той неукротимостью, почти буйством фантазии, которые отличают великий подлинник» (И.-В. Гёте. «Фауст», 1953. С. 34).

[5] О. Н. Олидор — редактор изд-ва «Искусство», где печатался сб. переводов Шекспира, корректуры которого Пастернак правил «позапрошлую неделю».

[6] Е. Б. Пастернаку 23 сент. 1948 г. исполнялось 25 лет.

[7] Евгения Бернгардовна Афиногенова погибла 2 сент. 1948 г. при пожаре парохода «Победа», возвращавшегося из Америки.

1069. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

29 июня — 1 октября 1948, Москва, Переделкино

29 июня 1948 г. Дорогая Олюша! Как это горько, что родовые драмы так повторяются! Теперь ты меня наказываешь своим молчанием или даже полным исключением из твоего сердца за мой эгоизм, за то, что мои чувства — «слова, слова, слова», «литература», что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге.

1-го октября. Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе (Зина жила уже на даче), как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче.

Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время кроил и перекраивал семь переведенных своих Шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там.

А теперь я с такою же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гётевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности[1].

Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой, и что-нибудь напиши мне о себе или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру[2]. Я ее люблю ничуть не меньше тебя, то, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит, как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного. Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок[3] и не только тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать

лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас.

Все мы живы и здоровы, и Женя с Женичкой, и Шурина семья, все у нас в порядке.

Удостой меня, пожалуйста, хоть строчки-другой от себя (не трать времени, не надо писать много). Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, и хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности (в университете ли ты?), и наперед боюсь этого.

Твой Боря

И кланяйся тете Кларе, Владимиру Ивановичу[4], Машуре и всем их близким.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Формулировки Древнего Рима в репликах Н. Н. Веденяпина отражают отношение Пастернака к современному язычеству сталинской эпохи.

[2] Двоюродная сестра Пастернака Мария Александровна Маркова.

[3] Имеются в виду Ольга Всеволодовна Ивинская и Ольга Федоровна Берггольц.

[4] К. И. и В. И. Лапшовы.

1070. А. С. ЭФРОН

10 октября 1948, Москва

10 окт. 1948. Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой тезки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной французской вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоятельной, непреодолимой потребности показать ее еще кому-нибудь, я попрошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Если это тебе покажется в бытовом отношении неудобным, то в таком случае я попрошу тебя написать мне об этом и вернуть рукопись по почте мне. Я все время жил в Переделкине. Мой младший сын однажды сказал, что мне звонила по телефону Ариадна Сергеевна. У нас есть знакомая Ариадна Борисовна, может быть это была она и он спутал[1]. Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Письмо послано в Рязань.

[1] «Я недавно была в Москве несколько дней, — отвечала А. Эфрон 14 окт. 1948, — звонила тебе, мне сказали, что ты — на даче, так что сын твой не спутал, это была именно я» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 311).

1071. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ, К. И. и В. И. ЛАПШОВЫМ

Середина октября 1948, Москва

Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович! Оля, ты так чудно написала о тете Кларе и В<ладимире> И<вановиче>, что я вдруг увидал ее, молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура[1]. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу каждый, может быть, рукопись мне потом понадобится.

Наверное, эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон, Юра умрет в 1929-м году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.

Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая, но для того, чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для напечатанья), я должен заниматься переводами, и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно, в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гётевского Фауста (1-ю часть) и одного венгерского классика[2]. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений и хочется работать, как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался, — но что делать, спасибо и на том.

Но если вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодарение Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.

Ваш Боря

Жалко, что я такое пугало, если бы я был так красив, как тетя, я только бы снимался, но так как мы давно не видались, то вот две-три фотографии для осведомления.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] М. А. Маркова, дочь К. И. Лапшовой, позвонила Пастернаку и виделась с ним на обратном пути из Кисловодска.

[2] Шандор Петефи.

1072. А. К. ТАРАСЕНКОВУ

18–19 октября 1948, Москва

18–19 октября 1948 г.

Толя, вот я сделал все, что советовал ты и Матусовский[1]. Окончательные строчные исправления по его отметкам (очень немногочисленные) я сделаю в процессе производства, в гранках или даже верстке, это пустяки, а я сейчас страшно занят.

Это записка на случай, если я тебя завтра не застану. Если мне не удастся объясниться с М<ихаилом> Л<ьвовичем>, надо уяснить главное: я так понял, что он своими сомнениями валит возможность, предоставленную Союзом Писателей, и спокойно мимо этого проходит, в вооружении всей современной софистики, — а тогда этому, правда ведь, не было бы имени, не правда ли?[2]

А если наоборот, то тогда виноват, виноват, но почему, чудак, он сразу же не вывел меня из заблуждения?

Всего лучшего вам обоим. *Б.*

В книге 3315 строк. Старых просьб (о догов<оре> и т. д.) не повторяю.

Впервые: «Новый журнал», № 156. Нью-Йорк, 1984. — Автограф (собр. Т.-П. Уитни, Йельский университет).

[1] Михаил Львович *Матусовский*, поэт, редактор изд-ва «Советский писатель».

[2] По словам Матусовского (15 мая 1985), у него было два письма Пастернака и автограф оглавления «Избранных переводов», которые были

утеряны. По-видимому, судя по письмам № 1093 и 1094, Пастернак выяснил, что издание «Избранных переводов» было «завалено» не Матусовским, а Тарасенковым.

1073. А. С. ЭФРОН

6 ноября 1948, Москва

6 нояб. 1948. Дорогая Аля! Я тебе до сих пор не ответил. Я все время занят, мне хочется писать роман дальше, мне многого хочется, а приходится гнать Фауста, это так ужасно. Устроились ли твои рязанские дела, добилась ли ты тогда Жарова и остаешься ли в Рязани?[1] Сообщи мне об этом. Если тебе трудно, я опять некоторое время спустя постараюсь что-нибудь сделать[2]. Рукопись можешь держать сколько угодно, мне очень интересно будет посмотреть твои рисунки[3], но прочла ли ты ее, вообще говоря, и что ты о ней думаешь? У меня есть круг задач, которые я себе поставил, я определенно знаю, чего хочу и что надо мне сказать, но надо зарабатывать, т. е. переводить, и это я стараюсь сделать как можно скорее, чтобы не задерживаться. Отсюда постоянная спешка. Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] В письме 26 авг. 1948 А. Эфрон писала Пастернаку о поступившем указе, по которому ссыльные не могли работать в системе народного образования, и боялась, что ей придется уехать из Рязани. Ее надежды на заступничество депутата от Рязани поэта А. А. Жарова оправдались, ей разрешено было остаться на прежней работе.

[2] Речь идет о денежном переводе; получив посланный в начале сентября, А. Эфрон благодарила Пастернака: «Дорогой Борис! Прости за глупый каламбур, но — все твои переводы хороши, а последний — лучше всех» (5 сент. 1948; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 306).

[3] «Скажи, сколько времени можно читать книгу, — спрашивала А. Эфрон о полученной машин. романа, — <...> мне бы хотелось иллюстрировать ее, <...> попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мерещатся, уловить их...» (14 окт. 1948; там же. С. 311–312).

1074. Б. Г. ОРЛОВУ

6 ноября 1948, Москва

6 ноября 1948 г.

Милый Борис Орлов (Вы мне не указали Вашего отчества)! Я виноват перед Вами. Я не ответил Вам, не сказал Вам тех не-

скольких теплых ободряющих слов, которые Вы заслужили. Но я все время в неустанных и очень спешных трудах. То перевожу что-нибудь (сейчас, например, I-ю часть Гётевского Фауста), то пишу свое, причем последнее без какой бы то ни было практической пользы. Кроме того — сложная кругом жизнь, многим очень трудно, на все это уходит время.

Вас напрасно так холодно отвадили Инбер и Берггольц (как пишете Вы сами). У Вас, в особенности в нескольких коротких зимних стихах много настроения и той истинной живописности, которые составляют душу художественного творчества, без чего оно немыслимо. Правда, это обобщенное творческое чувствование жизни, пусть местами и закрепленное на странице, может быть лишь предчувствием искусства, хотя и главным. На этой ступени дело обыкновенно не остается, оно должно быть двинуто дальше.

Что выводит наши опыты из стадии дилетантской приблизительности? В разное время это бывает по-разному. То это (как во времена литературного упадка, предшествовавшего символистам) большее, нежели привычное, богатство словаря и превосходство художественной техники, то что-нибудь другое. В наше время именно эта техническая грамотность, это мастерство, выработанное символистами и нами, их продолжателями, именно эта грошовая, широко распространенная оснащенность составляет существенную часть и отличительный признак нынешней любительской неопределенности.

Именно деятельность, остановившаяся на одном только владении средствами современного выражения и хотя бы из недр своего мастерства (если больше неоткуда) не почерпнувшая внушения рвануться куда-то дальше, является нынешней формой бессилия и половинчатого дилетантства.

В наше время, как никогда, кажется мне, искусство есть прежде всего напряженное, нетерпеливое, властное, предельно ясно себя сознающее и особое (одно для всех) мировоззрение, и с полдороги полудел и недоговоренностей, от неисчислимой бездны правых и неправых, тупых и способных на свободный простор действительного творчества может вывести только настойчивая определенность дорогóй вам, жизненно для вас важной мысли.

Все эти вещи разрешены и установлены в теории лишь для такого круга явлений, которые по своей малости как раз не показательны для бесконечности, отличающей стихию творчества.

И положения этой теории, терминология ее и весь набор понятий, которыми орудует критика, все это тоже обладает силой лишь для художников самых слабых, робких и бледных, в чем опять-таки чрезвычайно мало радости.

Во Фрунзе ли еще Кулиев и Орловская? Пусть кто-нибудь из них сообщит мне открыткою о своих делах и здоровьи. В непродолжительном времени я пошлю для всех Вас по адресу Елены Дмитриевны рукопись первой книги моего романа.

Прилагаю несколько фотографических карточек для них (они как-то просили), я выхожу на фотографиях всегда очень плохо, пусть раздадут двойники кому хотят.

От души всего Вам лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: Борис Пастернак. Об искусстве. М., «Искусство», 1990. — Местонахождение автографа неизвестно. Печатается по машин. копии.

Борис Георгиевич Орлов — молодой поэт, живший во Фрунзе и познакомившийся с Кайсыном Кулиевым и Е. Д. Орловской, которая переслала Пастернаку его стихи.

1075. А. С. ЭФРОН

12 ноября 1948, Москва

12 нояб. 1948 г. Дорогая Аля! Если ты без особенного ущерба можешь расстаться с рукописью и если исполнение моей просьбы не сопряжено для тебя с какими бы то ни было бытовыми неудобствами, отправь ее, пожалуйста, по почте, тем же способом, каким она была доставлена к тебе, по такому адресу: гор. Фрунзе, Киргизской СССР, главный почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Я буду тебе очень благодарен. И, если можно, не откладывай[1]. Не уверен, в Рязани ли ты, но думаю, что в случае непредвиденного отъезда ты бы меня об этом известила. Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] На эту просьбу А. Эфрон отвечала 20 нояб. 1948: «Дорогой злой Борис! Позволь на этот раз не послушаться тебя и не быть тебе другом, и не отсылать (пока еще) "его" во Фрунзе, и "делать себе из него муку" и "тратить на него свои вечера". Тем более, что ты только что, совсем недавно, разрешил мне все это» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 314).

1076. Л. В. ГОРНУНГУ

19 ноября 1948, Москва

19 нояб. 1948 г.

Дорогой Лев Владимирович!

Зинаида Николаевна хочет попросить Вас окантовать два снимка, сделанных в школе с Лени.

Перед этим может быть Вам удастся сделать несколько (штук 5—10) увеличенных отпечатков со снимка, сделанного Вами тогда весной в верхней комнате за столом. Прилагаю дурную перепечатку с него, переснятую не Вами, только для ясности, чтобы Вы знали, о чем речь. Я где-то (наверное, у Марины Казимировны) видел карточку такого же размера, с лицом, занимающим больше места на ней, вследствие увеличения. Не могли ли бы Вы их мне отпечатать несколько штук (того же размера, который входит в конверт).

Зайдите как-нибудь к нам, когда они будут готовы, часов около 4-х, может быть, предварительно позвоните[1]. Привет Вашей жене.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф.

[1] Горнунг описал свой приход к Пастернаку в Лаврушинский пер. Пастернак «говорил, как он далек сейчас от писательской организации и как ему трудно стало бывать на общих собраниях <...> о том, какими стали сейчас люди, тут же ему пришло в голову сравнение. Он сказал, что Сталин напоминает ему светофор. Он что-то скажет, как бы дает какой-то свет, зеленый или красный, и все бегут в одну сторону и говорят только об одном, он даст другой свет, и все бросаются в противоположную сторону». В тот день Пастернак надписал Горнунгу книгу «Второе рождение»: «Льву Горнунгу. Дай нам Бог когда-нибудь из всего этого выбраться и успеть собраться с мыслями. Всего Вам лучшего! *Ваш Б. П.* 4 дек. 1948» (Воспоминания. С. 86).

1077. К. КУЛИЕВУ

25 ноября 1948, Москва

25 ноября 1948

Дорогой Кайсын!

Спасибо Вам за Ваше порывистое горячее письмо. Вы пользуетесь полною моею взаимностью. У меня есть мысли о Вас, которые я мог бы сейчас же сообщить Вам или записать для памяти, но у меня нет времени, и я их все равно не забуду. Или вот они в двух словах.

Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько все равно каких, нравственных, душевных или физических задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя (а это ведь очень удобно: каждый всегда под рукой у себя), на примере самого себя, на примере именно этих выступающих определенных качеств рано убеждается он, как хорошо и в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое, и на всю жизнь пристращается к самосовершенствованию и охватывается тягой к совершенству.

Прирожденный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе. Но не этим поразителен талант. Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны.

Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта породистость струны или натянутой тетивы, и это счастье.

Про это я Вам и хотел написать, но таких вещей не пишут с кондачка и на фуфу, жалко, что я это скомкал.

Я просил дочь Марины Цветаевой послать Вам и Елене Дмитриевне (как она и во Фрунзе ли?) рукопись романа из Рязани, где она живет, но она не хочет[1]. Дело только откладывается, я Вам вышлю, когда освободится мой экземпляр. До этого не пишите мне (тяжело и неприятно не отвечать), потом напишете сразу.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9 (с купюрами). — Автограф (собр. А. Кулиева).

[1] См. письмо № 1075 и коммент. к нему.

1078. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

28 ноября 1948, Москва

28 нояб. 1948

Дорогая Елена Дмитриевна!

Я успел уже написать Кайсыну до получения Вашего письма и потому не смогу в точности исполнить Вашу просьбу. Я понимаю, насколько Вас, как близкого друга его, могут иногда огорчать обстоятельства, о которых Вы пишете, но общих тревог Ваших не разделяю: все это бывает в жизни, через все это можно и надо пройти.

Спасибо Вам за Ваше большое письмо. Ни в чем Вы передо мною не виноваты и напрасно потратили столько времени и душевных сил на подробный разбор отдельных стихотворений, но одно место я непроизвольно подчеркнул, Ваше понимание «Чуда» безошибочно и поражает точностью совпадения со вложенной в него мыслью: смоковница это именно «придорожная» действительность на пути мимоидущего времени, всегда одухотворяемого будущим (но тут нет оглядки на себя и ничего авторского).

Романа я не смогу прислать так скоро, как предполагал, все это складывается по-другому[1].

Еще раз большое, большое спасибо и от души всего лучшего Вам.

Ваш Б. П.

Я спешу Вам ответить, во избежание недоразумений там у Вас на месте, в самое неудобное для меня время, и оттого так отталкивающе немногословен: не относите этого, Боже избави, ни к Кайсыну, ни к себе.

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Судя по почтовому штемпелю на бандероли из Рязани, А. С. Эфрон послала рукопись 2 дек. 1948 г.

1079. Н. МУРАВИНОЙ

28 ноября 1948, Москва

28 ноября 1948 г. Дорогая Нинель![1]

Условившись тогда с Вами, чтобы Вы позвонили мне, я не рассчитал, как Вы воспитаны и благородны и не поторопитесь воспользоваться этим уговором. Это делает большую честь Вам.

Собственно Вам не надо брать романа на прочтение, $^3/_4$ рукописи Вы знаете[2], но как бы то ни было, ее до сих пор у меня нет, и когда такая возможность явится, я извещу Вас открыткой. Непростительно с моей стороны, что я принял тогда Ваше подношение и не догадался нагнать Вас и вернуть корзину[3].

Ее очень скоро стали уплетать всем семейством с жадностью и восторгом. Но если Вы хотите быть и дальше знакомы со мной, чтобы больше никогда этого не было, ни кинжалов, ни чего бы то ни было. От души всего лучшего Вам. Я Вас извещу о рукописи.

Ваш Б. П.

Впервые: Revue des Études slaves. LV/4. Paris, 1983. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] В публикации: Нина.

[2] Н. Муравина присутствовала на чтении первых глав романа 11 мая 1947 г. у Серовых.

[3] Н. Муравина принесла Пастернаку корзину с фруктами и вином.

1080. Н. ТАБИДЗЕ

28 ноября 1948, Москва

Дорогая Ниночка, я Вам написал противное и слишком торопливое письмо, а главное, слишком слабо выразился насчет вина, которое так густо и гениально, что требует совсем особого обсуждения![1] Куда годятся против него польские эксперименты прошлого лета, помните?

Дорогая Нина, не сердитесь на меня, когда я бываю свиньей, я тоже всегда тороплюсь и вечно в напряжении, простите меня. В Цхалтубо выехал Гарик, на обратном пути Вы его наверное увидите. Дайте непременно роман Куфтиным[2].

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, № 021912, 10). Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Имеется в виду письмо 25 нояб., в котором Пастернак писал: «Большое Вам спасибо за вино, яблоки, сласти и носки, такие красивые, что их хочется не носить, а повесить на стену. И все-таки, несмотря на прелесть вина и такого сладкого сорта яблок, зачем, зачем Вы тратились и утруждали себя» («Литературное обозрение», 1988, № 5. С. 102).

[2] «Дорогая Нина, — писал Пастернак 25 нояб., — не думайте, что это тщеславие или постоянная поглощенность самим собою, но вопрос, помнят ли меня, и судьба рукописи совершенно разные вещи. Если бы роман был уже напечатан, книжек этих было бы очень много и меня не ин-

тересовала бы участь каждой, я дарил бы их близким людям для бережного их хранения. Но так как эта вещь не дописана и еще не может быть напечатана, а также потому, что списков очень мало, три-четыре штуки, нельзя, чтобы рукопись долго лежала без движения. <...> Дайте роман, *с обязательным приложением стихов*, почитать Куфтиным, которые к Вам обратятся с этой просьбой» (там же).

1081. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 ноября 1948, Москва

30 нояб. 1948

Дорогая моя Олюшка!

Как поразительно ты мне написала![1] Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти[2], а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки[3]. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.

Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было *только* авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясение, — папа, его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи отхватывать по нескольку работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустьи.

Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующе, возмущающе-мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей, и что-то в этом роде — ты, наше возвращение из Меррекюля летом 1911 г.

(Вруда, Пудость, Тикопись)[4], и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть *я старался*.

Прости, что я наспех навалял тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них собственно надо было бы начать новое письмо, разорвавши это, но когда я его напишу?

Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же М. Ц<ветаева> и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла — Маяковский, — удивительно даже, что я его назвал.

Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда *у тебя* минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь.

Спасибо, что, несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфоресцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была вправе рассматривать ее, как вторгшееся лишнее, и не хотеть ее существования.

В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас Фаустом.

Всего тебе лучшего. Крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения, *это из таких именно* вещей[5].

Будь здорова. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Прочитав рукопись первой книги «Доктора Живаго», О. Фрейденберг писала: «Это жизнь — в самом широком и великом значеньи. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной» (29 нояб. 1948; там же. С. 273).

[2] «Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь как кровное свое дело» (там же).

[3] Желание договаривать все до конца, несмотря на ясное сознание опасности своей работы над романом. Под словами об ошибках имеются в виду аресты людей, не успевших высказаться и погибших случайно, «по ошибке», а не за дело.

[4] Имеется в виду лето 1910 г., символом которого стали финские названия железнодорожных станций под Петербургом. «А Вруда и Тикопись, ты права, — какие-то святые Дары. С ними нужно являться в решительные минуты неверия» (там же).

[5] Имеется в виду работа О. Фрейденберг «Происхождение эпического сравнения на материале Илиады» (см. письмо № 1012).

1082. А. С. ЭФРОН

2 декабря 1948, Москва

2 дек. 1948 г.

Ангел Аля, ты мне написала за всех и лучше всех. Вероятно ты права, и как-нибудь в другой раз, когда я буду посвободнее, я тебе объясню, как это все получилось[1]. Я *подчинял* себя и эту вещь обстановке, в которой она возникала, а не *освобождал* ее от нее, как это всегда бывает в искусстве. Я ссылаюсь на сумасшествие ее возникновения (наперекор окружающим условиям) не как на оправдание ее недостатков, а как на добровольно допущенное ее содержание, как на составную часть ее стиля, мне казалось, что вещи можно позволить быть не только изображением прошлого, но и несчастным отпечатком настоящего, загнанным, задыхающимся и стесненным. Если даже торопливость моя была непрямая, а выброски и усечения требовали дополнительного труда, может быть я был не так не прав, полагая, что по тысяче разных причин современная душа (как и моя собственная) не выносит длинных вещей. Наверное я перемудрил, но доля допущенного пересола быть может со временем рассосется и сгладится.

Не вступай в спор со мной по этому поводу, — я с тобой соглашаюсь. Ты безумно проницательна и права, этими же недостатками отличалась проза Рильке, которого я боготворил.

Как в этом письме твой почерк похож на мамин!

Твой Б.

Боюсь, что ты до моего предупреждения уже успела заслать рукопись во Фрунзе[2]. Если нет, то это великолепно.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. Эфрон писала о том, как мешала ей в чтении романа «страшная теснота», в которую втиснуто «столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей». «Это — умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому..., а во вторых, — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте» (28 нояб. 1948; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 311).

[2] Бандероль была отправлена Орловской во Фрунзе 2 дек. 1948 г.

1083. Ф. К., Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ и Л. Л. СЛЕЙТЕР

12 декабря 1948, Москва

12 дек. 1948

Дорогие мои Федя и девочки! Страшной радостью были ваши строки, фотографии, чудные русские письма детей и живые сведения видевших вас[1]. Но этого всегда так мало, хочется самому видеть вас. И кроме того у меня еще другая связь с миром, и она по таким поводам вдруг вскрывается, как закрывшаяся рана, кровоточит и — больно.

Приложу все старания, чтобы вы получили в рукописи написанную половину романа. Мне хочется, чтобы вы знали мои нынешние действительные мысли, по крайней мере, главные. Если вы знаете хорошую русскую переписчицу на машинке и можно достать немножко денег из следуемых мне откуда-нибудь для ее оплаты, постарайтесь размножить список экземплярах в трех и тщательно сверьте, чтобы потом можно было дать почитать узкому кругу интересующихся, начиная с Боуры, Шиманского и других.

Им и Берлину самые сердечные приветы. Только что (пятница 11-го декабря) London calling Europe передавала статью Шиманского о финском композиторе (неужели Сибелиусе?) — имя было плохо слышно, но статья (из Manchester Gardian) великолепная.

Возвращаюсь к роману. Печатать (т. е. опубликовать в печати) его ни в коем случае нельзя ни в оригинале, ни в переводе, — это наистрожайше внушите литературным людям, которым я бы хотел его показать. Во-первых, он не кончен и это еще его половина, требующая продолжения. Во-вторых, напечатание ее там грозило бы мне тут самыми гибельными, я не скажу: смертельными последствиями, потому что эта вещь ни по духу своему, ни по создавшемуся у меня тут положению появиться в свет не может, а только в виде перепечатки допускается появление русских вещей за границей.

Весною готовое к выходу переиздание избранной лирики (почти всю книжку составлял «Девятьсот пятый год») было уничтожено в количестве 25.000 экземпляров распоряжением из сфер накануне появления[2]; выступления мои нежелательны. Границы, в которые я поставлен (я мыслим только как переводчик), создают мне положение мрачное, напряженное, но как ни у кого внутренне независимое и определенное.

Вам роман не понравится разбросанностью и торопливостью, с какой он написан. Отчасти я не мог его затягивать, я уже не молод и вообще мало ли что может каждый день случиться, а я хотел кое-что записать. И ведь я его писал на шаромыжку, в убыток, и спешил, чтобы не подорвать бюджета и взяться за работы, ведущие к заработку.

Ну что же вам сказать в заключение, чтобы вы все обо мне знали? Если бы вы даже когда-нибудь услышали, что меня четвертовали, знайте, что я прожил счастливейшую жизнь, как и не мог мечтать, что наиболее устойчивая, постоянная полоса счастья как раз сейчас у меня, и все последнее время, потому что я наконец научился искусству выражать свои мысли и владею этим умением в той мере, как оно мне нужно, *чего не было прежде.*

Мы живем хорошо, все у нас здоровы, Зина имеет возможность баловать Леничку, мы не испытываем лишений. С конца осени я перевожу Гётевского Фауста, главным образом первую часть, но придется и некоторые куски из второй. На этом проваливались Фет и Брюсов, а у меня, как это ни странно, — получается. Справедливости не существует, и я ее ни от кого не жду, но глубина, с которой некоторые вещи и истины, дорогие мне, запечатлелись в нескольких, немногих, считанных сердцах, так велика, что это за все, за все вознаграждает.

У вас чудные дети, мы когда-нибудь обязательно увидимся всеми семьями, я в это верю. Крепко всех вас и всех ваших целую. Жива ли Раиса Николаевна Ломоносова? Отчего о ней ничего не слышно? Ей и всем перечисленным и неперечисленным нежнейшие приветы.

Опять к роману. Стихи (их будет больше) — Юрины, и сплошь, одно за другим составят одну из глав будущей второй книги, в том месте, которое будет следовать за Юриной смертью в Москве в 1929 году. Эти стихи найдет его сводный брат Евграф в его бумагах.

Наверное я достану несколько детских книжек для младших Лидиных деток, но вероятно это — лишнее, классики в полных изданиях есть вероятно у вас в лучшем состоянии. Чудные письма написали Ники и Розочка. Леня в восторге, собирается отвечать, но мечтает, кажется, о времени, когда он сможет ответить по-английски.

Хорошо, что мы не переписываемся, этой сдержанности придется придерживаться и дальше, пока не минует полоса подозрительности, то обстоятельство, что мне хочется показать вам и еще некоторым роман — рискованное от этого правила отступление.

Я мог бы воздержаться и не делать этого, если бы не было столько ничтожной дребедени в моем прежнем. То, что — плохо ли, хорошо ли, — я *признан именно за эту дребедень*, создает досадную несообразность, требующую заглаженья и восстановления более достойного положения вещей. Вот откуда эта моя потребность. Заканчиваю второпях. Еще раз всех целую.

Боря

Все, о которых вы спрашиваете, живы и здоровы.

Я всегда был и остался такой рожей, что не люблю сниматься и «никогда не выхожу» — т. е. фотография не делает меня Аполлоном. Но все же вот два снимка.

Зина свинья, что ничего не написала, но может быть это от застенчивости.

Экземпляр прямо от машинистки, я не просматривал, верно, есть ошибки, о которых легко догадаться. Покажите вашим Катковым, Набоковым и пр.[3]

Вы спрашивали про Женю, Олю, Стеллу, Женичку. Все живы-здоровы Женя — военный — в чине капитана, адъюнкт военной академии (оставлен при ней). Ленинградской Оли не видел столько же, сколько Жони (как раз в то лето 1935 г., возвращаясь, проезжал в том замечательном состоянии через Ленинград). Она — профессор, живет совершенно одна, говорят, у нее слабеет очень зрение. Недавно писала мне. Каждое лето зову ее к нам на дачу и до сих пор безуспешно.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Письмо и машин. начала романа отправлены с советником посольства Новой Зеландии г-ном Костелло.

[1] Год назад с оказией Пастернаку был привезен из Оксфорда пакет с семейными фотографиями, он благодарил телеграммой: «Восхищен замечательными фотографиями, буду работать увереннее имея таких прекрасных племянников и племянниц. Горжусь ими. С горячей нежностью шлю лучшие пожелания и поздравления всем вам в обеих семьях. *Борис Пастернак*» (перевод с англ.; там же. Кн. II. С. 246).

[2] Борис Пастернак. «Избранное». М., «Советский писатель», 1948.

[3] Речь идет о проф. Г. М. Каткове; Пастернак не знал, что В. В. Набоков в это время жил в США.

1949

1084. А. С. ЭФРОН

29 января 1949, Москва

29 янв. 1949. Дорогая Аля! Ты догадываешься, как я занят: Фауст, 4700 рифмованных строк, я его в августе начал, хочу на ближайших неделях кончить! Спасибо тебе сердечное и огромное за твои заботливые строки об отце[1]. Осип, брат моей матери, дядя, Варя — его жена (все уже покойные). Этот дядя, доктор Кауфман был всю жизнь земским врачом в Рязанской губ., сначала, в незапамятное время в Туме, а потом в Касимове. Наверное после смерти обоих вещи растащили или распродали, отсюда и скитания альбома. Ноаковский был инспектором Московского Строгановского училища, по отзывам знавших (допытывался для тебя[2]), профессором архитектуры, великолепным рисовальщиком. — Спасибо тебе за все, главное за то, что ты такая умница и на тебя не надо тратить много слов, сама все знаешь и понимаешь. В феврале, и очень скоро, хочу тебе послать денег, и немного меньше — Асе, но меня останавливает твоя открытка с извещением о твоей поездке в Москву[3]. Как быть? Ждать ли тебя? Ответь. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. Эфрон по старой библиотечной инвентарной книге нашла монографию Л. О. Пастернака 1932 г. с надписью: «Дорогим Варе и Осипу с любовью. *Леонид Пастернак.* Б<ерлин>, 1934 г.» и писала Пастернаку: «Как хороши работы твоего отца, какие великолепные рисунки, за душу хватают. Проницательно и крылато, большое в этом сходство между вами, не сходство, а родство, большее, чем кровное» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 326).

[2] А. Эфрон спрашивала также об архитекторе Станиславе Владиславовиче *Ноаковском*, правленые авторские оттиски которого попались ей в библиотечном хламе.

[3] А. Эфрон по возвращении из короткой тайной поездки в Москву, где виделась с Пастернаком, была 22 февр. 1949 г. вторично арестована и отправлена этапом на Енисей в село Туруханское «на вечное поселение».

1085. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

29 января 1949, Москва

29 янв. 1949. Дорогая Ася! Простите, что не отвечал Вам, хотя все, что Вы сообщали, доходило всегда до самой души. J'ai lu cette lettre de vous, toute en larmes*, — что делать! Может быть в феврале, если будет возможность и если адрес, изображенный моей рукою на этой открытке, правилен[1], пришлю Вам немного денег. Трудно писать, жизнь идет своим чередом, все время что-нибудь происходит, главного не расскажешь. Всегда в трудах — (внешне, поверхностно судьба ведь меня не балует) надо много зарабатывать, от меня зависит много народу. Перевожу Гётевского «Фауста», 1-ю часть, почти готово. Хорошо выходит.

Целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] А. И. Цветаева была вторично арестована и этапирована «на вечное поселение» в пос. Пихтовка Колыванского р-на Новосибирской обл., где пробыла до 1957 г.

1086. Н. МУРАВИНОЙ

12 февраля 1949, Москва

12 февраля 1949 г.

Дорогая Нинель, Вы сумасшедшая!

Как Вам не стыдно тратиться на такую роскошь![1] Но нарциссы поразительные, пышные, праздничные, тем более, что они совершенно незаслужены. Однажды, после Вашего письма, я Вас выругал в ответном за Вашу высокопарность. Оно несколько дней лежало запечатанным у меня и настолько устарело, что его уже не имело смысла посылать, и это к лучшему. Я, как всегда, страшно занят, это ведь действительно невымышленный реальный фактор моего существования, вытесняющий все остальные. С августа до сегодняшнего дня я перевел 1 часть Фауста, около 5000 рифмованных Гётевских строк, это ведь не шутка! Теперь переписываю.

* В слезах читал Ваше письмо (*фр.*).

В конце февраля обязательно позвоните мне в какой-нибудь из дней от 3-х до 4-х насчет рукописи[2] и слушания Фауста.

Еще раз огромное спасибо. *Ваш Б. П.*

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. Н. Муравиной). Печатается по фотокопии.

[1] Н. Муравина ко дню рождения принесла Пастернаку корзину нарциссов.

[2] Пастернак хотел дать читать Муравиной машин. первой книги «Доктора Живаго». Встреча состоялась 2 марта, тогда же Пастернак надписал Муравиной сб.: Николай Бараташвили. Стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Пастернака. М., 1948: «Милой Нинель от всего сердца. Прочтите в конце "От переводчика", там несколько моих строк о Бараташвили. *Б. П.* 2 марта 1949» (там же. С. 6).

1087. М. П. ГРОМОВУ

18 марта 1949, Москва

Милый Михаил Петрович!

Я испытал очень хорошее чувство по отношению к Вам, прочитав Ваше письмо и часть стихов. Вот и мóе благословение Вам. Но на что, на литературную ли деятельность? Нет, шире, на серьезную и чистотой своей счастливую и смелую жизнь. А там Вы сами увидите, что Вам делать.

Мне понравились стихи «Что за счастье — бить баклуши», «Брезжил день...», перевод из Байрона (К Августе) и затем в «Тамерлане» очень хорошо проведена и изложена тема[1].

Но стихи могли бы быть много самобытнее и неожиданнее, и то я не стал бы ничего предсказывать и советовать. Я ничего в этом не понимаю, т. е. мой взгляд на искусство, суровый и спорный, неприложим педагогически на практике.

Да это и не надо. Мои добрые пожелания Вам, любому хорошему Вашему начинанию, мое доверие к уму Вашему и сердцу — важнее и существеннее, хотя и смотрят в какую-то более неопределенную даль.

Недавно вышла хроника Шекспира «Генрих Четвертый» в моем переводе, ожидается «Лир»[2], кроме того на днях я закончил перевод первой части Гётевского Фауста.

При каждой очередной буче треплют и мое имя. Сейчас опять такая полоса[3].

Но напрасно вы думаете, что роман мой мог бы поправить мое положение и желая ему успеха, допускаете его. Туда попали

слои еще более глубокие и искренние, чем бывало раньше, и вывод естественный.

От души, от души Вам всего лучшего. *Ваш Б. П.*

18 марта 1949

Впервые: «Литературная газета», 12 февр. 1992. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, доп.).

[1] Стихи Громова.

[2] В начале года был издан: Вильям Шекспир. «Король Генрих IV». М., 1949; весной — Шекспир. «Король Лир». М., 1949.

[3] А. Макаров обвинял критика Ф. М. Левина в том, что тот превозносил творчество «эстетствующего формалиста» Пастернака и «услужливо» составлял книгу его стихов (уничтоженный сб. 1948 г. в «Советском писателе») («Литературная газета», 19 февр. 1949). На заседании секции поэтов Союза писателей А. К. Тарасенков «признал свои грубые ошибки, выразившиеся в поддержке Б. Пастернака» (там же, 23 марта 1949).

1088. М. В. ЮДИНОЙ

27 марта 1949, Москва

27 марта 1949

Дорогая Мария Вениаминовна!

Посылаю Вам обещанное[1]. Здесь хорошее перемешано с дурным и неудавшееся временно оставлено без исправления [например, слабая первая строчка Фульского короля — (мне хотелось сохранить латинский оттенок: Ultima Thule — краесветная — дальняя) или такая как Он роздал княже*ств тьму* — обилие согласных][2].

Мне важно было двинуть Фауста в целом, весь текущий и катящийся мир его, всю его драматическую совокупность, и я, кажется, этого достиг[3], а теперь и отвлечен мыслями о продолжении романа и, не сегодня-завтра за него примусь. Вот отчего я не могу заняться дополнительною отделкой этих кусочков и в особенности мелких стихотворений Гёте, которые Вы получите от Вильмонта[4], — мне по многим, многим причинам нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в такой неясности![5] Спасибо огромное за все, я Ваш постоянный и глубоко Вам преданный должник, будьте здоровы. *Ваш Б. П.*

Впервые: Записки ОР ГБЛ. Вып. 29, 1967 — Автограф (РГБ, ф. 527).

[1] Пастернак, по просьбе М. В. Юдиной, прислал ей несколько стихотворений, переведенных им для юбилейного тома Гёте (1950). Три из них с небольшими изменениями были включены Юдиной в составляемый ею сб.: Франц Шуберт. Песни. М., Музгиз, 1950.

[2] В квадратных скобках, поставленных автором письма, приведены цитаты из баллады Гёте «Фульский король» («Король жил в Фуле дальной...»).

[3] Весной 1949 г. Пастернак читал в гостях у Юдиной первую часть «Фауста». Среди приглашенных был М. М. Бахтин, который вспоминал, что Пастернак «подвергал критике очень резкой» Союз писателей «за то, что они, в сущности говоря, интересов писателей не защищают». В связи со своим переводом Пастернак говорил, что «язык поэзии должен быть максимально близок к языку разговорной речи <...> Никаких штампованных, литературных, правильных, так сказать, культурных элементов не должно быть в поэтическом языке. Поэтический язык должен быть максимально свободен» (Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 264, 265).

[4] Пастернак передал тексты переводов редактору тома Н. Н. Вильям-Вильмонту.

[5] Новая волна повальных арестов и политических обвинений. Об аресте Пастернака ходили упорные слухи, встревоженные ими А. Ахматова и О. Бергольц звонили ему из Ленинграда.

1089. Н. ТАБИДЗЕ

5 апреля 1949, Москва

Дорогая моя Нина, какое дикое свинство, что я до сих пор не поблагодарил Вас за посылку, за Ваше чудное письмо и обнаруженную в нем верную, осторожно выраженную догадку: и не думайте извинять меня, мне нет прощения! Я так долго не писал Вам, потому что все мечтал и надеялся послать Вам немного денег (я это все-таки сделаю на Пасху), и не то, чтобы их совсем не было, но опять-таки только с такой свиньей, как я, могло случиться, что они во множестве уходили на другие цели, и мне никак не удавалось выкроить что-нибудь в руки такого золотого единственного друга, как Вы. Но я это поправлю, хотя вине моей перед Вами нет имени.

Конечно был я все время и невозможно занят, Фауста сдвинуть (которого я к середине марта кончил) было не шутка. Отчасти из-за спешности этой работы и произошла та грустная и чреватая последствиями история[1], о которой, судя по Вашим письмам, Вы наверное окольно узнали с того двора, где Вы обыкновенно у нас останавливаетесь. Конечно я кругом виноват, потому что никому не дано право безнаказанно калечить другому жизнь. Но вдруг мне стало не по себе обнимать работу, заботу обо всех и все вместе в такой противоречивости, а главное нестерпимо гадко было врать З<ине> (отвратительна была самая *техника обмана*), и вот я все передал в ее руки и полетели пух и перья и «полилась

кровь». Да, Вы догадались, мне было очень тяжело. И это не кончилось, потому что, сверх ожидания, и вопреки постоянным уверениям, будет иметь продолжение. Если Вы вздумаете писать мне, не касайтесь этого ближе, чем Вы сделали в письме, сопровождавшем Ваши подарки.

Окончание Фауста освободило меня на время. После почти годичного перерыва я спешно попишу дальше роман и постараюсь довести его до задуманного конца. Эта работа не приблизит меня к существующим требованиям и не сделает более приемлемым. Во время последней ругательской кампании опять мое имя стало углом ко всему остальному, в одиночестве и особняком, как имя человека, до сих пор не пропевшего требующегося от всех «кукареку»[2]. Может быть мне и платить не будут и я уже вне литературы.

Но это меня не трогает и не беспокоит. Все-таки старейшая моя страсть — искусство (или то, что мне кажется искусством), — оно управляет мною и обстоятельствами моей жизни так же недвусмысленно твердо и с такою же ясностью, как людьми владели когда-то религиозные убеждения. Эта ясность линии и цели все мне облегчает, я ко всему наперед готов и за все судьбе и небу скажу спасибо.

Крепко целую Вас, дорогая Ниночка, и со словами бесконечной благодарности Вам и лучшими пожеланиями всем Вашим остаюсь горячо преданный Вам и любящий Вас *Б. П.*

5 апр. 1949

Простите, что написал Вам так мало и второпях, иначе бы совсем не вышло.

Впервые: «Знамя», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24951).

[1] Речь идет о разрыве отношений с Ольгой Ивинской, когда Пастернак над постелью больного сына поклялся больше не видеться с нею. Для объяснений поехала к ней Зинаида Николаевна.

[2] См. коммент. к письму № 1087.

1090. К. М. СИМОНОВУ

9 апреля 1949, Москва

9 апр. 1949 г.

Глубокоуважаемый Константин Михайлович!

Официально обращаюсь к Вам, как редактору «Нового мира» с просьбою удовлетвориться половиною погашенного мною дол-

га и простить мне остальную[1]. Может Вы напечатали бы отрывки переведенного мною этой зимою Фауста?[2] Может быть потерпели бы остаток долга до неопределенного будущего, когда облегчится крайнее, критическое напряжение минуты, и при сколько-нибудь допущенном разнообразии и мой скромный труд найдет себе место рядом с Вашим и среди прочих?

Я не вступая в объяснения внес первые 3500 руб. и рассчитывал также уплатить вторые, но теперь это мне труднее, чем я думал тогда, вот только почему я и беспокою Вас.

Подумайте, пожалуйста.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3126, оп. 1, ед. хр. 588). На письме помета А. Ю. Кривицкого: «т. Гордон. А. Ю.».

[1] Речь идет о судебном иске журнала «Новый мир», который требовал выплату предоставленного Пастернаку аванса за роман «Иннокентий Дудоров. Мальчики и девочки».

[2] В частичное погашение долга «Новый мир» в сентябрьском номере напечатал «К 200-летию со дня рождения Гёте» отрывок из 2-й сцены «Фауста» «У ворот» (1949, № 9).

1091. Н. МУРАВИНОЙ

16 мая 1949, Москва

16 мая 1949

Милая Нина, спасибо, превосходный разбор, так глубоко, так все замечено, понято, так в обсуждении широко и зрело отнесено к истинным масштабам и историческим отправным точкам; так содержательно и справедливо! А какая стройность композиции, как все это изложено, как написано! Это кладези проницательности, я никогда не читал ничего подобного[1]. Но простите, что я так ворчливо и грубо обрываю всякие поползновения к «лирике». Это совершенно лишнее, тут Вы попадаете в положение во всех отношениях ложное и ни с какой стороны недопустимое.

Ваш Б. П.

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] Получив от Пастернака машин. первой книги романа, Муравина написала статью под назв. «Усильем воскресенья», 13 мая она передала ее Пастернаку. В окт. 1949 г. при аресте О. В. Ивинской текст этой статьи был взят при обыске и стал одной из тем допроса Пастернака.

1092. Е. Е. ТАГЕР

22 июня 1949, Переделкино

Дорогая Елена Ефимовна!

Большое спасибо за Вашу телеграмму и заботу. Кланяйтесь Шварцу и поблагодарите за доброе намеренье[1]. Был бы очень рад его осуществлению. Но не верю. Тяжелая у меня рука, не приношу я счастья.

Вот лучший экземпляр рукописи для Антона Исааковича, в нем много новых исправлений, которых нет в Вашем.

Все время вспоминаю последний вечер у Вас. Как хорошо говорил Евгений Борисович! Отличные у него мысли, молодец он.

Наверное, Фауст понравился Вам. Что Фауст? Горы надо сдвинуть, а ни сил, ни настроения.

Еще раз огромное спасибо Вам. *Ваш Б. П.*

22 июня 1949 г.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2887, оп. 1, ед. хр. 398).

[1] Чтец Антон Исаакович Шварц просил у Пастернака подборку его стихов последних лет, чтобы ввести их в свою программу.

1093. А. А. ФАДЕЕВУ

20 июля 1949, Переделкино

20 июня 1949 г.

Дорогой Саша!

«Искусство» выпустило мои шекспировские переводы в очень хорошем издании (но очень небольшим тиражом)[1]. Ты способствовал их выпуску. Спасибо тебе. Подобные факты вводят в заблуждение доброжелателей. Многие думают, что я разбогател. Но это издание, так же как и появившийся зимой в Гослитиздате «Кор<оль> Генрих IV», затянулось на четыре года. Деньги по этим работам давным-давно проедены. Мало того. Часть изданий, предположенных и оплаченных в свое время в качестве первых, вследствие запоздания стали вторыми и мне по ним приходится возвращать долги и платить неустойки. Так, «Новому миру» я должен 7000, «Советскому писателю» — 3500, 3000 — в Детгиз. Больше 5000 из этих денег я уже вернул. Зимой я перевел первую часть «Фауста». Треть гонорара, авансированную в позапрошлом году, я тогда же прожил. За «Фауста» сулили золотые горы, 14 руб. за строчку, несколько тиражей и пр. (так что опять уже доброжелатели подсчитывали мои миллионы), на поверку же оказалось, что однотомник к юбилею не выйдет, тираж будет очень небольшой и за

всё это ворочанье камней с вызовом чертей и ведьм, от которого я чуть не заболел, я получил (по десятке за строчку) с вычетами едва-едва 10 000. Прости, что утомляю тебя подробностями, но мне не хочется казаться голословным.

Между тем, жизнь довольно запутанная. Ты не представляешь себе, в какое количество рук приходится мне раздавать заработок и сколько зарабатывать. Состояние моих материальных дел уже и сейчас беспокоит меня, а завтра я могу оказаться и совсем на мели.

Поэтому, когда выздоровеешь, будь великодушен, не откажись, помоги мне. Вот о чем речь, вот о чем прошу я. Хотя переводить мне осточертело вдесятеро больше, чем тебе об этом слышать, мне ничего другого не остается. И тут две возможности.

Хотя вторая часть «Фауста» безотрадно чужда мне, но ведь, наверное, будут иногда выпускать «Фауста» целиком, обеими частями. Так вот, нельзя ли было бы заказать мне перевод второй части, вслед за первою?

Если это невозможно, то нельзя ли поручить мне по договору заняться непереведенными мною «Макбетом», «Бурей», «Юлием Цезарем» и «Кориоланом»? Тогда бы я собрал почти все шекспировские трагедии, во всяком случае, все лучшие.

Нерадостно, конечно, что на жизнь мне приходится выколачивать всё новыми текущими работами. Теперь мне важно *именно их получить и во всей спешности*. Вот и всё.

Ты знаешь, я было написал тебе много чего другого, потому что ничего нет легче для меня, чем говорить с тобою (почти только с тобою) искренне, с любовью и уважением, но с годами занятие такое всё нелепее и бесцельнее.

Вместо этого, скажу тебе только вот что. За пределами России людей, выучившихся по-русски, стало за последнее время во сто раз больше, чем было в начале века, и в международном значении русский язык, оттеснив немецкий и французский, разделил первое место с английским. Это сделала, конечно, наша революция самым общим своим смыслом, самым первоначальным; это сделала недавняя победа русского оружия; но это сделала и русская литература и необязательно улица Горького и площадь Маяковского, а в первую голову дурачок Достоевский. И в какой-то доле, где-то между Блоком и Есениным, и тобою, и еще кем-нибудь, этому способствовал, как это мне самому ни кажется непредставимым, потрясающим и незаслуженно-невероятным, — и я.

Вот источник патриотических моих ощущений, более простых и прирожденных, чем патриотическое половодье чувств на улице

Воровского в дни проработок[2]. А страх быть слопанным никогда не заменял мне логики и не управлял моими мозгами. Народу слопано так неисчислимо много, что готовность быть слопанным, как допущение, никогда меня не оставляет.

Глупо, между прочим, что молодому лауреату Лутохину[3] поручают измерять мое «величие» своими собственными размерами. Это нечестно потому, что из нас двоих признанно велик только он, лауреат, а я, как известно, никогда не притязал на такие объемы. Какое неуместное ехидство! Или я еще недостаточно глух и, по собственному желанию, неведом и незаметен?

А потом, не мог ли бы резать в «Советском писателе» у меня книжку за книжкой кто-нибудь другой, а не Тарасенков[4], главный интерес которого в том и состоит, что он тайно коллекционирует то, что явно отрицает?

А ведь это всё капля в море.

Твой Б. Пастернак

P. S. Я знаю, что со времени ахматовской проработки[5] наши отношения (я говорю о действительно бывших, во всяком случае, о моих собственных чувствах, ни на что большее я не навязываюсь) по сознательной моей вине испортились. Ты должен простить меня, я не мог себя вести иначе, — мне всё это было глубоко противно[6]. За всё это я и заплатил свалившимися на меня неприятностями и резким ухудшением своего положения. Пусть всё это так и останется. Но теперь мне было бы дорого, чтобы лично у тебя в сердце не было высокомерного презрительного зла против меня. И чтобы меня простила Ангелина Осиповна, потому что неприязнь эта явилась и в ней.

А между тем я мог бы продолжать любоваться издали Вами обоими, как людьми и артистами, как это бывало прежде, без каких-либо лишних хлопот и осложнений для себя и Вас.

Впервые: «Москва», 1967, № 9 (с купюрами). — «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 1026).

[1] Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака: 2 т. М.–Л., «Искусство», 1949. Тираж 5000.

[2] Имеются в виду заседания Правления Союза писателей на улице Воровского (Поварская, 52) по разоблачению «безродных космополитов».

[3] Поэт Михаил Кузьмич Луконин в докладе на собрании поэтической секции Союза писателей выступил с таким заявлением: «Пастернак удовлетворялся и дорожил только тем, что его признавал заграничный выродившийся хлам. Его подбирали всегда наши враги, чтобы противо-

поставить нам же. Всю жизнь он был свиньей под дубом. Буржуазные эстеты и безродные космополиты на все лады прославляли юродивое и ленивое творчество Пастернака только потому, что он щекотал их антипатриотические чувства, капая елей на их коленопреклоненные перед Западом души» («Звезда», 1949, № 3. С. 184–185).

[4] А. К. Тарасенков был коллекционером изданий русской поэзии XX в. и гл. редактором изд-ва «Советский писатель». Пастернак ставил ему в вину «зарезанную» кн. «Избранного» (1948) и рассыпанный набор «Избранных переводов» (1948).

[5] Со времени постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», 14 авг. 1946.

[6] Пастернак рассказывал, как осенью 1946 г. к нему приходили К. Л. Зелинский и А. К. Тарасенков, увещевая его выступить в печати с критикой Ахматовой, иначе санкции против нее могут отразиться и на нем. «Я не могу этого сделать, — ответил он, — я к ней хорошо отношусь и, по слухам, она неплохо относится и ко мне». — Но ведь ваши стихи тоже не понятны народу, — возразили ему. «Да, да, — сказал Пастернак. — Мне об этом еще ваш Троцкий говорил». Посетителей как ветром сдуло.

1094. А. П. РЯБИНИНОЙ

22 июля 1949, Переделкино

22 июля 1949

Дорогой друг мой, Александра Петровна!

Что за безумие было посылать пакет по почте за город! Завадская[1] пишет о дерзкой мечте получить перевод к двадцатому, а сегодня двадцать второе и я только десять минут тому назад узнал о дерзкой мечте. Просьбу Вашу я уже исполнил только как женскую блажь и фантазию, Вашу и Завадской, потому что и перевод и стихотворение — страшные пустяки и лучше бы Вы поместили его под своим или ее именем, хотя конечно обе Вы достойны лучших подарков. Но

Переводить Тычину
Нет у меня причины,

и я не понимаю, из чего Вы подняли шум, и стоит ли ради этого любить меня и помнить, как у Вас в записке?

Но, шутки в сторону, поговорим всерьез. Ваша святая — самая участливая из святомучениц, о ней поется, что она сораспинается и спогребается, страждет, живет и умирает[2]. Поэтому посочувствуйте. Дело в том, что выходившие зимой Шекспиры и недавно вышедший в «Искусстве» двухтомник[3] — начинания затянувшиеся и опоздавшие года на три, на четыре. По ним было забрано и прожито давным-давно в счет будущего. Деньги у меня на исходе и через месяц я окажусь на такой мели, как еще не бывало.

Поэтому, во-первых, непосредственная просьба к Вам: наскребите за Грузинскую Антологию все, что мне там остается, уполномочьте на этот счет Масленникову, и Макарова мне их переведет на книжку[4].

Но это все мелочь, надо подумать о более широких перспективах на более долгие сроки. В этом смысле пишу я Котову[5] без уверенности в энтузиастическом отклике, потому что в последнее время стал он жидоморничать и скряжничать со мной совсем по-крохоборски. К тому же и Вы так и не открыли мне, с какой стороны он меня чернил заглазно. Вот почему письмо на его имя я направляю незапечатанным через Ваши руки. Пробегите его, пожалуйста, испытующим взором и вручите, если оно не вызовет Ваших возражений с соответствующей устной поддержкой. Простите, что затрудняю. Целую Вашу руку. *Ваш Б. П.*

С любовью искренней и братской
Рябининой и М. Завадской[6].

P. S. Александра Петровна! Вот почему злит и досадно делать такую безделицу для Т<ычины>:

Однажды из Тычины
Я перевел терцины,

и очень милые, о Коцюбинском[7], а потом Иуда Тарасенков режет мне целую книгу переводов, подобных названному, в том числе и Тычину.

Впервые. — Автограф.

[1] Мария *Завадская* — редактор Гослитиздата.

[2] Пастернак цитирует тропарь мученицам. В бумагах Рябининой сохранилась записка Пастернака, оставленная ей вместе с цветами и датированная ею 1950 г.: «При поздравлении с днем ангела от неизвестного с пожеланием многих, многих лет такой же радости и блеска».

[3] Переводы «Генриха IV» и «Короля Лира» в Гослитиздате, договоры на которые были подписаны по сдаче рукописи в 1945 и 1947 гг., и «В. Шекспир в переводе Б. Пастернака» в «Искусстве».

[4] Сотрудники бухгалтерии Гослитиздата.

[5] См. письмо директору Гослитиздата А. К. Котову № 1095.

[6] Далее приводится перевод стих. Павло Тычины «Я знаю», оставшийся неопубликованным при жизни Пастернака (см. т. VI наст. собр.).

[7] Имеется в виду большое стих. «Первое знакомство», посвящ. украинскому писателю М. М. Коцюбинскому; было опубликовано в «Молодой гвардии», 1939, № 5.

1095. А. К. КОТОВУ

22 июля 1949, Переделкино

Глубокоуважаемый Анатолий Константинович!

Я прожился, Вы не представляете себе, во сколько рук и как чудовищно много приходится мне зарабатывать!

Появившиеся у Вас переводы Шекспира давным-давно прожиты по давным-давно просроченным договорам. В таком же положении дело с гонорарами по выпущенному «Искусством» двухтомному Шекспиру.

Треть вознаграждения за Фауста тоже ухнула два года тому назад, при подписании контракта. Но об этом немного подробней. Перевод Фауста был Сизифовым трудом, я за ним горы сдвинул *не только* в смысле усидчивости и трудолюбия. Единственное, что сделали в помощь мне редактора по Гёте и сочувствующие из секции переводчиков, это раззвонили везде, как я разбогатею по выходе Фауста (тиражи!!) и наперед сочли мои миллионы. В результате же, при сдаче труда весной, я (вот ей-богу не вру) вместо всех этих золотых гор получил, за всеми справедливыми вычетами и удержаниями, десять тысяч с лишним. Перевод подгоняли к «молнии», а теперь оказывается, однотомник выйдет неизвестно когда, ординарным тиражом, очень скромным.

У меня к Вам следующая, очень большая просьба. Я знаю, что Гослитиздат не собственное Ваше издательство, что предпринимать переиздания и раздавать заказы *по произволу* Вы не в состоянии, даже если бы пожелали. Не оказали ли бы Вы мне такую услугу и не посоветовались ли бы, когда он выздоровеет, с Фадеевым (я напишу ему) и, с кем надо, из ЦК (я лично не знаю, с кем именно) вот по какому поводу. Нельзя ли занять меня чем-нибудь крупным и длительным соответственно моему возрасту и умению? Моя репутация не позволяет мне мечтать о переизданиях, для этого требуются боги совсем иного рода, не нашим носом рябину клевать. Но я о другом, о какой-нибудь текущей каторжной работе вроде Фауста, только новой и многообъемной. Например, если бы мне поручили перевести Макбета, Бурю, Юлия Цезаря и Кориолана, у меня бы к двум томам Шекспировских трагедий подобрался третий, и за вычетом двух-трех пьес я собрал бы всего Шекспира-трагика.

Менее заманчивой, но столь же желательной в смысле заработка была бы работа над второй частью Фауста, вслед за переведенной первою.

Милый Анатолий Константинович, подумайте, пожалуйста, о чем-нибудь в этом направлении. Речь, значит, о какой-нибудь форме длительного регулярно налаженного обеспечения.

Простите, я уверен, что в данное время моя просьба должна Вам казаться неоправданной и нагло притязательной, но верьте мне, рано или поздно оправдание не преминет прийти, и тогда обстоятельства мои предстанут в более истинном и выгодном свете. Наконец, последнее. В делах со мною Вы совершенно свободны. Никто Вас не будет инспирировать, ничего Вам не будут внушать. Привычки переписываться с вышестоящими товарищами, как бы это ни было похвально, и обращаться в высшие инстанции, я не имею, это не в моих правилах и тут мне абсолютно нечего сказать.

Я не буду надоедать Вам вопросами и справками. Найдите, пожалуйста, способ известить меня о своих решениях, когда придет время.

Заранее за все спасибо. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

22 июля 1949 г.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 160).

Анатолий Константинович Котов — директор Гослитиздата, в 1949 г. сменивший Ф. К. Головенченко.

1096. В. Г. КОМПАНИЙЦУ

24 июля 1949, Москва

Глубокоуважаемый Василий Георгиевич! Не сегодня-завтра я должен буду остаться на бобах. Все предшествующие мои работы, выходящие теперь со страшным запозданием, давно прожиты. Очень часты случаи, как у Вас в Детгизе со сборником Петефи, когда затянувшееся не по вине автора издание, становится, по выходе, в море появившейся продукции других издательств, из предположенного первого вторым, и вместо чаемого остатка гонорара оказываешься должником издательства на очень ощутительные суммы, погашаемые удержаниями. Надо подумать о ближайшем материальном будущем. Письмо сходного содержания направляю я и в Гослитиздат[1].

Совершенно не оправдала себя работа над Фаустом, включенным в Гослитиздатовский Гётевский однотомник. На эту лихорадочно-спешную работу ухлопана уйма труда, души и нервов. Работа сначала же была окружена сплетнями на тему о том, в каких фантастических тиражах выйдет издание и как сказочно разбога-

тает переводчик. Переводчик же при сдаче труда, за вычетом ранее выданного аванса получил сказочно и до обидности мало, что-то около десяти тысяч с чем-то[2].

Фаусту не повезло, потому что у нынешних редакторов-горемык давно выколочено все из души, кроме робости, и как бы ни были лично почтенны в домашнем кругу такие отличные литераторы, как Дейч[3] или Вильмонт, на литературной арене это бледные невлиятельные люди без голоса и воображения. Кстати, загадочна и непостижима судьба Фауста у Вас в Детгизе, куда я его тоже предложил. Если верить отзывам редакции (но мало ли что могут мне говорить, язык место мягкое) — текст ее удовлетворяет, но будто бы трудно свести концы с концами в плане финансовом, потому что гонорар удорожит книгу.

Непонятно, как может быть непреодолимым такое препятствие, если я выражал готовность устранить его любым компромиссным решением. Значит, не в этом дело. Тогда в чем же?

Однако речь не о Фаусте. Если это Вам по душе, т. е. если бы у Вас явилась охота помочь мне в устройстве этих дел, не откажите, пожалуйста, запросите инстанции, от которых это зависит, в каком духе и в каких границах можно говорить обо мне и со мной договариваться.

Может быть допустимы переиздания моих шекспировских переводов, появлявшихся в Детгизе, в отдельном виде, или целым собранием. Это, разумеется, было бы наилучшим выходом из положения и позволило бы мне, тем временем, пописать что-нибудь свое[4].

Менее заманчивым (потому что тотчас же усаживало меня за новую переводную работу) было бы соглашение на перевод Юлия Цезаря, Бури, Макбета и Кориолана, или какой-нибудь одной из этих четырех трагедий.

Все это я предоставляю Вашему выбору и желанию и оставляю на Ваше усмотрение. Простите за беспокойство. Терпеливо и без напоминаний буду ждать Вашего ответа, — я понимаю, что он не может быть скорым.

Ваш Б. Пастернак

24 июля 1949 г.

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, оп. 1, д. 23).

В. Г. Компаниец — гл. редактор и заместитель директора Детгиза.

[1] Письмо А. К. Котову 22 июля № 1095.

[2] О повышении гонорара за «Фауста» Пастернак писал в письме № 1104.

[3] Александр Иосифович *Дейч* — писатель, историк западноевропейской литературы.

[4] Сб. переводов Пастернака «Вильям Шекспир. Трагедии» вышел в Детгизе только в 1951 г.

1097. А. П. РЯБИНИНОЙ

1 августа 1949, Переделкино

1 авг. 1949

Дорогая Александра Петровна!

Я знаю, что это все фантазия, но может быть (Вы так много делали для меня!), может быть эта фантазия доступна Вашим силам.

Мне требуются 4 тысячи чистых, две Нине Табидзе и две в другие руки[1]. Сочините их, пожалуйста, тут же на месте, если это хоть сколько-нибудь мыслимо, и не сердитесь за этот притязательный и поспешный вздор.

Вину этой докучности я заглажу когда-нибудь перед Вами тем, что рассмешу Вас своею глупостью в грустную минуту, или одним взглядом напомню Вам о глубине и степени моей преданности Вам. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф.

[1] Имеется в виду О. В. Ивинская. См. об этом также в поручении к Н. Табидзе: «Если (что едва ли возможно) Ал. Петр. устроит деньги в такой короткий срок (одного или двух дней), и их можно будет получить, то 2000 — Нине. Если кроме этих 2000 будут еще какие-нибудь деньги (не меньше 1000), то от одной до двух тысяч — О. В. <...> в том случае, если выдадут около 5000, то 3000 возьмите, Ниночка, пожалуйста, себе, а остальное О. В. Если, что вероятнее, ничего этого не выйдет, то узнайте только у Рябининой, что она может и собирается сделать и когда» (ГЛМ, ф. 143, оп. 1, д. 27). О расставании с Ивинской весной 1949 г. см. в письмах № 1089 и 1098.

1098. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

7 августа 1949, Переделкино

7 авг.

Дорогая моя Олюшка, родная моя!

Как благодарить мне тебя за твое письмо! Я только не понял, когда в действительности умерла бедная тетя?[1] Она всегда, правда (как я пишу Вл<адимиру> Ив<ановичу>), стояла перед моими глазами молодою, красивою, в кормиличном кокошнике, как ее написал папа больше пятидесяти лет тому назад[2]. Он ведь не раз

ее писал, не раз писал с нее видоизмененных героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом, поры передвижничества. И такою всю жизнь она оставалась, высокой, стройной, доверчиво-порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи.

Потом я не понял твоих слов о твоем, будто бы хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности (по-видимому, особе, изъявившей согласие привезти ее?). Потому что неужели ты могла забыть свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи и разве не получила моего ответного?[3]

Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенною силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнится, ты тогда ждала приезда своей невестки. Кто это, Оля, неужто жена бедного Саши? И где она? С тобою ли она теперь?[4]

С моей потребностью выговориться с тобой я благоразумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность[5], но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первою пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил «Фауста» среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удается.

Сейчас мне пришлось запереться дома отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы «Генриха IV-го» и «Короля Лира» и два тома всех Шекспировских переводов в «Искусстве» давно прожиты вперед за последние три-четыре года. Месяца через два-три мне придется напроситься на какой-нибудь заказ вроде перевода второй части Фауста (я не люблю ее) ради рентабельности работы, а пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя, т. е. и в этой части мне на темы жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности, так, как дано мне, и все глупее и противоречивее представляется задача, и все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение.

Мне показывали Оксфордскую университетскую Антологию русской поэзии с русским текстом и Бауровскую переводную (второй выпуск) и Бауровскую книгу об Аполлинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка[6]. В тамошних собраниях по периодам (я даже тебе стыжусь и не знаю, как это сказать) больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах (и в отдельности, речь только о них), очевидно, выдержали испытание рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о «лучшем» или «первом» советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов о Борисе Пастернаке, как будто это что-то значит, как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна.

Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались (даже субъективно для самого себя) совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального и очевидно в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?

Однажды, во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так «обнажаться» перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. 1) В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. 2) Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке не по случайной слепоте, а оттого, что я в этой теме несвободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною.

P. S. Я что-то вдруг не уверен в Лиговском адресе Владимира Ивановича[7]. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку городским.

Далее, если случится тебе что-нибудь мне ответить, не касайся, естественно, романической стороны письма.

Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким. Все у меня, слава Богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женичкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын — хороший пианист и, наверное, поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву[8]. Крепко целую тебя.

Прости за бездушное письмо.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Клара Исидоровна Лапшова.

[2] Клара позировала Л. О. Пастернаку в костюме кормилицы с маленьким Борей на руках (1891). Портрет не окончен, сохранился в семейном собрании.

[3] Имеется в виду письмо № 1081.

[4] Жена арестованного А. М. Фрейденберга М. Н. Филоненко после освобождения не имела разрешения жить в Ленинграде и уехала обратно на Дальний Восток.

[5] Ольга Всеволодовна Ивинская; о расставании с ней см. письмо № 1089.

[6] Пастернак говорит о двух книгах С. М. Bowra: «Second book of Russian verse» («Вторая антология русской поэзии»). London, 1948, и «Creative experiment» («Творческий эксперимент»). London, 1949, где отдельные главы посвящены К. Кадафи, Г. Аполинеру, В. Маяковскому, Б. Пастернаку, Т.-С. Элиоту, Г. Лорке и Р. Альберти.

[7] В. И. Лапшов, муж Клары Исидоровны.

[8] С. Г. Нейгауз прошел подготовительный отбор на Шопеновский конкурс в Варшаве, но ему было отказано в выездной визе.

1099. А. А. ФАДЕЕВУ

1 октября 1949, Переделкино

1 октября 1949 г.

Дорогой Саша!

Что бы я дал, чтобы не надоедать тебе!

А тут гостившая у меня Нина Табидзе без моего ведома писала тебе, и Зина, не заходя домой, прямо со станции бросилась к

тебе с нашими огорчениями по поводу Стасика[1]. А мне так не хотелось бы расходовать часть внимания твоего ко мне, на которую я вправе рассчитывать, я так дорожу этим лимитом!

Спасибо тебе за твои приветливые слова Зине и распоряжения по Гослитиздату, которые я тогда же почувствовал. Что-то сдвинулось тогда и пришло в движение, но не доведено еще до конца. Между тем ты, говорят, теперь в Китае, а потом дела опять, может быть, отзовут тебя куда-нибудь за границу: ради Бога, прости меня, тебе не до того, но именно я боюсь, что в твое отсутствие всё заглохнет опять, и так как преобладающая инерция в отношении некоторых людей, в том числе меня, была скорее отрицательная, то этою тревогой и вызвано мое письмо, не содержащее никаких новых просьб, а только повторение старых. Это ужасно, что сами работники в издательстве нуждаются во внушениях свыше, а личная их симпатия в расчет не идет, лично милы со мной в очень многих местах, но вот лично редакторам в Детгизе нравится мой перевод «Фауста», по крайней мере по их утверждению, а они нашли, что взять в однотомник старый будет спокойнее.

Пожалуйста, подтверди перед отъездом Котову свои прежние соображения. И еще вот что. В «Сов. писателе» у меня пропадает гонорар по книге избранных переводов[2]. Большинство их из наших или славянских, или дружественных народно-республиканских поэтов, книга пересматривалась и перерабатывалась дважды. Но в весеннюю воспитательную кампанию они выдумали, чтобы я что-нибудь еще перевел по их выбору, для того чтобы вытянуть книгу, а я отказываюсь, потому что, во-первых, это с их стороны педагогическая блажь, а во-вторых, нет гарантии, что то животрепещущее, что они мне подберут, не окажется через неделю неприемлемым, как это столько раз бывало с самым актуальным. Между тем, именно весь мой остальной материал надежен и устойчив как раз революционно-человеческой своей сущностью (как, например, Шевченко, Петефи), это по чести и совести твердое мое убеждение.

Вот я уже мучительно много написал тебе, а у меня непреодолимая потребность оправдаться перед тобой, именно только и лично перед тобой, чтобы ты не думал, что я ненасытен и жадничаю, и позволяю себе в своих просьбах какие-то немыслимые притязания.

Прости, тут дальше пойдет только горькая проза! Когда я тебе тогда написал, у меня на книжке еще было пять тысяч. Это ведь деньги! Другой сидел бы и молчал, а я уже потревожил тебя.

Но вот две я дал и должен был дать Нине не только потому, что ей живется очень плохо, а оттого, что кучу хорошего и неоценимо

вдохновляющего я получил тогда из близких ей рук и в ее лице благодарен тому прошлому (не только Т<ициану>, — облакам и деревьям). А сколько такого было в жизни! А судьба Цветаевой! А некоторые гонимые имена! А десятки безвестных! Но прости, я не кончил. Так вот, две я отдал Нине, а полторы отправил сестре и дочери покойной Цветаевой в ответ на эти, тогда же полученные телеграммы. Извини, что я прилагаю их, но скоро я и сам буду нуждаться в расписках от лиц, которым не могу не предложить помощи, *так невероятна мне самому и баснословна природа моего бюджета.* Ты скажешь, на то моя воля, никто меня об этом не просит — слишком долго было бы тебе доказывать, что это не так, что это даже мой советский, общественный (пусть и тайный) долг.

И разве возможно иначе? Отчего эта несчастная дочь Цветаевой должна заменять лошадь в местах, откуда пришла телеграмма, и перетаскав на себе сотни центнеров сена[3], не иметь даже обеспеченного лошади стойла и корма, а я жить еще лучше, чем, по счастью, я все-таки живу?

Не сердись на меня. Я не требую от тебя, чтобы ты признал мою жизнь, мои принципы. Это немыслимо и не нужно. Но я не противопоставляю себя — тебе. Не думай же и ты, что я какой-то «другой». Это неправда.

Я бы не писал тебе, если бы боль большой сердечной близости к тебе не пронизывала меня.

Твой Б. П.

Сердечный привет Ангелине Осиповне. Я написал тебе второпях, как разговаривал бы с тобой, не заботясь о большем или меньшем действии сказанного.

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 1026).

[1] З. Н. Пастернак попросила Фадеева помочь с поездкой Станислава Нейгауза в Варшаву на конкурс, но тот сказал: «Вы не знаете, как нас обнюхивают со всех сторон перед выездом за границу». З. Н. сослалась на то, что Фадеев хорошо знает Стасика, который «как белый гриб», вырос перед его дачей. «Да, — сказал Фадеев, — но его воспитывал Боря с трехлетнего возраста» (Зинаида Пастернак. Воспоминания. М., 2004. С. 115). Несмотря на такой ответ, Фадеев бывал очень внимателен и заботлив по отношению к Пастернаку, о чем свидетельствует сохранившаяся записка: «24. VII. Дорогой Саша! Я вчера был очень жалок и мог на тебя произвести соответствующее впечатление. Несмотря на продолжающееся расстройство, у меня самочувствие (настроение) сегодня гораздо лучше, и может быть, мне не придется беспокоить тебя просьбами о больнице. Что каса-

ется машины, которую ты мне так любезно предложил, то нельзя ли ее попросить к 3-м часам, а не к 4-м (в понедельник), как мы уговорились? Если вообще это сопряжено с трудностями, то ничего страшного для меня не будет и в поездке на поезде. Благодарю тебя за постоянную отзывчивость. *Твой Б. П.*» («Континент», № 90, 1996. С. 212).

[2] Сборник переводов в «Советском писателе» был доведен до стадии корректур, но набор был рассыпан и книга не вышла.

[3] А. Эфрон писала Пастернаку из Туруханска 26 авг. 1949: «Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. <...> Сейчас занята ремонтом <...> работаю 12–14 ч в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работящие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 328–329).

1100. К. А. ФЕДИНУ

2 октября 1949, Переделкино

2 окт. 1949

Дорогой Костя!

Я бы хотел поговорить с тобой перед отъездом, а думаю я переехать в среду или четверг. Кроме того, если бы ты позволил, я помучил бы тебя чтением «продолжения» в течение часа-полутора[1]. Я называю это мучением не из вежливости, увидишь, ты сам со мною потом согласишься.

Потому и лучше это сделать с глазу на глаз, без твоих и Сельвинских, которым я был бы очень рад, если бы думал доставить развлечение. Но я буду плакаться и показывать язвы.

Когда это сделать, в какой из вечеров, начиная с нынешнего, имея в виду часов девять, если тебе это время удобно?[2]

Целую тебя. Сердечный привет Доре Сергеевне.

Твой Б.

Впервые. — Автограф (собр. Н. К. Фединой). Там же находится записка, вероятно близкая по времени, характеризующая простоту и близость отношений: «Дорогой Костя! Если можешь и тебе не трудно, ссуди меня, пожалуйста, до субботы тридцатью рублями. Всего хорошего. *Твой Борис*».

[1] Имеется в виду осеннее возвращение из Переделкина в Москву, до которого Пастернак хотел прочесть Федину первонач. вариант гл. «Прощание со старым», посвящ. революционному лету 1917 г. в Мелюзееве. Окончательная редакция этой главы была завершена летом 1950 г.

[2] Получив ответ на свой вопрос, Пастернак писал: «3 окт. 1949. Дорогой Костя! Спасибо, итак буду ждать тебя с нетерпением завтра вечером в свой рабочий, спальный и пустой манеж наверху. *Твой Б.*» (там же). Имеется в виду комната на втором этаже дачи.

1101. Н. ТАБИДЗЕ

15 октября 1949, Москва

15 окт. 1949

Дорогой мой друг Нина, подумайте какое у меня горе и пожалейте меня. Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста, «Маргариту в темнице». Бедная моя О<льга> последовала за дорогим нашим Т<ицианом>. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад)[1]. Сколько она вынесла из-за меня! А теперь еще и это! Не пишите мне, разумеется, об этом, но измерьте степень ее беды и меру моего страдания.

Наверное соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти, или отъезда, к силам далеким и неопределенным. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос.

Я пишу Вам глупости, Нина, простите меня. Еще большей глупостью будет сказать Вам, что при всем этом я на страже всего Зининого и ее жизни со мной, что я не даю и не дам ей почувствовать ничего, что бы опечалило или обидело ее.

А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но причем она бедная, не правда ли?

Христос с Вами, Нина, целую Вас.

У нас были без Вас Симон с Марикой и Леонидзе втроем. Это было такою радостью! Кланяйтесь им, но не показывайте письма вот почему: мне хочется любить их совершенно одинаково, но любовь — чувство демократическое, и Симона, и Марико мне любить гораздо легче и проще.

Ниночка, Ниночка! *Ваш Б.*

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (ГМГЛ, № 24951, 6).

[1] Речь идет об аресте О. В. Ивинской 9 окт. 1949 г.

1102. С. С. ПРОКОФЬЕВУ

16 октября 1949, Москва

16 окт. 1949 г.

Дорогой Сергей Сергеевич!

Нина Львовна[1] уверяет, будто Вас интересует эта рукопись, которой она сама не читала и только потому могла Вам ее рекомендовать. Доверяюсь ее необоснованному дружелюбию, но боюсь, что Вы ждете от вещи совсем не того, что она может дать, и потеряете на нее время даром.

Это слишком в стороне от того, что принято, да и я сам привык считать литературой. Тут страницы намеренной наглядности, без которой не бывает искусства, перемешаны с самым сырым и откровенным разговором с собой. Но занесение этих вещей на бумагу — сильнейшая моя потребность сейчас, и сознавая все недостатки этих записок, я продолжаю их вести с теми же ошибками.

Приложенные в тетрадке стихи, к которым я, вероятно, прибавлю еще столько же, явятся одной из последних глав второй книги, после главы, описывающей смерть Живаго в 1929 году, и разбора оставшихся после него бумаг[2].

Я не могу подарить Вам рукопись и через месяц попрошу ее обратно. Если Вы прочтете ее раньше, можете дать ее почитать в течение этого срока, кому пожелаете.

От души всего Вам лучшего. Будьте здоровы.

Сердечный привет Мирре Александровне[3].

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1929, оп. 1, ед. хр. 647).

[1] Н. Л. Дорлиак — певица, жена С. Т. Рихтера.

[2] Речь идет о машин. первой книги романа и тетрадке стихов к нему.

[3] *Мира Александровна* Прокофьева — вторая жена композитора.

1103. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ

25 октября 1949, Москва

Глубокоуважаемая Ольга Ивановна!

Как хорошо Вы сделали, что догадались написать мне, — спасибо Вам! Я был на выставке и ошеломлен виденным[1]. Головокружительность дарования этого удивительного мальчика несоизмерима с печальным фактом его смерти. Мне кажется, будь он по счастью еще жив и даже гораздо старше годами, все равно я точно так же плакал

бы перед этими работами и от волнения не мог бы произнести ни слова. Да как же иначе, когда эти акварели, как живые, сходят со стен Вам навстречу, берут Вас за руки, заговаривают с Вами и уводят, куда им вздумается! Тут именно то горделивое, героическое, торжествующее и победоносное, что заключено бывает в *такой* степени совершенства, доводит до слез своей безупречностью и силой, и это слезы торжества и ликования, а не какие-нибудь другие!

Еще раз спасибо Вам за это своевременное извещение (и в какую подходящую минуту, и как все это мне было нужно!).

Желаю радости и счастья Вам и Вашим близким.

Ваш Б. Пастернак

25 окт. 1949

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф (собр. Н. Н. Дмитриевой).

[1] Речь идет о выставке работ скончавшегося от несчастного случая 16-летнего художника Коли Дмитриева, устроенной в ЦДРИ.

1104. А. К. КОТОВУ

9 ноября 1949, Москва

9 ноября 1949 г.

Дорогой Анатолий Константинович!

В недалеком будущем ожидается расчет по Гётевскому однотомнику. Договор со мною на перевод первой части Фауста был заключен до введения новых ставок, по цене 10 руб. за строчку.

Очень прошу Вас повысить мне оплату перевода до 14 рублей[1]. Не годясь, естественно, в объективные судьи своего труда и не имея о нем твердого мнения, смею однако сказать, что хотя я исполнил эту работу в короткий срок, я был ею захвачен и произвел ее, не щадя душевных сил, — затрата, которая не проходит бесследно.

Надо ли мне обращаться со сходным заявлением в иностранный отдел издательства, или Вы затребуете их отзыв (и любой экспертизы, какая будет нужна) по собственной инициативе?

Всего лучшего

Искренне Вас уважающий *Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 160).

[1] В архиве Гослитиздата имеется распоряжение А. К. Котова 28 декабря 1949 г. о повышении гонорара Пастернаку за перевод «Фауста» (РГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 862).

1105. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ

20 ноября 1949, Москва

20 ноября 1949

Дорогая Ольга Ивановна!

Подарите Дмитриевым мое письмо[1], а я взамен сделаю Вам другой подарок. На выставке по моему совету был один мальчик, очень меня любящий и которому за это в школе очень попадает[2]. Он, естественно, в восхищении от картин. Но он читал отзывы посетителей, и его удивило, что все это имена, а их отклики так несодержательны и бесцветны. (Я, так сказать, за что купил, за то и продаю, я этих отзывов не видал, это слова этого Андрюши.) Сейчас самой высшей добродетелью считается безличие, и многие знаменитости, простодушно недооценивая прирожденной бездарности, еще старательно тренируются в дополнительной и ее себе прививают. Очень странное заблуждение. Конечно, одним письмом ничего не сделать, но было бы хорошо, если бы это священное цежение слов сквозь зубы перебивалось чьим-нибудь простым голосом даже предпочтительно неудачным, но только живым. Колина память ни в чем решительно не нуждается, ни в хороших, ни в дурных славословиях, речь именно только о высшем свете, о нравах времени, о тоне, который выдерживает и этот альбом. (Но может быть это все фантазии моего Андрюши, и тогда прошу извинения.)

А за передачу письма я бы Вам оставил в собственность экземпляр первой книги романа, который Вы должны поскорее взять у Дмитриевых[3]. Многое там Вам очень не понравится, но Вы и Ваш круг должны знать эту вещь, она очень прямо и полно выражает мои стремления и интересы последнего времени, может быть даже в ущерб художественности и яркости впечатления. Искренне напишите мне потом, не боясь меня обидеть.

Стихи, приложенные к роману, пишет Юра. По замыслу вещи он должен будет умереть в 1929 году. Во второй книге вслед за описанием его смерти будет глава, сплошь состоящая из одних стихов, найденных потом в его бумагах. Приложенные составляют приблизительно половину их, будут еще и другие.

«Охранной грамоты» нет и у меня самого. Я не знаю, как ее достать[4].

Я много сейчас работаю. Пишу стихи и прозу второй книги (продолжение романа), перевожу поэмы Петефи, собираюсь перевести «Макбета» и вторую часть Фауста. Живу я незаслуженно

хорошо, непередаваемо, непостижимо, с такой совершенною внутренней свободой, словно жизнь протекает по моей фантазии и мечте как раз так, как я хотел, со всеми осложнениями и горестями, которых она мне стоит. Как раз сейчас у меня большое огорчение[5], которое каждый день собирается меня уничтожить и в ежедневной борьбе с которым заключается счастье и назначение моей работы.

Если Вам покажется, что рукопись выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то склоняет, значит, вещь написана очень дурно. Все истинное должно отпускать на волю, освобождать. Всего лучшего. Поклон Вашему мужу[6]. Если у него будет желание прочесть роман и потом написать мне, я буду очень рад.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф (собр. Б. И. Аверина).

[1] Ф. И. и Н. Н. *Дмитриевым* — родителям Коли Дмитриева.

[2] Речь идет об Андрее Вознесенском.

[3] Машин. первой книги романа была передана М. А. Мироновой, поэтому 12 янв. 1950 Пастернак послал О. Александровой записку: «Милая Ольга Ивановна! Найдите способ созвониться откуда-нибудь по телефону Ж-4-27-12 (предпочтительно утром, часов в 10) с Милицей Алексеевной Мироновой о том, как Вам получить от нее рукопись. Экземпляр ее должен состоять из толстой тетради прозы (177 стр.) и *маленькой тетрадочки приложенных стихов*, это дополнение обязательно, попросите М. А. проверить, в порядке ли в этом отношении рукопись, по вполне понятному недосмотру отдельно сшитая тетрадка может остаться незаложенной в большую тетрадь. Всего хорошего Вам и наилучшие пожелания Дмитриевым. *Ваш Б. Пастернак*» (собр. Б. И. Аверина).

[4] Ответ на просьбу О. И. Александровой, выразившей желание прочесть «Охранную грамоту».

[5] Имеется в виду недавний арест О. В. Ивинской.

[6] Борису Ивановичу Аверину.

1106. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 декабря 1949, Москва

9 дек. 1949

Дорогая Олюшка!

Пишу тебе страшно второпях (вечный припев). Но на этот раз, правда, не жди ничего от письма и не «льсти себя надеждами».

Как всегда, очень острая статья[1], порывисто, немногословно изложенная, как надо.

Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчлененного общества, о том, что «душа лирики — реальный план»[2]. И распространяться о Сафо я не буду *только* из торопливости.

Все, что ты пишешь и писала в предыдущем письме о дяде Мише, — поразительно, поразительно интересно и ошеломляет со стороны твоей роли и твоего мужества[3] очень высоко, и мне, например, недоступно, что обезнадеживание и изнеможение, исходящее от прошлого, от переворашивания ушедших вдаль памятников жизни, к которой ты причастна, не затмевает ясности твоего взора, что память даже не отца, а просто победителя, не дожившего до раскрытия своей победы, все время перед тобой, и подымает тебя и настраивает героически, что ты ее не упускаешь из виду. Это поразительно!

Новы были, конечно, и приковали к себе частности, которых я не знал, разнообразие открытий, пророчески-исчерпывающий их, так сказать, состав, угадавший имевшее последовать техническое будущее. И о Томсоне[4], конечно. Но ты права, я это все чувствовал в нем, и как удивительно, что ты это запомнила[5].

Теперь о «заспанных...»[6] (неужели я так тогда написал? Странное определение). Наверное, под тем письмом был приступ действительного непритворного отчаяния, может быть, продолжавшегося несколько часов. Но, вообще, скорее наоборот, я слишком уверен в себе, и то, что я тебя, тебя, чистую, талантливую, умницу мою родную, смел натолкнуть на этот тяжелый путь ободряющих возражений, в надежде услышать что-нибудь еще такое приятное и объективное, чего бы я не мог предугадать, — последняя низость, не имеющая имени.

Но в те дни я был вообще свиньей. Меня пробудило от спячки и немного призвало к порядку большое огорчение. Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространстве подобно, когда-то Сашке[7]. Я страшно много работаю, причем все сразу, свое и переводное в стихах и прозе и, лучше сказать, глушу себя работой.

Целую тебя. Твой Б.

Какая жалость, что ты не едешь! *Это главное.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Пастернаку были посланы тезисы работы О. Фрейденберг «Сафо» (Доклады и сообщения. Вып. 1. Л., Филологический институт ЛГУ, 1949) с надписью: «Боре, дорогому брату. *Оля.* 27 ноября 1949».

[2] Эта мысль была высказана в работе О. Фрейденберг «Происхождение греческой лирики» (1946). См. письмо № 1023.

[3] О. Фрейденберг писала 27 нояб. 1949: «Занималась много отцом. Ко мне приезжали из Москвы от Академии наук. Посылаю им уникальные документы для изученья. Архив отца уже взят Музеем Связи. Пристроила я его, неудачника трагического» <...> Роюсь в прошлом, в фотографиях. Тяжко! Пишу биографию отца». М. Ф. Фрейденберг был журналистом и крупным изобретателем, автором книги воспоминаний. В его бумагах сохранились десятки патентов: «английских, русских, на автоматический телефон, на буквоотливную машину». Он был признан изобретателем кино (там же. С. 283–284).

[4] Джозеф Джон *Томсон* — английский физик, который использовал открытия М. Ф. Фрейденберга.

[5] Из письма О. Фрейденберг: «Был крупнейший изобретатель. Вспоминаю, как ты один это почувствовал в молодости, в Петербурге, помнишь?» (там же). Имеется в виду лето 1910 г. (См. также письмо к М. Ф. Фрейденбергу 1913 г. № 81.)

[6] Фрейденберг неправильно прочла в письме № 1098 слова о «негласной популярности среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных» и потому писала: «...Не спрягай ты себя в одном прошедшем, это грамматическая ошибка. Вздор, что заспанные евреи одни остались (твои ценители) <...> Ты будешь прекрасно писать, твое сердце будет живо, и тобой гордятся и будут гордиться не заспанные и не евреи, а великий круг людей в твоей стране» (там же).

[7] Речь идет об аресте О. В. Ивинской (о расставании с ней весной 1949 г. см. письмо № 1098).

1107. А. С. ЭФРОН

20 декабря 1949, Москва

20 дек. 1949

Дорогая бедная моя Аля!

Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся, даже по привычке, по заученному, в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя. Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елиз<аветы> Яковл<евны> и Зин<аида> Митрофановна[1] вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну проницательность! Ну глубина, ну остроумие — прелесть, прелесть!!

О себе нечего рассказывать, все по-старому, пусть они тебе напишут, только милая печаль моя попала в октябре в беду, вроде того как ты когда-то раньше[2].

Как только будет возможность, пошлю тебе что-нибудь из книжек или еще что-нибудь, если можно будет.

От души тебе всего лучшего. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Письмо послано в Туруханск Красноярского края, куда А. Эфрон была этапирована после повторного ареста.

[1] Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич — тетка Ариадны и ее приятельница.

[2] Арест О. В. Ивинской.

1108. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

22 декабря 1949, Москва

22 дек. 1949

Дорогая Ася!

Спасибо Вам большое за открытку. Алин адрес: Красноярский край, Туруханск, до востребования. Она там работает в клубе, или «Районном доме культуры», живет очень трудно, но мыслимо. Я от нее имел два больших письма, пишет она великолепно и, вообще, умница и молодчина.

У Елизаветы Яковлевны весной был инфаркт, то есть какие-то неприятности с сердцем[1]. Она стеснена в движениях, часто лежит в постели. Я был у нее и нашел в хорошем, улучшившемся состоянии. Тогда хворала гриппом Зинаида Митрофановна, ее приятельница. Поговорили, всех вас вспоминали.

Очень трудно рассказать о себе. Было и есть многое в жизни, в работе. Переводы не единственное, что я делаю. Писал роман в прозе, первую книгу написал. Одним нравится, другим нет, в числе последних например Аля[2]. Тем не менее пишу продолжение.

Как сказать общée обо всем существовании, чтобы Вы поняли, в одной фразе? По возможностям, по тому, чтó я сейчас могу и умею, чем занят и захвачен и по какому-то *существу* своей судьбы, если не по ней самой, я сейчас несоизмеримо счастливее и сильнее, чем был в те времена, когда мы еще встречались. Но все это, все, что я сейчас Вам перечислил — где-то в облаках, во сне или в долженствовании, на земле же, практически, я никому не нужен и наверное ни одна собака меня не знает, как наверное успели убедиться и Вы в Ваших скитаниях. Я не ропщу и не жалею об этом. Чувство собственной неправоты не может толкнуть меня к исправлению. Дело не во мне, а в правоте или неправоте целой жизни, а второй, правой, после одной неправой мне никто не даст

с новым детством, новой молодостью и прочим. Итак, мне приходится доживать и доигрывать эту единственную мою закономерную жизнь, ставшую мне целым миром, от которого я завишу больше, чем от остальной природы. Вот я нагородил Вам целую страницу метафизики и все-таки ничего не сказал.

Живу (в смысле заработка) главным образом переводами. Напереводил, действительно, уйму. Первую часть Фауста сделал в прошлом году. Пришлю Вам, если будет возможность, Шекспировскую хронику «Генрих IV» (где Фальстаф). Или уже посылал Вам? Вот что стоит прочесть по-русски. Перевел также Лира, но это вздор по сравнению с хроникой.

Но все это чепуха по сравнению с оригинальным и личножитейским планом. Однако первый — сплошь заблуждение, а второй (по беде и «несудьбе») сплошь горе.

Но довольно Вам загадки задавать.

Целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397). Письмо послано в Пихтовку Новосибирской области.

[1] Е. Я. Эфрон.

[2] А. Эфрон написала большое письмо 28 нояб. 1948 с разбором недостатков романа. См. ответ Пастернака № 1082.

1109. Н. А. ВЕНКСТЕРН

26 декабря 1949, Москва

26 дек. 1949

Дорогая Наталия Алексеевна!

Огромное Вам спасибо за Ваше щедрое, замечательное, так много мне сказавшее письмо[1]. Вы поразительно глубоко и притом по-артистически поняли более даже, чем самую вещь: судьбу и направление всего этого воображенного мира, этого столба, этого потока. И Вы сумели мне сказать самое радостное и нужное: что этот труд не пропадает даром, что где-то эта одинокая блажь, это расставшееся с современниками отклонение встречается с привидевшеюся автору целью (о мастерстве, поставленном на службу собственному душевному опыту, Вы чудно сказали).

Ваше письмо тем дороже мне, что оно очень своевременно. Как раз сейчас, после полуторагодового перерыва я возобновил работу над романом, пишу также стихи к нему и надеюсь к весне его закончить.

Надеюсь, Вы совсем поправились и Ваши глаза совершенно в порядке?[2] Сердечный привет Вашей дочери и изъявления признательности всем Вашим друзьям, прочитавшим рукопись.

Да, кстати. Я получил о романе письмо без подписи какого-то очень тонкого, глубоко понимающего читателя, пожелавшего остаться неизвестным. Очень интересное письмо с самостоятельными и хорошими мыслями о литературе в кавычках и назначении больших произведений.

Не Олег ли Николаевич, о котором Вы пишете?[3] Теперь я в этом почти уверен. Если это так, передайте ему, пожалуйста, горячую мою благодарность за его замечательное письмо.

От души Вам всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2050, оп. 1, ед. хр. 273).

Н. А. Венкстерн — драматург, автор шедших в театрах инсценировок романов Ч. Диккенса.

[1] В своем письме, написанном после чтения первой книги «Доктора Живаго», Венкстерн отмечала как «самое пронзительное» качество прочитанного — решимость автора «стоять лицом к лицу с жизнью» и видела в нем «исполнение писательского долга — поставить свое мастерство на службу своим мыслям и душевному хозяйству, а не сочинительству». Сохранилась карандашная записка к Н. А. Венкстерн более позднего времени, в которой Пастернак предлагал ей следующие главы «Доктора Живаго»: «Дорогая Наталия Алексеевна! Если будет время, прочтите продолжение (третья четверть вещи, еще остается последняя). Могу дать только на две недели, до конца ноября. Сердечный привет Наталии Александровне. *Ваш Б. П.»* (там же). *Наталия Александровна* Клыкова — дочь Н. А. Венкстерн. Записка относится к осени 1950 г.

[2] Вскоре после получения рукописи у Н. Венкстерн случилось кровоизлияние в глаз и она просила прощения, что не может быстро прочесть ее.

[3] *Олег Николаевич* — неустановленное лицо.

1110. К. КУЛИЕВУ

30–31 декабря 1949, Москва

Дорогой Кайсын!

В тот день как пришло письмо от Вас и Е<лены> Д<митриевны>[1], из Тбилиси приехала приятельница моя, жена Тиц. Табидзе, она обедала у нас, я пробовал читать ей Вас вслух, но каждый раз слезы мешали мне, я протягивал ей листки с переводами Ел<ены> Дмитр<иевны>, она читала глазами и соглашалась с моим потрясенным восхищением.

Все это очень, очень хорошо. Это не только выношено и выражено с большой покоряющей силой, это каждый раз *изображе-*

ние самой этой силы, хмурой, грустящей, плененной, это каждый раз ее новый образ в той или иной форме прометеевой скованности и неволи.

Ел<ена> Дм<итриевна> права, выделяя стихи, которые Вы написали в день Вашего рождения и стихи, написанные мне[2], они хороши сверхъестественно, но я ставлю рядом и «Я хочу, чтобы было так», «Вечером, когда листья падают» и «Видя, как идет дождь».

Между прочим, несмотря на лучшие наши и Гётевские переводы персидской и арабской лирики, несмотря на Саади, Омар Хайяма и пр., на Ваших примерах я впервые в жизни понял, открыл, испытал на себе действие и природу этих газелеобразных возвращений и повторений, трагическую естественность и победоносность этой формы, так сказать роковой, заклятый ее ход. Все это очень крупно и бесподобно.

Но что же, кроме этих восторгов, Кайсын, сказать мне Вам утешительного?

[Вот две вещи, хотя, может быть, они не утешат Вас.][3]

На этой строчке я прервал вчера письмо, а сегодня мне самому так грустно, что сам я больше Вас нуждаюсь в утешении. Ну да все равно. Целую Вас и обнимаю. Сегодня 31 декабря. С Новым годом Вас и Елену Дмитриевну. Что делать, что делать! *Ваш Б. П.*

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф (собр. А. Кулиева). Датируется по содержанию.

[1] Кулиев писал 19 нояб. 1949 Пастернаку: «Я читал Ваш роман. Могу сказать только Вашими же словами: “Благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь”. Все, что я думаю о Вашем творчестве и Вашей личности, я старался выразить в своих стихах. Для меня это легче. Крепко Вас обнимаю. *К. Кулиев*» (там же. С. 260).

[2] «О больших поэтах хорошо говорить / Утром, когда идет снег. / Они приходят в мир также, / Как приходит снег...».

[3] Фраза вычеркнута.

1111. Н. ВАЧНАДЗЕ

31 декабря 1949, Москва

31 дек. 1949 г.

Дорогая Наталья Георгиевна, какая Вы талантливая![1] И какой редкой хорошей породы этот талант, какой редкой неустрашимой чистоты и скромности! Потому что в большинстве одаренные люди стыдятся своей нравственной наследственности и портят и ухуд-

шают себя из робости. Примеры дарования, верного детству и дому, исключительны и граничат с героизмом.

Вы правы, когда где-то между характеристикой Маяковского и Шенгелая[2] пробуете присвоить эти черты нелицемерной открытости и молодой свободы от предрассудков целому поколению. Действительно было время, когда это могло казаться, да и русская революционная преемственность вела к этому — крайности Достоевского, толстовские упрощения. Но все это вскользь, это уже ненужное отступление.

Вы чудно пишете, как должны были бы писать самые лучшие писатели, и, что самое главное, без ущерба для предмета изложения. Хорошее владение пером, язык и чувство стиля обыкновенно уводят от изображаемого и становятся самоцелью, а Вы не дали стилистике оседлать себя. И опять Вас спасли доброта и другие давно в мире открытые душевные достоинства, вероятно, лежащие в основе вкуса: любовь к людям и благодарность прошлому за его яркость, наряду с заботой о том, чтобы отплатить ему такой же красотой и жаром. И смотрите, в каком Вы выигрыше, именно в том, который составляет единственно истинную победу всякого настоящего искусства!

Я все больше склоняюсь к мысли, что главное различие между людьми сводится к их разнице по степени их способностей, и когда я плакал над некоторыми страницами Вашей книги (это относится к «Рассказу о себе» и «Путешествию по Европе»), то слезы вызывала высота Ваша, независимо от того, что Вы рассказывали.

У Вас очень хорошо рассказано об отце, о лунной летней ночи в Кахетии, о первичных детских ощущениях и любви к родному гнезду, о грдзели Кахури[3]. Заставили Вы меня плакать *быстротой* рассказа о поездке 14 года на Бергпляж именно *умной сжатостью*, с какою описано в этом месте так много знаменательного и рокового. Талант сам источник сжатости, потому что он точно обозрим и очевиден, как улика. Его почти видишь, это складка души, так же бросающаяся в глаза, как складка на плаще. Я не верю ничему, что очень велико размерами или чего очень много. Женщины рожают людей, а не циклопов. Гигантским бывает только неорганическое, космические пространства небытия, пустоты смерти, мертвящие начала уродства и надругательства.

Другой, растрогавший меня до слез отрывок, — одновременность первого замужества, окончания гимназии и первого ангажемента. Это можно было уместить так захватывающе в одной строке, потому что когда-то жизнь сблизила это так же захватывающе

тесно. И снова это абсолютное соответствие дара жизни дару слова. Очень хорошо при просмотре кадров о желании подняться на экран, переиграть по-новому и исправить. Очень хороша характеристика Шенгелая. Прекрасно о городах (в автобиографии и в путешествиях), о Флоренции, о Берлине. Замечательное (конечно, бессознательное, иначе не бывает) чувство компоновки, инстинкт последовательности, в каком месте о чем рассказывать: например, очень хорошо, что сообщение о детях дается перед Трусинским ущельем. Естественность постепенно открывающихся рельефов горного пути.

Ну довольно. Поздравляю Вас. И если Вы из скромности недосказали главного: как любила Вас Ваша собственная судьба и светившее Вам солнце и носившая Вас Земля (не Грузия, а вообще Земля, Земля Мира), то этого и не надо, зритель и так догадывается об этом по своему собственному, охватившему его восхищению.

Я Вам так верю, что, когда некоторые другие страницы по теме своей оставили меня сдержанным или холодным, я больше, чем в других, сходных случаях, подумал, что это мои вина и слепота.

Да, действительно я давно-давно уже чего-то недооценил и не понял и в позднем Маяковском, и во многом другом. И что хуже всего — эта связанность собственными границами, тогда она легла на всю жизнь непоправимым обедняющим закостенением. Я очень сильно чувствую это теперь, когда (говорю это совершенно искренне и без всякой рисовки, но и без сожаления) я живу только своими недостатками.

И при чувстве глубокого родства, которое во мне пробудила Ваша книга, я шлю Вам привет и благодарность из своей неудавшейся и неоправдавшейся жизни в Вашу удавшуюся и победившую.

Сердечный привет Кире Георгиевне и поцелуйте Борю[4].

Ваш Б. Пастернак

Да, с Новым Годом! Сегодня восхищенно помянем Вас, у нас будут Фатьма[5] и Нина.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (Гос. публичная библиотека им. К. Маркса, Тбилиси).

[1] Письмо написано по прочтении книги Н. Вачнадзе «Встречи и воспоминания». Тбилиси, 1949.

[2] Николай Михайлович *Шенгелая* — кинорежиссер.

[3] Грузинская застольная песня.

[4] К. Г. Андроникашвили, сестра Н. Вачнадзе, вдова Б. А. Пильняка, и его сын Борис.

[5] *Фатьма* Антоновна Твалтвадзе — переводчица с грузинского языка.

1112. С. Н. ДУРЫЛИНУ

1949, Москва

Дорогой мой Сережа!

Я пишу это, чтобы при твоем недосуге заблаговременно уберечь тебя от писанья мне письма о начале романа[1]. Не делай, ради Бога, этого; если бы даже мы были свободнее, это всегда так мучительно для пишущего, даже в наилучших случаях: пишешь, пишешь, говоришь самые страшные восклицательные слова, и все мало, и все мало: и твой незримый адресат в отдалении (всегда кажется, что он должен быть ненасытен, как Минотавр) постепенно становится твоим проклятием.

Катя Крашенинникова сказала мне по телефону, что он тебе понравился. Как ни любят преувеличивать женщины и добрые люди, мне ясно, что ты его не осудил, и я ликую, и с меня довольно.

Ничего не рассказываю и ни о чем не расспрашиваю: все нужное мы друг о друге знаем. И это не напоминание о рукописи. Никто тебя ни в каком отношении не торопит. Ты уже написал мне. Обнимаю тебя. Привет Ирине Алексеевне. *Твой Б.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695). Датируется по содержанию.

[1] Дурылин ответил подробным разбором: «Дорогой Боря! Нет, я не хочу воспользоваться тем правом не отзываться о романе, которое ты мне предоставляешь в твоем милом письме. Ты верно почувствовал то большое “Да”, которое я говорил все время, читая роман».

1950

1113. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

Начало января 1950, Москва

Дорогая Елена Дмитриевна!

Большое Вам спасибо за письмо Ваше и Кайсына и за вложенные стихотворения. Впечатление было необыкновенное, огромное и о нем подробнее в письме К<айсыну>. Первым побуждением было отвечать Вам тотчас же. Остановила отчасти поглощенность работами, главное же: невозможность рассказать важное и значаще. Об этом, без всяких намеков и кавычек просто не принято говорить[1].

Но, по-видимому жизнь прекращается только со смертью, а пока она длится, в ней все совершается и располагается по достоинству, как в молодости. Чувство не единственное ее содержание, но все остальное, *немногочисленное,* что она содержит, так же крупно, определенно и действительно, как оно.

Я оттого так быстро и легко перевел первую часть Фауста, что в это время и у меня в жизни все делалось как в Фаусте; я переводил его «кровью сердца» и очень боялся за эту новую кровь, как бы в числе всего прочего, повторившегося с нею по Фаусту, не повторилась с ней последняя сцена, как бы не попала она меж таких же стен. Осенью это случилось. Вот мое огорчение, вот горе мое. Если Вы ничего не поняли, то тем лучше. Вообще просто неприлично рассказывать о себе.

Не посылайте мне назад рукопись[2]. Надеюсь письмо мое застанет и Вас и К<айсына> на месте (вот о чем уже приходится мечтать), но если бы в будущем Вам пришлось уехать[3], считайте этот экземпляр своей собственностью.

Я теперь перед вероятной уймой новых переводных задач (среди них несколько поэм Петефи, Шекспировский Макбет и 2-ая

часть Фауста). Месяца два-три с Божьей помощью попишу вторую книгу романа; пишу также стихи вроде тех. Удивило совпадение слова: «снегопад» у меня и в Вашем переводе К<айсына> и сходство настроения[4].

Кстати, Ваш перевод так лишен мишуры и прикрас, что может показаться почти пересказом оригинала, я не знаю, как велика Ваша близость или как велико стремление к благородной простоте, в обоих случаях честь Вам и слава, это очень большая Ваша заслуга. Я хотел было записать Вам от руки несколько новых стихотворений, но это как-нибудь в другой раз. К весне я хочу закончить роман и все вокруг него, если Б<ог> д<аст> доживу.

От души всего лучшего Вам.

Преданный Вам Б. П.

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф. Датируется по штемпелю: во Фрунзе 14 января 1950 г.

[1] Имеются в виду аресты, о которых «не принято говорить»: 9 октября 1949 г. была арестована О. В. Ивинская.

[2] Машин. первой книги романа «Доктор Живаго».

[3] Мечта о том, чтобы остаться «на месте», то есть чтобы их не коснулись аресты, волна которых прокатилась в 1949 г. по всей стране.

[4] В стихах Кулиева, посвященных Пастернаку (см. коммент. 2 к письму № 1110), и в стих. «Свидание» («Одна средь снегопада / Стоишь ты на углу»), которое вошло в приложенную к письму подборку стихов, написанных в ноябре-декабре 1949 г.

1114. А. С. ЭФРОН

19 января 1950, Москва

19 янв. 1950

Дорогая моя Алечка, спасибо тебе за твое письмо воздушной почтою от 5-го января, родная моя. И опять ничего не напишу тебе не из-за недосуга или какой-нибудь «важности» моих дел, а из-за невозможности рассказать тебе главную мою печаль, что было бы глупо и нескромно, и что вообще невозможно по тысяче иных причин[1].

Но что надо было бы сказать тебе, что было бы радостно и приятно знать тебе. Это вот что. Если несмотря на все испытанное, ты так жива еще и несломлена, то это только живущий Бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете, и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще будет с тобой,

колдовской и волшебный источник твоей будущности, который нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся ее часть.

Если бы речь шла только о твоей талантливости, я бы так не распространялся. Но бывает еще дар какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств. То, что ты как заговоренная идешь через эти все несчастия, это чудо тоже творческое, твое, от тебя исходящее.

Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаюсь влюбить тебя в себя или что-нибудь подобное (я без того люблю тебя), посмотри, что ты *можешь*: твое письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь, бедная мученица моя и, помяни мое слово, ты еще увидишь!..

Крепко целую тебя. *Твой Б.*

Я тебе пытался доказать тут что-то, недостаточно оформив это для себя. Такие вещи никогда не удаются. Послал тебе немного денег и две-три книжки[2]. Когда наконец выйдет однотомник Гёте с 1-ой частью Фауста в моем переводе и если будут оттиски, пошлю тебе.

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Письмо послано в Туруханск Красноярского края.

[1] Имеется в виду арест О. В. Ивинской. «Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне, — писала А. Эфрон 31 янв. 1950. — Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие — чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 338).

[2] Одной из посланных книг был сб. «Избранные стихи и поэмы» (М., 1945) с дарственной надписью: «Дорогой моей Але, с благословением, с заклятием, как талисман, верю в тебя и целую. *Б. П.* 16 янв. 1950 г. Москва» (собр. Л. М. Турчинского).

1115. А. С. ЭФРОН

19 февраля 1950, Москва

19 февр. 1950

Дорогая Аля!

Зачем ты называешь свое большое, полное души и мысли письмо коротенькой временной запиской, и собираешься сверх неисчислимо многого, сказанного уже в нем, написать мне еще что-то о

стихах, точно я такой ненасытимый вампир, — не надо, Аличка. Эти книжки я послал тебе после твоих слов о «пареньке» в клубной библиотеке, на случай, если кому-нибудь понадобятся[1].

Я долго болел гриппом с очень высокой температурой и чувствую себя еще и сейчас совсем разбитым. Тут было какое-то подытоживающее потрясение всего жизненного существа, и чем-то вроде обвинительного приговора после болезни, как после судебного разбирательства, над душой повисла растерянность и слабость.

Я боюсь заговаривать с тобой на эту тему, потому что каждый такой мой намек будет вызывать бурю твоих возражений, но мое авторское барахтанье в жизни чересчур затянулось, у многих гораздо раньше опускались руки, и ведь это недоразумение, я давно смирился и вообще никогда ни на что не притязал.

Я рад, что я житейски нужен семье и нескольким близким и хотел бы быть нужным двум-трем людям, вроде тебя, которых люблю. Потребность в заработке, который, Бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод. А об остальном нечего и думать, всему было свое время и надо быть благодарным прошлому.

Мне трудно писать, слабость отражается даже на почерке.

Целую тебя. Твой Б.

Сообщи, пожалуйста, Асе, что я хворал и не так скоро напишу ей.

Впервые: «Знамя», 2004, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] «Твоего Шекспира перечитываю до бесконечности. Я им безумно дорожу и, представь себе, отдала в руки совершенно незнакомого паренька, который пробовал достать твои стихи в здешней, очень маленькой, библиотечке» (5 янв. 1950; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 335).

1116. А. С. ЭФРОН

22 февраля 1950, Москва

22 фев. 1950

Дорогая Аля!

Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи, — ты оставь без внимания то письмо. Мне гораздо легче сейчас, не

беспокойся обо мне. Все же одно соображение, высказанное там, остается в силе. Не воображай, пожалуйста, что ты в каком-то нравственном долгу передо мной, что ты меня в чем-то недостаточно убедила, чего-то недоговорила или не дописала. Ты всегда исчерпывающе красноречива и сильна, я чувствую и знаю твою любовь и горжусь твоей одаренностью и одухотворением. Я все знаю, не трать времени и сил на меня, они так нужны, так нужны тебе в твоих чудовищных условиях. Говорю не обиняками, это причины прямые, никаких других нет.

Всего тебе лучшего. Будет время и возможность, опять напомню о себе.

Спасибо тебе. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Письмо послано в Туруханск Красноярского края.

1117. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

22 февраля 1950, Москва

22 февр. 1950. Дорогая Ася!

Я Вам написал скверное, бесчувственное письмо, за что меня Бог наказал. Я две недели проболел гадким изнурительным гриппом, в течение которого получил второе Ваше, более короткое письмо с чудесным, чудесным Вашим переводом стихов о Конраде[1]. Какая Вы молодчина! У меня была страшная хандра, душа у меня, как пруд тиною, была забита и отяжелена эгоистическим отвращением к себе, недовольством и отчаянием. И все же сквозь эту глухую грязь и водоросли, талантливость Ваша пробилась и дошла до меня и восхитила! Ну, как я еще смею ныть и хныкать рядом с тем, что делает жизнь с людьми, которые во столько раз лучше меня! И «Пес» мне Ваш понравился, я хвалил Вам его.

Часть просьб Ваших исполню. Пришлю бумаги, испанских книг, если что-нибудь найду; и то что Вы называете «Хроникой» (вероятно, написанную половину моей прозы?[2]). А том «Литературного Наследства», посвященный Горькому, так и не вышел, такового нет на свете, все материалы были забраны в Горьковский архив, — я нарочно справлялся в редакции «Наследства», где Вас помнят и все мне объяснили.

Целую Вас, Ася, всего Вам лучшего. Милая Аля пишет мне поразительные, блестящие письма, она страшно одарена и умна, и видя или догадываясь, как глубок мой нравственный упадок, употребляет сизифовы усилия, чтобы поддержать мое настроение.

Ах, но ведь ничего не расскажешь! *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] Поэма А. И. Цветаевой «Близнецы», посвященная Джозефу Конраду и Александру Грину, была написана в 1938 г. по-английски. Об обстоятельствах авторского перевода с английского рассказано в новелле «Зима. Пес», посланной Б. Л. Пастернаку. Новелла вошла в повесть А. Цветаевой «Моя Сибирь» (М., 1988).

[2] Первая книга «Доктора Живаго», о которой А. И. Цветаева узнала из писем А. Эфрон.

1118. С. А. НЕМЗЕРУ

2 марта 1950, Москва

2 марта 1950

Уважаемый тов. Немзер!

Я ответил Вам не сразу, потому что на слух мне показалось, что Ваша фамилия начинается на М, а в письме Вы подписались недостаточно разборчиво[1]. Я думал, — Вы позвоните мне, и я это уточню. Но это все пустяки.

Ваши стихи лучше, чем я ждал, наученный опытом. Обыкновенно примеры следования манере тех лет (даже не мне, а еще и каким-то ответвлениям Есенина и Маяковского) бывают слабее и безотраднее. А Ваша страница не огорчила меня и не оскорбила чувства естественности в той мере, как это в таких случаях бывает. Удачная строка: «Сметает ветер к тротуарам снег» не случайна и в природе всего стихотворения. За вычетом некоторых искусственностей оно благородно и просто возвращает к чему-то из «Спекторского», к какой-то атмосфере его[2].

Но это-то именно и плохо. Не испытав досады непосредственно от Ваших строчек, я подосадовал за Вас. Зачем идете Вы по этому пути, который Вас, и без того, может быть, стоящего недостаточно твердо на ногах, делает еще беспочвеннее? Большое искусство должно побеждать и утверждаться, а я по многим законным и легко объяснимым причинам испытал поражение. Ах я знаю, в возражение Вы будете ссылаться на историю, на непонятость некоторых при жизни и пр. и пр. Оставьте, пожалуйста. Без софизмов и околичностей. Я говорю о самоочевидности. На свете

есть действительность, нечто высшее для всякого живо чувствующего, и для художника в особенности, и в этом свете жизни мое существование называется провалом. Наконец присмотритесь, как, бытовым образом, практически, одиноки Вы в этом признании меня, а если в кругу Вашем и найдется еще два-три таких чудака, пусть характер их подбора подскажет Вам, как спорен я, нехарактерен и случаен.

Вот как много слов я потратил, чтобы отвратить Вас от себя. Потому что это главное. Главное было сказать Вам, что я думаю о духе и мире, который так притянул Вас.

Остальное несущественно. Будете ли Вы писать, надо ли Вам писать, — я этого вопроса даже не подымаю. Я не берусь разрешать это и в случаях гораздо более ясных. Но в части стихописательской вот Вам один совет, внешнее соображение, которое поразит Вас своей поверхностностью. Держитесь строгой рифмовки и совершенно откажитесь от неполной и приблизительной. Это вот зачем. Правильность формы повышает трудность и заставляет расставаться с тем, часто излишним развратом мысли и беспорядком, которых так много в вольностях более расхлябанного стихосложения.

Постарайтесь разыскать в библиотеках или где-либо книжечку «Земной простор», которую я Вам обещал прислать[3], но которой не нашлось у меня ни одного экземпляра, а также книгу прозы «Охранная грамота», хотя и затронутую ненужною сложностью и манерностью, которые я сейчас осуждаю, но все же для меня существенную, а также два тома моих Шекспировских переводов. В особенности прочтите историческую хронику «Король Генрих IV».

О теории стиха я никогда не писал, но всегда о творческом существе искусства в целом, или поэзии, или отдельных поэтов. Жаль, что при выпуске двухтомного моего Шекспира (Изд. «Искусство» 1949 г.) не появились в собрании предпосланные ему заметки мои к отдельным шекспировским драмам[4]. Там много своего, любопытного.

Желаю Вам счастья.

Ваш Б. Пастернак

Ваше стихотворение — вид послания мне, если не ошибаюсь[5]. Благодарю Вас за это посвящение и вообще за добрые Ваши чувства.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. адресата).

Семен Аронович Немзер, инженер-теплоэнергетик, в своем письме, посланном Пастернаку в ответ 6 апр. 1950 из г. Миленки Владимирской обл., писал об искренности ранних стихов Пастернака и «Охранной грамоты», отстаивая их от критики автора.

[1] Первое знакомство Пастернака с С. А. Немзером состоялось по телефону. Письмо было написано в ответ на присылку стихотворения, датированного 21 февр. 1950 г.

[2] Строчка из стихотворения: «Когда по мостовым Москвы, февралясь, / Сметает ветер с тротуаров снег; / Мне хочется, чтоб строки подобрались / И навестили Вас. А впрочем нет...» (там же. С. 16).

[3] В телефонном разговоре Пастернак обещал прислать эту книгу, вышедшую в 1945 г.

[4] «Заметки к переводам Шекспировских трагедий» (1946).

[5] Стихотворение носит посвящение «Б. Л. П.».

1119. Н. МУРАВИНОЙ

3 марта 1950, Москва

3 марта 1950

Дорогая Нинель, хорошая моя, сегодня утром, проснувшись с добрым чувством думал о Вас, и вдруг, такое совпадение! Огромное Вам спасибо за письмо. Это глубоко и талантливо, как всегда у Вас. Я рад, что стихи понравились Вам[1]. Но нельзя и стыдно говорить о шести стихотворениях, когда их должно быть шестьсот шестьдесят. Кроме того, я перестал чувствовать что бы то ни было свое и потерял способность судить об этом. Видимо я слишком много переводил и безразличный синонимизм (готовность заменять одно слово другим по требованию редакторов), пропитывающий работу переводчика, прошел и в меня и разъел мои собственные средства выражения. Наконец и одно огорчение, занимающее чересчур большое место в моей жизни и совсем опустошившее меня...[2] Мне, правда, часто кажется все тупым и мертвым вокруг и во мне самом. Но есть весна, солнце, птицы, дети, и я рад, что для того, чтобы жить, надо зарабатывать. Я разговаривал с Вами по телефону просто и серьезно, без горечи и иносказания. Благодарю Вас без конца. Всего Вам лучшего.

Ваш Б. П.

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] Цикл стихов к роману, написанных в ноябре-декабре 1949 г.: «Осень», «Свидание», «Дурные дни», «Магдалина (I, II)», «Гефсиманский сад».

[2] Арест О. В. Ивинской, с которой Муравина была знакома.

1120. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

11 марта 1950, Москва

11 марта 1950

Дорогая Ася!

Живы ли Вы и здоровы ли? Я Вам писал про «пса» и перевод панегирика Конраду[1]. То и другое мне понравилось, в особенности второе. Вы просили меня прислать «Хронику». Но если Вы имели в виду мой перевод Шекспировского «Генриха IV», то ведь я послал уже Вам его. Если же под таким названием Вы подразумеваете начало романа, то и тут я просил людей, читавших рукопись, переслать ее Вам из Фрунзе, где они проживают[2].

Вчера я отправил Вам заказной бандеролью в двух свертках антологию испанской литературы на испанском языке, вышедшую в нашем советском издании. В одном свертке кроме книг еще некоторое количество такой же бумаги, как листок, на котором написано это письмо, и дюжина карандашей. Так как может быть, такие придатки не допускаются, является вопрос, дойдет ли вообще этот сверток и дойдет ли в целости. Это любопытно, известите меня.

Я вместо карандашей хотел положить с книжками шоколаду и сахару, но оказалось, продовольственные посылки из Москвы запрещены и с этим большие строгости.

Как только будет возможность, пошлю Вам немного денег, как в тот раз.

Будьте здоровы, не сдавайтесь, надо жить. Целую Вас. Если будут попадаться Вам глупые письма от меня, не придавайте им значения, не верьте. Верьте только умным. Когда, до того еще как умру, я стану мертвым заживо и никуда не годным, я сам Вам об этом скажу.

Любопытно, дойдут ли карандаши и бумага. И испанцы. Напишите.

Еще раз всего лучшего. *Ваш Б. П.*

Ну, как, списались с Алей? Здорова ли она?

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] См. письмо № 1117.

[2] Имеется в виду просьба к Е. Д. Орловской: «Дорогая Елена Дмитриевна! Сердечно благодарю Вас и Кайсына за телеграфное поздравление. Я как раз болел тогда гриппом в тяжелой форме. Теперь поправился. Если рукопись “Живаго” в хорошем состоянии (т. е. шрифт не стерся), сделайте мне пожалуйста одолжение, пошлите ее заказной бандеролью Анастасии Ивановне Цветаевой, Новосибирская обл., Пихтовский район, Пих-

товка до востребования. Не сердитесь за просьбу, может быть что-нибудь из написанного там доставит радость получательнице, а у меня нет лишнего экземпляра. Всего лучшего Вам обоим. *Преданный Вам Б. П.* (22 февр. 1950). Пастернак благодарит Орловскую и Кулиева за поздравление с шестидесятилетием 10 февраля 1950 г.

1121. Н. С. РОДИОНОВУ

27 марта 1950, Москва

27 марта 1950

Дорогой Николай Сергеевич!

Недавно я прочел «Воскресение»[1]. И так как я не могу послать письма на тот свет ни автору, ни отцу моему, я вдруг в том же неисполнимом побуждении вспомнил о Вашей давнишней просьбе и вместо них пишу Вам.

Я очень неначитанный человек и Толстого знаю хуже, чем это можно думать (как и все, впрочем, что я хотел бы и должен был бы знать). На меня большое влияние в детстве (лет 12—13-ти) оказали люди и течения, казалось бы, с миром Льва Николаевича несовместимые, символисты и даже та доля или тот налет эгоцентризма, чтобы не сказать ницшеанства, которые отличали Скрябина, — а Скрябина я мальчиком боготворил.

И все же главное и непомернейшее в Толстом, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо) *новый род одухотворения* в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основою моего существования, всей манеры моей жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины XX-го века во всем мире — атмосфера Толстовская.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9 (с ошибочным обозначением адресата). — Автограф. Письмо осталось недописанным и не было отослано.

Николай Сергеевич Родионов — исследователь творчества Л. Н. Толстого, сотрудник Толстовского музея, автор книги «Москва в жизни Л. Толстого».

[1] В 1948 г. было переиздано «Воскресение» Л. Толстого с иллюстрациями Л. О. Пастернака (М., Гослитиздат).

1122. А. С. ЭФРОН

29 марта 1950, Москва

29 марта 1950

Дорогая Аля!

Получил замечательное твое, по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и отвечаю, по обыкновению, коротко и второпях.

Чудно ты пишешь о приезде и встрече депутата и о себе[1]. Ты сама это знаешь. И на притворную тему «militante № 2» тоже великолепно ломаешься[2]. И тоже все чудно знаешь. Я тебя крепко целую.

Если «Воскресение» с частью отцовских иллюстраций я по забывчивости посылаю тебе вторично, ты меня прости и книгу подари кому-нибудь другому[3].

В книгу я всунул несколько страниц новых стихов, продолжение прежних (Из романа в прозе), я их написал в ноябре и декабре[4]. Они сразу оттолкнут тебя, покажутся неяркими и чересчур (нехудожественно) личными. Но если, перечтя их по прошествии некоторого времени, ты их допустишь, и если то, что я тебе сейчас предложу, покажется тебе имеющим смысл, исполнимым и удобным, перепиши их (хотя бы и от руки) и пошли Асе. Но вопрос, дойдут ли они вообще по почте, потому что я всунул их в книгу и может быть этого нельзя делать.

Я обрадовался твоему письму еще и оттого, что начал беспокоиться о твоем здоровье.

Твой Б.

У меня ничего не изменилось, но сам я здоров, много и хорошо работаю.

Напиши, когда все получишь и спишешься с Асей.

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Послано в Туруханск Красноярского края. Вслед на ним в тот же день было написано второе: «Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтовом отделении я сдавал еще другие отправления и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень возможно, что оно пропало там среди клочков оберточной бумаги где-нибудь в корзине и не пошло к тебе. В письме были немногим подробнее, чем тут (так что ты не жалей), восторги по поводу твоего описания приезда депутата и того как ты притворно клевещешь на себя (militante № 2), великолепно все зная и понимая. Кроме того было несколько просьб: 1) если бы оказалось, что посланное тебе “Воскресе-

ние" я уже однажды подарил тебе, чтобы ты извинила мою забывчивость и книгу подарила кому-нибудь другому. 2) Чтобы, в случае если бы ты в конце концов привыкла к нескольким стихотворениям, всунутым в "Воскресение" (продолжению стихов "Из романа в прозе") и они перестали бы отталкивать тебя, и если бы ты нашла это возможным и целесообразным, ты переписала их и послала Асе. Я написал их в начале зимы. Милый друг, глупо, что написав с нечеловеческой торопливостью то послание, я ухитрился потерять его, вынудив эту еще более обидную скороговорку. Прости меня. Целую тебя. *Твой Б.»* (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 343–344).

[1] А. Эфрон описывала, как все туруханское население встречало кандидата в депутаты Верховного совета (6 марта 1950; там же. С. 342).

[2] А. Эфрон опасалась, как бы ее письма не стали такими же «настырными и утомительными», как А. И. Цветаевой, а сама — такой же «воительницей № 2» (там же. С. 340).

[3] А. Эфрон благодарила за книгу 10 апр.: «Один экз. "Воскресения" ты мне подарил в Москве, но я не смогла захватить его сюда с собой. Очень рада, что ты прислал мне эту книгу, не из-за Толстого, а из-за отца, осуществившего тему лучше, чем автор, т. е. с неменьшей любовью, но абсолютно без сантиментальности» (там же. С. 345).

[4] Цикл из 6 стих. к роману, 1949 г.

1123. Н. ТАБИДЗЕ

6 апреля 1950, Москва

6 апр. 1950

Дорогая Ниночка! Я целовал Ваше письмо, присланное с Гарриком, гораздо чаще и усерднее, чем пил присланную Вами чачу, за которую, однако, тоже спасибо Вам от всего сердца. Я часто сдерживаю Вас и прошу не писать нам и не тратить на нас сил и времени. Так останавливаю я Вас, потому что мне больно открывать бездну вложенной Вами задушевности, как в том письме с Гивикиным восклицанием о Пушкине и Пущине[1], или как в этом о нас и о кончившихся Гивикиных прививках. Вы вкладываете в письма всю Вашу душу, единственную и горячую, которую я так люблю и знаю, а от нас — свиней, в ответ — ни звука!!

Ну что же Вам сказать о нас в этом письме, которое Вам отвезет Анна Никандровна?[2] Через два дня Пасха и Зина уже с понедельника вся в делах, движении и достижениях, как тогда перед Рождеством, когда такою радостью было, что Вы приехали. В доме все в порядке, все здоровы, у меня есть заработок, ну и слава Богу.

В начале февраля, после Вашего отъезда, как-то были у нас Леонидзе и Чиковани, и даже Рябинина[3] с мужем. Это был такой безобразный вечер! Бедный Борис Ливанов устроил скандал мне в

защиту от неведомо кого, я никак не мог его остановить. И все было противно, и я сам себе. На другой день я свалился в гриппе от того вечернего отвращения.

Какой-то род осложнения, тоже от омерзения, дал мне какие-то мешки под глазами, красные припухлости вокруг глаз, как у очковой змеи. Чувство гадливости не покидало меня сквозь весь жар, я был тошен самому себе, и только когда сел за работу и перестал заниматься другими и самим собой, все как рукой сняло.

Все последнее время я чувствую себя очень хорошо, много и легко работаю, а больше никаких перемен.

Много радости приносит Стасик, очень хорошая у него, очень близкая мне форма таланта, форма отношения к искусству и понимания его. Да и жизни тоже, вероятно.

На всех, какие только существуют, коротких и длинных радиоволнах посылаю Вам, Ните, Гивику и Алексею Николаевичу[4] самые лучшие пожелания.

Гаррик рассказывает чудеса про Вашего Гивика, про его очарование и глубокомысленные сентенции и сожалеет, что когда он был в гостях у Ниты, присутствие академика Церетели[5] и разговор с ним помешал ему слушать Вашего маленького мудреца.

Вы, наверное, уже видели в «Огоньке» стихи Ахматовой или слышали об их напечатанье[6]. Помните, я показывал Вам давно часть их, причем нелучшую. Те, которых я не знал и которыми она дополнила виденные, самые лучшие. Я страшно, как и все, рад этой литературной сенсации и этому случаю в ее жизни, и только неприятно, что по аналогии все стали выжидающе оглядываться в мою сторону.

Но все то, что произнесла сейчас она, я сказал уже двадцать лет тому назад и один из первых, когда такие голоса звучали реже и в более единственном числе. Таких вещей не повторяют по несколько раз, они что-нибудь значат, или ничего не значат, и в последнем случае никакое повторение не может поправить дела.

Я очень доволен своей судьбой, возможностью зарабатывать честным трудом, ясностью моего душевного состояния. Никогда я не считал себя в каком-нибудь смысле обиженным или обойденным. Если кто-нибудь думает, что я могу со стороны показаться «мучеником» то, во-первых, я не отвечаю за чужой бред или химеры, и, во-вторых, достаточно тем, кого интересует такая видимость, выпустить задержанные мои книги, а меня самого на эстраду, и это «подобие мученичества», *не существующее для меня*, отпадет само собой. Заявление же в «эфир» о том, что я не муче-

ник, для меня немыслимо, как предел идиотизма. Я человек очень гордый, но я должен был бы быть мелким завистником, хвастливым ничтожеством и молодым коммивояжером, чтобы верить по-журналистски и в самый эфир, и в какое-то его знание меня и существование для меня, когда по совести мне иногда бывает трудно поверить, что я интересую Вас или Зину. Кроме того, когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления.

Все это порочный и в высшей степени глупый круг. Кем надо быть, чтобы всем этим заниматься. Мне кажется, все усилия человека должны быть сосредоточены в его деятельности — успешной, смелой и производительной, а остальное доделывает жизнь. В каких-то высших областях существования, каковы любовь (не только женская, но любовь к родине или любовь современников), творчество и пр., это счастие либо дано, либо не дано вовсе, и тут не о чем заботиться, потому что никакими стараниями и хлопотами тут ничего не сделаешь, или это будет подделка. А неподдельный провал для меня все-таки приемлемее поддельного успеха. Простите, Нина, что пишу Вам такую грошовую чепуху, но это чтобы успокоить Вас, если Вас будут нервировать какие-нибудь литературные сплетни.

Крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1 (только вторая половина). — «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 121912, 17).

[1] Внук Нины Табидзе *Гиви* сопоставил дружбу Пастернака и Тициана с дружбой Пушкина и Пущина. Летом 1951 г. Н. Табидзе привозила Гиви в Переделкино, где он подружился с сыном переделкинского сторожа. «Помнит ли еще Гивик Переделкино? — спрашивал Пастернак Н. Табидзе 5 окт. 1951. — На днях маленького Сашеньку Смирнова спросили, кого из своих сестер он больше любит, Лидочку или Тоню, и он ответил "Гивика"» («Литературная Грузия», 1980, № 2. С. 23). Саша Смирнов — сын переделкинского сторожа.

[2] А. Н. Погодина — жена известного драматурга, близкая приятельница З. Н. Пастернак.

[3] Александра Петровна *Рябинина* — зав. редакцией литературы народов СССР в Гослитиздате.

[4] А. Н. Андриадзе — муж Ниты Табидзе, врач-кардиолог.

[5] Академик Георгий Васильевич *Церетели*.

[6] Публикация в «Огоньке» цикла стихов Ахматовой о Сталине вызывала надежды на ее возвращение в литературу после ждановского постановления. Два стих. на эту тему («Мне по душе строптивый норов...» и «Я понял: все живо...») Пастернак написал в конце 1935 г.

1124. Н. ТАБИДЗЕ

1 мая 1950, Москва

1 мая 1950

Дорогая моя Ниночка! Зачем я пишу Вам, что я Вам хочу сказать?

Приезжайте этим летом в Переделкино пораньше, чем в прошлом, устройте это, постарайтесь. Вы знаете, как много прибавляет мне Ваше присутствие, как мне лучше и легче с Вами. Вот и все. На этом письмо могло бы кончиться, припишу еще что-нибудь для приличного объема.

Когда Анна Никандровна отправлялась в Цхалтубо, она вызвалась отвезти Вам письмо. Я ничего в нем не написал интересного, так что Вы ничего не потеряли, если его еще не получили. Но когда письмо уже было у нее в руках, вдруг выяснилось, что она объедет Тбилиси как-то стороной, и вот судьба письма меня беспокоит только в том смысле, что даже эту запоздалую благодарность за Ваши горячие, задушевные строки Вы получите с еще новым дополнительным промедлением.

Я не знаю, было ли это при Вас или после отъезда, но там зимой открыли ее комнату. Это было единственной новостью. С тех пор прошли месяцы и о ней ни слуху ни духу[1].

Сейчас Зина с детьми, Галей[2], Шурой и Ириной два дня в Переделкине, сажали вчера картошку, а сегодня наверное пируют и отдыхают. А я остался в городе, чтобы в тишине попереводить побольше.

Нина, можно быть друзьями и любить друг друга, как мы с Вами, и все-таки не утрачивать трезвости и быть справедливыми. Я не знаю, за что судьба так милостива ко мне. Как меня переоценивают! Сейчас вышел огромный однотомник Гёте, десятую долю которого составляет мой перевод 1-й части Фауста[3]. Я знаю, это неплохая работа, но представьте, таковы почти все переводы остальных участников. А разве у них такое же имя? Перелистываю том и очень редко натыкаюсь на что-нибудь неуклюжее, на архаическую какую-нибудь беспомощную славянщину. Вздыхаю с облегчением. Хоть одно что-нибудь неудачно, слава те Господи. Гляжу, кто переводчик. Такой-то. Ну, прекрасно. Но затем напарываюсь на что-то исключительно блестящее. Неужели думаю, Кочетков![4] Вот молодчина! Нет, оказывается все тот же слабый, который только что меня порадовал своей бессмыслицей. И все такие мастера, что нет спасения, вот позор-то!

Я надеялся получить отдельные оттиски Фауста и тогда послал бы Вам. Но оттисков никому не заготовили, я получил только один экземпляр книги, прошу отпустить мне несколько за плату, но их нигде не достать. В Гослитиздате обещают в будущем (недели через две) продать штук пять. Скажите Симону или Леонидзе, чтобы охотились за однотомником в книжном фонде или коллекторе каком-нибудь Вашем, при Союзе писателей или академическом. Может быть и для Вас достанут?

Ниночка, крепко целую Вас и Вашего Гивика, привет Ните и Вашему милому зятю. Вот и опять ничего не написал я Вам. *Ваш Б.*

Приезжайте поскорее, это главное.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1 (отрывок). — «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 011912, 15).

[1] Речь идет об отсутствии известий об О. В. Ивинской.

[2] Галина Нейгауз, Александр Леонидович Пастернак и его жена И. Н. Вильям.

[3] И.-В. Гёте. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1950.

[4] Александр Сергеевич *Кочетков* — поэт и переводчик.

1125. Б. К. ГУБАРЕВУ

20 мая 1950, Переделкино

20 мая 1950

Дорогой Борис Кириллович!

Простите, что оставил Ваши последние письма без ответа. Я очень ценю их и не делайте ложного вывода из моего недосуга и молчания.

Не усматривайте также ненужной несоответственности в моей жизни и участи. Я не разделяю Вашего недовольства и недоумения. По-моему все в порядке и именно таком, как надо. Я бы не желал для себя ничего другого, что́ бы даже впредь со мной не случилось.

Вам давно хотелось иметь том избранного Гёте[1]. Посылаю Вам его заказной бандеролью. Я знаю, что Вам понравится Фауст, но дело не в этом. Будьте справедливы и посмотрите, как блестяще работают люди совсем без имени или далеко не с таким, как у меня. Я просто поразился, до чего высок общий уровень, так совпадающий с тем, что даю я, что пропала охота переводить.

А мне предстоит еще заняться второю частью Фауста и Шекспировским Макбетом, на которые недавно со мной заключили

договоры. И только что сдал дикое количество мелкой разноценной лирики Петефи. Также занят продолжением романа. Но о себе ни слова, это обширная тема.

Когда будете читать Фауста, примите во внимание, что я связан был оригиналом, в котором великолепны несколько начальных сцен и затем, к концу, вся трагедия бедной Маргариты (особенно последняя тюремная сцена), и никуда не годится середка, с сомнительными умствованиями, провалами, пошлостью мещанского бюргерского «флирта» и немыслимостями ужасной Вальпургиевой ночи[2].

Напишите мне обо всем однотомнике, а не о Фаусте. Я думаю, Вы согласитесь с моим наблюдением.

Привет Вашей жене[3]. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 1, д. 4).

[1] И.-В. Гёте. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1950.

[2] В письме М. В. Юдиной № 1260 Пастернак писал о «стилистическом балласте», которым представляется ему ложное красноречие Мефистофеля, «ограниченное, сознательно второстепенное и, однако, такое пространное», перевод которого «отравлял... радость работы».

[3] Елена Осиповна (Иосифовна) Зинкова.

1126. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

20 мая 1950, Переделкино

20 мая 1950

Дорогая Елена Дмитриевна.

Простите, что не пишу Вам и не удовлетворил Вашего дозволенного и естественного любопытства. Не ищите за моими словами и тем стихотворением никаких символов[1], это все простые факты жизни, и если я сближал их с некоторыми положениями в Фаусте, например, со сценою Маргариты в тюрьме, то в том прямом смысле, что и одна моя бедная знакомая находится точно в таком же положении[2]. Больше Вам ничего знать не надо и не надо ни о чем этом распространяться, потому что под пером эти материи искажаются до немыслимости и перестают быть собою.

Я хочу послать Кайсыну только что вышедший том избранного Гёте[3]. Это ему, но я пошлю его по Вашему адресу, потому что не знаю точного адреса Киргизского союза писателей, куда послать было бы еще разумнее, чтобы они видели, как я его ценю.

Наверное Вас и Кайсына, так же, как это случилось со мной, удивят блеск и совершенство почти всех новых переводов. Под

ними Вы и он найдете много имен былых знакомцев (по союзу) необычайно выросших. Вот что делает непрерывная и напряженная трудовая тренировка, которой были лишены предшественники. Среди этих работ Фауст мой тонет и теряется больше, чем я мог предполагать. По наивности и неведению (я не знал, что делают другие) я считал, что он отличается больше от обыкновенного уровня.

Мне бы хотелось, чтобы Вы и Кайсын сказали что-нибудь веское и дельное на эту несомненную тему, а не принялись разуверять меня, споря с очевидностью.

Всего Вам лучшего. Я рад, что Вы все там же*[4]. Спасибо за пересылку рукописи Цветаевой[5].

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Речь идет о стих. «Свидание» (в первонач. редакции: «Ночь»), последнюю строфу которого Е. Д. Орловская пыталась растолковать символически.

[2] О. В. Ивинская.

[3] Дарственная надпись на книге: И.-В. Гёте. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1950: «Кайсыну Кулиеву от меня. *Б. П.* Кайсын, у Вас есть право на самое высшее в поэзии, я признаю его. А какие гири жизнь навесит к нашим ногам, это ее дело, это неважно. Желаю Вам облегчения в жизни и заслуженной победы. *Б. Пастернак.* 20 мая 1950 г. Москва» (собр. А. Кулиева).

[4] Боязнь «переездов» и мечта «остаться на месте» объясняются страхом повторных арестов (см. об этом же письмо № 1113).

[5] По просьбе Пастернака, Орловская переслала А. И. Цветаевой машин. первой книги «Доктора Живаго».

1127. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ

21 мая 1950, Переделкино

21 мая 1950

Дорогие Женя и Женек! Надеюсь, что все у вас благополучно, хотя вы не пишете[1]. Я по обыкновению очень занят. Только что сдал неимоверное количество мелких вещей Петефи и перед тем, как взяться за Макбета и Фауста, хочу немного пописать свое.

Сегодня отправил однотомник Гёте Агневицкому[2] с обратным маминым адресом (московским) от маминого имени. Леня благополучно сдает экзамены, а Стасик хочет отложить свой диплом-

* (Помните, Вы боялись переездов.) (*Прим. Б. Пастернака.*)

ный на осень, потому что не готов к нему, что мне представляется нежелательным и против чего очень Генр<их> Густ<авович>.

Как видите, я научился писать письма в том живом и спокойном стиле, в каком их в глубине второго плана приводят беллетристы от лица своих персонажей и пример которых читает городничий в начале Ревизора.

Если мне не будет указания, как мне переводить деньги маме, до востребования или на квартиру, я, не дожидаясь письма, переведу их на квартирный адрес, с доставкой. Это почти угроза, и если она вас испугает, то есть если такой способ не подходит, предупредите об этом телеграммой, потому что деньги я хочу отправить до переезда на дачу.

Крепко обнимаю вас обоих. *Ваш Б.*

Как номер квартиры Гавриш[3], на случай телеграммы или телеграфного перевода? К этому придираются.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Письмо послано в Черкассы в военную часть, куда Е. Б. Пастернак был отправлен после окончания адъюнктуры. Е. В. Пастернак поехала вслед за сыном.

[2] Правильно: И. Ю. Ангеницкий, профессор-фтизиатр, у которого в Киеве до того, как получил назначение в Черкассы, останавливался Е. Б. Пастернак. В сб. «И.-В. Гёте. Избранные произведения» (М., Гослитиздат, 1950) вошел перевод первой части «Фауста».

[3] Пастернаки жили в Черкассах на квартире семейства *Гавришей.*

1128. В. Д. АВДЕЕВУ

25 мая 1950, Переделкино

25 мая 1950 г.

Дорогой Валерий Дмитриевич!

Я попрошу прислать Вам рукопись прозы из еще более глубокой провинции, чем дорогой моему сердцу Чистополь[1]. Не знаю, когда до Вас дойдет бандероль. Она, т. е. не бандероль, а вложенная в нее вещь, разочарует Вас и Вы со мной раззнакомитесь. Почти все близкие, ценившие былые мои особенности, ищут их тут и не находят. Так например та сестра Цветаевой Анастасия Ивановна, которую я попрошу эту вещь Вам прислать, жестоко ее мне раскритиковала за бледность и безличие героев и героинь, за их непривлекательность, за непонятную попытку писать как другие и утрату самого себя. Она выковырила из вещи одни цукатины, от которых без ума, а вещь забраковала[2]. Таких голосов очень много.

Я сам думаю, что вещь «собранной в кулак» осязательности не представляет, да у меня и не было на этот раз такого намерения: я не был художником «в соку», когда это задумывал и писал, а чем-то другим, чем мне естественнее быть (о, только не по возрасту), а по всем слагаемым моего рождения, времени, в какое я живу, наполовину без моих усилий сложившейся судьбы и так далее и так далее. Теперь все это больше меня и сильнее моей воли. Это я не в оправдание рукописи, потому что если она дрянь, никакие объяснения в письме не сделают ее шедевром, а для того, чтобы Вы поверили мне, что я сам все вижу и понимаю, и неудача не беспокоит меня, потому что это не неудача, а прискорбная закономерность.

Как Вы доехали?[3] Целую Вас, привет Дмитрию Дмитриевичу и всем Вашим

Ваш Б. Пастернак

Пусть не служит также оправданием тетради, что это только половина задуманного, что сюжетный центр тяжести весь впереди: раз наболтано уже 180 страниц, значит как-то кому-то должно уясняться, для чего это сделано.

Впервые: «Литературная учеба», 1988, № 6. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 41).

[1] Посылка первой книги «Доктора Живаго».

[2] См. письмо № 1129.

[3] Авдеев приезжал в Москву и виделся с Пастернаком, который доставал для него билет во МХАТ. Сохранилась его записка: «Завтра, 18-го от 1 ч. до 3-х (?) выкупить в главной кассе МХАТа билет на имя Пастернáка на воскресный утренник 19-го» (РГАЛИ).

1129. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

25 мая 1950, Переделкино

25 мая 1950

Дорогая Ася!

Благодарю Вас за прямоту критики, понимаю ее, принимаю и жалею, что тороплюсь и не могу дать пространных объяснений по этому поводу[1].

Очень большая просьба. Если шрифт рукописи еще не стерся (я не помню этого экземпляра, а может быть и не знаю его), то таким же способом срочно вышлите его по адресу:

Татреспублика, Чистополь, ул. Карла Маркса, 74. Валерию Дмитриевичу Авдееву.

Если хотите доставить мне приятность, сделайте это, пожалуйста, Ася, не откладывая.

Письмо с Грином не получил, и там же, очевидно был ответ на то, получены ли испанцы, карандаши и бумага[2]. Этого я до сих пор не знаю. О деньгах (т. е. об их получении) Вы писали в последующих письмах, а об этих вещах не было упоминания.

Что же касается до Бобки[3], то он хорош как все у Вас, в особенности характеристика порывов и переменчивых настроений, а также стог сена под снегом и шалаш.

Обязательно пошлю Вам денег, но в данную минуту это невозможно, а только в начале июня.

В Ваших письмах, отрывках, критическом разборе и пр. признаки большой бодрости и прежнего огня, так что когда Вы говорите о возрасте, я это воспринимаю как «литературу» у Вас, причем наиболее слабую.

Целую Вас и желаю удачи в Ваших (это уж не литература), действительно, Сизифовых начинаниях.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] А. И. Цветаева раскритиковала первую часть «Доктора Живаго». См. об этом в письме № 1128.

[2] О посылке испанских книг и карандашей см. в письме № 1120.

[3] Рассказ «Бобка и Барбос» позднее вошел в повесть А. И. Цветаевой «Моя Сибирь».

1130. А. С. ЭФРОН

25 мая 1950, Переделкино

25 мая 1950

Дорогая Аля!

О Чехии пришлет тебе Елиз<авета> Як<овлевна>, к Пушкину достанет Крученых, разыщет и о Маяковском[1]. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет.

Каждый раз, как заходит разговор о маминых книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого как жизнь и как жизнь растекшегося*. Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как

* Это все в чьих-то руках, но поди вспомни в чьих, когда их так немыслимо много! (*Прим. Б. Пастернака.*)

складывалась жизнь и пр., оправдать меня не могут, а разве только послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. Так, проезжая на антифашистский съезд, где я тебя видел, я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались. Это все одного порядка, и этого много у меня в жизни, но клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!!

У тебя очень хорошо о весне, о *ледоходе*[2].

У меня также нет ничего своего, что я бы мог послать тебе. Посылаю тебе однотомник Гёте нарочно без надписи, чтобы ты могла подарить его вашей библиотеке с твоею собственной, если это тебе будет интересно.

В однотомнике есть мой перевод Фауста, и не будет ничего удивительного, если он удовлетворит тебя. Сколько принесено было в жизни жертв призванию, какая создана замкнутость и пр., пора кажется научиться. Гораздо удивительнее совершенство остальных переводов, мелких и крупных, людей с более скромными именами, среди которых мой Фауст затерялся.

Это было для меня открытием. И переводить, как оказывается, не стоит, все научились.

Крепко целую тебя.

Как только будет возможность, переведу тебе денег. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] В письме 5 мая А. Эфрон просила прислать ей стихи Цветаевой к Пушкину, Маяковскому и о Чехии, для этого обратиться к Крученых или если у него нет, то скопировать из рукописей, хранившихся у сестры ее отца, Елизаветы Яковлевны Эфрон. Через три дня Пастернак сообщал о ходе своих розысков: «28 мая 1950. Дорогая Аля. Вот, "К Пушкину" достали только вторую половину, первую разыскивают. О Чехии пришлет Елиз. Яковлевна. Это переписал своей рукой Крученых, и я не даю переписывать на машинке, чтобы не задерживать. Осталось о Маяковском, делают и это. Прости меня за торопливость, послал тебе заказной бандеролью однотомник Гёте, просмотри, что тебе будет интересно, и потом от себя со своей надписью подари в вашу библиотеку. *Твой Б.*» Приложены 2 листа с 3-м и 4-м стих. цикла М. И. Цветаевой «Стихи к Пушкину» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 352).

[2] А. Эфрон писала об ожидании ледохода на Енисее: «Я боюсь ледохода, даже на Москва-реке. Это страшно, как роды. Весна рожает реку. Последний ледоход я видела в прошлом году на Оке, и мне было в самом деле и страшно и немного неловко смотреть, как на что-то личное и тайное в природе...» (там же. С. 351).

1131. Б. С. РОМАШОВУ

22 июня 1950, Переделкино

22 июня 1950

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич!

Как бы это сделать, чтобы при огораживании Вашего участка остался наш выход на западную сторону к лавке и пруду?

Потребность в таком пути я даже признавал со стороны незнакомых и посторонних, и то обстоятельство, что часть служащих и неизвестной публики, живущей в том конце, проходила и проходит мимо нашего дома через нашу ограду, никак на нашей жизни не отразилось[1]. Но я никому не навязываю своих анархических обыкновений и думаю об упорядоченном, приемлемом для Вас разрешении.

Если для Вас неудобно, чтобы наши дети и хозяйки попросту, не беспокоя Вас и неведомым для Вас образом проходили по кончику Вашей территории вдоль Фадеевской стены через две калитки: Вашу, выходящую на Фадеевскую дорогу, и ту, которую Вы позволите проделать там рядом, в углу возводимого Вами забора, то нельзя ли придумать что-нибудь другое?

В таком случае Вы позволили бы может быть поставить на мой счет забор, параллельный куску Фадеевской стены, замыкающей эту дорожку и отделяющий ее от Вас, и за отхват этой узенькой полоски, составляющей пешеходную тропу, в общее пользование вознаградили бы себя любой частью прилегающей литфондовской земли, числящейся за нами.

Кажется это называется сервитутом, но очевидно я плохо разбираюсь в этих вопросах, видите, как это вышло сложно!

Завтра в 3 часа мы с женой позволим себе зайти к Вам об этом посоветоваться.

Сердечный привет Вам и Александре Александровне.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2246, оп. 1, ед. хр. 463).

Б. С. Ромашов — писатель, сосед Пастернака по даче в Переделкине.

[1] Пастернаковский участок был проходным по дороге с поля к магазину, на пруд и деревню Измалково. Пастернак хотел сохранить это удобство не только для своего семейства, но и для жителей поселка, которые этим пользовались. В пьесе «Этот свет» (1942) Вотякова просит у Дудорова позволения пересечь его участок, чтобы поскорее попасть «на кладбище на холме за рекой», на похороны учительницы.

1132. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

14 августа 1950, Переделкино

Дорогой Сергей Васильевич!

Рад поздравить Вас. Очень хорошо, в особенности «Трахинянки»[1]. Просто, в доступной ясности, разматывается клубок мифа, составляющий содержание трагедии и заменяющий ей действие в позднейшем понимании. Трудности хоров, разнообразных метров, вакхических восклицаний и пр., составлявших непреодолимое препятствие большинства переводов, живо, со счастливой естественностью побеждены. Достигнуто высшее: дана возможность стать в близость с существом и духом самого греческого явления. Вдруг выступают какие-то стороны его природы, недостаточно замеченные в молодости и в школе, или осложненные морем литературы на эту тему.

Удачи Вашей речи, особенно в первом переводе, почти чуждающейся архаизмов и заботящейся о передаче существа и *дела* в частых рассказах, совпадают с тем, что на этот раз показалось мне главным в этом удивительном мире: с непосредственным обаяньем добра, не вмененного в долг и не выведенного из морали или религии (верили-то ведь играючи), а словно данного греческому гению природой в виде дара обиходного благородства. Эта непринужденность доброты очень передана у Вас, — могу себе представить, как это было трудно.

Очень хорош и Эдип (их вообще не нужно отделять), но мне показалось, что в Трахинянках Вы достигли большей выразительности и плавности.

Большое спасибо, желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

14 авг. 1950

Пусть не покажутся Вам моя похвала и радость скупыми или сухо высказанными оттого, что я ничего не пишу о себе: последнее совершенно излишне, что-то не весел я, да главного и не скажешь.

Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1364, оп. 4, ед. хр. 438).

Сергей Васильевич Шервинский — поэт, переводчик, в 1920-е гг. сотрудник Государственной академии художественных наук (ГАХН).

[1] Трагедии Софокла «Эдип-царь» и «Эдип в Колоне» вышли в 1937 г. в изд-ве «Academia» в переводе С. В. Шервинского и В. О. Нилендера. В 1940-х переводы были отредактированы Шервинским, который попросил Пастернака посмотреть их и сделанный заново перевод «Трахинянок». Том трагедий Софокла в переводе С. В. Шервинского вышел в 1954 г.

1133. Н. А. ВЕНКСТЕРН

14 августа 1950, Переделкино

Дорогая Наталия Алексеевна!

Я получил записку от Наталии Ильинишны[1], хочу поблагодарить ее, но в Переделкине нет со мною книжки, где записан ее адрес и телефон, при первой поездке в город я позвоню ей, чтобы справиться о ее здоровье.

У меня, как и у каждого, есть привычные, долголетние и новые, растягивающиеся на долгие годы, огорчения, доставляемые главным образом несчастьями других, небезразличных мне людей[2]. Пока эти горести окружают меня в привычном, утвердившемся равнении, я с ними справляюсь, работаю, не теряю надежды на будущее (все равно какое, непосредственно достижимое мною, или более общее, которого я не увижу). Но вот они иногда приходят в движение, «вздваивают ряды» и перестраиваются, и мне становится трудно до следующего, вновь устанавливающегося построенья.

Мне теперь почти не верится, как я мог написать Вам такое спокойное, почти легкомысленное письмо.

Я все же решил послать Вам заметки, которые я сделал для издания своих шекспировских переводов, в том экземпляре, какой у меня остался[3]. Он единственный, Вы его дайте по прочтении В. Калининой[4], если Вы ее встречаете, с тем, чтобы он потом ко мне вернулся.

Прилагаю также несколько стихотворений «Из романа в прозе», которых не было в прошлой тетрадке*.

Поклон Вашей дочери[5]. Говорят, где-то выругали мой перевод Фауста[6], но я имею в виду совсем не это, говоря о периодах временных ухудшений в жизни, а вещи более реальные и роковые.

От души всего Вам лучшего. Наверное, в «Шекспире» кое-что Вам будет любопытно, я экземпляра не пересматривал. Н<аталья> И<льинишна> знает эту статью.

Ваш Б. Пастернак

14 авг. 1950 г.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2050, оп. 1, ед. хр. 273).

[1] Н. И. Игнатова — пианистка, работала научным редактором в издве Академии наук.

[2] Широкая волна арестов, в частности О. В. Ивинской.

---

* Их Вы оставьте у себя. (*Прим. Б. Пастернака.*)

[3] «Заметки к переводам Шекспировских трагедий» (1946).

[4] Валентина Васильевна *Калинина* — актриса МХАТа, игравшая главную роль в спектакле «Домби и сын», поставленном по инсценировке Н. А. Венкстерн. Пастернак очень любил Диккенса и во время спектакля «у него появлялись слезы», — вспоминала Г. С. Нейгауз. Он говорил потом, что «заслуга его и в том, что тот, кто не читал Диккенса, после спектакля захочет его прочесть; ведь Диккенса поставить на сцене невозможно». В. Калининой он подарил свой перевод «Короля Лира» с надписью: «Валентине Васильевне Калининой — Флоренс Домби. Еще Вы будете многим, многим, и я рад Вам это сказать в этой надписи. *Б. Пастернак.* 19 мая 1950 г. Москва» (Воспоминания. С. 558).

[5] Наталия Александровна Клыкова.

[6] В статье Т. Л. Мотылевой «Фауст в переводе Бориса Пастернака», опубликованной в «Новом мире», 1950, № 8.

1134. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ

20 августа 1950, Переделкино

20 авг. 1950

Дорогие Женек и Женюра!

Я не забыл вас, но каждый раз, как какая-нибудь житейская причина вызывает желание написать вам, я вспоминаю Женичкино предубеждение против многословия даже в устной форме, а тем паче в письменной.

Начало лета было у меня довольно спокойное, я перевел Макбета и засел за вторую часть Фауста с попутными укорами совести по поводу того, что для продолжения романа, которым мне надо было бы заняться, у меня не хватает духу, воображения и необходимых сил.

К концу лета пробегали всякие тревожные волны, осложнявшие и домашнюю жизнь, между прочим выругали перевод первой части Фауста в 8-м номере Нового мира. Это какой-то новый для меня вид ругани, церемонный и считающийся с чем-то, однако не с истиной и, таким образом, неведомо с чем[1].

Хотя бормотать так скороговоркой, как я делаю в этом письме, еще хуже, чем совершенно молчать, я все-таки считал долгом сказать вам то, с чего я начал письмо, чтобы вы не думали, что я такой беспамятный и бесчувственный.

Но я и не задавал вам загадок, и если у вас такое чувство, что они налицо, значит это ошибки слога.

Теперь я на время отложил II часть Фауста и принялся за роман. Может быть, я откажусь от поездок в город на все остающееся до окончательного переезда время и тогда попрошу Зину на днях, в конце августа, перевести тебе, Женя, одну тысячу.

Все у нас здоровы; несмотря на некоторые тени, жаловаться нечего, авось все к лучшему.

Целую вас обоих, благодарю тебя, Женичка, за письмо, пусть обилие работы не удручает тебя, напишите мне о своем житье-бытье.

Ваш Б<оря> и П<апа>

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Речь идет о статье Т. Л. Мотылевой «Фауст в переводе Бориса Пастернака».

1135. Е. Я. ЭФРОН

20 сентября 1950, Переделкино

20 сент. 1950

Дорогая Елизавета Яковлевна!

Какая Вы умница и замечательная, что догадались написать мне! Несмотря на то, что все Ваши слова в письме незаслужены и с действительностью несоизмеримы, — спасибо, спасибо. Так Вы думаете — не сдаваться, не поникать?[1] Великолепно. Слушаюсь и рад стараться.

Простите, что пишу так отрывисто. Я никому сейчас не отвечаю, и Але и Асе нескоро напишу. Послушайте, какой кипучей деятельностью был я охвачен летом. В течение одного июня месяца я перевел, отделал и переписал всего Макбета, в июле принялся за II-ю часть Фауста и почти сделал 1-й акт, все время с сознанием, что это не дело, что это отлынивание от настоящей работы (романа). И я не верил, что возьмусь за его продолжение, таким непреодолимо трудным казалось приступить к нему даже в мыслях. И вдруг, этот отзыв! Сперва я не видал его, мне о нем сообщили, перепуганно-смягченно, с утешениями, только-то и наводящими на опасения. Но я так всегда к этому готов, что мне неприятна была только неизвестность, воспоследуют ли отсюда выводы, и какие. У меня ведь есть договор на перевод II-й части, не расторгнут ли его?

Потом я прочел статью и хотя ее голословность, и содержание, и тенденция так естественны и ничего другого нельзя ждать, меня наперекор логике взяло такое зло, что я отбросил работу над Фаустом (II-й частью) и статья дала мне тот толчок в направлении романа, в котором я нуждался. Мне до переезда в город хочется округлить то, что я Вам читал тогда, да приблизительно еще

столько же дальше (московскую зиму[2]). Всем этим я сейчас спешно занят. А пока суд да дело, выяснилось, что статья беспоследственная, все остается в силе, и она значения не имеет. Я Вам не пишу ни слова о жизни, а только, — как все это назвать... свой летний «творческий отчет» или curriculum vitae и это не случайно, но ведь Вы все так прекрасно понимаете! Горячо от всей души желаю Вам доброго здоровья. Сердечный привет Вам и Зинаиде Митрофановне. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 93).

Душевно близкая дружба Пастернака и Елизаветы Яковлевны Эфрон, завязавшаяся еще в конце 1930-х гг., когда она принимала у себя сначала Ариадну, потом Марину Цветаеву с сыном, укрепилась в общих заботах об арестованной Ариадне. Надпись, сделанная на книге «На ранних поездах» говорит о многом, что сближало Пастернака с Е. Я. Эфрон: «Дорогой Елизавете Яковлевне Эфрон среди продолжающихся странностей нашего существования, на память о чем-нибудь другом. *Б. Пастернак.* 22 X. 43» (собр. Р. Б. Вальбе). Сохранилась также записка, свидетельствующая о чтении Е. Я. Эфрон первой книги «Доктора Живаго»: «Дорогая Елизавета Яковлевна! В рукописи оказался заложенным этот конверт. Пересылаю его Вам с сердечным приветом и пожеланием всего лучшего Вам и Зинаиде Митрофановне. Будьте здоровы. *Ваш Б. П.* 8 апр. 1949 г.» (РГАЛИ). З. М. Ширкевич — приятельница и компаньонка Е. Я. Эфрон.

[1] Ответ на письмо, в котором Е. Я. Эфрон с восхищением отзывалась на перевод «Фауста» и просила не обращать внимания на ругательный отзыв Т. Л. Мотылевой («Новый мир», 1950, № 8).

[2] Глава 6 «Доктора Живаго», получившая название «Московское становище».

1136. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

21 сентября 1950, Переделкино

21 сент. 1950

Дорогая Ася!

Не обижайтесь на меня за мое молчание. Это не оттого, что я бесчувственен, или небрежен, или важничаю, или что-нибудь другое. Я не могу оправдаться перед Вами и рассказать о себе: все это вещи, не укладывающиеся в письменной форме.

Но по счастью я здоров, и мне по-прежнему дают и не перестают давать работать. Летом всегда бывают некоторые, относительные, материальные заминки. Я знаю, что это Вас не интересует, но не думайте, что я о Вас забыл. При первой возможности для меня будет радостью быть полезным Вам. Я мечтаю послать

Вам немного денег, но не смогу это сделать раньше конца ноября, вот горе ведь.

Желаю Вам от души здоровья, представляю себе все. О как все это трудно!

Ваш Б.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397). Письмо послано в Пихтовку Новосибирской области.

1137. А. С. ЭФРОН

21 сентября 1950, Переделкино

21 сент. 1950

Дорогая Аля!

Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожься. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные. Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде Шекспировского Макбета? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в «Новом мире» выругали моего «Фауста» на том основании, что, будто бы, боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания[1]. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится.

Прости, и толкового письма жди от меня не скоро. На пристройку к енисейскому домику хочу послать тебе, но смогу не раньше ноября.

Бросаю писать, потому что ничего путного все равно не смогу сказать: не вижу подходящих эпистолярных форм.

Мне написала со своей дачи Елиз<авета> Яковл<евна>, в письме тревожится о тебе и хвалит твою акварель с видом Енисея.

Как мы с тобой похожи! Все что ты писала об Асином способе переписываться через копирку, и об ее обстоятельности и пр., — в точности повторяется со мною.

Целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Письмо послано в Туруханск Красноярского края.

[1] См. письмо № 1135 по поводу статьи Т. Мотылевой, в которой та писала, что переводчик «явно искажает мысль Гёте» и «социально-философский смысл» его произведения («Новый мир», 1950, № 8. С. 242).

1138. З. А. НИКИТИНОЙ

22 сентября 1950, Переделкино

22 сент. 1950

Дорогая Зоя Александровна!

С большим удовольствием прочел письмо из издательства за № 1090 от 13 сент. и с еще большей радостью заключил о Вашем здоровье, увидав Вашу подпись.

Надо ли после немногих этих личных строк переносить разговор на другой лист или можно продолжать на этой же странице?

Я, разумеется, буду очень доволен, если перечисленные Вами «Гамлет», «Отелло» и «Ромео и Джульетта» будут выпущены в моем переводе[1]. Я очень жалел, что «Искусство» так ограничило тираж двухтомного собрания моих шекспировских переводов[2]. Эти 5000 экземпляров разобрали очень охотно и быстро, и в конце концов их ни у кого нет.

Этим летом я перевел «Макбета». Исполнением этого перевода Детгиз обусловил выпуск нескольких других Шекспировских пьес в моем переводе. Таким образом этот «Макбет» сразу появился в их сборном томике[3], не выходя отдельно. Я не знаю механизма составления планов в издательствах, но если этот перевод может практически заинтересовать «Искусство», я пришлю Вам рукопись, но только не на суд профессора А. А. Смирнова, мы люди слишком разные[4].

Когда в далеком будущем дело дойдет до денежных расчетов, я попрошу следуемое мне перевести не по почте на дом, а путем перечисления на сберкнижку (кажется, такая операция мыслима). С этой целью прилагаю нужные сведения при заявлении в бухгалтерию, откуда их можно будет почерпнуть и для помещения в договор.

Вы и сами верно знали, какое впечатление произведет на меня Ваше обращение и сколько пробудит воспоминаний.

От души Вам всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые: «Путь»,1995, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

З. А. Никитина, с которой Пастернак познакомился, издавая сб. «Стихотворения в одном томе» в 1933 г. (Изд-во писателей в Ленинграде), теперь работала в Ленинградском отделении «Искусства».

[1] Три перечисленные трагедии вышли в изд-ве «Искусство» (М.–Л., 1951) отдельными книжками по 25 000 экз. и общим сборником таким же тиражом.

[2] Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака. М., «Искусство», 1949. Тираж 5000.

[3] Вильям Шекспир. Трагедии. Перевод Б. Пастернака. М.–Л., Детгиз, 1951.

[4] Об отношениях с А. А. Смирновым, который препятствовал изданию шекспировских переводов Пастернака, см. письма № 1019, 1033.

1139. А. С. ЭФРОН

30 сентября 1950, Москва

30 сент. 1950 г.

Дорогая моя Аля!

Я опять получил от тебя письмо, полное души и ума, про лес, про твою маму, про мои переводы. Я всегда кому-нибудь показываю твои письма, хвастаю ими, так они хороши!

Но зато я тебе пишу в последнее время пустые, бездушные, торопливые записки, лишенные содержания, просто, чтобы ты не думала, что я забыл тебя, и не беспокоилась. Отчего, кроме недостатка времени я стал в последнее время так тих и односложен, этого не объяс<нить>... неумелое выражение моей сущности, отнюдь не мрачной, а ясной и радостной, наводит на них тень и заражает превратно понятыми настроениями, что людям, которым и без того трудно, вредно слушать меня.

Может быть это приступ мнительности, но вот именно я стал сдерживаться, чтобы как-нибудь не огорчить тебя большими посланиями. Прости меня.

Наверно перед тем как ты написала мне о Фаусте, тебе попался ругательный отзыв о переводе в Новом мире?[1] Не тревожься. Все это пустя<ки>...

Впервые: — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Купюры сделаны А. С. Эфрон, что говорит о «рискованном» содержании вырезанных мест. На оборванном листе примеч. А. С. Эфрон: «Половина листка оторвана мною тогда же, в 1950 или позже, в 1953 г. — *А. Э.*».

[1] Об отзыве Т. Мотылевой Пастернак писал А. Эфрон в письме № 1136.

1140. С. П. БОБРОВУ и М. П. БОГОСЛОВСКОЙ

27 октября 1950, Москва

27 октября 1950

Дорогие Сережа и Мария Павловна!

После именин Зина «залегла» за Стендаля[1], для чего выдумала себе радикулит, которого ровно хватило на два дня этого запойного чтения. Ничего подобного никогда не видал, и наряду с авторским содержанием это высшая похвала искусству и слогу переводчиков. Я тоже, как только урву время, воспользуюсь случаем перечесть роман в такой стремительной и засасывающей передаче.

Поздравляю Вас. Сердечный привет. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 564).

[1] Роман Стендаля «Красное и черное. Хроника 1830 г.» в переводе Боброва и Богословской вышел в Гослитиздате, 1949, переиздан в 1950 г.

1141. З. А. НИКИТИНОЙ

Первая половина ноября 1950, Москва

Дорогая Зоя Александровна!

По словам Зины, говорившей с Вами по телефону, Вам для составления договора требуется копия прежнего. Он от 1945 года, когда высшей ставкой за стихотворную переводную строчку считали 10 р. За «Короля Лира», на которого было дополнительное соглашение 1947 г., они платили по 14-ти.

В письме к Вам я жаловался, что «Искусство» не исчерпало своих тиражных прав на двухтомник. Совсем недавно, и после моего письма, они допечатали еще 5000 остававшихся экземпляров.

Когда будут мне деньги по договору, нельзя ли их перечислить на сберкассу, а не переводить по почте на дом? Данные для этого я приложил к прежнему письму, но на всякий случай повторяю их, если они затерялись.

Сердечный привет. Всего Вам лучшего.

Ваш Б. Пастернак

P. S. В «Искусстве» говорят, что договорные материалы высланы в Ленинград 27 окт. на имя Вашего директора.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321). Датируется по содержанию.

1142. Р. МИКАДЗЕ

18 ноября 1950, Москва

18. XI. 50

Дорогая Раиса Константиновна!

Как мило Вы кокетничаете, начиная Ваше коротенькое письмо с предположения, что я, наверное, Вас не помню!

Мне хотелось тут же летом написать Вам так, чтобы Вам было интересно читать и чтобы ответ доставил Вам радость. И я вернулся мыслями к ночи, когда от переполнявших меня чувств я готов был плакать или даже плакал, и вследствие Вашей снисходительности позволял себе столько мелких нарушений приличия.

Тогда Вы сошли с машины первою, в начале проспекта или даже до него, и с этого началось мое прощание с тем удивительным и волшебным, что я встречал во все свои грузинские поездки и что необъяснимо одним только югом, горами, широтой грузинского характера, женской красотою, разгоряченностью и приподнятостью шумных и многолюдных пирушек, но еще таинственнее и глубже всех этих составных частей[1].

Так, в природе и человеческом мире волнует то значительное, чему не нашли еще имени и слова и что ждет еще своего определения. Именно этим ожиданием оно и волнует, как заданная и еще не разрешенная загадка или как повисший в воздухе и ожидающий исполнения сигнал.

Например, таким раскатившимся из глубины прошлого столетия сигналом был в истории человеческой деятельности в России Лермонтов. Память о нем, по сравнению с Пушкиным, была предельно отягощена и затруднена тем требовательным и ускользающе-неуловимым, чего в нем так много, почти как в настоящем живом горе или в сырой природе. И только к концу столетия некоторые мысли у Владимира Соловьева, кое-что у символистов, а главное — работы Врубеля были первым эхом, первым отражением лермонтовского звука на полустолетнем расстоянии, так трудно подхватить и продолжить лермонтовскую исключительность, так немыслимо отвечать на его сигнал общими местами.

А теперь и то немногое, что было достигнуто, возвращено назад, в старую исходную точку, и мы узнаем о Лермонтове, что был великий русский поэт, большой патриот и еще что-то. Это почти то же самое, что сказать, что у Лермонтова были руки и ноги[2].

Вас, наверное, удивляет, отчего зашел разговор об этом имени, это вышло немного ни к селу ни к городу. Но я имел в виду

перевести потом речь на те неожиданные открытия, которые я стал производить даже в лучшем из того, что пишут сейчас самые близкие мои товарищи и которые меня так огорчают. Но это очень затянет письмо. Я отказываюсь от этого желания, и пусть слова, сказанные выше, останутся сказанными некстати. Напишу Вам несколько слов о себе.

Зачем Вы дарите меня такими светскими фразами, как то, что в Грузии меня помнят и любят, как то, что Вы много слышали о моих новых работах и пр. и пр. Я не говорю, что это совершенный обман в Ваших устах, но согласитесь, насколько бывает иная картина, когда эти слова действительно что-то значат и имеют полный смысл! Так тогда зачем прибегать нам к словам в их призрачном применении? Разве мы так уж бедны?

Нет, дорогая моя, если и знают меня еще три-четыре человека во всем свете, то через год-два не будет и тех. Но какое в этом горе? Однако эта неизвестность и естественное забвение еще далеко не все. Все чаще раздаются голоса самых близких, родных и самых проверенных друзей, которые видят упадок, утерю мною самого себя и уход в ординарность в моих интересах последнего времени и давшейся мне так нелегко моей нынешней простоте. Что же, не горе и это. Если есть где-то страдание, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, а может быть, и не правы. Может, и очень может быть, я прошел только немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к человеческому страданию и готовности разделить его.

Но Вы не думайте, что я угощаю Вас, ожидающую совсем других разговоров, семинарскими душеспасительными беседами. Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально-нелепо и без которой произведения снаружи припудрены поверхностной талантливостью, а внутри держатся на идее, известной или даже превзойденной человечеством при выходе из дикарства. — Но опять я Бог знает куда заехал. Вот как я с Вами заговорился.

У меня к Вам просьба, если она Вас не обидит.

Я давно собираюсь и очень хочу написать Нине Александровне Табидзе. Но ей я должен буду писать совсем о другом, она знает, оттого я и оставляю ее без писем, что никак не подберу подходящих для переписки слов.

Сообщите ей, пожалуйста, часть этой, обрушенной на Вас философии. Сообщите ей, что я по-прежнему живу как хочу и здоров и счастлив этим правом, за которое готов заплатить жизнью.

Помните, я в Сагурамо вспомнил о доме[3], у меня дрогнул голос, и я не мог продолжать речи. Вот и опять я о том же. Я с Зиной составляю неразделимый кусок существования, вроде того как я хожу по полу или вижу глазами. За вычетом этого краеугольного факта я люблю Нину Александровну больше всех людей на свете. Это можете не сообщать ей, это можете скрыть от нее. Целую Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (собр. адресата).

Раиса Константиновна Микадзе — скульптор, приятельница Н. Табидзе.

[1] Имеется в виду ночь накануне отъезда из Тбилиси 30 октября 1945 г., когда, как писал Пастернак к Н. Табидзе, «он с кровью отрывал себя» от близких и родных семей «и от места на асфальте против гостиницы», где они прощались. «И немногого недоставало, — писал он, — чтобы в эти последние часы у меня не начался роман с Раисой Микадзе» (письмо № 970).

[2] Некоторые следы аналогичного разговора о Лермонтове записал К. И. Чуковский у себя в дневнике: «...Говорить, что Лермонтов великий поэт — это все равно, что сказать о нем, что у него были руки и ноги. Не протезы же! — ха-ха-ха!» (Дневник 1930–1969. М., 1995. С. 195. Запись 31 августа 1951).

[3] В Сагурамо Пастернак был в последний день пребывания в Грузии, 29 окт. 1945 г., его привезли в Тбилиси за два часа до вылета в Москву.

1143. Н. ТАБИДЗЕ

19 ноября 1950, Москва

19 ноября 1950

Дорогая моя Ниночка! Я страшная свинья перед Вами. По-моему я ни разу не написал Вам с прошлой зимы, а от Вас было несколько писем, всегда полных такой сосредоточенной души, всегда что-нибудь содержащих. А в последнее время еще к тому же рассказы Фатьмы Антоновны[1] о Вас и опять безумная Ваша посылка! Простите, что так запаздываю своей благодарностью. Вот что значит хорошее вино, когда оно по-настоящему хорошее, а не только для непонимающих, — густое, почти черное, с легким и поразительным букетом, равносильным таланту и благородству в человеке! И Вы ведь верно уже знаете про похождения Фатьмы Антоновны, как она отстала от поезда в Гаграх и как бездомные бедные вещи, в том числе осиротевшие яблоки и баклажаны, скитались без хозяйки на ее розысках? Ничего не испортилось, а вынесенные испытания удесятерили ценность посылки.

Нина, всегда, когда со мной что-нибудь случается, я мысленно пишу Вам письмо и рассказываю это Вам. Тут через этот пересказ я только и нахожу формулу случившемуся и для собственного сознания. Таких побуждений было много летом, в августе, но лучше я расскажу Вам все это при встрече.

Я много работал летом, перевел в месяц Шекспировского Макбета, взялся за вторую часть Фауста, тут подоспела статья в Новом мире, где меня выругали[2], — я рассердился на Гёте и принялся за прозу.

Это то, что Вы слышали в позапрошлом году[3], продолженное и отделанное. Оно составляет третью четверть романа (остается написать еще четвертую). Мне переписали эту часть, ее читали, она вызывает разноречивое отношение. Одни как Зина или живущие скромно и трудно писатели в Нащокинском переулке, Бог знает как хвалят, другие, как блестящие жители Лаврушинского или такие преданные друзья как Ливановы находят, что я себя потерял или намеренно отказываюсь от себя, что я ударился в несвойственную мне бесцветность или обыкновенность и т. д. Но так как мне постоянно хочется работать и надо зарабатывать, жизнь, видимо, бессознательно создала мне род иммунитета и выработала совершенную невосприимчивость к судьбе сделанного и мнениям о нем. Я здоров, Ниночка, и хорошо чувствую себя. Меня беспокоит Ваше здоровье и страшно хочется Вас видеть.

Зина ездила на два, на три дня в Ленинград со Стасиком, дававшим там с огромным успехом свои концерты, и очень довольна поездкой. Она и Леничка увлекаются фотографией, без конца снимают, проявляют, печатают и увеличивают, но, по-моему, еще недостаточно научились. Они просят кланяться Вам, зовут в Москву и крепко Вас целуют.

Ниночка, я и сейчас мог бы Вам прислать немного денег, но для некоторого удобства, совершенно эгоистического, сделаю это в декабре, при первом же новом поступлении. Ну, милый друг мой, крепко, крепко целую Вас. Передайте мои чувства Ните, золотому Гивику и Алексею Николаевичу, которого мы наперебой расхваливали с Фатьмой Антоновной, когда я ее видел. Все хорошо, Нина. И всего хорошего.

Ваш Боря

Вот два снимка, сделанных Зиною. Они мутные и тусклые, но я так редко выхожу человеком, а не гориллой на фотографиях, что хочу послать их Вам.

Впервые: «Литературное обозрение», 1988, № 5. — Автограф (ГМГЛ, № 011912, 14).

[1] Ф. Т. Твалтвадзе — переводчица с грузинского языка.

[2] Статья Т. Л. Мотылевой («Новый мир», 1950, № 8).

[3] Вероятно, описка, Н. Табидзе приезжала в Москву в декабре 1949 г., в 1948 г. они с Пастернаком не виделись. Речь идет о главах романа «Прощание со старым» и «Московское становище».

1144. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

19 ноября 1950, Москва

19 ноября 1950

Дорогой Женичка, милый мальчик мой!

Ты часто спрашиваешь маму, как я, как мое настроение. Все это в наилучшем порядке, милый мой, действительно хорошо, без малейшей тени принятой в высшем свете иронии.

Зин<аида> Ник<олаевна> ездила в Ленинград в одну из Стасиковых поездок. И должно же было случиться, что почти единственными провожающими к «Красной стреле» на пустом и ветреном ночном перроне были я и Галя, а другими мама и Миша Поливанов, провожавшие случайно уезжавших на том же поезде Марг<ариту> Густ<авов>ну и Конст<антина> Мих<айловича>![1]

Зин. Ник. очень хорошо, с нематеринскою трезвостью говорит о Стасике и поездке, отделяя вопрос об его успехах от вопроса о том, как он играл (я не согласен с ее тревогой по поводу слишком частых его выступлений, рискованных, по ее мнению, потому что они ведут к нервности почти беспамятной и мешают спокойной сосредоточенности исполнения, — я считаю, что так и должно быть, что искусство должно быть частью жизни, и хорошо, чтобы она вредила ему). Так же немногословно и по существу отозвалась она о продолжении Живаго, — З. Н. в числе тех, кому эта часть нравится. Меня, между прочим, удивляет, как снисходителен ты был, когда летом в Переделкине, наскоро пробегая главы рукописи, пожелал не заметить, что она еще совсем не гладка, и только запнулся перед какой-то фразой. Наверное, это обстоятельство затруднило чтение вещи дяде Шуре, но он не отдал себе отчета в этом главном, первом по счету недостатке, и стал объяснять двойственность впечатления (неблагоприятного) разными другими причинами, философскими.

Да, так тогда рукопись была еще очень далека от того вида, в каком она может годиться для переписки. Теперь ее переписали. И мнения, наверное, очень разделятся.

Очень широко мнение (оно совсем не доктринерское, в число думающих так попадают и дядя Шура, и мама, и кто хочешь, — это общее мнение), что какую-то часть существующего я должен был бы все же видеть другими глазами, что это отъединение слишком далеко зашло, что в нем есть что-то неестественное и с точки зрения искусства. Так как я очень часто сталкиваюсь с этим взглядом, то волей-неволей разобрал его с достаточностью[2].

Я думал дальше дать тебе свои соображения по этому поводу, но есть какой-то градус умствований, за которым они становятся нудны и нестерпимы. Мне кажется, этот градус достигнут. Прошу тебя поверить на слово без подробных обоснований, что я доволен судьбой, вот главное объяснение всего, что делаю я сам и что со мною делается.

Зин. Ник. и Леничка много занимаются фотографией. Посылаю тебе два ее снимка.

Крепко целую тебя. *Твой папа*

Я знаю, как ты занят. Можешь в каком-нибудь из своих писем маме упомянуть о получении этого письма и карточек, и я буду считать ее звонок твоим ответом.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] К. М. Поливанов — профессор электротехники и его жена — дочь Г. Г. Шпета. Их сын М. К. Поливанов — тогда студент физического факультета МГУ.

[2] В числе непринявших новые главы «Прощание со старым» и «Московское становище», посвященные 1917–1919 гг., были Ливановы. Давая им перепечатанные главы для чтения, Пастернак сопроводил их запиской на имя Евгении Казимировны: «Вот рукопись, Женичка. Если будет время у Бори, то будет совсем роскошно. Только не читайте слишком мелкими дробленными порциями. Если захотите что-либо сказать, то не по телефону, а письмом или при ближайшем свидании. Я теперь к телефону отношусь как к открыткам: "да, нет, все здоровы, чего и Вам желаем". Зина прочла эту часть, ей нравится. Крепко целую Вас обоих и Васеньку и, в идее, Наташу целую. *Ваш Б.* 8 ноября 1950 г.» («Москва», 1993, № 10). Василий Борисович — сын Ливановых; *Наташа* Рикко — дочь Е. К. Ливановой от первого брака.

1145. З. А. НИКИТИНОЙ

22 ноября 1950, Москва

22 нояб. 1950. Дорогая Зоя Александровна! У нас «разукрупнили» наше почтовое отделение, и вчера, когда я отправлял Вам заказной бандеролью книги[1], я в первый раз переступил порог

нового, куда нас перевели. Отделение и персонал произвели на меня очень несолидное впечатление, да и может быть книги надо было посылать не заказной бандеролью, а как-нибудь иначе. Если через неделю книги не придут, дайте мне знать, я пошлю с Главного почтамта, или их отвезет Стасик, выезжающий на свой ленинградский концерт. Последний способ всего лучше, жаль что я сразу не догадался. Будьте здоровы.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

[1] Вместе с бандеролью Пастернак писал Никитиной «21 ноября 1950. Дорогая Зоя Александровна! Спасибо Вам большое за письмо и за все. Подписанные договоры прилагаю. Книги тоже высланы. Когда будете в Москве, обязательно звоните и заходите. От души желаю Вам всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*» (там же). После подписания договоров и получения аванса Пастернак снова писал Никитиной в ответ на сообщение о том, что текст переводов взят из предыдущих изданий, по которым сделана расклейка для типографии: «28. XII. 1950. Дорогая милая Зоя Александровна! Я — страшная свинья, что до сих пор не поблагодарил Вас за своевременно полученные деньги. Вы товарищу, расклеивавшему текст, положили слишком малую оплату. Надо по меньшей мере по 50 р. за пьесу. Я все надеялся, что Зина поедет в Ленинград и отвезет. *Ваш Б. Пастернак*» (на талоне почтового перевода в 150 рублей; там же).

1146. А. С. ЭФРОН

5 декабря 1950, Москва

5 дек. 1950. Аля, родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто бы не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов[1], подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампукой[2]. Вообще говоря, это труд решительно никому ненужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал только для того, чтобы записать чем-нибудь эти полстраницы. То, что я хочу сказать тебе, выра-

зимо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастию, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь и северную глушь в морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя. Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством!

Крепко целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. С. Эфрон писала лозунги и оформляла стенные газеты, работая в Доме культуры в Туруханске.

[2] «Вампука, невеста африканская» — опера В. Г. Эренберга (1909), пародирующая оперные штампы.

1147. Н. ТАБИДЗЕ

5 декабря 1950, Москва

5 дек. 1950

Дорогая Нина!

Вы наверное получили мое пустое и торопливое письмо, но не торопитесь сами отвечать мне. Числах в десятых декабря, т. е. через неделю, я надеюсь перевести Вам немного денег, чтобы к Рождеству и новому году у Вас руки не были так связаны[1]. Тогда, на праздниках, ответьте мне.

Мне правда хорошо, как я, наверное, писал Вам, только, наверное, я работал бы лучше и быстрее, если бы переводил не такую Вампуку, как вторая часть Фауста.

Я больше, чем когда-либо, доволен своей судьбой и не желаю ей перемен. В последнее время мне многое кругом кажется страшно мелочным. Мою жизнь, если бы кому-нибудь это требовалось, могло бы изменить чье-нибудь шире, чем на мою жизнь, распространенное великодушье, но это именно дело этой, неизвестной мне, великой души, мне же вести себя по-другому нельзя, и эта неотменимость преисполняет меня счастьем.

Крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 021912, 18).

[1] Почтовый перевод на 2000 р. был послан 19 дек. 1950: «Дорогая Нина! Я так давно болтаю об этих деньгах и посылаю их так поздно, что Вы, наверное, уже не испытаете удовольствия получив их. Простите! У меня все хорошо, кроме известного Вам плохого. Как Нитина нога, не попал ли в нее осколок? Крепко целую Вас и желаю встретить новый год здоровою и веселой. Всем привет. Целую Вас. *Ваш Б.*» (ГМГЛ).

1148. С. П. БОБРОВУ и М. П. БОГОСЛОВСКОЙ

7 декабря 1950, Москва

7 дек. 1950.

Дорогие Сережа и Мария Павловна!

Ужасная возня с этим «вторым Фаустом»! И, как у всех, кроме работы, столько постороннего! Оттого и не отвечаю. Спасибо за твои милые строки, Сережа! Не пиши мне так, а то я буду в таком долгу перед тобой!

Был какой-то просвет двухдневный (но я не умею читать так быстро, как Зина), я проглотил первую часть Жюльена[1] и с пропусками, как читают молодые девицы, заглянул во все потрясающие главы второй. Я читал Вас не как переводчиков, но как друзей автора и героев; как участников: творения и всех описанных в нем событий и всего этого, катящегося вперед и увлекающего за собою потока. Какая чистота и жар порывов! Как верно и с какой благородной стороны увидена жизнь! Еще недавно было очевидностью, что никаким другим искусство быть не может. И вдруг этой истины не стало и в помине.

Я читал «Ч<ерное> и Кр<асное>» в ту войну, в двух книгах, изданных, кажется, Некрасовым, не помню чей перевод, но, наверное, был неплохой. Потом куски, когда ходил в Университетскую библиотеку, в оригинале.

Очень хорошо, что вы возвращаете читателю право на простодушие, что не обременяете его «литературными достоинствами» работы или позволяете их не видеть, что мимо этого всего вводите прямо в голое и горячее существо.

Надо будет повидаться, как-нибудь на рубеже старого и нового года, или около того. Об этом дадим заблаговременно телеграмму. Извините (оба) за торопливость записки.

З<инаида> Н<иколаевна> присоединяется.

Ваш Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 564).

[1] Роман Стендаля «Красное и черное» в переводе Боброва и Богословской, за присылку которого Пастернак благодарил Боброва в письме № 1140.

1149. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 декабря 1950, Москва

20 дек. 1950

Дорогая Оля!

Спасибо тебе за письмо, спасибо что прощаешь мне мое молчание. Последнее время я сношусь с тобой посредством живых картин или шарад, наездами в Ленинград из Москвы Феди, Ирины, Жени и Зины[1]. Спасибо и за тон, в каком поддерживала двухчасовой разговор по телефону с Зиной, она мне рассказывала. Женя в восторге от тебя, но про это ты ведь знаешь. Может быть, Зина премирует Леню семидневным Ленинградом, если он принесет хорошие отметки за вторую четверть. Он учится хорошо, но много пропускает, потому что простужается так же часто, как ты. Если они (он и Зина) поедут, то в самых первых числах января, с первого по восьмое, позвонят конечно тебе[2]. Вот ты его увидишь, родившегося таким беленьким и ставшего таким черным.

Прости, что опять не пишу ничего существенного. Да что писать-то? Но всё, за исключением кое-чего плохого, великолепно.

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Ирина Николаевна Пастернак с сыном Федей были в Ленинграде в июле; 1 авг. 1950 Пастернак писал об этом О. Фрейденберг: «О тебе чудно, подробно и приятно рассказывает Ирина: как вы встретились на улице,

как ты к ней приехала на вокзал с пирожками и припасами, об угощенье, о том, как ты одета, о твоей приятельнице, о том, как тебя любят, о твоей популярности в доме. Я точно побывал у тебя и погрузился в облагораживающую атмосферу чистоты, прохлады, душевной высоты и ясности» (там же. С. 286). Е. Б. Пастернак провел у О. Фрейденберг несколько дней осенью, приехав в отпуск из Черкасс.

[2] В ответ на это письмо О. Фрейденберг писала о своих болезнях и 30 дек. 1950 Пастернак вселял в нее надежды на выздоровление и сообщал о приезде Зины и Лени: «Я не помню, что писал тебе, но Зина и Леня не затруднили бы тебя, и в случае совершенного твоего здоровья. Они, если судьбе угодно, будут в Ленинграде между 2-м и 8-м января и по телефону из гостиницы обещают справиться о твоем состоянии. В виде новогоднего пожелания желаю тебе, чтобы все это у тебя прошло само собой, до врачей и рентгена» (там же. С. 289).

1150. Н. МУРАВИНОЙ

8 февраля 1951, Москва

8 февраля 1951. Дорогая Нина!

Иногда узнаю о Вас. Говорят, Вы пишете, Вас печатают[1]. Вот цель письма. Вы знаете мои «числа», я боюсь, что Вы меня поздравите с днем рождения, или чего доброго еще что-нибудь пришлете[2]. Умоляю Вас, если я что-нибудь для Вас составляю, не делайте этого. Это относится не к Вам только, а ко всем, к дому и семье. Я совершенно отменил эту тему. В прошлом году я чувствовал себя так глупо и ложно в этот день, что заболел. Это не траур по какой-либо причине, а просто я головой и сердцем страшно далеко от этого, страшно в стороне, и собственно неизвестно где. Я знаю, Вы умница и уловите серьезность моего тона и послушаетесь меня, за что Вам спасибо. И не горюйте на мой счет, все, вообще, хорошо. Будьте здоровы, всего лучшего.

Любящий Вас Б. П.

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] Учась в аспирантуре, Н. Муравина получила заказ на рецензию для журн. «Октябрь» на книгу, посвященную композитору М. Глинке.

[2] Речь идет о дне рождения Пастернака. «Родные его праздновали десятого февраля, а я всегда поздравляла его одиннадцатого, так как он сам точно не знал, когда родился», — вспоминала Н. Муравина. Расхождение в датах объясняется неправильным переводом 29 января на новый стиль; к датам XIX столетия надо прибавлять не 13, как обычно, а 12 дней. Муравина вспоминает, что отказавшись от цветов к этому дню, послала коротенькую телеграмму: «Дорогой Борис Леонидович, это только телеграмма, только память» (там же. С. 133).

1151. Б. К. ГУБАРЕВУ

23 февраля 1951, Москва

Дорогой Борис Кириллович!

Ну что мне сказать в ответ на Вашу трогательную озабоченность?[1] Ну вот я, жив, здоров, работаю, зарабатываю деньги. Остальное не подлежит обсуждению. Ну о чем действительно умствовать и теоретизировать? Жизнь идет так, как надо.

Не усматривайте, пожалуйста, какой-нибудь таинственности в моем простом и искреннем немногословии. Макбета я перевел летом в один месяц, занят Шекспиром, II частью Фауста, поэмами и лирикой Петефи в большом количестве, просто совестно повторять из году в год одни и те же в ушах навязшие имена, — я однообразие считаю позором. Мне хотелось бы с этим переводным затором, с пробкою этой разделаться к осени, если Бог даст жив буду, а потом развязаться со своим романом, я написал продолжение его, остается окончить.

Спасибо Вам, не ломайте голову по моему поводу и на мой счет не расстраивайтесь, все это пустяки, я уже давно когда-то писал Вам об этом. И не разуверяйте меня ни в чем. Жизнь не всегда идет ровно, временно простите мне и мое отсутствие в печати, все эти вопросы лежат совсем в другой плоскости.

И не сердитесь, не считайте этого отпискою. От души всего лучшего Вам и Вашим близким.

Ваш Б. Пастернак

23 февр. 1951

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 1, д. 5).

[1] Губарев постоянно упрекал Пастернака в том, что он не печатает свои оригинальные стихи, не участвует в литературной жизни, чем сам же затрудняет себе жизнь.

1152. В. В. ШИТОВОЙ

23 февраля 1951, Москва

Милая Вера Васильевна!

Я давно хочу поблагодарить Вас за Ваше письмо[1], но не скоро соберусь ответить Вам по-настоящему, так как страшно занят и не знаю, когда освобожусь.

А пока спасибо Вам за Ваши чувства, пожелания и сожаления. Я никогда не обсуждаю своей судьбы и не вижу к этому по-

вода. Все складывается так, как надо, все когда-нибудь объяснится.

Желаю удачи и развития самому лучшему и большому в Вас, желаю Вам счастья.

Ваш Б. Пастернак

23 февр. 1951

Впервые. — Автограф (собр. адресата).

В. В. Шитова была тогда дипломницей исторического факультета МГУ, впоследствии искусствовед, автор статей и книг о деятелях театра и кино (о К. С. Станиславском, 1985; Лукино Висконти, 1965; Жане Габене, 1967).

[1] Пастернак разметил письмо Шитовой подчеркиваниями, на конверте от 2 февр. 1950 сохранились наброски его ответа: «Спасибо. Вы — совершившийся факт. Хорошее письмо умного хорошего человека было написано и получено. Все было бы хорошо, если бы высокие идеи и цели обладали бы твердым недвусмысленным значеньем и в современной постановке. Но мне кажется — двойственность. Но они действительно двойственны, никакими другими я их не знаю. Все наши печатающиеся современные писатели без исключенья светлые личности, говорящие всегда только *часть* правды. Но часть правды и есть ложь. Никакой другою ложь никогда не бывает. Наверное если бы Хикмет и Неруда были бы чем-то воистину большим, я бы знал и должен был бы их знать против воли, а я ограничиваюсь незнанием. Этот тон твердости и уверенности не личное высокомерие, а спокойствие, которое дает общение с великими понятиями и вещами. Я думаю, что мы живем не только в век великий, но и в век фразы, и эта двойственность называется диалектикой. Чтобы ограничиться фактическим. Общение с аудиторией приносило мне радость и часто проходило удачно. Я от этого отказался... Лирического накала. Мне кажется я заработал право сдерживаться, терять и даже пострадать...».

1153. Н. ТАБИДЗЕ

23 февраля 1951, Москва

23 февр. 1951

Дорогая Нина!

Вот уже больше недели, как разбойничье семейство Пастернаков хищно и бессовестно уничтожает Ваши запасы, набросилось на сладости и проглотило их, съело яблоки, выпило вино, одухотворением равное Бетховену, и поливает все бездарные изделия своей собственной кухни Вашим всепреображающим гранатовым соком.

Но верхом всего был, конечно, мальчик, принесший этот груз — молодой Г. Л. Асатиани[1]. Какое очарование! Я сейчас же подумал, как приподнято и несвободно должны себя чувствовать

Асатиани и Тина Калистратовна, имея такого сына. Тут что-то напоминает мое отношение к Стасику, когда присутствие члена семейства перерастает родовые рамки дома, словно всю жизнь кто-то в гостях и все время праздник.

Я рад, что от Вас пришла весть и письмо, я начал беспокоиться. Как-то Вы мне приснились вместе с артисткой Гиацинтовой (я перед этим говорил с ней по телефону[2]). Вас обеих выбрали в депутаты. Вы принимали просителей, и везде я видел Ваши, Нина, портреты.

В первых числах января Зина вдвоем с Леней ездили в Ленинград, в виде подарка Лене за хорошее учение, остановились в гостинице, жили в хороших условиях, осматривали музеи и город, каждый день виделись с выступавшим там Дм<итрием> Ник<олаевичем> и Сережей, о котором Вам наверное уже писали. Он как-то раз читал продолжение романа, писал мне длинное письмо и не мог кончить, потому что вдруг заболел[3].

Я завален работой и все это — деньги. Это все тот же старый Шекспир, переиздаваемый в количестве пяти пьес для школьных библиотек и которого Морозов и я пересматриваем с самого основания до последней буквы[4], и продолжение Фаустовского перевода, и лирика Петефи. Все это я хотел бы сбросить с плеч, если жив буду к осени, чтобы потом окончить роман и тоже от него освободиться. Не бывает дня, чтобы я как-нибудь по-новому не видел выгоды того, что судьба не баловала меня внешним успехом, что держала меня в кажущейся строгости, что я всегда жил производительно, реальным трудом, и шел вперед в своем ремесле, а не занят был ношением спорно приобретенного имени — и чтобы я не благодарил за все это небо.

Как-то я написал Р. К. Микадзе большое письмо, в котором объяснился в любви к Вам, она, наверное, обиделась[5].

Однажды дождливым вечером я провожал откуда-то Ахматову домой и вел ее под руку. Я ей что-то рассказывал про Спасского, нас обдавало водой с кровельных карнизов. В одном очень сильном месте, где водяной душ был особенно густ, а моя похвала Сереже особенно высока, я, выводя А. А. из-под водопада, сильно прижал ее руку к себе, а она сказала: «Но ведь я не Сережа Спасский!» Это было прелестно.

Нина, мне больно, что в кои веки и позорно редко стараясь Вам быть полезным, я ввожу Вас в расходы, превышающие мои старанья. Сколько раз я просил Вас не хлопотать и не тратиться. Ну что с Вами делать? Нина, бессмысленно писать Вам, как Вас тут недостает и как все хотят Вас видеть. Об этом надо не писать, а

уже и сейчас постройте, пожалуйста, так свою жизнь, ученую работу и преподавание[6], чтобы Вы могли пожить у нас летом.

Я Вам не написал и десятой доли того, что хотел, оттого и письмо такое дурацкое!

Поцелуйте, пожалуйста, Вашего милого слона Гивика и его родителей.

Крепко целую Вас и обнимаю, Зина и Ленечка присоединяются.

Ваш Б.

А вдруг Вам покажется, что письмо холодное и это Вас опечалит. Это заблуждение. Все труднее и труднее становится писать глубоко, по-настоящему на какую бы то ни было тему.

Я здоров и работаю, мне кажется это непозволительною роскошью, неслыханно многим! Желаю того же неслыханно многого и Вам, по Вашему письму мне показалось, что так оно и есть.

Впервые: «Литературная Грузия», 1996, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 2).

[1] Гурам *Асатиани* — литературный критик.

[2] С актрисой С. В. *Гиацинтовой* Пастернак был знаком с детства; она была дочерью инспектора Училища живописи, в здании которого находилась квартира Пастернаков. В конце года она похоронила своего мужа — знаменитого актера И. Н. Берсенева, Пастернак послал ей сочувственную телеграмму: «В нашей скорби о незабвенном Иване Николаевиче да поможет Вам Ваш дар и одухотворение стойко перенести главную тягчайшую и самую кровную часть общего горя и потрясения = *Пастернак*. 27 дек. 1951» (РГАЛИ, ф. 2049, оп. 1, ед. хр. 325).

[3] Речь идет о чтеце Д. Н. Журавлеве и С. Д. Спасском, который вскоре после этого был арестован. «Заболел» — эффемизм, по тому времени легко разгадываемый. Неоконченное письмо Спасского о следующих главах романа было позже переслано Пастернаку и сохранилось в бумагах О. В. Ивинской. Спасский отмечал найденный в романе «ритм повествования, точную скупую последовательность предложений, сжатую завершенность каждого отрывка». «Смешно поздравлять тебя, — писал он, — с мастерским овладением формой, <...> но такова уже природа искусства, что пределов роста у нее нет и что каждое новое ее воплощение кажется неожиданной и счастливой находкой. И это, если вспомнить общую полную утрату чувства стиля, действует особенно оздоровляюще и укрепляюще» (Ивинская. В плену времени. С. 207).

[4] Новые редакции переводов Пастернака вошли в том Шекспира, вышедший в Детгизе в 1951 г.

[5] См. письмо № 1142.

[6] Н. А. Табидзе работала в Тбилисском медицинском институте на кафедре биологии и паразитологии.

1154. А. С. ЭФРОН

25 февраля 1951, Москва

25 февр. 1951

Дорогая Аля!

Спасибо за письмо. Я стал уже беспокоиться, звонил Ел<изавете> Як<овлев>не, что о тебе слышно и хотел послать тебе телеграмму.

Я действительно страшно занят сейчас. Детгиз выпускает для школьной библиотеки 5 Шекспировских пьес в моем переводе, в том числе сделанного для них Макбета[1]. Это — деньги в будущем, но для этого надо тщательно и кропотливо пересмотреть тексты всех переводов, страницу за страницей и предельно, буква в букву, приблизить к подлиннику, ближе, чем допускает живой перевод, Такая надобность, за которой, конечно, следит редактор, не подсказана существом дела или требованиями жизни, а только стремлением издательства к тому, чтобы в случае чего, было на кого свалить, — так мол у Шекспира, наше дело сторона[2]. Но так как все на свете можно повернуть к лучшему, я за этим трачу время и силы не без пользы. Это будет действительно выверенный текст долговечностью лет на 30 или на 50.

Я боюсь, что обнадеживал тебя насчет денег, у меня действительно были расчеты на февраль, на середину зимы, но эти предположения передвигаются ближе к концу марта или к апрелю. Ты можешь всегда верить моим обещаниям, но никогда не верь срокам в них, они от меня не зависят. Прости за весь этот разговор, в котором ты не виновата ни сном ни духом и повода к которому не подавала даже тайным действием мыслей на расстоянии, — все дело во мне, я давно решил послать тебе что-нибудь в январе, и меня мучит, что я этого не сделал. Но скоро, скоро я это поправлю.

Прости, что на двух страницах этого письма я умудрился не сказать тебе ничего хорошего или хотя бы существенного. Я здоров, работаю, в границах, остающихся за вычетом собственного сочинительства, принадлежу весь себе, люблю тебя, верю в то, что ты выдержишь все испытания, и верю в эту веру, в целесообразность ее и прок от нее, а все это вместе, с некоторыми другими еще слагаемыми, такая непозволительная и незаслуженная роскошь, что умолкаю.

Целую тебя, Аля. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Вильям Шекспир. Трагедии. Перевод Бориса Пастернака. М., Детгиз, 1951.

[2] Аналогично сказанному здесь Пастернак объяснял Г. М. Козинцеву в письме № 1243 причину возникновения многочисленных вариантов текста «общей запуганностью», из-за которой его заставляли «приближать эти переводы к оригиналу... не из почитания подлинника, а для того, чтобы было на что ссылаться и на кого валить в случае нареканий».

1155. А. С. ЭФРОН

26 марта 1951, Москва

26 марта 1951

Дорогая Аля! Я в последний раз пообещал, что скоро напишу тебе. Я хотел поговорить с тобою о себе, я давно тебе о себе ничего не рассказывал, я знаю, как дорого было бы тебе это узнать. Но это необычайно трудно и все равно ничем бы не кончилось, я не дописал бы письма, или уничтожил бы написанное. А я хочу еще сказать тебе кое что, касающееся тебя. Этим и ограничусь.

Вот что я хотел тебе посоветовать. Старайся уже и сейчас, несмотря на недосуг, набрасывать что-нибудь в прозе, хорошую сжатую беллетристику, взяв за образец, скажем, Чехова. Что-нибудь из огромного твоего пережитого, в безобидно нейтральной форме, какую мог бы выдержать современный твой письменный стол. Но именно рассказы, а не воспоминания, не Асины essais и размышления, не стихотворения в прозе, а виденное и испытанное, переряженное вымыслом и отнесенное немного в сторону, на творческую дистанцию. Тебе когда-нибудь это понадобится. Ты — писательница и больно, когда об этом вполголоса проговариваются твои письма[1], где этот дар попадает в ложное положение, как когда например ты в них скажешь что-нибудь очень ярко и смело, *слишком хорошо для письма*, и начинаешь затирать и топить это в пояснительных психологизмах, и торопишься придать необыкновенному вид обыкновенности, чтобы восстановить нарушенную эпистолярную скромность.

В будущем тебе когда-нибудь непременно захочется писать большое жизнеописание, большую историю, настоящую, в открытую, или опять-таки творчески претворенную в отнесении на какой-то градус правее или левее собственной, и тебе заблаговременно надо потренироваться в теске камней к ней. А вываливать это в письмах, это все равно, что питаться серными спичками или

пить чистый уксус. А может быть я неправ и письма-то и есть эти камни.

Очень у меня болит шея в последнее время, не отпуская. Надо будет сходить в поликлинику и обратить на это внимание. А на душе у меня ясно и спокойно и я хотел бы заразить тебя этой примиренностью по отношению к тому, в каком состоянии наследие твоей матери и что делается и сделается со мной, и со многими. Но ты ведь и сама так устроена и тебе этого спокойствия не занимать стать.

Целую тебя. *Твой Б.*

Будь здорова и счастлива, я всегда думаю о тебе и люблю тебя.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. Эфрон отвечала на эти слова: «Но я — не писательница. Не писательница, потому что не пишу, а не пишу, потому что могу не писать, иначе я подчиняла бы все на свете писанию <...> Во-вторых, я не писательница потому, что никогда не чувствую конца и начала вещи <...> Никогда не смогла бы, как Чехов, что-то и кого-то выхватить и бросить на полпути, придав этому вид законченности <...> И еще много есть причин, по которым я не писательница, несмотря на то "яркое и смелое", что, как ты говоришь, иногда оказывается в моих письмах» (4 апр. 1951; А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 389, 390).

1156. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Март 1951, Москва

<...> Ел<изавета> Як<овлевна> дала мне «Тегу»[1]. Очень хорош. До «корочки» перед самым концом[2] все очень настоящее, точно, трогательно и без преувеличения, как в жизни. И — прекрасно технически: разные запутанности и сближения разобраны и разложены мастерски средствами образцового гибкого слога. А сожаления о корочке показались праздными, аффектированно вынесенными предшествующим правдивым разгоном. Потом последние строчки опять хороши. Я думал, что Вы выкупите его и зароете, чтобы не ели[3].

У меня больше месяца сильно болит шея, — связки, суставы и мышцы, не повернуть головы и трудно работать[4].

Крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397). Верхняя треть письма оторвана. Датируется по содержанию.

[1] Рассказ о больном гусенке «Весна. Тега», который вошел в повесть А. И. Цветаевой «Моя Сибирь», гл. 5 (М., 1988).

[2] Речь идет о корочке хлеба, припасенной для гусенка, которую Цветаева не успела ему накрошить, и бывшая ей укором после того, как гусенка зарезали.

[3] А. И. Цветаева считала, что письмо Пастернака утеряно: «Эту главу написав, послала Борису. Жаль не сохранилось его письмо о Теге. О том, как он принял его. И как удивился и огорчился, что я не откупила его, *убитого,* у хозяев и не похоронила, а позволила съесть <...> Должно быть для замысла Бориса надо было больше, чем у меня было, энергии, которая была у Бориса и которой у меня не было» («Моя Сибирь». С. 93).

[4] О боли в шее см. письмо № 1155.

1157. Г. ЛЕОНИДЗЕ

15 апреля 1951, Москва

15. IV. 51

Дорогой и великий друг мой, Георгий Николаевич, спасибо, спасибо, спасибо! О, как много мне хочется сказать Вам! И лучше не приниматься! Потому что самая уже потребность эта ничего, кроме одной бесформенности, не предвещает. Ибо хочется охватить все, сказать обо всем.

Но ведь это так естественно. Да и как иначе? Приезжает Зина, рассказывает и рассказывает. И опять встает перед глазами вся эта непередаваемая тбилисская сказка и морем входят в душу сопровождающие ее чувства. И так хочется сейчас же обратить их к Вам, голосу этого моря, его шуму, его творческому толкованию!!

И это была бы сказка про белого бычка, столько раз уже всем рассказанная, и пришлось бы сызнова писать «Волны» и те стихи про художника, где — про Вас[1], и потом вспоминать приезд зимой 1933 года.

О как это было естественно и закономерно! Чтобы в первый же вечер приезда чаша восторга переполнилась через край и чтобы кто был ее последней каплей! Чтобы в построенном по-европейски городе с необыкновенным, нервно, по-южному прорисованным населением, ночью за частою сеткой быстропадающего снега (Первого снега!![2]) быстро прошла незнакомая фигура, и все дошло до предела, и от восхищения не стало сил! Чтобы на другой день я вдруг понял, кто это был[3], и чтобы движение этой предостерегающей силы, останавливающее и чуть-чуть трагическое, как всякое напоминание, исходило из Вашей жизни, из Вашего дома!

О, Леонидзе, Леонидзе, как все это крупно, нешуточно и прекрасно!

О Вашем внуке-красавце Зина рассказывает восхищенно. Как огорчает меня болезнь бедной Тины[4] (но Нина писала кому-то сюда, что ей уже немного лучше?). А Евфимия Александровна все еще в больнице? От души горячо желаю им обеим скорейшего переезда домой.

Вас обидело, что я не ответил Вам на Вашу новогоднюю телеграмму. Свинство конечно, что я не сделал для Вас исключения и отмолчался, как от нескольких других. Но это не горечь и не ожесточение, что я отказался от встречи Нового года и потом, месяц спустя, от празднования своего рождения. Я сам не знаю, что это, и не сумею объяснить. В моем характере, наверное, много женского, страдательного. Конечно, я деятелен, трудолюбив, усидчив. Но я не умею предпринимать чего-нибудь в жизни, не люблю «делать шагов». Как я отдавался несколько раз в руки жизни и в руки серьезной работы, так, в крупном масштабе, осталось мне еще отдаться в руки смерти. Вот и вся программа, все та же. Суждено ли еще чему-нибудь распорядиться мной, прежде чем я с Вами прощусь, никому неведомо. Но как хорошо и нешуточно и это, как прекрасно! Крепко целую Вас и руку Евфимии Александровны. Да! Спасибо за целый бассейн этого дивного напитка!

Ваш Б.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф.

[1] Имеется в виду стих. «Скромный дом, но рюмка рому...» из цикла «Художник» (1936), написанное под впечатлением поездки в Тифлис в ноябре 1933 г.

[2] Назв. стих. Леонидзе, переведенного Пастернаком.

[3] Случайная встреча с Е. А. Леонидзе на улице в день приезда и последующее знакомство с нею стало содержанием стих. «Как-то в сумерки Тифлиса...» из цикла «Художник» (1936).

[4] *Тина* — младшая дочь Леонидзе.

1158. М. и А. ШАНШИАШВИЛИ

15 апреля 1951, Москва

15 апреля 1951 г.

Дорогие Мария Иосифовна и Александр Ильич!

Самыми высшими почестями, которые оказал Тбилиси Зине с детьми, были приглашение к Вам, прием у Вас, цветы, проводы и Ваши подарки. Несказанное спасибо Вам за все! Стасик сам,

своими силами прокладывает дорогу к Вашим сердцам, и я рад, что он идет по пути, по которому и я сделал когда-то несколько шагов, и что он увидел мир, навсегда меня сведший с ума, и пережил нечто подобное моему восхищению.

Но как попали к Вам Зина и Леня?! Я всегда боялся Вас, Шаншиашвили. Любовь, уважение, признание, все-все, что я к Вам питал, всегда перевешивала моя робость перед Вами, робость, которую внушает взгляд Ваших юношеских светлых глаз.

Этот взгляд напоминает глаза некоторых греческих божеств, которые и у них всегда резко моложе всех остальных черт их лица и всей их формы, — моложе, потому что в этих глазах именно и сосредоточено их бессмертие.

Так и Ваш взгляд. Помню, всегда, что бы ни творилось кругом, что бы ни говорили я, другие, и *даже Вы сами*, взгляд Ваших светлых (голубых, кажется, или серых) глаз бывал всегда отделим ото всего совершающегося, всегда держался в стороне и был всего моложе, был особого мнения, оставался Вашим тайным последним словом, снисходительно-сдержанным, молчаливым. И вселял робость.

Я без конца польщен лаской, которую М. И.. и Вы оказали Зине, и не знаю, что придумать, чтобы выразить и доказать Вам мою преданность и радость.

Будьте долго-долго здоровы и счастливы, как сейчас, и какими Вас изображают Зинины рассказы.

Всего лучшего всем Вашим. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (собр. адресата). Печатается по машин. копии.

Грузинский писатель Сандро Шаншиашвили и его жена устроили прием в честь приезда З. Н. Пастернак с сыновьями.

1159. Н. ТАБИДЗЕ

15–16 апреля 1951, Москва

15 апр. 1951

Дорогая Нина! Опять я мысленно все это пережил сызнова, как в дни Бараташвили. Еще до возвращения Зины. Когда пришла их телеграмма «Выехали в среду 28-го и т. д.», у меня сердце упало так, словно я был на их месте, и это подо мной задвигался поезд и поплыли назад в невозвратную даль чудный город с чудными сказочными людьми и вся эта, похожая на сон шестидневная феерия. Нина, лучший друг мой, радость моя, вот я ко всему

готов в любую минуту. Но вот кончусь я, останется жизнь моя, такая счастливая, за которую я так благодарен небу, изложенная с таким тихим сосредоточенным смыслом, как книга, и что в ней было главного, основного? Пример отцовской деятельности, любовь к музыке и А. Н. Скрябину, две-три новых ноты в моем творчестве, русская ночь в деревне, революция, Грузия.

Для меня большой радостью было убедиться, как близки Вы и все Ваше — Зине, человеку прямому и чуждающемуся восторженности и аффектации. О Вас, Ните, Гивике и Алексее Николаевиче она говорит как о ближайших родных, как о Стасике и Лене.

Она с Леней не научились хорошо проявлять и печатать, или не могут достать для этого хороших химических веществ, так что удачные их снимки пропадают даром, но несколько бледных этих карточек мы все же посылаем Вам. Мне больше всего нравятся три: Гивик на диване в школьной форме (как в нем много Тицияновского!), Гивик, Нита и Зина в номерах гостиницы, и Вы со Стасиком (какая Вы красивая!)

Меня очень огорчило, что Зина не сумела сделать достойного подарка тов. Шалико[1], постоянному участнику Ваших поездок, именно как другу и хорошему знакомому, что никак ведь не могло бы его обидеть. Об этом у меня будет особая просьба к Вам, когда, как я мечтаю, я до переезда на дачу, переведу Вам немного денег.

Я был до последнего предела переконфужен широтой и пышностью приема, оказанного Зине Георгием Николаевичем, словами его привета и его подарком (бочонком этого баснословного вина). Еще больше смутило меня радушие и внимание Марии Александровны и Александра Ильича Шаншиашвили. У нас не было короткости именно вследствие всегда останавливавшего меня безмерного к ним уважения. И вдруг эта их ласка к Зине, Лене и Гале (о Стасике не говорю, потому что у него свои заслуги) и этот пир, цветы, и проводы и пироги! Спасибо им, спасибо Вам, спасибо всем.

Я ни в записке Георгию Николаевичу, ни в нескольких строчках к А. И. Шаншиашвили[2] не могу найти и выразить ничего соответствующего тем чувствам и картинам, которые нахлынули и пронеслись в моей душе под влияньем Зининых рассказов о них. Эти упоминания переносили меня на места описываемых происшествий, и в мыслях я сам вместе со всеми торопливо несся в сумерках, встав из-за стола у Шаншиашвили, на вокзал по вечернему городу, с вечером в душе и оглушенной вином голове.

Мне очень много хочется сказать им обоим, и если приложенные строки ничего не говорят, не передавайте написанного и

замените приписки приветом на словах в Вашей собственной редакции.

Недавно у нас были гости: Нат<алия> Георгиевна, Ахматова, Ливановы, Фатьма Ант<оновна>[3], Чиковани, Чагины и др. Я этот вечер со всем на нем совершавшимся (потухло электричество и зажгли свечи) посвятил отсутствующему Леонидзе. Н<аталия> Г<еоргиевна> ему расскажет.

Крепко целую Вас, Нина. *Ваш Б.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 4). Приложена записка 16 апр. в ответ на письмо Н. Табидзе, посланное с Г. Г. Нейгаузом, по поводу лекарства для брата Г. Леонидзе. «В свое же оправдание, — писал Пастернак, — (я несколько раз уже по их приезде пробовал писать всем и начинал письма Вам) скажу, что у меня давно и очень чувствительно болит шея, мешая писать и работать. Я бы никогда не написал этого Вам, если бы это хоть сколько-нибудь тревожило меня или казалось опасным, но все же последнее утешение, оставшееся мне в жизни, писание, т. е. самое занятие за столом, надолго-надолго мне этим отравлено. Я давно и хоть сейчас бы мог послать Вам денег, но совсем гладко это сойдет, когда в начале мая, мне удастся это сделать незаметно. Простите мне мои напыщенные послания Г. Н. и Шаншиашвили. Какими глазами я смотрю на снимках на Ниточку, на Гивика и на Вас, Вы знаете без моих слов. *Ваш Б.*» Сохранившийся талон к почтовому переводу на 3000 р. датирует посылку денег 17 апр. 1951: «Дорогая Ниночка! Воображаю, как Вы устали от всех этих безумий, сколько потратили сил и времени! Сегодня услышали все от Гали и Стасика до поездки в Кварели включительно. Крепко целую Вас, Ниту, Гивика и А. Н. *Ваш Боря*» (там же, № 24954, 19).

[1] *Шалико* Гловели, по просьбе Н. Табидзе, возил на своей машине З. Н. Пастернак с сыновьями по Тбилиси и окрестностям. О его благодарности за подарок см. в письме № 1161.

[2] Имеется в виду письмо № 1158.

[3] Н. Г. Вачнадзе, Ф. А. Твалтвадзе.

1160. С. ЧИКОВАНИ

29 апреля 1951, Москва

29 апр. 1951. Дорогой Симон! Я забыл взять с Вас или с Мариечки слово, чтобы кто-нибудь из вас написал мне, не откладывая, о Ваших чувствованиях и впечатлениях, об объяснениях Ваших и, я сказал бы, о Ваших делах, если бы только мог назвать это делами.

Мне очень радостно было встречаться с Вами в этот приезд. Очень печально бывает (и таких случаев подавляющее большинство),

когда от человека ничего не остается, и весь он падает, едва из-под него убирают поддерживавшие его костыли и подпорки. В нашем общем восприятии Вы не только не пострадали от свалившихся на Вас неприятностей[1], но наоборот, со свежестью, превзошедшей ожидания, эти обстоятельства напомнили, как много Вы получили от природы и как много дали своим талантом и развитием всей общей нашей современности, как настоящий писатель и как подлинная, действительная, а не искусственно составленная личность.

И на Ваш счет у меня нет прямого и существенного беспокойства. Меня не беспокоит ни положенье Ваше, ни даже здоровье. Единственное, что тревожит меня, так это вопиюще неравномерное распределение сил между Вами, невыдуманным, чистым, одаренным и правым, и целой сворой мелких бездарностей и ничтожеств, порождаемых дрязгами и ими питающихся, озлобленных недочетами своей природы и готовых мстить каждому, кто от них свободен.

И не за Вас я боюсь, не того, что Вам они могут быть опасны или Вас одолеют, но того, что по своей непосредственности Вы можете забыться и вспыхнуть и, вступив в объяснения с этой стихией, доставите радость темной силе и тем поддержите ее. Помните, Симон, с тем большей безропотностью соглашайтесь со всем, что услышите, чем оно будет абсурднее. Евангельское подставленье левой щеки в дополнение к правой[2] есть не чудо святости или вершина подвижничества, но единственный практический выход из положения, когда видимость судит действительность.

Но ведь Георгий Николаевич, большой человек и поэт, сам наверное не даст Вас в обиду. Я написал Нине и через нее послал по записке семьям Шаншиашвили и Леонидзе[3]. Наверное Нина нашла, что все это написано недостаточно красноречиво, и в наказание молчит. Ее, Марийку, Вас и всех перечисленных крепко целую.

Ваш Б.

И приезжайте поскорее. Помните, мы Вас ждем.

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 16).

[1] Речь идет о резкой критике в адрес Чиковани и снятии его с поста первого секретаря Союза писателей Грузии, который он занимал с 1944 г.

[2] «Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 38–39).

[3] Письма № 1157 и 1158.

1161. Н. ТАБИДЗЕ

2 мая 1951, Переделкино

2 мая 1951

Дорогая Ниночка!

В последнее время, в тех редких случаях, когда я пишу Вам, я пишу не свои, какие-то холодно-философские письма. Это оттого, что я был отвлечен общею темой, поездкою наших к Вам, пребыванием детей в Грузии и параллелями и сближениями, которые это во мне подымало. И за этими дурацкими письмами Вы могли забыть, как я люблю Вас и что Ваши права на меня безмерны.

Сегодня пришла телеграмма от Ш<алико> Гловели с благодарностями за подарок. Если это не за переданные ему скверные фотографии, то очевидно за что-то, что сделали Вы своими золотыми руками, милая моя, чудная Нина[1].

Ах, Нина, Нина, как прикусываю я всегда язык, лишь только берусь за письмо Вам. Вы, громадный Вы человек, сливаетесь для меня с целым миром горьких тайн, вспоенных кровью сердца и омытых слезами, начиная с Гивиного дедушки и кончая этой бедной и безумной, которая так много мне прощала[2] и при которой никакая шея не заболела бы у меня, или прошла бы в три дня. Нина, иногда мне кажется, что Вы — это моя душа, в образе женщины отброшенная в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой.

Майские и пасхальные дни. Мне хотелось написать О. В. туда[3], но, наверное, лучше не надо, и эти ноты звучат в письме к Вам. Вы их слышите?

Я с Симоном и Марийкой отправил Вам кусок прозы. Прочтите и напишите мне.

Крепко-крепко Вас целую. Благодаря фотографиям, рассказам и завязавшимся между детьми связям, Нита, Ал<ексей> Ник<олаевич> и Гивик больше, чем это бывало раньше, вошли в мое сознание и жизнь. Кланяйтесь им.

Ваш Б.

Милая Нина, ангел мой, целую Вас.

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 1).

[1] О подарке для Ш. *Гловели* — в коммент. к письму № 1159.

[2] Речь идет об О. В. Ивинской.

[3] Письмо было написано через месяц (№ 1162).

1162. О. В. ИВИНСКОЙ

31 мая 1951, Переделкино

31 мая 1951 г. Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами[1]. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б<оря> на днях видел тебя во сне всю в длинном и белом. Он куда-то все попадал и оказывался в разных положениях и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи[2], кроме того я тебе послала как-то насколько книжек. Видимо все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.

Твоя мама

Впервые: Ивинская. В плену времени. — Автограф (собр. И. И. Емельяновой). Адрес на открытке: Ст. Потьма Мордовской АССР, поселок Явас, п/я 385/13 О. В. Ивинской. Адрес отправителя: Москва Потаповский пер. 9/11 кв. 17 от Марии Николаевны Костко.

[1] Письмо написано от лица матери О. Ивинской; заключенным разрешалась переписка только с близкими родственниками.

[2] О большом письме и стихах ноября-декабря 1949 г., которые Ивинской не выдали на руки, а дали только прочесть, см. там же. С. 129. Сохранилась более ранняя открытка, ошибочно датированная публикатором 1952 г.: «Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла и что впереди, но ни слова об этом. Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь» (там же. С. 130–131).

1163. З. А. НИКИТИНОЙ

14 июня 1951, Переделкино

14 июня 1951

Дорогая Зоя Александровна!

Благодарю Вас за скорый ответ[1]. Лучше действительно не соединять этих двух операций. Рассчитайтесь, как Вы обещаете, со мной в рамках старого договора, а заявление и справки я Вам пошлю, как только они будут готовы. У меня не осталось ни одной

книжки из тех изданий и о точных сведениях на этот счет я запрашиваю издательства.

Но всех этих изданий, помимо двух по 5.000 экземпляров в двухтомных сборниках «Искусства», было:

«Гамлета» 1 издание в Гослитиздате (вероятно 10.000 экземпляров) и два в Детгизе (одно в 10.000 и другое в 25.000).

«Ромео и Дж<ульетты>» одно в Гослитиздате (25.000) и одно в Детгизе (тираж выясню)[2].

«Отелло» был выпущен только один раз, в Гослитиздате (тираж 25.000).

Но это, по окончательном уяснении, я сообщу Вам в точности.

Помните, что у меня есть новый «Макбет», который сразу пойдет в запроектированный Детгизом Шекспировский сборник, а отдельным выпуском нигде пока не предполагается[3].

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

[1] Ответ на письмо Пастернака, написанное 5 июня 1951: «Дорогая Зоя Александровна! Уж я сам было составил заявление, о котором была речь, но потом решил удостовериться в тиражах прошлых изданий. Оказалось, что раз Гамлет вышел в Детгизе в 50.000 экземпляров, Ром<ео> и Дж<ульетта> в 25.000 и Отелло в Гослитиздате в 25.000. Таким образом о *первом* массовом издании не может быть разговора, не так ли? Но с другой стороны и 25.000 это не 15.000 запроектированных. Как тут быть и надо ли что-нибудь делать? Жду Вашего совета и желаю Вам всего лучшего. Привет от З. Н. *Ваш Б. Пастернак*» (там же).

[2] См. письмо редактору Детгиза А. С. Гребешковой № 1164.

[3] Речь идет о собрании пяти переводов Пастернака в книге: Вильям Шекспир. Трагедии. М., Детгиз, 1952. «Макбет» отдельной книгой не издавался.

1164. А. С. ГРЕБЕШКОВОЙ

14 июня 1951, Переделкино

14 июня 1951

Дорогая Анна Семеновна!

Будьте другом, не откажите мне в следующей услуге. Мне требуется справка о том, сколько раз и какими тиражами в каждом отдельном случае выходили в *Детгизе* «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» в моем переводе. Насколько помню, Гамлет выходил дважды, в первые годы войны (не помню, каким тиражом) и в 1947 г. (25. 000 экземпляров). Ром<ео> и Дж<ульетта> вышли одним из-

данием (каким тиражом?). У меня не сохранились эти книжки, потому и затрудняю Вас. Напишите мне об этом по городскому адресу, мне перешлют сюда на дачу. Простите за беспокойство. Привет Зинаиде Тимофеевне.

Всего Вам лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Москва 17 Лаврушинский 17/19 кв. 72

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, оп. 1, д. 22).

Анна Семеновна Гребешкова — редактор Детгиза.

1165. З. А. НИКИТИНОЙ

23 июля 1951, Переделкино

23 июля 1951

Дорогая Зоя Александровна!

Здоровы ли Вы? И не в отпуску ли? Я Вам отправил по адресу издательства письмо с тиражными данными и надеялся, что Вы ответите и в отрицательном случае, то есть если наши расчеты остаются в договорных границах и больше не на что претендовать. Мне говорили, что до 47 года этих разрядов (массовых тиражей, тиражных единиц и счета по ним и т. д.) не существовало, и что по Ромео и Дж<ульетте> и Отелло возможен какой-то разговор, но я в этих вопросах несведущ и не имею собственного мнения. Книжек я еще не получил. Напишите мне, пожалуйста, в каком состоянии все эти вопросы[1].

Загадка с моими болями в левом плече, спине и шее разъяснилась. Это довольно большой жировик, который надо вырезать. Откладываю это вероятное избавление месяца на полтора-на два до окончания перевода Фауста и нашего переезда в город.

Всего Вам лучшего. *Преданный Вам Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

[1] Вслед за сообщением о состоянии дел Никитина обратилась к Пастернаку с просьбой о материальной поддержке ввиду длительной болезни мужа, писателя М. Э. Козакова. Пастернак ответил 5 авг. 1951: «Дорогая Зоя Александровна! Простите за невольное запоздание: летом почту мы добываем случайными оказиями. Оба Ваши письма я получил на даче вчера (4-го) вечером. Сегодня, 5-е, — воскресенье. Завтра 6-го Зина достанет нужное и сдаст на телеграф. Очень рад оправдать свое существование чем-нибудь полезным такому милому человеку как Вы. Большое спасибо за благоприятный оборот в издательстве. Сердечный привет Михаилу Эммануиловичу, и пожелание всего лучшего вам и ему. *Ваш Б. Пастернак*» (там же).

1166. А. С. ЭФРОН

25 июля 1951, Переделкино

25 июля 1951

Дорогая Аля!

Прости, что не отвечал тебе и, судя по твоей сегодняшней телеграмме, своим молчанием заставил тебя беспокоиться. Я тебе и сам должен и хочу написать по-настоящему, а пока наскоро несколько слов, из Переделкина едут в город, и я хочу этим воспользоваться, чтобы отправить письмо воздушной почтой.

Причина (или одна из причин) моих таинственных болей в шее, левом плече и затылке выяснилась летом. Это давно нараставшая в этой области опухоль, незлокачественная, жировик, который надо вырезать и тогда можно надеяться, я перестану «мучиться». Но это избавление я откладываю, вместе со всем отсроченным подобием жизни, еще доступным мне, до окончания перевода Фауста (всего) и переезда в город, т. е. месяца на $1^1/_2$ — на два.

Я не знаю, чем и насколько я рискую этой медлительностью, и со стороны может показаться непонятным этот избыток выносливости и стоицизма, но ты поймешь, если я скажу, что все стороны жизни слились неотделимо и каждая сковывает и причиняет боль; и что из этих пустяковых незлокачественных опухолей главный жировик это Фауст, с удаления которого я хочу начать эти (в мечте) облегчительные операции.

Ты такая умница, что за этими словами угадаешь и то, что мне, дураку, даже не приходит в голову. Похвалой твоей талантливости я и кончу свою успокоительную записку. Потому что за вычетом этой анатомии, внутренне и душевно, я, по счастию, совершенно здоров и, в работоспособности своей, очень много успеваю.

Будь здорова. Крепко, крепко тебя целую. *Твой Б.*

Мало пишу и оттого, что главные боли появляются за писанием. Мышцы утомлены главным образом этой позой, и таскать ведра из колодца и работать на огороде не только менее болезненно, но приносит чудодейственное успокоение.

Через месяц и во всяком случае не позже октября пришлю тебе немного денег.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

1167. С. и М. ЧИКОВАНИ

2 августа 1951, Переделкино

2 августа 1951

Дорогие Симон и Мариечка!

Вы оба просто-напросто разбойники и, главное, лицемерные. Я Вам дал продолжение романа, писал письма и хоть бы слово в ответ. А когда будет нужно, Симон и глазом не сморгнув скажет «замечательно» о рукописи, даже не читав ее. Тем не менее я не разлюбил Вас, и если бы Вы не были нам так близки, не пускался бы в такие шутки.

Нина страшно страдала, приехавши, что в последнюю минуту, собравшись наспех в дорогу, она не могла телефонировать Вам об отъезде. Она приехала к нам с двумя товарными вагонами подарков от себя и Леонидзе, и жалела, что второпях не успела прицепить еще Вашей платформы и цистерны. Можете себе представить, как я благодарил Творца за то, что этого не произошло.

Мы живем это лето так тихо, что Нине нечего будет рассказывать. Тем не менее крепко Вас обоих целую. Мне не надо уверять Вас в своих чувствах, так хорошо Вы меня знаете. Зина присоединяется всей душою, и Леня и Галя со Стасиком.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 17).

1168. Е. и Г. ЛЕОНИДЗЕ

2 августа 1951, Переделкино

2 августа 1951

Дорогие друзья Евфимия Александровна и Георгий Николаевич!

Вот опять счастливы мы были провести недолгое время с Ниной Александровной, за ее бесконечными рассказами о вас и частыми поминаниями вас обоих. Все ли у вас благополучно? Как здоровье ваших детей и ваше? Очень радостно слышать, с какой свободной, ниоткуда не инспирированной похвалой, с разных сторон отзываются о Вас, как высоко ценится поэтическое имя Леонидзе. Кстати, не шутя, когда задумают писать книгу о Вас, незаурядного ценителя или биографа Вы имеете в лице Нины, которая с упоением захлебываясь, но кроме того и со знанием дела

говорит о Вашей музыке и языке, — Нина, прекрасно умеющая отделять дружбу от дела.

Да, но ради самого Создателя, когда Вы перестанете пристыжать меня своими частыми и огромными посылками? — Опять водки, вина, баклажаны, сладости и орехи в сказочном количестве и такой незаслуженности, что если бы моя любовь к вам обоим это позволила, я бы эти сокровища счел тонко прикрытым упреком.

Будьте здоровы и приезжайте к нам скорее в гости в Переделкино. У нас ничего любопытного, как подтвердит Вам свидетельница нашего существования, Нина. А вам обоим с детьми самые горячие приветствия мои и Зины, к голосам которых с нынешнего года присоединились восклицания Лени, Гали и Стасика в такой живости, что почти нашу преданность заглушают.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф.

1169. О. В. ИВИНСКОЙ

7 августа 1951, Переделкино

Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет, и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б. Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это — ты, не разумея под этим ни семейной ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает? Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя.

Твоя мама

Впервые: Ивинская. В плену времени. — Автограф (собр. И. И. Емельяновой). Датируется по штемпелю на открытке. Отправлено по адресу: Ст. Потьма Мордовской АССР, поселок Явас, п/я 385/13 О. В. Ивинской. Обратный адрес: Москва Потаповский пер. 9/11, кв. 17. М. Н. Костко. Письмо написано от лица матери.

1170. А. С. ЭФРОН

28 августа 1951, Переделкино

28 авг. 1951

Дорогая Аля!

На днях я кончил II часть Фауста и сам себе не верю[1]. А потом через мои руки прошла корректура 5-ти пьес Шекспира (ты не знаешь только Макбета) для Детгиза. Я чувствую себя хорошо. Шея не прошла, там что-то более устойчивое, жировик, требуется вмешательство ножа, но я опять такой, как был всегда, поправился, доволен мироустройством, работаю за столом и на огороде. Именно затем я тебе и пишу в конце ясного, солнечного августовского дня, чтобы с письмом пошла к тебе частица моей ясности и спокойствия. Больше полугода эта новость со спиной и шеей была больше меня, застилала глаза и заслоняла все от меня, а постепенно в последнее время заняла свое место позади меня, пусть и не лишенная боли.

Я постоянно думаю о тебе и в любой момент кроме любви и разглагольствований мог бы сделать для тебя что-нибудь посущественнее, но это не совсем удобно в данную минуту. Если ты можешь потерпеть, я это сделаю через месяц, в конце сентября, когда буду в городе. Если же нет, сообщи мне свободно и искренне или телеграфируй, я ускорю.

Если будешь писать Асе, кланяйся ей. Были от нее открытки, я ей обязательно как-нибудь отвечу.

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Пастернак писал об этом Н. Табидзе: «Я в конце августа сдал огромную и головоломную II-ую часть Фауста. Но ведь написать или перевести что-нибудь бессмертное и вековое — меньше чем полдела, безделица. Главное — чтение редакторов, и Бог их ведает, сколько месяцев они будут копаться в работе» (5 окт. 1951; «Литературная Грузия», 1980, № 2. С. 23).

1171. А. С. ЭФРОН

Сентябрь 1951, Переделкино

<...>лением. В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Я для вас писал «Девятьсот пятый год» и

для мамы «Лейтенанта Шмидта». Больше в жизни это уже никогда не повторялось.

<...> двумя грузинскими поэтами ни в какое сравнение с годами той дружбы и сердечного единения не идут. Параллель этому имеется только в детстве, когда любовь к Скрябину, самое его «нахождение в пространстве» наполняло окружающую действительность для меня значением <...>.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Купюры текста сделаны адресатом.

В письме 15 авг. 1951 Ариадна напоминала: «31 августа будет десять лет со дня маминой смерти. Вспомни ее — живую! в этот день» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 396). Вероятно, отрывок письма Пастернака о Цветаевой вырезан из контекста, который А. С. Эфрон не могла сохранить, находясь в положении поднадзорного, — что достаточно говорит о содержании уничтоженного в письме. Сопоставление строк о Цветаевой с написанными на обороте словами о погибших грузинских друзьях Табидзе и Яшвили соотносит содержание утраченного письма с главой «Три тени» в очерке «Люди и положения» (1956). В ответ на это письмо А. Эфрон писала: «Спасибо за твое чудесное письмо. Я долго читала его и перечитывала, вошла в него, как в дверь, открытую в те годы, годы вашего творчества и простора, когда вы были как два крыла одной птицы» (там же. С. 399–400).

1172. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

11 октября 1951, Москва

11 окт. 1951

Дорогая Елена Дмитриевна!

Спасибо за чудесные Ваши яблоки. Мы не только две недели лакомились ими, но, разложенные на блюде, они долго были ярким украшением комнаты. Но зачем Вы трудились, тратились, хлопотали? И я не заслужил этого.

Я оставил без ответа последнее Ваше письмо и Кайсына и пачку новых его стихов, которые были так же хороши, как всегда. У меня около года болели (да боли и не прошли совершенно) левая сторона спины и шея, левое плечо и лопатка. Все это каким-то образом было связано с положением тела в сидячей позе за писанием и, ограничившись заказной работой, источником заработка, я воздерживался от излишнего засиживания за столом, не писал писем и не читал. Это что-то нервно мышечное, но очень застарелое, укоренившееся, кроме того в этой части имеется глубоко сидящий, широко распластанный жировик, который я бы дал вырезать, если бы

был уверен, что от этого станет лучше, а не хуже, потому что причина, наверное, не в нем, и он — явление сопутствующее.

Не обращая внимания на боли, в конце зимы и весною очень резкие, я быстро и усидчиво переводил вторую часть Фауста, необозримое нагромождение странных, не всегда содержательных, иногда горячо и творчески, часто холодно-аллегорически написанных отрывков. Отделить во всех них живое, в этом утвердиться и в этом, вынесенном за скобки органическом производителе усмотреть связь этих, в большинстве бессвязных, фрагментов — было главной трудностью и задачей перевода и стало главным стилем его, которым он будет, по-видимому отличаться и вызывать возражения и замечанья редакторов и критики. В середине августа я сдал готовую работу в издательство. Теперь редактора будут читать ее дольше, чем Гёте сочинял Фауста, а я его переводил. Но это, конечно, правильно. Все это пустяки, а главное редактора, издательства, учреждения и должностные лица.

С середины августа я полтора с чем-то месяца пропадал в саду и на огороде[1], за чем застал меня однажды Орлов, которого я верно разочаровал небрежностью моего перепачканного землей и полузастегнутого костюма, вялостью неинтересного разговора, полным незнанием современной литературы и холодным безучастием к ней[2].

Сейчас я переехал в город. Надо будет воспользоваться свободным перерывом и постараться закончить роман. Есть продолжение его, которого Вы, кажется, не знаете. Но многое, многое изменилось. Еще так недавно работы, усилия, замыслы, событья жизни и случайности чередовались, что-то означая в своем движении и оставляя по себе какой-то след. Теперь же все идет у меня как сквозь сон, валясь в одну какую-то скучную груду и ничего не знача, — Фауст, Орлов, огород, современная литература и я сам, — все то время, что меня угнетает усилившаяся скованность и несвобода в плече и шее. В этом виноват не только мой возраст (а может быть и совсем не виноват), но так же и возраст самих вещей, какая-то мера терпения, предел однообразия.

Оттого я и перестал писать Вам и К. Кулиеву, перестав слышать в себе что-либо, что могло бы быть Вам интересно, перестав ждать и желать нового все изнутри и изнутри, вместо новости действительной, которая пришла бы из внешней жизни.

Крепко целую Кайсына. Сердечный Вам привет и огромное спасибо. Не сердитесь на меня и о том же попросите К. К<улиева>.

Ваш Б. Пастернак

Орлов мне очень понравился, как и кое-что из его работ. Не поймите меня превратно и не заключите из моей смазанной, сливающейся в одно пятно характеристики *моих* чувствований чего-нибудь пренебрежительного по отношению к кому бы то ни было.

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2 (с купюрами). — Автограф.

[1] «С конца августа все эти чудные осенние дни я ничего не делал, кроме того, что с 9 часов утра до 4-х часов дня возился на огороде, вскапывал всю территорию на будущий год под грядки, пересаживал деревца и пр. и пр. За это время я очень отдохнул. Боли в левой части спины и шеи очень уменьшились, хотя не исчезли. Весь сентябрь я таким образом прожил один на даче и переехал в город лишь позавчера», — писал Пастернак Н. Табидзе («Литературная Грузия», 1980, № 2. С. 23).

[2] Молодой поэт Б. Г. Орлов, фрунзенский друг Кулиева и Орловской, был у Пастернака в начале октября. О своих впечатлениях он писал Е. Д. Орловской: «Говорили, в основном, о поэзии, о некоторых стихах Бориса Леонидовича, в частности о "Девочке"... И хотя весь духовный облик его был мне ясен за строками его стихов, сейчас он предстал мне в новом, еще более ослепительном свете... Он с удовольствием слушает о тебе и Кайсыне. Мне кажется он любит вас» («Дружба народов», 1990, № 2; там же. С. 260).

1173. А. К. КОТОВУ

30 октября 1951, Москва

В Гослитиздат
Директору издательства Анатолию Константиновичу Котову

Глубокоуважаемый Анатолий Константинович!

Позвольте представить на Ваше рассмотрение следующее предложение.

Я предполагаю в придачу к моим прежним переводам Шекспировских пиес перевести еще историческую хронику «Ричард второй», вещь большой глубины и поэтической смелости, и драму «Буря».

У меня было намерение заняться также «Кориоланом» и «Юлием Цезарем», но с «Кориоланом» читатель знаком по вполне удовлетворительным старым переводам, а в последнее время «Юлия Цезаря» очень хорошо перевел Михаил Зенкевич.

Наряду с этими планами я преследую такого рода деловую цель. В случае исполнения названных новых переводов, не взялось ли бы издательство выпустить три тома моих шекспировских переводов в таком составе. Два тома повторили бы две книги

моего шекспировского двухтомника, изданного «Искусством», и явились бы их переизданием, третий же, новый том составили бы: новый, готовый, но еще не изданный мой перевод «Макбета» вместе с предполагаемыми «Бурей» и «Ричардом»[1].

Прошу Вас обсудить вместе с советом издательства это предложение и, в случае благоприятного разрешения вопроса, включить своевременно издание в план и поставить меня о том в известность.

Искренне уважающий Вас *Б. Пастернак*

30 октября 1951 г.

Думается, не было бы риска объявить подписным это издание. Но это вопросы не моего ведения.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 160).

Анатолий Константинович Котов сменил Ф. М. Головенченко на посту директора Гослитиздата.

[1] Предложение Пастернака не было поддержано, новых переводов Шекспира Пастернак более не делал.

1174. Н. ТАБИДЗЕ

10 ноября 1951, Москва

10 ноября 1951

Дорогая Нина!

Простите, что с таким опозданием благодарю Вас за посылку и за три приложенных письма. Я опять был огорчен тем, что Вы хлопотали и потратились. Но я так редко выхожу из дому, что иметь цель съездить на вокзал было для меня развлечением. Поезд шел с постепенно нарастающим опозданием и вместо пяти часов дня прибыл в 1 час ночи. Ожидание его было для меня непредвиденным отдыхом, я на вокзал поехал в двенадцатом часу, шел легкий снежок, начиналась вьюга. Этот заснеженный поезд и в особенности вагон № 7-й вплыли в темноту зимнего перрона, как еще неостывший кусок яркого, горячего Тифлиса. Трудности взаимного распознавания облегчил Гурам Асатиани, случайно приехавший в этом поезде и оказавшийся в том же купе и коридоре. Я от всей души просил извинения у зятя Серго Клдиашвили, что был поводом, отчего его так затруднили. Огромное Вам спасибо за варенья, особенно от меня — за кизиловое, за орехи, каштаны, чачу и винные ягоды. Спасибо и за аргументацию посылки, что посылаете, чтобы мы Вас вспоминали, когда будем есть и пить, это тоже меня растрогало. Но как ужасно, наверное, Вам работать на бойне, и как, наверное, вредно![1]

Я себя хорошо, в общем, чувствую. Против последних месяцев на даче я первое время в городе не так был здоров, как там, стал ощущать свои внутренности, в поисках причины отыскал утолщение и затвердение под ложечкой, Зина его тоже нащупала и мы с нею значительно переглянулись. К тому же по собственной охоте меня должен был осмотреть один доктор, к которому в порядке обследования или диспансеризации всех прикрепленных к поликлинике меня назначили. Он все справлялся, когда я буду свободен. Он осмотрел меня, наше утолщение оказалось мечевидным отростком, который должен быть у всех людей, но не найдя у меня ничего особенного, он мне назначил диэту, очень сходящуюся с моими привычками (черный хлеб, овощи, гречневая каша и пр.), и совершенно запретил пить. Я его слушаюсь в нормальные дни дома, когда же попадаю в гости, или когда гости бывают у нас, то срываюсь с цепи, вознаграждаю себя за все упущенное и чудесно себя чувствую на другое утро.

Я хотел дать резать жировик профессору Очкину, когда он вернется из отпуска, но он сам приехал больным. У него болели бок, спина и грудь, он решил, что это невралгия, что вслед за ним повторяли и врачи в Цхалтубо, куда он поехал после месяца в Гаграх. Оказалось, что это гнойный плеврит, с которым он купался на обоих курортах.

Понемногу я пишу для себя самого. Хочу написать, пока я свободен, последнюю заключительную тетрадь «Живаго». Бывают у меня полосы уныния и самоуничижения, бывают и другие, когда я спокойно и ясно вижу, что я пожил и потрудился не понапрасну. Фауста я сдал уже три месяца назад, а редактора (главным образом тот Николай Николаевич[2], которого Вы у нас видели) держат и будут держать его без конца, дольше, чем я переводил эту вещь, задерживая заработанные деньги и печатанье книги.

Ах как я рад, как рад, что живу реальною земною своей судьбой, а не «положением», секрет создания которого так во всей тысяче случаев без исключения так прост, так позорно прост!

Я Вам много еще хотел написать, но письмо лежит уже неделю, ожидая продолжения. Так лучше уж пошлю его неоконченным, чтобы хотя бы моя благодарность дошла до Вас.

Крепко Вас целую. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 24952).

[1] Нину Табидзе, как жену репрессированного, уволили из сферы образования — медицинского института, ей удалось найти работу на бойне, где она занималась паразитологией.

[2] Н. Н. Вильям-Вильмонт был редактором перевода «Фауста».

1175. Н. МУРАВИНОЙ

18 ноября 1951, Москва

18 ноября 1951

Дорогая Нина!

Как всегда редкостно умное, прекрасно написанное письмо. Ничего я не «вычеркнул», ничего Вы не обошлись «неосторожно»[1].

Очень хорошо о Стриндберге. Вы знаете, что я его совсем почти не знаю?[2] Его любили и, как Вы, ставили высоко и на совсем особое место отличные, замечательные люди. Его любил Блок, о нем много мне говорил Федин, и однажды очень, очень давно мне Балтрушайтис советовал перевести маленькие его одноактники, цикл ли пьес или одну пьесу о детстве Лютера, кажется. Или это был Берн. Шоу?[3] Это было больше 35 лет тому назад, но видите, как я тверд в литературе и как начитан!

Огромное Вам спасибо за все, Нина! Вы необычайная умница.

Ваш Б. П.

Эти пьесы «неизвестного» автора я читал, вероятно, в немецком переводе.

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. адресата). Печатается по фотокопии.

[1] Муравина писала Пастернаку: «...В отличие от прошлых лет я потеряла к Вам "воздушные пути" и не могу уже издали судить о том, что с Вами происходит. Не потому ли, что Вы вычеркнули меня из своей памяти? Мне грустно, что весной я неосторожно обошлась с продолжением Вашего романа. Я искала в нем откровенного взгляда на революцию (мировоззренческого спора) или откровения о человеческой душе» (там же. С. 156–157).

[2] Из письма Муравиной: «Летом и осенью я зачитывалась Августом Стриндбергом... Несмотря на пренебрежение формой и навязчивые повторения — формулы в мыслях и ситуациях, я люблю этого бесстрашного шведа больше всех прозаиков... У Вас мне почудилось сходство с ним в мистерии главного героя» (там же. С. 157).

[3] Имеется в виду историческая драма А. Стринберга «Виттенбергский соловей» (1903).

1176. Н. ТАБИДЗЕ

4 января 1952, Москва

4 янв. 1952

Дорогая Нина!

Спасибо Вам, Гивику, Ните и Алексею Николаевичу за телеграммы, поздравления, пожелания и память. В Вашей посылке было ореховое печенье (подковки) такого свойства, что Зина и Леня не могли от него оторваться и два дня питались только им одним. Спасибо Вам за все, за чурчхелы, орехи, изюм, за кизиловое варенье! Но, дорогая Нина, какими словами заклясть и упросить Вас, чтобы Вы больше ничего не возили и не посылали, кроме себя самой! Никогда не тратьте больше на это сил и времени, не накладывайте меня таким бременем на Ваших друзей и знакомых. Пить больше нельзя *даже* Погодину, не говоря уже обо мне. Я очень любил чачу и хвалил ее, пока сам был еще вреден и бессмысленен, как она. Но с тех пор так много переменилось. Ее крепость и аромат пропадают даром. Судьбе было угодно, чтобы мое прощанье с ней сложилось символически и ни одна капля ее не попала ни в чье горло. На встрече нового года, когда в заключение всего боржомная бутылка с ней оказалась в руках Ливанова и он за что-то привязался к Рихтеру, он каким-то образом расколол бутылку о каменный подоконник и чача *взорвалась* и фонтаном обдала потолок. Я не знаю как это случилось (я вышел на пять минут за чем-то наверх, и это произошло в мое отсутствие), но неделю комната (столовая) пахла виноградом.

Мы очень хорошо встретили новый год. Сначала мы хотели его встретить с обоими Чиковани и Лундбергами и соответственно тихим обществом. Но в последнюю минуту те и другие нас надули, и была опасность остаться в дураках с расстроившимися расчетами в виде новогоднего предзнаменования на целый год. Но за час или два до полночи мы все перепланировали и я встретил год именно так как хотел: в шуме, имевшем источником не только мое горло, среди многолюдства, получившегося естественно и свободно, без истерически торжественного и фальшивого напряжения. У нас было 24 человека, разошлись в 8 часов утра, были Чагины, Ливановы, Ивановы, старшие Нейгаузы, Журавлевы, Рихтер и Дорлиак, художница Ходасевич[1] (племянница В<ладислава> Ф<елицановича>) и многие другие. Я Вам все так описываю, потому что в мыслях моих были у нас и Вы, и я должен описать

Вам обстановку, чтобы Вы знали своих соседей. Зина, я, Леня и все наши Вас, Ниту, А. Н. и Гивика крепко целуем и обнимаем.

Ваш Б.

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 7).

[1] Валентина Михайловна *Ходасевич.*

1177. С. Н. ДУРЫЛИНУ

23 февраля 1952, Москва

23 февраля 1952

Дорогой Сережа!

Я тебя не поблагодарил вовремя за твое замечательное письмо, доставившее мне такую большую и неожиданную радость[1]. Около месяца я провозился с врачами, рентгенами и пр., после двух припадков острой, таинственной и так и оставшейся невыясненной боли в левой нижней части живота. Пока все обошлось, и я с твоего незримого благословения, каковым явилось твое письмо, снова возьмусь за роман, в свое время доведенный до 18-го года (во второй тетради), а потом оставленный для Фауста, обе части которого я перевел, и теперь требующий давно задуманного окончания.

Когда я читал твое письмо, я тебе мысленно направлял ответное послание, ни малейшей доли которого не хочу тут воспроизводить, чтобы не поставить под угрозу то немногое, что я хотел бы сказать тебе поскорее.

Что я от души желаю тебе скорейшего выздоровления; что твое письмо заключало в себе редкий подарок и было тоже своего рода романом по целому миру высказанных в нем мыслей; особенно фантастическим было для меня твое сообщение о действительном, невымышленном докторе Живаго, существование которого было для меня неведомо[2]. Крепко целую тебя.

Любящий тебя Б. П.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695).

[1] Письмо Дурылина 16 янв. 1952 с поздравлениями с Новым годом и пожеланиями «новых встреч с Музой» сопровождалось машин. копией его отзыва 1949 г. на первую часть романа «Доктор Живаго». «Почему-то мне думается, что письмо мое, писанное в 1949 году по поводу твоего романа,

не дошло до тебя... Хочется, чтобы эти запоздалые слова все-таки дошли до тебя». (См. об этом отзыве в коммент. к письму № 1112.)

[2] О каком из многочисленных представителей «невымышленных Живаго» писал Дурылин, неизвестно.

1178. К. Г. ЛОКСУ

24 февраля 1952, Москва

24 февр. 1952

Дорогой Костя,

27-го наверное Вы именинник, — с днем ангела Вас. Зина, слыша, как я попросил позвонить Вас через две недели, возмутилась, сказала, что Вы обидитесь и больше не будете звонить и, оказывается, правильно все предсказала. Простите меня.

Но в промежутке я чуть не окачурился и все это время провозился с рентгенами и врачами. При свидании расскажу подробнее. Давайте повидаемся в эту субботу или воскресенье вечером. Но для того, чтобы обоюдно во всем удостовериться, все же позвоните нам, пожалуйста, в субботу от 3-х до 4-х

Не сердитесь, Костя, я очень хочу Вас видеть.

Ваш Б.

Впервые: «Минувшее», № 13. — Автограф.

[1] 27 февраля (18 — по старому стилю) — день равноапостольного Кирилла, учителя словенского, в крещении Константина.

1179. З. А. НИКИТИНОЙ

3 марта 1952, Москва

3 марта 1952

Дорогая Зоя Александровна!

Чем Вы отягощаете себе голову и душу? Этих денег нет, этого вопроса не существует[1]. Рад, что Вы догадываетесь, как высоко мы Вас ставим и уважаем. Положа руку на сердце, знаю, как бы Вы поступили, если бы, скажем, меня не стало или бы я попал в беду, а З<инаида> Н<иколаевна> оказалась при этом в затруднении. Знаю, с другой стороны, что бы Вы сделали, если бы выиграли двести тысяч. Отчасти в такой денежной удаче был я, когда навязал Вам эту возможность. Но ведь эти чрезвычайности редки, а в промежутке жизнь движется по совсем другим законам. Вот до этих редких сроков отложим разговоры на эту тему, а до тех пор не

считайте месяцев, забудьте об этом думать и не называйте этого долгом*, а то Вы этим незаслуженно обидите меня.

Всего лучшего Вам и Михаилу Эммануиловичу.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Путь», 1995, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

[1] В ответ на просьбу З. А. Никитиной помочь ей денежно Пастернак ответил ей 5 авг. 1951, радуясь возможности «оправдать свое существование чем-нибудь полезным такому милому человеку как Вы» (коммент. к письму № 1165). Сын З. А. Никитиной актер М. М. Козаков вспоминает, что они с матерью пришли возвратить деньги Пастернаку, полученные за посмертно изданную книгу прозы его отца в 1955 г. Но Пастернак и тогда, то есть «при изменившихся обстоятельствах к лучшему», говорил, что давно забыл о каком-либо долге и отказывался взять деньги.

1180. Н. В. СТЕФАНОВИЧУ

26 марта 1952, Москва

26 марта 1952 г.

Дорогой Николай Владимирович!

Все в этих тетрадях (больше половины) очень нравится мне и всем тем, кому я Ваши стихи показывал. В свое время, в утро их получения, я Вам о них говорил подробнее. Желаю Вам новых сил, здоровья и бодрости.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2893, оп. 1, ед. хр. 44).

С актером и поэтом Н. В. Стефановичем Пастернак познакомился в 1951 г., хотя в его архиве имеется черновик восторженного письма к Пастернаку, написанного 20 мая 1947. Стефанович решился показать Пастер-

---

* Во избежание Вашей мнительности должен сделать сноску. Долг в денежном смысле — пережиток совсем других времен и в наши дни не может иметь прежнего определенного значения. Долг же в нравственном смысле только вырос в своем значении, и *моим долгом* было не ограничиваться эгоистическим получением крупных сумм, а поинтересоваться тем, что делается вокруг и рядом. Если я залез в какие-нибудь бестактные дебри, то простите, и это Вы виноваты, что так скрупулезен этот разбор. Отдадите *через долгий срок, при резко и несоизмеримо изменившихся обстоятельствах* к лучшему у Вас или к худшему у нас. *Б. П.*

наку свои стихи только в 1952 г. Тетради его стихов и 4 письма сохранились в бумагах Пастернака. Поэмы Стефановича «Блудный сын», «Страстная неделя» и «Так умирал Блок» («Во мрак и в пустоту») были переданы О. В. Ивинской (ГМГЛ, № 9978–9991). Сб. Николая Стефановича «Страстная неделя. Поэмы и стихи» вышел в 2004 г. Сохранившиеся записки Пастернака к Стефановичу представляют собой отголоски их живых разговоров и обмен стихами. Вместе с запиской 14 нояб. 1953 Пастернак посылал Стефановичу переписанные от руки стих. «Белая ночь», «Весенняя распутица», «Лето в городе», Август», «Сказка», «Колыбельные песни»: «Вводная» («Ветер»), «Бессонница», «Хмель» и «Под открытым небом». «Дорогой Николай Владимирович! — писал он. — Не хочу задерживать отправления и опускаю в ящик поздно вечером простым письмом. Если что-нибудь понравится, дайте как-нибудь знать. Привет Вам и Вашей милой сестре. *Ваш Б. Пастернак*» (там же). Вслед за этими стихами Пастернак 29 нояб. послал на имя его сестры Людмилы Владимировны Стефанович другие, написанные вскоре: «Дорогая Людмила Владимировна! Вот два стихотворения, о которых я Вам говорил. Наверное они гораздо хуже предшествующих, и только если Вы найдете, что я не слишком испорчу впечатление Вашего брата от прежних, покажите их ему. Привет Вам обоим. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ, ф. 2893, оп. 1, ед. хр. 80). Приложены автографы стих. «Разлука» и «Свадьба» и фотография с надписью: «Николаю Владимировичу Стефановичу, поэту, человеку близкого мне, огромного и чудесного мира, и его милой сестре Людмиле Владимировне на счастье. 29 ноября 1953 г. *Б. Пастернак*». Через месяц на экземпляре «Фауста» Пастернак написал: «Дорогому Николаю Владимировичу Стефановичу ко дню его ангела 19 декабря 1953 г. с пожеланием здоровья и счастья и с предсказанием, что он когда-нибудь прогремит и прославится. *Б. Пастернак*».

1181. А. С. ЭФРОН

27 марта 1952, Москва

27 марта 1952

Дорогая Алюша, прости меня, я ужасно виноват перед тобой! Не достал и не послал тебе Гоголя[1], давно не писал. Я тебе отвечаю на твое последнее письмо от 19-го. Ты по-прежнему ярка и остроумна, и даже напраслину на себя взводишь очаровательно. Все твои письма, включая мнимо- или притворно мнимо нудные — самое лучшее и единственно живое, что приходится мне читать в нынешней литературе[2]. Но ты знаешь, как я люблю тебя, и сама знаешь себе цену. Лучше я быстро скажу тебе несколько вещей.

Я опять стал страшным крохобором в отношении времени. Мне хочется для себя, порядка ради, кончить роман. Спина у меня не прошла, после сдачи Фауста было два припадка долгих таинственных и упорных болей (один раз 6 часов, другой — почти

сутки) в нижней левой части живота (по-видимому почечный камень, осталось невыясненным). Я себя чувствую хорошо, и не заикался бы тебе об этом, если бы положение хоть сколько-нибудь тревожило меня или кого-нибудь другого, но мораль отсюда такова, что в свободное от таких сигналов время надо не увлекаться леченьем, или разговорами о своей болезни или писанием об этом писем, но спешить делать самое необходимое, условно хотя бы необходимое, если безусловное не дано нам. Отсюда моя торопливость. Но не для таких истин взялся я за перо.

В конце письма ты пишешь, что хочешь «жить только в городе и только в Москве». И что ты «полна глупейшей надежды, что так оно и будет»[3]. Я живейшим образом разделяю твою надежду. Я в это верю как в удовлетворительность своего здоровья, как в роман, у всего этого — одно будущее, это разные стороны одного и того же. И в залог этой веры я посылаю тебе руку твоей мамы, кусок ее почерка. И в каких стихах![4]

Я тебе писал и рассказывал, что у меня нет ничего, что можно было бы назвать библиотекой, ни архива, ни переписки, ни рукописей моих, ничего. Убыли и таянья этого и гибели и пропаж при переездах, от растаскивания и прочая было столько, что теперь я уже не помню, какие из отцовских работ когда погибли или сгорели, что́ когда. Но у меня уцелела часть его альбомов разных форматов, рисовальных, которые ему служили и записными книжками, с рисунками многих лет, начиная с 85-го до 920-го, самыми мгновенными, самыми свободными и артистическими, разнообразными, бесчисленными.

С давних пор, из году в год я собирался просмотреть их все, наклеить на них ярлычки и на этих наклейках описать их содержание, и все откладывал, тащил, волок на совести своей эти с гору выросшие угрызения, а главное: отказывал себе в удовольствии почти равносильном вторичному пробегу пережитого.

И вот когда навалились на меня эти припадки, врачи, рентгены, я не сразу после постели принялся за работу, и в недельный промежуток разобрал наконец эти альбомы и книжки. Некоторые склеились от времени вместе клеенчатыми обложками, так что не разодрать. Все было в страшной пыли. Я нашел записи (времени моего студенчества): «Жили мирно, блаженствовали, не ведали горя. Приехал Боря, ежедневные ссоры, скандалы...»[5]

Из этих кип появлялись очень единичные, очень немногочисленные приглашения, визитные карточки, случайности, не имеющие отношения к рисункам. Из них вывалилось мое марбур-

гское выпускное свидетельство и выпали эти мамины листочки. Вероятно я вместе со многим другим заложил их в какую-нибудь корзину, где хранил эти альбомы. Мне их когда-то подарила Ася. Все это напечатано, не правда ли? Написанные красными чернилами — в Ремесле. А черные в какой книге? Но тебе я их посылаю как мамин из странствий вернувшийся автограф, как талисман, как ее ручательство в будущем. Но какой огонь, какое совершенство! И какая естественная человеческая речь!

Это письмо надо было написать по-другому. Прости мне его торопливость. На этот раз это только сопроводительная записка.

Целую тебя.

Я не буду доставать тебе Гоголя, но в начале апреля пошлю тебе немножко денег. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] А. Эфрон просила в связи с широко отмечавшимся столетним юбилеем со дня смерти Гоголя прислать им в школу «иллюстрированного "Ревизора" или любое гоголевское с картинками, кроме "Бульбы" — единственное, что есть в здешней библиотеке» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 405).

[2] В письме 19 марта 1952 А. Эфрон описывала красоту туруханского «чудесного марта, блестящего до боли в глазах», и звездных ночей, таких, что «если бы умирая видеть над собой такое небо, и *так* его видеть, то не было бы ни страха, ни горечи и никаких грехов» (там же. С. 407).

[3] См. в письме Ариадны: «Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни вне дачного периода и какую она на меня нагоняет тоску! Особенно когда ей конца-края не видно, кроме собственной естественной кончины. Хочу жить только в городе и только в Москве. И полна глупейшей надежды, что так оно и будет» (там же. С. 408).

[4] Какие именно автографы из «Ремесла» и «Юношеских стихов» были посланы А. Эфрон, установить не удалось. «Очень меня взволновало и твое письмо, и мамины стихи, — отзывалась в ответ А. Эфрон. — Я помню, как писались те, что красными чернилами, и тот чердак, и тонкий крест оконной рамы, и весь тот — девятнадцатый — год. Первое из чердачных — не полностью, видимо, не хватает странички, а конца наизусть не помню. А те, что черными чернилами, — из большого цикла "Юношеских стихов". Полностью они никогда не были опубликованы и в рукописи не сохранились: есть один машинописный оттиск всего цикла» (там же).

[5] Запись Л. О. Пастернака 1911 г. после приезда сына в Одессу.

[6] Задержка в получении денег вызывала отсрочку посылки автографов, — 12 апр. 1952 Пастернак писал вдогонку: «Дорогая Алечка. Я тебя последнее время тревожу одними холостыми почтовыми залпами: телеграммы в два слова, конверты почти без вложений... Пакет с автографами мамы давно запечатан, давно, с конца марта заполнен бланк с почтовым переводом, и только получку денег все откладывали. Мне кажется, завтра

все это наконец отправится в дальнее плавание к тебе. Прости мне мою торопливость, немногословность. С весной тебя, с наступающим светлым праздником. Неизвестно почему я настроен на редкость радостно и бодро. Целую тебя, моя дорогая. *Твой Б.*» («Знамя», 2003, № 11. С. 168).

1182. Б. Н. и Е. К. ЛИВАНОВЫМ

12 апреля 1952

12 апреля 1952 г.

Дорогие Боря и Женя!

Спасибо Вам обоим, как стройно все у нас сложилось! Какой большой благотворною силой вошли Вы в состав моей жизни! По месту, которое Вы в ней заняли, Вы стали в ней наравне с природой, искусством, со сводной совокупностью всего пережитого и воспоминаниями о родительском доме. Каким хорошим ходом прошли эти два десятилетия с Вами: Вы играли для меня роль современного действительного мира, Вы олицетворяли для меня Московское городское одухотворение зимою, Вы были тем моим обществом, в лице которого вся жизнь говорила со мной таким покоряющим языком, так родственно и понятно!

И Вы теперь поймете, как горячо и крепко целуем и обнимаем мы оба, я и Зина, Вас обоих, и как желаем друг другу, чтобы это так всегда осталось.

Впервые: газ. «Megapolis-Continent», 1991, № 44. — Местонахождение автографа неизвестно.

Те же чувства благодарности за прожитое отразились в записке, датированной «утром 5 апр. 1953. Ливановым, Жене и Борису. Боря, брат мой и вдохновитель, предмет всегдашнего восхищения моего! Какую чудесную жизнь я прожил с тобою! Какое прошлое! Сколько воспоминаний. Но большую часть времени мы провели с тобой в будущем!! Там мы не могли с тобой наговориться. Как мало там было народу, какая тишина и уединение! Одни жены сопровождали нас туда, любимые и любящие, чтобы нам не было там так холодно. Спасибо тебе, обнимаю тебя» (там же).

1183. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

21 апреля 1952, Москва

21 апр. 1952. Дорогая Елена Дмитриевна!

Опять Вы меня растрогали и смутили так сильно, что не подыскать слов. К чему столько хлопот? Зачем Вы беспокоились, тра-

тились и затруднили такою тяжестью Вашу отзывчивую приятельницу? Спасибо за прекрасные яблоки, но чтобы это было в последний раз, прошу Вас.

Я также получил Ваше письмо. Вот что я скажу Вам вкратце. Сейчас я здоров, чувствую себя хорошо и хорошо зарабатываю сделанными переводами (главным образом Фаустом). Хочу воспользоваться этим и написать окончание романа. Вот это очень важно, потому что половина дела сделана и не годится бросать его на середине, а также потому еще, что если человек раз в жизни привлек внимание общества, он должен когда-нибудь это внимание чем-нибудь оправдать и объяснить, иначе это (пусть и не по его вине) некрасивое, неосуществленное притязание.

Вот отчего мне больно читать в Вашем письме о моем значении и скромности и пр. и пр. Когда человека печатают, когда он выступает и доводит до сознания слушателей и читателей свои мысли, когда, так сказать, его деятельность находится в действии, тогда нечего стыдиться аплодисментов, сочувственных отзывов и прочего, потому что тогда это не похвалы и восторги, а встречные волны поднятой творческой бури, усиливающие и расширяющие ее действие. Но навсегда или на время это сейчас не так: в разной степени и Вы и я и К<айсын> в одном положении. Когда с К. случилась его трагедия[1] или когда после радости нескольких выступлений передо мной захлопнулась дверь, некоторое время эти огорчения были живым горем. Но время по счастью притупляет эти чувства. Меня сейчас в литературе нет, как нет в ней и К., и меня давно уже не интересует, справедливо ли это или несправедливо. *Эта сторона* моей судьбы не трогает меня и в моем сознании не существует. Я роман пишу, мысленно видя его напечатанной книгой; но когда именно его напечатают, через десять месяцев или через пятьдесят лет, мне неведомо и одинаково безразлично: промежуточные сроки для меня нулевого значения, их тоже не существует.

Напрасно я вдался в эти ненужные, да вероятно и ложные, тонкости. Таких вещей не надо касаться с кондачка, в той беглости, в какой только и позволительно писать письма. Есть люди что-то сделавшие на своем веку, это сознающие и живущие своими заслугами. Говорю вам искренне, никаких заслуг и сознания их у меня нет. Но каждый человек заслуживает не жалости, а со своей какой-то стороны достоин всегда зависти. Вот в чем можно мне позавидовать: что судьба щадит меня, дает мне жить, позволяет трудиться; что потребность отдыха и доводы, оправдывающие его, мне всегда, наверное, останутся чужды. Что задачи, которые я до

самой смерти буду преследовать, всегда будут (по крайней мере в моем сознании) живыми. Но ведь я совсем не то хотел написать Вам, а вот что: что Вы — прелесть и что я горячо горячо благодарю Вас за Вашу живую мысль обо мне и заботу.

И не считайте, пожалуйста, меня большим поэтом. Во-первых, этого никогда не было, а затем Вы увидите, каким еще я взаправду буду. И наконец, — либо сами, либо через кого-нибудь крепко поцелуйте от меня К., как моего младшего брата.

Ваш Б. П.

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф.

[1] Имеется в виду насильственное выселение балкарцев с Кавказа в 1944 г.

1184. Н. ТАБИДЗЕ

3 июня 1952, Москва

3 июня 1952

Дорогая моя Ниночка!

Я Вам собираюсь написать с того самого дня, как Вы позвонили по телефону. Ваш голос был так слышен, в нем было столько огня и задора, того самого, с которым Вы плясали лезгинку, когда мы все вместе жили в Ленинградской гостинице у вокзала[1]; в этом голосе так были Вы вся, со всею лихорадкой жизни, что я невольно улыбался, говоря с Вами: в звуке этого голоса, передо мной было полное объяснение того, отчего я так люблю, так люблю Вас.

Я тотчас сказал об этом Фатьме. Я не мог перестать удивляться тому, как в звуке речи передалась так просто, полно и стремительно Ваша сущность.

Мы очень хорошо прожили эту зиму. Болезни иногда занимают больше внимания и времени, чем они занимают места в жизни, потому что обращаешься к врачам, делаешь исследования, и это становится темою не будучи ей. Я уже не помню своих несчастий в середине зимы.

Мы жили хорошо, не знали нужды, на меня не было особенных нападок, а если и были, то я о них не знаю. Я пересматривал для печатания переиздаваемого Шекспира и только что сделанного Фауста и понемногу писал продолжение романа. Недели три или месяц тому назад я узкому кругу друзей, в котором были бы и Вы, если бы тут гостили, обещал почитать немного дальше на прощание, пред отъездом на дачу[2]. Дав это обещание, я связал себя им, и тут только сел по-настоящему писать, потому что до этого были

только черновые подготовительные заметки. Я снова, как несколько раз в жизни заболел работой, ничем не существовал, как только ею, преспокойно пропускал раздававшиеся телефонные звонки и не подымал трубки. Чтение было назначено на вчерашний вечер (2-го июня), срок подходил, а у меня еще не все было написано, и последние дни я вставал в 5, в 6 часов утра, чтобы поспеть к сроку, точно его нельзя было перенести. В это время приехала Евфимия Александровна, мне об этом сообщила Фатьма Ант<оновна>, я ей признался, что до чтения у меня считанные минуты и пусть значит, что я этого не знаю, пока я не вздохну свободно.

Я Вам пишу это и у меня слипаются глаза от усталости. Я делаю то, что мне подсказывает крайнее мое разумение, и все без цели. Но я ничего не могу переделать, и это никогда не будет по-другому.

Леня вчера в первый раз был среди слушающих, в первый раз вообще получил понятие о том, что я делаю, как пишу и чем живу, не потому что он был мал для этого, а теперь дорос, а потому, что всегда, чем я больше кого-нибудь любил, тем больше старался быть источником свободы для этого человека и в доме никто никогда не должен был быть одних мыслей со мной и признавать меня. Кроме того, никогда я не считал себя таким потрясающим классиком или авторитетом, чтобы навязывать себя детям или рекомендовать.

И вот, для меня было небезразлично, как отнесется современный пионер и завтрашний комсомолец, воспитанный на другом понимании некоторых хронологических полос и на другой манере описания природы, действительности и всего на свете, к передаче всего этого у меня. Он понятия не имел о предшествующих частях романа и обычное — ревниво критическое отношение у детей-подростков к своим близким среди чужих, в обществе, еще больше затрудняло для него восприятие.

Но чтение происходило наверху, у него в комнате, и, естественно, он оказался среди приглашенных.

Для меня было большой радостью, что на мой вопрос, понравилось ли ему, он, преодолевая свою обычную застенчивость и густо покраснев, сказал: «Очень, очень!». А потом, в другом конце стола он, я слышал, уже возражал Зине, нашедшей, что этот кусок не так лаконичен, как прежние.

Дорогая Нина! Я по природе ломовая лошадь и могу жить только в постоянном напряжении. Только миновала у меня спешка, и я день или два ничего не делаю, как уже мой внутренний аппарат никуда не годится, и так все противно мне в самом себе, что воспользовавшись уходом всех из дому, я принял для очистки

души касторки (когда видят, не позволяют). Простите за такой конец. Приезжайте поскорее.

Ваш Б. П.

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 24952).

[1] В феврале 1935 г., во время декады грузинской литературы, Пастернаки и Тициан с Ниной Табидзе останавливались в гостинице «Октябрьская» в Ленинграде.

[2] Речь идет о главе «В дороге».

1185. О. А. МОЧАЛОВОЙ

5 июня 1952, Переделкино

5 июня 1952

Дорогая Ольга Алексеевна!

Ваше письмо застало меня в разгаре работ, вот отчего я отвечаю Вам с таким запозданием. Я хорошо помню черту свежести и непосредственности в даровании покойной Варвары Александровны и как сейчас слышу ее голос[1]. Мне приятно будет прочесть, что Вы собрали. Но это надо будет отложить до осени когда я попрошу Вас возобновить Ваше напоминание и спишусь с Вами, если жив буду, насчет того, когда и как нам увидеться.

В предположении всего этого желаю Вам здоровья и всего наилучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (Государственный Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме).

О. А. Мочалова — поэтесса, знакома с Пастернаком с 1920-х гг., собрала и передала ему машин. сб. стихов своей двоюродной сестры В. Мониной.

[1] В. А. Монина — поэтесса, в 1920-х гг. была женой С. Боброва, мать двух его дочерей.

1186. Г. ЛЕОНИДЗЕ

9 июня 1952, Москва

9. IV. 52*

Дорогой Георгий Николаевич!

Когда Елена Давыдовна[1] передала мне этот подстрочник, я сказал ей, что занят переводами с языков, которые я знаю, и что,

---

* Авторская ошибка датировки.

кроме Фауста, буду поглощен писанием прозы. Мне понравились некоторые места подстрочника, передающие путаницу и сложность прошлого и настоящего, кончины Бараташвили и его апофеоза, соединенных вместе[2]. Я понял, что никакому переводчику, даже и мне, не угадать, какие из строк, в передаче подстрочника, Бараташвили, какие Ваши, и даже если бы Вы это отметили, никакой перевод не создаст дистанции между тем и другим, чтобы русский читатель отличал их и понимал, что в чем отзывается и с чем скрещивается и сплетается. Я совершенно отказался от мысли зарифмовывать этот подстрочник.

Но нам позвонила Евфимия Александровна. На нас, на меня и на З<инаиду> Н<иколаевну>, ее затруднения и сомнения насчет того, как ей быть с врачами и болезнями, ее спокойный примиренно-шутливый тон относительно всего этого произвели впечатление чего-то близкого и родного, точно ее горести были нашими собственными. Тогда подстрочник всплыл, как какое-то близкое ей дело, и я медиумически покорно стал приводить его в стихотворный порядок. Когда Е<вфимия> А<лександровна> была у нас с Фатьмой Антоновной, я сказал, что у меня такое чувство, будто этот перевод делает она, и что я недоволен ее работой.

Вы видите, действительно получается какая-то вялая бессмыслица, как я предвидел, и не только потому, что я сделал это так плохо, а еще и оттого, что задача неисполнима. Только в оригинале, только в грузинском звучании узнает грузинское ухо наизусть знакомые вставки из Бараташвили и переживает эти встречи и перебои. Ни в каком переводе на какой-нибудь другой язык эта игра невоспроизводима.

Я все же довел эту, обреченную на неуспех, попытку до конца и дарю Вам эти страницы, частным образом, курьеза ради, без всяких обязательств и последствий, не соединяя с ними никаких ни денежных, ни честолюбивых вожделений. Этого перевода нет, и если Вам кажется, что Ваши стихи переводимы (подстрочник передает их только отчасти и очень слабо), поручите перевести их кому-нибудь другому. Моего перевода не надо печатать и в моих собственных интересах. К нему, как к заведомой и мной самим сознаваемой неудаче, прицепится Чичинадзе, Пеньковский или кто-нибудь из мелкой породы, любящей ловить большое на малом и в том видящей свое счастье.

Когда будете в Москве, приезжайте к нам с Евфимией Александровной и захватите Фатьму Антоновну.

Обнимаю Вас. *Ваш Б. П.*

Может быть, сократить все в переводе, примерно вдвое, выбросив все невыразительные, неопределенные, повторяющиеся строфы? А? К концу как будто немного лучше, замысел оживляется.

Впервые. — Автограф.

[1] Е. Д. Гогоберидзе — жена Е. Г. Лундберга.

[2] Речь идет о поэме Леонидзе «Н. Бараташвили».

1187. А. С. ЭФРОН

14 июня 1952, Москва

14 июня

Дорогая Аля!

Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей весной из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти и т. д.

Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы еще непереписанной. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад[1].

Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью и фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.

Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведенных итогов и валяющихся на полу обрывков веревки и оберточной бумаги.

Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо спокоен. Я не остыл в жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Меня нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что может быть совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.

Вот моя открытка тебе, между переводом и огородом. Я летом хочу кончить роман, так, как он был начат, для себя самого.

*Tout à toi**. *Б.*

---

* Весь твой (*фр.*).

Впервые: Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Париж, YMKA-Press, 1982. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Чтение было 2 июня (см. письмо № 1184).

1188. С. и М. ЧИКОВАНИ

14 июня 1952, Москва

14 июня 1952

Дорогие мои Симон и Мариечка! Что у Вас слышно, как Вы оба поживаете? Скоро ли Вы собираетесь в Москву и когда мы Вас увидим? Завтра мы переезжаем на дачу, и если Ваши предположения остались в силе (относительно весеннего приезда), то будем ждать Вас в Переделкине.

После Вашего отъезда я чувствовал себя все время хорошо, в особенности в последний месяц, когда я немного (на одну новую часть) двинул дальше прозу. Я читал ее недели полторы тому назад тесному кругу друзей, в который входите и Вы оба и которых Вы у нас встречали, Журавлевым, Ахматовой, Скрябиной и другим[1].

Приблизительно в дни этой моей горячки (я умею работать только спеша и запаздывая, запоем, вот когда работа для меня истинное блаженство) приехала Евфимия Александровна. Когда после этого зверского периода чтения я снова стал человеком, мы созвонились и она так умно и спокойно рассказывала о своих болезнях и затруднениях с такими чертами матери большого семейства и главы крупной и сложной жизни, что мне захотелось своими руками послужить как-нибудь руководимому ею миру и дому, и я взялся изобразить ритмически с рифмами одно стихотворение Георгия Леонидзе о смерти Бараташвили[2]. Оно держится на чередовании авторских стихов с выдержками из Бараташвили и в этих перебоях и контрастах наверное ясно доходит до слуха только по-грузински, а в подстрочнике теряется и непереводимо. Я — зимой, когда этот подстрочник передала мне Елена Давыдовна, отказался от попытки сделать из него что-нибудь, несмотря на несколько очень хороших мест, тех, где выражена предельная обессиливающая горечь Бараташвилиевской судьбы и конца, и нескольких строф, где изображается, как все изменилось. Несмотря на эти места настоящей задушевности, в подстрочнике столько непоследовательностей, темных кусков и повторений, что многое остается непонятным. Было нелогично и может быть даже бессовестно с моей стороны, что я все же взялся за обработку подстрочника. Получилась (*у меня!*)

такая бессмыслица, от которой откажется даже такой добрый и тактичный человек как Георгий Николаевич.

Повторилась басня о «Пустыннике и медведе» с моралью, что услужливый дурак опаснее врага[3], каковым дураком оказался я. И действительно, радости и пользы мне, Зине, Евфимии Александровне и Леонидзе от всего этого получилось не больше, чем если бы я двое суток подряд проколотил головой об стену. Очевидно мне больше нельзя переводить по подстрочникам, а только с языков, которые я знаю.

Ах, если бы я частицу своего спокойствия и удовлетворения жизнью мог послать Вам, хотя почему же? — наверное и у Вас нет недостатка в этих чувствах, которыми Вы готовы делиться с друзьями. Но наверное все же еще более толстокожего носорога, чем я, нигде не найти. И ничто не берет меня.

Из людей, читавших роман, большинство все же недовольно, называют его неудачей, говорят, что от меня они ждали большего, что это бледно, что это ниже меня, а я, узнавая все это, расплываюсь в улыбке, как будто эта ругань и осуждение — похвала.

Крепко целую Вас обоих. *Ваш Б. П.*

Слушайте, Чиковани-мадам и Чиковани-месьё: по Вас все на севере соскучились. Приезжайте к нам жить на даче в Переделкине!!!

Все мои кланяются всем Вашим. *Ваш Б. П.*

Я Вас обоих очень люблю. Ничего не бойтесь, ничем не смущайтесь.

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, № 147, 18).

[1] Об этом чтении см. письмо № 1184.

[2] Речь идет о поэме Леонидзе «Н. Бараташвили» (см. письмо № 1186).

[3] «Услужливый дурак опаснее врага» — концовка басни И. А. Крылова «Пустынник и Медведь» (1808), в которой медведь, желая согнать муху со лба спящего пустынника, убил его ударом лапы.

1189. А. С. ГРЕБЕШКОВОЙ

22 июня 1952, Переделкино

22 июня 1952

Дорогая Анна Семеновна!

Благодарю Вас за привет и живое описание природы и обстановки. К тому времени, как эти строки Вас достигнут, Вы уже наверное сживетесь с новизной положения и близость возвращения домой уже будет огорчать Вас.

А я тут блаженствую в тишине зеленого царства между письменным столом и огородом. На даче завелся новый центр, трехнедельная внучка, которую привезла невестка из города[1], — проводник тишины, невинности и умиленного внимания, которую окружают всем тем, что требуется в доме и жизни и мне. Боялись, что ее плач будет мешать мне, но крик трехнедельной женщины мне нравится больше, чем когда кричит пожилая.

Стоят тихие ясные дни, каких и Вам от души желаю. Сердечный привет

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 143, оп. 1, д. 22). Ответ на письмо, посланное из дома отдыха в Друскининкай. В дарственной надписи на книге, в издании которой, как редактор Детгиза, принимала участие Гребешкова (В. Шекспир. Трагедии. М.–Л., 1951), Пастернак писал: «Милая Анна Семеновна! Хотите знать правду? Вместо этой колымаги на золоченых рессорах оформители должны были бы приложить к книге Вашу фотографию как изображение одной из героинь, Джульетты или Дездемоны, просветленно-драматическое, летящее, что-то такое: Акт пятый. Явление первое и единственное: Анна Семеновна, живите долго, долго и будьте всегда такой. *Ваш Б. Пастернак.* 4 февр. 1952» (собр. И. Охлопкова). «Колымагой на золоченых рессорах» Пастернак называет оформление этой книги, о которой писал Алексею Крученых 16 февр.: «Детгизовский Шекспир конечно издан безобразно. Надо было научиться выпускать с таким противоестественным подбором цветов, аляповатою претензией и мятым корешком и переплетом, — такая безвкусица сама собой, от природы не может родиться. Нового в этом томе — весь Макбет. Он переведен был для этого издания. Кроме того все остальные трагедии приближены как можно больше к подлиннику» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

[1] Речь идет о дочке Станислава Нейгауза Марине, чей приезд с родителями, бабушкой и няней стал центральным событием на даче Пастернака.

1190. Ф. ТВАЛТВАДЗЕ

22 июня 1952, Переделкино

22 июня 1952 г., воскресенье

Дорогая Фатьма Антоновна!

Что же Вы не приехали сегодня с Евфимией Александровной, как я смутно надеялся? Из разговоров с нею я знаю, что Георгий Николаевич с дочерью только выехал и не может быть еще в Москве. Надо было приехать без него, чтобы потом, 29-го, возобновить нам это удовольствие, с ним в придачу.

Вот четыре стихотворения Церетели[1]. Хотя он получился лучше, чем вещь Леонидзе (о Бараташвили), это все-таки никуда не годится <...> И все же Церетели не оставлен мною в такой плачевной неопределенности, как Леонидзе. Пусть это не обижает Георгия Николаевича. Дело не в том, что в одном случае поэзия классическая, а в другом современная, а в том, что Леонидзе я переводил в городе, а Церетели в эту неделю на даче, где прелесть и тишина.

И хотя я Церетели больше приблизил к какому-то минимуму определенности (может быть, ценою частичного непонимания и некоторых неумышленных отступлений), все равно, и это ужасно, и Вы и Маргвелашвили[2] различите в приложенном тот отвратительный стук барабанно-ремесленной приподнятости, который вообще отличает стихию стихотворных переводов. Я не думал, когда все же взялся за это, что ничего не добьюсь и так разочарую Вас[3].

Вот, во всяком случае, условие. Если они в таком виде не подходят, клянусь Вам самым святым, что меня не обидит, если Вы их забракуете и Георгий Георгиевич передаст подстрочники кому-нибудь другому <...>

Это не то же самое, что я писал Леонидзе. Там случай ясен, и как бы меня ни уверяли, я понимаю, что перевод безнадежно плох, так что если Г. Н. заупрямится и захочет его где-нибудь печатать, я сам попрошу перевод назад, для приведения его в мало-мальски человеческий вид.

Здесь (Церетели) несостоятельность сделанного не так мне ясна, и я сделал, кажется, все, что мог.

Простите за бесконечность этого трактата. Поклон всем Леонидзе. Если Вы не приедете в следующее воскресенье, 29-го, я приму это за объявление вечной вражды. Если Вам хочется, и это не нарушит с Леонидзевской стороны гармонии, привезите с собой Г. Г. Маргвелашвили.

Безобразие, что я вдаюсь в письмах в такие теоретические импровизации. Человеку, дорожащему впечатлением, которое производят его привычки, это не полагается. В позорности происшедшего повинны уважение и любовь, которые я к Вам питаю.

Ваш Б. П.

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (собр. адресата). Купюры в тексте сделаны публикатором.

Ф. А. Твалтвазде — переводчик, редактор и составитель сборников грузинской поэзии.

[1] Известны три новых перевода стихов грузинского классика Акакия Церетели: «Ты горька, моя жизнь бесталанная...», «Песнь песней» и «Лира»; они вошли в сб.: Акакий Церетели. Избранные стихотворения. М.–Л., 1953.

[2] Гия (Георгий Георгиевич) *Маргвелашвили* — переводчик и исследователь грузинской поэзии; в 1966 и 1980 гг. собрал и опубликовал письма Пастернака к грузинским друзьям.

[3] С. Чиковани писал, что переводы «Песни песней» и стих. «Ты горька, моя жизнь бесталанная...» вызывают у него «особый восторг», и первое из них называл «шедевром поэтического перевода» (там же С. 34).

1191. С. и М. ЧИКОВАНИ

2 июля 1952, Переделкино

2 июля 1952

Дорогие Симон и Мариечка!

Во вторник я собираюсь в город и у меня есть смутная надежда, что на квартире меня ждет Ваше письмо. Но даже если это не так, я уступаю потребности немного побеседовать с Вами.

Уже после отсылки весеннего письма к Вам я узнал от Фатьмы Антоновны о том, как некоторые неприятности не шутя омрачают Вам существование. Приехавшая через месяц Нина порадовала известием, что накануне ее отъезда у Вас был разговор во влиятельных сферах, после которого можно надеяться, что обстоятельства Ваши снова примут нормальное течение.

Очень этому рад, хотя, признаться, я настолько всегда чувствую в Вас художника с совершенно особенной звездой, особыми задачами и особыми заслугами, что перед этим чувством отступают на задний план ощущения Ваших житейских превратностей, и творческий образ человека, так самобытно одаренного, так много искавшего и столько нашедшего и воплотившего, никогда не страдает от постигающих Вас испытаний, а только с каждою переменой растет и обогащается. При следующем личном свидании я скажу Вам больше на ту же тему.

Опять близятся дни Нининого отъезда домой и, как каждое лето, меня печалит приближающееся расставание. Она нашла нас здоровыми, Леню — выросшим, новое народившееся существо Стасину и Галину дочку Марину. Это лето стоят солнечные дни и я почти все время пропадаю на огороде и ничего не делаю.

В начале лета, как я Вам писал, были тут Евфимия Александровна, потом приехал Георгий Николаевич с дочерьми. Мы с ним виделись очень хорошо, но только один раз, а с Евф. Ал. и Не-

стан[1] чаще. Залежи сердечного, необращенного в дело расположения, обнаруженные обеими семьями, нашли свое развитие в том, что Евфимия Александровна, Нестан, Зина и Леня кинулись вчетвером в Ленинград расходовать запасы перекрестной сердечной тяги в неутомимом осмотре города и окрестностей и времяпрепровождении путешественников.

Пробовал выразить и я нечто, живущее у меня в душе к каждому из них, в беседах за столом, но так неудачно, что все отворачивались.

Не более удачно перевел я, как писал Вам, поэму Леонидзе о Бараташвили, а потом три стихотворения Церетели (по просьбе Фатьмы Антоновны) и мне было стыдно, когда главные названные говорили об этой серой ерунде с одобрением[2].

Я рассчитывал летом приступить к окончанию романа, — но пока эти расчеты не оправдались, я за него не принимался.

Целую Вас обоих. Сердечный привет общим друзьям и знакомым.

Ваш Б. П.

Впервые: Материалы ГМГЛ (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 147, 13).

[1] Старшая дочь Леонидзе.

[2] См. письмо № 1190 и коммент. 1 к нему.

1192. В. Т. ШАЛАМОВУ

9 июля 1952, Переделкино

9 июля 1952

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку[1]. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и, в первую голову, — мое.

И, для того, чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этою возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры[2].

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести, такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти[3]) и самое позднее, начиная со стихотворений «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом

революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что, даже обладая даром Блока или Гёте и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющею мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо *после* этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков.

Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и, чего доброго, еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.

Итак, что́ я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованью. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей мысли в жизни, о совершенствовании какого-то Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти предопределенного и в котором Вы читаете свое предназначение. Но не о совершенствовании стихописания (избави Боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо

лучше, не самоцель и, сами по себе, яйца выеденного не стоят, — это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.

В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.

1) Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи *не кажутся мне стихами*. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.

2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто, Со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, Катаясь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — И запах пригоревшей каши Напоминает шоколад. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б ветки сбросить тяжесть, Какая им не по плечам. — Огонь перелетает птицей, Как ветром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер, — Пузатых парусов. — Гравюру мороза в окне. — Ползет, как кошка по карнизу. — Изодранная в кровь заря. — В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. — Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала[4].

3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, может быть я чего-то не понимаю? Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль.

Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших, часто, строф и страниц) — Бродил в изодранных лаптях, Ты лыко ставил мне в строку. — Толок речную воду в ступке, В уступах каменных толок. — И зайцы в том краю Не смели б показаться, Куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. — Он фунта лиха знает цену И за ценой не постоит. — Снег чувствует себя Как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. — И он нас здесь интересует Как прошлогодний снег. — Вся белая от страха, Нитка чуть жива. — А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесценивает живую и ценную мысль.

в) Вот примеры, где по видимости такой же прием, но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту И перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом И утром на холодке Кусочек живого неба Размачиваем в реке (очень хорошо). — Рукой отломим слезы, Такой уж тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — До свадьбы заживет. — И надоевшее таежное творенье Небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье.

4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам вверяться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может статься, Хотелось бы годок Не знать радиостанций И авиадорог. Где юности твоей условья, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда. — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала И куражилась метель.

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где ... ты взглядом узких карих глаз Показываешь вверх, то есть нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет), «Гусеница», «Приман-

ка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого», в «Космическом»: все об Уране, «Ты, верно, снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.

Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерила.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого, и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовски, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

Ваш Б. Пастернак

P. S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здравому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.

Б. П.

И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное[5].

Впервые: «Юность», 1988, № 9 (с купюрами). — Автограф (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 54). В 1952 г. В. Т. Шаламов находился в Якутии, пос. Тамтор около Оймякона, сосланный после лагеря «на вечное поселение».

[1] Через жену Шаламов переслал Пастернаку две тетради своих стихов и записку: «Примите эти две книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет. *В. Шаламов.* 22.III. 1952. Адрес мой, если захотите отвечать: Хабаровский край, поселок Дебин. Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович. Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь».

[2] Имеется в виду С. Бобров, по мнению Пастернака, плохо вычитавший корректуры. Получив эту книжку 2 янв. 1917, Пастернак писал Боброву: «Чудно ты ее издал... от души тебя благодарю. Есть досадные опечатки и немало их, — но и так уж книжка так хорошо, так дружески, верно, горячо... издана» (письмо № 151).

[3] Стих. «На пароходе», 1916, из книги «Поверх барьеров».

[4] Здесь и далее цитаты взяты из стихов Шаламова, позднее вошедших в книги «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967) и журнальные публикации 1960-х гг.

[5] В конце письма приписка жены В. Т. Шаламова Г. И. Гудзь: «Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой, что потому так много и строго написал, что это большое настоящее творчество, что это — "серьезный случай в литературе"» (там же. С. 55).

1193. Г. И. ГУДЗЬ

15 июля 1952, Переделкино

15 июля 1952

Глубокоуважаемая Галина Игнатьевна!

Эту записку пишу на случай, если при поездке своей в город не застану Вас дома ни звонком, ни посещением.

Прочтите внимательно, что я пишу Вашему мужу. Я не мог написать ему ничего другого, потому что не нашел возможным отмахнуться от такого достойного человека пустой уклончивой похвалою и ничего не значащей благодарственной отпиской, а счел своим долгом говорить с ним, как с самим собой.

Но не огорчит ли его это письмо? Если и Вам это кажется, не пересылайте письма, а перескажите сами, в Вашей собственной передаче, то из его содержания, что Вам покажется нужным и существенным. Мне кажется, оно не содержит ничего, что было бы неприятно Варламу Тихоновичу или могло огорчить его. Но с другой стороны, то, что я прибавляю в конце письма о жене, совершенная правда[1].

Пробегите, пожалуйста, письмо тотчас же, как получите приложенную записку. В течение нескольких часов, что я пробуду в городе, я, может быть, дополнительно позвоню Вам, чтобы поговорить с Вами и узнать Ваш взгляд на этот счет.

Нужны ли Вам книжки Шаламова, или у Вас есть копии и они могут у меня остаться?

Всего лучшего. *Ваш Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 72).

[1] Имеются в виду слова З. Н. Пастернак о чрезмерной суровости оценки Пастернака (письмо № 1192).

1194. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

16–19 июля 1952, Переделкино

16 июля 1952

Дорогая Оля!

Как странно, что именно в эти дни пришло твое письмо. Удивительное стечение обстоятельств! Как раз Ливанов с женою очень уговаривали меня с Зиной поехать с ними в Ленинград на время Мхатовских гастролей[1], убеждали, посылали за нами художницу театра В. М. Ходасевич, имелась готовность административной части театра на устройство комнаты в гостинице и в предоставленном артистам доме в Териоках и прочая, и прочая, а я отказался.

Но то, что Ленинград был некоторое время предметом обсуждения, осталось в воздухе, и на днях Зина и Леня все же поехали в Ленинград с женой и дочерью грузинского писателя Леонидзе. Они уезжали из города, в то время, как я безвыездно живу на даче.

Вчера, 15-го, я был в городе и подумал, попадет ли Зина с Леней на «Ромео» в эту поездку[2] (об этом не было речи при отъезде, я их не провожал, а в Переделкине забыл ей об этом напомнить).

Кажется, в пятницу 18-го они вернутся. Может быть, я от них узнаю, что они столкнулись с тобой где-нибудь, на улице, или что какая-нибудь другая случайность свела вас вместе. Она, я знаю и в случае каких-нибудь формальных затруднений в гостинице (вследствие отсутствия командировки) не будет обращаться ни в издательства, ни в Союз писателей, никуда, а выпутываться сама, как сама она предприняла эту поездку на естественных основаниях. Она не взяла, сколько я знаю, с собой ни одного Ленинградского адреса и не собиралась разыскивать даже Ливанову, так нас именно звавшую в Ленинград, которая на нее так же верно обидится, как теперь и ты, если только по какой-нибудь непредвиденности, вы не встретитесь.

Как молодо и с какой отчетливостью мысли ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначения, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии!

Я разметил несколько таких мест твоего письма, удививших меня близостью к тому, на чем стою и как думаю и я, и превосходством твоей немногословной ясности над моей манерой прикасаться к тем же предметам. Это все очень хорошо, и для того, чтобы не превратить письмо в трактат, я воздерживаюсь от ссылок и примечаний по их поводу.

И если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами: под тем, что он недисциплинирован, что он страдает манией величия, что он недостаточно профессионален и не вполне отгородился от стихии дилетантизма, что он пьяница и буян и пр. и пр.

19-го.

Вчера приехала Зина. Все, конечно получилось так, как я предполагал. У них были затруднения с номером, и они с трудом остановились в Октябрьской гостинице. Среди объезда окрестностей они даже были в Териоках, и не удосужились узнать адрес Ливановой, ее и не искали.

Еще раз спасибо тебе за яркое письмо, распираемое теснящимся набегающим содержанием. В конце письма у тебя есть фраза (ты ею объясняешь отсутствие упоминаний о быте, здоровье и пр.): «Но я давно потеряла тебя и Шуру как братьев» и пр. Если это упрек и написано в тоне сожаления, то это горе очень легко поправимо. В ту самую минуту, как тебе под каким-либо видом потребуются эти братья, ты убедишься, что ты их не теряла.

Если же эти слова сказаны в совсем другом смысле и определяют род существования, протекающий вне начала семейственности, то я очень хорошо знаю этот мир, и в таком случае все тоже в порядке.

Крепко целую тебя. *Твой Б.*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг — Автограф.

[1] Несохранившееся письмо О. Фрейденберг, на которое отвечает Пастернак, было, по-видимому, вызвано впечатлением от виденной инсценировки М. А. Булгакова «Мертвых душ» Гоголя с великолепным Ливановым в роли Ноздрева.

[2] Речь идет о постановке «Ромео и Джульетты» в Ленинградском ТЮЗе, о которой, вероятно, тоже писала О. Фрейденберг.

1195. Ф. ТВАЛТВАДЗЕ

30 июля 1952, Переделкино

30 июля 1952 г.

Дорогая Фатьма Антоновна!

Я очень неудачно надорвал край конверта Маргвелашвили, как раз тот, на котором был его адрес, и должен по необходимости писать опять Вам. Очень глупо, что я не прочел письма вчера вечером при Вас, тогда никого не надо было бы утомлять перепиской, и обо всем можно было бы договориться устно: Георгий Георгиевич или Вы восполнили бы остающиеся до сих пор незамещенными для меня (и непонятными), несмотря на письмо Г. Г., пробелы разорванного, недостаточно связного логического хода Церетели[1]. Но об этом, может быть, потом.<...>

Вы спросите, зачем же, если я текста подстрочника не понимаю, если считаю, что задача перевода некоторых вещей недостаточно стройно и связно изложенных в подстрочнике, по подстрочникам невыполнима, зачем, если я не гонюсь за деньгами и за славой, зачем, следовательно, я предлагаю другой, далекий вариант стихотворения?

Отвечу: с единственною целью, чтобы Вы и Георгий Георгиевич не подумали, что я обиделся или ленюсь, или отступил перед трудностями задачи и т. д. и т. д. Я именно для того посылаю другой перевод, чтобы освободить Вас от себя в отношении этих стихов, чтобы обращаясь к кому-нибудь другому, Вы знали, что в этом вопросе не осталось ничего затаенного и пр. и пр.

Теперь о другом. Если у Вас будет случай снестись с Ниной Александровной (может быть через Леонидзе), надо, чтобы она знала, что мы всегда с радостью ждем ее, но что умоляем не везти с собой чемоданов с дарами. Во-первых, у нас тут все есть и у Зины самой по себе есть тенденция заводить излишние, угрожающие своей сохранностью запасы, если же кто-нибудь пустится соперничать с нею в этом направлении, то с очень большой вероятностью обнаружится та именно точка, на которой я когда-нибудь сойду с ума. Ваше общее посещение оставило в нас наилучшие воспоминания. И семье Леонидзе мы были рады, как родным, о чем тоже у нас дома был разговор. Только я несколько раз осекался, заговаривая о Евфимии Александровне, потому что улавливал взгляды, которыми Нестан обменивалась с отцом, из которых явствовало, что я веду себя, как дурак. Это огорчительно.

Будьте здоровы. Больше ни на какую подстрочную тему мы в жизни не будем разговаривать.

Ваш Б. Пастернак

P. S. До моего осеннего возвращения в город пусть Г. Г. и Анна Захаровна не беспокоятся о деловой стороне этих пустяков, они мне не стоили труда, я о них забыл и в отношении сделанного оба они *совершенно свободны.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (собр. адресата). Купюра в тексте сделана публикатором.

[1] Речь идет о переводах Акакия Церетели, подстрочники которых делал Г. Г. Маргвелашвили (см. письмо № 1190).

1196. В. А. КАВЕРИНУ

2 августа 1952, Переделкино

Дорогой Вениамин Александрович!

Если после разговора с Вами и Журавлевым я предаю свое обещание забвению, Вам покажется это невниманием и, чего доброго, Вас обидит. С другой стороны, меньше всего хотел бы я, что-

бы вы тратили свое писательское время мастера, на продукцию человека, который сам ничего не читает, ничем не интересуется и из духовной и умственной лени убивает дни на огороде и этим растительным эгоизмом никогда не поступится[1] <...>

Большинству друзей эта вещь не нравится. Одним, потому что это не ново и не в той степени оригинально, как, переоценивая мои силы, они бы хотели. Другим, потому что, уклоняясь от решения задач, в наше время общеобязательных, я сбрасываю главную трудность, всеми взятую на плечо, и этим наперед обесцениваю что бы я ни сделал. Вы тоже, если будете искренни перед собою, разочаруетесь. Может быть, лучше, действительно, отложить чтение до того времени, когда я окончу роман. «Борис Пастернак» и «Москва, 1948 г.» — этого в рукописи нет, это любезности машинисток[2].

Привет Лидии Николаевне[3].

2. VIII. 1952

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Октябрь», 1984, № 9. — Автограф (собр. адресата). Купюра сделана адресатом при публикации.

[1] Речь идет о первой части романа «Доктор Живаго». Жесткие самооценки Пастернака, которые Каверин, комментируя это письмо в «Октябре», принимает за чистую монету, повторяют трафарет многократно слышанных со стороны писателей слов о романе и о себе самом.

[2] Машин. была озаглавлена: «Борис Пастернак. Доктор Живаго. Картины полувекового обихода. В двух книгах. Книга первая. Москва, 1948 г.».

[3] *Лидия Николаевна* — жена В. А. Каверина.

1197. А. С. ЭФРОН

6 сентября 1952, Переделкино

6 сент. 1952

Дорогая Аля, милый друг мой!

Мне привезли из города твое письмо с коровой в закате, с музыкой и скукой, двойной водой Енисея. Ах, ах, Аля, ах! Ты знаешь все. Тут мое молчание и недоумение, мое отчуждение. А можно ли больше? Что сказать, что сделать? И я прикусываю губы. Но ведь вследствие этого в ответ на нарисованную тобою картину, так сложилась моя жизнь.

А внутренне я не могу ею нахвалиться. Я этим летом гораздо больше, чем в прошлые годы, копался на огороде, окучивал картошку, копал гряды, обкладывал навозом яблони, часов по 5, по 6

в солнечные дни, и чувствую себя очень просто и спокойно. Ведь все делается страшно медленно, но если в течение зимы выйдет отдельной книжкой Фауст, пришлю тебе. Я и роман дальше попи-сал (осталось главное, окончание, очень печальное, с разными про-исшествиями). Читал эту новую часть весной в городе нескольким знакомым, между прочим, большим друзьям Елизаветы Яковлев-ны[1], но она этой части не знает, мне только теперь ее переписали.

Я очень скоро, может быть на этой еще неделе, переведу не-много денег тебе, и, может быть, Асе, от которой летом получил открытку[2]. Я знаю, что и эти посылки как бы навсегда установи-лись, как все остальное, и стали знамением этого заклятого и ро-кового однообразия, я знаю, что они ровно ничего не меняют, но все же, если в эти редкие промежутки тебе хоть в бытовой плоско-сти становится хоть на полвершка вольнее, и то счастье.

Крепко тебя целую, спасибо тебе за все. Я тоже, когда разго-вариваю, а не развлекаюсь землей и навозом, разговариваю с то-бой. Крепись, мужайся, — это не пустые слова.

Твой Б.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Речь идет о чтении главы «Дорога» 2 июня 1952 г., на котором были Журавлевы, близкие друзья Е. Я. Эфрон (см. об этом письмо № 1184).

[2] Пастернак отозвался на эту открытку 15 сент. 1952: «Дорогая Ася! Спасибо за открытку. Фауста не посылал, потому что еще не напечатали. Может быть с Божьей помощью издадут в течение зимы (ведь я всего пе-ревел), тогда непременно пришлю. Этим летом я тоже больше, чем в прежние, часов по 6, по 8 в день проводил в саду и на огороде, чувствую себя хорошо. Михаил Михайлович действительно умер весною, интересный, яркий человек. В ближайшее время, может быть в первой половине ок-тября переведу Вам немного денег. Крепко целую. *Ваш Б.*» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397). Речь идет о смерти М. М. Морозова.

1198. Н. ТАБИДЗЕ

6–8 сентября 1952, Переделкино

6 сент. 1952, суббота

Дорогая Нина!

От приехавшего Стасика вдруг я узнал, что он с Милочкой[1] жили в Вашей комнате и что Нита четыре или пять дней своей деловой и занятой жизни потратила на них. Мне особенно больно за последнее, потому что этой жертвы (свободным временем) я

никогда никому не приношу. Свою благодарность Вам и ей я и расположился выразить в этом письме, как столь же внезапно от приехавших на воскресенье (сегодня суббота) из города Зины и Лени узнал, что Ниточка приехала в Москву и была у них за десять минут до прихода вызванной машины. Они упрашивали ее поехать вместе с ними в Переделкино, но она сказала, что у ней дела, и пообещала приехать на дачу завтра, в воскресенье. На этом прерываю письмо и буду продолжать его после свидания с нею.

8-е сент., понедельник

Странно, ночь после этого письма, с субботы на воскресенье, я не сомкнул глаз ни на минуту, т. е. провалялся без сна всю ночь начисто. Я стал было засыпать, под окном меня несколько раз разбудил лай Мишки, и вся моя способность уснуть пропала. Мне это было огорчительно, потому что в воскресенье ждали гостей, и мне хотелось их принять в полной силе, а не в виде неспавшей тени. Кроме того, я не особенно верил в обещанный приезд Ниты и накануне, до бессонницы, решил с утра по телефону разыскать ее через Фатьму Антоновну, а в случае неуспеха самому съездить за нею в Москву и к обеду привезти в Переделкино. От всего этого я отказался вследствие сонливой вялости, но все утро, как всегда, проработал в саду.

Первою приехала Нита с приятельницей[2]. Фотографии, которые привезли Зина и Леня из своей поездки, плохо передают ее. Вся прелесть ее лица в том, как живет и меняется это лицо, когда она говорит, или удивляется, или смеется, или в порыве сильного сердечного движения. Я смотрел на нее и любовался огнем одушевляющим ее, огнем остроумия и благородства и огнем самостоятельной манеры думать и чувствовать. После совершенно бессонной ночи, в том состоянии, в котором я был в тот день, это было единственное, что я мог делать и чем мог наполнить медленные часы жаркого дня: окапывать и обкладывать яблони навозом и землею и смотреть на Ниту и слушать ее. Но за яблонями я ухаживал с сухими глазами, а Нитою любовался сквозь слезы, застилавшие мне глаза не только тогда, когда мы с нею что-нибудь вместе вспоминали и у меня прерывался голос и мешал мне говорить, но каждый раз, как Нита давала доказательства своего тонкого понимания жизни и отношения к ней и когда я радовался, что она такая. Мне жалко, что она меня видела таким бледным и усталым и таким равнодушным ко всем прочим за столом. Незадолго перед этим как-то в отсутствие Зины, когда дом вступил в мое ведение и стоял тихий, строгий, без лишних запасов, приехали и заночевали со мною в моей комнате

Ливановы. А вечер до 3-х часов просидел с нами Федин[3] (вино пришлось собирать по соседям, вследствие их позднего приезда после закрытия лавки). Но сколько любви и мыслей принесли с собою эти люди. Я провел время так интересно, в таком увлеченном разговоре! Как будто моя собственная жизнь в их лице вошла ко мне и сказала мне много радостного и нужного! Жалко, что не их видела у меня Нита или не кого-нибудь, вроде них. А тут забыли даже, что дело происходит на воздухе, и только зашедшая Анна Никандровна вспомнила, что внизу стоят яблони, усыпанные яблоками, и сошла вниз и обошла их ряд. А за столом дело шло, как в погребке, и я был слишком слаб, чтобы напомнить, что мы едим и пьем в саду. Мне жалко, что Нита меня видела таким равнодушным к людям и, может быть, ошибочно выведет, что я до такой степени одинок. Это не так.

Вот что, чтобы письмо все-таки кончить. Множество поводов, сама Нита, черты ее сходства с отцом, бесчисленные случаи жизни того времени, которые мы вспоминали, снова напомнили мне, как страшно и наполовину лишено цели, что моя жизнь проходит без Тициана. Но как мне сказать Вам и другое? Так же часто ловил я себя на мысли, что, может быть, Вы и Нита не были бы мне так близки, не были бы моими равными, если бы Ваша судьба сложилась легко, если бы у Вас была машина, если бы Вы были избалованы и развращены болтовнею и шутовством и бездельем. Мне дорого, что Вам надо работать, потому что я человек, привыкший, чтобы день был наполнен трудом, как он наполнен солнцем на небе, я человек целиком поставленной задачи и полной цели, а не какой-нибудь гомеопатической ее части. Но довольно, наконец. Мне переписали часть прозы, которую Вы читали (я там многое изменил, отчасти из-за Вас, из-за того, что Вы ей приписали больше значения, чем я хотел). Я постараюсь дать один экземпляр Ните для передачи обоим Чиковани, а Вас попрошу потом собрать все три тетради[4] у себя и следить, чтобы они не разрознивались. Естественно, нежнейшие чувства Симону (получил от него письмо) и Марийке.

Семье Леонидзе скажите, забвение напомнило о них два случая забывчивости. То, что Зина забыла передать Вам карточки, снятые в Петергофе (на них фотограф Леню и Зину прикрасил, а Евфимию Александровну и Песо[5] снял вне фокуса и испортил, — я этих карточек не люблю). Второй случай: Евфимия Александровна и Песо забыли в гостинице в Ленинграде в своем номере ручное зеркальце, и через Лениного товарища его нам доставили в Переделкино, вот фантастика!! Я их всех, если они позволят, крепко целую.

У Вас необыкновенная дочь, Нина. Крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 24952).

[1] Сводная сестра Станислава — Милица Генриховна Нейгауз.

[2] Пастернак не видел Ниту Табидзе с осени 1945 г. — 7 лет.

[3] В бумагах К. А. Федина сохранилась записка, возможно относящаяся к этой встрече: «Дорогой Костя! У нас Ливановы. Мы пьем, закусываем, беседуем. Если бы ты пришел, не надо говорить, какая бы это была радость. Но это без насилия, если у тебя к этому душа лежит, и ты свободен. Если не можешь, мы тебя не разлюбим. *Твой Б.*» (собр. Н. К. Фединой).

[4] Одна машин. тетрадь — часть первая, вторая — гл. «Дорога» и третья — гл. «Приезд» романа «Доктор Живаго».

[5] *Песо* — домашнее имя дочери Леонидзе Нестан.

1199. Т. ТАБИДЗЕ

16 сентября 1952, Переделкино

16 сент. 1952 г.

Дорогая Нита!

Вторичное знакомство с Вами было для меня большою радостью. Когда я с Вами виделся, я не знал, что Вы привезли письмо от мамы. Я только сегодня съездивши в город, получил его от Зинаиды Николаевны и, когда вскоре после свидания с Вами, я писал Нине Александровне, я ни словом не упомянул об этом горячем и дорогом письме, о существовании которого я тогда не ведал.

Было бы странно ставить в заслугу Вам, Вашей живой душе и тонкости то, как Вы говорили со мной о Вашем отце. Но так как вместе с тем это был разговор о художнике, которого я так любил и которым так любовался, какую-то частицу которого, как мне кажется, я как бы ношу в своем существе и своей деятельностью как бы повторяю, то взволновали Вы меня и этими Вашими словами.

Однако еще больше поразило меня полное совпадение Вас со мною в нашем общем восприятии другого замечательного человека, П. Я<швили>. То, что Вы девочкой, там, на месте, в повседневном обиходе впитали и увидели этого человека и все вокруг него в той же приподнятости и в том же кратковременном озарении, как я, человек пожилой и со стороны, не перестает удивлять меня и говорит о редкой незаурядности Вашего внутреннего существа и душевного мира.

Огромное Вам спасибо за то, как Вы думаете о П. Я., как его понимаете и помните. И десятой доли того, что я о Вас думаю, я

не скажу Вам, чтобы не повредить Вашей скромности и Вас не испортить. Да благословит Вас небо.

Поцелуйте маму, Алексея Николаевича и Гивика. *Ваш Б. П.*

Впервые: Материалы ГМГЛ. — Автограф (ГМГЛ, № 2482).

1200. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

24 сентября 1952, Переделкино

24 сент. 1952

Дорогая Ася!

Осень, по утрам копаю лунки для посадки вишен, рано смеркается, и оставшись один на даче, читаю вечерами Келлеровского «Зеленого Генриха», впервые подряд и целиком[1]. Встречаю на полях следы Вашего карандаша и ногтя, и отметки: прочесть Б. М.[2] Попался листок из Вашего блокнота с расписанием дня.

Какая хорошая книга! Из немногочисленного разряда, в который входят «Война и мир», «Фауст» и Шекспир. Тонкости и откровения, выраженные здраво и трезво, почти грубо, и на каждой странице — тень высящихся над ними Альп. Какая неотразимая Юдифь[3], живая, грозящая присниться после вечернего чтения и словно самолично вдохнувшая в автора смелость ничего не таящей обрисовки. И сколько зиждущей страсти, проникающей насквозь изложение, как она неотъемлема от музыки, от ее движущегося катящегося потока.

Мне хорошо тут. Каждый день топлю печки (внизу живут младший сын Нейгауза, пианист, с женой и шестимесячной дочкой Мариной, но послезавтра переедут в город), моюсь сверху до низу холодной водой и мылом на открытом воздухе, легко одеваюсь, когда раскидываю в саду навоз или копаю землю.

Как только перееду в город, легче будет перевести обещанные деньги[4]. Поживу тут еще, если Богу угодно, неделю — дней десять.

Живаго в два периода, с огромным промежутком между ними, подвинулся вперед. Есть две новых тетради, которых Вы не знаете, размера Вам известной[5]. Когда Вы это прочтете? Когда мы увидимся? Я привык предполагать впереди обстоятельства, почти такие же решительные, как смерть, но не такие неотменимые. А пока мне осталось написать окончание, которым и займусь зимой, если буду здоров. Целую Вас.

Всего Вам лучшего. *Ваш Б. П.*

Какая умница Аля, и какая талантливая!! Я горжусь ею, словно она — часть моего существа, — моя мысль или моя сестра или дочь.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] Роман Готфрида Келлера «Зеленый Генрих». Еще в 1912 г. Пастернак писал А. Штиху что хочет переводить Келлера (письмо № 65).

[2] Книга была подарена Пастернаку А. И. Цветаевой с ее пометками. *Б. М.* — Борис Михайлович Зубакин, близкий друг А. Цветаевой, арестованный в 1937 г. и расстрелянный.

[3] Главная героиня романа Келлера.

[4] Сохранилась записка на талоне почтового перевода: «10 янв. 1952. С Новым годом, дорогая Ася! Желаю Вам, чтобы с глазом у Вас не ухудшалось. Давно все мечтал послать Вам немного денег и все не удавалось. Рад это сделать сей<час. Новый год встречали> шумно, дома, с гостями, между прочим с Журавлевыми. Нельзя жаловаться, многим гораздо хуже. Но трудно применяться. Ах, лучше не рассказывать! Здоровье не очень, но терпимо. На все воля Божья. Целую Вас. *Ваш Б.*» (там же). Записка разорвана на две части, одна строка текста утрачена.

[5] Имеются в виду главы «В дороге» и «Приезд».

1201. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

27 сентября 1952, Переделкино

27 сент. 1952

Дорогой Женя!

С твоей стороны было очень остроумно подтвердить верность адреса телеграммою сюда в Баковку: я ее получил и ты меня этим успокоил. Но на днях я переезжаю в город, и больше сюда не пиши. По моей просьбе Зин<аида> Ник<олаевна> перевела тебе тысячу в подарок к твоему рождению. Так как адрес, который я упустил записать со слов Тани[1], как оказывается, я запомнил правильно, то деньги ты наверное уже получил. Это (во избежание недоразумения) тебе и Тане; маме за октябрь будут особо. Осмеливаюсь верить, что у тебя никаких особенных перемен не предвидится, и ты по-прежнему работаешь до изнеможения. Это очень хорошо, так и надо. Только люди деятельные и трудящиеся — физически плотные тела, остальные — призраки разной степени разрежения.

Чтобы кончить письмо чем-нибудь соответствующим истине и приятным,' — по косвенным и с нею не связанным поводам очень хорошо думал о твоей Тане. Привет ей и маме.

Твой папа

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] Татьяна Владимировна Руссиян — первая жена Е. Б. Пастернака.

1202. К. А. ФЕДИНУ

4 октября 1952, Москва

4 окт. 1952

Дорогой Костя!

Я неожиданно в проливной дождь переехал в Москву и не успел проститься с тобой. При ближайшей оказии зашли пожалуйста рукопись Живаго к Вам на городскую квартиру[1], и чтобы Мария Николаевна сообщила об этом по телефону[2]: за тетрадью зайдут. Крепко тебя целую, благодарю за яблоки, встречи и разговоры[3] и шлю сердечные приветы Доре Сергеевне и всем твоим.

Твой Б.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Пастернак давал Федину очередную главу своего романа, его мнение было существенным для последующей отделки текста; здесь речь идет о гл. «Приезд», которую Пастернак хотел передать Баранович (письмо № 1203). Еще 14 сент. Пастернак передал эту главу Т. В. Ивановой: «Дорогая Тамара Владимировна! Хотя Вы вызвались прочесть это продолжение, но мне это еще нужнее, чем Вам. Предшествующих частей у меня нет здесь с собой, но это не так существенно. Я помню Ваш строгий разбор Гроссмана, которого я еще не читал и которого так хвалят. Воображаю, что Вы скажете в душе об этих страницах, и как жаль, что я этого не узнаю. Никому в доме читать не давайте, кроме, может быть, Марии Потаповны, ввиду ее вероятной снисходительности. Всеволода целую, всем Вашим сердечный привет. *Ваш Б. Пастернак.* Рукопись отдаю Вам на очень короткий срок, на неделю, до следующего воскресенья. *Б. П.*» (Воспоминания. С. 249). Имеется в виду роман В. Гроссмана «За правое дело». М. П. Каширина — мать Т. В. Ивановой.

[2] Мария Николаевна Соколова — домработница в доме Федина.

[3] Об одной из таких встреч летом 1952 г. свидетельствует сохранившаяся записка: «Дорогие Дора Сергеевна и Костя! У нас завтра вечером (в воскресенье) будут Погодины, и кроме Вас мы позовем еще Сельвинских или Ивановых. Несмотря на мое стремление приглашать не в воскресенье, а в будни, у Погодиных никак по-другому не выходит. Очень просим Вас. Никаких случаев и поводов, вроде чтения или именин не предвидится и даже больше, я по некоторым причинам превратился в последнее время в бессловесную куклу, лицезрение которой не может доставить удовольствия, но тем сильнее мое желание видеть иногда живых и больших людей, Вас в первую голову. Приходите, пожалуйста, в 9 часов, обязательно вдвоем. Если препятствием будет приезд Алянского, приходите с ним. *Ваш Б. П.*» («Волга», 1990, № 2, С. 168). О том, как поддерживали Пастернака такие встречи, «сколько любви и мыслей принесли с собою эти люди <...> Как будто моя собственная жизнь в их лице вошла ко мне и сказала мне много радостного и нужного!», — писал он в письме № 1198. Об имени и

отчестве С. М. Алянского, в которых Пастернак был не уверен, и номере его телефона он спрашивал Н. К. Федину в записке 18 окт. 1958, объясняя этот вопрос тем, что у него будет большая просьба к нему. Но события, связанные с присуждением Пастернаку Нобелевской премии, вероятно, сняли эту необходимость.

1203. М. К. БАРАНОВИЧ

11–19 октября 1952, Переделкино

Если я Вас не застану.

Продолжение романа прочтите[1] и дайте прочитать Поливановым, но ни в коем случае не переписывайте, даже для своих надобностей, это совершенно лишнее. Может быть нужда в этом возникнет, когда будет дописано все целиком, в отдельности же эта служебная, переходная часть, к тому же короткая, не заслуживает самостоятельного существования.

А вот стихи мне очень требуются, и не осталось ни одной тетрадки[2], и если это в Ваших силах (если у Вас есть время и если Вы можете победить знакомость наизусть, доводящую текст до бессмыслицы), восемью или десятью тетрадками отчетливой печати Вы бы сделали мне истинный подарок.

Ваш Б. П.

Впервые: Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по содержанию.

[1] Имеется в виду гл. «Приезд».

[2] М. К. Баранович перепечатывала стихи из романа «Доктор Живаго» и сшивала их в маленькие тетрадки, которые Пастернак широко рассылал и раздаривал знакомым. Сохранилась записка, датированная 10 окт. 1952, по поводу тетрадок со стихами: «Дорогая Марина Казимировна! Мне стихи понадобятся гораздо раньше, чем я думал. Как у Вас с ними? Через неделю, числа 15-го справлюсь у Вас об этом по телефону. Занялся зубами. Каждый день рвут по несколько штук. Своего рода спорт, даже в это втянулся. Сердечный привет. *Ваш Б. П.*» (там же. С. 26).

1204. А. С. ЭФРОН

19 октября 1952, Москва

19 окт. 1952

Алечка! Спасибо тебе за письмо в две странички, которое ты считаешь временным, а я — окончательным и не нуждающимся в дополнении. Не торопись мне писать, не задумывай длинных

писем, не тревожься, не создавай себе из этого забот. Мне жаль твоего времени и сил, я и без писем знаю все.

Я знаю и то, что посланного наверное едва тебе хватило на возвращение долгов и как только будет возможность (довольно скоро), дошлю еще.

Я так чудно доживал последние дни сентября на даче, великолепно себя чувствовал, Бог знает что воображал о себе и своих возможностях и море мне было по колено первые дни по переезде в город, — я сел за окончание романа, работа пошла.

Но мне давно, уже около 10-ти лет надо было основательно заняться зубами. Надо было решиться на удаление всех оставшихся собственных зубов и их замену протезом, как их теперь делают. Я набрался храбрости и теперь наказан. Протез плохо прилегает, изъязвил мне все во рту. Говорят, так всегда бывает в начале, потом обойдется. Это обстоятельство сбило с меня спесь и поставило меня на место.

Кроме того, тут много шуму наделал напечатанный в четырех номерах «Нового мира» (с седьмого по десятый) роман В. Гроссмана «За правое дело»[1]. Все советовали прочитать. Я воспользовался вынужденным досугом и стал читать.

Мне очень понравилось начало, описание первой ночи войны на границе, множество определений, умных и глубоких, множество зарисовок, живых и поэтических, строки о Яснополянском доме, все о письме матери (Штрума[2]) и его чтении сыном, вся часть об эвакуации детдома и воздушном налете немцев на Сталинград, все о национал-социалистах в Берлине. Но серых, неряшливо написанных страниц, держащихся на риторической приподнятости и нравственном штампе становилось все больше, в третьей части я автору уже не верил, в четвертой был чем-то восстановлен против него. Я не выношу этой ложной глубины и расхожего возвышенного образа мыслей по всякому поводу: «Любовь матери... была также нужна, как этот кусок солдатского хлеба». Я не верю мелькающим на каждом шагу всеобщностям (таким что ли: он посмотрел на закат и вспомнил то-то, и то-то, и то-то и чуть ли не всю свою жизнь. Или: в этом (каком-нибудь частном явлении) было то-то, и то-то, и то-то, и сырость осени, и детство в деревне, и пр. и пр., и целая вселенная). Это хорошо, и бывает иногда и тогда надо правильно передать и эту редкость. Когда же это превращается в постоянный стилистический прием, это значит, что правда и живописующая наблюдательность уступили место заводному механическому многоговорению по всем правилам

ораторского искусства. На 600 страниц текста страниц 60 истинных и живых. Как могло это случиться у человека с умом и талантом? Это тоже, как зубы, меня расстроило.

Когда в начале он несколькими страницами захватил меня, я был готов склониться перед ним и отдать ему все, он должен был попрать меня и уничтожить. Но этого не случилось. Не изменил моей природы, не освободил моих «клепок» от придури, и этот пример, и этот разговор по-взрослому, в требующемся направлении, такой яркий и талантливый, но и такой противоречиво плоский и неполный!

И я рад, что стою в стороне как неприменимый ни к чему курьез с «детской» может быть, любительской, дилетантской никчемностью своего дела перед заколдованным кругом этого так по странному вдохновенного профессионализма, оригинального во стольких частностях и бесцветного в целом даже тут, в этом примере, как у всех.

Но может быть я завидую, пристрастен и ошибаюсь? Проверь, пожалуйста. Достань, если есть у вас в клубе, эти четыре книжки и прочти. Там есть много прекрасного, многие места потрясут тебя. Искренне напиши мне, что ты думаешь. Наверное, я не прав, скажи мне это, не бойся, я не разлюблю тебя.

Твой Б.

Странно, когда начинается вранье, внутреннее (писание того, что автор не думает) и внешнее (несоответствие действительности), то и язык становится неожиданно неправильным, точно автору заложило ухо или он передал перо кому-то другому: ехал пароходом, вернулся лодкой, отправился самолетом, поездом, машиной, выждал тишину, ждут первую рюмку, пошел искать молоко[3].

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Пастернак познакомился с Василием Гроссманом во время войны, в Чистополе, куда он весной 1942 г. приезжал к жене. Он подарил Пастернаку книгу «Сталинград» (М., 1943), где Пастернак разметил факты, связанные с участием генерала Л. Н. Гуртьева в обороне Сталинграда. Н. Г. Бруни вспоминала, как Пастернак рассказывал ей, что его инфаркт был вызван тяжелым разочарованием в романе Гроссмана, знакомство с которым заставляло ждать большего.

[2] Герой романа «За правое дело».

[3] На следующий день после письма к А. Эфрон у Пастернака случился инфаркт, при первой возможности 25 окт. он писал ей: «Аля, меня в инфаркте свезли в Боткинскую больницу. Я думаю, я выздоровею. Я получил твое письмо. Спасибо тебе, родная, чудная девочка моя. Я не врал

тебе, намереваясь дослать тебе еще денег, но отсюда, из больницы, мне некому и трудно это поручить. Авось, Бог даст, выздоровею. Запрещено писать и двигаться. Крепко целую тебя. *Твой Б.»* (там же. С. 170).

1205. Д. С. и К. А. ФЕДИНЫМ

19 октября 1952, Москва

19 окт. 1952

Дорогие Дора Сергеевна и Костя!

Вы бы доставили нам большую радость, если бы согласились побывать у нас вечером в пятницу, 24-го, на этой неделе[1]. Можно ли на это надеяться?*

Сердечный привет от нас обоих Вам и всему Вашему дому.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Празднование именин З. Н. Пастернак, которые всегда широко отмечались, не состоялось; 20 октября Пастернака с обширным инфарктом миокарда увезли на скорой помощи в Боткинскую больницу.

1206. М. К. БАРАНОВИЧ

Конец октября 1952, Боткинская больница

Дорогая Марина Казимировна.

Нельзя щевелиться, писать, буду краток. Надо втайне попросить Валентина Фердинандовича Асмуса (Д-3-00-80 доб. 425) попросить ссудить для моих надобностей (скажите для каких) две тысячи (2000). (Все будет возвращено). Получите, пожалуйста, эти деньги и отнесите Марии Николаевне Костко[1] Потаповский пер. д. 9/11 кв. 18 на два месяца (на октябрь и ноябрь).

Расскажите, что со мной, пусть не пугаются, пусть не боятся делать долги в перерыве.

Простите за сумбур. Сообщите об исполнении через Вашу знакомую, работающую в Боткинской.

Просил Вас уже раз об этом письмом, но с неправильным адресом (ул. Огарева)[2].

Крепко, крепко, крепко целую. *Б. П.*

---

* Дайте нам об этом знать. (*Прим. Б. Пастернака.*)

Впервые: Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). На конверте адрес: «Москва, ул. Грановского (бывш. Шереметевский пер.) д. 2, кв. 11». Правильное назв. «ул. Грановского» вычеркнуто, а «Шереметевский» подчеркнуто чернилами, наклеены два бланка, один с указанием, что письмо не доставлено «за неуказанием точного адреса», и второй с правильным адресом. Примеч. М. К. Баранович: «Присоединение Борисом Леонидовичем к теперешнему названию моего переулка старого — Шереметевский пер. — каким-то роковым образом опять задержало доставку письма. Отчаявшись в моем ответе, Б. Л. настоял на допуске к нему в больницу В. Ф. А<смуса> и уже не знаю или не помню, каким способом передал деньги М. Н. К<остко>» (там же. С. 85–86).

[1] Мать О. В. Ивинской, которая отозвалась на эту посылку и известие о болезни Пастернака письмом к нему, посланном на адрес М. Баранович. Пастернак отвечал ей после возвращения из больницы 3 янв. 1953: «Дорогая Мария Николаевна! Я взял на себя смелость попросить Марину Казимировну вскрыть и прочитать мне Ваше письмо по телефону. Как я узнал и почувствовал Вас в нем! Сколько в него вложено горячей Вашей души, как полно оно сердца и жизни» (Ивинская. В плену времени. С. 133).

[2] Предыдущее письмо, написанное расползающимися буквами: «Дорогая Марина Казимировна! Запрещено писать, двигаться, буду краток. Позвоните Валентину Фердинандовичу (сказать ему, чтобы не говорил Зине) пусть даст Вам для моих нужд заимообразно, с возвратом, если Бог даст, буду жив, 2000 руб. (две тысячи). Получите их и отнесите Марии Николаевне Костко (Потаповский 9/11, кв. 18) на два месяца. Все ей расскажите, кланяйтесь. Об исполнении сообщите через посредство Вашей приятельницы, передавшей мне сегодня поклон. Мне хорошо. Крепко, крепко, крепко целую. *Ваш Б. П.* Боткинская 23 окт. 1952. Марии Николаевне скажите, чтобы делала долги, все возмещу, если уцелею, деньги будут» (там же. С. 26). На конверте адрес, карандашом: «Москва, ул. Огарева, д. 2, кв. 11» и надпись: «Адресат (так!) не проживает, Управдом... 1. XI. 52».

1953

1207. А. К. КОТОВУ

3 января 1953, Москва

3 янв. 1953 г. Боткинская больница

Дорогой Анатолий Константинович!

У меня был инфаркт, — пишу Вам из Боткинской больницы, — но это не с тем, чтобы жалобить Вас: я чувствую себя хорошо, лечусь в превосходных условиях и все у меня обстоит великолепно.

Денег у меня более чем достаточно. Но один из моих друзей попал несколько лет тому назад в беду, четыре года находится в отсутствии. У него двое детей, они учатся, с ними бабушка. Я их все время поддерживал.

Из больницы, а потом и из дому, при той неподвижности и связанности по рукам, на которые обрекут меня надолго последствия перенесенной болезни, я не смогу из общих своих средств распорядиться об этой помощи, как делал это раньше.

Бабушке детей, Марии Николаевне Костко я отправил из больницы доверенность на получение моего гонорара за материал, помещенный в «Антологии русской советской поэзии»[1], и порекомендовал ей связаться по телефону с редактором, Ник<олаем> Вас<ильевичем> Крюковым[2]. Дорогой Анатолий Константинович, поспособствуйте реализации этого ресурса. *Сноситься со мной по этому поводу по телефону не надо.*

Извините меня за утомительные подробности, притом второпях изложенные, верно, неуклюже. Мне вредно еще писать и запрещено. Если выплата по этой статье еще очень далека, то нельзя ли будет, в виде исключения, ее мне (т. е. М. Н.) ускорить?

Сердечный привет.

Заранее Вам признательный и искренне уважающий Вас *Б. Пастернак*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 160).

[1] В сб. «Русская советская поэзия» (М., Гослитиздат, 1954; подписан к печати 21 сент. 1953) вошли отрывки из поэм «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и стих. «Наступление зимы» («Зазимки», 1944).

[2] Одновременно с письмом Котову Пастернак сообщал М. Н. Костко телефон редактора Крюкова и бухгалтерии Гослитиздата. «Того и другую предупредите, чтобы "по этому" заработку они "не звонили мне на дом", что у меня был друг (мужчина), попал в беду, 4 года отсутствует, дети учатся, одни, Вы — бабушка и эти деньги предназначаются им особо от других моих дел <...> Но слава, слава Богу! Я и в минуты опасности, в ночь, когда меня привезли в больницу, не уставал благодарить Провидение за прожитую жизнь и не желал другой. Я был спокоен и плакал от умиления, что если это конец, то как он милосерден и мягок. Я верил, что силы, к которым я взывал на пользу Вам и другим моим друзьям и в защиту моей семьи, будут и после меня продолжать свое действие <...> З. Н. спасла меня. Я ей обязан жизнью» (Ивинская. В плену времени. С. 134).

1208. А. С. ЭФРОН

12 января 1953, Москва

12 янв. 1953 г. Аля, Алечка! Ты и твои слова все время были со мной[1]. Я — дома, скоро с Зиной поеду в санаторий. Все время чувствую сердце, теряюсь, до каких границ распространять осторожность, всякое ли сжатие, укол и пр. принимать за предупредительный сигнал, но тогда можно с ума сойти. 2-х месячной лежкой належал себе снова затрудненную подвижность шеи (отложение солей). Но все это пустяки! О, как по-маминому, по-нашему было все в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил его, как молился. Господи, шептал я, — сейчас это только слова благодарности, если же ты унесешь меня, весь я с головы до ног, со всей моею жизнью стану благодарственным тебе приношением, и смешаюсь с другими такими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела. Милый друг, без конца целую тебя.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] Узнав об инфаркте у Пастернака, А. Эфрон писала: «Я не то что волновалась и беспокоилась, потому что и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала<...> Все время думала о тебе и с тобою и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы скорее побороть болезнь. Это не слова» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 417–418).

1209. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 января 1953, Москва

12 янв. 1953. Дорогая Ася!

Бесконечное спасибо Вам за письма, открытки, за Ваши молитвы, за Ваше участие. Потом, если, Бог даст, будем живы, я Вам все расскажу. Это было проверкой навыков, склонностей, света, в котором я видел жизнь, дела, которому я ее посвятил, способа думать и писать (не только моего, но всего дружеского круга)... и как все подтвердилось! Как я был счастлив в первые дни в больнице, на пороге мыслимой смерти и среди частых смертей кругом, что глаза мои были к этому подготовлены, как ликовал, как благодарил Творца, как торжествовал, как гордился складом и ходом мира, его творения, как дышал его строем, как молился, как понимал!

Целую, целую! *Ваш Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

1210. Н. ТАБИДЗЕ

17 января 1953, Москва

17 янв. 1953

Ниночка! Я остался жив, я — дома. Ах, как много мне надо Вам сказать!

Остались без ответа Ваши поразительные, перегруженные душой и кровью сердца письма трех периодов, начиная с осенних, где Вы писали о Ните и о том, как Вы перечитываете мои книжки, затем те, в которых Вы предлагали Зине приехать в Москву на помощь, и наконец последние с Вашим обращением к Зине, как к родной сестре... Чем, какими словами отблагодарить Вас?

Вот что я хочу, чтобы знали Вы, и Симон с Марикой, и Георгий Николаевич и Евфимия Александровна. Я повторяю это самым близким.

Некоторым иногда кажется: «Да, все эти громкие слова, идеализм, творчество, и все эти речи и тосты хороши до поры до времени, за дружеским столом, до первой беды и первого серьезного испытания. Посмотрим, что от всего этого останется при первом столкновении с неизбежностью!..»

Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре

обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерею сознания и приступами тошноты и рвоты, меня охватывало такое спокойствие и блаженство!

Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого. Зине с Ленечкой на полгода-на год средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано (перевод Шекспира, Фауста, Бараташвили).

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья.

Теперь Вы все же спросите, как мне, где я нахожусь и как себя чувствую? Сердце все время ощутимо: при движениях, при разговоре, даже за писанием этих слов. Говорят, это будет еще долго, а потом пройдет.

Мое главное горе, отложение солей на шейных позвонках (деформирующий спондилес), несколько сглаженный последним летом, когда я много двигался и перестал его чувствовать, от неподвижности за эту двухмесячную лежку возобновился и ухудшился в чудовищных размерах. Так как я ощутил его только когда меня подняли, то это открытие отравило мне радость выздоровления.

Чиковани и Леонидзе справлялись телеграммами о моем здоровье, поздравляли с Новым годом, Евфимия Александровна и Песо поздравили Леню с его рождением. Бесконечное спасибо им за эту память и теплоту. Мне трудно будет написать им сейчас каждому в отдельности: все время за разговором и писанием

подкатывает болевой клубок к горлу (кажется, это явление стенокардии). Расскажите им о моих ощущениях в больнице. Это надо им знать, не как близким друзьям, не как людям, которых я люблю, но гораздо больше: это надо им знать как немногочисленным представителям того мира, который в те, овеянные смертью часы, подвергся у меня проверке, и так вырос в моем ощущении и получил такое подтверждение. Зина чувствует себя лучше. Она сделала для меня безмерно много и спасла меня. У нее увеличена и раздражена печень. Мы вместе с ней поедем на месяц в санаторий, еще неизвестно точно куда и когда.

Нину, Гивика, Алексея Николаевича целую. Не судите строго моего письма. Мне еще трудно писать: вредно и запрещено.

Ваш Б.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 24952, 6).

1211. Н. МУРАВИНОЙ

19 января 1953, Москва

19 янв. 1953

Дорогая Нина! Мне очень горько, что Зина восстановлена против Вас именно по моей вине. Я был восхищен Вашим письмом[1] и показал его З. Н., в полной уверенности, что она разделит мое восхищение. А она решила, что болезненное волнение, с которым я тогда воспринимал решительно все кругом, вызвано Вашим письмом и особенностями его содержания. Кстати, в то же время пришли письма от Н. А. Табидзе и от дочери М. Цветаевой, оба редкой близости и силы. И удивительно, все эти свидетельства первой недели в больнице вместе с некоторыми другими записками того же времени пропали, я их не нахожу у себя. Все они либо остались в полубредовой дали начала болезни, или уничтожены (но не Зиною) во время спешной переноски меня с моими вещами из одного корпуса в другой. Мне особенно жаль пропажи Вашей тетради не за себя только, но также и за Вас[2]. Не всегда удается изложить свои мысли так живо, глубоко, связно и понятно, как это было на тех Ваших незаурядных страницах. И Ваши воспоминания о ветеранах в Шереметевском доме[3], и Ваш разбор элементов «сбоя», опорачивающих многое, и даже лучшее из сделанного мною, и объяснение, отчего доведенные до конца вульгаризмы Маяковского не оставляют неясности[4] и пр., все это было

перворазрядно и замечательно. З. Н. сочла, что для меня все это было слишком сложно.

Целую Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые: Нина Муравина. Встречи с Пастернаком. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1990. — Автограф (собр. адресата).

[1] Н. Муравина написала «длинное исповедное письмо» («тетрадь») и отвезла его в Боткинскую больницу 20 нояб. 1952 г.

[2] «Тетрадь» не пропала, Муравина включила часть письма в свои воспоминания.

[3] Муравина подробно рассказывала в письме о Доме ветеранов революции в Михайловском под Пахрой, где провела два довоенных лета, и о его обитателях.

[4] «...Иногда мне мешали Ваши вульгаризмы и скороговорки, — писала Н. Муравина, — (естественные, впрочем, когда язык улицы и элементы пародии органически вошли в жизнь и в лексику). У Маяковского они всегда энергично обыграны. У Вас же часто входят в стихи запросто, без игры или бравады» (там же. С. 170).

1212. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 января 1953, Москва

20 янв. 1953

Дорогая Оля!

Твое письмо ждало меня дома, я выписался в день его получения. Самый внешний вид его доставил мне огромное удовольствие: ровный, полный энергии полет размашистого уверенного почерка, каким он был до войны или еще раньше.

Спасибо в отдельности за обращение к Зине. Она на тебя ничуть не сердится и никогда не чувствовала, чтобы что-нибудь осложняло ваши отношения.

Все, что я пишу тебе, относится также к Машуре, но я не могу написать ей отдельного письма, потому что это мне пока еще трудно (оттого же пишу карандашом). Спасибо ей и тебе, что вы приняли мою болезнь так близко к сердцу. Покажи ей это письмо или перешли.

Мне вменили в обязанность соблюдать осторожность. Я не знаю, до каких пределов ее распространять. Ощущение присутствия сердца внутри почти никогда не прекращается, в самых разнообразных формах, которые неудобны только тем, что я не понимаю, опасны или неопасны эти сигналы.

Этот вынужденно-бездеятельный, выжидательный способ существования (говорят, $^1/_2$ года или год надо считать себя больным)

очень сходится с прежним вынужденным бездействием по причине избытка сил и здоровья и им подготовлен.

В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я сознавал, что оставлю семью на первое время не в беспомощности и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного, но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться.

Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света и тени, и жизни и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования.

Крепко целую тебя. Твой Боря

Кланяйся Эйхенбауму, если он помнит меня и если ты его увидишь[1]. Удивительное дело. За 10 минут до случившегося инфаркта я шел по Бронной и на противоположном тротуаре увидал шедшего навстречу Эйхенбаума или человека, очень похожего на него. Если бы это был Борис Михайлович, он как-нибудь отозвался бы на этот пристальный взгляд. Я смутно вспомнил, что он очень был болен, подумал, как ничего никогда нельзя знать наперед, а через 10 минут...

Целую тебя.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] О. Фрейденберг в письме 3 янв. 1953, вселяя надежду на полное выздоровление, приводила в пример Б. М. Эйхенбаума, который перенес три инфаркта, «и ныне веселый, здоровый, просто как огурчик» (там же. С. 295).

1213. К. КУЛИЕВУ и Е. Д. ОРЛОВСКОЙ

30 января 1953, Москва

30 янв. 1953 г. Дорогие Кайсын и Елена Дмитриевна! Получил сейчас телеграмму, подписанную «друзья», вероятно Вашу. Спасибо за пожелания. Верно Вам сообщили из Москвы, что у меня в конце октября был инфаркт и я $2^1/_2$ месяца пролежал в больнице. Оттого и открытку пишу, а не закрытое письмо. Мне еще

нельзя. Очень тронут Вашей памятью. Судьба была очень мягка ко мне. И болезнь прошла без особых страданий и Союз писателей без всяких попыток тревожить его с моей стороны и со стороны Зинаиды Николаевны, проявил много забот, которых я ничем не заслужил. На днях мы с ней собираемся в санаторий «Болшево» под Москвой[1].

Целую Вас обоих. *Б. П.*

Впервые. — Автограф.

[1] О неожиданной «заботе» со стороны Союза писателей Пастернак писал также в открытке Н. Табидзе 31 янв. 1953: «На днях, 4-го февраля собираемся с Зиной в санаторий Болшево под Москвой. Союз писателей был незаслуженно мил со мной, без просьб с моей или Зининой стороны достал бесплатно одну путевку на два месяца для меня и на один, первый месяц для Зины со мною» («Дружба народов», 1996, № 7. С. 205).

1214. М. К. БАРАНОВИЧ

3 февраля 1953, Москва

3 февр. 1953. Дорогая Марина Казимировна! Завтра с Зиною мы собираемся: я, если Б<огу> угодно, — на два, а она на 1 месяц в Болшево. Страшно рад, что Вы в Ленинграде, мысленно совосхищаюсь и завидую. Когда вернусь, если буду жив-здоров, хочу повидаться с Вами как-нибудь на одном из скверов, где гуляю. Мне еще вредно (чувствую последствия) много разговаривать, главным образом произносить продолжительные монологи. Вот что я хочу сказать Вам. 3-ю тетрадь Живаго, переписанную Зиною, пересматриваю, кое-что сглаживаю. Кажется, один экземпляр остался у Вас, я его отберу[1]. Теперь на расстоянии я снова измерил и оценил: пусть проза второй и третьей тетради может быть даже и лучше первой, но *возникновение* первой, но наплыв чувств и мыслей, соединенных с ней, например, в период, когда я читал начало у Вас (в присутствии Кл<авдии> Ник<олаевны>, Петровых и Кочеткова)[2], были отдельным важным периодом моей жизни, ее отдельною эпохой, как дни вокруг «Сестры моей жизни» и время написания «Охранной грамоты». Это потом не повторялось. Я рад, что это связано с Вами, с Вашей комнатой, в которую Вы вернетесь. Желаю Вам в ней счастья. Мне — лучше, и если и дальше так пойдет в Болшеве, и весною, мечтаю еще поработать. Мне очень хочется закончить Живаго. Спасибо Вам за Все.

Ваш Б. П.

Впервые: «Литературное обозрение», 1988, № 5. – Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Речь идет о гл. «Приезд». См. письмо № 1203.

1215. Н. Н. АСЕЕВУ

5 февраля 1953, Болшево

5 февр. 1953

Дорогой Коля!

Чтением твоего «Гоголя»[1] обновил наше пребывание в Болшеве. Живем в лесу, разузоренном 35-градусным морозом. Ясность, скованная безветрием, но благодаря красоте и завороженности как бы сама унесенная неведомо куда. Это, вероятно, постоянное и самое общее свойство красоты, что, находясь перед глазами и оставаясь на месте, она всегда уводит куда-то вдаль. Это и главная черта твоей поэмы. Конечно, она в лучшем смысле не на нынешний вкус.

Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне, более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо от того, читают ли ее или не читают. Это — гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее вместе с другими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству в моем понимании далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды, и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться. В «Огоньке» были справедливы к поэме: под современный триумфальный стиль и идеал правильности пусть и грошового достоинства, не допускающей фривольности, поэма не подходит. Таких «недостатков» было еще больше у Марины Цветаевой, а Маяковский только из них и состоит.

Что сказать тебе? Читать поэму было мне радостью, наслаждением. Она — привольный ненавязчивый вырез из более широкого мыслимого мира необязательных изображений, где наряду с нею стояли бы по соседству другие произведения такой же подлинности и чистоты. В одиночестве она немыслима и тра-

гична, как выпущенный в непогоду в поле чистый беззащитный ребенок.

Очень хорошо, что она держится не единством темы, не упорством узко поставленной задачи, а природою сказочной стихии вообще, отовсюду пронизывающей ее и придающей ей ее бесхитростную замысловатость. В этом тоне — залог ее стройности. Есть главы превосходные — («Перспектива», «Петербург», глава V, IX[2]). Но и главы, уступающие по качеству, дышат тем же, чем полны наилучшие. Есть стихи поразительные («"Портрет" там выходит из рамы/ Художнику на погибель»; «Так Пушкинский разум был светел,/Что будто в России светало./Но деспот рассвет тот заметил./И Пушкина больше не стало»; «И Невский проспект стал дремучим, заросшим чиновничьим лесом»; «Дуя в блюдце с чаем чинно,/Сахарок прикусывая,/ Шашку двигает купчина,/Бородища русая...»[3]). Но и все стихи верны этой манере лучших. Эта органическая живая разноценность, без которой не было бы сложности целого.

Поздравляю тебя. Теплящаяся краска некоторых кусков, трепет колорита напомнил мне самые свободные твои дерзания самого молодого твоего прошлого. Конечно, все это сказано сейчас совсем по-другому, да так оно и нужно.

Наверное я неудачно и неточно выразил то немногое, что должен был выделить из многого, что хотел и мог бы написать, если бы мне временно не запрещено было заниматься разговором и перепиской. Еще раз спасибо за доставленное удовольствие.

Прозу, когда она тебе не будет больше нужна (со стихами)[4], передай, пожалуйста, Чагиным (тел. Б-8-33-62), а может быть, до них, если у него будет время и желание прочесть (он слышал начало, и я с ним сговаривался) и если это для тебя выполнимо, навяжи Вите Шкловскому (т. Г-5-34-35) с тем, чтобы потом он отдал Чагиным (прости за сложность).

Целую тебя. Привет всем твоим дамам. *Твой Б.*

Впервые: «Литературная газета», 12 июля 1989. — Автограф (собр. Л. А. Озерова).

[1] «Поэму о Гоголе» Н. Асеева Пастернак читал по рукописи, переданной ему автором. Первые отрывки из нее публиковались в «Литературной газете» 26 ноября 1953 г., частично вошла в сб. «Раздумья» под назв. «Стихи о Гоголе» (1955), полностью — в 1963 г.

[2] В опубликованном тексте эти номера соответствуют гл. «Рим» и «Конец». Гл. «Перспектива» получила назв. «Родина».

[3] Цитаты взяты из гл. «Петербург» и «В Калуге».

[4] Имеется в виду машин. романа «Доктор Живаго», который Пастернак давал читать Асееву.

1216. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

15 февраля 1953, Болшево

15 февр. 1953. Дорогая Ася! Живу с Зиной в Болшеве, в санатории, который раньше назывался Кубу, а теперь санаторий Академии Наук. Вы, может быть, тут бывали? Я как-то жил тут около месяца в 1935 году, по приезде из П<арижа>. Мне гораздо лучше, чувствую себя слава Б<огу> прекрасно и если бы меня не зачурали осторожностью, то позволял бы себе гораздо больше. Начал работать, хочу написать, наконец, окончание Живаго. С Б<ожьей> помощью все пойдет по-старому. Если мои расчеты оправдаются, буду иметь счастье как-нибудь весной быть Вам полезным.

Зина Вам кланяется. Крепко Вас целую. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

1217. А. С. ЭФРОН

15 февраля 1953, Болшево

15 февр. 1953, Болшево

Дорогая Аля! Может быть, от тебя лежит письмо в Москве у нас, а я этого не знаю. Вторую неделю нахожусь с Зиной в здешнем санатории академии наук. Воображаю, какие у тебя морозы, если они тут так долго держатся на двадцати градусах, иногда доходя до тридцати пяти. Но сказочно хорошо в лесу. Я уже совершенно поправился и понемногу работаю. Зина в марте уедет, а я останусь здесь еще на месяц. Страшная потребность в молчании и одиночестве на прогулках. Бегаю от знакомых и наверное кажусь им необъяснимо несносным. Но все так крупно в жизни кругом, а современные разговоры на все, на любые темы, так непроходимо мелки! Ты наверное сидишь совсем без денег, бедная моя. 9 апреля надеюсь перевести тебе некоторую мелочь. Я здесь жил как-то в течение месяца летом 1935 г., когда приехал от Вас. И твоя мама, кажется, жила тут или где-то рядом, в недоступности, летом 39-го или 40-го года[1]. Это было тяжелое, роковое для меня время. Все во мне было скована, и не было пути никуда. Насколько сейчас я свободнее, и насколько легче мне.

Твой Б.

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] «Да, мы жили там, наша дача была недалеко от станции. Я там была по-настоящему счастлива и сознавала, что счастлива. Но потом, путем сравнения, поняла, что это было счастье, а так просто — жила, и каждый день был сознательным, вернее осознанным счастьем», — отвечала А. Эфрон в письме 25 февр. 1953 (там же. С. 172).

1218. В. Ф. АСМУСУ

3 марта 1953, Болшево

3 марта 1953

Дорогой Валентин Фердинандович!

Не могу сказать, как Вы меня тронули и какою преисполнили гордостью, коснувшись в письме ко мне некоторых вещей так глубоко, прямо и крупно и взяв их, так сказать, в их натуральную величину. Я в неоплатном долгу перед Вами. Как вознаградить мне Вас и чем мне Вам ответить?

Перед отъездом я дочитал до конца Вашу «Древнегреческую философию»[1]. Мне ни разу не приходилось читать о Платоне ничего более раскрытого, понятного, захватывающего и исчерпывающего. Он завидно, небывало удался Вам. Обыкновенно либо ради осязательности и понятности (воспроизводимости мыслью) его модернизовали, как Наторп или некоторые новейшие историки философии; или его подавали как роман из понятий, увлекательный, но за которым логической мысли трудно было следовать как за нерасчлененной вязью сказки. У Вас так вышло, что телеологическая идея целого так вовремя и кратко и обозримо и с таким искусством предпослана обзору частей, что все объясняет. Я перечту эти страницы еще раз по возвращении в Москву.

Процесс раскрытия стремительного и естественного этой самой сложной, смелой и систематической мысли во всей истории философии доставил мне в Вашем изложении живое, точно запомнившееся наслаждение.

Мне лучше. Я стал работать, засел за окончание Живаго.

Приехав сюда, я вспомнил, как я тут прожил месяц летом в 1935 году и что как-то зимой перед Отечественной войной или во время ее Вы были тут вместе с Ириной Сергеевной[2]. Она замечательно описывала ощущение свежего воздуха при переходе из Вашего корпуса в столовую или на прогулке. Она говорила, что застывала холодный столб его на крыльце за дверью, где он безотлучно оставался в ожидании от выхода к выходу.

Нас поместили в том же втором корпусе, где я тогда жил, почти в той же комнате. Из моего окна виден однооконный занесенный снегом домик, из которого тогда выходила в белом халате с папиросой меж пальцев, Зинаида Владимировна Курвиц[3]. Я хотел ей написать отсюда.

Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую бы я ни сказал или ни написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, а я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути, я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел, я должен был умереть тогда, как Адик.

А теперь у меня сердечная болезнь, не считающаяся вымыслом, я за флагом, не в чести, все знаки переменились, все плюсы стали минусами, но я счастлив и свободен, здоров, весел и бодр и с совершенной легкостью сажусь писать никому не нужного и неотделимого от меня Живаго за то самое окно, которое было мне 18 лет тому назад тупиком и у которого я тогда ничего не мог и не знал, что мне делать.

Это я хотел рассказать Вам в устном разговоре. Но Вы знаете здешний телефон. Всегда — дожидающиеся очереди. А при свидетелях углубление в такие темы было бы смешно и странно. Вот почему и пишу Вам.

Сердечный привет Ариадне Борисовне. Целую Вас. *Ваш Б. П.*

Я Вас не зову сюда. Повидаемся в Москве. Я потом это объясню Вам.

Впервые: «Огонек», 1987, № 16. — Автограф (собр. о. Валентина Асмуса).

[1] Речь идет о рукописи книги, изданной под назв. «История античной философии» в 1965 г.

[2] И. С. Асмус провела в Болшевском санатории 2 недели в дек. 1942 г. (см. письмо № 904).

[3] Врач санатория в Болшеве.

1219. Г. И. ГУДЗЬ

7 марта 1953, Болшево

7 марта 1953

Дорогая Галина Игнатьевна!

Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме, как орудии поисков[1]. Его определение так проницательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.

С тех пор все переменилось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе, на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном хоть какую-нибудь часть того мира, хоть самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этою темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни).

Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.

И, знаете, отложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая[2]. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради скоро могут понадобиться.

Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ. на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в Капитанской дочке[3].

Нынешнее трагическое событие[4] застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.

Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Варв<аре> Павл<овне> Малеевой[5] и ее мужу.

Ваш Б. П.

Впервые: «Юность», 1988, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 72).

[1] Шаламов в письме 24 дек. 1952 спорил в Пастернаком, отстаивая ассонирующую рифму, «ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей... Она инструмент выбора, орудие поэтической мысли, орудие познания мира» (там же. С. 56).

[2] Речь идет о рукописи первой книги романа «Доктор Живаго», которую Пастернак дал Г. И. Гудзь для чтения, и она предложила свою помощь в перепечатке. Об этом Пастернак писал ей 27 февр. 1953: «Дорогая Галина Игнатьевна. Здешний мой адрес до 20-го марта следующий: ст. Болшево Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР Сосновый бор, мне. Если будет что-нибудь от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись? Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно. Мне гораздо лучше, начал работать. Здесь очень нянчатся со всеми и, в частности, со мной, но тут довольно шумно и я плохо сплю. От души Вам всего лучшего. *Ваш Б. П.*» (РГАЛИ). Третья тетрадь — гл. «Приезд».

[3] Эта поездка описана в очерке «Люди и положения» (1956).

[4] Смерть Сталина.

[5] Наталья Александровна *Кастальская* и Варвара Павловна *Малеева* — танцовщица, дочь известного композитора и знакомая Пастернака, через которых Г. И. Гудзь удалось найти Пастернака и встретиться с ним.

1220. А. А. ФАДЕЕВУ

14 марта 1953, Болшево

Дорогой Саша!

Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина»[1], мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.

Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могу-

ществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.

Каждый плакал теми безотчетными и несознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу.

А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! Словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны.

Как эти венки, стоят и не расходятся несколько рожденных этою смертию мыслей.

Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже и раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!

Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести[2]. Однако, как быстро проходила у многих эта горячка.

Но каких безмерных последствий достигают, когда не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!

Прощай. Будь здоров. *Твой Б. Пастернак*

Впервые: «Континент», № 90, 1996. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 1026). Датируется по содержанию. Полное понимание страшных лет сталинского правления нашло косвенное выражение в первых главах романа «Доктор Живаго», в словах о язычестве «оспой изрытых Калигул» Римской империи; в этом же письме дано переживание исторической важности момента и сочувствие к людям, испытавшим горе и растерянность по этому поводу, в числе которых в первую очередь был «любимец Сталина» Фадеев, покончивший с собой после его разоблачения в 1956 г.

[1] Статья А. Фадеева «Гуманизм Сталина» была опубликована в «Правде» 12 марта 1953 г. Фадеев писал о принципиальном отличии сталинского гуманизма от «всех и всяческих форм христианского гуманизма и от всех разновидностей старого "классического" гуманизма буржуазно-демократического толка».

[2] Оправдание революции как возмездия за унижение женщины и «втаптывания в грязь человека человеком» — были для Пастернака основными пунктами его понимания сущности социализма.

1221. Р. И. МАХНОВОЙ

16 марта 1953, Болшево

Дорогая Рахиль Исаковна!

Я передал своим о нашем с Вами разговоре[1]. Они Ваше предположение с благодарностью подхватывают, если без легчайшей тени и морщинки недоумения или осуждения на чьем-либо лице оно выполнимо тут, на месте, без улаживания вопроса в Москве через Союз писателей и Академию, в следующих направлениях.

1) Моя путевка кончается 23-го марта. Ее надо будет продлить на 7 новых дней, с 24-го по 30-е марта. Жене и сыну надо будет получить каждому по одной путевке сроком на 5 дней с 26 марта по 30-е. Если это достижимо, за все это расплатится Зин<аида> Ник<олаевна> 26-го, когда приедет с сыном.

2) Если в дополнение к занятой мною комнате нельзя будет на 5 дней их пребывания предоставить им еще одну двухкоечную, то возможно ли будет поместить нас втроем в одну двухкоечную с приставною раскладушкой на ночь для мальчика?

3) Я затрудню Вас просьбой выяснить эти пункты к середине текущей недели, потому что вне этой комбинации просить о продлении своей путевки я не буду, и к среде — к четвергу хочу известить жену, к какому решению мы пришли.

Простите, что не сумел изложить этой путаницы проще и забиваю Вам голову лишними делами.

Всегда признательный Вам *Б. Пастернак*

16 марта 1953.

Впервые. — Автограф.

Р. И. Махнова — врач-терапевт, в 1946–1963 гг. работала в Болшевском санатории «Сосновый бор».

[1] О возможности приезда З. Н. Пастернак с сыном в Болшево на время школьных каникул.

1222. Н. ТАБИДЗЕ

4 апреля 1953, Москва

4 апр. 1953

Дорогая Нина!

Простите, что давно не пишу Вам и оставил столько писем без ответа. Два раза написать Вам было моею сильнейшею потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенно-

сти в день обнародования амнистии[1], которая стольких, по моему пониманию, должна коснуться, и в первую очередь, Тициана. Но во-первых, больше, чем когда-либо, нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости. И я отказался от мысли послать Вам телеграмму, чтобы не волновать и не нервировать друг друга естественной нетерпеливостью[2].

Но главная причина моего молчания то, что больше, чем когда-либо, я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов или дней или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год тому назад. И свободное время я трачу на работу над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много.

Дорогая Ниночка, за исключением инфарктного рубца, который лег относительным запретом на некоторые возможности и привычки в их крайностях, все остальное по-прежнему. Я, слава Создателю, продолжаю жить тем же, каким виделся осенью с Нитой и писал Вам о ней: в самом важном ничего не изменилось. В Болшеве было так хорошо, я жил в атмосфере такого внимания, среди такого множества интересных и милых людей, точно это было в Грузии или точно Вы лично своей рукой этот санаторий для меня благословили.

Скоро я перееду на дачу. Как каждый год, Вы знаете мое желание: доставьте мне радость, приезжайте к нам. Еще до переезда своего туда я напомню Вам о себе[3].

А пока простите за коротенькое письмо, вместо которого лучше было бы, наверное, написать открытку.

У нас был Симон. Он уезжал в тот же день и, наверное, торопился и был полон забот. Он произвел на меня впечатление немного рассеянного и утомленного человека, отвлеченного какою-то своею мыслью, лежавшею вне круга, в котором происходил разговор.

Когда я был в Болшеве, Зине звонил Георгий Николаевич[4]. Жалко, что Зине не удалось связаться с ним, чтобы привезти его ко мне.

Я чувствую себя хорошо и жду для всех в будущем одного хорошего. Целую Вас, Ниту, Гивика, А<лексея> Н<иколаевича> и всех друзей и близких.

Ваш Б.

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (ГМГЛ, № 121913, 11).

[1] Через три недели после смерти Сталина, 27 марта была объявлена амнистия арестованных, но, вопреки надеждам, амнистия не коснулась политических заключенных.

[2] Нетерпение сказалось в том, что Н. Табидзе начала хлопоты по освобождению Тициана; Пастернак писал ей 7 июля 1953: «Милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Т. был жив. Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возродившаяся вера в то, что быть может мы его увидим, на минуту заразила меня. Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы немыслимое счастье: это, именно это, а не что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня. Это было бы именно той наградой судьбы, тем возмещением, которого мне никогда, никогда не достает, когда после огромного количества души и нервов, вложенных в какого-нибудь Фауста, Шекспира или в роман, мне страшно хочется чего-нибудь равносильного, и никакие деньги и удовольствия, никакое признание и ничто на свете не могут мне возместить потраченной силы» (там же. С. 512–513).

[3] Имеется в виду посылка денег, сохранился талон к почтовому переводу на 2000 р.: «Дорогая моя Ниночка! Вы видите, все по-прежнему. Рад возможности практически быть Вам полезным. Жду с нетерпением известий о Т. или его самого, он мне сегодня снился, он вошел ко мне на рассвете, я работал, в комнате был страшный сумбур и беспорядок, я вертел выключатели, зажигалось не в комнате, а в соседних, за стеною. Крепко целую Вас. *Ваш Б.*» (10 апр. 1953; ГМГЛ, № 24954, 13).

[4] Г. Н. Леонидзе.

1223. А. С. ЭФРОН

10 апреля 1953, Москва

Алечка, опять я тебя целую и опять обнимаю. Очень хочется этим летом дописать роман. Послезавтра переезжаю на дачу. Чувствую себя по-разному, но больше хорошо. Много ведь перемен, они верно и тебя коснутся[1]. А мои, мои сроки придут еще не скоро, если вообще когда-нибудь придут. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434). Датируется по штемпелю на талоне к почтовому переводу на 1000 р.

[1] Амнистия 27 марта 1953 г. не касалась арестованных по политическим статьям. Надежда на возвращение появилась только после разоблачения Берии в июле 1953 г.

1224. О. В. ИВИНСКОЙ

10–12 апреля 1953, Москва

10 апр. 1953. Олюша, доченька моя, родная моя![1] Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого, страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами! Ты будешь здесь с детьми и с нами, и жизнь широкою дорогою опять будет лежать перед тобой[2]. Вот главное, о чем хочется говорить, чему радоваться. Остальное так несущественно! Твой бедный Б. Л. был очень болен, — я тебе уже об этом писала. Осенью в октябре у него был инфаркт сердца и он около 3-х месяцев пролежал в больнице. Потом 2 месяца прожил в санатории. Сейчас более, чем когда-либо, полон он единственною мыслью: дописать до конца свой роман, чтобы в случае непредвиденности, не оставлять ничего недоделанного. Сейчас мы виделись с ним на Чистых прудах. Он в первый раз после долгого перерыва видел Ирочку. Она очень выросла и похорошела.

12 апр. 1953. Ангел мой Олюшка, дочурка моя! Доканчиваю открытку, которую начала тебе позавчера. Вчера сидели мы с Ирой и Б. Л. на бульваре, читали твое закрытое письмо, прикидывали, когда тебя можно ждать тут и перебирали воспоминания. Как чудно, по своему обыкновению, ты пишешь, и какое грустное-грустное у тебя письмо! Но ведь когда ты его писала, не было еще указа об амнистии, и ты не знала, какая радость нам вскоре всем готовится. Теперь единственная забота, чтобы это ожидаемое счастье не истомило нетерпением, чтобы предстоящее избавление не заразило своей близостью и громадностью. Итак, зарядись терпением и не теряй спокойствия. Наконец-то мы почти у цели. Все впереди будет так хорошо. Я чувствую себя хорошо и довольна видом Б. Л. Он нашел, что глаза у Ирочки, уголками расходившиеся кверху, выровнялись. Она очень похорошела. Прости, что пишу тебе глупости.

Твоя мама

Впервые: Ивинская. В плену времени. — Автограф (собр. И. И. Емельяновой).

[1] Пастернак продолжал писать Ивинской от лица матери, чтобы не навлекать новых обвинений «в связи с лицами, подозреваемыми в шпионаже», как значилось в ее деле.

[2] О. В. Ивинская подпадала под амнистию и была освобождена осенью 1953 г.

1225. Н. В. УГРИМОВОЙ

10 апреля 1953, Москва

10 апр. 1953

Дорогая Надежда Владимировна!

Огромное Вам спасибо за Ваше письмо. Вы не представляете себе, как оно полно жизни и как всю Вас собою выражает, всем, мыслями, слогом, почерком!

Я сразу услышал Ваш голос и Вас увидел. За это Вам особая благодарность. Между прочим, как Вы оба, Вы и Александр Иванович[1], молоды и хороши на присланной карточке 1936 года! Он должен был рассказать Вам, как я до потрясения рад был и растерялся, совершенно случайно столкнувшись с ним на одной из ступенек консерватории. И мне запомнился наш долгий разговор с ним в те же дни у Бруни. Сердечный привет Александру Ивановичу, поцелуйте его.

Нина Георгиевна[2] говорит, будто Вы скоро собираетесь в Москву. Я Вас, естественно, хочу видеть еще больше, чем Вы меня. Разыщите меня обязательно. Пусть Нина условится по телефону с женой, и та привезет Вас с нею и нашею молодежью на дачу, куда я перееду на днях вследствие перенесенного этою зимою инфаркта сердца; говорят, в городе задерживаться мне не следует.

Мне и самому не терпится увидать Фауста отдельной книгой[3]. Вторую часть я переводил 9 месяцев (как женщина носит ребенка), а у редактора он провалялся без движения год, одобренный, принятый и оплаченный, а затем еще год мучили бедного иллюстратора Гончарова[4] разбором сделанного и просьбами о переделках.

Мне кажется, я приблизился в этом переводе к цели, которую себе поставил. Мне хотелось, чтобы русский текст так же плыл, двигался и несся, как оригинал: музыка и слово понятны только, пока они в движении. Будучи остановлены, они лишаются души и смысла. Но я напрасно предупреждаю нашу встречу и плохо пишу о том, о чем гораздо лучше говорится.

Спасибо Вам за фотографии, спасибо за слова участия и поддержки в разборе вопроса, нужен ли кому-нибудь теперь Фауст, или нет. Но я никогда не унывал, да и не падал духом в больнице. Может быть, я недооцениваю действительности и, по глупости, вижу все в лучшем свете.

Где Верочка[5] и как ее здоровье?

Я думаю, скоро Вы все будете в сборе.

От души всего Вам лучшего. *Ваш Боря*

Впервые: Борис Пастернак. Доктор Живаго. Избранные письма. — Автограф (собр. Н. И. Сарабьяновой).

Надежда Владимировна Угримова — дочь адвоката В. О. Гаркави, многолетнего друга Л. О. Пастернака и владельца описанного в романе дома Громеко на углу двух переулков — Сивцева Вражка и Никольского (снесен в 1997 г.).

[1] *Александр Иванович* Угримов, бывший председатель сельскохоз. общества России, принимал участие в Помголе (помощи голодающим) 1921 г. и был выслан за границу указом Ленина в 1922 г. После войны, в 1947 г., Угримовы вернулись из Франции в Россию, сын Александр арестован, а родители отправлены «на поселение» сначала в Ульяновскую область, потом — в Воротынск Калужской области.

[2] Имеется в виду семейство Н. К. Бруни, сын которой Иван Львович был женат на внучке Угримовых *Нине Георгиевне*.

[3] Сразу по выходе «Фауста» книжка была послана Угримовым с надписью: «Дорогим Александру Ивановичу и Надежде Владимировне Угримовым на добрую память с пожеланием здоровья и долголетия. Не хворайте, Надежда Владимировна, будьте радостны и ничего не бойтесь. Если вся жизнь, и такая, прожита была бесстрашно, то теперь уже нечего бояться, как, например, не боюсь я Вас, знающей и постигнувшей Фауста не хуже самого Гёте, вручая Вам свой перевод, почти как ему самому. *Ваш Боря*. 3 января 1954 г.» (там же. С. 706).

[4] Художник Андрей Дмитриевич *Гончаров* был автором гравюр к Шекспиру и Фаусту.

[5] Вера Александровна Рещикова — дочь А. И. и Н. В. Угримовых, переводчица, подруга детства сестер Б. Пастернака.

1226. К. А. ФЕДИНУ

13 апреля 1953, Переделкино

13 апр. 1953

Дорогой Костя!

Как грустно, как грустно, какое несчастие! Как быстро унесла болезнь бедную, настрадавшуюся Дору Сергеевну! В начале моей болезни, в конце октября она еще заходила к Зине, наведываясь о моем здоровье.

Когда я вернулся из Болшева и стал известен неотвратимый исход ее страданий, мне хотелось зайти повидать ее и тайным образом с нею проститься. Но Зина уверила меня, что у вас воздерживаются от посещений и к вам не пускают.

А теперь убеждение близких, будто бы сильные печали и огорчения временно для меня гибельны, может быть не дадут мне проститься с нею на похоронах.

Больше мы никогда не увидим ее, не услышим задорного ее смеха за забором и ее голоса, когда она подзывала Вареньку[1].

Стала разделываться судьба с нашим кругом, он редеет, и угроза, нависавшая над ней, уже издали звучит каждому из нас.

Что же мне сказать тебе, умный, красивый и большой мой, чтобы не оказаться досадным дураком перед тобой, и чего бы ты не знал раньше?

Наше спасение в нашем труде, как раз пронизанном размышлениями об этих загадках и их законах, и помимо нашей воли посвященном памятливости и верности пережитому, высшей из мыслимых. В этом труде размеренном и повседневном, а в твоем случае еще и таком счастливом и вдохновенном, снова обрести примирение с горькой и неведомой изнанкой жизнепорядка.

Всему дому твоему искреннее и горячее наше сочувствие.

Твой Б.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Варвара Александровна Роговина — внучка К. А. и Д. С. Фединых.

1227. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

15 апреля 1953, Москва

15 апр. 1953

Дорогой мой Женичка!С новосельем тебя, в час добрый![1] Судя по Таниным рассказам и по твоему письму к маме, которое она давала мне читать, тебе там не хуже, чем в Черкассах. Слава Богу. Таня и мама были у меня на днях и тебе наверное напишут.

Наверное я не судья в этих вопросах, а по твоей специальности и совершенный невежда, но мне хотелось тебя предостеречь от добровольного омрачения своей собственной жизни постоянным прикидыванием ее к будущей, имеющей осуществиться, но еще не осуществленной диссертационной работе. Ты выкинь даже слово это из своего обихода и сознание обязательности, которое оно за собою влечет, а постепенно, когда будет позволять служба, пиши эту работу или развивай это изобретение, и только после того, как дело будет сделано, доведи до сознания, что оно *было* твоей обязанностью.

А то длящееся сознание цели или призвания в жизни очень отравляет существование, превращая его в пожизненную подготовку к какому-то экзамену, по которому как бы проваливаешься, даже не держав его или не думавши держать. Не надо создавать себе в жизни мнимых и выдуманных обуз, достаточно действительных.

Я чувствую себя хорошо и на днях перееду на дачу. Мечтаю кончить роман и надеюсь это сделать. В остальном ничего не представляю себе и отдаленно: ни того, сколько еще проживу, ни того, что будет со мною.

Очень хороши наметившиеся тенденции и перемены. Но до моих сроков еще далеко, а может быть, они никогда и не наступят. Эта фраза — фальшивая, потому что праздная. В круг чувствований моих эти соображения и заботы не входят. Мне и вокруг меня — хорошо. Дальняя твоя служба, грозившая нарушить эту гармонию, тоже оказалась сносной, а с тем и все благополучно. Крепко целую тебя.

Твой папа

Много говорила о вас, о тебе и маме Мария Степановна Волошина[2]. Часто встречаю людей, знающих тебя и с любовью о тебе отзывающихся.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

[1] В начале марта Е. Б. Пастернака перевели из Черкасс в военную часть, расположенную в Кяхте.

[2] *М. С. Волошина* провела март в санатории в Болшеве (см. письмо № 1233).

1228. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

26 июня 1953, Москва

26 июня 1953

Дорогая Ася!

Спасибо за письма и фотографии. Какая у Вас славная внучка![1] И на всех фотографиях удовлетворяет и не заключает особых перемен общий Ваш вид, кроме одной, на которой Вы снялись лицом к лицу. Там, в профиль, видно как Вы похудели.

После болезни и, главное, после долгого лежания в больнице создался у меня некоторый разрыв в воспоминаниях, нарушение непрерывности при восстановлении фактов, случившихся до и после этой паузы. Мне кажется, я Вам писал про Ваши стихи о Конраде[2], и я их помню. Что же касается до «Алых парусов»[3], то помнятся мне только частые Ваши вопросы о них и упоминания, а самих «А<лых> п<ару>сов я словно и не видал. Не может быть, чтобы так далеко распространилась моя забывчивость. Следовательно, я по-видимому их никогда не получал.

Если Вы в переписке с Алей, передайте ей, пожалуйста временно, пока я сам смогу написать ей, что все ее письма я получил

с тою благодарностью, какую всегда во мне вызывают ее умные и талантливые письма. Чтобы она (это косвенно и к Вам относится, т. е. это извинение также и перед Вами), чтобы она простила меня за холодную выдержку, с какой я два месяца подряд оставляю ее без ответа. Вдруг пошла корректура обеих частей Фауста, и я стал многое переделывать по непосредственному нынешнему своему побуждению, больше одной десятой всего текста. Это был новый сумасшедший приступ былой работоспособности, доказавший мне, что по счастью в этом отношении болезнь со мной ничего не сделала. Горячка еще не кончилась. А после Фауста будет роман. Вообще работы впереди много, и надо торопиться. Но я Але непременно напишу, и Вам, и как раз именно о Фаусте.

Как в очень далекое время, издательство, редакция и типография в ярости на меня за то, что я так много изменяю и задерживаю выход книги (вот будет для меня радостью послать ее Вам!) и грозят мне денежным штрафом и рассыпкою набора. Между тем последнее время жило именно требованиями нескончаемых многократных переделок, растягивавших выпуск книг на целые годы. Последние ночи я спал часа по 4-ре, по 5, и очень устал.

Я долго еще ни Вам, ни Але не смогу написать ничего толкового.

Целую Вас. *Ваш Б. П.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

Письмо послано в Пихтовку Новосибирской обл., где жила А. И. Цветаева и куда приехала семья ее вторично арестованного сына.

[1] Дочь сына Маргарита Андреевна Трухачева. А. И. Цветаева 20 мая 1953 г. одновременно с благодарностью за полученные деньги послала несколько фотографий, своих и внучки.

[2] Об английской поэме А. И. Цветаевой «Близнецы», посвященной Джозефу Конраду и А. С. Грину, см. письмо № 1117.

[3] Вероятно, имеется в виду рассказ А. Цветаевой о стих. ее сына, А. Б. Трухачева, *«Алые паруса»*, присланном из заключения дочери Маргарите (гл. 16 повести А. И. Цветаевой «Моя Сибирь». М., 1988).

1229. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 июля 1953, Переделкино

12 июля 1953

Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это наконец я пишу тебе. Спасибо тебе, не пиши мне, пожалуйста, таких чудных писем. Тяжко чувствовать себя дикой скотиной, оставляя их неотвеченными изо дня в день.

Фауст, работа и пр. не извинение: основная гадость остается налицо. Это моя добрая воля или высшая степень моего нынешнего эгоизма, что я в большей мере, чем бывало раньше, исключаю все и жертвую всем ради двух-трех задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными.

Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе (об этом и ты пишешь!), надо кончить роман и кое-что другое; то есть это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия для того чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие. И по какой-то предустановленности это чувство счастия ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача.

Пошла корректура обеих частей Фауста, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях, было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь с часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место, им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом в моем собственном нынешнем суждении и ощущении.

В твоем письме очень важно то, что ты говоришь о трагедии и хорах. Как я что-то из мира этих представлений преследовал в триметрах и хорах 3-го акта II-й части! И затем загробные обрядности пятого акта. Ах, какое счастье было биться над выражением этого всего, чтобы оно пело, дышало, существовало. У Гёте и у меня лучше всего получилось самое трудное, немыслимое и неисполнимое: загробный греческий мир III-го акта и загробный христианский, современный. Мне кажется осенью книга выйдет, и из этого хвастливого письма вырастает и надвигается на тебя угроза неизбежного прочтения ее[1].

Я ничего не написал тебе. И ты видишь, как торопливо добывается это прощение, которое я хочу получить от тебя, безобразною спешкою теснящеюся в одну фразу через все письмо, да еще почерком, который может тебя обеспокоить мыслью, не заболел ли я снова. Крепко, крепко целую тебя. Меня живо огорчила Машурина утрата[2]. Я мало знал ее мужа, но знал только с лучшей стороны, мне он очень нравился своей внешностью, умом, мужской положительностью и спокойствием. Если можно, я

спустя некоторое время напишу ей. Прости меня, я и тебе пишу как-то призрачно, не чувствуя, что пишу тебе. Я был все время с тобой и с твоим письмом, но бездеятельно, — деятельно же я с какой-то отвратительной жадностью весь в одной работе.

Крепко целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Отдельное издание «Фауста» в переводе Пастернака вышло в декабре 1953 г.

[2] Кончина мужа М. А. Марковой.

1230. А. С. ЭФРОН

7 августа 1953, Переделкино

7 авг. 1953

Дорогая Аля!

Действительно, все больнее и больнее становится думать о тебе и читать твои, полные недоумения о твоей собственной судьбе, письма! Что сделать мне, чтобы облегчить твои страдания? Особенно обескураживает этот застой и эта неизменность сейчас, когда, казалось, все так полно было надежд на какие-то близкие перемены[1]. Но ведь ты понимаешь, что это только вопрос времени. Было бы страшно, вытерпев так много, сдать и поникнуть силами в последнюю минуту.

Никакие параллели между мною и тобою, между невольно бесплодным и безвредно-благополучным моим прозябанием и твоим святым мученичеством немыслимы, и я их не провожу, но и для меня пока ничего не изменилось, время мое не наступило.

Я очень хорошо поработал месяца полтора-два над Гётевским Фаустом, переделав по собственному побуждению, наперекор сопротивлению издательства большую долю перевода, стихов до двух тысяч, а сейчас также увлеченно двигаю дальше Живаго.

Осенью, в сентябре или октябре, если Фауст к тому времени выйдет, я тебе его вышлю и, независимо от его выхода, переведу обычные деньги.

Не удивляйся холоду и серости моего бессодержательного письма. Оно не холодно, наоборот. Мысли о тебе и о некоторых хороших, ни в чем не повинных и близких людях в твоем положении не дают мне быть радостным. А радоваться надо. Перемены придут обязательно, самого общего и широкого характера. Вот отчего, в ожидании их, надо крепиться и не сдавать.

Я хотел тебе послать два новых пополнения в Живаговскую тетрадку (о природе, о соловьях[2]), но подожду, пока их накопится больше.

Крепко, крепко тебя целую. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 432).

[1] А. Эфрон писала Пастернаку 27 июля 1953: «Я живу все так же, и от этого "так же" настолько отупела, что сделалась какая-то обтекаемая, и даже все необычайные происшествия последнего времени не достают до сердца» (А. Эфрон. О Марине Цветаевой. С. 426). Речь идет о суде над Берией, о котором Ариадна писала Е. Я. Эфрон 31 июля: «Известие о предательстве Берии вызвало в нашем тихом углу подлинную сенсацию. У меня же с души камень свалился, когда я узнала о том, что он был разоблачен ЦК» (там же. С. 476).

[2] Имеются в виду стихи «Весенняя распутица» и «Белая ночь» (1953).

1231. М. К. БАРАНОВИЧ

9 августа 1953, Москва

9 авг. 1953

Дорогие Настя, Миша, Марина Казимировна и отсутствующие Маргарита Густавовна и Константин Михайлович! Поздравляю Вас всех с Вашею семейною радостью[1]. Я давно хотел выразить Вам свои чувства по этому поводу, но письменно както не выходило, а устно два раза пытался я звонить в Валентиновку по тел. И 1-20-46 доб. 40, и оба раза (второй раз сегодня утром, в Тушинский авиодень), но никто к телефону не подходил. Вероятно, новая маленькая хозяйка перевернула все вверх дном в Вашем обиходе, и это очень хорошо, этому можно радоваться.

Дорогая Марина Казимировна, я, кажется, разговаривал с Вами в разгар моей переделки всего Фаустовского перевода, и Вы уже знаете об этой попытке. По счастью, я довел ее до конца. Я переработал и нашел более живое и понятное выражение для всего того, наиболее рискованного и таинственного в «Фаусте», ради чего он был написан и для чего я его переводил. Говорят, осенью или в начале зимы он выйдет, тогда, если у Вас будет время, Вы на деле столкнетесь с тем, что я так безуспешно пробую определить теоретически в своих разговорах последнего времени на эту тему. Фаустом завоеваны и присоединены к душевным территориям человечества возможности, открытые и захваченные

лирическою силой этого произведения. Нельзя сказать, что этих областей нет самостоятельно, без Фауста. Но они возникают, отогретые дыханием этой лирики, они оживают и существуют ее ценой, и они присутствуют, пока продолжается действие Фауста, т. е. пока он растет и созидается строка за строкой и сцена за сценой, как (в фигуральном и всерьез не существующем смысле) присутствуют вызванные духи, пока остается в силе действие заклятия. Вообще весь мир Фауста, а не только таинственные его части, *приходит по вызову*, и поэтическое существо Фауста именно составляет эту уверенность в праве и власти призывать к существованию эти явления. Сравнения с заклинаниями и миром магическим в этом письме только пояснительные. Они нереальны, я в это не верю. Есть реальная область, необозримо огромная, с которой главные чудеса Фауста составляют прямую аналогию и про которую Фауст, собственно, и написан. Отчего же особенности Фауста, такие близкие этой реальной области, я с явлениями этой области не сравниваю, а провожу параллели с призрачным, чего нет и во что я не верю? Оттого что иногда с условным, воображаемым, легче сблизить что-нибудь неудобопонятное для его определения, чем подвергнуть его тут же прямому осязательному разбору. Оттого что если бы я миновал внешне напрашивающиеся, мнимые сходства Фаустовых форм с магией, а прямо назвал бы разряд, куда он относится, мне пришлось бы писать целый трактат на эту другую, действительно существующую, истинную тему.

Область, дух которой выражает собою Фауст, есть царство органического, мир жизни. Мир этот живет по тем же законам, которые одушевляют замысел Фауста и составляют тайну его яркости. И тут, пока сильно не захочешь, ничего нет, но стоит только пожелать горячо, всею душою, и, как по вызову, являются к жизни новые существования, рождаются дети, наступают новые, лицом к солнцу правды обращенные эпохи, совершаются путешествия, производятся открытия и в каком-то соответствии с истинною силой желания, от формы к форме и из поколения в поколение развиваются и подвергаются отбору, неизбежно улучшаются самопроявления жизни, ее последовательные опыты, пробы, попытки, как изображается всю жизнь стремящийся к совершенству Фауст, с внутренней стороны называющий эту тягу любовью. Нерв этой стихии Гёте затронул в Фаусте так полно и близко, что его язык в этом произведении кажется природным голосом самой этой силы.

Род этой энергии естественно должен был пробудиться и во мне за его передачей. Я счастлив был чувствовать это начало в себе и рядом с собой, пока трудился над русским воссозданием этого чуда, и мне грустно было расстаться с этой силой по окончании работы.

Жаль и досадно, что я не удержался и заболтался все же с Вами по этому поводу. Мысли эти недодуманы, положения не сформулированы до конца. Это не то что для статьи, а даже и для письма слишком плохо. Предположите, что я забежал к Вам наверх (хотя теперь это слишком высоко для меня) и вот, мелю, мелю и мелю.

Сейчас я пишу (временами увлеченно) окончание романа. Весной я отметил себе, чего надо будет коснуться в стихах. Я думал, что нынешним летом возобновлю писание их от собственного имени, а не в адрес Живаго, но так как пока на свете не случилось ничего важного, кроме рождения Вашей внучки, то старый порядок остается в силе. Пусть не смущает и не запутывает Вас повествовательный элемент в обоих стихотворениях[2]. Он несущественен. Вот два стихотворения о соловьях. Прочтите их детям, что они скажут (Миша и Настя). Привет Поливановым и Елене Дмитриевне[3]. Крепко Вас целую. Если вздумаете отвечать мне, то только в очень узких границах (например, о том, нравятся ли Вам стихи или нет). И не задавайте мне лишних вопросов. А лучше не пишите.

Ваш Б.[4]

Я сам потрясен размерами письма. Таких длинных писем я не писал лет двадцать, со времени переписки с другой Мариной[5], покойницей. Я начал это послание Вам очень весело и уверенно и кончаю в страшной грусти, пока необъяснимой. Еще раз всего лучшего Вам и всем Вашим.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Поздравление Баранович и Поливановых с рождением 14 июля 1953 г. их общей внучки Марины Поливановой.

[2] «Белая ночь» и «Весенняя распутица».

[3] Е. Д. Скворцова — хозяйка дачи, у которой Баранович и Поливановы проводили лето.

[4] Далее переписаны стих. «Белая ночь» и «Весенняя распутица».

[5] Имеется в виду Марина Цветаева.

1232. К. КУЛИЕВУ

10 августа 1953, Переделкино

10 авг. 1953

Дорогой мой Кайсын!

Спасибо за письмо. Я Вам отвечу коротко и второпях, потому что после инфаркта, который я перенес, незаконченные работы, которыми я занят, стали еще неотложнее и времени у меня еще меньше, чем прежде.

Не падайте духом, мужайтесь. Избавление придет обязательно, хотя я сам ждал, что оно наступит раньше. Но и для меня пока ничего не изменилось, и мое время не наступило еще, и я не знаю, доживу ли до него.

Я давно сказал Вам, что очень люблю Вас и верю в Вас. Эта вера не прошла у меня. Я всем про Вас рассказываю. После Есенина я только в одном Павле Васильеве[1] находил такие черты цельности, предназначения и отмеченности, как в Вас.

Я думаю, Вы давно уже пишете или могли бы писать по-русски так же хорошо, как на родном языке, или еще лучше. Подлинность, чистота и сила Ваших оригиналов доходила через все подстрочные воспроизведения и передачи, значит она лежала не в привычной, повседневной прелести и документации народноречевого оборота, а перерастала их и коренилась в образном содержании сказанного.

Вот что я думаю о национальных литературах. Для того чтобы явление в какой-нибудь из них возбуждало внимание и вызывало переводы, оно должно обладать новизною и важностью Омар Хайяма или Рабиндраната Тагора, в которых мировая поэзия нуждалась и без которых была бы не так полна. То что Рабиндранат давал переводить себя другим, а не сделал этого сам, превосходно владея английским, его добрая воля и совершенная случайность, легко могло бы быть наоборот. Тут нет ничего рокового, безусловного и неотменимого. Джозеф Конрад, лучший английский романист нового времени, мог бы изложить все им написанное по-польски, на языке своей родины, который он еще помнил. Но он провел свою жизнь моряка в Англии и писал на языке своей жизни, наверное казавшемся ему языком моря. Рильке, величайший новейший поэт Германии, признанный теперь величайшим европейским поэтом, много путешествовал, очень любил Россию, хорошо знал Скандинавию и долго жил в Париже, секретарствуя у скульптора Родена и связанный дружбой с писателями и художниками Франции. Пос-

леднюю, посмертную книгу стихов он написал по-французски. Вероятно ему казалось, что в мире немецкого выражения он прошел до конца, до последних отвлечений и обобщений, и он не чувствовал возможности вернуться опять к начальным частностям, без которых не обходится художественное слово, а во французской поэзии он мог стать снова начинающим[2].

Я Вам пишу так много на эту тему для того, чтобы сказать, что между природным фактом вдруг зарождающегося произведения на малораспространенном языке (явление большой личности) и пятьюдесятью национальными литературами, в одно и то же время искусственно возникающими и искусственно поддерживаемыми из политических соображений, к тому ж еще может быть мнимых и ошибочных, огромное расстояние. Первое — самородное явление жизни, которое в сложной своей судьбе рано или поздно должно найти свое живое место среди всего остального живого в той или другой форме. Второе — насильственное порождение, вначале легкомысленно беспочвенное и беспредметное, а потом трагически претерпевающее жестокие превратности всего надуманного и неестественного. Доверяйтесь самому светлому и сильному в себе, Кайсын, самому дальнобойному, не боясь расстояний и трудностей, куда оно Вас занесет, и не считаясь с распространенными представлениями, какими бы проверенными и неопровержимыми они ни казались.

Месяца через два-три выйдет полный Фауст. Я Вам его пошлю, я хочу, чтобы Вы его весь прочитали[3]. За исключением немногих страниц скучных, вялых и ненужных, но всегда промежуточных, то есть таких, за которыми вскоре всегда следует что-нибудь стоящее, это произведение необыкновенное. Оно занимает совсем особое место в поэзии не по силе достигнутого только, а по единственности и необычайности действующей в нем и заложенной в него лирической стихии. Ее огнем Гёте хотел озарить дальние и недоступные закоулки нашего существования иначе, чем это делает философия. Он заразил меня этою энергией, я увлекся передачей главным образом этой, действующей в трагедии силы. Это ново и в моей деятельности и в нашей поэзии, этого прежние переводы Фауста не передавали.

Я много хотел Вам сказать сегодня, Кайсын, и мог сделать это только очень скомканно и наверное неудачно. Но повторить в другой раз я этого не смогу.

В каких отношениях Вы с Еленой Дмитриевной, жива ли и здорова ли она и встречаетесь ли Вы, — о в жизни все бывает! Если

она во Фрунзе и вы не в ссоре, то это письмо в каких-то частях также и ей. Она такой милый и такой талантливый человек, сердечный привет ей. Я был при смерти зимой прошлого года и вот, сл<ава> Б<огу>, выжил.

Целую Вас и ее. *Ваш Б. П.*

Впервые: «Дружба народов», 1990, № 2. — Автограф (собр. А. Кулиева).

[1] О знакомстве с поэзией Павла Васильева и вечере его чтения 3 апр. 1933 г. Пастернак писал в письме № 670.

[2] Р.-М. Рильке. Сады. 1926. Пастернак знал о ней из письма М. Цветаевой, которая писала о Рильке: «Последняя его книга была французская, Verger. Он устал от языка своего рождения <...>. Он устал от всемощности, захотел ученичества...» (1 янв. 1927; Письма 1926. С. 203).

[3] Пастернак послал Кулиеву «Фауста» (Гослитиздат, 1953) с надписью: «Кайсыну Кулиеву, личность и талант которого мне так близки, с любовью к Новому 1954 году. *Б. Пастернак.* 31 декабря 1953 г.» (там же. С. 269).

1233. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

11 августа 1953, Переделкино

11 авг. 1953

Дорогая Ася!

Получил поэму, спасибо. Теперь сообразил, почему я ее не знаю. Она в свое время дошла до меня, но в таком виде, что я не мог ее прочесть[1]. При таком способе писания карандашом через копирку письма доходят стертыми до неразличимости. И сейчас трудности прочтения чуть не превысили мои силы, но я напрягся и с трудом преодолел препятствие.

Обе колонки до чудесности близки друг другу, главное в них одинаково. Вероятно, я плохой судья в английском, но английский вариант, вопреки действительности и Вашим разъяснениям, показался мне основным и предшествующим. Он написан свободнее и удачнее, и вид у него такой, точно он написан раньше и служил оригиналом для русского перевода или повторения.

Главное в обоих текстах — любовь, вызвавшая эти сближения и направляющая эти воспоминания, любовь к детству и любовь к морю, виденному в детстве, любовь к морю в Коктебеле. Чувство это с одинаковой силой выражено на обоих языках и особенно покоряет в конце 2-ой и в начале 3-ей части (строфы 12–16. «Что есть они! Давным-давно, жил-был на свете дом, он звался Детство»).

Писал ли я Вам, что зимой в Болшеве провел около месяца за одним столом с Марией Степановной Волошиной и что среди прочего она много говорила о Вас, в частности с умилением вспоминала, как в период писания «Кор<олевских> размышлений»[2] Вы на прогулках кое-что записывали и звали ее дурой, когда она Вам мешала.

Простите что пишу Вам глупо и торопливо. Я не стал свободнее и кроме того сейчас отсюда едут в город, я хочу, чтобы письмо сегодня отошло. В конце сентября или в начале октября пошлю Вам немного денег и Фауста, если он к тому времени выйдет, обязав Вас прочесть его от доски до доски.

Крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397).

[1] А. И. Цветаева снова прислала Пастернаку свою поэму «Близнецы» (о Дж. Конраде и А. Грине), записанную в две колонки: по-английски и по-русски (см. письмо № 1117).

[2] «Королевские размышления» А. И. Цветаева писала в 1914 г. в Крыму, издала в Москве в 1915 г. с посвящением М. А. Минцу.

1234. Е. В. и Н. А. ЗАБОЛОЦКИМ

12 августа 1953, Переделкино

12 авг. 1953

Дорогие Екатерина Васильевна и Николай Алексеевич!

Доставьте нам радость и отобедайте с нами сегодня в 3 часа. Кажется приедет С. Чиковани. Ждем вас обоих. Захватите, пожалуйста, Николай Алексеевич, «Безумного волка», которого Вы обещали почитать[1]. Сердечный привет.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. Н. Н. Заболоцкого).

Знакомство и глубокий интерес к поэзии друг друга завязались у Пастернака и Заболоцкого в 1940–1950-х гг. Л. К. Чуковская записала слова Н. Заболоцкого о «Рождественской звезде»: «Я был ошеломлен ею. Это стихотворение, каких немного в русской литературе. Его надо повесить в рамку и каждое утро снимать перед ним шляпу» (Лидия Чуковская. Сочинения в 2 томах. М., «Гудьял-Пресс», 2000. Отрывки из дневника. С. 222). Пастернак отмечал в стихах Заболоцкого «одно редкое свойство — тематичность, точное соответствие содержания названию». «Есть какие-то очень близкие мне люди, — записала Масленикова его слова, — с которыми я встречаюсь регулярно, но не часто... Так было и с Заболоцким — мы виделись три-четыре раза с большими промежутками. Я очень ценю его

отношение к моим стихам. Он не признавал всего, что написано мною до "На ранних поездах". Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть» (Зоя Масленикова. Борис Пастернак. М., 2001. С. 129–130).

[1] Заболоцкий читал в этот день Пастернаку свою поэму «Безумный волк» (1931); под впечатлением от посещения написал стих. «Поэт» («Черен бор за этим старым домом...», 1953), в котором называет Пастернака: «Выкованный грозами России / Собеседник сердца и поэт».

1235. М. К. БАРАНОВИЧ

26 августа 1953, Переделкино

26 авг. 1953

Дорогая Марина Казимировна!

Вам еще не надоели мои письма? Так как я послал Вам два новых стихотворения, которые Вам наверное не понравились, то вот в придачу к ним еще два, еще менее удачных[1].

Все это немного длинно, не правда ли? Появившееся многословие, вот общая слабость всех этих вещей. Но ведь это будут вставки между прежними, более удачными, и это спасет их.

В том, что я Вам писал о Фаусте, не додумано главное. В аналогии, в уподоблении (в прямом смысле это невозможно) это совершенство сверхформы есть попытка создания *новой материи*, алхимизм лирики, никогда не удовлетворимый, т. е. не утоляющий главной жажды его создателей, но сопровождающий самые, самые высшие напряжения творческого чувства, как это было у Микель Анджело, у Бетховена, у Гоголя. У нас гостила и уехала вчера Н. А. Табидзе. Я не знаю, что со мной. Хочется делать все сразу. В чем-то пошел дальше, чем бывало раньше.

Ваш Б. П.

Впервые: Борис Пастернак. Об искусстве. М., 1990. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

[1] Далее переписаны стих. «Лето в городе» и «Август».

1236. А. С. ЭФРОН

30 августа 1953, Переделкино

30 авг. 1953

Дорогая Алюша!

Я неделю тому назад заполнил препроводительный бланк к денежному переводу, а денег тогда не получил и не мог послать.

Дата бланка, по которому, надеюсь, ты все же получишь в сентябре деньги, устарела и не соответствует действительности[1]. Там в приписке я сожалею, что все не могу собраться написать тебе по-человечески и не могу урвать времени, чтобы переписать тебе два-три стихотворения для романа, написанные недавно между правкой и переделкой Фауста и между писанием прозаического основания романа[2]. А теперь, отказавшись от радости чуточку поболтать с тобой, я ограничусь только начертанием этих стихов, может быть строчка или четверостишие из них тебе понравятся. Я в отношении работы и всего остального провел лето очень хорошо. Большое значение для меня, для существа моих воззрений, для ясности моего лица имеет то, что я сделал с Фаустом. Дай мне слово непременно прочесть его, когда он выйдет и я тебе его пошлю. Что же касается до стихов, то тебя расхолодит, вероятно, беллетристическая маскировка, которой подвергается прямое и личное в них. Но писать обнаженно биографически, как я позволял себе раньше, в каком-то смысле невозможно и нечеловечно[3]. И я рад, что подчиняю задуманное воздействию сдерживающих соображений. Наверное, это глушит и гасит первоначальную свежесть ощущения. Но ведь эта обработка исходит из добрых внушений. Может ли быть от этого вред? Или в искусстве нельзя так? Как ты думаешь. Вставь эти стихи (или впиши) в тетрадку с обеими Магдалинами и Зимним свиданием[4], есть она у тебя?

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Впервые: «Знамя», 2003, № 11. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 434).

[1] На талоне почтового перевода на 1000 р. стоит дата 25 авг. 1953, отправлен он был 4 сент.: «Дорогая Алечка, крепко целую тебя. Я ужасная свинья, что не пишу тебе, но пока чувствую себя еще человеком, тороплюсь кончить роман, и все время отвлекаюсь на что-нибудь постороннее, написал несколько новых стихотворений. Когда месяца через $1^1/_2$–2 выйдет Фауст, ты его обязательно прочти, любовь моя. *Твой Б.*» (РГАЛИ).

[2] Приложены стих. «Весенняя распутица», «Белая ночь» и «Август».

[3] О работе над этими стихами Пастернак писал в «Докторе Живаго», говоря о «внушениях внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого».

[4] Стих. «Магдалина» (I и II) и «Свидание» посвящены О. В. Ивинской и написаны сразу после ее ареста; в стихах лета 1953 г. отразилось ожидание ее возвращения.

1237. Г. ЛЕОНИДЗЕ

5 сентября 1953, Переделкино

5 / IX. 1953, суббота

Дорогой Георгий Николаевич!

Если я Вас не увижу сегодня, как обещала мне, приехавши из города Зина (будто Вы будете в Переделкине у Леоновых, и от них зайдете к нам), то в этом буду виноват только я сам. Я знаю, что Вы много раз звонили нам в городе, не сомневаюсь в Вашем желании повидаться с нами, и сам очень хочу видеть Вас. Я должен был бы проявить в этом больше инициативы и сам должен был бы устроить эту встречу. Виной — пониженная моя активность последнего времени и некоторая общая отчужденность от того, что делается в литературе, и от литературных кругов[1].

Но все это пустяки. Бог даст, Вы приедете в другой раз, я буду в городе и мы увидимся и все устроится само собою. Все это я пишу Вам в успокоение, чтобы Вы не чувствовали неловкости или сожаления, что мы не встретились. Повторяю, — Вы — ни при чем, это я должен был быть предприимчивее и настойчивей.

Сейчас, осенью, я тут на даче один, за исключением субботы и воскресений, когда ко мне приезжают Зина и Леня. Как о мечте, сознавая ее неисполнимость, я думал о том, как хорошо было бы, если бы на этот месяц осталась со мною Нина. Не говоря о службе, которая не позволила бы ей это сделать, она бы, конечно, истомилась скукой рядом с железным и размеренным моим трудовым режимом, целодневным молчанием и «разжиманием уст» только за обедом и вечерами. Но я бы, разумеется, блаженствовал. Она самый, самый большой мой друг, Вы знаете, и при ней мне чудно жилось и работалось.

Однако и сейчас в те нередкие дни, когда осень дышит мне в лицо темнотою, холодом и одиночеством, я побеждаю эти приступы тоски единственным нашим спасением, трудом. И топлю у себя печку.

Как мне нравится Ваш дом, Ваша жизнь, если бы Вы знали!

Целую всему этому руки в лице Евфимии Александровны, а Вас обнимаю.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф.

[1] Если не в этот день, то вскоре Леонидзе увиделся с Пастернаком, который через некоторое время писал ему в недатированном письме: «Как я рад, что Вы еще не уехали и что, может быть, я вас всех еще раз увижу.

То-то через день или два после Вашего посещения я захандрил. Зина спрашивает: что за колдовство, какое странное превращение? Еще в прошлое воскресенье не мог нахвалиться жизнерадостностью, работоспособностью, и вдруг эта необъяснимая перемена, недовольство временем, недовольство собою... и даже недовольство Чеховым и Львом Толстым. Но более развернутое сообщение об этом я Вам дам в следующую ближайшую встречу, о которой сговоритесь, пожалуйста, с Зиной (она Вам, между прочим, может дать полезные сведения насчет машин)».

1238. Д. Н. и В. П. ЖУРАВЛЕВЫМ

14–16 сентября 1953, Переделкино

14 сент. 1953

Дорогие Дмитрий Николаевич и Валентина Павловна! Опять справлялись и опять у Вас сказали, что Вам лучше и Вы гуляете[1]. Но ведь так говорили все лето (сейчас справилась в городе Зина, я не знаю, с кем она говорила), вероятно, ради девочек смягчали сведения[2], и Ваш дом был самым ненадежным источником для беспокоящихся о Вас. Дорогая Валентина Павловна, напишите нам хотя бы в открыточке, как состояние здоровья Дмитрия Николаевича в точности, пожалуйста!! Как мы перепугались и огорчены были, когда, с опозданием, узнали о случившемся. А потом о Вашем несчастии заговорили всюду, в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси. Это стало главною печальною новостью нынешнего лета.

По установившейся зимою инерции (помните, я тоже болел) скажу Вам несколько слов о себе. На моем примере уверьтесь, сколько еще у Вас впереди перемен к лучшему, сколько радостных неожиданностей в смысле восстановления сил и бодрости, не в том виде, как они были непосредственно перед катастрофой, а более далеких и ранних, задолго, задолго до нее.

Я очень хорошо провел лето, чувствовал себя хорошо и много, много работал. В июне или июле вдруг потоком хлынули корректуры обеих частей Фауста (свыше шестисот страниц лирической техники, рифм, размеров, новосозданных понятий, темнот, глубин). Некоторые места представляли то, что требовалось, и лучшее, чего можно было желать: мир Фауста в его русском претворении. Другие составляли ремесленное, приемлемое обрамление первых. Но ведь текст был одобрен, принят, оплачен и прожит, издательство ничего не добивалось, кроме быстрого возвращения оттисков. Казалось, надо было примириться с этим соседством истинного и мнимого, с этою обычной и узаконенной формой всякого среднего, царящего, господствующего искусства,

которому говоришь спасибо за малые проблески жизни в море условности. Но от этой условности, но от этой совместности божественного и бездарного так коробило!

Среда 16 сент.

Я все-таки не могу превратить в видимость и нечто не бывавшее нашего разговора с Вами, дорогая Валентина Павловна. И помимо радости, какою мне было просто слышать Вас, и утешения, которые Вы мне доставили Вашим сообщением о Дмитрии Николаевиче, приятная неожиданность Вашего приезда в Москву и вероятность нашей скорой встречи избавляют это письмо от ненужного привеска, каким было его растянутое продолжение.

Здесь было очень много слов о Фаусте и о летней спешной его переделке днями и ночами в период прохождения его верстки, и как хорошо все это кончилось. Разговоры о Фаусте стали моею болезнью истекшего лета, я всем о нем говорю и пишу. Вы ничего не потеряли. Если захотите, я Вам это продемонстрирую при ближайшем свидании. Но и эта необходимость отпадает, так как к тому времени, может быть выйдет книга, и нашей дружбы ради и поставленные в безвыходное положение моими просьбами Вы, может быть, одолевая скучные промежуточные места, прочтете всю книгу. Там с точки зрения ее русского пересоздания были действительно какие-то бегло, на ходу сделанные осчастливившие меня открытия. Там много нового, естественно нового, непроизвольно, по-разговорному нового, а не по-книжному, печатному. И вся эта радость выпала мне на долю этим летом! Не преувеличивая, такую свободу от себя самого, от того, «как себя чувствуешь и какое настроение», такую поглощенность тем, что делаешь, и тем, что делается вне тебя, я испытал только раз в период «Сестры моей жизни». Это было повторение того же самого, не прекращающегося плодотворного блаженства. Больше всего это сказалось в работе над романом. Как жаль, что уже написаны три тетради. Они, может быть, будут задерживать и разочаровывать читателя, отбивая охоту браться за четвертую порцию, которая оказывается главною, по тому, как она *пишется*, какие пласты в ней подняты, *что* затронуто и *что* в ней происходит[3]. Писал и стихи (в роман, конечно). Часть посылаю[4].

Крепко целую и обнимаю Вас и Дмитрия Николаевича. Если Елизавета Яковлевна и Зинаида Митрофановна[5] в городе, письмо адресуется также и к ним.

Ваш Б. П.

Впервые: Д. Н. Журавлев. Жизнь, искусство, встречи. М, 1985 (с купюрами). — Автограф (собр. Н. Д. Журавлевой). Актер и мастер художественного слова Д. Н. Журавлев вспоминал, что они познакомились с Пастернаком в середине 1930-х гг. в доме у Г. Г. Нейгауза. Пастернак был благодарным слушателем его программ, Журавлев вспоминал, что часто читал у Пастернака на втором этаже его дачи в Переделкине. Однажды Нейгауз, которого Журавлев застал у Пастернака, попросил его почитать Пушкина. «Я прочел "Осень", потом "19-е октября", — вспоминал Журавлев. — Когда я кончил, Пастернак обратился к Нейгаузу: "Гарри, а тебе не показалось, что сейчас из-под стола показался Пушкин?"» (там же. С. 337). Сохранилась телеграмма, посланная Журавлеву 7 дек. 1951: «Привет, поздравления и лучшие пожелания артисту, читающему Толстого, Чехова, Пушкина с огнем творческой свободы и личной нотой как страницы собственной жизни и как равный = *Борис Пастернак*» (там же). По поводу этой телеграммы Е. Я. Эфрон писала Пастернаку: «Ваша телеграмма Мите — "Апеллесова черта". Я не представляла, что телеграмма может быть таким высоким искусством».

[1] Летом 1953 г. Журавлев перенес инфаркт.

[2] Дочери Журавлевых Маша и Наташа.

[3] Летом 1953 г. Пастернак работал над партизанскими главами «Доктора Живаго».

[4] «Весенняя распутица», «Белая ночь», «Лето в городе», «Август».

[5] Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич.

1239. Н. ТАБИДЗЕ

18 сентября 1953, Москва

18 сент 1953

Дорогая Нина!

Спасибо Вам за дорогое письмо Ваше. Вот и месяц одиночества прошел, которого я так боялся! Счастливый, счастливый месяц, как и предшествующие. Он был холодный и последнее время весь сплошь дождливый, около трех недель. А сегодня прояснилось и кажется, простоит несколько хороших солнечных дней. Я весь в прозе, в романе, и кажется: делаю в этой последней части много серьезного, стоющего, как в первой, самой начальной. Дорогая Нина, не думайте обо мне плохо. Я живу очень чистою жизнью, у меня нет ни минуты бездеятельной, не претворенной работой во что-нибудь реальное, осязательное. Как я моюсь каждый день, я не мог бы вынести никакой душевной грязи.

Я попрошу Вас передать кое-что в два знакомых дома. Первое — Чиковани. Скажите им, пожалуйста, что я долгое время носился с мыслью написать Симону про мой с Вами разговор о Фаусте. Я даже написал две страницы этого письма, но это выходит

страшно тяжело и многословно. Письмо лежало, лежало, и сейчас я его уничтожил. И я писал Симону о том, как много дало мне Ваше пребывание у нас летом и как я молчаливо любуюсь всегда со стороны красотою Вашего умного, нелегкого, талантливого существования. А бесконечными лекциями о Фаусте я становлюсь просто назойлив и смешон. Скоро выйдет книга, и Симон сам прочтет и лучше моего поймет, в чем там дело, сколько там новой свободы и как много важного сказано в ее формах.

Я не знаю, не забыл ли Георгий Николаевич рассказать у себя, что когда у нас заговорили с ним о Евфимии Александровне, у женщин сорвались голоса и на глазах у всех появились слезы, как бывает при упоминании чего-нибудь высокого, значительного и волнующего. Как это было замечательно. Это было гимном ей, величанием и многолетием.

Так же точно плакали на днях у нас Ливановы и Федин, когда я читал им новые стихи[1]. Нина, за что это мне, это упоение работой, это счастье. Иногда я себя чувствую точно не в своей власти, а в творящих руках Господних, которые делают из меня что-то неведомое, и мне тоже страшно, как Вам. Нет, неправда, — не страшно.

Крепко, крепко целую Вас. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 13).

[1] По словам К. А. Роговина, внука К. А. Федина, после этого чтения Федин записал в свой дневник, как взволновало его стих. «Август». Об этом же пишет К. И. Чуковский: «Был у Федина. <...> Федин в восторге от пастернаковского стихотворения "Август", которое действительно гениально. "Хотя о смерти, о похоронах, а как жизненно — все во славу жизни"» (Воспоминания. С. 268).

1240. Н. ТАБИДЗЕ

30 сентября 1953, Москва

30 сент. 1953

Дорогая Нина, друг мой, если к Вам попадет Гарик, едущий в Цхалтубо, будьте осторожны, не проговоритесь с ним о том, чего никто не должен знать[1]. Но о моих отношениях к нему, о том, что он стал далек и чужд мне, можете говорить свободно и что хотите. Этим летом он стал немыслим для меня двумя противоположностями тому, что составляет мою природу: своим отношением к женщине и своим отношением к искусству.

Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиною на земле, но потому что с детства убирал с земли камушки из-под ее ног на ее дороге.

Немногие, имевшие со мною дело, — великодушные мученицы, так несносен и неинтересен я «как мужчина», так часто бываю непоправимо и необъяснимо слаб, так до сих пор не знаю себя и ничего не знаю с этой стороны. Может быть, трогает их то, что издалека, издалека дотащилось все же до них это с детства им посвященное и с детства болью за них поколебленное, надорванное существование, по дороге еще разбитое высокою войной, которую оно за них вело. И может быть трогает их эта, всегда близкая женщине по воспоминаниям ее собственного детства, странная, столькое в жизни охватившая и все же до сих пор оставшаяся чистота.

И этот мужской блеск, с каким он оставлял живое существо, собственную жену на чужой даче[2], пока ей освободят место на ее собственной, и вероятное совершенство этой юбочной техники, завидное и недоступное мне, и это веселое афиширование этой брючной виртуозности, — да ведь это целый тип и склад, так хорошо мне известный и такой мне враждебный[3].

Теперь второе, искусство. Толстой в «Воскресении» и в «Анне Карениной» изображает, как Нехлюдов, а во втором случае Вронский, уехавший с Анной в Италию, заводят все нужные художественные принадлежности, покупают холст, карандаши, кисти, краски, чтобы заниматься живописью, и все что-то не выходит, то настроенья нет, то погода не такая, а рядом показан человек, сошедший с ума на живописи и вогнанный искусством в чахотку, бедный и простой.

Тут творилось то же самое. Была нанята дача, привезен рояль, сверх пианина, имевшегося у нас, были планы писать книгу о музыке, и дожди помешали, и проклятый оказался климат и так далее и тому подобное. Вот эта барская любительская, праздная прикосновенность к целому миру самопожертвования и труда, который я так знаю и которому так служу, и смелость, с которой все это разыгрывалось на глазах у меня, точно я не знаю цены этому и объяснения, также поразили и оттолкнули меня. Я что-то видел в жизни, связанной с большими людьми. Надо помнить, что такой по-светски понятый артистизм, артистизм для барышень и

кино, — репертуар не для меня. Я не говорю, что надо вешать тех, кто не гениален, но в таком случае и тон и разговор должен быть другой. Но довольно, какое глупое письмо я Вам пишу и каким должен казаться мелким и придирчивым.

Ах, как мне хочется, чтобы поскорее вышел Фауст и чтобы я мог послать его Вам! В конце концов, Вы будете единственною в Тбилиси, кому я его подарю, так мало получу я экземпляров. И прекрасно, пусть читают его из Ваших дорогих рук. Вы разорвите книгу пополам, первую часть возьмите себе, а вторую дайте Е<вфимии> А<лександровне>, в первой части любовь земная, а во второй небесная. Ведь она бесподобная, Е. А., не правда ли? Когда я переводил вторую часть, Елена невольно приобретала ее черты, я давал ей в тексте слова, которые бы могла сказать Е. А. Я хотел бы надписать ей книгу так: прочтите, что пишет о Вас Гёте во второй части. Как вы думаете, можно сделать такую надпись?

Ниночка, Хитарова[4] в Гослитиздате хотела дать мне три подстрочника Чиковани. Я его считаю одним из интереснейших поэтов современного мира и разными способами доказал, как я люблю и ценю его. Но я поглощен писанием романа, и даже то немногое стихотворное, что продолжает приходить мне в голову, не развиваю тематически, как летом, а либо отбрасываю, либо запоминаю незаписанным в зачаточной, образно не сосредоточенной, не сгущенной форме, настолько единственным делом я считаю прозу, роман и не позволяю себе отвлекаться и разменяться на стихи. Я вынужден был отказаться, пусть Симон не обижается, и даже не смотрел подстрочников, чтобы не создавать недоразумения, будто я вернул их после просмотра.

Александра Петровна очень хочет устроить работу О. В.[5] Это ей нужно просто даже в правовом отношении. Она очень удачно переводила корейских поэтов. Я уверен, что она справится и с этими переводами. Если Симон не гонится за фамилиями переводчиков, а ему важно существо дела, т. е. действительная близость и художественность передачи, он наверное будет доволен, хотя об этом говорить рано. Очень многие из пишущих испытали мое влияние, вероятно и на ней оно скажется. Если Симон будет доволен, не говорите ему, кто такая О. В.

Господи, господи, какую ерунду пишу я Вам сегодня! Чтобы исправить впечатление (хотя исправлю ли я этим?), запишу для Вас то попутное в стихах, о чем я вскользь упомянул. Эти стихи не чета тем, это второй разряд, потому что они *только* нежны и музыкальны, а стихи, кроме музыки, должны содержать живопись и

смысл. Они коротенькие, и их последовательность я объединил под заглавием: «Колыбельные песни». Стихи, которые у Вас есть, так же, как и эти, можете давать читать кому угодно, если хотите и Г<енриху> Г<уставовичу>. Он только знает двух соловьев, а Августа и остальных не знает[6]. Если он спросит, кто это все, Вы ему скажите, что наверное — Зина, что Зина для меня бог и кроме нее у меня никого не было и не будет. Так это должно быть для всех.

Нина, теплый безоблачный осенний день, двенадцать часов дня, солнце во все шестистворчатое широкое окно, и я сижу в Вашем Переделкине и вместо того, чтобы работать, отымаю у Вас время бесконечным письмом, Нина моя, радость моя, сестра моя.

Целую Вас без конца. *Ваш Б.*

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1 (с купюрами). — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 9).

[1] Имеется в виду возвращение О. В. Ивинской из лагеря.

[2] Милица Сергеевна Нейгауз.

[3] О расхождении с Нейгаузом см. также в письме № 1251.

[4] Софья Мосесовна *Хитарова* — редактор Гослитиздата.

[5] А. П. Рябинина, по просьбе Пастернака, помогла Ивинской получить переводную работу, чем легализовала ее прописку в Москве.

[6] Стихи о соловьях «Белая ночь» и «Весенняя распутица», так же как «Лето в городе» и «Август», были подарены Н. Табидзе 18 авг.1953 г. с сопроводительной запиской: «Четыре новых стихотворения, написанных почти при Нине в конце июля и начале августа 1953 г., переписываю ей с печалью по поводу ее близкого отъезда». К письму приложены стих. «Белая ночь», «Весенняя распутица», «Лето в городе», «Август» и «Колыбельные песни»: «Вводная» («Я кончился, а ты жива...»), «Бессонница», «Хмель», «Под открытым небом» (Материалы ГМГЛ. С. 223–232).

1241. Д. Н. и В. П. ЖУРАВЛЕВЫМ

1 октября 1953, Переделкино

1-е окт. 1953

Дорогие Дмитрий Николаевич и Валентина Павловна!

Вас изредка надо развлекать, Дмитрий Николаевич, и всего легче мне это делать в форме письма или присылки стихов, потому что по приезде в город я еще больше зароюсь в писание Живаго, которого надо непременно кончить вчерне к Новому году. Вот Вам еще несколько стихотворений[1]. Вам не надо говорить, что этим далеко до первых, это совсем другой разряд, лишенный значения. Кажется, я Вам говорил, что за писанием прозы у меня попутно складываются ритмические мотивы, мелодии которых я не

записываю и которых не развиваю тематически, не наполняю живописью и мыслью. Они только *нежны* и *музыкальны*, в этом их осуждение. Не надо без оглядки поклоняться музыке. Она является только раз в столетие, когда Бах, Моцарт, Шопен, Вагнер и Чайковский обнародывают огромные откровения и на этом языке, на котором легче всего притворяться или выводить голосом и выстукивать пальцами всякие маркированные безделушки и «bigoux»* и прочую ерунду. А в перерывах между такими событиями (таковы еще, если нажать на меня, Бетховен, Шуман, Григ и Скрябин) музыка — самый распространенный вид отлынивания от каких бы то ни было ответов веку, небу и будущему, самый ходячий способ душевной маскировки, благодаря драгоценности звука, с помощью которого и материализованная ординарность заставляет себя слушать. Но все эти рассуждения смешны в приложении к таким пустякам, как эти стихи. В разговоре я показал бы, в чем связь, и сделал бы это ловчее.

Мне кажется, я Вам говорил, что эти неотделанные кусочки объединю может быть под названием колыбельных песен. У собрания Юриных стихов должны ведь быть стихи о чувстве или стихи, внушенные чувством в еще большей мере, чем остальные. Может быть, это наброски и подступы к ним.

Целую Вас обоих. *Б. П.*[2]

Впервые: Д. Н. Журавлев. Жизнь, искусство, встречи. М, 1985 (с купюрами). — Автограф (собр. Н. Д. Журавлевой).

[1] С письмом послан цикл «Колыбельные песни»: «Бессонница», «Под открытым небом», «Ветер» и «Хмель». Об этих стихах Пастернак писал в романе «Доктор Живаго»: «...Ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою».

[2] Последним в цикле «Колыбельных» было стих. «Сказка», которое Пастернак послал Журавлеву 8 нояб., узнав, что врачи снова уложили его в постель: «Дорогой Дмитрий Николаевич, бедный, бедный, что это Вы? Мы потрясены этою новою несчастною случайностью с Вами и душа разрывается от сочувствия Вам, но не от тревоги за Вас. То было испытанием лично Вам, Вашему терпению, с которым Вы, конечно, справитесь с еще большим блеском. Но что за ужасная перспектива снова лежать и лежать после полного выздоровления! Я испытал почти подобное. В Боткинской мазали меня все время по губам возвращением домой к Новому году, а потом перевели в другой корпус и на целый лишний месяц уложили в

* драгоценные пустяки (*фр.*).

постель. Запаситесь выдержкой, стойкость не изменит Вам. Вы снова выйдете из напасти победителем, — я уверен. Вот Вам некоторое подобие Георгия Победоносца по этому случаю. Крепко целую Вас и Валентину Павловну. *Ваш Б. П.»* (собр. Н. Д. Журавлевой).

1242. К. А. ФЕДИНУ

17 октября 1953, Москва

17 окт. 1953

Дорогой Костя!

Я знаю, как трудно ездить в город и понимаю размеры этой жертвы. Но может быть какой-нибудь другой повод заставит тебя принести ее и быть в Москве в будущую субботу, 24-го[1]. Тогда окажи нам честь и доставь радость, приходи, пожалуйста, к нам в девять часов вечера, в десятом. Будут обычные общие знакомые, все сплошь твои обожатели и почитатели.

Мы зовем также из Переделкина Ивановых. Может, вы в смысле передвижения объединитесь?

Крепко тебя целую. *Твой Б.*

Обязательно будь у нас, но перед этим как-нибудь обнадежь, давши знать об этом у себя в городе на квартире, куда мы в промежутке позвоним.

Впервые. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

[1] Как каждый год, Федин был непременным гостем на именинах З. Н. Пастернак.

1243. Г. М. КОЗИНЦЕВУ

20 октября 1953, Москва

20 окт. 1953

Глубокоуважаемый Григорий Михайлович!

Благодарю Вас за ласковое письмо и приятное известие[1]. Нет, в Ленинград я приехать не предполагаю. Кто будет играть Гамлета? Когда я смотрел кинофицированного Ревизора, я подумал, что Гамлета, наверное, хорошо бы сыграл молодой и замечательный Ваш ленинградский Горбачев[2].

На случай, если Вы ставите пьесу по синенькой книжке, изданной в 1951 г. «Искусством»[3], посылаю Вам выправленный экземпляр. Далек от мысли забивать Вам этим голову, но к сведению лица, которому Вы поручите заботу о тексте, сообщаю. Имеется

несколько моих редакций Гамлета. Возвращаться от прилагаемой, 1951-го года, к какой-нибудь из более ранних, не имеет смысла. Но это изложение опережено новым вариантом, напечатанным дважды: в книге «Вильям Шекспир. Трагедии. Школьная библиотека. Детгиз 1951 г.» и в книге «Вильям Шекспир, Избранные произведения, Гослитиздат 1953 г.». Это надо иметь в виду на случай, если у Вас и исполнителей возникнут трудности или недовольства по поводу отдельных мест текста. Может случиться, что в другой редакции им найдется удовлетворяющая Вас замена. Я сам не знаю, какую из этих версий выбрать, и сейчас скажу Вам, как возникали эти разночтения. В периоды наибольшей общей запуганности меня заставляли приближать эти переводы к оригиналу до буквального совпадения с ним не из почитания подлинника, а для того, чтобы было на что ссылаться и на кого валить в случае нареканий[4].

Между тем, я слишком хорошо всегда за этими работами сознавал следующее. Для произведения, подобного Фаусту, обращающегося со страницы книги или со сцены ко мне, читателю или зрителю, достаточно, чтобы оно было понятно мне, чтобы я его понимал. От объективной, реалистически разыгрываемой на сцене пьесы Шекспира требуется совершенно иная понятность, иной вид, иная мера понятности.

Тут исполнители обращаются не ко мне, а перекидываются фразами между собой. Тут мало того, чтобы я понимал их, тут мне требуется уверенность, наглядная зрелищная очевидность, что они с полуслова понимают друг друга[5].

Эту легкость, плавность, текучесть текста я считал всегда для себя обязательной, этой, не книжной, но в сторону, в пространство отнесенной сценической понятности всегда добивался. И меня всегда мучило и раздражало, когда эту необходимую беглость и непроизвольность речи, далеко еще не достигнутую даже и моими переводами, мельчили, задерживали и дробили из посторонних и временных соображений, ради приемлемости этих работ в меняющихся современных условиях.

Еще раз спасибо. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1975, № 1 (с купюрами). — Автограф (собр. адресата).

[1] Режиссер Г. М. Козинцев извещал Пастернака о подготовке спектакля «Гамлет» в Ленинградском драматическом театре им. Пушкина. Музыка Д. Шостаковича, декорации Н. Альтмана.

[2] Актер Ленинградского театра драмы Игорь Олегович *Горбачев* играл Хлестакова в кинофильме «Ревизор» (1952). Гамлета в спектакле Козинцева играл Б. А. Фрейндлих.

[3] Гамлет, принц Датский. Перевод Б. Пастернака. М.–Л., «Искусство», 1951.

[4] Об этих переработках, «буква в букву», чтобы «приблизить к подлиннику, ближе, чем допускает живой перевод», из «стремления издательства к тому, чтобы в случае чего, было на кого свалить», см. также в письме № 1154.

[5] О различной «мере требуемой понятности лирико-субъективного произведения (Фауста) и представляемой на сцене драмы (Шекспира)» сохранилась краткая запись Пастернака 1952 г., начинающаяся словами: «Когда я читаю или слушаю со сцены нечто субъективное в лирико-монологической форме, важно, чтобы понимал это я, — текст обращен ко мне. Но когда я смотрю на сцене пьесу Шекспира, написанную в виде картины жизни, мало того, чтобы я понимал слова диалога. Действующие лица обращаются не ко мне, а говорят между собою. <...> Сверх простой понятности, требующейся от книги или монолога, сценический диалог должен обладать очевидностью понятности, понятности, которую зритель наблюдает своими глазами и готов подтвердить, как свидетель» (см. т. V наст. собр.).

1244. Г. М. КОЗИНЦЕВУ

27 октября 1953, Москва

27 окт. 1953

Глубокоуважаемый Григорий Михайлович!

Я поторопился и в сопроводительном письме к выправленному тексту Гамлета в старой, наиболее распространенной редакции забыл сказать главное, для чего собственно я и писал письмо.

Режьте, сокращайте и перекраивайте, сколько хотите. Чем больше Вы выбросите из текста, тем лучше. На половину драматического текста всякой пьесы, самой наибессмертнейшей, классической и гениальной я всегда смотрю как на распространенную ремарку, написанную автором для того, чтобы ввести исполнителей как можно глубже в существо разыгрываемого действия. Как только театр проник в замысел и овладел им, можно и надо жертвовать самыми яркими и глубокомысленными репликами (не говоря уже о безразличных и бледных), если актером достигнуто равносильное по талантливости игровое, мимическое, безмолвное или немногословное соответствие им в этом месте драмы, в этом звене ее развития.

Вообще распоряжайтесь текстом с полною свободой, это Ваше право. Два или три года во многих городах провинции идут

Отелло и Ромео и Джульетта в таких же переводах, и я счастлив собственным неведением того, где и кем и как это делается, а также и независимостью от меня этих театров и людей, которые ставят эти вещи может быть лучше, чем мог бы я пожелать или посоветовать.

Не поймите меня превратно, я рад контакту нашему и знакомству, но искусство в большом смысле обязательно должно быть жертвой и игралищем случайности, непредвосхитимой и непоправимой, а то отпадает элемент фатальности, неотъемлемый ото всего большого.

Я ведь видел Ваши постановки, особенно в дни «Вавилона»[1]. Чем круче Вы расправитесь с Гамлетом, тем будет лучше.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1975, № 1. — Автограф (собр. адресата).

[1] Имеется в виду фильм Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга «Новый Вавилон» (1929), посвящ. событиям Парижской коммуны.

1245. В. В. РОГОВУ

27 октября 1953, Москва

27 окт. 1953

Дорогой Володя!

Большое спасибо за присланное[1]. Вы доставили мне этим истинную радость. Это именно начало того, о чем я тогда думал. Надо будет когда-нибудь познакомить читающую публику с силой и своеобразием Суинберна[2].

Некоторые части перевода (второе восьмистишие, начало третьего, строфа, начинающаяся словами: «Увенчена листами», четверостишие «мечты мертвы, разбиты», весь конец, начиная от слов «что судьбы век не длятся») дают представление о несущемся ритмическом напоре Суинберна и для тех, кто не знает его в оригинале[3]. Удача этих мест должна остаться образцом того, чего надо добиваться сплошь во всей работе.

Остальные куски сходством с оригиналом вызывают в памяти соответственные строки подлинника в тех, кто его знает. Но перевод должен существовать самостоятельно, ценой собственной естественности и понятности, без соотнесенности с оригиналом, извиняющей скованность перевода заслугами близости, он должен обходиться без этой опорной точки. Может быть нужно труд-

ные места (часто риторические и схематичные у самого Суинберна) переводить вольнее, выделяя самое главное и живое в таком периоде и отказываясь ото всего остального.

Не измеряйте размерами письма степени моего удовлетворения. Я хотел написать его еще короче, потому что очень занят. Чувствую себя хорошо и очень много работаю. Часто и очень тепло вспоминаю Вас.

Удавшееся у Вас из Суинберна очень хорошо[4]. Вы — молодец. Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. адресата). В дарственной надписи на своей кн. «Стихотворения в одном томе» (1936) Пастернак обозначил время знакомства с поэтом и переводчиком В. Роговым: «В феврале 1953 г. мы встретились и познакомились в Болшеве. Владимиру Владимировичу Рогову с пожеланием, чтобы лучшие его задатки выразились в жизни вполне и сказались беспрепятственно и чтобы лучшие мечты осуществились. В день его рождения 17 февраля 1953 г., в Болшеве. *Б. Пастернак*» (там же).

[1] Посылая свой перевод 20 окт. 1953, В. Рогов писал Пастернаку: «Заказ на Сад Прозерпины выполнен... Спасибо за поддержку». Приводимые далее в письме цитаты взяты из стих. А.-Ч. Суинберна «Сад Прозерпины». Перевод остался неизданным.

[2] О любви к английскому поэту А.-Ч. Суинберну Пастернак писал во многих письмах 1916 г. «Чувствую, что ожесточаюсь в своем поклонении Свинберну» (письмо № 142). Он переводил тогда его драму «Шателяр» из трилогии о Марии Стюарт, сонет «Джону Форду». О восхищении переводом И. А. Кашкина стих. Суинберна «У Северного моря» см. письмо № 780.

[3] Ср. слова историка английской литературы М. Гутнера о стремительности «звучания» стихов Суинберна: «Его поэзия сближается с музыкой, потому что иногда представляет собой безостановочное течение аллитераций, перекликающихся друг с другом звуков — звуков без образов и красок» (Антология новой английской поэзии. Л., 1937. С. 432).

[4] Сохранился также отзыв Пастернака на перевод отрывка из трагедии Суинберна «Мария Стюарт», содержащего речь Уолтера Ралея: «22 мая 1956. Дорогой Володя! Простите, что так долго промучил Вас своим молчанием. Я много работаю и долго еще буду очень занят. Ваша кантата мне сразу очень понравилась. Особенно понравились вступление и речь Уолтера Ралея. Вы — молодец, я порадовался за Вас. К сожалению и сейчас ограничусь этою короткой запиской. Будьте здоровы, желаю Вам всего лучшего. Целую Вас. *Ваш Б. Пастернак.* Очень хорошо сказано: И так запальчив этот спор, / Что мы их слышим до сих пор». Пастернак работал над переводом этой трагедии осенью 1916 г. в Тихих Горах.

1246. Н. ТАБИДЗЕ

27 октября 1953, Москва

27 окт. 1953

Дорогая Нина!

Спасибо Вам за письмо к Зининым именинам, как всегда у Вас полное души через край. В нем нашел я много такого, в чем как раз нуждался тогда, заездивши себя разными видами самобичевания и недовольства тем, что делается со мной и что я делаю. Спасибо, спасибо. Веянье Вашего голоса разогнало тучи с моей неспокойной совести. Мне стало опять легко и хорошо, как было летом.

И в другом отношении Вы правы, осуждая мой взрыв против Г<аррика> и советуя с ним помириться. Так я и сделаю. В «Гамлете» в самом конце, перед поединком, королева просит Гамлета помириться с Лаэртом, и Гамлет говорит лицу, передающему эту просьбу: «Королева учит меня добру». Эти слова прозвучали у меня в сердце, когда я прочел Ваши строки по поводу моих придирок к Гаррику: «Нина учит меня добру».

Можете себе представить, что я испытал, когда Зина рассказала мне о Вашем с нею разговоре по телефону. Я смотрю на ответ, полученный Вами, совершенно так же, как Вы[1]. Он может означать все, что хотите, и может не означать ничего. Однако путь к окончательной ясности или к каким-нибудь переменам лежит все-таки через такой ответ, и лучше, что он уже есть, чем если бы его не было.

Нина, я еще много хотел написать и рассказать Вам в письме, но лучше сделаю устно, когда увижу Вас. Не приедете ли Вы зимой на встречу Нового года? Как бы мне этого хотелось! Все хорошо у нас, но летом я был прилежнее, потому что совершенно был отделен от городского телефонного разврата, который заражает даже и меня. Нет-нет да и подойдешь к какому-нибудь звонку для того, чтобы кто-нибудь пощекотал похвалами твое тщеславие. Какая гадость! Правда, так низко опускаюсь я очень редко, сильно не выспавшись, когда не жалко времени и не веришь, что придешь к чему-нибудь путному в работе.

Крепко целую Вас. Спасибо за чудесные подставки. Зина и Леня шлют Вам выражения тех же чувств, что и я.

Ваш Б.[2]

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 021913, 14).

[1] Официальный ответ на запрос Н. Табидзе о судьбе ее мужа позволял надеяться на то, что Тициан жив.

[2] Через день после этого письма 29 окт. Пастернак посылал Н. Табидзе стих. «Сказка»: «Дорогая Нина! Послал ли я Вам свои "Колыбельные" (короткие отрывки)? Вот еще одна, только очень длинная, и, кажется, глупая. <Далее идет текст стихотворения, без названия, с разночтениями и разделением на четыре пронумерованных отрывка. Последний, четвертый, выпущен из окончательного текста>. Тут что-то трогательное перемешано с чем-то совершенно идиотским. Не лишний ли весь четвертый кусок со старухой? Как Вы думаете? Может быть лучше кончить до него, ограничившись тремя частями? Покажите, пожалуйста, Чиковани и посоветуйтесь с ним. Он единственный человек в России, на вкус и понимание которого я могу положиться. И, например, если он скажет, что это плохое подражание "Крокодилу" Корн. Ив. Чуковского, я с ним соглашусь и не включу стихотворения в Живаговскую тетрадку. И такого Георгия посылать в Грузию! Вот нахальство! Крепко целую Вас. *Ваш Б.* Нехорошо, что я посылаю Вам всегда свои новости так торопливо, не дав им вылежаться. Впоследствии они всегда приобретают немного другой вид и расходятся редакцией с этими поспешными сообщениями» (ГМГЛ, № 24961, 1).

1247. Н. ТАБИДЗЕ

16 ноября 1953, Москва

16 ноября 1953

Ниночка, золотая моя! Как крепко, как по-одинаковому крепко мы любим друг друга с Вами, неправда ли? Вы чувствуете? Прямо можно приложить руку к письму и ощутить ладонью, чем слова горят. Как хорошо! Это я о Вашем письме говорю, конечно, которое Ваша милая девушка привезла.

Ну что Вы опять наделали, сумасшедшая Ниночка! Горы Ваших даров загромоздили квартиру и своей красотой они соперничают с отцовскими картинами в столовой.

Напишите мне скорее, как идет Нитино лечение. Как мы огорчены и напуганы! Бедная, бедная! Всю жизнь мучится то тем, то этим! Зина говорит, что у нее не осталось рецепта на гомеопатическое средство против печени, которое ей было прописано, и что наверное опасно, не посоветовавшись со специалистом, лекарство, рекомендованное в одном случае, повторять в непохожем другом. Она обещала нарочно для этого и кстати для собственного осмотра вызвать к себе своего гомеопата и расспросить о Нитиной болезни.

Спасибо Вам за все, что Вы пишете о стихах. По сравнению с романом, к которому они служат гарниром, это вздор и пустяки. Я Вам скоро пришлю несколько новых. Беда, что я, как уже писал Вам, посылаю их Вам преждевременно, неотлежавшимися. Потом они претерпевают значительные изменения и становятся лучше.

Георгий Победоносец уже называется «Сказкой», а не «Колыбельной» и весь конец (четвертый кусок с этим дурацким баюшки-баю) откинут, а вместо него перед третьим вставлены две строфы, объясняющие положение (что пленница принесена в виде откупной дани в жертву дракону во избавление страны[1]).

В романе, в прозе, главное вчерне уже написано. Герой с главною героинею уже расстался и более никогда ее не увидит. Мне осталось (в первой черновой записи) описать пребывание доктора в Москве с 1922 года по 1929, как он опускался и все забывал и потом как умер, и затем написать эпилог, относящийся к концу отечественной войны[2]. Так, насквозь, не задерживаясь на частностях и откладывая их до общей отделки, я писал только раз в жизни, «Детство Люверс», а потом случаи такой свободы, непосредственности и радости не повторялись.

Крепко целую Вас, лучший и самый дорогой друг мой. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 24952).

[1] Имеются в виду ст. 53–60: «Той страны обычай / Пленницу-красу / Отдавал в добычу / Чудищу в лесу. / Края населенье / Хижины свои / Выкупало пеней / Этой от змеи».

[2] «Очень хочу кончить до нового лета и до новой встречи с Вами "Живаго" и, кажется, кончу, — писал Пастернак о своей работе в письме Н. Табидзе 4 дек. — Нехорошо, что временами пишу стихи, надо бы сосредоточиться на прозаической работе. Прилагаю Вам два новых стихотворения. Одно на тему из романа, к тому месту в новой части, когда зимой в гражданскую войну в чужом доме в глуши на Урале Ю<ра> остается один после отъезда Лары. Другое внушено простым фактом жизни, где-то на дворе (в другом флигеле, у простых людей) свадьба была, поздно ночью не дали спать и рано утром разбудили, но у меня не было раздражения на них, наоборот, будто я прожил с ними эту ночь» («Дружба народов», 1996, № 7. С. 209). Приложены стих. «Разлука» и «Свадьба», второе написано под впечатлением свадьбы Антонины Гавриловны Смирновой, дочери сторожа, жившего рядом с дачей Пастернака.

1248. М. В. АЛПАТОВУ

18 ноября 1953, Переделкино

Дорогой Михаил Владимирович!

Очень хорошо![1] Изложено как в романе, с попутным привлечением всего, наводящего на мысли и параллели, с описаниями и объяснениями. Наверное именно так надо писать работы о вели-

ких людях, в виде биографий, увлекательно и богато истолкованных. Также очень хорошо, что радость писания не ослепляет Вас, что Вы не забываете о предмете, и что истина дорога Вам, — amicus Plato sed magis amica veritas*: полные оговорок оценки ученических работ Иванова трезвы, смелы и справедливы. Главное, так сказать, впереди, трагедия в пяти актах, это только первый, не надо сразу бросаться обожествлять и превозносить, никакой торопливости, — этому еще будет место, это успеется.

Еще спасибо за мысль послать статью с такими сближениями именно мне. Если это случайность, и у Вас не было никакой задней мысли, и я, следовательно, попал пальцем в небо, то все равно, ничего, — спасибо!

Не хочу отрывать Вас от Ваших работ и главное, от необходимого для Вас изучения и чтения источников, отнимающего столько времени и, поэтому ничего не пишу о себе и ничего не предлагаю. Но когда выйдет полный Фауст, добудьте его и перечтите если не целиком, то хотя бы самые важные места в первой части и особенно во второй (по Вашим воспоминаниям об оригинале). Дело не в том, что это перевод хороший или плохой, гениальный или конгениальный, а в том, что я для себя, для собственного удовольствия сделал там безмерно много нынешним летом и там очень много нового, раньше не существовавшего, для меня, для Фауста и для русского искусства, в смысле понимания трагедии, языка, техники и лирической свободы, и что́ Вам, как философу искусства и художнику, в этой области приятно будет встретить.

Я счастлив, здоров и много, много работаю.

Ваш Б. Пастернак

Сердечный привет Софье Тимофеевне.
18 ноября 1953 г.

Впервые: «Панорама искусств», вып. 7. М., 1984. — Автограф (ГМИИ, ф. 61, ед. хр. 647).

[1] Вероятно, статья Алпатова об Александре Иванове была дана Пастернаку в рукописи, в сокращенном виде она вошла в качестве небольшого биографического очерка в составленный М. Алпатовым альбом А. А. Иванова из серии «Русские мастера живописи» (М., 1955). В 1956 г. вышла двухтомная монография М. В. Алпатова «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество», первый том которой был сдан в набор в начале 1954 г.

* Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

1249. А. П. РЯБИНИНОЙ

10 декабря 1953 — 4 января 1954, Переделкино

Дорогая Александра Петровна!

Мой «Змееед» плох и устарел. Знаете ли Вы, что эта вещь есть у Заболоцкого?[1] Я не видал его перевода, но он гораздо новее и уже тем одним, наверное, лучше. Заболоцкий занимался Важа Пшавелой недавно, а я двадцать лет тому назад, когда еще в силе были все гадости футуризма, распад формы, неточная рифмовка, когда, говоря по правде, никто из нас еще не умел писать, и когда тяжелой и неуклюжей этой тарабарщины, казавшейся оригинальностью, у бедного и обожествленного Маяковского было еще больше, чем у меня. Этих грехов не может быть у Заболоцкого, его перевод, по всей вероятности, — легкий, плавный, человеческий.

На всякий случай посылаю Вам позднейшую редакцию этого творения, где, как видите, герой уже назван, «пожирателем змей». Но зачем, вообще говоря, переиздавать подобный мусор. Я извлек эту книжку и мне страшно стало. Полный Бараташвили, за исключением «Мерани» и «Синего цвета» — это ведь бред неизобразимый, возы и горы бессмыслицы, выдаваемой за глубокомыслие. И таково же все остальное, кроме двух-трех стихотворений Чиковани, «Ласточки» и «Работы»[2].

Однако все это к делу не относится. Главное то, что Вы прелесть и умница, и что я в восхищении от Вас и люблю огонь, одушевляющий Вас, и быстроту и меткость Вашего глаза, и умение видеть на сажень под землею, и преклоняюсь перед Вами и Вас без конца благодарю.

Преданный Вам Б. П.

10 дек. 1953

С Новым годом, красавица моя, Александра Петровна, и пусть сбудутся в нем самые безумные Ваши фантазии.

4 янв. 1954 г.

Впервые. — Автограф.

[1] «Змееед» в переводе Н. Заболоцкого вошел в сб.: Важа Пшавела. Поэмы. Тбилиси, «Заря Востока», 1951.

[2] Имеется в виду сб. «Грузинские поэты в переводах Пастернака» (М., 1946). В него вошли переводы Н. Бараташвили, Акакия Церетели, «Змееед» Важа Вшавелы (под назв. «Пожиратель змей») и 7 стих. С. Чиковани, в том числе «Гнездо ласточки» и «Работа».

1250. М. С. ВОЛЫНСКОМУ

15 декабря 1953, Москва

15 дек. 1953

Глубокоуважаемый тов. Волынский!

Вы, наверное, уже забыли о своем письме, написанном около года тому назад. Я тогда же решил обязательно ответить Вам. Но я был очень занят. Последнее десятилетие я пишу для себя, себе в убыток, не для печати, — последние годы большой современный роман в прозе, и, значит, вдвойне дорожу временем, чтобы укоротить свой отход от заработка и оправдать потерю времени действительно сделанным делом.

Это попутно ответ и на один из Ваших вопросов «стоит ли Вам толкаться в литературные двери». О, конечно нет! Зачем толкаться в эту отвратительнейшую из современных дверей, в которую проходить можно только с лицемерной, продажной, одинаковою у всех, заранее предугадываемою мыслью, под чудовищно однообразное повторение которой и под прикрытием которой натворено столько преступлений, — зачем толкаться в нее, если есть и еще не отнята возможность забыть об этой двери как о несуществующей.

Ваше письмо написано очень живо, Вы умеете мыслить связно и интересно и формулировать свои мысли, — все это — благо, счастливый дар, который все равно участвует в движении и ходе Вашей судьбы и жизни, независимо от того, пересматриваете ли Вы свой выбор призвания или не пересматриваете его. А его и не надо пересматривать. Вы инженер, ученый, у Вас есть знания, пользуйтесь же ими и радуйтесь им.

Наше время наложило ложный налет профессионализма на многое, что совсем не обладает такой осязательной определенностью. Ваш случай, который Вы, хотя и шутливо, представляете примером хронической болезни, есть — случай настоящего умственного и душевного здоровья, которого пожелаю Вам и в дальнейшем.

Мне нельзя затягивать ответа Вам, потому что и сейчас у меня нет времени. Только еще одно замечанье. Вы говорите обо мне: «Вот вы неповторимым поворотом, ярким неожиданным образом взволновали читателя, обострили его слух и зрение, он узнает мир заново, он стал богаче, и это доставляет чувство радости. С этим чувством он идет за Вами и ждет, — вот его обостренному чувству откроется что-то главное, что-то значительное, но иногда этого

не происходит». Совершенно правильное наблюдение. Это один из тех моих ранних недостатков, которые вызывают во мне двойственное отношение к моим прежним книгам, отчего я и отказался в этом году от переиздания избранного своего однотомника, поставленного в планы Гослитиздата на 1955 год.

Серьезность Вашего письма очень понравилась мне. От души желаю Вам удачи в любом из Ваших начинаний. Но литературы сейчас не существует, значит и не для чего бросать главные свои занятия, и нечему предаваться в ущерб им.

Я правда страшно, страшно занят, и лучше не пишите мне, потому что опять я отвечу Вам не скоро, а то и совсем не отвечу.

Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Известия», 11 марта 1995 (с купюрами) — Автограф (собр. Б. М. Волынского). Печатается по фотокопии, предоставленной адресатом.

Известный физик Марк Семенович Волынский занимался изучением жидкостей, автор книги «Необыкновенная жизнь обыкновенной капли» (М., «Знание», 1986) — вышедшей уже после смерти автора. В 1953 г. он послал Пастернаку свои стихи.

1251. М. В. ЮДИНОЙ

17 декабря 1953, Москва

17 дек.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Какая оживленная переписка, не правда ли? Вы и в первом письме послали поклон Зине, напрасно Вы в этом сомневаетесь[1]. Сегодня утром я отправил Вам открытку, зиждущуюся на плане Вам неприемлемом и отвергнутом[2]. Ну, как хотите. Они уже приглашены и приглашены в чаянии, что Вы придете. Следовательно, они будут, и если, может статься, то, что я Вам скажу сейчас, возбудит Ваше любопытство, знайте, что вечером в воскресенье мы будем в сборе и будем ждать Вас, без расчета, что Вы приедете, и будем без конца счастливы, если все же Вы приедете[3]. Может быть, для укрепления высоких позиций, я сейчас скажу — каких, Вы кого-нибудь захватите? Алпатовых?

Теперь вот в чем дело. Обрисованной Вами возможности (растечение тем, консерваторских разговоров и пр.[4]) я не только бы не допустил, но, напротив, во избежание такой измельченной встречи с остальными, позвал их в один вечер с Вами, полагая в

Вашем присутствии гарантию того, что оно исключит скольжение по поверхности и пустословие, а главное, позволит мне в таком сочетании быть именно вполне собою.

Дело в том, что в каких-то отношениях я очень изменился. Летом в меня вошло что-то новое, категорическое, ускоренное и недоброе, больше — раздраженное. Близко от нас жили Нейгаузы. Вдруг я в нем усмотрел воплощение полной себе противоположности во всем, в манере существования, в отношении человека к искусству, к жизни. Это было ощущение волнующее, возбуждающее протест и отчаяние. Мне думалось, отчего одному так легко, беспоследственно легко и безнаказанно порхается, когда другой такою тяжкою душевною ценой оплачивает каждый шаг в жизни. Представьте себе, я не мог этого скрыть и не желал, так что между нами наступило отчуждение. Но я не с ним одним, я со многими поссорился[5].

Между тем я, наверное, не прав. Каждый живет, как ему дано и как он может. Для возобновления отношений с Г<енрихом> Г<уставовичем>, без каких бы то ни было объяснений и примирений, а так, словно ничего и не случилось, я и думал позвать его с М<илицей> С<ергеевной> в сочетании с Вами, как раз для того, чтобы говорить свободно и в полную волю, так, как мне захочется, так, как этого, судя по Вашему письму, хочется Вам.

Ах, какое кропотливое, ненужное и, в конце концов, непонятное Вам объяснение! Поступайте как знаете, наперед все принимаю, кроме обещания приехать к Вам. Давайте в субботу, послезавтра, все же сговоримся, лучше всего вечером в 7 часов. Позвоните, пожалуйста, мне. И, может быть, правда кого-нибудь пригласим в дополнение?

Ваш Б. П.

Впервые: «Новый мир», 1990, № 2. — Автограф (РГБ, ф. 527).

[1] В письме 8 дек. Юдина писала о своем желании увидеться с Пастернаком и кланялась Зинаиде Николаевне (там же. С. 179).

[2] Вероятно, речь о письме 14 дек. 1953: «Дорогая Мария Вениаминовна! Спасибо за письмо, я сам был бы очень рад повидать Вас. К Вам я наверное не выберусь, мне сейчас очень дорого время, а вот Вы, пожалуйста, как-нибудь доставьте нам радость, отобедайте у нас или проведите с нами вечер, всего лучше как-нибудь в воскресенье. Может быть Вы объединитесь с этою целью с обоими Нейгаузами, с Генр. Густ. и Милицей Сергеевной, которых мы тоже давно не видали» (там же. С. 180). В ответ Юдина просила «не соединять» ее с Нейгаузами, и не хотела «разбавленного» Пастернака.

[3] Юдина приехала только на Рождество, 7 января 1954 г.

[4] «...Мне бы хотелось, — писала Юдина 15 дек., — при встрече с Вами, столь редкостной, — избежать профессионально-музыкантских тем (тем паче "консерваторских"!), а таковые почти неизбежны в данной констелляции» (там же. С. 180). В 1951 г. Юдина вынуждена была уйти из Московской консерватории.

[5] Об этом эпизоде см. также письмо № 1240. Юдина во избежание аналогии писала: «Не думайте, что я в "ссоре" с Генрихом Густавовичем. Ни в коей мере! Мы несколько лет не виделись — и все» (там же).

1252. В. Т. ШАЛАМОВУ

18 декабря 1953, Москва

18 дек. 1953

Дорогой Варлам Тихонович!

Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи[1], то вот они, их мне переписали. Я не проверял их, только в одном месте заменил одно слово.

От души всего Вам лучшего. Ничего Вам не пишу, так как к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи.

Ваш Б. П.[2]

Впервые: «Юность», 1988, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 54).

[1] Проездом с Колымы в Озерки 13 ноября 1953 г. В. Шаламов встретился с Пастернаком в Москве. «Я гляжу ему в лицо, — записал Шаламов эту встречу, — в веселые его глаза и весело слушаю: — Нынешний год был хорошим годом. Я написал две тысячи строк "Фауста". Заново перевел. Была уже вторая корректура, но захотелось кое-что изменить — и как из строящегося здания выбивают несколько подпорок — и все готовое рассыпается в прах и надо строить заново. Так мне пришлось писать этот перевод заново <...> "Фауст" выйдет в ноябре, днями. Но этот год, пятьдесят третий год, был для меня не только годом переводческих удач. Я написал еще летом несколько стихотворений. Строго говоря, они еще не записаны. Хотите, я прочту?» (Воспоминания. С. 612).

[2] Через две недели после встречи Пастернак послал Шаламову «Фауста» с дарственной надписью: «Варламу Тихоновичу Шаламову. Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954-го года, было и Ваше освобождение и приезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить дальше, и да будет эта книга (не содержанием, не духом своим, а просто, как предмет в пространстве и объект суеверия) талисманом Вам в постепенно облегчающейся Вашей судьбе и утверждающейся деятельности. *Б. Пастернак.* 2 янв. 1954 г. Москва» (РГАЛИ).

1253. Н. ТАБИДЗЕ

26 декабря 1953, Москва

26 дек. 1953

Дорогая Нина! Ю<рий>В<ладимирович> мне все рассказал[1]. Какие сказочные возможности, какое счастье! Представьте, я верю, как это ни невероятно!!

Вот о чем и зачем я пишу Вам. Соберите все силы сердца и всю свою, столько испытаний выдержавшую волю и перестаньте временно об этом думать. Найдите опору в привычном напряженном течении Вашего трудового дня, в героической Вашей дисциплине, работайте, если возможно, еще больше, глушите себя усталостью, но не забегайте удивительным Вашим, горячим воображением вперед, подавляйте натиск мечты и ожидания. Я даю Вам эти неисполнимые советы не потому, что боюсь за Вас и за Ваше здоровье. Ничего с Вами не будет, не сойдете Вы с ума, как пишете, и ничего с Вами не сделает волнение. Но я знаю, как может себя измучить такою душевною бурей человек такого огня и одухотворения, как Вы, и хочу уберечь Вас от этой муки. Постарайтесь (Вы уже столько нечеловеческих усилий сделали в жизни!), постарайтесь временно стать тупым бесчувственным животным, чтобы как можно больше сохранить себя к этому непредставимо огромному часу и дню. Я страшно люблю Вас, Нина, и впервые за все время, рядом с нуждою моего собственного сердца в Тициане, стало представление о нем, как о Вашей жизни и счастье, которое я должен увидеть и пережить.

Простите, что я так нетактично и много говорю о деньгах, вместо того, чтобы просто безмолвно послать их. Я это мог бы сделать и сейчас, но еще легче будет в середине января, но если Вам надо неотложно, не стесняясь дайте мне об этом знать, и все будет моментально исполнено.

Больше ни о чем не пишу, главное, что я хотел, сказано выше. Желаю Вам встретить Новый год спокойной, сильной и здоровой. То, что мы на протяжении стольких лет все с меньшею верой всегда желали друг другу в этот вечер, так близко к осуществлению. Удивительно! Целую Вас. Берегите себя. *Ваш Б.*

Впервые: «Литературная Грузия», 1980, № 2. — Автограф (ГМГЛ, № 24952, 10).

[1] Ю. В. Кротков передал Пастернаку известие о том, что Тициан Табидзе жив и скоро будет освобожден, — в чем Н. Табидзе получила официальные подтверждения.

1254. Е. И. ЗИНКОВОЙ

29 декабря 1953, Москва

29 дек. 1953

Дорогая Елена Осиповна!

Довольно давно написал я Вам письмо, содержавшее некоторые горькие истины в рискованном, может быть, выражении[1]. Дошло ли оно до Вас? Что вообще у Вас слышно и как Вам живется? Напишите, пожалуйста, мне и простите меня, если наставительный тон того письма Вас чем-нибудь обидел.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (ГЛМ, ф. 370, оп. 2, д. 1).

Елена Иосифовна (Осиповна) Зинкова — жена Б. К. Губарева.

[1] Речь идет о письме начала 1953 г., «рискованные истины» которого были вызваны известием об аресте ее мужа, Б. К. Губарева, за «сотрудничество с оккупантами во время войны», когда он жил в Ахтырке, освобожденный от армии из-за сильной близорукости. Был полностью реабилитирован в 1955 г. Пастернак посылал деньги его жене, очки Губареву в лагерь. В собр. ГЛМ имеется еще одна открытка к Зинковой, написанная в ответ на просьбу подписать ее на «Литературную газету»: «20 окт. 1954. Милая Елена Осиповна! Я не исполню Вашей просьбы. Я доставил бы большое удовольствие редакции Литературной Газеты, если бы обратился туда по делу о Вашей подписке. Но я не прочел ни одного номера этой лживой, пустой, несамостоятельной и совершенно чуждой мне газеты за все годы ее существования. Вы продолжаете представлять себе мир моих отношений в совершенно превратном свете. Вы идеализируете меня. *Ваш Б. П.*».

1255. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 декабря 1953, Москва

30 дек. 1953

Дорогая Олюша, с Новым Годом! Отчего я не пишу тебе? Вследствие, главным образом, лежащего в основе свинства, разумеется. Но есть и другие причины. Потому что надо встретиться, пожить вместе. В этих условиях взаимоосведомление проходит естественно. Да и не в информации дело, а в развивающейся в совместной болтовне философии. Затем я не пишу потому, что все более или менее в порядке у меня, а писать о хорошем всегда граничит с хвастовством или на него сбивается.

Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекрати-

лось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются.

Все, что ты мне предсказала хорошего в близком после инфаркта будущем, начало сбываться в конце лета. Кажется, я тебе об этом писал. Мне удалось переделать чудовищную махину обоечастного Фауста, как мне хотелось. След удовлетворения, оставшийся у меня после возвращения корректур, неправильно разрастался в ожидании выхода книги и создал иллюзию, будто переводом и содержательно, в смысле материально-ощутимого целого и системы мыслей достигнуто что-то новое, сразу открывающееся, очевидное. Теперь Фауст вышел. Я вижу, что это не так, что это ошибка ощущения. Но у меня нет разочарования. В это заблуждение насчет внутренней стороны текста я введен другою удачей: текучестью и естественностью языка и формы, единственным условием, при котором можно прочесть около 600 страниц лирического стиха, то чего я в первую голову добивался и добился.

Я вчерне (но еще в самом грубом поверхностном наброске или пересказе) кончил роман, которому только недостает задуманного эпилога, и написал около дюжины новых стихотворений. Вот уже и глупо, что я тебе все это пишу. Что дает это перечисление? Однако ты из этого заключи, что я здоров и что у меня легко на душе.

Последнее время частые припадки печени у Зины, так что мы отменили предполагавшуюся встречу нового года. Вчера и позавчера у нее были сильные боли, сегодня ей легче.

Все вышеизложенное есть только распространенное вступление к единственно важному, к просьбе, чтобы ты при первой возможности, как-нибудь в начале января, написала мне о себе и Машуре, как вы и что у вас слышно. И передай ей, пожалуйста, самые лучшие пожелания и поздравления с наступающим новым годом. Крепко целую тебя. *Твой Боря*

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1256. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

31 декабря 1953, Москва

31 дек. 1953. Мамочка моя, родная сестра моя Олюша! Подумай, какое совпадение! Я сегодня утром написал тебе письмо, намеренно серое, ординарное, чтобы не связывать тебя и не побуждать к длинному ответу. Но этот холод к Фаусту и все, что там о

нем сказано — искренне и оправдано, и остается в силе. Я захватил письмо на прогулку и забыл опустить его в ящик, имел в виду выйти вечером и отослать. И вдруг — твоя открытка, с ее безмерным теплом, меняющая весь тон разговора.

Завтра вышлю тебе Фауста[1], но верь мне, это факт уже свершившийся и отошедший в прошлое. У меня никакого нетерпения к нему, можешь даже не читать его. Писать же, даже совсем немного о нем, и не думай, прошу тебя!![2] Я ведь не кривляюсь и не рисуюсь, ты надеюсь мне поверишь.

Я уже и в первом письме хотел как-нибудь довести до твоего сознания, не вдаваясь в частности и доказательства, что мне очень хорошо. Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском. Но не в этом источник моего хорошего самочувствия. Тому много причин, много реальных и много воображаемых. Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу, всё с бóльшим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно. Спасибо тебе за открытку. Люблю и целую тебя. *Твой Б.*

Как ты заключишь из первого письма, я Фауста даже не собирался посылать тебе, именно чтобы тебя им не «беспокоить». Как тебе все это объяснить? Это вещи элементарные, из начальной физики. Для того, чтобы все это существовало, значило, двигалось (Фауст, я, работы, радости), требуется воздух. В безвоздушном пространстве оно немыслимо. А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

[1] Дарственная надпись на «Фаусте»: «Дорогой сестре моей Оле, талантливой, мужественной, умной. От Бори. К новому 1954 году. 31 декабря 1953» (там же. С. 305).

[2] Получив «Фауста», О. Фрейденберг писала: «Только что я хотела ответить тебе, как следует... — как пришел Фауст. Ты и вправду *должен* быть счастлив, быть удовлетворен высшим и единственным на земле удовлетвореньем. <...> Фауст — это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу, посмотрела в нее — и поняла это. <...> Превосходен язык, живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гётевской мудрости, и ее измеренье в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шутки, составляющий привкус немецкого средневековья. Все дано в движеньи и в колорите. Заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудно звучит мелос» (там же. С. 308).

СОДЕРЖАНИЕ

719. З. Н. ПАСТЕРНАК *4 января 1935* 7
720. З. Н. ПАСТЕРНАК *7 января 1935* 9
721. З. Н. ПАСТЕРНАК *11–12 января 1935* 10
722. О. Г. ПЕТРОВСКОЙ-СИЛЛОВОЙ *22 февраля 1935* 13
723. Т. ТАБИДЗЕ *10 марта 1935* 16
724. РОДИТЕЛЯМ *14 марта 1935* 18
725. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *3 апреля 1935* 21
726. РОДИТЕЛЯМ *12 апреля 1935* 22
727. С. Д. СПАССКОМУ *14 апреля 1935* 24
728. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ *Середина июня 1935* 25
729. З. Н. ПАСТЕРНАК *1–2 июля 1935* 27
730. РОДИТЕЛЯМ *3 июля 1935* 31
731. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *4 июля 1935* 32
732. З. Н. ПАСТЕРНАК *12 июля 1935* 33
733. РОДИТЕЛЯМ *16 июля 1935* 35
734. Е. В. ПАСТЕРНАК *16 июля 1935* 37
735. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *5 августа 1935* 39
736. З. Н. ПАСТЕРНАК *14 августа 1935* 41
737. З. Н. ПАСТЕРНАК *Конец августа 1935* 42
738. Т. ТАБИДЗЕ *6 сентября 1935* 44
739. РОДИТЕЛЯМ *Конец сентября 1935* 45
740. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ *3 октября 1935* 49
741. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *10 октября 1935* 51
742. РОДИТЕЛЯМ *26 октября 1935* 53
743. И. В. СТАЛИНУ *1 ноября 1935* 55
744. Й. ГОРЕ *15 ноября 1935* 55
745. Г. В. БЕБУТОВУ *15–16 ноября 1935* 58
746. И. В. СТАЛИНУ *Конец декабря 1935* 61
747. РОДИТЕЛЯМ *25–28 декабря 1935* 63

748. РОДИТЕЛЯМ *Начало января 1936* 67
749. К. А. ФЕДИНУ *28 февраля 1936* 69
750. РОДИТЕЛЯМ *6 марта 1936* 71
751. РОДИТЕЛЯМ *19 марта 1936* 72
752. Т. и Н. ТАБИДЗЕ *8 апреля 1936* 75
753. Л. Л. СЛЕЙТЕР *25 апреля 1936* 77
754. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *13 мая 1936* 80
755. РОДИТЕЛЯМ *18 мая 1936* 83
756. РОДИТЕЛЯМ *Июль 1936* 88
757. РОДИТЕЛЯМ *Сентябрь 1936* 90
758. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *1 октября 1936* 94
759. Т. и Н. ТАБИДЗЕ *1–9 октября 1936* 99
760. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *16 октября 1936* 101
761. Н. И. БУХАРИНУ *15–16 ноября 1936* 102
762. РОДИТЕЛЯМ *24–25 ноября 1936* 104
763. П. Д. ЭТТИНГЕРУ *5 февраля 1937* 107
764. РОДИТЕЛЯМ *12–22 февраля 1937* 109
765. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ *Весна 1937* 112
766. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *1 июля 1937* 113
767. Н. С. ТИХОНОВУ *2 июля 1937* 115
768. Т. ЯШВИЛИ *28 августа 1937* 117
769. РОДИТЕЛЯМ *1 октября 1937* 120
770. Л. Л. СЛЕЙТЕР *Декабрь 1937* 123
771. РОДИТЕЛЯМ *6 января 1938* 128
772. Г. А. ШЕНГЕЛИ *11 января 1938* 130
773. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ *Март 1938* 131
774. С. ЧИКОВАНИ *20 апреля 1938* 132
775. Л. Л. СЛЕЙТЕР *30 октября – 1 ноября 1938* 133
776. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *1 ноября 1938* 139
777. Н. ТАБИДЗЕ *Начало ноября 1938* 141
778. Л. К. ЧУКОВСКОЙ *5 ноября 1938* 142
779. Н. К. ЧУКОВСКОМУ *5 ноября 1938* 143
780. И. А. КАШКИНУ *16 ноября 1938* 145
781. С. и М. ЧИКОВАНИ *12 января 1939* 146
782. Л. Л. СЛЕЙТЕР *12 января 1939* 146
783. РОДИТЕЛЯМ *29 апреля 1939* 148
784. В. В. ВЕРЕСАЕВУ *20 мая 1939* 152
785. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *15 июля 1939* 154
786. Л. Л. и Л. О. ПАСТЕРНАКАМ *10 октября 1939* 156
787. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *14 октября 1939* 157
788. Н. ТАБИДЗЕ *Октябрь 1939* 159
789. Н. ТАБИДЗЕ *Начало декабря 1939* 160
790. Н. ТАБИДЗЕ *14 декабря 1939* 161
791. Н. ТАБИДЗЕ *28 декабря 1939* 162

792. В. Л. ЮРЕНЕВОЙ *1939* ... 162
793. Н. ТАБИДЗЕ *5 февраля 1940* ... 163
794. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *14 февраля 1940* ... 163
795. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *14 февраля 1940* ... 165
796. М. Л. ЛОЗИНСКОМУ *1 марта 1940* ... 167
797. Н. ТАБИДЗЕ *15 мая 1940* ... 169
798. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *15 мая 1940* ... 172
799. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *16 мая 1940* ... 172
800. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *28 июня 1940* ... 173
801. Н. А. ОЛЬШЕВСКОЙ и В. Е. АРДОВУ *16 июля 1940* ... 174
802. К. А. ТРЕНЕВУ *26 июля 1940* ... 175
803. Л. П. БЕРИИ *Июль 1940* ... 175
804. И. В. СТАЛИНУ *Июль 1940* ... 176
805. В. М. БОЧКОВУ *Июль 1940* ... 177
806. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ *28 июля 1940* ... 177
807. А. А. АХМАТОВОЙ *28 июля 1940* ... 179
808. П. А. ПАВЛЕНКО *28 августа 1940* ... 182
809. С. Я. МАРШАКУ *11 сентября 1940* ... 184
810. А. А. БАРКОВОЙ *13 сентября 1940* ... 184
811. Н. Г. ВИНОГРАДОВУ-МАМОНТУ *14 сентября 1940* ... 185
812. Н. ТАБИДЗЕ *16 сентября 1940* ... 186
813. И. БЕХЕРУ *20 сентября 1940* ... 188
814. Н. ТАБИДЗЕ *Конец сентября 1940* ... 189
815. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *7 октября 1940* ... 190
816. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *16 октября 1940* ... 191
817. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *18 октября 1940* ... 191
818. Н. ТАБИДЗЕ *20 октября 1940* ... 192
819. А. А. БАРКОВОЙ *30 октября 1940* ... 193
820. А. А. АХМАТОВОЙ *1 ноября 1940* ... 193
821. А. И. ВЬЮРКОВУ *12 ноября 1940* ... 195
822. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *15 ноября 1940* ... 197
823. Н. ТАБИДЗЕ *23 декабря 1940* ... 199
824. Н. ТАБИДЗЕ *27 декабря 1940* ... 200
825. Н. ТАБИДЗЕ *31 декабря 1940* ... 201
826. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *4 февраля 1941* ... 203
827. Н. и Т. ТАБИДЗЕ *6 февраля 1941* ... 205
828. М. В. ЮДИНОЙ *8 февраля 1941* ... 207
829. Е.М. СТЕЦЕНКО *8 февраля 1941* ... 207
830. С. П. БОБРОВУ *5 марта 1941* ... 209
831. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *20 марта 1941* ... 210
832. Н. ТАБИДЗЕ *21 марта 1941* ... 211
833. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ *8 апреля 1941* ... 212
834. Н. ТАБИДЗЕ *14 апреля 1941* ... 215
835. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *8 мая 1941* ... 216

836. С. Д. СПАССКОМУ *9 мая 1941* 218
837. И. Д. РОЖАНСКОМУ *16 мая 1941* 219
838. Л. О. ПАСТЕРНАКУ *19 июня 1941* 220
839. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *9 июля 1941* 222
840. З. Н. ПАСТЕРНАК *12 июля 1941* 222
841. З. Н. ПАСТЕРНАК *19 июля 1941* 223
842. З. Н. ПАСТЕРНАК *21 июля 1941* 224
843. З. Н. ПАСТЕРНАК *24 июля 1941* 225
844. К. А. ФЕДИНУ *Середина июля — начало августа 1941* 226
845. З. Н. ПАСТЕРНАК *7 августа 1941* 227
846. З. Н. ПАСТЕРНАК *11 августа 1941* 228
847. З. Н. ПАСТЕРНАК *17 августа 1941* 229
848. З. Н. ПАСТЕРНАК *26 августа 1941* 231
849. З. Н. ПАСТЕРНАК *27–28 августа 1941* 234
850. З. Н. ПАСТЕРНАК *1–4 сентября 1941* 237
851. Б. Н. ЛИВАНОВУ *5 сентября 1941* 241
852. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ *7–9 сентября 1941* 243
853. З. Н. ПАСТЕРНАК *8–10 сентября 1941* 244
854. З. Н. ПАСТЕРНАК *12 сентября 1941* 248
855. Н. ТАБИДЗЕ *14 сентября 1941* 250
856. Е. М. СТЕЦЕНКО *Конец сентября 1941* 251
857. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ *25 сентября 1941* 252
858. З. Н. ПАСТЕРНАК *20-е числа сентября 1941* 253
859. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ *8 октября 1941* 254
860. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ *8 октября 1941* 255
861. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ *18 ноября 1941* 256
862. Е. В. ПАСТЕРНАК *22 ноября 1941* 258
863. А. Л. и И. Н. ПАСТЕРНАКАМ *5 декабря 1941* 259
864. П. И. ЧАГИНУ *12 декабря 1941* 260
865. З. Н. ПАСТЕРНАК *31 декабря 1941* 261
866. А. Л. ПАСТЕРНАКУ *2 января 1942* 263
867. З. Г. ДАЛЬЦЕВУ *13 февраля 1942* 264
868. Д. Д. АВДЕЕВУ *18 февраля 1942* 265
869. К. И. ЧУКОВСКОМУ *12 марта 1942* 266
870. Е. В. ПАСТЕРНАК *12 марта 1942* 268
871. Т. В. и В. В. ИВАНОВЫМ *12 марта 1942* 270
872. А. Е. КРУЧЕНЫХ *18 марта 1942* 272
873. А. К. ГЛАДКОВУ *18 марта 1942* 274
874. А. Л. ПАСТЕРНАКУ *22 марта 1942* 275
875. А. Е. КРУЧЕНЫХ *22 марта 1942* 278
876. М. Б. ХРАПЧЕНКО *25 марта 1942* 279
877. В. В. и Т. В. ИВАНОВЫМ *8 апреля 1942* 280
878. Е. В. ПАСТЕРНАК *10 апреля 1942* 283
879. М. Б. ХРАПЧЕНКО *10 апреля 1942* 284

880. П. И. ЧАГИНУ *22 мая 1942* ... 285
881. А. О. НАУМОВОЙ *23 мая 1942* ... 286
882. П. И. ЧАГИНУ *30 мая 1942* ... 288
883. В. В. ГОЛЬЦЕВУ *18 июня 1942* ... 289
884. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ *28 июня 1942* ... 289
885. А. О. НАУМОВОЙ *Июнь-июль 1942* ... 290
886. П. И. ЧАГИНУ *1 июля 1942* ... 291
887. М. П. ГОНТЕ *4 июля — 25 сентября 1942* ... 293
888. Н. Ф. БЛУМЕНФЕЛЬД *9–21 июля 1942* ... 295
889. М. М. МОРОЗОВУ *15 июля 1942* ... 296
890. А. О. НАУМОВОЙ *16 июля 1942* ... 301
891. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *18 июля 1942* ... 302
892. А. О. НАУМОВОЙ *30 июля 1942* ... 305
893. Е. В. ПАСТЕРНАК *1 августа 1942* ... 308
894. А. Я. ТАИРОВУ *9 августа 1942* ... 309
895. А. А. ФАДЕЕВУ *3 сентября 1942* ... 310
896. Е. В. ПАСТЕРНАК *16 сентября 1942* ... 311
897. А. А. ФАДЕЕВУ *Октябрь 1942* ... 313
898. Е. В. ПАСТЕРНАК *14–25 октября 1942* ... 314
899. З. Н. ПАСТЕРНАК *18–20 октября 1942* ... 316
900. З. Н. ПАСТЕРНАК *19 ноября 1942* ... 319
901. Л. О. ПАСТЕРНАКУ
и Л. Л. СЛЕЙТЕР *24–25 ноября 1942* ... 322
902. З. Н. ПАСТЕРНАК *29 ноября 1942* ... 323
903. З. Н. ПАСТЕРНАК *6–12 декабря 1942* ... 325
904. Е. В. ПАСТЕРНАК *12–14 декабря 1942* ... 327
905. М. Б. ХРАПЧЕНКО *3 января 1943* ... 331
906. А. Е. КРУЧЕНЫХ *5 января 1943* ... 332
907. А. Е. КРУЧЕНЫХ *6 января 1943* ... 332
908. Н. Н. АСЕЕВУ *19 января 1943* ... 333
909. А. Е. КРУЧЕНЫХ *28 января 1943* ... 334
910. В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО *29 января 1943* ... 335
911. Е. В. ПАСТЕРНАК *30 января 1943* ... 337
912. П. И. ЧАГИНУ *Начало февраля 1943* ... 338
913. А. Е. КРУЧЕНЫХ *15 февраля 1943* ... 339
914. В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО *12 марта 1943* ... 341
915. А. Е. КРУЧЕНЫХ *27 марта 1943* ... 342
916. П. И. ЧАГИНУ *23 апреля 1943* ... 342
917. Е. В. ПАСТЕРНАК *9 июня 1943* ... 343
918. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ *10 июня 1943* ... 345
919. С. П. БОБРОВУ *20 июня 1943* ... 347
920. А. С. ЩЕРБАКОВУ *16 июля 1943* ... 348
921. А. А. ФАДЕЕВУ *18 июля 1943* ... 350
922. Н. ТАБИДЗЕ *Июль 1943* ... 351

923. А. И. СТАРЦЕВУ *22 августа 1943* 351
924. Дж. РИВИ *25 сентября 1943* 352
925. Е. А. БЛАГИНИНОЙ *15 октября 1943* 353
926. В. Д. АВДЕЕВУ *21 октября 1943* 354
927. А. А. ФАДЕЕВУ *23 октября 1943* 357
928. Д. Д., Н. Г., А. Д. и В. Д. АВДЕЕВЫМ *30 октября 1943* 358
929. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *5 ноября 1943* 358
930. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *12 ноября 1943* 362
931. Н. ТАБИДЗЕ *10 декабря 1943* 362
932. Дж. РИВИ *24 декабря 1943* 364
933. Д. С. ДАНИНУ *3 января 1944* 365
934. П. А. ВАСИЛЬЕВУ *26 января 1944* 367
935. В. Д. АВДЕЕВУ *3 февраля 1944* 368
936. Н. С. ТИХОНОВУ *21 марта 1944* 371
937. Н. ТАБИДЗЕ *30 марта 1944* 371
938. А. С. ЩЕРБАКОВУ *5 мая 1944* 373
939. Д. М. ЛУЗАНОВУ *Начало мая 1944* 375
940. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *12 июня 1944* 377
941. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *30 июля 1944* 378
942. С. ЧИКОВАНИ *12 августа 1944* 380
943. В. Д. АВДЕЕВУ *12 ноября 1944* 381
944. С. И. ЮТКЕВИЧУ *15 декабря 1944* 382
945. С. Н. ДУРЫЛИНУ *19 декабря 1944* 383
946. Е. Е. ТАГЕР *Начало января 1945* 385
947. М. Б. ХРАПЧЕНКО *5 февраля 1945* 386
948. С. ЧИКОВАНИ *Весна 1945* 387
949. С. Н. ДУРЫЛИНУ *20 июня 1945* 388
950. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *21 июня 1945* 391
951. И. С. БУРКОВУ *23 июня 1945* 393
952. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *23 июня 1945* 393
953. Н. И. ВАСИЛЬЕВОЙ *27 июня 1945* 394
954. С. Н. ДУРЫЛИНУ *29 июня 1945* 395
955. С. Н. ДУРЫЛИНУ *3 июля 1945* 400
956. Е. М. УРАЗОВОЙ *5 июля 1945* 400
957. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *13 июля 1945* 401
958. П. И. ЧАГИНУ *6 августа 1945* 402
959. Н. Н. НИКИТИНУ *12 августа 1945* 403
960. Н. ТАБИДЗЕ *14 августа 1945* 404
961. Я. Э. ГОЛОСОВКЕРУ *Середина августа 1945* 406
962. Я. Э. ГОЛОСОВКЕРУ *Август 1945* 406
963. И. В. СТАЛИНУ *25 августа 1945* 407
964. К. А. ФЕДИНУ *26 августа 1945* 409
965. А. А. ФАДЕЕВУ *26 августа 1945* 409
966. С. ЧИКОВАНИ *9 сентября 1945* 410

967. С. Н. ДУРЫЛИНУ *10 сентября 1945* 411
968. С. ЧИКОВАНИ *24 сентября 1945* 412
969. З. Н. ПАСТЕРНАК *Конец сентября 1945* 413
970. Н. ТАБИДЗЕ *1 ноября 1945* 414
971. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *2 ноября 1945* 417
972. С. ЧИКОВАНИ *5 ноября 1945* 417
973. С. ЧИКОВАНИ *9 ноября 1945* 418
974. А. Е. КРУЧЕНЫХ *10 ноября 1945* 420
975. И. С. ПОСТУПАЛЬСКОМУ *10 ноября 1945* 420
976. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ *Ноябрь 1945* 421
977. Г. С. УЛАНОВОЙ *13 декабря 1945* 423
978. И. А. КАШКИНУ *18 декабря 1945* 424
979. М. Б. ХРАПЧЕНКО *18 декабря 1945* 425
980. Ж. Л. ПАСТЕРНАК
и Л. Л. СЛЕЙТЕР *11–24 декабря 1945* 426
981. Г. РИДУ и С. ШИМАНСКОМУ *25 декабря 1945* 434
982. И. С. БУРКОВУ *28 декабря 1945* 437
983. Н. ТАБИДЗЕ *24 января 1946* 438
984. С. ЧИКОВАНИ *25 января 1946* 439
985. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ *26 января 1946* 441
986. С. Н. ДУРЫЛИНУ *27 января 1946* 442
987. С. Д. СПАССКОМУ *28 января 1946* 444
988. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *1 февраля 1946* 445
989. С. ЧИКОВАНИ *1 февраля 1946* 445
990. А. Н. ГЛУМОВУ
и Н. А. ГОЛУБЕНЦЕВУ *7 февраля 1946* 447
991. М. ЧИКОВАНИ *19 февраля 1946* 447
992. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *24 февраля 1946* 449
993. М. ЧИКОВАНИ *4 марта 1946* 450
994. Ю. Н. ВЕРХОВСКОМУ *12 марта 1946* 452
995. А. С. МЯСНИКОВУ *12 марта 1946* 453
996. С. Н. ДУРЫЛИНУ *24 марта 1946* 454
997. Н. ТАБИДЗЕ *Апрель 1946* 455
998. С. ЧИКОВАНИ *24 апреля 1946* 456
999. С. ЧИКОВАНИ *22 мая 1946* 457
1000. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *31 мая 1946* 458
1001. В. М. САЯНОВУ *18 июня 1946* 459
1002. И. БЕРЛИНУ *26 июня 1946* 461
1003. Л. Л. СЛЕЙТЕР *26 июня 1946* 462
1004. С. ШИМАНСКОМУ *26 июня 1946* 466
1005. Т. Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК *2 июля 1946* 467
1006. С. ЧИКОВАНИ *15 июля 1946* 468
1007. К. А. ФЕДИНУ *3 августа 1946* 469
1008. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *5 октября 1946* 470

1009. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *13 октября 1946* 472
1010. М. Б. ХРАПЧЕНКО *14 октября 1946* 473
1011. К. М. СИМОНОВУ
и А. Ю. КРИВИЦКОМУ *Октябрь 1946* 474
1012. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *12 ноября 1946* 475
1013. С. ЧИКОВАНИ *Конец ноября 1946* 477
1014. Н. ТАБИДЗЕ *4 декабря 1946* 478
1015. Н. ТАБИДЗЕ *22 декабря 1946* 480
1016. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *10 января 1947* 482
1017. В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ *Середина января 1947* 483
1018. С. Д. СПАССКОМУ *24 января 1947* 483
1019. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *24 января 1947* 484
1020. М. В. ЮДИНОЙ *4 февраля 1947* 486
1021. Э. А. РАЙЦЫН *8 февраля 1947* 487
1022. М. В. ЮДИНОЙ *9–10 февраля 1947* 488
1023. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *16 февраля 1947* 489
1024. М. ЧИКОВАНИ *25 февраля 1947* 490
1025. З. Ф. РУОФФ *16 марта 1947* 492
1026. Н. ТАБИДЗЕ *22 марта 1947* 492
1027. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *26 марта 1947* 493
1028. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *9 апреля 1947* 494
1029. К. М. СИМОНОВУ *11 мая 1947* 495
1030. К. М. СИМОНОВУ
и А. Ю. КРИВИЦКОМУ *7 июня 1947* 497
1031. Д. С. и К. А. ФЕДИНЫМ *20 июня 1947* 498
1032. А. А. ФАДЕЕВУ *Июнь 1947* 499
1033. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *8 сентября 1947* 501
1034. Н. ТАБИДЗЕ *26 сентября 1947* 503
1035. А. И. ПУЗИКОВУ *14 октября 1947* 504
1036. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *22 ноября 1947* 505
1037. М. К. БАРАНОВИЧ *29 декабря 1947* 507
1038. В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ *29 декабря 1947* 507
1039. Б. К. ГУБАРЕВУ *10 января 1948* 508
1040. С. и М. ЧИКОВАНИ *10 января 1948* 509
1041. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *10 января 1948* 510
1042. Н. МУРАВИНОЙ *19 февраля 1948* 511
1043. Б. С. КУЗИНУ *7 марта 1948* 511
1044. И. С. БУРКОВУ *6 апреля 1948* 513
1045. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *6 апреля 1948* 514
1046. М. П. ГРОМОВУ *6 апреля 1948* 515
1047. Д. Д. ШОСТАКОВИЧУ *22 апреля 1948* 517
1048. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ и К. КУЛИЕВУ *29 апреля 1948* 517
1049. Б. К. ГУБАРЕВУ *29 апреля 1948* 518
1050. В. Д. АВДЕЕВУ *21 мая 1948* 519

1051. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *3 июня 1948* 520
1052. З. Н. ПАСТЕРНАК *4 июня 1948* 522
1053. З. Н. ПАСТЕРНАК *11 июня 1948* 523
1054. З. Н. ПАСТЕРНАК *16 июня 1948* 524
1055. Г. А. ЯРЦЕВУ *16 июня 1948* 525
1056. З. Н. ПАСТЕРНАК *22 июня 1948* 527
1057. А. Е. КРУЧЕНЫХ *23 июня 1948* 528
1058. З. Н. ПАСТЕРНАК *24 июня 1948* 529
1059. Л. В. ГОРНУНГУ *26 июня 1948* 531
1060. С. Д. СПАССКОМУ *12 июля 1948* 531
1061. М. К. БАРАНОВИЧ *14 июля 1948* 532
1062. О. Л. ЛЕОНИДОВУ *14 июля 1948* 533
1063. С. Д. СПАССКОМУ *20 июля 1948* 534
1064. А. С. ЭФРОН *9 августа 1948* 535
1065. С. Д. СПАССКОМУ *14 августа 1948* 537
1066. Н. МУРАВИНОЙ *20 августа 1948* 537
1067. Б. К. ГУБАРЕВУ *7 сентября 1948* 538
1068. З. Н. ПАСТЕРНАК *22 сентября 1948* 539
1069. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *29 июня — 1 октября 1948* 540
1070. А. С. ЭФРОН *10 октября 1948* 542
1071. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ,
К. И. и В. И. ЛАПШОВЫМ *Середина октября 1948* 543
1072. А. К. ТАРАСЕНКОВУ *18–19 октября 1948* 544
1073. А. С. ЭФРОН *6 ноября 1948* 545
1074. Б. Г. ОРЛОВУ *6 ноября 1948* 545
1075. А. С. ЭФРОН *12 ноября 1948* 547
1076. Л. В. ГОРНУНГУ *19 ноября 1948* 548
1077. К. КУЛИЕВУ *25 ноября 1948* 548
1078. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *28 ноября 1948* 550
1079. Н. МУРАВИНОЙ *28 ноября 1948* 550
1080. Н. ТАБИДЗЕ *28 ноября 1948* 551
1081. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *30 ноября 1948* 552
1082. А. С. ЭФРОН *2 декабря 1948* 554
1083. Ф. К., Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ
и Л. Л. СЛЕЙТЕР *12 декабря 1948* 555
1084. А. С. ЭФРОН *29 января 1949* 558
1085. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *29 января 1949* 559
1086. Н. МУРАВИНОЙ *12 февраля 1949* 559
1087. М. П. ГРОМОВУ *18 марта 1949* 560
1088. М. В. ЮДИНОЙ *27 марта 1949* 561
1089. Н. ТАБИДЗЕ *5 апреля 1949* 562
1090. К. М. СИМОНОВУ *9 апреля 1949* 563
1091. Н. МУРАВИНОЙ *16 мая 1949* 564
1092. Е. Е. ТАГЕР *22 июня 1949* 565

1093. А. А. ФАДЕЕВУ *20 июля 1949* 565
1094. А. П. РЯБИНИНОЙ *22 июля 1949* 568
1095. А. К. КОТОВУ *22 июля 1949* 570
1096. В. Г. КОМПАНИЙЦУ *24 июля 1949* 571
1097. А. П. РЯБИНИНОЙ *1 августа 1949* 573
1098. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *7 августа 1949* 573
1099. А. А. ФАДЕЕВУ *1 октября 1949* 576
1100. К. А. ФЕДИНУ *2 октября 1949* 579
1101. Н. ТАБИДЗЕ *15 октября 1949* 580
1102. С. С. ПРОКОФЬЕВУ *16 октября 1949* 581
1103. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ *25 октября 1949* 581
1104. А. К. КОТОВУ *9 ноября 1949* 582
1105. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ *20 ноября 1949* 583
1106. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *9 декабря 1949* 584
1107. А. С. ЭФРОН *20 декабря 1949* 586
1108. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *22 декабря 1949* 587
1109. Н. А. ВЕНКСТЕРН *26 декабря 1949* 588
1110. К. КУЛИЕВУ *30–31 декабря 1949* 589
1111. Н. ВАЧНАДЗЕ *31 декабря 1949* 590
1112. С. Н. ДУРЫЛИНУ *1949* 593
1113. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *Начало января 1950* 594
1114. А. С. ЭФРОН *19 января 1950* 595
1115. А. С. ЭФРОН *19 февраля 1950* 596
1116. А. С. ЭФРОН *22 февраля 1950* 597
1117. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *22 февраля 1950* 598
1118. С. А. НЕМЗЕРУ *2 марта 1950* 599
1119. Н. МУРАВИНОЙ *3 марта 1950* 601
1120. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *11 марта 1950* 602
1121. Н. С. РОДИОНОВУ *27 марта 1950* 603
1122. А. С. ЭФРОН *29 марта 1950* 604
1123. Н. ТАБИДЗЕ *6 апреля 1950* 605
1124. Н. ТАБИДЗЕ *1 мая 1950* 608
1125. Б. К. ГУБАРЕВУ *20 мая 1950* 609
1126. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *20 мая 1950* 610
1127. Е. В. и Е. Б. ПАСТЕРНАКАМ *21 мая 1950* 611
1128. В. Д. АВДЕЕВУ *25 мая 1950* 612
1129. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *25 мая 1950* 613
1130. А. С. ЭФРОН *25 мая 1950* 614
1131. Б. С. РОМАШОВУ *22 июня 1950* 616
1132. С. В. ШЕРВИНСКОМУ *14 августа 1950* 617
1133. Н. А. ВЕНКСТЕРН *14 августа 1950* 618
1134. Е. Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ *20 августа 1950* 619
1135. Е. Я. ЭФРОН *20 сентября 1950* 620
1136. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *21 сентября 1950* 621

1137. А. С. ЭФРОН *21 сентября 1950* 622
1138. З. А. НИКИТИНОЙ *22 сентября 1950* 623
1139. А. С. ЭФРОН *30 сентября 1950* 624
1140. С. П. БОБРОВУ
и М. П. БОГОСЛОВСКОЙ *27 октября 1950*..... 625
1141. З. А. НИКИТИНОЙ *Первая половина ноября 1950*..... 625
1142. Р. МИКАДЗЕ *18 ноября 1950*..... 626
1143. Н. ТАБИДЗЕ *19 ноября 1950*..... 628
1144. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ *19 ноября 1950* 630
1145. З. А. НИКИТИНОЙ *22 ноября 1950* 631
1146. А. С. ЭФРОН *5 декабря 1950*..... 632
1147. Н. ТАБИДЗЕ *5 декабря 1950*..... 633
1148. С. П. БОБРОВУ
и М. П. БОГОСЛОВСКОЙ *7 декабря 1950* 634
1149. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *20 декабря 1950* 635
1150. Н. МУРАВИНОЙ *8 февраля 1951*..... 637
1151. Б. К. ГУБАРЕВУ *23 февраля 1951* 638
1152. В. В. ШИТОВОЙ *23 февраля 1951*..... 638
1153. Н. ТАБИДЗЕ *23 февраля 1951*..... 639
1154. А. С. ЭФРОН *25 февраля 1951* 642
1155. А. С. ЭФРОН *26 марта 1951*..... 643
1156. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *Март 1951* 644
1157. Г. ЛЕОНИДЗЕ *15 апреля 1951*..... 645
1158. М. и А. ШАНШИАШВИЛИ *15 апреля 1951* 646
1159. Н. ТАБИДЗЕ *15–16 апреля 1951* 647
1160. С. ЧИКОВАНИ *29 апреля 1951* 649
1161. Н. ТАБИДЗЕ *2 мая 1951* 651
1162. О. В. ИВИНСКОЙ *31 мая 1951* 652
1163. З. А. НИКИТИНОЙ *14 июня 1951*..... 652
1164. А. С. ГРЕБЕШКОВОЙ *14 июня 1951* 653
1165. З. А. НИКИТИНОЙ *23 июля 1951*..... 654
1166. А. С. ЭФРОН *25 июля 1951* 655
1167. С. и М. ЧИКОВАНИ *2 августа 1951*..... 656
1168. Е. и Г. ЛЕОНИДЗЕ *2 августа 1951*..... 656
1169. О. В. ИВИНСКОЙ *7 августа 1951* 657
1170. А. С. ЭФРОН *28 августа 1951* 658
1171. А. С. ЭФРОН *Сентябрь 1951* 658
1172. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *11 октября 1951*..... 659
1173. А. К. КОТОВУ *30 октября 1951* 661
1174. Н. ТАБИДЗЕ *10 ноября 1951*..... 662
1175. Н. МУРАВИНОЙ *18 ноября 1951*..... 664
1176. Н. ТАБИДЗЕ *4 января 1952*..... 665
1177. С. Н. ДУРЫЛИНУ *23 февраля 1952*..... 666
1178. К. Г. ЛОКСУ *24 февраля 1952* 667

1179. З. А. НИКИТИНОЙ *3 марта 1952* 667
1180. Н. В. СТЕФАНОВИЧУ *26 марта 1952* 668
1181. А. С. ЭФРОН *27 марта 1952* 669
1182. Б. Н. и Е. К. ЛИВАНОВЫМ *12 апреля 1952* 672
1183. Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *21 апреля 1952* 672
1184. Н. ТАБИДЗЕ *3 июня 1952* 674
1185. О. А. МОЧАЛОВОЙ *5 июня 1952* 676
1186. Г. ЛЕОНИДЗЕ *9 июня 1952* 676
1187. А. С. ЭФРОН *14 июня 1952* 678
1188. С. и М. ЧИКОВАНИ *14 июня 1952* 679
1189. А. С. ГРЕБЕШКОВОЙ *22 июня 1952* 680
1190. Ф. ТВАЛТВАДЗЕ *22 июня 1952* 681
1191. С. и М. ЧИКОВАНИ *2 июля 1952* 683
1192. В. Т. ШАЛАМОВУ *9 июля 1952* 684
1193. Г. И. ГУДЗЬ *15 июля 1952* 690
1194. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *16–19 июля 1952* 691
1195. Ф. ТВАЛТВАДЗЕ *30 июля 1952* 693
1196. В. А. КАВЕРИНУ *2 августа 1952* 694
1197. А. С. ЭФРОН *6 сентября 1952* 695
1198. Н. ТАБИДЗЕ *6–8 сентября 1952* 696
1199. Т. ТАБИДЗЕ *16 сентября 1952* 699
1200. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *24 сентября 1952* 700
1201. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ *27 сентября 1952* 701
1202. К. А. ФЕДИНУ *4 октября 1952* 702
1203. М. К. БАРАНОВИЧ *11–19 октября 1952* 703
1204. А. С. ЭФРОН *19 октября 1952* 703
1205. Д. С. и К. А. ФЕДИНЫМ *19 октября 1952* 706
1206. М. К. БАРАНОВИЧ *Конец октября 1952* 706
1207. А. К. КОТОВУ *3 января 1953* 708
1208. А. С. ЭФРОН *12 января 1953* 709
1209. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *12 января 1953* 710
1210. Н. ТАБИДЗЕ *17 января 1953* 710
1211. Н. МУРАВИНОЙ *19 января 1953* 712
1212. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *20 января 1953* 713
1213. К. КУЛИЕВУ и Е. Д. ОРЛОВСКОЙ *30 января 1953* 714
1214. М. К. БАРАНОВИЧ *3 февраля 1953* 715
1215. Н. Н. АСЕЕВУ *5 февраля 1953* 716
1216. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *15 февраля 1953* 718
1217. А. С. ЭФРОН *15 февраля 1953* 718
1218. В. Ф. АСМУСУ *3 марта 1953* 719
1219. Г. И. ГУДЗЬ *7 марта 1953* 721
1220. А. А. ФАДЕЕВУ *14 марта 1953* 722
1221. Р. И. МАХНОВОЙ *16 марта 1953* 724
1222. Н. ТАБИДЗЕ *4 апреля 1953* 724

1223. А. С. ЭФРОН *10 апреля 1953* ... 726
1224. О. В. ИВИНСКОЙ *10–12 апреля 1953* ... 727
1225. Н. В. УГРИМОВОЙ *10 апреля 1953* ... 728
1226. К. А. ФЕДИНУ *13 апреля 1953* ... 729
1227. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ *15 апреля 1953* ... 730
1228. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *26 июня 1953* ... 731
1229. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *12 июля 1953* ... 732
1230. А. С. ЭФРОН *7 августа 1953* ... 734
1231. М. К. БАРАНОВИЧ *9 августа 1953* ... 735
1232. К. КУЛИЕВУ *10 августа 1953* ... 738
1233. А. И. ЦВЕТАЕВОЙ *11 августа 1953* ... 740
1234. Е. В. и Н. А. ЗАБОЛОЦКИМ *12 августа 1953* ... 741
1235. М. К. БАРАНОВИЧ *26 августа 1953* ... 742
1236. А. С. ЭФРОН *30 августа 1953* ... 742
1237. Г. ЛЕОНИДЗЕ *5 сентября 1953* ... 744
1238. Д. Н. и В. П. ЖУРАВЛЕВЫМ *14–16 сентября 1953* ... 745
1239. Н. ТАБИДЗЕ *18 сентября 1953* ... 747
1240. Н. ТАБИДЗЕ *30 сентября 1953* ... 748
1241. Д. Н. и В. П. ЖУРАВЛЕВЫМ *1 октября 1953* ... 751
1242. К. А. ФЕДИНУ *17 октября 1953* ... 753
1243. Г. М. КОЗИНЦЕВУ *20 октября 1953* ... 753
1244. Г. М. КОЗИНЦЕВУ *27 октября 1953* ... 755
1245. В. В. РОГОВУ *27 октября 1953* ... 756
1246. Н. ТАБИДЗЕ *27 октября 1953* ... 758
1247. Н. ТАБИДЗЕ *16 ноября 1953* ... 759
1248. М. В. АЛПАТОВУ *18 ноября 1953* ... 760
1249. А. П. РЯБИНИНОЙ *10 декабря 1953 — 4 января 1954* ... 762
1250. М. С. ВОЛЫНСКОМУ *15 декабря 1953* ... 763
1251. М. В. ЮДИНОЙ *17 декабря 1953* ... 764
1252. В. Т. ШАЛАМОВУ *18 декабря 1953* ... 766
1253. Н. ТАБИДЗЕ *26 декабря 1953* ... 767
1254. Е. И. ЗИНКОВОЙ *29 декабря 1953* ... 768
1255. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *30 декабря 1953* ... 768
1256. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ *31 декабря 1953* ... 769

Пастернак Б. Л.

П 19 Полное собрание сочинений [Текст]: в 11 т. Т. IX. Письма 1935–1953 / Борис Пастернак; сост., коммент. Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. — 784 с.
ISBN 5-85050-689-6 (в пер.)

В девятый том включены письма 1935–1953 годов — наиболее страшного и трагического периода советской истории. Они свидетельствуют о растущем разочаровании Пастернака в провозглашаемых с высоких трибун ценностях, их вопиющем противоречии с реальной действительностью, о крушении надежд на либерализацию режима после победы СССР в Великой Отечественной войне.

В том вошли не публиковавшиеся ранее письма Пастернака в защиту репрессированных, адресованные руководителям партии и государства — И. В. Сталину, Л. П. Берии, А. С. Щербакову, а также ген. секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, что по тем временам требовало немалого гражданского и личного мужества.

Письма этого периода отражают плодотворную переводческую деятельность Пастернака, когда им были переведены практически все трагедии Шекспира, «Фауст» Гёте и другие произведения. Особый интерес представляют письма, в которых прослеживаются основные этапы работы над романом «Доктор Живаго».

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5

Борис Леонидович Пастернак

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том IX

Редактор *Т. Н. Беднякова*
Художник *К. Е. Журавлев*
Технический редактор *Л. А. Комарова*
Верстка *Н. Ю. Пекиной*
Корректор *С. В. Щербич*

Подписано в печать 26.07.05. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 49,0. Уч.-изд. л. 41,65
Тираж 5000 экз. Заказ 0509310.

Издательство СЛОВО/SLOVO
109147, Москва, Воронцовская ул., 41

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ЯПК

ISBN 5-85050-689-6